Йозеф Алоиз ШУМПЕТЕР

Теория экономического развития

*

Капитализм, социализм и демократия



УДК 330(075.8)
ББК 65.01я73
Ш 96

Серия «Антология экономической мысли»

Перевод с немецкого: В.С. Автономов, М.С. Любский, А.Ю. Чепуренко

Перевод с английского: В.С. Автономов, Ю.В. Автономов, Л.А. Громова, К.Б. Козлова, Е.И. Николаенко, И.М. Осадчая, И.С. Семененко, Э.Г. Соловьев

Ответственный редактор серии Л.А. Амелёхин

Художественное оформление серии: П.С. Сацкий

Редакционный совет:

Автономов В.С. — *член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, декан факультета экономики ГУ-ВШЭ.*

Ананьин О.И. — *кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической методологии и истории ГУ-ВШЭ, руководитель центра ИЭ РАН.*

Афанасьев В.С. — *доктор экономических наук, профессор кафедры истории народного хозяйства и экономических учений МГУ.*

Васина Л.Л. — *кандидат экономических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, руководитель группы MEGA.*

Клюкин П.Н. — *кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической методологии и истории ГУ-ВШЭ, вице-президент Международного фонда Н.Д. Кондратьева.*

Макашева Н.А. — *доктор экономических наук, профессор кафедры экономической методологии и истории ГУ-ВШЭ, заведующая отделом экономики ИНИОН РАН.*

Энтов Р.М. — *академик РАН, доктор экономических наук, профессор, лауреат Государственной премии — 1977 г., лауреат премии А. Смита (A. Smith Award) — 1999 г.*

Под научной редакцией В.С. Автономова

Шумпетер Й.А.

Ш 96 Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер ; [предисл. В.С. Автономова ; пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко ; пер. с англ. В.С. Автономова, Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой, К.Б. Козловой, Е.И. Николаенко, И.М. Осадчей, И.С. Семененко, Э.Г. Соловьева]. — М. : Эксмо, 2008. — 864 с. — (Антология экономической мысли).

Книга включает два из наиболее известных произведений выдающегося экономиста первой половины XX века Йозефа Алоиза Шумпетера (1883—1950) «Теория экономического развития» и «Капитализм, социализм и демократия» и переводы двух его статей, ранее недоступных отечественному читателю. Йозеф Шумпетер вошел в историю экономической науки как глубокий исследователь теоретических проблем предпринимательства и эволюции социально-экономических систем, историк и методолог экономической теории. Его широкое эволюционное видение социально-экономических процессов до сих пор оказывает влияние на современную экономическую мысль.

Для преподавателей и студентов экономических и социологических факультетов, аспирантов и исследователей в области общественных наук, а также всех интересующихся наследием классиков экономической науки.

УДК 330(075.8)
ББК 65.01я73

E-mail для отзывов и предложений по серии: economics@eksmo.ru

ISBN 978-5-699-19290-8

© ООО «Издательство «Эксмо», 2008

Оглавление

От редакции 9
В. Автономов. Шумпетер и его книги 10

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Предисловие к первому изданию 31
Предисловие ко второму изданию 32
Предисловие к четвертому изданию 35
Из предисловия к японскому изданию 43

Глава I. Хозяйственный кругооборот в его обусловленности существующими отношениями 47

Глава II. Основной феномен экономического развития 122

Глава III. Кредит и капитал 168
Раздел первый. Сущность и роль кредита 168
Раздел второй. Капитал 189
Раздел третий. Денежный рынок 222

Глава IV. Предпринимательская прибыль или прибавочная ценность 227

Глава V. Процент на капитал 254

Глава VI. Цикл конъюнктуры 317

КАПИТАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Предисловие 363
Предисловие ко второму изданию 1946 г. 365
Предисловие к третьему изданию 1949 г. 368

Часть первая
МАРКСИСТСКАЯ ДОКТРИНА

Пролог 375

Глава I. Маркс — пророк 377

Глава II. Маркс — социолог 381
Глава III. Маркс — экономист 395
Глава IV. Маркс — учитель 422

Часть вторая
МОЖЕТ ЛИ КАПИТАЛИЗМ ВЫЖИТЬ?

Пролог 439
Глава V. Темпы роста совокупного продукта 441
Глава VI. Возможность капитализма 450
Глава VII. Процесс «созидательного разрушения» 459
Глава VIII. Монополистическая практика 464
Глава IX. Передышка для пролетариата 485
Глава X. Исчезновение инвестиционных возможностей 489
Глава XI. Капиталистическая цивилизация 500
Глава XII. Разрушение стен 511
1. Отмирание предпринимательской функции 511
2. Разрушение защитного слоя 515
3. Разрушение институциональной структуры капиталистического общества 521
Глава XIII. Растущая враждебность 525
1. Социальная атмосфера капитализма 525
2. Социология интеллектуалов 528
Глава XIV. Разложение 540

Часть третья
МОЖЕТ ЛИ СОЦИАЛИЗМ РАБОТАТЬ?

Глава XV. Исходные позиции 549
Глава XVI. Социалистический проект 556
Глава XVII. Сравнительный анализ проектов общественного устройства 574
1. Предварительные замечания 574
2. Сравнительный анализ экономической эффективности 576
3. Обоснование преимуществ социалистического проекта 582
Глава XVIII. Человеческий фактор 589
Предупреждение 589
1. Историческая относительность всякой аргументации 590
2. О полубогах и архангелах 591

3. Проблема бюрократического управления 595
4. Сбережение и дисциплина 600
5. Авторитарная дисциплина при социализме: урок, преподанный Россией 603

Глава XIX. Переход к социализму 611
1. Две самостоятельные проблемы 611
2. Социализация в условиях зрелости 613
3. Социализация на стадии незрелости 616
4. Политика социалистов до провозглашения социализма: пример Англии 622

Часть четвертая
СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Глава XX. Постановка проблемы 627
1. Диктатура пролетариата 627
2. Опыт социалистических партий 630
3. Мысленный эксперимент 634
4. В поисках определения 638

Глава XXI. Классическая доктрина демократии 647
1. Общее благо и воля народа 647
2. Воля народа и воля индивида 650
3. Человеческая природа в политике 654
4. Причины выживания классической доктрины 663

Глава XXII. Другая теория демократии 667
1. Борьба за политическое лидерство 667
2. Применение нашего принципа 671

Глава XXIII. Заключение 683
1. Некоторые выводы из предыдущего анализа 683
2. Условия успеха демократического метода 689
3. Демократия при социалистическом строе 697

Часть пятая
ОЧЕРК ИСТОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Пролог 705

Глава XXV. Условия, в которых сформировались взгляды Маркса 714

Глава XXVI. С 1875-го по 1914-й 724

1. События в Англии и дух фабианства 724
2. Две крайности: Швеция и Россия 730
3. Социалистические группы в Соединенных Штатах 737
4. Социализм во Франции: анализ синдикализма 744
5. Социал-демократическая партия Германии и ревизионизм. Австрийские социалисты 749
6. Второй Интернационал 760

Глава XXVII. От Первой мировой войны до Второй 763
1. «Gran rifiuto» (Большая измена) 763
2. Влияние Первой мировой войны на социалистические партии европейских стран 765
3. Коммунизм и русский элемент 770
4. Управляемый капитализм? 776
5. Нынешняя война и будущее социалистических партий 787

Глава XXVIII. Последствия Второй мировой войны 791
1. Англия и ортодоксальный социализм 792
2. Экономические возможности Соединенных Штатов 796
3. Российский империализм и коммунизм 816

ДВИЖЕНИЕ К СОЦИАЛИЗМУ (*статья*) 825
РАЗВИТИЕ (*статья*) 838

Именной указатель 854

От редакции

В подготовленный издательством «ЭКСМО» однотомник произведений Йозефа Алоиза Шумпетера вошли перевод «Теории экономического развития», выходивший в издательстве «Прогресс» в 1982 г. и перевод книги «Капитализм, социализм и демократия», впервые опубликованный издательством «Экономика» в 1995 г. и включающий текст доклада «Движение к социализму», прочитанного Шумпетером в декабре 1949 г. на конференции Американской экономической ассоциации.

При подготовке этого издания были исправлены некоторые ошибки в тексте переводов. В особенности, следует упомянуть, что был исправлен перевод немецкого слова «Wert» и английского термина «value». В настоящем издании они переводятся как «ценность», а не «стоимость», как в прошлых изданиях. Традиция употребления слова стоимость в данном смысле восходит к переводу «Капитала» Маркса Н. Даниельсоном и прочно укоренилась в советской экономической науке, хотя ее ущербность отмечалась критиками с самого начала. Семантика термина «стоимость» достаточно тесно связана с процессом обмена и плохо подходит для того, чтобы обозначать значение блага при потреблении. Словосочетание «потребительная стоимость» при первом прочтении «Капитала» неизменно поражает своей нескладностью. В то же время термин «ценность» охватывает оба случая: и потребление, и обмен. И хотя для привыкшего к советским переводам читателя непривычно будет звучать сочетание «прибавочная ценность», мы решили восстановить нарушенную когда-то логику.

Впервые в данном издании опубликован перевод недавно обнаруженной статьи «Развитие», подготовленной Шумпетером для «Энциклопедии...» и напечатанной (в переводе на английский) с подробными комментариями в журнале «Journal of Economic Literature».

Сноски, обозначенные номерами, сделаны самим автором и соответствуют нумерации оригинала. Сноски, обозначенные звездочками, принадлежат другим лицам (преимущественно, редактору переводов).

Шумпетер и его книги

Йозеф Алоиз Шумпетер родился 8 февраля 1883 г. в моравском городе Триш или Трешть (Австро-Венгрия) в семье мелкого текстильного фабриканта и дочери венского врача. Вскоре отец умер, а мать вторично вышла замуж за командующего Венским гарнизоном генерала фон Келера, после чего семья переехала в Вену и десятилетний Йозеф поступил в тамошний лицей Терезианум, дававший блестящее образование сыновьям венских аристократов. Из Терезианума Шумпетер вынес прекрасное знание древних и новых языков — древнегреческого, латинского, французского, английского и итальянского (это дало ему возможность читать в подлиннике экономическую — и не только — литературу всех времен и многих стран, составлять о ней независимое мнение, что впоследствии поразит любого читателя его «Истории экономического анализа») — и что, может быть, еще важнее — осознание принадлежности к интеллектуальной элите, призванной управлять обществом наиболее рациональным образом.

В 1901 г. Шумпетер поступил на юридический факультет Венского университета, где в программу обучения входили также экономические дисциплины и статистика. Среди экономистов — учителей Шумпетера — выделялись корифеи австрийской школы Ойген фон Бём-Баверк и Фридрих фон Визер. Особое место занимал семинар Бём-Баверка, в котором Шумпетер впервые соприкоснулся с теоретическими проблемами социализма. Он изучал произведения Маркса и других теоретиков социализма (как известно, Бём-Баверк был одним из наиболее последовательных критиков экономической теории Маркса). Интересно, что из состава участников данного семинара впоследствии вышли и выдающийся критик социализма Людвиг фон Мизес, и столь же выдающиеся социалисты Рудольф Гильфердинг и Отто Бауэр. Об оригинальной позиции Шумпетера в этом диспуте мы будем говорить ниже.

Оригинальность и самостоятельность Шумпетера, его стремление и умение идти против течения проявились очень рано. Как известно, австрийская школа принципиально отвергала использование математики в экономическом анализе. Но, учась в Венском университете, Шумпетер самостоятельно (не прослушав ни одной специальной лекции) изучил математику и труды экономистов-математиков от Антуана Огюстена Курно до Кнута Викселя настолько, что в год защиты диссертации на звание доктора права (1906) опубликовал статью «О математическом методе в теоретической экономии», в которой к боль-

шому неудовольствию своих учителей сделал вывод о перспективности математической экономии, на которой будет основываться будущее экономической науки. Отношение Шумпетера к математике на всю жизнь осталось двойственным. С одной стороны, он не только признавал и уважал, но и всячески продвигал математическую экономику и эконометрику. С другой стороны, как у самоучки, у него навсегда осталось чувство неуверенности в отношении математических методов. «Патрон математической экономики», как называл его Поль Самуэльсон, не вывел в жизни ни одного уравнения. Говоря о математической экономике, Шумпетер признавался: «Я иногда чувствую себя в положении Моисея, когда, увидев Землю Обетованную, он знал, что сам не сможет на нее ступить»[1]. Однако при всем своеобразии, а иногда даже экстравагантности своих взглядов Шумпетер, безусловно, испытал сильное влияние австрийской школы — его трудам присущ свойственный ей акцент на анализе экономических процессов в реальном времени, неопределенности и предпринимательстве, для которого эта неопределенность является необходимой питательной средой. Надо напомнить, что помимо Шумпетера теорией предпринимательства занимались в русле австрийской школы Мизес и позднее Кирцнер. Однако нельзя не заметить значительного влияния на научные взгляды Шумпетера и немецкой исторической школы (прежде всего Макса Вебера) и марксизма, весьма популярного в Австрии начала XX века.

После окончания университета Шумпетер два года проработал «по специальности» в Международном суде в Каире, но его интерес к экономической теории в конце концов одержал верх. В 1908 г. в Лейпциге вышла его первая большая книга «Сущность и основное содержание теоретической национальной экономии», в которой Шумпетер познакомил немецкую научную общественность с теоретическими достижениями маржиналистов и, в первую очередь, своего любимого автора — Леона Мари Эспри Вальраса. Но, пожалуй, еще важнее то, что в данной работе 25-летний автор поставил вопрос о границах статического и сравнительно-статического анализа маржиналистов, которые он позже пытался преодолеть в своей теории экономического развития. Книга встретила весьма прохладный прием германских экономистов, среди которых в то время практически безраздельно господствовала новая историческая школа Густава фон Шмоллера, отрицавшая дедуктивную экономическую теорию вообще и маржиналистскую теорию австрийской школы в особенности. Не понравилась она и венским экономистам, скептически относившимся к применению математичес-

[1] Цит. по Swedberg R. Joseph A. Schumpeter: His Life and Work. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 118.

ких приемов в экономическом анализе, хотя Шумпетер для немецкоязычной аудитории изложил всю теорию общего равновесия словами, практически не используя формул. Добрым гением Шумпетера оставался его учитель Бём-Баверк, усилиями которого книга была зачтена Шумпетеру как вторая докторская диссертация (Habilitationsschrift).

Но, так или иначе, венская университетская профессура не желала иметь в своих рядах инакомыслящего, и Шумпетеру пришлось на два года отправиться преподавать на окраину империи в далекие Черновцы. Лишь с помощью того же Бём-Баверка, занимавшего в Австро-Венгерской монархии высшие государственные должности, в 1911 году Шумпетеру удалось получить место профессора в Грацском университете — несмотря на то, что факультет проголосовал против его кандидатуры.

Здесь, в негостеприимном Граце, в 1911 году (официальная дата публикации приходится на 1912 г.) он опубликовал знаменитую книгу «Теория экономического развития», в которой впервые изложил идеи, ставшие основой всей его дальнейшей научной работы. «Теория экономического развития» принесла автору мировую славу — в 30—40-е годы она уже была переведена на итальянский, английский, французский, японский и испанский языки. В грацский период Шумпетер опубликовал и другие сочинения, обозначившие круг его научных интересов на всю дальнейшую жизнь: книгу «Эпохи истории теорий и методов» (1914) и большую статью по теории денег в журнале «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik» (1917).

В 1918 году в жизни Шумпетера начался семилетний период «хождения в практическую деятельность». Первая мировая война закончилась крушением трех империй: Германской, Российской и Австро-Венгерской, где к власти пришли социалисты или коммунисты. Усиливались социалистические партии и в других европейских странах. Темы дискуссий на семинаре Бём-Баверка на глазах обретали плоть. Напомнили о себе и бывшие коллеги: в этом же году Шумпетер был приглашен социалистическим правительством Германии поработать советником при Комиссии по социализации, которая должна была изучить вопрос о национализации германской промышленности и подготовить соответствующие предложения. Комиссию возглавлял Карл Каутский, а членами ее были венские товарищи Шумпетера Рудольф Гильфердинг и Эмиль Ледерер. На то, что Шумпетер принял это предложение, повлияла, очевидно, не только усталость от сверхнапряженной научной работы предыдущего десятилетия и враждебности университетских коллег. Он никогда не был членом никаких социалистических партий и групп и не придерживался социалистических взглядов. По словам Готфрида Хаберлера, на вопрос, зачем он консультировал Комиссию по социализации, Шумпетер отвечал: «Если кому-то хочется совершить самоубийство, хорошо, если при этом будет присутство-

вать врач». Однако здесь явно выражена не вся правда. Во-первых, марксизм как научная теория, несомненно, обладал для Шумпетера интеллектуальной притягательностью. Во-вторых, с его стороны было вполне естественно подумать, что крушение старой системы даст наконец власть в руки интеллектуальной элите, к которой он с полным правом себя причислял. И в-третьих, какой экономист-теоретик не жаждет попробовать реализовать свои идеи и знания на практике? Заметим, что Шумпетеру было в ту пору только 33 года!

Наши предположения подтверждает и тот факт, что в 1919 году, вернувшись из Берлина, Шумпетер занял пост министра финансов в австрийском социалистическом правительстве (министром иностранных дел в нем был еще один ученик Бём-Баверка — Отто Бауэр). Как известно, всякая социальная революция, ломка, перестройка и т. д., не говоря уже о проигранной войне, сопровождается разрушением финансовой системы. В этой обстановке решение занять пост министра финансов было самоубийственным, и нет ничего удивительного в том, что через семь месяцев Шумпетер, которому не доверяли ни социалисты, ни буржуазные партии, ни собственные подчиненные — министерские бюрократы, оказался вынужден подать в отставку.

Академическая карьера в Вене была по-прежнему для него недоступна, искать место в провинции известному ученому, к тому времени уже почетному доктору Колумбийского университета, естественно, не хотелось, и Шумпетер решил применить свои познания в области финансов на посту президента частного банка «Бидерман Банк». Результаты вышли достаточно плачевные: в 1924 году банк обанкротился, а его президент потерял все свое личное состояние и к тому же одиннадцать лет обязывался выплачивать долги банка из собственных средств.

Неудачи на политическом и деловом поприще, видимо, были закономерны. Шумпетер всегда высоко ценил те качества и знания, которых самому ему не хватало: методологу и теоретику хотелось быть практиком, юристу по образованию и доктору права — знатоком математики и статистики. Однако, как он писал в «Теории экономического развития», — «основательная подготовка и знание дела, глубина ума и способность к логическому анализу в известных обстоятельствах могут стать источником неудач». Предпринимателя и государственного деятеля из Шумпетера не получилось. Среди немногочисленных научных работ данного периода для нас наиболее интересна брошюра «Кризис государства, основанного на налогах», в которой Шумпетер впервые поставил вопрос об исторических судьбах капиталистического рыночного хозяйства и возможности, а точнее, невозможности практического перехода к «истинному» Марксову социализму.

Активную академическую деятельность Шумпетер возобновил после неожиданного приглашения в 1925 году в Боннский университет — неожиданного, поскольку на протяжении нескольких десятилетий немецкие университеты были закрыты для экономистов-теоретиков, оставаясь в безраздельном владении приверженцев исторической школы. В Бонн Шумпетера пригласил один из наиболее расположенных к теории немецкой исторической школы Артур Шпитгоф, так же, как и Шумпетер, интересовавшийся экономическими циклами. Правда, в Бонне Шумпетеру не доверили теоретический курс: он читал лекции по финансам, деньгам и кредиту, а также по истории экономической мысли. В тот период его особенно волновали проблемы монополии и олигополии и их влияния на нестабильность капитализма. Результаты размышлений Шумпетера по этому поводу мы находим в гл. VIII «Капитализма, социализма и демократии». В Бонне Шумпетера постиг тяжелейший личный кризис: летом 1926 года умерли его мать, жена — Анни Райзингер — и новорожденный сын. С тех пор наука оставалась его единственным в жизни интересом. Глубокий пессимизм, поселившийся в его душе, видимо, отразился и в мрачных пророчествах «Капитализма, социализма и демократии».

С 1927 года Шумпетер начинает появляться в Гарвардском университете: сначала как приглашенный профессор (в 1927—1928 гг. и в 1930 г.), а в 1932-м году окончательно там обосновался. В 1930 году усилиями Шумпетера, Р. Фриша, И. Фишера, Ф. Дивизиа, Л. фон Борткевича и еще нескольких единомышленников были основаны международное Эконометрическое общество и журнал «Эконометрика», призванные осуществить давнюю мечту Шумпетера — соединить экономическую теорию, математику и статистику. Любопытно вновь отметить, что он был единственным из основателей (а позднее и президентов) Эконометрического общества, не занимавшимся ни математическими, ни статистическими исследованиями.

В Гарвардском университете Шумпетер читал курсы экономической теории, теории конъюнктуры, истории экономического анализа и теории социализма. Крупнейшими работами данного периода явились двухтомник «Экономические циклы» (1939), в котором получили развитие идеи «Теории экономического развития», а именно причиной цикличности объявлялась неравномерность инновационного процесса во времени и была дана систематизация циклических колебаний экономики разной длительности: циклов Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева; «Капитализм, социализм и демократия» (1942) и неоконченный труд «История экономического анализа» (издан после смерти автора в 1954 г.), который до сих пор остается непревзойденным по охвату и глубине проникновения в материал. В 1948 году Шумпетер первым из иностранных экономистов был избран президентом Американской экономической ассоциации.

Вскоре после этого в ночь с 7 на 8 января 1950 года Йозефа Алоиза Шумпетера не стало. На его столе осталась лежать почти законченная рукопись статьи «Движение к социализму», которую читатель также найдет в этой книге.

«Теория экономического развития» Шумпетера — его первое знаменитое произведение. Его название требует небольшого комментария: Шумпетер понимал под теорией экономического развития не то, что имеют в виду авторы современных учебников с тем же названием, посвященных теоретическим проблемам экономики разивающихся стран. То, что он хотел создать, можно назвать эндогенной теорией экономической динамики, процесса, в котором «экономика резко меняет свои собственные показатели»[2] без каких-либо шоков извне. Этот процесс требует иных методов анализа, нежели статический кругооборот, к которому применим равновесный подход, в том числе столь восхваляемая Шумпетером чистая теория Вальраса. «Вечный двигатель», встроенный в экономику, он искал не в сфере спроса и адаптации к новым потребностям, которая с точки зрения Шумпетера происходит постепенно и плавно, а в области предложения и создания «новых комбинаций» производительных благ, которые могут «возникнуть... только дискретным путем»[3]. Основными видами «новых комбинаций» являются: производство новых благ, применение новых способов производства и коммерческого использования благ существующих, освоение новых рынков сбыта и новых источников сырья, изменение отраслевой структуры. Всем этим экономическим новаторством на практике занимаются люди, которых Шумпетер назвал предпринимателями. Предпринимательство по Шумпетеру — это инновации и их практическое воплощение. От него Шумпетер отделяет изобретения, несение бремени риска, текущее управление. Экономическая функция предпринимателя (осуществление инноваций) является дискретной и не закреплена навечно за определенным носителем. Она тесно связана с особенностями личности предпринимателя: специфической мотивацией, своеобразным интеллектом, сильной волей и развитой интуицией. Из новаторской функции предпринимателя Шумпетер выводил сущность таких важнейших экономических явлений, как прибыль, процент, экономический цикл.

Книга Шумпетера явилась одной из важнейших вех в развитии теории предпринимательской функции и предпринимательского дохода (прибыли). Хотя капиталистическое общество недаром носит название общества свободного предпринимательства, а получение прибыли признано основной мотивацией капиталистического производства, в

[2] Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Эксмо, 2007. С.127.
[3] Там же, с.132.

истории экономической мысли данная область занимает скромное и даже периферийное место. Мейнстрим экономической теории, будь то классическая или неоклассическая теория, обходился без категории предпринимателя, отождествляя эту фигуру с собственником предприятия — капиталистом или фабрикантом.

Причины в каждом случае были разными. В центре внимания английской классической политической экономии находились «естественные» значения экономических переменных и долгосрочные объективные тенденции, обусловившие формирование этих значений. В рамках данного подхода действия предпринимателей, по сути своей краткосрочные и индивидуальные, были просто невидимы, как и конъюнктурные колебания цен. Что же касается маржиналистской (неоклассической) теории, которая стала основным течением экономической мысли примерно с 1890-х годов, то ей с самого начала был присущ равновесный, статический подход, а также требование наличия совершенной информации. Деятельность же предпринимателя, очевидно, не совместима с равновесием и связана с неравномерным распределением информации. Если бы это было не так, то, согласно входящим в ядро неоклассической исследовательской программы теории предельной производительности Джона Бейтса Кларка и теореме об исчерпанности продукта Филипа Генри Уикстида, весь продукт должен был бы без остатка распределиться на вознаграждения, выплачиваемые факторам производства в соответствии с их предельной производительностью. Здесь возможны два способа «легализации» предпринимательской прибыли как отдельного вида дохода. Прежде всего, ее можно представить в качестве вознаграждения отдельного фактора производства помимо труда, капитала и земли. Такую попытку предпринял, в частности, Альфред Маршалл, назвавший этот четвертый фактор «организацией производства». В современных учебниках экономики вводного уровня его принято называть «предпринимательскими способностями». Однако с добавлением к классической триаде предпринимательского фактора с самого начала были связаны немалые теоретические проблемы. Так, Кнут Виксель отмечал, что предлагаемый Маршаллом четвертый фактор производства не поддается точному количественному определению, а Фрэнсис Исидро Эджуорт указывал, что он не соответствует критериям бесконечной делимости и однородности, предъявляемым при применении теории предельной производительности. Кроме того, эта теория требует конкурентности рынка, что вряд ли можно предположить для рынка «предпринимательских способностей» именно в силу их ярко выраженной неоднородности.

Есть, однако, иной способ встроить предпринимательскую прибыль в теоретическую модель. Здесь «чистая» прибыль рассматривается как остаточный доход, образуемый остатком после выплаты всех

реальных производственных издержек. Данный доход предприниматель получает за исполнение некоторой специфической функции, которая, естественно, должна отличаться от функций собственников производственных ресурсов, имеющих доход в виде процента, ренты или заработной платы, а также от функции наемного менеджера, получающего заработную плату за управление. При этом необходимо убрать предпосылки совершенной конкуренции и, в частности, совершенную информацию, чтобы предпринимательская прибыль еще до своего появления не была распределена по собственникам факторов производства. Поэтому наиболее естественно связать предпринимательскую деятельность с неопределенностью, а предпринимательскую функцию увидеть в том, что предприниматель берет на себя бремя этой неопределенности и освобождает от него поставщиков ресурсов (включая собственников капитала и управляющих). Эта идея прослеживается еще у Ричарда Кантильона, впервые употребившего слово «предприниматель» в качестве теоретического понятия, а наиболее глубокую разработку ей придал Фрэнк Найт[4].

Отличие шумпетеровской теории предпринимательства, содержащейся в «Теории экономического развития», от описанного подхода состоит прежде всего в том, что речь здесь идет не о способности переносить риск (от него шумпетеровского предпринимателя теоретически может избавить собственник капитала, выдающий ему кредит, или государственный орган, снабжающий его необходимыми средствами производства[5]), а об экономическом творчестве, то есть о введении в практику более эффективных комбинаций производительных благ, которое, собственно, и обеспечивает прогресс любой экономики.

Выйдя в свет, книга «Капитализм, социализм и демократия» практически сразу же стала бестселлером, что, впрочем, не вызывает удивления. По замыслу автора, она была написана для непрофессионального читателя, сравнительно простым языком (со скидкой на присущую шумпетеровскому стилю немецкую тяжеловесность, которую почувствует и читатель русского перевода), а момент ее издания совпал с очередной грандиозной ломкой мироустройства — Второй мировой войной, поставившей вопрос о судьбе капиталистической цивилизации (да и цивилизации вообще). Если в «Теории экономического

[4] Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. М.: «Дело», 2003.

[5] Стремясь подчеркнуть отличие своего подхода, Шумпетер чрезмерно выделяет «безрисковость» предпринимательства в своей трактовке. Конечно, речь здесь идет только о риске в очень узком смысле — риске собственными денежными средствами. Шумпетер не упоминает того, что предприниматель рискует своим временем и репутацией — а это ресурсы немаловажные. В командной экономике, например, неудачливый предприниматель, подорвавший свою репутацию, может рисковать не только партбилетом, но и головой.

развития» в фокусе Шумпетера был индивидуальный предприниматель, то в «Капитализме, социализме и демократии» — корпоративный капитализм как система, в которой дух предпринимательства продолжает существовать, но постепенно затухает. Шумпетер рассматривал этот труд как передышку после напряженной работы над «Экономическими циклами» и считал, по свидетельству его ученика по Гарварду Джона Кеннета Гэлбрейта, что ей «не хватает научной глубины и строгости». Конечно, книга «Капитализм, социализм и демократия» в отличие от «Теории экономического развития» не была задумана как вклад в теорию и не претендует на строгость изложения. Это может показаться парадоксом, но, на мой взгляд, именно поэтому она представляет больший интерес для современного читателя, даже искушенного в экономической и социологической теории. Дело в том, что стандарты строгости экономической теории с 1911 года значительно изменились и сегодня мы ищем в давнем шумпетеровском опусе не теоретическое объяснение таких феноменов, как прибыль, процент или экономический цикл, которое не выдерживает современных требований к строгости и представляет лишь исторический интерес. Гораздо ценнее для нас преданалитическое видение Шумпетером капиталистической рыночной экономики как прерывистого потока нововведений, возникновения и последующего отмирания новых форм. А это видение, которое противостояло предшествовавшему, гораздо более гармоничному маршалловскому видению плавной, не делающей скачков эволюции, более широко и свободно, без оглядки на теоретическую строгость представлено именно в «популярном очерке» 1942 года. Как предупреждает читателя сам автор в предисловии к первому изданию, пять частей книги в принципе самодостаточны, хотя и взаимосвязаны. Первая часть содержит краткий критический очерк марксизма. Такое начало, безусловно, не случайно. Из всех крупных западных экономистов этого периода Шумпетер, вероятно, серьезнее всех относился к Марксу, система которого была для него точкой отсчета, или точкой отталкивания. При этом оценка Маркса как экономиста у Шумпетера была наиболее критической — трудовая теория ценности и основанная на ней концепция эксплуатации представлялись ему однозначно неверными, а все законы-тенденции, сформулированные, а точнее постулированные Марксом в «Капитале»: рост органического строения капитала, снижение нормы прибыли, обнищание рабочего класса, — несбывшимися. Общими у Шумпетера и Маркса были «видение» объекта своего исследования — капиталистической системы — как непрерывно развивающегося и изменяющегося по собственным законам организма, а также стремление рассматривать экономические и социальные факторы во взаимосвязи, хотя характер этой взаимосвязи они понимали по-разному. Текст, в равной степени неприемлемый и для правоверных последователей Маркса, и для его неразбор-

чивых ниспровергателей, должен, на наш взгляд, изучить каждый, кто намерен осознать реальное значение Маркса в истории мировой общественной мысли.

Вторая — центральная — часть книги непосредственно посвящена судьбе капиталистического строя. Читая ее, необходимо помнить, что она была написана по горячим следам Великой депрессии, т. е. в период, когда выживание капитализма в его традиционной форме представлялось сомнительным не только некоторым советским экономистам, решившим, что он вступил в период перманентного кризиса, но и таким авторам, как Джон Мейнард Кейнс, а также американским экономистам, обосновавшим «Новый курс» Франклина Делано Рузвельта. Однако Шумпетер и здесь проявил оригинальность (его гений смело может быть назван «другом парадоксов»). Он не стал связывать нежизнеспособность капитализма с экономическими барьерами, в частности с ограничением конкуренции и господством монополий. Напротив, и на чисто теоретическом (гл. VI, VII), и на практическом уровне (гл. VIII) он доказывал, что ограничение конкуренции, если понимать ее в духе статической модели совершенной конкуренции, не может быть существенным фактором замедления экономического роста, поскольку значительно бóльшую роль в капиталистической экономике играет процесс «созидательного разрушения» — динамической конкуренции, связанной с внедрением новых комбинаций. Ей не могут помешать монопольные барьеры. Наоборот, в гл. VIII Шумпетер развертывает перед глазами изумленного западного читателя, привыкшего к тому, что с монополией связаны лишь потери в общественном благосостоянии, широкую панораму преимуществ (с точки зрения динамической эффективности, т. е. создания условий для процесса «созидательного разрушения») большого монополистического бизнеса над экономикой, близкой к модели совершенной конкуренции. В условиях активной антитрестовской политики в США эта мысль звучала, да и по сей день звучит, как вызов общественному мнению.

Великий кризис 1929—1933 гг. и последовавшая за ним затяжная депрессия не произвели на Шумпетера большого впечатления, ибо вполне укладывались в его концепцию циклов деловой активности. По мнению Шумпетера, опасность угрожает капитализму не с экономической стороны: низкие темпы роста, неэффективность, высокий уровень безработицы — все это преодолимо в рамках капиталистической системы. Сложнее обстоит дело с другими, менее осязаемыми аспектами капиталистической цивилизации, которые подвергаются разрушению именно благодаря ее успешному функционированию. Некоторые из этих аспектов: семья, дисциплина труда, романтика и героизм свободного предпринимательства и даже частная собственность, свобода контрактов и проч. — приносятся в жертву процессу рацио-

нализации, обезличивания, «дегероизации», основным двигателем которого являются крупные концерны — акционерные общества с бюрократическим механизмом управления, преуспевшие на ниве «созидательного разрушения». Таким образом, развитие капитализма повсеместно ослабляет капиталистическую мотивацию, он теряет свою «эмоциональную» привлекательность. Как точно отметил Василий Леонтьев, капитализм у Шумпетера умирает от психосоматического заболевания[6]. Наиболее неожиданной в перечне подвергающихся разрушению основ капиталистического общества выглядит политическая власть аристократов, служившая, согласно Шумпетеру, «стальным каркасом»[7] капиталистического общества. Пожалуй, ни в каком другом пункте у Шумпетера не проявлялась столь ярко позиция представителя австрийской элиты и выпускника лицея «Терезианум». Надо сказать, что в Австро-Венгерской монархии тех времен высшие чиновники действительно рекрутировались из дворян и отделение буржуазии от власти было типичным, хотя в качестве примера обладающих «мистическим ореолом и величественными манерами» аристократов, осуществляющих функцию политического лидерства, автор приводит не австрийцев, а англичан.

Одновременно капитализм готовит и армию собственных могильщиков. Только, в отличие от марксистов, Шумпетер видел в этой роли не пролетариат («венский джентльмен старой школы», как характеризуют его друзья и ученики, любил и ценил данный класс не больше, чем профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Булгакова), а безработных интеллектуалов, свободных от всех традиций и подвергающих рациональной критике самые основы капитализма — частную собственность и неравенство в распределении.

Подмеченная Шумпетером «идеологическая беззащитность» капитализма перед радикализирующейся интеллигенцией — явление, абсолютно противоречащее марксистской вере в «продажность» буржуазных литераторов. Оказывается, в эпоху средств массовой информации выгоднее «продаваться» не буржуазному классу, а массовому читателю (а сегодня еще и зрителю), который часто враждебно настроен к капиталистическим интересам. Массы только по недоразумению можно увлечь лозунгом «рыночной экономики» или «строительства капитализма» — этому нас тоже учит Йозеф Шумпетер.

Предпринятое Шумпетером исследование исторической судьбы капитализма — одна из наиболее основательных попыток такого рода на протяжении XX века. Но это не значит, что у него не было пред-

---

[6] Цит. по : Allen R.L. Opening Doors: The Life and Work of Joseph Schumpeter. New Brunswick: Transaction Publishers. Vol. II, p. 170.

[7] Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 517.

шественников и последователей. Рисуя картину гибели капитализма от обобществления производства и рационализации общественной жизни, Шумпетер с оговорками и значительными модификациями объединил две традиции, идущие соответственно от Карла Маркса и Макса Вебера. Эту же линию аргументации развивали и американские институционалисты. Вплоть до 1970-х годов на Западе повсеместно нарастало убеждение, что трансформация стихийного частнохозяйственного капитализма в некое подобие того, что в нашей литературе называлось государственно-монополистическим капитализмом, — процесс необратимый и линейный. Однако в наши дни очевидно, что описанные Шумпетером тенденции отступили на второй план. Разумеется, сам автор многократно подчеркивал, что он не занимается пророчествами и лишь показывает, что может произойти, если имеющиеся тенденции получат продолжение. Можно найти в его тексте и указание на то, что столетие — слишком краткий срок для подобных прогнозов. Можно вместе с Дэниэлом Беллом заметить логическую непоследовательность в книге, где экономическая динамика капитализма описывалась по американскому примеру, а его социологические проблемы — по европейскому[8]. И все же интересно, что помешало экстраполяционному развитию капитализма «по Шумпетеру».

Незатухающему развитию предпринимательства в период после выхода «Капитализма, социализма и демократии» способствовали изменения в характере научно-технического прогресса, в результате которых индивидуализированное мелкосерийное производство стало не менее, а часто и более выгодным, чем концентрация производства на огромных предприятиях, которые могли построить лишь крупные концерны. У нас нет гарантии, что постиндустриальный капитализм навечно останется благоприятной средой для развития предпринимательства. Однако накопленного опыта вполне достаточно, чтобы сделать предположение о том, что отмеченное Шумпетером затухание предпринимательского духа может быть не вековой тенденцией, а фазой некоторого исторического цикла, в ходе которого периоды гладкого инерционного развития сменяются периодами резких изменений и активизации предпринимательства. По крайней мере, такое предположение полностью соответствовало бы взглядам Йозефа Шумпетера, высказанным в «Теории экономического развития» и «Экономических циклах».

Если при анализе капитализма Шумпетер смело комбинирует чисто теоретический экономический анализ с исследованием реальных институтов капиталистического хозяйства и общества в целом, то его описание социализма носит преимущественно абстрактный характер.

---

[8] Bell D. The End of Ideology. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1988. P. 84

Третью часть «Капитализма, социализма и демократии» следует воспринимать в контексте теоретической дискуссии о возможности рационального хозяйствования при социализме, развернувшейся в 1920—1930-е годы. Ее началом послужила статья Э. Бароне «Министр производства коллективистского государства», в которой автор доказывал, что при централизованном планировании можно достичь оптимального функционирования экономики, в административном порядке приравняв цены предельным издержкам. Аргументацию Бароне в дальнейшем развили А. Лернер и О. Ланге (см. подробное описание в кн.: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994. Гл. 13). Оскар Ланге, кстати, встречался с Шумпетером в Гарварде, находясь там как рокфеллеровский стипендиат, и вполне возможно, что именно он убедил Шумпетера в осуществимости социалистического проекта. Оппонентами выступили Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек, утверждавшие, что оптимизация при социализме невозможна, поскольку цены не отражают реальных предпочтений людей. (Читатель может составить представление о сущности этой позиции, обратившись к переведенным на русский язык книгам Хайека «Дорога к рабству» и «Пагубная самонадеянность».)

В этом споре Шумпетер, по крайней мере в настоящей книге, встал на сторону Бароне (ранее он не раз высказывал мнение, что социализм означал бы падение производства и существенное ухудшение благосостояния всех групп населения). Принятие рациональных решений, максимизирующих предпочтения (правда, не потребителей, а самих «плановиков») при социализме он считал возможным. В отличие от Мизеса и Хайека Шумпетер сопоставлял «социалистический проект» не с конкурентной моделью, а с капитализмом большого бизнеса, достаточно далеко продвинувшимся в сторону обобществления и рационализации. В таком случае доведение этих процессов до их логического завершения при осуществлении социалистического проекта должно привести лишь к дополнительному росту эффективности. Шумпетер разбирает «по косточкам» теоретический социализм и каждый раз обнаруживает его преимущество перед современным ему реальным капитализмом. Правда, следует отметить одну важную подробность: Шумпетер судит об экономической эффективности системы по ее производственной эффективности — возможности произвести в долгосрочной перспективе больший объем потребительских благ в единицу времени. Проблему соотношения произведенных по народнохозяйственному плану благ с реальными потребностями членов общества, на которую обращал внимание Хайек и которую хорошо помнят все, успевшие пожить при реальном социализме, Шумпетер не рассматривает. Кроме того, он берет под защиту бюрократию и доказывает, что она неизбежна как при корпоративном капитализме, так и при социализме, причем централизованная и дисциплинированная со-

циалистическая бюрократия будет, по его мнению, эффективнее капиталистической.

Что же касается «реального» социализма в советском исполнении, то Шумпетер считает его преждевременной и, следовательно, сильно искаженной формой социализма, которая, однако, в дальнейшем имеет возможность выправиться, а пока вполне успешно решает экономические задачи диктаторскими методами. Впрочем, как явствует из пятой части, самому Шумпетеру ближе английский лейбористский и скандинавский социал-демократический социализм как наименьшее из неизбежных зол.

То, что Шумпетер пишет о социализме, заставляет еще раз вспомнить широко обсуждавшуюся у нас в перестроечные годы проблему: симпатии западных интеллектуалов к социализму вообще и к советскому в частности. Случай Шумпетера, может быть, наиболее показателен, поскольку в политических симпатиях к социализму он никогда замечен не был. Дело, видимо, заключалось в том, что на высокоабстрактном теоретическом уровне социализм действительно может показаться исследователю набором «правильных» элементов. Но при любой попытке собрать из этого «конструктора» реальную постройку неизменно оказывается, что скрепить ее можно только цементом насилия. Последовательное осуществление социалистического проекта неизбежно ведет к тоталитаризму — этот вывод человечество сумело сделать, лишь обогатившись историческим опытом нашей многострадальной страны и ее вольных и невольных последователей.

Большой самостоятельный интерес представляет шумпетеровский анализ демократии, предпринятый в четвертой части. Здесь автор продолжает играть привычную для себя роль «срывателя всех и всяческих масок». Очевидно, что в «классической стране» буржуазной демократии — США — Шумпетер чувствовал себя не в своей тарелке. Власть посредственности не вызывала у него симпатии, и, пародируя священный для американцев лозунг, он называл демократию «властью дураков посредством дураков в интересах дураков». В противовес «классической доктрине» демократии, исходившей из идеи «общего блага» и политической системы, предназначенной для его реализации, Шумпетер трактует демократию как чисто буржуазный феномен, но не в марксистском классовом духе — как комитет по делам буржуазии. Просто при капитализме политика как бы становится отраслью экономики, в которой действуют законы конкуренции: люди, желающие получить политическую власть, вступают между собой в конкурентную борьбу за голоса избирателей. Такое экономическое толкование политической сферы, впервые предпринятое Шумпетером, получило мощное развитие в западной экономической науке, стремящейся применить свой инструментарий к сопредельным областям знания: социологии, политологии, праву и т. д. Достаточно упомянуть теорию «об-

щественного выбора» Кеннета Эрроу, теорию политических циклов Энтони Даунса и, конечно, многочисленные и разнообразные труды Нобелевского лауреата 1992 г. Гэри Беккера, который признавал, что стремление написать работу об экономическом подходе к политическому поведению у него возникло под влиянием прочтения «Капитализма, социализма и демократии»[9].

В данной трактовке демократия в принципе способна существовать и при достаточно абстрактно понятом социализме, хотя Шумпетер делает оговорку о том, что в условиях социализма власть государства над обществом становится слишком большой, а потому правительство легко может поддаться искушению ограничить демократию. (Естественно, что в СССР Шумпетер не видел демократии ни в какой ее форме.)

В пятой части Шумпетер анализирует историю социалистических партий. Особое внимание обращает на себя его анализ пребывания этих партий у власти. Беря на себя реальную ответственность, отмечает Шумпетер, социалисты быстро сбрасывают груз марксистских догм и идеологии классовой борьбы и начинают делать дела, причем достаточно неплохо, учитывая, что власть им, как правило, достается только в экстремальных ситуациях. Шумпетер усматривает проблему этих партий в том, что им приходится «управлять капитализмом» — сейчас мы бы увидели в этом их преимущество: внедрение отдельных социалистических или квазисоциалистических мер в условиях работающей капиталистической экономики оказалось гораздо более многообещающим путем, нежели разрушение ее до основания, а затем созидание чего-то ранее не бывалого.

На протяжении более четырех десятилетий творческой деятельности Шумпетера его видение («преданалитический акт познания, поставляющий материал для анализа»[10]) практически не изменилось. В центре его внимания находилась внутренняя логика капиталистической экономики, под которой он понимал не смитовско-вальрасовскую логику гармонического сочетания личных интересов, а диалектическую логику созидательного разрушения, объясняющую не статику, а динамику капиталистической рыночной системы, сущностью которой по Шумпетеру являются изменение, эволюция, неравновесие, «созидательное разрушение». Кроме того, следует сказать, что из поля зрения Шумпетера никогда не уходил и социально-культурный контекст рыночной экономики — то, что он называл «капиталистической цивилизацией». Здесь важно помнить, что для Шумпетера эконо-

[9] Capitalism and Democracy: Schumpeter Revisited. Ed. by R.D. Coe, C.K. Wilber. Notre Dame, Indiana, 1985. P. 120.

[10] Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. I, с. 49.

мическая наука ни в коем случае не сводилась к экономической теории, которая, как он неоднократно подчеркивал, имеет дело лишь с обменом и ценами. Не забудем, что экономическую историю и экономическую социологию Шумпетер включил в фундаментальные области экономического анализа наряду с собственно теорией и статистикой[11], что намного шире современных представлений о мейнстриме и выходит за пределы практики современного экономического образования.

Наверно, можно сказать, что всю жизнь Шумпетер писал одну огромную картину, которую так и не успел создать, ограничившись большим количеством этюдов, дающих представление о грандиозном замысле. (Представьте себе, что Александр Иванов не успел бы написать «Явление Христа народу» и после него остались бы только этюды, украшающие залы Третьяковской галереи и Русского музея). После Шумпетера не осталось ни канонического текста (вроде «Оснований» Менгера, «Основ» Маршалла или «Общей теории» Кейнса), ни учеников-толкователей. Он не основал школы и не стремился к этому, чувствуя себя чужим везде, кроме ушедшей в прошлое Габсбургской монархии. Следует отметить и то, что в 1930-е годы среди студентов Гарварда формализованная теория была намного более популярной, чем основанные на методологической, социологической и исторической эрудиции лекции профессора Шумпетера.

Когда мы говорим о фигурах такого масштаба, как Шумпетер, важным является видение им не только своего предмета, но и себя как исследователя. У Шумпетера был ярко выраженный идеал ученого, которому он стремился следовать, и это был идеал беспристрастного наблюдателя и аналитика. Насколько ему удалось воплотить свой идеал на практике — другой вопрос. В отличие, например, от Маршалла или Кейнса, которые хотели, чтобы их экономическая теория была прежде всего полезна, и нацеливали ее на практическое применение, Шумпетер, распрощавшись с политическими и деловыми амбициями, вполне уютно чувствовал себя в «башне из слоновой кости». Более того, он принципиально осуждал нагромождение практических выводов на шаткий теоретический фундамент, которое называл «рикардианским грехом».

Он также не видел себя идеологом-пропагандистом, но, несомненно, претендовал на роль ниспровергателя научных авторитетов. Он стремился привлечь внимание аудитории, заставить ее думать, не доверять привычным мыслительным штампам. Отсюда резкие, безапелляционные, часто провокационные утверждения, приведение массы аргументов в пользу позиции, с которой он, как выясняется впоследс-

[11] Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб: Экономическая школа, 2001. Т. I. С. 14—25.

твии, не согласен, и прочие особенности его литературного стиля. Шумпетера очень интересно читать (и переводить — замечу по личному опыту), он умело поддерживает в читателе эмоциональное напряжение, но бесстрастной систематизации материала, необходимой для сдачи экзамена, от него не дождешься. Вместе с тем, на его видение не могли не влиять политические симпатии, от которых он старался абстрагироваться. Они явно были не на стороне реального социализма, но и не на стороне американского варианта либеральной демократии. Идеалы сильного лидера, порядка и дисциплины, распространенные в высшем свете Австро-Венгерской империи, сохранились у Шумпетера надолго. Интересно сопоставить его взгляды с позициями его коллег по Венскому университету — Л. фон Мизеса и Ф. фон Хайека. В отличие от Шумпетера, они были ревностными поборниками индивидуальной свободы и противниками всякой тирании. Однако можно утверждать, что их объединяла неприязнь к коллективизму в любой форме. Правда, в противоположность Мизесу и Хайеку, которые хотели переломить мощную тенденцию к порабощению индивида коллективизмом, Шумпетер придерживался фаталистической или, точнее, детерминистской позиции.

Еще одно внутреннее противоречие между методологическими декларациями Шумпетера и практикой его творчества: подчеркнутое внимание к саморазвитию предприятий или идей, абстрагированному от контекста, всегда сочетается у него с тщательным описанием самого этого контекста. Обладая колоссальной эрудицией, Шумпетер не ценил ее и преклонялся перед абстрактно-логическим теоретизированиям — не случайно как величайшего в истории экономиста-теоретика он почитал Вальраса, с чьим подходом у него не было ничего общего.

Как и Маркса, Шумпетера не назовешь провидцем. Большинство его прогнозов не оправдалось[12]. Капитализм не умер, а обнаружил в себе новые ресурсы к выживанию и развитию. В крупных предприятиях бюрократическое начало не смогло окончательно победить предпринимательский дух. В то же время они не стали непременными лидерами научно-технического прогресса, не находятся стабильно на стадии возрастающей отдачи и не вытеснили мелкие фирмы, как слоны не смогли вытоптать муравьев.

Государственные чиновники вопреки предсказаниям Шумпетера (но в соответствии с теорией общественного выбора, базирующейся на его концепции демократии) не сумели достичь степени дисциплинированности, характерной для служащих частных фирм. Интеллигенция, в частности, в период после 1968 года перестала быть во-

[12] Ibid. P. 270.

инствующе антикапиталистической и утратила роль властителя дум, а избиратели с циклической регулярностью голосуют то за умеренно-правые, то за умеренно-левые партии, позиции которых, по крайней мере в области экономической политики сближаются до неразличимости.

Социализм в той форме, в какой его понимал Шумпетер, — централизованный контроль при централизованных средствах производства, — не рассматривается всерьез как жизнеспособная альтернатива рыночной экономике. Список несбывшихся пророчеств можно продолжать. Но Шумпетер удерживает наш интерес и уважение в другом качестве. Для экономистов он всегда будет являть пример широкого холистического подхода, не теряющего из вида ни методологических предпосылок экономического анализа, ни его связи с реальным социально-политическим устройством общества.

В.С. Автономов



Йозеф Алоиз Шумпетер

08.02.1883 – 08.01.1950
Трешть, Моравия – Таконик, США

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящая книга имеет прямое отношение к другой, вышедшей в 1908 г. в том же издательстве под названием «Сущность и основное содержание теоретической политэкономии» (*«Wesen und Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie»*). В основном мне, по-видимому, удалось выполнить те обещания относительно критического разбора, которые я дал читателю в только что названной работе. Но поскольку метод подачи материала и предмет обсуждения здесь существенно иные, то я не стал рассматривать новую книгу в качестве ее второго тома или продолжения. Более того, я стремился писать новую работу с таким расчетом, чтобы ее можно было бы читать независимо от первой. Мне остается лишь предпослать ей несколько слов.

Данная работа носит теоретический характер. В ней обсуждаются основные черты хозяйственного опыта, требующие общего описания. Она едина по предмету и методу, и в ней отражена строгая последовательность мыслей. Однако все это является для меня конечным результатом и не входило с самого начала в мои намерения. В своей работе я отталкивался от конкретных теоретических проблем, начав — в 1905 г. — с проблемы кризисов. Я чувствовал, что все более и более углубляюсь в рассмотрение каждый раз новых и самостоятельных теоретических проблем. В конечном счете мне стало ясно, что все, чем я занимался, есть выражение одной-единственной основной идеи и что эта основная идея, с одной стороны, имеет отношение ко всей теоретической области, а с другой — позволяет наметить дальнейшие вехи для теоретического познания феномена экономического развития. Впрочем, я счел целесообразным не строить свою работу как детально систематизированный научный материал, а изложить основные принципы так кратко и точно, как только я был в состоянии это сделать, и к тому же в такой форме, в которой они пока еще не существуют в современной теории. Первая глава, сухость которой, надо надеяться, не нанесет слишком большого ущерба тому, что за ней последует, вводит читателя в мир теоретических представлений, на которых построено все последующее изложение. В остальных шести главах излагается то, что представляется мне здесь особенно важным.

При условии, что все мои рассуждения вообще будут приняты читателем во внимание, я хотел бы предвосхитить два возможных недоразумения. Во-первых, легко предположить, что настоящей работой я в известной мере дезавуирую другую, названную выше. Различия в ме-

тодах подачи материала и поставленных целях, разумеется, могут создать такое представление. Однако более пристальное рассмотрение работы, надеюсь, убедит любого читателя в обратном. Во-вторых, результаты настоящего исследования — опять-таки если на них вообще обратят внимание, — вне всякого сомнения, будут рассматриваться и оцениваться под углом зрения того, каким оружием они станут в руках той или иной социальной силы общества. Этого я не имел в виду и надеюсь, что не исчезли те, кто в состоянии по-научному подойти к научному описанию общественных процессов.

Ход мыслей, выносимых мною на суд читателя, вероятно, не безошибочен, особенно в частностях. Меня вполне удовлетворит, если он породит интерес у читателя и в какой-то степени убедит его в том, что «кое-что здесь верно». Экономическая теория не может оставить без внимания те факты и аргументы, которые приводятся здесь как итог добросовестного труда и точнейшего знания состояния данной дисциплины. Единственно, что автор может еще пожелать себе, так это то, чтобы возможно скорее другие добились в этой области большего, а его работа отошла бы на второй план.

Вена, июль 1911 г.
Шумпетер

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Возможно, мне следовало бы во втором издании данной книги, которая вот уже почти десять лет не встречается на прилавках книжных магазинов, высказать свое мнение по поводу имевших место критических выступлений в ее адрес и провести тщательную статистическую и историческую проверку всего изложенного в ней. Я понимаю, что и то и другое было бы в интересах содержания самой работы. Полемика с критиками является одним из существенных средств убедительной интерпретации теории, благодаря чему она становится доступной, а зачастую и вообще понятной более широкому кругу. В противном же случае и сам критик и его читатель, разумеется, будут находиться в состоянии умиротворения и продолжать придерживаться своих доводов и вытекающего из них отрицательного отношения к данной теории. И тем не менее я вступал в полемику с критиками в очень немногих случаях, хотя уже тот факт, что среди моих противников был и Бём-Баверк, исключает всякую мысль о том, что я

не воздаю должного моим критикам. Далее, в необходимости взаимопроникновения анализа фактических материалов и теории я убежден сегодня еще больше, чем тогда. Однако и в этом направлении я не пошел дальше нескольких ссылок. Причиной того, что я сам расцениваю как отход от строгой и подтверждаемой яркими примерами практической проверки, было стремление более четко выделить некоторые основные идеи. Итак, я констатирую — вообще говоря, без особого восторга, — что строжайшая самопроверка вновь и вновь убеждала меня в правильности того, что я тогда изложил. А так как речь шла все же о вещах, имеющих существенное значение для того представления, которое мы себе составляем о социальной жизни и ее проблемах (не имея вообще никаких или же имея неправильные взгляды на то, что же такое предприниматель, предпринимательская прибыль, капитал, кредит, процент и кризисы, совершенно невозможно сказать ничего разумного обо всем, что интересует нас в мире хозяйствования и движет нами в нашей деятельности), то я полагал, что, попытавшись еще раз показать читателю — многое сокращая, упрощая, переформулируя, причем по возможности наиболее убедительно, — что́ именно важно для данного круга проблем, я принес бы большую пользу, чем если бы я еще на шаг углубился в чащу отдельных теоретических и статистических вопросов, смежных с нашей темой.

Поэтому в данном издании книга стала прежде всего короче. Совершенно отсутствует глава седьмая первого издания. В той мере, в какой она вообще возымела какое-то влияние, она оказала его в совершенно нежелательном для меня направлении, в особенности тот фрагмент о социологии культуры, который в ней содержался помимо всего прочего. В одних случаях он отвлекал внимание читателя от проблем сухой экономической теории — а мне хотелось бы, чтобы читателем были поняты их решения, — в других — приносил мне такого рода признание, которое для меня было столь же фатально, как и отрицательное отношение тех, кто не в состоянии рассуждать вместе со мной. Главы первая, четвертая, пятая остались почти без изменений. Кое-что из того, что иначе я просто вычеркнул бы, пришлось оставить, поскольку это предвосхищает те возражения, которые в противном случае были бы, пожалуй, высказаны. Однако незначительные сокращения, дополнения и переформулированные отрывки есть и в этих главах. По этой причине я просил бы коллег, желающих поработать с данной книгой, отныне пользоваться только этим новым изданием. В главе третьей лучше (как хотелось бы мне надеяться), чем в первом издании, изложен вопрос о пределах, в которых банки могут создавать покупательную способность, — вопрос, с которым связана большая часть возражений против сформулированной в настоящей книге теории кредита, получившей широкое признание. Остальные изменения носят чисто редакционный характер. Вторая, основополагающая

для всех последующих рассуждений автора глава, за исключением нескольких фраз, переписана заново. При этом из нее исключено все, что раньше преподносилось с присущим молодости многословием и самолюбованием и что могло вызвать справедливый упрек. Но хотя я и считаю, что теперь все выражено строже и точнее, а зрелые размышления и жизненный опыт привели к тому, что предметы стали отныне выступать в несколько ином свете, существенные черты остались тем не менее неизменными. Глава седьмая, кроме пункта 1, также написана заново и в одних частных моментах дополнена, в других же — упрощена. Впрочем, и здесь в процессе переработки мне пришлось признать правоту моих оппонентов, выступивших с острой критикой, и извиниться перед теми, кто не понял существа аргументации, потому что в прежнем изложении этого попросту нельзя было требовать. Я также ощутил, что все сформулированное мною сейчас по-новому действительно представляет собой верное решение проблемы конъюнктуры, причем верное с самого начала.

К сожалению, мне пришлось сохранить название книги, чтобы выразить принципиальную идентичность книги в ее новом виде с книгой, увидевшей свет в 1911 г. Насколько мало удачным оно является, доказывают все новые просьбы о присылке моей «книги по экономической истории», поступающие из разных стран. Новый подзаголовок должен исключать возможность введения читателя в заблуждение: все, что может найти читатель в настоящей книге, имеет к экономической истории не большее отношение, чем любые другие экономические теории. И здесь мое желание что-либо изменить в книге наталкивалось на определенные трудности, обусловленные необходимостью считаться с тем фактом, что данная книга является существующим уже независимо от меня живым организмом и что она как таковая обрела свое собственное место в теоретической литературе нашего времени.

Пусть тот, кому предстоит ее сегодня читать, знает: то, что в ней предлагается, может быть хорошо или плохо, но оно окажется совершенно недоступно читателю без его вдумчивой работы по разбору аргументации в силу исключительной сложности хода развития мыслей, которая обусловлена характером предмета и не может быть снята никакими упрощениями. Тот, кто не в состоянии проделать такую работу из-за недостаточной теоретической подготовки или не захочет проделать ее только потому, что не считает ее заслуживающей подобных усилий, тот просто зря потеряет на чтение свое время. Но прежде всего книга не годится для простого «перелистывания», цель которого — определить, а что же думает автор по тому или иному отдельно взятому вопросу, например о причине цикла конъюнктуры: даже целая глава о кризисах, будучи несамостоятельным звеном в длинной цепи рассуждений, сама по себе не дает ответа на этот вопрос. Обособленное чтение отдельных разделов книги может только оставить после

себя целый ряд нерешенных вопросов и вполне очевидные возражения на те или иные утверждения автора. Кто действительно хочет получить пользу для себя от ее чтения, должен размышлять вместе с автором. Пусть в этом читатель воспользуется следующими рекомендациями: глава первая не дает специалисту ничего, кроме нескольких фраз, которые приобретают весомость в цепи рассуждений по теории процента, излагаемой в главе пятой. Он может пропустить ее и обратиться к ней, лишь если ему покажется недостаточно обоснованным дальнейший ход мыслей автора и прежде чем он на этом основании выскажет свои возражения. В главе второй важно каждое предложение. Из главы третьей я как своего рода «приложение» выделил все то, что без ущерба для общего контекста вполне возможно опустить. Усвоение содержания глав второй, третьей создает предпосылки, необходимые для понимания каждой из трех последующих. Тем, для кого вполне убедительной оказалась основная мысль автора, достаточно прочитать в главе четвертой только начало и конец, и лишь на специалистов, в особенности на принципиальных противников представленных здесь взглядов, рассчитана часть аргументов главы пятой. В главе шестой так много вещей резюмировано в отчаянно краткой форме, что пропуск даже одной фразы может помешать одобрению и пониманию.

Бонн-на-Рейне, октябрь 1926 г.
Шумпетер

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Четвертое издание настоящей книги, как и третье, представляет собой стереотипную перепечатку второго издания, для которого летом 1926 г. я предпринял редакционную обработку написанного в 1911 г. текста и которое положено в основу подготовленных к выпуску английского и французского переводов, уже вышедшего сокращенного итальянского, а также планируемого японского переводов. Я не считаю текст окончательным, но до сих пор не находилось времени, чтобы сделать то, что мне хотелось бы еще сделать. Следует признать, что кругу проблем, которые здесь обсуждаются, в своем рабочем плане в последние годы я стал отводить заметно больше места, правда, в несколько ином аспекте. Я пытался обработать относящийся сюда статистический и исторический материал, насколько мне это было посильно и насколько мне позволяли средства из Фонда Рокфелле-

ра, любезно предоставленные мне Комитетом по исследованиям в области общественных наук при Гарвардском университете. При этом свою теоретическую схему, или модель, я использовал в качестве инструмента исследования, и это предоставило мне возможность познакомиться с тем, как она функционирует, если использовать ее как нить Ариадны. Видимо, в качестве напутствия к четвертому изданию можно было бы сказать об этом несколько слов.

В предпринятом мною анализе фактов речь шла, с одной стороны, прежде всего о проблеме *конъюнктуры,* а с другой — о чем-то большем, нежели просто о верификации моей теории. Но тот, кто прочитает данную книгу, поймет, что не только ее последняя глава, но, собственно говоря, каждая страница имеет отношение к проблеме конъюнктуры. Это вполне естественно. Стоит нам выйти за рамки теории равновесия, как мы оказываемся в сфере проблем конъюнктуры, и ни одно явление не может быть объяснено вне связи с ней. Любое высказывание, к какому бы предмету оно ни относилось, в конечном счете имеет отношение к конъюнктуре. Тем самым подтверждается справедливость утверждения Шпитгофа о том, что изменение конъюнктуры является укладом жизни капитализма. Моя теория должна дать логически завершенную модель хозяйственных изменений во времени, и в той мере, в какой она это позволяет сделать, она необходимо является также и объяснением ряда отдельных явлений и изменений конъюнктуры, в рамках которой они происходят. Поэтому работа над фактическим материалом по проблемам конъюнктуры сама по себе дает все, что нам необходимо за пределами круга проблем равновесия. И поэтому такой материал, те возможности, которые предоставляет его анализ, являются для теории неистощимым источником новых идей, взглядов, точек зрения, постановок вопросов, методов. Причем все это выходит далеко за рамки одной-единственной проблемы объяснения изменения конъюнктуры или того, какого мнения следует придерживаться в отношении определенного объяснения изменения конъюнктуры. Тем не менее, с точки зрения данной книги можно, пожалуй, рассуждать, как будто верификация существующих теорий представляет собой основную цель изучения статистических и исторических данных, сколь бы мало я ни разделял такой точки зрения.

Но вначале важно договориться о том, что следует понимать под «верификацией». Никакие непроанализированные, *неочищенные* данные, собственно говоря, не могут подтвердить достоверность или ложность какого бы то ни было теоретического положения. Неверно и то, что наблюдение *статистических* или *исторических* фактов могло бы привести нас к пониманию совместимости или несовместимости с ними определенной теории. Ибо весьма реальная зависимость может быть настолько скрыта от нас другими моментами, что без *глубокого* анализа данных мы ничего не увидим. Поэтому нам не остается ничего

другого, как стремиться достигнуть более скромной цели, а именно выявить, насколько *очевидной* является та зависимость, о которой говорится в том или ином теоретическом положении, или, выражаясь иначе, насколько велико ее значение для понимания существа дела. Вообще говоря, так обстоит дело в любой области той или иной науки, только в некоторых из них даже эта цель вовсе не является столь скромной, и в первую очередь там, где допустимо требовать, чтобы теория, снабжаемая необходимыми данными, позволяла *рассчитывать* эффект. Поясним это на примере. Физик утверждает, что теория атома Бора—Зоммерфельда в известной степени обнаруживает свою несостоятельность, поскольку на основе ее допущений нельзя определить энергию стационарных состояний систем с несколькими электронами; ее авторам скорее бы простили голословные утверждения и логические неувязки. Смысл и ценность подобного склада мышления ясны: для практической научной работы важны не абстрактные истины, а конкретные методы, которые можно применять. Последнее означает: работать с имеющимися данными таким образом, чтобы получать результаты, соответствующие наблюдаемым фактам. Ничего плохого не будет в том, если мы станем давать наши оценки — «верно» или «неверно», — руководствуясь исключительно такими соображениями. Важно при этом осознавать, что тем самым выказывается преклонение перед чистым прагматизмом, от которого у философски настроенных голов волосы становятся дыбом.

Если же учесть существующие условия, влияние ряда факторов на качество нашего материала, а также нередко крайне низкий — с чисто статистической точки зрения — уровень его, то сказанное означает необходимость того, чтобы:

1) наша теория там, где она формулирует положения, по своему характеру допускающие количественное выражение, и где в ее распоряжении имеется необходимая для того информация, предоставляла нам возможность получать количественные результаты, совпадающие с фактическими данными;

2) наша теория там, где она формулирует положения, по своему характеру или *по состоянию данных* не допускающие количественного выражения, предоставляла нам возможность убедиться в том, что реальное положение дел *grosso modo* (в основном) такое, какое можно было бы ожидать, исходя из теории;

3) мы могли, если не имеет места ни первое, ни второе, указать конкретное обстоятельство или конкретную помеху, которыми данное обстоятельство вызвано, а также направление и точные или приближенные масштабы их влияния, так чтобы с соответствующими поправками результаты анализа все же стали бы понятными.

Требовать меньшего, как мне представляется, неверно, поскольку это было бы свидетельством по крайней мере незавершенности рабо-

ты, требовать большего кажется мне смешным. Надеюсь, в книге, которая будет опубликована в течение года, я приведу доказательство тому, что теория, развиваемая в данном томе, удовлетворяет этим требованиям везде, где можно сделать соответствующую проверку. Там, где возникают *non liquet* (неясности), постоянно приходится иметь дело либо с нехваткой материалов, либо с их недостоверностью. В тех случаях, когда материалы дают ясное представление, они совпадают — разумеется, если точно выявлены помехи — с основывающимися на теоретических соображениях ожиданиями. Для той части материала, которая задана в форме временных рядов, сказанное означает, что эти ряды, т. е. индексы цен и цены, индексы товарных масс вообще и массы отдельных товаров, доходы, но в первую очередь прибыли и заработная плата, ставки процента, безработица, объем товарооборота, чековые активы, прекращение платежей, капиталовложения и т. д., ведут себя так, как они должны были бы себя вести, если бы теория была верна. Правда, здесь налицо достаточная свобода выбора альтернативных вариантов объяснения. Ведь временные ряды представляют собой лишь те количественные контуры исторического процесса, которые могут обрисовываться под воздействием самых различных факторов. Полагать, что можно обойтись только этими рядами, — значит сильно переоценивать их значение. Историческая интерпретация временных рядов, т. е. определение того, что же действительно происходило в хозяйственной жизни из года в год (а возможно, из месяца в месяц), нужна не только и не столько из-за «внешних помех». Она необходима прежде всего для того, чтобы понять нормальный ход событий и то отражение, которое этот ход нашел в данных статистики. Только такого рода исследование дает подтверждение тому, что действительно значимыми были здесь как раз те моменты, на которые указывала теория. При этом мне следовало бы заниматься рассмотрением мельчайших подробностей, в частности процессов, протекавших внутри отдельно взятых концернов, иными словами, заниматься работой, которая мне совершенно не под силу. Впрочем, в той мере, в какой мне удавалось все же продвигаться вперед, появлялись и подтверждения тех теоретических представлений, которые излагаются в настоящей работе. Разумеется, их надлежало расширить, а в отдельных чертах и уточнить. Короче говоря, это была задача, состоявшая в том, чтобы перебросить мостик от наиболее абстрактных положений к хаотическому нагромождению реальных процессов. Именно она породила целый ряд новых частных проблем. В первую очередь нужно было основную идею излагаемой здесь модели (в соответствии с нею процесс капиталистического развития представляет собою некое подобие движения волн: начальная волна беспрепятственно вырастает из состояния полностью сбалансированного равновесия, а затем спадает, переходя в столь же равновесное состояние) переформулировать таким образом, чтобы

схема могла отражать также и единственно реальное положение вещей, в котором учитывалось бы влияние предшествующего развития и которое никогда не представляет собой ничего иного, как состояние хронического неравновесия. В принципе же все это значило гораздо меньше того, что я сам ожидал. Взаимосвязи и взаимозависимости, описываемые моей моделью, настолько прочны, что в историческом и статистическом отношениях они проявляют себя в полной мере вопреки всему тому, что наслаивается на них *in praxi* (на деле).

Вот несколько примеров. К «наиболее абстрактным» разделам предлагаемого исследования относится теория процента, изложенная в главе пятой. Она объясняет процент проявлением действия новых производственных комбинаций. Успешное функционирование этих комбинаций приводит к созданию фонда ценности, являющегося источником процента. Разумеется, сказанное имеет отношение лишь к «производительному проценту», и столь же естественно, что этот феномен, однажды возникнув, распространяется на *все* производство и *всю* хозяйственную деятельность. Последнее имеет место до тех пор, пока мы совершенно не теряем из виду данный первоисточник. Это обстоятельство достаточно полно отражено в современных исследованиях процента. И тем не менее ставка процента в ходе конъюнктурных колебаний ведет себя в основном так, как если бы она зависела только от этого фундаментального момента, а именно от предпринимательской деятельности.

Теория предпринимательской прибыли, излагаемая в главе четвертой, с самого начала не встретила никаких серьезных возражений. Однако следовало бы ожидать, что сумма прибылей от нововведений в экономическом процессе, которую ведь и сама теория характеризует только как *основу* предпринимательских прибылей, растворится в массе других элементов и их общая сумма будет обнаруживать динамику, независимую от движения только предпринимательской прибыли. Действительно, всякого рода «вторичные» прибыли в количественном отношении, как правило, гораздо важнее. Тем не менее со всей очевидностью обнаруживается то, о чем идет речь, а именно взаимосвязь, характеризующая их как «вторичные», и историческая картина всех тех видов доходов от производства, которые в самом широком смысле именуются предпринимательскими, не могла бы быть иной в количественном отношении, если бы все они были только подлинной предпринимательской прибылью. Статистическое вычленение этих первичных прибылей — допустим, на основе статистики подоходного налога — могло бы быть осуществлено только каким-либо общественным учреждением, которое использовало бы в этих целях труд сотен чиновников, что, вообще говоря, было бы не самой бесполезной работой. Впрочем, анализ доходов, полученных наиболее процветавшими в тот или иной период отраслями промышленности, а по возможности,

и многими отдельно взятыми концернами, как и анализ истории формирования крупных состояний, позволяет все же кое-чего добиться. Напротив, из-за несовершенства имеющихся у нас данных неблагоприятным образом обстоит дело с подтверждением наличия взаимосвязи между производственными нововведениями и капиталовложениями, с одной стороны, капиталовложениями и предоставлением дополнительных кредитов — с другой. Поскольку статистика образования капитала в равной степени страдает всеми мыслимыми недостатками и поскольку в теоретические представления еще до того, как они окажутся пригодными для отражения реального положения, нужно ввести элемент «сбережения,» определяемый на основе абстрактных предположений, то при верификации теории кредита и капитала в главе третьей речь может идти только о подтверждении достоверности соответствия теоретических предположений фактическому положению вещей. Конечно, достаточно ясное представление о взаимосвязях между нововведениями, выпуском промышленной продукции, банковскими кредитами, чековыми активами и тем, что, запутывая дело, называют «оборачиваемостью банковских активов», дают статистические данные. Более четко они выявляются при анализе отдельных процессов, который, собственно, может объяснить временные несоответствия и, тем самым, хотя бы частично уменьшить вред от них. И хотя имеется ряд вопросов, не допускающих однозначного ответа, обнадеживающим для нас является то обстоятельство, что реальное положение вещей тем больше соответствует теоретическому ожиданию, чем глубже проникаем мы в его существо.

Зато экономическая история последних 150 лет является уникальным арсеналом фактов, подтверждающих теоретическую конструкцию, рассматриваемую в главе второй, а также разработанную там модель изменения экономического организма, того фрагмента социологии лидерства, который эта глава ставит на службу экономического анализа, а также того процесса, которым в главе шестой объясняется ход конъюнктуры. Волны того потока, который представляет собой не что иное, как процесс *исторического* развития, могут быть интерпретированы на основе анализа волн *теоретической* модели развития тем лучше, чем они длиннее: нововведения, порождающие те волны, продолжительность которых в среднем не превышает 40 месяцев, не всегда легко выявить. Напротив, самые длинные волны в той степени, в какой они выявляются статистикой, — меняющиеся периоды (*«Wechselspannen»*) Шпитгофа, или «длинные волны» Кондратьева, — настолько удачно вписываются в схему, что здесь не требуется практически ничего доказывать. Первая «волна» известна нам как промышленная революция. Подъем второй — «волны пара и стали» — приходился на 40-е годы прошлого века. «Волна электротехнической, химической и автомобильной промышленности», третья по счету, за-

родилась в 90-е годы XIX в., в наши дни происходит ее спад. При всем этом не только совершенно четко прослеживается наличие в наших статистических рядах всех трех волн, но и очевидной становится их связь с предпринимательской деятельностью, предпринимательской прибылью, нарушением равновесия, вызываемым, вне всякого сомнения, появлением новых отраслей промышленности, а также процессом деклассирования и реакции, возникающим на нисходящей фазе. Аналогичным образом обстоит дело и с «волнами» средней длины (продолжительности), которые я в интересах научно-исторической справедливости именую волнами Жюгляра. И во всех случаях сказанное подтверждает, как уже подчеркивалось мною, нечто большее, нежели только просто объяснение конъюнктуры.

Но даже картине, воспроизводимой в неизменных масштабах экономики, которая приводится в главе первой в качестве чисто умозрительной конструкции и от которой требуется только то, чтобы она давала ясную в понятийном отношении отправную точку для последующего изложения, — даже этой картине в каком-то отношении соответствует статистический и исторический материал. Я сейчас говорю не о том совершенно очевидном обстоятельстве, что теория экономического равновесия, как и любая чистая теория, логически уточняет лишь некоторые черты действительности, вследствие чего ее положения относительно определенных связей между элементами системы экономических величин всегда должны соответствовать тенденциям свой «реалистичный» компонент, которые обнаруживаются в фактическом материале. Нет, я имею в виду нечто гораздо более непосредственное. Разумеется, мы можем теоретическую картину экономического равновесия противопоставить состоянию неравновесия *любого* конкретного исторического момента времени. Но это *реальное неравновесие в одни, вполне определенные и статистически и исторически выявляемые отрезки или моменты исторического процесса оказывается к теоретическому равновесию ближе, чем в другие.* И такие отрезки или моменты не случайны, а закономерны, причем они находятся не в равном друг от друга удалении: в рамках строго закономерной и статистически выявляемой смены система вначале удаляется от равновесия, а затем опять стремится к равновесию, правда, уже другому, в полном соответствии с тем, как того требует теория укоренения новых комбинаций (подъем) и приспособления экономического организма к изменившейся по этой причине ситуации (депрессия). Между данными перепадами (*Exkursionen*) как раз и находятся точки или, скорее, небольшие отрезки, для которых у меня есть рабочее название «точки в окрестности равновесия», которые и представители делового мира считают относительно нормальными. Вот поэтому каждому подъему предшествует хотя и не полное, но в первом приближении все же реализуемое равновесие, подобно тому, как это происходит в ги-

перболизированном виде в теории, что принимается нами в главе пятой за факт[1].

Таким образом, по завершении периода изучения материалов я могу с большей уверенностью, чем прежде, вновь представить свою модель экономического развития, с большей уверенностью в том, что во всех основных элементах она построена правильно. Здесь ничего не меняют и те успехи, которые достигнуты в истекшем десятилетии в разработке методов теоретических и статистических исследований. Последние дали мне неплохое вспомогательное средство, разработать которое самому мне ни за что не хватило бы выдумки: для примера назовем метод анализа тренда, в основе которого лежит идея «нормальных точек» (*Normalpunkte*) временно́го ряда и появлением которого мы обязаны Рагнару Фришу. Этот метод вписывается в мою схему, как если бы был разработан специально для нее. Что касается методов теоретических исследований, то из-за них материалы главы первой будут выглядеть еще более устаревшими, чем они были на самом деле уже в 1911 г. Да и на ряд других элементов моего аппарата некоторые из моих лучших учеников смотрят со снисходительным пренебрежением. Новые работы, и прежде всего работы в области несовершенной конкуренции, производственных кривых безразличия, дискретных и запаздывающих реакций, полностью изменили облик здания общей теории и пополнили наш «инструментальный ящик» такими средствами, которые совсем по-иному обрабатывают гранит теории, чем бесхитростные средства, используемые для аргументации в настоящей книге. И тем не менее мне хотелось бы и впредь сохранить ее структурную простоту, а где-то в другом месте[2] сказать также о том, каков должен быть мой вклад в достижения современной теоретической мысли. Ибо только в таком простом одеянии и при полной свободе от исторического и статистического материала основная идея книги может оставаться доступной более широкому кругу читателей и одновременно знакомить с методами интерпретации экономических процессов и явлений тех из них, кто заинтересован в этом. И только под углом зрения этой простоты изложения я могу сказать читателю: посмотри вокруг себя, и ты увидишь, что вещи действительно таковы.

Кембридж, Массачусетс,
конец 1934 г.
Шумпетер

---

[1] Эта теория о существовании *дискретных* точек, приближающихся к равновесию, или *дискретных* «нормальных» точек, следовательно, существенно отличается от теории Г. Л. Мура, которая исходит из факта существования *непрерывных* трендов, где каждая точка означает идеальное равновесие (ср. его работу «Synthetic Economics»).

[2] Помимо всего прочего, в работе о «теоретическом аппарате политэкономии», которая должна выйти вместо второго издания моей книги «Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie».

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ЯПОНСКОМУ ИЗДАНИЮ

Если бы мои японские читатели, прежде чем открыть эту книгу, спросили меня, каковы были мои намерения, когда — теперь уже более чем 25 лет назад — я писал ее, то я ответил бы, что пытался разработать теоретическую модель процесса экономического развития во времени или (быть может, говоря яснее) что я хотел найти ответ на вопрос, как экономическая система производит ту силу, которая беспрестанно ее изменяет. Это позволительно проиллюстрировать, сославшись на два великих имени: Леона Вальраса и Карла Маркса. Вальрасу мы обязаны концепцией экономической системы и теоретическим аппаратом, которым впервые в истории нашей науки эффективно охвачена чистая логика взаимосвязей и взаимозависимостей количественных экономических показателей. Однако, когда в самом начале своей научной карьеры я еще только изучал концепцию и методику Вальраса (здесь мне хотелось бы особо подчеркнуть, что на меня как политэконома большое влияние оказало данное обстоятельство, а не какое-либо другое), я пришел к выводу, что она не только строго статична по своему характеру (на это совершенно однозначно и неоднократно указывал сам Вальрас), но и применима исключительно к стационарному процессу. Эти две вещи никоим образом нельзя путать между собой. Статическая теория есть не что иное, как суждения об условиях равновесия и о тех путях, какими происходит восстановление равновесия после каждого из его незначительных нарушений. Подобная теория может быть полезна при исследовании любых видов реальных явлений и процессов, как бы далеко они ни находились от состояния равновесия. И наоборот, стационарный процесс — это такой процесс, который в действительности не развивается под воздействием внутренних сил, а лишь воспроизводит в определенные отрезки времени постоянные нормы реального дохода. Если же этот процесс вообще как-то меняется, то происходит это под воздействием различного рода внешних событий, как, например, стихийных бедствий, войн и т. д. Вальрас согласился бы с этим. Он сказал бы (и в самом деле, в тот единственный раз, когда мне представилась возможность побеседовать с ним, он мне это сказал), что экономическая жизнь по своей природе, само собой разумеется, пассивна и всего-навсего приспосабливается к тому влиянию, которое оказывают на нее природа и общество. По этой простой причине теория стационарного процесса фактически образует основу всей теоретической экономической науки, и мы, будучи экономистами-теоретиками, не многое можем сказать о факторах, которые следует рассматривать как первопричину исторического развития. Нам не остается ничего иного, как просто регистрировать их. Подобно классикам, он сделал бы исключение, пожалуй, для прироста населения и сбережений, но это приве-

ло бы только к изменению данных в системе, но не добавило бы новых явлений. Я совершенно четко осознал, что сказанное неверно и внутри экономической системы имеется источник энергии, вызывающий нарушения равновесия. Если это так, то должна существовать и чисто экономическая теория хозяйственного развития, которая опирается не только на внешние факторы, несущие экономическую систему от одного равновесия к другому. Как раз такую теорию я попытался разработать. И сейчас я полагаю, как, впрочем, полагал и прежде, что она в известной степени помогает понять сражения и ошеломляющие изменения, происходящие в капиталистическом мире, и объясняет целый ряд явлений, в первую очередь цикл конъюнктуры, более удачно, нежели это возможно благодаря использованию средств аппарата Вальраса или Маршалла.

Вначале мне было еще неясно то, что, возможно, с первого взгляда станет понятно читателю, а именно что данная идея и такое намерение совпадает с идеей и намерением, лежащими в основе экономического учения Карла Маркса. Действительно, К. Маркса от современных ему экономистов и от его предшественников отличало именно понимание экономической эволюции как особого, обусловленного самой экономической системой процесса. Во всех прочих отношениях он только перенял и использовал концепции и положения рикардианской экономической теории, но представление об экономической эволюции, которое он облек, что несущественно, в гегельянское одеяние, принадлежит всецело ему. Вероятно, этим и можно объяснить то, что одно поколение экономистов за другим вновь и вновь возвращается к его работам, хотя они находят у него много такого, что достойно критики. Я говорю об этом не для того, чтобы что-либо из того, о чем я пишу в настоящей книге, связать с его великим именем. Наши намерения и выводы чересчур различны, чтобы я был вправе это сделать. Сходство в результатах, которое, бесспорно, имеется (сравни, например, выдвинутый в данной книге тезис о том, что при полном равновесии процент был бы равен нулю, с положением К. Маркса относительно того, что постоянный капитал не производит прибавочной стоимости), не только исчезает вследствие весьма больших различий в основных позициях, но и достигнуто при помощи настолько различных методов, что любое подчеркивание параллелей оказалось бы в высшей степени неудовлетворительным для марксистов. Однако я все же указываю на них, так как благодаря таким ссылкам для читателей, сведущих в экономической теории Маркса, чтение данной книги может быть облегчено и их, возможно, заинтересует также и сопоставление.

В завершение я хотел бы ненадолго вернуться к Вальрасу и тем изменениям в экономической доктрине, которые в конечном счете связаны с его именем. Хотелось бы упомянуть некоторые из них, чтобы выявить связи, существующие между ними и аргументацией данной

книги. Это, во-первых, усовершенствования, которые следует отнести на счет его непосредственных последователей. Наиболее выдающийся из них — Парето. В качестве примера я назову здесь отрыв системы общего равновесия от концепции полезности. И как бы мы ни относились к происшедшему, в том, что касается строгости и изящности научного изложения, это был, несомненно, успех. Если бы мне пришлось заняться систематической разработкой изложенных в настоящей книге идей, то я действительно должен был бы учитывать эти успехи в той же мере, что и прогресс, достигнутый в теории производственной функции, теории издержек и во многих других областях. Но моего собственного метода доказательства сказанное не затронуло бы. Во-вторых, можно было бы спросить, как я отношусь к новой теории «несовершенной конкуренции». Я отвечу, что особую ценность данная теория представляет для разработки деталей того процесса, попытку описать который я предпринимаю в настоящей работе. Практически любое нововведение, в особенности если оно состоит во внедрении нового товара, вначале порождает ситуацию такого рода, которая характеризуется понятием «монополистическая конкуренция». Поведение предпринимателя, как и реакция системы на него, очень хорошо может быть описано в понятиях этой теории. Третий путь, на котором был достигнут прогресс и который в данной связи может быть упомянут, представляет особый интерес, поскольку имеет динамический характер. Политэкономы издавна обладали привычкой постоянно упоминать о трении и «лагах», и они, вероятно, всегда осознавали тот факт, что деловые люди реагируют не только на *данные количества*, но и на темпы их изменений, не только на существующие количества, но и на *те, которые ожидаются в будущем*. Как бы то ни было, в последние 10 лет были разработаны точные теории влияния запаздывающей адаптации, ожидаемых действий и т. д. Разработаны или заимствованы из других областей новые технические средства. Что касается последних, то наиболее значительным событием стало введение в экономическую теорию теории функционала, которую около 50 лет назад разработал Вито Вольтерра. Читатель ничего не найдет об этом в настоящем томе и с полным правом может задать вопрос, а какое, собственно, отношение имеет сказанное к тому, что он будет читать, и прежде всего насколько это затрагивает излагаемую в последней главе теорию цикла конъюнктуры, и особенно если он примет во внимание, что новые методы, как представляется, указывают на возможности колоссального многообразия волнообразных движений в экономической жизни, которые могут быть применены для объяснения циклов без всякой ссылки на принцип претворения в жизнь новых комбинаций. И вновь, как и в случае с теорией «несовершенной конкуренции», я считаю нужным сказать, что эти новые инструменты анализа значительно расширят наши возможности объяснять формы

проявления действительности и что они окажутся полезными и в отношении процесса, описанного в данной книге. Но следует учесть, что полученные с помощью этих новых методов результаты (читатель сможет в них ориентироваться, прочитав в Econometrica, Vol. 3, № 3, статью проф. Тинбергена «Suggestions on Quantitative Business Cycle Theory») не являются в общем и целом обоснованием новой теории цикла конъюнктуры или процесса экономического развития. Они просто описывают «repercussions» (последствия) и propagations (механизм распространения), ничего не говоря о силах или причинах, приводящих их в движение. Каковы бы ни были эти причины, тот способ, которым они действуют и которым система реагирует на них, объясняется новыми методами. Но вопроса о том, правильно ли описывается принципом претворения в жизнь новых комбинаций та сила, которая их вызывает, или она им вовсе не описывается, они не касаются.

Гарвардский университет,
Кембридж, Массачусетс,
июнь 1937 г.
Шумпетер

Глава I

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРУГООБОРОТ В ЕГО ОБУСЛОВЛЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯМИ[1]

Социальное событие представляет собой связь явлений. Исследователь, стремящийся упорядочить их поток, намеренно выбирает из него экономические факты. В том, что тот или иной факт характеризуется как экономический, уже заключается абстракция — первая среди многих, навязанных нам технической необходимостью мысленного отображения действительности. Тот или иной факт никогда не является, если брать в расчет его глубинные причины, исключительно или «чисто» экономическим; постоянно существуют и другие, часто более важные его стороны. Тем не менее в науке мы говорим об экономических фактах на том же основании и с тем же правом, что и в повседневной жизни, с тем же правом, с которым, например, можно писать историю литературы, хотя литература любого народа неразрывно связана со всеми прочими элементами его жизни. Этим правом мы воспользуемся и в данном случае.

Социальные факты являются — во всяком случае, непосредственно — результатами человеческой деятельности, экономические же — результатами экономической деятельности. Последнюю следует определять как такую деятельность, целью которой выступает приобретение благ. В этом смысле мы говорим также об экономическом мотиве деятельности, экономических моментах в жизни общества и индивида и т. д. Однако поскольку мы принимаем во внимание лишь ту хозяйственную деятельность, которая направлена на получение благ посредством обмена или производства, то мы ограничим ее понятие этими способами благоприобретения. В то же время в понятия экономического мотива и экономических моментов мы вкладываем более широкий смысл, ибо мы будем обращаться к ним и вне той более узкой области, в которой рассматривается экономическая деятельность.

Область экономических фактов, следовательно, ограничена прежде всего понятием экономической деятельности. Любой человек вынужден в той или иной мере осуществлять экономическую деятель-

---

[1] Такое название побудило нас избрать выражение, которое употребил фон Филиппович (см. его «Grundriβ», Bd. II, Einleitung).

ность, любое лицо должно быть либо непосредственно «хозяйственным субъектом», либо зависеть от него. Однако после того, как произошла специализация членов социальной группы по профессиям, мы в состоянии отличить определенные классы людей, основная деятельность которых связана с хозяйством, с промыслом, от других классов, у членов которых экономические аспекты их деятельности отходят на задний план по сравнению с прочими моментами. В этом случае экономическую жизнь общества определяет особая группа людей, хотя и все прочие члены общества в целом обязаны заниматься «хозяйством». О деятельности этой группы, следовательно, можно сказать, что именно она по преимуществу воплощает экономическую жизнь, и теперь в подобном утверждении уже не будет ничего абстрактного, несмотря на взаимосвязи, существующие между этой экономической жизнью и всеми другими проявлениями жизни народа.

Так же как об экономических фактах вообще, мы говорим и об экономическом развитии, объяснить которое — наша цель. Но прежде чем приступить к изложению собственных мыслей, нам нужно в настоящей главе овладеть необходимыми основами и ознакомиться с некоторыми методами рассмотрения, которые потребуются в дальнейшем. Кроме того, то, что будет излагаться ниже, должно быть также снабжено своего рода «зубчатым сцеплением», которое позволит ему стать «колесиком» в механизме теории. От брони методологических комментариев я совершенно отказываюсь. В этом отношении остается лишь заметить: все, о чем пойдет речь в данной главе, хотя и представляет собой ответвление от экономической теории, по существу, однако, не требует от читателя ничего такого, что вызывало бы сегодня необходимость специального доказательства. Поскольку, далее, для нашей цели мало что нужно из результатов теории, то я охотно воспользовался случаем выразить свою мысль по возможности просто и безыскусно. Это предполагает отказ от полной корректности. Однако я решался на это во всех тех случаях, когда преимущества более строгой формулировки возникали по не столь уж важным для нас вопросам. В этой связи я отсылаю читателя к другой своей книге[2].

Если же мы зададим себе вопрос о том, каковы всеобщие формы экономических явлений, каковы их закономерности, в чем заключается ключ к их пониманию, то тем самым мы *ipso facto* (в силу самого факта) признаем, что в данный момент мы рассматриваем их как нечто, подлежащее изучению, как нечто искомое, «неизвестное» и хотим свести их к относительно «известному» точно так, как поступает с предметом своего исследования любая наука. Если нам удастся выявить определенную причинную связь между двумя явлениями, то на-

[2] Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. Leipzig, 1908, в дальнейшем упоминается как «Wesen...». Op. cit.

ша задача будет решена в том случае, когда явление, выполняющее в этой причинной связи роль «основания» будет явлением неэкономического порядка. И здесь мы сделали бы как раз то, что могли бы сделать, будучи экономистами, и нам осталось бы лишь передать слово представителям других дисциплин. Если же само это «основание» имеет экономическую природу, то нам следует продолжать попытки объяснить его до тех пор, пока мы не натолкнемся на явление неэкономического порядка. Сказанное относится как к общей теории, так и к любому конкретному случаю. Если бы я, например, мог сказать, что феномен земельной ренты покоится на различии в качестве почв, то этого было бы вполне достаточно, чтобы дать *экономическое* объяснение. Если я определенные колебания цен могу объяснить торгово-политическими мерами, то я тем самым делаю то, что в состоянии сделать как экономист-теоретик, ибо торгово-политические меры не направлены непосредственно на приобретение благ путем обмена или производства, а потому не подпадают под наше определение чисто экономических фактов. Здесь у нас всегда речь идет о том, чтобы описать всеобщие формы причинных связей, существующих между экономическими фактами и неэкономическими данными. Опыт учит, что это возможно. Экономические явления имеют свою логику, которая известна каждому практику и которую нам следует всего-навсего сознательно уточнять. При этом простоты ради мы имеем в виду, как правило, изолированную экономику; те вещи, о которых идет речь в данной книге, мы также рассматриваем под таким углом зрения.

Итак, мысленно представим себе основные черты хозяйственного механизма. И в первую очередь представим себе народное хозяйство, организованное на рыночных принципах (verkehrswirtschaftlich organisierte Volkswirtschaft), иными словами, такое народное хозяйство, где господствуют частная собственность, разделение труда и свободная конкуренция.

Если бы кто-то, кто никогда прежде не видел подобного хозяйства или ничего не слышал о таковом, понаблюдал бы, например, за тем, как земледелец выращивает зерно, которое в далеком городе потребляют затем в виде хлеба, то у него возник бы вопрос: откуда земледелец знал, что данному потребителю нужен был именно хлеб и как раз в таком количестве? Этот кто-то, безусловно, удивился бы, узнав, что земледелец вообще не ведал, кто и где станет потреблять его зерно. Кроме того, он мог бы также наблюдать, что все те люди, через руки которых должно было пройти это зерно, прежде чем оно будет окончательно потреблено — за исключением того, кто продал хлеб потребителю, — вовсе не были знакомы с последним и что даже этот последний, т. е. продавец, как правило, вынужден был выпекать или покупать хлеб еще до того, как он мог узнать, что этот продукт достанется именно данному потребителю. Земледелец мог бы легко

ответить на такой вопрос: большой, частично унаследованный им опыт[3] научил его, насколько большим должно быть его производство, с тем чтобы дела шли у него наилучшим образом; опыт научил его определять величину и интенсивность того спроса, который ему надлежит учитывать. Пока есть возможность, он действует именно так, а не иначе и лишь постепенно под давлением обстоятельств осуществляет некоторые изменения.

Сказанное относится и к другим позициям его расчета, независимо от того, производит ли он свои вычисления столь же искусно, как крупный промышленник, или делает это машинально, почти не отдавая себе отчета в том, на чем основываются его решения. Он знает — как правило и с некоторыми возможными отклонениями — цены на те блага, которые ему предстоит купить при обычных обстоятельствах; он знает, какое количество собственного труда должен затратить, независимо от того, оценивает ли он его исходя только из экономических критериев или смотрит на труд на собственной земле совершенно иными глазами, чем на труд на чужой; он знает свои методы хозяйствования, и все это благодаря громадному опыту. К тому же все те, у кого он обычно покупает, также по опыту знают объем и интенсивность его спроса. Поскольку оборот хозяйственных периодов, этот наиболее заметный среди всех ритмов экономики, протекает сравнительно быстро и в каждом хозяйственном периоде происходит, по существу, одно и то же, то механизм рыночного хозяйства (Verkehrswirtschaft) функционирует с большой точностью. Но прошлые хозяйственные периоды определяют поведение хозяйственного субъекта в каждый последующий период (в случае, подобном нашему) не только потому, что они со всей строгостью приучили его к тому, что ему надлежит делать, но еще и по другой причине. В любой хозяйственный период жизнь нашего земледельца должна быть обеспечена непосредственно либо за счет того, что было им получено в прошлом периоде, либо за счет дохода, полученного от продажи продукта, и того, что он в состояния получить взамен. Кроме того, все прошлые хозяйственные периоды оплели его сетью социальных и экономических связей, от которой ему не так-то просто освободиться. От прошлого достались ему также определенные средства и методы производства. И все это прочно удерживает его на однажды избранном пути. Здесь возникает момент, который имеет для нас существенное значение и который требует более пристального разбирательства. На данном же этапе мы лишь зафиксируем то, что впоследствии мы будем постоянно иметь в виду: в любой хозяйственный период каждый живет за счет благ, произведенных в предшествующий период, что вполне вероятно

[3] См.: Wieser. Der natürliche Wert, 1887. Именно в этой работе впервые отмечен этот момент и раскрыто его значение.

и тогда, когда их производство относится к еще более раннему периоду или когда получение какого-либо средства производства осуществляется непрерывно. В этом случае наше изложение лишь в известной мере упрощает картину.

Теперь обобщим и несколько уточним пример с земледельцем. Для этого представим себе дело таким образом, будто каждый продает все свои продукты, а в той мере, в какой он их сам потребляет, он является клиентом у самого себя. Последнее обстоятельство не вызывает никакого сомнения, ведь и для подобного личного потребления решающее значение имеет размер рыночной цены, т. е. опосредованно количество благ, которое можно получить снижая цену; и наоборот, величина личного потребления также влияет на рыночную цену. В том и другом случаях все происходит так, как если бы соответствующее количество благ действительно появилось на рынке. Следовательно, все хозяйственные субъекты находятся в положении земледельца. Все они одновременно являются и покупателями (для нужд своего собственного потребления и производства), и продавцами благ. Аналогичным образом в нашем исследовании можно рассматривать и рабочих, иными словами, результаты их труда можно в данном случае объединить в одну категорию с прочими вещами, на которые существует спрос на рынке. Поскольку, далее, каждый из этих хозяйственных субъектов, взятый сам по себе, производит продукт, руководствуясь своим собственным опытом, и находит на него покупателей точно так же, как и наш земледелец, постольку сказанное должно быть верно и для всех них, вместе взятых. И следовательно, все продукты, если оставить в стороне те трудности, которые, естественно, могут возникнуть по самым различным причинам, необходимо реализовать, поскольку их производят только в расчете на известные из опыта возможности сбыта.

Это следует всегда иметь в виду. Какое количество мяса продает мясник, зависит от того, сколько его клиент, портной, хочет купить и какую цену последний в состоянии заплатить. Но это зависит от величины того дохода, который портной получает от своего ремесла; этот доход в свою очередь зависит от потребностей и покупательной способности его клиента, сапожника; на его же покупательную способность влияют потребности и покупательная способность людей, для которых он производит, и так до тех пор, пока в конечном счете мы не доберемся до того лица, источником дохода которого служит продажа товаров мяснику. С взаимопроникновением и взаимообусловленностью количественных показателей, которыми оперирует хозяйственная практика, мы сталкиваемся постоянно, какую бы нить в клубке данных взаимосвязей мы ни прослеживали. Откуда бы мы ни начинали и в каком бы направлении мы ни двигались от начальной точки, следуя за этой нитью, мы хотя и после чрезвычайно большого,

но все же конечного числа шагов вновь придем к исходной точке. При этом мы не обнаружим ни естественного конечного пункта, ни какой-либо «причины», т. е. элемента, который определяет другие в большей мере, нежели определяется ими сам.

Картина станет более полной, если о «потреблении» мы составим себе представление, отличное от обычного. Каждый, к примеру, ощущает себя потребителем хлеба, но не чувствует того, что является одновременно потребителем продуктов земли, труда, железа и т. д. Если же мы это осознаем, то еще отчетливее представим себе путь, который проделывают отдельные блага в хозяйственном кругообороте[4]. Теперь, правда, становится ясно, что не каждая единица какого-либо блага ежегодно проходит один и тот же путь к одному и тому же потребителю, что и предшествовавшая ей в производственном процессе того же производителя в прошлом хозяйственном периоде. Но мы можем, не меняя ничего в существе вопроса, предположить, что происходит именно так. Мы можем представить себе, что и повторяющееся из года в год производительное использование сохраняющихся источников производительной силы осуществляется тем же потребителем, в аналогичном акте потребления. Результат процесса, во всяком случае, совершенно такой же, как если бы это происходило на самом деле. Отсюда следует, что, так сказать, на любое предложение в народном хозяйстве уже имеется спрос и что *в общем и целом* нигде в народном хозяйстве не найдется благ, для которых не было бы дополняющих их, т. е. других благ в руках людей, которые хотели бы обменять последние на первые в известной из опыта пропорции. Однако из того, что все блага находят сбыт, вновь вытекает, что кругооборот хозяйственной жизни завершается, т. е. достаточное число продавцов всех благ снова может выступить в роли покупателей, с тем чтобы приобрести блага, которые в том же объеме будут потреблены и найдут себе применение в производственном аппарате в следующем хозяйственном периоде, и наоборот.

Хозяйственный субъект действует, следовательно, сообразуясь с известными из практики данными, а также методами и способами. Конечно, это не означает, что в его хозяйстве не может произойти никаких изменений. Экономические параметры могут меняться, и каждый будет следовать этим изменениям, как только их обнаружит. Но и в этом случае никакой человек не станет заниматься исключительно новыми вещами, он постарается как можно больше сохранить из привычных ему методов хозяйствования и уступит давлению обстоятельств в той мере, в какой это окажется совершенно необходимо.

---

[4] Ср. у А. Маршалла (как в «Принципах (Основах) экономической науки», книга VI, так и в его речи «The Old Generation of Economists and the New»), у которого эта точка зрения играет определенную роль.

И даже «уступать» он будет с учетом имеющегося у него опыта. Таким образом, картина будет меняться не произвольно, а в каждый последующий момент согласовываться с предыдущим состоянием. Это можно назвать принципом непрерывности Визера («Wiesers Prinzip der Kontinuität»)[5].

Если бы в народном хозяйстве на самом деле не происходило никаких самопроизвольных изменений, то нельзя было бы обнаружить ни одного сколько-нибудь существенного *экономического* процесса при условии, что мы просто предполагаем наличие постоянства в экономике. Тем самым мы выражаем в строгих понятиях сам факт, и если мы в конечном счете описываем неподвижную экономику, то в действительности прибегаем к абстракции, правда, только для того, чтобы изложить существо действительно происходящего. Этим мы пока и займемся. Причем в худшем случае мы при этом вступаем в противоречие не с господствующей теорией, а только с привычной формой изложения, не позволяющей ясно выразить данное обстоятельство[6].

Тот же результат можно получить также следующим образом. Все то, что в народном хозяйстве производится и доставляется на рынок в течение одного хозяйственного периода, можно назвать его общественным продуктом (Sozialprodukt). Для достижения поставленной нами цели нет нужды в более подробном выяснении значения указанного понятия[7]. Общественный продукт как таковой не существует. Как таковой, он столь же мало является сознательным результатом чьей-то планомерной деятельности, сколь и народное хозяйство как таковое — «хозяйством», работающим по единому плану. Но это полезная абстракция. Мы можем представить себе, что все результаты производства всех хозяйственных субъектов по завершении хозяйственного периода накапливаются где-то в одном месте и распределяются между ними в соответствии с определенными принципами. Поскольку само по себе такое предположение существенно ничего не меняет в фактах, то это вполне допустимо. Таким образом, мы можем сказать, что каждый хозяйственный субъект, с одной стороны, осуществляет свой вклад в эту крупную народнохозяйственную емкость, а с другой — что-то берет из нее. Этому вкладу соответствует в какой-то другой части народного хозяйства притязание другого хозяйственного субъекта; доля,

---

[5] В последнее время он был еще раз сформулирован в работе о проблеме ценности денег. См. «Schriften des Vereins für Sozialpolitik». — In den Referaten für die Tagung von 1909.

[6] См.: «Wesen...», Op. cit., II. Buch.

[7] См. по данному вопросу прежде всего А. Смита и А. Маршалла. Понятие почти столь же старо, сколь и сама политическая экономия; как известно, оно имеет такое богатое прошлое, что приходится обращаться с ним осторожно. О родственных понятиях см. также: I. Fisher. The Nature of Capital and Income. New York, 1906; A. Wagner. Grundlegung; A. C. Pigou. Preferential and Protective Tariffs, где автор часто употребляет понятие национальный дивиденд.

предназначенная каждому, где-то уже ожидает его. Каждый, вклад предполагает и дополняет получение, а каждому получению соответствует определенный вклад. И поскольку из опыта все знают, что и сколько им следует «вложить», чтобы получить то, к чему они стремятся (при условии, что для получения определенной доли нужно внести определенный вклад), то и здесь кругооборот хозяйства должен быть замкнут. Следовательно, все «вклады» и «притязания» должны уравновешивать друг друга независимо от того, каков принцип распределения. Предпосылкой здесь является также то (и об этом нельзя забывать), что все рассматриваемые величины известны из опыта.

Теперь нам предстоит уточнить данную картину экономики, поскольку это диктуется целями исследования и необходимо для понимания содержания последующих глав. Мы уже отметили, что опыт подсказывает земледельцу, какими окажутся цены и спрос на его продукт, а также в каких объемах будут предлагаться средства производства и потребительские блага и по каким ценам. Применяя хорошо известный метод, попытаемся понять смысл этого знакомого по опыту постоянства. Представим себе, что этого опыта у нас нет и мы имеем дело с той же землей, теми же людьми, с той же культурой и техникой, теми же вкусами и запасами благ, что и до сих пор, но эти люди ничего не знают о ценах, спросе и предложении, короче говоря, о величине всех тех элементов, которые в действительности влияют на их поведение. И если мы теперь спросим себя, что они станут делать, то мы тем самым как бы реконструируем то состояние народного хозяйства, которое фактически существует и которое известно каждому хозяйственному субъекту, поскольку это ему необходимо, в такой мере, что ему практически не требуется вдаваться в его суть и он просто может довольствоваться рассмотрением определенных, лежащих на поверхности вспомогательных признаков[8]; *ab ovo* (с самого начала)[9] на наших глазах *будет* возникать то, что в действительности уже существует. Опираясь на свой опыт, хозяин-практик рассуждает как бы эллиптически, подобно тому как человек, который ежедневно ходит одной и той же дорогой, не задумывается каждый раз над своим маршрутом. Если бы он утратил этот опыт, то ему пришлось бы *на ощупь*[10], затрачивая большие усилия, заново отыскивать его, и при этом мы лишь увидели бы, какого рода законы управляют процессами, которые в действительности кажутся нам словно бы вошедшими в железную привычку. Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Когда мы пытаемся мысленно представить себе экономический про-

[8] Визер излагает этот вопрос в связи с фактическим расчетом издержек. См. его «Der natürliche Wert».

[9] См.: L. Walras. Éléments d'économie politique pure, 4-me ed., 1900.

[10] «Par tâtonnement», — говорит Вальрас.

цесс, это вовсе не означает, что мы собираемся рассматривать процесс экономического развития. Мы хотим увидеть не то, как экономический процесс исторически *развился* в данную конкретную форму, а то, как он *протекает* из года в год. Мы собираемся исследовать не то, как исторически изменялось народное хозяйство, а то, как оно выглядит в тот или иной определенный момент времени. Речь идет, следовательно, не об историческом генезисе, а о воссоздании процесса в форме понятий. Смешение этих *toto coelo* (совершенно) различных вещей представляет собой весьма распространенное заблуждение.

В представленном нами случае людям, таким образом, нужно было задумываться — чего им поначалу на деле не приходится делать, — над тем, как им следует вести себя. Вести себя — в какой связи, с какой целью? Очевидно, с целью удовлетворения своих потребностей и потребностей своих домочадцев. С этой точки зрения они и будут рассматривать доступные им средства, которые могли бы послужить достижению данной цели. Таковыми средствами являются блага (*Güter*). То или иное поведение может быть рассмотрено только в отношении тех благ, применительно к которым существует подобная необходимость, т. е. в отношении тех из них, которые практически не встречаются в неограниченных количествах, а именно экономических благ (*wirtschaftliche Güter*). Все блага — экономические и свободные (*freie Güter*) — оцениваются соответственно тому, в какой мере они могут удовлетворять потребности хозяйственного субъекта, а все конечные величины этих благ — соответственно тому, в какой мере удовлетворение потребности зависит от них; разумеется, при этом необходимо учитывать возможности замещения их другими количествами прежде всего тех же самых благ, в противном случае — других. Таким образом, сказанное означает, что количественная единица измерения свободных (природных) благ вообще не подлежит оценке. Что касается экономических благ, то эта оценка тем ниже, чем больше этих благ — при заданной шкале интенсивности потребностей — имеет в своем распоряжении хозяйственный субъект. Эта оценка имеет решающее значение для его поведения: ценность есть показатель значения определенного количества определенных благ для определенного субъекта и его поведения по отношению к последнему. Общая ценность известного количества благ, как и шкала интенсивности потребностей, а также шкала ценности, редко в полной мере осознается хозяйственным субъектом. В повседневной практике хозяйствования он воспринимает, как правило, лишь ценность какой-то части общего количества, а именно ценность «последних частей общего количества», предельную ценность или предельную полезность[11]. Нам остается только

[11] Здесь я могу сослаться на всю литературу, где излагается теория предельной полезности. Эта ссылка оправдывает конспективную краткость изложения в тексте.

добавить, что уменьшение ценностной оценки с возрастанием количества любого блага нельзя объяснять просто физиологическими явлениями «насыщения» или «утомления» в самом узком смысле этого слова; скорее всего, стремление к удовлетворению потребностей, например, других людей следует тому же закону.

Тогда, следовательно, люди станут регулировать свое поведение в отношении благ с таким расчетом, чтобы, используя находящиеся в их распоряжении блага, реализовать наибольшую сумму ценности. Они будут искать своим благам такое применение, которое бы исключало увеличение суммы ценности при данных условиях в результате каких бы то ни было изменений способа применения благ. В тех случаях, когда удается такое распределение благ по различным категориям потребностей, оказывается определенной и конкретная величина их ценности. При таком положении вещей и хозяйственные субъекты будут в состоянии дать ценностную оценку своим благам, оценку, соответствующую удовлетворению потребностей, которые они вызывают при данном, относительно лучшем способе применения. Из таких оценок ценности указанных благ они и будут исходить, если появится возможность новых способов их применения. В этом заключается возможность их обмена, к рассмотрению которой мы сейчас перейдем. Однако поначалу ценность выступает как потребительная ценность. Она есть не что иное, как показатель (индекс) значения благ для удовлетворения потребностей их владельца и по величине зависит от его потребностей и имеющегося «покрытия» их. Поскольку, наконец, блага находятся в самых разнообразных отношениях между собой, в одних случаях «дополняя», а в других — заменяя друг друга, то и их ценности известным образом взаимосвязаны. Они являются не самостоятельными величинами, а образуют *систему* ценностей (*Wertsystem*). Важнейшая из этих взаимосвязей основывается на «производственном родстве» (*«Produktionsverwandschaft»*). К указанной взаимосвязи ценностей благ мы вскоре вернемся.

Дж.С. Миллю мы обязаны строгим разграничением распределения и производства[12]. Как я уже отмечал в другом месте[13], мне представляется, что это разделение удовлетворяет не всем тем требованиям, которые сегодня можно предъявить к системе чистой политической экономии. Но для наших целей оно подходит, и поэтому на некоторое время мы им воспользуемся. Основание, которое Милль приводит для такого разделения, заключается в том, что процессы производства носят характер «законов природы» в гораздо большей степени, нежели общественные по существу законы распределения. В самом деле, мы

[12] См.: Дж.С. Милль. Основы политической экономии. М.: Эксмо, 2007, с. 87 и сл. («Предварительные замечания»).

[13] «Wesen...» Op. cit, II. Buch.

наблюдаем здесь более активное давление вещных необходимостей, определяющих хозяйственную деятельность. Здесь нам противостоят в сущности своей неизменные природные процессы. В этом смысле и Джон Рэ говорит[14], что в хозяйственной деятельности людей по отношению к природе речь может идти только о том, чтобы получить полное представление о ходе природных процессов и по возможности широко его использовать. Таким образом, положение индивида, занимающегося хозяйственной деятельностью, мы можем пояснить примером уличного мальчишки, который цепляется за проезжающий мимо экипаж, чтобы использовать открывающуюся возможность сэкономить время и сберечь силы, пока этот экипаж следует в нужном направлении. Но тогда индивид, ведущий хозяйство, может отчасти менять и устройство окружающих его вещей, однако лишь в пределах, заданных, с одной стороны, законами природы, а с другой — его техническими способностями. На это указывает и фраза Милля, восходящая, пожалуй, к Рэ: «В мире физических тел труд направлен всегда и единственно на то, чтобы приводить в движение предметы; свойства материи, законы природы довершают дело». Аналогичным образом и Бём-Баверк в своей «Позитивной теории капитала», представляющей собой анализ экономического процесса в целом, хотя и под углом зрения решения одной-единственной проблемы, исходит из таких «заданных законами природы» показателей.

Это одна сторона производственного процесса, где он определен физическими свойствами материальных объектов и производительностью труда — при данных взглядах на последние и данной технике. Указанные социальные отношения носят иной характер. Но для отдельного акта производства они являются столь же независимыми параметрами, как и естественные условия. Таковыми они являются также и для научного описания процесса производства, поскольку их изменения лежат вне сферы экономической теории, а посему мы дополня-

---

[14] Его вышедший в 1834 г. труд был переименован в «Sociological Theory of Capital» и издан в 1905 г. К. У. Микстером. Как новое название, так и произведенные издателем перестановки в тексте оправданы. Итальянский перевод первоначального текста можно найти в «Bibliotheca dell'Economista», 1. IX. См.: о Рэ: E. Böhm-Bawerk. Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien. 2. Auflage, S. 375; I. Fischer. — *Yale Review,* vol. V; C. W. Mixter. — *Quarterly Journal of Economics,* 1897, 1902. Здесь мы приветствуем работу, которая далеко превзошла уровень своего времени и рамки привычной теории. Поэтому она и осталась незамеченной и ее пришлось вновь открывать в наши дни. Какая глубина и оригинальность! И это только часть огромного мира идей! Этот мир нами утрачен, и мы можем лишь гадать о том, каков он был. Очарование этой книги, вообще говоря, тем и вызвано, что она позволяет заглянуть в этот мир: в отрывочных замечаниях часто открывается глубочайшее проникновение в существо дела. То был своеобразный и истинный ученый. Правда, панегирики его нынешних соотечественников только вредят ему своими преувеличениями и неудачными попытками вычитать у него теорию Бём-Баверка. Печального восхищения заслуживает не то, что Рэ сегодня еще может нам дать, а сила, которая ощущается в оставленных им фрагментах, и понимание того, что он, вероятно, мог бы дать, живи он под более счастливой звездой.

ем определение «при данной технике» еще словами «и данной общественной организации». Как известно, здесь мы всего-навсего следуем господствующему обычаю[15].

Вторая сторона дела, позволяющая нам понять существо процесса производства глубже, чем его «естественнонаучная» и общественная сторона, — это конкретная цель любого производства. Та цель, которую преследует ведущий хозяйство индивид, когда он производит, и которая объясняет, почему вообще дело доходит до производства, вполне очевидно налагает на характер и объем последнего свой отпечаток. Конечно, не требуется никаких аргументов, чтобы доказать, что она должна определять существование данного производства в рамках конкретных средств и вещных необходимостей, а также что́ и как производить. Таковым может быть только производство полезных вещей, предметов потребления. В хозяйстве, где отсутствует обмен, речь может идти прежде всего о полезных вещах для потребления в самом этом хозяйстве. В таком случае каждое отдельное хозяйство производит, чтобы потребить произведенное, следовательно, чтобы удовлетворить свои собственные потребности. И характер и интенсивность указанных потребностей очевидным образом определяют такое производство в пределах практических возможностей. Потребности являются одновременно причиной и направляющим началом экономического поведения хозяйственного субъекта, представляют собой его движущую силу. Конкретные внешние условия и потребности выступают в качестве двух определяющих экономический процесс и совместно воздействующих на его результат факторов. Таким образом, производство следует за потребностями, они словно бы тащат его за собой. То же самое *mutatis mutandis* (с соответствующими изменениями) верно и в отношении рыночного хозяйства.

Только эта вторая «сторона» производства делает его экономической проблемой. Ее следует отличать от чисто технической проблемы производства. Между той и другой существует антагонизм, который в экономической жизни мы очень часто можем наблюдать в форме личных противоречий между техническим и коммерческим руководством предприятия. Мы нередко видим, что изменения в процессе производства предлагает одна сторона, но отклоняет другая. Например, инженер предлагает внедрить новый процесс, который коммерческий руководитель отклоняет на том основании, что он не окупится. Сам случай дает нам ключ для понимания дела. Оба — инженер и коммерсант — могут отражать свою позицию, заявляя, что целесообразность работы предприятия — цель их деятельности и что их суждения исхо-

[15] Даже Штольцману нечего было бы возразить против такого построения фразы, которое не содержит еще никакого утверждения. Его точка зрения сформулирована им в работах «Die soziale Kategorie», 1896, и «Der Zweck in der Volkswirtschaft», 1910.

дят из понимания этой целесообразности. Если оставить в стороне отдельные недоразумения, недостаточное знание дела и т. д., то различие их суждений может основываться лишь на том, что каждый из них видит эту целесообразность по-своему. О чем думает коммерсант, когда он говорит о целесообразности, ясно. Он имеет в виду коммерческую выгодность. Иными словами, сказанное означает, что средства, которые необходимы для приобретения новой машины, можно использовать иным образом и с большей выгодой.

В замкнутом хозяйстве руководитель считает, что удовлетворение потребностей хозяйства от всякого рода изменений процесса производства только ухудшится, а не улучшится. Если сказанное верно, то какой резон может иметь точка зрения техника, какую целесообразность он имеет в виду? Если удовлетворение потребностей является единственной целью всякого производства, то, разумеется, нет никакого экономического смысла в том, чтобы принимать такие меры, которые ему вредят. Если с точки зрения дела доводы хозяйственного руководителя обоснованны, то он поступает правильно, не следуя совету инженера. Удовлетворение, получаемое от технического совершенства производственного аппарата, удовлетворение, которое сродни ощущениям художника, мы здесь во внимание не принимаем. И действительно, мы видим, что в практической жизни чисто технические моменты должны отступать на задний план в сравнении с экономическими, если они вступают в коллизию с последними. Но сказанное не препятствует тому, чтобы они имели право на самостоятельное существование и значение, а в точке зрения инженера заключался здравый смысл. Ибо хотя экономическая цель и господствует над техническими методами в их практическом применении, тем не менее свой резон есть и в выяснении внутренней логики данных методов без учета данных ограничений. Лучше всего пояснить это примером. Допустим, что паровая машина соответствует по всем параметрам требованиям экономической целесообразности. Пусть соответственно требованиям этой экономической целесообразности она и используется. В этом случае не имеет никакого смысла интенсифицировать ее использование путем повышения температуры пара, направления на ее обслуживание более опытных людей и ее совершенствования, если «последнее не оправдывает себя», т. е. если можно предсказать, что дополнительное топливо, привлечение более опытных работников, совершенствование или увеличение используемого сырья стоят больше, чем получаемый от них результат. Но имеет смысл поразмыслить над тем, при каких обстоятельствах отдача от машины будет больше и насколько, какие усовершенствования возможны при данном уровне знаний и т. д. Следовательно, эти меры надлежит применять только тогда, когда можно ожидать, что они принесут выгоду. Имеется также прямой смысл систематически сопоставлять между собой действительность и

эту идеальную картину, чтобы можно было отклонять подобные возможности не по незнанию, а в силу хорошо взвешенных экономических соображений. Короче говоря, каждый используемый в данный момент времени метод производства служит, следовательно, экономической целесообразности. Но в основе этих методов лежат соображения не только экономического, но и естественнонаучного порядка. Последние имеют свои собственные проблемы и опираются на собственную логику, и последовательно их прорабатывать — сначала без учета экономического, т. е. в конечном счете решающего, момента, — такова задача техники. Таким образом, практически осуществлять ее означает — в той мере, в какой экономический момент не предполагает ничего иного, — производить в техническом смысле.

Подобно тому как целесообразность в конечном счете господствует как над техническим, так и над экономическим производством и различия между обоими объясняются различием природы этих целесообразностей, несколько иной ход размышлений приводит нас вначале к большому сходству, а затем к такому же различию. Рассматриваемое в техническом или экономическом отношении производство ничего не «создает» в том смысле, в каком создают законы природы. Оно в состоянии в обоих случаях только влиять на уже существующие вещи и процессы, или «силы», направлять их. Для последующего изложения нам потребуется теперь понятие, которое охватывает это «использование» и «влияние». Под «использованием» подразумевается целый ряд различных способов применения благ, разнообразные виды поведения в отношении вещей. Под «влиянием» имеются в виду всякого рода пространственные изменения, механические, химические и другие процессы. Однако в любом случае дело в том, чтобы с точки зрения удовлетворения наших потребностей получить нечто иное, нежели то, что было у нас вначале. И речь постоянно идет о том, чтобы изменять взаимосвязи между вещами и силами, соединять между собой вещи и силы, которые встречаются нам порознь друг от друга, и высвобождать вещи и силы из их прежних взаимосвязей. К первому случаю понятие «комбинировать» подходит полностью, а во втором мы вправе сказать, что высвобождаемое из прежних взаимосвязей мы комбинируем с нашим трудом, который причисляется к конкретным, отвечающим нашим потребностям благам. Таким образом, с технической или экономической точки зрения производить — значит комбинировать имеющиеся в нашем распоряжении вещи и силы. Каждый метод производства означает определенную комбинацию. Разные методы производства могут различаться только по характеру и способу, каким они составляют комбинацию, т. е. либо по объектам комбинирования, либо по соотношению их количеств. Каждый конкретный акт производства является для нас подобной комбинацией. Такое понимание имеет отношение и к транспорту и т. д., короче говоря, ко всему

тому, что является в самом широком смысле слова производством. И на предприятии как таковом, и в рамках производственных отношений народного хозяйства в целом можно видеть такие комбинации. Данное понятие играет существенную роль в наших рассуждениях.

Но экономические и технические комбинации, комбинации, учитывающие существующие потребности и средства, и комбинации, в основе которых лежат идеи, методы, не совпадают друг с другом. Хотя и цель технического производства задается технике экономикой, техника тем не менее разрабатывает только методы производства требуемых благ. Но в экономической действительности они не обязательно внедряются в жизнь со всей последовательностью и наилучшим с технической точки зрения образом. Все это происходит непременно с учетом экономических аспектов. Идеальная техническая картина, не учитывающая экономических условий, модифицируется. Экономическая логика одерживает верх над технической. И поэтому в реальной действительности мы зачастую видим веревки вместо стальных тросов, плохой рабочий скот вместо выставочных образцов, примитивнейшую ручную работу вместо совершенных машин, неуклюжее денежное хозяйство вместо чекового оборота и т. д. Наилучшие с экономической точки зрения и технически наиболее совершенные комбинации хотя и не с необходимостью, но все же очень часто не совпадают, причем вследствие приспособления экономики к правильно распознанным условиям, а не просто в силу отсутствия знаний или инертности.

«Производственные коэффициенты» представляют собой пропорциональную долю производительных благ (Produktivgüter) в единице продукта, следовательно, являются существенной характеристикой комбинаций. Здесь экономический момент резко выделяется на фоне технического; к тому же экономическая точка зрения станет не только определять использование того или иного метода производства, но в рамках конкретного метода производства даже влиять на коэффициенты, поскольку в известной мере допустимо отдельные средства производства заменять другими, иными словами, потери в одном возмещаются за счет выигрыша в другом (например, нехватка энергии пара компенсируется увеличением объема ручного труда, и наоборот)[16].

Итак, мы представили процесс производства, используя понятие комбинаций производительных сил. Их результатами являются продукты. Постараемся теперь уточнить то, из чего предстоит составлять комбинации. В принципе это любые мыслимые виды вещей и «сил». Частично это могут быть сами продукты, а частично — объекты, данные природой. Некоторые силы природы в физическом смысле также

[16] Эти «вариации» очень ясно и красиво изложены в: Carver. Distribution of Wealth. New York, 1904.

будут иметь для нас характер продуктов — как, например, электрический ток, производимый для промышленного использования. С одной стороны, это материальные, а с другой — нематериальные объекты. Далее, нередко сами взгляды предопределяют подход к тому или иному благу: как к продукту или как к средству производства. Например, труд без особой натяжки можно рассматривать и как продукт потребленных рабочим благ, и как изначально заданное средство производства. В зависимости от того, что мы выбираем, конкретные продукты питания представляются и средствами производства и предметами потребления или только предметами потребления. Мы изберем последнее и не станем делать особого ударения на этой взаимосвязи: труд не должен быть для нас продуктом. Как известно, очень часто включение какого-либо блага в ту или иную категорию зависит от точки зрения отдельно взятого хозяйства, так что один и тот же экземпляр блага является для одного индивида потребительским благом, а для другого — средством производства. Столь же часто в рамках отдельного хозяйства характер одного и того же блага зависит от того вида использования, для которого это благо предназначается. Теоретическая литература, и в первую очередь литература прошлого, полна дискуссий на эту тему. Нам достаточно одной этой ссылки. Гораздо важнее следующее.

Принято подразделять блага на порядки по степени их удаленности от конечных актов потребления[17]. В соответствии с такой классификацией предметы потребления являются благами первого порядка, те блага, комбинация которых порождает непосредственно предметы потребления, — благами второго порядка и т. д. в направлении все более «высоких», или «отдаленных», порядков. При этом нельзя забывать, что только готовое к потреблению благо становится для потребителя благом первого порядка. Так, например, выпеченный пекарем хлеб превращается в благо первого порядка, строго говоря, только благодаря комбинации с трудом разносчика. Блага низших порядков возникают, если они не даны непосредственно природой, всегда путем комбинирования благ более высоких порядков. Для каждого блага более низкого порядка всегда существует своего рода фундамент в виде блага следующего по высоте порядка, которое в результате комбинирования с другими благами — того же более высокого или иного порядка — становится благом более низкого порядка. Эту схему можно построить и по-иному. Для наших целей лучше всего относить любой род благ к высшему из тех порядков, в которых присутствуют блага данного рода. В соответствии со сказанным труд, например, является благом высшего порядка, поскольку в любом производстве вопрос о труде стоит с самого начала. Правда, мы можем обнаружить затраты

[17] См.: K. Menger. Grundsätze. E. Böhm-Bawerk. Positive Theorie des Kapitals.

труда и в благах всех прочих порядков. В системе последовательных процессов производства или комбинаций любое благо в силу того, что к нему добавляются другие блага, насчитывающие большее или меньшее число порядков, постепенно превращается в предмет потребления, подобно тому как ручей, набираясь сил от питающих его ключей, прокладывает себе дорогу среди нагромождения камней, все дальше и дальше удаляется от источника, давшего ему жизнь.

Для нас прежде всего важен вывод о том, что блага, если рассматривать порядки от низшего к высшему, становятся все более аморфными, что они все более утрачивают характерные формы, те точные свойства, которые предопределяют одни способы их использования и исключают другие. Чем выше порядки мира благ, которые мы рассматриваем, тем больше блага утрачивают специализацию, тем ниже эффективность их использования для какой-то определенной цели, но зато тем шире становятся возможности их применения вообще, тем многостороннее их значение. Мы все реже встречаем такие виды благ, которые можно отличить друг от друга. В то же время более всеобъемлющими становятся отдельные категории, подобно тому как, чем выше уровень, достигаемый нами в рамках логической системы понятий, тем менее многочисленными, менее богатыми по содержанию и более богатыми по охвату становятся сами понятия, которыми мы оперируем. Таким образом, постепенно утончается ствол родословного древа благ. Последнее означает просто то, что, чем больше мы удаляемся от предметов потребления, тем больше благ первого порядка производится от аналогичных благ более высоких порядков.

Если какие-либо блага в полной мере или частично представляют собой комбинации однородных средств производства, то мы называем их родственными по производству. Следовательно, мы вправе сказать, что «производственное родство» благ возрастает по мере того, как более высоким становится их порядок.

Итак, двигаясь последовательно ко все более высоким порядкам, мы должны в конечном итоге прийти к последним — применительно к нашей цели — элементам производства. Здесь не следует доказывать, что этими последними элементами являются труд и дары природы, или земля, услуги труда и земли (*Arbeits und Bodenleistungen*)[18]. Все прочие блага включают в себя по меньшей мере один, а в большинстве же случаев оба эти элемента. Отсюда следует, что все блага мы в этом

[18] Особенно резко говорит об этом О. Эффертц. Если подумать, насколько односторонне классики рассматривали и выделяли труд и как тесно с этим связаны многие результаты их исследований, а также о том, что, собственно говоря, только Бём-Баверк строго последовательно придерживался в этом вопросе корректной точки зрения, то следует признать значительность заслуги Эффертца в том, что он обратил внимание на указанное обстоятельство.

смысле разлагаем на труд и землю, т. е. что мы можем рассматривать все блага как некий набор услуг труда и земли.

Отныне предметам потребления предпосылается специфическая характеристика, которая и превращает их в цель всего процесса. Но остальные продукты, т. е. произведенные средства производства, не являются самостоятельным объектом. Во-первых, они представляют собой не новые средства производства, а лишь предоставленные услуги труда и земли. Во-вторых, они не обладают никаким другим отличительным признаком помимо того, который присущ предмету потребления, ведь они являются предметами потребления, находящимися в процессе возникновения. Итак, они представляют собой, с одной стороны, воплощение этих двух первичных производственных благ, а с другой — потенциальные предметы потребления или, вернее говоря, части потенциальных предметов потребления. До сих пор у нас нет оснований — несколько позже станет ясно, что подобных оснований вообще нет, — видеть в них самостоятельный фактор производства. Мы различаем их на труд и землю. Мы можем разложить аналогичным образом и предметы потребления, а первичные факторы производства воспринимать как частичное потребительское благо. То и другое вместе относится только к произведенным средствам производства, поскольку нельзя найти никакого самостоятельного аспекта их рассмотрения.

Вполне закономерен в связи с этим вопрос о том, как соотносятся между собой оба первоначальных фактора производства. Следует ли одному из них отдать предпочтение или же их роли существенно различны? На данный вопрос можно ответить, руководствуясь только экономической точкой зрения, а не философской, естественнонаучной или какой-либо иной общей точкой зрения. Мы же принимаем во внимание, каково их соотношение с точки зрения экономических целей. Но и тот ответ, который должен относиться к сфере экономической теории, может иметь значение для нее не вообще, а только с точки зрения определенного способа понимания экономического процесса. Его допустимо относить к определенному, конкретному проекту, или плану возводимого здания теории. Так, например, физиократы давали утвердительный ответ на первый вопрос, причем предпочтение отдавалось земле. Сами по себе они совершенно правы. В той мере, в какой они при этом стремились выразить только то, что труд не в состоянии создать никакой новой физической субстанции, против подобного утверждения нечего возразить. Вопрос только в том, насколько оправданны подобные представления в области экономики, плодотворны они или нет. К примеру, совпадение точек зрения по данному вопросу отнюдь не мешает нам отказаться от одобрения последующих рассуждений физиократов. Адам Смит также утвердительно отвечал на указанный вопрос, правда, он высказывался в пользу труда. И это само

по себе отнюдь не неправильно, и если бы мы приняли подобный взгляд за отправную точку, то были бы совершенно правы. В нем отражен тот факт, что использование услуг земли не требует от нас никаких таких жертв, на которые мы шли бы с большим нежеланием, и если бы в подобном случае можно было бы чего-либо добиться, то мы могли бы воспользоваться и таким представлением. Адам Смит, однако, при этом совершенно четко рассматривал природные производительные силы в качестве, так сказать, свободного блага, и тем обстоятельством, что в экономике они в действительности рассматриваются не как свободные блага, следует объяснять присвоение этих благ землевладельцами. Таким образом, он, по-видимому, полагал, что в народном хозяйстве, где не существует никакой земельной собственности, один лишь труд являлся бы фактором в расчетах хозяйственных субъектов. Последнее в корне неверно, хотя сама по себе посылка от этого еще не становится шаткой. Большинство классиков выдвигало момент труда на передний план, и в первую очередь Д. Рикардо. Классики могли поступать так потому, что своей теорией земельной ренты как бы исключали из анализа землю и образование ее ценности. Если бы эта теория земельной ренты была незыблема, то мы могли бы, разумеется, совершенно спокойно согласиться с этой точкой зрения. Даже такой независимый ум, как Рэ, довольствовался подобным объяснением, поскольку безоговорочно принял данную теорию земельной ренты. Наконец, третья группа авторов отвечает на наш вопрос отрицательно. К ней именно присоединимся и мы. Решающим для нас является то обстоятельство, что оба первичных фактора производства в равной мере необходимы для производства, причем по одной и той же причине.

На второй вопрос также можно отвечать по-разному совершенно независимо от того, какой ответ был дан на первый. Так, например, Эффертц отводил труду активную, а земле пассивную роль. Для нас ясно, что он при этом имеет в виду. Эффертц полагает, что труд является как бы движущим моментом производства, а земля представляет собой объект, в котором обнаруживает себя труд. Здесь он прав, но такой подход не дает нам ничего нового. В техническом отношении точку зрения Эффертца вряд ли можно чем-то дополнить. Впрочем, эта сторона не является для нас решающей. Для нас важно то, какое место уделяется первичным факторам производства в экономических расчетах и экономической деятельности хозяйственного субъекта. В этом отношении они выглядят совершенно одинаково. В процессе хозяйствования приходится иметь дело и с трудом, и с землей. Как труд, так и земля экономически оцениваются, используются в соответствии с экономическими принципами, и на них одинаково распространяются хозяйственные заботы. Каждый из факторов используется в хозяйственном процессе, и ничего иного с ними не происходит.

Итак, применительно к нашим целям с первичными факторами производства происходит одно и то же. В силу данного последнего обстоятельства мы не отдаем предпочтения ни одному из них. В этом мы сходимся с остальными представителями теории предельной полезности.

Если о факторе производства «земля» нам нечего больше сказать, и это тем более, что мы считаем ненужным в ходе дальнейших рассуждений рассматривать закон убывающего плодородия почвы, долгое время игравший важную роль в политической экономии, то другой фактор производства, а именно труд, заслуживает более пристального рассмотрения. Мы обходим различие между производительным и непроизводительным трудом, ибо для нас дело заключается только в том, чтобы из всех этих вещей выделить то, что необходимо для наших целей. Как несущественные для нас мы оставляем в стороне также различия, которые существуют между трудом, затрачиваемым в производстве прямо, и трудом, используемым косвенно, хотя дискуссии на эту тему, безусловно, могут способствовать более глубокому проникновению в существо явлений и процессов, имеющих место в экономической жизни. Совершенно неважна для нас и разница между умственным и физическим трудом, ибо сам по себе лежащий в ее основе момент не является причиной сколько-нибудь важного экономического различия. Точно так же обстоит дело с «квалифицированным» и «неквалифицированным» трудом. Квалифицированный труд относится к неквалифицированному, если «квалификация» благоприобретена, аналогично тому как орошаемое поле соотносится с полем, находящимся в своем первозданном состоянии. Если квалификация дана от природы, то такой квалифицированный труд относится к неквалифицированному, как хорошие пахотные угодья к плохим. В первом случае речь идет вообще не о изначальном производственном благе, а о продукте, во втором — просто о лучшем первичном производственном благе.

Но два следующих различия важны для нас постольку, поскольку мы можем руководствоваться ими при формулировании одного существенного замечания. Речь идет о различиях между трудом по управлению и управляемым трудом, а также между ненаемным* и наемным трудом. То, что отличает труд по управлению от управляемого труда, кажется на первый взгляд весьма существенным. Назовем здесь две наиболее характерные отличительные черты. Во-первых, труд по управлению занимает по отношению к управляемому труду господствующее положение: в иерархии производства он стоит выше. Этот момент управления и контроля за исполнительным трудом, как нам кажется, выделяет труд по управлению среди всех прочих видов тру-

* Т. е. трудом лиц свободных профессий (например врачей, юристов и т. д.).

да. В то время как исполнительный труд своим положением не отличается от услуг земли и с экономической точки зрения выполняет ту же функцию, что и эта последняя, труд по управлению занимает, видимо, господствующее положение по отношению как к исполнительному труду, так и к услугам земли. Он как бы образует третий фактор производства. Еще одним моментом, отличающим его от исполнительного труда, является само существо этого вида труда. А именно: труд по управлению несет в себе нечто творческое, он сам устанавливает цели для себя и осуществляет особую функцию. Разницу между ненаемным и наемным трудом можно свести к различию между управляемым трудом и трудом по управлению. Ненаемный труд как раз и является чем-то особенным лишь постольку, поскольку он осуществляет именно такие специфические функции; в остальном же он ничем не отличается от наемного труда. Следовательно, если самостоятельный хозяйственный субъект производит на собственный страх и риск и при этом занимается исполнительным трудом, то он тем самым как бы воплощает в себе одновременно двух хозяйственных субъектов — управляющего и рабочего в обычном понимании этого слова. Теперь нам остается подробнее рассмотреть каждый из этих моментов.

Прежде всего, легко убедиться, что наличие одного только первого признака, признака, присущего функции контроля, само по себе не есть основание существенных различий. То лишь обстоятельство, что один рабочий занимает в системе промышленной организации более высокое положение, чем другой, дает последнему указания и осуществляет за ним контроль, еще не превращает его труд в нечто иное. В этом смысле и управляющий, даже если он сам и не прикладывал к чему-либо руки или не участвовал непосредственно в производстве своим умственным трудом, тем не менее косвенным образом трудится в обыденном смысле слова, точно так же, как, скажем, вахтер. Гораздо важнее другой аспект, а именно определение характера, объема и направления производства. Даже если согласиться с тем, что упомянутое более высокое положение в экономическом смысле, а впрочем, даже и в социологическом значит не много, все же в этой функции принятия решения можно обнаружить существенный признак различия.

Итак, мы уяснили, что принятие отнюдь не любого связанного с хозяйственной деятельностью решения может служить оправданием подобного положения данного вида труда в процессе производства. Ведь определенные решения принимаются в процессе выполнения всякой работы. Ни один ученик сапожника не сможет починить башмак, не приняв того или иного решения, не решив самостоятельно каких-либо, пусть в данном случае и небольших, вопросов. «Что» и «как» — этому его учили, однако сказанное не освобождает его от необходимости проявления известной самостоятельности. Когда ра-

ботник электрической компании приходит в квартиру, чтобы устранить неисправности в системе освещения, ему приходится в известной мере принимать собственное решение даже о том, «что» и «как» делать. Торговый агент имеет возможность самостоятельно решать вопрос об установлении цены, ему даже предоставляется — в известных рамках — право устанавливать цену на свой товар, и тем не менее он не является ни «управляющим», ни «лицом ненаемного труда». Управляющему или самостоятельному владельцу предприятия, разумеется, приходится чаще всех принимать решения. Но и его учили, «что» и «как». Сначала он знакомится с «как»: он изучает как технические аспекты производства, так и все необходимые экономические показатели. То, что здесь ему приходится решать, отличается от решений ученика сапожника лишь своими масштабами. А «что» делать, предписывают ему потребности или спрос. Он не самостоятельно принимает решения о средствах производства, а выполняет требования, которые продиктованы обстоятельствами. Он не выдвигает собственных целей, а находит их уже заранее заданными. Разумеется, заданные ему показатели могут меняться, и тогда от его умения будет зависеть, насколько быстро и безболезненно он на них отреагирует. Но так обстоит дело при *осуществлении* любой работы. К тому же он действует, опираясь не на глубокое понимание вещей, а скорее на определенные симптомы, обращать внимание на которые он научился. Винодел не задумывается — по крайней мере как хозяйственный субъект, а не как политик — о самой сути движения по борьбе с алкоголизмом и его перспективах, для того чтобы в зависимости от этого определять свое поведение. Он всего-навсего учитывает тенденции, проявляющиеся через спрос его клиентов. И указанным тенденциям он постепенно уступает, так что для него оказываются неизвестными лишь отдельные моменты, имеющие второстепенное значение. Из сказанного следует, однако, что в той мере, в какой хозяйственные субъекты в своем поведении учитывают лишь выводы из известных им обстоятельств — а это как раз то, что является предметом нашего исследования и что всегда изучала политэкономия, — на существо их труда никак не влияет то обстоятельство, кем они являются: теми, кто управляет, или теми, кем управляют. Деятельность первых подчиняется тем же правилам, что и деятельность вторых, и важной задачей экономической теории как раз и является доказательство такого закономерного характера их деятельности, показ того, что все по видимости произвольное на самом деле твердо определено.

Таким образом, если брать в расчет наши предположения, то окажется, что над средствами производства и процессами производства вообще не стоит, собственно, никакой управляющий. Таковым является потребитель. Тот, кто «управляет» хозяйством, лишь выполняет то, что предписывают ему потребности или спрос, а также данные средс-

тва и методы производства. Отдельные хозяйственные субъекты оказывают влияние лишь в той мере, в какой они являются потребителями, лишь постольку, поскольку они порождают спрос. В этом смысле, конечно, каждый хозяйственный субъект участвует в управлении производством; впрочем, не только хозяйственный субъект, которому выпала роль управляющего предприятием, но и любое другое лицо, в том числе и рабочий в узком понимании этого слова. Персонифицированное управление производством существует лишь постольку, поскольку мы прямо признаем, что с этим управлением не связано ни принятие особых решений, ни осуществление особых затрат труда. Ни в каком другом смысле персонифицированного управления производством не существует; в любом другом смысле существует как бы самостоятельно работающий механизм. Показатели, преобладавшие в экономике в прошлом, известны, и если бы они оставались неизменными, то экономика функционировала бы точно так же, как и прежде. Изменения, которые они могут претерпеть, не столь известны, но в принципе хозяйственный субъект следует за ними. По своей собственной воле он не меняет ничего; хозяйственный субъект изменяет только то, что меняют сами обстоятельства. Он устраняет те несоответствия между экономическими показателями и управлением хозяйством, которые возникают, когда конкретные условия меняются, а люди пытаются продолжать хозяйствовать на прежний манер. Такой представляется нам экономическая деятельность, в известной степени обусловливаемая вещной необходимостью. Разумеется, каждый хозяйственный субъект может действовать иначе, чем предполагается у нас, но в той мере, в какой мы описываем именно воздействие давления вещной необходимости, в народном хозяйстве отсутствует какое бы то ни было творческое начало. Если хозяйственный субъект поступает иначе, то возникают существенно иные явления. Однако здесь речь идет только об изложении присущей хозяйственным объектам внутренней логики. Если делать выводы просто-напросто из анализа вещной необходимости, то речь идет об изложении того, как протекает экономический процесс. В таком случае, следовательно, труд с технической точки зрения все же может выступать как активный момент, хотя в этом не заключается момента различия, поскольку и силы природы могут действовать активно. Для экономической же теории он так же пассивен, как и природные объекты. Единственно активным моментом является стремление к удовлетворению потребностей. Труд и земля же выступают всего-навсего его инструментом.

Отсюда следует также, что количество труда определяется конкретными обстоятельствами. Здесь мы рассмотрим еще один вопрос, остававшийся прежде открытым, а именно вопрос о величине имеющихся в каждый конкретный момент времени запасов труда. Как долго будет трудиться вполне определенное число людей, разумеется, за-

ранее не определяется. Это будет зависеть от того, что могут они ожидать для себя, т. е. для удовлетворения своих потребностей, от этого труда. Итак, если мы допустим на минуту, что наилучшие возможности использования труда известны всем хозяйственным субъектам и что, следовательно, существует твердо определенная шкала таких видов применения труда, то на каждой отметке данной шкалы польза, ожидаемая от любых конкретных затрат труда, сопоставляется с сопровождающим эти затраты нежеланием трудиться. Тысячи голосов твердят нам в повседневной хозяйственной жизни, что работа за хлеб насущный — тяжкое бремя, которое люди на себя взваливают потому, что должны, и которое сбрасывают, если могут. Из указанного обстоятельства однозначно вытекает, как много может трудиться каждый рабочий. В начале любого рабочего дня такое сравнение, естественно, бывает всегда в пользу предстоящего труда. Ведь вначале речь идет об удовлетворении жизненных потребностей, и тогда, когда силы еще не растрачены, момент нежелания работать едва ли ощущается. Однако чем выше становится уровень удовлетворения потребностей, тем больше ослабевает стимул к труду и тем больше возрастает параметр, который каждый раз с ним соотносится, а именно нежелание трудиться, так что сравнение становится все более не в пользу продолжения труда, и так до тех пор, пока у каждого рабочего не наступает момент, когда увеличивающаяся выгода (польза) и возрастающее нежелание трудиться не уравновешивают чаши весов. Интенсивность возбуждения потребностей и интенсивность нежелания трудиться, таким образом, как две самостоятельные, противодействующие силы определяют количество затрачиваемого труда. Эти два момента действуют, как сила пара и торможения, так что при известных обстоятельствах устанавливается определенное равновесие. Конечно, сила обоих моментов различается как в индивидуальном, так и в национальном плане. В этом различии заключается существенное для объяснения судеб людей и народов обстоятельство. Подобного рода различия, однако, не затрагивают существа теоретического правила[19].

Стало быть, услуги труда и земли являются равным образом просто производительной силой. Несомненно, что измерение количества труда любого качества связано с известными трудностями, но оно вполне осуществимо. Точно так же не возникло бы никакой принципиальной сложности в нахождении какой-либо физической меры услуг земли, сколь бы сложным ни было это *in praxi* (на деле). Если бы существовал всего один фактор производства, например если бы все блага создавались трудом одного и того же качества, что можно было

[19] Подробнее см.: «Wesen...». Op. cit., I., II. Buch. Конечно, правило выполняется лишь при заданном успехе, скажем, реальная почасовая заработная плата, однозначный результат.

бы себе представить, допустив, что все дары природы являются свободными благами, так что об экономическом поведении по отношению к таким благам не могло бы быть никакой речи, или если бы оба фактора действовали порознь — один сам по себе производил бы одни блага, а другой другие, — то тогда такое измерение давало бы все, что необходимо хозяину-практику для его хозяйственного плана (*Wirtschaftsplan*). Но в действительности так не бывает. Факторы производства практически всегда действуют одновременно. И если бы теперь производство одного блага определенной ценности требовало трех единиц «труда» и двух единиц «земли», а производство другого — двух единиц труда и трех единиц земли, то какой выбор следовало бы сделать хозяйственному субъекту? Но в действительности так не бывает. Факторы производства практически всегда действуют одновременно. И если бы теперь производство одного блага определенной ценности требовало трех единиц труда и двух единиц земли, а производство другого — двух единиц труда и трех единиц земли, то какой выбор следовало бы сделать хозяйственному субъекту? Для этого ему, очевидно, необходим масштаб соотнесения обеих комбинаций, какая-то относительная величина, или общий знаменатель. Вопрос о подобной относительной величине мы можем назвать проблемой Петти[20].

Решение этой проблемы дает нам теория вменения. Следовательно, у хозяйственного субъекта возникла необходимость измерить относительное значение для его хозяйства указанных количеств средств производства. Ему требуется масштаб, который позволял бы ему регулировать его экономическое поведение *(wirtschaftliches Verhalten)*, ему нужны индексы, на которые он мог бы ориентироваться. Короче говоря, ему необходим масштаб ценности *(Wertmaßstab)*. Но он обладает таковым непосредственно только для своих потребительских благ, ибо только они вызывают у него то ощущение удовлетворения потребностей, интенсивность которого как раз является для него основой определения значимости его благ. Что же касается имеющегося у него запаса услуг труда и земли, то у него на первых порах такого масштаба нет; то же самое следует сказать и о его произведенных средствах производства.

Очевидно, что и эти блага тем значением, которое они имеют для хозяйственного субъекта, обязаны только тому обстоятельству, что они также служат удовлетворению его потребностей. Они содействуют их удовлетворению в той степени, в какой они способствуют созданию потребительских благ. Следовательно, свою ценность они получают от последних, ценность потребительских благ как бы отражается в

[20] В связи со своими работами в области «политической арифметики», которые, как известно, содержат много теоретических идей и другого рода, Петти ставил перед собой такую проблему.

них. Ценность им «вменяется», и на основе этой вмененной ценности они занимают свое место в любом хозяйственном плане. Определенное конечное выражение общей ценности (*Gesamtwert*) запаса средств производства или одного из двух первичных средств производства не всегда можно будет получить таким путем, так как эта совокупная ценность очень часто будет бесконечно велика. Но хозяин-практик, а с ним и теория в этом не нуждаются; будет вполне достаточно, если мы сможем указать ценности каких-то частей общих количеств любого блага, предположив одновременно, что определенные другие части этих количеств хозяйственному субъекту обеспечены. Ведь в любом случае для него речь идет не о том, чтобы «расстаться» с любой возможностью производить, т. е. с возможностью существования, а о том, чтобы использовать определенные количества его производственного запаса для той или иной цели. Изолированный хозяйственный субъект, например тот, который вообще не может производить, т. е. существовать без одного из двух первичных (начальных) факторов производства, окажется не в состоянии указать никакого конечного ценностного выражения для одного из них. В этом отношении Дж.С. Милль совершенно прав, когда говорит, что услуги труда и земли неопределенны и несоизмеримы. Однако он уже не прав, когда дальше заявляет, что и в отдельном конкретном случае никогда нельзя сказать, каков вклад «природы» и труда в создание продукта. Разумеется, физически они неразличимы, но для экономических целей этого и не требуется. Любой хозяйственный субъект очень хорошо знает, что нужно для этого. Ему хорошо известно, каким повышением уровня удовлетворения потребности он обязан соответствующей части общего количества каждого средства производства. Впрочем, мы здесь не станем подробно рассматривать проблемы теории вменения, а довольствуемся констатацией того факта, что каждый хозяйственный субъект признает определенную ценность за каждой единицей того или иного производственного блага[21].

В отличие от потребительной ценности потребительских благ эта ценность производительных благ является ценностью их продукта (Ertragswert) или, говоря иначе, производительной ценностью (Produktivitätswert).

Предельной потребительной полезности первых (Gebrauchsgrenznutzen) соответствует предельная производительная полезность последних (Produktivitätsgrenznutzen), или, если вводить ставшее весьма употребительным выражение, их предельная производительность:

---

[21] См. у К. Менгера, Визера и Бём-Баверка, которые первыми сознательно рассмотрели данную проблему. См. также: «Wesen...». Op. cit., II. Buch, и мои «Bemerkungen zum Zurechnungsproblem». — *Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung*, 1909.

значение отдельно взятой единицы услуг труда и земли задано предельной производительностью труда и земли, которую, следовательно, нужно определять как ценность наименее ценной единицы продукта, что еще может быть произведена при помощи единицы данного запаса услуг труда или земли. Эта ценность показывает ту долю совокупного продукта хозяйства, которая приходится на каждую отдельную услугу труда и земли и потому в известном смысле может быть названа «продуктом» услуг труда или земли. Тому, кто не в ладах с мыслительными построениями теории ценности, эти кратко сформулированные положения скажут совсем не то, что они должны сказать на самом деле. Поэтому я отсылаю читателя к «Распределению богатства» Дж.Б. Кларка, произведению, в котором их можно найти в точном изложении и с объяснением их значения[22]. Одновременно замечу лишь, что это единственный точный смысл выражения «продукт труда», используемого в чисто экономических наблюдениях. Единственно в таком смысле мы и будем его употреблять. Этот смысл мы имеем в виду и тогда, когда говорим, что цены услуг труда и земли в рыночном хозяйстве, т. е. заработная плата и земельная рента, определяются предельной производительностью труда и земли, что, следовательно, в условиях свободной конкуренции земельный собственник и рабочий получают продукт своих средств производства. Здесь мы просто называем ту теорему, которая в современной теории едва ли является спорной. В ходе последующего изложения в данный вопрос будет внесена дополнительная ясность.

Для нас важен еще один момент. В реальной действительности хозяйственный субъект пользуется ценностями средств производства с такой уверенностью потому, что потребительские блага, в которые они превращаются, известны из опыта. Поскольку ценность первых зависит от ценности последних, то она должна была бы измениться в случае, если бы стали производить иные, чем прежде, потребительские блага. И поскольку мы как раз для того, чтобы исследовать смысл данного опыта, отвлекаемся здесь от их существования и хотим посмотреть, как они будут возникать на наших глазах, постольку мы должны исходить из того, что хозяйственный субъект пока еще не осознает возможности выбора между существующими способами применения средств производства. В таком случае он сначала будет применять свои средства производства для производства таких благ, которые в состоянии удовлетворить самые насущные потребности, а затем постепенно перейдет к производству, удовлетворяющему все

[22] Недоразумения могут возникнуть главным образом при недостаточном понимании, что такое предельные величины. См. об этом статью Эджуорта о распределении в *Quarterly Journal of Economics*, 1904, в особенности его возражение на доводы, которые Гобсон выдвинул против Кларка.

менее насущные его потребности. При этом он постоянно, на каждом шагу, будет следить за тем, какие другие потребности окажутся неудовлетворенными в результате того, что он станет использовать производительные блага для удовлетворения потребностей, которым отдает предпочтение в каждый конкретный момент времени. Таким образом, каждый шаг заключает в себе выбор чего-то и отказ от чего-то. С экономической точки зрения допустимо совершать каждый шаг только при том условии, что это не сделает невозможным удовлетворение более интенсивных потребностей. Пока выбор не сделан, средства производства не будут иметь никакой определенной ценности. Каждой воображаемой возможности применения будет соответствовать специфическая ценность определенной части их общего количества. И какая именно из указанных ценностей будет затем окончательно увязываться с той или иной частью общего количества, может выявиться лишь тогда, когда подобный выбор уже сделан и он оправдал себя. Фундаментальное условие, в соответствии с которым потребность не может быть удовлетворена прежде, чем будут удовлетворены более интенсивные потребности, приводит в конечном счете к тому результату, что все блага следует распределять по различным способам их применения таким образом, чтобы предельные полезности каждого из них при любом способе применения были одинаково высоки. В подобном распределении для хозяйственного субъекта заключается тот вариант, который при данных обстоятельствах, с его точки зрения, является наилучшим. Если он поступает именно так, то он вправе сказать себе, что из данных обстоятельств извлек, по его мнению, для себя самое лучшее. Он будет стремиться именно к такому распределению своих благ и станет изменять каждый разработанный или разрабатываемый им хозяйственный план до тех пор, пока не придет к такому распределению. Если он не располагает опытом, то ему следует на ощупь, шаг за шагом искать свой путь к нему. Если же такой опыт, полученный в прошлых хозяйственных периодах, уже имеется, то он попытается идти той же дорогой. А если обстоятельства, отражением которых является данный опыт, изменились, то он уступит давлению новых обстоятельств и приспособит к ним свое поведение и свои оценки.

Таким образом, налицо определенный способ использования каждого блага и, следовательно, определенный способ удовлетворения потребности, а отсюда — и выражающий его индекс ценности отдельной части общего количества благ. Этот индекс ценности характеризует место каждой части общего количества благ в самостоятельном хозяйстве. Если появится новая возможность применения, то ей нужно будет приспособиться к данной ценности. Однако если мы проанализируем суть отдельных «актов выбора», которые предпринял хозяйственный субъект и результатом которых является появление

указанного индекса ценности, то мы обнаружим, что в каждом из них решающей будет не эта окончательная ценность, а другая, определяемая теми или иными обстоятельствами. В тех случаях, когда я распределяю определенное благо между тремя возможностями его применения, при появлении четвертой возможности я стану использовать его в соответствии с уровнем потребности, достигнутым благодаря первым трем. Впрочем, для распределения блага между первыми тремя возможностями решающее значение имеет не эта ценность, поскольку она возникает лишь в силу реализации данного распределения. Решающее значение *для него* имеют те ценности, которые можно было бы реализовать в каждой из имеющихся возможностей применения. Таким образом, по-видимому, для любого блага в конечном счете устанавливается определенная ценностная шкала, в которой отражаются ценности всех возможностей его использования и которая придает ему определенную предельную полезность. Для средства производства она, как сказано, задана его «продуктом», а по выражению Визера, его «производительным вкладом» (produktiver Beitrag). Но эта ценностная шкала и эта предельная полезность являются лишь результатом спокойно протекающего экономического процесса, результатом акта окончательного выбора. Там же, где еще предстоит делать выбор, в зависимости от обстоятельств во внимание принимаются другие величины ценности.

Поскольку, следовательно, любое производство включает в себя выбор между возможностями применения и всегда означает отказ от производства других благ, постольку оно никогда не предоставляет хозяйственному субъекту одни только преимущества. Конечно, удовлетворенные потребности всегда будут более насущными, нежели те, удовлетворение которых отложено, иначе выбор не пал бы на них. Однако чистой прибылью является не вся ценность продукта, а только ее превышение над ценностью того продукта, который был бы произведен в противном случае. Ценность последнего представляет собой аргумент против избранного производства и в то же время является мерилом весомости этого аргумента. Здесь нам приходится сталкиваться с феноменом издержек. Издержки — это ценностный феномен. То, чего в конечном счете стоит производство какого-нибудь блага производителю, — это те потребительские блага, которые в ином случае можно было бы получить с помощью тех же средств производства и которые теперь из-за выбора, сделанного в пользу другого производства, не могут быть изготовлены. Поэтому использование средств производства связано с определенными жертвами. Так же обстоит дело и с затратами труда. Если кто-либо намеревается затратить известное количество труда для достижения определенной цели, прежде всего задается вопросом, что мог бы он еще сделать, располагая тем же количеством труда. И он решается использовать данную возможность

лишь тогда, когда благо, создаваемое трудом в процессе ее использования, обладает самой высокой — из всех возможных — ценностью. В этом смысле с трудом поступают так же, как и с другими благами. Конечно, здесь приходится иметь дело еще с одним привходящим условием, которое всегда должно выполняться. Это то условие, о котором мы уже говорили. Оно заключается в том, что любой способ применения, для того чтобы его можно было принять во внимание, должен приносить пользу, которая хотя бы уравновешивала связанные с затратой труда тяготы. Но это ничего не меняет в том, что в пределах, в которых данное условие выполняется, хозяйственный субъект относится к затратам труда так же, как и к затратам прочих благ.

Неудовлетворенные потребности, таким образом, играют для экономики отнюдь не малую роль. Давление, оказываемое ими, проявляется всюду, и любое имеющее отношение к производству мероприятие должно успешно противостоять ему. И чем дальше хозяйственный субъект продвигается в каком-то определенном направлении производства, чем больше определенных благ он производит, тем ожесточеннее становится это противоборство. Короче, чем полнее удовлетворяется конкретная категория потребностей, тем ниже интенсивность соответствующих потребностей, а потому тем меньше прирост ценности, достигаемый за счет продолжения производства. Но одновременно увеличиваются жертвы, связанные с ведением производства в определенном направлении: ведь необходимые для производства данного продукта средства производства следует отвлекать от удовлетворения все более насущных потребностей, от все более важных категорий потребностей. Следовательно, уменьшаться станет и выигрыш в ценности от производства данного продукта. В конце концов этого выигрыша вообще не будет. Если это происходит, то приходйт конец любому конкретному виду производства. Следовательно, мы вправе здесь говорить о законе убывания отдачи от производства (Gesetz der Abnahme des Produktionsertrages). Он, однако, имеет совершенно иной смысл, нежели закон уменьшения физической отдачи от производства (Abnahme des physischen Produktionsertrages). Здесь речь идет об уменьшении *полезного эффекта, получаемого в расчете на единицу производимой продукции,* т. е. о чем-то совершенно ином. Значение данного положения не зависит от названного выше закона убывания физической отдачи[23]. Последний говорит лишь о том, что содержащиеся в производственном благе единицы физического производительного труда не являются одинаково легкодоступными и что

[23] Отказываясь от закона физического убывания, мы делаем решающий шаг, уводящий нас от системы классиков. См. мою статью «Das Rentenprinzip in der Verteilungslehre». — In: «Schmollers Jahrbuch», 1906 und 1907; F. X. Weib. «Abnehmender Ertrag». — In: «Handwörterbuch der Staatswissenschaften».

трудность их получения постоянно возрастает. Как и любое другое техническое обстоятельство, сказанное важно в практическом отношении; однако легко убедиться, что экономический закон возрастания издержек в конце концов проложил бы себе путь и в том случае, если бы физический закон не имел силы или даже действовало противоположное ему положение. Ведь себестоимость, которые необходимо осуществить, в конечном счете возросла бы настолько, что полезный эффект, получаемый от производственной деятельности, был бы сведен на нет и в том случае, если бы физическая величина данных затрат постоянно снижалась. Будь это так, то уровень удовлетворения потребностей в любом хозяйстве был бы выше, но основополагающие процессы экономики по этой причине не изменились бы.

Внимание, которое хозяйственные субъекты уделяют моменту издержек производства, есть, таким образом, не что иное, как учет других возможностей использования производственных благ. Такой учет становится препятствием на пути всякого производительного применения и образует ту путеводную нить, которой придерживается каждый хозяйственный субъект. Но на практике сила привычки очень скоро превращает эти соображения в краткие, удобные формулировки, которыми каждый хозяйственный субъект пользуется, не прибегая всякий раз к новым оборотам. Подобная краткая формулировка содержится в понятии «ценность затрат» (Kostenwert). Именно с этим показателем, величина которого твердо известна хозяйственному субъекту и которую он лишь приспосабливает к меняющимся обстоятельствам, он и работает. В ней отражаются, во многом неосознанно, все связи и зависимости между потребностями и имеющимися средствами, в ней находят свое отражение его условия жизни и хозяйственный кругозор.

Издержки как ценностное выражение нереализованных возможностей применения составляют статьи пассива в хозяйственном балансе. Таков самый глубокий смысл феномена издержек. От указанного ценностного выражения следует отличать ценность благ, входящих в издержки, ибо последняя, при сделанных нами допущениях, содержит более высокую ценность действительно произведенных продуктов. Но в граничной точке производства (Produktionsgrenze) обе величины в соответствии со сказанным равны, поскольку в ней величина издержек приближается к предельной полезности продукта, а следовательно, и задействованной комбинации средств производства. В данной точке имеет место то относительно лучшее состояние, которое принято называть экономическим равновесием[24] и которое, пока сохраняются условия его существования, по-видимому, стремится повторить себя в каждом хозяйственном периоде.

[24] См.: «Wesen...». Op. cit., II. Buch.

Из сказанного теперь можно сделать весьма примечательные выводы. Прежде всего отсюда следует, что последняя часть общего количества любого продукта производится в условиях, когда уже более нет никакого превышения получаемого полезного эффекта над издержками. Конечно, правильно рассматривать данное обстоятельство как само собой разумеющееся. Впрочем, отсюда, далее, вытекает, что при производстве вообще нельзя добиться никакого превышения ценности продукта над ценностью издержек. В процессе производства реализуются лишь предусмотренные хозяйственным планом ценности, потенциально содержащиеся в ценности средств производства. И в этом — как, впрочем, и в ранее упоминавшемся — смысле производство не «создает» никаких ценностей, иными словами, в процессе производства не происходит никакого повышения ценности. Собственно говоря, это совершенно очевидно. Удовлетворение будущих потребностей, пока производство еще не выполнило своей миссии, зависит от владения соответствующими средствами производства точно так же, как зависит оно от владения продуктами уже после того, как производство выполнит эту миссию. Хозяйственный субъект будет стремиться устранять опасность, грозящую его владению средствами производства, не менее энергично, чем опасность, нависшую над его владением продуктами. Он откажется от первого права, только получив ту же компенсацию, что и за отказ от второго.

Однако процесс вменения должен дойти до конечных элементов производства, до услуг труда и земли. Его нельзя остановить на одном из произведенных производственных благ, поскольку в отношении каждого из них может быть повторен тот же ход рассуждений. Все это позволяет в правильном свете показать наш результат. И вот здесь выявляется, что в общем и целом ни один продукт не в состоянии обеспечить известное превышение над ценностью заключенных в нем услуг труда и земли. Ранее мы разбили произведенные средства производства на труд и землю и констатировали, что в физическом процессе производства они — что вполне обоснованно — не играют той роли, которая существенна для экономического анализа. Сейчас же мы еще видим, что в процессе определения ценности они являются всего-навсего промежуточным звеном.

Поэтому в рыночном хозяйстве — мы здесь на мгновение забежим вперед — цены всех продуктов при свободной конкуренции должны быть равны ценам заключенных в них услуг труда и природы. Ни к конечным, ни к промежуточным продуктам не могла бы «прирасти» даже самая ничтожная прибыль. Дело в том, что та цена, которая по завершении производства устанавливается для продукта, прежде должна быть достигнута и для комплекса необходимых средств производства как раз потому, что от последних зависит столько же, сколько и от самого продукта. Любому производителю пришлось бы отдать всю свою выручку тем, кто поставил ему средства производ-

ства, а поскольку и эти являлись бы производителями каких-либо иных продуктов, то им в свою очередь пришлось бы также отдать свой доход. И это продолжалось бы до тех пор, пока в конце концов вся первоначальная сумма цен не досталась бы поставщикам услуг труда и природы. Сказанное предстоит еще разработать более глубоко.

И здесь нам приходится столкнуться со вторым, рыночным (verkehrswirtschaftlich) аспектом понятия издержек. Деловой человек рассматривает в качестве издержек те суммы денег, которые он вынужден платить другим хозяйственным субъектам для того, чтобы получить свой товар или средства его производства, т. е. свои расходы на производство или приобретение благ. Мы дополним его представление, включив в издержки также денежную ценность его собственных затрат труда[25]. В таком случае издержки по сути своей являются суммой цен услуг труда и природы. И эта сумма цен в любой сфере народного хозяйства должна быть равна поступлениям от продуктов. Следовательно, производство в принципе не должно было бы давать прибыль. Понятие чистой прибыли, как и понятие издержек, носит двойственный характер. В рамках самостоятельного хозяйства чистая прибыль представляет собой ту величину ценности, на которую при данных условиях наивыгоднейший способ применения отличается от следующего за ним по степени выгодности, от которого приходится отказываться из-за того, что выбор сделан в пользу первого. В предельной точке производства не существует подобного излишка: по своей природе он интрамаржинален. Впрочем, в рыночном хозяйстве чистая прибыль представляла бы собой разницу между нормой затрат и выручкой. В условиях равновесия народного хозяйства эта разница равна нулю. Если в самостоятельном хозяйстве исчезновение прибыли (Wertgewinn) означает не что иное, как то, что вся возможная прибыль уже была реализована, то отсутствие чистой прибыли в рыночном хозяйстве означает, что ценность продуктов вообще не превышает ценность средств производства. Чистой прибыли в этом последнем, единственно нас интересующем смысле не существует также и в замкнутом хозяйстве, поскольку в нем ценность всех продуктов в конечном счете вменяется первичным средствам производства.

Парадоксом является то, что народное хозяйство именно в самом совершенном состоянии должно было бы функционировать, не принося никакой прибыли. Если попытаться представить себе значимость наших тезисов, то окажется, что парадокс этот отчасти исчезает. Разумеется, наше утверждение означает вовсе не то, что в народном хозяйстве, когда оно наилучшим образом сбалансировано, производство не дает никаких результатов, а только то, что результаты в этом слу-

[25] Собственные затраты труда, по меткому замечанию Сигера, являются как бы «действительными расходами» (см.: Seager. Introduction, p. 55). Ренту со своей земли каждый деловой человек и так относит к расходам, если он вообще правильно ведет учет.

чае полностью относятся на первичные факторы производства. Подобно тому как ценность является симптомом нашей бедности, прибыль выступает как симптом несовершенства. Парадокс заключается в другом. Ведь здесь важно иметь ясное представление о том, что наличие известного превышения ценности следует объяснять существованием естественных преимуществ и относить на счет даровых благ природы (например, благоприятного положения участка земли и т. п.). Я должен заметить, что факт существования дифференциальной ренты отнюдь не является весомым контраргументом. Одновременно хотелось бы избежать и другого возможного недоразумения. Производитель изготовляет такое количество продуктов, при котором предельные издержки равны предельной выручке. Разве он при этом не получает интрамаржинальную прибыль (intramarginaler Gewinn)? Та часть общего количества продуктов, которая производится последней, не приносит ее. А разве не дают ее предшествующие части, производимые при более низких издержках и продаваемые по более высокой цене? Нет, не дают. Дело в том, что подобный метод рассмотрения должен только научить нас понимать масштабы (размеры) производства. Из него вовсе не следует, что производитель изготовляет и продает свой продукт последовательно и постепенно. Он производит все единицы своего продукта с предельными издержками и получает за все только предельную цену.

Разве, наконец, в народном хозяйстве не может существовать общая норма чистой прибыли? Конкуренция может «вымыть», унести конкретную чистую прибыль из той или иной отрасли, но прибыль исчезла бы, если бы таковая существовала одновременно во всех отраслях: в этом случае у производителей больше не было бы стимула конкурировать друг с другом, в то время как рабочие и землевладельцы имеют возможность конкурировать только между собой, но не с производителем на товарном рынке. Это означало бы глубокое непонимание сущности конкуренции. Предположим, что производители получают такую прибыль. В этом случае им следовало бы соответствующим образом оценивать те средства производства, благодаря которым они ее получили. Это либо первичные средства производства, т. е. их собственный вклад или дары природы, и в таком случае мы находимся в той точке, что и прежде, либо произведенные средства производства, и тогда их необходимо соответствующим образом оценивать. Сказанное означает, что заключенные в них услуги труда и земли должны оцениваться выше, чем другие услуги труда и земли. Последнее, однако, невозможно, поскольку с этими затратами услуг труда и земли могут успешно конкурировать рабочие и землевладельцы. Следовательно, той чистой прибыли, о которой идет речь, быть не может. Как в замкнутом хозяйстве, когда производство осуществляется с учетом потребности в определенных продуктах, ценность которых должна быть заложена уже в ценности первичных производственных услуг

(при этом величина ценности должна оставаться неизменной независимо от того, сколь большое число стадий промежуточных продуктов предстоит еще пройти этим услугам), так и в рыночном хозяйстве, даже если процесс производства поделен между большим числом самостоятельных предприятии, ценность и цена первоначальных производственных услуг абсорбируют ценность и цену продуктов, так как каждый хозяйственный субъект оценивает средства производства, которые он получает, в зависимости от их производственных показателей. И как раз на подобную оценку ориентированы их производство — если это произведенные средства производства — и цена. По этой причине общий излишек, или чистая прибыль, невозможны. Я не хочу чересчур утомлять читателя и поэтому остальные относящиеся к данному вопросу исследования провожу в другом месте[26].

Подобное понимание далеко от реальной жизни, а от теории — не настолько, насколько можно было бы предположить. С тех пор как основные классические положения приобрели более устойчивые формы, т. е. самое позднее со времен Рикардо, большинство авторов вынуждено было согласиться со всем этим. Ведь принцип издержек вместе со сведением издержек к труду необходимо подводит к нему. Стоит лишь поглубже задуматься над этими вещами. Действительно, отсюда становится объяснимой и тенденция рассматривать все возможные виды доходов, в том числе и процент, в качестве заработной платы. Если, несмотря на это, наш результат не выражен со всей категоричностью[27], то происходит это по той простой причине, что, во-первых, старшее поколение политэкономов вообще не проявляло особой строгости касательно признания необходимых выводов из фундаментальных принципов и что, во-вторых, наш результат, как кажется, чересчур явно противоречит фактам. Тем не менее это неизбежно. В лице теории вменения мы имеем новое подтверждение его, а Бём-Баверк был первым, кто однозначно заявил, что вся ценность продукта в принципе должна была бы распределяться между услугами труда и земли, если бы процесс производства протекал идеально. Для этого нужно, чтобы все народное хозяйство был точно сориентировано на те виды производства, которые предполагается осуществить, чтобы соответственно были зафиксированы все ценности, чтобы все хозяйственные планы тесно переплетались между собой, а их осуществлению ничто бы не мешало. В первом приближении это возможно, однако, только тогда, когда народное хозяйство движется по пути, известному всем его членам из их длительного практического опыта.

---

[26] См. особенно главы четвертую и пятую.

[27] Это сделал, например, Лотц. Правда, затем, поддавшись слабости, он отказывается от этого вывода («Handbuch der Staatswirtschaftslehre», 1821). Весьма сходные мысли можно найти у Смита.

Два обстоятельства, продолжает Бём-Баверк, способствуют тому, что эта тождественность ценности продукта и ценности средств производства постоянно нарушается. Одно нам известно как сопротивление трения. В силу множества причин большой организм народного хозяйства функционирует недостаточно аккуратно. Ошибки, несчастные случаи, инертность и т. д. становятся, как известно, постоянным источником потерь, но, впрочем, также и прибылей[28].

Но прежде чем перейти к рассмотрению второго обстоятельства, приводимого Бём-Баверком, скажем несколько слов о двух моментах, имеющих существенное значение. Это, во-первых, момент риска. Что касается экономики, то здесь принимаются во внимание два вида риска: риск, связанный с возможным техническим провалом производства (сюда же мы можем отнести также опасность потери благ, порожденную стихийными бедствиями), и риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха. Поскольку оба эти риска учитываются, они прямо влияют на хозяйственные планы. Хозяйственные субъекты либо включат в свои калькуляции издержек премии за риск, либо осуществят затраты с тем, чтобы избежать тех или иных опасностей, либо, наконец, они учтут — и уравняют — различия, существующие между отдельными отраслями производства в уровнях риска, таким образом, что просто будут подальше держаться от более рискованных отраслей производства до тех пор, пока увеличившийся благодаря такому поведению доход не явится для них соответствующей компенсацией[29]. Ни один из указанных способов избежания экономических рисков в принципе не обеспечивает получения прибыли. Тот, кто пытается уменьшить или вовсе исключить риски посредством принятия каких-либо мер — строительства плотин, установки предохранительных устройств на машинах и т. д., — тот, пожалуй, обладает преимуществом, которое заключается в том, что ему обеспечивается доход от производства, но одновременно он несет обычно также и соответствующие издержки. Премия за риск не является *для производителя* источником прибыли, таковым она служит в лучшем случае для страховой компании, которая может получать на этом промежуточную прибыль главным образом за счет объединения многих рисков: со временем, при возникновении в том необходимости, ее используют. И эта компенсация за повышенные риски лишь чисто внешне является более высоким доходом: величину последнего следует еще умножить на коэффициент вероятности, вследствие чего его реальная ценность вновь умень-

[28] См.: E. Böhm-Bawerk. Positive Theorie des Kapitalzinses. 4. Auflage, S. 219 und 316.

[29] См. у Эмери, который цитируется в моей статье «Die neuere Wirtschaftstheorie in den Vereinigten Staaten». — In: «Schmollers Jahrbuch, 1910»; а также I. Fisher. Capital and Income. New York, 1906.

шится, причем именно на величину существующего превышения. Тот, кто просто потребляет данный излишек, с течением времени поплатится за это. Поэтому ничего не выходит ни с самостоятельной ролью, часто приписываемой моменту риска в экономике, ни с самостоятельным доходом, который с этим иной раз связывали. И ныне сказанное получает все более широкое признание. Иначе обстоит дело, когда риски не предусматриваются заранее или, во всяком случае, не учитываются в хозяйственном плане. Тогда они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой — прибылей. Последнее происходит, когда эти возможные для хозяйственного субъекта потери не наступают вообще или когда — данное обстоятельство имеет силу для *прочих* хозяйственных субъектов — из-за несчастного случая вследствие временного или длительного выбытия пострадавшего субъекта предложение отстает — причем только *временно* — от спроса по привычной цене.

Наиболее обильным источником подобных прибылей и убытков — и это второй момент, о котором мне хотелось бы здесь упомянуть, — являются стихийные изменения данных, которыми привыкли оперировать хозяйственные субъекты. Они создают новые ситуации, приспособление к которым требует времени. И до того, как это произошло, в народном хозяйстве можно наблюдать значительное число случаев положительной или отрицательной разницы между издержками и выручкой. Приспособление всегда связано с определенными трудностями. Даже само признание того факта, что положение дел изменилось, не происходит в большинстве случаев с желаемой быстротой. Сделать выводы из такого признания — это снова серьезный шаг, осуществление которого наталкивается на отсутствие навыков, умения, средств и т. д. Также невозможно полное приспособление к уже имеющимся продуктам, и особенно к благам длительного пользования. За то время, которое должно пройти до их полного износа, неизбежно происходят подобные изменения, и этим обусловлена одна из особенностей формирования их ценности, о которой Рикардо говорит в разделе IV первой главы своего труда. Доходы, получаемые от них, утрачивают живую связь с издержками и посему должны рассматриваться сами по себе, а их ценности должны соответственно изменяться вне всякой зависимости от соответствующей модификации предложения. Таким образом, они становятся в известном смысле доходами особого рода, которые могут как превышать суммы цен заключенных в них услуг труда и земли, так и быть ниже таковых. Для хозяйственных субъектов эти доходы играют примерно ту же роль, что и услуги природы ограниченного срока действия. Мы вслед за А. Маршаллом называем их «квазирентами».

Бём-Баверк приводит, однако, и второе обстоятельство, обусловливающее изменение результата вменения и препятствующее отнесению части ценности продукта на услуги труда и природы. Таким обстоятельством, как известно, является течение времени[30], которое сопутствует любому производству, исключая мгновенно совершающееся производство — примитивный поиск пищи. В этой связи средства производства не были бы просто потенциальными потребительскими благами, они обладали бы по сравнению с ними новым существенным признаком. В такой ситуации существенным стало бы то обстоятельство, что они отстоят от готовых к потреблению благ во времени, и именно потому, что нынешние блага ценятся выше будущих. Средства производства выступали бы как блага, которые будут потреблены в будущем, а потому как таковые были бы менее ценными, чем блага, предназначенные для текущего потребления. Их ценностью не исчерпывалась бы ценность продукта.

Здесь мы касаемся довольно щекотливой темы. Тщательного анализа требует как, вне всякого сомнения, имеющаяся налицо фактическая основа, так и экономическая значимость явления, нашедшего отражение в теории. Для него характерно тесное переплетение факторов влияния, разграничить которые чрезвычайно сложно. К рассмотрению некоторых из них мы еще вернемся. В данной книге мы не имеем возможности полностью рассмотреть этот предмет, поскольку для нее поставленный вопрос имеет значение лишь в плане защиты основных положений, содержащихся в книге. Мы постараемся найти ответ на один-единственный вопрос, а именно: имеет ли место в нормальном кругообороте народного хозяйства, в котором процесс производства повторяется из года в год, а все показатели остаются без изменений, постоянная — в сравнении с продуктами — недооценка средств производства? Впрочем, данный вопрос распадается на два других: может ли в таком народном хозяйстве, если отвлечься от связанного с объективными обстоятельствами и личными особенностями риска, будущее удовлетворение потребностей в общем и целом оцениваться ниже, чем нынешнее? Может ли то, что происходит с течением времени в кругообороте данного народного хозяйства, служить основанием разницы между ценностями, причем совершенно независимо от воздействия хода времени, взятого самого по себе?

Достаточно убедительно прозвучал бы утвердительный ответ на первый вопрос. Разумеется, немедленное исполнение обещанного и получение ценного для меня дара лучше, чем исполнение обещания в

[30] Крупнейшими авторитетами в области изучения фактора времени в экономике является Бём-Баверк и, во вторую очередь, У.Ст. Джевонс и Джон Рэ. Что касается детальной разработки проблемы «временного предпочтения», то интерес представляет работа: I. Fisher. Rate of Interest. См. также исследование фактора времени у А. Маршалла.

будущем[31]. Однако речь здесь идет не о подобных вещах, а об оценке неизменных, регулярно поступающих элементов дохода. Постараемся представить себе следующий случай. Некое лицо пользуется пожизненной рентой. Его потребности на протяжении всей жизни оставались абсолютно неизменными по своему характеру и интенсивности. Рента довольно большая и имеет солидное обеспечение, достаточное для того, чтобы избавить пользователя от необходимости создания резервного фонда для особых случаев и в расчете на возможные убытки. Он чувствует себя застрахованным от неожиданно появляющихся обязательств, обусловливаемых другими, или необычными желаниями. Никаких возможностей для доходного помещения накопленных сумм не существует, так как если бы мы исходили из наличия такой возможности, то тем самым мы допустили бы существование процента и оказались бы в опасной близости от порочного круга. Станет ли теперь этот человек в подобной ситуаций ценить свою будущую ренту меньше, чем ту, что отстоит по времени не так далеко? Откажется ли он — при этом мы постоянно оставляем в стороне личные риски, связанные с возможностью умереть раньше, — скорее от будущей, чем от теперешней ренты? Разумеется, нет, поскольку если бы он так оценивал и действовал, т. е. если бы он отказался от будущей ренты за меньшую компенсацию, чем от не так далеко отстоящей по времени, то с течением времени он обнаружил бы, что уровень удовлетворения его потребностей оказался ниже того, которого он мог бы достичь. Его подход принес бы ему, следовательно, убыток, он оказался бы неэкономичным. Такой подход тем не менее может встретиться, как, впрочем, могут иметь место и другие отклонения от правил целесообразности, в том числе и допускаемые вполне сознательно. Но это не является элементом самих указанных правил целесообразности, которые мы здесь исследуем[32]. Правда, большинство отклонений, с которыми мы встречаемся в практической жизни, не являются «нарушениями» и объясняются тем, что не были реализованы наши предпосылки. Но там, где мы обнаруживаем совершенно инстинктивные переоценки текущего потребления, особенно у ребенка и дикаря, — там в большинстве случаев могут возникать расхождения между экономическими задачами, которые необходимо решить, и экономическим кругозором субъекта; ребенок и дикарь, например, знакомы только с мгновен-

[31] Вообще говоря, следует сразу же отметить, что и этот факт не так ясен и прост и что, скорее, его причины еще нуждаются в анализе, который в дальнейшем будет вкратце проведен.

[32] Я боюсь, что профессор Фишер нанес смертельный удар правильному пониманию значения фактора времени новой формулировкой, которую он ему дал (*Scientia*, 1911). Он усматривает его в нетерпении хозяйственных субъектов. Данная формулировка представляет собой как раз контраргумент, ибо нетерпение не является элементом процесса производства.

ным производством и отражающейся в нем и развившейся на его основе заботой о настоящем. Будущие потребности не кажутся им менее значительными, они их попросту не видят. Поэтому они окажутся непригодными для принятия решений, требующих учета последних. Это естественно, но такие решения им в обычном случае и не приходится принимать. Тот, кто чувствует двойной ритм потребностей и средств их удовлетворения, тот, вероятно, может в конкретном случае не обратить внимание на следующий отсюда вывод о том, что односторонний перенос обоих во времени только вредит, но не отклонять его в принципе.

Наш пример представляет собой лишь строгое понимание типичного положения хозяйственных субъектов в народном хозяйстве, как оно в данный момент предстает перед нашим взором. В нем в беспрестанном вращении сменяют друг друга хозяйственные периоды с остающимися в принципе всегда неизменными доходами. Будущие потребности, которыми субъективно пренебрегают, должны были бы за пренебрежение ими воздать должное любому хозяйственному субъекту. К тому же, как правило, не существует повода для сравнения теперешних и будущих ценностей, поскольку хозяйство идет своим определенным путем. Оно ориентировано на известные виды производства. В любом случае идущий в данный момент процесс производства надлежит довести до конца. Здесь не помогает никакая переоценка нынешних потребностей. Но если это произошло, то будущие потребности стали уже потребностями теперешними. Выбора между настоящим и будущим у хозяйственных субъектов вовсе не существует. Дальше сказанное еще более прояснится.

Но как обстоит дело с нашим вторым вопросом? Разве процесс производства не может протекать в таких формах, для которых не подходят условия нашего типичного случая? Разве постоянный поток благ не может ослабляться или усиливаться? И в особенности разве то обстоятельство, что более экономичный метод производства требует больше времени, не должно влиять на ценность теперешних запасов благ, которые только и позволяют делать подобный выбор, и превращать время в фактор хозяйственного кругооборота? Отрицательный ответ, который мы даем на поставленный вопрос, легко может быть неверно истолкован, и его действительное значение выяснится лишь позднее. Фактическая роль хода времени в экономике не отрицается. Ее нужно лишь иначе объяснить. Уже здесь, в частности, следует сказать, что *введение* более экономичных, но и более длительных процессов опять-таки представляет собой нечто иное и что вопрос, как при этом действует момент времени, надлежит обсудить особо. Но сейчас об этом нет и речи. Мы говорим не о введении новых процессов, а о кругообороте народного хозяйства, которое работает с конкретными, уже протекающими процессами. Здесь всегда принимается в расчет

однажды введенный более экономичный метод производства, *поскольку он и в настоящий момент дает больше продуктов, чем менее экономичный*, как это мы вскоре увидим. «Более экономичным» тот или иной процесс производства называется здесь тогда, когда он дает больше продуктов, чем все вместе взятые менее экономичные процессы производства, которые могут быть реализованы за то же время. Если необходимые количества средств производства уже заданы, то данный метод будет вновь и вновь использоваться без всякого дополнительного выбора. В соответствии с нашими посылками при использовании данного метода продукты производятся непрерывно. Но даже если бы это выглядело иначе, тем не менее никакой недооценки будущего продукта не было бы. С точки зрения своего периодического возобновления данный метод при сделанных допущениях не имел бы никакого смысла[33]; во всяком случае, благодаря ему, скорее, установилось бы равномерное распределение потребления во времени. Я могу, конечно, оценивать теперешние блага выше, при условии что обладание ими обеспечит мне в будущем больше благ, чем до сих пор. Но я не стану этого больше делать, и мои оценки настоящего и будущего должны уравняться, если я буду уверен в том, что поток благ будет более обильным и мое хозяйство ориентировано на него. В таком случае блага в будущем больше «не зависят» от обладания нынешними благами. Мы можем распространить пример с нашим пенсионером и на этот случай. Допустим, что до сих пор он получал ежемесячно ренту в 1 тыс. крон. Отныне ему предлагают вместо этого в конце каждого года выдавать 20 тыс. крон. Здесь надо иметь в виду, что до наступления срока выплаты первой годовой ренты момент отсрочки может проявить себя весьма неприятным образом. Но после этой выплаты наш пенсионер увидит, что его положение улучшилось, причем по его оценке это улучшение составит полновесный плюс в 8 тыс. крон, а не часть данной суммы.

В известной степени аналогичные вещи следовало бы сказать и в отношении момента воздержания[34], необходимости ожидания. И прежде всего я отсылаю здесь читателя к высказываниям по этому поводу

---

[33] Во всяком случае, непосредственно после сбора урожая зерно стоит дешевле, чем впоследствии. Этот факт объясняется издержками хранения, фактом реального существования процента и другими обстоятельствами, которые в своей совокупности ничего не меняют в нашем принципе.

[34] Основными авторами по данному вопросу являются Сениор и — с другой стороны — Бём-Баверк в его «Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien». В последнее время следует отметить в первую очередь работы американского автора Мак-Вейна. См. также статью «Abstinence в Palgravés Dictionary» и приводимую там литературу. Типичной с точки зрения той беззаботной бесцеремонности, с которой нередко обходятся с этим моментом, является работа: Cassel. Nature and Necessity of the Rate of Interest. Наша позиция тесно смыкается с позицией Визера в «Natürlicher Wert» и Джона Б. Кларка в «Distribution of Wealt». См. также: «Wesen...». Op. cit., III. Buch.

Бёма-Баверка. Для нас важно лишь уточнить наше отношение к данному вопросу. Указанный феномен также нельзя просто отрицать. Но он много сложнее, чем кажется на первый взгляд, и характерно, что природа и формы проявления его еще не становились предметом глубокого анализа. И здесь следует отличать однократное использование предпосылок какого-либо производства от обеспечения постоянного производства. Какова бы ни была роль воздержания в первом случае — нам еще придется поговорить об этом, и прежде всего при рассмотрении проблем сбережений в следующей главе, — наверняка при воздержании не возникает каждый раз необходимости ожидания. Регулярно поступающих доходов просто не приходится «ожидать,» так как их можно получить как раз тогда, когда они необходимы. В нормальном кругообороте хозяйства не нужно периодически бороться с искушением организовать «мгновенное» производство, поскольку с ним, вне сомнения, дело обстояло бы явно хуже. О воздержании в смысле непотребления источников дохода не может быть речи потому, что при наших допущениях не существует иных источников дохода, нежели труд и земля. Впрочем, разве момент воздержания не мог бы быть вовлечен в конечном счете в нормальный кругооборот хозяйства по той причине, что это воздержание, необходимое для разового создания предпосылок для ведения данного хозяйства, именно и должно тогда оплачиваться из постоянного дохода от производства? Во-первых, в ходе нашего исследования выявится, что данный момент и при создании предпосылок для производства играет всего-навсего второстепенную роль, что, конкретно говоря, внедрение новых методов производства вообще не требует никакого предварительного накопления благ. Во-вторых, в данном случае отдельный расчет элемента воздержания означал бы, как показал Бём-Баверк, двойной счет в отношении одной и той же позиции[35]. Как бы ни обстояло дело с моментом необходимости ожидания, он определенно не является элементом рассматриваемого здесь хозяйственного процесса.

Из самой природы остающегося неизменным кругооборота хозяйства вытекает, что не существует никакого разрыва между осуществлением затрат и удовлетворением потребностей. Они, по удачному выражению проф. Кларка, автоматически «синхронизируются»[36]. Именно теория в стремлении объяснить в связи с этим роль процента

---

[35] Подход к тому же предмету Фишера («Rate of Interest», p. 43—51) порочен в силу того, что предметом рассмотрения становится и зависящий от фактора времени банковский (учетный) процент, который автор весьма легкомысленно считает чем-то самим собою разумеющимся.

[36] Кларк, правда, приписывает капиталу заслугу в том, что именно он порождает такую «синхронизацию». Как станет видно впоследствии, мы не следуем за ним в данном вопросе. Я еще раз подчеркиваю: затраты и результаты синхронизируются автоматически, под давлением прибылей и потерь, стимулирующих или сдерживающих деятельность хозяйственного субъекта.

исказила совершенно ясное существо вопроса, поскольку факт существования процента вносит определенные неясности в него. Изложенное нами приобретет правильное звучание, если мы ко всему прочему дадим схематическую картину хозяйственного процесса в том виде, каким мы его себе теперь представляем. Но прежде сделаем еще несколько замечаний другого рода.

С разрешением проблемы вменения формирование ценностей отдельно взятых благ в экономике получило свое объяснение. Следует только добавить, что ценности как таковые взаимообусловливают друг друга, а не существуют вне связи между собой. Исключение из данного правила существует лишь там, где для блага, которое не может быть заменено другим, имеются точно так же незаменимые и, кроме того, непригодные для другого использования средства производства. Такие случаи легко себе представить, они могут иметь место, например, в отношении потребительских благ, поставляемых непосредственно природой. Но число подобных исключений постоянно сокращается. Все прочие массы благ и их ценности находятся в тесной взаимосвязи. Эти взаимосвязи предопределены тем, что между благами существуют отношения взаимодополняемости, взаимозаменяемости, многоцелевого использования и производственного родства. Ценности благ взаимосвязаны между собой, даже если у них общим является всего-навсего одно средство производства, а все остальные — различны, так как распределение этого единственного средства производства устанавливает определенные отношения. От степени участия этого средства производства как раз и зависит количество обоих благ, а следовательно, также и их ценности. Это распределение осуществляется в соответствии с принципом равенства предельных полезностей средства производства при обоих способах его применения. Вряд ли требуется указывать на то, что именно производственное родство, опосредуемое таким фактором производства, как труд, охватывает практически все блага. Определение количества любого блага, а потому и его ценности, таким образом, осуществляется при давлении, которое оказывают ценности всех прочих благ, и может быть объяснено исключительно с учетом этих последних. Поэтому мы можем сказать, что ценности отдельных благ образуют для каждого хозяйственного субъекта такую систему ценностей, отдельные элементы которой находятся во взаимной зависимости. Таким образом, в этой системе находят свое выражение целиком все хозяйства индивида и условия его жизни, его кругозор и метод производства, его потребности и все экономические комбинации. Такая система ценностей никогда не бывает одинаково хорошо известна хозяйственному субъекту во всех ее деталях, напротив, большая ее часть в каждый конкретный момент находится в подсознании.

Даже тогда, когда хозяйственный субъект принимает решения о своем экономическом поведении, он исходит не из всей совокупности фактов, находящих свое отражение в данной системе ценностей, а из фактов известных и готовых для использования. В повседневной хозяйственной практике он поступает в основном именно в соответствии со своими привычками и опытом и при использовании определенного блага руководствуется его ценностью, известной ему из опыта. Но структура и смысл этого опыта заданы самой системой ценностей. Включенные в нее ценности из года в год реализуются хозяйственным субъектом. Такая система ценностей обнаруживает, как уже было сказано, весьма примечательное постоянство. В каждом хозяйственном периоде существует тенденция к возврату на однажды проторенный путь и реализации все тех же ценностей. И даже там, где это постоянство нарушается, тем не менее сохраняется непрерывность, поскольку даже при изменении внешних обстоятельств речь идет не о том, чтобы делать нечто совершенно новое, но только о том, чтобы лучше приспособить сделанное к новым условиям. Однажды установленная система ценностей и однажды заданные комбинации постоянно служат отправной точкой для каждого нового хозяйственного периода и обладают, так сказать, презумпцией в отношении самих себя. Не будет лишним еще раз обратить внимание на то, где находится источник данного постоянства, или непрерывности. Это постоянство неотделимо от экономической деятельности хозяйственных субъектов. На практике они в подавляющем большинстве случаев не в состоянии заниматься умственным трудом, необходимым для того, чтобы заново произвести этот опыт. В действительности мы также наблюдаем, что количество и ценность благ прошлых хозяйственных периодов подготавливают количество благ и ценностей последующих периодов, но одним только этим обстоятельством еще не определяется причина такого постоянства. Его причина кроется, скорее, в подтверждении на практике данного опыта, в убежденности хозяйственного субъекта в том, что он не смог бы сделать ничего лучшего, чем повторить этот самый опыт. И наш анализ системы ценностей, в известной степени напоминающий геологический разрез горы, именуемой «опыт», показал, что если учесть потребности и кругозор индивида, то отмеченные моменты и ценность благ в действительности необходимо рассматривать как следствие заданных внешних условий. Такое сообразующееся с опытом поведение индивида, следовательно, не случайно, а имеет рациональное обоснование. Существует такой тип экономического поведения, который при данных обстоятельствах устанавливает такое равновесие между имеющимися средствами и теми потребностями, которые необходимо удовлетворить, какое ему под силу установить. Описанная нами система ценностей соответствует состоянию равновесия экономической системы, отдельные элементы которой — при

условии, что все ее показатели сохраняются прежними, — не могут меняться до того, как индивид придет к выводу, что дело обстоит у него теперь хуже, чем прежде. Следовательно, в хозяйстве речь идет только о том, чтобы приспособиться к сложившейся ситуации и просто установить соответствие с объективными необходимостями, а не изменять их, поскольку индивиду на самом деле может быть рекомендован один, и только один, вид поведения[37] и результаты такого поведения будут продолжать оставаться прежними до тех пор, пока прежними будут оставаться и эти обстоятельства.

Проводя исследование, мы вначале имели в виду самостоятельное индивидуальное хозяйство, а теперь нам необходимо распространить полученные при этом результаты на народное хозяйство в целом. В очень многих пунктах эта операция, как легко видеть, возможна без каких-либо околичностей. Имеется относительно немного пунктов, которые еще нуждаются в специальном изложении применительно к рыночному хозяйству. Для каждой хозяйственной единицы здесь дополнительно существует возможность обмена. Нам не требуется разрабатывать здесь глубоко теорию обмена, а достаточно лишь сформулировать его основной закон. Свершение обмена связано, само собой разумеется, с тем обстоятельством, что обе обменивающиеся стороны — каждая сама для себя — оценивают получаемое благо выше, чем предлагаемое в обмен. Если данное условие задано для двух хозяйственных субъектов с таким расчетом, что один из них стремится к обладанию благом, имеющимся у другого, больше, чем своим собственным, между тем как другой субъект, напротив, предпочитает последнее первому, то совершается обмен, и он продолжается до тех пор (т. е. распространяется на такие количества благ), пока это позволяют имеющиеся в распоряжении обоих хозяйственных субъектов количества соответствующих благ. Какого-либо определенного менового отношения вначале не существует. Оно будет зависеть главным образом от умения, экономической мощи и надежности позиций обменивающих сторон, но при всех обстоятельствах можно назвать условие, которое должно быть выполнено, чтобы обмен прекратился. В таком случае для каждого хозяйственного субъекта отношение предельной полезности остающихся у него предлагаемых к обмену благ к предельной полезности полученных в обмен благ должно быть обратно отношению количеств обмененных благ.

Однако когда обмен осуществляется не просто между двумя хозяйственными субъектами, в него вовлекается с обеих сторон большое число желающих обменять свои блага, то результат обмена (меновое

[37] Впрочем, это относится лишь к случаям свободной конкуренции и односторонней монополии в техническом смысле обоих терминов. Но для наших целей этого вполне достаточно.

соотношение и обмененные количества благ) определяются однозначно. Но для нас это второстепенное обстоятельство. В первую очередь нас интересует здесь то изменение, которое система ценностей хозяйства, существовавшего до сих пор изолированно, претерпевает благодаря такой возможности обмена. Ясно, что эта возможность приводит к столь глубоким изменениям хозяйственного плана, что предпочтительными становятся другие комбинации и что при оживленном обмене иной становится вся картина экономики. Прежде всего сложится более узкая специализация производства, все больше и больше будет производиться благ на продажу, а не для собственного потребления. Все это уже неоднократно и глубоко исследовалось; для нас важно только одно, а именно то, что эти новые возможности использования благ соответствующим образом меняют шкалу их ценностей и вообще включаются в систему ценностей. Отдельно взятый хозяйственный субъект, еще не имеющий опыта в том, что касается использования этих новых возможностей, будет пробовать различные возможности до тех пор, пока в конечном счете он «не нащупает» такую, которая, с его точки зрения, дает наилучший результат. Вот тогда-то он и сориентирует свое хозяйство в соответствии с этим и станет постоянно стремиться к тому, чтобы находить одни и те же возможности обмена. В подобной ситуации он будет рассматривать производимые им для этого обмена *блага* не с точки зрения потребительной ценности, которую они имели бы для собственного потребления, а с точки зрения потребительной ценности того, что он может получить взамен[38]. Таким образом, шкала ценностей собственных продуктов, а также шкала ценностей его средств производства будут складываться из шкал потребительных ценностей подлежащих обмену благ. Если однажды будет найден наилучший из возможных вариантов данного способа использования производительных сил, то хозяйственный субъект станет оценивать последние, руководствуясь уже этим лучшим способом использования. И вот эти конкретные акты обмена, соответствующие совершенно определенным меновым отношениям, с данного момента превращаются в основу ведения им своего хозяйства, определяемую его опытом; на эти акты обмена, на эти меновые отношения и на удовлетворение потребностей, к которому ведут все отмеченные обстоятельства, будет настроена его система ценностей. Здесь мы приближаемся к исходному пункту всего нашего исследования, а именно к тому факту, что каждый коммерсант, каж-

[38] Он будет оценивать их, говоря иначе, по их «субъективной меновой ценности» или — в денежном хозяйстве — по ценности выручки. Этот подход легко порождает видимость *circulus vitiosus* (порочного круга). В действительности он имел бы место, если бы мы захотели объяснить образование цены, например, на услуги труда при помощи такой оценки рабочим ценности своего труда. Но этого не делаем ни мы, ни другие теоретики предельной полезности.

дый производитель действует всегда, основываясь на определенном, привычном для него положении вещей, и меняет свое поведение лишь настолько, насколько его вынуждают к этому обстоятельства. Разумеется, не нужно проводить никакого специального исследования, чтобы убедиться в том, что и при этих новых допущениях существует определенное состояние равновесия.

Все бесчисленные акты обмена, которые нам дано наблюдать в рыночной экономике в любой хозяйственный период, в своей совокупности образуют внешнюю форму, в которой осуществляется кругооборот хозяйственной жизни. Законы обмена показывают, как этот кругооборот однозначно может быть объяснен данными условиями, а также учат, что он не меняется, пока эти условия остаются неизменными (и почему), по мере их изменения приспосабливается к ним (и в силу каких причин это происходит). В любой хозяйственный период в общем происходит одно и то же: постоянно производятся потребительские и производительные блага, а в меновом хозяйстве они еще и обмениваются, и всегда потребляются потребительские и затрачиваются производственные блага. В условиях существования постоянных отношений это были бы всегда одни и те же блага и применение находили бы всегда одни и те же методы производства.

Впрочем, хозяйственные периоды связывает между собой не только данный момент, — момент, который и в реальной действительности — в том, что касается привязки к оправдавшему себя опыту, — и в теории выступает как следствие распознания наилучшей для данных конкретных условий комбинации имеющихся в распоряжении средств. К тому же следует иметь в виду и тот факт, что в любой хозяйственный период, ко всему прочему, приходится работать с благами, которые были подготовлены для него в предшествующий период, и что в любой данный хозяйственный период производятся также блага для последующего периода, иными словами, что подготавливается экономический процесс следующего периода. Для того чтобы упростить процесс изложения материала, мы будем считать, что в каждом хозяйственном периоде употребляются — потребительским или производительным способом — только те продукты, которые были произведены в предшествующий период, и производятся только такие продукты, которые будут употребляться — потребительским или производительным способом — в следующем периоде. Это «вкладывание» одного хозяйственного периода в другой, как легко можно в том убедиться, ничего не меняет в сути дела. В соответствии со сказанным для изготовления любого потребительского блага требуются два хозяйственных периода, не больше и не меньше. Продолжительность хозяйственных периодов для всех хозяйственных субъектов должна быть одинаковой.

Итак, какие же акты обмена должны в соответствии со сказанным выше состояться в каждый хозяйственный период? Нельзя ли выразить их в известных категориях? Прежде всего мы отделим те акты обмена, которые совершаются единственно для того, чтобы незамедлительно пустить вновь в обмен то, что перед этим было получено в порядке обмена. Теория свидетельствует о том, что подобных актов обмена должно быть много в любом рыночном хозяйстве. Но эти процессы, обусловленные только техникой рынка, нас здесь совершенно не интересуют[39]. Итак, если мы абстрагируемся от них, то нам бросится в глаза в первую очередь обмен услуг труда и земли на потребительские блага, происходящий в любом рыночном хозяйстве. Этот обмен, вне всякого сомнения, охватывает основную часть народнохозяйственного потока благ и связывает между собой его «исток» и «устье». В те хозяйства, субъекты которых поставляют услуги труда или земли, наблюдается приток потребительских благ, а оттуда в народное хозяйство поступают новые потребительские блага. Нам остается только уточнить это с точки зрения нашей схемы. О каких услугах труда и земли, а также потребительских благах идет речь? Являются ли они благами одного и того же периода? Конечно, нет. Во всяком случае, рабочий и землевладелец продают свои производственные услуги, которые дают продукты лишь в конце каждого хозяйственного периода, в обмен на потребительские блага, которые уже имеются. Далее, они продают производственные услуги в обмен на *потребительские блага* в тот момент, когда еще производятся также и *производительные блага.* В соответствии с нашей схемой дело, скорее, выглядит так: в каждом хозяйственном периоде «живые», т. е. еще не содержащиеся в средствах производства и используемые как раз в данном хозяйственном периоде, услуги труда и земли обмениваются на потребительские блага, которые были произведены в предшествующем периоде. То, что в данном утверждении не является простым наблюдением факта, служит лишь для простоты изложения и не затрагивает принципов. Ясно и то, в чьих руках находятся до этого обмена услуги труда и земли. Но кто те люди, которые противостоят владельцам данных услуг и в чьих руках находятся до обмена те потребительские блага, которые владельцы труда и земли должны оплатить? Это просто те индивиды, которым в данном периоде необходимы услуги труда и земли, т. е. те, кто хочет превратить созданные в предшествующем периоде средства производства путем присоединения дополнительных услуг труда и земли в потребительские блага (таким образом, сюда попадают также торговые посредники и т. п.) или произвести новые средства производства. Простоты ради допустим, что обе категории — а это в полной мере соответствует принципу ос-

[39] См.: «Wesen...». Op. cit, II. Buch.

нованного на разделении труда рыночного хозяйства, — во всех рассматриваемых хозяйственных периодах занимаются одним и тем же, иными словами, вновь и вновь производят потребительские либо производственные блага. Тогда мы можем сказать, что те хозяйственные субъекты, которые в прошлом периоде производили потребительские блага, отдают часть их в нынешнем периоде рабочим и землевладельцам, производственные услуги которых им необходимы для производства новых предметов для последующего периода. Те же хозяйственные субъекты, которые в предшествующем хозяйственном периоде создавали производственные блага и в теперешнем периоде хотят делать то же самое на благо последующему периоду, отдадут эти производственные блага производителям потребительских благ, и в частности в обмен на потребительские блага, необходимые им для обмена на новые производственные услуги.

Рабочие и землевладельцы, таким образом, постоянно обменивают свои производственные услуги только на теперешние потребительские блага независимо от того, применяются ли первые прямо или косвенно для производства данных предметов. Следовательно, нам нет необходимости предполагать, что они обменивают свои услуги труда и земли на будущие блага или на обещания предоставить в будущем необходимое потребительское благо. Речь идет о простом обмене, а не о кредитной сделке. Момент времени при этом не играет никакой роли. Все продукты являются всего-навсего продуктами, и ничем иным. Для отдельно взятого хозяйственного субъекта совершенно безразлично, что он производит — средства производства или потребительские блага. В обоих случаях продукт оплачивается незамедлительно и по полной ценности. Отдельно взятому хозяйственному субъекту вовсе нет нужды смотреть за пределы текущего хозяйственного периода, хотя он и работает всегда на последующий период. Он просто следует велению спроса, и механизм экономического процесса функционирует с расчетом на будущее. Хозяйственного субъекта не волнует, что происходит с его продуктами дальше, и, возможно, он вообще не начинал бы процесса производства, если бы ему нужно было довести его до конца. Ведь и потребительские блага — это только продукты, и ничего больше, продукты, с которыми не происходит ничего иного, кроме продажи потребителю. Ни в каких руках они не образуют фонда содержания рабочих и т. п., ни прямо, ни косвенно они не служат дальнейшим производственным целям. Поэтому отпадает вопрос о накоплении подобных запасов. Как, собственно говоря, создавался данный механизм, который, будучи однажды создан, постоянно сохраняется, — это особый вопрос. Мы попытаемся дать на него ответ. Но в самой природе механизма не содержится ключа к объяснению данного обстоятельства. Его истоки уходят в далекое прошлое. *Как разви-*

вался механизм — это уже иная проблема, нежели то, как он функционирует.

Из данных рассуждений следует в свою очередь, что повсюду, и в том числе в рыночном хозяйстве, произведенным средствам производства не отводится никакой иной роли, кроме как роли промежуточного звена, преходящих статей. Нигде мы не встречаем такие запасы их, которые выполняли бы какие-либо особые функции. Ни одно требование в конечном счете не предъявляется к национальному продукту от имени этих средств производства. Никакие доходы к ним в конечном счете не стекаются. Они не порождают самостоятельного спроса. Скорее, в каждом хозяйственном периоде все наличные (т. е. в нашем представлении созданные в прошлом периоде) потребительские блага выпадут на долю используемых в данном периоде услуг труда и земли, а следовательно, все доходы будут потреблены в качестве заработной платы или земельной ренты[40]. Так мы приходим к заключению, что движение обмена между трудом и землей, с одной стороны, и потребительскими благами — с другой, является не просто главным направлением течения экономической жизни, но, по существу, и единственным. Весь доход от производства достается тем, кому приходится предоставлять услуги труда или природы. Труд и земля делят этот доход между собой, и в наличии имеется как раз столько потребительских благ, сколько нужно, чтобы удовлетворить эффективный спрос на них, и не больше того. Отмеченное выше соответствует также основополагающей паре фактов политической экономии — потребностям и средствам их удовлетворения. Одновременно это верная картина действительности, в той мере, в какой в ее основе лежат освещенные нами моменты. Эта картина была искажена теорией, и только этим следует объяснять возникновение громадного числа различного рода домыслов и мнимых проблем, к примеру проблемы относительно того, из какого и чьего «фонда» оплачиваются услуги труда и земли.

Итак, рыночную организацию хозяйства мы можем представить себе следующим образом. Отдельно взятые хозяйства видятся нам теперь как те единицы, где производят в расчете на спрос других людей, и как раз между этими единицами в первую очередь «распределяется» доход от производства страны в целом. Внутри данных единиц не осуществляется никаких других функций, кроме функции комбинирования обоих начальных факторов производства. И эта последняя осуществляется в каждом хозяйственном периоде как бы механически, автоматически. При этом не возникает потребностей в личностных моментах, отличных от усилий, связанных с контролем и т. д. Следо-

[40] В этом предложении заключается первая основная теорема теории распределения.

вательно, если мы предположим, что услуги земли находятся в частном владении, то в любой хозяйственной единице — мы не берем в расчет монополистов — никто не вправе притязать на доход от хозяйства, кроме, разумеется, того, кто выполняет ту или иную работу либо предоставляет в распоряжение производства услуги земли. При таких условиях в народном хозяйстве не существует иной категории людей, а именно нет такой группы, которая характеризовалась бы тем, что обладает произведенными средствами производства или потребительскими благами. Мы уже видели, что представление, будто где-то имеется накопленный запас таких благ, вообще ошибочно. Оно порождено в основном тем обстоятельством, что очень многие произведенные средства производства существуют в течение нескольких хозяйственных периодов. В этом обстоятельстве самом по себе не заключается никакого существенного момента, и мы ничего не меняем в существе происходящего, когда ограничиваем использование таких средств производства одним хозяйственным периодом. Представление о наличии запасов потребительских благ не имеет под собой даже такого основания; вернее сказать, потребительские блага вообще имеются лишь у потребителей, причем в таком количестве, которое необходимо для незамедлительного потребления. В остальном мы обнаруживаем в народном хозяйстве лишь «вызревающие» потребительские блага в тех или иных формах и на различных стадиях производства. Мы обнаруживаем постоянный поток благ и непрерывное протекание экономического процесса, однако мы не выявляем никаких запасов, элементы которых либо оставались бы постоянными, либо постоянно возмещались. Для отдельно взятой хозяйственной единицы совершенно безразлично, что производить: потребительские или производственные блага. В том и другом случае она одинаково сбывает свои продукты, получает в условиях совершенно свободной конкуренции вознаграждение соответственно ценности своих услуг земли и труда, и больше ничего. Если бы мы захотели назвать руководителя или владельца предприятия предпринимателем, то это был бы *entrepreneur faisant ni bénéfice ni perte**, [41], не осуществляющий никакой особой функции и не получающий никакого особого дохода. Если бы мы захотели назвать владельцев произведенных средств производства «капиталистами», то таковыми могли бы быть только производители, которые ничем не отличаются от других производителей и которые, по-

* Предприниматель, не имеющий ни доходов, ни потерь.

[41] Это система Вальраса. Правда, в его системе равновесия присутствует доход в форме процента.

добно им, не имеют возможности продавать свои продукты по цене, превышающей сумму издержек, складывающуюся из заработной платы и ренты.

Представив себе дело таким образом, мы увидим постоянно возобновляющийся поток благ[42]. Лишь в отдельные моменты встречается нечто подобное запасам, состоящим из индивидуально определенных благ, в остальном же о «запасах» можно неизменно говорить только в абстрактном смысле, а именно в том смысле, что благодаря функционированию механизма производства и обмена в конкретных пунктах народного хозяйства всегда появляются блага определенного вида и в определенных количествах: запасы в таком понимании больше напоминают русло реки, нежели протекающую по нему воду. Этот поток питается за счет неиссякающих источников рабочей силы и земли, и в каждом хозяйственном периоде он несет свое содержимое в те емкости, которые мы именуем доходами, чтобы затем трансформироваться там в процесс удовлетворения потребностей. Мы не станем на этом задерживаться, а лишь коротко упомянем, что тем самым признаем вполне определенное понятие дохода, а именно понятие дохода, сформулированное Феттером, и исключаем из него все те блага, которые планомерно и фактически не потребляются. В одном смысле кругооборот хозяйства в данном месте прерывается, в другом — этого не происходит, так как потребление порождает стремление к повторению, стремление к повторному потреблению дает новый толчок экономической деятельности. Читатель нам простит, что в данной связи мы не стали повторно говорить о квазиренте. Более серьезным на первый взгляд представляется отсутствие какого-либо внимания к сбережениям. Но об этом речь еще пойдет ниже. К тому же в постоянно неизменном народном хозяйстве сбережения, по сути дела, не играют большой роли.

Продолжим наши рассуждения. Меновая ценность любого количества благ для каждого хозяйственного субъекта зависит от ценности тех благ, которые он может — и действительно намеревается — приобрести при помощи первых. Пока он не принял решения по этому поводу, данная меновая ценность будет равным образом колебаться в зависимости от предоставляющихся в каждый данный момент возможностей и равным образом изменится, если хозяйственный субъект изменит направление своего спроса. Однако когда найден лучший вариант обмена для каждого блага, меновая ценность при неизменных условиях будет оставаться только на одном, и притом конкретном,

[42] В четком разграничении «запасов» и «потоков» и плодотворном его использовании заключается одна из заслуг недостаточно высоко оцененной книги: S. Newcomb. Principles of Political Economy, 1888. В современной литературе особое внимание на это обращает Фишер. Обращение денег нигде не описано так ясно и четко, как у Ньюкома (p. 316).

уровне. Конечно, в этом смысле меновая ценность любой единицы одного и того же блага неодинакова для разных хозяйственных субъектов, причем из-за неодинаковости не только их вкусов и общего экономического положения, но и — совершенно независимо от первых двух причин — самих благ, которыми обмениваются между собой отдельные хозяйственные субъекты[43]. Но отношение количеств любых двух благ, в котором они обмениваются на рынке, или его обратное значение, т. е. цена каждого блага, как уже было сказано раньше, одно и то же для всех хозяйственных субъектов, как богатых, так и бедных. Но то, что все цены любого блага, выраженные в других благах, взаимосвязаны, станет ясно только тогда, когда мы приведем их к общему знаменателю. Мы так и поступаем, когда все эти другие количества благ, которые можно было бы получить на рынке за одну единицу рассматриваемого блага, заменяем такими количествами последнего, которые можно получить за каждое из этих других количеств благ. Тут выясняется, что указанные количества блага, избранного на роль общего знаменателя, равны друг другу. Будь то иначе, можно было бы лучше распорядиться своей долей рассматриваемого блага, выменяв сначала блага, которые, может быть, и не нужны, но которые можно получить за меньшее количество блага, являющегося общим знаменателем, чтобы затем обменять их на те блага, которые нужны и которые в результате всего этого могут обойтись дешевле. Однако самоубийственный стимул такой прибыли постоянно приводил бы к ее исчезновению[44].

Теперь введем в наш анализ масштаб цен и средство обмена. Одновременно выберем на эту роль «денежного блага» золото. В то время как для наших целей нам не так уж много нужно из достаточно известной теории обмена, в связи с чем мы можем лишь бегло коснуться ее, нам следует несколько более подробно остановиться на теории денег. При этом мы ограничимся рассмотрением тех аспектов, которые впоследствии будут иметь для нас значение, но и их мы представим лишь в той мере, в какой это необходимо и достаточно для дальнейшего изложения. Таким образом, те проблемы, с которыми мы не встретимся больше в данной книге, мы оставим в стороне. Так поступим мы, например, с проблемой биметаллизма или проблемой международной ценности денег. А теории, преимущества которых связаны с теми направлениями, проследить которые у нас не будет возможности, мы без каких-либо сомнений заменим более простыми или лучше известны-

[43] Я имею в виду следующее: из-за различий во вкусах и общей экономической ситуации каждый хозяйственный субъект оценивает по-разному даже те же самые блага, которые другие хозяйственные субъекты также приобретают путем обмена. Но кроме того, хозяйственные субъекты обменивают различные блага.

[44] См.: «Wesen...». Op. cit, II. Buch.

ми, если они обеспечивают нам тот же эффект, пусть даже во всех прочих отношениях они гораздо менее совершенны[45].

Каждый субъект хозяйства оценивает находящиеся в его распоряжении деньги (Geldbesitz) так, как подсказывает ему опыт. И на рынке все эти индивидуальные оценки ценности приводят к установлению определенного менового отношения между денежной единицей и количеством всех прочих благ, в принципе точно так же, как устанавливаются отношения между другими благами. Конкуренция хозяйственных субъектов и существующие возможности использования способствуют формированию определенной при данных условиях цены денег. Не развивая здесь вновь свою мысль, я укажу лишь на то, что в этом легко убедиться, если выразить — подобно тому, как это мы уже делали в отношении любого блага, — все меновые отношения между деньгами и другими благами посредством соответствующего масштаба цен, как если бы мы на мгновение перешли к другой валюте.

Цена денег — выражение, четкое определение которому дано в последних фразах и которое мы часто будем использовать в дальнейшем, — основывается, следовательно, как и любая другая цена, на индивидуальных оценках (individuelle Wertschätzungen). Но что лежит в основе последних? Подобный вопрос напрашивается в силу того, что здесь у нас отсутствует то простое объяснение денег, которое применительно к любому другому благу состоит в удовлетворении потребностей, которое потребление данного блага дает хозяйственному субъекту. Вслед за Визером[46] мы ответим на поставленный вопрос таким образом, что потребительная ценность материального блага (Stoffgut) представляет собой историческую основу приобретения деньгами определенного менового отношения к остальным благам, но что затем его ценность для хозяйственного субъекта и его цена на рынке могут отдалиться от данной основы и действительно от нее отдаляются. На первый взгляд кажется делом само собой разумеющимся, что ни индивидуальная предельная полезность, ни цена золота как денег не могут отдалиться от индивидуальной предельной полезности и рыночной цены золота как потребительского блага (Gebrauchsgut). Ибо если это произойдет, то постоянно будет существовать тенденция к устранению подобного различия путем чеканки монет из «потребительского золота» (Gebrauchsgold) или переплавки монетного золота.

---

[45] С основными моими воззрениями о деньгах и их ценности читатель может познакомиться в статье «Das Sozialprodukt und die Rechenpfennige». — *Archiv für Sozialwissenschaft*, Bd. 44, 1918. Там понятие денег дается более широко, чем в настоящей книге.

[46] «Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Referate zur Tagung 1909». См. по данному вопросу: Mises. Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. 2. Aufl.; Weiß. Die moderne Tendenz in der Lehre vom Geldwert. — *Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung*, 1910.

Сказанное верно. Только это ничего не доказывает. Из того, что благо, используемое двояким образом, получает одинаковую цену, нельзя заключить, что один способ использования определяет эту цену, а другой лишь ориентируется на нее. Напротив, совершенно очевидно, что оба способа использования совместно формируют шкалу ценности данного блага и что цена последнего была бы иной, если бы одного из них не было. В нашем случае такое благо — деньги. Они могут использоваться в двух различных направлениях, и, хотя, конечно, предельная полезность и цены в обоих вариантах должны быть равно высокими, если благо может свободно переходить от одного способа использования к другому, его ценность тем не менее никогда не объясняется одним только способом использования. Отмеченное обстоятельство станет особенно заметным, если мы представим себе, что весь запас денежного блага (Geldgut) отчеканен, что, впрочем, вполне вероятно. В этом случае деньги все еще обладали бы ценностью и ценой, однако рассмотренное нами объяснение, очевидно, обнаружило бы свою несостоятельность. Точно так же прекращение чеканки, с одной стороны, и запрещение переплавки — с другой, дают нам примеры из практики, которые свидетельствуют о самостоятельном характере ценности денег.

Поэтому ценность денег как таковых можно отвлеченно (мысленно) отделить от ценности вещества, из которого данное благо состоит. Правда, последняя является с исторической точки зрения источником происхождения первой. Но в принципе при объяснении конкретной ценности денег можно отвлечься от ценности вещества точно так же, как при рассмотрении массы воды в нижнем течении большой реки можно отвлечься от той ее части, которая приходится на массу воды, поступающую непосредственно из ее истоков. Можно вообразить, что хозяйственные субъекты пропорционально находящимся в их распоряжении благам, а точнее сказать, пропорционально их ценностному выражению получают в свое распоряжение средство обмена, не обладающее потребительной ценностью, на которое в любом хозяйственном периоде должны обмениваться все блага. В этом случае данное средство обмена будет оцениваться только как средство обмена. Его ценность может быть (предположительно) лишь меновой ценностью[47]. Каждый хозяйственный субъект станет оценивать данное средство обмена (как прежде мы утверждали в отношении тех благ, которые производятся для рынка) в соответствии с той ценностью, которую получают в обмен те блага, что он может достать. Поэтому каждый хо-

[47] Деньги оцениваются по присущей им функции обмена. А она явно аналогична функции, свойственной средствам производства. В этом отношении дело можно представить себе яснее, если смотреть на деньги, как делают это некоторые итальянские экономисты, которые видят в них просто *bene instrumentale* (инструментальные блага).

зяйственный субъект будет оценивать свое денежное состояние по-разному, и даже если каждый из них оценивает все прочие находящиеся в его распоряжении блага в деньгах, то такие оценки будут иметь различный смысл у разных индивидов, даже если в численном отношении они звучат одинаково. Правда, на рынке каждое благо будет иметь одну-единственную цену в деньгах, да и цена денег на рынке в каждый данный момент может быть только единой. Все хозяйственные субъекты считаются с этими ценами, и в данном пункте у них общая основа. Но это чисто внешне, поскольку одни и те же цены говорят каждому из них о разном, для каждого из них они представляют собой свои собственные пределы приобретения благ.

Итак, как же образуется наша индивидуальная меновая ценность денег? В данном месте мы устанавливаем связь теории денег с тем, что было только что сказано о протекании хозяйственного процесса. Мы сразу видим, что в соответствии с нашей схемой индивидуальная меновая ценность в сравнении с благами, формирующими издержки, должна полностью отойти на второй план. Мы говорили также, что блага, формирующие издержки, представляют собой лишь промежуточное звено и что в рыночном хозяйстве с ними не связано никакого самостоятельного образования ценности. Мы говорили также, что к владельцам подобных благ доходы не поступают. Поэтому здесь не кроется никакой причины для образования самостоятельной индивидуальной меновой ценности денег. Как в хозяйственном процессе, так и в денежных расчетах делового человека произведенные средства производства, если исходить из наших допущений, образуют лишь промежуточное звено. Эти хозяйственные субъекты не станут оценивать деньги по их индивидуальной ценности, поскольку они ведь не получают с их помощью никаких благ для собственного потребления, а просто передают их дальше. Таким образом, мы не вправе искать здесь источник формирования индивидуальной меновой ценности денег. Скорее наоборот, меновая ценность, отражающаяся в этих сделках, должна возникать где-то в другом месте. Следовательно, остается только поток первичных благ, только обмен между услугами труда и земли, с одной стороны, и потребительскими благами — с другой. Лишь в соответствии с ценностями потребительских благ, которые можно приобрести за деньги, люди оценивают свои запасы денег. Итак, обмен между денежным доходом и реальным доходом становится решающим моментом, представляя собой то место в хозяйственном процессе, где складывается индивидуальная меновая ценность, а следовательно, и цена денег. Результат теперь можно выразить весьма просто: меновая ценность денег для каждого хозяйственного субъекта зависит от потребительной ценности тех потребительских благ, которые он может получить в обмен на свой доход.

Совокупные эффективные потребности хозяйства в благах в каждом отдельном хозяйственном периоде дают шкалу ценностей для оценки тех единиц дохода, которые вовлекаются в данный хозяйственный процесс. Для каждого хозяйственного субъекта, таким образом, существует также подобная, при данных условиях однозначно определяемая шкала ценностей и конкретная предельная полезность его *денежных запасов*[48]. Абсолютная величина этого денежного запаса в народном хозяйстве не имеет никакого значения. Меньшая сумма в принципе выполняет те же задачи, что и большая. Если мы предположим, что наличная масса денег постоянна, то из года в год будет существовать неизменный спрос на деньги и для каждого хозяйственного субъекта будет реализовываться неизменная ценность денег. Деньги будут распределяться в народном хозяйстве таким образом, что установится единая цена денег. Это произойдет в том случае, если все потребительские блага найдут сбыт, а все услуги труда и земли окажутся оплаченными. Движение обмена между услугами труда и земли, с одной стороны, и потребительскими благами — с другой, разветвляется на движение обмена между услугами труда и земли и деньгами и движение обмена между деньгами и потребительскими благами. Однако поскольку ценности и цены денег должны быть равны, с одной стороны, ценностям и ценам потребительских благ, а с другой — ценностям и ценам услуг труда и земли[49], то становится очевидным, что из-за включения этих промежуточных звеньев наша картина в своих существенных чертах не изменится и что деньги выполняют здесь всего лишь вспомогательную техническую функцию, не привнося ничего нового в явления. Используя часто употребляемое выражение, можно сказать, что деньги на данной ступени анализа представляют собой лишь вуаль, окутывающую экономические факты и явления, и мы не упустим ничего существенного, если отвлечемся от данного обстоятельства.

На первый взгляд деньги представляются лишь предписанием или поручением (*allgemeine Anweisung*) в отношении различных количеств любых благ[50] или, иначе говоря, «всеобщей покупательной силой» (allgemeine Kaufkraft). Каждый хозяйственный субъект видит в деньгах

---

[48] При данной технике рыночных связей и данных обычаях производить расчеты. См. по этому поводу: A. Marshall. Money, Credit, and Commerce; J. M. Keynes. Tractat on Monetary Reform и, наконец, Schlesinger. Theorie der Geld- und Kreditwirtschaft, 1914.

[49] Я повторяю, что мы простоты ради рассматриваем здесь изолированное народное хозяйство, поскольку вовлечение в анализ международных связей, не давая ничего существенного, усложнило бы изложение. В то же время мы рассматриваем такое народное хозяйство, в котором все хозяйственные субъекты в совершенстве владеют методами взаимных денежных расчетов и тесно связаны друг с другом.

[50] Данную точку зрения можно обнаружить уже у Беркли. Она никогда полностью не исчезала. Дж.С. Милль вытащил ее на свет. В сегодняшней немецкой литературе ее отстаивает прежде всего Бендиксен. Она не противоречит ни количественной теореме, ни теории издержек производства, ни «балансовой теории».

прежде всего средство, позволяющее вообще получать блага; когда он продает свои услуги труда и земли, то он делает это в обмен не на конкретные блага, а, так сказать, на блага вообще. Если присмотреться внимательнее, то окажется, что обстоятельства выглядят иначе. Хозяйственный субъект оценивает деньги в зависимости от тех благ, какие он *фактически* за них получает, а не от благ вообще. Когда он ведет речь о ценности денег, то более или менее отчетливо представляет тот круг благ, к которому он обычно обращается. Если бы целые категории покупателей внезапно изменили структуру использования своего дохода, то тогда, разумеется, цена денег, а также их индивидуальная меновая ценность должны были бы тоже измениться. Однако, как правило, этого не происходит. В общем и целом хозяйственный субъект признает наилучшим какое-то одно конкретное направление осуществления своих расходов, и оно не меняется так внезапно и быстро. Этим объясняется тот факт, что в практической жизни каждый обычно может брать в расчет постоянную ценность и цену денег и что ему остается просто-напросто приноравливаться к медленно меняющимся условиям. Поэтому мы можем и о деньгах сказать то же самое, что говорили прежде обо всех прочих благах, а именно что почти для каждой единицы наличной покупательной силы в той или иной сфере народного хозяйства имеется спрос на данную единицу и предложение благ на нее и что масса денег, как и масса средств производства и потребительских благ, из года в год проходит один и тот же путь. И здесь позволительно утверждать, что мы ничего существенного не меняем в процессах, когда представляем себе, что любая индивидуальная единица денег в каждом хозяйственном периоде проделывает точно такой же путь.

Указанное соотношение между реальным и денежным доходом обусловливает изменения ценности денег[51]. Причины возрастания денежных доходов в народном хозяйстве могут быть самые различные, например увеличение наличного количества золота, тогда каждый хозяйственный субъект станет, руководствуясь своей шкалой ценности денег, давать более низкую оценку каждой из своих денежных единиц. Одновременно каждый хозяйственный субъект предъявит повышенный спрос, и благодаря последующему повышению цен на блага установится новое экономическое равновесие. Ценность и цена денег в таком случае понизятся, но, кроме того, сместится вся система цен уже только потому, что прирост денег происходит не одновременно во всех хозяйствах; но даже если бы это происходило, отдельные хозяйства по-разному распоряжались бы таким приростом.

В соответствии с нашим подходом мы рассматривали деньги исключительно как средство обращения. Мы обращали внимание на об-

[51] См.: Wieser. Op. cit.

разование ценности только тех денежных масс, которые действительно каждый год используются для обеспечения обращения товарной массы. Конечно, в народном хозяйстве по понятным причинам имеются также и необращающиеся денежные массы, образование ценности которых сказанным нами еще не объясняется. Ведь в общем и целом мы не изучили тот способ пользования деньгами, который делает необходимым их накопление сверх той величины, которая позволяет хозяйственным субъектам оплачивать текущие закупки. Мы не станем здесь вдаваться в подробное обсуждение данного вопроса, к которому нам и без того предстоит вернуться несколько позднее, и довольствуемся объяснением процесса обращения и образования ценности той денежной массы, которая соответствует описанным основным движениям обмена. Во всяком случае, в нормальном кругообороте хозяйственного процесса, который не выходит из поля нашего зрения, нет необходимости в том, чтобы держать значительные денежные запасы для других целей.

Мы пренебрегли еще одним моментом. Покупательная сила используется не только для того, чтобы обменивать потребительские блага на услуги труда и земли, но и для передачи самого владения землей. Более того, и сама покупательная сила передается в другие руки. Нам не составило бы никакого труда учесть все эти моменты, но они имеют для нас существенно иное значение, чем те, которые мы смогли разобрать в ходе наших теперешних рассуждений. Следует лишь попутно указать на то, что данный, постоянно повторяющийся экономический процесс в том виде, в каком мы его описали, оставляет для этих вещей не слишком много места. Передачи покупательной силы как таковой отнюдь не необходимы для развертывания рассматриваемого экономического процесса. Скорее, он протекает как бы автоматически, и ему, по существу, не нужны никакие кредитные сделки. Мы уже обращали внимание на тот факт, что рабочим и землевладельцам не выдается никаких авансов, у них просто покупают их средства производства. Ничто здесь не меняется от того, что вклиниваются деньги, и предварительные затраты их не нужны в такой же мере, как и предварительные затраты потребительских благ или средств производства. Разумеется, из виду нельзя упускать случай, когда отдельные хозяйственные субъекты получают от других покупательную силу и передают последним взамен часть первоначальных производительных сил, например, земли. Таковым является случай займов на личное потребление, не вызывающий особого интереса. Аналогичным образом обстоит дело, в чем мы еще сможем убедиться, с передачей земли вообще, а посему можно сказать, что деньги при наших допущениях положительно не играют никакой другой роли, кроме как средства облегчения товарного обращения.

Следует также добавить, что по сходным причинам мы не говорили о кредитных средствах платежа. Совершенно очевидно, что эти кредитные средства платежа обеспечивают ход народнохозяйственного процесса обмена в целом, а не только какой-то части его. Небезынтересно также представить себе такую ситуацию, при которой вместо реальных металлических денег начали обращаться простые векселя, выписанные на соответствующую сумму. При этом, в частности, станет видно, что посылка о первоначальной необходимости того, чтобы денежное вещество имело ценность, отнюдь не означает обязательного обращения соответствующего денежного блага. Ведь для того, чтобы между деньгами и ценностями прочих благ установились тесные связи, должно существовать имеющее непосредственное отношение к этому представление о чем-то вполне определенном и обладающем ценностью. Однако необходимости в том, чтобы это последнее обращалось, вовсе нет. Таким образом, экономический процесс мог бы происходить и без какого-либо вмешательства металлических денег. Каждый, кто предоставляет услуги труда и земли, получал бы подобный вексель, затем приобретал бы на него потребительские блага с тем, чтобы в следующем периоде, если придерживаться здесь нашего представления об идентичности пути, который ежегодно проходят деньги, вновь получить тот же вексель. В данном подходе нас весьма интересует следующий аспект: эти воображаемые векселя — если допустить, что они нормально функционируют и их повсеместно акцептуют, — полностью выполняют роль денег и потому оцениваются отдельными хозяйственными субъектами так же, как и металлические деньги. Следовательно, для каждой единицы таких «вексельных денег» сложится определенная цена, а именно цена на единицу блага, на которое выписан вексель. Даже тогда и, пожалуй, только тогда, когда погашения векселя совсем не происходит, он в каждом отдельном случае утрачивает силу из-за существования направленного на него требования. Итак, существовал бы спрос на подобные «вексельные деньги» и, при наших допущениях, полностью соответствующее ему предложение. Но поскольку мы видели, что цена металлических денег просто отражает цены потребительских благ, а тем самым и производственных благ, то из этого следует, что и цена векселей будет их отражать. Кроме того, отсюда вытекает, что эти векселя всегда будут продаваться или покупаться по полной номинальной ценности, что они, следовательно, постоянно будут котироваться альпари и что отсутствует какой-либо повод вычитать из их номинальной ценности учетный банковский процент. Такой ход мыслей более наглядно, чем прежде, показывает, что в нашей схеме народного хозяйства не обнаруживается процент, что, следовательно, логика экономических явлений, как мы их здесь описываем, не объясняет феномена процента.

Однако независимо от этого у нас нет оснований здесь и дальше заниматься рассмотрением кредитных средств платежа. Если кредитные средства платежа всего-навсего замещают имеющиеся где-то в хозяйстве металлические деньги, то они *eo ipso* (в силу этого) еще не играют никакой самостоятельной роли. Если конкретная операция обмена ежегодно осуществляется посредством таких кредитных средств платежа, то тогда соответствующие кредитные средства платежа, как мы только что увидели, играют роль металлических денег, и в силу этого для внезапного поступления в народнохозяйственный кругооборот новых кредитных средств платежа нет ни малейшего повода, который нам следовало бы принимать во внимание. Государственная эмиссия бумажных денег, например, порождает хорошо известные последствия, но здесь они не представляют для нас никакого интереса. В остальном наша картина экономики не содержит ничего такого, что указывало бы на появление новых кредитных средств платежа. Поэтому, а также в силу того, что аспект кредитных средств платежа еще будет играть для нас большую роль и нам хотелось бы строго отграничить ее от описанной здесь функции денег, мы предположим, что в обращении находятся только металлические деньги[52]. Простоты ради допустим, что это золотые монеты. Чтобы отделить один момент от другого, мы установим также, что под деньгами мы, как правило, станем подразумевать только металлические деньги. И данное понятие мы вместе с понятием кредитных средств платежа, которые отнюдь не являются простыми представителями находящихся где-то наготове денег, сводим в единое понятие средств платежа. Это утверждение следует пока просто принять на веру. Более подробно проблемы того, являются ли кредитные средства платежа «деньгами», мы коснемся в другом месте настоящей работы.

Понятие покупательной способности имеет для нас вполне определенное значение, и по этой причине нам следует его уточнить. Когда говорят о покупательной способности денег, подразумевают то, что мы называем ценой денег. Если, например, утверждают, что покупательная способность денег понизилась, то имеют в виду, что теперь за одну денежную единицу получат меньшее количество определенных

---

[52] Массе «металлических денег» в любом таком народном хозяйстве соответствует не просто определенный уровень цен, но и определенная скорость обращения денег. Если бы все доходы выплачивались раз в год, то, разумеется, нужна была бы большая сумма денег или все цены должны были бы быть ниже, чем если бы выплата происходила еженедельно. Мы принимаем скорость обращения денег за неизменную, поскольку подобный подход позволяет полностью согласиться с утверждением Визера (см.: Wieser. Op. cit., p. 522) относительно того, что изменения скорости обращения, как и масса кредитных средств платежа, не являются самостоятельными причинами изменений уровня цен, поскольку они — с нашей точки зрения, лучше сказать «в той мере, в какой они» — индуцируются движением товаров. См. также: Aupetit. Théorie de la monnaie; Del Vecchio. Teoria della moneta. — *Giornale degli economisti*, 1909.

благ, чем прежде, иными словами, что меновое отношение между данными благами и деньгами изменилось в пользу благ. Мы под покупательной способностью понимаем отнюдь не это. Кроме того, говорят также о покупательной способности отдельных лиц или категорий покупателей. С помощью этих и подобных им выражений отражают тот факт, что величина индивидуальной меновой ценности денег неодинакова у различных хозяйственных субъектов, что одни и те же платежи требуют неодинаковых жертв от различных хозяйственных субъектов и что, наконец, в любом народном хозяйстве имеются заметно отличающиеся друг от друга группы хозяйственных субъектов, внутри которых ценность денег удивительно единообразна. Но и этот, в ином случае весьма важный факт нас также не интересует. Мы понимаем под покупательной способностью не способность покупать, а конкретно то, посредством чего можно купить и посредством чего можно сделать только это, и ничего другого. Стремясь получить деньги, хозяйственные субъекты домогаются покупательной способности, они желают иметь деньги лишь постольку, поскольку последние олицетворяют собой покупательную способность. В народном хозяйстве, в котором хозяйственный оборот свершается описанным нами образом, покупательная способность представлена только «деньгами» в установленном нами смысле. Несмотря на это, и там понятие покупательной способности по своему содержанию не совпадает с понятием денег или средств платежа. Когда, например, в результате открытия месторождений золота количество денег возрастает, покупательная способность тем не менее останется постоянной, если никто не сможет покупать больше, чем прежде. Правда, в каждый момент времени покупательная способность измеряется наличными средствами платежа, но ее суть не сводится просто к средству платежа. Скорее, можно было бы приравнять ее к произведению наличных средств платежа на цену, или «объективную меновую ценность», денег. Я прибегаю к использованию данного термина, чтобы понять значение суммы средств платежа — или, лучше сказать, значение этой суммы с учетом ее роли в конкретных условиях. Сама по себе абсолютная величина определенной суммы еще ничего не говорит об этом, но в определении данного произведения участвуют также соответствующие условия. В этом смысле мы можем определить покупательную способность как абстрактную, т. е. не зафиксированную в конкретных благах, власть над благами вообще. Но больше, чем все определения, специалисту скажет наше заявление о том, что под покупательной способностью мы будем иметь в виду принятый английской литературой оборот «general purchasing power»[53]. Покупательная способность — это явление, присущее народному хозяйству в целом. Однако внутри этого народного хозяйс-

[53] См. об этом, в частности: Davenport. Value and Distribution. Chicago, 1908.

тва оно представляет собой, по существу, частнохозяйственное понятие, которое не может быть распространено на все целое. Мы будем говорить о предложении покупательной способности и спросе на нее в том же смысле, что и о деньгах, и в том же смысле мы скажем, что в нормальном кругообороте рассматриваемого нами хозяйства покупательная способность должна быть *al pari*, т. е. на единицу покупательной способности можно обменять только одну единицу, не больше и не меньше: цена покупательной способности, выраженная в деньгах, была бы по существу равна единице. Разумеется, при наших теперешних предпосылках подобная операция была бы бессмысленна.

Таким образом, потоку благ соответствует поток денег, направление которого противоположно направлению первого и движения которого при условии, что нет никакого притока золота и не наступает никаких других односторонних изменений в силе данного денежного потока, лишь отражают движение благ. Тем самым мы завершили описание кругооборота. Однако и для рыночного хозяйства как некоей целостности имеет место та же непрерывность, а при неизменных условиях — постоянство, что и для замкнутой экономики. Непрерывность и постоянство не просто процессов, но и ценностей; впрочем, говорить здесь о социальных ценностях (soziale Werte) значило бы искажать факты. Ценности должны жить в сознании, если данное слово вообще имеет какой-то смысл, следовательно, должны быть по своей природе индивидуальными. Ценности, с которыми нам надлежит иметь здесь дело, рассматриваются под углом зрения не всего народного хозяйства, а лишь индивидуального (частного) хозяйства. Социальный аспект в данном случае, как и во всех оценках, заключается в том, что индивидуальные ценности взаимосвязаны, а не существуют независимо друг от друга. Богатство экономических отношений формирует народное хозяйство в такой же мере, как богатство социальных отношений — общество. Но если и нельзя говорить о социальных ценностях, то все же следует согласиться с тем, что существует социальная *система* ценностей, социальная система индивидуальных ценностей. Эти ценности взаимосвязаны между собой точно так, как связаны друг с другом ценности внутри отдельно взятого хозяйства. Через меновые отношения они оказывают влияние друг на друга. В свою очередь это означает, что они воздействуют на ценности других хозяйственных субъектов и испытывают на себе воздействие последних[54]. В такой системе социальных ценностей (*soziales Wertsystem*) отражаются все условия жизни общества, т. е. в них находят свое выражение все «комбинации». Производственные комбинации действительно являются социальными фактами, ибо, хотя народное хозяйст-

[54] Между ними существует всеобщая взаимосвязь. Более подробно это изложено в: «Wesen...». Op. cit, II. Buch.

во как таковое не заключает их в себе, тем не менее с его точки зрения планируемым (*planvoll*) оказывается многое из того, что лежит вне поля зрения отдельного хозяйственного субъекта. Отражением социальной системы ценностей является, таким образом, система цен. В рассматриваемом смысле она представляет собой единое целое. Правда, цены не выражают собой никакого подобия социальной оценки ценности того или иного блага. Цены вообще являются не непосредственным отражением какой-либо определенной ценности, а просто результатом процессов, происходящих под воздействием многих индивидуальных оценок.

Социальная система ценностей и цен сцентрирована у отдельно взятого хозяйственного субъекта в определенном положении и при определенном количественном соотношении всех благ. Состояние индивидуального равновесия (*individueller Gleichgewichtszustand*) соотносится с состоянием социального равновесия точно так же, как индивидуальная система ценностей соотносится с социальной. Такое социальное равновесие (*soziales Gleichgewicht*) является идеальным состоянием, в котором существенные тенденции народного хозяйства проявляются в известной степени в наиболее чистом, совершенном виде. Потребности, соотнесенные с определенной физической и социальной средой, взаимно уравновешиваются, а по самому идеальному состоянию и его изменениям яснее всего видно, что потребности являются альфой и омегой описанного кругооборота. Руководствуясь ими, можно, как мы видим, установить между сущностью данного идеального состояния и структурой хозяйственного опыта, на основе которого действуют хозяйственные субъекты, простую и единую причинную зависимость.

Попутно следует еще заметить, что такое понимание хозяйства в известном смысле совершенно независимо от различий, существующих между отдельными культурными формациями и укладами жизни. Основные моменты образования ценности потребительских и производительных благ, основные моменты производства были бы одинаковыми как в социалистическом государстве, так и в государстве, организованном на принципах рыночного хозяйства. Далее, хозяйство, которое ведется изолированным субъектом и в котором отсутствует обмен, или хозяйство коммунистической общины, вероятно, существенно отличалось бы от рыночного хозяйства в том отношении, что процессы, происходящие в последнем, могут быть поняты лишь с помощью теории цен, не имеющей аналогов в теории коммунистического хозяйства. Однако в той мере, в какой речь идет о рыночном хозяйстве, для основ теории не имеет никакого значения, что представляет собой данное рыночное хозяйство: систему самого примитивного обмена между охотниками и рыболовами или сложный организм, какой мы можем наблюдать сегодня. Основные черты, контуры полностью

одни и те же, и здесь ничего не меняет даже то обстоятельство, как ведутся народнохозяйственные расчеты: при помощи денег или без них. Мы уже успели заметить, что денежное обращение в подобном хозяйстве является просто вспомогательным техническим средством, ничего не меняющим в сути дела. Как бы значительно современное хозяйство ни отличалось от примитивного, по существу, как в одном, так и в другом происходит одно и то же. Данному обстоятельству также не следует более удивляться. Легко заметить, что экономический момент, в сущности, представляет собой одно и то же явление у всех народов, и во все времена, да и проявляется в общем и целом одинаково, хотя конкретные результаты его проявлений в зависимости от положения вещей могут быть весьма различными.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Окинув взглядом пройденное нами, мы увидим, что кругооборот хозяйственных периодов пока не содержит ничего такого, что указывало бы на возможность развития из внутренних источников. Над ним господствуют определенные необходимости, и он остается неизменным до тех пор, пока не меняются сами эти необходимости. Теория описывает характер и способ реагирования хозяйственных субъектов на данные условия и показывает, что эти характер и способ однозначно определены. Как возникают сами условия, мы не исследовали и пока ничего об этом не знаем. Поскольку эти условия при всех обстоятельствах — изменяются ли они или нет — служат для нас показателями, в соответствии с которыми как раз и должны действовать хозяйственные субъекты, то мы можем сразу считать их просто постоянными; и даже если они меняются, для нас не происходит, по существу, ничего нового, скорее, хозяйственные субъекты в таком случае лишь принимают во внимание новые показатели. Если мы допускаем это, то картина экономики в той мере, в какой рассмотренные до сих пор моменты являются ее движущими силами, будет оставаться из года в год неизменной. Неизменное экономическое поведение хозяйственных субъектов в интересах обеспечения наилучшего удовлетворения потребностей на основе данных условий — вот что отражает в таком случае наша картина. Поэтому мы говорим о неподвижном, пассивном, обусловливаемом конкретными обстоятельствами, стационарном хозяйстве, иными словами, о *статическом* хозяйстве. Выражение «статическое» неудачно, оно пробуждает не существующую в действительности аналогию с механикой. Впрочем, и другие понятия имеют свои недостатки, причем такие, от которых не так легко предостеречь. Статическое хозяйство не «покоится», оно свершает оборот экономической жизни; оно не вообще «пассивно», но лишь в опреде-

ленном смысле; оно не абсолютно «обусловлено» конкретными обстоятельствами: хозяйственные субъекты *могли бы* действовать ведь и иным образом; наконец, оно не просто «стационарно»: суть дела не изменилась бы — как мы увидим позднее, — если бы, например, постоянно росло население. Таким образом, мы останавливаем свой выбор на четко сформулированном и общепринятом понятии «статический», которое после сделанных замечаний не вызовет в свой адрес дополнительных возражений[55]. В этом же смысле мы будем говорить также о статических ценностях, ценах, системах ценностей, системах цен и т. п.

Тем не менее мы исходили все же из таких фактов, которые, как нам кажется, охватывают всю сферу хозяйствования. В основу теории положены существующие на каждый данный момент потребности хозяйственных субъектов. Несомненно, что именно потребности обусловливают стремление к приобретению благ. Не должны ли они быть также мерой и правилом, определяющим экономическое поведение? Им мы противопоставили бы географическую и социальную среду, то есть факторы, которые действительно либо постоянны, либо носят внеэкономический характер. Сюда же относились бы накопленные технические знания, видимо, также представляющие собой внеэкономический момент. Наконец, среди показателей фигурировали бы равным образом запасы благ, перешедшие из прошлого хозяйственного периода. Правда, последним мы должны были бы суметь дать экономическое толкование. Но где бы мы ни наблюдали экономическую деятельность людей, они всегда начинают каждый хозяйственный период, имея какое-либо количество благ, вид и объем которых имеют решающее значение для их экономического поведения. Однако на основе того, что было сказано до сих пор, мы не можем сделать заключения о том, каким образом им достались эти блага. Мы в состоянии разложить данное количество благ на услуги труда и земли, и тем не менее проблема остается: как «накапливаются» эти услуги труда и земли? Никоим образом нельзя быть уверенным в том, что хозяйственные субъекты, если бы у них уже не было такого запаса, незамедлительно смогли бы его создать. Наоборот, совершенно очевидно, что мы не можем также и просто предположить, что этот запас систематически и планомерно увеличивался до соответствующих размеров. Ведь последнее означало бы по меньшей мере предположение о том, что нам уже кое-что известно о характере экономического развития. В противном случае это предположение повисает в воздухе. Поскольку мы находим, что наши хозяйственные субъекты постоянно располагают благами, между тем как сказанное не дает нам возможности

[55] Я знаю, что простой выбор других выражений облегчил бы понимание моих представлений. Но мне претят уступки тем противникам, которые цепляются за выражения.

высказать то или иное соображение об экономическом развитии, то не остается ничего другого, как принять существующий в каждый данный момент времени первоначальный запас благ за показатель, появление которого порождено тем, что всякий предшествующий хозяйственный период нами как бы «укладывается» (подобно коробке в коробку) в следующий за ним.

Мы не только исходили из реальных фактов, но, вне всякого сомнения, дали также описание реальных процессов. Не только для наших отправных точек общих рассуждений, но и для наших результатов и для каждого шага в общей цепи наших рассуждений любой взгляд на действительное положение вещей представляет собой тысячекратную верификацию. Разве повсюду потребности не господствуют над производством — через спрос и с ориентировкой на конкретные условия? Разве хозяйственным субъектам в каждый конкретный момент времени не заданы заранее отдельные позиции их хозяйственных планов? Разве повсеместно мы не наблюдаем действия логики, направленной на достижение определенных целей?

Пожалуй, на первый взгляд наша картина выглядит несколько ошеломляюще. При всей понятийной точности и теоретической строгости она — со своим застывшим постоянством, с присущим ей состоянием отсутствия «силы трения», со своими людьми, которые никогда и ни в чем не меняются, и, наконец, со своими объемами благ, которые возобновляются всегда одним и тем же способом, — представляется весьма далекой от действительности. Разумеется, это лишь схема. Но это такая схема, которая связана с действительностью, замкнутой цепью анализа, которая выуживает из действительности то, что относится к сущности экономического процесса, и оставляет в стороне только то, что не является движущей силой и не имманентно сути процесса. Таким образом, мы, пожалуй, вправе были бы ожидать, что схема отражает все существенные черты экономической жизни. Мы вправе были бы ожидать, что то представление, содержание которого отражено в вопросе: как поступает человек при данных условиях? — охватывает всю совокупность чисто экономических процессов, что определенный характер действий в рамках данных условий действительно содержит в себе принцип объяснения процессов экономической жизни.

Помимо вопросов развития, читатель замечает в наших рассуждениях отсутствие и других вещей. В них мы учли не все известные нам из повседневной жизни типы людей, занимающихся экономической деятельностью. У нас присутствуют только рабочий и земельный собственник. Отсутствует прежде всего предприниматель. И если в данном случае можно было бы успокаивать себя тем, что предприниматель рассматривается как рабочий, то в отношении капиталиста нечто подобное просто невозможно. Не говорится у нас и о капиталисте.

В экономике, которая соответствовала бы нарисованной нами картине хозяйства, его просто-напросто не существовало бы. Впрочем, и это не все. Прежде всего, из-за отсутствия этих двух типов хозяйственных субъектов нет и характерных для них видов дохода — предпринимательской прибыли и процента. Предприниматель был бы, как говорилось — установим, что мы не будем применять данное понятие к нашему руководителю статического предприятия, — *entrepreneur faisant ni bénéfice ni perte:* его доходом была бы просто заработная плата, которая лишь «покрывала бы его издержки» и которая в остальном приносила бы самое большее случайные прибыли. Для существования процента, как я стремился доказать, нет никаких оснований. В описываемой нами экономике нет никакого излишка ценности (Wertplus), который мог бы стать его источником, и никакой функции, в качестве оплаты которой он мог бы выступать. Здесь строго властвует закон издержек и в качестве благ, составляющих издержки, выступают только услуги труда и земли. И наконец, в организованном подобным образом народном хозяйстве не может быть кризисов, поскольку каждый шаг предпринимается на основании опыта, а конкретнее, каждый шаг в производстве любого блага происходит непосредственно под влиянием существующего спроса, который в свою очередь прямо обусловливается имеющимися потребностями и средствами. Конечно, могут возразить, что все эти вещи или хотя бы некоторые из них можно было бы объяснить внешними причинами либо «сопротивлением трения» и случаем. Излагаемое в последующих главах дает на это, как я полагаю, удовлетворительный ответ. Впрочем, мы еще неоднократно будем специально возвращаться к данному вопросу.

Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что тот подход, который назван здесь статическим, не является моим изобретением или просто присущим нашему изложению характерным отличием. Несомненно, любой теоретик *explicite* (явно) или *implicite* (неявно) признает его, у любого теоретика можно отличить описание хозяйственного кругооборота от проблемы, как изменяется данный кругооборот. Беглый обзор развития теоретической политэкономии подтверждает это достаточно четко.

Научный интерес к проблемам экономического поведения, достаточно сильный, чтобы положить начало ведению постоянной и специализированной работы, возник не ранее XVIII в. Как известно, именно практические вопросы того времени породили вначале споры, ведшиеся не от случая к случаю, а постоянно. Толчок такого рода дискуссиям дали прежде всего освобождение от феодальных пут, борьба за национальную независимость и установление крепких позиций, борьба, для которой все большее значение имели экономические моменты. Соответственно и разбуженный интерес был обращен прежде всего к вопросам финансовых отношений, налоговой и торговой политики.

В годы зарождения науки всегда обращаются вначале к таким вещам, которые представляются необычными и проблематичными даже неспециалисту. То же самое наблюдалось и в эпоху зарождения политической экономии. Исследователи стремились выработать точку зрения по отдельным вопросам, ухватывались за малосущественные причинные зависимости, проявлявшиеся здесь или там и не позволявшие поначалу устанавливать более глубокие связи между ними. В то время еще не существовало единой проблемы экономики; мы не в состоянии отыскать в тогдашней литературе и глубоких обобщений. В частности, меркантилизм, как известно читателю, представлял собой не столько научное направление, сколько практическую политику, и порожденная им литература, будучи вторичным и побочным явлением, содержит в общем и целом только зачатки науки.

Едва только исследователи двинулись дальше, они попали в колею статического представления. Сначала это были — читатель, надеюсь, простит мне, что в настоящих замечаниях, служащих лишь вполне определенной цели, я не утруждаю себя полной корректностью при воспроизведении истории учений, — физиократы. Они прямо и непосредственно взялись за изучение явления, имеющего большое значение, а именно хозяйственного кругооборота. Описать его, изобразить его «колесики» и их взаимодействия — такова была их наипервейшая, единственная чисто научная цель. С почти гротескной четкостью проявляется у них идея кругооборота, их намерение представить его анатомию и физиологию. Но описать кругооборот *ipso facto* (тем самым) — значит описать статичную экономику: изобразить, как некоторые, но всегда заданные производительные силы в соответствии с их предназначением проделывают привычный путь, какие явления при этом наблюдаются. И это оставалось целью чистой экономической теории вплоть до наших дней. Ее целью всегда оставалось объяснение регулярного хода экономической жизни на основе данных условий. Проблема развития, разумеется, полностью никогда не отсутствовала. Но она не ощущалась во всей полноте, и с нею разделывались более или менее походя.

Не совсем так обстоит дело с А. Смитом. Он обобщил весь имевшийся материал и проводил по отношению к идеям и фактам политику открытых дверей. Он собирал, систематизировал и обобщал материалы, но он не был человеком строго аналитического ума. Именно этим объясняется животворная сила его труда, ибо день строгого анализа еще не наступил. Но он обсуждает и целый ряд явлений, связанных с развитием. Однако повсюду, где ход его рассуждений обнаруживает четкую последовательность, метод рассмотрения у него оказывается, по существу, статическим. В первую очередь сказанное относится к первым главам его труда, хотя они и называются «О причинах улучшения производительных сил труда» и т. д., и в частности к узловому

вопросу, к теории цен и распределения. Иначе это и не может быть, если за основу выбирают принцип издержек. Принцип издержек, пожалуй, можно ввести следующим образом: если мы спросим, что определяет меновую ценность благ, от которой в общем-то зависит все остальное в народном хозяйстве, от которой зависит доля, получаемая в конечном счете каждым хозяйственным субъектом из национального продукта, то нам сразу же бросится в глаза, что каждый хозяйственный субъект должен получить от ее применения столько, сколько стоит это применение. Ведь в общем хозяйственное предприятие может нормально функционировать, только если выход благ не превышает их поступления. Там, где это происходит, хозяйство, пущенное на самотек, приходит в упадок. Поэтому цена любого продукта не может быть меньше издержек на его производство. Равным образом в народном хозяйстве, где господствует свободная конкуренция, цена блага не может длительное время превышать его издержки, поскольку получаемая от этого прибыль заставит хозяйственных субъектов перенести свою деятельность именно в эту область, в результате чего предложение возрастет и цена вновь понизится до уровня издержек. Пример с монополией образует исключение, которое уже признают и классики. Если теперь более тщательно проанализировать уровень этих издержек, который как бы образует относительно устойчивый островок среди множества беспорядочных явлений, то можно обнаружить, что он растворяется в затратах определенных благ. Поэтому не так трудно увидеть, что этот идеальный центр экономической жизни достигается только в случае, если ценности и цены этих затрат заданы и неизменны.

В противном случае возникает как раз то отклонение, которое имел в виду Смит в главе «О естественной и рыночной цене». Однако цены таких производительных затрат постоянны лишь тогда, когда общие показатели экономической жизни остаются неизменными. Естественно, здесь имеется в виду не то, что хозяйство никогда не в состоянии отдалиться от установившегося уровня. Однако дело сводится еще и к тому, что экономическая теория описывает не что иное, как характер и способ, каким экономическая жизнь приспосабливается к обстоятельствам независимо от того, меняются ли они или нет. Поэтому когда мы говорим о постоянстве условий экономической жизни, то имеем в виду — в классической системе так же, как и в современной, — что экономическая наука ничего не говорит о том, как сформировались эти условия. А если мы говорим — как в классической, так и в современной системе, — что существует естественная цена, цена равновесия (Gleichgewichtspreis) для всех благ в любой данный момент времени, то мы подразумеваем, что данным условиям соответствует одна, и только одна такая цена, а потому также только одна однозначно определяемая величина всех доходов и что экономическая

наука сама по себе ничего не выиграет, если допустить, что эти условия изменились, поскольку экономика постоянно к ним приспосабливается. Любые изменения в равновесии экономики Смит всегда сводит к нарушениям, вытекающим из условий равновесия. Его естественная ценность и естественная цена суть статические ценность и цена, правда, не в нашем теперешнем понимании. Но в принципе это так. Где бы он ни говорил о прогрессе, он объясняет его не самими экономическими процессами, но лишь определенными изменениями показателей, наступление которых можно считать более или менее регулярным. В первую очередь сказанное относится к приросту населения, а в менее выраженной форме — к умножению капитала и т. д. Однако легко убедиться, что там нет подробной теории, описывающей подобные предметы, что Смит не занимается специально механизмом этих процессов, а лишь вкратце излагает свои взгляды на то, как их следует объяснять, к примеру накопление капитала — сбережением и т. д.

Поэтому если мы проанализируем ход мыслей Адама Смита, то обнаружим в них экономические истины по существу только статического характера. Сначала он разъясняет нам общественное явление разделения труда, с тем чтобы подготовить почву для последующей теории обмена и того, что покоится на ней, а затем обращается к этим последним темам, чтобы исследовать, как формируется экономический процесс в рамках рыночной организации народного хозяйства и при данных условиях. В третьей книге он, правда, подводит нас к другим предметам, но одновременно и уводит нас из области чистой теории.

То обстоятельство, что сердцевиной теории является статическое состояние экономики, выступает еще яснее у более поздних авторов, и прежде всего у Рикардо. Смит расширил круг проблем теории и обогатил ее содержание. Дальнейшее развитие сводилось к тому, чтобы выделить единую систему основополагающих принципов и все, что оказывается за рамками последней, передать специальным дисциплинам, в частности историческим дисциплинам, или, вернее говоря, попросту игнорировать до тех пор, пока данными вопросами не займутся ученые иного профиля, исследующие другое направление. В этом абстрактном уточнении определенных принципов как раз и заключается вклад Рикардо. Его работы — это не ученические опыты, а творения мастера, в то время как все теоретики последующего периода — вплоть до появления теории предельной полезности — действительно являются «школярами». В том комплексе исследований, который представляют собой его труды, Рикардо, без сомнения, разрабатывает не что иное, как основные линии статики, элементы логики хозяйственного кругооборота. Подчеркивая данное обстоятельство, я, можно сказать, ломлюсь в открытые двери. Если подобное вообще возможно, то заключенное в благах количество труда может определять их меновую ценность только в условиях равновесия экономической

системы, основанной на конкуренции, и на изучение такого состояния ориентирован научный подход Рикардо. Лишь изменения показателей нарушают его, только его реакция на подобные изменения понимается под «прогрессом». Основополагающая структура производительных сил каким-то образом возникла и уже дана, и описываются лишь ее вариации в пределах заданных основных форм. Примером служит следующая фраза: «Оценка, которую получает труд различного качества, вскоре окончательно устанавливается рынком с точностью, достаточной для всех практических целей... Шкала, если она однажды сложилась, допускает небольшие вариации» (p. 15, ed. Mc. Culloch, 1881).

Здесь проявляется гораздо более строгий статический подход, нежели у меня. Когда Рикардо идет дальше и описывает влияние запасов произведенных средств производства на течение экономического процесса, чтобы в свойственном ему стиле доказать, что оно ничего не меняет в его основном законе обмена, то он не показывает нам, как свершился скачок в технике, экономическом укладе и общей культуре, прежде чем стало возможным создание и использование этих запасов, а начинает сразу со следующей фразы: «Если такие средства производства существуют, то как формируется экономический процесс?» Он просто принимает к сведению их существование, оставаясь строго в рамках статики. Да и вообще так поступает он повсюду. В наиболее важных областях применения его теоретических принципов — в учении о влиянии налогов и в учении о международных ценностях — эта черта его системы приносит свои плоды в виде точных и простых результатов. Здесь он показывает, как приспосабливается народное хозяйство к изменившимся условиям и как это сказывается на отдельных категориях хозяйственных субъектов. Предпосылкой всегда является то, что хозяйственный уклад и вообще совокупность всех показателей остаются неизменными. Последним примером именно такого понимания существа дела является глава о влиянии внедрения машин на участвующие в процессе факторы. Известно, что он глубоко не исследовал методы такого внедрения машин. По всей видимости, потому, что полагал совершенно очевидными и понятными его причины. Он полагал также, что прогресс производства в интересах производителя имеет достаточно объясняющих его причин. Предметом его исследования является только вопрос о том, как влияет внедрение машин на занятость и заработную плату рабочих. Рикардо совершенно не интересуют капиталистические — я имею в виду финансовые — предпосылки подобной реорганизации процесса производства. Так же обстоит дело и у эпигонов. Правда, достаточно часто предпринимаются попытки объяснить при случае социальные и экономические преобразования общества, но они неизменно выходят за рамки теории. В основном же это лишь случайные попытки; вместе с

тем все это просто разработка вопроса о том, как реагирует экономика на общую экспансию социальной жизни. Само собой разумеется, у нас достаточно социологических теорий развития, но не о них идет здесь речь.

Единственной значительной попыткой обращения к проблеме развития является попытка, предпринятая Карлом Марксом. Мы не имеем в виду его понимание истории, поскольку оно не связано с его строгой теорией. Оно, скорее, является такой же историко-теоретической конструкцией, как и всякая другая. Если немного поразмыслить, то приходишь к выводу: нет никакого парадокса в нашем утверждении о том, что то экономическое объяснение истории, какое пытается дать Маркс, не относится к экономике в собственном смысле слова, ибо в данной цепи рассуждений ведь нет ничего от экономики, за исключением высказываний о том, что моменты, к которым может быть сведена социальная практика, в основном имеют экономическую природу. Но это цепочка не экономических соображений, они не дают возможности оперировать экономическими методами, теоремами и понятиями и к тому же не имеют значения для объяснения самих экономических явлений. Впрочем, даже не упоминая об этом, следует сказать, что только Марксу присущи разработки проблемы «развития». Им предпринята попытка рассмотреть развитие непосредственно экономической жизни с помощью средств экономической теории. Его теории накопления, обнищания, гибели капитализма в результате краха его экономической системы строятся действительно на идеях и соображениях чисто экономического порядка, и его взгляд постоянно направлен на достижение цели, заключающейся в том, чтобы мысленно постичь именно развитие экономики в целом, а не просто кругооборот хозяйства в определенный период времени. Тем не менее исходная база его теории носит сугубо статический характер — ведь это исходные позиции классиков. И если даже весь тон его изложения созвучен идее развития и с точки зрения изложения момент статики отступает на задний план, все же и у него классическое здание теории остается таким, каким оно является по своей природе.

Последователи Рикардо, механически повторявшие идеи и методы своего великого предшественника — от Джеймса Милля до Кэрнса и Николсона, — избрали сферой своей деятельности разработку сформулированных им принципов, т. е. принципов экономической статики. Сфера их деятельности представляется нам более обширной, чем область статики, обозначенной нами. Как уже говорилось, это объясняется тем, что сюда привносятся многие вещи — и прежде всего теория процента, — которые в ней не обнаруживаются, если последовательно и до конца продумать основные принципы статики. А также тем, что каждый автор более или менее пространно рассуждал о развитии, правда, только о *влиянии* происходящего развития на статическое хо-

зяйство. В этих разработках все более осознанно проявлялось признание статического характера экономической теории. Наибольший вклад в то направление, которое мы здесь стремимся изложить и отстоять, внес Дж.С. Милль, высказавший решающее положение: «В трех предшествующих книгах мы дали, исходя из имеющихся у нас возможностей, подробное изложение представлений предмета нашего исследования, находящегося, если воспользоваться наиболее удачным обобщающим математическим понятием, в статическом состоянии. Мы рассмотрели сферу экономических явлений и исследовали их соотношение в тех случаях, когда они выступают в качестве причины и следствия... Таким образом, мы получили общую картину экономических феноменов в обществе, рассматриваемых в их состоянии на какой-либо данный момент. В известной мере мы выяснили и принципы, определяющие их взаимозависимости. Когда же нам известно состояние одних элементов, мы можем в общем виде делать вывод относительно соответствующего ему состояния большинства других элементов. Все это, однако, позволило нам выявить экономические законы, присущие статичному и неизменяющемуся обществу. Нам предстоит еще рассмотреть экономические условия человеческого общества, подверженного изменениям и действительно... находящегося в состоянии поступательного развития... Тем самым мы дополним нашу теорию равновесия теорией движений — дополним раздел «Статика» политической экономии разделом «Динамика»[56]. Таким образом, ясно, что не я впервые вношу в классическую теорию нечто совершенно чуждое ее существу. От Милля я отхожу лишь постольку, поскольку надеюсь суметь доказать, что статическое состояние охватывает не все основные экономические явления, но что функционирование статичного народного хозяйства отличается существенным образом и принципиально от функционирования нестатичного.

Великая реформа теории, порожденная субъективной теорией ценности, не затронула статического характера здания теории. Это мы видим непосредственно из содержания настоящей главы, основывающейся, как и вся книга, на данном учении. Статический характер теории получил, пожалуй, гораздо более строгое и ясное выражение благодаря новому анализу. Никакое изложение не может быть «более статичным», чем у Леона Вальраса, у которого основные принципы теории выкристаллизовались в наиболее четкой форме, нежели когда-либо со времени зарождения нашей науки. Авторы, принадлежащие к австрийской школе, формально почти не придают значения то-

[56] Дж.С. Милль. Основы политической экономии. М.: Эксмо, 2007. С. 715. Впрочем, он не дошел до теории развития в собственном смысле слова, т. е. до теории развития, которая объясняет причины и сам процесс развития, дает нечто большее, нежели отдельные поверхностные наблюдения. См. нашу главу вторую.

му, что мы называем статическим характером теории, но и они, впрочем, описывают не что иное, как хозяйственный кругооборот. С чисто формальной стороны большое значение тому, о чем мы говорили, придается в Америке, если иметь в виду изложенное у проф. Дж.Б. Кларка[57]. Этот автор сделал важный шаг в преодолении указанной позиции Дж.С. Милля, дал точное определение статическому состоянию и исследовал условия его наступления, так что сознательное различение статики и динамики следует, пожалуй, связывать прежде всего с его именем. Им не менее энергично отстаивался постулат особой теории «динамики». К его попыткам выполнить данный постулат мы еще вернемся во второй главе.

Цель настоящего обзора — продемонстрировать читателю, что наше представление ни в коей мере не отстоит так уж далеко от магистрального направления, что, скорее, локомотив развития доктрины вполне зримо мчится навстречу признанию статического характера существующей теоретической конструкции. Сегодня серьезные сомнения могут существовать еще только в отношении границ и отдельных признаков статики. Принимаемое нами разграничение не совпадает в полной мере ни с разграничением, которого придерживается Кларк, ни с разграничением, принятым у других авторов. Поэтому следует особо обратить внимание читателя на то, что здесь я буду исходить из того и оперировать тем, что я считаю самой сутью статики, и что данное понятие — в том виде, как оно здесь применяется, — следует понимать только в указанном смысле и его нельзя безоговорочно отождествлять с теми же понятиями у других авторов. Я, конечно, надеюсь, что долгий путь развития, который проделала политическая экономия с момента своего зарождения и до того момента, когда ее основная проблема разделилась на две самостоятельные части, в конечном счете должен найти свое завершение в моем понятии статики или по меньшей мере пройти через него. Но на сегодняшний день вся коренящаяся здесь проблема все еще слишком неясна для того, чтобы можно было говорить или читать о статике, не уточняя сразу же, что подразумевается под этим словом.



[57] См. его работу «Distribution of Wealt and Essentials of Economic Theory», а также мой текст о новейшей экономической теории в Соединенных Штатах. *Schmollers Jahrbuch 1910.*

Глава II

ОСНОВНОЙ ФЕНОМЕН ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

I

Общественный процесс, который вносит рациональное начало в нашу жизнь и в мышление[1], вывел нас за рамки метафизического способа рассмотрения общественного развития и приучил видеть возможности — находящегося рядом с ним и вне его — научного подхода, основывающегося на опыте. Однако он осуществил все это настолько неполно, что нам надлежит проявлять осмотрительность в отношении феномена развития, наблюдаемого нами, бóльшую — в отношении понятия, при помощи которого выражаем его, и наибольшую — в отношении слова, коим мы характеризуем данное понятие: ассоциации, связанные с ним, могут увлечь нас на путь, ведущий в нежелательном направлении. Близкие метафизическим предубеждениям, вернее сказать, воззрениям, которые вырастают из метафизических представлений и по природе своей становятся предубеждениями, когда, невзирая на существование непреодолимой пропасти, их кладут в основу научной работы, основанной на опыте — если они сами по себе не являются такими метафизическими предрассудками, — всякие поиски объективного смысла истории, а также постулат, согласно которому народ, культурное сообщество или даже все человечество в целом должны обнаруживать некое развитие в смысле однозначно понимаемой линии развития, как полагал даже столь трезвый ум, как Рошер, как мыслили себе и до сих пор мыслят бесчисленные адепты блистательной плеяды представителей философии истории и историков от Вико до Лампрехта. Сюда же относятся и та разновидность идей развития, которая тяготеет к Дарвину — во всяком случае, если этот научный подход просто по аналогии применяется в нашей области, — и психологические предубеждения в той мере, в какой в мотивации и волевом акте без каких-либо дальнейших церемоний усматривают в отдельном конкретном случае нечто большее, нежели просто отражение социального явления, — отражение, которое, разумеется, нередко облегчает нам понимание. Однако то, что идеи развития ныне оказались дискредитированными в нашей области и — в первую оче-

[1] В том смысле, в каком говорил об этом Макс Вебер.

редь с исторической стороны — вновь и вновь принципиально отвергаются, имеет и другую причину. Флюиды ненаучной и вненаучной мистики самых различных оттенков, окружающие идею развития, дополняются флюидами дилетантизма; все те опрометчивые, недостаточно обоснованные обобщения, в которых известную роль играет слово «развитие», привели к тому, что многие из нас потеряли всякое терпение.

Прежде всего по отношению к этому слову, понятию и феномену нам следует избавиться от подобных вещей. То, что после этого все еще останется, — так это два следующих факта: во-первых, факт постоянного изменения исторических условий, которые именно по этой причине становятся исторически индивидуальными во времени. Данные изменения не совершают кругооборота, который бы почти систематически повторялся, столь же мало являются они и колебательными движениями вокруг некоторого центра. Оба эти обстоятельства дают нам определение понятия развития общества в совокупности с другим фактом — с тем фактом, что каждое последующее историческое состояние может быть адекватно понято из предыдущего, а там, где этого в отдельных случаях не удается добиться удовлетворительным образом, мы признаем существование *нерешенной,* но отнюдь не *неразрешимой* проблемы. Прежде всего сказанное действительно для единичного случая. Так, например, внутриполитическую обстановку в Германии в 1919 г. исторически мы рассматриваем в качестве одного из последствий минувшей войны. Но отмеченное обстоятельство имеет силу и в более широком смысле, например для объяснения форм уклада жизни античных городов-государств, а в еще более широком плане, например, для современного государства. Впрочем, оно может иметь и более общее значение без строгих и заранее очерченных границ.

Экономическое развитие вначале нельзя было бы определить как-то иначе. В силу этого оно является просто предметом экономической истории, всего лишь обособленной в плане изложения, но в принципе несамостоятельной части всеобщей истории. Именно в силу этой принципиальной несамостоятельности наш второй факт нельзя тотчас же, без каких-либо оговорок, отнести к экономической истории. Ведь то или иное отличное от другого экономическое состояние народа возникает не просто из предшествующего экономического состояния общества, а из его предшествующего общего состояния. Сложность для изложения и анализа, которая отсюда возникает, хотя и не исчезает вовсе, тем не менее существенно уменьшается благодаря тем фактам, на которых основывается экономическое понимание истории; безотносительно к тому, какова наша позиция в отношении последнего, мы вправе констатировать, что мир хозяйствования обладает относительной автономией, потому что он занимает столь значительное место в жизни народа, а также формирует большую часть остальных сфер жизни или оказывает на них влияние. Поэтому отобра-

зить экономическую историю саму по себе — это совершенно иное дело, чем, скажем, изложить историю войн. Здесь важно отметить еще одно обстоятельство, облегчающее отображение любой из непохожих друг на друга частей социального процесса. Гетерономные факторы действуют на происходящее в каждой частной области в принципе вовсе не так, как взрыв бомбы, но через соответствующие показатели и поведение людей. И даже там, где событие происходит в форме, напоминающей взрыв бомбы, последствия проявляются только в том специфическом одеянии, в которое облекают их факты каждой частной области. Отсюда следует, что подобно тому, как отображение последствий влияния контрреформации на итальянскую и испанскую живопись продолжает оставаться уделом истории искусства, так и экономические явления и процессы следует истолковывать под экономическим углом зрения даже там, где вся совокупность реальных причин является в высшей степени внеэкономической.

Впрочем, и этой частной области свойственно бесконечное множество точек зрения и подходов, которые, помимо прочего, можно классифицировать по величине существующего между ними различия или, скажем, сразу по степени их обобщения. От изложения содержания поземельных книг монастыря Нидеральтайх до описания Зомбартом развития хозяйства западноевропейских стран идет цельная, нигде не обрывающаяся, логически единая связующая нить. Описание, подобное тому, которое мы только что упомянули, представляет собой историческую теорию и теоретическую, т. е. объединяющую фактические данные причинной связью, историю не только капитализма, но и докапиталистического хозяйства недалекого прошлого. Как по замыслу, так и по исполнению это есть высшая цель, к которой сегодня может стремиться честолюбие. Оно представляет собой теорию, причем теорию хозяйственного развития в том смысле, который мы в данный момент имеем в виду. Однако оно не является экономической теорией в том понимании, в каком является ею содержание главы первой настоящей книги и какое со времен Рикардо имеют в виду, говоря об «экономической теории». Экономическая теория в этом последнем смысле слова, несомненно, играет определенную, однако исключительно подчиненную роль в теории, подобной теории Зомбарта, а именно: там, где связи между историческими фактами достаточно сложны, чтобы возникла необходимость в таких методах восприятия, которые нельзя обнаружить в повседневном опыте, ход рассуждений принимает форму, которую дает упомянутый аналитический аппарат. Однако для того, о чем заходит речь при объяснении развития, или исторического процесса, причем не только индивидуального, но и максимально всеобъемлющего, а именно для разработки факторов, которые характеризуют саму картину состояния или определяют ход процесса, что в более узком смысле можно было бы назвать специфической задачей социолога экономики (Wirtschaftssoziolog) или политэ-

конома в объяснении хода исторического процесса, или теорией развития, экономическая теория, охватывающая свой круг проблем «ценность» — цена — «деньги», не дает ничего[2].

---

[2] Если все же политэкономы и могли что-то сказать на эту тему, то только потому, что они не ограничивались экономической теорией, но — как правило, весьма поверхностно — занимались либо исторической социологией, либо строили гипотезы о том, как будет устроена экономика в будущем. Разделение труда, появление частной собственности на землю, возрастающее овладение силами природы, хозяйственная свобода и правовые гарантии — вот, пожалуй, важнейшие аспекты экономической социологии А. Смита. Они касаются, как видно, социальных рамок экономического процесса, а не присущей ему стихийности. Это можно рассматривать как теорию развития — в том смысле, в каком понимают ее Бюхер и Рикардо. Последний, кроме того, обнаруживает еще такую последовательность рассуждений, которая принесла ему славу «пессимиста»: его «гипотетический прогноз», согласно которому в силу непрерывно продолжающегося роста населения и капитала, которое сопровождается прогрессирующим — и прерывающимся время от времени благодаря успехам производства — истощением земли, однажды наступит состояние покоя — его *toto coelo* (в корне) следует отличать от воображаемого мгновенного состояния равновесия, известного современной теории, — когда экономическое положение будет характеризоваться гипертрофией земельной ренты и всех прочих доходов, представляет собой допущение такой структуры показателей, последствия которой выводятся «статическим путем», и нечто совершенно отличное от того, что выше понимается под теорией развития, и еще более отличное от того, что мы будем понимать под развитием в настоящей книге. Милль проводит ту же мысль более аккуратно и придает изложению иную окраску и тональность. Однако по существу его четвертая книга — «Влияние общественного развития на производство и распределение» — не предлагает ничего другого. Уже само заглавие отражает то обстоятельство, что «развитие» рассматривается им как нечто внеэкономическое, нечто основывающееся на внешних показателях и «влияющее» только на производство и распределение. «Строго статическим» является в первую очередь его рассмотрение развития «видов производства»: это развитие выглядит как нечто автономное, как раз «воздействующее» на экономику. Это-то воздействие, по его мнению, и надлежит исследовать.

То, чего здесь не замечают, — это предмет данной книги или, во всяком случае, фундамент ее конструкции. Дж.Б. Кларк (Essentials of Economic Theory, 1907), заслугой которого является сознательное и принципиальное различение «статики» и «динамики», видит в «динамических» моментах нарушение статического равновесия. Мы — тоже; и, с нашей точки зрения, также существенной задачей является выяснение влияния данного нарушения и того нового равновесия, которое затем устанавливается. Но если Кларк этим и ограничивается, подобно Миллю, усматривая именно в этом содержание динамики, то мы хотели бы вначале дать теорию причин, вызывающих нарушение равновесия, поскольку для нас они как таковые являются чем-то большим и нам представляется, что с самим их появлением связаны существенные экономические явления. В частности, две из перечисляемых им причин нарушений равновесия (возрастание капитала и рост населения) для нас, как и для Кларка, являются просто причинами этих нарушений независимо от того, насколько важными «факторами изменений» они являются по отношению к другому, только что указанному в тексте кругу проблем. Третья (изменение вкусов потребителей) — тоже, как это еще будет показано в самом тексте книги. Но две остающиеся (изменения в технике и организации производства) нуждаются в дополнительном анализе и порождают, помимо «нарушений» в духе статической теории — и наряду с ними, — и другие вещи. Именно данное обстоятельство — непонимание сказанного — является единственной важной причиной существования того, что, по нашему мнению, является неудовлетворительным в экономической теории. Из этого незамеченного обстоятельства следует, как мы увидим, новое понимание хозяйственного процесса, которое разрешает ряд фундаментальных трудностей и таким образом оправдывает новую постановку сформулированного в тексте вопроса. Она, пожалуй, сходна с постановкой вопросов у Маркса, поскольку у него существует внутреннее экономическое развитие, а не простое приспособление к меняющимся показателям. Впрочем, моя конструкция покрывает лишь небольшую часть поверхности здания, возведенного им.

О подобной теории развития — в только что описанном, собственном и привычном смысле — мы здесь не говорим. В данном случае не следует доказывать никаких фактов исторического развития — будь то отдельно взятые события, как, например, появление американского золота в Германии в XVI в., или такие «более общие» обстоятельства, как изменение образа мышления «экономического человека» (Wirtschaftsmensch), границы Ойкумены, социальная организация, политическая обстановка, техника производства и т. д., — или описывать характер их воздействия ни для отдельно взятого случая, ни — с помощью единого метода — для возможно большего числа случаев[3]; скорее, экономическую теорию, природа которой была достаточно полно объяснена в главе первой, следует просто улучшить для достижения стоящих перед ней целей, сделать ее более пригодной, полезной посредством сооружения соответствующей «пристройки»; и если то, что за этим последует, смогло бы, помимо всего, содействовать тому, чтобы эта теория стала лучше исполнять свою служебную роль в упоминаемой нами теории развития, сущность которой читатель лучше всего уяснит себе из трудов Зомбарта, то оба метода рассмотрения, оба подхода продолжали бы находиться — в соответствии с их существом и стоящими перед ними целями — на разных уровнях.

Наша проблема заключается в следующем: теория главы первой описывает экономику под углом зрения «кругооборота», из года в год повторяющегося одним и тем же образом. Здесь мы позволим себе сравнить его с кровообращением в организме животного. Теперь же этот хозяйственный кругооборот и то, как он свершается, а не только его отдельная фаза, меняются, и здесь аналогия с кровообращением исчезает. Ведь следует иметь в виду, что, хотя последнее в процессе роста и старения организма изменяется, само это изменение идет непрерывно, иными словами, шаги данного процесса могут быть меньше любой самой малой величины и всегда находятся в одних и тех же рамках. Подобные изменения свойственны также и экономической

[3] Поэтому одно из досаднейших недоразумений, возникших после выхода первого издания этой книги, — существование очевидной возможности возражений против того, что данная теория развития упускает из виду все исторические факторы изменений, кроме одного — личности предпринимателя. Если бы мои рассуждения строились именно так, как предполагают те, кто выдвигает подобное возражение, то они были бы явной бессмыслицей. Дело, однако, в том, что в моем труде речь идет не о факторах изменений, а о способе, каким они прокладывают себе путь, о механизме изменений. И «предприниматель» является здесь не фактором изменений, а олицетворением их механизма. Упрек в том, что я учел всего-навсего один фактор, несправедлив: я не учитывал вообще никаких факторов. В еще меньшей мере мы имеем здесь дело с факторами, объясняющими, в частности, изменения экономической структуры (Wirtschaftsverfassung), стилей хозяйствования и т. д. Это еще одна проблема — главным импульсом для ее решения может стать готовящаяся книга Шпитгофа, — и если и существуют точки, в которых все этих способы рассмотрения соприкасаются, то не удерживать их от такого соприкосновения и не предоставлять каждому из них возможности развиваться самостоятельно значило бы позволить им зачахнуть.

жизни. Но вместе с тем в ней имеют место такие изменения, которые происходят не непрерывно, выходят за пределы обычных рамок, меняют привычный ход и не могут быть поняты с точки зрения «кругооборота», хотя они носят чисто экономический — «внутрисистемный» — характер, как, например, переход от эпохи почтовых карет к эпохе железных дорог. Именно такого рода изменения и явления становятся предметом разговора. Однако мы не задаем вопроса относительно того, какие изменения подобного рода постепенно сделали народное хозяйство тем, чем оно является в наши дни. Не задаем мы и вопроса о том, каковы условия подобных изменений. Вопроса, на который в приведенном выше случае можно было бы, например, ответить: прирост населения. Нет, этих вопросов мы не задаем, но мы спрашиваем, причем в такой общей форме, в какой вообще возможно в теории: как свершаются эти изменения и какие экономические явления они порождают?

Повторим то же самое в несколько иных выражениях. Теория, изложенная в главе первой, описывает экономику также и под углом зрения тенденции народного хозяйства к равновесию, тенденции, которая дает нам средства определять цены и количество благ и которая проявляется в форме приспособления к показателям, имеющимся на данный конкретный момент времени. В отличие от подхода, связанного с рассмотрением «кругооборота», теперь это само по себе не означает, что из года в год в принципе происходит «одно и то же». Сказанное означает только, что мы понимаем отдельные процессы в народном хозяйстве как частные проявления тенденций к какому-то состоянию равновесия, но не всегда к одному и тому же: положение идеального, никогда не достигавшегося, всегда «желаемого» (подсознательно, разумеется) состояния народнохозяйственного равновесия меняется, потому что меняются показатели. И теория не безоружна перед лицом таких изменений показателей. Она ориентирована на то, чтобы улавливать последствия этих изменений, и имеет для этого в своем распоряжении специальные инструменты (например, так называемая квазирента). Если изменяются внесоциальные (außersoziale) показатели (природные условия), или внеэкономические социальные показатели (сюда относятся последствия войн, изменения торговой, социальной и экономической политики), или вкусы потребителей, то это, по-видимому, не требует принципиальной реформы мыслительных средств теории. Эти средства отказывают только там — и здесь ход наших рассуждений подводит нас к той же точке, что и в предшествующем случае, к той точке, где *сама экономика резко меняет свои собственные показатели.* Строительство железной дороги может послужить примером и в данном случае. Непрерывные изменения, которые благодаря постоянному приспособлению посредством бесчисленных маленьких шагов со временем могут превратить небольшой

магазин розничной торговли в крупное предприятие торговли, например в универмаг, относятся к сфере статического рассмотрения. Но это отнюдь не фундаментальные изменения в сфере производства в самом широком смысле, происходящие *uno actu* или даже по плану: здесь этот анализ не только не может с помощью своих средств, основанных на методе бесконечно малых, точно предсказать последствия, но он также не в состоянии объяснить ни возникновения подобных революций производства (produktive Revolution), ни наступающих при этом явлений. Статический анализ позволяет, если эти явления уже наступили, лишь исследовать новое состояние равновесия. Вместе с тем именно это возникновение представляет для нас проблему, проблему хозяйственного развития в нашем очень узком и совершенно формальном, лишенном всякого конкретного содержания смысле. Право на существование такой постановки проблемы и такого ухода в сторону от общепризнанной теории дает не столько то обстоятельство, что изменения в народном хозяйстве в эпоху капитализма, т. е. в Англии с середины XVIII в., а в Германии с 40-х годов XIX в., происходили преимущественно, если не исключительно, именно таким образом, а не путем постоянного приспособления и по своей природе могли происходить только так, сколько то, что она плодотворна[4].

Под «развитием», таким образом, следует понимать лишь такие изменения хозяйственного кругооборота, которые экономика сама порождает, т. е. только случайные изменения «предоставленного самому себе», а не приводимого в движение импульсами извне народного хозяйства. Если бы вдруг выяснилось, что подобных самовозникающих в экономической сфере причин для изменений не существует и что феномен, который мы все *in praxi* (на деле) называем хозяйственным развитием, основывается только на изменениях показателей и на все большей адаптации экономики к ним, мы имели бы полное право говорить о полном отсутствии экономического развития. Тем самым мы имели бы в виду, что развитие народного хозяйства не есть явление, которое по своей внутренней сути *может быть объяснено экономически*, и что автоматически не развивающееся хозяйство как бы оказывается вовлеченным в поток изменений окружающего его мира, в силу чего причины, а потому и объяснение развития следовало бы

[4] Именно при решении проблем капитала, кредита, предпринимательской прибыли, процента на капитал и кризисов (или смены циклов конъюнктуры) и обнаруживается эта плодотворность. Но она этим не исчерпывается. Теоретику, занимающему иные позиции, я укажу, например, на трудности, которые связаны с проблемами возрастающей отдачи, множественности точек пересечения кривых предложения и спроса, а также аспектом времени и которые не удалось преодолеть в своем анализе, как справедливо отметил Кейнс, и Маршаллу. Они в известной степени прояснятся, если смотреть на них под нашим углом зрения. Можно было привести множество подобных примеров.

искать вне той группы факторов, которая описывается в принципе экономической теорией.

Обычный рост экономики, выражающийся в увеличении населения и богатства, также не рассматривается здесь как процесс развития, поскольку он не порождает новые в качественном отношении явления, а всего-навсего дает толчок процессам их приспособления, подобно тому как это происходит при изменении природных показателей. Поскольку мы намереваемся обратить свое внимание на иные процессы, постольку мы относим такой рост просто к изменению показателей[5].

Чтобы ясно и отчетливо представить себе, что для нас здесь важно, мы касательно всего прочего станем придерживаться статических посылок и вообще будем иметь в виду статическое народное хозяйство. Поэтому нам следует исходить из предпосылки неизменности численности населения, политической и социальной организации и т. д., следовательно, из предположения полного отсутствия изменений, за исключением тех, о которых мы будем в тот или иной момент говорить.

Сразу же стоит указать и на другой момент, имеющий для нас определенное значение, хотя только ниже ему может быть дано правильное освещение. Любое событие, происходящее в социальном мире, становится источником влияний, оказываемых в самых различных направлениях. Оно влияет на все элементы социальной жизни, хотя на одни сильнее, а на другие слабее. Война, к примеру, накладывает свой отпечаток на все социальные, экономические отношения. Сказанное справедливо, даже если мы ограничимся в своих наблюдениях сферой хозяйственной жизни. Изменение *одной* цены в принципе влечет за собой изменения *всех* цен, пусть даже некоторые из них столь незначительны, что мы практически не в состоянии их обнаружить. И все эти изменения в свою очередь оказывают такое же влияние, как и первые изменения, которые породили их, и в конечном счете оказывают на них обратное влияние. В социальных науках (Sozialwissenschaften) нам всегда приходится иметь дело с таким клубком влияний — взаимосвязей и взаимозависимостей, — в котором легко потерять нить, ведущую нас от причин к следствиям. Ради большей точности мы теперь раз и навсегда установим: о причине и следствии мы будем говорить только там, где нет обратной причинной связи. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что потребительная ценность есть причина меновой ценности благ. Напротив, мы не говорим о причине и следствии там, где между двумя группами фактов существуют взаимосвязи и

[5] Мы поступаем так, так как эти изменения в течение года совершаются незаметно и потому не препятствуют применению статических методов рассмотрения. Во многих отношениях их появление выступает, однако, условием развития в нашем понимании. Но если они зачастую и делают его возможным, тем не менее не создают его сами по себе.

взаимозависимости, как, например, между образованием классов и распределением имущества (Vermögensverteilung). Даже если в конкретном случае состояние (имущество) какого-либо индивида служит «причиной» его принадлежности к определенному классу, то этого в соответствии с тем, что мы установили ранее, еще недостаточно, аналогично тому, как в том особом случае, когда изменение меновой ценности блага обусловливает изменение его потребительной ценности, что вполне вероятно. Совершенно ясно, что я имею в виду: как причину экономического явления следует характеризовать только принцип его объяснения, тот момент, который позволяет нам понять его сущность. Мы, далее, в принципе проводим различие между влиянием и обратным влиянием какого-либо фактора. Таким образом, мы устанавливаем определенный принцип объяснения развития экономики. Те последствия, которые вытекают из самой его сути, мы назовем «влиянием развития» («Wirkungen der Entwicklung»). Прочие явления, которые не выводятся прямо из данного принципа, однако неизменно сопровождают его, явления, которые объясняются на основании других принципов, даже если они в конечном счете и обязаны своим существованием развитию, мы назовем «обратным влиянием развития» («Rückwirkungen der Entwicklung)». Подобное различие двух классов явлений развития имеет, как выяснится дальше, важное значение. Обычно их рассматривают как равнозначные, по мы увидим, что по своей природе они распадаются на первичные и вторичные, и, осознав это, мы приблизимся к пониманию сущности феномена развития.

Любой конкретный процесс развития покоится в конечном счете на предшествующем развитии. Однако для того, чтобы совершенно четко увидеть суть дела, мы отвлечемся от этого и представим себе, что развитие начинается из состояния, которому чуждо какое-либо развитие. Любой процесс развития создает предпосылки для последующего развития, в силу чего их формы меняются и вещи происходят иначе, нежели происходили бы, если бы каждая конкретная фаза развития вначале сама себе подготавливала необходимые условия. Но если мы хотим добраться до сути дела, то нам нельзя использовать в наших объяснениях элементы того, что предстоит объяснить. Мы и не хотим этого делать. Но когда мы этого не делаем, то создаем кажущееся расхождение между фактами и теорией, преодоление которого, пожалуй, составляет главную трудность для читателя. Поэтому общее предостережение: не принимать за причину развития то, что является только следствием происходящего или предшествующего развития.

Если мне удалось в большей степени, чем в первом издании, сконцентрировать внимание на существенном и избежать ошибок, то изложение не нуждается более в специальных разъяснениях ставших столь модными и употребляемых в самых разнообразных смыслах понятий «статика» и «динамика». Развитие в нашем понимании — и то, что в

обычном понимании слова является в нем, с одной стороны, «чисто экономическим», а с другой — принципиально важным с точки зрения экономической теории, — есть особое, различимое на практике и в сознании явление, которое не встречается среди явлений, присущих кругообороту или тенденции к равновесию, а действует на них лишь как внешняя сила. Оно представляет собой изменение траектории, по которой осуществляется кругооборот, в отличие от самого кругооборота, представляет собой смещение состояния равновесия в отличие от процесса движения в направлении состояния равновесия, однако не любое такое изменение или смещение, а только, во-первых, стихийно возникающее в экономике и, во-вторых, дискретное, поскольку все прочие изменения и так понятны и не создают никаких проблем. А наша *теория* развития есть — что еще не заключено в признании факта существования особого *явления* — специфический, ориентированный на данное и вытекающие из него явления и связанные с ними проблемы метод исследования, есть теория разграниченных таким образом изменений траектории свершения кругооборота, теория перехода народного хозяйства от заданного на каждый данный момент времени центра тяготения к другому («динамика») в отличие от теории самого кругооборота, от теории постоянной адаптации экономики к меняющимся центрам равновесия и *ipso facto* (тем самым) также теории влияний[6] этих изменений («статика»).

II

Эти стихийные и дискретные изменения траектории свершения кругооборота и смещения центра равновесия имеют место в сфере промышленности и торговли, но не в сфере удовлетворения потребностей (Bedarfleben) потребителей конечных продуктов. Там, где наступают стихийные и дискретные — «резкие» — изменения вкусов этих последних, налицо внезапное изменение показателей, которыми вынуждены руководствоваться деловые люди, иными словами, возможный повод и удобный случай для иного, нежели постепенное, приспособления их поведения, а не какие-то иные явления. Само по себе с такими изменениями не связано никакой проблемы, требующей специального разговора. Здесь имеет место лишь случай, подобный тому, который возникает, например, при изменении природных показателей, в силу чего мы намерены абстрагироваться от возможной стихий-

[6] Отсюда понятно, что абстрактными средствами «статики» можно многое осилить в понимании развития — в обычном смысле слова — и что порой (например, у Бароне) именно такой анализ последствий тех или иных изменений с помощью ориентированного на достижение равновесия (т. е. «статического») метода характеризуется как «динамика». Для трактовки вторичных явлений развития — в том смысле, как мы его понимаем, — мы также будем использовать «статический» подход.

ности потребностей потребителей и принять их в указанном смысле заранее заданными. Эта задача облегчается тем известным из опыта фактом, что подобная стихийность в принципе незначительна. Даже если экономический анализ исходит из того фундаментального обстоятельства, что удовлетворение потребностей является смыслом всякого производства и любое конкретное состояние экономики должно быть понято с этой точки зрения, то новшества в экономике, как правило, внедряются не после того, как вначале у потребителей стихийно возникнут новые потребности и под их давлением произойдет переориентация производственного аппарата — мы не отрицаем данной причинной связи, но она не представляет для нас никакой проблемы, — а только тогда, когда само производство привьет потребителям новые потребности. Таким образом, инициатива остается за этой стороной. Как раз здесь кроется одно из многочисленных различий, существующих между завершением кругооборота, происходящего по обычной траектории, и возникновением новых вещей: в первом случае допустимо противопоставлять между собой предложение и спрос как в принципе независимые факторы, а во втором — нет. Отсюда следует, что во втором случае не может быть положения равновесия в том смысле, в каком оно существует в первом.

Производить — значит комбинировать имеющиеся в нашей сфере вещи и силы. Производить нечто иное или иначе — значит создавать другие комбинации из этих вещей и сил. В той мере, в какой новая комбинация может быть получена с течением времени из старой в результате постоянного приспособления, осуществляемого посредством небольших шагов, имеет место изменение, а возможно, рост, а отнюдь не новое явление, ускользнувшее из поля зрения при рассмотрении равновесия, не развитие в нашем понимании. Поскольку же этого не происходит и новая комбинация может возникнуть (или возникает) только дискретным путем, то возникают одновременно и характерные для нее явления. Целесообразность подачи и изложения материала вынуждает нас иметь в виду именно данный случай, когда речь заходит о новой комбинации средств производства. Форма и содержание развития в нашем понимании в таком случае задаются понятием «осуществление новых комбинаций».

Это понятие охватывает следующие пять случаев:

1. Изготовление нового, т. е. еще неизвестного потребителям, блага или создание нового качества того или иного блага.

2. Внедрение нового, т. е. данной отрасли промышленности еще практически неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе коммерческого использования соответствующего товара.

3. Освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет.

4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом независимо от того, существовал этот источник прежде, или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать.

5. Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения (посредством создания треста) или подрыв монопольного положения другого предприятия.

Для той ситуации, в которой осуществляются такого рода новые комбинации, и для понимания возникающих при этом проблем важны две вещи. Во-первых, может случиться — впрочем, это не вытекает из существа дела, — что новые комбинации осуществляют те же самые люди, в руках которых находится процесс производства или пути реализации товаров в рамках старых комбинаций, вытесняемых новыми в связи с их устареванием. По идее, да и на самом деле, как правило, новые комбинации или воплощающие их фирмы, промышленные предприятия и т. д. вначале не *вытесняют*, а *сосуществуют* наряду со старыми, которые были бы просто не в состоянии сделать значительный шаг вперед: если придерживаться раз избранного примера, то можно сказать, что вовсе не почтмейстеры создали железные дороги. Данное обстоятельство не только представляет в специфическом свете ту дискретность, которая характеризует наш основной процесс, создает, так сказать, в дополнение к первому, рассмотренному выше виду прерывности второй, но оно «управляет» также и сопутствующими явлениями. Прежде всего, в экономической системе, основанной на конкуренции, где новые комбинации прокладывают себе путь, побеждая в конкуренции со старыми, этим объясняется присущий ей и практически оставляемый без внимания процесс социального подъема, с одной стороны, и социального деклассирования — с другой, а также целый ряд единичных явлений, и в особенности очень многое в цикле конъюнктуры и механизме образования его фаз. И в замкнутой экономике, например в экономике социалистического общества (sozialistisches Gemeinwesen), новые комбинации равным образом появлялись бы вначале наряду со старыми. Правда, экономических последствий этого процесса частично не было бы, а что касается социальных, то их не возникало бы вообще. И если возникновение крупных концернов, таких, например, какие существуют сегодня в тяжелой промышленности всех стран, ломает экономическую систему, основанную на конкуренции, то сказанное должно иметь еще большую силу, а осуществление новых комбинаций должно все более и более становиться внутренним делом од-

ного и того же хозяйственного организма. Различие, которое здесь возникает, достаточно велико, чтобы служить водоразделом между двумя эпохами социальной истории капитализма.

Лишь отчасти связана с данным обстоятельством необходимость учета того, что нам в принципе ни при каких обстоятельствах не следует представлять себе осуществление новых комбинаций и возникновение воплощающих их предприятий таким образом, будто они соединяют в себе неиспользованные средства производства. Пожалуй, так может быть, и тогда в качестве побудительного мотива, благоприятствующего обстоятельства и даже непосредственного повода для осуществления новых комбинаций проявит себя существующая к случаю масса безработных. Однако безработица в широких масштабах является следствием лишь событий мирового исторического значения (как, например, мировой войны) или как раз того развития, которое мы исследуем. Ни в одном из обоих названных случаев существование безработицы не может играть большой роли в объяснении принципиальных вопросов, в сбалансированном нормальном хозяйственном кругообороте она вообще не может возникать. Ежегодно достигаемый прирост был бы не только чересчур мал сам по себе, но он к тому же из-за — по этой причине — замедленного, т. е. «статичного», расширения кругооборота был бы «скован» точно так же, как и сами количества средств производства, применявшиеся в нем еще в предыдущем периоде: он сориентирован на рост такого рода[7]. Как правило, новая комбинация должна забрать необходимые ей средства производства из той или иной старой комбинации, а в силу упоминавшихся выше причин мы можем сказать, что так в принципе всегда и происходит. Как мы увидим, это порождает последствия, важные прежде всего с точки зрения развития конъюнктуры, и представляет собой вторую форму конкурентного вытеснения старых предприятий. Осуществление новых комбинаций означает, следовательно, — это могло бы стать вторым определением формы и содержания развития в нашем понимании — иное применение имеющихся в народном хозяйстве запасов средств производства. Если тот рудимент чисто экономической теории развития, который все еще сохраняется в общепринятом учении о формировании капитала, сводится к постоянным разговорам о накоплениях и труде, и в этой связи всегда лишь о финансировании незначительного прироста производства, обусловленного действием указанных выше факторов, то тем самым не сказано еще ничего неправильного, но зато существенно затруднено понимание существа

[7] В общем, в первом приближении можно скорее говорить о том, что население в каждом конкретном случае «врастает» в ту территорию, на которой развертывается экономическая деятельность, чем о том, что его стихийный рост имеет обыкновение «взрывать» изнутри это «экономическое пространство».

дела. Свершающееся медленными темпами постепенное увеличение национальных запасов средств производства и расширение потребления хотя и имеет существенное значение для объяснения хода экономической истории от столетия к столетию, для механизма развития имеет все же второстепенное значение по сравнению с другими возможностями использования имеющихся в данный момент времени средств. При рассмотрении менее длительных отрезков, вообще говоря, это также верно и с точки зрения самого исторического процесса: иное применение, а не накопление и увеличение имеющихся масс труда как таковое изменило картину мирового хозяйства, например за последние 50 лет. В первую очередь рост населения, а также расширение источников доходов, за счет которых могут осуществляться накопления, стали вообще возможны лишь благодаря другому применению имевшихся средств.

Столь же непротиворечивый, пожалуй, даже самоочевидный характер имеет и следующий шаг в дальнейшем ходе наших рассуждений: для осуществления новых комбинаций необходимо располагать средствами производства. Это не проблема в уже свершающемся кругообороте: существующие предприятия, которые, вступая в отношения друг с другом, совершают этот кругооборот, уже имеют необходимые средства производства или могут, как было показано в первой главе, в нормальных условиях постоянно пополнять их за счет доходов от предшествующего производства; здесь нет какого-либо принципиального различия между «вложениями ресурсов» и выпусками, которые, скорее, соответствуют друг другу в принципе так же, как вместе они соответствуют предлагаемым массам средств производства и продуктов, пользующихся спросом. Будучи однажды пущенным в ход, этот механизм продолжает непрерывно действовать. Такой проблемы не существует, далее, в замкнутой экономике, даже если и в ней осуществляются новые комбинации, поскольку центральное руководство — к примеру, социалистическое министерство экономики — равным образом в состоянии найти иное применение имеющимся в распоряжении средствам производства; последнее может в зависимости от обстоятельств потребовать от членов общества временных жертв и дополнительного напряжения сил, а также повлечь за собой временные лишения. Новое применение может быть обусловлено необходимостью решения сложных вопросов, например вопроса о том, из каких прежних комбинаций следует в первую очередь брать необходимые средства производства; особо отметим, что здесь не возникает никаких проблем, имеющих отношение к проведению специальных мер по приобретению средств производства, которыми хозяйственное руководство пока еще не располагает. Наконец, рассматриваемая нами проблема не возникает при осуществлении новых комбинаций в экономической сис-

теме, основанной на конкуренции, если тот, кто хочет их осуществить, располагает необходимыми для этого средствами производства или может обменять их на другие, которые он имеет, или на какое-либо иное свое имущество. Это еще не преимущество владения имуществом вообще, но преимущество владения имуществом, имеющимся в распоряжении, т. е. таким имуществом, которое может быть использовано либо непосредственно для осуществления новых комбинаций, либо для обмена на необходимые для этого предметы и услуги[8]. В противном случае — и это в такой же мере правило, как и самый интересный случай, — владелец имущества, будь то даже самый крупный концерн, находится в положении неимущего (хотя постепенно благодаря авторитету и известной обеспеченности он оказывается в лучшем положении, чем этот последний), стремящегося осуществить новую комбинацию, которая в отличие от уже существующей не может финансироваться за счет поступающих доходов. Он должен воспользоваться кредитом в деньгах, или замещающих их знаках и купить на них необходимые средства производства. Предоставление такого кредита, несомненно, является функцией категории тех хозяйственных субъектов, которые называют «капиталистами». Столь же очевидно, что свойственный «капиталистической» форме экономики метод, достаточно важный, чтобы служить ее *differentia specifica* (характерной особенностью) — направлять народное хозяйство на новые рельсы, ставить его средства на службу новым целям, — противоположен методу, принятому в любого рода замкнутой или плановой экономике и состоящему просто в осуществлении командной власти управляющего органа.

Мне представляется, что опровержение самоочевидных вещей, изложенных в предыдущем абзаце, — за пределами человеческих возможностей. Подчеркивание роли и значения кредита можно найти в любом учебнике: того обстоятельства, что здание современной индустрии без него не могло бы быть построено, что он делает все имеющиеся средства продуктивными, а отдельно взятого индивида в известной степени независимым от унаследованного состояния, что талантливый делец в экономической жизни «мчится к успеху, оседлав долги», — этого не может отрицать даже консервативная ортодоксия теоретиков. Связь между кредитом и осуществлением новшеств, о которой здесь пока еще только упоминается и о которой более подробно мы поговорим ниже, также *пока* не должна удивлять: как с логической, так и исторической точек зрения совершенно ясен тот факт, что кредит необходим именно *для этого* и что *именно поэтому* его внедрили

[8] Привилегия, которую может обеспечить себе индивид также и путем сбережений. В народном хозяйстве с преобладанием промышленности на этот момент следовало бы обратить большее внимание. «Резервы» промышленников уже предполагают развитие.

в практику «работающих» предприятий — с одной стороны, потому, что он необходим для самого возникновения этих предприятий, с другой — потому, что его механизм, однажды появившись на свет, в силу очевидных причин[9] затронул также и «старые комбинации». С логической точки зрения: в главе первой мы могли видеть — если это не понятно само по себе, — что получение кредита вовсе не является необходимым элементом нормального протекания хозяйственного процесса в привычном русле, элементом, без которого нельзя было бы понять его существенных явлений. При реализации новых комбинаций, напротив, «финансирование» как особый акт является принципиально необходимым как для практики, так и для создания мысленного образа. С исторической точки зрения: промышленный кредитодатель и промышленный кредитополучатель не представляют собой сколько-нибудь «древнего» явления. Кредитор докапиталистического периода давал деньги взаймы отнюдь не на коммерческие цели, а кредитор периода раннего капитализма — не на покрытие текущих потребностей предприятия. И нам еще известен тот тип промышленника, который в получении кредита видел *capitis diminutio* (утрату части гражданских прав и преимуществ) и воздерживался иметь какие-либо дела с банками и векселями. Капиталистическая система кредита фактически выросла из финансирования новых комбинаций и развивалась на нем. Сказанное относится ко всем странам, хотя в каждой из них имелись свои особенности, и наиболее показательным в этом отношении было возникновение крупных и крупнейших немецких банков. Только в связи с этим система перешла к «охоте» за депозитами и, опять-таки в связи с этим, стала практиковать коммерческое кредитование действующих предприятий. Наконец, не может быть камнем преткновения то обстоятельство, что мы говорим о получении кредита «в деньгах или замещающих их средствах». Мы ведь не утверждаем, что можно производить с помощью монет, кредитных карточек или записей в кредит, и не отрицаем того, что для этого необходимы, скорее, затраты труда, сырья, вспомогательных материалов, инструментов и т. д. Мы сами говорим о необходимости иметь в своем распоряжении средства производства.

Тем не менее здесь нам приходится сталкиваться с обстоятельством, на которое уже теперь следует обратить внимание. Традиционная теория усматривает проблему в *наличии* этих средств производства, и именно вокруг нее строятся все те концепции, которые особенно существенны для теории процента. При нашем подходе такой проблемы не возникает, иначе говоря, для нас она является всего-на-

[9] Важнейшей из них является, как мы увидим в пятой главе, появление производительного процента.

всего мнимой проблемой: ее не существует в хозяйственном кругообороте, поскольку отдельные фазы последнего реализуются только на основе существующего объема средств производства и их появление не может быть объяснено из него самого. Эта проблема не существует и для осуществления новых комбинаций[10], ибо в подобных случаях необходимые средства производства изымаются из кругооборота, причем совершенно безразлично, находятся ли эти средства производства в кругообороте в такой форме, в какой их необходимо получить — это прежде всего «первичные средства производства» и особенно неквалифицированный ручной труд, — или их еще предстоит изготовить либо самим, либо на стороне, как это происходит со многими из «произведенных» средств производства. Учесть данное обстоятельство и избавиться от проблемы нам позволяют два понятия, а именно: «изъятие средств производства» и «другое использование средств производства». Правда, вместо нее у нас возникает иная проблема — проблема изъятия средств производства (вне всякого сомнения *имеющихся* средств) из кругооборота и их направления в новую комбинацию. Последнее происходит благодаря денежному кредиту, посредством которого тот, кто хочет реализовать новые комбинации, платит на рынке средств производства более высокую цену, чем производитель, обеспечивающий данный кругооборот, и лишает того определенной части этих средств. И это тот процесс в денежно-кредитной сфере — его смысл и цель состоят в том, чтобы вызвать движение благ, — который нельзя было бы, не упуская из виду существенных моментов, так же хорошо описать и в вещественном выражении и от которого — именно постольку, поскольку сделать это невозможно, — зависит объяснение существенных явлений в современном (в противоположность другим «стилям хозяйствования») народном хозяйстве.

Наконец, еще один шаг в том же направлении: откуда берутся те суммы, которые расходуются на приобретение средств производства, нужных для новых комбинаций, если только соответствующий хозяйственный субъект, вообще говоря, случайно ими не располагает? Традиционный ответ довольно прост: за счет ежегодного прироста народнохозяйственного фонда сбережений (volkswirtschaftlicher Sparfonds) и ежегодно высвобождающихся частей этого фонда. Величина этого прироста перед войной была столь значительной — видимо, ее можно оценить в $^1/_5$ суммы личных доходов в странах, относящихся к европейско-американской цивилизации, — что вместе со вторым по-

[10] Разумеется, средства производства не падают с неба. В той мере, в какой они не являются данными природой или внеэкономическими факторами, они всегда создавались и создаются отдельными волнами развития в нашем понимании и затем включаются в кругооборот. Но каждая индивидуальная волна развития и каждая отдельная новая комбинация в свою очередь снова исходят из запаса средств производства, созданного в соответствующем кругообороте, иными словами, это ситуация «курицы и яйца».

казателем, размер которого статистически совершенно не поддается измерению, она не дает в количественном отношении непосредственных оснований для того, чтобы уличить тех, кто дает такой ответ, во лжи. К тому же мы пока не располагаем и данными, которые характеризовали бы объем всех коммерческих операций, прямо способствующих реализации новых комбинаций или участвующих в ней. Но этой суммой сбережений руководствоваться мы не можем, поскольку ее величина определяется частнохозяйственными результатами свершающегося развития. Источник ее большей части — отнюдь не сбережения в собственном смысле этого слова, т. е. не потребление доходов, которые вообще можно рассматривать как фонд потребления, находящийся в распоряжении хозяйственных субъектов, а те накопления, те результаты осуществления новых комбинаций, в которых мы впоследствии увидим само существо, саму суть предпринимательской прибыли. То, что остается сверх того — в довоенной Германии что-то около 23 млрд. рейхсмарок, — находится в действительности в том очевидном несоответствии с потребностью в кредите, которого не наблюдается в отношении всей суммы. В интересах простоты изложения нам следует *этим* ограничиться и не брать в расчет самофинансирования, являющегося одной из самых значительных характеристик успешного хода развития. В кругообороте в таком случае, с одной стороны, не было бы обильного источника, который питает эти сбережения, а с другой — существенно ослабли бы мотивы, побуждавшие к подобным сбережениям. Что касается крупных доходов, то таким мотивом являются просто случайные монопольные прибыли и ренты с крупных земельных владений. Впрочем, реально существующими факторами, предопределяющими сбережения, являются стремление людей застраховаться от несчастных случаев, их возраст да, пожалуй, иррациональные мотивы. Но это означало бы отсутствие самого важного мотива — возможности участия в доходах от развития. В результате в подобном народном хозяйстве не имелось бы крупных «резервов» свободной покупательной силы, к услугам которых мог бы прибегать тот, кто захотел бы осуществить новые комбинации, а его собственных сбережений едва хватало бы, да и то только в исключительных случаях. Все деньги находились бы в обращении по строго определенным каналам, оказались бы полностью связанными. Поэтому в подобном кругообороте метод получения денег посредством продажи соответствующего носителя дохода, например земельного участка, в принципе обнаруживал бы свою полную несостоятельность.

Итак, даже не будь традиционный ответ на наш вопрос откровенно абсурдным — и как раз именно тогда, когда высказывалось намерение учитывать результаты предшествующих периодов развития в теории развития, подобно тому как повседневная практика без каких-либо ограничений вовлекает их в процесс предложения денег, — и даже

будь существование этих фондов в конкретный момент времени важным элементом общего положения народного хозяйства в этот самый момент, принципиального интереса и теоретического приоритета заслуживает не этот, а другой вид получения денег на эти цели, только на эти. Частный и государственный потребительские займы (Konsumtivdarlehen), а также коммерческий кредит в рамках кругооборота, где не наблюдается развития, при нормальном положении вещей были бы направлены исключительно на потребление. Упомянутый иной вид получения денег — это *создание* денег банками. Не имеет значения, какую форму оно принимает: это может быть либо использование клиентом поступившего на его активный счет платежа в качестве наличных денег, в то время как часть выплаченной им суммы становится основанием для следующей записи в кредит другому лицу, которое использует данный актив точно так же, как и свои наличные средства, либо выпуск бумажных денег, не в полной мере обеспеченных соответствующим изъятием металлических денег из обращения, либо составление банкирского векселя, который позволяет вместо денег осуществлять платежи в крупных сделках и т. п. В любом случае речь идет не о трансформации покупательной силы, уже существовавшей у кого-нибудь, а о создании *новой покупательной силы из ничего* — из ничего даже в том случае, если кредитное отношение, для выполнения которого создается покупательная сила, основывается на каком-либо реальном обеспечении, не являющемся средством платежа, — о создании новой покупательной силы в дополнение к тому обращению, которое существовало уже прежде. *Как раз это* и есть тот источник, из которого в типичных случаях финансируется осуществление новых комбинаций, и если в действительности результаты предшествовавшего развития не всегда были бы налицо, то их следовало бы финансировать почти *исключительно* из него.

Эти кредитные средства платежа, т. е. средства платежа, создаваемые с целью кредитования и в акте кредитования, выполняют в обращении те же функции, что и наличные деньги, частично непосредственно, а частично потому, что они при небольших по своим размерам платежах или выплатах людям, не связанным с банковскими операциями — у нас это, собственно говоря, рабочие, — могут без каких-либо осложнений быть превращены в наличные деньги. С помощью этих средств тот, кто осуществляет новые комбинации, может открыть себе доступ — точно так же, как и с помощью наличных денег, — в мир средств производства, например, тех, производственные услуги которых он покупает, чтобы обеспечить непосредственный доступ к рынкам потребительским благам. Нигде в этой связи не существует кредитования в том смысле, что кому-либо нужно ожидать оплаты своих услуг в виде благ и довольствоваться платежным требованием, или же в том смысле, что кто-либо должен предоставлять жизненные средст-

ва для рабочих или земельных собственников или произведенные средства производства, которые могли бы быть оплачены только по получении окончательного производственного результата, и тем самым осуществлять особую функцию. Конечно, с народнохозяйственной точки зрения между названными средствами платежа, если они создаются с новыми целями, и деньгами или иными средствами платежа данного хозяйственного кругооборота имеется существенное различие. Последние можно рассматривать также как своего рода свидетельство о завершенном производстве и вызванном им увеличении общественного продукта (Sozialprodukt), с одной стороны, и как своеобразный ордер (Anweisung) на получение части этого общественного продукта — с другой. У кредитных средств платежа отсутствует первое свойство. Ордером, по которому можно непосредственно получить потребительские блага, являются и они. Но они не представляют собой свидетельство завершения производства. Это условие, которое обычное взаимоувязывается с правом доступа к запасам потребительских благ, здесь, естественно, еще не выполняется. Это происходит лишь после удачного осуществления соответствующих новых комбинаций. Отсюда, между прочим, проистекает и особый характер воздействия кредита на уровень цен.

Следовательно, банкир является не столько — и не в первую очередь — *посредником* в торговле товаром «покупательная сила», сколько *производителем* этого товара. Однако поскольку ныне все накопления и сбережения обычно сосредоточиваются в его руках и совокупное предложение покупательной силы — уже существующей или той, которую еще только предстоит создать, — также концентрируется у него, то он как бы заменил частного капиталиста или лишил его дееспособности. Тем самым он сам превратился в капиталиста. Он стоит между теми, кто желает осуществить новые комбинации, и владельцами средств производства. По существу, он — порождение развития, впрочем, лишь там, где социально-экономическим процессом не управляет командная сила. Банкир делает возможным осуществление новых комбинаций и, выступая от имени народного хозяйства, выдает полномочия на их осуществление. Он — эфор* рыночного хозяйства.

III

Мы подходим к третьему моменту нашего анализа, для которого другие два являются объектом и средством. Первый — это осуществление новых комбинаций, второй, в зависимости от общественного

* Эфоры — в Спарте коллегия высших должностных лиц, обязанностью которой было руководство всей политической жизнью страны.

строя, — это командная власть или кредит. И хотя все три момента представляют собой единство, но все же именно третий можно назвать собственно феноменом экономического развития, именно он лежит в основе предпринимательской функции и поведения хозяйственных субъектов, являющихся их носителями. Под предприятием (Unternehmung) мы понимаем осуществление новых комбинаций, а также то, в чем эти комбинации воплощаются: заводы и т. п. Предпринимателями (Unternehmer) же мы называем хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент. Эти определения одновременно и шире и у́же общепринятых понятий[11]. Шире потому, что, во-первых, мы считаем предпринимателями не только тех «самостоятельных» хозяйственных субъектов рыночной экономики, которых принято так называть, но всех тех, кто реально выполняет основополагающую для нашего определения функцию, даже если они являются — в наши дни последнее встречается все чаще и чаще — «несамостоятельными» служащими акционерного общества, впрочем, и любой иной частной фирмы, или если их реальная власть и правовое положение покоятся, хотя и не всегда, но часто, на чуждой для понятия «предпринимательская функция» основе — на владении акциями. Сказанное имеет отношение особенно к тем случаям, когда существующая частная фирма в интересах привлечения капитала на более выгодных условиях или по причине раздела наследства реорганизована в акционерное общество и лицо, прежде возглавлявшее фирму, и в дальнейшем продолжает сохранять за собой руководство делом. И наконец, предпринимателями мы считаем тех, кто не имеет длительных связей с индивидуальным предприятием и использует таковые только для проведения новых комбинаций, подобно тому как это делают некоторые «финансисты», «грюндеры», юрисконсульты по финансовым проблемам или технические специалисты, причем предоставляемые ими услуги по чисто правовым, финансовым или техническим вопросам в принципе несущественны и, как мы увидим впоследствии, не составляют существа проблемы. Во-вторых, мы говорим о предпринимателях не только по отношению к тем историческим эпохам, в которые они существуют как специфическое социальное явление. Мы связываем это понятие с функцией и со всеми теми индивидами, которые действительно осуществляют ее при любой общественной формации. Сказанное относится и к руководящему органу социалистического общества, и к помещику, и к вождю первобытного

[11] Разумеется, в нашу задачу не входит семантический анализ различных значений данного понятия. По этой причине мы не собираемся, например, рассматривать то значение понятия «предприниматель», которое соответствует английскому слову «contractor» («подрядчик»), или то, которое побуждает многих «промышленников» протестовать против того, чтобы их так называли.

племени. Уже потому, что под наше определение подпадают не все самостоятельные хозяйственные субъекты, действующие на свой страх и риск. Право собственности на промышленное предприятие или вообще на любое «имущество» не является для нас существенным признаком предпринимателя. Но независимо от этого самостоятельность в данном смысле слова еще не означает выполнения предпринимательской функции. Не только крестьяне, ремесленники, представители свободных профессий, *порой* причисляемые к «предпринимателям», но и «фабриканты», «промышленники» и «коммерсанты», *всегда* попадающие в эту группу, с нашей точки зрения, вовсе не обязательно являются «предпринимателями».

Одновременно я утверждаю, что предложенное определение способствует — в отличие от ущербного ранее проведенного анализа — раскрытию существа вопроса, существа того самого явления, которым постоянно занимается экономическая теория. Это определение на деле уточняет то, что теория имеет в виду. Отметим прежде всего, что между нашей концепцией и общепринятой точкой зрения существует полное согласие в фундаментальном моменте различения понятий «предприниматель» и «капиталист» независимо от того, кого видят в последнем: владельца денег, денежных требований или каких-либо материальных благ. За редким исключением это различие уже довольно давно является общим достоянием экономистов-теоретиков. Данное обстоятельство уже дает ответ на вопрос, является ли рядовой акционер как таковой предпринимателем, а также отвергает представление о предпринимателе как носителе рисков (Risikenträger)[12]. Принято также характеризовать фигуру предпринимателя при помощи таких понятий, как инициатива, авторитет, дар предвидения и т. п. Здесь также видится совпадение с нашими взглядами, поскольку этим качествам практически нет применения в рамках автоматизма, свойственного сбалансированному кругообороту. И напротив, без этих качеств нельзя обойтись, когда ход процесса резко меняется. Так не лучше ли связать предпринимательскую функцию исключительно с этим последним процессом, освободив ее от второстепенных атрибутов, присущих руководителям производства только в ходе кругооборота? Нако-

[12] Приведу два примера, подтверждающих, что мы, по сути дела, лишь освобождаем *communis opinio* (общепринятую точку зрения) от неудачной ее формулировки. Ошибочное представление об акционере, послужившее основой для оформления его правового статуса, исходит из ошибочного понимания функций акционера юристами; у них оно было заимствовано многими политэкономами. О том, что участие в прибылях вместо получения процента еще не превращает «капиталиста» в «предпринимателя», свидетельствуют те случаи, когда участие в прибылях выговаривают себе чистой воды заимодавцы. Иногда на подобных условиях предоставляются банковские кредиты. То же самое относится, в сущности, и к *foenus nauticum* (ссуде под залог судна или груза), хотя здесь участие выражается в проценте от величины займа. Риски несет во всех этих случаях только капиталист, но в этой роли часто выступает сам предприниматель. См. об этом в главе четвертой.

нец, существует ряд дефиниций, с которыми мы вполне можем согласиться. Назовем в первую очередь известное определение, восходящее к Ж. Б. Сэю: функция предпринимателя состоит в том, чтобы соединять, комбинировать факторы производства. Хотя эту функцию приходится «в установленном порядке» ежегодно осуществлять и в рамках кругооборота, но чем-то особым, отличным от обычной административной деятельности ее выполнение бывает лишь в первый раз — при внедрении новшества, при ведении дела (Unternehmung) в нашем понимании. Тогда это определение совпадает с нашим.

Матайя (Mataja. Unternehmergewinn, 1884) определял предпринимателя как лицо, которому достается предпринимательская прибыль. Нам следует здесь вспомнить вывод главы первой, согласно которому в процессе кругооборота предпринимательской прибыли не существует, чтобы свести и данную формулировку к нашему определению[13]. Что же касается упомянутого вывода, то его также нельзя считать чуждым экономической теории, как об этом свидетельствует упоминавшаяся в той же главе первой концепция *entrepreneur faisant ni bénéfice ni perte*, разработанная во всех деталях Вальрасом и усвоенная его последователями и многими другими авторами. Если предприниматель в рамках кругооборота не получает прибыли и не терпит убытка, то это означает, что он не выполняет никакой особой функции и не существует как таковой. Поэтому мы с полным правом не применяем к нему это понятие.

Неверно было бы полагать, что знание истории становления того или иного института или типа индивида непосредственно позволяет нам раскрыть и их социальную или экономическую сущность. Знание истории часто является основой — порой единственно возможной — нашего понимания предмета и может *способствовать* созданию теории, но само по себе оно не *тождественно* пониманию. Еще больше заблуждаются те, кто полагает, что «примитивные» формы какого-либо типа *ipso facto* являются одновременно и «простейшими», или «первичными», в том смысле, что они обнаруживают свою суть гораздо проще и очевиднее, чем более поздние формы. Очень часто справедливо как раз обратное, в частности потому, что наступающая специализация четче выделяет функции и свойства: в более «примитивных» состояниях, когда функции и свойства перемешаны, распознать их сложнее. Так и в нашем случае: в универсальном положении вождя первобытного племени трудно отличить один элемент предпринимательской функции от другого. По тем же причинам 100 лет назад по-

[13] Определение понятия «предприниматель» через его доход, а не через специфическую, им выполняемую функцию, конечно, не назовешь блестящим. Но у нас есть и другое возражение против этого определения. Мы увидим позднее, что предпринимательская прибыль не достается предпринимателю с такой же вытекающей из законов рынка необходимостью, как предельный продукт труда — рабочему.

литической экономии было исключительно трудно делать различие между капиталистом и предпринимателем, дальнейший же ход событий существенно облегчил ей эту задачу. Аналогично распространение арендаторства в Англии помогло провести различие между собственниками земли и лицами, на этой земле хозяйствующими, тогда как на континенте подобное различие, особенно применительно к крестьянскому хозяйству, забывается или намеренно игнорируется и по сей день[14]. Трудностей того же порядка в нашем случае немало. Предприниматель прежних времен, как правило, сам был не только капиталистом, но также и — с этим очень часто приходится встречаться и сегодня — инженером своего собственного предприятия или его техническим руководителем, если только это не одно и то же или если только в особых случаях не привлекаются соответствующие специалисты. Предприниматель был и в большинстве случаев остается также своим собственным главным агентом по закупкам и продажам, начальником канцелярии и заведующим отделом кадров. Хотя он постоянно пользуется услугами профессионального юриста, и здесь, в текущих делах, ему приходится обходиться своими силами. И только осуществляя все эти функции или некоторые из них, он тем самым выполняет и чисто предпринимательскую функцию.

Это объясняется тем, что само по себе осуществление новых комбинаций так же не может быть профессией, соответствующим образом характеризующей ее носителя, как, например, принятие и проведение в жизнь стратегических решений, хотя именно осуществление этой последней функции, а отнюдь не соответствие квалификационному справочнику позволяет назвать данное лицо «полководцем». Поэтому выполнение основной функции предпринимателя всегда должно сочетаться с осуществлением других видов деятельности, причем ни одна из них — что подтверждает нашу точку зрения — не носит всеобщего и обязательного характера. В силу этих соображений определение Маршалла и его школы, отождествляющее предпринимательскую функцию с «менеджментом» в самом широком смысле слова, можно считать вполне заслуживающим внимания. Мы не принимаем его лишь потому, что для нас главное — подчеркнуть тот важный момент, который отличает чисто предпринимательскую деятельность от

[14] Лишь этим можно объяснить отношение некоторых социалистов-теоретиков к крестьянской собственности. Те, кто придает принципиальное значение небольшому размеру индивидуального крестьянского владения, смотрят на дело не с социалистической, а с мелкобуржуазной, эмоциональной точки зрения, которая никак не может претендовать на научность. Впрочем, предмет или средство труда может представлять для его собственника крупное по своим размерам владение. Критерий же применения дополнительной рабочей силы — кроме рабочей силы собственника и членов его семьи, — не говоря уже о том, что он применим только к владениям нерационально мелких размеров, имеет экономический смысл, только если принять один из вариантов теории эксплуатации, доказавшей свою несостоятельность.

любой иной и который теряется в данном определении. Здесь мы вынуждены мириться с возможными возражениями против разработки в теории любого отдельно взятого момента, который на практике никогда не встречается в чистом виде, признавая одновременно, что поскольку в реальной действительности всегда есть возможность свернуть с проторенной дороги кругооборота и изменить старые комбинации, то выделенный нами момент, при условии, что его существо не является предметом обсуждения, действительно можно объединить вместе с прочими функциями текущего управления предприятием. При этом опять же надлежит подчеркнуть то обстоятельство, что данный момент выступает не как равнозначный многим другим, а как принципиально важный среди принципиально непроблематичных.

Тем не менее существуют типы индивидов — ход вещей способствовал их эволюции, — которые осуществляют предпринимательскую функцию во все более чистом виде. «Грюндеры» относятся к ним лишь с известными оговорками, поскольку если отвлечься от создающих определенные помехи и затрагивающих социальный и моральный статус ассоциаций, связанных с данным явлением, то грюндер — это часто просто-напросто агент, который, посредничая, и прежде всего в финансовом отношении, за вознаграждение способствует тому, что «дело» (фирма) идет своим чередом, а отнюдь не его учредитель и не движущая сила, породившая его. Нередко грюндер играет и такую роль, в подобном случае он уже является своего рода профессиональным предпринимателем. Но в еще большей степени тому, что имеется здесь в виду, соответствует современный тип промышленного магната[15], в особенности если признать тождество его природы природе, с одной стороны, венецианского купца XII в. — впрочем, и натуре Джона Ло, — с другой — какого-нибудь деревенского богатея, который ведет свое крестьянское хозяйство, торгует скотом, а заодно содержит пивоварню, постоялый двор и лавочку. Так или иначе, мы твердо придерживаемся того мнения, что то или иное лицо в принципе является предпринимателем, только если оно «осуществляет новую комбинацию» — оно перестает быть таковым, когда учрежденное им «дело» начнет дальше функционировать в рамках кругооборота, — и что поэтому предприниматель, остающийся таковым на протяжении десятилетий, встречается так же редко, как и коммерсант, который никогда в жизни не бывал хоть немного предпринимателем. Точно так же вряд ли встречаются на свете ученые, которые постоянно идут от одного своего творения к другому, но и редко кто из исследователей за всю жизнь ни разу не сделает хотя бы маленького, но своего откры-

[15] См., например: Wiedenfeld. Das Persönliche im modernen Unternehmen. Хотя эта хорошая статья появилась в «Schmollers Jahrbuch» еще в 1910 г., она не была мне известна к моменту выхода первого издания данной книги.

тия. Но это, разумеется, вовсе не противоречит теоретической приемлемости и реальному своеобразию выделяемого нами момента.

Поскольку предпринимательство (Unternehmersein) не является профессией и в подобном состоянии нельзя находиться длительное время, то предприниматели образуют особый класс только в том смысле, что исследователь может при классификации выделить их в отдельную группу — разумеется, предприниматели являются хозяйственными субъектами особого и не всегда присущего одним и тем же индивидам вида, — но отнюдь не в смысле того социального явления, которое имеют в виду, когда говорят о «формировании классов», классовой борьбе и т. д. Осуществление предпринимательской функции *создает* для наиболее удачливых предпринимателей и их семей классообразные позиции (klassenmäßige Positionen), оно в состоянии наложить на эпоху свой отпечаток, сформировать особый стиль жизни, особую систему моральных и эстетических ценностей, но как таковое оно *не означает* классовой позиции (Klassenposition) и не предполагает ее. И при известных обстоятельствах сформировавшаяся классовая позиция сама по себе не является позицией предпринимателей (Unternehmerposition). В зависимости от того, как поступят с частнохозяйственными результатами успешной деятельности предприятия, ее следует характеризовать как позицию земельных собственников или капиталистов. Наследуемость результатов и человеческих качеств, возможно, в течение длительного периода будет поддерживать надындивидуальный (überindividuell) характер этой позиции и одновременно облегчать потомкам процесс создания новых предприятий, правда, без немедленной передачи функции предпринимателя. Это, кстати, в достаточной степени подтверждает история промышленных династий в отличие от пустого фразерства социальной борьбы[16].

Настало время ответить на решающий вопрос: почему же осуществление новых комбинаций — это специфический процесс и к тому же объект «функции» особого рода? Ведь *каждый* хозяйственный субъект ведет свое хозяйство так, как в состоянии это делать. Конечно, он никогда не может идеально осуществить все свои намерения, но, используя свой положительный и отрицательный опыт, он приспосабливает свое поведение к обстоятельствам, которые, как правило, не изменяются неожиданно и сразу. Пусть ни одно хозяйство не может быть в каком-либо смысле абсолютно совершенным, но применительно к среде, социальным отношениям, достигнутому уровню знаний, а также кругозору каждого индивида и каждой ведущей хозяйство группы оно в состоянии приблизиться к доступному для себя уровню совершенс-

[16] Читатель имеет возможность познакомиться с моим определением сущности предпринимательской функции в статье Unternehmer, помещенной в «Handwörterbuch der Staatswissenschaften».

тва. Среда постоянно предоставляет им новые возможности, но в первую очередь новые открытия и изобретения пополняют постоянно существующий запас знаний. Почему тот или иной хозяин (*Wirt*) не может воспользоваться новыми возможностями точно так, как пользовался старыми, или так, как он умеет это делать, т. е. в зависимости от ситуации на рынке больше разводить свиней или молочных коров, почему бы ему, к примеру, не избрать иной севооборот, если он найдет его более выгодным? Какие новые, не встречавшиеся до сих пор в кругообороте явления или проблемы могут при этом возникнуть?

Дело в том, что в привычных условиях кругооборота каждый хозяйственный субъект чувствует твердую почву под ногами и может вести себя так же, как и все прочие, которые в свою очередь ожидают от него именно такого поведения. Тогда он действует быстро и рационально. Но совсем по-иному обстоит дело, когда перед ним стоит необычная задача. Если в привычных условиях нормальный хозяйственный субъект вполне обходится своим умом и опытом, то при столкновении с новым он нуждается в руководстве. В рамках привычного кругооборота он плывет *по* течению; если же он захочет что-то изменить, то ему придется плыть *против* течения. Что было прежде опорой, теперь становится препятствием, прежде хорошо известная величина — неизвестной. Там, где кончается однажды заведенный порядок, многие останавливаются, остальные же действуют совершенно по-разному. Допущение поведения, которое наблюдатель может посчитать точным и рациональным, в любом случае является фикцией. Но она оправданна, если — и потому что — события протекают достаточно медленно, чтобы люди успели понять их логику. Там, где это произошло, и в тех границах, в которых это произошло, с данной фикцией можно работать и строить на ней различные теории. При этом надо также абстрагироваться от различий, которые привычки, обычаи, отношение данного общества к экономической деятельности накладывают на поведение хозяйственных субъектов, принадлежащих к разным классам, эпохам и культурам, и предположить, что понятие «биржевая экономика» применимо и к современному крестьянину, и к средневековому ремесленнику. Здесь предполагается одинаковая и, надо сказать, произвольно выбранная степень проницательности и целеустремленности у хозяйственных субъектов в условиях самых разных культур[17]. Следуя этой логике, мы должны предполагать, что крестьянин, продавая теленка, проявляет такую же решительность и изворотливость, как биржевик при реализации пакета акций. Но все это справедливо лишь в той сфере, где бесчисленные прецеденты десятилетиями, а в некоторых основных проявлениях столетиями и тысячелетиями

[17] Речь идет, конечно, только о свойствах, используемых экономической теорией, а не об отсутствии социологических, культурных и пр. различий вообще.

формировали поведение людей, уничтожая все отклонения от нормы. За пределами этой сферы, в которой все протекает сравнительно гладко, а хитрость, нажитая в течение десятилетий, выглядит как индивидуальное свойство (именно поэтому здесь напрашивается сравнение людей с автоматами), наше фиктивное допущение теряет всякую связь с действительностью[18]. Придерживаться ее и там, как это делает традиционная теория, — значит затушевывать существенный момент и игнорировать факты, которые в отличие от прочих отклонений наших предпосылок от действительности *принципиально* важны и своеобразны и объясняют явления, которых без них не было бы вообще.

Поэтому при описании кругооборота производственные комбинации наряду с природными условиями следует считать неизменными и абстрагироваться от небольших отклонений внутри основных форм[19], которые каждый хозяйственный субъект может осуществить под давлением среды, не удаляясь при этом на значительное расстояние от проторенных дорог. *Поэтому* осуществление новых комбинаций представляет собой особую функцию и привилегию людей, которых гораздо меньше, чем тех, что в принципе имели бы такую возможность, а часто функцию тех людей, которые на первый взгляд начисто лишены такой возможности. Именно поэтому предприниматели являют собой особый тип[20], поэтому их деятельность является специфи-

---

[18] В справедливости этого вывода можно лучше всего убедиться на примере экономики тех народов, а в рамках нашей культуры на примере экономической деятельности тех субъектов, которые еще не полностью вовлечены в поток экономического развития последнего столетия. Один из таких примеров — хозяйство крестьян стран Центральной Европы. Этот крестьянин умеет строить «расчеты», и в «экономическом мышлении» ему не откажешь. Тем не менее он не в состоянии сделать ни одного шага вне привычной для него колеи, и его хозяйство веками не претерпевало никаких изменений, а если и изменялось, то только под давлением и влиянием внешних обстоятельств. Почему? Да потому, что выбор новых методов не есть нечто само собой разумеющееся. Тем более он не является элементом понятия рационального хозяйствования.

[19] Однако, как уже отмечалось, эти небольшие отклонения могут с течением времени суммироваться. Главное в том, что хозяйственный субъект совершает их, не покидая привычной почвы. При этом незначительные отклонения являются правилом, а существенные — исключением. Только в этом смысле значение придается подобным «мелочам». Нам могут возразить, что между небольшими и крупными отклонениями нет принципиальной разницы. Но подобное возражение несостоятельно. Во-первых, оно неверно само по себе, поскольку игнорирует принципы исчисления бесконечно малых величин, сущность которого как раз состоит в том, что при определенных условиях о «малом» можно сказать то, чего нельзя говорить о «большом». Во-вторых, для нас важно только то, проявляется в данном изменении отмеченный нами момент или нет. Читатель, которого не устраивает противопоставление большого и малого, может при желании заменить его антитезой самопроизвольного и приспосабливающегося. Я же неохотно употребляю эти понятия, поскольку они дают больше повода для различных недоразумений и требуют еще более пространных разъяснений.

[20] Речь идет, прежде всего, о типе *поведения*, а не о типе *людей*, поскольку это поведение присуще людям далеко не в равной мере и лишь немногим из них свойственно в такой степени, что может служить их отличительной чертой. После выхода в свет первого издания этой книги некоторые критики обвинили меня в том, что я переоценил своеобразие предпринимательского поведения и упустил из виду, что в большей или меньшей степени оно присуще всякому деловому человеку. Когда же была опубликована моя более позд- ▶

ческой проблемой, с которой связан целый ряд важных явлений. Поэтому ситуация в науке характеризуется наличием трех пар связанных между собой противоположностей. Во-первых, это противоположность двух реальных *процессов:* неизменный ход экономических про-

---

Продолжение сноски со стр. 149.

няя работа, «Wellenbewegung des Wirtschaftslebens» — она помещена в журнале *Archiv für Sozialwissenschaft,* 1914, — меня критиковали за то, что я ввел там понятие промежуточного типа (полустатического хозяйственного субъекта). В этой связи мне хотелось бы отметить, что своеобразие рассматриваемого поведения предпринимателей заключается в двух моментах. Во-первых, это поведение имеет иной — по сравнению с любым прочим — объект: быть предпринимателем — значит *делать не то,* что делают другие. Разумеется, оба вида поведения можно при желании включить в одну, более широкую категорию, но это не устранит важного — с точки зрения теории — различия между этими двумя «объектами» и не изменит того факта, что существующая теория описывает лишь один из них. Кроме того, анализируемое поведение само по себе представляет собой нечто иное также в другом аспекте: быть предпринимателем — значит *делать не так,* как делают другие. Это требует качественно иных способностей, нежели способности просто давать оценки в рамках обычного кругооборота, что со всей очевидностью выяснится впоследствии. Существующая же теория по самой природе своей описывает исключительно поведение в рамках кругооборота.

Можно предположить, что упомянутые способности распределены в этнически однородном населении так же, как и все прочие качества индивида, например физические, т. е. что кривая распределения имеет вершину, по обе стороны которой симметрично располагаются индивиды, отклоняющиеся от нормы в ту или иную сторону, причем по мере удаления в обе стороны от средней величины число индивидов уменьшается. Мы можем аналогичным образом предположить, что всякий здоровый человек в состоянии что-либо напевать, если только у него есть желание петь. Пусть половина населения обладает вокальными способностями среднего уровня, четверть его поет хуже, чем эта половина, и оставшаяся четверть отличается повышенными способностями. Если в пределах этой последней четверти мы станем двигаться в направлении растущих способностей, то число людей, обладающих таковыми, будет уменьшаться, и наконец мы дойдем до Карузо и ему подобных. Только у этих последних наблюдаются столь выдающиеся вокальные способности, и только у корифеев они могут стать признаком, характеризующим данную личность. Разумеется, мы не говорим здесь о профессиональном уровне, который, конечно, также требует наличия способностей в определенном объеме. Итак, хотя петь могут почти все, заметные вокальные способности присущи лишь меньшинству, которое в данном случае трудно назвать типом, поскольку вокальная одаренность в сравнении с тем качеством, которое мы здесь рассматриваем, накладывает сравнительно меньший отпечаток на личность человека в целом.

Поступим так же и в нашем случае: пусть одна четверть населения обладает, скажем пока, экономической инициативой в столь малой степени, что это предопределяет исключительную бедность нравственной личности этих людей — они играют жалкую роль во всех, даже мельчайших, событиях своей личной жизни и профессиональной деятельности, когда от них требуется проявить данное качество. Этот тип людей нам хорошо известен: к нему принадлежат многие добросовестнейшие, знающие свое дело, пунктуальные государственные служащие. Затем идет «половина» людей, которых можно отнести к «нормальным». Они лучше справляются с проблемами, находящимися даже за пределами их привычной сферы деятельности. Они могут не только «исполнять», но и «принимать решения» и «осуществлять» их. К этой категории относятся почти все представители делового мира — этого требует их профессия. Большинство из них — в силу унаследованных или благоприобретенных качеств — даже представляют собой элиту. Конечно, когда текстильный фабрикант отправляется в Ливерпуль на шерстяной аукцион, для него это не нечто «новое». Но ситуация на этом аукционе никогда не остается одной и той же, она постоянно меняется, и успех фирмы во многом зависит от смекалки и энергии, которые проявляет ее хозяин во время закупки шерсти. Тот факт, что в текстильной промышленности до сих пор не сложились тресты, которые по масштабам можно было бы сравнить с трестами тяжелой промышленности, в какой-то мере объясняется, вне всякого сом- ▶

цессов или тенденции к установлению равновесия, с одной стороны, и нарушения привычного хода процессов или стихийные изменения экономикой показателей (условий) своего функционирования — с другой. Во-вторых, это противоположность между двумя аппаратами теоретических исследований: статикой и динамикой[21]. И наконец, в-тре-

---

Продолжение сноски со стр. 150.

нения, именно тем, что наиболее толковые фабриканты не хотят отказаться от преимуществ, которые дает им их предприимчивость при закупке сырья. Наконец, поднимаясь по нашей шкале, мы попадаем в группу индивидов особого типа, которые в высокой степени наделены соответствующими интеллектуальными и волевыми качествами. Внутри этого типа существуют не только профессиональные разновидности (коммерсанты, промышленники, финансисты и т. д.), но и последовательная градация по степени инициативности. В нашем случае встречаются типы людей, обладающих этим свойством в различной степени. Один может идти непроторенными путями, другой — только последовать за первым, третьего увлечет только массовое движение, но при этом он будет в его первых рядах. Аналогично крупный политический лидер любой эпохи и любого типа — это не уникум, противостоящий некоей однородной массе, а явление высшего порядка, верхняя ступень той лестницы, в которой есть как средние, так и нижние ступени. И тем не менее не только «руководство» является особой функцией, но и самого руководителя мы легко отличим на общем фоне. Поэтому в нашем случае также совершенно бессмысленно задавать вопрос: «А с чего, собственно, начинается тот тип, который мы анализируем?» — и, не получив точного ответа, заявлять: «Тогда этого типа просто не существует!»

[21] По выходе в свет первого издания этой книги меня упрекали в том, что я определяю «статику» то как теоретическую конструкцию, то как картину реального состояния экономики. Думаю, что при чтении настоящего издания никаких неясностей по этому поводу не возникнет. Статическая теория вовсе не предполагает статичного состояния экономики, она также рассматривает и изменения экономических показателей и их последствия. Само собой разумеется, что однозначной связи между статической теорией и статичной экономикой не существует. Лишь поскольку основные формы протекания экономического процесса легче всего изложить на примере остающейся неизменной экономики, экономическая теория иногда использует эту посылку. Статичная экономика, бесспорно, существовала не только в течение многих тысячелетий, о которых у нас нет точных сведений, но и в исторически обозримый период, когда в некоторых районах она господствовала на протяжении веков. Мы не говорим уже о том, что во время каждой депрессии — впервые на это обратил внимание Зомбарт — экономика стремится вернуться к статичному состоянию. Поскольку ни эта теоретическая конструкция, ни данный круг явлений действительности не содержат интересующего нас аспекта развития, а также потому, что сила инерции, управляющая статичной экономикой, является одновременно и причиной того, почему статическая теория хорошо объясняет одни явления действительности и плохо — другие, то я счел возможным в первом издании книги для простоты изложения употреблять для их обозначения единый термин «статика». Но хотя такое объединение имело, как видим, свой резон, оно не принесло желаемых результатов, и здесь я решил от него отказаться. И еще одно замечание. Экономическая теория использует два подхода, понимание которых может доставить известные трудности. Если нам хотят показать взаимосвязь всех элементов экономики в условиях равновесия, то находящаяся в равновесии система рассматривается как бы несуществующей и постепенно формирующейся на наших глазах *ab ovo* (с нуля). Это вовсе не означает, что дается генетическое объяснение наступления равновесия. Только мысленно разбирая систему на части, можно логически объяснить бытие системы и ее функционирование. Опыт и привычки хозяйственных субъектов при этом принимаются заданными. Этим, однако, не объясняется, как возникли существующие производственные комбинации. Если же надлежит исследовать два состояния равновесия, следующих одно за другим, то — иногда, — например, в концепции «экономики благосостояния» Пигу, сравниваются «лучшие» производственные комбинации этих обоих состояний. Это может, но не обязательно должно означать, что обе комбинации отличаются не только в незна- ▶

тьих, это противоположность двух типов поведения, которую мы можем себе представить в виде антитезы двух типов хозяйственных субъектов: «просто хозяева» и «предприниматели». Поэтому под «лучшим способом» с точки зрения традиционной теории должен подразумеваться не «лучший из возможных», а «самый выгодный из привычных, испробованных на практике». Если не установить этого ограничения, то не удастся свести концы с концами и решить как раз те проблемы, которые разъясняются, исходя из нашей концепции. Поэтому, наконец, с фактами согласуется лишь та концепция, согласно которой новые комбинации возникают, как правило, рядом со старыми, а не та, по которой старые комбинации, трансформируясь, автоматически становятся новыми. Разумеется, можно предположить и последний вариант — исследователь имеет право на любую предпосылку — и даже правильно объяснить при этом некоторые явления действительности, но предпринимательский доход, процент, кризисы, чередование подъемов и спадов в капиталистическом мире и многое другое останется при этом необъясненным.

Теперь уточним, в чем состоит своеобразие выделенного нами типа людей и их поведения. Совершение даже самого незначительного действия в нашей обыденной жизни означает огромное напряжение духовных сил: если бы любой школьник или его учитель сам, с нуля, осознанно и планомерно достиг бы того, что он знает и умеет, его можно было бы уже счесть духовным исполином. Но важнее другое. Если бы каждый человек, совершая обыденные поступки, должен был бы каждый раз напрягать свои духовные силы и использовать свои творческие способности, ему пришлось бы со сверхчеловеческой проницательностью разбираться в социальной жизни и обладать исполинской волей. Это относится не только к познанию и деятельности в рамках всеобщих функций индивидуальной и общественной жизни и определяющим эту деятельность принципам мышления, поведения и проявления чувств, принципам, складывавшимся на протяжении тысячелетий, но и к тем продуктам более позднего происхождения и специфического характера, которые являются особыми инструментами решения задач трудовой деятельности.

Но как раз те вещи, делать которые стоило, казалось бы, исключительного труда, действительно каких-то особых индивидуальных уси-

---

Продолжение сноски со стр. 151.

чительных деталях, но и имеют принципиальные, с нашей точки зрения, технические или коммерческие различия. Однако и при таком подходе само возникновение второй комбинации и связанные с ним проблемы остаются в тени. Как и в первом случае, здесь рассматриваются только уже сложившиеся и функционирующие комбинации. Как бы ни был оправдан и безупречен этот метод рассмотрения, он обходит стороной нашу проблему. Если же он в неявной форме претендует на ее решение, то претензия эта совершенно необоснованна.

лий — те вещи, которые должны бы быть особенно сложными, на самом деле оказываются на редкость простыми; то, для чего вроде бы нужны сверхчеловеческие способности, легко доступно любому умственно нормальному человеку. В особенности следует отметить, что в этой повседневности — в самом широком смысле — человек не нуждается ни в каком руководстве извне. Разумеется, во многих случаях нельзя обойтись без ознакомления с самым необходимым, но и это не составляет особого труда, и любой нормальный человек в состоянии овладеть подобной функцией. Нередко возникает также потребность в специализации, а следовательно, и в структурной иерархизации различных видов деятельности как одной из форм специализации, но и руководящая деятельность является столь же будничной работой, как и всякая другая, работой, подобной обслуживанию исправной машины. При этом все люди знают и умеют выполнять свои обычные повседневные задания и, как правило, самостоятельно приступают к их выполнению. У «руководителя» также есть своя повседневная (рутинная) работа, как и у всех прочих. И таковой является его функция контроля, означающая устранение отклонений. Назвать ее движущей силой процесса производства так же немыслимо, как объявить закон о наказании за убийство причиной того, что люди обычно не убивают друг друга.

Все это происходит потому — здесь мы лишь констатируем этот факт, — что все однажды приобретенные нами знания и навыки укореняются в нас и сливаются с другими элементами нашей личности столь же прочно, как, скажем, железнодорожная насыпь с землей, на которой она стоит, что их не надо каждый раз заново осмыслять и обновлять, поскольку они остаются в нашем подсознании; что они практически беспрепятственно передаются другим людям посредством наследования, обучения, воспитания и влияния среды вне всякой зависимости от того, как соотносятся эти факторы между собой; что наши мысли, чувства, деяния достаточно часто становятся для нас стереотипом на индивидуальном или групповом уровне, позволяя делать многое автоматически и существенно облегчая работу ума. Огромная, растущая из поколения в поколение экономия сил, которую это означает для каждого человека, тем не менее недостаточна для того, чтобы существенно облегчить бремя повседневной жизни, чтобы жизнь среднего человека не уходила целиком на решение повседневных задач. Но она достаточно велика, чтобы позволить человеку выполнять те требования, которые предъявляет к нему общество в каждый конкретный момент времени.

Эти общие положения полностью применимы и к специфическим будням хозяйства. И в экономической жизни любой отход от рутины связан с немалыми трудностями, порождает новый момент, и этот

последний заключается — и составляет его суть — в явлении хозяйственного руководства (Führerschaft).

Природу упомянутых трудностей можно охарактеризовать следующими тремя моментами. Во-первых, вне привычных рамок у хозяйственных субъектов отсутствуют необходимые для принятия решений и определения правил поведения показатели, которые ему в обычных условиях, как правило, очень хорошо известны. Это, разумеется, не означает, что он вообще оказывается вне сферы опыта или же только вне сферы социального опыта. Он должен и может еще делать прогнозы и оценки, опираясь на свой опыт, а во многих вещах даже полагаться на него. Но кое в чем он уже не может быть так уверен, еще кое-что он в состоянии определять только в широких интервалах, а об остальном, вероятно, может только «догадываться». Прежде всего это относится к тем показателям, которые должны измениться или появиться в результате действий самого хозяйственного субъекта. Конечно, и теперь он следует определенному плану; в его разработку будет вложено гораздо больше осознанной рациональности, чем обычно, когда план как таковой не следует вообще тщательно «продумывать». Этот же новый план надлежит разработать от начала до конца. Поэтому здесь не просто увеличивается вероятность ошибок, но и появляются их новые источники. Привычный план надежен, потому что основан на представлениях о хорошо известных из опыта вещах, новый же должен исходить из представлений о том, что существует только в представлениях. То и другое совершенно различные вещи: следовать новому плану — значит строить дорогу, руководствоваться привычным — идти по готовой дороге. Как строительство дороги нельзя заменить постоянным хождением по ней, так и осуществление новых комбинаций нельзя считать простым повторением обычных процессов в иных масштабах.

То, что хозяйственный субъект в этом случае проделывает не только *больший* объем работы, но работы *качественно иной*, становится особенно ясно, если принять во внимание, что даже при самой тщательной подготовке невозможно полностью учесть все прямые и обратные воздействия, которые влечет за собой осуществление запланированных мероприятий, что даже степень полноты их учета, теоретически возможная в данной среде и условиях, предъявляет практически невыполнимые требования. Как во время войны полководцу приходится принимать стратегические решения, не дожидаясь, пока будет собрана вся необходимая информация, так и в экономической жизни бывает необходимо действовать, не продумав во всех деталях то, что должно произойти. Здесь успех зависит от «чутья», способности видеть вещи в таком свете, который никак нельзя обосновать данным моментом и правильность которого выявится лишь впоследствии, от способности отделять существенное от несущественного тогда, и пре-

жде всего тогда, когда нельзя еще дать себе отчет о тех принципах, на основе которых осуществляется все это. Основательная подготовка и знание дела, глубина ума и способность к логическому анализу в известных обстоятельствах могут стать источником неудач. Чем глубже мы познаем природу и общество, чем совершеннее наше господство над фактами, чем шире с течением времени и по мере углубления рационализации становится та область, в которой практически все можно высчитать заранее, причем высчитать быстро и надежно, тем меньше становится значение «чутья», а значит, и роль типа «предприниматель» аналогично тому, как существенно уменьшилась роль типа «полководец». Тем не менее частично поведение обоих типов связано с этим качеством.

Если первый момент заключается в характере выполняемой задачи, то второй относится к поведению самого хозяйственного субъекта. Сделать что-то иное, новое не только *объективно* труднее, чем привычное и испытанное. Здесь надо учесть также и то обстоятельство, что хозяйственный субъект всячески противится этому и стал бы этому противиться, даже если бы это не вызывалось объективными трудностями. Аналогичным образом дело обстоит во всех областях человеческой деятельности. История науки убедительно подтверждает тот факт, что для нас бывает очень трудно сразу же усвоить новые научные взгляды. То и дело наша мысль сворачивает на привычный путь, хотя идти по нему уже нецелесообразно, а использование другого, да к тому же более рационального пути не связано ни с какими особыми трудностями. Сама суть, а также энергосберегающая и побудительная функция твердо установившихся привычек мышления (инерции мышления) покоятся как раз на том, что они коренятся в нашем подсознании, что результаты этого мышления выдаются автоматически. Эти привычки неуязвимы для критики и даже невосприимчивы к тому, что отдельные факты противоречат друг другу. Твердо установившиеся привычки мышления продолжают оставаться ими и выполнять свою функцию даже тогда, когда их час уже пробил и они становятся тормозом. Подобное происходит и в сфере экономической деятельности. Невольно в душе того, кто задумывает сделать что-то новое, против зарождающегося плана восстают элементы обычного, традиционного. Помимо уже затраченных, требуются новые усилия воли, к тому же иного характера, чтобы среди повседневных трудов и забот выкроить место и время для концептуального обоснования и разработки новой комбинации, рассмотреть в ней реальную возможность, а не просто мечту или игру воображения. Подобная духовная раскрепощенность предполагает наличие сил и энергии, объем которых далеко выходит за пределы потребностей рядовых будней. Это качество представляет собой нечто своеобразное и по природе своей встречается редко.

Третий момент — это то противодействие, которое оказывает социальная среда попыткам каждого, кто намеревается внести новое вообще или новое в экономике в частности. Это сопротивление может проявляться прежде всего в форме существования различных препятствий правового или политического порядка. Но и помимо этого, общество осуждает любое отклонение в поведении одного из своих членов, правда, в различной степени — в зависимости от того, насколько данное общество привычно к подобным отклонениям. Общество отрицательно реагирует даже тогда, когда поведение людей, их одежда или образ жизни отличаются от того, что принято в социальном кругу, не говоря уже о более серьезных случаях. Когда общество находится на более примитивном уровне развития культуры, эта реакция острее, но в той или иной форме она существует всегда. Даже само удивление, с которым отклонение воспринимается, даже само обращенное на него внимание оказывают давление на индивида. А уж выражение неодобрения может иметь заметные последствия. Более того, осмелившийся может подвергнуться обструкции, и, наконец, ему могут силой помешать реализовать свои намерения и повести на него прямую атаку. Принципиального значения этой реакции не меняет ни тот факт, что углубляющаяся дифференциация общества ее несколько ослабляет — тем более что важнейшим фактором смягчения реакции является именно процесс развития, который мы как раз хотим здесь объяснить, — ни то обстоятельство, что противодействие общества при известных обстоятельствах стимулирующе действует на отдельных индивидов. Преодоление этого сопротивления всегда является задачей особого рода, не встречающейся в обыденной жизни, задачей, требующей поведения особого рода. В экономических вещах противодействие оказывают в первую очередь те группы, интересам которых такое нововведение угрожает. Далее, оно проявляется в возникновении трудностей в установлении необходимого сотрудничества с нужными людьми, а также в том, чтобы заставить потребителей идти в ногу. И хотя эти трудности — несмотря на то, что эпоха бурного развития приучила нас к мысли о необходимости появления нового и претворения его в жизнь, — имеются и в наши дни, легче всего их изучать применительно к начальным стадиям капитализма. Здесь они настолько очевидны, что нам нет нужды тратить время на их описание.

По этим причинам возникает необходимость в руководстве, в руководстве как функции особого рода в противоположность иерархической структуре органов, которая всегда будет присуща любому крупному или небольшому социальному организму и которая, как правило, существует наряду с первым. И именно по этим причинам: дело в том, что в описанной ситуации существуют рамки, за пределами которых большинство людей самостоятельно работать не в состоянии, а потому нуждаются в помощи меньшинства. И только по этим причи-

нам: поскольку, если бы социальная жизнь во всех своих проявлениях обладала относительной неизменностью, скажем, неизменностью звездного неба, или она бы изменилась, но в этой изменчивости она была бы неуправляемой, или, наконец, если бы каждый мог в равной мере воздействовать своим поведением или его последствиями на изменения общественной жизни, то никакой особой функции руководства, кроме конкретно определенных функций рутинной работы, не существовало бы, как, впрочем, при таких условиях даже стадо оленей обходилось бы без вожака.

Только перед лицом новых и *только* новых возможностей возникает необходимость в специфической функции руководства, новый тип индивида — «руководитель». Как раз поэтому данный тип был так сильно развит у норманнов в эпоху завоевательных походов и так слабо проявлялся у славян в те столетия, когда они в относительной безопасности вели пассивный образ жизни на заболоченных землях, расположенных в долине Припяти. Отмеченные выше три момента характеризуют как природу функции руководства, так и поведение руководителя, создающее данный тип. Руководитель как таковой не «находит» и не «создает» новых возможностей. Они существуют сами по себе, с избытком накапливаются они в процессе осуществления людьми своей трудовой деятельности, часто они широко известны, а там, где существует печатное слово, даже и пропагандируются. Нередко — именно жизненно важные — возможности бывает нетрудно распознать, например возможность умелыми действиями спасти пассажиров охваченного пламенем судна или возможность существенно улучшить общую социальную и политическую обстановку во Франции времен Людовика XVI посредством введения «режима сбережений» и там же несколько позднее — путем строгого соблюдения конституционных основ. Но все это мертвые возможности. Функция руководителя состоит в том, чтобы сделать их живыми, реальными, чтобы *осуществлять* их. Это распространяется на все формы руководства: и на руководство, осуществление которого ограничено кратким отрезком времени, как в примере с горящим судном, и на руководство, основывающееся на личном вкладе и воздействующее через силу примера — примером здесь служит наиболее примитивная форма военного руководства, но в особенности руководство в сфере науки и искусства, — и *частично* также на деятельность современного предпринимателя. Не сама деятельность как таковая означает руководство, а то влияние на других, которое оказывается через нее: момент руководства командира кавалерийского эскадрона заключается не в том, что он первым вклинивается в ряды врага и благодаря своему боевому искусству сражает одного из противников, а в том, что при этом он увлекает за собой своих кавалеристов. Сказанное выше относится, наконец, и к той

деятельности, которую осуществляет аппарат сформировавшегося общественного органа. Тип руководителя характеризуется, во-первых, особым взглядом на вещи, причем главную роль играет не столько интеллект, сколько воля и способность выделять определенные моменты действительности и видеть их в реальном свете (а если уж и говорить об интеллекте, то здесь важны не просто его широта или глубина, а совсем наоборот — особого рода ограниченность); во-вторых, способностью идти вперед в одиночку, не пугаясь связанных с этим неопределенностей и возможного сопротивления; наконец, в-третьих, его воздействием на других людей, которое мы определяем понятиями «иметь вес», «обладать авторитетом», «уметь заставлять повиноваться». Эти качества мы в дальнейшем рассматривать не будем.

Если предпринимательская функция органически переплелась с другими элементами общей функции руководства, как это имеет место, например, у вождя первобытного племени или у центрального органа коммунистического общества — пусть даже некоторые члены этого органа специализируются по экономическим вопросам, — и ее исполнение основано на силе командной власти в широком смысле слова, то нам остается добавить к сказанному выше только два замечания. Во-первых, отныне нам должно быть ясно, почему основное внимание мы с самого начала уделяли осуществлению новых комбинаций, а не их «отысканию» или «изобретению». Функция изобретателя и вообще технического специалиста не совпадает с функцией предпринимателя. Предприниматель может быть одновременно изобретателем и наоборот, но в принципе это всего-навсего случайность. Предприниматель как таковой не является духовным творцом новых комбинаций, изобретатель как таковой не является ни предпринимателем, ни каким-либо другим руководителем. И «поведение», и «тип» предпринимателя и изобретателя различны: как неодинаково то, что они делают, так неодинаковы их способности делать это. Во-вторых, все должны теперь понять, почему мы не называем предпринимательскую деятельность «трудом». Конечно, мы могли бы это сделать, но тогда это был бы труд, как по своей природе, так и по выполняемой функции качественно отличающийся от любого другого, в том числе и труда по управлению, а тем более от умственного труда и от всего того, что делает предприниматель, помимо осуществления своей предпринимательской деятельности.

Но поскольку предпринимательская функция является делом частного делового лица, она тождественна не всякому руководству, объектом которого может быть экономическая сфера. Профсоюзный руководитель, как, впрочем, и представитель чьих-либо интересов, вполне может быть экономическим руководителем, и не только в области *экономической* политики. Специфически «предпринимательский» характер частному руководству в экономике — как по поведению, так и

по типу — придают особые условия этой деятельности. Разумеется, авторитет имеет здесь вполне определенное значение, поскольку предпринимателю нередко приходится преодолевать определенное сопротивление общества (soziale Widerstände), с боем заводить «связи» и выдерживать испытание на прочность. Но это значение не слишком велико, поскольку устанавливать «командную власть» над средствами производства нет необходимости, а то, что предприниматель увлекает за собой своих коллег по работе, — это, конечно, важное следствие его примера и основа для объяснения многих существенных явлений, но этот факт вовсе не помогает ему лично добиться успеха, а нередко как раз наоборот — затрудняет эту задачу и поэтому нежелателен для предпринимателя[22]. Более того, формирование авторитета и не требует от него никаких усилий. Тем более важным является упоминавшееся специфическое сочетание остроты видения и ограниченности кругозора с умением идти вперед в одиночку. Эти качества в конечном счете и определяют тип. Он лишен внешнего блеска в отличие от тех руководителей, которые являются таковыми в силу того, что занимают высокий пост. У него нет того блеска, который необходим там, где руководитель должен быть «личностью» или иметь влияние в определенных критических общественных кругах. Задача, с которой он имеет дело, весьма специфического свойства: тот, кто может ее решить, вовсе не обязан быть умным, интересным, образованным — словом, «не рядовым» в других отношениях. Он может даже казаться смешным в том общественном положении, которого он достигает *ex post* (задним числом) благодаря успехам в своей деятельности. По самой своей сути, а также исторически (что вовсе не обязательно совпадает) он — типичный выскочка, лишенный традиций, и поэтому за пределами своего кабинета он зачастую бывает робок, не уверен в себе, старается приноровиться к обстановке — словом, совсем не руководитель. Он — революционер в экономике и невольный зачинатель социальной и политической революции — и его же коллеги, сумевшие подняться на ступеньку выше по социальной лестнице, отрекаются от него и подчас не допускают в круг респектабельных промышленников. По всем этим пунктам имеются аналогии с другими типами руководителя. Но ни один из них не возбуждает такого интереса, причем по самым различным поводам, и не подвергается столь отрицательным оценкам. Поэтому индивидуальные различия в деловых качествах

[22] Это происходит тогда, когда, «увлекая других за собой», предприниматель начинает ощущать их конкуренцию. Данный процесс, как мы увидим далее, лежит в основе таких важных явлений, как постепенное исчезновение предпринимательской прибыли и существование периодических экономических спадов. Но случается и так, что предприниматели выступают единым фронтом: например, по отношению к потребителю или при объединении всей отрасли в единый трест.

имеют здесь серьезное значение для судьбы как самого типа, так и того экономического уклада, который несет на себе его печать[23].

В заключение данной главы мы постараемся объяснить поведение типа «руководитель» — и в первую очередь, учитывая цель нашего исследования, поведение частнокапиталистического предпринимателя — обычным, принятым и в жизни, и в науке способом, т. е. раскроем мотивы этого поведения[24].

---

[23] После выхода первого издания некоторые критики обозвали эту книгу «пропредпринимательской» и увидели в ней неумеренное «возвеличивание» предпринимателя. Я протестую против этого и считаю такую аргументацию ненаучной или по крайней мере такой, которая характерна для пройденного этапа развития науки. Все, что в этой книге можно было назвать «пропредпринимательским», сводится к доказательству, что предприниматель — в отличие, скажем, от рыцаря, занимающегося разбоем, — выполняет особую функцию в социальном экономическом процессе. Но сегодня это признает и наиболее серьезная часть социалистов, и обсуждать можно только то, насколько верно наша теория освещает этот факт. Пропагандистская шумиха и использование модных словечек такому обсуждению отнюдь не способствуют. «Возвеличивание» предпринимателя не входило в мои намерения и не присутствует в этой книге, поскольку приведенные здесь факты и аргументы допускают как положительную, так и отрицательную оценку частной предпринимательской деятельности, и в особенности частного присвоения предпринимательской прибыли. Тот, кому нечего сказать по существу дела, может, конечно, болтать, сколько ему угодно, но тогда уж пусть не рассчитывает на внимание к своим словам.

[24] К возражениям, которые, подобно тем, что упоминались в предыдущей сноске, лишь без толку испытывают наше терпение, относится и такое: теорию, изложенную в этой книге, считают психологической и подвергают ее сомнению как таковую. Хотя наше использование «психологии» носит чисто иллюстративный характер, а основным предметом исследования являются факты экономической жизни, мы все же ответим на четыре контраргумента, которые нам могли бы здесь противопоставить наши критики.

1. Если они имеют в виду, что «мотивация» сама по себе не может ничего объяснить, поскольку мотив является не просто «причиной» того или иного действия, а всего лишь его отражением в психике, то это, бесспорно, так. Но мы и не думали утверждать обратного. Мотив — это только инструмент, с помощью которого исследователь иногда может прояснить для себя и других, т. е. понять, причинно-следственную зависимость явлений социальной жизни в отличие от явлений «неживой природы». Короче говоря, мотив часто имеет, если можно так выразиться, большое эвристическое значение и может быть «причиной нашего понимания» соответствующего явления. При этом мы не считаем его «реальной причиной» этого явления.

2. Если упрек в «психологии» означает, что часть сказанного нами не относится к «экономике», а посему несущественна, то он совершенно безоснователен. Если никакая другая наука не может дать нам нужный материал в нужной форме, мы должны заняться этим сами, подобно тому как политэконому самому приходится заниматься историей, статистикой и прочими вещами. Неверно и недопустимо полагать, что все социальные науки (Sozialwissenschaften) в конечном счете сводятся к психологии. Вместе с тем было бы наивно полагать, что мы можем решить все наши проблемы без психологии вообще, т. е. обойтись без изучения и объяснения наблюдаемого поведения людей. Последнее, кстати, не означает — поскольку психология имеет дело с объективно существующими реакциями, — что

3. Мы, занимаясь «психологией», удаляемся в область субъективного и непознаваемого. Напротив, мы описываем и анализируем реальное экономическое поведение. Оно же остается предметом нашего анализа, когда мы пытаемся «осмыслить» его с позиции самих хозяйственных субъектов.

В этих трех пунктах мы даем отпор и тем бессодержательным и вредным для развития науки нападкам, которым часто подвергалась и подвергается «субъективная» теория ценности. ▶

Падение значения исследования мотивов поведения «просто хозяина» для экономической теории кругооборота, но, разумеется, не для социологической теории стилей хозяйствования, экономических эпох, «экономических менталитетов» (Wirtschaftsgeiste) объясняется тем, что систему равновесия вполне возможно описать без учета мотивов[25]. Но если мы хотим «понять» процессы, происходящие в рамках кругооборота, выяснить их житейский смысл, то оказывается, что мотивация поведения хозяйственных субъектов в данном случае отнюдь не проста. Не подлежит сомнению, что концепция индивидуального рационального и гедонистического эгоизма (Einzelegoismus) объясняет ее неверно. То, что постоянно надлежит делать в рамках определенных социальных условий — при данной социальной структуре, способе производства и культурной формации, — а также при существующих социальных обычаях и нравах, воспринимается им прежде всего как обязанность, носящая в высшей степени объективный характер, а не как результат рационального выбора, основанного на гедонистическом индивидуальном эгоизме. Эта обязанность может диктоваться какими-то моментами, не связанными с реальной жизнью, социальными факторами в широком понимании (долг перед страной, народом, городом, классом), социальными факторами в более узком понимании (узы кровного родства) и факторами, олицетворяющими сферу деятельности (крестьянский двор, фабрика, фирма). Наконец, еще один сравнительно редко встречающийся и недавно появившийся фактор — чувство долга перед самим собой, — в этом смысле не ранее эпохи Возрождения, а в основном не ранее эпохи промышленной революции. Чем рациональнее становится наша жизнь, тем заметнее «долг» уступает место гедонистическому интересу. И все же есть возможность уточнить данную в начале работы формулировку экономического мотива в хозяйственном кругообороте. Именно в рамках кру-

---

Продолжение сноски со стр. 160.

4. Если критики хотят сказать, что мы «показываем» предпринимателя как тип в ложном свете и, в частности, неправильно описываем мотивы его поведения, то это следовало бы доказать на конкретных примерах, учитывая последовательность, в которой ведется наша аргументация, и ее ограниченную цель, поскольку в наши задачи отнюдь не входит социологическое исследование данного типа. Что же касается любителей бездумного «чтения по диагонали» в ожидании возможности воспользоваться модным словечком, то они, найдя, как им кажется, такую возможность, с довольным видом откладывают концепцию в сторону и отныне лишь время от времени повторяют свое затверженное обвинение. Ответить на это можно, лишь вновь и вновь — во все более точных формулировках — повторяя истину. Только так читатель, который действительно стремится к познанию, сможет ощутить правдивость и жизненность нашего изложения.

[25] Этот подход связан прежде всего с именем Парето, но в наибольшей степени он разработан Бароне (Barone. Il ministro della produzione nello stato collettivista. — *Giornale degli Economisti,* 1908).

6-6854

гооборота наблюдателю открывается основной смысл всякой экономической деятельности, смысл, объясняющий, почему же вообще существуют хозяйства. Приобретение благ как содержание экономического мотива означает в этом смысле приобретение благ для удовлетворения потребностей. Если учесть, что сила этого мотива всегда социально задана и определяется культурным уровнем и социальным положением субъекта, если, далее, принять во внимание, что почти всегда речь идет не просто о потребностях отдельных индивидов, а о потребностях тех, о ком заботится хозяйственный субъект, — иными словами, если учесть, что удовлетворяется не индивидуальная потребность, а, может быть, и индивидуальная, но только такая, которая включает в себя потребность проявлять заботу об удовлетворении потребностей других лиц, — то можно с полным основанием утверждать, что движение к равновесию вызвано тем, что люди стремятся удовлетворить свои потребности путем потребления, первое логически выводится из второго[26]. И чем более мы сосредоточиваем свое внимание на тех стадиях развития общества, на которых оно, как социальная целостность (das soziale Ganze), ведет хозяйство усилиями отдельных индивидов и групп, которым позволяет хозяйствовать, на стадиях, на которых порваны все связи, обеспечивавшие на других стадиях определенную защиту индивиду (или части социальной группы) и ограничивавшие его свободу, на стадиях, на которых, наконец, отдельный человек становится личностью, индивидом, опирающимся главным образом на собственные силы, тем с большим основанием мы сможем утверждать, что удовлетворение потребностей носит — правда, в широком смысле слова — эгоистический характер.

Ничего подобного нельзя сказать о рассматриваемом нами типе индивида. Хотя, по идее, его мотивы надо признать особо эгоистическими — также и в смысле решительности, бесцеремонности, — ведь он начисто лишен связей и традиций, именно его усилиями рвутся эти связи; ему совершенно чужда система надындивидуальных ценностей как того слоя, выходцем из которого он является, так и того, в который он поднимается; именно он прокладывает путь современному человеку и основанному на индивидуализме капиталистическому образу жизни, трезвому расчету и философии утилитаризма, именно в его голове бифштекс и идеал впервые были приведены к одному знаменателю. Следует признать эти мотивы также и рациональными, т. е. осмысленными, как мы сейчас убедимся: ведь он вынужден заново

[26] Именно в этом смысле мы можем употребить здесь такие слова, как «гедонистический» и «рациональный». «Рациональными» в данном случае будут называться действия, которые наблюдатель признает ведущими к достижению данной цели в данных обстоятельствах.

разрабатывать то, что другие получают в готовом виде; он является движущей силой реорганизации экономической жизни на началах большей частнохозяйственной целесообразности. Но если мотив удовлетворения потребностей понимать в том точном смысле, в котором мы его употребили и которому он обязан своим содержанием, делающим его полезным, то мы должны сделать вывод, что мотивация нашего типа имеет свои принципиальные особенности. Даже если волю человека, направленную в духе гедонистической концепции поведения на достижение удовольствий и избежание неприятностей, определить настолько широко, что под данную схему попадет любая мотивация — что сотрет все различия и приведет к тавтологии, — то и тогда в отличие от других хозяйственных субъектов «экономический мотив» предпринимателя — стремление к приобретению благ — не будет связан с чувством удовлетворения от потребления этих благ. И если удовлетворение потребностей в таком понимании является *ratio* (смыслом) экономической деятельности, то поведение нашего типа совершенно нерационально или основано на совершенно ином рационализме.

В повседневной жизни мы имеем возможность наблюдать, что лица, занимающие в экономике ведущие позиции, и вообще все те, кто в общей хозяйственной суматохе хоть сколько-нибудь возвышается над остальной массой, очень скоро начинают распоряжаться весьма значительными средствами. Тем не менее мы видим, что все свои силы они продолжают посвящать приобретению новых благ, не доставляя себе труда заняться какой-либо новой мыслью или идеей. Стремятся ли они при этом к экономическому равновесию, имеют ли каждый раз в виду определенные потребности, которые они рассчитывают удовлетворить с помощью этих новых благ? Соизмеряют ли они на каждом шагу интенсивность определенных потребностей с негативным явлением, выражающимся в нежелании осуществления соответствующих затрат в хозяйственной деятельности? Можно ли выделить в мотивах их действий два компонента — удовлетворение потребностей и тяготы труда, — сочетание которых позволяет определять для значительной части хозяйственных субъектов количество затрачиваемого труда?

Бесспорным фактом является то, что после того, как для того или иного хозяйственного субъекта будет обеспечено достижение определенного уровня удовлетворения потребностей, привлекательность приобретения новых благ для него резко уменьшится. Закон Госсена объясняет это явление, а из повседневного опыта мы и сами знаем, что по достижении определенной — для каждого человека индивидуальной — величины дохода интенсивность все еще не удовлетворенных потребностей сильно уменьшается. Для каждой стадии развития куль-

туры и для любых конкретных обстоятельств можно, хотя бы в грубом приближении, определить общую величину дохода, при превышении которой ценность дополнительной единицы дохода будет приближаться к нулю. Непосвященные могут возразить, что, чем большими средствами кто-либо располагает, тем больше становятся его потребности, а интенсивность их при этом не ослабевает. Отчасти это действительно так. Закон Госсена справедлив прежде всего для заданного уровня потребностей, а он между тем повышается по мере увеличения дохода. Поэтому на самом деле шкала ценностей прироста благ не изменяется так резко, как в случае, когда потребности остаются неизменными. Но стимулы, вызывающие потребности, обязательно должны обладать убывающей интенсивностью — достаточным для наших надобностей доказательством этому служит тот факт, что одна и та же денежная сумма имеет совершенно разное значение для человека, все состояние которого она составляет, и для миллионера, который может израсходовать ее на какие-нибудь, в сущности, безразличные ему цели. Поэтому из этого следовало бы, что руководители в экономике в своей деятельности должны были бы ориентироваться на свою безграничную жажду наслаждений и свои исключительно интенсивные потребности, если они действительно не в состоянии остановиться только потому, что точка насыщения находится для них за пределами достижимого.

Но такая интерпретация должна направить нас по ложному пути, стоит только подумать о том, что подобное поведение противоречит здравому смыслу. Предпринимательская деятельность (Erwerbstätigkeit) мешает получать наслаждение как раз от тех благ, приобретение которых, как правило, выходит уже за пределы определенной величины доходов. Ведь к их числу относится в первую очередь досуг, и внутренние потребности в нем и желание потребить приобретенные блага должны были бы приобрести исключительное значение. Следует тем не менее признать, что на практике подобное, противоречащее здравому смыслу поведение действительно нередко приписывается индивидам нашего типа. Этого взгляда придерживаются и близкие им люди, и те, кто знает их только по фамилии. Вообще говоря, из того, что подобное поведение представляет ошибочную цель, еще не следует, что отсутствует соответствующий мотив поведения. Однажды приобретенная привычка продолжает действовать и тогда, когда ее смысл уже утерян. Далее, подобное противоречащее логике поведение можно объяснять и в известной степени патологическими причинами.

Остается также отметить, что у индивидов нашего типа наблюдается весьма примечательное равнодушие и даже неприязнь к праздным удовольствиям. Достаточно вспомнить ту или иную из широко известных личностей, своими руками творивших экономическую историю,

или любого делового человека, полностью погруженного в свои заботы, чтобы убедиться в правильности этого наблюдения. Конечно, большинство таких хозяйственных субъектов живет в обстановке роскоши: они живут так потому, что у них есть на это средства, но они вовсе не приобретают блага ради того, чтобы жить в роскоши. Нелегко в полной мере осознать данное обстоятельство. Важную роль играют здесь личные убеждения и личный опыт наблюдателя, и мы не рассчитываем на то, что все с нами немедленно согласятся. Но, думаю, читатель найдет наши выводы небезосновательными, в особенности если он не будет исходить из своих общих взглядов и отстаивать прежние мнения, а просто попытается проанализировать поведение нескольких конкретных представителей нашего типа. В этом случае он убедится, что все так называемые исключения из наших правил легко объяснимы: люди, у которых стремление к наслаждениям и к определенной «гедонистической» цели — в особенности желание уйти на покой, возникающее, когда доходы достигают какого-то определенного уровня, — стоит на переднем плане, как правило, обязаны своим положением и возможными успехами не собственной энергии, а тому обстоятельству, что у них был предшественник, принадлежавший к нашему типу. Типичный предприниматель никогда не задается вопросом, принесет ли ему каждое прилагаемое им усилие достаточную компенсацию в виде «прироста наслаждений». Его мало заботят гедонистические результаты его труда. Он трудится, не зная покоя, потому что не может иначе, цель его жизни не состоит в том, чтобы получать наслаждение от достигнутого. Если же у него возникает такое желание, то это не остановка в пути, а симптом паралича, не достижение цели, а провозвестник физической смерти. Это вторая причина, по которой поведение людей нашего типа в отличие от поведения «просто хозяина» не может быть включено в схему «состояния равновесия» или движения к этому состоянию. (Первая причина уже упоминалась: это то, что в процессе развития, как мы его понимаем, «спрос» отнюдь не является фактором, независимым от «предложения».) Из этих же соображений нельзя — в *любом другом смысле* это, разумеется, справедливо — предположить, что предприниматель так же, как «просто хозяин», только делает выводы на основе имеющихся показателей[27].

[27] Конечно, только в очень узком смысле можно утверждать, что данный тип что-то «создает». У этого слова есть множество значений, которые, очевидно, не подходят к данному случаю. С оборотом «не просто делает выводы» дело обстоит точно так же, но, полагаю, из самого текста ясно, что́ мы имеем в виду. Кто этого не находит, может обратиться за более подробным объяснением к первому изданию книги.

В этом свете девиз предпринимателя нашего типа — *plus ultra* (еще больше). Тот, кто многое замечает в жизни, может услыхать это из уст самого предпринимателя, если только не застанет его в час отдыха, в один из редких *припадков философствования,* когда он может позволить себе иные высказывания. Мотивы его поведения соответствуют этому девизу.

Прежде всего, это мечта и воля основать свою частную империю и — в большинстве случаев, хотя и не всегда, — свою династию. Своя империя дает ему простор и чувство власти, т. е. то, что в принципе не может существовать в современном мире; но это первое приближение к состоянию полного господства, тому состоянию, которое знакомо этому миру и которое особенно привлекательно как раз для тех людей, которые иным путем никак не могут добиться положения в обществе. Мы могли бы проанализировать эту группу мотивов более подробно: одному нужна «свобода» и условия для развития личности, другой хочет обладать «сферой влияния» третий движим «снобизмом», — но не станем этого делать. Эта группа предпринимательских мотивов ближе всего к тому, что именуется удовлетворением потребностей. Но они полностью не совпадают: потребности, которые здесь удовлетворяются, — это не потребности «просто хозяина», их удовлетворение не составляет *ratio* (смысла) экономической деятельности, и его законы к ним неприложимы.

Вторая группа мотивов связана с волей к победе. Сюда входит, с одной стороны, желание борьбы и, с другой — стремление к успеху ради успеха. В обоих случаях экономическая сторона дела сама по себе для предпринимателя совершенно безразлична. Величина прибыли здесь всего-навсего показатель успеха — зачастую только потому, что другого нет, — и символ победы. Экономическая деятельность рассматривается как вид спорта: своего рода финансовая гонка или, скорее, боксерский поединок. И здесь можно было бы выделить много нюансов, причем некоторые из них — стремление подняться вверх по социальной лестнице — сливаются с первой группой мотивов, но сказанного для нас вполне достаточно. Здесь мы также имеем дело с мотивами поведения, которые принципиально отличаются от чисто экономических. Они чужды экономическому *ratio* и его законам.

Наконец, третья группа мотивов связана с радостью творчества, которая проявляется и в других случаях, но только здесь становится определяющим *моментом* поведения. *Это* и просто удовольствие, получаемое от работы: «просто хозяин» еле справляется с нагрузками трудового дня, в то время как у индивида нашего типа остается избыток сил, который он может применить где угодно, в том числе и в экономике. Он может отважиться на перемены в хозяйстве ради самих

перемен, ради возможности проявить отвагу и даже ради трудностей, которые придется преодолевать[28]. *Это* и радость, которую человек испытывает от творческой деятельности, от своего творения. Это чувство может проявляться как само по себе, так и наряду с удовольствием, доставляемым работой. И здесь блага приобретаются не ради них самих, т. е. теряется обычный «смысл» их приобретения.

Что касается мотивов поведения, перечисленных в первой группе, то сформировавшаяся в результате осуществления предпринимательской деятельности частная собственность является *существенным* показателем эффективности этой деятельности. В двух остальных случаях речь идет не столько о собственности, сколько о тех своеобразных, «утонченных» и не зависящих от мнения других людей способах, с помощью которых в капиталистическом обществе измеряется «успех» или одержанная «победа», реализуется и оправдывает себя в жизни дело, доставляющее его творцу радость. Эти способы исключительно трудно заменить каким-нибудь другим социальным инструментом. Но это вовсе не означает, что нет смысла искать таковой. В обществе, где отсутствует частный предприниматель, надо найти замену не только этим мотивам поведения, но и той функции предпринимателя, которая заключается в том, что он значительную часть своей прибыли не тратит, а откладывает. Сделать это на практике было бы нелегко, но с точки зрения самой организационной идеи это не так уж и трудно. Поэтому детальное изучение бесконечного разнообразия реальных мотивов, встречающихся в экономике, с точки зрения как их практической важности для поведения предпринимателя нашего типа, так и возможностей «консервации» этих мотивов в других обстоятельствах, а вероятно, и при иных стимулах является фундаментальным вопросом «плановой экономики» и социализма, реальность которых нельзя так просто сбрасывать со счетов.



[28] Можно сказать, что человек нашего типа не избегает «неприятностей», связанных с напряжением сил, или что напряжение является для него «удовольствием», а не «неприятностью» — это одно и то же. Одна формулировка не хуже другой.

Глава III
КРЕДИТ И КАПИТАЛ[1]

Раздел первый
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ КРЕДИТА

Основная мысль этой книги, заключающаяся в том, что экономическое развитие представляет собой существенно новое использование услуг труда и земли, позволила нам сформулировать следующий тезис: осуществление новых комбинаций происходит путем изъятия этих услуг из прежних сфер их применения. Отсюда мы делаем два еретических вывода, что для любой экономической системы, в которой услуги труда и земли не находятся в распоряжении одного лица, во-первых, деньги и, во-вторых, даже другие платежные средства играют существенную роль в их перераспределении между областями применения, причем процессы, происходящие в сфере платежных средств, не являются простым отражением изменений в мире благ, где якобы следует искать объяснение всех важных экономических явлений. Между тем великое множество теоретиков с особой решительностью и редким единодушием на все лады пытаются убедить нас в обратном, с высокоученой надменностью и священным гневом отвергая все возможные возражения.

Практически с первых своих шагов экономическая наука боролась с широко распространенными заблуждениями относительно природы

---

[1] Концепцию этой главы, не претерпевшую в настоящем издании существенных изменений, поддержал и развил в своих работах А. Хан (A. Hahn. Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits. 1. Aufl. 1920, 2. Aufl. 1926). Убедительно советую читателю прочесть эту оригинальную, заслуживающую внимания книгу, которая внесла большой вклад в исследование данной проблемы. Сходных взглядов придерживаются также Лэнгуорт и Тэйлор (W. G. Langworth, Taylor. Credit system, 1913). Вероятно, в свете явлений послевоенного времени и после дискуссии о роли банковского кредита в ходе экономического подъема или спада идеи этой главы уже не воспринимаются как дерзкий парадокс. Любая современная теория конъюнктурного цикла учитывает явление «дополнительного кредита» в период процветания и ищет ответа на вопрос, впервые вынесенный на обсуждение Кейнсом: можно ли смягчить циклические колебания с помощью кредитно-денежного регулирования? Из сказанного не следует, что все принимают мою точку зрения, но думаю, что это вопрос времени. См. также мою статью «Kreditkontrolle». — «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 1925. Независимо от меня к тем же выводам недавно пришел Робертсон (Robertson. Banking policy and the price level, 1926). См. также статью Пигу в *Economic Journal*, June 1926. Уверен, что скоро содержание этой главы станет обыденным явлением.

денег. В этом она права, и в этом ее бесспорная заслуга. Всякий, кто тщательно поразмыслит над всем сказанным до этого момента, легко убедится, что там нет ни слова в защиту этих заблуждений. Однако мы считаем также ложным утверждение, что деньги представляют собой только средство обращения благ и не могут самостоятельно порождать никаких важных явлений. Признание существенной роли денег не противоречит нашей теории, потому что в нашем случае новое применение производительных сил народного хозяйства можно осуществить лишь через сдвиги в покупательной силе хозяйственных субъектов. Ранее мы установили, что в принципе рабочий не может ссудить услуги своего труда, а земельный собственник — услуги своей земли. Добавлю, что и предприниматель не может взять в долг произведенные средства производства, поскольку в кругообороте не возникает никаких избыточных запасов средств производства, которые можно было бы ему одолжить. Если же в экономике случайно образовался излишек как раз нужных предпринимателю средств производства, то он может их просто купить, а для этого ему опять же нужна покупательная сила. Кроме того, средства производства должны употребляться по назначению: их владелец не сможет и не захочет ждать — и рисковать при этом, — пока предприниматель возместит ему доход, который можно было бы получить гораздо раньше. Если все же кто-то решается на это, то налицо две сделки: купля и кредитование. Это не только две обособленные юридические части одного и того же экономического процесса, но и два принципиально различных экономических процесса с совершенно непохожими явлениями, что со всей очевидностью выяснится впоследствии. Наконец, предприниматель не может «авансировать» рабочих и земельных собственников потребительскими благами[2], потому что у него их просто нет. Если же предприниматель покупает их, ему нужна покупательная сила. Ссужать потребительские блага невозможно по той же самой причине, что и средства производства. Так или иначе, но мы не можем забывать об этом, поскольку речь об изъятии благ из кругооборота заходит постоянно. Таким образом, в наших утверждениях нет ничего таинственного или фантастического.

Возражать нам на том основании, что с деньгами не «может» быть связано ничего серьезного, просто нелепо, ведь не подлежит сомнению, что именно покупательная сила является двигателем важного экономического процесса. Кстати, принципиально возражать по данному вопросу нельзя потому, что каждый признает полностью аналогичное явление: изменение массы денег или их распределения способно вызвать исключительно серьезные последствия. Правда, это наблю-

[2] Именно здесь запутывается в противоречиях так называемая «теория авансирования», основанная Кенэ и получившая чрезвычайно широкое распространение.

дение до сих пор находилось как бы в тени. Сопоставление весьма поучительно: ведь и здесь не диктуется необходимость изменений в мире благ, иными словами, причины, позволяющие разъяснить существо вопроса, вовсе не обязательно должны находиться на «товарной стороне». Сами блага играют пассивную роль в этих процессах, во многом определяющих, как известно, количество и вид этих благ.

Мы отмечали, что большое значение в экономике имеют неденежные платежные средства. И этот вывод при внимательном рассмотрении вовсе не такая опасная ересь, как это кажется на первый взгляд. Он также основан на очевидном и общепризнанном факте. В народном хозяйстве образуются платежные средства, которые по форме хотя и представляют собой требования на определенную сумму «денег», но существенно отличаются от требований, предъявляемых на другие блага, тем, что — по крайней мере временно — оказывают те же услуги, что и блага, на которые они направлены, и при определенных условиях могут заменить последние[3]. Это признано не только в специальной литературе по финансовым проблемам, но и в чисто теоретических трудах и даже практически в любом учебнике. Что касается чистых наблюдений, то нам здесь нечего добавить. Иное дело — анализ. Наблюдение, какое нам нужно, налицо, хотя и стоит на «запасном пути». Вопросы понятия и ценности денег стали той проблемой, обсуждение которой, по существу, привело к теоретическому признанию практически очевидных фактов. Известно, что, когда количественная теория денег вывела формулу ценности денежной единицы, критики опровергали ее, ссылаясь как раз на существование других платежных средств. Известно также, что в английской экономической литературе вопрос о том, являются ли эти платежные средства, и в особенности банковские депозиты, деньгами, стал стереотипным. Многие авторитеты ответили на него положительно, но нам достаточно и того, что этот вопрос вообще ставился. Это говорит о всеобщем признании факта, который находится сейчас в центре нашего внимания, даже если на вопрос дается отрицательный ответ. Не прекращается также более или менее широкая дискуссия относительно того, как и в какой форме сделать это технически возможным.

Тем самым одновременно признается и, как правило, особо подчеркивается, что созданные таким образом средства обращения не просто представляют собой где-то хранящиеся металлические деньги, но и имеются в таких количествах, которые исключают размен в узком понимании этого слова; что они не просто замещают собой по причинам

[3] Если в принципе требования, предъявляемые на блага, не могут существовать наряду с этими благами — подобно тому, как колос не может существовать наряду со своими зернами, — то здесь положение иное: я не могу ездить верхом на своем требовании лошади, но с требованием денег я могу делать то же, что и с самими деньгами, т. е. покупать на него.

целесообразности прежде имевшиеся суммы денег, но и, будучи вновь созданы, существуют наряду с ними. Мы не расходимся с господствующей точкой зрения, вернее, с той, которую уже сейчас можно назвать господствующей, также в том — не имеющем для нас большого значения, мы останавливаемся на нем ради полноты изложения, — пункте, что именно это создание платежных средств происходит в банках и что собственно это представляет собой функцию банка. То, что банки создают деньги, порождая требования, предъявляемые к самим себе, о чем, кстати, можно прочитать еще у такого корифея, как Адам Смит, или даже более ранних авторов, которым несвойственны общераспространенные заблуждения, стало в наши дни избитой истиной. Здесь я спешу добавить, что для наших целей совершенно безразлично, оправданно ли с точки зрения теории использование термина «создание денег», заимствованного мною у Бендиксена, или нет. Излагаемое нами полностью независимо от особенностей той или иной теории денег.

Наконец, не подлежит сомнению, что эти средства попадают в обращение в процессе кредитования и, более того, за исключением случаев, когда это делается во избежание неудобств, связанных с пересылкой металлических денег, создаются главным образом в интересах предоставления кредитов. Согласно определению Феттера (Fetter. Principles of Economics, p. 462), банк — «это предприятие, которое получает доход, ссужая другим свои обязательства выплатить деньги». До сих пор я не сказал ничего спорного и не вижу никакого основания для возражений. Никто не может упрекнуть меня в том, что я совершаю прегрешение против тезиса Рикардо, согласно которому «банковские операции» не могут увеличивать богатство страны, или приписать мне «спекуляции на чем-то туманном» («vapoury speculation») в духе Джона Ло[4]. Но кто же собирается опровергать тот факт, что в наиболее развитых в экономическом отношении странах примерно $^3/_4$ всех банковских депозитов отражают простую запись на счета сумм, выданных банком в долг[5], что предприниматель регулярно становится вначале именно должником банка, чтобы затем превратиться в его

[4] Ср. у Дж.С. Милля. Кстати, любой, даже самый консервативный экономист вынужден признать, что в этом вопросе Рикардо не совсем прав. Например, Л. Лафлин (L. Laughlin. Principles of Money) пишет: «Кредит не может увеличивать капитал, т. е. средства производства, но он мобилизует его, находит ему более эффективное применение и, таким образом, способствует увеличению продукта». В дальнейшем мы придем к аналогичному выводу.

[5] Лишь немногие банки сообщают в своих периодических отчетах, какая часть их депозитов состоит из реальных вкладов, а какая нет. Приведенная здесь оценка сделана на основе отчетов английских банков, публикующих косвенные данные, и должна отражать общее мнение на этот счет. По-другому дело обстоит, например, в Германии, где не существует обычая записывать сумму кредита на счет клиента, но суть от этого не меняется. Строго говоря, как справедливо заметил Хан, все депозиты отражают предоставленные кредиты, а реальные депозиты соответствуют своего рода кредитам с обеспечением и поэтому не могут увеличивать покупательную способность вкладчика.

кредитора, что он вначале «занимает» те самые деньги, которые *ipso actu* вносит на депозит? Мы не говорим здесь об истине, доступной пониманию любого школяра, о том, что только самая незначительная часть оборота по счетам происходит с участием денег, понимаемых в самом узком смысле слова. Поэтому я не занимаюсь подробным рассмотрением всех этих вещей. Нет смысла рассказывать здесь о различиях во взглядах, с которыми каждый, кто с ними не знаком, может познакомиться в любой, самой простой книге по данному вопросу. То, что все внешние формы кредита — от банкнот до записи в кредит — сходны по своему содержанию и что во всех этих формах кредит увеличивает массу платежных средств, принимается нами как бесспорный факт[6].

Разногласия могут, однако, возникнуть в следующем пункте. Любое средство обращения не создается на пустом месте, без обеспечения. Я думаю, что не ошибусь, если скажу: как деловому человеку, так и теоретику типичным примером подобного средства обращения представляется вексель производителя, который, завершив производство и продав продукцию, выставляет вексель на своего покупателя, чтобы свое требование немедленно «превратить в деньги». В этом случае продукты — *in concreto* (в частном случае) накладные — являются обеспечением и вексель опирается если не на реальную денежную сумму, то по крайней мере на существующие блага, а значит, в известном смысле на существующую «покупательную силу». Депозиты также в большинстве случаев обеспечиваются такими «товарными ценностями» (Warenwert). В принципе можно считать это нормальным способом кредитования и возникновения кредитных платежных средств, а все остальное — аномалией[7]. Но даже если речь не идет о нормальной товарной сделке, для получения ссуды, как правило, требуется покрытие, т. е. мобилизация существующих ценностей. Тем самым мы как бы возвращаемся к господствующим взглядам. Казалось бы, традиционная теория может торжествовать, поскольку теперь якобы не только упразднены платежные средства, не имеющие обеспечения, но и исключено даже участие денег. Таким образом, создана

---

[6] Конечно, хватает теоретиков, которые смотрят на дело с точки зрения профана и удивляются «гигантским суммам денег, лежащим в банках». Но совершенно непонятно, почему на таком языке разговаривают отдельные специалисты по финансовым проблемам. См. например, весьма полезную книгу Клэра (Clare. Money Market Primer), автор которой, хотя и не стоит на такой примитивной позиции, тем не менее называет деньги, которые банк может дать в долг, «чужими деньгами», что правильно только для части этих денег, да и то далеко не в буквальном смысле.

[7] Здесь я абстрагируюсь от случая, когда в экономике налажен настолько устойчивый оборот кредитных платежных средств, что производитель, получив от своего покупателя вексель или чек, может непосредственно купить на него средства производства. В этом случае кредита как такового не существует и процесс в принципе не отличается от обычной сделки за наличные при посредстве металлических денег. Этот случай, на котором мы сейчас останавливаться не будем, рассмотрен в главе первой.

видимость того, что все сведено к обмену товара на товар, т. е. к процессам, протекающим всецело в мире благ. Существованием этой точки зрения можно объяснить то, что «создание денег», как всего-навсего теоретически второстепенный, технический вопрос, постоянно считалось необходимым рассматривать в разделах, посвященных обращению.

С этим мы не вполне согласны. Здесь следует отметить следующее: то, что *в практике* принято считать аномалией, есть лишь создание средств обращения, которые лишь на первый взгляд вытекают из регулярных товарных сделок. Кроме того, финансовый вексель, к примеру, так же неверно всегда считать «аномалией», как и аналогичный по сути кредит, предоставляемый на учреждение нового предприятия. Правда, более длительный срок подобного кредита придает ему некоторые специфические особенности, но это уже детали. В обоих случаях покрытие не может быть представлено существующими продуктами, и суть дела не исчерпывается мобилизацией соответствующих имущественных ценностей. Правильнее было бы, на наш взгляд, различать два случая. *Случай первый:* у предпринимателя есть имущество, которое он может заложить банку[8]. Это обстоятельство *in praxi* (на деле) облегчает ему получение кредита от банка, но не затрагивает сущности процесса в его чистом виде. Ни из теории, ни из опыта не следует, что предпринимательская функция обязательно должна быть связана с имуществом, хотя сам факт — по существу, второстепенный — владения имуществом дает практическую выгоду. Когда же это обстоятельство отсутствует, вряд ли можно отказаться от такой точки зрения. Приходится признать, что тезис: «кредит чеканит деньги» из имущества — не отражает истинного положения вещей.

Случай второй: предприниматель закладывает банку товары, купленные им с помощью ссуженной ему покупательной силы. Здесь вначале предоставляется кредит и сама ссуда должна хотя бы в принципе и пусть даже в течение непродолжительного времени остаться без покрытия. В данном случае положение, что в обороте участвуют только существующие имущественные ценности, устраивает нас еще меньше, чем в первом. Совершенно ясно, что создается покупательная сила, которой на первых порах не соответствуют никакие новые блага.

---

[8] Кстати, если это имущество представлено земельными участками или акциями, которые не находятся в обращении — по крайней мере на рынке благ, — то эмиссия бумажных денег оказывает на цены и весь денежный мир такое же влияние, как и возникновение платежных средств без всякого обеспечения. Этого часто не замечают; ср. аналогичное заблуждение в оценке выпускаемых государством бумажных денег, которые якобы «обеспечиваются» землей, природными ресурсами и т. д. Часто встречающееся обеспечение кредитных платежных средств теми или иными имущественными ценностями устраняет известную неопределенность, но факт остается фактом: эти платежные средства порождают новый спрос, которому не соответствует никакое увеличение предложения товаров. См. главу вторую.

Из сказанного следует, что и в действительности общая сумма кредита должна быть больше, чем если бы существовал кредит исключительно с покрытием. Итак, здание кредита выступает далеко за рамки фундамента, который создается не только наличной денежной массой, но и реальными благами. Это надо признать без всяких оговорок. Разногласия могут возникнуть только при теоретическом истолковании данного факта. Теперь нам остается лишь констатировать, что для нас деление кредита на нормальный и аномальный также имеет большое значение. «Права участия» в народнохозяйственном потоке благ, создаваемые нормальным кредитом, удостоверяют наличие благ теперь и услуг в прошлом. «Права участия», создаваемые кредитом, который господствующее мнение считает аномалией, по сути своей удостоверяют будущие услуги и блага, которые еще только предстоит произвести. Обе категории кредитных платежных средств одинаково котируются в процессе обращения и выполняют сходные функции, внешне их также трудно различить. Однако между ними существуют глубокие различия как по самой сути их, так и по способу их воздействия. Одна включает в себя платежные средства, которым соответствует вклад в общественный продукт, другая — платежные средства, которым на первых порах ничто не соответствует, по крайней мере вклад в общественный продукт, хотя на практике этот «дефицит» нередко компенсируется другими вещами.

После этого вступления, краткость которого, надеюсь, не вызовет никаких недоразумений, я перехожу непосредственно к теме данной главы. Вначале следует доказать кажущийся на первый взгляд странным тезис о том, что кредит в принципе не нужен никому, кроме предпринимателя, или — это означает то же самое, только звучит привычнее, — что кредит служит целям промышленного развития. Позитивная часть доказательства, а именно то, что предприниматель постоянно и в принципе нуждается в кредите — в смысле временной уступки покупательной силы, — уже проделана нами в главе второй. Чтобы производить, осуществлять новые комбинации, предпринимателю нужна покупательная сила, которая не предоставляется ему автоматически как производителю в процессе кругооборота в форме дохода от продукта предшествующего периода. Если предприниматель случайно не обладает покупательной силой заранее — и если это происходит, то только как следствие предшествующего развития, — он должен ее у кого-нибудь «занять». Если это ему не удастся, он не может быть предпринимателем. Сказанное не выдумка, а просто более точное изложение всем известных фактов. Нельзя стать предпринимателем, не став предварительно должником. Он становится должником в силу внутренней необходимости, присущей процессу развития. Становление должником является самой сутью явления, а не аномалией, не досадным событием, вызванным случайными обстоятельствами.

Первая потребность предпринимателя есть потребность в кредите. Он нуждается в покупательной силе до того, как у него возникнут потребности в благах вообще. Предприниматель, безусловно, — типичный должник среди всех типов выделяемых наукой хозяйственных субъектов[9].

Нам остается путем доказательства от противного констатировать, что ни о каком другом типе хозяйственных субъектов нельзя сказать того же самого, т. е. никакой другой хозяйственный субъект не является по сути типичным должником. Конечно, в реальной жизни кредиты предоставляются не только предпринимателям. Существенно здесь, однако, то, что другие виды кредита не выступают в качестве необходимых для протекания экономического процесса элементов. Прежде всего это относится к потребительскому кредиту. Его значение весьма невелико, но дело не только в этом. Потребительский кредит не относится к основным, необходимым формам экономической жизни. Существо хозяйственного субъекта не определяется тем, что он вынужден пользоваться потребительским кредитом, существо производственного процесса не определяется тем, что участвующие в нем ради потребления залезают в долги. Поэтому нас больше не интересует явление потребительского кредита, и только под таким углом зрения мы рассматриваем свой тезис о том, что предприниматель — единственно типичный должник в народном хозяйстве. Несмотря на практическую важность потребительского кредита, мы исключаем его из нашего дальнейшего рассмотрения. Здесь нет никакой абстракции — мы признаем его существование, но подробно останавливаться на нем не будем. Все, что было сказано о потребительском кредите, относится и к тем случаям, когда кредит необходим для восстановления нормального функционирования предприятия, нарушенного тем или иным неблагоприятным обстоятельством. Это те случаи, которые я объединил единым понятием «потребительский кредит на производственные цели» (konsumtiver Produktionskredit). Последний также не определяет существа экономического процесса в том смысле, что от рассмотрения этих случаев вовсе не зависит понимание жизнедеятельности народнохозяйственного организма. Нас он также не интересует.

Поскольку любой вид предоставления кредита на нужды нововведений, мелиорации и т. д. рассматривается в соответствии с данным нами определением как кредит, предоставляемый предпринимателю, и образует элемент экономического развития, то единственным ви-

[9] Надо отметить, что предприниматель является должником еще и в более глубоком смысле: он, в сущности, изымает блага из народнохозяйственного потока благ еще до того, как сам в него что-то внесет. Предприниматель как бы становится должником общества в целом. Ему предоставляются блага, на которые он пока еще не имеет права. См. главу вторую.

дом кредита, который мы могли бы еще принимать во внимание, остается систематически используемый кредит на пополнение оборотных средств (Betriebskredit). Мы будем считать вопрос решенным, если нам удастся объявить несущественным — в нашем понимании — и данный вид кредита. Итак, как же обстоит дело с ним?

Познакомившись с содержанием главы первой, читатель смог убедиться: существо регулярного хозяйственного кругооборота не определяется тем, что берется или предоставляется кредит на пополнение оборотных средств[10]. По нашей схеме, производитель продает свои продукты сразу после того, как они будут произведены, и на вырученные деньги заново начинает их производство. Разумеется, в реальной жизни не всегда это происходит именно так. Может случиться, что производитель пожелает начать производство раньше, чем продаст свои продукты. Но решающим здесь является тот факт, что мы в рамках кругооборота можем представить процесс так, как будто каждый раз предприниматель приступает к производству, получив доход и не упуская из виду ничего существенного. Своим значением кредит на пополнение оборотных средств обязан тому обстоятельству, что существует процесс развития и что это развитие открывает возможности для использования денег, праздно лежащих в тот или иной момент времени. В этих условиях каждый хозяин стремится наиболее выгодно приложить свой доход и потому берет в ссуду покупательную силу на самое необходимое время. Постепенно развитие охватывает все народное хозяйство, и это не дает нам видеть экономические процессы в чистом виде. Не будь процесса развития, денежные суммы, которые в нормальных условиях необходимы для нормального ведения дел, просто лежали бы без движения в каждом хозяйстве, когда в них не было бы никакой нужды. И лишь развитие меняет ситуацию. Оно сбрасывает со своего пути тех, кто гордится тем, что никогда не прибегал к помощи кредита. И когда все хозяйства оказываются вовлеченными в орбиту феномена кредитования, тому, кто избрал предоставление кредита родом своей деятельности, становится выгодным иметь дело с предпринимателями, поскольку риски, связанные с предоставлением им кредитов, здесь существенно меньше. Многие банки, особенно так называемые депозитные, и почти все старые респектабельные банкирские дома с широким кругом клиентов так и поступают, ограничиваясь исключительно или по большей части кредитом на пополнение оборотных средств. Но все это — последствие процесса развития.

---

[10] Надеюсь, читатель не спутает этот кредит на пополнение оборотных средств с тем, что регулярно берется предпринимателем для выдачи заработной платы.

Эта концепция противоречит господствующей точке зрения не в той степени, как это кажется на первый взгляд[11]. В полном соответствии с традиционными представлениями мы утверждаем, что можно описать сущность кругооборота, не рассматривая кредита на пополнение оборотных средств. Именно потому, что традиционная теория, как и мы, не признает финансирование регулярных товарных сделок важным моментом в механизме функционирования экономики, ей и удается ограничиться рассмотрением мира благ. В мире благ ей, правда, также приходится иметь дело со своего рода кредитными операциями, но по этому поводу мы уже высказали свое мнение. Как и мы, традиционная точка зрения не признает в данном случае необходимости создания новой покупательной силы. Однако то, что она вообще не видит подобной необходимости, лишний раз доказывает, насколько она статична.

Таким образом, мы вправе исключить кредит на пополнение оборотных средств из нашего рассмотрения на тех же основаниях, что и потребительский: он представляет собой техническое, вспомогательное средство в сфере обращения — подчеркнем: именно в рамках кругооборота; в условиях развития по тем же причинам он представляет собой нечто иное — то, что не оказывает никакого влияния на товарооборот. Отсюда сделаем необходимые для нашего изложения выводы, с тем чтобы кредит на пополнение оборотных средств четко отграничить от того, который оказывает существенное влияние на товарооборот, и предположить для условий кругооборота, что все товарные сделки осуществляются с помощью металлических денег, масса и скорость обращения которых заданы и остаются постоянными. В принципе в экономике, где отсутствует развитие, весь оборот может осуществляться при помощи неметаллических средств платежа, выступающих в форме требований. Но поскольку в данном случае эти средства платежа «удостоверяют» наличие реальных благ или предоставленных услуг, то они, в сущности, ничем не отличаются от металлических денег. Таким образом, мы придаем нашему выводу о том, что явление кредита для нашего изложения в целом не содержит ничего существенного, такой характер, который позволяет ему органически влиться в сказанное нами в главе первой.

---

[11] Она к тому же прямо верифицируется историческим фактом: многие века существовал только потребительский кредит, кредит же на пополнение оборотных средств, как и учредительский (Gründungskredit), отсутствовал, а хозяйственный кругооборот тем не менее совершался. Только современное развитие придало кредиту на пополнение оборотных средств его сегодняшнее значение. Поскольку современное предприятие экономически мало чем отличается от средневековой мастерской, то и оно не должно в принципе испытывать потребности в кредите.

Тем самым мы доказали сформулированный нами в главе первой тезис и одновременно уточнили его смысл: только предприниматель *в принципе* нуждается в кредите, *только* для процесса промышленного (industrielle) *развития* кредит играет ту важную роль, без учета которой нельзя понять самого процесса. Вместе с тем выводы главы второй делают очевидным существование следующей антитезы: в условиях отсутствия у руководителя реального права распоряжаться *всеми* средствами экономическое развитие невозможно без кредита.

Эта единственно важная в нашем смысле функция кредита состоит, как мы знаем, в том, что кредит позволяет предпринимателю посредством формирования своего спроса на нужные ему средства производства изымать их из сфер традиционного применения и тем самым направлять развитие экономики по новому пути. Следовательно, кредит является рычагом изъятия благ. Наш второй тезис гласит: поскольку источником кредитования не могут быть средства, полученные в результате прошлой предпринимательской деятельности, либо любая иная покупательная сила, созданная предшествующим экономическим развитием, то кредит может предоставляться *только* в форме создаваемых *ad hoc* (специально для этих целей) кредитных платежных средств, которые не обеспечиваются ни деньгами в узком смысле слова, ни имеющимися в распоряжении *продуктами,* или товарами. Разумеется, обеспечение кредита может выступать и в форме иных ценностей, например того или иного имущества, принадлежащего предпринимателю. Но это, во-первых, вовсе не обязательно, а во-вторых, ничего не меняет в существе процесса, порождающего новый спрос без незамедлительного создания нового предложения. Это положение не требует доказательства, поскольку оно уже было доказано в главе второй. Здесь же речь о том, что оно отчетливо показывает нам взаимосвязи, существующие между кредитованием и кредитными платежными средствами, и подводит нас к пониманию того, что я считаю сущностью кредита как явления.

Поскольку в том единственном случае — если бы не было никаких результатов предшествующего развития, — когда процесс кредитования имеет существенное значение для экономического развития, предоставление кредитов могло бы осуществляться посредством только этих вновь созданных кредитных платежных средств и, наоборот, поскольку создание подобных платежных средств в том единственном случае играет не просто вспомогательную роль средства обращения, постольку кредитование охватывает собой создание покупательной способности, а вновь созданная покупательная способность служит только — исключительно — для кредитования деятельности предпринимателя. Выставление кредитных бумаг, которые дают право на какую-то часть существующего потока благ и которые удостоверяют собой в лучшем случае появление будущих, а не наличие существующих

продуктов, необходимо в кредитовании там, где последнее выполняет важную функцию, только там и нигде больше. Кстати сказать, это единственный случай, когда, не исказив нашего представления о действительности, нельзя заменить кредитные платежные средства металлическими деньгами, т. е. когда их создание имеет важное значение. Разумеется, можно предположить, поскольку речь не идет о конкретном количестве, наличие определенной массы металлических денег, но не увеличение в нужный момент и в нужном месте. Таким образом, если исключить из процессов кредитования и создания кредитных платежных средств те случаи, в которых ни одно ни другое не играет существенной роли, то оба они должны совпасть. Разумеется, что и здесь мы абстрагируемся от результатов предшествующего развития.

Теперь мы имеем возможность следующим образом определить само существо кредита как явления: кредит — это в основном *создание покупательной способности* для передачи ее предпринимателю, но не просто передачи ему существующей покупательной способности в виде кредитных платежных средств как подтверждения факта наличия продуктов. Создание покупательной способности в принципе характеризует способ, которым осуществляется развитие в открытой экономике. Кредит открывает предпринимателям доступ к народнохозяйственному потоку благ еще до того, как они получат на это обоснованное право; следовательно, в течение некоторого времени видимость права заменяет предпринимателю реальное право. Предоставление кредита в этом смысле действует как своего рода приказ народному хозяйству приноровиться к целям предпринимателя, поручение (ордер) на получение нужных ему благ, как вверение ему производительных сил. Только так мог бы протекать процесс экономического развития, если бы он выходил за рамки простого кругооборота. Именно эта функция кредита является краеугольным камнем современной кредитной системы.

В процессе нормального кругооборота кредит не имеет большого значения, потому что здесь отсутствует объективно *необходимый* разрыв между продуктами и средствами производства, и в принципе можно предположить, что производители покупают все нужные им средства производства за наличные; что каждый покупатель до этого был продавцом благ на ту же сумму денег. При осуществлении же новых комбинаций возникает необходимость в устранении этого разрыва. Восполнить существующий «пробел» — это функция кредитора, и он осуществляет ее, предоставляя в распоряжение предпринимателя созданную *ad hoc* покупательную способность. В подобных случаях поставщикам средств производства не приходится «ждать», а предпринимателю не нужно авансировать их ни благами, ни реальными «деньгами». Так устраняется препятствие, которое бы иначе чрезвычайно затрудняло или даже исключало всякое развитие в условиях

рыночного хозяйства, где существуют частная собственность и право на свободу самоопределения у хозяйственных субъектов. Кстати, никто из исследователей не оспаривает того факта, что функция кредита заключается именно в этом. Разногласия возникают лишь в вопросе о том, каким именно образом преодолеваются упомянутые выше разрывы. Я считаю, что наше объяснение, ничего общего не имеющее с другими, более смелыми и чуждыми действительности объяснениями, в большей степени отражает реальность и позволяет избежать целого ряда фиктивных построений.

Теперь уже совсем просто представить себе, каким образом предоставление кредита и создание новой покупательной способности предоставляют предпринимателю ту возможность распоряжаться благами, формировать свой спрос, которую производитель обычно имеет, только предложив взамен — одновременно или заранее — свои продукты; как протекает этот единственный в своем роде процесс, позволяющий предпринимателю получить необходимые ему блага, а именно обеспечение *нового* применения *существующих* благ. В кругообороте, который взят у нас за отправную точку, из года в год производится одно и то же, причем одним и тем же способом. Предложению любого привычного блага соответствует в каком-то другом месте равный ему по величине спрос, и наоборот. Этот кругооборот адекватно обеспечивается данным количеством денег. Из года в год все блага проделывают свой привычный путь при определенных, лишь незначительно колеблющихся ценах, так что в любой хозяйственный период каждая денежная единица совершает, по сути дела, одни и те же перемещения. Однозначно определенное по величине и применению количество покупательной способности в каждом хозяйственном периоде противостоит данному количеству первичных производственных услуг, с тем чтобы затем перейти в руки «поставщиков» этих услуг и чтобы, наконец, соответствовать определенному и привычному количеству потребительских благ. Рынок носителей первичных производственных благ, а именно земельных участков, здесь отсутствует, как, впрочем, нет и цены на них в рамках нормального кругооборота. Каждой производственной услуге соответствует в некоторый момент времени, повторяющийся в каждом хозяйственном периоде, определенное количество единиц покупательной способности, а каждой единице покупательной способности — определенный набор производственных услуг и произведенных средств производства[12].

Если мы отвлечемся от столь незначительного момента, как ценность материала, из которого сделаны знаки покупательной способ-

[12] См. нашу схему в главе первой, из которой становится ясно, почему я не называю непроизведенные средства производства наряду с услугами труда и земли, хотя очевидно, что покупательная способность противостоит им наравне с последними.

ности, то последняя предстанет перед нами как нечто, не существующее наряду с благами, вне их. Ее общая величина сама по себе ничего нам не говорит — в отличие, например, от перечисления количеств и видов имеющихся в стране средств производства, которое может служить мерилом уровня развития народного хозяйства. Однако сопоставление покупательной способности и приходящихся на нее благ позволяет судить о сравнительной покупательной способности различных хозяйственных субъектов и о покупательной силе денежной единицы, а тем самым и о самой единице ценности в данном народном хозяйстве. Допустим теперь, в экономике создаются и передаются в распоряжение предпринимателя кредитные платежные средства, т. е. новая покупательная сила в нашем понимании. В этом случае предприниматель выступает вместе с прежними производителями, а новая покупательная сила выступает наряду с той, которая существовала до этого. При этом общее количество производственных услуг, которым располагает народное хозяйство, разумеется, не возрастает, но возникает новый спрос, который поднимает цены на производственные услуги и таким образом частично ослабляет спрос, существовавший до последнего времени. Именно так и происходит «изъятие благ из привычных областей их применения» и их использование в новых областях, правда, здесь имеются в виду только существующие услуги труда и земли[13]. Это должно быть совершенно понятно: процесс сводится к сжатию существовавшей покупательной способности[14], реального содержания имевшихся в распоряжении бумаг, подтверждающих «право на долю участия в социальном продукте», а также объем оказанных услуг. В *определенном* смысле вновь созданной покупательной спо-

[13] В этом пункте я расхожусь со Шпитгофом. Три его статьи: Spiethoff. Die äußere Ordnung des Kapital und Geldmarktes; Das Verhältnis von Kapital, Geld und Güterwelt; Der Kapitalmangel in seinem Verhältnisse zur Güterwelt, — помещенные в «Schmollers Jahrbuch 1909», а также выпущенные самостоятельным изданием под заглавием «Kapital, Geld und Güterwelt», содержат постановку этой проблемы, и в этом их главная заслуга. В ряде моментов эти статьи предвосхищают содержание данной главы. Особо выделяет Шпитгоф возможность «создания новых заменителей денег». Но этот процесс, по мнению автора, наталкивается на «непреодолимую преграду в виде ограниченных запасов благ в народном хозяйстве. Полезное действие этих искусственных мероприятий ограничивается приведением в движение праздно лежащих товарных запасов». Если же этот рубеж перейден, то начинают расти цены. Последнее, несомненно, справедливо, но именно это повышение цен является решающим моментом в нашей теории. С тем же, что недостаток денег в экономике нельзя устранить созданием новой покупательной способности — если только этот недостаток не следствие кратковременной паники, — мы совершенно согласны.

[14] Уменьшается в первую очередь покупательная способность прежних производителей на рынке средств производства; затем на рынке потребительских благ уменьшается покупательная способность тех лиц, которые не имеют права на участие в дележе дополнительных денежных доходов, возникших из-за нового спроса предпринимателя, а также тех, кому достается непропорционально малая часть этих доходов. Все это объясняет рост цен в период экономического подъема. Фон Мизес, если не ошибаюсь, очень удачно назвал это явление «вынужденным сбережением» («erzwungenes Sparen»).

собности не соответствуют никакие блага и наверняка никакие *новые* блага, но место для нее высвобождается за счет сокращения прежней покупательной способности. Или, иными словами, предоставление кредита позволяет по-новому использовать существующие производственные услуги посредством временного перемещения покупательной способности внутри народного хозяйства.

Данный процесс можно было бы легко пояснить с помощью аналогий. Жетоны для игры в рулетку не имеют никакого самостоятельного значения. Их абсолютное количество ничего не говорит нам о ходе игры. Увеличение количества жетонов уменьшает размер той доли ставки игры, которая приходится на один жетон; однако это мало что значит, когда жетоны пропорционально распределены между всеми игроками. Существенно само реальное соотношение жетонов, находящихся у каждого отдельно взятого игрока, лишь их распределение является показателем того, как протекает игра. Если в игру вступает новый игрок и, не делая ставки, получает некоторое количество новых жетонов, приравненных к тем, что уже участвуют в игре, то возрастание общего количества жетонов при неизменной сумме ставок будет, конечно, фиктивным. Общая величина ставок не изменилась. Однако при этом происходит процесс, влияющий на дальнейший ход и конечный результат игры, а именно в пользу вновь вступившего в игру игрока меняется соотношение между размерами частей выигрыша, приходившимися до того на каждого игрока.

Если я назначаю какое-нибудь лицо моим наследником, то оно надеется получить наследство целиком. Если же я делаю своим наследником еще одно лицо, то, при условии что оба претендента не знают о существовании друг друга, я порождаю еще одну аналогичную надежду. Поскольку при этом мое наследство не увеличивается, то теперь на двух претендентов приходится то же самое количество благ, которое раньше предназначалось одному. Тем не менее данный процесс, по-видимому, нельзя считать не имеющим никакого значения. Скорее наоборот: оно во многом определяет, как мое наследство будет использовано и какие экономические последствия будет иметь это последнее обстоятельство. В качестве аналогичного примера можно назвать также ситуацию, когда в число собственников вещи входит еще одно лицо, не внесшее своей доли. И здесь происходит своего рода уменьшение содержания права собственников за счет предоставления аналогичного права еще одному лицу в условиях, когда объект владения остается неизменным. Во всех этих примерах появление нового претендента приводит к изменению соотношений между долями участия, к изменению существующего соотношения сил, которое порождает новые виды использования благ и, следовательно, приводит к новым хозяйственным результатам.

Сказанным выше мы проиллюстрировали то, как воздействует вновь создаваемая покупательная сила. Читатель видит, что здесь нет ничего необъяснимого и таинственного[15]. Конкретная внешняя форма кредитного платежного средства для нас совершенно безразлична. Яснее всего суть дела показывает пример с не имеющей обеспечения банкнотой. Впрочем, и вексель, который не замещает наличные деньги и не обеспечивается произведенными товарами, осуществляет сходную функцию при условии, что он находится в обращении, а не просто фиксирует обязательства предпринимателя перед кредитором или учитывается. Под этим же углом зрения рассматриваются все остальные формы кредитных платежных средств, включая простейшую запись в банковские книги. Все они постоянно выступают наряду с существующей покупательной способностью. Подобно тому как новая порция газа, поступающего в сосуд, где уже находится в состоянии равновесия определенная масса газа, каждая молекула которой занимает одинаковый объем пространства, сжимает первоначальную массу газа и сокращает объем пространства сосуда, приходящийся на одну молекулу газа, так и приток новой покупательной способности в народное хозяйство «сжимает» прежнюю покупательную способность. После того как произойдет ставшее необходимым повышение цен, новым единицам покупательной способности будет соответствовать то же количество благ, что и единицам старой. Только теперь ценность каждой единицы становится меньше, чем раньше, и распределение покупательной способности между самостоятельными хозяйствами изменяется.

Описанный нами процесс можно было бы назвать кредитной инфляцией, однако он существенно отличается от всех прочих ее видов, например от создания покупательной способности при потребительском кредите или при кредитовании коммерческих операций, проводимых в рамках кругооборота. Вспомним в этой связи случаи предоставления государству кредита на потребительские цели. И здесь новая покупательная способность выступает наряду со старой, растут цены и происходит изъятие благ в пользу заемщика или тех лиц, которым он выплачивает полученные в кредит суммы. Но на этом процесс обрывается: изъятые блага потребляются, созданные платежные средства остаются в обращении, кредит должен возобновляться, а происшедшее повышение цен приобретает устойчивый характер, разве что полученная ссуда будет погашаться за счет средств, получаемых из традиционного потока доходов, например путем повышения налогов. Однако это уже новый, специфический процесс (дефляция), который, протекая в рамках хорошо известных взаимосвязей и взаимозависимостей, способствует оздоровлению системы финансовых отно-

[15] См. также статью Хана «Kredit» в «Handwörterbuch der Staatswissenschaften».

шений, функционирование которой в противном случае было бы надолго нарушено.

Однако в нашем случае процесс не прерывается. Предприниматель не только юридически обязан вернуть долг, но он *имеет реальную возможность* это сделать, используя средства, которые при нормальном ходе дел накапливаются у него. Ему надлежит в правовом отношении возвратить деньги банкиру, а с экономической точки зрения — возместить народному хозяйству эквивалент изъятых им ранее средств производства и, таким образом, как принято говорить, задним числом выполнить условие, с которым связано изъятие благ из народнохозяйственного потока. Делая последнее, предприниматель выполняет и первое. Завершение «дела» (операции) — в нашей схеме завершение хозяйственного периода, в результате которого его продукты поступают на рынок, а все средства производства потребляются, — означает, что он — разумеется, если все происходило в соответствии с его ожиданиями — увеличил поток благ на то количество товаров, общая ценность которых превышает сумму взятых кредитов, а также общую ценность изъятых им прямо или косвенно из этого потока благ. При этом параллелизм между денежным потоком и потоком благ более чем просто восстанавливается, кредитная инфляция более чем просто устраняется, а влияние на цены более чем просто компенсируется[16]. По этой причине можно сказать, что в таких случаях кредитной инфляции как таковой вообще нет — скорее, имеет смысл говорить о дефляции, — а просто имеет место неравномерность появления покупательной способности и адекватной ей массы товаров, что временно создает видимость инфляции.

Кроме того, предприниматель может тем самым погасить свою задолженность банку — долг плюс процент — и в нормальных условиях создать резервы, иными словами, оставить в своих руках положительное сальдо (= предпринимательская прибыль), которое ему удалось себе обеспечить за счет фонда покупательной способности, вовлеченного в кругооборот. Только это сальдо и банковский процент неизбежно остаются в обращении, кредитовавшаяся сумма исчезает, в силу чего дефляционное воздействие само по себе — даже если финансироваться будут не всегда новые и более крупные предприятия — должно оказаться бы значительнее, чем только что показано. Таким образом, ход вещей приближается к такому результату, который методы традиционной теории не в состоянии объяснить — это позволяет сделать наш, и только наш, подход, не говоря уж о том, что единственно наша концепция рассматривает все технические аспекты и много-

[16] Уже одно это обстоятельство могло бы объяснить снижение цен во время депрессии, а также в других случаях, когда этому не мешают такие факторы, как открытие новых месторождений золота и т. п.

численные побочные явления данного процесса, — а могут всего-навсего описать. *In praxi* (в действительности) вновь созданная покупательная способность не исчезает так быстро. Тому есть две причины. Во-первых, большинство «дел» не завершается в течение одного хозяйственного периода, обычно это происходит в течение нескольких лет. Это обстоятельство не влияет на саму сущность процесса, но значительно усложняет ее понимание. Вновь созданная покупательная способность дольше остается в обращении, а «погашение задолженности» в установленные сроки осуществляется в форме многократной пролонгации. С экономической точки зрения пролонгация вообще не является погашением задолженности. Она представляет собой метод, позволяющий периодически проверять экономическое положение предприятия и регулировать его деятельность. В этом случае «представить к погашению» — неважно, идет ли речь о векселе или об онкольном контокоррентном кредите, — значит фактически «представить на контроль». Кроме того, предприятия, деятельность которых рассчитана на длительный срок, могут финансироваться на краткосрочной основе, но каждый предприниматель и каждый банк, руководствуясь вполне очевидными соображениями, будет стремиться перевести свои отношения на долгосрочную основу и станет считать своим исключительным достижением тот факт, если в том или ином конкретном случае ему удастся установить их, миновав первую стадию. В реальной действительности это совпадает с тем процессом, когда созданная *ad hoc* (специально на данный случай) покупательная способность заменяется другой, уже существующей. И последнее происходит — по причинам, которые не только не противоречат нашей теории, но в полной мере объясняются ею, — как правило, тогда, когда своей высшей точки достигает развитие, создавшее резервы покупательной способности, причем в два этапа. Вначале выпускаются акции или облигации[17] на сумму, которая записывается в кредит предприятию. Это по-прежнему означает, что предприятие финансируется за счет средств банка. Затем акции и облигации распродаются по подписке, причем постепенно, далеко не сразу: на первых порах нередко клиенты, подписывающиеся на акции и облигации, дебетуются по текущим счетам — они оплачиваются за счет имеющихся у подписчиков запасов покупательной способности, финансовых резервов или сбережений, и, следовательно, поглощаются народнохозяйственным фондом сбережений. При этом происходит «выкуп» кредитных средств платежа и их замена реальными деньгами. Однако это вовсе не тот вид погашения задолженности предпринимателем, о котором идет у нас

[17] И это требует времени. По старой доброй традиции считается «неприличным», когда новое предприятие с самого начала возникает в виде акционерного общества, если нет никаких особо могущественных факторов, обеспечивающих его успех. Еще менее прилично сразу же навязывать свои акции покупателям.

речь, т. е. не *погашение посредством благ.* К нему прибегают лишь позднее. Разумеется, этот процесс, который мы глубже не рассматриваем, имеет определенное значение — но только не то, что определяет существо нашей проблемы, — впрочем, он одновременно *затрудняет* ее понимание. Второй этап заключается в следующем: при полном и окончательном успехе предприятия кредитные средства платежа *могут* совершенно исчезнуть, сами по себе они обладают подобной тенденцией. Но даже если они не исчезают, это не порождает никаких частнохозяйственных или народнохозяйственных помех и нарушений. Дело в том, что реально существуют товары, представляющие собой противовес кредитным платежным средствам и являющиеся единственным более или менее значительным видом их обеспечения, которым, кстати, никогда не обладают потребительские кредиты. С помощью этих платежных средств процесс может вновь и вновь повторяться, хотя это и не будет «новым предприятием» в нашем понимании. При этом они не только дальше не оказывают никакого влияния на цены, но и лишаются того воздействия, которое они оказывали прежде. Мы рассмотрели самый важный из тех путей, которыми банковский кредит попадает в кругооборот и настолько прочно там закрепляется, что только тщательный анализ позволяет установить непричастность процесса кругооборота к происхождению кредита. Если бы дело обстояло не так, то традиционная точка зрения была бы не только неверной — каковой она была и остается, — но и совершенно необъяснимой и непростительной.

Итак, если возможности предоставления кредита не ограничиваются *существующей независимо* от *кредита* денежной массой, как, впрочем, и — общим или свободным — количеством благ, тогда чем же они ограничиваются?

Вначале обратимся к практике. Предположим — это тот главный случай, результаты рассмотрения которого применимы и к остальным случаям, — что существует золотой стандарт — беспрепятственный, т. е. по первому требованию обмен банкнот на золото, обязательные закупки золота по установленным законом ценам, свободный вывоз золота за границу, — и что имеется система банков, группирующихся вокруг центрального эмиссионного банка. Допустим также, что нет никаких законодательных ограничений деятельности банковской системы и правил, регламентирующих ее, таких, например, как правила обеспечения центральным банком эмиссий банкнот или правила обеспечения вкладов для всех прочих банков. При таких условиях создание новой покупательной способности, предшествующей появлению адекватного ей количества благ и потому всегда вызывающей рост цен, обладает тенденцией повышать стоимость содержащегося в монете золота относительно стоимости монеты как таковой. Это ведет к уменьшению количества золота, находящегося в обращении, но пре-

жде всего к тому, что начнут предъявлять к «погашению» (обмену) банковские платежные средства: вначале банкноты, затем прямо или косвенно также и все прочие средства, — причем к «погашению», которое имеет иной смысл, иную цель или иное основание, чем то, о котором только что шла речь. Во избежание неплатежеспособности как раз в этом смысле банки должны предоставлять кредиты только в таком объеме и с таким расчетом, чтобы вызываемая ими инфляция носила умеренный характер и была временной. Временной она может оставаться только в том случае, если количество товаров, адекватное новой покупательной способности, своевременно оказывается на рынке. При малоуспешной деятельности предприятия, когда это адекватное количество вообще не появляется на рынке, или при исключительно широком расширении производства, когда их появление следует ожидать годы спустя, помощь оказывает банк, который либо привлекает «уже существующую где-то в другом месте покупательную способность», либо путем выпуска кредитных платежных средств за счет привлечения сбережений других лиц предоставляет в распоряжение предпринимателя эти средства. Отсюда как у центрального, так и у прочих банков возникает необходимость в создании резервов, что в свою очередь действует как тормоз. Известную «конкуренцию» рассмотренной нами причинной связи составляет то обстоятельство, что все полученные в кредит суммы в конечном счете необходимо превратить в мелкие суммы, используемые в повседневной жизни, и для обеспечения этих повседневных нужд обменять их — по крайней мере в большинстве стран — на монеты или на мелкие казначейские билеты, которые, однако, не выпускаются банком.

Наконец, кредитная инфляция может привести к оттоку золота за границу, усилив тем самым опасность неплатежеспособности банковской системы, если только, что подчас и происходит, банки всех стран практически одновременно не расширят свои возможности кредитования. Итак, при принятых допущениях в силу самой природы рассматриваемого явления мы не в состоянии определить пределы возможного создания повой покупательной силы столь же точно, как, скажем, пределы производства определенного товара! И хотя в силу образа жизни и привычек людей, неодинакового законодательства и т. д. эти пределы представляются расплывчатыми, тем не менее мы можем констатировать, что в каждом конкретном случае существуют подобные пределы, а также факторы, обеспечивающие их существование. Наличие этих пределов вовсе не исключает создания покупательной способности в нашем понимании и не умаляет значения этого процесса; правда, одновременно они устанавливают для него хотя и эластичные, но тем не менее вполне определенные рамки.

Пока что мы получили на интересующий нас вопрос столь же поверхностный ответ, как если бы на вопрос о факторах, определяющих

обменные курсы валют, нам ответили бы, что при свободном функционировании золотого стандарта валютные курсы должны находиться между золотыми точками. В этом примере ответ по существу можно дать, только отставив в сторону механизм движения золота и обнажив лежащие под ним «товарные точки» («Warenpunkte»). Так и в нашем случае — и в частности, на основе того же самого принципа — мы найдем более глубокое обоснование тезису о том, что создание покупательной способности имеет прочные, хоть и эластичные пределы, если в качестве примера возьмем одну страну — случай с несколькими, связанными между собой торговыми отношениями странами не вносит ничего принципиально нового, и читателю предоставляется возможность самому проанализировать его, — в которой имеют хождение только бумажные деньги, или, скажем сразу иначе, в которой обращаются только кредитные платежные средства. И в этой стране расширение кредита ограничивается тем условием, что «кредитная инфляция», идущая на пользу новым предприятиям, носит временный характер или вообще нет никакой инфляции, если иметь в виду вероятность ее длительного воздействия на рост цен. Частнохозяйственный механизм «торможения», обеспечивающий строгое соблюдение рассматриваемых пределов, заключается в том, что любое другое поведение в условиях оживленного спроса на кредиты со стороны предпринимателей означало бы для банков убытки. Эти убытки возникают каждый раз тогда, когда предпринимателю не удается произвести товары, ценность которых по крайней мере была бы равна величине полученного кредита и выплачиваемым процентам. Считается, что банк выполнил свою задачу, когда предпринимателю удалось добиться этого. Как раз тогда, и только тогда, когда — как мы показали — инфляции нет, т. е. процесс предоставления кредитов не выходит за свои рамки.

Отсюда можно вывести правила, детально определяющие допустимые размеры возможного создания покупательной способности. При отсутствии обязательного обмена платежных средств на золото и необходимости учитывать международные экономические отношения, — только в этой единственной ситуации банковская система могла бы не только без убытков, но даже с прибылью порождать инфляцию и произвольно устанавливать уровень цен. Такая ситуация возникнет в том случае, если инфляция иным, чем описано, путем будет «накачивать» кругооборот кредитными платежными средствами: либо путем выпуска все новых и новых средств платежа, чтобы поправить пошатнувшиеся дела, либо предоставлением кредитов, которые в действительности служат целям потребления, хотя предоставлялись они на совершенно иные цели — как это подчас бывает с сельскохозяйственными кредитами — и к тому же имели хорошее обеспечение. В принципе ни один банк в отдельности не может сделать этого; поскольку осуществляемый им выпуск новых платежных средств не оказывает сколь-ни-

будь заметного влияния на уровень цен, то плохо налаженное предприятие останется плохим, а потребительский кредит ухудшится, если он не будет находиться в определенных границах, в рамках которых должник в состоянии погашать его из своих собственных доходов. Однако всем банкам совместно это было бы по плечу. В наших условиях они могли бы постоянно предоставлять новые кредиты и воздействовать с их помощью на цены ранее выданных кредитов. В некотором приближении такая ситуация возможна и при отказе от наших предпосылок и даже иногда искусственно вызывается в рамках государственной политики поощрения сельского хозяйства. Это и вызывает необходимость введения специальных законодательных ограничений и обеспечения определенных гарантий для банков.

В общем, сказанное очевидно: как государство при определенных обстоятельствах может в любом количестве печатать казначейские билеты, так и банки, если государство — и это единственное условие — пойдет им навстречу и предоставит им такое право, могут безгранично выпускать свои кредитные обязательства, разумеется, если у них не хватит благоразумия воздержаться от подобного шага. Но эта возможность не имеет ничего общего с нашим случаем — предоставлением кредита и созданием покупательной способности для осуществления новых комбинаций, т. е. с содержанием, существом и источником создания покупательной способности в экономике вообще. Я особо это подчеркиваю, поскольку как раз тезис о безграничной власти банков создавать новые средства обращения, зачастую преподносимый в отрыве от необходимых предпосылок и вне всякой связи с остальными элементами моей концепции[1], служит основной мишенью нападок на новую теорию кредита и побуждает многих ее отвергать.

Раздел второй

КАПИТАЛ

Теперь будет к месту и ко времени сформулировать давно напрашивавшийся вывод, который привычно звучит для любого делового человека и который после всего сказанного выше, надеюсь, будет вполне понятен читателю: экономический уклад (Wirtschaftsform), в котором блага, нужные для нового производства, изымаются из своего привычного кругооборота в результате вмешательства новой покупательной способности, т. е. посредством процессов купли—продажи

[1] См. в принципе превосходную статью Хана «Kredit» в «Handwörterbuch der Staatswissenschaften». По поводу его формулировки мне кажется уместным заметить, что допустимая величина вновь созданной покупательной способности опирается не на существующие, а на будущие блага и ограничена ими.

на рынке, является *капиталистическим;* там же, где это происходит посредством осуществления командной власти или по соглашению всех участников, налицо экономический уклад, в котором процессы протекают *без участия капитала. Капитал есть не что иное, как рычаг, позволяющий предпринимателю получать в свое полное распоряжение нужные ему конкретные блага, не что иное, как средство, дающее предпринимателю возможность использовать эти блага для достижения новых целей, а также ориентировать производство в новом направлении.* Это единственная функция капитала, и именно ею характеризуется его место в организме народного хозяйства. Для того чтобы понять суть явления капитала, очевидно, мы должны исходить из его функции, а не из словоупотребления или наших терминологических потребностей.

Что же представляет собой этот «рычаг», это средство владения и распоряжения нужными благами? Само собой разумеется, он не сводится к благам той или иной конкретной категории, к какой-то четко отграниченной части существующего запаса благ. Общепризнано, что с капиталом мы сталкиваемся в производстве и что он так или иначе полезен в производственном процессе. Поэтому важно посмотреть и в нашем случае — прежде всего в нашем, — в случае осуществления новых комбинаций, как он функционирует. Для предпринимателя блага находятся как бы на одной линии, в одинаковом положении. Независимо от того, что они представляют собой: земельный участок, услугу труда, машину или сырье, — процесс остается одним и тем же, ничто не отличает один случай от другого. Этим мы, разумеется, не хотим сказать, что между перечисленными категориями благ нет вообще никаких экономических различий. Они, несомненно, имеются, хотя их значение для основ экономической теории обычно преувеличивалось в прошлом и преувеличивается теперь. Впрочем, очевидно, что поведение предпринимателя по отношению ко всем этим категориям благ совершенно одинаково: и орудия производства, и земельные участки, и услуги труда он покупает за деньги, за которые либо платит процент другому лицу, либо начисляет его самому себе. Все эти блага играют для предпринимателя одну и ту же роль, равно ему необходимы. Особо отметим, что для сущности процесса совершенно безразлично, приступает ли предприниматель к производству, так сказать, с самых азов, т. е. покупает только землю и услуги труда, или же приобретает промежуточные продукты, вместо того чтобы производить их самому. Наконец, если он покупает потребительские блага, то и это не вносит никаких существенных изменений. Создается впечатление, что категория потребительских благ имеет больше всего прав на то, чтобы быть особо выделенной. Это действительно так, если придерживаться теории, согласно которой предприниматель «авансирует» владельцу средств производства, понимаемых в узком смысле,

потребительские блага. В этой теории данная категория благ принципиально отличается от всех прочих и выполняет ту же важную функцию, что и капитал в нашей концепции. Процесс здесь сводится к тому, что предприниматель получает производственные услуги в обмен на потребительские блага. Если бы все это было верно, мы должны были бы признать, что капитал состоит из потребительских благ. Кстати, в этом случае для предпринимателя были бы важны не качества потребительских благ как таковых, а их покупательная способность. Но эту возможность мы уже исключили.

Помимо того, что предлагает данная теория, у нас нет никаких оснований делать какие-либо различия между благами, приобретаемыми предпринимателем, и выделять особую группу, которой можно было бы дать имя «капитал». Совершенно ясно, что такого рода «капитал» присущ каждому экономическому укладу и непригоден для того, чтобы характеризовать тот или иной уклад как «капиталистический». Неверно и то, если деловой человек в ответ на вопрос, в чем состоит его капитал, укажет на одну из этих категорий благ: говоря, например, о своей фабрике, он наверняка будет иметь в виду и землю, на которой она находится, а если он пожелает дать исчерпывающий ответ, то не забудет и свой оборотный капитал, в который прямо или косвенно входят купленные услуги труда.

Однако капитал предприятия — это не совокупность всех целесообразно примененных благ, потому что капитал *противостоит* миру благ: на капитал приобретаются блага, «капитал вкладывается в блага» — из самого этого выражения следует, что функция капитала отличается от функции приобретенных предпринимателем благ. Функция последних состоит в том, чтобы в соответствии со своими техническими свойствами служить целям производства, чтобы производить совершенно иные в техническом и физическом отношении блага. Функция же капитала заключается в том, чтобы доставлять предпринимателю блага, которые должны быть использованы в производстве, так сказать, «переработаны». Капитал — это средство получения благ. В рыночном хозяйстве он выступает в качестве третьего необходимого для производства агента, обеспечивающего связь между предпринимателем и миром благ. Он является своего рода мостом между тем и другим. Капитал не участвует непосредственно в производстве, не «перерабатывается», но до того, как он выполнит свою задачу, технический процесс производства начаться не может.

Предприниматель должен располагать капиталом еще до того, как он начнет задумываться над тем, какие конкретные блага ему приобрести. Существует момент, когда предприниматель располагает нужным капиталом, но не имеет еще производственных благ. Именно тогда особенно четко видно, что капитал не идентичен конкретным благам, а является самостоятельным агентом (Agens). Единственное

предназначение капитала — здесь я апеллирую к вполне очевидным фактам — это служить фондом, за счет средств которого предприниматель оплачивает приобретение средств производства. Одновременно это и единственное основание, объясняющее, почему предпринимателю нужен капитал. Пока покупка еще не совершилась, капитал не связан ни с какими определенными благами. Капитал существует — кто в состоянии отрицать это? — но его характерная особенность состоит как раз в том, что он не воплощен в конкретных благах, технически используется не как благо, а как средство привлечения тех благ, которые должны использоваться непосредственно в производстве. Все это так. Ну а если покупка совершена, означает ли это, что капитал предпринимателя состоит теперь из конкретных благ, неважно из каких — земли или орудий производства, — но все же из благ? Может быть по крайней мере теперь прав Кенэ, говоря: «Обойдите фермы и мастерские... и вы найдете постройки, домашний скот, посевы, сырье, движимое имущество и инструменты всех видов». С нашей точки зрения, надо еще добавить услуги труда и земли и, вероятно, еще потребительские блага.

Ну что ж, капитал выполнил функцию, которую мы ему приписываем. Если нужные средства производства в вещной форме и необходимые — в соответствии с нашими допущениями — услуги труда приобретены, то у предпринимателя больше нет капитала: он отдал его за средства производства. Господствующая экономическая теория считает, что теперь капитал предпринимателя состоит из приобретенных им благ. Принять данную точку зрения можно, только полностью игнорируя функцию капитала, связанную с привлечением благ, и исходя из той нереалистичной предпосылки, что предпринимателям ссужаются сами нужные им средства производства. Если же этого не делать и отличать в соответствии с реальной действительностью средства производства от фонда, из которого оплачивается их приобретение, то, по моему мнению, не может возникнуть ни малейшего сомнения в том, что обычно, когда говорят о капитале, имеют в виду именно этот фонд и что с этим фондом, и только с ним, связаны все явления, которые принято считать капиталистическими. Если это верно, то становится очевидным, что, истратив данный фонд, предприниматель не может больше им обладать, а части этого фонда, попавшие в руки продавцов средств производства, вначале ничем не отличаются от денег, вырученных булочником от продажи хлеба. В повседневной жизни «капиталом» часто обозначают купленные средства производства, но это еще ничего не доказывает, тем более что не менее часто говорится о «вложении капитала в эти блага». Последнее выражение правильно только в том смысле, в каком, например, говорят, что уголь может быть «вложен» в производство стальных рельсов — в том и только в том смысле, что применение первого необходимо для производства

вторых. Все верно, но разве предприниматель не располагает по-прежнему своим капиталом? Разве он не в состоянии «извлечь» капитал из этого «вложения», тогда как вернуть израсходованный уголь уже невозможно?

Полагаю, что на эти вопросы можно найти вполне удовлетворительные ответы. Нет, предприниматель истратил свой капитал и приобрел на него блага, которые он хочет использовать в технической сфере производства, а не в качестве капитала, т. е. фонда средств для оплаты других благ. Если же он изменит свои намерения и захочет реализовать эти блага, то, по всей вероятности, найдутся люди, готовые их купить, и тогда он вновь окажется владельцем капитала, увеличившегося или уменьшившегося относительно своего первоначального размера. С этой точки зрения, т. е. если учесть, что средства производства могут быть использованы не только как таковые, но и как капитал, дающий предпринимателю покупательную силу для приобретения других средств производства, предприниматель вправе в переносном смысле называть средства производства «своим капиталом». Действительно, только они представляют собой основу той его покупательной силы, какая ему может потребоваться до завершения процесса производства. Другую причину, в силу которой средства производства можно было бы считать капиталом, мы рассмотрим ниже. Одновременно мы ответили и на второй вопрос: да, предприниматель может снова превратить средства производства в капитал. Не может он лишь вернуть тот самый капитал, который у него был раньше; даже величина нового капитала обычно не совпадает с величиной прежнего. Но поскольку идентичность прежнего и нового капитала не имеет ровным счетом никакого значения, то образное выражение «извлечь капитал» отнюдь не лишено здравого смысла и при этом не противоречит нашей точке зрения.

Итак, что же такое капитал, если он не воплощается ни в благах определенного вида, ни в благах вообще? Ответ напрашивается сам собой: капитал — это фонд покупательной силы. Только как таковой он в состоянии выполнять ту единственно важную функцию, для которой капитал *in praxi* (на деле) нужен и при описании которой *в теории* понятие капитала не может быть заменено какой-либо категорией благ.

Но здесь возникает еще один вопрос: из чего же, собственно, состоит этот фонд покупательной силы? Вопрос кажется на первый взгляд очень простым, но, к сожалению, здесь-то и начинают возникать трудности. Трудности эти, правда, чисто терминологического порядка, но, прежде чем это выяснится, исследователь вполне может придать им чересчур большое значение и внести в обсуждаемый вопрос элемент ненужной неточности и расплывчатости. Ответ на поставленный нами вопрос в какой-то части должен быть произвольным;

вместе с тем правильность ответа зависит от некоторых фактов, которые надлежит истолковывать однозначно. Это объясняется тем, что понятие капитала многозначно, причем не только в науке, но и в практике, и что если мы станем придерживаться какого-то одного определения капитала, то неминуемо придем в противоречие с другими определениями. Причина заключается также и в том, что при этом нужно будет определить свое отношение к целому ряду материальных проблем, поскольку частичные расхождения в точках зрения обусловливаются, к сожалению, причинами терминологического порядка.

Повторяю, на первый взгляд кажется, что на наш вопрос очень легко ответить. Из чего состоит мой фонд покупательной способности? Разумеется, из денег и других частей моего имущества, пересчитанных в деньги. Тем самым мы как бы приблизились к определению капитала, данному Менгером. Несомненно, именно это я бесчисленное множество раз называю «моим капиталом». Для меня не составляет никакого труда отличать это как «фонд» от «потока» дохода и, таким образом, в своем понимании сблизиться с определением Ирвинга Фишера. Вне всякого сомнения, мы вправе далее сказать, что с помощью этой суммы я могу основать «дело» или именно эту сумму я могу ссудить какому-нибудь предпринимателю.

Однако, к сожалению, это на первый взгляд удовлетворительное определение оказывается неполным. Неверно, что с помощью только этой суммы я могу стать предпринимателем; если я выставлю вексель, признанный всеми годным к обращению, то я также смогу приобрести средства производства. Мне могут возразить, что при этом я заключаю долговую сделку, которая вовсе не увеличивает мой капитал, а «купленные» на вексель блага на самом деле ссужены мне. Но присмотримся повнимательнее. При благоприятном стечении обстоятельств я смогу выкупить вексель за деньги или встречные требования, которые не относятся к моему капиталу, а представляют собой часть дохода от моих продуктов. Следовательно, я увеличил свой капитал, или если вы с этим не согласны, то по крайней мере совершенная мною операция сослужила мне ту же службу, что и увеличение капитала, причем я не делал долгов, которые затем снова сократили бы мой капитал. Мне могут возразить, что если бы долгов не было вообще, то мой капитал, несомненно, увеличился бы. Но свои долги я погасил из прибыли, которую, может быть, и не получил бы, достанься мне мой капитал в неурезанном виде. Ведь я мог употребить его на покупку потребительских благ, и тогда он перестал бы быть капиталом независимо от того, какое определение мы ему даем. Если верно, что единственная функция капитала состоит в том, чтобы обеспечивать предпринимателя средствами производства, то придется признать, что создание векселя увеличивает мой капитал. Здесь особенно наглядно выступает противоположность между нашей трактовкой ка-

питала и большинством других, но это не должно нас пугать. В процессе научного анализа мы часто выявляем однородность на первый взгляд различных объектов и выясняем, каким образом одинаковые, в сущности, явления на поверхности могут казаться совершенно различными. Когда читатель в мыслях воссоединит уже сказанное с тем, что последует ниже, наши выводы во многом перестанут казаться ему парадоксальными. Во всяком случае, богаче от создания векселя я не стал. Мое имущество, деньги или то, что пересчитано в деньги, не только не увеличилось, но даже, напротив, сократилось. Очевидно, понятие «имущество» позволяет выявить другой аспект рассматриваемых процессов.

Строго говоря, неверно также и то, что пересчет в деньги неденежной части моего имущества уже придает ей характер капитала в нашем понимании: обладая какими-либо благами, я в принципе не могу непосредственно обменять их на нужные мне средства производства. На практике, как правило, осуществляется другой процесс: блага продаются, а вырученные от их продажи деньги используются затем как капитал, иными словами, для приобретения нужных средств производства. Фактически это признает и критикуемая нами здесь точка зрения, которая делает особый акцент именно на денежном выражении ценности благ, составляющих чье-либо имущество. Если довести эту мысль до логического завершения, то станет ясно, что назвать эти блага «капиталом» можно только иносказательно, в переносном смысле. То же самое относится и к купленным средствам производства, которые с данной точки зрения также считаются капиталом.

Итак, наше определение капитала, с одной стороны, шире, а с другой — у́же менгеровского и ему подобных. Лишь платежные средства являются, по нашему мнению, капиталом, но не просто «деньги», а все средства обращения. При этом мы считаем капиталом не всякие платежные средства, а только те, что выполняют специфическую функцию капитала.

Смысл этого ограничения ясен: если платежные средства не помогают предпринимателю в приобретении производственных благ посредством извлечения их с этой целью из прежних областей применения, они не являются капиталом. Следовательно, в такой экономике, где отсутствует развитие, «капитала» не существует, или, иначе говоря, капитал не выполняет своей специфической функции, не является самостоятельным агентом, ведет себя нейтрально. Или, что то же самое, различные формы покупательной способности служат простым средством обмена, вспомогательным техническим средством для осуществления обычных товарных сделок. Понятие капитала к ним совершенно неприменимо. Этим исчерпывается их роль: они выполняют лишь техническую функцию, и от них можно абстрагироваться, не опасаясь упустить из виду что-либо существенное. С нашей точки зре-

ния, капитал — это понятие, неразрывно связанное с процессом развития, он не имеет никакого аналога в кругообороте. *Данное понятие воплощает в себе только тот аспект экономических процессов, который мы неизменно связываем исключительно с развитием.* На этот тезис я хочу особо обратить внимание читателя, поскольку он во многом способствует пониманию нашей позиции. Если о капитале говорят в том смысле, какой вкладывается в данное понятие в повседневной жизни, то всегда имеют в виду не вещи, а, скорее, процессы или один определенный аспект использования некоторых вещей, а именно возможность предпринимательской деятельности или возможность безраздельного господства над средствами производства. Этот аспект стараются отразить при формулировании различных определений капитала, что и порождает, на мой взгляд, переменчивый характер конкретной дефиниции. Следовательно, ничто не может быть капиталом всегда и везде в силу каких-то имманентных свойств. То, что называется капиталом, является им только при определенных условиях и под определенным углом зрения.

Итак, мы определяем капитал как сумму денег и других платежных средств, которая в любой момент времени может быть предоставлена в распоряжение предпринимателя. Читатель уже знает, что в тот момент, когда начинается процесс развития или когда процессы выходят за рамки кругооборота, эта сумма капитала, по нашему мнению, лишь в ничтожно малой своей части состоит из «денег», а должна быть создана в основном из «других платежных средств». Вообще говоря, в ходе экономического развития всегда накапливается некоторый запас денег. Имеется он и тогда, когда, как это и бывает в действительности, капиталистическое развитие приходит на смену развитию без капитала или различным переходным формам. Но если строго придерживаться теории, рассчитывать на это нельзя. Да и на практике, когда в экономике происходят действительно важные изменения, полагаться можно только на кредитные платежные средства.

Капитал — это агент, свойственный рыночному хозяйству. Понятие капитала отражает один из *процессов,* совершающихся в рыночной экономике, а именно переход средств производства от одного частного хозяйства к другому. Следовательно, в нашем смысле слова существует только частный капитал. Только находясь в руках частных хозяйств, платежные средства в состоянии выполнять функцию капитала. Поэтому вряд ли есть смысл в этом значении говорить также об общественном капитале (Sozialkapital). Однако общая сумма всех частных капиталов также дает нам кое-какую информацию: она показывает величину фонда, который может быть предоставлен в распоряжение предпринимателей, масштабы экономической мощи, которая направлена на то, чтобы извлечь средства производства из прежних областей их применения. Следовательно, наше понятие общественного

капитала никак нельзя считать бессмысленным[2], хотя в коммунистической экономике его быть не может. Но обычно, когда говорят об общественном капитале, имеют в виду блага, принадлежащие всему народу, и неразрывно связывают это понятие с «вещественными» определениями капитала.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нам осталось проследить, как соотносятся с нашей теорией представления о капитале, бытующие в экономической практике, а также наиболее значительные теоретические концепции. При этом мы хотим показать, что наши расхождения с ними меньше, чем кажутся на первый взгляд, и тот момент, который мы считаем главным в понятии капитала, на самом деле осознанно или неосознанно учитывается и в практической деятельности, и в других теориях в гораздо большей степени, чем это обычно полагают.

Что касается обыденного употребления слова «капитал», то мы вовсе не собираемся заниматься лингвистическим анализом, тогда нам пришлось бы рассматривать курьезные случаи, как-то: «я застрелил капитального оленя» (*Kapitalhirsch*) или «это имеет капитальное значение» т. п. Нас будут интересовать только те случаи, в которых слово «капитал» употребляется как terminus technicus (технический термин). Рассмотрение их не столь полезно и не слишком интересно, но, увы, необходимо, чтобы обосновать сказанное выше.

Мы уже говорили о понятии капитала, заключенном в выражении мой капитал. Добавим, что в ответ на вопрос, чему равен его капитал, любой индивид назовет какую-то сумму денег. Но какая это сумма? Весьма уверенно мы можем ответить: это сумма, которую он может выручить при продаже своих активов. Но, может быть, деньги служат здесь лишь средством измерения чего-то другого? Рассмотрим суть вопроса более внимательно. Если тот, кого мы спрашиваем, хотел сказать, что его капитал заключен в его имуществе, а деньги использует только как средство измерения, то названная им денежная сумма почти всегда должна отличаться от «продажной стоимости» его имущества. Ведь отдельные части имущества лично для владельца могут стоить больше или меньше, чем величина «продажной стоимости». Конечно, редко бывает так, что человек владеет благами, которые он ценит меньше, чем деньги, вырученные от их продажи: наверняка он давным-давно продал бы их. Обратная же картина наблюдается довольно часто. Нам могут возразить, что это относится только к бла-

[2] Особенно в том случае, если каждую единицу капитала сопоставить с приходящимся на нее в данный момент количеством средств производства. Тогда можно говорить — правда, в переносном смысле — также и о реальном капитале.

гам, удовлетворяющим личные вкусы, в то время как все блага, применяемые в рыночном хозяйстве, оцениваются по приносимым ими доходам, по доходам, которыми измеряется также и их продажная цена. Ни в коем случае. Не говоря уж о том, что собственник чувствует к унаследованной им фабрике личную привязанность и вследствие этого оценивает ее выше, чем кто-либо другой; не говоря также и о том, что в руках нынешнего владельца средства производства могут давать больший доход, чем в других руках. Однако даже при этих допущениях мы не можем утверждать, что средства производства всегда продаются в соответствии с приносимым ими чистым доходом. Разумеется, тенденция к этому существует, но многочисленные исключения на практике показывают, что денежная оценка «капитала» не сводится к простому измерению ценности благ. Но почему наш собеседник называет именно продажную цену? Да потому, что, отвечая на вопрос о величине своего капитала, он хочет сказать: «Такова величина моей покупательной силы, моя экономическая мощь». Именно в этом аспекте он воспринимает слово «капитал».

Но как конкретно проявляется эта экономическая мощь, на что он ее может употребить? Только на приобретение благ, и это могут быть только средства производства, если он не хочет понапрасну израсходовать свой капитал. Следовательно, он хотел бы проявить свою экономическую мощь через обладание средствами производства. До сих пор ответы нашего собеседника соответствовали нашей точке зрения, и теперь нам было бы легко убедить его, что он не может приобрести средства производства путем непосредственного обмена, а значит, то, что он называет капиталом, есть, в сущности, не что иное, как вещи, за которые он может получить капитал и уже с помощью последнего заполучить в свои руки средства производства, через которые проявляется его экономическая мощь. Считая свои блага капиталом, он думает о деньгах, которые может выручить от их продажи, и имеет в виду не средство измерения, а агента для достижения дальнейших целей. Отсюда следует, что сами эти блага могут быть названы капиталом лишь иносказательно, в переносном смысле. На том же основании наш собеседник мог бы назвать капиталом свою физическую силу, в том смысле, что, применив ее, он мог бы раздобыть себе капитал. Вероятно, практичный хозяин воспротивится тому, чтобы считать капиталом в нашем понимании выставляемые им векселя. Однако, какими бы терминами он ни пользовался, наша логика заставит его признать, что у этих векселей есть нечто общее с другими частями его капитала. Мы предполагаем, что, рассматривая свои блага как капитал, он имеет в виду их покупательную способность, которая означает лишь возможность обменять эти блага на деньги. Тогда, если мы учтем, что деньги выступают здесь только как средство установления власти над произ-

водственными благами[3], как фонд, из которого оплачивается их приобретение, становится очевидным, что такой «капитал» увеличивается в результате выпуска кредитных платежных средств. Если наш собеседник называет свое имущество капиталом лишь в переносном смысле, он должен причислить к капиталу и свою способность создавать пригодные к обращению кредитные платежные средства, поскольку эта способность увеличивает его покупательную силу и дает в его распоряжение дополнительные средства производства. И если он станет возражать нам на том основании, что так не принято, мы сможем доказать, что, оставаясь на занятой им позиции, т. е. называя своим капиталом продажную стоимость принадлежащих ему благ, он должен признать и этот тезис, чтобы не впасть в противоречие с самим собой.

Мы выяснили, по нашему мнению, основополагающее значение капитала для процессов рыночного хозяйства и установили, что наша концепция капитала как покупательной силы в принципе соответствует понятию капитала, принятому в деловом обиходе. Возможно, нам следовало бы точнее определить черты сходства и различия между нашим понятием капитала и значением этого термина в экономической практике, а также рассмотреть все случаи косвенного, иносказательного, метафорического употребления этого последнего, чтобы отделить их от его собственного содержания. Но решение этой задачи не требует большого труда: выделяемые нами отличительные черты капитала легко узнаются в каждом из этих случаев. Вот, например, выражение «рынок капитала». Что это такое? Не что иное, как рынок покупательной способности[4], воплощение процессов, посредством которых платежные средства попадают в руки предпринимателя; какое бы конкретное определение мы ни давали рынку капитала, мы можем с полным основанием утверждать, что у любого делового человека с ним ассоциируются не блага вообще и тем более не конкретные блага, а, скорее, кредитные документы, активные сальдо, деньги и т. п. — словом, свободная, доступная покупательная способность. То же самое можно сказать и о понятии «привлечение капитала» (capital creation). Речь здесь идет не о непосредственном привлечении благ вообще или средств производства в частности, а о создании кредитных платежных средств. Наконец, выражение «капиталист». Ясно, что капиталист — это тот, у кого есть капитал. Но в практике капиталистом называется еще и лицо, у которого можно получить капитал, т. е.

---

[3] См. определение капитала как общей величины «денежных сумм, предназначенных для привлечения благ», которое приводится в Гражданском уложении Германской империи.

[4] См. у Шпитгофа (Op. cit., S. 42), который определяет рынок капитала как «рынок предпринимательского и долгосрочного ссудного капитала», в то время как денежным рынком у него называется рынок краткосрочного кредита.

покупательную способность в виде платежных средств, каких-либо благ — все равно каких, — денег и т. п.

На первый взгляд иным представляется понятие капитала в обороте «первоначальный капитал» (Stammkapital). Что такое основной капитал предприятия? Самое четкое, в высшей степени логически обоснованное определение этого термина мы находим в бухгалтерском учете. Может показаться, что наша теория и бухгалтерская практика называют первоначальным капиталом разные вещи. Для нас это сумма денег, идущая на учреждение и обеспечение нормального функционирования предприятия. Мы хотим вначале пояснить это определение (пункт первый), затем сопоставить его с концепцией капитала как покупательной силы (пункт второй) и, наконец, сравнить его с определением, принятым в бухгалтерском учете (пункт третий). При этом ради простоты изложения мы предположим, что весь производственный процесс совершается в течение одного хозяйственного периода, по окончании которого весь производственный потенциал предприятия оказывается исчерпанным и в наличии остаются только продукты или доход от них. Все продукты должны быть изготовлены и находиться в продаже, поэтому уже в начале его предпринимателю надлежит располагать всей необходимой для производства суммой «денег».

В этом понимании первоначальный капитал распадается на основной (Gründungskapital) и оборотный. Первый расходуется на приобретение земельных участков, зданий, машин и т. д., второй — на оплату необходимых услуг труда, сырья и пр. Совокупную ценность всех приобретенных благ, сумму всех производственных вложений, словом, денежную сумму, с которой начинается любое предприятие, мы называем первоначальным капиталом. При этом совершенно безразлично, принадлежит ли вся эта сумма предпринимателю или частично взята им взаймы; также не имеет значения, оплачиваются ли все эти блага «деньгами», векселями или другими кредитными платежными средствами. Это все, что мы можем сказать по первому пункту.

Переходя ко второму пункту, вначале отметим, что первоначальный капитал полностью отвечает данному нами определению капитала: он представляет собой определенное количество покупательной способности, дающей предпринимателю возможность иметь в своем распоряжении средства производства. Но здесь мы должны отметить, что капитал имеет еще одну функцию, которую мы бы назвали бухгалтерской: величина капитала служит мерилом успеха или неудачи предприятия, является той отметкой, превышение которой означает, что предприятие работает успешно, представляет собой показатель, позволяющий сопоставить затраты производительных сил с результатами производства. В рыночном хозяйстве предприятие получает право на существование, только если ему удается хотя бы возместить затраты капитала. Величина капитала — это критерий, по которому

оценивается деятельность предпринимателя, это тот талант, который он не зарывает в землю, а пускает в оборот. Величина капитала — это основа его отчетности, касающейся деятельности в условиях рыночного хозяйства, основа, позволяющая представить общую картину деятельности предприятия и использования вверенных предпринимателю производительных сил. Кроме того, величина капитала измеряет совокупность использованных производственных благ, с которой затем соотносится доход от продажи продуктов. Принадлежность различных вещей к капиталу является основой их соизмеримости, а сам капитал — средством измерения. Здесь «выраженный в деньгах» капитал действительно является мерой ценности производственных благ. Но это лишь вспомогательная функция капитала, совершенно не исчерпывающая его сущности. Важно осознать, что капитал, выполняющий эту функцию, и капитал, представляющий собой фонд для приобретения производственных благ, по своим размерам идентичны. Капитал «добывает» предпринимателю на рынке средства производства, и именно сумма, затраченная на их приобретение, заносится на счета и используется для измерения результатов деятельности предприятия. Мы считаем, что такое совпадение, имеющее место только при нашем разграничении понятий капитала, является важным аргументом в ее пользу.

Впрочем, очевидно, что наше понятие капитала отличается от того, которое принято в бухгалтерском учете. Итак, мы подошли к третьему, и последнему пункту, который должны здесь осветить. Но прежде мы хотим с удовлетворением отметить, что в некоторых важных моментах наша точка зрения вполне совместима с бухгалтерской практикой. Во-первых, важно, что и в бухгалтерском учете делается различие между благами и капиталом. Капитал здесь — просто сумма денег, а купленные блага заносятся в бухгалтерские книги лишь для того, чтобы показать, на что был израсходован капитал. Далее, вся сумма, с которой предприятие начинает свою деятельность, считается в бухгалтерском учете капиталом независимо от того, на приобретение каких благ она была потрачена: орудий производства или земельных участков. Кроме того, капиталом в бухгалтерской практике называется не разность между наличностью и долгами, не собственные активы предприятия, а нечто иное: сумма вложений в предприятие покупательной способности. Наконец, величина капитала не меняется вследствие нормального износа средств производства. В известной мере мы вправе привлекать практику бухгалтерского учета для подтверждения правильности нашей точки зрения.

Лишь по одному пункту создается видимость определенных расхождений: реальные бухгалтерские балансы, как нам представляется, не полностью согласуются с требованиями нашей теории. То, что в активной части баланса мы, например, не находим статьи «услуги тру-

да», не столь уж и важно: эта позиция проведена по статьям «наличные средства» и «товарные запасы». Очевидно также, что наша предпосылка, ограничивающая продолжительность существования предприятия одним производственным периодом, порождает расхождения с реальными балансами, приспособленными к другому положению дел. Именно этим, а не различиями в понимании существа порождено то обстоятельство, что мы не видим в балансе «услуг труда», но зато встречаем там такие статьи, «как земельная собственность», «здания» и т. п. Дело в том, что земельные участки, здания, сооружения и другие вещи будут использоваться и в следующих хозяйственных периодах, причем только одна часть их ценности переносится на запасы готовой продукции, тогда как другая продолжает существовать самостоятельно.

Важнее следующее: не всегда вся израсходованная предпринимателем сумма отражается в балансе как его капитал. Самостоятельно существуют, например, такие статьи, как привилегированные облигации и векселя, предъявленные к уплате. Подобное разделение покоится на двух обстоятельствах: на различии между долговременными (bleibende Aufwendungen) и кратковременными (zeitweilige Aufwendungen) вложениями и на различии между капиталом и долгами. Что касается первого обстоятельства, то оно теряет свое значение при условии, что предприятие существует лишь в течение одного хозяйственного периода и все его продукты поступают на рынок исключительно по окончании этого периода. Тогда векселя представляют собой столь же долговременные вложения, как и сам капитал в узком, бухгалтерском смысле слова. Но даже если наша предпосылка не срабатывает, то и в этом случае здесь не возникает никакого существенного различия. Даже тот, кто называет капиталом только неизменную сумму, постоянно служащую предприятию, должен будет согласиться, что в нашем контексте она играет ту же самую роль, что и другая, не столь постоянная, изменяющаяся сумма. *In praxi* (на деле) последняя часто называется переменным капиталом, и мы без риска вызвать возражения можем утверждать, что капиталу в узком смысле слова можно дать более точное определение: капитал, вложенный в предприятие на долгий срок, или постоянный элемент капитала предприятия. Отзвуком подобной манеры выражения является проведение различия между капитальными затратами (capital expenditures) и всеми прочими издержками. Отличительным признаком капитальных затрат вновь является долгосрочный, однократный характер вложений. Следовательно, слово «капитальный» и здесь употребляется не в собственном, а в переносном смысле. Даже то обстоятельство, что «некапитальные затраты» осуществляются из прежних доходов, как бы оно ни было важно само по себе, не имеет в нашем контексте большого значения. Для нас — и не только для нас, но и для предпринимателей или акци-

онеров — оно имело бы более важное значение, если бы рассматривалось под углом зрения возрастания капитала. Существенно то, что новая сумма денег расходуется именно на покупку средств производства. Если же эти деньги берутся из прошлого дохода, то это, конечно, замечательно, но в существе дела ничего не меняет: скорее всего, произошло увеличение капитала в общепринятом смысле. И в самом деле, сумма, фактически затраченная на приобретение средств производства, каково бы ни было ее происхождение, вносится в баланс и в конечном счете суммируется со статьей капитал. Когда капиталом называют только фигурировавшую в балансе до приращения сумму, то на самом деле имеют в виду «первоначальный капитал». Различный правовой статус «капитальных» и прочих затрат не должен затушевать их одинаковую экономическую сущность.

Но может быть, более существенно различие между капиталом и долгами? Ведь мой капитал — это актив, а мои долги — пассив, не так ли? Очевидно, нас можно упрекнуть здесь с бухгалтерской точки зрения. Ведь капитал никогда не показывается в активной части баланса. С точки зрения предпринимателя капитал всегда является пассивом, даже если он принадлежит самому предпринимателю. В этом случае предприниматель Шмид оказывается в должниках у «капиталиста» Шмида. Разумеется, в праве господствует другая точка зрения, согласно которой никто не может предъявлять требования к самому себе. Однако на практике это означает только то, что самому себе нельзя предъявить судебный иск, а различия между нашей и правовой точкой зрения не так велики, как кажется на первый взгляд. Если предприниматель добивается успеха, он удовлетворяет требования к себе самому так же, как и другие его кредиторы. Если его постигает неудача, то и другие люди, строго говоря, не могут реализовать свои требования к нему как к предпринимателю. Право предоставляет им просто возможность обратить свои требования на другие части имущества предпринимателя или, если неудача носит частичный характер, на первоочередное удовлетворение своих требований, в то время как предприниматель такой возможности не имеет. Но совокупность отношений и фактов из правовой сферы — это нечто иное, и ее следует четко отграничивать от экономической стороны дела. Можно было бы сказать, что капитал предприятия предназначен для создания резервов на случай покрытия долгов. Последнее соответствовало бы истине, если бы этот капитал находился в ликвидной форме, например в виде денег в кассе. Во всех прочих случаях суммы, составляющие «капитал», расходуются таким же образом, как и суммы, называемые «долгами», и погасить долговые обязательства из своего капитала предприятие не может. Независимо от величины капитала кредитор может рассчитывать только на остатки производственных благ и продукты. Если, несмотря на обстоятельства, предприятию с крупным ка-

питалом охотнее предоставляют кредит, то только потому, что величина капитала — своего рода показатель мощи предприятия; кроме того, хорошо известно, что в суде этот капитал не может конкурировать с другими долгами[5] предприятия, с долгами в юридическом смысле слова. Верить в то, что с помощью капитала как такового можно погасить долговые обязательства, было бы столь же наивно, как и полагать, что банковским активам соответствуют платежи в звонкой монете, а каждый вексель где-то ожидает денежная сумма, предназначенная для его погашения.

«Капитал» предприятия с экономической точки зрения относится к его пассивам, как и все остальные долги, начиная с привилегированных облигаций и кончая однодневными банковскими ссудами. Роль ссужаемых денежных сумм аналогична роли «капитала» и заключается в привлечении средств производства. Итак, впредь мы будем называть капиталом сумму всех статей пассива. К этому выводу приводит нас сама практика бухгалтерского учета. Практика бухгалтерского дела подводит нас к тому и показывает, что принятое в бухгалтерском учете определение капитала слишком узко, ибо оно из соображений удобства отделяет капитал от денежных сумм, в сущности ему подобных и выполняющих ту же самую функцию. Эта процедура позволяет разбить вложенные в предприятие средства на позиции, выделение которых имеет большое практическое значение, в особенности для оценки финансового состояния предприятия, но с нашей точки зрения второстепенно, чтобы сохранить в понятии капитала важный момент, заключающий в себе суть явления капитализма, момент, объяснить который осознанно или неосознанно стремятся все теории капитала, необходимо описанным выше образом расширить объем понятия, принятый в бухгалтерском учете.

Экскурс в экономическую практику подтверждает правильность нашей концепции: мы видим, что для акционерного общества, например, вопрос о том, как ему раздобыть нужную сумму денег — путем выпуска новых акций и привилегированных облигаций или посредством получения краткосрочного кредита, — решается исходя из сравнительной выгоды этих вариантов. Все эти возможности имеют множество промежуточных форм, часто переходят одна в другую и все служат единой цели — привлечению денег для покупки производственных благ, для осуществления «новых комбинаций». И практика для всех этих возможностей имеет одно общее обозначение — это все методы «привлечения капитала». Различаются они только юридической формой, которая зависит от конкретных условий, в то время как

[5] Кнаппе (Knappe. Bilanzen der Aktiengesellschaften) выступает против употребления Симоном выражения долги в этом смысле. С юридической точки зрения он, разумеется, прав.

суть дела остается неизменной. Для руководителей предприятия все эти правовые формы являются различными техническими средствами достижения одной и той же цели. Для владельца капитала — это различные виды вложения капитала, которые отличаются друг от друга просто юридической формой и вытекающими из нее экономическими преимуществами и недостатками.

Такое положение вещей говорит в пользу того, чтобы едино рассматривать все эти суммы. Все они с точки зрения предприятия являются его капиталом. По этой же причине рекомендуется рассматривать всех хозяйственных субъектов, предоставивших капитал предприятию, в качестве его кредиторов в экономическом смысле этого слова. Даже если эти последние являются одновременно руководителями предприятий, целесообразно в интересах обеспечения терминологической точности проводить различие между их функциями руководителя и капиталиста. Но подавляющее большинство акционеров, коммандитистов, участников негласных товариществ и т. д. не играют такой руководящей роли и не могут оказывать существенного влияния на деятельность предприятия. Их положение юридических совладельцев (компаньонов) не имеет реального значение и зачастую ограничивается функциями контроля, фактически весьма незначительно выходящими за рамки того контроля, который может осуществлять любой другой кредитор. По моему мнению, правильнее будет называть акционеров, участников товариществ и т. д. инвесторами (Kapitalgeber), чьи права удовлетворяются в последнюю очередь, но которые зато непосредственно направляют, обеспечивают деятельность предприятия и имеют право на получение большей части прибыли в качестве вознаграждения, чем в том случае, если бы они были только предпринимателями. Точно так же консорциум лиц, кредитующих государство, не становится носителем верховной власти, хотя и осуществляет широкий контроль и даже прямое влияние на политику государства. И кредитор не становится предпринимателем в собственном смысле слова, даже если возможность получения большей прибыли побудит его взять на себя часть рисков.

Эта концепция не раз выдвигалась экономической теорией. Можно даже сказать, что юридическая концепция имела важное значение для политэкономии лишь там, где в принципе речь шла о рассматриваемой проблеме вообще, и что всегда, когда разговор заходил о конкретных частных вопросах, в большей или меньшей степени учитывалась — по крайней мере косвенно — представленная нами точка зрения. Для практика она вполне привычна. Это, в частности, выяснилось в ходе дискуссии относительно того, можно ли считать, что дивиденды уже обложены налогом, поскольку взимается налог на корпорации, или что их следует облагать налогом на ценные бумаги (Steuer auf Forderungen). Как известно, ответы на этот вопрос давались разные. И хо-

тя оценка данного вопроса зависит от прочих обстоятельств больше, чем от взглядов на экономическую природу акции, тем не менее аргументы одной стороны в данной дискуссии свидетельствуют о том, что наша точка зрения совсем не нова. Значение нашей концепции капитала заключается в том — и только в том, — что она утверждает нас в нашем мнении о необходимости рассматривать как единое целое все без исключения денежные суммы, служащие целям предприятия.

Это, разумеется, не означает, как было сказано выше, что мы хотим совершенно стереть грань между суммами, которые в широком обиходе обычно называют «капиталом», и «долгами» предприятия. Только в капитальном аспекте, выполняя функцию капитала, они играют одинаковую роль и поэтому их следует суммировать. Для предприятия обе суммы функционируют сообща, одновременно способствуют достижению им своих целей. Но если мы захотим узнать, каково было бы положение каждого предприятия в случае их ликвидации, чего достигло каждое предприятие к моменту ликвидации, то тогда окажется, что «капитал» и «долги» превращаются в противоположности и нас будет интересовать не сумма их, а разность. Это именно *тот аспект, который воплощает в себе для нас понятие «имущество»* (Vermögen). Различие между терминами «капитал» и «имущество» определяется, следовательно, тем, под каким углом зрения мы рассматриваем положение предприятия. Это различие поможет нам опровергнуть очевидные возражения самого различного характера.

Надеемся, что мы в достаточной степени охарактеризовали феномен капитала. Надо полагать, что мы раскрыли также сущность широко распространенного в повседневном обиходе понятия «капитал», ничего лишнего к нему не добавив. Мы только углубили и расширили это понятие на базе внутренне присущего ему момента. Итак, совершенно очевидно, что деловой человек никогда не рассматривает конкретное благо как таковое в качестве своего капитала, любое благо рассматривается им всегда под углом зрения его покупательной силы. Поскольку мы убедились, что эта покупательная сила может действовать только с помощью платежных средств, то мы назвали капиталом именно их, и мы беремся убедить каждого практика в том, что он считает капиталом конкретные блага лишь в переносном смысле, имея в виду деньги, которые он может за них получить. Далее, поскольку мы выяснили, что единственное предназначение покупательной силы заключается в том, чтобы обеспечивать предпринимателя материальными средствами, и что кредитные платежные средства также в состоянии осуществлять данную функцию, мы и их отнесли к капиталу. При этом очевидно, что если новое предприятие должно быть создано в экономике, которая до этого момента оставалась полностью статичной и в которой все денежные средства были связаны, то капитал может состоять только из кредитных платежных средств. Это положе-

ние лишь потому кажется нам таким странным, что мы из опыта знаем только процесс полного жизни развития и что капиталистическое развитие опирается на докапиталистическое развитие — а не полностью статичное состояние, — развитие, в процессе которого сформировались значительные денежные резервы. Но как мы убедились, этого запаса явно недостаточно для капиталистического развития, где «настоящие» деньги играют всего-навсего роль «мелочи». Следовательно, факты подтверждают нашу теорию даже в большей степени, чем необходимо для простого признания ее практической пригодности. Наша концепция капитала соответствует той, что принята в практике, только в логически развитом, очищенном от внутренних противоречий виде. Она свободна и от наивных предрассудков простолюдина, который объясняет покупательную силу чека наличием соответствующей суммы денег в банке.

Сложнее достигнуть согласия с теоретическими концепциями капитала. Пожалуй, теоретики создали в этом вопросе такую путаницу, что трудно добраться до его существа. Поэтому мы ограничим свою задачу, чтобы только показать, что наш взгляд на проблему капитала находит параллели в экономической теории, а противоречия между различными концепциями не столь значительны, как это могло бы показаться[6]. Спор по данному вопросу вопреки распространенному мнению носит отнюдь не чисто терминологический характер[7]. На карту поставлена теория, объясняющая существо важных процессов капиталистической экономики, а не термин. Поэтому попытка К. Менгера добраться до сути проблемы была большим шагом вперед и внесла в дискуссию свежую струю. Надо сказать, что сам Менгер обосновывал свою задачу не так, как хотели бы сделать это мы. Он утверждал, что нельзя свободно изобретать дефиниции там, где практика уже создала их. Правильно ли это утверждение или нет, для нас неважно. Как бы вольно мы ни обращались с терминологией, все равно перед нами встанут вопросы, которые должны рассматриваться в рамках так называемой «теории капитала» («Kapitaltheorie»), вопросы, которые в состоянии разрешить не выбор дефиниции, а анализ факторов. И в самом деле: авторы, недвусмысленно утверждающие, что речь идет о чисто терминологических вопросах, пользуются для доказательства своей правоты и другими аргументами, помимо терминологической целесообразности или нецелесообразности. Бём-Баверк, принципиально придерживающийся данной точки зрения, вначале исследует сущность

[6] См. толкование понятия капитала в моей работе: «Wesen...». Op. cit., II. Buch, где представлены и другие точки зрения.

[7] «Мы не можем решить никаких проблем с помощью определения капитала», — говорит А. Маршалл. Конечно, никакая дефиниция не заменит решения проблемы, но в нем могут найти отражение результаты исследований, а в нашем случае неправильное определение капитала может помешать нам раскрыть сущность этого явления.

капиталистического процесса производства, и его определение капитала находится в тесной зависимости от результатов данного исследования[8]. Следовательно, речь идет не о слове «капитал», но о группе реальных фактов, существо которых является объектом научных споров и субстрат которых от этого не меняется. Дискуссия имеет не произвольный, а вполне определенный предмет, который все более или менее отчетливо представляют, но совершенно по-разному истолковывают.

Разумеется, в этом споре есть и чисто терминологический аспект, и совсем непросто отделить произвольные *терминологические* констатации от *тенденции* в использовании понятий, базирующейся на определенном подходе к явлениям действительности. В одних случаях на передний план выступают первые, в других — вторые. Отдельные авторы фактически игнорируют материальную сторону дела, что, конечно, развязывает им руки. В конечном счете они приходят к выводу, что формирование единого понятия капитала не имеет существенного значения (например, Маршалл, Филиппович[9], Шмоллер). Важно отличать этот вид определения капитала от всех прочих. Он способствовал умножению общего числа имеющихся дефиниций, но не усложнял этим нашу задачу, поскольку за ними не стоит никакой теории. Мы можем согласиться с мнениями сторонников этих определений, как и эти последние — с нашим мнением. То же самое можно сказать и о концепциях авторов, признающих необходимость единого понятия капитала, но употребляющих сам термин, как им заблагорассудится (Вальрас, Косса). Как и первые, они не представляют для нас никакого интереса.

Большинство же теоретиков осознанно или неосознанно хотят большего, чем просто ввести определение, они стремятся понять явление, решить проблему. Это доказывается уже тем фактом, что многие старые дефиниции капитала должны были, по замыслу их авторов, устранить широко распространенное заблуждение, согласно которому деньги и капитал — это одно и то же. И в отличие от Книса мы можем утверждать, что, рассматривая капитал, теоретики отнюдь не имели в виду разные явления, а пытались изучать одно и то же явление — кстати сказать, мы также исследуем его — с разных сторон. Это станет ясно из последующего изложения. В наши цели не входит дополнение основательных историографий теории капитала Бём-Баверка, Книса, Фишера и других[10] еще одной. Мы хотим только показать, что, по нашему мнению, учение о капитале не стоит на месте, а эволюцио-

[8] Действительно произвольным является лишь его выбор между промежуточным продуктом и запасом потребительских благ.

[9] Филиппович приписывает имуществу многие свойства, которые мы считаем присущими капиталу.

[10] Новая работа такого типа, принадлежащая перу В. Якоби, не заслуживает внимания.

нирует. При этом следует подчеркнуть, что нас интересует только современное значение понятия «капитал». Слово это старое и раньше значило совсем не то, что теперь. Сегодня определения типа «*Capitale dicitur omne bonam quod possidetur*» (капиталом называются все блага, которыми человек владеет) нас совершенно не удовлетворяют, и рассматривать их здесь было бы бессмысленным занятием. Капитала не было в докапиталистической экономике, и, хотя все теоретики придерживаются другого мнения, в центре их внимания все же находятся явления окружающей нас действительности.

Мы разобьем определения капитала на группы по степени их близости к нашей точке зрения и приведем примеры из каждой группы. Начнем с дефиниций, непосредственно включающих в себя момент покупательной силы. Так, К. Менгер, как уже отмечалось, дав вначале «вещное» определение капитала, предложил затем другое, очень близкое нашему[11]. Существующие расхождения между менгеровским определением и нашим легко преодолимы. Два оттенка в понятии капитала, которые выделяет Менгер*, нам представляются практически неразличимыми. Важнее всего для нас доказательство Менгером того, что предприниматель-практик никогда не путает капитал и деньги — в том смысле, в котором данный факт можно поставить ему в упрек, — а также признание им того обстоятельства, что капитал, затраченный на приобретение средств производства, перестает существовать как таковой. Однако, исходя из своего первого определения капитала как имущества, выраженного в деньгах, Менгер делает выводы, которые расходятся с нашими, что совершенно объяснимо, поскольку полностью согласиться с нами в данном вопросе нельзя, не приняв целиком всей теории, изложенной в этой книге, ибо только в рамках этой теории понятие капитала имеет тот смысл, который мы хотим ему придать. Но так или иначе концепция Менгера сломала лед, что наконец сделало возможным серьезное обсуждение данного вопроса. Сегодня я могу, в большей степени надеясь, что меня услышат, говорить вещи, которые я не мог бы произносить до появления публикации Менгера, поскольку до того среди теоретиков господствовали прочные предубеждения против любой такой попытки[12].

Подход, совершенно аналогичный нашему, мы встречаем у Ф. Б. Хоули[13]. Подобно нам, он связывает сущность капитала с поку-

---

[11] «Conrads Jahrbücher», XVII. Band.

* Менгер К. Избранные работы. М.: Территория, 2005. С. 167—168.

[12] Менгеровское определение капитала получило широкое признание. См. высказывания о нем Филипповича, Шмоллера, Лексиса и др.

[13] F. B. Hawley. Enterprise and the Productive Process, 1907. На случай, если обсуждаемая нами проблема будет признана столь важной, что возникнет вопрос о приоритете, я со всей решительностью заявляю, что представленная здесь точка зрения впервые высказана Хоули, хотя и не заимствована мной у него. Эта идея явилась закономерным продуктом современного развития экономической теории.

пательной силой и ставит капитал между предпринимателем и средствами производства. Но прежде нам хотелось бы указать на широко известные работы Маклеода. Читатель имеет полное право недоумевать, почему я раньше не упомянул этого имени. Дело в том, что ссылка на этого автора, имя которого в теории «предано анафеме», сопряжена с определенным риском[14]. И как бы мне ни хотелось воздать должное этому незаслуженно не признаваемому исследователю, я все же спешу подчеркнуть, что я пришел к аналогичному результату и установил, что капитал в известном смысле есть покупательная сила, совершенно независимо от Маклеода, другим путем и с другой целью. Второе маклеодовское определение капитала — как накопленный труд — не имеет ничего общего с нашей точкой зрения. Заслугой же Маклеода надо признать то, что он отметил важную роль создания покупательной силы в нашей экономической системе, хотя и никак не развил этого положения. Данный факт находит сегодня все более широкое признание в определениях капитала, например у Дэвенпорта (Davenport. Value and Distribution) и Веблена (Veblen. Theory of Business Enterprise). Важная роль покупательной силы подразумевается в этих определениях, находится в поле зрения их авторов, завоевывает себе признание, однако так и не находит своего теоретического осмысления[15].

Здесь мы переходим к другой группе дефиниций капитала, которые хотя и существенно отличаются от нашего, но, на мой взгляд, имеют одно с ним направление. Можно подумать, что их авторы лишь потому не придерживаются концепции капитала как покупательной силы, что угроза предания их анафеме со стороны господствующей теории не позволяет им видеть особой функции покупательной силы. Это группа «нематериальных» (unkörperlich), или «абстрактных», определений. Они столь же стары, как и материальные дефиниции, и, несмотря на постоянные нападки, всегда имели достаточное число приверженцев, которое в последнее время заметно растет. Правда, порой из-за лако-

[14] Поразительно, с какой беспощадностью с ним обошлась господствующая теория (см., например, Рошера и Книса). Частично это понятно. В некоторых деталях своей концепции он делает ошибки, непростительные даже новичку. Его юридические рассуждения и тон всех его высказываний также не производят благоприятного впечатления. Вместе с тем было бы несправедливо ограничивать его заслуги только работами по банковскому делу. Маклеод был вполне оригинальным мыслителем. Так, например — и это общеизвестно, — он, безусловно, был одним из предшественников психологической теории ценности. Им определены основные черты чистой экономической науки еще до Вальраса. Видимо, Маклеоду повредил сомнительный успех, выпавший на его долю в самом начале научной деятельности: правительство Наполеона III приказало широко распространить его «Elements». Однако ни это, ни банкротство возглавляемого им банка нельзя причислить к научным аргументам.

[15] Для полноты изложения мы должны были бы упомянуть еще многие имена. Отголоски этой концепции можно найти, например, у Коморжинского, фон дер Боргта, Витгельсхёфера.

ничности определений трудно сказать, имели ли их авторы в виду что-либо серьезное. Тем не менее в отношении некоторых из них не может быть никаких сомнений. Эту группу мы хотим разделить на две подгруппы: представители первой из них считают капитал суммой ценностей (Wertsumme), а второй — видят в нем «абстрактную производительную силу».

К числу тех, кто считает капитал суммой ценностей, безусловно, относится Таттл[16]. Если другие авторы лишь эпизодически вкладывают в капитал подобный смысл (Тюрго, Сэй, Германн, Курсель-Сенёйль, Шторх, Нойрат, Молинари и др.) или как бы ходят вокруг этого определения (Феттер), то Таттл[17] прямо и недвусмысленно объявляет капитал суммой ценностей, выраженной в деньгах, но не состоящей из них, независимо от вида и предназначения конкретных благ, ценности которых входят в эту сумму. Как и другие «абстрактные» дефиниции капитала, определение Таттла подверглось суровой критике со стороны Бём-Баверка (E. Böhm-Bawerk. Kapital, II. Bd., 2. Auflage, S. 62, 3. Auflage, S. 100). Действительно, возникает вопрос: как могут ценности каких-либо благ существовать самостоятельно? Ценность нельзя отделить от оцениваемого объекта. Невозможно проделывать с благами одно, с их ценностями — другое. Конечно, можно представить себе совокупность благ, которыми владеешь, как некую величину ценности. Но что из того? Это определение капитала представляется совершенно бессмысленным.

И все-таки оно имеет смысл в следующих двух аспектах. Сравнивая ценность благ, предназначенных для определенного производства, со ценностью продукта, мы можем оценить результат производства. Но прямо сопоставить израсходованные блага с производственными невозможно. Ценность благ имеет функцию соизмерителя, которую не могут осуществлять сами блага. И если считать капитал подобным мерилом, то вполне логично было бы определить его как сумму ценностей благ. Читателю известно, что мы не придерживаемся подобной точки зрения, но ее нельзя считать ошибочной, поскольку она стремится отразить функцию, действительно выполняемую капиталом. Следовательно, это положение касается просто второй функции капитала в нашей теории. Но точно так же обстоит дело и с первой функцией. Какую роль, кроме вышеперечисленных, может играть «величина ценности»? Только роль денежной суммы, покупательной силы, хотя этот момент детально не исследовался авторами, выдвигавшими подобные определения. Таким образом, эта величина сводится здесь к сумме ценностей, реализуемых в процессе продажи (Verkaufswert), и

[16] Tuttle. The real concept of capital. — *Quarterly Journal of Economics*, 1904.

[17] Другие положения теории капитала Таттла, совершенно чуждые нашим взглядам, мы здесь не рассматриваем.

через менгеровскую концепцию мы вновь приходим к нашей собственной. Величина ценности — это потенциальная денежная сумма, и если понимать ее в этом смысле, то все возражения Бём-Баверка бьют мимо цели. Мы видим, что в основе такого определения капитала лежат идеи, весьма близкие нашим.

Сказанное относится и к другому определению капитала, относящемуся к данной же группе, хотя его не так просто охарактеризовать как величину ценностей. Речь идет о дефиниции, проводимой проф. Кларком. По его определению, капитал — это постоянно существующий фонд производительной силы, состоящий из конкретных производственных благ, непрерывно меняющихся в рамках потока благ — подобно тому, как речной поток формируется из постоянно меняющихся капель воды. Эта конструкция призвана выделить два момента: во-первых, то, что капитал сохраняется, а не исчезает совсем, подобно израсходованным сырью и средствам производства; во-вторых, то, что капитал представляет собой нечто отличающееся от этих благ и до некоторой степени ведет обособленное существование. Не обсуждая в частностях это теоретическое построение, включенное в предложенную Кларком общую схему производственного процесса, отметим только: оба эти момента действуют в том же направлении, что и наша точка зрения. Ведь то, что не исчезает, а точнее, то, что фиксируется, — это сумма счетных единиц (Recheneinheiten), измеряющих занятый в производстве капитал, это измеритель, имеющий важное значение и для системы требований, в решающей степени влияющей на распределение дохода от производства. Второй момент — обособленное существование капитала — отражает различие между капиталом и благами (Güterbesitz), — различие, прекрасно знакомое любому практику. Это, по сути дела, признание того, что капитал, отличаемый от любых благ, выполняет особую функцию агента, в которой его не в состоянии заменить никакие конкретные производственные блага. Однако природу этой функции Кларк видит иначе, чем мы. Различия начинаются уже с того, что у Кларка функция капитала *статична.* Если бы он не делал этого, а рассматривал динамический характер капитала, то неминуемо пришел бы к выводу, что функция представляет собой рычаг изменения направления производства, и определил бы капитал как средство установления господства над миром благ. В этом случае понятие капитала совпало бы с понятием денег, против чего Кларк в настоящее время энергично возражает. Но так или иначе его дефиниция капитала, в свое время имевшая большой успех, всегда будет с полным основанием пользоваться репутацией открывшей новые пути.

«Материальные» определения капитала также часто бывают близки нашему пониманию, хотя их авторы лишь бегло касаются интересующих нас функций капитала или вообще обходят те факты, которые

находятся в центре нашего внимания. Это относится, например, к определению капитала, данному Джевонсом. Если капитал представляет собой фонд средств к существованию и тот, кто обладает потребительскими благами, может за них получить производственные блага — и в первую очередь услуги труда и земли, а также все прочие имеющиеся производственные блага, — то это означает, что он как бы владеет ими и потому может употребить их и для осуществления «новых комбинаций». Хотя Джевонс нигде не обращает особого внимания на эту функцию изменения направления народнохозяйственного производства, тем не менее очевидно, что она вытекает из его понятия капитала. Для желающих производить потребительские блага представляют интерес только в качестве покупательной силы, и это обстоятельство сближает определение Джевонса с нашим и отличает его от всех тех, в которых капиталом именуются блага, технически необходимые в процессе производства, а тем самым затушевывается или искажается тот важный процесс, посредством которого предприниматель получает в свое распоряжение эти блага, процесс, в котором заключены сущность капитала и источник процента. Мы не пользуемся дефиницией Джевонса не столько потому, что он упускает из виду функцию капитала как средства изменения, сколько в силу того, что она представляется нам не соответствующей действительности и подменяет простое описание реальных процессов малополезной логической конструкцией. Разве капиталист выступает как владелец потребительских благ? А если нет, то зачем предполагать, что это так, когда мы можем прекрасно обойтись без этой предпосылки?[18]

Близок к такой трактовке капитала и Бём-Баверк. Он задается вопросом, что следует называть капиталом: потребительские блага или произведенные средства производства, — и сам же отвечает на него в пользу последних, впрочем, только из соображения терминологической целесообразности. Если бы он этого не сделал, его точка зрения оказалась бы очень близкой к нашей теории: владелец средств к существованию покупает на них производственные блага и использует их так, как понимаем это мы, т. е. для осуществления новых комбинаций. Разница только в том, что у Бём-Баверка эти новые комбинации находят свое отражение только в схеме увеличения продолжительности производственного периода.

[18] Старый вопрос, являются ли средства к существованию рабочего «капиталом», который столь радикально решает Джевонс, вообще представляет для нас интерес. Авторы, считающие, что средства к существованию являются капиталом в руках капиталиста, но не в руках рабочего, очевидно, должны признать, что принадлежность благ к капиталу не зависит от их технических свойств, а это уже шаг в направлении к нашей точке зрения. Почти каждый автор вынужден видеть в капитале нечто иное, но только не определенную категорию благ. Однако здесь мы не можем исчерпывающе осветить этот вопрос.

Можно найти точки совпадения с нашими взглядами и в других теориях. Так, Брентано делает вывод, что в современных условиях земля стала капиталом. Почему же земля изменила свой характер? Когда были устранены законодательные ограничения на переход земельных участков из одних рук в другие и наступило общее оживление экономической деятельности, то в кругах земельных собственников стало принято рассматривать земельные участки с точки зрения их ценности в деньгах, т. е. их покупательной силы. Именно это вынудило Брентано сделать подобный вывод. Следовательно, в тех качествах, которые приобрела земля, т. е. блага, он видит отличительные свойства капитала. Если вспомнить наши рассуждения о том, какой единственной цели может в принципе служить эта покупательная сила, то мы без труда обнаружим сходство наших взглядов со взглядами Брентано и сможем переформулировать его мысль следующим образом: сегодня земельная собственность дает нам власть над средствами производства, по крайней мере посредством капитала в нашем понимании.

Подобные упоминания о покупательной силе мы встречаем довольно часто, но нигде они не получают глубокого развития. Так или иначе, этот момент содержится во многих теориях и рано или поздно подвергнется научному анализу. Содержится он и во многих определениях частнохозяйственного капитала, хотя и здесь ощущается сильное влияние укоренившихся взглядов на роль капитала, не имеющих ничего общего с нашими. Равным образом все рассуждения о производительной функции капитала исходят из принятого определения капитала и носят дедуктивный характер. Мы двигались в обратной последовательности и не можем ожидать, что придем к тем же результатам, что и дедукция из предпосылок, которые мы считаем неправильными.

И все-таки часто приходит в голову мысль, что причина всех этих — как мы полагаем — заблуждений кроется в неправильном понимании одного и того же явления, а именно феномена власти Денег, противостоящей интересам Земли и Труда. Исходным пунктом анализа всегда являлось существование этой большой триады, отражающей действительность и разделение дохода от производства на три соответствующие части. Потребовалось объяснить природу этой власти денег, и экономисты выявили такие блага, на которых якобы основывается роль денег в экономике. Когда же этот ложный путь увел исследователей далеко от реальной действительности — это было бегство от Харибды проблемы денег и связанных с ней массовых заблуждений к Сцилле совершенно неправильной, нереалистичной логической конструкции, — то многие потеряли надежду на то, что можно добиться согласия по существу вопроса, и, объявив спор чисто терминологическим, стали с полнейшей непринужденностью изобретать определения

капитала. Так обстояли дела в тот момент, когда Менгер придал дискуссии новый импульс.

Все дефиниции, авторы которых усматривали сущность капитала не в определенных технических свойствах тех или иных благ, а в специфическом моменте, а именно в планах (Dispositionen) хозяйственного субъекта, разумеется, в чем-то схожи с нашим определением. Если считать характерной чертой капитала то, что он связан с промыслом (Милль, Дитцель, Шеффле), или то, что он служит будущим потребностям (Книс), то и здесь есть что-то близкое нашей точке зрения. И по нашему мнению, в капитале есть что-то связанное с промысловой деятельностью и что-то обеспечивающее будущее производство. Различие же заключается в общей теоретической концепции действительности. Все эти взгляды исходят из того, что функцию промышленно-ремесленной деятельности (Erwerbsfunktion), как и функцию средств производства, в будущем осуществлять могут только блага. Из этого же как само собой разумеющийся делается вывод о том, что капитал должен состоять из благ. Если же рассматривать процесс более подробно, то мы обнаружим, что еще до начала собственно производства действует агент, который мы как раз и называем «капиталом». Наверное, можно сказать, что перед нами два объяснения одного и того же факта. Более того, возможно, что эти авторы, так же как и мы, вначале имели в виду денежную сумму и, давая свое определение капитала, стремились ответить на то, что, собственно, скрыто за этим денежным «покровом». Конечно, можно, как и большинство политэкономов, полагать, что в самих деньгах не может заключаться ничего существенного или самостоятельного, но это значит как бы отодвигать в сторону этот покров и видеть там блага. И первым делом на глаза «попадаются» блага, которые на эти деньги приобретены. Они-то и именуются капиталом. Почему же мы не поступаем так же, ведь деньги употребляются исключительно на покупку благ? Почему эти блага не называть капиталом? А ларчик просто открывался: тем самым мы затушевали бы очень важный процесс, — процесс, без которого нельзя понять капиталистическую экономику. В дефинициях капитала, о которых сейчас идет речь, уже содержатся попытки анализа, подход к решению проблемы. Они проливают свет на одни моменты и оставляют в тени другие. Мы дали свое определение потому, что отражаемый в этих взглядах анализ представляется нам неточным и недостаточным. Что же касается цели хода мыслей, то у нас она с этими авторами общая.

Нечто подобное можно сказать и о том определении, которое включает в капитал любые блага, независимо от их вида. С одной стороны, оно свидетельствует о банкротстве «материальных» определений капитала, которые как бы скользят по наклонной плоскости и ни

на чем не могут остановиться. С другой — подобное определение приближается к нашей точке зрения. Все экономические блага (wirschaftliche Güter) обладают покупательной силой, все они могут быть обменены на капитал и поэтому представляют собой, так сказать, потенциальный капитал. Или иначе: для производства необходимы все виды благ, что особенно четко проявляется, если полностью абстрагироваться от платежных средств и предположить, что необходимые для производства услуги труда и земли приобретаются в обмен на потребительские блага. Поэтому все виды благ здесь являются «капиталом». Отличие этой концепции от нашей, как и в предыдущем случае, вызвано разными взглядами на один и тот же процесс. Сторонники данного определения начинают свой анализ с того момента, когда у предпринимателя уже есть все необходимое — кроме земли и труда — для производства блага. Мы начинаем анализ несколько раньше, здесь народнохозяйственный подход как бы «вмешивается» в частнохозяйственные процессы капиталистического хозяйства — ему не нужно ничего, кроме благ, для приобретения которых, по нашему мнению, требуются прежде всего платежные средства. Никто из теоретиков, придерживающихся иных взглядов, не станет *ex professo* (по долгу службы) это оспаривать. Но обычно этот процесс они считают незначительным и малоинтересным. Основной упор делается на техническую сторону процесса производства, что и вынуждает существо капитала искать именно там. Но и сторонники подобных взглядов хотят объяснить то же самое, что и мы. Разница в том, что мы останавливаем свое внимание на денежной сумме как воплощении капитала и стараемся вникнуть в это явление, тогда как они не придают этому никакого значения и заявляют, что все дело в той массе благ, которая, как они считают, скрывается за денежной суммой.

О большинстве определений капитала можно было бы говорить приблизительно в том же духе. Когда, например, Германн пытается обратить внимание на экономическую долговечность производственных потребительских благ, он явно хочет дать теоретическое обоснование тому факту, что капитал не исчезает в процессе производства. При этом Германн имеет в виду бухгалтерский капитал, который действительно «не расходуется», а поскольку, по его убеждению, теория должна заниматься не бухгалтерскими и кредитными операциями, а лежащими в их основе благами, то он пытается найти аналогичное в мире благ. Мы интерпретируем этот процесс по-иному — как нам представляется, правильнее и проще, — но что касается цели исследования, то мы находимся в одной «лодке» с подавляющим большинством экономистов. Те моменты, которые мы систематически кладем в основу нашей теории, эпизодически возникают почти у каждого из них.

Лишь сравнительно небольшая группа авторов дает такие дефиниции, которые вообще не имеют никакого отношения к реальному явлению капитала и преследуют чисто терминологические цели. Здесь мы видим тех, кто относит к «капиталу» государство, добродетель и т. д. Впрочем, и эти определения также имеют определенный смысл[19], но, разумеется, они находятся далеко в стороне от пути, ведущего к решению проблемы капитала. Такие определения служат примером тому, как неправильный подход к данному вопросу в экономической теории влечет за собой потерю всех ориентиров и вырождение теории капитала.

Далее, необходимо указать на важную точку соприкосновения нашей теории капитала с теорией Маркса. Как известно, Маркс видит характерное свойство капитала в том, что он является «средством эксплуатации» рабочего, а эта «эксплуатация» основана на том, что предприниматель — Маркс в соответствии с классической традицией отождествляет его с капиталистом — устанавливает свою власть над рабочей силой рабочего. Бём-Баверк отметил, что то же самое относится и к услугам земли, а мы бы добавили сюда и технические средства производства. Таким образом, совпадение точек зрения с Марксом у нас далеко не заходит, поскольку последний делает основной акцент на отделении рабочего от материальных средств производства, которые объявляются средством его «эксплуатации». Само понятие эксплуатация в равной степени свидетельствует о существенном отличии теории Маркса от наших взглядов. Но его основная идея о том, что капитал есть, в сущности, средство господства над производством, совершенно совпадает с нашими выводами. Теория Маркса базируется на наблюдении фактов, и хотя из этих наблюдений он пришел к выводам, с которыми мы не согласны, а свою правильную основную идею неверно конкретизировал и придал ей совершенно ложное развитие, тем не менее есть момент, в котором наша точка зрения сходится и с его взглядами, и с концепциями тех, на кого он более или менее оказывает влияние.

Здесь следует упомянуть еще об одном аспекте, в котором другие теории временами сближаются с нашими представлениями. Шмоллер (Schmoller. Grundriß II, s. 171), как мне кажется, справедливо подчеркивал, что определение капитала, данное Менгером, не только заимствовано из деловой практики, но и постоянно используется теоретиками. Полагаю, что то же самое можно утверждать и о нашем определении. Как бы ни дезавуировали нас *ex professo* (по долгу службы) политэкономы, как бы ни обвиняли в поверхностном подходе и даже в кажущейся поддержке преданных анафеме «массовых заблужде-

[19] См.: «Wesen...». Op. cit., II. Buch.

ний», фактически же они на удивление часто невольно высказывают взгляды, аналогичные нашим. Приведем лишь несколько примеров *употребления понятия капитала, противоречащего принятым самими авторами дефинициям.* При этом очень резко проявляется и отличие этих концепций от нашей теории.

Прежде всего можно процитировать корифея А. Смита. Разумеется, он называет капиталом сами блага, а не деньги, на которые их купил предприниматель. Но в то же время Смит весьма часто упоминает о том, что капитал расходуется на приобретение самых различных благ. Как отмечал еще Коморжинский (Komorzynski. Kredit, s. 163), это может быть отнесено только к капиталу как покупательной силе. Разумеется, из многочисленных примеров явствует, что Смит все же считал капиталом только купленные блага, спешит добавить Коморжинский. При этом он может сослаться, например, на следующее место: «Но в чем в действительности нуждается заемщик и чем его снабжает лицо, дающее взаймы, — это не деньги, а стоимость денег или товары, которые можно купить на них»*. Но что это означает? Конечно, деньги не потребляются сами, а служат для покупки благ. Но именно поэтому в долг даются как раз деньги[20], а не «товары, которые можно купить на них». Представить дело иначе значило бы исказить действительность. Может показаться, что подобное исключение денег действительно способствует появлению в теоретической конструкции серьезного порока, а именно содействует формированию представления о том, что видимость предоставления предпринимателем в долг самому себе необходимых благ как бы лишает идеальную картину реально протекающих процессов самого существенного. С этим согласиться нельзя, а раз так, то придется, во-первых, признать, что деньги играют в экономике немаловажную роль, а во-вторых, серьезнее отнестись к вопросу: что же, собственно, является капиталом — деньги или блага, купленные на них? Отсюда уже рукой подать до нашей точки зрения, в соответствии с которой в кругообороте эта проблема не имеет никакого значения; в процессах развития их роль, напротив, весьма существенна. Ключ к решению проблемы капитала заключается также в четком разграничении понятий кругооборота и развития. То, что Смит и его последователи этого не делают, как раз и приводит к тому положению, когда они пытаются доказать, что деньги не имеют важного значения, но в то же время сами не в состоянии последовательно придерживаться этого тезиса.

---

* А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., Эксмо, 2007. С. 357.

[20] Если я покупаю ружье, то тем самым, разумеется, я фактически оплачиваю свои будущие охотничьи трофеи. Однако приобретение ружья далеко не идентично покупке оленя, которого я надеюсь подстрелить.

Похоже обстоит дело и со взглядами Рикардо. Вот одно из многих его высказываний, которое мы могли бы привести: «Если каждый волен употреблять свой капитал, как ему угодно, то он, конечно, будет искать для него наиболее выгодного применения; он, естественно, не будет удовлетворен прибылью в 10 %, если, вложив свой капитал в другое дело, он может получить прибыль в 15%»*. Что имеет здесь в виду Рикардо? Инструменты, сырье, потребительские блага рабочих? Но можно ли так просто направить их в другую область применения? Если и можно, то, конечно, только частично и не без потерь. Если же продать эти блага, чтобы приобрести другие, то и это повлечет за собой — причем неизбежно, как можно в том убедиться, — убытки. К тому же в этом случае и основной капитал становится иным: теперь уже нельзя сказать, что данный капитал нашел себе другое применение, это уже другой капитал, а старого больше нет. Если уж говорить о новом применении, то оно относится к покупательной силе. Покупательная сила — это то единственное, что остается от старого капитала, то, на что может обменять свой запас благ предприниматель, намеревающийся уйти из данной отрасли. В этом процессе деньги не просто используются в качестве нейтрального посредника, покупательная сила является его основным двигателем. Конечно, в процитированном отрывке Рикардо имеет в виду еще не инвестированный капитал. Но из чего состоит этот последний? Бём-Баверк, разделяющий точку зрения Рикардо, говорит, что, ограничивая свое потребление, предприниматель экономит производительные силы, которые затем применяет в новом производстве. Но откуда нам известно, что сэкономленные производительные силы — это именно те, что нужны ему для нового производства? И разве нельзя посредством кредита раздобыть их без всяких «сбережений», как своих, так и чужих? А если можно, то почему бы просто не принять нашу точку зрения? Никто, прочитав эти строки Рикардо, не может усомниться, что речь здесь идет именно о «денежном капитале». Об этом же свидетельствуют и его ссылки на денежный класс и банки. Рассуждения Рикардо могут относиться только к «денежному капиталу», и хотя он *ex professo* вынужден признавать, что этот «денежный капитал», в сущности, состоит из благ, тем не менее, как отмечал уже Шмоллер, на практике он сам себе противоречит. И все же можно сказать, что в основе концепции капитала Рикардо лежит более глубокий анализ кредитно-денежных форм, чем можно судить по его выводам, в соответствии с которыми деньги не составляют сути рассматриваемых вещей. Так или иначе, этот анализ ошибочен, и денежный капитал — это денежный капитал, и ничего более.

---

* Д. Рикардо. Начала политической экономии и налогообложения. Избранное. М.:. Эксмо, 2007. С. 126.

Совершенно аналогичная картина наблюдается и с теорией Милля[21]. Совершенно однозначно он заявляет, что капитал состоит из благ, а деньги не могут выполнять ни одну из функций капитала. Но там, где Милль говорит о различиях между основным и оборотным капиталом*, он упоминает о том, что последний потребляется в процессе производства. Поэтому «данная часть капитала» должна непрерывно возмещаться посредством продажи продуктов, причем, возместив оборотный капитал, его необходимо немедленно израсходовать на приобретение сырья и услуг труда. Таким образом, свою функцию оборотный капитал выполняет, переходя из рук в руки. Ну а что же получает предприниматель, продав свои продукты? Что он этим возмещает? Что расходуется на покупку сырья и услуг труда? Что переходит из рук в руки и теряет свое качество капитала, чтобы затем вновь обрести его? Разумеется, деньги! Ход рассуждений Милля не оставляет никаких сомнений в том, что речь здесь идет о чем-то противостоящем производственным благам. Что касается потребительских благ, то они не переходят «непрерывно» из рук в руки.

Я не первым обратил на это внимание. Данный момент подробно разобрал Чернышевский**, упрекнув Милля в непоследовательности. Правда, далее Чернышевский приходит к выводу, что, по его мнению, соответствующие экономические процессы все же можно «корректно» объяснить, используя определение капитала Милля. Уточним, что это возможно только в статике. Конечно, когда экономика не выходит за рамки неизменного кругооборота, можно абстрагироваться от денег, играющих здесь чисто техническую — с точки зрения рыночных отношений — роль, и просто заменить их соответствующими благами. В динамике же деньги выполняют важную функцию, связанную с направлением благ в новые области применения, и, учитывая эту роль денег, исключить их из рассмотрения никак нельзя.

Назовем также верного ученика Милля, Фосетта (Fawcett. Manual of Political Economy, 4-th ed., 1874). По его мнению, полагать, что капитал — это деньги, значит впасть в «распространенное заблуждение» (p. 17). На самом деле капитал — это «богатство, накопленное для того, чтобы поддерживать производство» (p. 11, 17)[22]. Но вскоре (p. 87—88) речь уже заходит о капиталовложениях. Английский капитал предоставляется иностранным государствам; с его помощью уч-

* Дж.С. Милль. Основы политической экономии. М.: Эксмо, 2007. С. 168—171.

** Н. Г. Чернышевский. Избранные экономические произведения, т. III, ч. I. М., 1948, с. 192

[21] См.: McLeod. Theory of Credit, I. Bd (критика в адрес Милля).

[22] Уже на первых страницах своей работы Фосетт пишет о том, что предпринимателю нужны деньги для выдачи заработной платы. Но если покупательная сила необходима для этой цели, она необходима также и для покупки услуг земли.

реждается бесчисленное множество предприятий в различных уголках земного шара. Так оно и есть. Но разве Англия ссужает блага? Конечно, нет, она предоставляет в кредит платежные средства, за которые не только в Англии, но и в этих самых, а также других странах можно приобрести блага. Последний случай особенно интересен: большая часть заработной платы, источником которой служит английский заем, выплачивается не английским, а местным рабочим, которые покупают на эти деньги потребительские блага не обязательно английского, а скорее местного производства. И тем не менее вложен был, как утверждает сам Фосетт, именно английский капитал. Что же в нем было «английским»? Только деньги, покупательная сила. Если бы хлопчатобумажной промышленности вдруг потребовалось 100 млн фунтов стерлингов, говорит Фосетт, их можно было бы легко получить, сократив заграничные капиталовложения[23]. А что именно можно было бы получить? Только деньги, и ничего кроме денег. Далее Фосетт заявляет, что уплата Францией контрибуции в 1871 г. привела к утечке из страны капитала, который можно было бы использовать для перестройки различных отраслей промышленности. Сама же контрибуция состояла в основном из кредитных платежных средств. Дальнейшее изложение проходит в том же духе: в десятой главе третьей книги Фосетт вначале говорит о том, что утверждение, будто кредит создает капитал, бессмысленно. И вслед за этим он заявляет, что банковские депозитные книжки показывают, до какой степени кредит увеличивает капитал страны. Если время от времени автор убеждает нас в том, что кредит не в состоянии прокормить ни одного рабочего, мы, разумеется, не можем с ним не согласиться. Отметим, однако, что, когда Фосетт не говорит о капитале *ex professo* (по долгу службы), он постоянно думает о вещах, которые не могут быть для рабочих пропитанием, а для фабрик средствами производства.

Наступил момент подвести черту. Для наших целей вполне достаточно того, что мы изложили свою концепцию сущности капитала и его функций и показали читателю, что мы лишь высказали давно напрашивавшийся вывод. Еще Кэрнс писал: «Существование в промышленных странах больших масс капитала в «ликвидной форме», или, называя вещи своими именами, в форме денег или другой покупательной силы (разрядка моя. — *Й. Ш.*), которые могут быть

[23] Суть дела значительно вернее и изящнее выражена экономистом-практиком: «Англия... собирает со всех стран мира дань в форме процента не за употребление ее богатства или капитала, а за пользование своими долгами. Как ни парадоксально это звучит, но Англия в буквальном смысле... получает процент со своей собственной многомиллионной задолженности другим странам» (A. B. Stickney. Medium of Exchange and the Banking Function. American Bankers Ass., Meeting, 1901). Жаль только, что автор придерживается вещественного определения капитала.

использованы в любых целях, есть бесспорный и общепризнанный факт». Этот же момент особо выделял Маклеод. Сиджуик, Бэджгот и Бонэми Прайс принадлежат к числу тех, кто сохранили эту точку зрения в экономической теории, несмотря на то что господствовавшие взгляды всячески третировали ее. Я лишь уточнил роль, которую играет понимаемый таким образом капитал, и показал, что этой ролью полностью исчерпывается феномен капитала. Я просто показал, почему в некоторых случаях нельзя мысленно заменять этот капитал благами. Наш подход дает картину экономических процессов, несколько отличающуюся от общепринятой. Отсюда следует также, что господствующая точка зрения, одержав верх над широко распространенным ошибочным отождествлением денег и благ, в свою очередь спутала покупательную силу с благами, которые с ее помощью приобретаются. Эта ошибка затрудняет теоретическое осмысление динамических процессов в экономике. Капитал — это специфическая движущая сила, а не благо в обычном понимании этого слова. Понятие капитала характеризует процесс, метод осуществления новых комбинаций.

Раздел третий
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Нам остается сделать последний шаг. Мы показали, что капиталом нельзя считать ни первичные, ни произведенные средства производства как по отдельности, так и в их совокупности. Капитал не является также запасом потребительских благ. Он представляет собой особого рода агента. И как таковой он должен иметь рынок в том теоретическом его смысле, в каком существуют рынок потребительских благ и рынок средств производства. И этому теоретическому рынку в реальной действительности должно соответствовать нечто аналогичное, как, впрочем, и двум другим теоретическим рынкам. В первой главе мы увидели, что в экономике функционируют рынки услуг труда и земли, а также потребительских благ, где совершаются все важные процессы, необходимые для нормального хода хозяйственного кругооборота. Что касается произведенных средств производства, то они во всех отношениях представляют собой переходящие суммы и не имеют такого рынка, который был бы теоретическим и фактическим центром важных экономических процессов. В условиях развития, вводящего в экономический процесс новый агент — капитал, должен существовать третий рынок, на котором также происходит много интересного, а именно рынок капитала.

Такой рынок есть, и это очевидный факт, гораздо более очевидный, чем в случае с двумя другими рынками. Рынок капитала значительно

более концентрирован, намного лучше организован, его существенно легче заметить и охватить взглядом. Рынок капитала — это то, что любой деловой человек называет денежным рынком; именно под этой рубрикой появляются изо дня в день соответствующие материалы в газетах. Данное название, с нашей точки зрения, не вполне удовлетворительно, и мы можем отчасти присоединиться к возражениям экономистов, поскольку на этом рынке действительно продаются и покупаются не просто «деньги». Тем не менее мы принимаем его: в конечном счете рынок капитала — это именно то, что в практике именуется рынком денег. Другого рынка капитала просто нет[1]. Создание теории денежного рынка — интересное и стоящее занятие, однако подобной теорией мы до сих пор не обладаем[2]. Особенно важно было бы собрать все те правила, которыми руководствуются практики в оценке ситуации и принятии решений, и подвергнуть проверке их теоретическое содержание. Правила эти в большинстве своем четко сформулированы, ими руководствуются все авторы статей о денежном рынке. В настоящее время практические методы составления прогнозов конъюнктуры лежат далеко в стороне от проторенных путей экономической теории, хотя их изучение позволяет глубже понять современную экономику. По данному вопросу мы не станем вдаваться в подробности. Здесь будет сказано только то, что необходимо для наших целей, причем в очень краткой форме.

В экономике, где отсутствует развитие, денежного рынка в полном смысле этого слова быть не может. Если бы уровень ее организации был высок и если бы обращение здесь осуществлялось с помощью кредитных платежных средств, то она представляла бы собой своего рода бухгалтерию централизованных расчетов, расчетную палату. В операциях этого учреждения нашли бы свое отражение все народнохозяйственные процессы: периодические выплаты заработной платы, уплата налогов, сезонные потребности, связанные с урожаем, потребности в отдыхе. Но все это — расчетные операции, о рынке же здесь не могло бы быть никакой речи. В условиях развития эти расчетные функции также должны осуществляться, но, кроме того, здесь всегда находит применение временно свободная покупательная сила. Наконец, в условиях развивающейся экономики, как уже отмечалось, банковский кредит удовлетворяет также потребности кругооборота. *In praxi* (на деле) все эти функции являются элементами функции денежного рын-

[1] В принципе можно было бы вслед за Шпитгофом рассматривать рынок капитала как рынок долгосрочной, а денежный рынок — как рынок краткосрочной покупательной силы.

[2] См.: A. Hahn. Zur Theorie des Geldmarktes. — *Archiv für Sozialwissenschaft and Sozialpolitik*, 1923.

ка, включаются в его механизм: потребности кругооборота удовлетворяются на рынке денег наряду со спросом предпринимателей, а деньги, функционирующие в кругообороте, увеличивают предложение покупательной силы на этом рынке. Поэтому в каждом газетном сообщении о денежном рынке мы чувствуем пульс свершающегося кругооборота, мы видим, что спрос на покупательную силу растет ко времени уборки урожая, сбора налогов и т. п., а соответствующее предложение увеличивается, разумеется, после всех этих событий. Но это не должно мешать нам отличать процессы кругооборота, протекающие на рынке, от всех прочих процессов. Лишь последние существенны, а первые только сопутствуют им. И то, что они вообще появляются на рынке, есть очевидное следствие процесса развития. Тесные взаимосвязи между этими процессами не мешают нам различать их на практике: всегда можно определить, какие именно события на денежном рынке обусловливаются процессами кругооборота, а какие — процессами развития.

Существо данной проблемы — потребность в кредитовании новых предприятий. Это станет еще яснее, если мы вспомним о том, что здесь ради краткости и простоты изложения мы абстрагируемся от влияния международных отношений на народное хозяйство, а также внеэкономических факторов. Поэтому нам нет необходимости рассматривать проблемы платежного баланса, торговли золотом и т. п. При таком допущении на денежном рынке, в сущности, противостоят друг другу, с одной стороны, предприниматели, предъявляющие спрос на деньги, с другой — производители (и одновременно торговцы) покупательной силы — банкиры, формирующие предложение денег. С обеих сторон действуют также многочисленные агенты и посредники. Объектом обмена становится существующая, а товаром-эквивалентом — будущая покупательная сила. (Подробнее об этом см. ниже.) В повседневной борьбе обеих сторон вокруг цен решается судьба будущего развития. В этой борьбе цен будущая система стоимостей вначале выступает в реальной, практически осязаемой форме и соотносится со сложившимися экономическими отношениями. При этом неверно было бы полагать, что краткосрочные кредиты не имеют значения для новых предприятий, а их ценность, следовательно, безразлична для предпринимателей. Как раз наоборот: нигде общая народнохозяйственная ситуация не проявляется столь резко и не оказывает столь решающего воздействия на развитие, как в ценах на однодневные банковские ссуды. Предприниматель не обязательно берет кредит на все то время, на которое он вообще ему нужен, он берет его от случая к случаю, нередко всего на один день. Основой спекулятивных сделок, которые нередко являются единственным фактором, поддерживающим на рынке курс акций новых предприятий, почти исключи-

тельно являются подобные краткосрочные кредиты, которые сегодня еще можно получить, а завтра уже нет.

На практике действия обеих сторон наиболее четко просматриваются на наиболее развитых денежных рынках и менее заметны на остальных. Мы видим, как проявляются потребности промышленности в кредитах и как банковский мир то поддерживает и стимулирует ее деятельность, то, наоборот, пытается ставить ей палки в колеса и даже полностью отказывает в своей поддержке. Если на других народнохозяйственных рынках и в период развития сохраняется определенная устойчивость как спроса, так и предложения, то здесь каждый день происходят необычно большие колебания. Мы объясним это явление специфической функцией денежного рынка. С одной стороны, на него влияют все планы и прогнозы, какие только существуют в народном хозяйстве, с другой — вся совокупность условий жизни народа, все события, происходящие в политике, экономике и природе. Нет такой новости, которая не влияла бы на принятие предпринимателем решения об осуществлении новой комбинации, не меняла бы ситуацию на рынке и не воздействовала бы на взгляды и намерения руководителей. К часто меняющейся ситуации должна адаптироваться будущая система стоимостей; в новых условиях все вынуждены действовать несколько иначе, чем предполагалось до того. Это воздействие не всегда осуществляется через изменения цены покупательной силы, наряду с ними, а иногда и вместо них действуют и субъективные факторы.

Но надеюсь, читатель согласится, что их влияние в принципе не затрагивает сущности процесса. Природа каждого конкретного элемента покупательной силы и в первую очередь тот срок, на который она предоставляется, порождают различия в ценах денег в один и тот же момент времени в одном и том же месте, что также не должно вводить нас в заблуждение.

Эти замечания охватывают большое число фактов и сводят к единой схеме многие внешне совершенно различные формы, каждая из которых в отдельности представляет немалую проблему. Но здесь речь идет только об основных положениях. Денежный рынок всегда является как бы штабом капиталистической экономики, откуда исходят приказы ее отдельным отраслям; там, по сути дела, обсуждается и принимается план дальнейшего развития. На денежном рынке выступают все виды потребностей в кредите: именно на нем между различными видами экономических намерений (планов) вначале устанавливаются определенные отношения, затем развертывается борьба за их реализацию. На денежный рынок устремляются все виды покупательной силы, все виды средств, проходящих по активному сальдо. Все это порождает множество арбитражных сделок и посреднических опера-

ций, которые легко могут скрыть существо процесса от наблюдателя. Я надеюсь, однако, что наша трактовка не вызовет принципиальных возражений.

Итак, осуществление кредитных операций в интересах формирования новой системы стоимостей, финансирование развития есть главная функция денежного рынка, или рынка капитала. Процесс развития создает его и поддерживает его существование[1]. В процессе развития рынок капитала приобретает еще одну, третью функцию: он становится рынком самих источников дохода. Ниже мы рассмотрим взаимосвязи, существующие между величиной процента за кредит (Kreditpreis) и ценностью источников постоянных или временных доходов. Здесь же нам должно быть ясно, что продажа подобных источников дохода представляет собой способ привлечения капитала, а их покупка — способ применения капитала. Вот почему купля-продажа источников дохода вряд ли может происходить вне рынка денег. Здесь же должна, по идее, вестись торговля земельными участками, и лишь несущественные, второстепенные обстоятельства препятствуют тому, что на практике это не становится элементом процессов, протекающих на денежном рынке. Несмотря на это, здесь существуют причинные связи. Только при наличии определенных технических предпосылок объектами купли-продажи непосредственно на денежном рынке могут становиться и другие источники постоянных доходов или какие-то части их. Тем не менее никто не сомневается в том, что их ценность и цена формируются под сильным влиянием процессов, протекающих именно здесь.

Чтобы избежать недоразумений, мы хотели бы еще раз напомнить читателю, что все эти наши представления являются неотъемлемой составной частью общей концепции данной книги с ее специфическими допущениями и специфической терминологией. Если этого не принять во внимание, все сказанное в данной главе предстанет в ложном свете.



[3] Осознание данного факта, а также то обстоятельство, что развитие в большей мере зависит от настроения, энергии и целеустремленности хозяйственных субъектов, нашли свое отражение в резолюции, принятой собранием клерков Лондонской биржи в 1909 г. Не без юмора резолюция обязывала участников собрания верить в подъем и процветание и осуждала всякого, кто высказывал противоположное мнение.

Глава IV

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ПРИБАВОЧНАЯ ЦЕННОСТЬ[1]

Первые три главы заложили фундамент, на котором основывается все последующее изложение. Прежде всего мы можем теперь объяснить происхождение предпринимательской прибыли, причем так легко и естественно, что я предпочитаю обсудить некоторые связанные с этим, но более трудные для понимания проблемы в следующей главе, где мы и попытаемся разрешить их одним махом, а эту главу сохранить простой и краткой. Предпринимательская прибыль — это часть средств, остающаяся свободной после покрытия всех издержек (Kostenüberschuß), свободной прежде всего с точки зрения предпринимателя. Как утверждают с давних пор политэкономы, предпринимательская прибыль представляет собой разницу между выручкой и затратами предприятия. Подобное определение, конечно, поверхностно, но оно вполне может служить отправной точкой. Под «затратами» (Ausgang) мы понимаем здесь все расходы (Auslagen) предпринимателя, прямо или косвенно связанные с производством. В них входит и соответствующее вознаграждение предпринимателю за его труд, и рента с возможно принадлежащего ему земельного участка, и, наконец, премия за риск. Я не настаиваю также на том, чтобы из этих издержек исключить процент на капитал. В реальной действительности процент либо на самом деле входит в издержки, либо — если капитал принадлежит самому предпринимателю — начисляется ему точно так же, как и вознаграждение за труд или рента с его земельного участка. То, что многие теоретики принципиально ставят процент наравне с заработной платой и рентой, — подходит нам по тематике. Я предоставляю читателю этой главы полную свободу выбора: абстрагироваться ли ему от процента, как это делаем мы в отношении многих вещей, или, в духе любой теории процента, признать его одной из трех частей, на которые в статике распадается доход, и включить его в изде-

[1] Важнейшие теории предпринимательской прибыли известны как фрикционная теория, теория цены труда, теория рисков и теория дифференциальной ренты. Я отсылаю читателя к анализу этих теорий в третьей главе моей работы «Wesen...» и не буду вдаваться здесь в их подробную критику, тем более что основные положения этой критики станут ясны из содержания настоящей главы. Исторический обзор теорий предпринимательской прибыли дается у Пирсторфа и Матайя. Следует также упомянуть Дж.Б. Кларка, теория которого наиболее близка нашей (см.: J. B. Clark. Essentials of economic theory).

ржки предприятия. Сущность процента и его источник нас здесь совершенно не интересуют.

При таком определении «затрат» вообще непонятно, откуда берется разница между выручкой и издержками. Доказать, что она существует — вот наша первая задача. Кратко наш вывод можно сформулировать следующим образом: в рамках кругооборота общая выручка — мы оставляем в стороне монопольную прибыль — едва-едва покрывает все издержки. Имеются производители, которые не имеют ни прибылей, ни убытков, а их доход представляет собой плату за управление. Поскольку осуществляемые в процессе развития новые комбинации неизбежно должны быть выгоднее старых, то общая выручка здесь превышает общую выручку (Gesamterlos), получаемую в условиях статичной экономики, и, следовательно, превышает издержки.

В знак уважения к Лодердейлу, впервые затронувшему эту проблему[2], мы начнем, как и он, с того, что рассмотрим совершенствование процесса производства, приведя стародавний пример с ткацким станком, который хорош еще и тем, что его подробно проанализировал Бём-Баверк[3]. Многие деяния руководителей современной экономики, если не подавляющее большинство их, очень напоминают внедрение ткацкого станка. Наиболее типичными были такого рода события для периода на рубеже XVIII и XIX вв., когда они оказали существенное влияние на экономическую теорию. В то время, разумеется, принципиально различные функции изобретателя и человека, внедряющего изобретения, были на практике отделены друг от друга в меньшей степени, чем теперь, и люди типа Аркрайта были одновременно и изобретателями и практиками. К тому же в их распоряжении не было нашей современной кредитной системы. Однако я думаю, что читатель позволит мне не вдаваться в дальнейшие повторы и разъяснения и изложить подробную теоретическую схему процесса в его чистом виде.

Предположим, что в экономике, где текстильная промышленность целиком основана на ручном труде, некто видит возможность организовать предприятие, применяющее механические ткацкие станки. Допустим также, что он чувствует в себе силы преодолеть все бесчисленные препятствия и принимает соответствующее решение. Тогда ему в первую очередь нужна покупательная сила. Он получает ее в кредит у банка и учреждает предприятие, причем совершенно безразлично, сам он конструирует ткацкие станки или этим занимается по его распоряжению другое предприятие, а он ограничивается их применением. Если рабочий с помощью такого станка в состоянии ежедневно производить в шесть раз больше ткани, чем ткач, работающий вручную, то

[2] Lauderdale. Inquiry into the nature and origin of Public Wealth, 1804. Заметим, что цель его исследования в корне отличалась от нашей.

[3] E. Böhm-Bawerk. Geschichte der Kapitalzinstheorien, VII, 3.

очевидно, что наше предприятие получит выручку, превышающую издержки, при следующих трех условиях. Во-первых, достигнутое в результате этого увеличение предложения продукта[4] не должно снижать его цену вообще или, если понижение все же происходит, оно не должно быть таким, чтобы оказалась уравненной ценность дневного продукта рабочего до и после внедрения станка. Во-вторых, затраты на эксплуатацию станка в течение дня не должны превышать дневного заработка пяти рабочих или по крайней мере быть меньше той суммы, которая остается, если учесть вероятное понижение ценности продукта, и после исключения дневного заработка рабочего. Третье условие формулируется как дополнение к двум предыдущим. В них упоминается заработная плата рабочего, обслуживающего ткацкий станок, а также заработная плата и рента, являющиеся составной частью сумм, пошедших на оплату станков. При этом я вначале имел в виду, что эта заработная плата и рента остались такими же, какими были до осуществления плана нашего предпринимателя. Если его спрос сравнительно невелик, то это допущение нас вполне устраивает[5]. Если же это не так, то цены на услуги труда и земли возрастут соответственно новому спросу. Дело в том, что поначалу остальные текстильные предприятия спокойно продолжают работать и необходимые средства производства нужно изымать где-то в другом месте, что достигается предложением более высокой цены. Наш человек должен предусмотреть и заранее определить, каким будет повышение цен на рынке средств производства, которое последует за его появлением на сцене. Ему предстоит не просто учитывать в своих расчетах существовавшие до сих пор размеры заработной платы и ренты, а заранее исходить из их увеличения на соответствующую величину. Это также уменьшает доход предпринимателя. Лишь с учетом всех этих трех обстоятельств мы можем сказать, превышает выручка издержки или нет.

На практике эти условия удовлетворялись бесчисленное множество раз. Это свидетельствует о том, что они в принципе выполнимы, и, следовательно, выручка может превышать издержки[6]. Разумеется, случается и так, что условия не выполняются. И когда это имеет место, то, если прогноз всех обстоятельств был правильным, предприятие не возникает вообще, или, если он оказался ошибочным, предприятие не станет давать доход, а будет приносить убытки. Если же выполня-

[4] Здесь мы вновь отходим от примера Лодердейла, следуя нашей общей концепции и вместе с тем реальной действительности.

[5] Это был бы случай полной свободной конкуренции, при которой ни один хозяйственный субъект не обладает достаточной силой, чтобы своим спросом и предложением оказать заметное влияние на цены.

[6] Обращаю внимание читателя на то, что здесь я вовсе не пытаюсь объяснить явление через его фактическое существование, как это делают некоторые представители теории производительности в случае с процентом. Доказательство последует ниже.

ются все три условия, то превышение поступлений (выручки) над издержками уже в силу самого факта является чистым доходом. Ткацкие станки физически производят большее количество продуктов, чем заключенные в них услуги труда и земли в состоянии произвести при прежнем способе их использования, который в условиях неизменных цен на продукты и средства производства обеспечил бы дальнейшее безубыточное производство. Кроме того, эти станки достаются нашему хозяйственному субъекту — здесь мы абстрагируемся от возможности патентования станков, поскольку этот случай не нуждается в пояснениях, — очевидно, по существующим нормам затрат (zu Kostensatz). Отсюда возникает разница между выручкой, измеряемой посредством цен, которые сформировались как цены устойчивого равновесия спроса и предложения в условиях повсеместного применения ручного труда, т. е. как стоимость издержек производства, и затратами, которые в расчете на единицу продукции у данного предприятия существенно ниже, чем у всех остальных. Эта разница вовсе не обязательно должна исчезнуть по той причине, что наш хозяйственный субъект своим спросом и предложением вызовет изменения цен. Последнее настолько очевидно, что в данном месте мы можем воздержаться от дальнейших уточнений.

Но теперь начинается второй акт драмы. Путь открыт, и, манимые прибылью, возникают все новые и новые предприятия, использующие механические ткацкие станки. Происходит полная реорганизация отрасли: увеличивается производство, развертывается конкурентная борьба, вытесняются устаревшие предприятия, возможно, увольняется часть рабочих и т. д. Ниже мы подробнее рассмотрим данный процесс. Сейчас же нас интересует только одно: конечным результатом здесь должно стать новое равновесие, при котором цены вновь сравняются с издержками, но уже на другом уровне. Цена продукта теперь будет равна заработной плате и ренте за те услуги труда и земли, которые заключены в ткацких станках, и за те, которые необходимо присоединить к станкам, чтобы произвести продукт. Лишь когда наступит такое равновесие, исчезнет стимул к расширению производства и прекратится снижение цен, вызываемое ростом предложения.

Следовательно, избыток над издержками, получаемый нашим хозяйственным субъектом и его первыми последователями, исчезает[7]. Происходит это, как правило, не сразу, а по прошествии более или менее продолжительного периода времени, в течение которого этот излишек постепенно уменьшается[8]. Тем не менее этот избыток реализуется; в конкретных условиях он образует хотя и временный, но все же

[7] См.: E. Böhm-Bawerk. Geschichte der Kapitalzinstheorien, s. 174.

[8] Однако ради простоты изложения мы предположим, что весь процесс совершается в пределах одного хозяйственного периода.

чистый доход. Кому же он достается? Очевидно, тем хозяйственным субъектам, которые ввели ткацкие станки в хозяйственный кругооборот, а не просто изобрели, создали или использовали их. Тот, кто изготовил станок на заказ, получит лишь возмещение своих издержек. Тот, кто просто его использовал, поначалу заплатит за станок столь высокую цену, что едва ли получит какую-либо прибыль. Прибыль же достанется тем хозяйственным субъектам, усилиями которых ткацкие станки были внедрены; при этом неважно, занимались ли они только их производством, или только эксплуатацией, или и тем и другим сразу. В нашем примере главную роль играет использование станков, но в общем это не существенно. Внедрение осуществляется посредством учреждения новых предприятий, а уж производится ли на этих предприятиях новый продукт, или потребляется, или и то и другое — это не столь существенно. Каков же вклад наших хозяйственных субъектов в процесс внедрения? Это их воля и деятельность: не конкретные блага, потому что они куплены — у других или у самих себя, — и не покупательная сила, затраченная на приобретение этих благ, потому что она взята в долг — у других или, если мы вдруг захотим учесть результаты прошлых периодов, опять же у самих себя. А что же сделали наши хозяйственные субъекты? Они не накопили никаких определенных благ, не создали никаких первичных средств производства, а только по-иному, более целесообразно и выгодно применили уже существующие. Они «осуществили новые комбинации». Они — предприниматели, и их прибыль, излишек над всеми обязательствами — это предпринимательская прибыль.

Внедрение ткацкого станка — частный случай внедрения машин. Внедрение машин в свою очередь — частный случай изменений в процессе производства в самом широком смысле, направленных на то, чтобы снизить издержки в расчете на единицу продукции и создать таким образом разницу между прежней ценой изделия и новыми удельными издержками. Сюда относятся также многочисленные новшества в организации предприятия и все усовершенствования в коммерческих комбинациях. Для всех этих случаев можно слово в слово повторить все, сказанное выше. Как пример организационного нововведения назовем появление в промышленности крупных производственных предприятий, каких до сих пор не знало народное хозяйство. На таком предприятии можно более рационально, чем на мелких, разместить и использовать элементы производства, а также лучше расположить само предприятие. Но возникновение крупного предприятия связано с большими трудностями. При наших допущениях для этого вообще нет никаких условий; нет рабочих, квалифицированных служащих, столь нужных рыночных отношений. К тому же существует много препятствий в социально-политической сфере. Да и само создание неизвестной доселе организации требует крупных талантов. Но

если кто-нибудь обладает всем необходимым, чтобы добиться успеха в подобной ситуации, и может получить необходимый кредит, он сможет с меньшими затратами произвести и доставить на рынок единицу продукта, и, если выполнены три условия, о которых мы говорили выше, он получит прибыль, которая останется в его руках. Но его успех проложил путь остальным, создал образец, которому они будут следовать. Они могут последовать и последуют за ним, сначала поодиночке, затем большими массами. Вновь начнется процесс реорганизации, в результате которого излишек, получаемый предпринимателем сверх издержек, должен быть ликвидирован в результате внедрения новой формы организации предприятия в практику кругооборота. Но перед этим будет получена определенная прибыль. И здесь хозяйственные субъекты всего лишь эффективнее использовали существующие блага, осуществили новые комбинации. Они — предприниматели в нашем понимании, а их прибыль — это предпринимательская прибыль.

В качестве примера коммерческих комбинаций назовем выбор нового, более дешевого источника получения средства производства, скажем, источника сырья. Ранее этого источника вовсе не существовало в народном хозяйстве. Допустим, что со страной-экспортером, находящейся за океаном, не существовало прямых и регулярных связей; не было ни пароходной линии, ни почтового сообщения. Новшество всегда связано с риском, большинство продуцентов не отваживаются на него. Но если кто-нибудь учреждает предприятие, ориентирующееся на данный источник сырья, если ему улыбнется удача, он станет производить свои продукты с меньшими затратами, в то время как цены на первых порах в общем будут оставаться прежними. При таком раскладе он получит прибыль. При всем этом он вложит в дело лишь свою волю и свой труд и осуществит новую комбинацию из имеющихся элементов. Его опять можно назвать предпринимателем, а его прибыль — предпринимательской прибылью. И в данном примере предпринимательская прибыль и сама предпринимательская функция исчезают в водовороте настигающей его конкуренции. То же самое можно сказать и о выборе новых транспортных путей.

Те же последствия, что и совершенствование производственного процесса, имеет также замена одного производственного или потребительского блага на аналогичное или близкое по свойствам, но менее дорогое. Назовем в качестве конкретных примеров частичную замену шерсти хлопком в последней четверти XVIII в., а также производство всякого рода заменителей. На эти случаи распространяется все сказанное выше. Правда, здесь новые продукты, вне всякого сомнения, не будут продаваться по той же цене, что и ранее производившиеся товары, но очевидно, что отличие данного примера от предшествующих только количественное. В остальном же наблюдается полное сходс-

тво. Здесь нас также не интересует, производят ли хозяйственные субъекты новые производственные или потребительские блага сами или же только используют их или продают, изымая их для этого из прежних областей применения. Подчеркнем, что и здесь хозяйственные субъекты не вкладывают в дело никаких благ и никакой покупательной силы; от осуществления новых комбинаций они получают прибыль, которая столь же недолговечна, и мы вновь видим в них предпринимателей.

Несколько иной случай — создание нового блага, лучше удовлетворяющего потребности, которые до того уже существовали и удовлетворялись. Наглядной иллюстрацией сказанному служит изготовление лучших музыкальных инструментов при наличии худших. Здесь можно получить прибыль, продав лучший товар по более высокой цене, превышающей возросшие издержки; такая возможность вполне реальна. «Подогнать» наши три условия к данному случаю не представляет никакого труда, и мы можем спокойно предоставить это самому читателю. Если производство новых инструментов оказывается прибыльным, оно начинает широко осваиваться, и в отрасли начинается процесс реорганизации, который в конечном счете вновь устанавливает господство закона издержек. Совершенно ясно, что и здесь налицо новая комбинация имеющихся элементов, предпринимательская деятельность и — правда, временно — предпринимательская прибыль. Примером сочетания лучшего удовлетворения потребностей с уменьшением издержек в расчете на единицу продукции при очень быстром росте спроса является строительство железных дорог и каналов.

Нахождение новых рынков сбыта, на которых данное благо пока не укоренилось и на которых оно не производится, всегда было чрезвычайно обильным, а в прошлом и весьма долговременным источником предпринимательской прибыли. Примером служит самая рядовая торговая прибыль, скажем, от продажи стеклянных бус негритянскому племени. Суть дела в том, что здесь покупатель воспринимает новое благо как дар природы или как картину старого мастера, т. е. ценообразование происходит без учета издержек производства. Мы не можем предсказать, на какой высоте установится цена этого блага. Но именно поэтому вырванное из привычных производственных и коммерческих взаимосвязей и пересаженное на чужеродную почву благо может продаваться по цене, которая настолько превышает затрачиваемые на его производство в обычных условиях издержки, что все трудности, связанные с поисками такого выгодного рынка, с лихвой окупаются.

Такую возможность вначале видят и используют лишь немногие. Здесь мы вновь имеем дело с предпринимательской деятельностью, осуществлением новых комбинаций; эта деятельность тоже дает предпринимательскую прибыль, остающуюся в руках предпринимателя.

Разумеется, источник рано или поздно иссякает. В современных условиях здесь очень быстро сложилась бы соответствующая организация, и торговля стеклянными бусами перестала бы приносить прибыль.

Рассмотрев этот пример, мы одновременно объяснили и то, что происходит при производстве совершенно нового блага. Вначале его надо навязать потребителям хотя бы даром. Возникает множество препятствий. Но когда они преодолены и потребители начинают предъявлять спрос на это благо, цены на него некоторое время непосредственно формируются на основе потребительских оценок. Издержки, которые и здесь состоят из необходимых услуг труда и земли, учтенных по прежним ценам, не имеют в данном случае определяющего значения. Отсюда и получается излишек, достающийся удачливым производителям. И опять это предприниматели, только своей волей и деятельностью осуществляющие новые комбинации из имеющихся производственных элементов. Вновь мы имеем дело с предпринимательской прибылью, которая исчезает, когда новое благо внедряется в хозяйственный кругооборот и его цена приводится в нормальное соотношение с издержками.

На этих примерах мы убедились в том, что по сути своей предпринимательская прибыль — это результат осуществления новых комбинаций. Они показали нам также, что весь процесс сводится к новому применению уже имеющихся производственных благ. Предприниматель не откладывает деньги, чтобы получить необходимые ему средства; он не запасает никаких благ, прежде чем приступить к производству. Суть дела не меняется от того, что учреждение предприятия не представляет собой четко определенный во времени акт, его становление может происходить постепенно, предприятие в этом случае как бы развивается из самого себя. Если реализация первоначального плана не поглотила всей энергии предпринимателя без остатка и если последний к тому же продолжает руководить своим предприятием, он может заняться проведением в жизнь новых изменений, которые по нашей терминологии будут считаться новым предприятием (делом), зачастую используя средства из предпринимательской прибыли прошлых периодов. Процесс выглядит несколько иначе, но существо его остается прежним.

Сказанное выше имеет отношение и к случаю, когда производитель учреждает новое предприятие в своей отрасли, не отказываясь от использования старого производства. Прежде всего отметим, что это скорее исключение, чем правило: новые предприятия основывают главным образом новички; что же касается старых предприятий, то они постепенно приходят в упадок. Может статься, что предпринимателем окажется хозяйственный субъект, производивший прежде в рамках неизменного хозяйственного кругооборота. Данное обстоятельство никак не влияет на содержание процесса. То, что предприни-

матель в данном случае уже располагает нужными средствами производства или определенной частью их или, наконец, может оплатить их из фондов своего предприятия, ничего нового не привносит в предпринимательскую функцию и не изменяет ее. Конечно, к данному случаю наша схема подходит не во всех деталях: новое предприятие и здесь существует наряду с остальными, на первых порах работающими по старинке, но появление нового спроса на средства производства и нового предложения продуктов уже отходит на второй план. Мы построили свою схему именно так потому, что этого требовали гораздо более важные случаи, а также потому, что она показывает нам принцип процесса и механизм того, как новое отнюдь не возникает прямо из старого. Соответствующая интерпретация позволяет приспособить ее и к данному случаю, поскольку здесь речь идет только о новых комбинациях и ни о чем другом.

Предприниматель практически никогда не несет рисков[9]. Это совершенно четко прослеживается в наших примерах. Если предприятие терпит крах, внакладе остается кредитор. И хотя предприниматель отвечает за успех дела своим имуществом, это, скорее, вызывает к нему доверие, чем реально обеспечивает заем. Но даже если предприниматель финансирует себя сам из прошлой предпринимательской прибыли или использует средства производства своего прежнего «статичного» предприятия, он несет риск только как кредитор или владелец благ, но отнюдь не как предприниматель. Пусть даже он рискует своей репутацией, но прямой экономической ответственности за неудачу своего предприятия он не несет.

Нам остается вкратце отметить, что предпринимательская прибыль, как мы ее понимаем, является ядром так называемой учредительской прибыли. Что бы ни представляла из себя эта последняя, в ее основе всегда лежит временное превышение дохода над издержками производства у нового предприятия. Как мы видим, учредителем нового предприятия может выступать наиболее типичный представитель рода предпринимателей. В этом случае он является тем предпринимателем, который ограничивает свою деятельность осуществлением собственно предпринимательской функции, т. е. реализацией новых комбинаций. Если бы учреждение нового предприятия происходило по всем правилам и все участвующие стороны обладали совершенным даром предвидения, то предпринимательской прибылью было бы как раз то, что в данном случае оставалось бы в руках учредителя. Разумеется, на практике дело обстоит несколько иначе, но экономическая основа процесса именно такова. Конечно, все сказанное выше относится только к самому учредителю, а не к его агенту, который иногда выполняет техническую работу по учреждению акционерного обще-

[9] См. вторую главу настоящей книги, с. 143 и сл.

ства и при этом официально называется его учредителем. Он получает только вознаграждение, которое носит характер заработной платы. Наконец, самым фактом основания акционерного общества созданные в нем новшества полностью не исчерпываются. Его руководители нередко организуют новое «дело», продолжая играть роль учредителей и становясь одновременно предпринимателями, причем независимо от того, какую должность занимало каждое из этих руководящих лиц. Если же в акционерном обществе с момента его учреждения не осуществлялось никаких новшеств, то учредитель был единственным, кто занимался предпринимательской деятельностью применительно к данному обществу. Допустим, что ценность принадлежащих акционерному обществу средств производства[10] представлена в выпущенных им облигациях — как это часто делается в Америке, — а капитализированный доход от находящихся в его распоряжении постоянных источников дохода — в акциях. Предположим далее, что имеются также учредительские акции, которые безвозмездно передаются в собственность учредителю. Эти последние не представляют собой постоянного источника дохода, а приносят учредителю временный доход до тех пор, пока предприятие окончательно не станет неотъемлемой частью экономического организма. После этого они обесцениваются. Здесь мы наблюдаем предпринимательскую прибыль в ее чистом виде.

Чтобы дополнить наше представление о предпринимательской прибыли, проследим, что соответствует этому явлению в других, некапиталистических экономических укладах. Никаких сложностей не представляет для нас простое рыночное хозяйство, где хотя и существует обмен продуктов, но капиталистические методы не практикуются, не говоря уж о натуральном продуктообмене замкнутых хозяйственных единиц. В данных хозяйственных единицах власть производителя над средствами производства носит иной, нежели в капиталистической экономике, характер, как и в том случае, который мы рассмотрим ниже. В остальном же все сказанное о капиталистической экономике сохраняет силу. Чтобы избежать повторений, мы ограничимся рассмотрением замкнутого хозяйства (geschlossene Wirtschaft).

Здесь возможны два типа организации. Первый в своем наиболее ярком проявлении — это нечто вроде обособленного помещичьего хозяйства, где все материальные блага принадлежат помещику, а все люди — его крепостные. Второй — это обособленное коммунистическое хозяйство, в котором всеми материальными благами и услугами труда распоряжается центральный орган, который также определяет все ценностные соотношения. Обе формы можно вначале рассматривать

[10] Теоретически она должна равняться их ценности в прежних областях применения, без учета новых перспектив. На практике в большинстве случаев за них приходится платить дороже.

совместно: в обоих случаях речь идет о субъектах хозяйства, внешне различных и, по всей видимости, преследующих разные цели, но обладающих абсолютной властью над своим хозяйством и не ожидающих от других хозяйств ни кооперации усилий в производстве, ни предоставления возможностей получения прибыли. В этом главное отличие этих укладов от капиталистического: здесь существует мир ценностей, а мира цен нет. Переходя от рассмотрения наших примеров к исследованию замкнутой экономики, мы тем самым вступаем в сферу углубленного анализа ценностных явлений, лежащих в основе предпринимательской прибыли.

Мы знаем, что и в замкнутом хозяйстве существует кругооборот, в котором действует закон издержек, согласно которому ценность продуктов всегда равна ценности затраченных средств производства, и что здесь экономическое развитие в нашем понимании свершается в форме осуществления новых комбинаций существующих благ. Можно было бы полагать, что в этих условиях якобы необходимо накопление определенного запаса благ, выполняющего особую функцию. Первая часть этого предположения в какой-то мере справедлива: не всегда, но довольно часто создание запасов является шагом к осуществлению новой комбинации. Но никакой самостоятельной функции, с которой были бы связаны специфические ценностные явления, этот процесс не выполняет. Решение об ином способе применения благ в хозяйстве принимает сам руководитель или руководящий орган. Приводит ли такое решение непосредственно к желаемым результатам или для этого необходима подготовительная стадия накопления запасов, для нас совершенно безразлично. Нас не интересует также, одобряют ли все участники процесса поставленные перед ними новые цели и готовы ли они в случае необходимости к накоплению запасов. Сами руководители не испытывают при этом никаких лишений — пока они твердо держат бразды правления, — не обращают внимания на возможные временные потери, тех, кем они руководят. Что же касается руководимых, они всегда будут по мере возможности сопротивляться осуществлению любых далеко идущих планов, если — что не является абсолютной необходимостью, но вполне вероятно — эти планы ограничат их текущее потребление[11]. Несмотря на это, они не оказывают никакого прямого или косвенного экономического влияния. Самое большее, что должно здесь произойти, — это ограничение потребления и накопление запасов, впрочем, также не по их доброй воле. Последнее означает, что налицо нет никакой самостоятельной функ-

[11] Они обращают внимание лишь на текущие изъятия, поскольку совершенно не верят в будущие выгоды. Это справедливо для всех эпох, о которых у нас есть сведения: еще никогда в истории не обходилось без принуждения там, где развитие требовало участия широких масс. При этом во многих случаях подданные не несут никаких реальных убытков.

ции, которая отвечала бы нашей картине процесса развития. Если руководитель предоставляет руководимым возможность получить премию, то он тем самым уподобляется военачальнику, обещающему своим солдатам особое вознаграждение в случае победы: этот подарок должен сделать подчиненных более покладистыми, но никакого отношения к сущности процесса он не имеет и особой экономической категории не образует. При этом отличие «помещика» от руководителя коммунистического хозяйства чисто количественное. То обстоятельство, что последний не преследует целей личного обогащения и стремится приумножить общее благо, а «помещик», возможно, преследует лишь свои собственные интересы, не делает между ними существенной разницы по той простой причине, что до тех пор, пока сами массы не испробуют плодов нового, оно будет им так же чуждо, как и в случае, если бы новшество служило только интересам «помещика».

Из сказанного следует, что фактор времени не имеет в замкнутой экономике никакого самостоятельного значения. Руководители могут сравнить результат планируемой комбинации не просто с тем результатом, который был достигнут с использованием тех же производительных элементов при прежнем способе их применения, но и с результатами тех новых комбинаций, которые осуществляются с помощью тех же самых средств. Если же эти последние требуют меньших затрат времени, то результат планируемой комбинации надо сопоставить с суммой результатов всех комбинаций, которые можно осуществить за то же время. Поэтому фактор времени учитывается в замкнутой экономике при составлении хозяйственных планов, в то время как в капиталистической экономике его влияние, как мы увидим далее, проявляется через процент. Это различие, и только оно, действительно очевидно. Что касается таких факторов, как необходимость ожидания (Wartenmüssen) или более низкая оценка будущих наслаждений, то они и в капиталистической, и в замкнутой экономике не играют самостоятельной роли. Хуже всего «ждать и догонять», ведь в это время можно было бы заняться полезным делом. Будущие наслаждения привлекают нас в меньшей степени потому, что чем дольше нам приходится их ждать, тем больших «альтернативных наслаждений» мы при этом лишаемся.

Итак, руководитель подобного сообщества, каково бы ни было его конкретное положение, извлекает из прежних областей применения некоторое количество средств производства и осуществляет с их помощью новую комбинацию, например производит новое благо, а может быть, старое благо, но лучшего качества или посредством применения иных методов. В последнем случае совершенно безразлично, извлекает ли он нужные средства производства из той самой отрасли, что ранее производила данное благо, или позволяет ей и дальше работать по старинке и основывает новое производство рядом с ней, с по-

мощью средств производства, взятых из других отраслей. *Ex hypothesi* (предположительно) новые продукты должны — независимо от того, какая шкала ценностей принята в данном обществе — стоить больше, чем те, которые раньше производились с помощью тех же самых средств производства. Как же происходит процесс вменения ценности новых продуктов? Каким образом оценивается вклад отдельных факторов в тот момент, когда удачно осуществленная комбинация завершается получением продукта, ведь ценность его тогда уже определена? Еще лучше выбрать тот момент, когда принимается решение об осуществлении новой комбинации, и предположить, что все происходит в дальнейшем так, как было запланировано.

Первое, что должно сделать действующее лицо, — это сравнить ценность новых продуктов с ценностью тех, которые производились прежде и которые могли бы производиться теперь в рамках нормального кругооборота с помощью тех же самых средств производства. Понятно, что без такого сравнения нельзя оценить выгоду новой комбинации и приступить к активным действиям. Нам надо решить, по какой из этих ценностей оценивается при этом вклад средств производства. Ясно одно: до того как принято решение осуществить новую комбинацию — только по прежней ценности производившихся ими продуктов. Если заранее включить в расходы на средства производства сверхценность, которую даст новая комбинация, то ее осуществление не принесло бы вообще никаких выгод и сравнение ценностей прежних и новых продуктов потеряло бы всякий смысл. Но вот решение принято. Что тогда? Не следует ли в духе Визера[12] вменить средствам производства всю величину их производственного вклада так, как это произойдет в будущем кругообороте, в котором эти средства производства будут реализовывать большую ценность? Не должна ли вся ценность новых продуктов при условии, что все функционирует идеально, быть отнесена на счет использованных средств производства?

Я отвечаю на эти вопросы отрицательно и утверждаю, что услуги труда и земли сохранят свою прежнюю ценность. Тому есть две причины: во-первых, прежние ценности привычны, они сложились на основе длительного опыта и укоренились в сознании хозяйственных субъектов. Их изменяют только с течением времени и под давлением нового опыта. Кроме того, сами услуги труда и земли не меняются в связи с осуществлением новых комбинаций, что тоже способствует неизменности их ценностей. Напротив, ценности новых продуктов, так же как и их цены в капиталистической экономике, находятся вне сложившейся системы ценностей; переход от старых ценностей к новым совершается не постепенно, а скачкообразно. Здесь справедлива точка зрения, согласно которой каждое производственное благо оце-

[12] См.: Wieser. Natürlicher. Wert, S. 70 f.

нивается в соответствии с ценностью, которую оно может реализовать не там, где в настоящее время применяется, а в других областях использования[13]. Дело в том, что именно эта ценность — в нашем случае прежняя ценность средств производства — зависит от конкретных средств производства. Если бы данные средства производства исчезли из одной области применения, потерю возместили бы аналогичные средства производства из других отраслей. Ни одна единица блага не может оцениваться дороже, чем другая, аналогичная, пока они существуют одновременно. Услуги труда и земли, участвующие в новой комбинации, ничем не отличаются от тех, что одновременно применяются прежним образом — если это не так, то они отличаются по ценности, но этот случай понятен без всяких объяснений и не относится к сути дела, — и поэтому не могут иметь иной ценности, чем эти. Даже в исключительном случае, когда все производительные силы народного хозяйства заняты в новой комбинации, на данной стадии они должны были бы оцениваться по своим прежним ценностям, которые могли бы быть реализованы в случае неудачи предприятия или дали бы нам величину потерь, если бы полностью уничтожили. Поэтому успешное осуществление новой комбинации дает излишек ценности не только в капиталистической, но и в замкнутой экономике, причем этот излишек означает не просто лучшее удовлетворение потребностей по сравнению с прежним уровнем, но и прирост чистого дохода, который не расходуется на оплату средств производства. Иными словами, *прибавочная ценность*[14] *в условиях развивающейся экономики* представляет собой не только частнохозяйственное, но и народнохозяйственное явление. Этот народнохозяйственный излишек в принципе то же самое, что и капиталистическая предпринимательская прибыль, с которой мы познакомились раньше.

Во-вторых, мы можем прийти к аналогичному результату и другим путем. Предпринимательскую деятельность руководителя, необходимую для осуществления новой комбинации, можно рассматривать в качестве средства производства. Я не делаю этого в других случаях только потому, что в противопоставлении предпринимателя средствам производства заключается нечто большее. Но здесь их отождествление сослужит нам добрую службу. Итак, представим себе на некоторое время, что функция руководителя — это третий первичный фактор производства. Тогда, очевидно, ему должна быть вменена часть ценности новых продуктов. Но какая? Сами по себе способности ру-

---

[13] Вообще я далеко не во всем согласен с этой теорией. См.: «Wesen...». Op. cit., II. Buch, а также мою статью Bemerkungen über das Zurechnungsproblem. — *Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung*, 1909.

[14] Именно этот излишек, который с точки зрения частного хозяйства представляет собой предпринимательская прибыль и процент, соответствует прибавочной ценности (стоимости) в марксистском понимании. Другого излишка такого рода просто не существует.

ководителя и средства производства равно необходимы для производственного процесса, и если бы встал вопрос о потере одного из этих факторов, то руководитель должен был бы не только затратить всю ценность своих продуктов, чтобы предотвратить потерю средств производства за исключением какого-то минимума, но и отдать весь излишек ценности (Oberwert), полученный от реализации новых продуктов — опять-таки за вычетом некоторого минимума, — чтобы предотвратить потерю своей творческой силы. Здесь нет никакого противоречия с тем, что мы говорили «во-первых». Все категории ценности получают количественную определенность только благодаря наличию момента конкуренции, будь то конкуренция ценностей или хозяйственных субъектов. Поскольку в замкнутой экономике второй вид конкуренции отсутствует, а вопрос о том, что является предпринимательской прибылью, а что нет, имеет, как мы увидим далее, гораздо меньшее значение, чем для рыночного хозяйства, то ценностная величина предпринимательской прибыли не всегда определяется здесь так однозначно и ясно, как в той экономике, где этот вопрос более важен, а общая ситуация не претерпевает существенных изменений. Впрочем, и для замкнутой экономики мы в большинстве случаев можем определить, какая часть ценности вменяется исполнителю предпринимательской функции. Как отмечалось, отдельным средствам производства, как правило, можно найти замену, а руководителю нет[15]. Поэтому средствам производства вменяется ценность, от реализации которой пришлось бы отказаться, если бы возникла необходимость заменить их, а на предпринимательскую функцию приходится все остальное: ценность новых продуктов за вычетом ценности, которую можно было бы реализовать без ее участия. Таким образом, полученный излишек здесь должен быть вменен особому фактору, существование которого не увеличивает доли ценности, приходящейся на средства производства.

При этом нельзя забывать, что говорить о вменении прежней ценности продукта средствам производства можно только с известными оговорками. Дело в том, что предельная ценность средств производства в прежних областях применения возрастает вследствие изъятия из них какой-то части этих средств производства. То же самое явление мы наблюдали и в капиталистической экономике. Повышение цен на средства производства в капиталистическом хозяйстве под влиянием нового спроса со стороны предпринимателей как раз соответствует данному процессу определения ценности. Поэтому нам следует сделать соответствующую оговорку, но существа нашей проблемы она не

[15] Даже когда деятельность руководителя конкурирует с незаменимым средством производства, ценностное соотношение складывается в ее пользу, поскольку на стадии внедрения новое средство производства оценивается по своей прежней ценности.

затронет. Это повышение ценности нельзя, разумеется, путать с вменением ценности продукта средствам производства в процессе развития.

Никто не может утверждать, что изображаемый нами процесс определения ценности нереалистичен и предпринимательская прибыль не представляет собой в замкнутой экономике особую ценностную величину. В замкнутой экономике также необходимо оценивать свои поступки, оценивать выгоды от осуществления новой комбинации и определять источник этих выгод. Правильнее было бы сказать, что в условиях замкнутой экономики предпринимательская прибыль не имеет значения как категория распределения; в известном смысле это верно. Разумеется, при отношениях господства и подчинения «помещик» свободно распоряжается количеством продукта, соответствующим его заслугам, но он одновременно располагает «по своему усмотрению» и чужими доходами. Он может платить рабочим больше или меньше той суммы, которая определяется их предельной производительностью. В коммунистическом хозяйстве предпринимательская прибыль по крайней мере теоретически — должна доставаться обществу в целом. Само по себе данное обстоятельства нас не интересует. Но не следует ли отсюда, что предпринимательская прибыль, особенно в хозяйстве коммунистического типа, растворяется в заработной плате, что в этом случае теория ценности не действует и весь продукт идет на заработную плату? Нет, не следует. Надо отличать экономическую сущность дохода от того, что с этим доходом происходит. Экономическая сущность любого дохода состоит в том, что он порождается той или иной производственной услугой. В этом смысле заработная плата — это доход, порождаемый услугой труда. В рыночном хозяйстве в условиях свободной конкуренции этот доход достается рабочему, но только потому, что здесь господствует принцип вознаграждения в соответствии с предельной производительностью. Это означает, что в капиталистической экономике именно данная заработная плата порождает данную услугу. Если услуги труда были бы мобилизованы другим путем — с помощью принуждения или апелляции к чувству долга перед обществом, — то рабочий, возможно, получил бы меньшую сумму, но и в этом случае его заработная плата определялась бы предельной производительностью труда, а то, что он недополучил бы, следовало бы рассматривать как вычет из заработной платы. Этот вычет также представлял бы собой часть заработной платы, но часть, не доставшуюся рабочему. В коммунистическом хозяйстве руководитель, очевидно, не будет получать предпринимательской прибыли. Но отсюда нельзя делать поспешного вывода, что развитие в таких условиях было бы невозможно. Скорее всего, при подобной организации люди со временем настолько изменились бы, что им так же не приходило бы в голову требовать предпринимательскую прибыль, как госу-

дарственному деятелю или военачальнику — требовать всю военную добычу или какую-то ее часть. Но предпринимательская прибыль, вне всякого сомнения, продолжала бы оставаться таковой. То, что ее нельзя характеризовать как экономическую заработную плату рабочих, можно доказать, слегка видоизменив ход рассуждений Бём-Баверка в его классическом анализе категории процента[16]. Этот анализ вполне подходит и для исследования ренты, в котором необходимо отличать сущность производственного вклада земли от выплаты основанного на нем дохода определенным хозяйственным субъектам[17].

В таком случае с заработной платой каких рабочих следовало бы отождествлять предпринимательскую прибыль? На этот вопрос возможны два ответа. Проще всего сказать, что предпринимательская прибыль — это часть заработной платы тех рабочих, которые принимали участие в производстве новых продуктов. От вклада земли мы здесь абстрагируемся. Но этого не может быть, потому что тогда заработная плата этих рабочих *ex hypothesi* (предположительно) была бы больше, чем у их коллег, работающих в других отраслях по старинке. Эти последние совершают одинаковый — и по количеству и по качеству — труд. Поэтому данная гипотеза приводит нас к противоречию с основополагающим принципом экономической жизни, согласно которому одинаковые блага не могут иметь различные ценности. Нельзя не призвать несправедливости подобного положения. Более того, возникла бы группа привилегированных рабочих. В принципе это *возможно,* но тогда излишек, который получала бы привилегированная группа, не являлся бы частью заработной платы.

Второй возможный ответ таков: ценностная величина, называемая нами предпринимательской прибылью, и соответствующее ей количество продуктов просто образуют часть национального дивиденда и должны равномерно распределяться между всеми услугами труда данного периода, причем предполагается, что все они равны между собой, а неравенство по квалификации учитывается известным способом: в квалифицированный труд включается и труд, затраченный на приобретение квалификации. В этом случае рабочие, не занятые в производстве новых благ, получают больше, чем продукт своего труда. Заработную плату, превышающую ценность произведенного рабочим продукта, невозможно объяснить с экономической точки зрения. Очевидно, что здесь рабочие получают часть своей заработной платы на основаниях, не имеющих ничего общего с экономикой. Этот вариант так же возможен, как и многие другие. Общество так или иначе должно распоряжаться предпринимательской прибылью, равно как и всеми прочими доходами. Более того, оно должно распоряжаться ими

[16] См.: E. Böhm-Bawerk. Positive Theorie des Kapitals. (Заключительная глава).

[17] См.: «Wesen...». Op. cit., III. Buch.

в интересах рабочих, потому что других претендентов здесь не существует. При этом общество может руководствоваться какими угодно принципами: распределять блага по потребности в них или стремиться к достижению каких-либо общих целей, не прибегая к индивидуальному распределению. Но все это ничего не меняет в экономических категориях. В нормальном кругообороте рабочие не могут ни прямо, ни косвенно получить больше, чем продукт своего труда плюс продукт земли, поскольку больше ничего просто не существует. В нашем случае это возможно только потому, что один из агентов производства лишается своего продукта добровольно или принудительно. Если в своем определении многозначного понятия «эксплуатация» мы будем руководствоваться тем, что она имеет место только там, где на долю одной из движущих сил производства и, соответственно, ее владельца приходится сумма меньшая, чем его продукт в экономическом смысле слова, то мы вправе утверждать, что повышение заработной платы рабочих в нашем случае можно объяснить лишь эксплуатацией руководителя. Однако такое определение включает и эксплуатацию пользователя земли и поэтому неприменимо к коммунистической экономике, где нет земельных собственников. Мы можем дать более узкое определение эксплуатации как положения, при котором личный вклад агентов производства вознаграждается не созданным ими продуктом, а меньшей суммой. Но и тогда будет иметь место эксплуатация руководителя. Разумеется, мы не можем и не собираемся давать моральную оценку этому явлению.

Поэтому с экономической точки зрения предпринимательскую прибыль нельзя отождествлять с заработной платой даже тогда, когда она целиком достается рабочим. Для коммунистической экономики осознание этого факта имеет большое практическое значение. Оно не только дает возможность правильно понимать экономику данного общества, но и позволяет решать некоторые конкретные вопросы. Нам же рассмотрение замкнутой экономики позволило глубже проникнуть в сущность предпринимательской прибыли. Мы выяснили, что это явление не зависит от конкретной формы организации народного хозяйства. Для всех этих форм предпринимательская прибыль — это ценностное явление, связанное, в сущности, с функцией хозяйственного руководства. Если бы в процессе развития не возникало необходимости в руководстве и принуждении, величина предпринимательской прибыли входила бы в заработную плату и ренту и она не существовала бы как самостоятельное явление. Поскольку же этого нет и поскольку любая масса людей хотя бы немного похожа на все те народы, которые известны нам из всеобщей истории, постольку при идеальном совершенстве организации экономических процессов и их со-

вершенно гладком и вневременном протекании отнюдь не весь доход следовало бы вменять услугам труда и земли[18].

Я перехожу ко второму акту драмы, связанной с любым новшеством не только в рыночной, но и в замкнутой экономике. И в последней предпринимательская прибыль существует не вечно; и здесь происходят изменения, ведущие к ее исчезновению. Допустим, что новая комбинация осуществлена, ее результат налицо, успех очевиден и скептики замолкли. Способ добиться этого результата теперь известен: достаточно простого управляющего, который следил бы за тем, чтобы все шло по плану. Необходимость в творческих способностях и административной власти руководителя отпадает. Чтобы добиться прежнего успеха, достаточно просто повторить все, что было сделано, а при этом вполне можно обойтись без руководителя. Конечно, возможно появление тех или иных осложнений и трудностей, но в принципе дело существенно упростилось. Выгоды новой комбинации стали реальностью для всех членов общества, а новые продукты, поступление которых равномерно распределено во времени, постоянно находятся у них перед глазами. Поэтому они не ощущают никаких лишений и не следует долго ожидать изготовления следующей партии продуктов в том смысле, в каком мы об этом писали в главе первой. От народного хозяйства уже не требуется дальнейшего прогресса, ну а поддерживать поток благ на неизменном уровне оно, как мы полагаем, в состоянии.

Следовательно, новый производственный процесс будет повторяться вновь и вновь[19]. Для этого вовсе не нужна предпринимательская деятельность. Если же опять считать ее третьим фактором производства, то можно сказать, что при простом повторении ставших привыч-

---

[18] Хочу сказать несколько слов о теории, ныне ставшей популярной. Согласно ей, организация создает все, а предприниматель — ничего. Следовательно, предприниматель присваивает доход, принадлежащий всему обществу в целом. Здесь есть доля истины, поскольку каждый продукт имеет свое происхождение, возникает в определенной среде и никто не может создать что-либо в отсутствие необходимых условий. Но в области экономики, где мы имеем дело не с формированием людей, а с действиями уже сформировавшихся индивидов, это несущественно. Сами сторонники упомянутой концепции с особым рвением отстаивают важную роль личной инициативы. Эта теория справедлива во всем, что касается обратного воздействия процесса развития. В остальном же она основана на распространенном заблуждении, согласно которому продукт создается лишь физическим трудом, а также на представлении о естественном, гармоничном сочетании всех элементов развития и преемственности его фаз. Но это лишь следствие когда-то начавшегося процесса развития и не объясняет, как работает его механизм.

[19] Нам могут возразить, что при значительных нововведениях, существенно меняющих привычную ситуацию, необходимость в принуждении будет сохраняться. Здесь надо разобраться подробнее. Возможно, новое еще не понято, не прижилось. Но тогда новую комбинацию нельзя считать осуществленной. Мы предполагаем, что процесс адаптации, как бы долго он ни продолжался, уже закончен. Конечно, и тогда необходим элемент принуждения в виде организации, иерархии. Но это уже совсем не то, что принуждение к новой комбинации. Наконец, при организации, основанной на отношениях господства, новшество может принести массам прямой ущерб. В этом случае принуждение необходимо и после осуществления комбинации. Но это уже нечто иное. Для поддержания уже существующего порядка нужна власть, но не нужен описанный нами тип руководителя.

ными новых комбинаций один из факторов производства, необходимый для их осуществления, оказывается лишним. При этом, разумеется, данный фактор перестает претендовать на долю ценности продукта и соответственно расширяются аналогичные претензии услуг труда и земли. Теперь эти факторы более важны: они создают всю ценность продукта; им она целиком и вменяется, и в первую очередь услугам труда и земли, непосредственно занятым в новом производстве, а затем в соответствии с известными принципами всем остальным услугам этих факторов. *Следовательно, вначале возрастают ценности непосредственно использованных в новой комбинации услуг труда и земли, а затем этот процесс охватывает ценности всех остальных услуг данных факторов.*

Итак, ценности всех услуг труда и земли возрастают, но это возрастание ни по размеру, ни по характеру не похоже на то, что происходит во время осуществления новой комбинации. В последнем случае растет не сама величина ценности услуг труда и земли, а их предельная полезность. Причина этого в том, что из отраслей, работающих по-прежнему, изымается часть средств производства, вследствие чего удовлетворяются потребности, более интенсивные, чем те, что удовлетворялись прежде. После осуществления новой комбинации происходит нечто совершенно иное: ценность новых продуктов начинает учитываться в ценности средств производства. Это увеличивает предельную полезность производственных благ, но не только ее, растет также и совокупная их ценность. Различие, существующее между этими двумя явлениями, имеет большое практическое значение, например, для того, кто собирается увеличить применяемую им массу средств производства. В удорожании средств производства находит отражение тот факт, что продукт труда и земли увеличился, а более полное удовлетворение потребностей зависит теперь от производственных благ и только от них. Средствам производства придается уже не та ценность, которую они имели в кругообороте прошлого года, а та, что реализуется ими в новом кругообороте. Оценивать их в момент перехода выше тогдашней ценности замещения было просто бессмысленным. Теперь же ценность замещения средств производства включает в себя и ценность, которой они обладают в новой сфере применения. Как в старом, так и в новом кругообороте ценность средств производства определяется регулярно реализуемой ценностью их продукта, только величина ее теперь иная. Увеличение ценности общественного продукта влечет за собой удорожание средств производства. В новой ситуации прежняя, привычная, подтвержденная опытом величина ценности заменяется новой, основанной на новой предельной производительности величиной, которая в конечном счете тоже станет привычной и будет подтверждена опытом. Именно так должна была бы устанавливаться связь между продуктом и средствами производства, которая обеспечивала «полноводный» поток стоимостей,

уничтожающий на своем пути всякую «прибыль». Разрыва между ценностью продуктов и средств производства прежде не было — не будет его и теперь. И если бы все функционировало идеально, то коммунистическое народное хозяйство могло бы с полным правом рассматривать весь результат производства как продукт своего труда и своей земли и направлять его на потребление своих членов[20]. Такая практика с экономической точки зрения вполне допустима.

В известной степени процесс элиминирования предпринимательской прибыли протекает в замкнутой экономике точно так же, как и в капиталистической. Но характерное для капиталистического хозяйства снижение цен на новые продукты из-за конкуренции других хозяйственных субъектов здесь должно отсутствовать. Конечно, и в замкнутой экономике новые продукты должны быть включены в кругооборот, а их ценности приведены в соответствие со ценностями всех других продуктов. Мысленно мы и здесь можем выделить два различных момента: осуществление новшеств и их внедрение в кругооборот. Но, как легко заметить, на практике большое значение имеет тот факт, происходят ли оба эти процесса *uno actu* (одновременно) или нет. В замкнутой экономике вполне достаточно выявить излишек ценности, обусловливаемый предпринимательской деятельностью, чтобы решить нашу проблему. В капиталистическом хозяйстве эта величина ценности может найти дорогу к предпринимателю только с помощью механизма рыночных процессов, и опять же только при посредстве этого механизма она может быть уничтожена или же изъята у данного предпринимателя. Поэтому по существу простая проблема ценности дополняется вопросом, а каким же образом предпринимательская прибыль достается именно предпринимателю? Механизм данного процесса обнаруживает некоторые черты, которых нет и не может быть в замкнутой экономике.

И тем не менее не только экономическая суть предпринимательской прибыли, но и природа процесса, ее элиминирующего, одинакова при любой организационной форме экономики. В любом случае дело сводится к устранению препятствий, мешающих тому, чтобы вся стоимость продукта вменялась услугам труда и земли или чтобы их цены сравнялись с ценой продукта. Господствующие принципы рассматриваемого процесса заключаются в том, что свободная экономика, во-первых, не допускает избытка ценности по отдельным продуктам, а во-вторых, систематически подтягивает ценность средств производства к ценности продукта. Эти принципы осуществляются в замкнутой экономике непосредственно, а в капиталистической — через механизм свободной конкуренции: при капитализме цены на средства производства должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы они полностью исчерпывали цену произведенного с их помощью продукта. Если

[20] В конечном счете на свой лад это же делает и капиталистическое общество.

это невозможно, то соответственно надлежит понизить цену продукта. Существование в подобных условиях предпринимательской прибыли объясняется исключительно тем, что переход от одного состояния, в котором нет никакого излишка ценности, к другому, в котором также не наблюдается подобного излишка, не может происходить без помощи предпринимателя. В капиталистическом хозяйстве необходимо, кроме того, соблюсти важное условие: даже конкуренция не должна сразу же лишать предпринимателя его предпринимательской прибыли.

Предпринимательская прибыль имеет к средствам производства такое же непосредственное отношение, как результаты творчества поэта — к его черновой рукописи. Ни малейшая часть этой прибыли не вменяется средствам производства. Но это еще не все. Предоставление средств производства или владение ими не составляет содержания предпринимательской функции. Но самое важное — это то, что длительный рост ценности первичных средств производства, вызванный открытием новых областей их применения, нельзя, как мы видели, считать источником предпринимательской прибыли. Рассмотрим пример с рабовладельческим хозяйством, в котором земля и рабочие принадлежат предпринимателю, который купил их для осуществления новой комбинации. Здесь скорее, чем где-либо еще, можно было бы утверждать, что земля и труд покупаются по цене, соответствующей их прежнему применению, а предпринимательская прибыль равняется той сумме, на которую увеличилась их выработка. Но это было бы неверно по двум причинам. Во-первых, выручка от продажи нового продукта возрастет лишь вначале, а затем уменьшится под воздействием конкуренции. Не учитывать данного обстоятельства означало бы упускать из виду важный аспект предпринимательской прибыли. Во-вторых, постоянный дополнительный доход — если это не квазирента — с экономической точки зрения всегда представляет собой прирост заработной платы, который в нашем примере достается «владельцу труда», а не самому рабочему, и земельной ренты. Разумеется, рабы и земля обладают отныне для хозяина и вообще большей ценностью, чем прежде, и потому он становится богаче, но не как предприниматель, а как собственник, если абстрагироваться от разовой, или временной, прибыли. Не иначе обстоит дело и тогда, когда сила природы становится в новой комбинации средством производства (например, используется гидроэнергия ручья). Правда, прибыль в этом последнем случае приносит не гидроэнергия, а земельная рента в нашем понимании.

Итак, часть того, что первоначально является предпринимательской прибылью, переходит в ренту. При этом меняется экономическая природа соответствующего показателя. Допустим, что владелец плантации сахарного тростника переходит к возделыванию хлопка, которое до последнего времени[21] было значительно более выгодным занятием. Это

[21] Написано в 1911 г.

уже новая комбинация. Поэтому владелец плантации становится предпринимателем и начинает получать предпринимательскую прибыль. На первых порах в состав его издержек входит та же самая величина земельной ренты, которая существовала при производстве сахарного тростника. Далее мы предположим, что возникшая конкуренция рано или поздно снизит его доход, как оно и произошло на самом деле. Но если и после этого останется излишек, как следует объяснить это явление и что оно представляет собой с экономической точки зрения? Мы не будем брать в расчет возможные помехи в функционировании экономического механизма. Тогда появление подобного излишка можно объяснить либо тем, что данный участок имеет наиболее благоприятные условия для возделывания хлопка, либо тем, что из-за этого новшества земельная рента повсеместно выросла. Как правило, оба этих фактора действуют одновременно. Уже одно это позволяет нам отнести постоянный дополнительный доход целиком к земельной ренте. К тому же, если владелец плантации будет продолжать выращивать хлопок, его предпринимательская функция сойдет на нет, и с этого момента весь доход надлежит вменять первичным средствам производства.

Теперь несколько слов о том, как соотносятся между собой предпринимательская и монопольная прибыль. Поскольку предприниматель, впервые появляясь на рынке с новыми продуктами, не имеет конкурентов, то цены на эти продукты полностью или частично определяются принципами монопольного ценообразования. Следовательно, в условиях капиталистического хозяйства в предпринимательской прибыли содержится элемент монопольной прибыли. Допустим, что новая комбинация сводится как раз к созданию длительного монопольного положения, скажем, например, к образованию треста, которому вряд ли стоит опасаться конкуренции со стороны аутсайдеров. Казалось бы, есть все основания рассматривать предпринимательскую прибыль как постоянную монопольную прибыль, а монопольную прибыль просто как предпринимательскую. И все-таки здесь мы имеем дело с двумя совершенно различными экономическими явлениями. *Учреждение монополистической организации* есть функция предпринимателя, а ее «продукт» находит свое выражение в предпринимательской прибыли. Функционируя, организация получает избыточный доход, но теперь он вменяется тем естественным и социальным факторам, которые образуют фундамент монополии, отныне он становится монопольной прибылью. С практической точки зрения учредительская прибыль и постоянный доход также различные вещи: учредительская прибыль — это ценность монополии, а постоянный избыточный доход — продукт монополистических отношений рынка.

Рамки настоящей работы не позволяют мне продолжить это, вероятно, и без того затянувшееся изложение. Возможно, что я чрезвычайно утомил читателя. Тем не менее я не могу не сказать, что даже это затянутое изложение не претендует на полное освещение всех ас-

пектов рассматриваемой проблемы и устранение всех возможных недопониманий. Надеюсь, однако, что мне удалось осветить существенные моменты. Но до того, как перейдем к рассмотрению другой темы, мне хотелось бы сделать еще несколько замечаний.

Предпринимательская прибыль — это не рента, т. е. не доход, порождаемый особыми преимуществами постоянных элементов данного предприятия. Она не является также прибылью на вложенный капитал (Kapitalgewinn), как бы мы ни определяли последний, так что нет никаких оснований говорить о тенденции к выравниванию уровней предпринимательской прибыли. В реальной действительности такой тенденции просто не существует. Только сваливанием в одну кучу процента и предпринимательской прибыли объясняется тот факт, что некоторые авторы доказывают наличие подобной тенденции[22], хотя мы имеем возможность наблюдать в одном и том же месте, в одно и то же время, наконец, в одной и той же отрасли громадные различия в размерах получаемых прибылей. Мы хотим, далее, констатировать, что предпринимательская прибыль не равнозначна заработной плате. Само по себе это можно было бы легко допустить. Совершенно ясно, что предпринимательская прибыль — это не просто то, что остается в руках предпринимателя. Она — ценностное выражение того, что создает предприниматель, подобно тому как заработная плата есть ценностное выражение того, что создает рабочий. Как одно, так и другое нельзя назвать прибылью, полученной от эксплуатации. Правда, заработная плата определяется предельной производительностью труда, а предпринимательская прибыль — вполне очевидное исключение из общего закона. Проблема последней заключается как раз в том, что закон равенства цен издержкам (Kostengesetz) и закон предельной производительности как бы исключают ее существование. То, что получает «предельный предприниматель», совершенно безразлично для успеха всех остальных предпринимателей. Любое повышение заработной платы распространяется на всех рабочих. Но если кто-то как предприниматель добился успеха, то он сначала пользуется им один. Заработная плата является одним из элементов цены, предпринимательская прибыль тоже, но не в том смысле: если выплата заработной платы представляет собой тормоз производства, то этого нельзя сказать о предпринимательской прибыли. О ней можно с полным правом сказать то же самое, что говорили классики политэкономии о земельной ренте, а именно то, что она не входит в цены продуктов. Заработная плата — постоянный источник дохода; предпринимательская же прибыль таковым не является вообще, если считать одной из характерных черт дохода регулярность его поступления. Предприниматель

[22] Тогда как другие, например Лексис, оспаривают даже существование единой нормы процента. Эта проблема, стоившая стольких затруднений Марксу, отпадет, если принять наши выводы.

лишается этой прибыли, едва только он полностью осуществит свою функцию. Предпринимательская функция неразрывно связана с новшествами, реализацией параметров развития, созданием новой системы стоимостей. Она одновременно дитя и жертва развития[23].

Без развития нет предпринимательской прибыли, а без последней не бывает развития. Скажем только, что в капиталистической экономике без предпринимательской прибыли не могло бы быть образования собственности и имущества. Во всяком случае этот процесс без нее не стал бы тем значительным социальным явлением, которое мы наблюдаем сегодня. Если абстрагироваться от «капитализации» различных видов ренты — сущность этого процесса, также порождаемого развитием, мы рассмотрим в следующей главе, — от помещения населением денег на вклады в сберегательные кассы — этому мы не придаем большого значения — и, наконец, от тех сумм, которые дарят отдельным хозяйственным субъектам развитие и случай — в последнем случае такие суммы поступают нерегулярно, но и они, если не потребляются, участвуют в образовании собственности и имущества, — то остается один, по существу, важнейший источник формирования имущества. Непотребление предпринимательской прибыли не является сбережением в собственном смысле этого слова, не является оно и воздержанием от удовлетворения потребностей. Таким образом, мы можем сказать, что именно деятельность предпринимателя создала большую часть собственности и имущества. Действительность, как нам кажется, убедительно подтверждает наше заключение.

Хотя в данной главе я предоставил читателю возможность наряду с заработной платой и рентой издержками производства считать также и процент на капитал, тем не менее я строил свой анализ так, как если бы в руках предпринимателя оставался весь излишек, за вычетом, разумеется, заработной платы и рентных платежей. Фактически же ему приходится выплачивать еще и процент на капитал, на величину которого, естественно, уменьшается этот излишек. Чтобы меня не упрекнули в том, что я одну и ту же величину вначале называю предпринимательской прибылью, а затем процентом, особо подчеркну, что этот аспект еще будет подробно рассматриваться мною.

Размер предпринимательской прибыли не определяется столь же твердо и однозначно, как величина дохода, получаемого в рамках кругооборота. Об этом размере нельзя, например, в отличие от элементов издержек в кругообороте сказать, что он вполне достаточен, чтобы породить — зафиксированное факторами равновесия системы — »количество предложенных предпринимательских услуг», количество, легко объяснимое в каждом конкретном случае. Теоретически невоз-

[23] При непредвзятом взгляде на вещи справедливость этого положения очевидна, о чем свидетельствует наблюдение А. Смита, что новые отрасли рентабельнее старых. К этому выводу мог бы прийти — и действительно постоянно приходит — любой практик.

можно определить величину такого предложения. И для всей совокупности предпринимателей, и для отдельно взятого предпринимателя размер предпринимательской прибыли, фактически реализованной на данный момент, может значительно превышать ту сумму, которой было бы достаточно, чтобы задействовать реально использованные услуги предпринимателей. Конечно, общая сумма предпринимательской прибыли существенно преувеличивается[24]. Впрочем, следует учесть, что явно завышенная оценка успеха отдельно взятого предпринимателя имеет свою функцию, поскольку возможность добиться аналогичного успеха стимулирует потенциальных конкурентов гораздо сильнее, чем если бы они ориентировались на реальную величину предпринимательской прибыли, помноженную на вероятность ее получения. К тому же надежды на большое «вознаграждение» питают и те предприниматели, которые не имеют никаких шансов на успех. Несмотря на это, совершенно очевидно, что во многих случаях, особенно если не учитывать влияние привычки и общую веру в достижимость заманчивых целей, доход всей группы предпринимателей или отдельных ее представителей мог бы быть и меньшим без всякого ущерба для дела. Ясно также, что в данном случае взаимосвязи между качеством услуг и получаемой прибылью гораздо слабее, чем, скажем, на рынке труда лиц свободных профессий. Это не только важно с точки зрения теории налогообложения — хотя в практике обложения предпринимателей налогом основное внимание уделяется не этому моменту, а процессу «образования капитала», т. е. увеличению запасов средств производства, — но и объясняет, почему предприниматель сравнительно легко расстается со своей прибылью, а «наемный» предприниматель, например директор промышленного предприятия, зачастую играющий роль предпринимателя, как правило, мирится с тем, что его заработок бывает значительно меньше предпринимательской прибыли. Чем больше рационализируется, нивелируется, демократизируется наша жизнь, чем менее прочными становятся связи отдельного индивида с окружающими его лицами — прежде всего в кругу семьи, — а также с конкретными вещами — с одной стороны, фабрика, где он работает, с другой — дом, где живет, — тем более теряют смысл мотивы, перечисленные нами во второй главе, тем слабее становится предпринимательская хватка и меньше стремление к прибыли[25]. Наряду с этим и отчасти по тем же причинам процесс развития приобретает все более автоматический характер, что уменьшает значение предпринимательской функции.

Впрочем, не только в эпоху, которая не знала этого социального процесса, предпринимательская функция была движущей силой как

---

[24] См.: Stamp. Wealth and taxable capacity, 1922, p. 103.

[25] См. мою статью «Sozialistische Möglichkeiten von heute». — *Archiv für Sozialwissenschaft*, 1921.

постоянных изменений в экономике, так и постоянных изменений тех элементов, из которых состоят высшие слои общества. Этой движущей силой она остается и в наши дни. Вместе с преуспевшими предпринимателями по социальной лестнице поднимаются и близкие им люди, не приложившие к этому никаких усилий. Карьера — наиболее важный побудительный мотив в капиталистическом мире. Но поскольку этот «социальный подъем» сопровождается вытеснением старых предприятий в результате конкуренции и разорением всех тех, кто связан с ними, то одновременно идет процесс упадка, деклассирования, деградации. Та же печальная участь ожидает и предпринимателя, силы которого на исходе, а также его наследников, если они смогли от него унаследовать лишь добычу, но не «охотничью» хватку. Дело не только в том, что иссякает любая индивидуальная предпринимательская прибыль, а механизм экономической системы, основанной на конкуренции, не допускает длительного существования прибавочной ценности, уничтожая ее с помощью того же самого стимула — стремления к прибыли. Главное в другом: обычно успех того или иного предпринимателя приобретает материальную форму владения промышленным предприятием. Наследники же имеют обыкновение переводить доставшееся им предприятие на рельсы хозяйства, ведущегося в рамках кругооборота. В итоге его быстро вытесняют новые предприятия. Американская поговорка гласит: от рабочей блузы до рабочей блузы — всего три поколения. Так оно, должно быть, и есть на самом деле[26]. Исключения крайне редки. Гораздо чаще падение происходит намного быстрее. Поскольку всегда есть и предприниматели, и члены их семей, и их наследники, общественное мнение и те, кто занимается пустой болтовней вокруг и около социальной борьбы, охотно игнорируют данный факт. Оно делает из «богатых» класс наследников, стоящих в стороне от борьбы за существование. На деле же высшие слои общества напоминают постоялый двор, который всегда полон людей, но людей, постоянно меняющихся. Эти слои пополняются за счет представителей из низов в гораздо большей степени, чем многие из нас имеют смелость признать. Это порождает множество новых проблем, и, только разрешив их, мы сумеем познать истинную природу капиталистической экономической системы, основанной на конкуренции, и структуру капиталистического общества.



[26] Этой важной теме посвящено еще очень мало исследований. См., например: Chapman, Marquis. The recruiting of the employing classes from the ranks of the wage earners. — *Journal of the R. Statistical Society*, 1912.

Глава V

ПРОЦЕНТ НА КАПИТАЛ

Предварительные замечания. По зрелом размышлении я решил — за исключением несущественных стилистических исправлений — поместить здесь главу о теории процента в неизменном по сравнению с первым изданием виде. В ответ на все дошедшие до меня возражения могу лишь порекомендовать их авторам еще раз познакомиться с первоначальным текстом. Более того, эти возражения побудили меня не предпринимать значительных сокращений, которые я первоначально намеревался сделать. Оказалось, что именно те вещи, которые представляются мне чересчур многословными и мешают простоте и убедительности изложения, предвосхищают важнейшие направления критики и этим заслуживают право на существование.

С самого начала было очевидно, что я вовсе *не отрицаю* существование процента как нормального элемента современной экономики — что было бы абсурдно, — а *объясняю* его. Поэтому я никак не могу понять, на каком основании меня упрекают по этому поводу. Процент — это ажио существующей покупательной силы по отношению к будущей. Существование ажио объясняется многими причинами, причем некоторые из них элементарно просты. Сказанное относится в первую очередь к проценту по потребительскому кредиту. Тот факт, что кто-то, неожиданно попав в беду — например, как фабрикант, у которого сгорела фабрика, — или, напротив, очутившись в благоприятном для себя положении — как тот студент, который получил известие, что его богатая тетушка, находясь при смерти, сделала его единственным наследником, — оценивает теперешние 100 марок выше, чем будущие, не нуждается в объяснениях и, в свою очередь, объясняет появление процента. Аналогичное имеет место и в отношении всех видов спроса на кредит со стороны государства. Такого рода проценты существовали всегда и могли бы существовать даже в условиях чистого кругооборота, где нет никаких признаков развития. Но не они, а процент по кредитам, предоставляемым на производственные цели, представляет собой важное социальное явление, которое нам предстоит объяснить. Данный вид процента получил широкое распространение также в экономической системе капитализма; он встречается здесь повсеместно, а не только там, где находится его подлинный источник — новое предприятие. Я стремлюсь показать, что источником этого процента является предпринимательская прибыль, что, по существу, он

представляет собой обособившуюся часть последней. Затем я прослеживаю, как процент и то, что я называю «процентным восприятием доходов» («Zinsbetrachtung der Erträge»), распространяются, начиная с осуществления новых комбинаций, на все народное хозяйство и проникают в мир старых предприятий, в жизни которого при отсутствии признаков развития им не нашлось бы никакого места. Только это обстоятельство, имеющее фундаментальное значение для нашего понимания экономической структуры и функционирования капитализма, я подразумеваю, когда говорю: «статичная» экономика не знает никакого процента на кредиты, предоставляемые на производственные цели. Да разве это само по себе не очевидно? Никто не будет спорить с тем, что уровень процента определяется экономической ситуацией. А что такое «экономическая ситуация» — если исключить влияние внеэкономических моментов, — как не темпы развития в данный конкретный момент времени? Поэтому именно *потребности новых предприятий в деньгах являются фактически главным фактором, определяющим спрос промышленности на денежном рынке.* Почему же *главный фактор* на практике не может быть *таковым* и в теории? В конечном счете именно спрос предпринимателей выводит на денежный рынок и остальных заемщиков. Здесь речь идет о старых предприятиях, совершающих привычный и неизменный кругооборот и в принципе не испытывающих потребностей в кредите, поскольку регулярно поступающий доход от продажи продуктов должен удовлетворять все их нужды. Отсюда в свою очередь следуют и все прочие выводы, и в первую очередь вывод о том, что процент тесно связан с деньгами, а не с миром благ.

Для меня главное — истинность моей теории, а не ее оригинальность. Поэтому я, насколько это возможно, следую теории процента Бём-Баверка, хотя сам он решительно отрицает общность наших взглядов. На самом деле из приведенных им трех широко известных доводов, обосновывающих необходимость ажио существующей покупательной силы относительно будущей — вначале Бём-Баверк говорит о покупательной силе, но затем, следуя, на мой взгляд, распространенному заблуждению, он переходит к обсуждению ажио существующих благ, — я отвергаю всего одно: психологическую недооценку будущего наслаждения как самостоятельное явление. Что касается меняющегося соотношения между спросом и его покрытием, то оно лежит в основе моей теории. А «окольные методы производства»? Если бы Бём-Баверк последовательно придерживался введенного им понятия *прокладывание окольных путей производства* («Einschlagen von Produktionsumwegen») и развил бы содержащийся в нем смысловой оттенок, то он подошел бы к понятию предпринимательской деятельности, одному из подвидов разработанного мною понятия осуществление новых комбинаций. Он этого не сделал. Полагаю, что с помо-

щью его собственного анализа можно показать невозможность получения чистого дохода посредством использования одних только старых, привычных окольных методов производства. Не за горами тот момент, когда мы попытаемся дать свое собственное объяснение рассматриваемой проблеме. Однако от начала и до конца наш анализ будет полностью соответствовать требованиям теории ценности Бём-Баверка, а потому все его возражения, высказанные до последнего времени, бьют мимо цели[1].

1. Опыт нас учит, что процент на капитал — это постоянный чистый доход, который получает определенная категория хозяйственных субъектов. Где коренится его *источник* и почему он существует? Именно здесь следует усматривать корни проблемы: источником, дающим начало этому потоку, может быть только какая-то свободная величина ценности. Где же она есть?[2] Но отсюда следует второй вопрос, вопрос о причине возникновения этого потока в мире благ: *почему именно* данная свободная величина ценности достается данным хозяйственным субъектам? И наконец, самый сложный — третий — вопрос, который можно было бы назвать ядром проблемы процента на капитал: почему данный поток носит *постоянный характер*, почему процент представляет собой чистый доход, который можно потреблять, не ухудшая своего экономического положения?

Существование процента становится теоретической проблемой, когда мы приходим к выводу о том, что в условиях нормального кругооборота ценность продукта целиком вменяется первичным факторам производства, а вся выручка от реализации продукта распределяется между рабочими и земельными собственниками. При подобных обстоятельствах не может быть никаких иных постоянных доходов, кроме заработной платы и ренты. Конкуренция, с одной стороны, и процесс вменения — с другой, должны ликвидировать всякое превышение выручки над затратами, всякую разницу между ценностью продукта и ценностью заключенных в нем услуг труда и земли. Ценность первичных средств производства как тень должна следовать за ценностью продукта, с тем чтобы между ними не могло бы возникнуть ни-

[1] Это необходимо отметить особо, поскольку пока идеи Бём-Баверка известны лишь узкому кругу специалистов и еще не вошли в плоть и кровь экономической теории. Здесь же я предполагаю, что читатель с ними знаком. В дальнейшем я буду широко ссылаться на теорию Бём-Баверка, и тот, кто до сих пор верит в самоочевидность процента и не видит здесь критической проблемы, вероятно, найдет мой анализ запутанным, местами непонятным или просто неверным. Все необходимые разъяснения и почти всю библиографию читатель найдет в работах Бём-Баверка. Необходимо и общее знакомство с ними. Наконец, я не стану здесь повторять то, что мной уже сказано, см.: «Wesen...». Op. cit., III. Buch.

[2] См., что говорит Бём-Баверк, например, о Сэе: E. Böhm-Bawerk. Op. cit., S. 142. Терминология Бём-Баверка обусловлена тем что он уже имеет в виду определенную теорию процента.

какого, даже самого небольшого зазора[3]. Но существование процента — это реальный факт. Так в чем же дело?

Настоящая дилемма гораздо сложнее той, которую мы сравнительно легко разрешили в примере с предпринимательской прибылью. Там речь шла не о постоянном, а лишь о временном потоке благ, и мы не входили в конфликт с фундаментальными и неоспоримыми фактами конкуренции и вменения ценности. Напротив, мы имели возможность спокойно сделать вывод о том, что услуги труда и земли — единственный источник постоянного чистого дохода в тех условиях.

К дилемме процента можно отнестись двояко. Можно признать ее существование. В таком случае, очевидно, нужно будет объявить процент своего рода заработной платой или земельной рентой. Последняя полностью отпадает, остается заработная плата. В этом случае есть три варианта объяснения процента: а) как вычет из заработной платы (теория эксплуатации); б) как заработная плата капиталисту за его труд («трудовая теория» в буквальном смысле слова); в) как заработная плата за труд, содержащийся в сырье и средствах производства (точка зрения Джеймса Милля и Мак-Куллоха). Все три варианта испробовались в экономической теории. К критике, которой подверг их Бём-Баверк, мне остается добавить только то, что наш анализ предпринимателя, а именно тот факт, что он изолирован от средств производства, частично лишает их реальной основы.

Или же можно отвергнуть теоретические выводы, приводящие нас к данной дилемме. Во-первых, существует возможность расширить круг элементов, составляющих издержки, т. е. утверждать, что заработная плата и рента не оплачивают всех необходимых средств производства. Во-вторых, в самом механизме конкуренции и вменения можно поискать некий скрытый тормоз, который не позволяет ценности услуг труда и земли сравняться со ценностью продукта, в результате чего между ними постоянно существует определенный разрыв, т. е. излишек ценности[4]. Здесь я постараюсь бегло разобрать обе эти возможности.

Расширить круг элементов, составляющих издержки, — это не просто констатировать, что выплата процента отражается в балансе предприятия. Это было бы бессодержательной тавтологией. Здесь требуется нечто большее, а именно теоретическое обоснование того, что процент является элементом издержек в собственном — более узком — смысле слова, в том смысле, который уточнен нами в первой главе. Сказанное означает необходимость введения в анализ третьего первичного фактора производства, который приносил бы процент так же, как услуги труда приносят заработную плату. Если бы нам уда-

[3] См. E. Böhm-Bawerk. Op. cit., I. Bd., S. 230.

[4] См. Ibid., S. 600 (Заключение).

9-6854

лось это сделать, все стоящие перед нами проблемы, а их три, были бы, очевидно, разрешены одним махом и мы бы успешно справились с дилеммой процента. Таким третьим фактором производства могло бы стать воздержание. Если бы оно представляло собой услугу особого рода, нам ничего не стоило бы объяснить причины существования постоянного чистого дохода, выявить его источники и указать факторы, направляющие этот доход к определенным хозяйственным субъектам. Тогда нам оставалось бы только доказать, что процент действительно связан с моментом воздержания. Но, к сожалению, этот момент сам по себе не существует, что мы вслед за Бём-Баверком и показали в начале работы. Поэтому и обсуждать здесь больше нечего.

На роль третьего фактора производства выдвигались и произведенные средства производства. С ними дело обстоит прямо противоположным образом. Их производственный эффект не вызывает никаких сомнений. Он настолько очевиден, что сразу же обращает на себя внимание исследователя. Именно поэтому основополагающий тезис о том, что ценность продукта равна ценности услуг труда и земли, и по сей день поначалу вызывает недоумение, и, как показывает опыт, его с трудом удается вложить в головы даже специалистам. Но вклад произведенных средств производства не объясняет того, почему же существует постоянный чистый доход. Разумеется, произведенные средства производства обладают способностью производить блага. Даже более того, с их помощью можно производить больше благ, чем без них. Бесспорно и то, что эти блага обладают большей ценностью, чем те, которые можно было бы произвести без использования произведенных средств производства[5]. Но эта более высокая ценность благ означает более высокую ценность орудий производства, а последнее в свою очередь — более высокую ценность использованных услуг труда и земли. Ни один элемент ценности не может надолго задержаться на одном из промежуточных звеньев данной цепочки. С одной стороны, невозможно длительное существование разрыва между собственной ценностью средств производства и вменяемой им ценностью продукта. Какое бы количество продукта ни производила машина, конкуренция постоянно будет снижать его ценность и цену, пока не установится упоминавшееся выше равенство ценностей. С другой — машина способна произвести продукта во много раз больше, чем человек, работающий вручную. Но будучи установленной машина перестает экономить труд и приносить прибыль: дополнительный доход, существование которого обусловлено использованием машины и который активно привлекает внимание, т. е. вся та сумма, которую готов запла-

[5] См. Ibid., S. 132 (о понятиях физической и ценностной производительности средств производства).

тить за него «пользователь», должен в конечном счете перейти в руки рабочих и земельных собственников.

Машина вовсе не создает ценности, которую она присоединяет к продукту, как часто наивно полагали[6], а только переносит ее, о чем мы писали в предшествующей главе. Когда в кармане пиджака находится банкнота, пиджак имеет для его владельца большую ценность, но отнюдь не благодаря каким-либо особым свойствам. Так и ценность машины соответствует ценности ее продукта. Но она переняла ее от тех услуг труда и земли, которые существовали еще до того, как была произведена данная машина[7], и которым эта ценность должна быть вменена целиком и полностью. Поток благ, несомненно, подходит к машине. Но он проходит сквозь нее, не задерживаясь и не образуя никакого фонда потребления. Ее владельцу, как правило, не достается ничего сверх того, что он должен передавать дальше, будь то в ценностном или ценовом выражении. Машина — такой же продукт, как и все прочие, и ее ценность, подобно ценности потребительских благ, поступает в тот «фонд», из которого уже не может вытекать никакой процент.

Итак, исходя из результатов анализа, проведенного нами в первой и четвертой главах, а также выводов Бём-Баверка, мы можем констатировать, что здесь нет никакого выхода из дилеммы процента и что здесь не обнаруживается никакого ценностного источника процента. Правда, известные трудности могут возникнуть при рассмотрении благ, которые умножаются как бы «сами собой»: разве семенное зерно и племенной скот не обеспечивают в будущем их владельцу больше зерна и скота и разве это возросшее количество зерна и скота не стоят больше, чем просто семенное зерно и племенной скот? Любой, кому приходилось сталкиваться с подобного рода рассуждениями, знает, что большинство людей упорно считают их доказательством самовозрастания ценности (Wertgewinn). Но в действительности семенное зерно и племенные животные не умножаются «сами по себе». Из принесенных ими «доходов» необходимо вычесть определенные затраты. Но решающим является то, что и остающиеся после подобных вычетов суммы не представляют собой самовозрастания ценности, поскольку урожай и общее стадо скота зависят от семенного фонда и племенных животных, и поэтому ценность первых должна вменяться последним. Если бы продавались семенное зерно и племенные животные, то в их

---

[6] См. замечания Бём-Баверка о Сэе и Рёслере.

[7] Машине вменяется ценность продукта, а услугам труда и земли, необходимым для производства машины, — ценность последней. Следовательно, ценность производительных услуг равна ценности конечного продукта, а поскольку они превратились в машину, то вся ценность продукта приходится на нее. В этом смысле можно сказать, что ценность машины вбирает в себя ценность производительных услуг. Надеюсь, что читатель не подумает, будто я вывожу ценность машины из издержек ее производства.

цене — при условии незаменимости — должна была бы полностью отразиться ценность урожая и всего стада, за вычетом тех затрат, которые еще предстоит осуществить, и с поправкой на фактор риска. И это зерно и животные использовались бы для воспроизводства до тех пор, пока такое применение не перестало бы приносить прибыль, а их цена — покрывать издержки, связанные с заработной платой и земельной рентой. Следовательно, предельная полезность «их» продукта, т. е. вменяемой им части продукта, стремится к нулю.

2. Здесь я хотел бы сразу отметить следующее. Было бы неверно или по меньшей мере нецелесообразно ограничивать наш анализ рамками определенного направления, охарактеризовав положение вещей, вытекающее из нашего хода мыслей, таким образом: «Мы не в состоянии объяснить разрыв между ценностью продукта и ценностью средств производства описанным выше способом. Но такой разрыв действительно существует, и мы должны попытаться объяснить его по-другому». Напротив, я сомневаюсь в самом существовании подобного постоянного разрыва. Это явление еще не подвергалось научному анализу; я полагаю, что оно представляет собой скорее необходимое следствие существования процента, чем независимый факт, объясняющий этот процент. Это, на мой взгляд, подтверждается и практикой. Вполне возможно, хозяйственные субъекты на самом деле ценят средства производства меньше, чем продукты. Но это происходит потому, что на пути от первых ко вторым, а не наоборот, им приходится платить процент. Данное положение очень важно, и мы станем часто возвращаться к нему. Здесь же мне хотелось бы просто обратить внимание читателя на то, что трудности, с которыми сталкивается моя теория, при рассмотрении проблем процента проявляются особенно резко. Дело в том, что мы, помимо определенных постулатов, привыкли принимать на веру массу непроанализированных фактов. Мы не стремимся проникнуть в их суть и нередко считаем простыми явления, которые на самом деле многосложны. Тому, у кого сформировалась подобная привычка, будет нелегко следить за дальнейшим ходом анализа. Он то и дело будет испытывать искушение сделать ссылку на факты, которые являются для нас «живым укором». К подобного рода фактам относится, например, воздержание. Таковым можно считать и утверждение, что ценность капитала — это просто-напросто капитализированный доход. Ссылаясь на них, люди одновременно опираются и на свой собственный опыт. При этом они не замечают, что эти факты, по существу, противоречат ему. И все же на первых порах мы еще будем ссылаться на этот «разрыв».

Нам еще необходимо уточнить, что же собой представляет процесс включения (Einrechnungsvorgang). До сих пор речь шла у нас о процессе вменения (Zurechnungsprozess). Мы прослеживали его в обратном

порядке: начиная с ценности продукта и кончая услугами труда и земли. Складывалось впечатление, что здесь можно было бы сделать еще один шаг в том же обратном направлении, чтобы довести поток ценностей до следующего звена общей цепи, а именно до рабочей силы и земли как таковых. Поскольку в условиях рыночного хозяйства нет особых причин интересоваться ценностью рабочей силы, то, учитывая, что о ней можно сказать примерно то же самое, что и о ценности земли, мы ограничим наш анализ этой последней. Что же касается рабочей силы, то отметим следующее: она представляла бы собой специфическую проблему, если бы мы рассматривали ее как продукт средств к существованию рабочего и его семьи. Но мы этого не делаем и не считаем, что у нас за спиной остался нерешенный вопрос. Итак, допустим, что услуги земли — это ее продукты, а сама земля — первичное средство производства, которому должна быть вменена ценность его продукта. Чисто логически это неверно[8]. Ведь земля — это не самостоятельное благо, стоящее за услугами земли, а набор самих услуг. Поэтому в данном случае мы предпочитаем вообще не говорить о вменении, которое означает перенесение ценности на блага более высокого порядка. Оно означает, что ни на одной промежуточной стадии не застревает ни «песчинки» ценности. При образовании ценности земли речь идет о чем-то ином, о выведении ее ценности из заданных, обусловливаемых вменением ценностей элементов, из которых с экономической точки зрения как раз и состоит ценность земли. Здесь уместнее говорить не о вменении, а о включении.

По каждому производственному или потребительскому благу надлежит различать оба этих процесса. Услуги подобного блага должны иметь свои, определяемые шкалой потребностей — прямо или опосредованно через процесс вменения — ценности[9], из которых выводится его ценность как единое целое. Для произведенных благ этот процесс не представляет никаких теоретических затруднений, поскольку наступающая рано или поздно необходимость их замены подчиняет его строгим и общеизвестным правилам. Что касается земли, то определение ее ценности затруднено наличием бесчисленного множества связанных с ней услуг, которые в принципе воспроизводят себя сами без

[8] См.: E. Böhm-Bawerk. Rechte und Verhältnisse vom Standpunkte der volkswirtschaftlichen Güterlehre, а также его замечания о теории процента, получившей название теории предельной полезности, которые тоже применимы к данному случаю. Я не рассматриваю здесь основную идею теории предельной полезности, поскольку мне нечего добавить к анализу Бём-Баверка.

[9] Строго говоря, это можно сказать лишь о замкнутой экономике. В рыночном хозяйстве ценность средств производства никогда не воспринимается как потребительная ценность их продукта. Но и здесь их ценность определяется исходя из того, что они представляют собой потенциальные продукты. Мы могли бы выразиться и более корректно, но результат бы от этого не изменился.

дополнительных издержек[10]. И здесь возникает вопрос, ради которого мы, собственно, и затеяли обсуждение: не бесконечно ли велика ценность земли и не исчезает ли, таким образом, поскольку существует процесс включения, земельная рента как чистый доход? На поставленный вопрос я отвечаю не так, как делает это Бём-Баверк[11].

Во-первых, даже если бы ценность земли была бесконечно велика, я все равно называл бы земельную ренту чистым доходом. Ведь в этом случае потребление никак не могло бы исчерпать источник дохода, а существование постоянного потока благ к земельному собственнику было бы вполне объяснимо. Простое суммирование чистых доходов не в состоянии изменить их характера как чистых доходов. Только вменение, а не включение уничтожает чистый доход. Во-вторых, цена земельного участка, разумеется, никогда не может быть бесконечно большой. Однако моей теории нельзя бросить упрека в том, что она якобы приводит к подобному абсурдному результату, подводит к мысли, что якобы существует эта бесконечно большая ценность. Повинна в этом отнюдь не она, а основная идея господствующей теории капитализации, согласно которой ценность носителя дохода образуется путем суммирования доходов, причем доходов, подлежащих дисконтированию. На самом же деле образование ценности представляет собой специфическую и довольно-таки сложную проблему, которую нам еще предстоит решить в данной главе. Главное, как и при всякой иной оценке, состоит здесь в конкретной цели, которую ставит перед собой тот или иной хозяйственный субъект. Жесткое правило суммирования здесь неприменимо. И вообще ценностные величины нельзя складывать (суммировать) по своему усмотрению; противное могут заявлять только дилетанты. Как уже отмечалось, в процессе хозяйственного кругооборота, если он протекает нормально, нет никакой необходимости определять ценность земли как таковую.

С машиной дело обстоит иначе. Каждый продукт должен обладать определенной ценностью, чтобы человек мог решать, производить его или нет. Здесь, как легко заметить, правило суммирования действует, и причина тому — конкуренция. Если бы машину можно было бы приобрести за меньшую сумму, чем стоит произведенный на ней продукт, то она приносила бы прибыль. Это повлекло бы за собой увеличение спроса на такие машины и рост цен на них. Если бы машина стоила дороже того, что дает ее применение, она бы приносила убытки. В свою очередь это привело бы к падению спроса и, следовательно,

---

[10] Самовоспроизводство услуг земли отличается от воспроизводства стада крупного рогатого скота тем, что стадо может размножаться, пока ценность отдельного животного не снизится до величины затрат труда и земли. Что же касается услуг земли, то они воспроизводятся в каждом хозяйственном периоде в неизменном объеме. Их можно в принципе увеличить, но для этого нужны дополнительные издержки.

[11] См.: E. Böhm-Bawerk. Op. cit, II. Bd.

цен. В *нормальном кругообороте хозяйственного процесса* отчуждается не земля, а ее услуги. Следовательно, элементами планов хозяйственных субъектов становятся ценности последних, а не ценность земли. Процессы нормального кругооборота не могут ничего нам сказать о том, как образуется эта последняя. Только само развитие создает ценность земли, оно «капитализирует» ренту, «мобилизует» землю. В народном хозяйстве без признаков развития ценность земли вообще не существовала бы как общехозяйственное явление. Действительность подтверждает наши выводы. Единственную возможность, позволяющую осознать ценность земли, предоставляет ее отчуждение. А в тех экономических укладах, которые наиболее близки к схеме кругооборота, земля, как правило, не продается. Вовлечение земельных участков в рыночный оборот — явление, присущее исключительно развитию, и лишь процессы развития могут дать нам ключ к пониманию данной проблемы. Пока же мы можем отметить, что, согласно нашей концепции, в процессе кругооборота земля не обладает не только бесконечно большой, но и вообще никакой ценностью, что ценности услуг земли нельзя соотносить ни с какими другими ценностями и что поэтому они являются чистым доходом.

Конечно, могут возразить, что все же должны иметься поводы для отчуждения земли. На это следует сказать: как правило, это единичные случаи, в которых к тому же определяющую роль играют личные обстоятельства — бедственное положение, склонность к расточительству, внеэкономические соображения и т. п. На данный момент это все, нам больше нечего об этом сказать. Разумеется, правило суммирования здесь не действует, поскольку то, что оно проводит в отношении продуктов, в случае с землей полностью упраздняется. Но в этом нет ничего особенного. Решить эту задачу не труднее, чем поделить ставку при прерванной игре в кости — головоломка, над которой мучился старый шевалье де Мере. И решать ее следует аналогичным способом.

Итак, везде, где правило суммирования дает нам бесконечно большую величину, мы говорим о чистом доходе точно так же, как в тех случаях, когда мы говорим о заработной плате. Для нас же важно, что поток благ всегда идет к хозяйственному субъекту и что его содержание остается у него и не должно передаваться дальше. Здесь мы можем отвлечься от процесса включения с его бесконечно большими результатами. Отметим, что сама возможность абстрагирования от такого потока благ есть в некотором роде признак его существования. Данное положение для нас важно и необходимо для понимания излагаемой здесь теории процента. Тем самым мы убрали препятствие с нашего пути. Позитивное решение проблем последует ниже.

3. Как уже было сказано, существует и второй способ разрешить дилемму процента. Ответить на вопрос о том, каким образом ценность

продукта может систематически превышать ценность услуг труда и земли, позволяет нам ссылка на существование некоего тормоза в экономическом механизме, который сдерживает движение последней. Если бы подобный тормоз существовал, вероятность возникновения постоянной разницы между ценностями была бы доказана, а вызывающему ее фактору следовало бы приписать — по меньшей мере в «частнохозяйственном» аспекте — ценностную производительность (Wertproduktivität) в полном смысле этого слова. Этот фактор — или благо, в котором он воплощается, — был бы носителем чистого дохода. Тогда в рамках каждого хозяйственного процесса существовала бы своя *самостоятельная прибыль* (Wertgewinn). Процент не являлся бы здесь элементом издержек. Своим существованием он был бы обязан наличию разницы между ценностью или ценой продукта и издержками его производства. В данном случае он представлял бы собой именно излишек ценности.

В рыночной экономике подобная ситуация может сложиться при монополии на производство какого-либо блага. Монополия на первичные факторы производства нас здесь не интересует, поскольку заведомо ясно, что на ее основе нам не удастся объяснить явление процента. Монопольное положение и в самом деле оказывает тормозящее воздействие и приносит монополисту чистый доход. Монопольную прибыль мы считаем чистым доходом на том же основании, что и земельную ренту. И здесь правило суммирования дало бы нам бесконечно большую величину, но прибыль от этого не перестала бы быть чистым доходом. Причина же, по которой ценность монополии — скажем, ценность вечного патента — на самом деле не бесконечна, сейчас не интересует нас. Она станет ясна при дальнейшем изложении. Наконец, можно отметить, что образование ценности монополии представляет собой особую проблему, которая не существует в условиях нормального кругооборота и потому не сопоставляется ни с какой другой величиной. Так или иначе, но монополист никогда не скажет: «Я не получаю прибыль потому, что вменяю монополии исключительно большую ценность». Ведь как бы он ни оценивал свою монополию *по отношению к доходу*, которому она прямо обязана своей ценностью, *говорить о том*, что характер дохода как чистой прибыли исчезает, *он никак не может*. Это достаточно очевидно.

При обсуждении теории процента Лодердейла Бём-Баверк рассматривает также случай, когда монополизируется машина, сберегающая труд и, следовательно, приносящая прибыль. С полным основанием он подчеркивает то обстоятельство, что эта машина должна быть достаточно дорогой, чтобы ее применение или не давало никакой прибыли, или давало самую минимальную прибыль, которая в какой-то мере стимулировала бы ее покупку. Несомненно, это верно. Но верно и то, что производство данной машины дает прибыль до тех пор, пока

не истечет срок патента. Можно сказать, что монопольное положение является для монополиста своего рода фактором производства. Ему, как и прочим факторам производства, вернее сказать, их услугам, также вменяется ценность. Ни машина, ни средства ее производства сами по себе не являются источниками прибавочной ценности, лишь монополия делает их таковыми. Очевидно, что ситуация не изменится от того, если в одном лице мы будем иметь и производителя, и пользователя машины.

Итак, монопольная прибыль — особая разновидность чистого дохода. Если бы она совпала с тем, что мы называем процентом, все было бы в порядке: мы получили бы удовлетворительный ответ сразу на все три наших вопроса. Мы смогли бы выявить источник дохода, объясняемый теорией монополии, обнаружить причину, по какой этот доход попадает в руки монополиста, и, наконец, объяснить тот факт, что ни процесс вменения, ни конкуренция не в состоянии уничтожить этот доход. Впрочем, подобное монопольное положение складывается нерегулярно, а процент между тем существует и без него[12].

Еще одна возможность объяснения наличия постоянного разрыва между ценностью услуг труда и земли, с одной стороны, и ценностью продукта — с другой, появилась бы в том случае, если бы будущие блага в принципе и постоянно оценивались ниже существующих. Читатель знает уже, что мы не принимаем этого тезиса, но считаем необходимым формально еще раз упомянуть о нем. Если во всех рассмотренных ранее примерах постоянный источник дохода выводился из постоянной и — по меньшей степени с «частнохозяйственной» точки зрения — производственной услуги, то здесь бы речь зашла о чем-то ином, о, так сказать, собственном движении ценностей. До сих пор мы искали объяснение явления процента в процессе образования ценности или цены производственной услуги особого рода. В соответствии с данным тезисом его следовало бы объяснять соотношением ценностей и цен услуг труда и земли, с одной стороны, и потребительских благ — с другой. Здесь разница между ценностью продукта и ценностью средств производства проявилась бы даже более четко и рельефно, чем в случае с монополией. Излишек ценности над издержками *ipso facto* (тем самым) означал бы чистый доход и одновременно превышение над «ценностью капитала», представляемого произведенными средствами производства. Тем самым автоматически доказывалось бы неисчезновение и невключение данного излишка. Дело в том, что, если придерживаться подобной точки зрения, ценность будущего продукта нельзя целиком вменить средствам производства или

[12] Тем не менее была предпринята попытка со всей тщательностью вывести процент из монополии. См.: Otto Conrad. Lohn und Rente, 1910. Усилия других авторов в том же направлении не привели к созданию даже мало-мальски разработанной теории.

включить в их ценность, поскольку ценность продукта представляется хозяйственным субъектам в момент вменения или включения меньшей, чем она есть на самом деле. Тем самым была бы выявлена возможность существования постоянного потока благ, хотя и неясно, была бы она тождественна реально существующему проценту. Итак, в наших руках был бы ответ на первый вопрос, поскольку имелся бы налицо источник ценности, порождающий процент. Очевидно, что не представило бы никакого труда ответить и на второй вопрос, почему этот поток благ течет именно к тому хозяйственному субъекту, который стал бы пользоваться ими. Ну а третий вопрос, о неисчезновении дохода, о его постоянстве — пожалуй, самое заковыристое место в проблеме процента, — отпал бы просто сам собой. Поскольку излишек ценности, как было объяснено, возникает отнюдь не за счет вменения, то нет никакого резона еще раз задать вопрос, почему же все-таки он не вменяется?

Таким образом, этот ход мыслей вполне удовлетворителен, и с логической стороны он — хотя, по моему мнению, здесь возникают некоторые противоречия с реальным ходом экономических процессов — вполне бы устроил нас, но при одном условии. Последнее заключается в том, что фактор времени должен бы оказывать самостоятельное, независимо от других факторов, прежде всего от существования процента, влияние на оценку хозяйственным субъектом ценности продукта. Но как раз течение времени и не обладает первично самостоятельным влиянием. К тому же и увеличение ценности отдельных благ с течением времени здесь ничего не доказывает. Поскольку данное обстоятельство само бросается в глаза и играет известную роль в экономической литературе, посвятим и ему несколько слов.

Имеется два вида подобного увеличения ценности некоторых благ. Во-первых, бывает так, что со временем изменяются реальные или потенциальные услуги того или иного блага, в результате чего возрастает ценность последнего. Наиболее часто в качестве примера в этой связи называют молодой лес и молодое вино. Что же происходит здесь? Под действием естественных процессов, протекающих во времени, лес и вино действительно превращаются в более ценные блага. Но улучшаются только их физические свойства. С экономической же точки зрения эта более высокая ценность уже содержится в молодых саженцах и только что заложенном в погреба вине, поскольку она зависит от них. С точки зрения фактов, с которыми мы познакомились, эти саженцы и молодое вино должны стоить ровно столько, сколько стоят зрелый лес и выдержанное вино. Поскольку лес и вино можно продать для целей потребления еще до достижения ими полной зрелости, их владельцам приходится определять, какая из двух представляющихся им возможностей принесет больший доход за один и тот же хозяйственный период: дать вину и лесу дозреть, что потребует, разу-

меется, времени, или продать их и начать новое производство. Они выбирают наиболее выгодный вариант и, руководствуясь им, с самого начала определяют ценность саженцев и молодого вина. В реальной действительности все происходит не так. Ценность леса и вина возрастает по мере их созревания. Но это объясняется главным образом существованием факторов естественного и личного — под ним подразумевается возможность недожития до полного вызревания — риска, а также процента, который, как мы скоро убедимся, превращает время в элемент издержек. Не будь всех этих моментов, не было бы и прироста ценности данных благ. Если хозяйственный субъект принимает решение дать лесу и вину дозреть, значит, он выявил, что это выгоднее. В момент, когда принимается решение о новом, более выгодном способе использования леса и вина, их ценность, очевидно, должна возрасти. Но *собственно постоянного роста ценности блага с течением времени,* т. е. как первичного и самостоятельного явления, *быть не может.*

Второй случай — это тот, когда в физическом отношении полезные услуги остаются неизменными, но тем не менее их ценность со временем возрастает. Этот феномен объясняется появлением дополнительного спроса и является следствием развития. Рассмотрение данного случая не связано ни с какими трудностями. Если это увеличение спроса для хозяйственных субъектов было неожиданным, появляется временная прибыль, которая вовсе не тождественна постоянному приросту ценности блага. Этого прироста не будет и в том случае, если они заранее рассчитывали на увеличение спроса, поскольку он с самого начала вменяется соответствующему благу. Если же в практической жизни тем не менее создается видимость прироста ценности каких-то благ, то это надо объяснять точно так же, как и в случае с улучшением физических свойств.

4. Итак, мы исчерпали все основные возможности выпутаться из дилеммы процента, но добиться успеха не смогли. И здесь нам приходится вновь возвращаться к ценностным ажио (Wertagio), о которых мы уже не раз упоминали и которые мы с полным правом можем рассматривать в качестве чистой прибавочной ценности. В общем определении ажио — излишек ценности, т. е. превышение ценности продукта над издержками. Оно обязано своим существованием некоему особому обстоятельству, повышающему ценность продукта. Вместе с тем ценностное ажио — это излишек над равновесной ценностью (Gleichgewichtswert) блага, определяющей его положение в хозяйственном кругообороте. Тем самым уже *ipso facto* (в силу самого факта) подобное ценностное ажио приобретает характер чистого дохода и источника потока благ. Это в известной степени напоминает случай с систематическим занижением ценности будущих благ.

Обстоятельства, ведущие к тому, что ценность продукта превышает ценность средств его производства, а разница между ними становится источником прибыли, могут сложиться и в экономике без каких-либо признаков развития. Там также существуют ценностные ажио и дизажио. Такими обстоятельствами могут быть ошибки и благоприятные стечения обстоятельств, непреднамеренные и неожиданные отклонения хода хозяйственного процесса от хозяйственного плана, бедственное положение и случайное изобилие благ и т. д. Все эти ценностные ажио и дизажио представляют собой разницу, существующую между фактической ценностью и нормальной ценностью, а также между фактической ценностью и ценностью использованных средств производства. Значительно чаще, однако, встречаются имеющие гораздо большее значение те ценностные ажио, которые своим появлением обязаны развитию. К их рассмотрению мы сейчас и обратимся, оставив в стороне сферу кругооборота. Мы уже разбили их на две основные группы. В первую входят ажио, которые объективно порождает само развитие, в создании которых в известной степени проявляется само развитие. Их существование объясняется также тем, что хозяйственные субъекты находят новые, более выгодные способы применения благ, ценность которых пока еще определяется другими, менее выгодными способами использования. Ажио и дизажио, входящие во вторую группу, порождаются обратным воздействием развития, которое проявляется в увеличении или уменьшении спроса на определенные блага по сравнению с наблюдавшейся ранее и ожидаемой в будущем величиной спроса.

Еще раз подчеркнем, что все эти ажио — и здесь Бём-Баверк с нами согласился бы — являются действительно реально существующими излишками ценности в любом значении этого слова. Им не угрожает ни Сцилла включения, ни Харибда вменения издержек. Все потоки благ, попадающие в руки хозяйственных субъектов, должны прямо или косвенно вытекать из этого источника. Однако вспомним сделанный нами вывод о том, что, с одной стороны, конкуренция, а с другой — процесс образования ценности делают невозможным постоянное превышение ценности над издержками. Если мы попытаемся ответить на вопрос, при каких условиях это превышение имеет место на практике, то сможем увидеть, что оно присуще не всем благам и не какой-то одной, особой категории этих благ. Оно не связано также ни с какими определенными свойствами благ или их функций в производстве. Ценность превышает издержки только применительно к конкретным количествам благ. Если, например, предприятие начинает неожиданно испытывать потребность в машинах определенного вида, то их ценность для данного предприятия повышается и тот, кто владеет этими машинами, частично или полностью может обеспечить себе это ценностное ажио. Но если появление дополнительного спроса предви-

дели заранее, то нужно предположить, что конкурирующие производители также займутся выпуском подобных машин. В этом случае либо вообще не будет получено никакой прибыли, либо — если производство не поспевает за спросом — прибыль будет вменена первичным факторам производства. Если же появление спроса заранее не предвидели, он продолжает существовать и народное хозяйство имеет возможность приноровиться к нему, или если, наконец, появление дополнительного спроса для всех неожиданно, но производители имеют достаточно времени, чтобы осуществить соответствующий производственный процесс, то ажио не получит ни тот, кто владеет машиной, ни кто-либо другой — его просто не будет. Таким образом, если все такие условия будут выполнены, ажио все же будет иметь место применительно к данному количеству благ. Но после его потребления оно уже не переходит на те количества благ, которые приходят на смену потребленным.

Причины, вызвавшие возрастание ценности, либо отпадут сами по себе — в конечном счете дополнительный спрос может быть удовлетворен, — либо их устранит расширение производства[13]. Прирост ценности может сохраняться в течение длительного времени только в том случае, если речь будет идти о «непродуктах», т. е. о труде и земле. В этом случае происходит постоянное возрастание заработной платы и ренты в народном хозяйстве в целом, а не только заработной платы рабочих, занятых непосредственно в данной сфере, а также ренты с тех участков, которые в ней используются. Следовательно, ажио благ может иметь место только там, где прекращается процесс вменения и выравнивания, т. е. в сфере первичных факторов производства, и там, где экономика не в состоянии достаточно быстро адаптироваться к изменениям в экономических процессах. При этом постоянный прирост ценности — фактически также заработной платы и ренты — возможен лишь в первом случае, поскольку во втором он носит эпизодический характер и, как правило, распространяется на индивидуальное количество благ. Таким образом, совершенно ясно, что ни один хозяйственный субъект не может извлекать постоянный доход, источником которого является ажио произведенных им благ. В реальной действительности ажио достается то одному, то другому хозяйству, но отнюдь не на долгий срок. Приведем давно известный пример[14]. Тот, кто продает колонисту, поселившемуся в пустынной местности, губную гармошку, наверняка получит на этой сделке прибыль. Но если он постоянно не занимается торговлей, эта прибыль будет носить случайный характер. Если же он торговец и между ним и его сотоварищами существует конкуренция, то вся его выручка сведется к зара-

[13] См. анализ этого явления в главе четвертой.

[14] De Quincey. Logic of Political Economy.

ботной плате и, следовательно, прибыль как таковая исчезнет. При отсутствии конкуренции мы будем иметь дело здесь с монопольной прибылью.

5. Теперь мы имеем возможность сформулировать шесть основных положений нашей теории процента, из которых пять первых почти полностью выводятся из того простого постулата, согласно которому процент есть ценностное явление и элемент цены. Данный постулат принимает любая теория процента, претендующая на научность. Это выводы, к которым мы пришли на основе всего предшествующего изложения. Правда, в окончательной форме они будут обоснованы ниже.

Положение первое. Источником процента в принципе могут быть только ценностные ажио, поскольку при нормальном течении экономических процессов никаких иных ценностных излишков не образуется. Сказанное распространяется, разумеется, только на процент по кредитам, предоставляемым на производственные цели, т. е. на процент в узком смысле слова. Это не относится к проценту по потребительским кредитам, предоставляемым на производственные цели[15]. В тех случаях, когда процент представляет собой вычет из заработной платы и земельной ренты, он, конечно, не имеет ничего общего с ажио. Источником же обильного потока благ, который в каждом хозяйственном периоде регулярно поступает в кассу капиталистов, поддерживая тем самым его существование, могут быть только ценностные ажио. На этом пункте мы еще остановимся в дальнейшем. Надо иметь в виду, что в экономике, помимо ажио, имеется еще один излишек ценности, а именно монопольная прибыль. В связи с этим наш тезис исходит из предположения, что монопольная прибыль не может быть типичным источником процента. Но это, как было уже сказано, нуждается в солидном обосновании. *При сделанных оговорках процента вне развития не существовало бы вообще. Процент — это один из компонентов тех громадных волн в море экономических ценностей, которые порождают развитие.* Чтобы обосновать данный вывод, мы вначале показали, что процесс образования ценности в рамках хозяйственного кругооборота исключает существование процента. При этом исследовались как сам этот процесс, так и самые различные несостоятельные попытки обнаружить большую разницу между ценностью продукта и ценностью средств производства в экономике, где отсутствует развитие. Теперь настал момент показать, как растет ценность продукта и возникает вышеупомянутая разница в процессе развития. В ходе дальнейшего изложения этот наш тезис не будет звучать столь странно. Впрочем, и теперь очевидно, что при непредвзятом

[15] См.: «Wesen...». Op. cit., III. Buch., III. Kap., а также первый раздел главы третьей этой книги.

подходе к вещам наша теория не представляется столь оторванной от действительности, как это кажется на первый взгляд: несомненно, что именно промышленное развитие является если не единственным, то по крайней мере главным источником дохода в форме процента[16].

Положение второе. Ажио, возникающие в процессе развития, распадаются, как мы видели, на две группы: на предпринимательскую прибыль и ажио, «являющиеся результатом обратного воздействия процесса развития». На данной стадии исследования мы уже знаем, что возникновение процента не может быть связано с ажио, попадающими во вторую группу. Нам легко сделать подобный вывод, поскольку процесс их возникновения не несет на себе никаких покровов таинственности. Возьмем, к примеру, хозяина мелочной лавки, который длительное время получает доход выше среднего уровня, так как в той деревне, где он живет, строится фабрика. Ему достается определенная прибыль. Сама она не может быть процентом, поскольку носит временный характер и вскоре уничтожается возникшей конкуренцией. Но она не может быть и источником процента, разумеется, при условии, что лавочник получает ее, не прилагая никаких дополнительных усилий, а просто повышая цены. В таком случае с прибылью ничего более не происходит: лавочник прячет деньги в надежное место и употребляет их по своему усмотрению. Проценту здесь возникнуть негде. *Следовательно, источником процента должна быть предпринимательская прибыль.* Это, конечно, косвенное доказательство, и по сравнению с другими фактами, которые подтверждают наш вывод и которые мы почерпнем из опыта и последующего анализа, оно отступит на второй план. Итак, развитие каким-то образом направляет капиталисту часть предпринимательской прибыли. Процент действует здесь как своего рода налог на предпринимательскую прибыль.

Положение третье. Вместе с тем ни вся предпринимательская прибыль, ни какая-то часть ее не может прямо и непосредственно образовывать процент, поскольку она также представляет собой временное явление. Здесь мы еще раз убеждаемся: *процент не может быть связан с конкретными благами.* Любой излишек ценности, имеющий отношение к конкретному благу, по своей природе непостоянен. И хотя подобные излишки ценности то и дело возникают в процессе развития — здесь необходимо специальное исследование для доказательства недолговечности излишков ценности в каждом из этих случаев, — тем не менее очевидно, что непосредственно из них постоянный доход возникнуть не может. Поскольку же процент является таковым, он не может быть тождествен ажио конкретных благ.

[16] Ошибочное мнение, что процент должен быть объяснен «статически», основано лишь на том факте, что выплата процента носит регулярный характер.

Источником процента являются ажио определенной категории, но никакое ажио просто так не становится процентом.

Итак, процент как значительное социальное явление есть продукт развития[17], его источником является предпринимательская прибыль, и он не связан с конкретными благами. Эти три положения составляют основу нашей теории процента. Содержащиеся в них выводы кладут конец непрекращающимся попыткам увидеть присущий проценту постоянный ценностный элемент в конкретных благах[18]. Это существенно сужает поле деятельности при разработке проблемы процента.

6. Настало время приступить к изложению основного вопроса. Ответив на него, мы сумеем решить в основном и всю проблему процента. Теперь этот вопрос формулируется следующим образом: *как из постоянно существующей, но индивидуально всегда временной, непрерывно появляющейся, но индивидуально также непрерывно исчезающей, мимолетной и постоянно меняющейся предпринимательской прибыли образуется постоянный доход в виде процента с неизменного капитала?* Эта постановка вопроса учитывает сделанные нами до сих пор выводы и не зависит от направления нашего дальнейшего пути. Если нам удастся найти на него удовлетворительный ответ, то мы сможем решить проблему процента методом, удовлетворяющим всем требованиям Бём-Баверка. Вполне вероятно, что наше решение не лишено недостатков, но среди таковых нет ни одного из тех пороков, которые были присущи всем предшествующим теориям.

Дальнейший путь мы начинаем с изложения *четвертого положения*, которое противоречит всем существующим теориям, исключая теорию эксплуатации. Здесь нам придется ниспровергать авторитеты. Вот это положение: *в коммунистическом или любом другом нерыночном хозяйстве процента как самостоятельного ценностного явления не существует.* Само собой разумеется, в таких условиях процент не будет выплачиваться. Само собой разумеется, что и здесь будут иметь место те ценностные явления, которые в рыночном хозяйстве *служат источником процента.* Но как специфический ценностный феномен, как экономический показатель и даже как понятие процент там существовать не будет. В этом смысле процент неразрывно связан

[17] См.: «Wesen...». Op. cit., III. Buch, III. Kap.

[18] Отсюда вытекают два практических следствия. Во-первых, так называемый «примитивный торговый процент» вообще не является «процентом». Если он не представляет собой монопольной прибыли или заработной платы, значит, мы имеем дело — правда, временно — с предпринимательской прибылью. Во-вторых, арендная плата также не является процентом. Аренда — это частичная покупка, и в рамках кругооборота она не имеет никакого отношения к проценту. Чистый доход, получаемый домовладельцем, может быть только земельной рентой — и платой за «содержание». Из дальнейшего изложения станет ясно, каким образом в ходе развития элемент процента может внедриться и в арендную плату. Главной причиной тому является факт, что существование процента делает время элементом издержек.

с рыночной экономикой и не может существовать вне таковой. Уточним нашу мысль: в чисто коммунистической экономике заработная плата и земельная рента тоже не выплачиваются. Но услуги труда и земли и их ценности не только существовали бы там, но и являлись бы важным элементом хозяйственного плана, чего нельзя сказать о рассматриваемом нами проценте. Той действующей силы (Agens), за которую выплачивается процент, в коммунистической экономике *просто нет*. Поэтому она не может быть и объектом оценки. И как следствие там не может существовать постоянный чистый доход, который соответствовал бы доходу от процентов (Zinseinkommen). Следовательно, хотя процент — это экономическая категория — она прямо не создается внеэкономическими силами, — тем не менее она встречается только в рыночной экономике.

Почему же процент существует только в рыночной экономике? Ответ на данный вопрос подводит нас к *пятому положению*, которое позволит нам сделать первое предварительное суждение о том, как устроен этот удивительный насос, откачивающий блага из предпринимательской прибыли и формирующий из них поток. Очевидно, капиталист как-то связан с производством. С технической стороны производственный процесс не зависит от того, в условиях какой социальной организации он протекает. Он всегда остается производственным процессом и постоянно требует только благ, ничего кроме благ. Следовательно, принципиального различия тут нет. Его мы находим в другом. Дело в том, что — мы об этом говорили не раз — в рыночной экономике предприниматель относится к своим производственным благам совсем не так, как центральный орган нерыночной экономики. Последний располагает ими с самого начала, а первому еще предстоит заполучить их в свои руки.

То, что именно в этом коренится решающее различие, вытекает из следующего: *если бы предприниматель с самого начала располагал нужными ему благами, то и в условиях рыночного хозяйства производство осуществлялось бы без всякого участия процента.* Это положение легко доказуемо. В рамках нормального хозяйственного кругооборота ни один хозяйственный субъект не в состоянии реализовать никаких чистых доходов, помимо заработной платы, земельной ренты и монопольной прибыли. При этом совершенно безразлично, располагает ли он необходимыми средствами производства с самого начала или ему нужно их как-то предварительно получить в свои руки. Ведь и в последнем случае они предлагаются ему как бы автоматически и всегда по таким ценам, что у него пойдут дела столь же хорошо, как и в первом. Данный вопрос нами уже рассматривался в главе первой. Иная ситуация возникает при появлении новых предприятий. Если предприниматель уже располагал необходимыми ему средствами про-

изводства, то он получит свою прибыль и ничего другого не произойдет. Прибыль не просто остается у него в руках, а остается как гомогенная величина, никакая часть которой не обособляется. Принадлежащие предпринимателю блага становятся субстратом, «носителем» временных излишков ценности, но особого постоянного дохода при этом не образуется. Ценность услуг его постоянных средств производства просто раз и навсегда возрастает, а величина этого прироста, как отмечалось, целиком отражается в повышении заработной платы и ренты. Это вытекает из положений предшествующей главы, к которой я и отсылаю читателя. Возражение, суть которого состоит в том, что предприниматель якобы сам себе начисляет процент даже тогда, когда нужные средства производства «у него уже имеются», впоследствии само собой отпадет, поскольку станет ясно, что в данном случае речь идет о последствиях существования реального процента. Пока же мы во избежание лишних споров согласимся с результатами проделанного анализа и будем считать, что в рыночной экономике, где предприниматели всегда располагают необходимыми им средствами производства — всеми услугами труда и земли, в которых они нуждаются, их как бы наделяет некая магическая сила, — *процент существовать не мог бы.*

Как не каждое ажио является предпринимательской прибылью, так и не всякая предпринимательская прибыль порождает процент. *Это происходит лишь там, где средства производства, необходимые для реализации планов предпринимателя, существуют, находясь в собственности других хозяйственных субъектов, не участвующих в планах первого.* Последняя оговорка необходима потому, что иначе мы имели бы дело со своего рода «коллективным» («групповым») предприятием и данный случай ничем не отличался бы от предыдущего. Здесь и следует искать разгадку. В чем же специфика последнего случая? Только в том, что в отличие от центрального органа коммунистической экономики и предпринимателя, «уже наделенного» нужными благами, которые имеют возможность немедленно приступить к производству, хозяйственный субъект, не поставленный в подобное привилегированное положение, нуждается в средствах, на которые он может приобрести все эти блага. Что касается процесса кругооборота, то мы вполне можем предположить, что эти средства дает ему продукт предшествующего периода. Но, начиная новое производство, предприниматель в принципе не имеет возможности получить этот продукт. Преградой для него является здесь частная собственность на средства производства. Преодолеть ее предпринимателю помогает капиталист. Итак, мы можем сказать, что процент тесно связан с той силой, функция которой состоит в устранении препятствий, воздвигаемых на пути развития институтом частной собственности. В конечном счете про-

цент есть следствие своеобразного устройства частнохозяйственной организации. Он представляет собой как бы «опилки», которые образуются при трении планов предпринимателя о шершавую поверхность существующих отношений собственности. Так, идя другим путем, мы приходим к выводу, который уже напрашивался ранее. Нам могут возразить, что в жизни процент встречается не только в капиталистическом рыночном хозяйстве, куда его помещает наша теория, но и за его пределами. На это возражение мы ответим несколько позже.

7. Всего один шаг отделяет нас от окончательной формулировки вопроса. Прежде чем сделать этот шаг, я хочу обратить внимание читателя на то, что в нашей трактовке проблемы процента речь идет о нечто ином, чем в общепринятой. Читатель должен отдавать себе отчет в том, что, говоря о проблеме процента, мы имеем в виду не совсем то явление, о котором думает большинство теоретиков. Хотя это и так очевидно, все же не будет лишним, если мы подробнее осветим этот момент.

С этой целью мне хотелось бы остановиться на общепринятом различении ссудного процента и первичного процента на капитал. Различие между ними проводится уже в первых глубоких исследованиях природы процента. Оно было и остается одним из основополагающих принципов теории процента. Естественно, исследование проблемы процента началось с анализа процента по потребительским кредитам. Дело в том, что объектом теории процента вначале был исключительно ссудный процент, выступавший как самостоятельный вид дохода, обладающий многими отличительными признаками. Всегда проще анализировать обособленный вид дохода, чем тот, который еще надлежит очистить от инородных элементов. Именно поэтому сущность земельной ренты была впервые познана в Англии, где она не только существовала как экономическая категория, но и фактически выплачивалась как самостоятельный вид дохода. С потребительского же кредита начали потому, что он был важнейшей и наиболее известной формой процента еще во времена античности и Средневековья. Правда, тогда же существовал и процент по кредитам, предоставлявшимся на производственные нужды. Но в эпоху античности процент существовал в той среде, где не занимались философствованием, а философы только бегло касались экономических вопросов и обращали свое внимание на тот вид процента, который был известен в их кругу. Позже, в средние века, элементы капиталистической экономики также были фактом реальной действительности, но о них знал только узкий круг лиц, которым некогда было предаваться теоретическим рассуждениям и писать трактаты. Отцы церкви, знатоки канонического права, философы, руководствовавшиеся церковными догмами и учением Аристотеля, — все они были знакомы только с процентом по потре-

бительским кредитам, и надо сказать, что это знакомство было не слишком приятным. Их презрение и ненависть к ростовщикам, обиравшим неимущих, пользовавшимся слабостями легкомысленных или порочных людей, побуждали их враждебно относиться ко всякому взиманию процента. Этим можно объяснить и те многочисленные запреты, налагавшиеся на этот род деятельности.

Из наблюдений за деловой жизнью, протекавшей в период роста и укрепления капиталистической экономики, постепенно формировалась в корне противоположная точка зрения. Было бы преувеличением утверждать, что процент по кредитам, предоставлявшимся на производственные цели, был открыт только в новое время. Но по тем последствиям, которые повлекло за собой выделение именно этого вида кредита, данный процесс вполне можно приравнять к открытию. При всем том выяснилось, что старая теория просто-напросто игнорировала одну из сторон рассматривавшегося явления. Как оказалось, важнейшую. Кроме того, всем стало ясно, что должник вовсе не обязательно становится беднее от того, что берет кредит. Данное обстоятельство помогло преодолеть чувство всеобщей враждебности по отношению к проценту и сделало теорию несколько более научной. Через всю английскую литературу, включая труды Адама Смита, красной нитью проходит мысль о том, что кредит (заем) дает возможность получать прибыль. Во всех этих теориях слабого заемщика сменил сильный, вместо жалкой кучки нуждающихся бедняков и легкомысленных землевладельцев появилась фигура нового плана — предприниматель. Конечно, это положение не было достаточно четко сформулировано в теориях, но суть дела была отражена верно. Именно здесь находится отправная точка и нашей собственной теории.

Но для данной группы теоретиков процент по кредитам, предоставлявшимся на производственные цели, все еще оставался разновидностью ссудного процента. Правда, его источником признавалась предпринимательская прибыль. Но отсюда нельзя сделать заключение, что предпринимательская прибыль есть процент, подобно тому как из факта существования дохода от продажи продукта как источника заработной платы нельзя сделать вывод о том, что весь доход идет на заработную плату. В целом же о кратких и довольно поверхностных рассуждениях теоретиков того периода о проценте можно с уверенностью сказать только одно: они не только не отождествляли процент с прибылью, но и считали их, в сущности, явлением разного порядка. Они, как видно на примере Юма, ощущали взаимосвязь прибыли и процента как сложную проблему, которой бы вообще не существовало, если бы предпринимательская прибыль считалась процентом с собственного капитала. В том же духе рассуждали Локк и Стюарт. Оба объясняли предпринимательскую прибыль таким обра-

зом, что их толкование привело бы не к ссудному проценту, а к той прибыли, которая является его источником[19]. Все эти авторы пришли к правильному выводу о том, что источником процента является прибыль. Но при этом они не сказали, что сама прибыль есть одна из разновидностей процента или даже его основная разновидность. Поэтому, когда они пишут «*profit on capital*», это не следует переводить как процент с капитала или даже как прибыль на капитал. Они не смогли решить проблему процента, но не потому, что они безосновательно считали производную форму процента — ссудный процент — его основной и исходной формой. Они не доказали, что кредитор имеет право на долю предпринимательской прибыли; не выяснили, почему на рынке капитала все решается в его пользу. Разумеется, прибыль представляет собой центральную проблему, от решения которой зависит также объяснение явления процента. Но вовсе не потому, что прибыль якобы и есть истинный процент, а в силу того, что ее существование создает предпосылки для выплаты процента по кредитам, предоставляемым на производственные цели. Несомненно, что главную роль здесь играет предприниматель, но опять-таки не потому, что он типичный кредитор, а потому, что он типичный заемщик (кредитополучатель).

Еще у А. Смита, если быть очень внимательными, можно обнаружить зачатки концепции, согласно которой прибыль и процент не сливаются воедино. Только у Рикардо и его последователей всякое различие между ними сглаживается. На этой стадии единственной проблемой теории объявляется происхождение коммерческой прибыли (Geschäftsgewinn), которая и рассматривается в качестве «проблемы процента». Лишь у этих авторов «*profit*» можно переводить как «прибыль на капитал» или «первичный процент». Это не просто безобидная замена процента, выплачиваемого за пользование чужим капиталом, на процент на собственный капитал. Здесь мы имеем дело с утверждением, что коммерческая прибыль предпринимателя по сути своей является процентом с его капитала. Это новая постановка вопроса, которую мы оцениваем как отклонение от правильного пути. Она порождена целым рядом обстоятельств, рассматриваемых ниже.

Прежде всего, данная постановка вопроса отражает естественный ход мыслей. В самом деле, арендная плата вносится только потому, что существует «первичная» земельная рента, т. е. доход, приносимый землей. Они должны совпадать друг с другом, так как арендная плата — это и есть чистый доход, который получает сельское хозяйство с точки зрения земельного собственника. Заработная плата существует, потому что труд приносит доход, который, с точки зрения рабоче-

[19] Этим, естественно, и объясняется та очевидная дисгармония в теории Локка, которую отмечает Бём-Баверк. См.: E. Böhm-Bawerk. Kapital und Zins, 2. Aufl., I. Bd., S. 52.

го, является чистым доходом от производства. Почему же с процентом должно быть все иначе? Сам собой напрашивается вывод, что в основе выплачиваемого процента лежит первичный процент, который представляется типичным доходом предпринимателя аналогично тому, как рента представляет собой типичный доход земельного собственника. Лишним подтверждением данного тезиса служит тот факт, что на практике предприниматель сам себе начисляет процент со своего капитала.

Действительно, превышение ценности продукта над издержками его производства лежит в основе многих явлений, в том числе и существования процента. И этот излишек ценности возникает у предпринимателя. Вряд ли стоит удивляться тому, что исследователи сосредоточили все свое внимание на этой коренной проблеме, надеясь, что все остальные вопросы решатся затем сами собой. Не удивительно и то, что данный излишек отождествили с процентом. Экономическая теория в то время только-только избавилась от поверхностного подхода, который был присущ меркантилизму, и уже научилась видеть блага за тем покровом, который создавали деньги. Было сформулировано положение о том, что капитал состоит из конкретных благ, и этот капитал стали считать особым фактором производства. Не случайно именно процент теоретики приняли за цену капитала и отождествили его с тем излишком, который предприниматель получает с помощью этого запаса благ. Поскольку процент действительно вытекает из предпринимательской прибыли и представляет собой часть ее, то нет ничего странного в том, что, когда процент привязывался к конкретным благам, которыми предприниматель пользовался в процессе производства, предпринимательская прибыль или по крайней мере большая часть ее стала считаться процентом. То, что процентом не является заработная плата, из которой он тоже подчас выплачивается, не может быть серьезным основанием для возражений.

Недостаточно глубокий анализ предпринимательской функции породил новую постановку вопроса. Пожалуй, было бы не совсем правильно утверждать, что имело место полное отождествление предпринимателя и капиталиста. Во всяком случае, теории исходили из предпосылки, что предприниматель может получить свою прибыль только с помощью капитала, понимаемого как запас благ, и придавали этому факту несоразмерно большое значение. Естественно, что характерную черту предпринимателя, отличающую его от рабочего, теоретики видели как раз в том, что он применяет капитал. Предпринимателя они считали прежде всего пользователем капитала, пользователем производственных благ, а капиталиста — поставщиком каких-либо благ. Отсюда автоматически следует та формулировка вопроса, о которой мы сейчас говорим. На первый взгляд она представляется всего-навсе-

го уточненной и углубленной формулировкой проблемы ссудного процента.

Совершенно ясно, что все это должно было иметь тяжелые последствия для проблемы процента. Ссудный процент стали выводить из первичного процента, возникающего у предпринимателя. С фигурой последнего, таким образом, связывалось решение всей проблемы. В итоге возникло множество возможностей направить теорию по ложному пути. Лишь теперь стало возможно использование различных вариантов объяснения явления процента, в частности привлечение для этих целей трудовой теории и теории эксплуатации. Только если заведомо увязать процент с фигурой предпринимателя, можно вообще додуматься до того, чтобы объяснять существование процента трудом предпринимателя, или трудом, затраченным на изготовление средств производства, или, наконец, борьбой, которая ведется между предпринимателями и рабочими в вопросах заработной платы. Данная постановка вопроса если и не сделала вообще возможным, то существенно облегчила использование других вариантов объяснения явления процента, например посредством привлечения разновидностей теории производительности. В подобных условиях правдиво и просто объяснить, чем занимаются предприниматели и капиталисты, было невозможно, а познать специфическую природу предпринимательской прибыли — в высшей степени затруднительно. Но самым неприятным последствием всех этих воззрений было появление проблемы, ставшей применительно к экономике проблемой «перпетуум мобиле».

Опыт учит, что процент является постоянным доходом, возникающим у предпринимателя. Следовательно, необходимо объяснить, каким образом у предпринимателя возникает этот особого рода постоянный доход. На протяжении более чем столетия целая армия теоретиков брала штурмом крепость этой неразрешимой проблемы, причем проблемы мнимой. Иными словами, они ввязались в дело, которое в кого угодно может вселить только отчаяние.

Мы доказали, что обсуждаемая постановка вопроса ошибочна. С этого момента наша концепция расходится со всеми остальными теориями процента. Теоретики вначале успешно гнали лису до ее норы, но затем проскочили мимо и оказались в чистом поле, потеряв след. Разумеется, превышение ценности продукта над издержками его производства необходимо объяснить. Однако, с нашей точки зрения, это проблема предпринимательской прибыли, а не процента. Последний появляется на другой ступени анализа. Отсюда ясно, что под проблемой процента мы понимаем несколько не то, что остальные теоретики, и это имеет два очень важных для нас последствия. Во-первых, нам нет необходимости биться над решением проблемы «вечного двигателя». Во-вторых — и это мы выделим особо, — для нас сведение процента к коммерческой прибыли означает нечто иное, гораздо более

важное, чем для традиционной теории. Последняя отсылает нас к нерешенной проблеме, сводит процент к явлению, которое должна объяснить сама же теория процента. Мы же сводим его к уже объясненному ценностному явлению. Нам также предстоит еще решить проблему, но эта проблема гораздо проще. Сводя процент к коммерческой прибыли, господствующая теория всего лишь объясняет одну форму процента другой. Когда то же самое делаем мы, мы связываем проблему процента с другим, хорошо разработанным элементом нашей теории. «Ссудный процент существует, потому что существует прибыль» — для господствующей теории этот тезис всего лишь уточненная постановка вопроса. Для нас же в нем содержится и объяснение. «Откуда берется прибыль?» — вопрос, в котором для традиционной теории заключена главная проблема. Для нас он уже решен. Нам остается решить, как из предпринимательской прибыли возникает процент.

Мы так настойчиво обращаем внимание читателя на иную, более узкую постановку проблемы процента в нашей теории только потому, что могут найтись люди, по мнению которых мы не добавили ничего нового к уже известному сведению процента к прибыли. Только этим объясняются многочисленные повторы, без которых читатель мог бы легко обойтись.

8. Излишек, лежащий в основе процента, не может существовать иначе, как в ценностной форме. В рыночной экономике он может быть выражен сопоставлением двух денежных сумм. Это очевидный факт, здесь еще нет никакого противоречия. Сравнение количеств благ само по себе не скажет нам ничего об излишке ценности. Всюду, где в данном изложении речь заходит о благах, они выступают только как символы своих ценностей. Что с того, что кто-то, ссужая рубанок, получает ежегодно по одной обработанной доске? Только переведя натуральные показатели в ценностные, мы в состоянии узнать, возникает ли в данном случае излишек ценности, и если возникает, то его величину. На практике сравниваются лишь денежные суммы, процентные платежи всегда осуществляются в денежной форме. Этот факт мы принимаем безоговорочно, но ему можно дать различные толкования. Можно предположить, например, что ценность является здесь только единицей измерения и не имеет никакого отношения к сущности процента. Согласно этой преобладающей точке зрения, возникновение процента связано с определенными благами и приростом их ценности, который внешне выступает в денежной форме. Вспомним о нашей трактовке предпринимательской прибыли: получить ее можно только в денежной форме, но по своей сущности она ничего не имеет общего с деньгами.

В случае с процентом также велико искушение по возможности быстрее покинуть сферу денег и объяснить его процессами, протека-

ющими в той единственной сфере, где ценности и доходы могут возрасти, — в сфере производства благ. Но сделать этого мы не можем. Конечно, в каждом конкретном случае проценту, выраженному в деньгах (Geldzins), т. е. *ажио покупательной силы,* соответствует ажио тех или иных благ. В техническом плане для производства нужны блага, а не деньги. Но стоит нам предположить, что «деньги» — это всего лишь промежуточное звено, играющее чисто техническую роль, и подставить вместо них блага, которые покупаются на эти деньги и за пользование которыми в конечном счете вроде бы и платится процент, как тут же почва уйдет из-под наших ног. Точнее говоря, мы сможем сделать шаг или даже несколько шагов из сферы денег в сферу благ, но не более того. В противном случае мы сразу же столкнемся с тем фактом, что прирост благ всегда носит временный характер, в то время как процент является по сути своей постоянным доходом. Поэтому все попытки сбросить тот покров с явления процента, который имеет прямое отношение к деньгам, и перейти к ажио благ обречены на неудачу. Сбросив его, неизбежно попадешь пальцем в небо[20].

Итак, мы никак не можем избавиться от денежной формы процента. Здесь содержится косвенное доказательство тому, что эту денежную форму правильнее считать существом явления, а не пустой оболочкой. Правда, подобное доказательство не дает оснований для далеко идущих выводов. Но оно вынуждает нас обратить внимание на наш анализ кредита, капитала и роли покупательной силы. Это дает нам возможность сформулировать наше *шестое положение: процент — это элемент цены покупательной силы, позволяющий устанавливать свою власть (господство) над производственными благами.* Если же о проценте говорят вне связи с покупательной силой, то мы имеем дело либо с заблуждением, либо с употреблением слова в переносном смысле. К этому пункту мы еще вернемся.

Наш тезис поначалу может показаться странным, поэтому спешу отметить, что мы здесь покупательной силе вовсе не приписываем производительной функции в собственном смысле этого слова. Данный тезис относится только к процессу обособления определенной части уже существующих и объясненных ценностных величин. Как мне кажется, это замечание сводит на нет наиболее серьезные упреки в наш адрес. Однако прежде чем занести этот тезис в наш актив, нам еще предстоит проделать известную работу. Здесь же я только хочу возразить против возможных попыток сразу его отвергнуть и обратить внимание читателя на то, что на протяжении многих столетий — от Аристотеля до Адама Смита — этот тезис мог бы встретить полную поддержку. Сегодня же нам противостоит сплоченная фаланга почти

[20] Паллиативы, как то «запас потребительских благ» и «запас накопленных услуг труда и земли», я здесь больше обсуждать не собираюсь.

всех теоретиков. Известно, что самый непроходимый путь — тот, который объявило непроходимым наибольшее число путешественников.

Такая позиция большинства теоретиков тем более удивительна, что колебания процента под влиянием спроса и предложения на рынке «денег» всем известны. Между тем этот факт недвусмысленно свидетельствует в пользу нашей точки зрения[21]. Далее, любой коммерсант знает как дважды два, что если количество кредитных платежных средств самопроизвольно возросло без соответствующего увеличения числа товарных сделок, то процент неминуемо упадет, и, наоборот, если оно уменьшилось, процент возрастет. Разве не понизится процент, если государство напечатает бумажные деньги и даст ссуду предпринимателям, и разве государство не получит процентов с этой операции? Разве не очевидна взаимосвязь процента с валютными курсами и движением золота? Я мог бы указать в этой связи на бесчисленное множество фактов повседневной жизни.

Однако лишь немногие крупные теоретики учитывали эти факты в своих теориях процента. Сиджуик придерживался концепции, которая (здесь я полностью согласен с Бём-Баверком) сводится к теории воздержания. Однако еще до главы, посвященной проценту, в главе о стоимости денег он уже касается процента, рассматривая его в связи с деньгами. Одно место из этой главы указывает на то, что Сиджуик признавал влияние, которое оказывает на процент создание покупательной силы (с. 251). «...Мы должны иметь в виду, что банкир в значительной мере сам создает деньги, которые он ссужает... и он легко может себе позволить продать право на использование своего товара по цене, меньшей, чем общий уровень процента на капитал». В этом предложении немало моментов, с которыми мы не можем согласиться. Не объясняется здесь и сущность самого процесса. Наконец, из этого утверждения Сиджуик не делает никаких выводов для теории процента. Но тем не менее мы видим здесь шаг в нашем направлении, сделанный несомненно под влиянием работ Маклеода. Значительно больше внимания уделяет этой работе Дэвенпорт[22]. Но и у него ничего не выходит. Он бодро приближается к препятствию, но, не сумев преодолеть его с ходу, отказывается от дальнейших попыток.

Общепринятая теория совершенно игнорирует денежную форму экономических процессов, считая ее малоинтересным техническим

---

[21] См. выступление Маршалла перед Комиссией по вопросам спада в торговле в 1886 г. При обсуждении вопроса о том, как влияет масса золота в обращении на цены товаров, он сказал, имея в виду увеличение массы золота: «Я считаю, что это немедленно подействует на Ломбард-стрит и приведет к более активному кредитованию; это повлечет за собой разбухание депозитов и рост коммерческого кредита по открытым счетам и, таким образом, явится стимулом к спекулятивной деятельности...» Тот, кто произносит такие слова — в справедливости их трудно усомниться, — не может безоговорочно отвергнуть нашу концепцию.

[22] «Principles of Political Economy».

моментом, которым должны заниматься специалисты по финансам. Эта точка зрения настолько распространена, что не может не содержать элемента истины и нуждается по крайней мере в объяснении, которое я и постараюсь сейчас дать.

Наименьшего внимания заслуживают попытки отрицать статистическую связь между ставкой процента и количеством денег в обращении. Р. Жорж Леви[23] сопоставил движение процентной ставки с добычей золота и, как следовало ожидать, не нашел заметной корреляции между этими показателями. Не говоря уже о недостатках, которые присущи избранному им статистическому методу, результаты его исследований не дают оснований отрицать взаимосвязь массы денег в обращении и ставки процента. Во-первых, трудно ожидать, чтобы обе эти величины всегда изменялись одновременно, без запаздываний. Во-вторых, золотой запас (даже тот, что находится у банков) не пропорционален размерам кредита, в то время как на процент влияют только эти последние. Наконец, не все добытое золото достается предпринимателям.

Но уж совсем непростительна для теоретика столь высокого ранга попытка Ирвинга Фишера (Rate of Interest, p. 319 и далее) опровергнуть взаимосвязь денежной массы и процента индуктивным способом. Лишь вульгарный статистик может отвергнуть причинную связь на том основании, что она не видна на первый взгляд. Таблица среднегодовых величин, которую приводит Фишер, не может быть убедительнее, чем наблюдения за повседневной практикой денежного обращения. К тому же Фишер сравнивал со ставкой процента количество денег в обращении, приходящееся на душу населения, что лишает его результаты всякого смысла.

В этой связи я хочу воспользоваться случаем, чтобы предупредить неверное толкование нашей теории. Разумеется, абсолютная величина покупательной силы вообще, и покупательной силы, предлагаемой на рынке денег, в частности, сама по себе еще ничего не говорит нам о проценте. Существующие товарные цены, деловой климат и вообще вся совокупность объективных и субъективных экономических факторов дают нам гораздо более глубокое объяснение процента. От их состояния и изменения зависит все, что происходит в народном хозяйстве, в том числе и движение процента. Но это вовсе не противоречит нашей концепции. Не следует преувеличивать значение этого правильного тезиса, выплескивая вместе с водой ребенка.

Мы должны признать, что в теории, отрицающей значение денег, есть рациональное зерно. Прежде всего надо подчеркнуть, что денежная масса, бесспорно, играет гораздо менее важную роль, чем это кажется непосвященным. Ни эмиссия кредитных денег, ни открытие

[23] *Journal des Économistes*, 1899.

месторождений золота не могут сделать народ богаче. Движением денежных единиц нельзя в конечном счете объяснить никакие существенные экономические явления. Именно в этом смысле сначала Барбон, а затем Юм и Смит подчеркивали, что процент выплачивается не за мистическое нечто, а в конечном счете за пользование благами. Это совершенно правильное положение, с которым мы полностью согласны. Обоснование его стоило в свое время немалых усилий и явилось важной заслугой упомянутых авторов. Им надо было преодолеть сопротивление двух групп противников. Во-первых, это заурядного пошиба практики, которым и по сей день свойственны всевозможные предрассудки и путаница во взглядах на данный вопрос. Четко представить себе существенные причинно-следственные зависимости можно было, только устранив все эти ложные представления о деньгах и кредите, которые затрудняли понимание процессов, происходящих в мире благ. К этой же категории можно отнести теоретиков, которые объявляют, что процент — это цена денег, и ставят на этом точку. Такое объяснение действительно еще ничего не объясняет.

Во-вторых, «противникам денег» пришлось преодолевать сопротивление меркантилистов. Как бы мы ни оценивали значение этих исследователей для науки в целом, взгляды их по данному вопросу основывались на широко распространенном заблуждении. Преувеличивая значение притока денег в страну, они завели в тупик дискуссию о внешнеторговой политике. Меркантилистам следовало противопоставить именно тезис о том, что деньги являются лишь счетной единицей, а их умножение не имеет никакой реальной ценности. Как мы уже знаем, эта точка зрения представляет собой известное преувеличение. То, что процент в конечном счете платится за пользование благами, вовсе не означает, что он не имеет отношения к деньгам. Из того, что деньги являются счетной единицей, отнюдь не следует, что в сфере денег не могут происходить важные экономические процессы. Но вполне понятно, что всякий, кто твердо стал на данную точку зрения, будет считать абсурдной всякую попытку связать существование процента с процессами денежного рынка и отрицать наличие важной связи между размером процента и величиной денежной массы. Так, Ло, Локк и присоединившийся к ним Монтескье, которые утверждали, что такая взаимосвязь существует, получили надлежащий отпор со стороны Смита[24]. Если вдуматься в логику рассуждений Смита, можно понять, откуда берется у него это чувство абсурдности критикуемых им теорий. И действительно, неужели кто-то может всерьез полагать, что деньги — это жалкое средство обращения — могут «создавать» ценности или даже блага? Это и в самом деле абсурдно, и

[24] См. краткий, но содержательный анализ А. Смита в гл. 4 второй книги «Исследований о природе и причинах богатства народов».

поэтому я спешу заметить, что наш тезис, согласно которому эти средства обращения при известных обстоятельствах могут увести ценности и блага (к «созданию» которых они не имеют никакого отношения) с их привычной траектории движения и направить их в руки других хозяйственных субъектов, звучит вовсе не так нелепо, особенно если мы можем указать на особую функцию денег, лежащую в основе этого процесса.

Итак, мы признаем, что обсуждаемая здесь точка зрения имела под собой глубокие основания. Однако она ошибочно отрицала причинную связь между ставкой процента и предложением на рынке денег. В этом пункте наша теория совпадает с поверхностными представлениями любого практика. Теперь посмотрим, каким именно способом теоретики опровергали эту причинную связь, поскольку здесь мы можем найти аргументы против нашей теории. Итак, опровержение состоит в следующем: если денежная масса растет, то растут и все цены, в том числе цены капитальных благ, а также цены товаров, составляющих издержки производства этих благ. Изменение цен носит, следовательно, чисто номинальный характер: меняется только единица измерения. Поэтому увеличение денежной массы не может повлиять на ставку процента; сумма процентных платежей, выраженная в деньгах, возрастет, но ее отношение к величине капитала (возросшей в той же пропорции) останется неизменным. Мы не видим в этом доказательстве ничего нового — оно логически выводится из существующей общепринятой точки зрения и в ее рамках вполне справедливо. Кроме того, все известные из истории значительные падения нормы процента (в противоположность повседневным колебаниям, которые нас здесь интересуют) можно было объяснить падением нормы прибыли, что полностью соответствует духу классической политической экономии.

Обратим внимание на то, что в приведенных рассуждениях под деньгами понимаются только деньги, находящиеся в обращении, обслуживающие товарообмен при нормальном ходе экономических процессов. Но ведь и мы не утверждаем, что рост именно этой денежной массы ведет к снижению процента. Справедливо как раз противоположное — и здесь мы кратко коснемся момента, имеющего для нашей теории большое значение. Рост массы денег в обращении приведет к росту всех цен. Но тогда предприниматель должен будет привлечь для тех же надобностей капитал большего размера (если понимать под капиталом то, что мы под ним понимаем). Поэтому спрос предпринимателей на рынке денег возрастет и, следовательно, ставка процента повысится. Итак, рост массы денег, находящихся в обращении или в самом начале хозяйственного периода притекающих в обращение, ведет не к снижению, а к росту процентной ставки. Эта масса покупательной силы оказывает на процент воздействие, противоположное воздействию другой массы покупательной силы, которая находится в ру-

ках капиталистов и ждет спроса со стороны предпринимателей. Сравнительно большая часть произведенного золота устремляется прямо на рынок товаров (из всех золотодобывающих наций это в наибольшей степени наблюдалось у испанцев). Что же касается понижающего воздействия на процент, то новое золото может оказывать это воздействие только в виде ссуды, предоставляемой капиталистом, а точнее, в виде банковских резервов. Теперь нам понятно, почему представители классической политической экономии пытались объяснить падение процента не ростом добычи золота, а другими причинами, и, надо сказать, были в этом совершенно правы. Именно противоположное воздействие двух денежных масс, о котором мы только что говорили, помимо прочих обстоятельств, ведет к тому, что мы больше не наблюдаем в экономической жизни существенного падения процента в результате общего роста совокупной денежной массы. Но с теоретической точки зрения взаимозависимость денежной массы и процента несомненна. Кстати, отметим, что при некоторых условиях изменения процента (несмотря на то что он существует в виде отношения двух ценностных величин) действительно могут носить номинальный характер (если бы процент имел другую, «непроцентную», форму, это было бы самоочевидно). Это обстоятельство еще более затуманивает общую картину, поскольку оказывается необходимым принимать в расчет фактор ожидания того, что ценность денежной единицы изменится[25].

Мы можем найти и другие элементы истины в позиции «противников денег»[26]. Практики и специалисты по финансам часто придерживаются неверных взглядов на значение дисконтной и денежной политики. Надо сказать. что возможность влиять на процентную ставку, которой располагает центральный банк, так же не доказывает связи процента с покупательной силой, как возможность установления государством твердых цен не означает, что все цены определяются государством. Чтобы поддержать национальную валюту, государство в каком-то конкретном случае может — с большим или меньшим основанием — воздействовать на процент, но большого теоретического значения этот факт не имеет. Здесь налицо манипулирование ценой покупательной силы по чисто внешним соображениям. Точка зрения, согласно которой с помощью денежной и дисконтной политики можно постоянно держать ставку процента в данной стране на более низком

[25] См.: Fisher. Rate of Interest, p. 78.

[26] Например, их справедливое презрение к такой версии причинно-следственной связи между процентом и денежной массой: когда денежная масса растет, ценность денежной единицы падает и за обесценившиеся деньги платится меньший процент. Здесь, конечно, нет ни на волос истины. Я не уделил внимания этой версии в тексте книги, но думаю, что именно она раз и навсегда отбила у многих экономистов охоту исследовать взаимосвязи денег и процента.

уровне, чем в других странах, что должно благоприятно сказываться на экономическом развитии, совершенно ненаучна и на практике может привести к печальным последствиям. Конечно, функционирование денежного рынка, как и рынка труда, поддается совершенствованию, но это ничего не может изменить в сущности происходящих на нем процессов.

9. Итак, мы добрались наконец до самой сути проблемы процента, как мы ее понимаем. Нам предстоит объяснить ажио настоящей покупательной силы относительно будущей, или, говоря проще, ответить на вопрос: могу ли я, отдав кому-либо определенное число единиц покупательной силы, твердо рассчитывать на то, что когда-нибудь мне вернут бóльшую сумму, и если да, то почему и при каких предпосылках?

Наш вопрос относится к процессу, происходящему на рынке денег: нас интересуют условия, при которых хозяйственный субъект отдает настоящую покупательную силу в обмен на будущую. Ответ на этот вопрос мы ищем на рынке денег, который, являясь своего рода кровеносной системой промышленности, снабжает ее необходимым капиталом. Именно на рынке денег наиболее наглядно проявляется взаимосвязь между промышленностью и капиталом. Мы хотим исследовать процесс ценообразования на этом рынке. Всякая ссуда представляет собой «самый настоящий» обмен. Поначалу обмен блага на то же самое благо может показаться несколько странным. Однако этот момент исчерпывающе объяснил Бём-Баверк[27], и нам нечего добавить к его объяснению: обмен настоящего блага на будущее так же не является обменом двух тождественных благ, как не является им обмен сходных благ, находящихся в разных местах. Можно обменять покупательную силу в одном месте на покупательную силу в другом, а можно обменять настоящую на будущую. Аналогия ссудной операции и арбитражной сделки настолько убедительна, что читатель сможет с ее помощью лучше усвоить нашу теорию.

Если нам удастся доказать, что при известных обстоятельствах — а именно в процессе развития — настоящая покупательная сила всегда имеет ажио по отношению к будущей, то мы сможем теоретически объяснить, откуда берется постоянный приток благ к владельцам покупательной силы. Тогда мы докажем, что капиталист получает постоянный доход, который кажется продуктом кругооборота, в то время как на самом деле его источники в каждом случае недолговечны и сам он является следствием развития. Процессы вменения и включения не должны мешать этому потоку благ быть чистым доходом. Процесс ценообразования, при котором я за сто настоящих крон могу получить сто пять будущих, не может быть аннулирован в результате

[27] См.: E. Böhm-Bawerk. Kapital, II. Bd.

вменения дохода, который реализуется только в ходе самого этого процесса. До совершения ссудной сделки я не могу считать, что мои сто крон уже стоят сто пять — дополнительные пять крон доставит мне только сама эта сделка. Таким образом, принимая решение вступить в ссудную сделку, я могу оценить свои сто крон только по ценности кругооборота, т. е. по ценности, которую они будут иметь при других способах применения. Короче говоря, я могу оценить их только в сто крон, а значит, пять крон, которые я получу дополнительно, будут для меня чистым доходом.

Процесс включения также не может помешать проценту быть чистым доходом. Предположим, я уже решил дать взаймы свои сто крон. За них я смогу в будущем получить сто пять крон. Из этого вроде бы следует, что я не получу никакого чистого дохода сверх моего первоначального имущества, поскольку с самого начала я воспринимал свои сто крон как потенциальные сто пять. Но если принять эту точку зрения, то выяснится, что ценность первоначального имущества, чтобы не сокращаться, должна автоматически возрастать всякий раз, когда потребляется ее приращение.

Какую бы формулировку мы ни избрали, мы никуда не уйдем от того факта, что именно постоянный поток новой предпринимательской прибыли является ценностным источником ажио настоящей покупательной силы относительно будущей. Этим покупательная сила отличается от всех конкретных благ. Если бы все эти бесконечные приращения вменялись ценности первоначальных ста крон, эта ценность стала бы неограниченно большой, что, как нам уже известно, не исключает существования чистого дохода. И в этом случае мы сможем выполнить нашу задачу: объяснить постоянный приток благ к владельцам покупательной силы, которая ссужается создателям новых предприятий. Я думаю, что этот момент теперь достаточно ясен и не нуждается в дальнейших пространных объяснениях, в которых нам поневоле пришлось бы повторяться.

Однако уже сейчас мы можем точно определить, какой должна быть совокупная величина бесконечного дохода, получаемого в виде процента. Она не может быть меньше той суммы денег, с которой начисляется процент. Иначе, отдав общую ценность процентного дохода, кредитор мог бы получить обратно первоначальную сумму и употребить ее не для ссуды, а каким-нибудь иным способом. Это происходило бы до тех пор, пока ценность данной суммы денег не понизилась бы и равенство дохода и издержек не было бы восстановлено. С другой стороны, общая величина процентного дохода не может превышать первоначальной суммы, потому что иначе все владельцы денег захотели бы дать их взаймы, и в результате возросла бы ценность денег в других областях их применения. В этом и состоит истинный смысл формулы капитализации, которой мы заменяем формулу сло-

жения доходов и будем в дальнейшем пользоваться более широко. Причиной капитализации постоянных доходов является существование процента. Именно по этой причине общая величина таких доходов приравнивается к сумме покупательной силы, которая, если дать ее взаймы, принесет процент, равный по абсолютной величине данному постоянному доходу. Из этого в свою очередь следует, что процесс образования ценности постоянного чистого дохода не мешает ему оставаться таковым (т. е. чистым доходом).

Таким образом, установив, как возникает ажио настоящей покупательной силы, мы ответим на все три вопроса, составляющие проблему процента. Если мы докажем, что приток благ к капиталисту объективно существует, что капиталист получает постоянный доход, который он не должен отдавать другим хозяйственным субъектам, это полностью разрешит нашу проблему. Тем самым мы автоматически докажем и то, что данный доход является чистым доходом, приростом ценности. Теперь мы непосредственно приступим к нашему доказательству, в процессе которого постепенно изложим нашу теорию того сложного и многогранного явления, каким является процент.

10. Чтобы придать нашему изложению последовательность, поставим вначале общий вопрос: при каких условиях хозяйственный субъект стремится получить ссуду, зная о том, что ему впоследствии придется вернуть бóльшую сумму? Причиной тому может быть особая пассивность и слабохарактерность потенциального заемщика. Если кругозор экономического субъекта у́же, чем этого требует его положение в народном хозяйстве, он до известного предела может не интересоваться собственным будущим или по крайней мере ощущать будущие потребности не так ясно и отчетливо, как настоящие. Для такого хозяйственного субъекта сто денежных единиц сегодня вполне могут быть равноценны двумстам в отдаленном будущем. Таким образом, здесь есть необходимые условия для обмена с другим субъектом, который оценивает сто денежных единиц с тем же сроком возврата не ниже или по крайней мере не намного ниже, чем заемщик. Такому субъекту заемщик готов дать обязательство заплатить в согласованный ими момент времени в будущем сумму, вдвое превышающую величину кредита. Предположим, что потенциальный кредитор — это хозяин, из года в год осуществляющий неизменный хозяйственный процесс. Тогда, если даже в настоящий момент у него есть нужные заемщику сто денежных единиц, они наверняка предназначены для каких-то определенных, ежегодно случающихся в это время расходов. При этих предпосылках — от накопленных денег мы абстрагируемся — наш хозяин не согласится отдать сто денежных единиц, чтобы получить точно такую же сумму в будущем. Это создаст для его хозяйства трудности, которые не сможет компенсировать будущий возврат ссуды. Кроме того, согласно закону убывающей предельной полезности,

10-6854

сто денежных единиц, которые он получит в будущем, будут стоить меньше, чем те, что он отдает в настоящий момент, потому что потребности, остающиеся неудовлетворенными сейчас, важнее, чем те, которые можно удовлетворить в будущем.

Итак, заемщик должен пообещать заимодавцу возврат большей суммы не только для того, чтобы заинтересовать последнего в заключении сделки, но и для того, чтобы возместить убыток, который должна причинить ему ссуда при наших предпосылках. Этот убыток, как и всякую ценностную величину, можно точно определить.

Предположим, что кредитор сможет компенсировать трудности, возникшие в его хозяйстве, если за сто своих денежных единиц он получит в будущем сто двадцать. В этом случае ссудная сделка не принесет ему ни прибыли, ни убытка. Тогда допустимая цена займа в сто денежных единиц — а речь здесь идет именно о цене — будет находиться в промежутке от ста двадцати до двухсот будущих денежных единиц. Цена ниже ста двадцати не устроит заимодавца, выше двухсот — заемщика. Если бы сделка сводилась к противостоянию двух обособленных контрагентов, то в данных пределах цена (в соответствии с теорией) определялась бы сообразительностью, информированностью и другими личными качествами хозяйственных субъектов. Добавим, что хотя сами цены нельзя точно определить из априорных соображений, но в конечном счете для обеих сторон соотношение предельных полезностей настоящих и будущих денег будет величиной, обратной их меновой пропорции.

Конечно, это лишь схема, с помощью которой мы хотим объяснить процессы, происходящие в народном хозяйстве, хотя для рассматриваемой нами категории займов такая ситуация может сложиться и в реальной действительности: очевидно, что в отличие от прочих обменивающихся хозяйственных субъектов потенциальный заемщик часто не выходит на рынок денег, а обращается непосредственно к конкретному заимодавцу. Если же друг другу противостоит множество заемщиков и множество кредиторов, то на деньги, как и на все прочие товары, устанавливается единая цена. Мы применили к данному случаю общую схему процесса обмена, исходя из самих фактов и не делая никаких особых предположений о природе и функциях денег и т. д.

Очевидно, что займы этого типа должны встречаться очень часто и не только в ходе развития. Другая группа таких займов связана главным образом с внезапным появлением новых и преходящих потребностей или случайных помех, затрудняющих нормальное функционирование частного хозяйства. Во всех этих случаях конкретный хозяйственный субъект оценивает определенную сумму денег выше, чем обычно, и, чтобы приобрести ее, готов уплатить в будущем большую сумму. С другой стороны, есть люди, которые ради того, чтобы получить выигрыш в деньгах, готовы претерпеть трудности, связанные —

в соответствии с нашими предпосылками — с предоставлением займа. Таким образом, в любой момент времени в экономике будет существовать спрос на такого рода ссуды и предложение их. Как и на другие блага, на эти ссужаемые деньги будет устанавливаться цена, поскольку даже в рамках кругооборота денежные единицы будут обладать хотя бы небольшим ажио или дизажио.

Это противоречит нашему утверждению, что в ходе кругооборота стоимость денег остается на уровне номинала, точно так же как вызванное многими причинами превышение цены товара над издержками его производства противоречит закону равенства цен издержкам. Но этот случай представляет собой малоинтересное и не имеющее большой практической важности исключение из правила. Само собой разумеется, что человек, который надеется получить наследство или улучшить свое финансовое положение каким-либо иным способом, оценивает настоящие деньги выше будущих. Столь же очевидно, что человек пожилого возраста, ожидающий в перспективе уменьшения доходов, исходит из противоположной предпосылки. В первом случае мы имеем дело с процентом, во втором — с дизажио. На каком уровне установится рыночная цена денег при таких условиях, сказать трудно. Ясно одно: процент не будет иметь при этом большого экономического значения. Существовать за его счет сможет лишь кучка ростовщиков. Выплата процента в таких условиях — это аномалия. Поэтому мы с полным основанием исключили процент из нашего анализа кругооборота. *В кругообороте он не является существенным элементом экономики.* Итак, оставим этот случай и пойдем дальше.

В известном смысле заемщик всегда получает больше, чем отдает, потому что для него полезность полученного кредита должна быть больше, чем сумма, которую он должен вернуть. (По крайней мере так должно ему казаться, чтобы он решился на сделку.) Это банальное соображение, разумеется, не означает, что заемщик никогда не может остаться внакладе. В любой сделке кто-то может быть одурачен, но тем не менее несомненно, что в основе ее всегда лежит подлинная или воображаемая выгода для «обделенного». Это звучит несколько странно только потому, что мы невольно думаем сейчас о типе легкомысленного должника. В подавляющем же большинстве случаев долги люди делают тогда, когда рассчитывают улучшить свое положение, и тогда получаемый ими выигрыш в полезности очевиден.

Однако полноправными элементами хозяйственной жизни кредит и процент могут стать лишь тогда, когда заемщик будет получать больше, чем отдает, еще и в другом смысле: когда с помощью взятых в долг денег он сможет заработать больше, чем ему придется отдавать. Но в рамках находящегося в равновесии рынка получить бóльшую сумму, затратив меньшую, невозможно. Какую бы из общеизвестных и традиционных возможностей помещения своих ста денежных единиц я ни

избрал, мой доход все равно не превысит тех же самых ста единиц. Даже если я вложу эти средства в один из существующих видов производства, выручка от продажи продукта составит не более, а может быть и менее, ста денежных единиц. Состояние равновесия как раз и предполагает, что достигнута лучшая в данных условиях (понимаемых очень широко) комбинация производительных сил. Ценность денежной единицы при этом должна оставаться на уровне номинала, поскольку предполагается, что все выгоды от арбитражных сделок уже получены и теперь от них можно отвлечься. Если я на свои сто денежных единиц куплю услуги труда и земли и с их помощью осуществлю наиболее выгодный процесс производства, то свой продукт я смогу сбыть за те же сто единиц, поскольку в ценностях и ценах средств производства уже учтена возможность такого их применения. Точно так же ценность покупательной силы в нашем смысле определяется по самому выгодному способу ее применения.

Только в условиях развития положение меняется. В процессе развития я могу получить и более высокую выручку за свой продукт. Это произойдет в том случае, если я осуществлю новую комбинацию производительных сил, купленных за сто денежных единиц, и вынесу на рынок новый, обладающий большей ценностью продукт. Дело в том, что в ценах средств производства не учитывается возможность их нового применения. Здесь, следовательно, денежная сумма может служить средством, чтобы получить бóльшую сумму. Именно поэтому в экономической практике настоящие деньги, как правило, ценятся выше будущих. Именно поэтому находящиеся на руках в данный момент денежные суммы представляют суммы, потенциально бóльшие, и имеют ажио по ценности, а следовательно, и по цене. Этим и объясняется существование процента. В процессе развития получение ссуд и их предоставление становятся существенными элементами хозяйственной жизни. При этом иногда возникает явление, получившее название «относительная нехватка капитала», или «отставание предложения капитала от спроса на него». Только когда поток благ в народном хозяйстве расширяется и обогащается новыми благами, процент выступает на первый план, и тогда уж нужен долгий анализ, чтобы доказать, что процент вовсе не был изначально присущ всякой экономике.

11. Рассмотрим подробнее процесс образования процента. Учитывая все сказанное выше, он сводится к установлению цены на товар «покупательная сила». Это выражение уже нет нужды пояснять — оно не должно более вызывать никаких сомнений и неясностей. При этом вначале мы ограничимся только самым важным случаем, к которому непосредственно подошли в прошлой главе: обменом между предпринимателем и капиталистом. Затем мы рассмотрим побочные ответвления процента.

С нашей точки зрения только для предпринимателей наличная покупательная сила имеет большее значение, чем ей обычно придается в рамках кругооборота. Именно они, и никакие другие хозяйственные субъекты, могут, затратив меньшую сумму денег, получить большую. Нас интересует здесь сущность процесса, поэтому мы спешим лишний раз подчеркнуть, что исходной предпосылкой нашего анализа является существование экономики, целиком стоящей на позициях кругооборота (за исключением группы хозяйственных субъектов, которые мы назовем предпринимателями) и в которой никто сознательно не стимулирует процессы развития. Тогда наше утверждение, что только предприниматели, исходя из потребностей своей хозяйственной деятельности, склонны более высоко оценивать покупательную силу, самоочевидно. Именно они предъявляют спрос на деньги, поднимая их ценность выше номинала в нашем понимании слова.

Спросу предпринимателей соответствует предложение со стороны капиталистов. Вначале, как и при рассмотрении потребительского кредита, мы оставим в силе предпосылку о том, что платежные средства, необходимые для осуществления новых комбинаций, извлекаются из кругооборота. Это значит, что мы абстрагируемся от создания кредитных платежных средств. Далее, поскольку мы рассматриваем экономику, для которой развитие не является типичным, то рассчитывать на большие запасы свободной покупательной силы нам не приходится. При таких условиях «капиталистом» будет всякий, кто захочет ссудить предпринимателю некоторую сумму денег, извлеченную из собственного хозяйства. Это возможно, если потенциальный заимодавец урежет свои производственные или потребительские расходы. Само собой разумеется, мы предполагаем также, что масса денег в экономике в принципе не увеличивается (например, вследствие открытия новых месторождений золота). При этих предпосылках мы и рассмотрим первоначально проблему процента.

Итак, между предпринимателями и владельцами денег происходит обмен, похожий на всякий прочий. Для всех участвующих в обмене хозяйственных субъектов нам известны стабильные кривые спроса и предложения. Спрос предпринимателя определяется будущей предпринимательской прибылью, которую он рассчитывает получить, заняв определенную сумму денег. Мы будем считать эти кривые спроса непрерывными, как и для других благ, хотя из этого правила на практике есть исключения. Очень маленькая ссуда, размером в несколько денежных единиц, особого смысла для предпринимателя не имеет. В некоторых точках, а именно там, где появляется возможность внедрить важное изобретение, кривая спроса должна иметь разрыв. Наконец, достигнув точки, соответствующей сумме, с помощью которой

предприниматель может осуществить все свои планы, кривая его спроса резко упадет (возможно, до нуля). Но если рассматривать процесс в масштабах всего народного хозяйства, где действует множество предпринимателей, эти обстоятельства, как известно каждому теоретику, теряют свое значение. Поэтому мы имеем право предположить, что предприниматель может любой денежной сумме — от нуля до высшей практически достижимой границы — поставить в соответствие определенную величину предпринимательской прибыли, так же как всякий хозяйственный субъект может дать любому количеству какого-либо блага определенную оценку. Этот тезис может на первый взгляд показаться странным, но он носит вспомогательный характер и необходим для дальнейшего изложения.

Ценностная оценка нормальным хозяйственным субъектом своего, обычного для каждого хозяйственного периода, денежного резерва определяется равновесной субъективной оценкой меновой ценности каждой денежной единицы. То же правило действует и для денежных излишков сверх этого традиционного резерва. Оно определяет кривую ценностной оценки каждым хозяйственным субъектом своих денежных средств и тем самым (согласно известным законам) — кривую предложения денег на рынке[28]. Теперь нам надо описать «борьбу вокруг денег», которая разгорается между предпринимателями и потенциальными заимодавцами.

В качестве исходного пункта представим себе, что рынок денег является чем-то вроде биржи и кто-то для пробы объявляет определенную цену покупательной силы. Учитывая наши допущения, мы должны ожидать, что цена эта будет очень высокой, поскольку кредитору придется столкнуться со значительными трудностями в своем хозяйстве. Предположим, что объявленная цена ста единиц покупательной силы, выраженная в будущей, составляет сто сорок единиц (при условии, что покупательная сила берется на год). При ажио, равном 40%, спрос на деньги могут предъявить только те предприниматели, которые надеются получить предпринимательскую прибыль в размере свыше 40% вложенной суммы, — все остальные фактически не имеют доступа на рынок денег. Допустим также, что охотники получить ссуду на таких условиях нашлись. Следуя принципу: «Лучше выиграть хоть немного, чем бездействовать»[29], — они готовы заплатить такой процент за нужную им сумму покупательной силы. По другую сторону рынка денег, среди заимодавцев, также найдутся люди, которые не согласны вступать в сделку при такой ставке процента. Для лиц с не-

[28] Подробнее см.: «Wesen...». Op. cit. (Более тщательное — с точки зрения теории цен — изложение не входит в наши планы.)

[29] См.: E. Böhm-Bawerk. Kapital, II. Bd.

большими доходами предоставление ссуды создаст такие трудности в течение срока займа, что их не окупит даже большой прирост ценности в будущем. Но предположим, что ряд кредиторов считает эту компенсацию удовлетворительной. Теперь им надо решить, какой величины ссуду они в состоянии предоставить. 40% будет достаточной компенсацией лишь при определенном, своем у каждого заимодавца, размере займа. Если этот рубеж будет превзойден, тяготы текущего хозяйственного периода превысят прирост полезности в следующем периоде. Да и с точки зрения общей экономической теории размер займа должен быть таким, чтобы его превышение было невыгодным, потому что если это не так и ссуда большей величины дает большую выгоду, то ни один хозяйственный субъект, согласно общим принципам теории, не сможет пройти мимо такой заманчивой возможности.

Итак, при «объявленной» цене спрос и предложение определяются однозначно. Если они случайно совпадут, цена останется на объявленном уровне, т. е. ставка процента будет равна 40%. Если же при этой ставке спрос со стороны предпринимателей превысит предложение, будет предложена более высокая цена. При этом часть предпринимателей выйдет из игры, а по другую сторону прилавка появятся новые кредиторы. Процесс будет продолжаться, пока спрос и предложение не уравняются. Если же при данной цене предприниматели не могут употребить в дело все предлагаемые им деньги, заимодавцы понизят цену. При этом часть их сойдет со сцены, зато на рынке появятся новые предприниматели, и так будет, пока не установится равенство.

Таким образом, как и на других рынках, цена покупательной силы устанавливается в борьбе продавцов и покупателей. Поскольку обе стороны в принципе оценивают настоящие деньги выше будущих (предприниматель — потому, что рассчитывает увеличить наличную сумму денег, а заимодавец — потому, что при наших допущениях настоящие деньги необходимы для функционирования его хозяйства, тогда как будущие воспринимаются только как дополнение к нему), цена денег на практике всегда должна превышать их номинальную стоимость, хотя теоретически можно представить себе случай, когда спрос предпринимателей настолько мал, что его способно удовлетворить предложение со стороны тех заимодавцев, которым временный переход их денег в чужие руки доставляет удовольствие.

Поскольку для нас важны не детали, а общий принцип, мы избрали здесь краткую и упрощенную форму изложения. В реальной действительности извлечение денег из прежних областей их применения не играет важной роли, и мы касаемся этого вопроса только для того, чтобы подготовиться к дальнейшему анализу. Поэтому мы не будем здесь исследовать то неблагоприятное влияние, которое этот процесс

должен, по идее, оказывать на экономику, равно как и некоторые другие обстоятельства, не представляющие для нас особого интереса. Их анализ только без нужды задержал бы нас. Так, например, влияние на процент фактора риска бесспорно, но здесь я не вижу смысла указывать на то, что в каждом конкретном случае рыночный процент зависит также и от риска, связанного с созданием данного предприятия. Это и так всем ясно. Очевидно также, что рынок денег, как и всякий рынок, не обладает идеальным совершенством, и кредитор, как правило, предоставляет обычные ссуды (т. е. без обеспечения и поручительства) только известным ему предпринимателям, планы которых он понимает и одобряет. Это, конечно, затрудняет свободную конкуренцию на рынке денег. Все эти вопросы, кажется, полезнее обойти, чем обсуждать.

Результат нашего анализа можно, как и для всякого процесса ценообразования, сформулировать на языке теории «предельных пар».

С одной стороны, величина процента равна предпринимательской прибыли «последнего» предпринимателя, т. е. последнего из тех, кто сможет получить заем при данных цене и предложении. Это именно тот предприниматель, который надеется в случае успеха своего плана получить доход, позволяющий выплатить процент, и только. Если, учтя разную степень риска, мы проранжируем предпринимателей по величине прибыли, которую они надеются получить, то окажется, что те, чьи планы менее заманчивы, естественно, менее способны к обмену, а тот, кто сможет добиться большей прибыли, согласится и на более высокий процент. Если мы представим себе непрерывный ряд предпринимателей, то среди них всегда найдется хотя бы один, чья ожидаемая прибыль в точности равняется величине процента. Он занимает промежуточное положение между теми, кто добивается более высокой прибыли, и теми, кто вытесняется с рынка, поскольку их прибыль была бы меньше, чем процент. Так дело обстоит в теории. На практике даже «последний», или «предельный», предприниматель получает хотя бы маленький излишек. Но всегда существуют предприниматели, у которых этот излишек настолько мал, что при малейшем повышении процента они уже не смогут предъявить спрос на покупательскую силу. Их положение соответствует ситуации существующего в теории предельного предпринимателя. Поэтому мы можем утверждать, что процент всегда равен минимальной фактически реализуемой предпринимательской прибыли. В этом положении есть известное сходство с традиционной теорией, но, как легко заметит читатель, сходство это по форме, а не по содержанию.

С другой стороны, процент должен равняться ценностной оценке своих денег «последним», или «предельным», капиталистом. Понятие

«предельного» капиталиста можно получить, внеся соответствующие изменения, таким же путем, что и понятие «предельного» предпринимателя. Кредиторов также можно проранжировать, причем на первом месте будет стоять тот из них, кто, либо располагая бóльшим доходом, либо имея меньшие потребности (а чаще всего по обеим этим причинам), оценивает денежную единицу ниже, чем все остальные, а значит, наиболее способен к обмену и т. д. Дальнейшие рассуждения может проделать сам читатель. Ясно, что с этой точки зрения процент должен быть равен оценке ценности денег, данной последним кредитором, которая должна совпадать с оценкой последнего предпринимателя. Ясно и то, как следует развивать этот вывод — это достаточно часто делается в литературе. Но есть один момент, который нам хотелось бы выделить. Оценка стоимости денег капиталистом зависит от того, насколько он заинтересован в нормальном функционировании своего хозяйства. Другими словами, выдача ссуды требует жертв и «предельная» жертва «предельного» капиталиста должна соответствовать его оценке прироста ценности, которая проявляется в виде процента. Тогда процент должен быть равен наибольшей, или предельной, жертве, которую должен принести отдельный капиталист, чтобы удовлетворить существующий при данной ставке процента спрос на деньги. Таким образом, мы можем использовать и термины теории воздержания. При этом, конечно, мы не считаем жертвой «ожидание» как таковое и не делаем никаких содержательных уступок этой теории.

12. Именно так возникал бы процент, если бы промышленное развитие действительно финансировалось за счет средств кругооборота. Но мы наблюдали, что процент выплачивается также и за *ad hoc* (со специальной целью) созданную покупательную силу, а именно за кредитные платежные средства. Это возвращает нас к выводам глав второй и третьей нашей книги. Теперь настало время их использовать. Мы видели там, что в развитом капиталистическом народном хозяйстве процесс развития в принципе мог бы совершаться с помощью кредитных платежных средств. Эту истину мы усваиваем здесь целиком, еще раз напоминая при этом о том, что крупные денежные резервы образуются только как следствие развития, и поэтому мы должны вначале от них абстрагироваться.

Введение этого момента меняет нашу прежнюю картину действительности, но не делает ее непригодной по существу. То, что мы говорили о тех аспектах процессов, протекающих на денежном рынке, которые тесно связаны со спросом, полностью сохраняет свою актуальность. Спрос, как и прежде, предъявляется со стороны предпринимателей, причем в тех же самых формах, как и в описанном нами случае. Отдельные изменения наблюдаются лишь в процессах, имеющих

отношение к предложению. В основе предложения отныне лежат уже другие процессы. Появляется принципиально новый, принципиально иной источник покупательной силы, который не может возникнуть в рамках хозяйственного кругооборота. Предложение теперь исходит от других людей, от по-другому определяемых «капиталистов», которых мы, как и прежних, будем именовать «банкирами». Меновые (бартерные) сделки, которым процент в данном случае обязан своим существованием и которые в соответствии с нашей теорией действительно представляют собой то ядро, вокруг которого в современном народном хозяйстве концентрируются все прочие основанные на деньгах обменные операции, совершаемые между предпринимателем и банкиром. Это всего-навсего вывод, к которому мы пришли гораздо раньше, осознав, что, во-первых, деньги играют важную самостоятельную роль в процессе развития и что, во-вторых, кредитные платежные средства *могут* исполнять эту роль *сами, без участия денег,* как это, *по существу,* и происходит в реальной жизни: в специальной литературе по банковскому делу, в частности, также широко признается, что банковские авуары в этом смысле надлежит рассматривать как «деньги».

Следовательно, мы поймем существо основного случая явления процента, если нам удастся сформулировать условия предложения кредитных платежных средств. Моменты, определяющие его, нам известны: во-первых, фактор риска, связанного с возможной неудачей предприятия, во-вторых, возможность того, что кто-то неожиданно предъявит кредитные платежные средства к погашению. Первое обстоятельство мы можем не рассматривать в ходе нашего дальнейшего изложения. Для этого будем считать, что в «номинальную цену» кредита включена надбавка за риск, величина которой определяется опытным путем. Если, скажем, 1% всех предоставленных кредитов не может быть взыскан кредитором, т. е. банком, то он тем не менее останется при своих деньгах при условии, что станет взимать с каждого «здорового» кредита дополнительно 1,01%. В таком случае величина предложения будет всецело зависеть от второго момента, а именно от недопущения возникновения разницы между ценностями вновь созданной и существующей покупательной силы. Нам надлежит еще показать, что процесс формирования ценности и цены вновь созданной покупательной силы также порождает ажио, т. е. процент.

Прежде всего нам необходимо определить тот источник, из которого банкир может получать постоянный доход, если предположить, что в принципе никакого ажио покупательной силы не существует. Деятельность банкира, связанная с выбором среди массы предпринимателей, желающих получить кредит, именно тех, кому бы он мог бы

без особого риска доверить свои средства, а также с принятием решения о виде и размере предоставляемого кредита, — это работа профессионала, имеющая свои трудности, свои сложности. Ею никто не занимался бы, если бы не существовало особого экономического вознаграждения за нее. И тогда ни о каком «создании покупательной силы» не было бы и речи, а предприниматели — при условии, что здесь все-таки имело бы место капиталистическое развитие, — пытались бы получать необходимые им деньги у отдельных хозяйственных субъектов описанным выше способом. Поэтому банкир, который избавляет их от подобной участи, вроде бы должен получать — к примеру, в форме комиссионных — некое подобие заработной платы. На самом деле данное обстоятельство не имеет самостоятельного значения, поскольку есть объясняемый совершенно иными причинами процент, который дает банкиру компенсацию за его деятельность.

До сих пор у нас сохранялась абстрактная возможность существования отрицательного процента. Это имело бы место в том случае, если бы спрос на деньги для новых предприятий был меньше предложения со стороны тех людей, которым временная передача собственных денег в чужие руки «доставляет удовольствие». Здесь же это полностью исключено. Банкир, получающий меньше, чем он дает, стал бы нести убытки, и он должен был бы как-то компенсировать их, поскольку был бы просто не в состоянии полностью удовлетворить возвращающиеся к нему требования. Итак, в этом случае процент не может опускаться ниже нуля.

Более того, он всегда должен быть выше нуля, поскольку спрос предпринимателей на покупательную силу имеет одно важное отличие от спроса на обычные блага. В рамках кругооборота спрос постоянно должен опираться на текущее предложение благ, иначе он не окажется «эффективным». Спрос предпринимателя на покупательную силу в отличие от его же спроса на конкретные блага не связан данным условием.

Он ограничен менее жестким условием: предприниматель обязан уплатить цену кредита в будущем. Но поскольку даже тогда, когда эта цена была бы «номинальной» и не содержала бы процентной надбавки, предприниматель предъявлял бы свой спрос на покупательную силу только в том случае, если бы он мог с помощью кредита получать прибыль, — в противном случае у него не было бы никакого стимула, а деятельность его предприятия нельзя было бы рассматривать как ориентированную на достижение экономического успеха, — постольку мы вправе сказать, что предприниматель предъявляет эффективный спрос на покупательную силу, только если рассчитывает с ее помощью получить прибыль. Отсюда вытекает и соотношение между

спросом и предложением. Как было показано в главе второй, количество новшеств при любом состоянии экономики практически безгранично. Самое богатое народное хозяйство не является абсолютно совершенным, да и не может быть таковым. В нем всегда что-то можно улучшить, но стремление к улучшениям имеет свои пределы, которые обусловливаются не достигнутым уровнем совершенства, а складывающимися обстоятельствами. Любой шаг вперед открывает заманчивые перспективы. Каждое усовершенствование раздвигает рамки кажущегося абсолютным совершенства. Поэтому возможности получить прибыль, а значит, и «потенциальный спрос» на кредит на первых порах бесконечно велики. Следовательно, при проценте, равном нулю, спрос должен быть больше предложения, которое, даже если оно и значительно по своим размерам, все же всегда ограничено.

Но все эти возможности получения прибыли вне конкретной связи с личностью предпринимателя остаются просто на бумаге. В принципе нам известно только то, что новшества, приносящие прибыль, в экономике «возможны», но не тогда, когда они осуществляются конкретными хозяйственными субъектами в таких масштабах, что спрос на покупательную силу при проценте, равном нулю, оказывается всегда больше предложения. Но это еще не все. Существование экономики, лишенной развития, свидетельствует о том, что здесь вообще может не быть лиц, способных и склонных к осуществлению новшеств. Нельзя ли в таком случае, как бы ни мало было число этих лиц, сделать вывод о том, что предложение не только не исчерпано, но, более того, недостаточно для удовлетворения потребностей всех? На это ответим, что если бы на покупательную силу вообще не существовало спроса или он был бы крайне незначительным, то не было бы никакого создания покупательной способности, а спрос на кредитные платежные средства просто отсутствовал бы[30]. Но в нормальных условиях, если отвлечься от кратких и быстро преодолеваемых периодов регресса, спрос на деньги со стороны предпринимателей, если он представляет для народного хозяйства заметное явление, при проценте, равном нулю, не может быть меньше предложения. Тому есть причина. В главе шестой мы будем иметь возможность более подробно показать, как появление одного предпринимателя облегчает появление других. Там будет показано, что сопротивление новому тем меньше, чем больше привыкает общество как социальное целое к этому новшеству, и что

[30] Во избежание возможных недоразумений отметим: процессы кругооборота могут в принципе осуществляться с помощью кредитных платежных средств. В этом случае последние должны обращаться беспроцентно и *alpari*. Но для того, чтобы возник стимул к созданию большего количества кредитных платежных средств, должен существовать процент.

технические сложности учреждения нового предприятия постепенно уменьшаются, поскольку однажды созданные первопроходцами связи с новыми рынками, введенные ими в практику новые формы кредитования и т. п. идут на пользу их последователям. Итак, чем больше число успешных оснований предприятий, тем легче стать предпринимателем. Из практики нам известно, что успехи первооткрывателей на ниве предпринимательства, как, впрочем, и во всех других областях человеческой деятельности, вовлекают в эту сферу все больше желающих к осуществлению новых комбинаций. Спрос на капитал сам по себе порождает новый спрос. Поэтому любому, пусть даже значительному, но всегда ограниченному по своей величине предложению на денежном рынке противостоит безграничный эффективный спрос, что и требовалось доказать.

Именно по этой причине процент всегда находится выше нулевой отметки. Но даже минимальный процент уже не допускает на денежный рынок многих предпринимателей, а его повышение вообще закрывает им путь туда. Хотя возможностей получать прибыль бесконечно много, но все они различны, а подавляющая часть этих возможностей дает лишь незначительный доход. Кроме того, существование процента увеличивает предложение денег, величина которого жестко не фиксируется, но сам процент от этого не исчезает. На денежном рынке разгорается конкурентная борьба, которую мы не станем здесь лишний раз описывать, и в каждый момент времени под воздействием всех элементов народного хозяйства формируется определенная цена покупательной силы, которая должна включать в себя процент.

Так именно должно было бы складываться положение вещей, если бы капиталистическое развитие вытекало непосредственно из статичного состояния экономики. Разумеется, я не утверждаю, что изложенная схема отражает действительную историю развития процента. Рассмотренный выше случай представляет нам процент в его чистом виде. На данном примере мы наиболее отчетливо видим, что процент в значительной мере есть продукт капиталистического развития и не является самостоятельным элементом в некапиталистической экономике. Как уже подчеркивалось, нет ничего странного в том, что существенные черты того или иного явления лишь со временем начинают проявляться достаточно отчетливо. Не противоречит логике и соотнесение этих существенных черт с первоначальным состоянием явления, с тем состоянием, в котором нет никаких признаков его будущего развития. Это получится как бы само собой, если отбросить все второстепенные моменты. Одно дело — дать историческое описание действительности, другое — дать ее логическую схему. С исторических позиций мы вправе лишь утверждать, что самое характерное для процента постоянно

проявлялось только в тех элементах капиталистической экономики, которые существовали и в предшествующих формациях. Совершенно очевидно, что источником процента не могла быть торговая прибыль, поскольку он как таковой представляет собой вознаграждение, или предпринимательскую прибыль[31].

13. Приступим теперь к рассмотрению фактов реальной действительности, от которых мы ранее абстрагировались, для того чтобы сформулировать наш основополагающий принцип процента. Во-первых, нам предстоит перечислить все источники существующей — в отличие от будущей — покупательной силы, фактически питающие денежный рынок. Во-вторых, нам надо показать, как расчетная форма, именуемая процентом, распространяется на всю рыночную экономику, пронизывает все народное хозяйство, в результате чего создается впечатление, что здесь проценту уделяется гораздо больше места, чем следует из нашей теории. Лишь решив эти две задачи и дав исчерпывающее объяснение явлению процента, мы сможем считать нашу проблему решенной.

Первая задача не представляет для нас никаких трудностей. Прежде всего, как уже говорилось, любая конкретная фаза развития начинается с использования наследия предшествующей. Запас покупательной силы может образоваться и в докапиталистическом рыночном хозяйстве. Так или иначе в народном хозяйстве всегда имеется большее или меньшее количество покупательной силы, которая может быть предоставлена в распоряжение новых предприятий на длительное время или на определенный срок. По мере того как капиталистическое развитие набирает темпы, на рынок устремляется поток свободной покупательной силы, мощь которого непрерывно увеличивается и который как бы разбивается на три более мелких потока. Это, во-первых, «инвестируемая» предпринимательская прибыль. При всем том нам совершенно безразлично, вкладывает предприниматель прибыль в свое собственное предприятие или направляет ее полностью, а может быть, и частично на денежный рынок. Это, во-первых, высвобождение определенных денежных сумм в результате ухода самого предпринимателя или его наследников от дел и последующей за ним ликвидации предприятия, без которых неизбежно связанными оказались бы другие денежные суммы. Это, в-третьих, прямое или косвенное поступление на денежный рынок прибылей, возникающих в результате «обратного воздействия процесса развития» и попадающих в руки не предприни-

[31] Наше утверждение, разумеется, не противоречит тому историческому факту, что первым в истории значительным источником прибылей была торговля. Мы не согласны лишь с тем, что примитивный торговый процент был процентом в собственном смысле слова.

мателей, а других индивидов. Обратим наше внимание на то обстоятельство, что данный процесс является побочным — помимо того, что он продукт процесса развития, — и в ином смысле: покупательную силу здесь привлекает на денежный рынок возможность получить процент. Получение процента — та единственная причина, которая побуждает владельца денег ссужать их, а не накапливать в виде сокровищ и не расходовать на приобретение различных благ.

Похоже обстоит дело и с другим моментом. Мы убедились, что в народном хозяйстве, в котором отсутствует развитие, сбережения не должны иметь существенного значения[32]. Поэтому, когда говорят о величине годовых сбережений современной нации, имеют в виду, как правило, сумму тех прибылей от развития, которые никогда не становятся элементами дохода. Хотя в процессе развития значение сбережений как таковых, по-видимому, не столь велико, чтобы стать важным фактором удовлетворения потребностей промышленности, тем не менее здесь появляется новый, не известный статичной экономике вид сбережений — «собственно сбережения». Тот факт, что есть возможность обеспечить себе постоянный доход от некоторой суммы денег, является стимулом к осуществлению такого рода сбережений. На это можно возразить, что, поскольку сберегаемая сумма все время возрастает, ее предельная полезность автоматически снижается, и поэтому хозяйственный субъект сберегал бы еще больше, если бы не получал процента. Впрочем, ясно, что, в общем, существование процента, позволяющее по-новому употреблять сберегаемые деньги, ведет к значительному росту сбережений. Последнее, разумеется, не означает, что каждое повышение процента вызовет если не пропорциональный, то хотя бы какой-нибудь рост. Отсюда следует, что реальные сбережения, с которыми мы имеем дело в экономике, в известной степени объясняются существованием процента. Они обеспечивают «дополнительный приток покупательной силы» на денежный рынок.

Третий источник, питающий рынок денег, — это временно высвободившиеся суммы денег, владельцев которых также привлекают перспективы получить процент. К ним относится высвобождающийся в каждый конкретный момент времени оборотный капитал. Банки сосредоточивают эти средства у себя: высокоразвитая техника банковских операций дает возможность использовать каждую денежную единицу, даже предназначенную для предстоящих расходов, для увеличения предложения покупательной способности. Здесь важно также упомянуть еще об одном обстоятельстве. Мы смогли убедиться в том, что причина существования кредитных платежных средств и сама их

[32] См. главу вторую.

суть не имеют ничего общего с «экономией металлических денег». Конечно, обращение кредитных платежных средств приводит к тому, что металлических денег используется меньше, чем если бы все сделки осуществлялись только при посредстве этих последних. Но дело в том, что сделки, обслуживаемые кредитными платежными средствами, осуществляются и существуют только потому, что созданы эти средства. Таким образом, здесь нет никакой экономии денег. Однако нам необходимо признать, что кредитные платежные средства в банковских операциях выполняют еще одну функцию. Не довольствуясь кредитными платежными средствами, возникающими в процессе развития, желая увеличить массу покупательной силы, приносящей им процент, банки стремятся использовать кредит и в тех своих операциях, в которых прежде принимали участие металлические деньги. Следовательно, кредитные платежные средства начинают возникать и в результате осуществления банковских операций, что также увеличивает массу доступных денег.

Все эти факторы увеличивают предложение на денежном рынке и понижают процент существенно ниже того уровня, который существовал бы, если бы эти факторы не действовали. Очень быстро они свели бы его до нуля, если бы процесс развития постоянно не создавал все новых и новых возможностей применения денег. Всякий раз, как развитие приостанавливается, банкир не знает, что делать ему с имеющимися в его распоряжении деньгами. При этом цена денег может опуститься до номинальной ценности капитала, дополняемой премией за риск и вознаграждением за труд банкира. В таких условиях, и прежде всего на денежных рынках «государств-рантье», создание покупательной силы отходит на задний план и легко может сложиться впечатление, что банкир есть всего-навсего посредник между кредитором и кредитополучателем. Этот принцип лежит в основе как общей экономической теории, так и теории банковских операций. А отсюда уже всего один шаг до того, чтобы поставить на место ссужаемых кредитором денег конкретные блага, которые необходимы предпринимателю или тем, кто предоставляет ему необходимые средства производства.

Сказанное выше позволяет объяснить и другие хорошо известные факты экономической жизни, например то, что в каждый данный момент предприниматели пользуются в основном собственным капиталом, т. е. суммой покупательной силы, полученной от продажи произведенных благ. Данное обстоятельство, а также то, что состоятельным людям на заре капитализма легче было стать предпринимателями, а в настоящее время состоятельному предпринимателю легче получить кредит, чем предпринимателю, не обладающему солидным состоянием, явились причиной смешения понятий «предприниматель» и «капи-

талист» как в теории, так и на практике. На том же самом основании существо процента пытались обнаружить в результатах производственной деятельности. Мы делаем различие между капиталистами и предпринимателями и считаем процент самостоятельным видом дохода, существующим наряду с заработной платой и рентой. Под этим же углом зрения мы рассмотрим и тот случай, когда один предприниматель предоставляет другому кредит, не выставляя векселя, который он мог бы учесть в банке, а просто дожидаясь его погашения. Аналогичный случай — банкир, который в своих операциях пользуется только своим собственным имуществом.

Этот последний принадлежит к тому типу представителей класса капиталистов, который появился на свет в процессе развития благодаря существованию процента. Он отличается как от предпринимателей, так и от типичных банкиров. Это рантье, люди, живущие за счет процента. Возникающее в рамках предпринимательской деятельности ажио существующей на данный момент покупательной силы обеспечивает им постоянный доход.

Заметим попутно, что, как отмечал Бём-Баверк, процент запрашивают и выплачивают только потому, что это в принципе возможно. В качестве примера можно привести процент по банковским активам и активное сальдо на контокоррентных счетах. Никто ведь не рассматривает помещение денег в банк как специфическое вложение капитала. Деньги обычно вкладывает тот, кто по деловым или личным соображениям хочет иметь под рукой резерв покупательной силы. Вкладчик не отказался бы сам приплачивать банку за эту услугу. Но на практике ему достается часть процента, который получает банкир, ссужая его деньги другим людям. Когда это входит в обычай, никто уже не изъявляет желания вкладывать деньги в банк, который за это не платит. Процент достается вкладчику без всяких усилий с его стороны. Это явление глубоко проникает в экономическую жизнь. Тот факт, что каждая единица покупательной силы в принципе может приносить процент, дает ей ажио независимо от того, какой цели она на самом деле служит. В данный процесс вовлекаются и хозяйства, совершающие свой привычный кругооборот: им тоже приходится иметь дело с процентом. Каждую единицу покупательной силы теперь — словно магнит — притягивает денежный рынок. Противостоять этому притяжению невозможно. Само собой разумеется, что существование рыночной цены покупательной силы оказывает определяющее влияние во всех случаях предоставления кредитов. И для всех остальных видов кредита — государственные долги и т. п. — действуют те же закономерности, что и для основного вида, т. е. для кредита, предоставляемого предпринимателям.

14. Итак, процент постепенно распространяется на всю экономику и встречается наблюдателю гораздо чаще, чем это можно было предположить, исходя из сущности явления. При этом, как мы видели, время в известном смысле становится элементом издержек. Господствующая теория считает это вторичное явление основой существования процента. Именно этим и объясняются расхождения нашей концепции с господствующей теорией. Нам нужно сделать еще один шаг, решить еще одну проблему. Нам предстоит объяснить, почему в результате развития процент становится расчетной формой почти всех видов дохода, исключая заработную плату.

На практике нередко говорят о взимании процентов с земельной собственности, а также с патентов или других монопольных доходов. Иногда речь заходит даже о процентах с непостоянных доходов, например с денежных сумм или даже благ, используемых в спекулятивных операциях. Не следует ли отсюда, что источником процента является владение благами, а сам он не совпадает с той категорией, о которой мы говорили до сих пор?

Эта принятая в практике терминология наложила свой отпечаток и на экономическую теорию; в особенности это заметно в трудах наших американских коллег. Первый шаг в этом направлении сделал проф. Кларк. Рентой он назвал доход, который приносят конкретные производственные блага, а процентом — доход, регулярно приносимый «капиталом», т. е. — в его терминах — постоянным народнохозяйственным фондом производительной силы. Здесь процент сводится лишь к особому элементу дохода, получаемого от вещественных факторов производства, и не является самостоятельным видом дохода. Ту же самую идею намного решительнее и в несколько иной форме проводит проф. Феттер[33]. Но наибольший интерес представляет для нас теория проф. Фишера, изложенная в его труде «The rate of interest». Фишер объясняет существование процента только недооценкой будущих потребностей. Недавно ему удалось передать содержание своей теории всего одной фразой: «Процент — это нетерпение, выкристаллизовавшееся в рыночной ставке»[34]. Поэтому он связывает процент со всеми благами, от которых нельзя получить наслаждение немедленно. А поскольку все доходы от этих благ могут быть «капитализированы» и, следовательно, представлены в форме процента, то, по Фишеру, любой доход представляет собой процент: заработная плата — процент с «человеческого капитала» («Men-

[33] См. по этому поводу мою статью о современных экономических теориях в Соединенных Штатах, опубликованную в «Schmollers Jahrbuch 1910», где есть ссылки на соответствующие работы Феттера.

[34] *Scientia (Rivista di Scienza)*, 1911.

schenkapital), рента — процент с земельного капитала (Bodenkapital), а всякий иной доход — процент с основного капитала, заключенного в произведенных средствах производства. Любой доход представляет собой дисконтированную (учтенную банком) ценность продукта — вернее, ценность удовлетворения потребности, — причем размер учетной ставки определяется нормой недооценки будущих наслаждений. Совершенно ясно, что мы не можем принять эту теорию хотя бы потому, что не согласны с основной посылкой, на которой она строится. Опираясь на нее, Фишер пытается объяснить почти все экономические явления. По этой причине мы никак не соглашаемся ни с одним из его выводов.

Наш основной принцип, который должен помочь нам понять всеобщий характер расчетной формы процента, сводится к тому, что мы не видим сущность капитала в конкретных благах. Согласно нашей теории, конкретные блага ни при каких обстоятельствах не могут быть капиталом. Разумеется, любой владелец благ в развивающемся полным ходом народном хозяйстве имеет возможность продать их и получить капитал взамен. Поэтому, с точки зрения владельца, конкретные блага можно было бы назвать «потенциальным капиталом». Сказанное распространяется в первую очередь на землю и различного рода монополии[35]. Тому есть две причины. Во-первых, если мы абстрагируемся от рабовладения, то вправе сказать, что человек не может продавать свою рабочую силу как таковую. Что же касается запасов потребительских благ и произведенных средств производства, то их не существует в том смысле, в каком говорит об этом традиционная теория. Во-вторых, носителями дохода являются земля и монопольное положение. Поскольку капитал является таким же носителем дохода, то владелец капитала никогда не стал бы обменивать его на блага, которые не приносят дохода, или обменял бы только в случае, если бы ему предложили такую скидку с цены, которая позволила бы ему еще в текущем периоде реализовать соответствующую прибыль, а затем вновь инвестировать свой капитал в неурезанном виде. Но в последнем случае продавец благ нес бы сплошные убытки, на которые он пойдет в тех исключительно тяжелых обстоятельствах, о которых мы поговорим чуть ниже.

Итак, владельцы «даров природы» и монополисты в процессе развития имеют все основания сравнивать свои доходы с доходом, который приносит капитал. Если окажется, что владеть капиталом выгоднее, они могут продать принадлежащие им дары природы и монополь-

[35] Как легко заметит читатель, используя эту терминологию, я вовсе не хочу поставить под сомнение основополагающий тезис, согласно которому монопольные позиции не являются благами.

ное положение. На каком же уровне установится цена этих источников дохода? Как, вероятно, помнит читатель, мы в главе первой и здесь говорили, что если экономика находится в статичном состоянии, то в ней — за исключением особых случаев — нет не только возможностей, но и повода для отчуждения земли. Повода нет потому, что полученные от продажи земли деньги в этих условиях не приносят дохода. Возможности же не существуют потому, что теоретически покупатели не имеют в своем распоряжении свободных денег. В таком народном хозяйстве можно в лучшем случае обменять один земельный участок на другой, приносящий тот же доход, если каждая из сторон, участвующих в обмене, приобретает в итоге для себя более удобно расположенное угодье. И повод, и возможности отчуждения земли создаются процессом развития. И если сегодня говорят: «земля стала мобилизуемой» или «земля превратилась в потенциальный капитал», — то это означает только то, что она отчуждается. Хозяйственные субъекты в наши дни, естественно, обращают внимание на цену земли. Итак, в процессе развития впервые ставится вопрос о том, как определять ценность земли и монопольного положения как таковых. Это проблема ценности капитала, заключенного в них.

Особых трудностей в решении этой проблемы нет. Дары природы и монополия оцениваются как источники дохода. Ни один капиталист, если он руководствуется сугубо деловыми соображениями, не может оценивать земельный участок ни выше и ни ниже той суммы денег, которую может принести ему процент, равный ренте с данного участка. Если бы земля была дороже, ее нельзя было бы продать — мы оставляем здесь в стороне всем известные, но второстепенные моменты, — поскольку среди капиталистов не нашлось бы покупателя. Если бы земля стоила дешевле, то между привлеченными избыточным доходом капиталистами возникла бы конкуренция, которая и подняла бы цену до прежнего уровня. Вместе с тем ни один земельный собственник, если только он не находится в стесненных обстоятельствах, не уступит свой участок дешевле той суммы денег, процент которой равняется чистой ренте с него. Но он не сможет получить и больше этой суммы, так как капиталисту, выразившему согласие уплатить такую сумму, сразу же будет предложено множество земельных участков. Таким образом, «капитальная ценность» («Kapitalwert») источников постоянного дохода определяется вполне однозначно. Известные обстоятельства, ведущие обычно к повышению, а иногда и к понижению их цены относительно этого уровня, в принципе ничего не меняют.

Ядром рассмотренного нами решения проблемы капитализации является признание фундаментального факта существования процента,

приносимого покупательной силой. С ним сравниваются доходы, приносимые любым другим постоянным источником. Цена последних определяется механизмом конкуренции таким образом, что рассмотрение дохода от «потенциального» капитала в качестве истинного процента не означает совершения никакой практической ошибки. Мы можем констатировать, что любой постоянный доход связан с процентом, но связь эта чисто внешняя. Ценность источника дохода определяется величиной процента, сам же доход от этого процентом не становится. В обыденной же жизни это смешение понятий происходит. Более того, этот доход не зависит от процента, как было бы в том случае, если бы существо процента характеризовали понятием «учетный банковский процент по срочным операциям».

Наш вывод можно распространить и не на постоянные источники дохода — на такие, например, как квазирента, носящая временный характер. Нетрудно заметить, что при свободной конкуренции любой временный источник чистого дохода продается и покупается за ту сумму денег, которая за время его существования в состоянии принести процент, равный совокупному чистому доходу от этого источника. В реальной жизни речь идет здесь, как и в случае с постоянными доходами, о проценте на капитал покупателя, хотя последний вначале расстается со своим капиталом и получает не процент, а, скорее, ренту. А за какую сумму можно продать, например, доменную печь, если она не дает постоянного, т. е. монопольного, или временного, дохода, а эксплуатируется в рамках кругооборота, не принося прибыли (в данном случае мы полностью пренебрегаем земельной рентой)? Ни один капиталист не захочет вложить в нее свой капитал. Сделка, если только она состоится, должна не только возместить ему капитал после истечения срока службы доменной печи, но и обеспечить в период ее эксплуатации получение чистого дохода, равного проценту, который достался бы ему при ином помещении капитала. Поэтому, если покупатель приобретает доменную печь только для того, чтобы, оставаясь в рамках кругооборота, вложить в одно место все свои доходы, и не намеревается осуществить новую комбинацию, продавец должен будет продать ее по цене, которая была бы ниже издержек, т. е. себе в убыток. В противном случае покупатель не получит прибыли, равной проценту, который он мог бы получить за свои деньги.

Во всех этих случаях концепция, имеющая хождение в реальной жизни, неверна. Но нигде это не влечет за собой никаких практических последствий. В связи с этим заметим, что, объяснив данный факт, а не просто навязав практикам свою точку зрения, мы тем самым еще более укрепим свои теоретические позиции. Во всех рассмотренных случаях нам не составит особого труда объяснить, почему деловые

люди на практике пользуются неверной концепцией. В современном народном хозяйстве ставка процента играет весьма важную роль, она стала барометром общей экономической ситуации: без нее отныне не обходится ни одна хозяйственная мера, ни один хозяйственный расчет. Именно поэтому и его расчетная форма, форма, позволяющая рассчитывать доход, приобретает на практике гораздо большее влияние — мы в этом могли убедиться, — чем выражение доходов в форме «потенциального» процента, выполняющее совершенно определенную функцию: оно является решающим элементом принимаемого решения относительно того, стоит ли продавать эти доходы или нет, движущей силой тенденции к выравниванию ценностных различий между ними. Оно приводит к давно известному теории явлению, суть которого заключается в том, что все доходы в народном хозяйстве в определенном смысле имеют тенденцию к выравниванию.

15. Тот факт, что в экономической практике краткости ради часто говорят о проценте на конкретные блага, явно направил теорию по ложному пути или по крайней мере оказал известную поддержку теоретическим конструкциям на этом пути. Без этого ложные взгляды вряд ли смогли столь прочно укорениться. Теперь же мы хотим показать, что неверная теория может принести вред и практике, что, применяя понятие процента за пределами его законной сферы, можно совершить практическую ошибку. Мы покажем, что, сужая рамки области применения понятия процента, мы вовсе не даем оснований выступать с возражениями против нашей теории, что неоправданное расширение этих рамок опровергается реальной действительностью.

«Процентный аспект» безобиден только в отношении постоянных доходов, т. е. в отношении рент и монополии, и ничего другого. Чтобы доказать это, вернемся к нашему примеру с доменной печью. При наших допущениях покупатель доменной печи в течение срока службы получит от нее достаточно средств, чтобы оправдать затраченный им капитал и соответствующий процент, который он рассматривает, предположим, как чистый доход. И если народнохозяйственная ситуация по истечении этого срока не изменится, он сумеет построить новую доменную печь[36] того же типа, что и старая, не превысив прежних издержек. Но поскольку эти издержки превышают сумму, затраченную на покупку старой печи, нашему предпринимателю нужно будет добавить денег, чтобы покрыть эти издержки. Но в этом случае печь не стала бы приносить ему вообще никакого дохода. Если покупатель сумеет разобраться во всех этих обстоятельствах, он не станет возво-

[36] Читатель без труда заметит, что ситуация не изменится, если наш покупатель не будет доводить свою печь до полного износа и строить вместо нее новую, а проведет основательный ремонт ее.

дить новую печь, а постарается вложить вернувшиеся к нему деньги где-нибудь в другом месте. Если же покупатель окажется бессилен сделать это и процентный аспект введет его в заблуждение, он понесет убытки, хотя в свое время продавец также имел убытки, а покупатель, наоборот, заключил выгодную сделку. На первый взгляд этот случай представляется весьма странным и чуть ли не невозможным. Впрочем, я не собираюсь давать ему объяснение, поскольку внимательному читателю суть дела должна быть и без того понятна. Если это не так, пусть он поломает голову сам. Я только добавлю, что подобные случаи в практике довольно частое явление и порождаются в основном ничем не оправданной привычкой связывать чистые доходы с конкретными благами. Конечно, такую иллюзию могут порождать и другие ошибки, а при благоприятном стечении обстоятельств ее вообще может не быть. Но я считаю, что каждый может припомнить достаточно случаев, подтверждающих сказанное выше.

Подобным же образом дело обстоит и тогда, когда налицо вполне реальные, но непостоянные чистые доходы, например в том случае, если владелец предприятия имеет возможность некоторое время пользоваться какой-то частью все еще «непогашенной» предпринимательской прибыли, монопольной прибыли или квазиренты, непосредственно связанных с данным предприятием. Во всех этих случаях он может без всяких нежелательных последствий считать, что получает процент. Но при этом необходимо постоянно помнить о временном характере этого дохода. Однако как только владелец предприятия назовет свой доход «процентом», у него незамедлительно появится искушение считать его постоянным. В самом этом понятии видится симптом рассматриваемой ошибки. Вот здесь только и жди неприятных сюрпризов. Этот процент неожиданно начинает уменьшаться и часто полностью исчезает. Деловые люди начинают проклинать тяжелые времена и требовать от государства финансовой поддержки, установления протекционистских пошлин и т. п. либо считать себя жертвой несчастного случая, а может быть, даже жертвой конкуренции. Подобное происходит довольно часто, что подтверждает истинность нашей теории. Причиной их появления является все та же фундаментальная ошибка, ведущая к практическим просчетам и созданию неверных, оторванных от жизни теорий.

Часто можно слышать разговоры о том, что чье-то там предприятие приносит якобы 30% дохода. Разумеется, здесь говорится не просто о проценте. Тот, кто произносит эту фразу, обычно не считает деятельность предпринимателя (руководителя) особой статьей затрат и не включает вознаграждение за его труд в издержки. Кроме того, столь крупный доход не может быть постоянным, он должен включать

в себя отдельные временные элементы большей или меньшей продолжительности. Практика хозяйственной жизни полностью подтверждает и этот наш вывод: какое же предприятие может в течение длительного времени приносить столь высокий доход? Разумеется, практики не всегда осознают временный характер подобного дохода и по-разному пытаются объяснить его исчезновение. Покупатель дохода часто надеется, что он сохранится навсегда. В худшем случае, учитывая опыт предшествующего владельца, он предвидит некоторое уменьшение дохода в будущем. Тогда-то вместо правильного метода расчета он автоматически использует форму процента. Если он пользуется ею последовательно, т. е. капитализирует свой доход, руководствуясь принятой в стране ставкой, его ждет неудача, поскольку общий доход от предприятия, если отвлечься от ренты и постоянной монопольной прибыли, ни при каких обстоятельствах не может быть «вечным». С течением времени доход сходит на нет, и, если на предприятии не происходит никаких изменений, дальнейшее его существование становится бессмысленным. Это известно любому мало-мальски опытному представителю делового мира. Рассмотренный нами случай не только показывает последствия неправильного обращения к процентному аспекту, но и сам по себе является интересным фактом из деловой практики, хорошо объясняемым нашей теорией, что опять же говорит в ее пользу.

Отдельное промышленное предприятие не может приносить никаких постоянных доходов, кроме заработной платы и ренты. Тот хозяйственный субъект, который, как правило, не обращает на все это никакого внимания и которому чаще всех приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами в повседневной жизни, является самым обычным и типичным акционером. То, что акционер получает постоянный доход без регулярной смены сферы приложения своего капитала, может быть использовано в качестве контраргумента противниками нашей теории. В соответствии с нашими представлениями, капиталист должен ссужать свой капитал поочередно различным предпринимателям, поскольку ни один из них не в состоянии выплачивать процент постоянно. Поэтому акционеры, которые, с нашей точки зрения, являются кредиторами, не могут, по идее, извлекать постоянный доход из одного и того же предприятия. Казалось бы, противоречие налицо. Но именно на примере акционера — и вообще любого кредитора, связанного прочными узами с одним предприятием, — четче всего проявляется правильность нашей точки зрения. Дело в том, что данный факт оказывается не таким уж бесспорным. Какие акционерные общества в состоянии существовать вечно и на протяжении десятилетий регулярно выплачивать дивиденды? Разумеется, такие существуют. Их можно

разделить на две группы. Во-первых, в некоторых отраслях экономики, к примеру на транспорте, существуют тресты, обладающие в определенных пределах если не вечной, то по крайней мере долговременной монополией. Здесь акционерам достается монопольная прибыль. Во-вторых, есть такие предприятия, которые по самой своей природе находятся в состоянии постоянных изменений и, по сути дела, представляют собой чередующуюся последовательность форм. Это всякого рода спекулятивные банки и т. п. Здесь цели предприятия и его руководители постоянно меняются, хотя, вне всякого сомнения, их неизменно возглавляют очень ловкие и сообразительные личности. Есть и другие предприятия, где всегда что-то происходит и всегда ставится цель добиться большего. Здесь мы имеем дело с новой предпринимательской прибылью, и если акционер в таких условиях не получает дохода, то это не правило, а исключение, порожденное какой-то конкретной неудачей. Если же абстрагироваться от этих двух групп и допустить, что акционерное общество владеет обычным предприятием, не имеющим монополии, то никакого постоянного дохода, помимо ренты (в лучшем случае), оно получать не будет. Практика на тысячу ладов подтверждает правильность данного вывода, хотя обычно конкуренция появляется не столь быстро, как предполагает теория, и потому новые предприятия дольше могут сохранять свои преимущества, обусловленные монополией. Ни одно из акционерных обществ промышленности этого типа не поливает своих акционеров вечным золотым дождем, напротив, по истечении определенного времени оно обычно начинает напоминать иссякающий источник. Следовательно, дивиденды акционеров часто представляют собой лишь возмещение капитала, даже если износ машин и т. п. аккуратно учтен в амортизационных списаниях. Именно поэтому акционерные общества сплошь и рядом завышают размеры амортизации и стремятся как можно скорее списать весь капитал. Все дело в том, что для каждого такого общества приходит момент, когда владение предприятием больше не приносит выгод: доходов хватает только на то, чтобы покрыть издержки. Таким образом, ничего не получается с постоянным доходом в виде процента применительно к одному и тому же предприятию. И каждый, кто думает иначе, может, если только пожелает, убедиться в том на собственном печальном опыте. Дивиденды акционеров не опровергают, а, напротив, подтверждают нашу теорию.

Привычка делового человека практически любую прибыль выражать в форме процента от какой-то величины и применительно к определенному периоду содержит в себе ошибку, причем ошибку далеко не безобидную, а весьма чувствительную в практическом отношении. Но нам понятно, почему подобные взгляды распространились на всю

сферу экономической жизни и привели к тому, что общее представление о проценте совершенно не отражает его подлинной природы. Мы видим также то, какие обстоятельства скрывают от нашего взгляда истинное положение вещей и порождают теорию, толкующую о «проценте на блага длительного пользования». Конечно, нелегко отрешиться от взглядов, получивших широкое распространение и успевших пустить крепкие корни. Против нашей теории могут быть выдвинуты и возражения исторического характера, хотя, повторяем, нет ничего удивительного в том, что основные черты того или иного явления наиболее четко проявляются не в момент его возникновения, а существенно позже. Тот факт, что процент по кредитам, предоставляемым на производственные цели, возник раньше, чем капиталистическая экономика, бесспорен, но еще ничего не доказывает. Здесь у нас нет возможности остановиться на данном вопросе и проанализировать его более глубоко.

16. Очевидно, что развитая теория процента должна рассмотреть и объяснить все проблемы финансовых отношений и банковского дела. В рамках настоящей работы сделать это невозможно. Здесь имеется возможность изложить только принципиальные соображения, без обращения к анализу обширного фактического материала. Мы хотели бы более четко выразить наши основные положения, в связи с чем мы не станем здесь рассматривать во всех деталях взаимосвязи между процентом и золотым запасом, между процентом и валютным курсом. За пределами нашего внимания останутся также воздействие на процент государственной денежной политики и вызываемые ею различия между ставками процента в различных странах. Если концепция наша верна, то все эти проблемы должна решать экономическая теория. Их не следует переадресовывать другим дисциплинам прикладного характера, как это имело место до сих пор. Но путь наш чересчур долог и труден, чтобы тщательно прочесывать местность, которую мы можем окинуть взглядом. Кроме того, все то, что изложено выше, без особых трудностей можно применить к любому конкретному случаю.

Разумеется, ход наших мыслей позволяет вывести и законы движения процента, и правила, с помощью которых можно определить, какое значение будет иметь для народного хозяйства его низкий или высокий уровень. Нам не остается ничего другого, как только бегло затронуть эту главную сферу практического применения наших выводов. Прежде всего, при прочих равных условиях процент растет и падает одновременно с предпринимательской прибылью[37]. Предприни-

[37] Конечно, прочие никогда не могут быть равными. Исчерпывающий анализ должен включать в себя множество моментов, в том числе рассмотрение государственной валютной и финансовой политики.

мательская прибыль — источник дохода, изменения которого через подъем и падение спроса на покупательную силу вызывают соответствующие изменения процента. Колебания потребностей в кредите, порождаемые другими обстоятельствами, обладают, безусловно, тем же действием. Так в двух словах можно охарактеризовать суть вопроса. Во вторую очередь надлежит рассмотреть взаимосвязи между процентом и ценами благ. Здесь главное заключается в том, что активизация предпринимательской деятельности и связанное с ней увеличение процента, как правило, вызывают рост цен на все блага: вначале растут цены необходимых предпринимателям средств производства, затем — цены благ, необходимых владельцам этих средств производства и, наконец, все остальные цены. Но рост цен в свою очередь оказывает влияние на процент, влияние, направление которого зависит от конкретных условий. Очевидно, что повышение цен влечет за собой увеличение капитала, необходимого предпринимателям. Если, несмотря на все это, все задуманные комбинации осуществляются, то рост цен, вне всякого сомнения, способствует повышению процента. Но в подобных условиях обычно не удается провести в жизнь все задуманное. Повышение цен делает некоторые из запланированных к созданию предприятий — или даже большинство из них — нерентабельными. Поэтому оно может привести и к относительному сокращению спроса предпринимателей на капитал, а отсюда и к падению процента.

Итак, можно сказать, что в принципе высокий уровень процента есть признак экономического процветания; если не брать во внимание случаи примитивной экономики или экономики упадка, где на переднем плане находится потребительский кредит, то экономический подъем всегда сопровождается ростом процента. Этому не в состоянии помешать даже накопление имущества и соответственно увеличение предложения покупательной силы в период подобного подъема. Как мы уже отмечали, предложение покупательной силы растет медленно, во всяком случае, медленнее спроса и не может оказать влияния на ставку процента. То обстоятельство, что в более развитых странах процент обычно бывает гораздо ниже, чем в менее развитых, объясняется меньшим риском и более высоким уровнем развития техники. Если же для условий данной страны ставка процента находится на сравнительно низком уровне, то это, хотя и свидетельствует о богатстве страны, тем не менее является также симптомом если не застоя, то по крайней мере слабости процесса развития. Что касается высокой ставки процента, то она говорит об оживленном развитии. Но одновременно она и тормозит его. Как раз эта двойственность характера процента объясняет наличие самых различных оценок его как в повседневной жизни, так и в научных спорах.

Я считаю, что этих кратких замечаний вполне достаточно, чтобы показать читателю, как глубоко позволяет наша теория проникнуть в механизм деловой жизни. Безусловно, наше изложение не претендует на полноту, возможно, оно нуждается в известных уточнениях и поправках. И все же, я думаю, читатель найдет в нем все элементы, необходимые для понимания той части экономических явлений, уяснение существа которых представляло до этого наибольшие трудности. Мне остается добавить совсем немного. Мое желание было объяснить явление процента, но я отнюдь не хотел оправдать существование дохода от процентов. Процент не является, подобно предпринимательской прибыли, самостоятельным продуктом развития, понимаемым как своего рода премия за определенные успехи, при том даже условии, что он проявляется в процессе развития. Он, скорее, тормоз развития, впрочем, в рыночном хозяйстве необходимый, некая разновидность «налога на предпринимательскую прибыль». Конечно, этого еще недостаточно, чтобы осуждать его, недостаточно даже тогда, когда осуждение или одобрение является задачей нашей науки. Вынесению предосудительного вердикта можно было бы противопоставить ссылку на важность функции «эфоров народного хозяйства», а также наш вывод о том, что процент — абстрагируясь от случаев потребительского кредита и «потребительского кредита на производственные цели» — лишает только предпринимателей, а не других хозяйственных субъектов того, что в противном случае обязательно оказалось бы у них в руках. Но именно это, а также то обстоятельство, что явление процента свойственно не всем формам экономической жизни, дадут повод критику социальных отношений придираться к теории процента больше, чем к чему-нибудь другому. Прежде всего мне самому хотелось особо выделить данное обстоятельство. Ведь чем больше забочусь я о выявлении прежде всего научной истины, тем больше необходимо мне стремиться к тому, чтобы подтверждать это своими делами. Поэтому мне не остается ничего другого, как сказать, что процент является всего-навсего следствием применения особого метода осуществления новых комбинаций и что этот метод гораздо легче изменить, чем большинство других основополагающих институтов рыночной экономики.



Глава VI
ЦИКЛ КОНЪЮНКТУРЫ

Предварительное замечание: излагаемая в этой главе теория кризисов, вернее, периодических колебаний конъюнктуры (по выражению Шпитгофа, «меняющихся ситуаций») может претендовать на удовлетворительное изложение предмета исследования в меньшей степени, чем рассмотрение теории предпринимательской функции, кредита, капитала, денежного рынка, предпринимательской прибыли, процента. Для этого сейчас, более чем когда-либо, были бы необходимы тщательный анализ огромной массы накопившегося материала, разработка множества отдельных теорий по каждому конъюнктурному показателю и взаимосвязи всех этих показателей. Моя работа в этом направлении является основой, а обещание дать исчерпывающие разъяснения осталось невыполненным[1] и по моему рабочему плану, видимо, еще долго не будет выполнено. Тем не менее я вновь представляю на суд читателя данную главу, которая полностью изменена, но лишь с точки зрения изложения. Не только потому, что эта глава уже заняла свое место в исследовании кризисов, но также потому, что я продолжаю считать ее правильной; я полагаю, что, хотя она отражает лишь ход мыслей в этой книге, это имеет существенное значение, и поэтому я готов принять критику в адрес настоящей главы.

Изучение известных мне возражений укрепило меня в моих убеждениях. Хочу привести только два из них. Прежде всего замечание относительно того, что моя теория — это якобы всего-навсего «психология кризисов». Это замечание в высшей степени компетентной и высоко ценимой мною стороны сделано в такой светской манере, что я вынужден сам более четко сформулировать его действительное содержание, чтобы читатель мог увидеть, о чем здесь идет речь. «Психоло-

[1] С тех пор, помимо статьи в *Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung*, 1910, на эту тему мною была опубликована статья «Die Wellenbewegung des Wirtschaftslebens» в журнале *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 1914. На эту статью обычно ссылаются при рассмотрении моей теории кризисов. В таком же виде она была изложена и в 1914 г. в докладе в Гарвардском университете, при этом одновременно был сделан определенный шаг за рамки этой статьи в отношении формулировок и основного фактического материала, но без каких-либо существенных изменений; там же в 1925 г. статья «Kreditkontrolle», хотя в этой работе речь идет в первую очередь о других вопросах, и статья «Oude en nieuwe Bankpolitiek» в «Economisch-Statistische Berichte» (Rotterdam, 1925), где основная проблема, однако, также только затрагивается. Эту проблему я подробно рассмотрел в лекции в Институте торговли в Роттердаме в 1925 г.

гия кризисов», собственно, означает нечто совершенно определенное и иное, чем, например, «психология ценностей»: она означает отражение тех трагикомических заблуждений напуганного делового мира, которые мы наблюдаем и особенно наблюдали при каждом кризисе. Следовательно, как теория кризисов она была бы либо основой научного объяснения очевидных попутных и последующих проявлений кризиса (паника, пессимизм, разброд), либо, что незначительно хуже, объяснением предшествовавших кризису «повышательных настроений», «грюндерской лихорадки» и т. д. Такая теория пуста, такое объяснение ничего не объясняет. Однако в моем случае дело обстоит иначе: я не только везде говорю о внешнем поведении, так что в моем ходе мыслей «психология» может присутствовать лишь в одном смысле, в котором она подразумевалась бы в любой, пусть даже «самой объективной» оценке состояния экономики, но объясняю — точно или не точно излагая суть дела — явление изменения конъюнктуры, исходя только из объективных, автоматически складывающихся взаимосвязей, а именно из влияния возникающих предприятий на условия жизни существующих, из взаимосвязей, вытекающих из фактов, изложенных в главе второй.

Затем следует критическое замечание, которое сформулировано Лёве следующим образом: моя теория не объясняет периодичности кризисов[2]. Этого замечания я не понимаю. Под «периодичностью» можно понимать две вещи. Во-первых, это просто тот факт, что за каждым «подъемом» следует «депрессия», а за каждой «депрессией» — «подъем». Однако моя теория это все же «объясняет». Во-вторых, это вопрос о конкретной продолжительности цикла; но этого на цифрах не в состоянии объяснить ни одна теория, поскольку это обычно всегда зависит от конкретных обстоятельств отдельного случая. Моя теория все же дает общий ответ на этот вопрос: подъем кончается, а депрессия наступает по истечении того времени, которое должно пройти до появления на рынке продукции новых предприятий. А новый подъем следует за депрессией, когда закончен процесс поглощения новых товаров.

Однако Лёве имеет в виду нечто другое, на что я хотел бы ответить в духе Эмиля Ледерера[3]. Моя концепция «неудовлетворительна, так как она даже не пытается объяснить: почему периодически растет число предпринимателей? Каковы условия, при которых они могут появляться, и появляются ли они всегда в том случае (и почему?), когда существуют благоприятные условия?» Пусть теперь утверждают, что я якобы недостаточно объяснил появление «целых роев» предприни-

[2] In der Festschrift für Brentano, 1925, II, S. 35.

[3] См.: Loewe. Konjunktur und Krisen im Grundriß der Sozialökonomik. IV/I, S. 368.

мателей, которое со своими последствиями является единственной причиной периодов подъема. Но утверждение о том, что я вообще не пытался этого объяснить, в то время как весь ход моих мыслей направлен именно на это, представляется мне несостоятельным. Условия, при которых могут появляться новые предприниматели — помимо общих экономических и социальных условий экономической системы, основанной на конкуренции, — вытекают из главы второй. Кратко и неполно их можно сформулировать следующим образом: ограниченное использование существующих, более выгодных частнокапиталистических «новых возможностей» — условие, которое всегда должно быть соблюдено, — из-за отсутствия необходимых для этого качеств у прежних предпринимателей[4] — здесь можно было бы спокойно добавить: и под влиянием внешних факторов — и состояние экономики, позволяющее лишь мало-мальски надежную калькуляцию. Причина, по которой при таких условиях появляются новые предприниматели, не более проблематична — если исходить из содержания нашего понятия предпринимателя, — чем то, что «хозяин просто-напросто» хватает прибыль, когда она возникает перед его глазами.

Теперь мне хотелось бы, без критических намерений, а лишь для более четкого выделения того, что предстоит изложить, сравнить свою теорию с самым совершенным достижением в этой области — теорией Шпитгофа, хотя мою теорию вряд ли можно сравнить с этим достижением в отношении обстоятельности и завершенности[5]. Общей для обеих теорий является — высказанная впервые Жюгляром — точка зрения, согласно которой существенным является волнообразное движение конъюнктуры, а не «кризис». У нас существует единство мнений в понимании того, что «меняющиеся ситуации» (Wechsellagen) являются формой экономического развития капитализма — обоснование этой точки зрения вытекает не только из этой, но прежде всего из главы второй. Мы также едины в мнении относительно того, что развитой капитализм исторически начинается только тогда, когда действительно можно наблюдать эти «меняющиеся ситуации» (т. е., согласно Шпитгофу, в Англии, вне всякого сомнения, лишь с 1821 г., в Германии — с 40-х годов XIX в.). Далее, мы оба полагаем, что лучшим показателем состояния конъюнктуры является потребление стали: т. е. этот показатель, открытый и разработанный Шпитгофом, я — не достигший никаких успехов в этой области — считаю правильным

[4] Новая формулировка во второй главе, видимо, разрешает сомнение Лёве, которое он выразил понятием «полустатичный хозяин».

[5] См. его последние работы, в первую очередь его статью «Krisen» в «Handwörterbuch der Staatswissenschaften», а также статью в *Hamburger Wirtschaftsdienst,* 1926, I. Heft, и доклад «Moderne Konjunkturforschung» перед членами общества «Freunde und Förderer der Universität Bonn».

и с точки зрения своей теории. Наши мнения совпадают в том, что причинная связь начинается с инвестиционных товаров (Ertragsgut), которые «покупаются на капитал», а подъем наступает в первую очередь в производстве основных средств производства (фабрики, рудники, суда, железные дороги и т. д.). Наконец, у нас единый взгляд на то, что, выражаясь словами Шпитгофа, подъем возникает в результате того, что в новые предприятия «вкладывается больше капитала» и что исходящий оттуда импульс распространяется через рынки сырья, труда, оборудования и т. д. Под «капиталом» в том смысле, который имеет значение в данном вопросе, мы оба понимаем одно и то же. Правда, в идее всей моей конструкции принципиальную роль играет создание покупательной силы, в то время как у Шпитгофа этого нет. Мне остается лишь добавить, что я привожу причину, объясняющую факт — очевидно, важный, — который кажется проблемой, если при объяснении явления подъема не предполагают предшествовавшего ему застоя и созданной им особо благоприятной ситуации, а именно факт массовых капиталовложений, соответственно появления новых предприятий, которое *á priori* следовало бы считать равномерным. Шпитгоф не приводит такой причины. Его схему «типичного кругооборота» (Musterkreislauf) я принимаю.

Различия существуют в объяснении обстоятельств, вызывающих конец подъема и наступление депрессии. У Шпитгофа этим фактором является перепроизводство «капитальных благ» («Kapitalgüter») по отношению к имеющемуся капиталу, с одной стороны, и к платежеспособному спросу — с другой. Я мог бы еще согласиться и с этим в качестве описания положения вещей. Однако, в то время как теория Шпитгофа основана на этом положении и пытается объяснить нам, что побуждает производителей, например фабричного оборудования, стройматериалов и т. д., периодически перенасыщать рынки этих товаров, моя теория стремится объяснить положение вещей так, как это изложено ниже. Кратко последнее формулируется следующим образом: *влияние массового* — на этой стадии уже объясненного — *появления новых предприятий на условия жизни существующих и на сложившееся состояние экономики с учетом обоснованных (в главе второй) положений о том, что новое, как правило, не вырастает из старого, а появляется рядом со старым, вытесняет его и изменяет все отношения таким образом, что возникает необходимость в специфическом процессе «размещения» («Einordnungsprozeß»)*. Это различия в объяснении факторов, которые еще уменьшились бы в результате более подробного разбора.

Оказалось невозможным кратко выразить и в то же время сделать неуязвимым изложенное мною в прежнем издании. Постараюсь быть более кратким, чтобы более четко выразить основную мысль. По этой

же причине я рассматриваю вопрос по пунктам. Пункт 1 — малоудобный подход к решающему феномену «волнообразного» движения. Тем не менее мне он показался необходимым.

1. Идет ли все это развитие непрерывно, подобно постепенному органическому росту ствола и кроны дерева? Опыт не подтверждает этого. Фактом является то, что это основное движение экономики происходит прерывно и неспокойно. Возникают встречные движения, спады, самые различные события, тормозящие этот ход развития, нарушения народнохозяйственной системы стоимостей, также мешающие развитию. Мы можем говорить об определенной линии развития, представление о которой можно было бы получить из теории. Однако реальное развитие, как учит опыт, временами отклоняется от этой линии. Почему это происходит? Здесь перед нами новая проблема, которую мы сформулируем следующим образом.

Если бы эти отклонения движения экономики от определенной линии развития, которые мы теперь могли бы объяснить, были редкими, то тогда здесь вряд ли возникала бы проблема, которая привлекла бы особое внимание политэкономов. И в неразвивающейся экономике кое-кого могут постигнуть неудачи, которые именно для него окажутся очень серьезными, но это не являлось бы для теории основанием для дальнейшего изучения подобных явлений. Точно так же события, которые могут подорвать экономическое развитие целого народа, не нуждались бы в теоретическом исследовании, если бы они встречались редко, если бы их можно было воспринимать как единичные катастрофы. Однако «встречные движения» и «спады», о которых здесь идет речь, — частые явления, настолько частые, что они уже только поэтому могли бы рассматриваться как неизбежные и неминуемые. Они настолько часты, что уже при первом рассмотрении напрашивается вывод о чем-то похожем на неизбежную периодичность этих крахов. В связи с этим, если не в принципе, то практически, невозможно абстрагироваться от подобных явлений.

Далее, если бы дело обстояло так, что по преодолении такого кризиса прежнее развитие экономики возобновлялось с того уровня, которого оно достигло перед кризисом, то тогда его принципиальное значение было бы не очень велико. Можно было бы сказать, что учтены все существенные факты, характеризующие развитие экономики, даже если невозможно объяснить сами эти нарушающие его явления или если просто отвлечься от них. Однако это не так. Упомянутые «встречные движения» не просто тормозят развитие экономики, но останавливают его на данном этапе. Уничтожается масса ценностей, изменяются основные условия и предпосылки осуществления планов лиц, играющих руководящую роль в народном хозяйстве. До возобновления своего поступательного движения экономика нуждается в

восстановлении, а ее система ценностей — в перестройке. И развитие, которое затем возобновляется, — это новое развитие, а не просто продолжение прежнего: хотя опыт и учит, что развитие экономики в основном будет идти в сходном с прежним направлении, но непрерывность плана нарушена[6]. Новое развитие порождается иными условиями и отчасти другими людьми. Многие прежние надежды и ценности навсегда утрачены, совершенно новые — возникли. Эмпирически можно предположить, что основные направления всех этих периодов развития между «кризисами» совпадают с общим контуром долгосрочного развития экономики в целом. Однако теоретически мы не должны учитывать только общий контур. Подобно тому как предприниматели не могут перепрыгнуть стадию кризиса и осуществить свои планы в следующий период повышения конъюнктуры, так и теория не в состоянии этого сделать, не теряя полностью контактов с фактами. Оба эти обстоятельства объясняют то, почему все те явления, которым свойственно влиять на экономическое развитие указанным образом, все те встречные движения, кризисы, крахи были объединены в одну группу и был сформулирован вопрос о том, возникают ли эти явления по причинам, присущим экономике или какой-либо ее особой форме или не присущим им. Эту группу явлений называют кризисами, а вопрос — проблемой кризисов.

И вот нам предстоит исследовать эту группу явлений, резко выделяющихся на фоне прочих явлений развития экономики, находящихся по отношению к последним в определенном — кажущемся — противоречии. Прежде всего необходимо выяснить сущность этих явлений; затем мы должны будем задать себе вопрос о том, свойственны ли им общие черты, которые позволяют нам определить тип кризиса, подходящий для многих или всех его разновидностей; наконец, мы попытаемся выявить причины определенного таким образом типа кризиса, а именно установить, вытекают ли такие кризисы из самого существа экономического развития или нет.

A priori существуют следующие возможности. Во-первых, кризисы могут быть однородным или неоднородным явлением. Своеобразные нарушения развития, которые нам известны из опыта и называются кризисами, уже при простом рассмотрении всегда представляются нам формами одного и того же явления. Однако эта однородность явления кризиса сначала видна лишь на поверхности. Более того, она заключается, прежде всего, лишь в сходстве последствий их влияния на экономику в целом и отдельного индивида, а также в том, что определенные события обычно происходят в большей части кризисов. Однако подобные воздействия и события имели бы место и при наличии са-

[6] Естественно, тем меньше, чем интенсивнее процесс создания трестов.

мых разнообразных внешних и внутренних нарушений хозяйственной жизни и еще не доказывают, что то же самое всегда происходит при кризисах. В действительности существуют различные виды кризисов и их причины. И у нас нет никаких оснований полагать, что кризисы имеют общего больше, чем утверждает наше исходное положение, а именно что все кризисы — это события, в результате которых экономическое развитие останавливается.

Во-вторых, можно ли кризисы, будь они однородными или неоднородными явлениями, объяснить чисто экономическими причинами или нет? Естественно, нет сомнений в том, что явление кризиса относится в основном к сфере экономики. Однако отнюдь нельзя с полной уверенностью утверждать, что это явление относится к самой сущности экономики в целом или даже одному из ее укладов в том смысле, что оно — необходимое следствие действия стихийных экономических факторов. Напротив, вполне возможно, что подлинные причины кризисов находятся вне сферы действия чисто экономических факторов, что, следовательно, кризисы — это следствия нарушений экономических процессов, вызванных внешними факторами. Частота и даже, как нередко утверждают, регулярность кризисов сами по себе, видимо, не могут быть решающими аргументами, поскольку совершенно ясно, что подобные нарушения часто имеют место в реальной жизни. В этом случае кризис просто был бы процессом, под влиянием которого экономическая жизнь приспосабливается к новым условиям.

Касательно пункта 1 мы можем прежде всего сказать одно: если считают, что всегда можно говорить о кризисах в тех случаях, когда имеют место достаточно серьезные нарушения ожидаемого хода экономического развития, то это означает *отсутствие общего признака кризисов, который выходил бы за пределы факта данного нарушения.* Сейчас рекомендуется следующая трактовка понятия кризисов, имеющая своих сторонников. Согласно этой точке зрения, экономические процессы подразделяются на три различные категории: на процессы кругооборота, процессы развития, процессы, препятствующие развитию. Эта группировка совсем не так далека от действительности. В реальной жизни мы можем отчетливо выявить все эти три категории. Лишь более глубокое исследование покажет, переплетаются ли эти процессы между собой.

Наше положение подтверждается историей кризисов. Подобные нарушения экономических процессов в самой различной форме уже имели место во всех мыслимых частях экономического организма: нарушается то предложение, то спрос. В первом случае нарушения имеют место то в самом производстве, то на рынке, то в системе кредита. Во втором они возникают в результате изменения либо тенденции спроса (например, в силу изменения моды), либо покупательной спо-

собности потребителей. Обычно это по-разному затрагивает отдельные отрасли промышленности: в большей степени то одну, то другую. В одних случаях кризис характеризуется крахом кредитной системы, который особенно сильно затрагивает капиталистов, в других — особенно сильно страдают рабочие и земельные собственники. Предпринимателей кризис также может затронуть различным образом, хотя в принципе они, скорее всего, затрагиваются одинаково, правда дифференцированно по отраслям.

На первый взгляд более успешной представляется попытка найти у кризисов общее в форме их проявления. На самом деле, по-видимому, это обстоятельство породило в первую очередь весьма распространенную точку зрения относительно того, что при кризисах якобы всегда наблюдаются одни и те же явления. Впрочем, легко убедиться в том, что эти внешние признаки, за которые хотелось бы ухватиться в первую очередь, несвойственны всем кризисам и не выражают их сущности, коль скоро они являются не только фактором нарушения развития. Так, например, сам собой напрашивается такой фактор, как «паника». Примечательной чертой многих прежних кризисов было то, что они приводили к подобной панике. Но паника возникает на рынке и в обычных условиях, и тем не менее не каждый раз дело доходит до кризисов. Более того, бывают кризисы без того, что мы, собственно, называем паникой. Интенсивность последней совершенно не обязательно зависит от глубины и масштабов кризиса. Наконец, здесь необходимо указать еще на один момент, вообще очень важный при исследовании кризисов. Паника, которую мы так часто наблюдаем, является больше следствием начала кризиса, чем его причиной. Сказанное относится также к таким метким выражениям, как «спекулятивная лихорадка», «перепроизводство»[7] и т. д. Если кризис разразился и общее состояние экономики изменилось, то в этом случае иная спекуляция может оказаться бессмысленной, а почти любое произведенное количество благ — чересчур большим, несмотря на то что до начала кризиса оно полностью соответствовало ситуации на рынке. Любое нарушение развития должно дезавуировать экономические правила соразмерности, и поэтому в этих фактах отсутствовал бы еще один признак кризисов даже в случае, если бы их можно было считать общими для всех кризисов. То же самое можно сказать о крахе отдельных хозяйств, об отсутствии правильных пропорций между отдельными отраслями производства, о несоответствии производства и потребления и других подобных явлениях. Об отсутствии удовлетворительного критерия кризисов в этом смысле свидетельс-

[7] Здесь мы имеем в виду не разработанные теории перепроизводства, а лишь распространенную ссылку на это явление.

твует тот факт, что хотя в описательной литературе на эту тему постоянно упоминается определенное число кризисов, но, если выйти за его пределы, отдельные перечисления кризисов не совпадают друг с другом.

И здесь мы подходим к еще одному вопросу: не представляют ли собой все кризисы чисто экономические явления, иными словами, можно ли понять кризисы в совокупности порождающих их причин и вызываемых ими последствий путем изучения особенностей и обстоятельств данного состояния экономики? Нетрудно заметить, что это бывает не всегда и не неизбежно. Все сразу согласятся с тем, что, например, начавшаяся война может вызвать столь значительные нарушения, что мы вправе говорить и о наступлении кризиса. Правда, это отнюдь не является правилом. Например, крупные войны XIX в. обычно прямо не приводили к кризисам. Однако такой случай вполне можно было бы представить себе. Предположим, что живущий на острове народ, поддерживающий широкие связи с другими странами и имеющий бурно развивающуюся экономику, оказывается отрезанным вражеским флотом от внешнего мира. Прекращается импорт и экспорт, нарушается система цен и ценностей, обязательства не могут быть выполнены, якорная цепь кредита рвется — все это, возможно, имело место в действительности и, конечно, представляет собой кризис. И такой кризис нельзя объяснить чисто экономически, поскольку его причина — война — фактор внеэкономический. Кризис возник в результате войны и в то же время объясняется воздействием этого инородного тела на экономику страны. Очень часто кризисные явления объясняются действием подобных внешних факторов[8]. Важными для анализируемого явления являются неурожаи, которые, очевидно, в состоянии вызывать кризисы и, как известно, даже стали основой одной из общих теорий кризисов.

Однако даже такие обстоятельства, которые не в такой степени противостоят хозяйственной жизни в качестве внешних сил, как, скажем, войны или погодные условия, с точки зрения чистой теории должны рассматриваться в качестве внешних воздействий и поэтому — в принципе — как случайные. Приведем пример. Кризис в состоянии породить внезапная отмена протекционистских пошлин. Конечно, такая мера в области торговой политики — это экономическое явление. Но мы не можем сказать ничего совершенно определенного о его наступлении. Мы могли бы исследовать только последствия принятия таких мер, в остальном же с точки зрения законов стихийной

[8] Сюда относятся не только похожие на кризис явления в начале первой мировой войны, но также послевоенные кризисы, сущность которых, впрочем, не исчерпывается такими меткими понятиями, как «стабилизирующие» или «дефляционные кризисы».

экономики эта мера является воздействием извне так же, как любое сознательное вмешательство власти, которой подчиняются отдельные хозяйственные субъекты. Следовательно, есть кризисы, которые, на наш взгляд, не представляют собой чисто экономических явлений. А поскольку они не являются таковыми, мы, именно с чисто экономической точки зрения, не можем выявить ничего общего в их причинах. Как теоретикам нам надлежит рассматривать их в качестве катастроф, а в остальном они должны быть нам безразличны.

Здесь опять возникает вопрос: существуют ли в нашем понимании вообще чисто экономические кризисы, — кризисы, которые возникали бы без влияния таких внешних факторов, которые мы только что проиллюстрировали примерами? В самом деле, вполне можно было бы представить себе точку зрения, согласно которой кризисы всегда вызываются внешними факторами, которые приводят к изменению прежних условий, на существование которых рассчитывали предприниматели. Многие политэкономы действительно придерживаются таких взглядов. И подобная точка зрения, несомненно, вполне понятна. Если она верна, то тогда нет подлинной экономической теории кризисов. В этом случае мы ничего не можем сделать, помимо голой констатации именно этого факта или, самое большее, попытки определить эти внешние факторы кризисов, например, как это пытался сделать Джевонс.

Прежде чем ответить на наш вопрос, мы должны выделить особый вид кризисов. Допустим, что промышленное развитие небольшой и бедной страны финансируется другой страной, богатой капиталом. Допустим, далее, что в этой богатой стране начинается бурный рост экономики, позволяющий осуществлять более выгодные капиталовложения, подобные тем, которые до этого осуществлялись в первой стране. В этом случае капитал будет перемещаться из первой страны во вторую. Если это будет происходить быстро и решительно, то — как легко увидеть — в первой стране может наступить крах, кризис. Этот пример должен показать, как чисто экономические причины в одном экономическом районе могут вызывать кризисы в другом районе. Данное явление наблюдается часто и общеизвестно. Разумеется, то же самое может происходить не только между различными странами, но также между различными частями одной страны и, наконец, при определенных условиях также между отдельными отраслями в пределах одного экономического района. Далее, всем известно, что начавшийся где-то кризис обычно порождает новые кризисы. Теперь спрашивается: можно ли считать рассмотренные явления теми чисто экономическими кризисами, которые мы ищем? Нет, нельзя. Состояние экономики других стран для народного хозяйства любой страны — это данные об их развитии, и в качестве причин, объясняющих явле-

ния, происходящие в этой стране, они могут играть лишь такую же роль, как внеэкономические факторы. Для любого народного хозяйства это случайности, и было бы бесполезно пытаться найти общий закон таких кризисов. Если бы не было никаких других видов кризисов, следовало бы просто сказать, что экономика в принципе развивается без кризисов и что происходящие, несмотря на это, кризисы являются катастрофами. Кроме того, развитие как таковое не таит в себе зародыша гибели, и может случиться лишь так, что при определенных условиях оно умирает «неестественной» или насильственной смертью, вызванной извне.

Прежде чем мы сможем выявить суть, нам предстоит сделать еще один шаг в том же направлении. Если мы теперь еще раз зададим вопрос о том, существуют ли, помимо всех до сих пор рассмотренных кризисов, еще другие кризисы, а именно такие, которые в нашем контексте, несомненно, являются чисто экономическими, то на этот вопрос теория кризисов ответит утвердительно. У многих, у большинства самых крупных кризисов отсутствуют существенные внешние факторы. Однако, поскольку по этому вопросу можно было бы поспорить и поскольку те или иные внешние моменты все же постоянно существуют, мы снова обратимся к примеру. Предположим, что открыли новый продукт питания, которому приписывают превосходные качества. Многие предприниматели начинают его производство, и для этого используется достаточно значительная часть капитала. Но предположим также, что нет ожидаемого спроса на этот продукт. В этом случае может начаться кризис. Любое «осуществление новых комбинаций» (по нашему старому выражению) таит опасность того, что на практике этот «корабль» сядет на мель. Этим в действительности объясняются многие частичные, а иногда и общие кризисы. Сначала такая опасность нависает над отдельным предпринимателем, и часто он терпит крах. Следует полагать, что значительно реже в подобном положении оказывается целая отрасль производства. Впрочем, и это бывает. И если предприятия этой отрасли играют большую роль в народном хозяйстве, то нарушается развитие экономики в целом. В нашем понимании такие кризисы — это чисто экономические явления. Их настолько легко понять, что вряд ли здесь можно усмотреть какие-либо проблемы. При этом особенно важно понимание того, что подобные явления не преобладают преимущественно в каком-нибудь одном экономическом укладе, а могут иметь место одинаково в каждом из них. Невозможно определить силы, которые лежат в основе этих явлений. Короче говоря, это тоже просто катастрофы, в принципе не представляющие интереса, каково бы то ни было их практическое значение.

Подведем итоги вышеизложенному. Прежде всего, мы не нашли общей отличительной черты, которая была бы характерна для всех нарушений промышленного развития. Тем не менее мы можем подразделить их на две группы: нарушения, причины которых находятся вне экономики, и нарушения, причины которых возникают в ней самой. Таким образом, мы сосредоточим наше внимание только на этих нарушениях, а от других отвлечемся. Теперь ясно, что лишь последние можно объяснять. Следовательно, мы исходим из предположения, что область нашего исследования не подвергается никакому влиянию извне. Далее, мы допускаем также, что в этой области не происходит никаких глубоких изменений, оказывающих сильное влияние на экономику и не экономических по своей природе, например изменений политического или социального характера. Наконец, мы исключаем все те нарушения, которые также являются просто катастрофами и о которых мы несколько выше говорили, что они в принципе не представляют никакого интереса.

Тогда спрашивается, существуют ли, помимо рассмотренных, еще другие кризисы, т. е. явления чисто экономического характера, а именно такие, которые неизбежно вытекают из сущности экономики или какого-либо экономического уклада? Что остается от явления кризиса, если выделить все упомянутые виды? Или, наконец, такой вопрос: если бы не существовало этих последних, напоминало бы развитие в таком случае рост дерева, носило бы оно поступательный характер и не имело бы каких-либо «сбоев»?

Прежде всего проведем еще одно различие. Мы уже указывали на то, что главный признак явления кризиса состоит в том, что кризисы нарушают прежний ход развития экономики, прерывают его поступательное движение. Но подобные воздействия оказывают не все нарушения, спады и т. д., происходящие в реальной действительности. Даже если мы абстрагируемся от не чисто экономических причин, мы найдем нарушения, не прерывающие хода развития тем характерным образом, как чисто экономические факторы, а только замедляющие его. В качестве примера можно привести панику на рынке. Если она прекращается, то прежнее развитие продолжается и скоро становится не видно никаких последствий ее, хотя они могли бы сильно затронуть интересы отдельного индивида или даже привести его к полному краху. Эту разновидность нарушений можно просто объяснить уже рассмотренными причинами. Их появление и последствия не представляют никаких проблем. Нетрудно уяснить, что подобные нарушения случаются часто.

Особенность других процессов состоит в том, что они выводят промышленное развитие из обычного русла. И данное обстоятельство придает им повышенный интерес. В этой связи такие нарушения про-

являются не как простые случайности, а как фазы развития, которые следует понимать одновременно как результат предшествующего и как условие последующего состояния экономики. Здесь возникают новые проблемы. Прежде всего, каковы причины кризисов? Следует ли рассматривать их просто как причину последующей депрессии или застоя? Каким образом они их вызывают?

Теперь, наконец, мы подошли к сути дела. Кризисы являются поворотной точкой экономического развития. И мы будем ими заниматься лишь постольку, поскольку они являются таковыми. Использование понятия «кризисы» мы также ограничим этими случаями. Все остальные случаи представляются нам в принципе не заслуживающими внимания катастрофами.

Таким образом, эти крупные внезапные изменения в экономике выкристаллизовываются как существенное явление из потока соответствующих фактов. Их необходимо объяснить. Правда, при этом наша проблема несколько смещается. Если существуют нарушения экономического развития, которые не являются его поворотными точками, то значение их невелико. Если они вызваны не чисто экономическими причинами, мы просто можем не принимать их во внимание. Если у них экономические причины, они тем не менее не вытекают из сущности экономики. Однако в развитии существуют переломные моменты, которым не присущи черты кризисов. Не введет ли нас это в заблуждение? Вспомним наш вывод об отсутствии общего признака у нарушений экономического развития, о которых до сих пор шла речь. Этого признака нет ни у форм их проявления — мы видели, что все обстоятельства, с которыми связано представление о «кризисе», не являются общими критериями, — ни у причин этих нарушений, а последние могут быть самыми различными, ни, наконец, у их последствий, поскольку эти нарушения иногда, но не всегда изменяют ход прежнего экономического развития. Однако все эти признаки не только не являются общими, но, как мы уже подчеркивали, также никогда не являются существенными в том смысле, что если бы они отсутствовали, то события развивались бы совершенно иначе. Но и при их отсутствии все же происходят крупные изменения экономического развития.

Таким образом, как это нередко бывает, мы пришли к следующему. Мы исходили из массы непроанализированных фактов и распространенного понятия кризиса. Ни то ни другое не представляло для нас никакого особого теоретического интереса. Масса фактов, казалось, не отвечала никаким правилам и не позволяла выявить никаких общих черт. Распространенное понятие кризиса оказалось неточным, беспомощным, как картонный меч. Однако при более обстоятельном и глубоком подходе, если удалить верхний слой случайных форм проявле-

ния, мы действительно найдем значительное явление, регулярность возникновения которого сразу бросается в глаза — а именно мощный прибой экономического развития — и который незамедлительно привлекает к себе наше внимание. Конечно, это явление не совсем соответствует поверхностным проявлениям. Мы видим, что оно, с одной стороны, заполняет не все пространство под своей поверхностью, однако, с другой — шире, чем она. И все же это крупное явление, лежащее в основе всех тех поверхностных фактов, которые в принципе представляют интерес. Все остальное случайно и несущественно. Мы не принимаем этого во внимание, а исследуем сущность особого волнообразного движения экономики. Если мы проведем такое исследование, то легко поймем все остальные явления.

Используя принятую терминологию, мы можем сказать, что, начав с проблемы кризисов, пришли к другой проблеме, которую считаем основной, — *к проблеме процветания* (Prosperität) *и депрессии* (Depression)[9]. Почему экономика развивается не плавно, а рывками, почему за поступательным движением следует возвратное и лишь после него вновь возобновляется поступательное движение?

2. На этот вопрос нельзя дать более краткого и точного ответа, чем следующий: это происходит *исключительно потому,* что новые комбинации осуществляются не через равные промежутки времени — как это следовало бы ожидать согласно общим принципам вероятности, — не таким образом, что, например, на каждую неделю, день и час приходилось бы одинаковое число новых комбинаций. Как правило — если это вообще происходит, — новые комбинации появляются в большом числе.

Теперь необходимо: а) раскрыть этот ответ, б) объяснить это массовое появление предприятий, а затем (см. пункт 3) проанализировать последствия этого факта и порожденные им причинные связи. С третьим пунктом связана еще одна, особая проблема, без решения которой теория была бы неполной. Хотя мы и принимаем положение Жюгляра о том, что «единственной причиной спада является подъем», — это означает, что спад есть не что иное, как реакция народного хозяйства на подъем, как преодоление того состояния, к которому подъем приводит народное хозяйство, в силу чего само состояние объясняется через объяснение причин, вызвавших подъем, — тем не менее остается открытым вопрос о том, каким образом подъем вызывает депрессию. Читатель это может заметить уже по расхождению во мнениях между Шпитгофом и мной по данному вопросу. Но он также од-

[9] Как известно, такой подход к проблеме и значительные достижения в ее разработке, на которых основаны все современные исследования кризисов, предпринял Кл. Жюгляр.

новременно увидит, что наш ход мысли дает ответ на этот вопрос без затруднений и без привлечения новых фактов или мыслей.

а) Если бы новые предприятия — в нашем контексте — появлялись независимо друг от друга, то не было бы никакого подъема и никакой депрессии как особых, характерных, бросающихся в глаза, регулярно повторяющихся явлений. В этом случае их появление можно было бы наблюдать, в общем, постоянно, оно «распределялось бы равномерно во времени» и вызванные им соответствующие изменения в хозяйственном кругообороте были бы относительно невелики, а все же возникавшие нарушения имели бы поэтому лишь локальное значение и могли бы легко преодолеваться экономикой. Не было бы серьезных нарушений кругооборота, а потому и нарушений экономического роста. Важно подчеркнуть, что для любой теории кризисов в отношении момента, в котором она ищет их причину, и особенно для всех «теорий диспропорциональности», необходимо учитывать следующее: никогда нельзя объяснить явление, если не определить, почему причина, какова бы она ни была, действует так, что ее последствия не могут постоянно устраняться[10].

Тем не менее и в этом случае были бы хорошие и плохие «времена». Золотая или другие виды инфляции продолжали бы способствовать ускорению экономического роста, дефляция тормозила бы его, политические и социальные события, меры по регулированию экономики продолжали бы оказывать свое влияние. Такое событие, как, например, мировая война, с неизбежно порождаемой ею ориентацией народных хозяйств на военные нужды, с необходимым устранением ее последствий, нарушением всех экономических связей, опустошением и социальными перегруппировками, уничтожением важных рынков, с изменением всего хода событий, показало бы человечеству, что из себя представляют кризисы и депрессии, даже если бы оно их еще не переживало. Однако это были бы не те подъемы и не те депрессии, о которых здесь идет речь. Они не были бы регулярными и неизбежными, как если бы они порождались самой экономикой. Напротив, как уже неоднократно подчеркивалось, каждый раз их следовало бы объяснять внешними причинами. Особое внимание необходимо обратить еще на одно благоприятное обстоятельство, облегчающее и отчасти объясняющее каждый подъем, а именно на ситуацию, возникающую в период спада. Как известно, он обычно характеризуется массовой безработицей, предложением на рынке сырья, машин и оборудования, домов и т. д. по ценам ниже издержек производства, но в первую оче-

[10] Поэтому я считаю, что эту часть наших рассуждений следовало бы принять с точки зрения любой теории кризисов, так как, даже если в остальном они безупречны, ни одна из них все же не объясняет именно данного обстоятельства.

редь низким уровнем процента. И эта ситуация действительно играет определенную роль почти в каждом исследовании явления кризиса (например у Шпитгофа и Митчелла). Вполне понятно, что этими явлениями мы никогда не сможем объяснить явление кризиса, если к тому же мы не собираемся утверждать, что депрессия порождается подъемом, а подъем — депрессией. Поэтому в данной главе, где главное заключается в принципе — а не в исчерпывающем рассмотрении конкретных, иногда очень важных факторов, действующих при подъеме или кризисе (неурожай[11], слухи о войне и т. д.), — мы стремимся полностью от этого абстрагироваться.

Влияние массового появления новых предприятий усиливается тремя обстоятельствами, которые, однако, не являются самостоятельными, независимыми дополнительными его «причинами».

Во-первых, ход наших рассуждений в главе второй позволяет предполагать, а опыт подтверждает, что новые комбинации, как правило, не возникают из старых и непосредственно не занимают их места, а появляются рядом и конкурируют с ними. С точки зрения нашей теории этот момент не является новым и независимым. Он также несуществен для наступления подъема и депрессии, однако, очевидно, очень важен для объяснения четкости проявления волнообразной траектории развития.

Во-вторых, массовый спрос со стороны новых предпринимателей, означающий появление весьма значительной покупательной способности, вызывает вторичную волну подъема, которая охватывает всю экономику и становится движущей силой всеобщего процветания и которую вообще можно понять лишь таким образом, в противном же случае она всегда получает недостаточное объяснение. Лишь потому, что предприниматели выступают как весьма крупный источник покупательной силы, которая переходит к собственникам материальных средств производства, ко всем производителям благ «воспроизводственного потребления» (Шпитгоф) и к рабочим, а затем все больше поступает во все сферы экономики, все имеющиеся потребительские блага наконец сбываются по непрерывно растущим ценам; фирмы розничной торговли заказывают все новые партии этих товаров, а производители выпускают их все больше и продолжают использовать или начинают вновь использовать производственные возможности, от использования которых прежде отказывались. И только поэтому временно все производят и торгуют с прибылью, как и в период инфля-

[11] Например, хорошие урожаи облегчают наступление и увеличивают длительность подъема и сокращают период депрессии. Часто они важны для объяснения течения данного цикла. Это неопровержимо доказал Х. Л. Мур. Однако они никогда не действуют одновременно, параллельно с нашей причинной связью, а всегда лишь через нее.

ции, когда, например, военные расходы финансируются выпуском бумажных денег. И эта вторичная волна многое несет с собой, и как следствие предшествующая ей спекуляция даже без воздействия собственной движущей силы или до этого воздействия становится реальностью, а симптом процветания известным образом снова становится фактором процветания. Конечно, это имеет огромное значение для теории индексов конъюнктуры и анализа всей совокупности конъюнктурных явлений. Для нашей цели важны лишь разграничение между первичной и вторичной волной конъюнктуры (Konjunkturwelle) и тот факт, что вторая может прямо вызываться первой, что в основанной на нашем принципе теории нашло бы соответствующее место все, что когда-либо наблюдалось в волнообразном движении экономики; однако в таком изложении, как это, ничто из сказанного не может получить полного освещения, и поэтому легко может возникнуть неоправданное впечатление удаленности от действительности[12].

В-третьих, из наших рассуждений следует, что ошибки подъема играют важную роль для наступления и течения депрессии. В большинстве теорий кризисов этот момент используется в том или ином виде, однако здесь необходимо всегда ставить следующий вопрос: разумеется, ошибки бывают всегда; однако, поскольку производят ведь не наобум, а всегда лишь на основе более или менее обстоятельного размышления и анализа положения дел, ошибки, как правило, возникают только в тех масштабах, которые могут представлять собой опасность для отдельного предприятия, как исключение — даже для целой отрасли, но не для всего народного хозяйства. Как может возникнуть такая всеобщая ошибка, в результате которой опасность угрожает всей экономике, и именно в качестве независимой причины, а не просто как следствие спада, подлежащего объяснению, спада, который — если уж он наступил по другим причинам, — конечно, дезавуирует многие планы, бывшие до этого вполне разумными, и делает опасными ошибки, которые в обычных условиях можно было бы устранить? Это требует специального разъяснения, без которого ничего не ясно. Итак, почему — и к тому же периодически — совершаются подобные ошибки? Ход наших рассуждений разъясняет это явление, а не просто те вторичные ошибки, решения, которые стали ошибками лишь уже

[12] В рамках нашего принципа свое место нашли бы в первую очередь все обстоятельства, выступающие в других теориях кризисов в качестве причин и вряд ли взятые с потолка. В этом читатель может убедиться, если склонен рассмотреть проблему под углом зрения нашего принципа применительно к любой другой теории кризисов. В ходе изложения материала данной книги наше объяснение конъюнктуры, естественно, будет постоянно вызывать возражение, подобное возражению против «теории развития» главы второй: в нем именно одно обстоятельство из многих рассмотрено односторонне и преувеличенно. В этом возражении задача объяснения сущности и механизма конъюнктуры спутана с задачей теории конкретных факторов отдельных индивидуальных конъюнктур.

в условиях данной конъюнктуры: если признаком подъема является не просто повышенная деловая активность как таковая, а осуществление новых и неиспытанных комбинаций, то становится совершенно ясно — как об этом уже было сказано в главе второй — что при этом ошибка должна играть особую, качественно иную роль, чем в процессе кругооборота. Несмотря на это, здесь нет никакой «теории ошибок». Напротив, во избежание такого впечатления мы особо выделим данное обстоятельство. Пожалуй, речь идет о поддерживающем и обостряющем ситуацию обстоятельстве, но не о первичной и необходимой для понимания принципа «причине». Волнообразное движение наблюдалось бы и тогда, когда ни хозяйственный субъект, ни предприниматель, ни, наконец, пострадавший просто-напросто хозяин не сделал бы ничего такого, что, с его точки зрения, можно было бы считать «ошибочным» — хотя в этом случае последствия, конечно, были бы значительно менее серьезными, — когда никто не совершил бы ни технической, ни коммерческой ошибки, не был бы охвачен «спекулятивной лихорадкой» и не впал в беспочвенный оптимизм, а затем в пессимизм, и даже тогда — правда, в особенно мягкой форме, — когда все хозяйственные субъекты обладали бы способностью широкого предвидения. Далее будет видно, что сущность проблемы объясняется исключительно *объективной* ситуацией, которая *неизбежно* порождается подъемом[13].

б) Почему предприниматели появляются не непрерывно, т. е. их появление не распределяется во времени, а сразу большим числом? *Исключительно потому,* что появление одного или нескольких предпринимателей облегчает появление других, а возникновение последних *облегчает* и тем самым *способствует* появлению следующих и все более многочисленных.

Это означает, во-первых: по причинам, рассмотренным в главе второй, «осуществление новых комбинаций» — дело сложное и доступно лишь людям, обладающим определенными качествами. В этом лучше всего удостовериться, если воспользоваться примерами из прошлых лет или представить себе состояние экономики на стадии, более всего соответствующей неразвивающейся экономике, т. е. на стадии глубокого застоя. Лишь немногие люди обладают такими «качествами руководителей» и лишь немногие могут в подобной ситуации, т. е. в си-

[13] Это, конечно, не означает отрицания практического значения фактора ошибок, а также значения тех обстоятельств, которые обычно называют спекулятивной лихорадкой, мошенничеством и т. д. Сюда же — хотя и на более высокой стадии — относится и перепроизводство. Мы утверждаем лишь, что все эти обстоятельства являются частично последствиями того, что в условиях депрессии явным перепроизводством оказывается то, что ранее полностью соответствовало спросу, и что этим было бы невозможно объяснить сущность явления, даже если бы дело обстояло не так.

туации, которая сама по себе еще не является «подъемом», добиться успеха в этом направлении. Однако если один или несколько предпринимателей добились успеха, то некоторые из рассмотренных трудностей отпадают. За этими первыми предпринимателями могут последовать другие, что они, естественно, и сделают, поощряемые успехом, который теперь представляется уже достижимым. Их успех в свою очередь облегчает деятельность других предпринимателей путем все более полного устранения рассмотренных в главе второй препятствий, за счет появления все новых и новых предпринимателей, и так до тех пор, пока новое не станет привычным и реальным, а его восприятие не будет делом свободного выбора.

Во-вторых, поскольку, как мы видели, склонность к предпринимательству является чем-то таким, что, как и любое другое качество, распределяется в этнически однородной группе по закону распределения ошибок, число индивидов, все менее наделенных этой склонностью, увеличивается до точки с максимальной ординатой. Следовательно, все больше людей могут и будут со все возрастающей легкостью становиться предпринимателями — если абстрагироваться от исключений, примером которых могло бы быть появление нескольких европейцев в каком-нибудь негритянском племени, — в силу чего появление одного преуспевающего предпринимателя вызывает появление не просто еще нескольких, а все более многочисленных и менее квалифицированных предпринимателей. Именно так обстоит дело и на практике, которую мы просто объясняем: в отраслях, где еще существуют конкуренция и множество независимых индивидов, сначала наблюдается появление отдельного новшества — как правило, на *ad hoc* созданных для этого предприятиях, — а затем существующие предприятия неодинаково быстро и успешно начинают использовать это новшество и у себя, вначале несколько предприятий, потом все больше и больше. Мы уже познакомились с этим явлением в связи с процессом элиминирования предпринимательской прибыли. Здесь оно снова рассматривается, хотя и в других аспектах[14].

В-третьих, это объясняет массовое появление предпринимателей, — до того, как в результате падения предпринимательской прибыли окажутся исчерпанными частнохозяйственные возможности новых предприятий, — первоначально в отрасли, в которой появились первые предприниматели. В действительности, как показывает практика, обычно повышение конъюнктуры начинается в одной или нескольких отраслях (в строительстве железных дорог, в электротехнической и хи-

[14] Поскольку обычно предусмотренное заранее элиминирование предпринимательской прибыли не является причиной, принятой в нашей теории кризисов. Сравни это со вторым абзацем третьего пункта.

мической отраслях промышленности и т. д.) и характеризуется применением новшеств прежде всего в данной или данных отраслях. Однако «первые» предприниматели устраняют препятствия для «других» не только в той отрасли производства, в которой они появляются, но в соответствии с природой этих препятствий *ipso facto* (тем самым) и в других отраслях: предприятия этих отраслей могут скопировать многие новшества; пример как таковой влияет и на них, и некоторые изобретения, если не брать во внимание других, менее важных, вторичных последствий — повышения цен и т. д., — приносят непосредственную пользу и прочим отраслям, точно так же, как освоение нового рынка. Итак, деятельность первых предпринимателей выходит за рамки их собственной отрасли, а масса предпринимателей в целом увеличивается в большей степени, чем это было бы в иных условиях, народное хозяйство быстрее и полнее втягивается в процесс реорганизации, составляющий существо периода подъема.

В-четвертых, по мере того как участвующие в процессе развития адаптируются к новым условиям и он становится делом бухгалтерии, по мере того как уменьшаются трудности, потребности в руководстве при создании нового становятся все меньше. Поэтому массовое появление предпринимателей становится все менее ярко выраженным, колебания конъюнктуры — менее резкими. Очевидно и этот вывод нашей теории полностью подтверждается действительностью. В том же направлении действует создание все большего числа трестов, хотя и сегодня сбыт и финансовые потребности крупного концерна так сильно зависят от состояния рынка, все еще в очень значительной степени определяемого конкуренцией, что перенос реализации его новшеств и особенно осуществления строительства на период депрессии, сам по себе выгодный во всех отношениях — как это хорошо видно на примере политики американских железных дорог, — возможен лишь от случая к случаю; но поскольку он эффективен, то и данное обстоятельство подтверждает нашу точку зрения.

В-пятых, именно массовым появлением новых комбинаций объясняются основные черты периода подъема. Оно объясняет, почему рост капиталовложений является самым первым симптомом начинающегося подъема, почему наибольшее оживление наблюдается прежде всего в отраслях промышленности, производящей средства производства, почему растет прежде всего потребление стали (Шпитгоф). Этим объясняется также и массовое появление новой покупательной силы[15],

[15] Поэтому вряд ли есть надобность подчеркивать, что наша теория не относится к тем теориям, которые ищут причину цикла в области денежного обращения и кредита, каким бы важным именно для нашей концепции ни был фактор создания покупательной способности. Однако мы не отрицаем того, что на движение конъюнктуры (и вообще на развитие экономики) можно было бы влиять (или препятствовать) средствами кредитной политики.

а тем самым и характерный для периодов подъема рост цен, который, конечно, не может объяснить ссылка на увеличение потребностей или рост издержек. Наконец, этим объясняется сокращение безработицы и увеличение заработной платы[16], повышение уровня процента, рост грузооборота, напряженность банковских балансов и т. д. и, как уже было сказано, распространение вторичных волн подъема, иными словами, «процветание», охватывающее все народное хозяйство.

3. Массовое появление предпринимателей, которое служит единственной причиной явления «подъем», оказывает на народное хозяйство влияние, качественно отличное от влияния их непрерывного, равномерно распределенного во времени появления, поскольку происходит как крупное, протекающее отдельными импульсами нарушение равновесия, как нарушение иного порядка величины. Если нарушения, постоянно порождаемые процессом непрерывного появления предпринимателей, можно было бы постоянно поглощать, то массовое возникновение этих нарушений было бы связано с иным, особым процессом поглощения, с процессом внедрения нового и адаптации народного хозяйства к новому, ликвидации или, как я говорил ранее, также и процессом «статизации» (Statisierung). Этот процесс составляет существо периодической депрессии, которую, с нашей точки зрения, следует определить как борьбу народного хозяйства за новое равновесие, приведенное в соответствие с условиями, изменившимися в результате вызванного подъемом «нарушения».

При этом суть дела не в том, что отдельный предприниматель, планируя деятельность только своего предприятия, не учитывает последующее массовое появление других предпринимателей и в результате этого попадает в затруднительное положение. Несомненно, верно то, что поведение, правильное с точки зрения отдельного частного предприятия, лишается плодов своей деятельности в результате подобного же поведения множества других предприятий. Наиболее характерен в этом отношении приведенный нами пример о том, как стремление производителей к максимальной прибыли приводит в действие именно тот механизм, который имеет тенденцию к ограничению производства сверхприбыли в народном хозяйстве. В результате этого и здесь массовое воздействие могло бы сделать «ошибочным» то, что было «правильным» для отдельного предпринимателя. И действительно, этот момент, по-видимому, играет свою роль в большинстве кризисов, поскольку, хотя *in praxi* (на деле) предприниматель знает о массовом появлении последующих предпринимателей и это его не может застать

[16] В принципе должна была бы расти и земельная рента. Однако это невозможно там, где земля сдана в долгосрочную аренду, но и без того другие факторы препятствуют быстрому росту этого дохода.

врасплох, часто в каждом отдельном случае масштабы и скорость этого появления оцениваются ошибочно. Однако сущность нарушения, вызываемого подъемом, заключается не в том, что он в конечном итоге часто дезавуирует планы предпринимателей[17], а в следующих трех положениях.

Во-первых, в период подъема спрос предпринимателей на средства производства, опирающийся на новую покупательную силу, порожденное этим спросом «соперничество в борьбе за средства производства» (Ледерер), взвинчивают цены на них. В реальной действительности это ослабляется тем, что по крайней мере часть новых предприятий возникает не рядом с прежними, а вырастает из них и что прежние предприятия работают не без прибыли, а получают по меньшей мере прибыль типа квазиренты. Однако природу этого явления мы лучше всего уясним себе, если допустим, что все новое реализуется на вновь возникших предприятиях, финансируется только за счет вновь созданной покупательной силы и существует наряду с предприятиями, которые работают в рамках хозяйственного кругооборота и не получают прибыли и которые, таким образом, в результате роста издержек, начинают производить блага в убыток. Действительность противоречит такому построению в меньшей степени, чем следовало бы предполагать: фактически только вполне понятное настроение, господствующее в период подъема, вводит в заблуждение в отношении того, что для многих производителей подъем уже вскоре после своего начала и до тех пор, пока он проявляется лишь в увеличении спроса, означает трудности, которые, однако, вновь смягчаются начинающимся ростом цен. Эти затруднения — форма проявления процесса изъятия средств производства у старых предприятий и использования их для новых целей, как это показано в главе второй.

Во-вторых, через несколько лет на рынке появляются новые товары и в результате конкуренции вытесняют старые; в кругооборот народного хозяйства блага поступают как дополнение (Güterkomplement) ранее созданной покупательной силы. Ценность всех этих благ в принципе превышает покупательную силу. Последствия этого процесса вновь смягчаются действием факторов, о которых речь шла в предыдущем пункте, а также тем, что при сколько-нибудь значительных инвестициях эти дополнительные блага (например, продукция новой электростанции) появляются лишь постепенно. Однако это не затрагивает природы процесса: если уже в начале подъема повысились издержки старых предприятий, то их доход сокращается, вначале он сокращается у тех предприятий, с которыми конкурирует

[17] Но еще и в том, что последующее всеобщее расширение производства оказывается «ошибочным».

новое, а затем в принципе у всех предприятий, поскольку спрос потребителей меняется в пользу нового. Помимо возможности воспользоваться — вторично — новым, только вероятный, обычно лишь временно действующий амортизатор в форме квазиренты препятствует возникновению пассивных балансов у старых предприятий. И лишь потому, что старые предприятия обычно располагают достаточными средствами и пользуются доверием кредиторов, пассивность балансов не сразу ведет их к гибели. На успех новых предприятий влияет по крайней мере частичное ухудшение положения старых предприятий, смягчаемое тем хорошо вписывающимся в нашу концепцию обстоятельством, что подъем на первых порах не является всеобщим, а возникает в одной или нескольких отраслях и сразу не затрагивает другие отрасли народного хозяйства, а лишь потом оказывает на них иное, вторичное влияние. Подобно тому как по упоминавшейся причине появляется множество предпринимателей, так позднее на рынок в массовых количествах поступают их изделия, поскольку новые предприниматели — совсем в духе нашей теории — занимаются не чем-то совершенно разным, а в значительной мере аналогичной деятельностью, и поэтому примерно через одно и то же время на рынке могут появляться их продукты. Среднее время[18], которое должно пройти до этого момента, в принципе объясняет продолжительность периода подъема, которая в действительности, разумеется, зависит и от других факторов. Это появление на рынке новых товаров вызывает падение цен[19], которое в свою очередь кладет конец подъему, может привести к кризису, должно неизбежно привести к депрессии и вызывает другие последствия.

В-третьих, планомерно достигаемый успех новых предприятий порождает кредитную инфляцию, так как теперь предприниматели имеют возможность — и поводы — погашать свои долги, ну а поскольку нет других кредитополучателей, это ведет к исчезновению вновь созданной покупательной силы как раз в то время, когда дополнительные блага, рассчитанные на нее, уже существуют и могут вновь и вновь производиться в рамках кругооборота. Это положение требует тщательного обоснования. Прежде всего данный вид дефляции следует отличать от двух других. К дефляции не только по отношению к уровню цен периода подъема, но в принципе также и по отношению к уровню цен предшествовавшего периода депрессии планомерное появ-

[18] Это время технически определяется периодом, в течение которого одна масса товаров следует за другой.

[19] На практике такое падение цен обычно происходит не сразу (см. об этом ниже). Однако «отсрочка» снижения цен вовсе не устраняет их причины, а лишь обостряет положение. Тем самым устраняется лишь пригодность индексов цен в качестве показателей конъюнктуры.

ление новых товаров должно было бы привести даже в том случае, если бы платежные средства не исчезли в результате погашения долгов предпринимателями, так как сумма цен на новые товары, очевидно, обычно должна превышать сумму этих долгов. Одно это повлекло за собой такое последствие, которое в еще большей мере свойственно погашению долгов. Тем не менее мы сейчас имеем в виду последнее (погашение долгов), а не первое явление. В условиях уже начавшегося или ожидаемого банками спада дефляция наступает просто в результате того, что банки сами стремятся ограничить предоставление кредитов. Это в практическом отношении очень важный момент, под воздействием которого и начинается сам «кризис», но одновременно это и иной, побочный и не относящийся к сути проблемы момент. И не это последнее мы имеем в виду, хотя и не отрицаем его существования и значения, а только его первичную причинную роль[20]. Таким образом, наша формулировка содержит две абстракции, которые призваны более четко выделить существенное, но они исключают очень важные обстоятельства, на практике смягчающие процесс: во-первых, мы абстрагируемся от того, что на новые продукты, как правило, приходится невысокая норма амортизации основных средств, созданных для их производства, т. е. только часть, обычно очень небольшая, всех затрат периода подъема поступает на рынок в виде пригодной для сбыта продукции при условии, что новые предприятия уже готовы к выпуску ее.

По этой причине вновь созданная покупательная сила только постепенно выходит из обращения, причем какая-то часть ее покидает обращение только тогда, когда в периоды следующих подъемов на денежном рынке выступают другие заемщики. Правда, поглощение новой покупательной силы путем использования сбережений ничего не меняет в этом дефляционном процессе, исключая разве то обстоятельство, что отсутствующий спрос на кредит со стороны предпринимателей на денежном рынке покрывается спросом со стороны государства, общин, ипотечных банков. Наряду с этим постепенным исчезновением задолженности предпринимателей необходимо также учитывать то, что в современном народном хозяйстве, в котором процент оказался также вовлеченным в кругооборот, кредитные платежные средства в силу того, что им отныне противостоит соответствующая масса ежегодно производимых товаров, могут длительное время находиться в обращении, смягчая тем самым процесс дефляции. Тем не менее этот процесс продолжает эффективно идти, и погашение долгов преуспевающими предпринимателями действительно имеет место — и как

[20] Речь идет о *первичной* причинной роли, поскольку ограничение кредитов со стороны банков, безусловно, является причиной других, в иных условиях не ожидаемых, явлений.

следствие эта дефляция, хотя бы и в такой мягкой форме, должна начинаться в соответствии с логикой объективной ситуации и к тому же автоматически тогда, когда подъем получил достаточное развитие. История развития цен XIX в. все же дает действительно солидную верификацию этой теории, которая позволяет сделать вывод о том, что в процессе развития уровень цен должен был бы в течение длительного времени прогрессивно понижаться. Речь идет о двух периодах, в течение которых развитие не нарушалось денежными переворотами: один — от наполеоновских войн до открытия золота в Калифорнии, другой — с 1873 по 1895 гг. Действительно, в эти периоды имело место явление, которого мы должны были бы ожидать, согласно нашей теории. Суть его сводится к тому, что каждая последующая низшая точка волнообразного движения цен лежит ниже предшествующей и что кривая цен, в которой устранены конъюнктурные колебания, направлена вниз.

Наконец, необходимо также объяснить, почему вместо погашающих долги предпринимателей не всегда появляются предприниматели, которые стремились бы получить кредит. Это происходит по двум причинам. *In praxi* (на деле) к ним добавляются другие, которые допустимо рассматривать либо как последствия, с нашей точки зрения, важных обстоятельств, либо как случайные или внешние воздействия и в этом смысле как вторичные, несущественные и побочные. Если в отрасли, в которой начинается подъем и появляются первые новые предприниматели, и под влиянием их успеха возникло бы столько новых предприятий, что они, работая на полную мощность, стали бы производить такое количество продуктов, которое в результате понижения цен и роста издержек — что, естественно, имеет место и в том случае, когда данная отрасль работает в соответствии с так называемым законом возрастающей отдачи, — ограничило предпринимательскую прибыль (последнее на практике возможно — но не обязательно — и в экономической системе, основанной на конкуренции, и не исключает того, что этот процесс будет еще давать прибыль или станет приносить одни только убытки), то тем самым оказался бы исчерпанным стимул к дальнейшему движению вперед в этом направлении. Аналогичным образом определяется та «граница», до которой могут дойти предприниматели, которые появляются в этих условиях в других отраслях, а также явления, порожденные вторичными волнами конъюнктуры. С достижением этого рубежа перестает действовать фактор, стимулирующий подъем. Вторая причина объясняет, почему же за одним подъемом сразу не следует другой. Этого не происходит потому, что деятельность множества предпринимателей в период подъема изменила положение параметров экономики, нарушила ее равновесие и тем самым породила в экономике на первый взгляд не-

регулируемое движение, которое мы воспринимаем как стремление к состоянию — правда, не прежнего — равновесия и которое делает невозможным надежный расчет поведения вообще, но в первую очередь для других новых предприятий. На практике можно постоянно непосредственно ощущать лишь последний момент — характерную неуверенность, которая вызывается появлением нового в период подъема, а упомянутая ранее граница устанавливается отнюдь не повсеместно. Оба эти явления остаются, однако, в тени, во-первых, тех последствий, которые как бы предвосхищают предвидение многих хозяйственных субъектов — некоторые хозяйственные субъекты ранее других чувствуют эти последствия (банки — напряженность в состоянии своих ликвидов; многие старые предприятия — рост издержек и другие моменты) и реагируют на это обычно слишком поздно, но зато панически, прежде всего сказанное относится к предприятиям, находящимся в слабых руках, — во-вторых, тех случайных событий, которые хотя и наступают всегда, но при созданной подъемом неуверенности приобретают значение, обычно им несвойственное — как раз этим объясняется тот факт, что практик фактически в каждом кризисе умеет указать на случайные события, такие, как, например, неблагоприятные политические слухи, в качестве причин, и в действительности эти события нередко дают первый толчок, — в-третьих, тех внешних воздействий, важнейшими из которых обычно являются крутые меры в области политики эмиссионного банка.

4. Если читатель проанализирует и проверит все сказанное на любом фактическом материале или на положениях любых теорий кризисов и конъюнктуры, то он должен понять то, каким образом подъем сам по себе создает *объективную ситуацию,* которая, даже исключая все побочные и случайные обстоятельства, означает его завершение, легко вызывает кризис и неизбежно ведет к депрессии, а через нее и к состоянию временной относительной выравненности и отсутствия развития. Депрессию как таковую мы рассматриваем как *нормальный* процесс, а процесс поглощения и ликвидации, вызванный самим кризисом — паникой, крахом кредитной системы, эпидемией банкротств — и его следствиями, как отклоняющийся от нормы (*аномальный*). В дополнение к изложенному, местами повторяясь, мы должны кое-что сказать об этом процессе, и в первую очередь о нормальном, поскольку процесс, отклоняющийся от нормы, не содержит в себе принципиальных проблем.

Непосредственно из сказанного вытекает понимание всех первичных и вторичных признаков периода депрессии, которые представляются единой цепью причинно-следственных связей. Подъем сам по себе и в силу внутренних причин порождает пассивность балансов многих предприятий, вызывает падение цен помимо дефляции и, кроме

того, дефляцию в результате ограничения кредита. Все эти явления углубляются по мере развития депрессии. Помимо этого, объяснены сокращение инвестиций[21] и ослабление предпринимательской деятельности — факторы, стимулирующие ее, перестают действовать, а тем самым объяснены также застой в отраслях, производящих средства производства, и падение индекса Шпитгофа (потребление стали) и других аналогичных барометров конъюнктуры, таких, как портфель заказов американского Стального треста и т. д. Сокращение спроса на средства производства — при отсутствии коэффициента риска — сопровождается дальнейшим падением учетной ставки и занятости рабочих. Уменьшение денежных доходов, первопричиной которого выступает эта дефляция и масштабы которого растут в результате банкротств и т. п., в конечном счете вызывает сокращение спроса на все другие товары. Посредством всего этого процесс оказывает влияние на все народное хозяйство, и в итоге возникает общая картина депрессии.

Впрочем, два фактора препятствуют появлению этих признаков в той временной последовательности, которая соответствовала бы их месту в причинно-следственной связи. Во-первых, это тот факт, что поведение хозяйственных субъектов не только опережает их, но опережает их в разной степени. Это происходит в первую очередь, например, на тех рынках, на которых профессиональная спекуляция играет бóльшую роль, чем на других. Так, на рынке акций задолго до наступления реального поворота конъюнктуры можно наблюдать носящие спекулятивный характер «предварительные» кризисы (Vorkrisen), которые преодолеваются и уступают место повышательной тенденции, относящейся к тому же периоду подъема (именно так обстояло дело в 1873 и 1907 гг.). Однако гораздо важнее другое. Известно, что на практике повышение цен на тот или иной продукт часто предшествует росту издержек, которые тем не менее являются его «причиной». Аналогичное явление наблюдается и здесь. Сокращение вложений в основной капитал в только что упомянутом смысле, сопровождаемое ослаблением деятельности предпринимателей и застоем в производстве средств производства, может, например, произойти в соответствии с логикой рассматриваемого еще до того, как подъем достигнет своей высшей точки, но это вовсе не обязательно. Если эти симптомы регулярно проявляются так рано, то это, скорее, объясняется тем, что на

[21] Явление, которое *здесь* имеется в виду, следует отличать от сокращения инвестиций в результате ограничения кредита, обусловливаемого погашением долгов. Здесь мы имеем в виду инвестиции в расширение *нового* производства. В то же время статистика выпуска акций и облигаций, которая на практике является таким хорошим показателем конъюнктуры (Шпитгоф), отражает не только — но прежде всего — третий фактор, а именно консолидацию банковских кредитов в результате роста накоплений.

них влияют факторы, которые предшествуют тому, что наступает. Во-вторых, разнообразные обстоятельства способствуют тому, что в реальных процессах вторичные моменты часто проявляются более резко, чем первичные. Опасения кредитора выражаются, например, в повышении процента, и только позднее, в период депрессии, проявляется то, что по своей природе должно было бы проявиться в ходе нормального процесса довольно рано. Сокращение спроса на труд (Arbeit) должно было бы быть очень ранним признаком перелома. Однако подобно тому, как в период процветания зарплата растет не сразу, поскольку в это время все еще есть безработица, она, а также, видимо, и занятость (так произошло, например, в 1907 г. в Америке) сокращаются, но обычно не так быстро, как этого можно было бы ожидать, поскольку этому препятствует ряд известных обстоятельств. Деловой мир стремится оградить себя от снижения цен, и там, где нет совершенно «свободной» конкуренции — а таковой она не бывает почти нигде, — а банки оказывают финансовую поддержку, он защищается с переменным успехом: пик цен по времени отстает от перелома цикла конъюнктуры. Точно установить все эти вещи, разумеется, — важная задача анализа кризисов. В нашей же работе достаточно установить — и это не требует от меня дальнейших обоснований — то, что все это так же мало меняет в сути дела, как аналогичные явления в других областях, на которые я указывал выше, как-то возражения против основы теории цен.

Процессы, происходящие в период депрессии, являют собой картину неуверенности и беспорядочности, которую мы понимаем как поиски нового равновесия, адаптации к относительно быстрым и существенным изменениям общей ситуации. Подобная неуверенность и беспорядочность вполне понятны. Для каждого предприятия изменилась привычная ситуация. О степени и типе изменений можно судить лишь из опыта. Появляются новые конкуренты, уже нет старых клиентов и поставщиков, необходимо приспособиться к новым методам хозяйствования, в любой момент могут наступить непредвиденные события — неожиданный отказ в кредите. Перед «просто-напросто хозяином» стоят необычные новые задачи, которые ему не по плечу. В этой обстановке он делает ошибки, которые впоследствии станут важной вторичной причиной дальнейших неудач. Еще одной такой причиной становится спекуляция вследствие того, что для нее создаются весьма неблагоприятные условия и что она по времени опережает дальнейшее уничтожение ценностей. В итоге все эти хорошо известные обстоятельства взаимно усиливаются. Нигде невозможно определить, к чему это приведет, не исключено появление слабых мест, которые сами по себе не имеют к конкретному кризису никакого отношения. Сокращение или расширение производства в конечном счете могут оказаться

правильной реакцией, причем сразу невозможно определить веские причины принятия той или иной меры. Здесь сложность и неясность обстановки, которые теория, на мой взгляд, неоправданно использует при объяснении причин депрессии, действительно становятся важным фактором реальных событий, который в свою очередь отныне становится элементом ситуации, вызванной особыми причинами.

Ненадежность всех экономических показателей и ценностей, находящихся в процессе приспособления к новым условиям, убытки, которые, как кажется, возникают или грозят возникнуть неожиданно и непредвиденно, создают характерную для периодов спада атмосферу. При этом особенно страдают те спекулятивные элементы, которые в период процветания привлекают внимание делового мира и общества к деятельности биржи и к себе. Многим людям, особенно людям последней категории, а также производителям предметов роскоши, отчасти зависящим от их спроса, обстановка кажется гораздо хуже, чем она есть на самом деле. Они воспринимают ее, так сказать, как конец всему. Субъективно производителями — особенно тогда, когда они сопротивляются неизбежному падению цен, — перелом конъюнктуры представляется как появление ранее скрытого перепроизводства, а депрессия — как его следствие. Невозможность сбыта произведенных и тем более производимых товаров по ценам, покрывающим издержки, — это действительно явление, которое порождает дальнейшие, хорошо известные последствия «нехватки денег», а возможно, и неплатежеспособности и которое имеет место так часто, что любая теория конъюнктуры должна быть в состоянии его объяснить. Читатель видит, что наша теория делает это, но она рассматривает это типичное явление не в качестве первичной и независимой причины[22]. Перепроизводство углубляется под влиянием уже рассмотренного и объясненного нами явления односторонности подъема. В связи с этим обстоятельством, с одной стороны, и по причине несоответствия между платежеспособ-

[22] Мне представляется, что любую теорию кризисов, в которой перепроизводство играет роль одной из причин или даже рассматривается как первопричина кризиса (помимо возражения, сформулированного еще Сэем, и даже тогда, когда она говорит не просто о «всеобщем перепроизводстве»), можно упрекнуть в том, что она впадает в логический круг. Это, на мой взгляд, не относится к теории Шпитгофа. Очень краткие аргументы, которыми он пытается обосновать периодическое перепроизводство продукции производственного потребления, не позволяют дать окончательную оценку его теории. Кроме того, необходимо иметь в виду, что цель Шпитгофа состоит в анализе всех деталей предмета исследования. При таком подходе, в отличие от нашего, рассмотрение обстоятельств, определяющих формы проявления экономических процессов — и к ним, разумеется, относится застой в производстве средств производства, — действительно значительно важнее анализа первопричин. Наконец, выделение производства средств производства указывает на те факторы, которые, на мой взгляд, являются сутью дела, так что совершенно неверно рассматривать теорию Шпитгофа просто как теорию перепроизводства, а более подробное изложение, возможно, показало бы еще большее взаимное соответствие наших подходов, чем я сейчас предполагаю.

ным спросом и предложением товаров, которое в период депрессии возникает во многих отраслях промышленности, — с другой, форма проявления кризиса может быть легко вписана в общую схему различных теорий диспропорциональности. Содержание всех этих теорий зависит от того, как объясняется возникновение диспропорциональности, и от рассмотрения величин, между которыми она должна существовать. Для нас это диспропорциональность — возникающая во многих областях в результате нарушения равновесия народного хозяйства — между массой благ и ценами, а в связи с этим также между величиной доходов в отдельных отраслях, но не между доходами классов хозяйственных субъектов: предпринимательские доходы не находятся в нормальном соотношении с доходами других людей, которое можно было бы нарушить, а доходы этих других людей, за исключением тех, кто получает фиксированный доход, имеют тенденцию изменяться *pari passu* (одинаковыми темпами), а роль их повышается или уменьшается в ущерб или на пользу фиксированных доходов, что не нарушает развития экономики. Подобно перепроизводству, все это выступает как промежуточное явление и совсем не как первопричина.

Одно из последствий односторонности подъема состоит в различной степени напряженности и опасности ситуации для отдельных отраслей. Опыт свидетельствует о том, как отмечал еще Афтальон[23], что некоторых отраслей подъем практически не касается, а других — только слегка.

Все же фактом, который объясняет наша теория, является то, что депрессия охватывает значительно больше отраслей и предприятий, чем подъем. При этом оказывается, и это находится в кажущемся противоречии с нашей теорией, что новые предприятия зачастую страдают значительно больше, чем старые. Это объясняется следующим: у старого предприятия есть своего рода амортизатор в виде квазиренты, но прежде всего у него обычно имеются накопленные резервы. Оно обладает связями, которые обеспечивают ему определенную защиту. Нередко существенной поддержкой для него являются многолетние отношения с банками. Такое предприятие может годами иметь пассивный баланс, не вызывая беспокойства своих кредиторов. И поэтому оно гораздо более жизнеспособно, чем новое предприятие, которое находится под строгим и недоверчивым контролем, не имеет резервов,

[23] См.: Aftalion. Les crises périodiques de surproduction, livre I, Paris, 1913. Правда, в значительно большей степени, чем тот факт, который мы имеем в виду, проявляется другое обстоятельство, также понятное с нашей точки зрения. Оно состоит в том, что волнообразное движение конъюнктуры всегда особенно сильно выражено в отраслях, выпускающих производственное оборудование. Конечно, это отнюдь не противоречит нашему пониманию проблемы.

а в лучшем случае — располагает лишь неиспользованными остатками кредитных средств. Такому предприятию достаточно проявить лишь какой-либо симптом неуверенности, чтобы быть обвиненным в «жульничестве». И вообще, сначала ему необходимо завоевать свое место в экономике. Поэтому влияние изменения всей конъюнктуры на новые предприятия может проявиться раньше и более явно, чем на старые. И поэтому оно значительно быстрее приводит к банкротству первых, чем последних. Влияние кризиса на старые предприятия скорее вызывает их медленное умирание. Это искажает действительное положение вещей и в то же время является причиной того, что говорить о «процессе отбора», осуществляемом кризисом, можно лишь с существенным ограничением, поскольку обеспеченные предприятия — вовсе не самые совершенные из них — имеют лучшие перспективы пережить кризис. Однако это ничего не меняет в сущности явления.

5. Хотя совершенно ясно, что описываемый процесс приспособления и поглощения, присущий периодам депрессии, большинством жизнеспособных и энергичных элементов народного хозяйства воспринимается как крайне нежелательное явление и что этот процесс даже в том случае, если все протекает в высшей степени идеально, зачастую уничтожает ценности и имущество, суть его и последствия не будут поняты в полной мере, если только станут рассматриваться под углом зрения прекращения процветания, либо будут подчеркиваться исключительно негативные черты. Между тем существуют два положительных момента, составляющие сущность этого процесса и экономически свойственные ему в значительно большей мере, чем только что рассмотренные явления.

Во-первых, как уже было отмечено, процесс депрессии ведет к состоянию — не прежнего — равновесия. Убедиться в том, что все его процессы, как первичные, так и вторичные, действительно, как мы утверждали, можно понять под этим углом зрения и что они только кажутся бессмысленными и беспорядочными, можно, если еще раз задуматься над тем, на что и как реагируют отдельные хозяйственные субъекты в период депрессии. Они реагируют на нарушение развития, вызванное подъемом, т. е. *массовым* появлением новых комбинаций и их продуктов, их появлением рядом со старыми предприятиями и *«односторонностью»* этого появления. В этом отношении они подобны тем хозяйственным субъектам, у которых как у руководителей производства всех видов — в отличие от других индивидов, таких, например, как рабочие, землевладельцы, пенсионеры, — вообще наблюдается особое поведение, а не просто затронутость депрессией, и которые приспосабливаются к условиям, изменившимся под влиянием подъема. Перед старыми предприятиями, т. е. в принципе перед всеми существующими, за исключением возникших во время подъема, прак-

тически за исключением тех, которым удается избегнуть опасности в силу своего монопольного положения, обладания особыми преимуществами или значительно более совершенной техникой, стоят три возможности: прекратить свое существование, если они по материальным или субъективным причинам не могут приспособиться к новым условиям; «убрать паруса» и попытаться выжить, занимая более скромное положение; наконец, собственными силами или с посторонней помощью сменить отрасль либо в соответствии с новыми условиями использовать другие технические или коммерческие решения, что во многих случаях завершается расширением производства. Новым предприятиям приходится выдерживать первую пробу, гораздо более трудную, чем та, которую им пришлось бы выдержать, если бы они появлялись постепенно, непрерывно, а не сразу массово. После своего официального учреждения они должны твердо обосноваться и, даже если субъективно при их учреждении ничего не было упущено, многое в себе исправить. Перед ними стоят проблемы, и у них есть возможности, аналогичные тем, с которыми сталкиваются старые предприятия, хотя и по другим, вторичным причинам. И как уже упоминалось, в некоторых отношениях им труднее справиться со своими задачами, чем старым предприятиям. Поведение хозяйственных субъектов, свойственное периоду депрессии, складывается из принятия мер, их корректировки, принятия новых мер, направленных на решение этих задач, и из учета последствий принятия мер. Все проявления депрессии, помимо необоснованной паники и последствий ошибок — последние характеризуют аномальный кризисный процесс, — можно уложить в нашу схему, т. е. в схему созданной подъемом ситуации и вызванного ею поведения предприятий, схему нарушения равновесия и реакции на него, изменения условий и приспособления — удачного или неудачного — к ним.

Наряду со стремлением к установлению нового состояния равновесия, которое встраивает новшество и его воздействие на старое в существующую ситуацию и которое фактически является содержанием периода депрессии, здесь выявляется, что эта тенденция действительно должна в значительной степени способствовать достижению равновесия. Это само по себе еще не содержится в первом утверждении. Более того, необходимо еще доказать, с одной стороны, что действие движущего импульса процесса депрессии в принципе прекращается тогда, когда он уже сделал свое дело, действительно привел к состоянию равновесия, с другой — что до этого *сама экономика* не порождает никакого нового нарушения в виде подъема. Фактором, определяющим поведение хозяйственных субъектов в период депрессии, являются фактически возникающие или грозящие убытки. Однако убытки возникают или грозят возникнуть — не обязательно во всем

народном хозяйстве, а в отдельных, охваченных спадом его частях — до тех пор, пока не все предприятия и тем самым не вся экономика будет находиться в состоянии стабильного равновесия. Последнее практически означает, что они снова производят по ценам, примерно покрывающим издержки. Следовательно, депрессия в принципе продолжается до тех пор, пока в первом приближении не будет достигнуто такое равновесие. Данный процесс не прерывается новым подъемом, пока он в этом смысле не закончился, поскольку до тех пор неизбежно существует неуверенность в отношении изменения всех условий и показателей, которые делают невозможным расчет новых комбинаций и затрудняют действие тех факторов, которые необходимо использовать. Оба эти результата соответствуют действительности, если учесть следующие ограничения: знание периодических изменений конъюнктуры и их механизмов, свойственное современному деловому миру, позволяет каждый раз, когда худшее оказывается уже позади, предвосхищать новый подъем, а в первую очередь его вторичные проявления.

Приспособление многих предприятий и тем самым многих ценностей к новому равновесию значительно затрудняется и фальсифицируется в результате ожидания того, будут ли эти предприятия, если только они смогут «выдержать» — облегчить их участь часто в интересах кредиторов, — например, в период следующего подъема, ликвидированы на выгодных условиях или вообще никакой необходимости в этом не возникнет. Это особенно важно в периоды подъема, спасает жизнеспособные предприятия, а также оказывает поддержку нежизнеспособным и, во всяком случае, препятствует достижению состояния выравненного (ausgeglichen) равновесия. Активный процесс создания трестов подготавливает условия для длительного существования «несбалансированности» внутри крупных концернов, а тем самым и вне их, так как равновесие имеет место во всех отраслях производства только при совершенно свободной конкуренции. Далее, этому способствует финансовая мощь многих старых предприятий и поддержка других предприятий, оказываемая по самым различным причинам, например в форме государственных субсидий, которые предоставляются *bona* или *mala fide* (с честными или нечестными намерениями), исходя из предположения, что речь идет о затруднениях, вызванных внешними факторами. Иногда в периоды длительных депрессий вводятся также оградительные пошлины, вследствие чего адаптация к новым условиям вовсе не всегда является неотложным делом и непосредственно жизненно важным вопросом, а часто становится излишней с частнокапиталистической точки зрения. Адаптации, в принципе, можно было бы точно так же избежать посредством соответствующего расширения кредита. Большую роль играют случайности, к примеру в нуж-

ный момент — хороший урожай. Наконец, порой сама патология течения депрессии вызывает эффект «сверхкомпенсаций»: например, если в результате необоснованной паники акции той или иной компании чересчур обесценились, а затем на бирже начинается повышение их курсов, то со своей стороны эта повышательная тенденция вновь может не попасть «в яблочко», ибо курс акций достигнет чрезмерно высокого уровня и вообще может стать началом малого псевдоподъема, который при известных обстоятельствах будет продолжаться до наступления действительного подъема.

Конечно, никогда нельзя достигнуть такого положения, которое полностью соответствует теоретической схеме полного отсутствия развития и при котором не существовало бы никаких доходов от процентов. Этому препятствует уже относительно небольшая продолжительность спадов. И все же, однако, каждый раз происходит приближение к состоянию отсутствия развития, которое, будучи относительно выравненным, может опять стать отправной точкой для осуществления новых комбинаций. При таком подходе мы приходим к выводу, что по нашей теории между двумя периодами подъема всегда должен протекать процесс поглощения, причем в состоянии первого приближения к равновесию и реализуя себя через него. Для нас это важно не только потому, что действительно существует подобное промежуточное состояние и любая теория кризисов обязана его объяснить, но также и потому, что только обоснование необходимости состояния такого периодического равновесия замыкает круг наших рассуждений, поскольку мы за основу брали состояние, из которого впервые — неважно, когда это произошло исторически, — поднимается волна капиталистического развития. Чтобы ясно выделить природу этой волны, мы можем просто руководствоваться предположением о существовании такого состояния. Однако наша теория исчерпает сущность явления только в том случае, если за каждым гребнем волны не только действительно следует провал — а это на самом деле так и есть, — но по нашей теории должен следовать неизбежно, а этого уже нельзя ни просто предположить, ни заменить ссылкой на факт. Поэтому в данном вопросе представлялась необходимой известная педантичность.

Во-вторых, помимо «переработки» нового, рассмотрением чего мы только что занимались, депрессия несет с собой и нечто другое, что, впрочем, менее очевидно, чем явления, которым она обязана своим названием: депрессия осуществляет то, что обещал подъем. И это влияние длительно в отличие от временного характера явлений, которые воспринимаются как неприятные: поток благ стал более обильным, частично реорганизовано производство, снижены издержки произ-

водства[24], и то, что вначале выступало в виде предпринимательской прибыли, в конечном счете увеличивает устойчивые реальные доходы.

Данный вывод из нашей теории (см. также главу четвертую), несмотря на то что это воздействие на первых порах наталкивается на множество препятствий и под влиянием временных и особенно аномальных процессов спада часто трансформируется в индивидуальные убытки и затруднения, подтверждается фактом отнюдь не столь безнадежного состояния экономики в период нормальной депрессии[25], как это можно было бы заключить из общего настроения. Помимо того, что большая часть экономики обычно почти не затрагивается депрессией, физический объем большинства сделок сокращается лишь незначительно. О том, насколько преувеличены популярные представления об опустошениях, наносимых депрессией, свидетельствует любое анкетирование, проводимое в период кризиса[26], хотя на практике до сих пор постоянно, даже если и в исторически убывающем масштабе, к этому добавлялись кризисы, приносившие бессмысленные опустошения. И об этом свидетельствует точка зрения не только сторонников теории «натурального хозяйства», но и — несмотря на то, что движение конъюнктуры с его инфляцией в период подъема и дефляцией при депрессии должно особенно четко отразиться в сфере денежного обращения, — приверженцев «денежного хозяйства»: размеры доходов в период подъема поднимаются выше, а при депрессии

[24] Мы дважды говорили о влиянии подъема, вызывающем *рост* издержек: сначала спрос предпринимателей повышает цены товаров, затем этому же способствует конкуренция новых предприятий и спрос со стороны всех тех, кто участвует в плавании по вторичным волнам развития. Такой рост издержек не имеет никакого отношения к тому их вечному росту, о котором писали классики, исходя из предположения более быстрого прироста народонаселения по сравнению с возможностями производства продовольствия. *Снижение* издержек, о котором идет речь выше, — это не дополнение того роста издержек в денежном выражении. Это снижение является следствием «прогресса производства», который реализуется при подъеме и означает сокращение реальных затрат на единицу продукции сначала на новых предприятиях, а затем и на старых, так как они или должны приспосабливаться — например, путем ограничения своего производства либо использования только лучших возможностей, — или исчезнуть: после каждого подъема народное хозяйство как таковое производит единицу продукции с меньшими затратами труда или земли.

[25] Таковой, конечно, не была послевоенная депрессия. На мой взгляд, ошибочно стремиться делать общие выводы в области теории конъюнктуры на основе послевоенных фактов. Однако эта ошибка встречается часто. Так, некоторые суждения современных «терапевтов» кризиса в области кредитной политики объясняются тем, что они судят о нормальном волнообразном движении по тому, что верно лишь для послевоенного кризиса.

[26] См., например, опрос Союза социальной политики или английские опросы периода преобладания депрессий — до 1895 г., — в частности знаменитый Третий доклад о застое в торговле («Third report on the depression on trade»). Точные исследования были сделаны лишь в последнее время, например в «Специальном меморандуме № 8 Лондонской и Кембриджской экономической службы», составленном Дж. В. Ф. Роу (London and Cambridge Economic Service) или (для Америки) в виде данных и оценок в «Докладе комитета конференции президента по безработице 1923 г.» Этот интересный метод, дающий даже для 1921 г., который не является обычным годом депрессии — см. предыдущую сноску, — тот же результат, применяет С. Снайдер (Administration, May 1923).

опускаются ниже уровня обычных лет даже в Америке, где колебания темпов экономического развития, видимо, выражены сильнее, чем в Европе, не более чем на 8—12% (Митчелл). Еще Афтальон показал, что в период депрессии цены в среднем понижаются всего на несколько процентов и что причины действительно значительных колебаний цен кроются в особых условиях производства и сбыта отдельных продуктов и мало связаны с волнообразным движением. Последнее распространяется также на все действительно крупные всеобщие процессы, например в послевоенный период. Если когда-нибудь исчезнут явления аномального течения депрессии (паника, массовые банкротства и т. п.), которые становятся все более слабо выраженными, и с ними пройдут тревожные ожидания непредвиденных опасностей, то и общественное мнение станет оценивать депрессии иначе, чем сейчас.

Мы поймем действительные особенности периода депрессии, если поразмыслим над тем, что она приносит отдельным категориям хозяйственных субъектов и чего их лишает, при этом мы постоянно абстрагируемся от явлений ее аномального течения, от которых здесь ничего не зависит. Предпринимателей и всех их попутчиков, в особенности случайных людей или спекулянтов, использующих рост цен, депрессия лишает возможности получать прибыль, что лишь частично возмещается спекулянтам наступающей затем понижательной тенденцией курсов и цен. В принципе предприниматель получил свою прибыль и вложил ее в созданное и закрепившееся на своем месте предприятие. Но «дела его обстоят плохо», больше прибыли оно не приносит, напротив, ему угрожают убытки. В принципе и при идеальном течении депрессии его предпринимательская прибыль исчезла бы, его прочие доходы сократились бы до минимума. В реальной действительности здесь присутствуют еще отдельные отрицательные моменты и одновременно некоторые — уже упоминавшиеся — смягчающие факторы. Конечно, страдают индивиды, связанные со старыми предприятиями, не выдержавшими конкуренции. Типичными представителями тех, кто получает выгоду от депрессии, являются лица, имеющие твердые или мало меняющиеся денежные доходы: пенсионеры, рантье, чиновники, те землевладельцы, которые на длительный срок сдали землю в прямую или косвенную аренду (например, путем сдачи внаем жилых помещений). Их денежные доходы, в период процветания сократившиеся по своему товарному содержанию, увеличиваются, и, как было показано (см. выше, пункт 3, «в-третьих»), в соответствии с основной тенденцией это увеличение перекрывает предшествовавшее сокращение. Капиталисты, имеющие краткосрочные вложения, выигрывают на покупательной способности единицы дохода и капитала и теряют на процентах — в принципе они должны были бы терять больше, чем выигрывать, но многочисленные вторичные обстоятельства: с

одной стороны, угроза убытков, с другой — высокие премии за риск (Risikoprämien) и порожденный паникой спрос, — лишают данный тезис его практического значения. Те земельные собственники, рента которых в денежном выражении не связана долгосрочными договорами, прежде всего владеющие землей сельские хозяева, в принципе находятся в том же положении, что и рабочие. Поэтому применительно к ним действует то же, что и в отношении рабочих. При этом практически важные, но теоретически незначительные различия настолько общеизвестны, что мы не будем на них останавливаться[27].

В период подъема зарплата должна расти, поскольку появляющийся новый спрос сначала одних, а затем других предпринимателей, спрос, порождающий вторичные признаки процветания, и прямо и косвенно является прежде всего спросом на рабочую силу. Поэтому сначала должна увеличиться занятость, одновременно с ней — общая величина заработной платы рабочих, а затем — заработная плата и доход отдельного рабочего. Увеличение суммы заработной платы является главной причиной того повышения спроса на потребительские блага, которое приводит к росту цен. И поскольку по упомянутым причинам частично не увеличиваются доходы земельных собственников, в принципе приравненных к рабочим (см. главу первую), а их фиксированные доходы вообще не растут, то увеличение общей суммы заработной платы не просто номинально, а равнозначно росту реальных доходов рабочих и повышению их доли в социальном продукте, который еще не увеличился. Это особый случай общего положения: никакая инфляция не может непосредственно ущемить интересы рабочих, если и поскольку вновь созданная покупательная сила найдет свое реальное отражение в заработной плате еще до того, как она скажется на ценах на потребительские блага. Вот тогда только или если, как, например, во время мировой войны, росту заработной платы препятствуют внешние факторы, ее общая величина может «отставать» часто описываемым образом[28]. Если, впрочем, инфляция является движущей

---

[27] Здесь также нет необходимости рассматривать разную степень влияния депрессии на различные отрасли: например, она больше затрагивает производство предметов роскоши, чем пищевую промышленность. То, что в этом вопросе представляет принципиальный интерес, уже рассматривалось в отдельных местах данной главы.

[28] Статистическая проверка этой теории сталкивается с различными трудностями. Прежде всего, наши данные о розничных ценах на потребляемые рабочими товары за предыдущие годы не являются достаточно полными, а динамика только денежной зарплаты, естественно, ни о чем не говорит. Правда, эта динамика, если ею довольствоваться, подтвердила бы нашу теорию.

Еще менее удовлетворительно обстоит дело с учетом уровня занятости, без чего мы также не можем обойтись. Насколько мне известно, неполный рабочий день до сих пор вообще не удавалось учесть, а полная безработица учитывалась лишь с помощью данных профсоюзов и несистематического подсчета числа безработных. ▶

силой всякого рода эксцессов потребления, что происходит, например, при инфляционном финансировании войны, то вызванное ею обеднение[29] народного хозяйства должно влиять и на положение рабочих, хотя и не столь резко, как на положение других категорий хозяйственных субъектов. Однако в нашем случае наблюдается обратная картина.

В период подъема возрастает покупательная сила единицы зарплаты. Напротив, из-за автодефляции (Selbsdeflation), порождаемой подъемом, сокращается денежное выражение эффективного спроса на рабочую силу. Когда это имеет место, эффективный реальный спрос[30] на труд может изменяться. Тогда реальные доходы рабочих все еще остаются выше тех доходов, которые наблюдались в период предшествовавшего равновесия, а также тех, которые существовали в период подъема, поскольку то, что до сих пор было предпринимательской прибылью, продолжает — в принципе по нашей схеме полностью, а фактически лишь постепенно и не целиком — поступать, поскольку эти средства не поглощаются — через услуги труда и земли — падением цен на продукты (см. главу четвертую). Однако следующие обстоятельства временно препятствуют этому и временно приводят к фактическому сокращению реальных доходов, в то время как их рост, ожидаемый в соответствии с нашей теорией, отодвигается наступающим новым подъемом на задний план.

Продолжение сноски со стр. 353.

Сейчас это можно было сделать лучше, но по уже упомянутым причинам для нашей цели подходят только довоенные данные. У нас есть работа, в которой как раз сделана попытка показать то, что нам нужно, а именно книга: G. H. Wood. Real Wages and the Standard of Comfort since 1850. — *J. Roy Stat. Soc.*, March 1909. В ней содержатся данные до 1902 г., подтверждающие наши положения. Лишь на рубеже века возникает то нециклическое и в этом смысле вечное повышение цен, изменяющее картину и приводящее также к отклонению направлений волнообразного движения. Иные результаты содержатся в работах проф. Боули, являющихся продолжением работы Вуда, а также в работах: Wood. The Course of Real Wages 1900—1912. — *J. Roy Stat. Soc.*, Dec. 1913; A. H. Hansen. Factors affecting the Trend of Real Wages. — *Amer. Econ. Rev.*, March 1925, не учитывающих, однако, уровень зарплаты. Но легко убедиться в том, что наш результат уточняется, если элиминировать тот самый вечный рост цен. О связи между добычей золота и уровнем зарплаты см. статью Пигу в *Economical Journal*, June 1923. Дальнейшие рассуждения находят совершенно достаточные подтверждения в цифровых данных. Сумма реальной зарплаты при депрессии обычно сокращается, но лишь на часть того прироста, который имел место во время подъема. Это именно то, что мы должны ожидать.

[29] Обнищание, его последствия, а тем самым — при примерно неизменном количестве платежных средств — также относительная инфляция в этом случае наступили бы и без применения инфляционных методов финансирования. Выше имеется в виду то усиление влияния инфляции, которое связано с инфляцией бумажных денег и кредита.

[30] Здесь это новое понятие означает просто «спрос», выраженный в единицах идеального масштаба, который не претерпевает никаких циклических изменений типа изменений массы средств обращения, и в силу этого он показывает лишь «реальные», а не только номинальные изменения общего спроса на труд.

a) Уже сами явления, которые мы назвали «неуверенностью» и кажущейся беспорядочностью показателей и процессов периода спада, а еще больше паника и ошибки, связанные с его аномальным — кризисным — течением, полностью разоряют одни, весьма многочисленные фирмы, а другие вынуждают временно прекратить свою деятельность. Помимо прочего, это должно порождать также безработицу, временный по существу характер которой ничего не меняет в том, что она может быть большим, иногда катастрофическим несчастьем для оказавшихся без работы и что страх перед ней — уже в силу одной «непредсказуемости» ее наступления — играет важную роль в создании атмосферы периода депрессии. Эта безработица типична для периода спада и является причиной обусловленного паникой роста предложения труда, а также потери работы, полученной не автоматически через рынок труда, а с помощью профсоюзов. Она является также причиной иногда очень резкого понижения заработной платы, последствия которого могут быть серьезнее, чем можно было бы судить по числу безработных.

b) От этих вещей необходимо отличать следующее: новые предприятия в результате конкуренции полностью вытесняют старые или вынуждают их к ограничению производства. Правда, возникающей при этом безработице противостоит новый спрос на труд, который должен приводить в движение новое оборудование. О том, насколько данный спрос часто более чем компенсирует эту безработицу, свидетельствует пример прихода железной дороги на смену почтовой карете. Однако так не должно быть, и даже если это так, могут возникнуть трудности перестройки, весьма значительные при несовершенном функционировании рынка труда.

c) Только что упомянутый источник нового спроса на труд, который начинает действовать после окончания подъема, теряет свое значение также ввиду того обстоятельства, что исчез спрос предпринимателей на труд, создавший новые производственные мощности.

d) Наконец, подъем обычно означает прогресс в области механизации производственного процесса и тем самым неизбежное уменьшение затрат труда на единицу продукции, а часто также и сокращение необходимой для данной отрасли массы труда, несмотря на одновременное расширение производства. В результате механизации прежнее количество продукции теперь должно производиться с меньшими затратами рабочего времени и выпускаемое теперь большее количество продукции может производиться с меньшими затратами рабочего времени, чем прежнее ее количество.

Эта практически важная и потому часто обсуждаемая возможность, будучи реализованной, исчерпывает себя, причем также с весьма

мучительными трудностями перестройки[31], поскольку общий реальный спрос на труд не может сокращаться постоянно, так как этому — помимо всех «компенсирующих» и всех вторичных факторов — неизбежно препятствует — и даже больше того — использование части предпринимательской прибыли, не поглощенной падением цен. Даже если бы эта часть использовалась только для потребления, она должна была бы раствориться в заработной плате (и земельной ренте: я повторяю, что все сказанное в принципе относится и к ней). Когда и поскольку эта часть прибыли инвестируется, то как следствие повышается реальный спрос на труд.

е) В *долговременном плане* подъем прямо или своими последствиями может вызвать сокращение реального спроса на рабочую силу только одним способом — если он достаточно заметно смещает относительное предельное значение труда и земли для новых (по сравнению со старыми) производственных комбинаций. В этом случае в течение длительного времени может сокращаться не только доля доходов рабочего класса в социальном продукте, но также и абсолютные размеры его реальных доходов. Практически более важным, чем рассмотренное обстоятельство — но по своей природе не длительным, — является смещение спроса на средства производства в пользу тех произведенных средств производства, которые приносят квазиренту или стали ее приносить только вследствие подобного смещения.

Таким образом, с этим ограничением мы возвращаемся к нашему выводу о том, что экономическая сущность процесса депрессии состоит в распространении — через механизм стремления к равновесию — технических достижений на все народное хозяйство, что эту основную черту затеняют только временные и лишь отчасти необходимые при данной экономической системе обратные воздействия и вызывают как выраженное в понятии «депрессия» настроение, так и спад, который отражают даже конъюнктурные показатели, не относящиеся вообще или относящиеся только частично к денежно-кредитной сфере и ценам, а просто отражающие автодефляцию.

6. Начало кризиса является основой аномального течения процесса депрессии или аномальных явлений в его развитии. Как упоминалось, этот процесс не ставит перед нами никаких принципиально новых проблем. Наш анализ позволяет понять, что паника, банкротства, нарушения в функционировании кредитной системы и т. п. не должны иметь места на рубеже подъема и депрессии, но могут начаться и в

[31] Об этом см. мою статью «Das Grundprinzip der Verteilungslehre». — *Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik*, Bd. 42.

этот период. Эта опасность существует и после начала депрессии, но она постоянно уменьшается по мере ее развития[32].

Если эти явления возникают, то тогда ошибки, совершаемые или просто возникающие в такой ситуации (настроения многих людей и т. д.), становятся самостоятельными причинами, которыми они не могут быть при нормальном развитии депрессии или все же могут быть в особых случаях, требующих соответствующих объяснений, т. е. причинами развития депрессии, характеризующегося иными явлениями и ведущего к иным конечным результатам, чем ее нормальный ход. Равновесие, которое в конечном счете восстанавливается и здесь, отличается от того, которое восстанавливалось бы в иных условиях. Все, что при этом утрачивается и уничтожается, обычно нельзя вновь исправить и восстановить. Это создает ситуации, которые также оказывают влияние и которые в равной степени необходимо оценивать, они порождают новые течения и вынуждают использовать особые, обычно излишние, пути приспособления. Это различие между нормальным и аномальным течением депрессии очень важно для понимания не только сути дела, но и связанных с этим теоретических, конъюнктурно-статистических и практических вопросов.

Мы видели — в отличие от теории, усматривающей в экономическом цикле явление, корни которого в значительной степени находятся в сфере денежного обращения или банковского кредита, и в настоящее время связанной прежде всего с именами Кейнса и Хоутри, а также с практикой Федеральной резервной системы, — что ни прибыли периода подъема, ни убытки периода депрессии не являются бессмысленными и бездействующими, а представляют собой — там, где еще

[32] В процессе депрессии постоянно уменьшается опасность краха народного хозяйства и его кредитной системы. Это вполне совместимо с тем обстоятельством, что банкротство отдельной фирмы или массовые банкротства часто происходят не на рубеже подъема и депрессии, а именно позднее, иногда лишь тогда, когда опасность для экономики в целом уже миновала, поскольку даже смертельное поражение какой-либо фирмы не обязательно требует немедленного обращения к судье по делам о банкротстве. Напротив, каждый как можно дольше не прибегает к этому. И большинству фирм это удается в течение более или менее длительного времени. Они сами и их кредиторы надеются на благоприятные перемены. Фирмы ведут переговоры, совершают различные операции, ищут новую поддержку. Иногда успешно, иногда они добиваются по меньшей мере того, что становится возможной негласная ликвидация. Правда, часто все попытки оказываются безуспешными, но даже в этом случае смертельная борьба приводит к отсрочке банкротства или мировой сделке, часто до следующего подъема, так что ведущий борьбу тонет, видя спасительную землю. Это происходит не из-за новых трудностей (опасность которых фактически постоянно уменьшается), а является итоговым следствием давно возникших осложнений. Как и в других случаях, здесь мы имеем дело с первопричинами и основой понимания проблемы, а не с вопросом о том, когда эти причины в достаточной степени проявятся и это вызовет кажущееся несоответствие между нашей теорией и фактами. Однако каждое такое несоответствие может стать возражением лишь в том случае, если будет показано, что оно получило недостаточное объяснение.

вообще сохраняется роль частного предпринимателя, конкурирующего с себе подобными, — важные элементы механизма экономического развития, от которых нельзя избавиться, не парализовав сам этот механизм. Такая экономическая система не может отказаться от последнего средства полного уничтожения предприятий, совершенно неспособных перестроиться в соответствии с меняющейся ситуацией. Впрочем, те убытки и разорение, которые сопутствуют аномальному течению депрессии, действительно бессмысленны и не несут никакой функциональной нагрузки. С ними связана прежде всего идея профилактики кризисов и терапии их последствий. Другой отправной точкой здесь является то обстоятельство, что уже нормальная, но в большей степени аномальная депрессия затрагивает также хозяйственные субъекты, не имеющие никакого отношения к причинам и сущности цикла, прежде всего рабочих.

В конечном итоге важнейшим и единственным не вызывающим возражений методом лечения является совершенствование прогнозирования конъюнктуры. Постоянно углубляющееся знание цикла предпринимателями при интенсивном процессе создания трестов является главной причиной того, что собственно кризисные явления от одного переломного момента к другому становятся все слабее; сюда не относятся такие события, как мировая война, и периоды, подобные послевоенному[33]. Переложение практики учреждения новых предприятий на государство или крупные концерны, с нашей точки зрения, способствует смягчению эффекта массового появления новых комбинаций и ослаблению как инфляции периода подъема, так и дефляции периода застоя и вместе с тем является действенным средством сглаживания волнообразного движения, уменьшения опасности возникновения кризиса и последствий имеющих место кризисных явлений. Самое широкое облегчение условий предоставления кредита означает просто-напросто инфляцию, точно так же, как выпуск государством бумажных денег. При определенных условиях оно может и полностью

[33] Совершенствование прогнозирования ослабляет также и нормальное волнообразное движение экономики. Воспрепятствовать ему оно не может. Это видно из наших рассуждений, если их рассмотреть с этой точки зрения. Поэтому Т. С. Адамс заходит слишком далеко, утверждая, что «предвидеть цикл — значит нейтрализовать его». Иначе обстоит дело с ранее отмеченным моментом (см. пункт 2, б, в-четвертых), заключающимся в том, что постепенно экономическое развитие все больше становится делом расчета. Это обстоятельство нечто иное, чем знание и предвидение, о которых сейчас идет речь. Оно также смягчает волнообразное движение, но по иной причине; данное обстоятельство имеет тенденцию к устранению основной причины подъема и поэтому действует значительно медленнее, но значительно более эффективно, чем простое предвидение процесса волнообразного движения, неизбежного до тех пор, пока существует эта последняя. Иначе обстоит дело и с созданием трестов: оно смягчает нормальный и аномальный ход депрессии в силу действия тех же факторов.

затормозить развитие как нормального, так и аномального процесса депрессии, однако наталкивается не просто на антиинфляционные факторы, но также на то обстоятельство, что расширение кредита лишает депрессию присущей ей черты «естественного отбора» и обременяет народное хозяйство невидимыми издержками, связанными с существованием не приспособившихся к новым условиям и нежизнеспособных предприятий. Ограничение кредита, обычно проводимое банками без тщательно взвешенных оснований и бессистемно, напротив — в свете спорной политики, политики исцеления недугов путем ликвидации их острых последствий, — представляется методом, который можно было бы дополнить и другими мерами, затрудняющими сопротивление производителей неизбежному падению цен. Впрочем, можно было бы представить себе и такую кредитную политику — проводимую отдельными банками как таковыми, но в первую очередь центральными эмиссионными, и оказывающую влияние на частные банки, — которая учитывала бы различия между явлениями нормального процесса депрессии, выполняющими экономическую функцию, и явлениями ее аномального течения, которые приносят разрушения.

Моральные и политические сомнения в отношении необходимости такой политики, которая, будучи в значительной мере особой разновидностью плановой экономики, беспредельно повышала бы влияние политических факторов на судьбу отдельных людей и групп, являются предметом соответствующей оценки и в данном случае нас не интересуют. В настоящее время, вне всякого сомнения, для этого отсутствуют технические предпосылки, широкое понимание фактов и возможностей хозяйственной и культурной жизни, хотя в принципе со временем это может быть достигнуто. Впрочем, теоретически интересно установить, что такая политика не является невозможной и ее нельзя просто поставить рядом с химерами или с мероприятиями, которые по своей природе непригодны для стимулирования нужных процессов, или, наконец, с мерами, обратное воздействие которых погашает их полезный эффект. Следует не просто абстрактно различать явления нормального и аномального процесса депрессии. В реальной действительности это разные вещи, и при достаточно глубоком понимании уже сейчас конкретные случаи можно относить к первому или ко второму процессу. Такая политика должна была бы в массе того, чему угрожает данная депрессия, отделять то, что в техническом и коммерческом отношении преодолено в результате подъема, от того, что, видимо, может пострадать от вторичных факторов, обратного воздействия, случайностей, и первое предоставить самому себе, а последнее поддерживать посредством предоставления кредитов. И эта политика могла бы иметь такой же успех, какой могла бы

иметь сознательная политика расовой гигиены, у которой никогда не будет автоматизма этих процессов. Однако явление кризиса само исчезнет раньше, чем капиталистическое интермеццо, плодом которого оно является.

Однако никакая терапия не может воспрепятствовать глобальному экономическому и социальному процессу деклассирования предприятий, людей, жизненных укладов, культурных ценностей, идеалов, — процессу, который в условиях экономики, основанной на частной собственности и конкуренции, является необходимым дополнением вновь и вновь возникающего экономического и социального подъема, постоянного роста реальных доходов хозяйственных субъектов всех категорий. Этот процесс протекал бы более безболезненно, если бы не было волнообразных движений экономики, но он не зависит от них и протекает вне их. И подъем и деклассирование теоретически и практически, в экономическом и культурном отношении значительно важнее существования относительно постоянного имущественного положения, на функционировании которого столь продолжительно сосредоточивалось все внимание аналитиков. И по-своему оба эти явления значительно характернее для экономики, культуры и результатов функционирования капитализма, чем какое-либо другое из явлений, которые можно наблюдать в процессе цикла.



КАПИТАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий труд — результат работы автора по приданию приемлемой для чтения формы почти сорокалетним его размышлениям, наблюдениям и исследованиям о природе социализма. Проблема демократии заняла видное место в данной работе именно потому, что стало ясно: определить позицию по вопросу об отношении между социалистическим способом организации общества и демократической формой правления невозможно без достаточно глубокого анализа последней.

Моя задача оказалась более трудной, чем я предполагал. Часть разнородного материала, который пришлось упорядочить в рамках этой книги, отражала взгляды и опыт человека, который на разных этапах своей жизни имел больше возможностей для наблюдения за социалистическими экспериментами, чем обычно имеют исследователи несоциалистического направления, и который оценивал виденное не общепринятыми мерками. Мне не хотелось устранять следы этого: если бы я попытался сгладить эти моменты, то книга утратила бы значительную часть того интереса, который она способна вызвать. Кроме того, хотя автор всегда стремился не ограничиваться поверхностным анализом, представленный материал отражает тот факт, что проблемы социализма никогда не были главным объектом его профессиональных занятий в течение каких-то длительных периодов времени, и поэтому по одним проблемам он высказывается пространнее, чем по другим. Чтобы избежать впечатления, что я собирался написать достаточно сбалансированное исследование, я решил, что лучше всего сгруппировать материал вокруг пяти центральных тем. Связки и мосты между ними, конечно же, сделаны, и некое подобие систематического изложения, я надеюсь, получилось. Однако по существу эти разделы представляют собой хотя и связанные друг с другом, но почти самодостаточные исследования.

В первой части достаточно простым языком излагается моя точка зрения на содержание марксистской доктрины — предмет, который я преподавал в течение нескольких десятилетий. Предварить обсуждение главных проблем социализма изложением самого Евангелия было бы естественно для марксиста. Но какова цель этого изложения в рамках системы, которая создана отнюдь не сторонником марксизма? Оно дается здесь для доказательства той немарксистской идеи, что эта доктрина имеет уникальное значение — значение, абсолютно не зависящее от того, признаете вы ее или нет. Но это и затрудняет чтение. Ни одна из марксистских категорий анализа в дальнейшем исследовании не используется. И хотя наши результаты вновь и вновь сравниваются с учением одного из

величайших представителей социалистической мысли, читатели, не интересующиеся марксизмом, могут начать чтение со второй части.

Во второй части «Может ли капитализм выжить» я попытался показать, что социалистическая организация общества неизбежно вырастает из такого же неизбежного процесса разложения общества капиталистического. У многих читателей может возникнуть вопрос: почему я произвел столь трудоемкий и сложный анализ того, что столь быстро становится общим местом даже среди консерваторов. Причина в том, что многие из нас хотя и соглашаются с результатом, но по-разному понимают сам процесс, убивающий капитализм, а также значение слова «неизбежный» в данном контексте. Полагая, что большинство выдвигаемых объяснений — как марксистских, так и более распространенных — неверны, я считал своим долгом заставить читателя задуматься, нарушить его покой, с тем чтобы подвести его к моему парадоксальному выводу: капитализм губят его собственные достижения.

Предвидя, — а я думаю, так оно и будет, — что социализм станет той практической альтернативой, которая *немедленно* может начать воплощаться в жизнь в результате этой войны, в третьей части книги «Может ли социализм работать?» мы рассматриваем обширный круг проблем, связанных с условиями, при которых успешное его функционирование возможно. Эта часть представляет собой, пожалуй, наиболее сбалансированный анализ различных обсуждаемых проблем, включая проблемы «перехода». Любовь и ненависть настолько исказили предпринимавшиеся до сих пор исследования этой темы — а их не так уж и много, — что даже простое изложение некоторых широко известных концепций в отдельных местах оправдано.

Четвертая часть «Социализм и демократия» представляет собой вклад в ту дискуссию, которая в течение некоторого времени шла в этой стране*. Однако следует заметить, что в этой части рассматривается лишь постановка проблемы в принципе. Факты и комментарии, имеющие отношение к данной теме, разбросаны по всей книге, в особенности в третьей и пятой частях.

Пятая часть является тем, чем ей и следует быть, — кратким очерком. Здесь более чем в других частях я стремился ограничить себя тем, что мне хотелось сказать на основе личных наблюдений и крайне фрагментарного анализа. Поэтому включенный сюда миатериал, к большому сожалению, очень неполный. Но то, что включено, продиктовано моим жизненным опытом.

Ни одна часть этой работы никогда еще не появлялась в печати. Первоначальный набросок второй части некогда составил основу лекции, прочитанной в Высшей школе Министерства сельского хозяйства США 18 января 1936 г. и опубликованной в виде мимеографического из-

* США. — *Прим. ред.*

дания этой школой. Я благодарю председателя Организационного комитета А.С. Эдвардса за разрешение включить расширенную версию этой лекции в данную книгу.

Й. Шумпетер,
Таконик, Коннектикут,
март 1942.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 1946 Г.

Это издание воспроизводит издание 1942 г. без каких-либо изменений, за исключением добавления одной новой главы. Причина, по которой я воздержался от явно напрашивавшихся в ряде мест текстуальных изменений, состояла в том, что в вопросах, рассматриваемых в этой книге, невозможно изменить фразы, не меняя смысла или, во всяком случае, не вызывая подозрений, будто вы намереваетесь сделать это. Я же придаю значение тому, что ни события четырех последних лет, ни высказанная в рецензиях критика не затронули мой диагноз и мои прогнозы; напротив, я считаю, что в свете новых событий они полностью подтвердились. Главная цель новой главы — развить на базе этих новых фактов определенные соображения, выдвинутые в старом тексте, особенно в гл. XIX и XXVII, и показать, что современная ситуация соответствует той философии истории, которой я придерживаюсь в этой работе. В данном предисловии я намереваюсь сделать замечания по поводу той критики или, скорее, видов критики, которая была высказана против моей концепции. Я хочу сделать это, ибо надеюсь, что предлагаемые мной возражения окажутся полезными для читателя, а не потому, что я недоволен приемом, который нашла моя книга. Напротив, мне хочется использовать эту возможность, чтобы выразить благодарность рецензентам за их неизменную доброжелательность и такт, а также переводчикам, осуществившим перевод книги на семь языков, за их самоотверженный труд.

Прежде всего позвольте мне сделать два критических замечания профессионального свойства. Один известный экономист с международной репутацией выразил несогласие с моим предположением, согласно которому частью социального процесса, описанного в этой книге, является долгосрочная тенденция к исчезновению прибыли: усилия, направленные на продажу, говорил он, всегда будут оплачены. Я не думаю, что в этом вопросе между нами существуют какие-либо реальные расхождения, мы лишь в разных смыслах используем термин «прибыль». Усилия, связанные с продажей, по-прежнему необходимые для экономики, но превра-

тившиеся в устойчивые рутинные действия, конечно же, должны получать свой доход, как и любой другой вид деятельности, связанный с ведением дел. Но я объединяю его с зарплатой, получаемой за управление, чтобы выделить и придать особое значение тому, что, по моему мнению, является фундаментальным источником дохода в промышленности, т. е. прибыли, которая в капиталистической системе связана с успешным внедрением новых благ, новых методов производства или новых форм организации. Я не понимаю, как можно отрицать значение этого элемента капиталистических доходов, которое убедительно подтверждает вся промышленная история. И я считаю, что с растущей механизацией индустриального «прогресса» (коллективный труд в исследовательских отделах и т. п.) именно этот элемент, который является самой важной опорой экономической позиции капиталистического класса, со временем должен рухнуть.

Чаще всего критика чисто экономических аргументов этой книги — порой она превращалась в подлинное обвинение — касалась того, что многие читатели рассматривали как защиту монополистической практики. Да, я по-прежнему считаю, что *бóльшая* часть разговоров о монополии, подобно *всем* нынешним разговорам об отрицательном эффекте сбережений, есть не что иное, как порождение радикальной идеологии, не имеющее под собой никаких реальных оснований. Будучи в менее серьезном настроении, я иногда выражаюсь по этому поводу гораздо сильнее, особенно в отношении фактической и предлагаемой «политики», базирующейся на этой идеологии. Здесь же я считаю своим профессиональным долгом заявить, что все, что читатель найдет в этой книге относительно монополии, сводится в конечном счете к следующим положениям, которые ни один компетентный экономист не может отрицать.

1. Классическая теория монополистического ценообразования (теория Курно—Маршалла) в целом не бесполезна, особенно если ее переформулировать так, чтобы она относилась не только к максимизации монопольной прибыли в данный момент, но и к максимизации прибыли во времени. Однако она предполагает столь строгие ограничения, что ее непосредственное применение в реальной действительности исключено. В частности, ее нельзя использовать для цели, для которой ее используют в современном преподавании, а именно для сопоставления функционирования чисто конкурентной экономики и экономики, в которой имеются существенные монополистические элементы. Главная причина этого состоит в том, что указанная теория предполагает постоянные спрос и издержки, одинаковые и для конкурентного, и для монополистического случая, в то время как самая суть современного крупного бизнеса как раз и состоит в том, что спрос и издержки для него формируются при гораздо более благоприятных условиях — и это неизбежно, — чем в тех же отраслях при режиме совершенной конкуренции.

2. Нынешняя экономическая теория почти целиком является теорией управления данным индустриальным аппаратом. Однако гораздо важнее

знать, как капитализм создает свои индустриальные структуры, чем понимать, как он ими управляет (см. гл. VII и VIII). Как раз в этот процесс созидания неизбежно включается монополистический элемент. А это дает нам совершенно другой взгляд и на проблему монополии, и на законодательные и административные методы ее регулирования.

3. Экономисты, которые мечут громы и молнии против картелей и других методов индустриального самоуправления, часто не говорят ничего неверного. Однако они избегают необходимых уточнений. А избегать необходимых уточнений — значит не выявлять полной правды. Есть и другие замечания, заслуживающие упоминания, но я воздержусь от них, чтобы перейти ко второй группе возражений.

Мне казалось, что я принял все предосторожности, чтобы было ясно, что данная книга не носит политического характера и что я ничего не желаю защищать. Тем не менее, к моему удивлению, мне приписывали намерение — и не раз, хотя, насколько я знаю, не в печати — встать на «защиту зарубежного коллективизма». Я упоминаю этот факт не ради него самого, но чтобы подойти к другому возражению, которое кроется за этим. Если я не собирался защищать коллективизм, зарубежный или отечественный, или что-либо другое, зачем я тогда вообще написал все это? Не является ли напрасной тратой усилий тщательно исследовать факты и делать на их основе выводы, не доводя дело до практических рекомендаций? Когда я столкнулся с этим возражением, оно меня чрезвычайно заинтересовало — ведь это замечательный симптом той установки, которая много объясняет в современной жизни. Мы все время слишком много планируем и слишком мало думаем. Нам не нравится призыв к размышлению и ненавистны незнакомые аргументы, которые не совпадают с тем, во что мы уже верим или готовы поверить. Мы вступаем в наше будущее, как мы вступили в войну, — с завязанными глазами. Но именно здесь я и хотел оказать услугу читателю. Я хотел заставить его думать. И чтобы сделать это, важно было не отвлекать его внимания дискуссиями о том, что «следовало бы делать», исходя из данной позиции, — дискуссиями, которые бы полностью захватили его внимание. Анализ имеет совсем другую цель, и этой цели я хотел придерживаться, хотя полностью осознавал тот факт, что это решение будет стоить мне гораздо дороже, нежели несколько страничек практических рекомендаций.

Это в свою очередь ведет к обвинению в пораженчестве. Но я полностью отвергаю применимость этого термина к любой части анализа. Пораженчество обозначает определенное психологическое состояние, имеющее смысл только в отношении к действию. Факты сами по себе и выводы, сделанные на их основе, никогда не могут быть пораженческими, или наоборот, о чем бы ни шла речь. Сообщение о том, что корабль тонет, не является пораженческим. Лишь настроение, с которым принимается это сообщение, может быть пораженческим: экипаж может сложить руки и пьянствовать. Но он может броситься к насосам. Если человек уклоняется от того, чтобы делать выводы, хотя они и тщательно обоснова-

ны, его можно упрекнуть в эскейпизме. Кроме того, даже если мои выводы о тенденциях развития давали бы основание для более определенных прогнозов, чем я сам собирался делать, то и тогда им нельзя было бы приписать пораженчество. Какой нормальный человек откажется защищать свою жизнь только потому, что он совершенно убежден, что рано или поздно все равно умрет? Это относится к обеим группам, от которых исходят обвинения: и к сторонникам частнопредпринимательского общества, и к защитникам демократического социализма. И те, и другие только выиграют, если будут более ясно понимать природу тех социальных институтов, в которых им выпало действовать.

Честное изображение зловещих фактов никогда не было настолько необходимым, как сейчас, потому что, как мне кажется, мы превратили уход от реальной жизни (эскейпизм) в систему нашего мышления. В этом и состоит причина и в то же время оправдание того, что я пишу это новое предисловие. Представленные здесь факты и следующие из них выводы, конечно, неприятны и неудобны. Но они сами по себе не являются пораженческими. Пораженец тот, кто, служа на словах христианству и всем прочим ценностям нашей цивилизации, отказывается встать на их защиту — неважно, признает ли он их поражение в качестве свершившегося факта или обманывает себя вопреки всему напрасной надеждой. Потому что это как раз те ситуации, когда оптимизм — не что иное, как форма отступничества.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ* 1949 Г.

Новое издание дает мне возможность с позиций этой книги прокомментировать процессы, происходившие в Англии в последние два года, дабы ввести их в общую структуру моего анализа. Учитывая время и пространство, имеющиеся в моем распоряжении, я могу предложить здесь всего лишь membra disjecta [отдельные моменты — *лат.*]. Но есть и другой момент, который мне хотелось бы с самого начала подчеркнуть. Я никогда не намеревался критиковать политику какой-либо страны или предлагать какие-либо «советы», ничего похожего в моих мыслях никогда не было. Я считаю все это совершенно неуместным. Если же некоторые выражения читаются таким образом, будто я вынашивал подобные

* Издание осуществлено в Англии, поэтому в предисловии обсуждаются проблемы именно этой страны.

намерения, пусть читатель поймет, что это всего лишь одно из многих нежелательных последствий чрезвычайной краткости.

Прежде, чем начать, пусть читатель еще раз посмотрит гл. XIX и XXVIII, которые я оставил неизмененными, как и всю остальную книгу.

1. С нашей, как, впрочем, и любой точки зрения, картина происходящего в Англии сложна и основные ее контуры смазаны тем, что в процесс социальной трансформации вмешивается и с ним взаимодействует другой переходный процесс, который, — поскольку едва ли возможно, учитывая существующие международные отношения, говорить просто о переходе от военной экономики к мирной, — лучше всего назвать процессом переналадки экономики (readjustment) в условиях подавленной инфляции. Хотя их логика различна, эти два процесса слишком переплетены, чтобы рассматривать их отдельно. И все же мы разрубим гордиев узел и разделим их. Мы можем сделать это с относительно чистой совестью, поскольку новому правительству консерваторов, если следующие выборы приведут его к власти, придется продолжить переналадку экономики в обществе, где доминируют интересы рабочего класса, а свободное предпринимательство постепенно угасает. Другими словами: если лейбористское правительство будет заменено правительством консерваторов, — здесь я не могу дать компетентного прогноза, — это будет означать гораздо меньшие перемены, нежели те, на которые рассчитывают наиболее рьяные сторонники консервативной партии, за исключением, конечно, того, что дальнейшая национализация будет приостановлена.

2. Посмотрим теперь на тот компонент английской экономической политики последних двух лет, который можно интерпретировать как «социалистическая политика до перехода к социализму» в том смысле, какой придается этому выражению в гл. XIX. Читатель заметит, что до сих пор лейбористское правительство придерживалось описанной там программы национализации, а что касается наиболее спорного пункта программы, — а именно пункта 6, — социализации металлургической промышленности, — то оно, проявив умеренность, отложило определенные акции в этой области вплоть до следующих выборов. Я охотно признаю свободу существования различных точек зрения относительно того, можно ли вообще называть эту программу национализации или социализации социалистической. Но я твердо уверен, что никакая другая из осуществленных мер не вправе претендовать на это название. В большинстве случаев «планирование», которое имело место или предлагалось, не было специфически социалистическим, если только не определять социализм настолько широко, что термин этот теряет всякое аналитическое значение. Некоторые из систем планирования, в особенности некоторые виды исследовательской работы, способной помочь планированию, конечно, указывают в направлении социализма, но много еще времени пройдет, прежде чем от национального счетоводства и анализа таблицы затрат-выпуска (оба эти метода больше развиты в Соединенных Штатах,

нежели в Англии) можно ожидать каких-то ощутимых социалистических плодов.

Более важное значение имеет другой аспект нынешней ситуации. Из всего, что произошло в Англии в последние два года, ничто не поразило меня так сильно, как слабость сопротивления социалистическим тенденциям развития. Консервативная оппозиция в парламенте строго держалась в рамках обычной парламентской рутины, а вопрос социальной перестройки вызвал меньше страстей, чем некоторые относительно второстепенные вопросы последнего времени — такие, как свобода торговли, Ирландия и народный бюджет. И в парламенте, и в стране в целом прочные позиции завоевала та часть консервативной партии, которая отнеслась к проблемам социального переустройства с завидным хладнокровием. Консервативная пресса, конечно же, выступила с критикой; она убеждала, отвергала, издевалась — как она делала это не раз в прежние времена, но не более того. Критический поток книг и памфлетов хлынул, как и прежде, когда обсуждались важные вопросы, но если бы какому-нибудь склонному к статистике наблюдателю захотелось бы измерить значимость этих вопросов числом томов и страниц, отвергающих социалистическую политику, вряд ли ему удалось бы оценить важность проблемы социализма очень высоко. Здоровая нация вряд ли бы согласилась с подобной атакой на принципы, которых она твердо придерживается. Отсюда я делаю вывод, что принцип свободного предпринимательства к их числу уже не относится. Социализму перестали сопротивляться с той страстью, какую вызывает иной тип морали. Он стал тем вопросом, который обсуждают на базе утилитарных доводов. Остались, конечно, отдельные твердокаменные, но вряд ли они имеют достаточную поддержку, чтобы иметь политическое влияние. Это как раз и есть то, что висит в воздухе, — доказательство, что самый дух капитализма ушел в прошлое.

3. Как мне представляется, эта ситуация подтверждает мой диагноз, сделанный в 1942 г., и позволяет верифицировать — в той мере, в какой верификация в таком виде возможна, — аргументы, с помощью которых он был поставлен. Я прочитал блестящую книгу моего знаменитого коллеги проф. Джукса с уважением и восхищением[1], но должен признаться, что мое искреннее желание быть убежденным в обратном не осуществилось. Сам подход проф. Джукса к этой проблеме — подход, который представляет собой скорее придирчивую критику политики переналадки,

[1] Jewkes John. Ordeal by Planning, 1948. Выражая соответствующую благодарность за его тактичную критику, я должен признаться, что в ряде мест в критикуемых взглядах я не узнавал своих собственных. К примеру, я бы предпочел скорее говорить о том, что предпринимательская функция благодаря неуклонному расширению сферы учитываемых явлений должна постепенно обесцениваться, нежели о том, что она уже отошла в прошлое. Не собирался я отрицать и того факта, что в настоящее время остается простор для военного лидерства. Другое дело, что это лидерство вовсе не означает того, что оно значило тогда, когда Наполеон среди свистящих вокруг него пуль стоял на Аркольском мосту.

чем самого социализма, — может даже дополнить накапливающиеся свидетельства в пользу основного тезиса данной книги.

Возможность решения вопроса о социализации с помощью аппарата парламентской демократии подтверждена, так что появился особый метод, соответствующий этой политической системе, т. е. метод постепенной социализации. Положенное начало, возможно, означает только это, не более того, и свидетельствует всего лишь о долговременной тенденции. Тем не менее оно, по всей видимости, должно ясно продемонстрировать, что следует понимать не только под демократической социализацией, но и под демократическим социализмом. Оно показывает, что социализм и демократия могут быть совместимы при условии, если последняя определена в том смысле, как это сделано в гл. XXII этой книги. В гл. XXIII указывалось, что принцип политической демократии — принцип, согласно которому правительства должны складываться в результате конкурентной борьбы за голоса избирателей, — в известной степени гарантирует свободу слова и свободу печати и что в остальном демократия не имеет ничего общего с понятием «свобода». Что же касается тех «свобод», в которых заинтересован экономист, — свобода инвестирования, свобода потребительского выбора, свобода профессионального выбора, то отныне мы имеем интересный экспериментальный материал, который свидетельствует, что эти «свободы» могут быть ограничены в такой же степени, а иногда и в большей мере, чем этого способны потребовать правительства социалистов в обычных условиях. Свобода частного инвестирования в условиях современного налогообложения, во всяком случае, утеряла лучшую долю своего содержания; мы видим также, каким образом инвестиции можно перекачивать — что бы мы как индивиды ни думали по этому поводу — из частной сферы в общественную. Свободы потребительского выбора в социалистическом обществе, функционирующем в нормальных условиях, может быть гораздо больше, чем сейчас; но к тому же мы видим, что и регулируемость вкусов на деле гораздо выше, чем можно поверить, поскольку люди при введении тех или иных ограничений не склонны возмущаться вплоть до активного сопротивления, даже если необходимость подобных ограничений не кажется им очевидной. Да и ограничения на профессиональный выбор обычно не принимают форму «принуждения», за исключением немногих случаев, в особенности если список доступных видов занятости рационально сочетается с перечнем дифференцированных вознаграждений; в итоге мы видим, что люди, соответственно подготовленные к принятию государственного «управления», особенно против него не возражают.

Позвольте мне повторить еще раз, хотя в этом и нет необходимости: таковы выводы, которые следуют из установленных фактов, но ни в коем случае не мои собственные предпочтения. Лично я предпочитаю другую культуру.

4. Как уже отмечалось, критика экономической политики лейбористского правительства направлена прежде всего против проводимого им

«процесса переналадки в условиях подавленной инфляции». Правительство и бюрократический аппарат действительно предоставили богатый материал: целый поток мер по детальному регулированию (например, где следует выращивать зеленый лук и т. п.), а также плохо подготовленные административные решения и нелепые официальные заявления. Они запретили многие виды деятельности, в том числе в области предпринимательства, которые могли бы улучшить экономическое положение страны. Но им же удалось избежать и катастрофы при послевоенной переналадке экономики и провести трудящихся через критические годы без безработицы и при растущем уровне реального дохода. И если это — единственная признанная цель экономической политики, как считают многие экономисты, то в таком случае так же правомерно говорить об успехе, как и о неудаче (если встать на другую точку зрения). Следовало бы добавить, что подобная политика осуществлялась, а такое могло бы случиться, вовсе не при полном игнорировании будущего: можно критиковать отдельные виды огромных общественных инвестиций, которые были осуществлены, но остается фактом, что необходимость обновления национального экономического аппарата не игнорировалась, несмотря на все протесты против чрезмерного инвестирования, которые выражались многими, в том числе и известными экономистами. Однако нас в данном случае занимает только один вопрос: каким образом постепенное устранение — в течение периода действия плана Маршалла — отрицательных моментов нынешней ситуации будет влиять на перспективы соотношения капитализма и социализма. Другими словами, встает вопрос: поскольку решение, которое мог бы предложить непосредственно социализм, очевидно, не стоит в повестке дня практической политики, и потому нужное решение приходится искать в противоположном направлении, будет ли социализм в Англии или где-либо еще отброшен назад и не получит ли система частного предпринимательства новый стимул к жизни?

Я не думаю, что на этот вопрос трудно ответить. Сразу после мировой войны произойдет откат, но не серьезный и не длительный. Частное предпринимательство кое-где восстановит утерянные позиции, но не повсюду. В основе своей сохранится та же самая ситуация, и маловероятно, чтобы оковы, надетые на частное предприятие, будут ослаблены до такой степени, что оно станет действовать в соответствии с собственной природой. Обоснование подобного вывода дается в двух последующих частях этого предисловия. Однако оно относится только к Англии. Очевидно, что для США диагноз и прогноз будут совершенно иными. Некоторые европейские экономисты выражают благочестивую надежду на то, что эта страна испытает не просто кризис адаптации, а такое потрясение, которое будет означать окончательный удар по капитализму (coup de grâce). Это пожелание скорее всего не осуществится, что бы ни предпринимали американские политики в отношении тех огромных возможностей, которые открывает им близкое будущее.

5. В число неприемлемых аспектов положения в Англии я не включаю рационирование и детальное регулирование поведения как потребителей, так и производителей. Это всего лишь методы подавления инфляции, они исчезнут, как только сослужат свою службу, кое-где они уже исчезают. Однако состояние подавленной инфляции само по себе есть следствие более фундаментальных трудностей и, кроме того, могло бы быть успешно преодолено с помощью хорошо известных традиционных способов — таких, как бюджетный избыток, полученный на основе социальных налогов, сокращающих избыточную покупательную способность, и соответствующей кредитно-денежной политики. Фактически эти способы уже используются — и не без успеха, — хотя в данных обстоятельствах они не могут использоваться в полной мере, поскольку невозможно иметь большое положительное сальдо доходов и расходов, пока остаются такие субсидии на продовольственные товары, и поскольку возможности налогообложения групп с более высокими доходами уже исчерпаны, — в Англии уже нет людей, которых можно назвать «богатыми после уплаты налогов», — и поскольку более высокие процентные ставки встречаются с явным неодобрением. Но главная трудность — это избыточное потребление, т. е. реальная зарплата плюс реальная ценность социальных услуг, которые, с одной стороны, несовместимы с прочими условиями английской экономики при современном уровне производительности, а с другой — представляют собой решающее препятствие для ее дальнейшего роста. Обычно эта проблема формулируется другим, менее *неприятным* образом. Есть и другая отрицательная черта экономической ситуации Англии — это ее международный платежный баланс, так что цель, которую следовало бы достичь, пока действует план Маршалла, — это превышение экспорта над импортом, которое вернет Англию в мировую экономику и обеспечит эффективный обменный курс между фунтом и долларом. Такая постановка проблемы не является ошибочной. Ошибочным является вывод, что данное положение предполагает диагноз, отличный от нашего. Потому что для достижения этой цели и дальнейшего функционирования экономики без иностранной помощи или внешнего давления необходимо нормализовать внутреннюю ситуацию в Англии — для понимания этого достаточно некоторых размышлений и элементарных познаний в экономической теории. Кое-чего действительно можно достичь с помощью более или менее меркантилистского использования сильных сторон в международном положении Англии, а также с помощью политики регулирования экспорта и импорта. Во всяком случае, когда цель станет близка, девальвация фунта сможет способствовать последним шагам на пути к ее достижению. Однако фундаментальным условием длительного успеха является переналадка ее экономики в направлении большего объема производства — производства товаров для внутреннего потребления, товаров и услуг, необходимых для оплаты импорта, а также для получения чистого избытка

для инвестирования внутри страны и за рубежом. Это не может быть осуществлено без временного снижения потребления и постоянного роста производства; а последнее, в свою очередь, невозможно достичь без непопулярного сокращения общественных расходов и еще более непопулярного сдвига налогового бремени.

6. Взвешивая все это, читателю нетрудно будет понять масштаб возникающих политических проблем. Какую бы цель ни пытались осуществить, она может быть достигнута только путем трудного маневрирования. Разумно предположить, что успех в любом случае не может быть больше абсолютно необходимого минимума, поскольку, учитывая существующее положение вещей, каждое действие правительства будет рассматриваться как предательство жизненных интересов рабочего класса. Но этот абсолютно необходимый минимум недостаточен для того, чтобы реконструировать общество свободного предпринимательства и показать, на что оно способно. Если это нуждается в доказательствах, достаточно посмотреть на опыт 20-х годов. А потому мы не можем ожидать прекращения социальных тенденций. Вдохнуть жизнь в частное предпринимательство можно не только при консервативном, но и при лейбористском правительстве. Но если это и случится, оно будет скорее результатом аналогичного сочетания социалистической политики и превратностей послевоенного периода, чем результатом отхода, логически оправданного или нет, от самой социалистической политики.

Часть первая

МАРКСИСТСКАЯ ДОКТРИНА

Пролог

Дорождения интеллекта или фантазии в большинстве случаев завершают свое существование в течение периода, который колеблется от часа послеобеденного отдыха до жизни целого поколения. Но с некоторыми этого не происходит. Они переживают упадок и вновь возвращаются, возвращаются не как неузнанные элементы культурного наследия, но в собственном индивидуальном облике, со своими особыми приметами, которые люди могут видеть и трогать. Их с полным основанием можно называть великими, никакого изъяна в этом определении, связывающем величие с жизнеспособностью, я не вижу. В этом смысле это определение, несомненно, применимо к учению Маркса. Есть еще одно преимущество в определении величия способностью к возрождению: тем самым оно перестает зависеть от нашей любви или ненависти. Нам совсем не нужно верить, что великие открытия непременно должны быть источником света или не содержать ошибок в своих основах или деталях. Напротив, мы можем считать их воплощением тьмы; мы можем признавать их в корне неверными или не соглашаться с отдельными частностями. Что до Марксовой системы, то подобные отрицательные оценки и даже полное ее опровержение самой неспособностью нанести этой системе смертельный удар только свидетельствуют об ее силе.

В последние десятилетия мы стали свидетелями самого интересного возрождения Марксовой теории. В том, что великий вдохновитель социалистической идеи должен был обрести себя в Советской России, нет ничего удивительного. И чрезвычайно характерно, что в процессе происходящей здесь канонизации между истинным значением Марксовой теории, с одной стороны, и большевистской практикой и идео-

логией — с другой, образуется пропасть такого же масштаба, как между религией жалких галилеян и идеологией и практикой князей церкви или средневековых военачальников.

Другое явление — возрождение марксизма в США — объяснить труднее. Этот феномен интересен тем, что вплоть до 20-х годов ни в американском рабочем движении, ни среди американских интеллектуалов не было сколько-нибудь серьезного марксистского движения. То, что здесь называлось марксизмом, всегда было искусственным, незначительным, не имело корней. Кроме того, большевистский тип возрождения марксизма вызвал отнюдь не одинаковые сдвиги в странах, прежде наиболее сильно приверженных марксизму. Примечательно, что в Германии, которая из всех стран имела самую сильную марксистскую традицию, в течение послевоенного социалистического бума, как и в предшествующий период депрессии, продолжала существовать маленькая секта ортодоксов. Однако лидеры социалистической мысли (не только приверженцы Социал-демократической партии, но и те, кто в практических вопросах пошел гораздо дальше ее осторожного консерватизма) не обнаружили особого стремления к возврату к старым догмам и, проявляя уважение к своему божеству, сделали все, чтобы дистанцироваться от него, а экономические проблемы решали теми же способами, что и прочие экономисты. Следовательно, если не считать России, американский феномен остается уникальным. Мы не собираемся выяснять его причины. Стоит сделать другое — рассмотреть общие черты и суть того учения, которое стало близким столь многим американцам[1].



[1] Ссылки на работы Маркса будут сведены к минимуму, никакие данные о его жизни также не даются. Видимо, в этом нет нужды, поскольку любой читатель, пожелающий ознакомиться со списком этих работ или с его жизнеописанием, найдет все необходимое в любом словаре, особенно в Британской энциклопедии или в Энциклопедии социальных наук. Изучение Маркса лучше всего начинать с первого тома «Капитала». Несмотря на огромное число работ, появившихся в последнее время, я по-прежнему считаю биографию, написанную Ф. Мерингом, лучшей, во всяком случае с точки зрения обычного читателя.

Глава I

МАРКС – ПРОРОК

Аналогия из области религии попала в название этой главы не случайно. На самом деле это больше, чем аналогия. В определенном смысле марксизм и есть религия. Для верующего он представляет, во-первых, систему конечных целей, определяющих смысл жизни, и абсолютных критериев для оценки событий и действий; и, во-вторых, руководство к осуществлению целей, содержащее не только путь к спасению, но и определение того зла, от которого человечество или избранная часть человечества должна быть спасена. Можно добавить и следующее: марксистский социализм принадлежит к той разновидности религий, которая обещает рай уже при жизни. Я думаю, что если бы за определение марксизма взялся богослов, это позволило бы дать гораздо более глубокую характеристику социальной сущности марксизма, чем та, которую может сделать экономист. То, что это обстоятельство объясняет успех марксизма[1], пожалуй, наименее важно. Чисто научные достижения, будь они даже намного более совершенными, чем у Маркса, никогда бы не обрели подобного исторического бессмертия. Этому не способствовал и весь арсенал его партийных лозунгов. Частично его успех, хотя и в очень небольшой степени, действительно обязан тому набору жарких фраз, страстных обвинений, гневных жестов, который он предоставил в распоряжение своей паствы и которые могут быть использованы с любой трибуны. Все, что следует сказать по данному поводу, заключается в том, что указанное боевое снаряжение очень хорошо служило и служит своим целям, однако его производство породило и свои убытки: чтобы выковать подобное оружие социальной борьбы, Марксу временами приходилось приспосабливаться или даже отступать от тех концепций, которые логически вытекали из его теоретической системы. Однако если бы Маркс был простым поставщиком фразеологии, он был бы сегодня мертв. Человечество не благодарит за этот сорт услуг и быст-

[1] Религиозные свойства марксизма объясняет и характер отношений ортодоксального марксиста к своим оппонентам. Для него, как и для всякого сторонника определенной веры, оппонент не просто ошибается, он греховен. Инакомыслие осуждается не только с интеллектуальных позиций, но и с позиций морали. Раз провозглашено учение, никакого оправдания для инакомыслия быть не может.

ро забывает имена людей, которые пишут либретто для политических опер.

Он был пророком, и для того, чтобы понять природу его системы, мы должны рассмотреть ее в контексте времени ее создания. Это была высшая точка самореализации буржуазии и низшая точка буржуазной цивилизации, время механистического материализма, время культурной среды, предававшейся самому пошлому разгулу, в то время как в ее недрах таились зародыши нового искусства и нового образа жизни. Вера в любом реальном значении этого слова быстро улетучивалась из сознания всех классов общества, а вместе с ней умирал и единственный луч света, освещавший жизнь рабочих (если не считать Рочдэйльского кооперативного движения и возникновения сберегательных банков), в то время как интеллектуалы заявили, что их вполне устраивает «Логика» Милля и «Закон о бедных».

Итак, для миллионов человеческих сердец учение Маркса о земном социалистическом рае означало новый луч света и новый смысл жизни. Называйте марксизм, если угодно, подделкой под религию или карикатурой на нее, на этот счет многое можно сказать, но нельзя не восхититься его величием. Неважно, что почти все эти миллионы были не в состоянии понять и оценить учение в его истинном значении. Такова судьба всех учений. Важно то, что учение было создано и изложено в соответствии с позитивистским мышлением своего времени — несомненно буржуазным по своей сути, и потому не будет парадоксом, если мы скажем, что по существу марксизм — продукт буржуазного образа мышления. Он, с одной стороны, с непревзойденной силой выразил страстные чувства всех тех, кому не повезло и плохо жилось, что было целительным для многих неудачников, а с другой стороны, провозгласил, что избавление от этих болезней с помощью социализма вполне поддается рациональному обоснованию.

Заметьте, с каким чрезвычайным искусством здесь удалось соединить иррациональные чаяния страждущих, которые, лишившись религии, бродили во тьме подобно бездомным собакам, с неизбежными для того времени рационалистическими и материалистическими тенденциями, сторонники которых не признали бы ни одного утверждения, не подкрепленного научным или псевдонаучным доказательством. Проповедь одной лишь цели не дала бы эффекта, анализ социального процесса был бы интересен всего лишь для нескольких сотен специалистов. Но проповедь в одежде научного анализа и анализ в интересах достижения выстраданных целей — вот что обеспечило страстную приверженность марксизму, вооружило марксиста высшим преимуществом — убежденностью, что он и его доктрина никогда не по-

терпят поражения и в конце концов обязательно победят. Конечно, этим смысл учения не исчерпывается. Личное влияние и пророческие прозрения действуют независимо от содержания учения. Без этого невозможно призвать ни к новому образу жизни, ни к новому ее смыслу. Но не это нас здесь интересует.

Несколько слов следует сказать о другом — об убедительности и корректности попыток Маркса доказать неизбежность достижения социалистической цели. Одно замечание, однако, следует сделать по поводу того, что выше мы определили как отражение чаяний многих неудачников. Конечно, это не было подлинным отражением их истинных стремлений, сознательных или подсознательных. Скорее, мы могли бы назвать это попыткой подменить истинные чувства правильным или неправильным изложением логики социальной эволюции. Осуществляя это и приписывая, вопреки истине, народным массам свое собственное «классовое сознание», Маркс, несомненно, фальсифицировал подлинную психологию рабочего (который стремится стать мелким буржуа, опираясь на помощь политической силы); но по мере того, как его учение приобретало влияние, он расширял и облагораживал его. Он не проливал сентиментальных слез по поводу красоты социалистической идеи. В этом, как он считал, заключалось его превосходство над тем, что именовалось им «утопическим социализмом». Не занимался он и прославлением героизма трудящихся, как это делают буржуа, когда они дрожат за свои дивиденды. Он был абсолютно свободен от склонности пресмыкаться перед рабочим классом, свойственной некоторым его более слабым последователям. По-видимому, он достаточно ясно осознавал, что такое народные массы, и глядел гораздо выше их голов в направлении достижения социальных целей, даже если это было не то, о чем они думали и мечтали. Кроме того, он никогда не проповедовал собственных идеалов. Подобное тщеславие было ему чуждо. Как всякий истинный пророк изображает себя простым глашатаем своего бога, так Маркс претендовал всего лишь на то, чтобы рассказать о логике диалектического процесса исторического развития. Во всем этом есть некое благородство, перекрывающее в ряде случаев мелочность и вульгарность, с которыми на протяжении его жизни и деятельности это благородство вступало в столь странный союз.

Наконец, еще один момент, о котором нельзя не упомянуть. Сам Маркс был слишком образованным человеком, чтобы солидаризироваться с теми вульгарными социалистами, которые не способны узнать храма, даже когда он высится перед ними. Он отчетливо понимал значение цивилизации и «относительно абсолютную» ценность ее ценностей, как бы чужда она ни была для него самого. В этом отноше-

нии нет лучшего доказательства широты его мышления, чем «Коммунистический манифест», который представляет собой, хотя и краткий, отчет о блестящих[2] достижениях капитализма. Даже вынося капитализму profuturo [в будущем — *лат.*] смертный приговор, Маркс не упускает случая признать его историческую необходимость. Подобное отношение, конечно, подразумевает многое такое, чего лично Маркс не желал бы признавать. Однако, без сомнения, это его убеждение было чрезвычайно крепким, тем более что оно соответствовало тому пониманию естественной логики вещей, частным проявлением которой была его теория исторического процесса. Социальные явления выстраивались для Маркса в определенный порядок, и хотя в некоторых аспектах своей жизни он вел себя как «ресторанный заговорщик», его истинное «я» презирало такого рода вещи. Социализм не был для него навязчивой идеей, стирающей все краски жизни и порождающей нездоровую и тупую ненависть или презрение к иным цивилизациям. Во многих смыслах присущий Марксу тип социалистического мышления и социалистического выбора, соединенные вместе в его фундаментальной позиции, действительно заслужили название научного социализма.

[2] Возможно, это преувеличение. Но давайте процитируем: «Буржуазия впервые показала, чего может достичь человеческая деятельность. Она создала чудеса искусства, но совсем иного рода, чем египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы... Буржуазия... вовлекает в цивилизацию все нации... Она создала огромные города... и вырвала таким образом значительную часть населения из идиотизма (sic!) деревенской жизни... Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения вместе взятые». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 427—428.) Заметьте, что все отмеченные достижения приписываются только буржуазии — это больше того, на что могли бы претендовать многие самые буржуазные экономисты. В этом суть того, что я имел в виду в вышеприведенном абзаце, — и именно здесь я резко расхожусь с сегодняшними вульгарными марксистами или с вебленовскими идеями, взятыми на вооружение нынешними немарксистскими радикалами. Сразу же скажу: именно это будет исходным пунктом всего того, о чем я буду говорить во второй части относительно экономических достижений капитализма.

Глава II
МАРКС – СОЦИОЛОГ

Теперь нам надо сделать то, против чего стали бы протестовать все правоверные марксисты. Ведь они отвергают любое применение трезвого анализа к тому, что для них является просто светочем истины. Особенно сильно они стали бы протестовать против дробления наследия Маркса на отдельные части и последовательного их обсуждения. Они стали бы говорить, что самый этот акт обнаруживает неспособность буржуазии понять великолепие целого, все части которого дополняют и объясняют друг друга, так что истинное значение этого целого исчезает, как только одна его часть или аспект рассматривается обособленно. Однако у нас нет выбора. Совершив преступление и рассматривая Маркса как социолога, — после того как мы рассмотрели его как пророка, — я вовсе не отрицаю ни наличия в работе Маркса цельности социального видения, которое обеспечило в известной мере аналитическую цельность и в еще большей степени видимость такой цельности, ни того факта, что каждая ее часть, хотя и внутренне независимая, была увязана автором со всеми другими. Тем не менее каждая часть этого обширного целого сохранила достаточно самостоятельности, что позволяет исследователю признать плодотворной одну из них, отвергая другие. Многое от величия веры теряется при подобной процедуре, но кое-что удается и выиграть, спасая важное и стимулируя поиски истины, что само по себе принесло бы больше пользы, чем в том случае, если бы она погибла вместе с крушением целого.

Это относится прежде всего к Марксовой философии, которую мы можем отринуть раз и навсегда. Получив образование в Германии и имея склонность к теоретическим размышлениям, он имел основательные знания в области философии и питал к ней страстный интерес. Чистая философия германского типа была его началом, его юношеской любовью. В течение некоторого времени он даже полагал, что это его истинное призвание. Он был неогегельянцем, что означает примерно следующее: признавая фундаментальные положения и методы своего учителя, он и его группа устраняли и заменяли на противоположные те консервативные элементы, которые были внесены в гегелевскую философию многими из других его приверженцев. Этот философский фундамент обнаруживается во всех его произведениях, где только появляется такая возможность. Неудивительно, что его немецкие и русские читатели — по аналогичной склонности и в силу схожего образования — ухватились прежде всего за эти аспекты его учения, сделав их ключевыми для всей системы.

Я же полагаю, что это было ошибочным и несправедливым по отношению к научным возможностям Маркса. Он сохранял свою раннюю любовь на протяжении всей своей жизни. Ему доставляли удовольствие те формальные аналогии, которые можно было обнаружить между его аргументацией и гегельянской. Ему нравилось подтверждать свое гегельянство и использовать гегельянскую фразеологию. Но это в общем-то и все. Нигде не изменял он позитивной науке ради метафизики. Именно об этом он говорит сам в предисловии ко второму изданию первого тома «Капитала»; то, что он там говорит, действительно верно, а его самообман не подтверждается анализом его аргументации, которая всюду опирается на факты социальной действительности и на исходные предпосылки, ни одна из которых не является собственно философской. Конечно, те комментаторы или критики, которые сами шли от философии, не могли поступать так же, поскольку мало что смыслили в общественных науках. К тому же склонность Маркса к построению философских систем отвращала их от любой интерпретации, кроме той, что выводит все его учение из философских принципов. В итоге они усматривали философию в самых обычных утверждениях Маркса, касающихся экономической действительности, направляя тем самым дискуссию по ложному следу и сбивая с толку одновременно и друзей, и врагов.

Инструментарий Маркса как социолога заключался в первую очередь в овладении обширным историческим и современным фактическим материалом. Знание последнего было у него всегда немного устаревшим, поскольку он был самым книжным из людей, и потому материалы фундаментальных исследований в отличие от газетных долго ждали своей очереди и всегда доходили до него с опозданием. Однако едва ли существовало хоть сколько-нибудь значительное по своему содержанию и посвященное общим вопросам историческое исследование его времени, которое бы ускользнуло от его внимания, хотя эта участь постигла значительную часть монографической литературы по отдельным проблемам. И хотя мы не можем превозносить полноту его информации в области истории в той же степени, в какой это касается его эрудиции в сфере экономической теории, тем не менее он мог иллюстрировать свою социальную концепцию не только масштабными историческими фресками, но и многими деталями, достоверность которых была скорее выше, чем ниже, среднего уровня социологических исследований его времени. Взгляд Маркса, охватывая разом эти факты, проникал через случайную нерегулярность поверхностных явлений и устремлялся вглубь — к грандиозной логике исторического процесса. Здесь страстность сочеталась с аналитическим порывом. Итог его попытки сформулировать эту логику, так называемая «экономи-

ческая интерпретация истории»[1], несомненно, является одним из величайших открытий современной социологии, совершенных каким-либо исследователем. В свете этого не имеет значения, является ли это открытие полностью оригинальным и в какой мере следует отдать должное предшественникам — немцам и французам.

Экономическая интерпретация истории *не означает*, что люди сознательно или бессознательно, полностью или в первую очередь руководствуются экономическими мотивами. Напротив, объяснение роли и механизма неэкономических мотивов и анализ того, как социальная реальность отражается в индивидуальной психике, являются существенным элементом теории и одним из самых важных ее достижений. Маркс не считал, что религия, философия, разные направления искусства, этические идеи и политические устремления могут быть сведены к экономическим *мотивам* и не имеют самостоятельного значения. Он лишь стремился вскрыть экономические *условия*, которые формируют их и которые обусловливают их взлет и падение. Вся система фактов и аргументов Макса Вебера[2] отлично вписывается в систему Маркса. Конечно, больше всего его интересовали социальные группы и классы и способ, каким эти группы и классы объясняют себе свое собственное существование, место в обществе и поведение. Он изливал свой самый яростный гнев на тех историков, которые брали эти представления и их словесное выражение (т. е. идеологию, или, как сказал бы Парето, *деривацию*) в буквальном значении и пытались с их помощью объяснить социальную реальность. Но хотя идеи и ценности не были для него главным двигателем социального процесса, он не считал их и пустым звуком. Если использовать аналогию, то в его социальной машине они играют роль приводных ремней. Мы не можем рассматривать здесь наиболее интересное послевоенное направление, развивающее эти принципы анализа и лучше всего объясняющее данное явление, а именно «социологию знания»[3]. Но об этом надо было сказать, поскольку Маркса в этом плане постоянно интерпретируют неверно. Даже его друг Энгельс у открытой могилы Маркса так изобразил эту его теорию, будто индивиды и группы подвержены воздействию главным образом экономических мотивов, что в некоторых важных аспектах неверно, а в остальном, к сожалению, тривиально.

---

[1] Впервые опубликована в связи с его уничтожающей критикой «Философии нищеты» Прудона в работе, названной «Нищета философии» (1847). Другая версия была включена в «Коммунистический манифест» (1848).

[2] Вышесказанное относится к веберовскому исследованию социологии религии и в особенности к его знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма», переизданной в его собрании сочинений (см.: Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 61—272).

[3] Немецкий термин — Wissensoziologie. Лучшие авторы, достойные упоминания, — это Макс Шелер и Карл Маннгейм. Статья последнего в Немецком Социологическом словаре (Handwörterbuch der Soziologie) может служить введением в тему.

Говоря об этом, нам следует защитить Маркса и от другого недоразумения: *экономическую* интерпретацию истории часто называют *материалистической* интерпретацией. Так было сказано самим Марксом. Эта фраза чрезвычайно увеличила популярность данной концепции у одних и непопулярность у других. На самом деле она абсолютно бессмысленна. Философия Маркса не более материалистична, чем философия Гегеля, а его историческая теория не более материалистична, чем любая другая попытка объяснить исторический процесс средствами, имеющимися в распоряжении эмпирических наук. Следует понять, что логически это совместимо с любой метафизической или религиозной верой — точно так же, как последняя совместима с любой физической картиной мира. Средневековая теология сама дает методы, с помощью которых можно обосновать подобную совместимость[4].

То, о чем на самом деле говорит эта теория, можно свести к двум положениям: (1) формы или условия производства являются базисными детерминантами социальных структур, которые в свою очередь определяют оценки людей, их поведение, типы цивилизаций. Маркс иллюстрирует это своим знаменитым утверждением, что «ручная мельница» создает феодальное, а «паровая мельница» — капиталистическое общество. Здесь подчеркивание важности технологического элемента доводится до опасных пределов, но с этим можно согласиться при условии, что технология — это далеко не все. Немного упрощая и признавая, что при этом многое из существенного утрачивается, можно сказать, что именно наш повседневный труд формирует наше сознание; наше место в производственном процессе — это как раз то, что определяет наш взгляд на вещи — или ту сторону явления, которую мы выделяем, — и то социальное окружение, в котором находится каждый из нас. (2) Сами формы производства имеют собственную логику развития, т. е. они меняются в соответствии с внутренне присущей им необходимостью, так что то, что является им на смену, есть исключительно следствие их собственного функционирования. Проиллюстрировать можно тем же примером Маркса: система, характеризовавшаяся применением «ручной мельницы», создает такие экономические и социальные институты, которые делают неизбежным использование механических методов помола, и эту неизбежность ни индивиды, ни группы не в состоянии изменить. Распространение и работа «паровой мельницы» в свою очередь порождают новые социальные функции и места размещения производства, новые группы и взгляды, которые развиваются и взаимодействуют таким образом, что

[4] Я встречал немало радикалов-католиков, среди них одного священника, и все они, будучи правоверными католиками, придерживались этой точки зрения и фактически провозглашали себя марксистами во всем, кроме вопросов, относящихся к их вере.

перерастают собственные рамки. В итоге мы имеем тот двигатель, который в первую очередь обусловливает экономические, а вследствие этого и все прочие социальные изменения, двигатель, работа которого сама по себе не требует никакого внешнего воздействия.

Оба положения, несомненно, содержат значительную долю правды и являются, как мы увидим впоследствии, бесценной рабочей гипотезой. Большинство существующих возражений абсолютно несостоятельны, в частности те, которые в качестве опровержения указывают на влияние этических или религиозных факторов; или такое, с которым выступил Эдуард Бернштейн, последний с восхитительной простотой утверждает, что «люди имеют голову на плечах» и, следовательно, действуют так, как им заблагорассудится. После всего, что было сказано выше, едва ли необходимо подробно останавливаться на слабостях подобных аргументов: конечно, люди «выбирают» свой образ действий, который непосредственно не навязывается им объективными условиями окружающей среды; но они выбирают, исходя из таких позиций, оценок и склонностей, которые не только не принадлежат к числу независимых переменных, но сами формируются под влиянием объективных факторов.

Тем не менее возникает вопрос: не является ли экономическая интерпретация истории всего лишь удобной аппроксимацией, которая в одних случаях работает менее удовлетворительно, чем в других. Очевидное уточнение следует внести с самого начала. Социальные структуры, социальные типы и взгляды, подобно монетам, не стираются быстро. Однажды возникнув, они могут существовать столетиями, а поскольку разные структуры и типы обнаруживают различные способности к выживанию, мы почти всегда обнаруживаем, что фактически существующие группы и реальное национальное поведение более или менее отклоняются от того, какими им следовало быть, если бы мы попытались вывести их из господствующих форм производственного процесса. Хотя это имеет место повсюду, особенно наглядно это видно, когда в высшей степени устойчивая структура полностью переносится из одной страны в другую. Общественная ситуация, возникшая в Сицилии в результате норманнского завоевания, может служить иллюстрацией того, что я имею в виду. Подобные факты Маркс не игнорировал, но вряд ли представлял все их значение.

Еще более пагубную роль играют следующие обстоятельства, схожие с только что упомянутыми. Рассмотрим возникновение феодального типа землевладения в Королевстве франков в шестом-седьмом столетиях. Наверняка это было самым важным явлением, которое сформировало общественную структуру на многие века и *в то же время оказало влияние на условия производства, включая потребности и технологию.*

Но самое простое объяснение его возникновения можно найти в функции военного лидерства, ранее выполнявшейся отдельными семьями или индивидами, которые (сохраняя эту функцию) становились после окончательного завоевания новой территории феодальными лендлордами. Подобное объяснение совсем не укладывается в Марксову схему и легко может быть истолковано противоположным образом. Факты подобного рода, несомненно, можно включить в общую теорию с помощью вспомогательных гипотез, однако необходимость включения подобных гипотез обычно означает начало конца самой теории.

Многие другие трудности, возникающие при попытках исторической интерпретации на основе Марксовой схемы, могут быть преодолены, если признать некоторую степень взаимодействия между сферой производства и прочими сферами общественной жизни[5]. Однако чары, окружающие фундаментальную истину, зависят как раз от точности и простоты утверждаемого ею одностороннего отношения. Если же оно ставится под вопрос, то экономическая интерпретация истории должна будет занять свое место среди прочих теорий такого же рода — в качестве одной из многих частичных истин — или уступить дорогу другой, способной возвестить более фундаментальную истину. Однако ни ее ранг в качестве научного открытия, ни ее операбельность в качестве рабочей гипотезы от этого не страдают.

Конечно, для правоверного марксиста эта концепция представляет собой универсальный ключ ко всем секретам человеческой истории. И хотя временами такой наивный способ ее применения вызывает улыбку, нам не следует забывать, какие концепции она заменила. Даже убогая сестра экономической интерпретации истории — Марксова «теория общественных классов» — выступает в более благоприятном свете, как только мы вспоминаем об этом.

В первую очередь следует подчеркнуть научное значение этой теории. Экономисты удивительно запоздали с признанием феномена общественных классов. Конечно, они всегда классифицировали экономических субъектов, взаимодействие которых порождало изучаемые ими процессы. Но эти классы представляли собой лишь совокупности индивидов, обнаруживающие некоторые общие черты: так, отдельные индивиды классифицировались как землевладельцы или рабочие, поскольку они владели землей или продавали услуги своего труда. Однако общественные классы не являются порождением классифицирующего наблюдателя, это живые организмы, существующие сами по себе. Их существование вызывает последствия, которые полностью игнорируются схемой, рассматривающей общество как амор-

[5] На склоне жизни Энгельс это признал открыто, Плеханов же пошел еще дальше в этом направлении.

фную совокупность индивидов или семей. С точки зрения чистой экономической теории вопрос о значении феномена общественных классов остается открытым. То, что он имеет очень важное значение с точки зрения практической жизни, а также для всех более широких аспектов социального процесса в целом, не вызывает никаких сомнений.

Не вдаваясь в детали, можно сказать, что общественные классы совершили свой торжественный выход на сцену благодаря известному тезису, содержащемуся в «Коммунистическом манифесте», согласно которому история общества есть история классовой борьбы. Конечно, это сильное преувеличение. Но даже если ослабить этот тезис до предположения о том, что исторические события нередко можно объяснить на основе классовых интересов и классовых позиций и что существующие классовые структуры всегда важны как фактор исторической интерпретации, — этого достаточно, чтобы иметь основание говорить о концепции столь же ценной, как и сама экономическая интерпретация истории.

Очевидно, успех этого направления анализа, исходным пунктом которого является принцип классовой борьбы, зависит от верности выбранной нами теории классов. Наша картина истории, вся наша интерпретация культурных форм и механизма общественных изменений будет изменяться в зависимости от того, изберем ли мы, к примеру, расовую теорию классов и подобно Гобино сведем человеческую историю к истории борьбы рас или, скажем, основанную на разделении труда теорию классов в духе Шмоллера или Дюркгейма и сведем классовые антагонизмы к антагонистическим интересам профессиональных групп. Разница точек зрения может объясняться не только различными определениями классов.

Какую бы точку зрения мы ни приняли в этом вопросе, мы все равно будем иметь различные интерпретации в зависимости от определения классового интереса[6] и представления о том, в чем выражаются сами классовые действия. Эта тема по сей день полна предрассудков и вряд ли находится на стадии научного исследования.

Довольно любопытно, что Маркс, — насколько нам известно, — никогда последовательно не разрабатывал того, что совершенно очевидно являлось одним из центральных пунктов его теории. Возможно

[6] Читателю надо понять, что любая концепция классов и их происхождения вовсе не однозначно определяет, каковы *интересы* этих классов и как каждый из них будет действовать, преследуя то, что в представлении и ощущении его вождей и рядовых членов в долгосрочной или краткосрочной перспективе верно или ошибочно считается его интересами. Проблема группового интереса полна собственных преград и ловушек совершенно независимо от природы тех групп, которые мы исследуем.

потому, что он откладывал эту работу так долго, что уже было поздно этим заниматься, а скорее потому, что его мышление настолько естественно оперировало концепцией классов, что он вовсе не чувствовал необходимости ее точного определения. Вполне возможно, что отдельные ее моменты в его собственном сознании оставались непроясненными; а путь ко всеобъемлющей теории классов преграждали созданные им самим трудности, а именно упор на чисто экономическую и сверхупрощенную трактовку этого феномена.

И сам Маркс, и его последователи применяли эту недостаточно разработанную теорию к отдельным случаям; из них самым выдающимся примером является его собственная работа «Классовая борьба во Франции»[7]. Кроме этого никакого реального прогресса достигнуто не было. Теория его главного соратника Энгельса была по сути своей немарксистской разновидностью теории, выводящей классы из разделения труда. За исключением этого мы имеем лишь отдельные и мимолетные проблески — некоторые из них потрясающей силы и яркости, — которые разбросаны по всем произведениям мастера, особенно в «Капитале» и «Коммунистическом манифесте».

Задача сведения воедино этих фрагментов является весьма сложной, и мы не можем ее здесь осуществить. Однако главная идея достаточно ясна. Разделение общества на классы основывается на собственности или отстранении от собственности на средства производства — такие, как фабричные здания, оборудование, сырье и потребительские товары, которые входят в потребление рабочих. Мы имеем поэтому в принципе только два класса — собственников, капиталистов, и неимущих, вынужденных продавать свой труд, т. е. рабочий класс, или пролетариат. Существование промежуточных групп — таких, как фермеры или ремесленники, которые нанимают труд и в то же время занимаются физической работой, служащие, лица свободных профессий, — конечно, не отрицается; но они рассматриваются как отклонения, которые постепенно исчезнут в ходе капиталистического развития. Эти два основных класса в соответствии с логикой их положения и совершенно независимо от желаний их отдельных представителей являются глубокими антагонистами. Раскол внутри класса и столкновение между отдельными подгруппами случаются и даже способны иметь исторически важное значение. Но в конечном счете подобные расколы и коллизии преходящи. Единственный анта-

[7] Другим примером является социалистическая теория империализма, на которой мы остановимся ниже. Интересная попытка О. Бауэра антагонизм между различными расами, населявшими Австро-Венгерскую империю, интерпретировать на основе классовой борьбы между капиталистами и рабочими (Die Nationalitätenfrage, 1905) также заслуживает упоминания, хотя искусство аналитика лишь подтверждает неадекватность этого инструмента анализа.

гонизм, который не носит преходящего характера и встроен в основу капиталистического общества, коренится в частном контроле над средствами производства, а потому отношение между капиталистическим классом и пролетариатом по природе своей — это борьба, война классов.

Далее, как мы увидим, Маркс пытается показать, что в этой классовой борьбе капиталисты уничтожают друг друга, а заодно уничтожают и капиталистическую систему. Он старается также показать, как собственность на капитал ведет ко все большему его накоплению. Но эта линия доказательства, так же как и само определение, делающее собственность конституирующей характеристикой общественного класса, только усиливает важность проблемы первоначального накопления, т. е. проблемы того, как капиталисты становятся капиталистами в самом начале и приобретают тот запас товаров, который согласно Марксовой доктрине необходим для того, чтобы дать им возможность начать эксплуатацию. На этот вопрос Маркс отвечает гораздо менее ясно[8]. Он презрительно отвергает буржуазную сказочку (Kinderfiebel) о том, что некоторые люди стали и становятся капиталистами благодаря бóльшим умственным способностям и энергии, проявляемым в работе и сбережении. Он намеренно глумился над этой историей о хороших мальчиках, потому что нет лучшего способа дискредитировать неудобную правду, — и это знают все политики, — как поднять ее на смех. Те же, кто изучает историю и современность без предубеждений, не могут не обратить внимания на то, что эта сказочка, хотя и не говорит всей правды, все же многое раскрывает. В девяти случаях из десяти экономический успех, в особенности при *основании* промышленного предприятия, действительно обязан незаурядным умственным способностям и энергии. Как раз в начальной стадии капитализма в целом и каждой индивидуальной карьеры в отдельности сбережения были и остаются важным элементом процесса, хотя и не в том смысле, как считала классическая экономическая теория. Действительно, стать капиталистом (промышленником — нанимателем рабочей силы) путем сбережений из заработной платы или жалованья, чтобы основать собственную фабрику с помощью накопленного таким образом фонда, чрезвычайно трудно. Источником большей части накоплений являются прибыли, следовательно, накопление предполагает прибыль, и это *разумная* причина для того, чтобы отличать сбережение от накопления. Необходимые для основания предприятия средства можно обеспечить либо взяв взаймы сбережения других лиц, наличие которых в виде мелких сумм легко объяснить, либо с помощью депозитов, которые создаются банками для будущего

[8] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 725—773.

предпринимателя. Как бы то ни было, последний сберегает почти всегда: сбережения нужны ему для того, чтобы подняться над необходимостью ежедневной рутинной работы ради куска хлеба, обеспечить жизненное пространство, чтобы оглядеться вокруг, осуществить свои планы, войти в кооперацию с другими. Следовательно, с точки зрения экономической теории у Маркса было реальное основание — хотя он и преувеличил его значение для того, чтобы отрицать ту роль сбережений, которую им приписывали классики. Однако его собственный вывод отсюда никак не вытекает, так что смех здесь вряд ли уместен[9].

Насмешки, однако, сделали свое дело и помогли расчистить путь для альтернативной теории первоначального накопления Маркса. Эта альтернативная теория сформулирована не столь определенно, как нам бы хотелось. Насилие, ограбление, подчинение народных масс, усугубляющие их отделение от собственности, и как результат — еще большее ограбление, усиливающее подчинение, — конечно, все это звучало хорошо и замечательно совпадало с идеями, распространенными среди интеллектуалов всех мастей, причем в наши дни еще сильней, чем во времена Маркса. Но очевидно, это не решает проблему, состоящую в том, чтобы объяснить, как некоторые люди приобретают такую власть, чтобы подчинять и грабить других. Популярную литературу это не тревожит, и я не собираюсь адресовать этот вопрос произведениям Джона Рида. Но мы имеем дело с Марксом.

По крайней мере, некоторое подобие решения можно получить благодаря историзму всех основных теорий Маркса. По его мнению, тот исторический *факт*, что капитализм вырастает из феодального общества, имеет существенное значение для *логики* его развития. Конечно, и в этом случае встает тот же самый вопрос о причинах и механизме социальной стратификации. Но Маркс по существу принимает буржуазную точку зрения, согласно которой феодализм был царством насилия[10], в котором подчинение и эксплуатация народных масс

---

[9] Я не собираюсь останавливаться на этом, но хотел бы упомянуть, что даже классическая теория не так уж неверна, как об этом писал Маркс. «Сбережение» в самом буквальном смысле этого слова было, особенно на ранних стадиях капитализма, отнюдь не второстепенным методом «первоначального накопления». Кроме того, существовал и другой метод, родственный этому, но не идентичный ему. Многие фабрики в семнадцатом и восемнадцатом столетиях представляли собой всего лишь навес, под которым человек, работавший вручную, мог укрыться, и требовали простейшего оборудования. В этих случаях физический труд будущего капиталиста и совсем небольшой фонд сбережений — необходимое для создания предприятия, если не считать, разумеется, головы на плечах.

[10] У многих писателей-социалистов, помимо Маркса, обнаруживается та же некритическая вера в познавательную ценность таких категорий, как сила и контроль над физическими средствами применения силы. Фердинанд Лассаль, например, в качестве объяснения государственной власти не мог предложить ничего иного, кроме пушек и штыков. У меня всегда вызывало удивление, что столь многие люди были слепы к слабостям подобной социологии и не понимали, что гораздо вернее сказать, что именно власть дает контроль над пушками (и людьми, жаждущими использовать их), чем утверждать, что контроль над пушками порождает власть.

были уже свершившимся фактом. Классовая теория, приспособленная главным образом к условиям капиталистического общества, была распространена на его феодального предшественника, так же как и многое из концептуального аппарата экономической теории капитализма[11]; при этом некоторые из самых щекотливых проблем были просто перенесены на феодальную территорию, с тем чтобы появиться вновь уже в готовой форме, в виде исходных данных, при анализе капиталистической системы.

Феодальный эксплуататор был просто заменен эксплуататором капиталистическим. В тех случаях, когда феодальные землевладельцы действительно превращались в промышленников, это могло служить решением проблемы. История дает немало подтверждений верности подобной точки зрения: многие помещики, особенно в Германии, действительно строили фабрики и управляли ими, нередко используя в качестве финансовых источников свою феодальную ренту, а в качестве рабочей силы — сельскохозяйственное население (не обязательно крепостных, но иногда и их)[12]. Во всех других случаях марксистская теория первоначального накопления не согласуется с имеющимися фактами. Единственно честный способ выйти из этого положения — заявить, что с марксистской точки зрения удовлетворительного объяснения этого процесса нет; иными словами, сказать, что мы не можем объяснить первоначальное накопление, не обратившись к немарксистским концепциям, порождающим в свою очередь немарксистские выводы[13].

Это, однако, опровергает марксистскую теорию как в историческом, так и в логическом аспекте. Поскольку большая часть методов первоначального накопления определяет и последующее накопление, — первоначальное накопление как таковое продолжается в течение всей эры капитализма, — то мы не можем утверждать, что Марксова теория общественных классов в полном порядке, *если не считать* тех трудностей, с которыми она сталкивается, когда речь идет об отдаленном прошлом. Но, видимо, нет смысла говорить об отдельных недостатках теории, которая даже в самых благоприятных случаях не до-

---

[11] В этом учение Маркса сближается с учением К. Родбертуса.

[12] В. Зомбарт в первом издании своей «Теории современного капитализма» пытался возвести такие случаи в принцип. Однако его попытка обосновать теорию первоначального накопления исключительно накоплением земельной ренты оказалась безуспешной, что в конце концов признал и сам Зомбарт.

[13] Этот вывод будет справедливым, даже если отвести максимально возможное значение грабежу (разумеется, не принимая на веру откровенный вымысел). Ограбления нередко вносили свой вклад в создание торгового капитала. Богатство финикийцев и англичан — знакомые примеры. Но даже и тогда Марксова теория недостаточна, ибо в конечном счете успешное ограбление должно основываться на личном превосходстве грабителя. И как только мы это признали, сразу появляется совершенно иная теория социальной стратификации.

ходит сколь-нибудь близко до сути тех явлений, которые она стремится объяснить, и которую никогда не следовало принимать всерьез. Эти благоприятные случаи можно найти главным образом в тот период развития капитализма, который определялся преобладанием предприятий среднего размера, принадлежавших отдельным собственникам и управлявшихся ими. За пределами этого общественного слоя классовые позиции, хотя, как правило, и отражались в более или менее соответствующем экономическом положении, скорее были причиной, чем следствием последнего: экономический успех, очевидно, не всегда является единственным путем к социальному возвышению, но только там, где это становится возможным, собственность на средства производства однозначно определяет позицию данной группы в общественной структуре. Но даже тогда считать собственность определяющим элементом столь же правомерно, как называть солдатом человека, которому удалось заполучить ружье. Жесткое деление, при котором одни (вместе со своими наследниками) якобы навсегда остаются капиталистами, а другие (тоже вместе с их наследниками) навсегда остаются пролетариями, не только, как уже неоднократно указывалось, нереалистично: при этом упускается из виду решающий момент, касающийся формирования общественного класса, — непрерывное перемещение отдельных семей в верхние слои и одновременное непрерывное выпадение из них других семей. Факты, о которых я говорю, очевидны и неоспоримы. И если они не упоминаются в марксистской схеме, то причина всего лишь в том, что они противоречат марксистской теории общественных классов.

Нелишне, однако, рассмотреть, какую роль играет эта теория в рамках общей теоретической системы Маркса, задав себе вопрос об аналитических целях, которым она должна была служить, в отличие от использования ее в качестве части агитационного снаряжения.

С одной стороны, мы должны иметь в виду, что для Маркса теория общественных классов и экономическая интерпретация истории не были тем, чем они являются для нас, а именно двумя независимыми друг от друга доктринами. У Маркса первая связана со второй совершенно особым образом и поэтому ограничивает — делает более определенным — modus operandi[14] условий или форм производства. Эти последние определяют социальную структуру, а через социальную структуру — все формы цивилизации и все развитие культурной и политической истории. Сама же социальная структура для всех несоциалистических эпох определялась им в терминах классов — тех двух классов, которые являются подлинными участниками драмы и в то же время *прямыми* порождениями логики развития капиталистической системы производства, которая через них воздействует и на все ос-

[14] Способ действия *(лат.)*.

тальное. Это объясняет, почему Маркс вынужден был определить свои классы как чисто экономический феномен, причем экономический в очень узком смысле слова. Тем самым он отрезал себе путь к более глубокому их анализу, но то место, на которое он поместил классы в своей аналитической схеме, не позволило ему сделать иного выбора.

С другой стороны, Маркс хотел определить капитализм на основе тех же характерных черт, что и деление общества на классы. Небольшое размышление должно убедить читателя, что подобная взаимосвязь не является ни неизбежной, ни естественной. На деле это было смелым ходом в аналитической стратегии, который связал судьбу феномена классов с судьбой капитализма таким образом, что социализм, который в действительности не имеет ничего общего ни с наличием, ни с отсутствием общественных классов, становится, по определению, единственным видом бесклассового общества, за исключением первобытного племени. Эту бесхитростную тавтологию нельзя было бы столь же удачно сформулировать, если выбрать какие-либо иные определения классов *и* капитализма, а не те, что избрал Маркс, а именно определения, основывающиеся на частной собственности на средства производства. Из Марксовых определений следовало, что в обществе должны существовать только два класса — имущие и неимущие, а все прочие принципы классового деления, причем гораздо более важные, игнорировались, недооценивались либо сводились к данному.

Преувеличение Марксом определенности и значимости разделительной линии между характеризуемым таким образом классом капиталистов и пролетариатом уступает по масштабам лишь его абсолютизации антагонизма между ними. Для любого ума, не извращенного привычкой перебирать марксистские четки, совершенно очевидно, что отношения классов в обычное время характеризуются прежде всего сотрудничеством и что любая теория противоположного характера должна базироваться преимущественно на патологических случаях.

В общественной жизни антагонизм и сотрудничество встречаются всюду и фактически неразделимы, за исключением редчайших случаев. Но я почти убежден, что в старой теории гармонии интересов было гораздо меньше полных нелепостей, — хотя и в ней их хватало, — чем в Марксовой конструкции, предполагающей непреодолимую пропасть между собственниками орудий труда и теми, кто их применяет. Однако мы подчеркиваем еще раз: у него не было выбора не потому, что он стремился к революционным выводам, — последние могли быть получены с таким же успехом на основе дюжины других возможных схем, — а потому, что так требовал его собственный анализ. *Если* классовая борьба была решающим фактором исторического развития, а также способом приближения социалистического будущего и *если* предполагалось существование только этих двух классов, то их отно-

шения обязаны были быть антагонистическими в принципе, в противном случае его теория социальной динамики утратила бы свою силу.

Далее. Хотя Маркс определяет капитализм социологически, т. е. на основе института частного контроля над средствами производства, механику функционирования капиталистического общества он объясняет с помощью своей экономической теории. Эта экономическая теория призвана показать, как социологические категории *класс, классовый интерес, классовое поведение, обмен между классами* проявляются через посредство экономических категорий — ценности, прибыли, заработной платы, инвестиций и т. п. — и как они порождают такой экономический процесс, который в конце концов разрушает свою собственную институциональную структуру и в то же время создает условия для возникновения иного социального порядка. Эта особая теория общественных классов является тем аналитическим инструментом, который, соединяя экономическую интерпретацию истории с концепцией экономики, основанной на прибыли, определяет все общественные события, сводит воедино все явления. Следовательно, это не просто теория какого-то индивидуального явления, призванная объяснить именно это явление и больше ничего. Ее внутрисистемная функция в Марксовой системе в целом гораздо более важна, чем мера успеха, с которой она решает свою собственную задачу. Эту внутрисистемную функцию следует иметь в виду, если мы хотим понять, как исследователь такой силы, как Маркс, мог мириться с ее недостатками.

Всегда были и по-прежнему существуют энтузиасты, которые восхищались Марксовой теорией общественных классов как таковой. Но более понятны чувства тех, кто настолько восхищается силой и величием общей концепции, что готовы простить все недостатки ее составных частей. Мы постараемся дать свою собственную оценку (в гл. IV). Но сначала следует посмотреть, каким образом экономический механизм, описываемый Марксом, осуществляет ту задачу, которая возложена на него общей концепцией.

Глава III
МАРКС – ЭКОНОМИСТ

Как экономист-теоретик Маркс был прежде всего очень эрудированным человеком. Может показаться странным, что я считаю необходимым подчеркнуть эту особенность автора, которого я называл гением и пророком. И тем не менее это важно отметить. Гении и пророки обычно не отличаются профессиональными познаниями и оригинальны — если они действительно оригинальны — зачастую именно потому, что этих познаний у них нет. Однако в Марксовой экономической теории нет ничего, что говорило бы о каком-либо стремлении к учености как таковой или об упражнениях в технике теоретического анализа. Он был ненасытным читателем и неутомимым тружеником и оставил без внимания лишь немногое из того, что имело значение. И что бы он ни читал, он усваивал прочитанное, бросаясь в схватку по поводу каждого факта или аргумента с пристрастием к отдельным частностям, совершенно необычным для человека, который способен был охватывать своим взглядом целые цивилизации и вековые тенденции. Критикуя и отвергая одно, признавая и обобщая другое, он всегда доходил до сути любого вопроса. Выдающимся доказательством этого является его работа «Теории прибавочной стоимости», являющаяся памятником теоретическому энтузиазму. Это непрерывное стремление к самообразованию, к овладению всем, чем только можно было овладеть, в какой-то мере способствовало освобождению его от предрассудков и вненаучных целей, хотя он, конечно, работал для того, чтобы подтвердить определенное видение реальности.

Для его могучего интеллекта интерес к проблеме как таковой имел первостепенное значение вопреки его собственному намерению, и как бы сильно ни искажал он смысл своих конечных выводов, в процессе самой работы он занимался прежде всего оттачиванием инструментов анализа, предлагаемых современной ему наукой, решением логических трудностей и строительством на основе созданного таким образом фундамента теории, которая по своей природе и намерениям была подлинно научной, несмотря на все ее недостатки.

Легко понять, почему и друзья, и враги исказили смысл его достижений в чисто экономической области. Друзья считали его больше, чем просто профессиональным теоретиком, что, с их точки зрения, было бы просто оскорблением придавать слишком большое значение этому аспекту его деятельности. Для противников же, возражавших против его позиций и теоретической аргументации, оказывалось почти невозможным признать, что в некоторых частях своей работы он по сути делал то же самое, что ценилось ими так высоко, когда исхо-

дило из других рук. Кроме того, холодный металл экономической теории на страницах Марксовых работ погружен в такой котел кипящих фраз, что приобрел температуру, ему несвойственную. Всякий лишь пожмет плечами по поводу предложения считать Маркса аналитиком в научном смысле, имея в виду, конечно, эти фразы, а не мысли, этот полный страсти язык, эти пылающие обвинения в «эксплуатации» и «обнищании» (immiserization) (вероятно, последнее — лучший перевод слова Verelendung, которое на немецком звучит не намного лучше, чем на английском такой монстр, как «immiserization». На итальянский это переводится как «immiserimento»). Эти инвективы, как и многое другое — грубые выпады или вульгарные замечания, вроде ссылки на леди Оркни[1], — все это существенные компоненты спектакля как для самого Маркса, так и для тех, кто верил или не верил ему. Это частично объясняет, почему многие упорно желают видеть в Марксовых теоремах нечто большее, чем в аналогичных концепциях его учителя, и даже нечто совершенно противоположное им. Однако все это не влияет на природу его анализа.

Значит, у Маркса есть учитель? Да. Настоящее понимание его экономической теории начинается с познания того, что как теоритик он был учеником Рикардо. Он был его учеником не только в том смысле, что его собственные аргументы явно берут свое начало от рикардианских предпосылок, но и в гораздо более существенном смысле — у Рикардо он научился искусству теоретизирования. Он всегда пользовался рикардианским инструментарием, а каждая теоретическая проблема выступала у него либо в форме трудностей, с которыми он столкнулся при глубоком изучении работ Рикардо, либо в виде тех требующих дальнейшей разработки положений, которые он оттуда тщательно отбирал. Многое из этого признавал сам Маркс, хотя, конечно, он не согласился бы с тем, что его отношение к Рикардо было типичным отношением ученика, который ходит к своему профессору, слушает, как тот повторяет одни и те же сентенции об избыточности населения, о населении, которое избыточно, и вновь о машинах, которые делают население избыточным, а затем идет домой и старается усвоить все это. То, что обе стороны в споре о Марксе не склонны были признавать это, вполне объяснимо.

Рикардо не единственный, кто повлиял на экономическую теорию Маркса; но в настоящем очерке упоминания заслуживает лишь Кенэ, у которого Маркс взял свою фундаментальную концепцию экономического процесса в целом. Группа английских экономистов, пытавшихся в период 1800—1840 гг. развить теорию ценности, возможно, повлияла на некоторые положения и частности, но это влияние охва-

[1] Подруга Вильгельма III (1650—1702) — короля, который, будучи столь непопулярным в свое время, стал в тот период идолом английской буржуазии.

тывается в данном случае ссылкой на рикардианское направление в экономической мысли. Ряд других авторов, работы которых во многих отношениях параллельны его собственной (Сисмонди, Родбертус, Джон Стюарт Милль), — враждебность Маркса в отношении некоторых из них была обратно пропорциональна расстоянию между их теориями и его собственной — принимать в расчет не следует, как и все, что прямо не относилось к главной линии его аргументации, как, например, крайне слабую область денежной теории, в которой ему не удалось подняться даже до рикардианского уровня.

Теперь обратимся к чрезвычайно краткому изложению Марксовой экономической теории, которое неизбежно будет во многих отношениях несправедливым по отношению к структуре «Капитала», который, пусть где-то незаконченный, а где-то потрепанный успешными атаками противников, все еще сохраняет свои могучие очертания.

1. Маркс начинает с обычной для теоретиков своего времени, как и более ранних периодов, попытки сделать теорию ценности краеугольным камнем всей теоретической структуры. Его теория ценности — рикардианская. Я знаю, что такой выдающийся авторитет, как проф. Тауссиг, не согласен с этим и всегда подчеркивал различия этих теорий. Да, есть масса различий в словах, в методах дедукции и социологических выводах, но никаких различий в самой теореме, которая одна только и имеет значение для современного теоретика, не существует[2].

И Рикардо, и Маркс утверждают, что ценность каждого товара (в условиях совершенного равновесия и совершенной конкуренции) пропорциональна количеству труда, содержащегося в этом товаре, при условии, что этот труд соответствует существующим стандартам эффективности производства («общественно необходимому количеству труда»). Оба измеряют это количество часами труда и используют

[2] Остается, однако, открытым вопрос, только ли это имело значение для самого Маркса. Он был во власти того же заблуждения, что и Аристотель, а именно, что ценность, хотя и является фактором, определяющим относительные цены, в то же время есть нечто, отличное от них, существует независимо от относительных цен или меновых отношений. Положение, согласно которому ценность товара *есть* количество труда, воплощенного в нем, вряд ли означает что-либо другое. Но если это так, то между Рикардо и Марксом различия *есть*, поскольку ценность у Рикардо — это просто меновые ценности или относительные цены. Об этом стоит упомянуть, поскольку, если мы примем эту концепцию ценности, многое в теории Маркса, кажущееся нам неприемлемым или даже бессмысленным, перестает быть таковым. Но, конечно, мы не можем сделать это. Ситуация не улучшится и в том случае, если, следуя некоторым марксологам, мы согласимся с точкой зрения, согласно которой — независимо от того, существует отличная от меновой ценности «субстанция» или нет, — Марксовы ценности, определяемые количеством труда, предназначены лишь для того, чтобы служить инструментом для разделения совокупного общественного дохода на трудовой доход и доход на капитал (при том, что теория индивидуальных относительных цен имеет второстепенное значение). Потому что, как мы увидим, теория ценности Маркса не справляется и с этой задачей (при условии, что мы можем отделить эту задачу от проблемы индивидуальных цен).

тот же самый метод сведения различных свойств труда к единому стандарту. Оба одинаково относятся к фундаментальным трудностям, внутренне присущим этому подходу (т. е. Маркс относится к ним так, как он усвоил это у Рикардо). Ни один из них не сказал ничего толкового относительно монополии или того, что мы называем сегодня несовершенной конкуренцией. Оба отвечают на критику одинаковыми аргументами. Только Марксовы аргументы менее вежливы, более многословны и более «философичны» в самом худшем смысле этого слова.

Все знают, что эта теория ценности неудовлетворительна. Однако в бесчисленных дискуссиях на эту тему правда вовсе не всегда принадлежит одной стороне, и оппоненты трудовой теории высказали немало ошибочных аргументов. Коренной вопрос состоит вовсе не в том, является ли труд истинным «источником» или «причиной» экономической стоимости. Этот вопрос может быть предметом первостепенной важности для социального философа, который стремится вывести из него этическое притязание на продукт, и сам Маркс, конечно, не был безразличным к этому аспекту проблемы. Для экономической же теории как позитивной науки, которая призвана описать или объяснить фактический процесс, гораздо важнее ответить на вопрос, как трудовая теория стоимости выполняет свою функцию инструмента анализа и каковы те реальные причины, в силу которых она выполняет ее столь плохо.

Начнем с того, что она вовсе не работает вне условий совершенной конкуренции. Во-вторых, даже в условиях совершенной конкуренции она никогда не работает *гладко*, за исключением того случая, когда труд является единственным фактором производства и притом весь труд выступает как труд одного вида[3]. Если любое из этих условий не выполняется, приходится вводить дополнительные предпосылки; при этом аналитические трудности возрастают в такой степени, что вскоре

[3] Необходимость второй предпосылки является особенно гибельной для трудовой теории стоимости. Она способна справиться с различиями качества труда, обусловленными обучением (приобретенной квалификацией): соответствующие количества труда, которые затрачиваются на обучение, следует добавить к каждому часу квалифицированного труда; так что мы можем, не нарушая принципов, считать час труда, совершаемого квалифицированным рабочим, равным часу неквалифицированного труда, умноженному на определенный коэффициент. Однако этот метод не срабатывает в случае «естественных» различий в качестве, обусловленных различиями в умственных способностях, силе воли, в физической силе или ловкости. В этом случае необходимо учесть различия в ценности часов, отработанных рабочими, которые обладают разной работоспособностью в силу своих естественных особенностей, но это явление не может быть объяснено в соответствии с принципом трудовых затрат. Фактически Рикардо поступает следующим образом: он просто говорит, что эти качественные различия каким-то образом воплотятся в правильные соотношения благодаря игре рыночных сил, так что мы можем в конце концов сказать, что час труда работника *A* равен умноженному на определенный коэффициент часу труда работника *B*. Однако он полностью упускает из вида, что, следуя этой логике доказательства, он апеллирует к иному принципу оценки стоимости и фактически отказывается от принципа трудовых затрат, который таким образом с самого начала оказывается несостоятельным в рамках своих собственных предпосылок, прежде чем он потерпит неудачу из-за наличия иных факторов, не относящихся к труду.

становятся неуправляемыми. Следовательно, аргументация, основанная на трудовой теории стоимости, является объяснением очень специального случая, не имеющего практического значения, хотя кое-что можно сказать и в ее пользу, если интерпретировать ее в смысле аппроксимации к историческим тенденциям в движении относительных ценностей. Теория, которая пришла ей на смену, — в ее самой ранней и ныне уже устаревшей форме, известная как теория предельной полезности, — может претендовать на превосходство по разным причинам. Но реальным аргументом в ее пользу является то, что она носит более общий характер. С одной стороны, она равным образом применима к условиям монополии и совершенной конкуренции, а с другой — к наличию других производственных факторов, помимо труда, а также к труду разных видов и различного качества. Более того, если мы введем в эту теорию упомянутые выше ограничения, то из нее будет вытекать пропорциональность между ценностью и количеством затраченного труда[4]. Отсюда должно быть ясно, что со стороны марксистов совершенно абсурдно ставить под сомнение противостоящую им теорию предельной полезности, что они пытались делать вначале. Столь же некорректно называть трудовую теорию ценности «неправильной». В любом случае она умерла и похоронена.

2. Хотя ни Рикардо, ни Маркс, по всей видимости, до конца не осознавали всех слабостей положения, в которое они ставили себя этими исходными посылками, некоторые трудности они понимали достаточно четко. В частности, оба они пытались справиться с проблемой устранения такого элемента, как услуги естественных агентов производства, которые, конечно же, не находят своего места в процессе производства и распределения, описываемого теорией ценности, базирующейся только на количестве затраченного труда. Знакомая нам рикардианская теория земельной ренты по существу является попыткой подобного устранения, то же самое пытается осуществить и теория Маркса. Как только мы обретаем аналитический аппарат, позволяющий рассматривать ренту так же естественно, как и оплату труда, все затруднения исчезают. После этого ничего уже более не нужно говорить о внутренних достоинствах или недостатках Марксовой доктрины абсолютной ренты в отличие от дифференциальной или о ее соотношении с подобной доктриной Родбертуса.

---

[4] Фактически из теории предельной полезности вытекает следующее: для существования равновесия каждый фактор должен быть так распределен между различными, открытыми для него видами производства, чтобы последняя единица этого фактора, где бы она ни использовалась для производственных целей, производила ту же величину ценности, что и последняя единица, использующаяся в каждом из любых других видов производства. Если не существует других производственных факторов, кроме труда одного вида и качества, то из этого с очевидностью следует, что относительные ценности или цены всех товаров должны быть пропорциональны количеству человеко-часов, содержащихся в них, при условии существования совершенной конкуренции и мобильности.

Но даже если мы оставим это без внимания, у нас все еще остаются трудности, связанные с наличием капитала в смысле запаса средств производства, производимых самими средствами производства. Для Рикардо здесь все очень просто; в знаменитой IV части первой главы своих «Начал» он без всяких объяснений вводит и принимает следующий факт: там, где капитальные блага, такие, как производственные постройки, оборудование и сырье, используются для производства товаров, эти товары продаются по ценам, которые будут приносить чистый доход собственникам средств производства. Он понимал, что это явление каким-то образом связано с периодом времени, который протекает от инвестирования до появления готового к продаже продукта, и оно-то и будет вызывать отклонения фактических ценностей от тех, которые были бы пропорциональны количеству «содержащихся» в них рабочих часов, включая человеко-часы, затраченные на производство самих капитальных товаров, в том случае, когда эти периоды в разных отраслях различны. На это явление он указывает так спокойно, как будто оно следует из его фундаментальной теории ценности, а не противоречит ей, и дальше этого не идет, ограничиваясь рядом второстепенных проблем и, очевидно, полагая, что его теория по-прежнему описывает базисные детерминанты ценности.

Маркс также ввел, признал и рассмотрел самое явление, нигде не подвергая сомнению его существование. Он сознавал также, что это явление, по всей видимости, противоречит трудовой теории ценности. Однако он считал рикардовский подход к решению этой проблемы неприемлемым и, признавая ее в том виде, как ее сформулировал Рикардо, всерьез ринулся в бой против его решения, посвятив этому примерно столько же сотен страниц, сколько предложений затратил Рикардо на свои доказательства.

3. В процессе этой критики он не только обнаружил более глубокое понимание характера проблемы, но и усовершенствовал унаследованный им концептуальный аппарат. К примеру, Маркс заменил введенное Рикардо различие между основным и оборотным капиталом различием между постоянным и переменным (заработная плата) капиталом, а его рудиментарное понятие длительности процесса производства — гораздо более строгой концепцией «органического строения капитала», которая основывается на соотношении постоянного и переменного капитала. Он внес также целый ряд других усовершенствований в теорию капитала. Однако мы ограничимся здесь его объяснением чистого дохода на капитал, его «теорией эксплуатации».

Трудящиеся массы далеко не всегда чувствуют себя угнетенными и эксплуатируемыми. Однако интеллектуалы, формулирующие для них свои концепции, всегда убеждали их в этом, никогда не уточняя, что при этом имеется в виду. И Марксу не удалось избежать этой фразеологии, даже если он хотел этого. Его заслугой и достижением было

то, что он понимал слабость различных аргументов, с помощью которых духовные наставники трудящихся масс до него пытались показать, как возникает эксплуатация, и которые по сей день поставляют этот товар для среднего радикала. Ни одно из стандартных объяснений, ссылающихся либо на силу той или иной стороны в переговорах между капиталистами и рабочими либо просто на обман, его не удовлетворяло. Он как раз и хотел доказать, что эксплуатация возникает не из индивидуальных ситуаций, случайно или неожиданно; что она есть результат самой логики капиталистической системы, неизбежный и не зависящий от индивидуальных намерений.

Вот как он это делает. Ум, мускулы и нервы рабочего образуют, как таковые, фонд или запас потенциального труда (*Arbeitskraft* — термин, не всегда правильно переводимый как рабочая сила). Этот фонд или запас Маркс рассматривает в виде некоей субстанции определенного количества, которая в капиталистическом обществе является таким же товаром, как и все прочие. Мы можем пояснить для себя эту мысль, рассмотрев ситуацию в условиях рабства. Марксова идея состоит в том, что существенного отличия, за исключением некоторых частностей, между трудовым контрактом, определяющим заработную плату, и покупкой раба нет, хотя то, что покупает наниматель «свободного» труда, в действительности не сам трудящийся, как это было в условиях рабства, а определенная часть общей суммы потенциального труда.

Далее, поскольку труд в этом смысле (не *услуги* труда и не фактические затраты человеко-часов) является товаром, к нему должен быть применим и закон ценности. То есть в условиях равновесия и совершенной конкуренции он должен обеспечить пропорциональность зарплаты количеству рабочих *часов*, затраченных на его «производство». Какое же количество рабочих *часов* затрачивается на «производство» запаса потенциального труда, накапливаемого под кожей рабочего человека? Такое количество рабочих *часов*, которое необходимо для того, чтобы вырастить, накормить, одеть рабочего и обеспечить его жилищем[5]. Они-то и определяют ценность этого запаса, и если он продает часть его, выраженную в днях или неделях, он получает зарплату, соответствующую трудовой ценности этой части, так же как работорговец, продавая раба, в условиях равновесия получает цену, пропорциональную общему количеству этих трудовых *часов*. Следует заметить еще раз, что Маркс, таким образом, дистанцируется от всех тех популярных лозунгов, которые в той или иной форме утверждают,

[5] Это различие между «рабочей силой» и трудом С. Бэйли (Bailey S. A Critical Discourse on the Nature, Measure and Causes of Value. 1825) заранее объявил абсурдным, что не преминул отметить сам Маркс. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 561—569).

что капиталистический рынок грабит или обманывает рабочего или благодаря его достойной сожаления слабости вынуждает принимать любые навязываемые ему условия. Действительность не так проста: на самом деле он получает полную ценность своего трудового потенциала.

Однако как только «капиталисты» заполучили этот запас потенциальных услуг, они в состоянии заставить рабочего трудиться гораздо дольше — оказывать большее количество фактических услуг, чем нужно для создания этого потенциального запаса. В этом смысле они в состоянии извлечь больше фактических часов труда, чем ими оплачено. Поскольку созданная продукция продается также по ценам, пропорциональным затраченному на нее количеству человеко-часов, то появляется разница между двумя ценностями — возникающая просто-напросто как следствие modus operandi Марксова закона ценности, которая неизбежно благодаря действию механизма капиталистических рынков поступает капиталистам. Это и есть «прибавочная ценность» (Mehrwert)[6]. Присваивая ее, капиталист «эксплуатирует» труд, хотя он платит рабочим не меньше полной ценности их трудового потенциала и получает от потребителей не больше, чем полную ценность продаваемых продуктов. И вновь следует отметить, что Маркс не обращается к таким фактам, как нечестные цены, ограничение производства или обман на рынках товаров. Конечно, он не намеревался отрицать существование подобной практики, однако видел истинное значение этих явлений и никогда не основывал на них фундаментальных выводов.

Между прочим эта теория дает нам восхитительный урок: какое бы специальное значение ни приобрел в итоге термин «эксплуатация», каким бы далеким ни было оно от обычного словоупотребления, каким бы сомнительным ни было его выведение из требований естественного права и философии учителей и писателей эпохи Просвещения, в конце концов он был включен в круг научных аргументов и в этом качестве служит опорой ученикам, ведущим борьбу за дело своих учителей.

Что касается достоинств этой научной аргументации, то мы должны тщательно различать два ее аспекта, один из которых упорно игнорировался критиками. На уровне обычной теории стационарного экономического процесса легко показать, что теория прибавочной ценности несостоятельна, если исходить из собственных Марксовых предпосылок. Трудовую теорию ценности, даже если допустить, что она имеет силу для любого другого товара, ни в коей мере нельзя при-

[6] Норма прибавочной ценности (степень эксплуатации) определяется как отношение между прибавочной ценностью и переменным капиталом (затрачиваемым на заработную плату).

менить к товару по имени труд, поскольку это бы означало, что рабочие, подобно машинам, производятся в соответствии с рациональным расчетом издержек. Поскольку это не так, нет никаких оснований полагать, что ценность рабочей силы будет пропорциональна количеству человеко-часов, затраченных на ее «производство». Логически Маркс должен был бы улучшить свою позицию, приняв «железный закон заработной платы» Лассаля или просто рассуждая в духе Мальтуса, как это делал Рикардо. Но поскольку он весьма мудро отказался поступить таким образом, его теория эксплуатации с самого начала теряет одну из своих существенных опор[7].

Более того, можно показать, что равновесие, характеризующееся совершенной конкуренцией, не может существовать в условиях, когда наниматели-капиталисты получают прибыли от эксплуатации. Потому что в этом случае каждый из них будет стремиться расширить производство и всеобщим результатом этого будет неизбежная тенденция к увеличению зарплаты и к сокращению их доходов до нуля. Без сомнения, ситуацию можно было бы как-то поправить, обратившись к теории несовершенной конкуренции, вводя «трения» и институциональные ограничения, препятствующие свободной конкуренции, подчеркивая всевозможные помехи в сфере денег, кредита и т. д. Однако таким способом можно было бы объяснить лишь частный случай, что для Маркса было абсолютно неприемлемо.

Но есть и другой аспект проблемы. Стоит только взглянуть на ту цель, которую поставил перед собой Маркс, чтобы понять, что ему вовсе не следовало принимать бой там, где его легко могли разбить. Все так просто только до той поры, пока мы видим в теории прибавочной ценности лишь концепцию, связанную со стационарными экономическими процессами в условиях совершенного равновесия. Поскольку же желаемым объектом его анализа было не состояние равновесия, которого, как он считал, капиталистическое общество никогда не в состоянии достигнуть, а, наоборот, процесс непрерывного изменения экономической структуры, то вышеприведенные критические аргументы не являются в полной мере решающими. Прибавочная ценность не может существовать в условиях совершенного равновесия, но она может возникать, если установление такого равновесия не допускается. Она всегда *имеет тенденцию* к исчезновению и в то же время всегда наличествует, поскольку вновь и вновь возникает. Подобного рода защитный аргумент не спасает трудовую теорию ценности, в особенности в применении к самому труду как товару, не спасает он и теорию эксплуатации в ее обычной формулировке. Но он позволяет дать более приемлемую интерпретацию самого результата, хотя удовлетворительная теория этих излишков вовсе избавляет их от специфи-

[7] Ниже мы увидим, чем Маркс пытается заменить эту опору.

чески марксистского толкования. Этот аспект особенно важен. Он по-новому освещает другие элементы аппарата экономического анализа Маркса и помогает объяснить, почему этот аппарат не был столь сильно разрушен той успешной критикой, которая была направлена против самых основ его теории.

4. Если же мы будем продолжать наше обсуждение на том уровне, на котором обычно ведутся дискуссии вокруг Марксовой доктрины, то трудности будут все более возрастать; и нам станут понятнее проблемы верных сторонников Маркса, старающихся следовать по пути своего учителя. Начнем с того, что доктрина прибавочной ценности не облегчает решение упомянутых выше проблем, порожденных расхождением между трудовой теорией ценности и обычными фактами экономической реальности. Напротив, она затрудняет его, поскольку согласно этой теории постоянный капитал, т. е. капитал, не воплощенный в заработной плате, переносит в продукт не больше ценности, чем теряет ее в процессе производства; больше переносит только тот капитал, который воплощен в заработной плате, и, следовательно, полученная прибыль должна колебаться в той мере, в какой это касается фирм, в соответствии с органическим строением капитала. Маркс полагает, что перераспределение общей «массы» прибавочной ценности таким образом, чтобы каждая фирма получила прибыль, пропорциональную ее общему капиталу, или чтобы индивидуальные нормы прибыли были равны, осуществляется с помощью конкуренции между капиталистами. Мы легко увидим, что эта трудность принадлежит к классу надуманных проблем, которые всегда возникают при попытках создать недостаточно обоснованную теорию[8], а ее предлагаемое решение — к числу решений, продиктованных отчаянием. Маркс, однако, не только полагал, что его решение способно объяснить установление единой нормы прибыли и тот факт, что относительные цены товаров отклоняются от их ценностей, выраженных в трудовых затратах[9]. Он считал, что его теория дает объяснение и другому «за-

[8] В ней существует, однако, один элемент, который не является неверным и понимание которого, каким бы туманным оно ни было, следует отнести к заслугам Маркса. Вопреки мнению почти всех сегодняшних экономистов, тезис, согласно которому произведенные средства производства приносят доход в условиях совершенно стационарной экономики, не является бесспорным. То, что на практике это, как правило, действительно происходит, может объясняться тем фактом, что экономика никогда не бывает стационарной. Марксова теория чистого дохода на капитал могла бы быть истолкована как косвенный способ признания этого.

[9] Решение этой проблемы он дал в рукописях, из которых его друг Энгельс собрал посмертный третий том «Капитала». Следовательно, перед нами нет того, что Маркс, по всей вероятности, в конечном счете хотел сказать. Благодаря этому большинство критиков не испытывали колебаний, обвиняя его в том, что третий том явно противоречит доктрине, изложенной в первом томе. На самом деле этот приговор несправедлив. Если мы поставим себя на место Маркса, в чем и состоит наш долг при анализе подобного вопроса, то нет ничего абсурдного в том, чтобы рассматривать прибавочную ценность как «массу», ▶

кону», который занимал важное место в классической доктрине, а именно положению о том, что норма прибыли имеет закономерную тенденцию к понижению. Это логично следует из увеличения относительного значения постоянной части совокупного капитала (т. е. зданий и оборудования) в отраслях, производящих те товары, на которые расходуется зарплата: если оно действительно возрастает, как это и происходит в ходе капиталистической эволюции, а норма прибавочной ценности или степень эксплуатации остается прежней, тогда норма дохода на совокупный капитал будет в целом понижаться. Этот аргумент вызвал неимоверное восхищение и, возможно, сам Маркс относился к нему с тем чувством удовлетворения, которое мы испытываем, когда оказывается, что наша теория объясняет явление, которое не учитывалось при ее создании.

Было бы интересно обсудить это особо, независимо от тех ошибок, которые Маркс делает при выведении этого закона. Но нам не стоит задерживаться на этом, поскольку, чтобы опровергнуть этот аргумент, достаточно взглянуть на его предпосылки. Однако сходное, хотя и не идентичное, утверждение характеризует одну из важнейших «движущих сил» в Марксовой теории общественной динамики и одновременно связывает теорию эксплуатации и другую часть Марксовой аналитической системы, обычно именуемую «теорией накопления».

Основную часть неправедных доходов, выжатых из эксплуатируемого труда (по мнению некоторых последователей — все доходы), капиталисты превращают в капитал — в средства производства. Если отбросить ассоциации, которые навязываются Марксовой терминологией, речь, конечно, идет всего лишь об очень знакомом явлении, описываемом обычно в терминах сбережений и инвестиций. Для Маркса же этого простого факта было недостаточно: если капиталистический процесс призван был разворачиваться с неумолимой последовательностью, то этот факт должен был стать частью этой последовательности, а это практически означало, что он должен был стать необходимостью. И совсем недостаточно было допустить, чтобы эта

Продолжение сноски со стр. 404.

производимую общественным процессом производства в его единстве, а все остальное — как процесс распределения этой массы. И если это не является абсурдным, то вполне можно утверждать, что относительные цены товаров, — как они выводятся в третьем томе, — вытекают из трудовой теории, изложенной в первом томе. Следовательно, неверно утверждать, как это делают некоторые авторы от Лексиса до Коула, что Марксова теория ценности полностью оторвана от его теории цен и ничего в нее не вносит. Однако Маркс, будучи оправдан в этом пункте, мало что выигрывает от этого. Остаются еще достаточно серьезные обвинения. Наилучшим вкладом в анализ всей проблемы соотношения ценностей и цен в Марксовой системе, — причем автор ссылается и на более успешные, хотя и не столь захватывающие примеры решения этой контроверзы, — является труд Л. фон Борткевича «Определение ценностей и цен в Марксовой системе» (L. von Bortkiewicz. Wertrechnung und Preisrechnung in Marxschen System. «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 1907).

необходимость вырастала из социальной психологии капиталистического класса, например, как у Макса Вебера, который сделал пуританскую жизненную позицию — а воздержание от растраты прибылей на жизненные удовольствия, по всей видимости, отлично вписывается в нее — причиной капиталистического поведения. Маркс никогда не отвергал той поддержки, которую он мог извлечь из такого рода аргументов[10]. Однако для его системы нужно было нечто более существенное, что принуждало бы капиталистов накоплять независимо от того, что они по этому поводу чувствуют, и что было бы достаточно могущественным, чтобы определять самую их психологию. И он находит эту причину.

Рассматривая далее природу этого принуждения к накоплению, я в целях удобства соглашусь с одним пунктом Марксова учения: как и он, я буду исходить из того, что сбережение, осуществляемое классом капиталистов, ipso facto (фактически — *лат.*) означает соответствующее увеличение реального капитала[11]. Подобное всегда происходит в первую очередь с переменной частью совокупного капитала, воплощаемого в заработной плате, даже если целью при этом является прирост постоянной части, в особенности той части, воплощенной главным образом в оборудовании, которую Рикардо называл основным капиталом. Обсуждая Марксову теорию эксплуатации, я указывал, что в условиях совершенной конкуренции доходы от эксплуатации будут побуждать капиталистов расширять или хотя бы пытаться расширять производство, поскольку, с точки зрения каждого из них, это будет означать увеличение прибыли.

Чтобы осуществить это, им надо накоплять. При этом массовым результатом такого расширения станет тенденция к снижению прибавочной ценности вследствие растущей заработной платы, а также, возможно, в результате одновременного падения цен на продукцию, что является прекрасным примером внутренне присущих капитализму противоречий, столь любезных сердцу Маркса. Эта тенденция сама по себе, в том числе и для индивидуального капиталиста, образует дру-

---

[10] К примеру, он превосходит самого себя в разглагольствованиях на эту тему, заходя, на мой взгляд, гораздо дальше, чем это позволительно автору экономической интерпретации истории. Для класса капиталистов накопление может быть «Моисеем и всеми пророками» (!), а может и не быть, в свою очередь подобные пассажи способны поражать нас своей нелепостью, а могут и не поражать, но что касается Маркса, то аргументы такого типа и выраженные в таком стиле свидетельствуют об определенной их слабости, которую следовало бы скрывать [См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 608].

[11] Для Маркса сбережение или накопление идентично превращению «прибавочной ценности в капитал». Это положение я не собираюсь оспаривать, хотя индивидуальное стремление к сбережению совсем не обязательно автоматически увеличивает реальный капитал. Марксова позиция представляется мне настолько более близкой к истине, чем противоположная точка зрения, отстаиваемая многими моими современниками, что я не думаю, что здесь стоит подвергать ее сомнению.

гую причину, которая принуждает его накоплять[12], хотя в конечном счете положение всего класса капиталистов в целом еще более ухудшается. Возникает своего рода принуждение к накоплению даже в условиях стационарного — в иных отношениях — процесса, который, как я говорил выше, не может достичь устойчивого равновесия до тех пор, пока прибавочная ценность не сократится до нуля, вследствие чего разрушится сам капитализм[13].

Однако гораздо более важным и значительно более убедительным является совсем другое. На самом деле капиталистическая экономика, разумеется, не является и не может быть стационарной, и растет она вовсе не устойчивыми темпами. Она непрерывно революционизируется *изнутри* благодаря новому предпринимательству, т. е. благодаря внедрению в существующую на каждый данный момент времени промышленную структуру новых товаров, новых методов производства или новых коммерческих возможностей. Любые существующие структуры, как и все условия функционирования бизнеса, находятся в непрерывном процессе изменения. Любая сложившаяся ситуация подрывается, прежде чем проходит время, достаточное, чтобы она исчерпала себя. Экономический прогресс в капиталистическом обществе означает беспорядок. И, как мы увидим в следующем разделе, в этом беспорядке конкуренция действует абсолютно иным образом, нежели в условиях стационарного процесса, даже если последний характеризуется совершенной конкуренцией. Возможности получения доходов благодаря производству новых предметов или тех же предметов, но более дешевым способом непрерывно материализуются и требуют новых инвестиций. Эти новые продукты и новые методы конкурируют со старыми продуктами и методами не на равных условиях; первые имеют решающие преимущества, означающие возможную смерть для вторых. Так осуществляется «прогресс» в капиталистическом обществе. Чтобы

---

[12] Вообще, конечно, из малого дохода сберегаться будет меньше, чем из большого. Но из любой данной величины дохода будет сберегаться больше тогда, когда не ожидается, что его уровень удержится надолго, или предполагается его снижение, нежели в том случае, если известно, что этот доход будет по крайней мере устойчиво держаться на данном уровне.

[13] До некоторой степени Маркс признает это. Однако он полагает, что если зарплата растет и тем самым нарушает процесс накопления, темпы последнего будут снижаться, «потому что этим притупляется стимулирующее действие прибыли». Следовательно, «механизм капиталистического процесса производства сам устраняет те преходящие препятствия, которые он создает» [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 633]. Итак, эта тенденция механизма капиталистического производства к достижению равновесия отнюдь не бесспорна, и любое суждение о ней требует по меньшей мере тщательных уточнений. Но вот что интересно — мы посчитали бы подобное утверждение самым что ни на есть немарксистским, если бы наткнулись на него в работе какого-либо другого экономиста. В той мере, в какой оно выдерживает критику, оно чрезвычайно ослабляет главное направление Марксовой аргументации. В этом пункте, как и во многих других, Маркс обнаруживает, в какой поразительной степени сохранил он на себе оковы современной ему буржуазной экономической теории, от которых, по его представлениям, он избавился.

не оказаться с непроданной продукцией, *каждая* фирма в конце концов вынуждена следовать этому образцу, в свою очередь инвестировать, и чтобы быть в состоянии делать это — вкладывать в производство часть своих прибылей, т. е. накоплять[14]. В итоге накопляют все.

Итак, Маркс видел этот процесс индустриальных изменений более ясно, чем любой другой экономист его времени. Еще более полно осознавал он его основополагающее значение. Но это не означает, что он правильно понимал его природу и верно анализировал его механизм. У него этот механизм проявлялся только лишь в механике движения масс капитала. У него не было адекватной теории предпринимательства, а неспособность отличить предпринимателя от капиталиста вместе с ошибочной теоретической методологией является источником многих ошибок и non sequitur*. Но само по себе видение процесса было достаточным для достижения ряда целей.

Non sequitur перестает быть убийственным недостатком, если то, что не вытекает из Марксовой аргументации, может быть обосновано с помощью других предпосылок. Даже явные ошибки и недоразумения часто устраняются благодаря истинности общего направления аргументации, по ходу которой они возникают, в частности, их можно свести на нет на следующих этапах анализа, которые, с точки зрения критика, не способного понять эту парадоксальную ситуацию, видимо, заранее осуждены без права на апелляцию.

Ранее мы уже приводили подобный пример. Взятая сама по себе, Марксова теория прибавочной ценности не выдерживает критики. Но поскольку капиталистический процесс вызывает повторяющиеся волны временных избыточных доходов сверх издержек, — доходов, которые с точки зрения других теорий, придерживающихся совсем немарксовой методологии, являются абсолютно правомерными, — то оказывается, что следующий шаг в анализе Маркса, посвященный накоплению, не обесценивается полностью его предыдущими ошибками. Равным образом не дает сам Маркс удовлетворительного объяснения неизбежности накопления, которая столь существенна для его аргументации. Однако большого вреда из недостатков его объяснения не проистекает, поскольку мы можем сами, как это было показано выше, предложить более удовлетворительный вариант, в котором среди прочего процесс снижения нормы прибыли попадает на подобающее ему место. Совокупной норме прибыли на весь промышленный капи-

[14] Это, конечно, не единственный способ финансирования технологических улучшений. Но только он рассматривается Марксом. Поскольку на самом деле он очень важен, мы можем следовать здесь за Марксом, хотя другие методы, в особенности займы в банках, т. е. создание депозитов, вызывают самостоятельные последствия, введение которых в исследование будет действительно необходимым, для того чтобы нарисовать верную картину капиталистического процесса.

* Вывод, не соответствующий посылкам, нелогичное заключение (*лат.*)

тал в долгосрочном плане нет необходимости падать ни от того, что постоянный капитал растет по отношению к переменному, как считал Маркс[15], ни по какой другой причине. Достаточно того, как мы видели выше, что прибыли каждого индивидуального предприятия непрерывно угрожает реальная или потенциальная конкуренция со стороны новых товаров или методов производства, которые рано или поздно превратят ее в убыток. Так мы получаем требуемую движущую силу и даже нечто сходное с тем утверждением Маркса, согласно которому постоянный капитал не создает прибавочной ценности, поскольку никакое конкретное скопление капитальных товаров никогда не является источником дополнительных доходов. При этом нам не надо опираться на сомнительную часть его аргументации.

Другой пример дает следующее звено в цепи Марксовой аргументации, его «теория концентрации», т. е. его рассмотрение тенденции капиталистического процесса производства одновременно к увеличению размеров промышленных предприятий и формированию центров контроля. Все, что он в состоянии предложить в качестве объяснения[16], — если очистить его от всевозможных фигуральных выражений, — сводится к малоинтересным утверждениям о том, что «конкурентная борьба ведется посредством удешевления товаров», которое «зависит ceteris paribus [при прочих равных условиях] от производительности труда»; что последняя определяется масштабами производства и что «мелкие капиталы побиваются более крупными»[17]. Почти то же самое сообщают по этому вопросу нынешние учебники, и это само по себе не является ни глубоким по содержанию, ни заслуживающим восхищения. Этого недостаточно особенно потому, что Маркс делает в своем исследовании исключительный акцент на размере индивидуальных «капиталов». Что же касается описания последствий, Маркс оказыва-

---

[15] Согласно Марксу, прибыли, конечно же, могут снижаться и по другой причине, а именно вследствие падения нормы прибавочной ценности. Это может происходить либо вследствие увеличения ставок заработной платы, либо сокращения, например, благодаря законодательству о продолжительности рабочего дня. Можно доказать, даже исходя из Марксовой теории, что это будет побуждать «капиталистов» заменять труд трудосберегающими капитальными благами и, следовательно, также временно увеличивать инвестиции независимо от воздействия со стороны новых товаров и технического прогресса. Однако в эти проблемы мы не можем вникать. Отметим лишь такой любопытный момент. В 1837 г. Нассау У. Сениор опубликовал памфлет под названием «Письма о фабричном законодательстве», в котором он попытался доказать, что предлагаемое сокращение продолжительности рабочего дня приведет к уничтожению прибыли в текстильной промышленности. В «Капитале» (Т. I. Гл. VII. § 3) Маркс превосходит самого себя в яростных обвинениях, направленных против подобной трактовки последствий этого законодательства. Аргументация Сениора на самом деле весьма нелепа. Но Марксу не следовало бы так ожесточенно с ней сражаться, поскольку она совершенно в духе его собственной теории эксплуатации.

[16] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 398—406.

[17] Этот вывод, часто определяемый как теория экспроприации, является у Маркса единственной чисто экономической основой той борьбы, посредством которой капиталисты уничтожают друг друга.

ется скованным своей собственной техникой анализа, которая не позволяет эффективно анализировать ни монополию, ни олигополию.

И все же восхищение этой теорией, проявляемое со стороны столь большого числа экономистов, не принадлежащих к его последователям, вполне оправданно. По одной только причине: предсказать пришествие крупного бизнеса, учитывая времена, в которые писал Маркс, было само по себе научным достижением. Но он сделал больше этого. Он искусно связал концентрацию с процессом накопления; точнее, концентрацию он рассматривал как часть накопления и не только как часть процесса, идущего в реальной действительности, но и как его логику. Многие последствия — пусть в односторонней или искаженной интерпретации — он уловил верно — например то, что «растущий размер индивидуальных капиталов становится материальной основой непрерывной революции в самом способе производства» и т. п.

Он наэлектризовал атмосферу, окружающую этот феномен, наполнив ее классовой борьбой и политикой. Одного этого было бы достаточно, в особенности для людей без всякого собственного воображения, чтобы возвысить его концепцию над сухими экономическими теоремами, имеющими отношение к той же теме. И самое главное, он был способен идти напролом, не обращая внимание на несоответствующие его теории мотивы поведения отдельных участников этого представления, что с точки зрения профессионалов свидетельствует об отсутствии строгости в его аргументации, поскольку в конце концов индустриальные гиганты фактически были уже на подходе, а вместе с ними и та общественная ситуация, которую им предстояло создать.

5. Две другие темы завершают этот очерк: Марксова теория обнищания (Verelendung, или по-английски — immiserization) и его (и Энгельса) теория экономического цикла. Что касается первой, то здесь и анализ, и само видение безнадежно неадекватны; лучше обстоит дело со второй.

Маркс был убежден, что в ходе капиталистической эволюции реальная зарплата и уровень жизни трудящихся масс будут снижаться для лучше оплачиваемых слоев и не смогут улучшаться для тех, кто находится в худших условиях, причем это будет происходить не благодаря случайным или внешним обстоятельствам, но в силу самой логики капиталистического развития[18]. Это был исключительно не-

[18] Передовая линия обороны, обычно занимаемая марксистами, как и большинством апологетов, против возможной критики, вызываемой подобными прямолинейными утверждениями, состоит в том, что Маркс не видел другой стороны медали, он очень часто «признавал» случаи повышения зарплаты и т. д. — это и никто не мог бы отрицать — и таким образом полностью предвидел все, что могли высказать его критики. Разумеется, столь многословный автор, снабжавший свою аргументацию такой богатой начинкой из исторических фактов, обеспечивает гораздо больше простора для подобной обороны, чем это сделал бы любой из отцов церкви. Но что толку от «признания» упрямых фактов, если им не позволено влиять на выводы?

удачный прогноз, и марксисты всех сортов вынуждены были делать все возможное, чтобы примирить его с явно противоположными фактами реальной действительности. На первых порах, а в некоторых случаях даже и в наши дни они проявляли редкое упрямство, пытаясь спасти этот «закон», представив его как якобы фактическую тенденцию, подтвержденную статистикой заработной платы. Затем делались попытки вложить в него другое содержание, а именно отнести его не к уровню реальной заработной платы или к той абсолютной величине, которая идет рабочему классу, а к относительной доле трудовых доходов в совокупном национальном доходе. Хотя некоторые места у Маркса фактически допускают подобную интерпретацию, это явно нарушает главный смысл его теории. Кроме того, эта интерпретация мало что дает, поскольку основной вывод Маркса предполагает, что *абсолютная* величина трудового дохода на одного работающего должна падать или, во всяком случае, не увеличиваться: если бы он действительно думал об относительной доле, то это только бы увеличило трудности марксистской теории. В конце концов и само это предположение неверно, поскольку относительная доля зарплаты рабочих и служащих в совокупном доходе мало меняется от года к году и заметно устойчива на протяжении длительного периода времени — она явно не обнаруживает какой-либо тенденции к понижению.

Возможен, однако, другой способ выхода из этого затруднения. Эта тенденция может не проявить себя в статистических рядах — последние могут даже показывать противоположную тенденцию, что они и делают в данном случае, — и все же она может быть внутренне присуща исследуемой системе, поскольку ее могут подавлять какие-то исключительные обстоятельства. Фактически это та линия доказательств, которой придерживаются большинство современных марксистов. Исключительные обстоятельства находят в колониальной экспансии или вообще в открытии новых стран в течение XIX столетия, что, как считают, повлекло за собой «передышку» для жертв эксплуатации[19]. В следующей части у нас будет возможность коснуться этого вопроса. Пока же просто отметим, что данные факты на первый взгляд в известной мере подкрепляют эту, не лишенную логики аргументацию, способную разрешить вышеупомянутое затруднение, если бы тенденцию к обнищанию можно было обнаружить в иных обстоятельствах.

Однако подлинная беда состоит в том, что теоретический аппарат, который использует здесь Маркс, вообще не заслуживает доверия: наряду с видением порочна и сама аналитическая основа. Теория обнищания базируется на теории «промышленной резервной армии», т. е.

[19] Эта идея была высказана самим Марксом, хотя и была развита неомарксистами.

безработицы, порождаемой механизацией процесса производства[20]. А теория резервной армии в свою очередь основывается на доктрине, развитой Рикардо в главе о машинном производстве. Ни в каком другом месте — за исключением, конечно, теории ценности — Марксова аргументация не зависит в такой мере от аргументации Рикардо, не внося в нее чего-либо существенного[21]. Конечно, я говорю только о чистой теории. Маркс, как всегда, дополнил ее множеством менее значительных подробностей: например, вполне уместным выводом о том, что такое явление, как замена квалифицированных рабочих неквалифицированными, может быть включено в концепцию безработицы; он добавил также несметное количество иллюстраций и пояснений; и что самое главное — он снабдил ее производящей огромное впечатление декорацией, богатым фоном социального процесса.

На первых порах Рикардо был склонен разделять очень распространенную в его время точку зрения, что введение машин в производственный процесс скорее всего принесет пользу трудящимся массам. Когда он начал сомневаться в этом или, во всяком случае, во всеобщей значимости подобного результата, он с присущей ему честностью пересмотрел свою позицию. Не менее характерно и то, что, возвращаясь вновь к этому вопросу и используя свой обычный метод «мысленных экспериментов», он привел численный пример, хорошо известный всем экономистам, чтобы показать, что результат может оказаться и совершенно иным. С одной стороны, он не собирался отрицать того, что речь идет всего лишь о возможности, хотя и довольно вероятной. С другой стороны, он не отрицал, что в конце концов механизация принесет чистую выгоду трудящимся через свое конечное воздействие на совокупный продукт, цены и т. п.

Пример, приведенный Рикардо, корректен, но это только пример[22]. Несколько более рафинированные, современные методы анализа подтверждают его результат в той мере, в какой они признают возможность, лежащую в его основе, но в равной мере они могут давать и противоположный результат. Они выходят за рамки этого примера,

---

[20] Этот вид безработицы, конечно, следует отличать от других. В частности, Маркс отмечает и такой вид, который обязан своим существованием циклическим колебаниям деловой активности. Поскольку оба вида не существуют независимо друг от друга и поскольку в своей аргументации он часто ссылается скорее на второй, чем на первый, то возникают трудности для соответствующей интерпретации, что не все критики полностью осознают.

[21] Для любого теоретика это должно быть очевидным при изучении не только sedes material (места изложения вопроса — *лат.*) — см. Капитал, т. I. гл. XIII, §3, 4, 5 и особенно 6, где Маркс рассматривает теорию компенсации относительно рабочих, вытесняемых машинами, но и гл. XXII и XXIII, в которых, хотя и в другой связи, повторяются и разбираются те же вопросы.

[22] Либо его можно сделать корректным без ущерба для его смысла. Есть несколько сомнительных пунктов в системе доказательства, обусловленных, по всей видимости, несовершенной техникой анализа, которая продолжает нравиться столь многим экономистам.

определяя формальные условия, при которых будут наступать те или иные последствия. Это, конечно, все, что может сделать чистая теория. Нужны дополнительные данные, чтобы предсказать реальный эффект. Но для наших целей пример, предложенный Рикардо, обнаруживает другую интересную черту. Он рассматривает фирму, владеющую данным количеством капитала и нанимающую данное число работников, которая решает сделать шаг в сторону механизации своего производства. Соответственно она направляет группу работников на установку машин, применение которых затем позволит фирме расстаться с частью этой группы. Прибыли могут временно остаться теми же (после того, как конкуренция устранит все временные доходы), но валовый доход сократится ровно на ту величину, которая ранее выплачивалась работникам, которые теперь оказались высвобожденными. Марксова идея замещения переменного капитала (зарплаты) постоянным является почти точной копией этого хода рассуждения. Акцент, который делает Рикардо на существовании *избыточного* населения, равным образом является точной параллелью того, что Маркс говорит об относительном перенаселении, — термин, который он использует как синоним термина «промышленная резервная армия». Поистине учение Рикардо проглочено здесь вместе с крючком, леской и грузилом.

Но то, что может сойти за образец, — пока мы находимся в рамках тех целей, которые ставил перед собой Рикардо, — становится в высшей степени неверным, а фактически источником другого non sequitur, не оправдываемого на этот раз правильным видением конечных результатов, как только мы переходим к рассмотрению надстройки, которую Маркс воздвиг на этом хлипком фундаменте. Кое-какие чувства подобного рода, видимо, испытывал и сам Маркс. Потому что с энергией, в которой было что-то от отчаяния, он ухватился за пессимистический вывод, полученный Рикардо на основе данного примера, как будто последний характеризовал единственную возможность. С еще большим отчаянием он набрасывался на тех авторов, которые развивали рикардовские идеи о компенсации, которую эпоха машин могла принести рабочим, даже если непосредственный эффект от введения машин был для них неблагоприятным (теория компенсации — самая неприятная вещь для всех марксистов).

У него были все основания избрать этот курс. Ведь он страшно нуждался в прочном обосновании своей теории резервной армии, которая должна была служить двум фундаментально важным целям наряду с прочими менее существенными. Во-первых, как мы видели, он лишил свою теорию эксплуатации того, что я назвал основательной ее подпоркой, отказавшись по совершенно понятным причинам от ис-

пользования мальтузианской теории народонаселения. Эта подпорка была заменена промышленной резервной армией, всегда имеющейся в наличии вследствие постоянного ее возобновления[23].

Во-вторых, именно то узкое понимание процесса механизации, которое он избрал, было необходимо для того, чтобы оправдать звучные фразы гл. XXIV первого тома «Капитала», в определенном смысле венчающие не только этот том, но и всю работу Маркса. Я процитирую их полностью — более полно, чем это заслуживает рассматриваемая проблема, — чтобы дать моим читателям хотя бы мимолетное представление о той позиции Маркса, которая вызывала такой же энтузиазм одних, как и неприятие других. Что бы это ни было — набор слов, не соответствующих действительности, или сама суть пророческой истины, вот эти фразы: «Рука об руку с этой централизацией, или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается... вплетение всех народов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем и возмущения рабочего класса, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют»*.

6. Достижения Маркса в области теории экономического цикла оценить чрезвычайно трудно. По-настоящему ценная часть ее состоит из десятков наблюдений и замечаний, большинство из них — случайного характера, они разбросаны почти во всех его работах, включая и многие из писем. Попытки реконструкции из подобных membra disjecta** чего-то целого, нигде не являвшегося во плоти и, возможно, существовавшего лишь в зародышевой форме в голове у Маркса, может в разных руках легко дать разные результаты. К тому же эти ре-

[23] Конечно, необходимо подчеркнуть именно эту непрерывность ее образования. Было бы совершенно несправедливо по отношению к тому, что Маркс писал или имел в виду, как это делают некоторые критики, считать, будто он предполагал, что введение машин лишает людей работы, и они, каждый в отдельности, остаются безработными навсегда. Он не отрицал обратного поглощения. И критики Маркса, базирующиеся на утверждении, что любая возникшая безработица всякий раз будет вновь поглощаться производством, бьют абсолютно мимо цели.

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 772—773.

** Отдельных элементов (*лат.*).

зультаты могут быть искажены вполне понятным стремлением почитателя Маркса фактически подогнать их посредством соответствующей интерпретации под результаты более поздних исследований, с которыми согласен сам почитатель. И друзья, и противники Маркса даже не представляют, насколько трудна задача, стоящая перед комментатором, вызванная калейдоскопическим характером анализа этой проблемы. Учитывая, что Маркс очень часто упоминал о ней и что она вполне очевидно имела прямое отношение к его фундаментальной теме, они принимали за данное, что должна существовать простая и ясно выраженная марксистская теория цикла, которая вытекала бы из самой логики капиталистического процесса, так же как, например, теория эксплуатации вытекает из трудовой теории ценности. Соответственно они отправлялись искать такую теорию, и легко догадаться, что с ними случалось.

С одной стороны, Маркс, без сомнения, превозносит — хотя и не приводит достаточно адекватной мотивировки — колоссальные способности капитализма развивать производственные возможности общества. С другой стороны, он без конца подчеркивает растущую нищету трудящихся масс. Следует ли сделать отсюда естественный вывод, что кризисы или депрессии вызваны тем фактом, что эксплуатируемые массы не в состоянии купить то, что выдает или готов выдать непрерывно расширяющийся производственный аппарат, и что по этой, а также прочим причинам, которые не стоит здесь повторять, норма прибыли падает, порождая банкротства? Таким образом мы причаливаем к берегам — в зависимости от того, какие элементы нам желательно подчеркнуть, — либо теории недопотребления, либо теории перепроизводства — обе самого сомнительного свойства.

Фактически Марксово объяснение кризисов относят к разряду теорий недопотребления[24]. Есть два обстоятельства, способные подтвердить это. Во-первых, в теории прибавочной ценности и в других местах близость учения Маркса к учению Сисмонди и Родбертуса очевидна. Эти авторы придерживались концепции недопотребления. И нет ничего неестественного в том, чтобы сделать из этого вывод, что Маркс мог думать так же, как они. Во-вторых, некоторые места в работах Маркса, особенно краткое заявление относительно кризисов в «Коммунистическом манифесте», несомненно, дают основание для

[24] Хотя подобная интерпретация стала привычной, я упомяну только двух авторов; одному из них мы обязаны модификацией этой версии, в то время как другому — устойчивым ее существованием. Первый — это Туган-Барановский, который в своей работе «Theoretische Grundlagen des Marxismus» (1905) именно на этой основе осудил Марксову теорию кризисов; второй — это М. Добб, который в работе «Political Economy and Capitalism» (1937) высказал более благожелательное отношение к ней.

подобной интерпретации, хотя к рассуждениям Энгельса это относится в гораздо большей степени[25].

Но тем не менее Маркс, проявив незаурядную тонкость, явно отверг эту теорию[26].

Реальность состоит в том, что у него не было простой теории экономического цикла. И ни одна из них не могла логически вытекать из его «законов» капиталистического процесса производства. Даже если мы признаем его объяснение причин возникновения прибавочной стоимости и согласимся допустить, что накопление капитала, механизация (относительное увеличение постоянного капитала) и избыточное население, неумолимо усугубляющее массовую нищету, увязываются в единую логическую цепь, которая завершается катастрофой капиталистической системы, — даже тогда у нас не будет фактора, который неизбежно бы порождал циклические колебания производства и был бы имманентной причиной смены периодов процветания и депрессий[27].

Несомненно, под рукой всегда имеется масса случаев и событий, позволяющих восполнить недостающее фундаментальное объяснение. Существуют неправильные расчеты, неоправданные ожидания и прочие ошибки, волны оптимизма и пессимизма, спекулятивные эксцессы и реакции на эти эксцессы, существует также неисчерпаемый поток «внешних факторов». Все равно, из самой логики Марксова механического процесса накопления, осуществляющегося равномерным темпом, — а в принципе нет ничего, что мешало бы ему быть таковым, — следует, что он в основе своей лишен и процветаний, и депрессий.

Конечно, это не обязательно означает недостаток теории.

---

[25] Довольно банальная концепция Энгельса по этому вопросу лучше всего сформулирована в его полемической книге, названной «Анти-Дюринг», соответствующие абзацы которой стали самыми цитируемыми во всей социалистической литературе. Он дает здесь самое точное описание морфологии кризиса, несомненно, достаточно хорошее для использования в популярной лекции, а также свое объяснение причины кризиса — как раз такое, какое и следовало ожидать, — а именно, что «расширение рынка не может идти в ногу с расширением производства». Кроме того, он одобрительно относится и к мнению Фурье, выраженному термином, который говорит сам за себя — crises pléthoriques [кризис от изобилия — *фр.*]. Нельзя, однако, отрицать, что Маркс написал часть главы X и разделяет ответственность за книгу в целом.

Замечу, что те несколько пассажей данного очерка, которые касаются Энгельса, носят осуждающий характер. Это вызывает сожаление. Они не связаны с намерением умалить заслуги этого выдающегося человека. Однако я думаю, что следовало бы честно признать, что интеллектуально и в особенности как теоретик он стоял значительно ниже Маркса. Нельзя даже быть уверенным в том, что он всегда понимал смысл его учения. Поэтому к его интерпретации следует подходить осторожно.

[26] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 464. См. также «Теории прибавочной стоимости», т. II, гл. III

[27] Для неспециалиста противоположное, по-видимому, настолько очевидно, что не так-то легко обосновать подобное утверждение, даже если бы у нас имелись для этого все возможности. Лучший способ для читателя убедиться в том, что это так, — это изучить аргументацию Рикардо по поводу машинного производства. Описываемый им процесс может породить любое количество безработных и тем не менее продолжаться неопределенно долго, не вызывая никаких срывов, за исключением конечного краха самой системы. С таким выводом Маркс бы согласился.

Многие теоретики считали и считают, что кризисы возникают просто всякий раз, когда что-то существенно важное выходит из строя. Это не является недостатком и в теории Маркса, поскольку освобождает его из плена собственной системы и позволяет свободно анализировать реальные факты, не совершая над ними насилия. Соответственно он рассматривает широкое разнообразие факторов, более или менее относящихся к данному вопросу.

К примеру, он весьма поверхностно пытается опровергнуть концепцию Сэя о невозможности общего перепроизводства, ссылаясь только лишь на участие денег в товарных сделках, используя тезис о доступности кредита для объяснения диспропорционального развития отраслей, характеризующихся крупными долгосрочными капиталовложениями. Он использует особые стимулы, такие, как открытие новых рынков или возникновение новых социальных потребностей, чтобы объяснить внезапные ускорения «накопления». Он пытается, не слишком успешно, превратить и рост населения в фактор, порождающий колебания производства[28]. Он отмечает, хотя и не дает этому объяснений, что «внезапное и конвульсивное расширение масштаба производства является предпосылкой его внезапного сокращения».

Справедливо пишет он и о том, что «поверхностность политической экономии обнаруживается между прочим в том, что расширение и сокращение кредита, простые симптомы сменяющихся периодов промышленного цикла, она признает их причинами»[29].

Разумеется, он активно использовал материал главы, посвященной описанию конкретных фактов и событий.

Все это соответствует здравому смыслу и по существу верно. Мы находим здесь практически все элементы, которые когда-либо включались в любой серьезный анализ экономического цикла, и в целом здесь очень мало ошибок. Кроме того, нельзя забывать, что одно лишь признание существования циклического движения было огромным достижением своего времени. Многие экономисты до Маркса имели слабое представление об этом. В основном, однако, они фокусировали свое внимание на эффектных спадах производства, получивших название «кризисы». Но они были не способны увидеть эти кризисы в их истинном свете, т. е. в контексте циклического процесса, элементами которого они являются. Они изучали кризисы, не глядя на то, что предше-

---

[28] И в этом он не одинок. Однако, что касается Маркса, то следовало ожидать, что со временем он обнаружит слабость этого подхода. В этой связи надо отметить, что подобные замечания на эту тему появляются в незавершенном третьем томе; поэтому трудно судить, какова была бы его окончательная точка зрения.

[29] [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 647.] Сразу после этого абзаца он делает шаг в направлении, очень знакомом исследователям современных теорий цикла: «Следствия в свою очередь становятся причинами, и сменяющиеся фазы всего процесса, который постоянно воспроизводит свои собственные условия, принимают форму периодичности» [с. 648].

ствует им или следует за ними; они видели в них отдельные неприятности, возникающие вследствие ошибок, эксцессов, неправильного руководства или плохого функционирования кредитной системы. Маркс, как я думаю, был первым экономистом, который возвысился над этой традицией и предвосхитил, — не считая статистиков, — работу Клеман Жюгляра. Хотя, как мы уже видели, он не дал адекватного объяснения экономического цикла, сам феномен был для него ясен и он многое понимал в его механизме. Так же как и Жюгляр, он без колебаний говорил о десятилетнем цикле, «прерываемом слабыми колебаниями»[30]. Маркса занимал вопрос, что может быть причиной такой продолжительности, и он полагал, что она, вероятно, имеет какое-то отношение к продолжительности жизни оборудования в текстильной промышленности. Есть и множество других признаков его предпочтительного интереса к проблеме экономического цикла в отличие от проблемы кризисов. Этого достаточно, чтобы присвоить ему высокий ранг среди отцов-основателей современной теории этого вопроса.

Следует отметить и другой аспект. В большинстве случаев Маркс использовал термин «кризис» в обычном смысле, говоря о кризисе 1825 г. или кризисе 1847 г., как и все прочие исследователи. Но он употреблял его и в другом значении. Полагая, что эволюция капитализма в один прекрасный день разрушит его институциональную структуру, Маркс считал, что прежде чем произойдет фактический крах, функционирование капитализма будет наталкиваться на растущие трудности, обнаруживая симптомы смертельной болезни. Вот к этой стадии, рассматриваемой, конечно, как более или менее продолжительный исторический период, он и применял тот же термин. Маркс стремился увязать повторяющиеся кризисы с этим единственным кризисом капиталистической системы. Он даже высказывает мысль, что циклические кризисы можно в каком-то смысле рассматривать в качестве предвестников окончательного краха. Поскольку для многих читателей это может выглядеть как ключ к Марксовой теории кризисов в обычном смысле этого слова, то необходимо указать, что факторы, ответственные, по мнению Маркса, за конечный крах системы, не могут без достаточной порции дополнительных гипотез объяснить повторяющиеся периоды депрессии[31], и этот ключ не выво-

[30] Энгельс пошел еще дальше. Некоторые из его заметок к третьему тому «Капитала» Маркса показывают, что он предполагал также существование длинных волн. И хотя он был склонен объяснять относительную слабость периодов процветания и относительную интенсивность депрессий в 70-х и 80-х годах скорее структурными изменениями, чем воздействием депрессивной фазы волны более длительной протяженности (именно так многие современные экономисты объясняют послевоенное развитие, в особенности его последнее [т. е. 50-е годы. — *Прим. ред.*] десятилетие), тем не менее в этом можно видеть определенное предвосхищение работы Кондратьева о «длинных циклах».

[31] Чтобы убедиться в этом, читателю достаточно взглянуть еще раз на цитату, приведенную выше. Хотя Маркс частенько и забавлялся этой идеей, на самом деле он старается не связываться с ней; это важно отметить, поскольку не в его манере было упустить возможность для обобщений.

дит нас за пределы тривиального утверждения, согласно которому «экспроприация экспроприаторов» — дело более простое в условиях депрессии, чем в период подъема.

7. Наконец, идея, согласно которой эволюция капитализма ведет к развалу институтов капиталистического общества или к перерастанию этими институтами рамок капиталистического общества (Zusammenbruchstheorie, или теория неизбежного краха), дает последний пример сочетания non sequitur с глубоким пониманием проблемы, благодаря которому можно спасти сам результат. Основанная в соответствии с Марксовой «диалектической дедукцией» на росте нищеты и угнетения трудящихся масс, побуждающих их к восстанию против системы, эта идея обесценивается вследствие non sequitur, заложенного в доказательстве неизбежного роста нищеты. Кроме того, марксисты, ортодоксальные в других вопросах, давно уже стали сомневаться в правильности того положения, что концентрация промышленного контроля в любом случае несовместима с «капиталистической оболочкой». Первым, кто высказал свои сомнения и достаточно умело их аргументировал, был Рудольф Гильфердинг[32], один из лидеров значительной группы неомарксистов, которые фактически склонялись к противоположному выводу, а именно, что благодаря концентрации капитализм способен приобрести дополнительную стабильность[33]. Откладывая до следующей части то, что я мог бы сказать по этому вопросу, отмечу лишь, что Гильфердинг, по-моему, сильно преувеличивает, хотя, как мы увидим, нет оснований полагать, — в настоящее время и в данной стране, — что крупный бизнес «становится оковами для способа производства». А сделанный Марксом вывод фактически не вытекает из его собственных предпосылок.

Однако, даже если приводимые Марксом факты и рассуждения содержали бы гораздо больше ошибок, чем на самом деле, тем не менее его вывод оказывается верен в той мере, в какой он является простой констатацией того, что капиталистическая эволюция разрушает основы капиталистического общества. Я думаю, что так оно и есть. И я не

---

[32] См. его работу «Финансовый капитал» (1931). Сомнения, основанные на некоторых вторичных обстоятельствах, из которых следовало, что Маркс слишком полагался на тенденции, которые, как ему казалось, он открыл, и что общественное развитие было гораздо более сложным и менее последовательным процессом, возникали, конечно, и прежде. Достаточно упомянуть Э. Бернштейна (см. гл. XXVI). Однако Гильфердинг в своем исследовании не прибегает к смягчающим обстоятельствам, а сражается с этим выводом в принципе и на почве самой Марксовой теории.

[33] Это утверждение Гильфердинга зачастую смешивается (даже его собственным автором) с другим — что экономические колебания со временем становятся все слабее. Это может быть так, а может и нет (кризис 1929—1932 г. ничего не доказывает), однако большая стабильность капиталистической *системы*, т. е. несколько менее темпераментное поведение временных рядов, характеризующих динамику цен и объемов производства не обязательно предполагает бóльшую стабильность, т. е. бóльшую способность капиталистического *порядка* противостоять атакам извне. Система и порядок, конечно, связаны друг с другом, но это не одно и то же.

считаю преувеличением назвать это видение, высказанное без малейших сомнений в 1847 г., глубоким. Сегодня это общепризнано. Но первый, кто сказал об этом, был Густав Шмоллер. Его превосходительство, профессор фон Шмоллер, прусский тайный советник и член верхней палаты Пруссии не был революционером и не занимался агитацией. Но он спокойно утверждал то же самое. Почему и как — эти вопросы он также оставил без ответа.

Вряд ли необходимо подробно суммировать сказанное. Каким бы несовершенным ни был наш очерк, он достаточен, чтобы установить: во-первых, никто, кого интересует чисто экономический анализ, не может говорить о безоговорочном успехе Марксовой теории; во-вторых, никто, кого интересует эта смелая конструкция, не может констатировать безусловную неудачу. В суде, который рассмотрел технику его теоретического анализа, приговор был бы неблагоприятным. Приверженность аналитическому аппарату, который всегда был неадекватным и уже во времена Маркса стремительно устаревал; длинный список выводов, которые не следуют из предпосылок или просто неверны; ошибки, которые если их исправить, существенно меняют или превращают в противоположные построенные на их основе выводы, — все это может быть справедливо поставлено в вину Марксу как аналитику. Но даже в этом суде потребуется смягчение приговора по двум следующим причинам.

Во-первых, хотя Маркс так часто и иногда столь безнадежно ошибался, его критики не всегда были правы. Поскольку среди них были отличные экономисты, этот факт следует записать в его пользу, особенно потому, что с большинством из них он не мог встретиться лично.

Во-вторых, следует отметить вклад Маркса, как критический, так и позитивный, в разработку огромного числа индивидуальных проблем. В очерке, подобном этому, невозможно перечислить все эти проблемы, не говоря уже о том, чтобы отдать этому должное. Но мы касались некоторых из них, когда обсуждали его подход к анализу экономического цикла. Я упоминал также о некоторых из тех проблем, которые улучшили нашу теорию физической структуры капитала. Схемы, которые он сконструировал в связи с этим вопросом, хотя и не безукоризненные, также доказали свою полезность, будучи использованными в работах последнего времени, которые местами очень напоминают Марксову теорию.

Но апелляционный суд, даже если он ограничится теоретическими проблемами, может склониться к тому, чтобы полностью отменить обвинительный приговор. Потому что всем мелким прегрешениям Маркса противостоит одно поистине великое достижение. Через все, что есть ошибочного и даже ненаучного в его анализе, проходит одна фундаментальная идея, в которой нет ничего ошибочного или ненаучного, идея теории, построенной не на некотором числе отдельных индивиду-

альных форм или на логике развития количественных экономических показателей в целом, но на действительной последовательности этих форм, на развитии экономического процесса как такового, движимого собственной энергией, в условиях исторического времени, порождающего в каждый данный момент такое состояние, которое само определяет то, что будет следовать за ним. Вот почему автор столь многих неверных концепций оказался в то же время первым, кто представил себе то, что до сих пор все еще остается экономической теорией будущего, для которой мы медленно и упорно копим строительный материал, статистические факты и функциональные уравнения.

Маркс не просто задумался над этой идеей, он попытался ее воплотить. Учитывая великую цель, которой пыталась служить его аргументация, все искажающие его труд недостатки должны оцениваться иначе даже там, где они — а в ряде случаев так оно и есть — не полностью этой целью оправдываются. Существует, однако, один вопрос, имеющий фундаментальное значение с точки зрения методологии экономической теории, которую он действительно создал. Экономисты обычно либо сами делали работу в области экономической истории, либо использовали исторические труды других. Но факты экономической истории отправлялись ими в особое подразделение. Они включались в теорию, если вообще включались, только в роли иллюстраций или, возможно, для проверки результатов. Они смешивались с ней только механически. Смесь же, созданная Марксом, является химической; другими словами, он ввел их непосредственно в аргументацию, с помощью которой обосновываются его выводы. Он был первым экономистом высокого ранга, увидевшим и последовательно учившим других тому, как экономическую теорию можно превратить в исторический анализ и как историческое повествование можно обратить в histoire raisonnée (систематизированную историю — *фр.*)[34]. Аналогичную проблему в отношении статистики он не пытался решать. Но в каком-то смысле она подразумевалась при решении проблемы с историей. Это является и ответом на вопрос, в какой мере — в том аспекте, в каком это разъяснялось в конце предыдущей главы, — экономической теории Маркса удалось вписаться в его социологическую систему. Этой цели добиться не удалось, но сама эта неудача выдвинула одновременно и цель, и метод ее достижения.

[34] Если верные его последователи станут на этом основании доказывать, что он обосновал цели исследования исторической школы в экономической теории, то это притязание нелегко отвергнуть, хотя работы школы Шмоллера велись совершенно независимо от влияния Маркса. Но если они будут настаивать на том, что Маркс, и только Маркс, знал, какую теорию подвести под исторический процесс, в то время как сторонники исторической школы знали только, как описывать факты без понимания их значения, то они только навредят своему делу. Потому что эти люди на самом деле знали, как надо анализировать. И если их обобщения были менее широкими, а изложение — менее избирательным, это говорит только в их пользу.

Глава IV

МАРКС – УЧИТЕЛЬ

Итак, главные составляющие теоретической структуры Маркса перед нами. Что же можно сказать относительно их впечатляющего синтеза как целого? Вопрос не праздный. Если это вообще возможно, то именно в данном случае целое превышает сумму частей. Более того, синтез способен в такой мере испортить зерна или, наоборот, утилизировать плевелы, которые присутствуют почти всюду, что целое может оказаться более верным или, напротив, более ошибочным, чем любая его отдельно взятая часть. Наконец, существует учение, которое вытекает только из целого. Однако о последнем мы ничего больше не скажем. Пусть каждый решает сам, что оно значит для него.

Наше время восстает против безжалостной неизбежности специализации, а потому вопиет о синтезе, причем нигде так громко, как в общественных науках, в которых так велик удельный вес непрофессионального элемента[1]. Однако система Маркса является хорошей иллюстрацией того, что, хотя синтез способен нести новый свет, он может означать и новые оковы.

Мы уже видели, как в Марксовой теории социология и экономическая теория пронизывают друг друга. По замыслу Маркса, а в некоторой степени и в реальной действительности они едины. Следовательно, все основные концепции и положения являются здесь одновременно экономическими и социологическими и имеют одинаковое значение на обоих уровнях, если, с нашей точки зрения, мы все же можем говорить о двух уровнях аргументации. Так, экономическая *категория* «труд» и социологическая — *класс* «пролетариат» в принципе соответствуют друг другу, а фактически идентичны. Другой пример. Функциональное распределение доходов в экономической теории, т. е. объяснение того, как образуются доходы в качестве вознаграждения за производственные услуги независимо от того, к какому социальному классу получатель подобного дохода может принадлежать, выступает в Марксовой системе только в форме распределения между общественными классами и таким образом приобретает иное, допол-

[1] Этого непрофессионального элемента особенно много в работах тех поклонников Маркса, которые, не являясь типичными *экономистами*-марксистами, до сих пор принимают всерьез все, что написал учитель. Это очень важно. В каждой стране на одного грамотного экономиста приходятся по меньшей мере три непрофессионала, и даже этот экономист как правило, является марксистом в том специфическом смысле, о котором мы говорили во введении к этой части: он молится перед этим алтарем, но поворачивается к нему спиной, как только приступает к исследованию.

нительное значение. Еще пример. Капитал в системе Маркса становится капиталом только в руках особого капиталистического класса. Те же предметы, но в руках рабочих капиталом не являются.

Не может быть никакого сомнения в том, что тем самым в анализ вливается живительная сила. Воображаемые концепции экономической теории начинают дышать. Бескровная теорема погружается в agmen, pilverem at clamorem*: не теряя своей логической природы, она перестает быть только положением, характеризующим логические свойства системы абстракций; она превращается в мазок художника, рисующего дикий беспорядок общественной жизни. В подобном анализе не только заключено более глубокое содержание, нежели в обычном экономическом анализе, но он охватывает и более широкую сферу — он включает в рассмотрение любой вид классового действия, независимо от того, соответствует ли это классовое действие обычным правилам бизнеса или нет. Войны, революции, законодательство всех видов, изменения в структуре правительств, короче все явления, которые немарксистская экономическая теория рассматривает просто как внешние возмущения, находят свое место наряду, скажем, с инвестициями в оборудование или с трудовыми договорами, — все охвачено единой объясняющей схемой.

В то же время подобная процедура имеет и свои недостатки. Концептуальная структура, на которую надето такого рода ярмо, может легко терять в эффективности по мере усиления ее «жизненности». Спаренная категория рабочий-пролетарий может служить наглядным, хотя и банальным примером. В немарксистской экономической теории все доходы от услуг отдельных лиц по своей природе становятся заработной платой, являются ли эти лица первоклассными юристами, кинозвездами, служащими компаний или дворниками. Поскольку все эти доходы с точки зрения связанных с ними экономических процессов имеют много сходного, то подобное обобщение не является ни бесполезным, ни искусственно сконструированным. Напротив, оно может нести определенную информацию даже с точки зрения социологии. Но уравнивая трудящегося и пролетария, мы искажаем эту информацию; фактически выбрасываем ее из нашей картины. Равным образом полезная экономическая теорема благодаря ее социологической метаморфозе может вместо обогащения содержания внести ошибку, и наоборот. Таким образом синтез экономической теории и социологии в принципе и марксистский ее вариант в частности может легко привести к ухудшению как экономической теории, так и социологии.

---

* Движение толп, пыль и грохот (*лат.*).

Синтез как таковой, т. е. координация методов и результатов различных направлений анализа, является трудным делом, за которое не каждый способен взяться. В итоге за него обычно вовсе никто не берется; от студентов же, которых учат видеть только отдельные деревья, мы слышим гневные требования показать им лес в целом. Однако они не могут представить себе, что проблема частично состоит в embarras de richesse* и что синтезированный лес может стать для исследователя концентрационным лагерем.

Синтезу по-марксистски, т. е. координации экономического и социологического анализа в интересах сведения и того и другого к единой цели, конечно же, особенно присущи подобного рода черты. Цель — histoire raisonnée, т. е. объяснение истории капиталистического общества, — носит достаточно широкий характер, но не такова аналитическая основа. Действительно, перед нами грандиозное сочетание политических фактов и экономических теорем; но они соединены насильственно, в итоге ни одна из сторон не в состоянии дышать. Марксисты претендуют на то, что их система решает все великие проблемы, с которыми не могла справиться немарксистская экономическая теория. Да, она их решает, но только путем выхолащивания содержания. Однако здесь требуется некоторое разъяснение.

Несколько выше я говорил, что Марксов синтез охватывает все те исторические события, такие, как войны, революции, изменения в законодательстве, и все те институциональные моменты, такие, как собственность, контрактные отношения, формы государственного правления, которые экономисты, не являющиеся сторонниками марксизма, предполагают рассматривать как дестабилизирующие факторы либо как исходные данные. Это значит, что они предполагают не объяснять их, а только анализировать их modi operandi** и последствия. Это необходимо для того, чтобы ограничить предмет и границы анализа, о какой бы исследовательской программе ни шла речь. Если же эти предпосылки не всегда явно обозначены, то лишь потому, что считается, что они всем известны. Особенность Марксовой системы состоит в том, что она подчиняет сами эти исторические события и социальные институты процессу объяснения, основанному на экономическом анализе, или, если использовать специальную терминологию, она рассматривает их не в качестве исходных данных, а в качестве переменных величин.

Поэтому наполеоновские войны, Крымская война, Гражданская война в Америке, мировая война 1914 г., Французская фронда, Великая французская революция, революции 1830 и 1848 гг., свобода тор-

* Шок от изобилия (*фр.*).

** Способы функционирования (*лат.*).

говли в Англии, рабочее движение в целом и в отдельных его проявлениях, колониальная экспансия, институциональные изменения, национальная и партийная политика во все времена и во всех странах — все это включено в сферу Марксовой экономической теории, претендующей на открытие теоретического объяснения всех этих явлений на основе классовой борьбы, стремления к эксплуатации и протеста против эксплуатации, накопления капитала и качественных изменений в его структуре, изменений нормы прибавочной ценности и нормы прибыли. Экономист не должен более удовлетворяться чисто техническими ответами на технические вопросы; вместо этого он учит человечество познавать скрытый смысл его борений. «Политика» не рассматривается более как независимый фактор, от которого можно и должно абстрагироваться в анализе фундаментальных величин. Ее вторжение в традиционную экономическую теорию либо играет роль мальчика, который злонамеренно портит машину, стоит лишь инженеру повернуться к ней спиной; либо, наоборот, роль deus ex machina*, т. е. неожиданного спасителя благодаря таинственной мудрости, присущей сомнительной разновидности млекопитающих, называемых государственными деятелями. У Маркса сама политика определяется структурой и состоянием экономического процесса, становится проводником экономических эффектов и так же полностью включается в сферу экономической теории, как обычная покупка или продажа.

Вновь повторим: нет ничего легче, чем понять очарование подобного синтеза. Особенно это понятно в отношении молодежи, а также тех интеллектуальных обитателей нашего читающего газеты мира, которым боги, видимо, даровали вечную молодость. Страстно желая выразить собственное «я», мечтая от чего-нибудь спасти мир, испытывая отвращение к неописуемой скуке учебников, разочарованные эмоционально и интеллектуально, неспособные создать собственный синтез, они отыскивают страстно желаемое у Маркса. Вот он — ключ ко всем самым сокровенным тайнам; вот та волшебная палочка, которая управляет и великими и малыми событиями. Именно они владеют объяснением, которое — на мгновение я позволю себе удариться в гегельянство — одновременно является и самым общим, и самым конкретным. Им не нужно больше выискивать его среди многообразия жизненных явлений — они насквозь видят всех этих претенциозных марионеток от политики и бизнеса, которые ничего не понимают в окружающем. И кто может их обвинять, зная, какие существуют альтернативы?

Да, конечно, это так. Но кроме этого: какова все же в конечном счете польза от Марксова синтеза? — спрашиваю я. Обычный эконо-

* Бог из машины; *перен.* неожиданное спасение (благодаря божественному вмешательству) — (*лат.*).

мист, описывающий переход Англии к свободе торговли или первые достижения английского фабричного законодательства, не забывает и, видимо, никогда и не забывал упомянуть о тех структурных особенностях английской экономики, которые породили подобную политику. Если он не делает этого в учебном курсе или в книге, посвященной чистой теории, то только потому, что он ставит своей целью более тонкий и более эффективный анализ. Марксисту же остается добавить лишь одно — отстаивать сам принцип, и в особенности ту узкую, искаженную теорию того, как этот принцип следует внедрять. Эта теория, несомненно, дает результаты, к тому же достаточно простые и определенные. Но начните систематически применять ее к отдельным случаям, и вам быстро наскучит этот бесконечный трезвон по поводу классовой борьбы между собственниками и теми, у кого собственности нет. Вы начнете испытывать болезненное чувство неадекватности этой теории, если не присягали на верность лежащей в ее основе схеме; или еще хуже — ее тривиальности в том случае, если вы исповедуете марксистскую веру.

Марксисты обычно с торжеством указывают на успех Марксова диагноза экономических и социальных тенденций, которые, как полагают, внутренне присущи капиталистической эволюции. Как мы уже видели, в этом есть доля правды: более ясно, чем любой другой автор своего времени, Маркс разглядел тенденцию к росту крупного производства и не только это, но и некоторые особенности последующей ситуации. Мы видели также, что в этом случае общее видение помогло анализу, исправив некоторые недостатки последнего и сделав синтез более верным, чем сами составляющие его элементы анализа. Но на этом все и кончается. Этому достижению следует противопоставить ошибочный прогноз относительно растущей нищеты, являющийся объединенным результатом неправильного видения и неверного анализа — результатом, на котором базируется огромное множество марксистских спекуляций относительно будущего развития общественной жизни. Тот, кто в своем стремлении понять современную ситуацию и ее проблемы делает ставку на Марксов синтез в целом, к несчастью, оказывается неправ[2]. Фактически это понимают теперь мно-

[2] На это некоторые марксисты ответили бы, что экономисты-немарксисты вообще ничего не внесли в понимание нашего времени, так что последователи Маркса в этом отношении находятся все же в лучшем положении. Избегая обсуждения вопроса о том, что лучше — ничего не говорить или изрекать ошибочные вещи, следует иметь в виду, что это утверждение неверно, потому что и экономисты, и социологи немарксистского направления на самом деле внесли немалый научный вклад, правда, в разработку отдельных проблем. Меньше всего это притязание марксистов должно базироваться на сравнении учения Маркса с теориями австрийской, вальрасовской или маршаллианской школ. Приверженцы этих школ целиком или по преимуществу интересовались чисто экономической теорией. Их теории, следовательно, несопоставимы с Марксовым синтезом. Их можно сравнивать только с теоретическим аппаратом Маркса, и в этой области сравнение полностью в их пользу.

гие марксисты. В частности, нет никаких оснований испытывать гордость по поводу того, как с помощью Марксова синтеза объясняется опыт последнего десятилетия*. Каждый продолжительный период депрессии или слабого оживления будет служить подтверждением любого пессимистического прогноза в той же мере, в какой он будет подтверждать и марксистский прогноз. В этом случае впечатление, что он подтверждает именно марксистский прогноз, создается болтовней лишившихся мужества буржуа и ликующих интеллектуалов, которые благодаря своим страхам и надеждам, естественно, перекрасились в марксистов. Однако ни один реальный факт не подтверждает ни одного специфически марксистского диагноза. В еще меньшей степени подтверждается общая оценка ситуации, согласно которой все, чему мы являемся свидетелями, представляет собой не просто депрессию, но свидетельствует о структурных изменениях в капиталистическом развитии, предсказанных Марксом. Потому что, как будет отмечено в следующей части, все наблюдаемые явления, такие, как сверхнормальная безработица, отсутствие инвестиционных возможностей, снижение стоимости денег, банкротства и т. п., всегда происходят в рамках периодов глубокой депрессии, подобных тем, которые наблюдались в 70-е и 80-е годы и которые Энгельс комментировал со сдержанностью, заслуживающей подражания со стороны его сегодняшних пламенных последователей.

Достоинства и недостатки Марксова синтеза как способа решения всех проблем мы покажем на двух исключительно важных примерах.

Рассмотрим вначале марксистскую теорию империализма. Все ее корни можно обнаружить в главной работе Маркса, но развита она была неомарксистской школой, которая процветала в первые два десятилетия нашего времени и которая, не отрицая своей общности со старыми защитниками веры, такими, как Карл Каутский, много сделала для ревизии всей системы. Их центром была Вена, их лидерами — Отто Бауэр, Рудольф Гильфердинг, Макс Адлер. Работа последних в области теории империализма была продолжена с небольшими второстепенными изменениями многими другими авторами; самыми известными среди них были Роза Люксембург и Фриц Штернберг. Их аргументация такова.

Поскольку капиталистическое общество не может существовать, а его экономическая система не может функционировать без прибыли, и в то же время, поскольку прибыли непрерывно исчезают благодаря самому функционированию этой системы, центральной задачей класса капиталистов становятся неустанные усилия по поддержанию жиз-

* Речь идет о длительной депрессии после Великого кризиса 1929—1933 гг. — *Прим. ред.*

неспособности этого общества. Накопление, сопровождаемое количественными изменениями в структуре капитала, является, как мы видели, тем лекарством, которое, хотя и облегчает на какой-то момент положение отдельного капиталиста, в конечном счете ухудшает ситуацию в целом. В итоге под давлением падающей нормы прибыли (а падает она, как мы помним, по двум причинам: вследствие роста постоянного капитала по отношению к переменному и снижения нормы прибавочной ценности, поскольку зарплата имеет тенденцию повышаться, а рабочий день сокращаться) капитал ищет применения в странах, где все еще имеется рабочая сила, которую можно безжалостно эксплуатировать, и где процесс механизации еще не зашел достаточно далеко. Так мы получаем экспорт капитала в слаборазвитые страны, который по сути представляет собой экспорт капитального оборудования либо потребительских товаров, предназначенных для покупки рабочей силы или для приобретения вещей, посредством которых можно купить рабочую силу[3]. Но в то же время это есть и экспорт капитала в обычном смысле слова, поскольку экспортируемые товары не оплачиваются — по крайней мере немедленно — товарами, услугами или деньгами импортирующей страны. Экспорт капитала превращается в колонизацию, если в целях защиты инвестиций как от враждебной реакции местного окружения или, если угодно, от сопротивления эксплуатации, так и от конкуренции со стороны других капиталистических стран слаборазвитая страна становится объектом политического подчинения. Как правило, оно происходит с помощью военной силы, поставляемой либо самими капиталистами-колонизаторами, либо правительствами их стран, которые таким образом соответствуют определению, данному в «Коммунистическом манифесте», где сказано, что «исполнительные власти современного государства... представляют собой комитет по управлению общими делами буржуазии». Конечно, эта сила используется не только в оборонительных целях. Происходят завоевания, возникают противоречия между капиталистическими странами, ведутся разрушительные войны между соперничающими группами буржуазии.

---

[3] Я имею в виду предметы роскоши, предназначенные на продажу вождям племен в обмен на рабов или в обмен на товары, покупаемые на заработную плату, — товары, необходимые для найма местной рабочей силы. Ради краткости я не принимаю в расчет тот факт, что экспорт капитала, — в том смысле, в каком мы его здесь понимаем, — вообще возникает как часть торговых отношений двух стран, которые включают и обмен товарами, не связанный с тем особым процессом, о котором здесь идет речь. Эти отношения, конечно, чрезвычайно стимулируют экспорт капитала, но не затрагивают его сути. Я игнорирую также другие виды экспорта капитала. Рассматриваемая теория не является, да и не предназначена для того, чтобы быть общей теорией международной торговли и финансов.

Следующий элемент завершает эту теорию империализма в ее теперешнем виде. Поскольку колониальная эксплуатация вызывает падение нормы прибыли в капиталистических странах, она должна иметь место на более поздних стадиях капиталистической эволюции — фактически марксисты говорят об империализме как о стадии капитализма, желательно последней. Следовательно, она должна сочетаться с высокой степенью концентрации капиталистического контроля над промышленностью и с упадком того типа конкуренции, который был присущ периоду господства средних и мелких фирм. Сам Маркс не слишком подчеркивал итоговую тенденцию к монополистическому ограничению производства и вытекающую отсюда тенденцию к защите своих охотничьих угодий от вторжения браконьеров из других капиталистических стран. Может быть, он был слишком знающим экономистом, чтобы злоупотреблять этой линией аргументации. Однако неомарксисты с радостью использовали ее. Так мы получили не только еще одно объяснение империалистической политики и империалистических неурядиц, но и, как побочный продукт, теорию того явления, которое само по себе не обязательно является империалистическим, — теорию современного протекционизма.

Отметим еще одну особенность этого процесса, которая используется марксистом для объяснения дальнейших трудностей капитализма. Когда слаборазвитые страны становятся развитыми, экспорт вышеупомянутого капитала снижается. Тогда может наступить период, в течение которого материнская страна и колония будут обменивать, скажем, промышленные товары на сырье. Но в конце концов и экспорт промышленных товаров также должен снизиться по мере того, как конкуренция товаров из колонии начнет заявлять о себе в материнской стране. Попытки затормозить наступление такой ситуации создают новый источник противоречий, на этот раз между каждой из старых капиталистических стран и ее колониями вплоть до войн за независимость и т. д. Но в любом случае двери колоний в конце концов закроются для капитала, который уже больше не сможет спасаться от исчезающих прибылей у себя дома, убегая на более богатые заграничные пастбища. Отсутствие сфер приложения капитала, избыток мощностей, полный паралич, в конечном счете регулярное повторение национальных банкротств и прочих бедствий, — возможно, и мировых войн как результат полного отчаяния буржуазии, — все это можно уверенно предвидеть. Такая вот простая история.

Эта теория является честным и, возможно, лучшим примером того, каким образом марксистский синтез стремится решить теоретические проблемы и заработать на этом авторитет. Вся аргументация, как видим, превосходно вытекает из двух фундаментальных предпосылок, прочно вмонтированных в основу системы: из теории классов и тео-

рии накопления капитала. Кажется, что целый ряд существенных явлений нашего времени отлично объясняется ею. Представляется, что все хитросплетения международной политики можно распутать одним мощным ударом этого анализа. С его помощью мы видим, как и почему поведение класса, всегда остающееся по существу одним и тем же, приобретает форму политического или экономического действия в зависимости от обстоятельств, которые определяют лишь его тактические методы и фразеологию. Если средства и возможности, находящиеся в распоряжении группы капиталистов таковы, что более выгодно отдать их взаймы, будут вестись переговоры о займе. Если средства и возможности таковы, что прибыльнее вести войну, будет объявлена война. Последняя альтернатива имеет не меньше прав стать частью экономической теории, чем первая. Даже протекционизм отныне прекрасно произрастает из самой логики эволюции капитализма.

Кроме того, эта теория использует все преимущества, которые присущи ей, как и большинству других марксистских концепций, в той области, которую обычно называют прикладной экономической теорией. Она тесно связана с исторической и современной действительностью. Вероятно, нет такого читателя, внимательно изучавшего мое резюме, который не был бы поражен тем обилием подтверждающих эту теорию фактов, которые буквально наваливаются на него в ходе нашего анализа. Разве не слышал он об угнетении европейцами местных рабочих во многих частях света; о том, как страдали индейцы Южной и Центральной Америки, к примеру, от испанцев; об охоте на рабов и работорговле, о несчастных кули? Разве экспорт капитала до сих пор не происходит из капиталистических стран? Разве не сопровождается он почти неизменно войнами и завоеваниями, которые направлены на подчинение местного населения этих стран и на борьбу с другими европейскими державами? Разве колонизация, как правило, не сопровождалась сомнительными военными акциями, даже когда она осуществлялась исключительно экономическими методами, такими компаниями, как Ост-Индская компания или Компания Британской Южной Африки? Мог бы сам Маркс пожелать лучшую иллюстрацию, чем действия Сесиля Родса или англо-бурская война? Разве не очевидно, что колониальные амбиции были по меньшей мере существенным фактором европейских бед во всяком случае начиная с 1700 года? Что же касается современности, то кто не слышал о «сырьевой стратегии», с одной стороны, и о воздействии на Европу роста национального капитализма в тропических странах? И т. д. Если же говорить о протекционизме, то здесь все ясно, как день.

Однако давайте будем осторожны. Верификация с помощью на первый взгляд подтверждающих, но детально не проанализированных фактов может быть крайне обманчивой. Более того, как знает каж-

дый адвокат и каждый политик, энергичного обращения к известным фактам еще недостаточно, чтобы суд или парламент приняли ту концепцию, которую им стремятся навязать. Марксисты довели этот прием до совершенства. В данном случае этот опыт был особенно удачным, поскольку рассматриваемые факты соединяют в себе два достоинства — поверхностно они известны каждому при том, что их глубинный смысл понятен далеко не многим. На деле же, хотя мы и не можем здесь вдаваться в детальное обсуждение, даже короткого размышления на эту тему достаточно, чтобы заподозрить, что здесь «что-то не то».

В следующей части мы еще выскажемся по поводу отношения между буржуазией и империализмом. Теперь же мы рассмотрим вопрос, является ли марксистская концепция империализма, — даже если соответствующая интерпретация экспорта капитала, колонизации и протекционизма верна, — такой общей теорией, которая бы объясняла все те явления, которые мы имеем в виду, используя этот расплывчатый и не всегда верно употребляемый термин. Конечно, мы можем всегда определить империализм таким образом, как это подразумевается марксистской концепцией; мы можем также всякий раз убеждать себя, что все эти явления *должны* объясняться в марксистском духе. Но тогда проблема империализма — допуская, что теория сама по себе верна, — может быть «решена» только тавтологически[4]. Имеет ли марксистский или любой чисто экономический подход к той же проблеме нетавтологическое решение — этот вопрос еще нуждается в рассмотрении. Но здесь нет необходимости его затрагивать, поскольку проблема оказывается исчерпанной прежде, чем мы поставим вопрос таким образом.

---

[4] Опасность навязываемых нам пустых тавтологий лучше всего иллюстрируется отдельными примерами. Так, Франция завоевала Алжир, Тунис и Марокко, а Италия — Абиссинию с помощью военной силы, без того, чтобы хоть какие-нибудь существенные капиталистические интересы побуждали их к этому. На самом деле наличие подобных интересов было лишь прикрытием, которое весьма трудно соорудить, последующее возникновение подобных интересов происходит медленно, весьма негладко и под давлением правительства. Поскольку все это выглядит не очень по-марксистски, то обычно утверждается, что эти акции были предприняты под воздействием потенциальных интересов, либо интересов, которые можно было предвидеть заранее, или, как об этом говорится в одном из последних исследований, капиталистический интерес или объективная необходимость просто «должны» были лежать в основе этих завоеваний. После этого мы можем выискивать подтверждающие факты, которые есть всегда, поскольку капиталистические интересы, подобно многим другим, проявляются в любой ситуации, любому состоянию капиталистической системы всегда присущи такие свойства, которые без больших натяжек могут быть увязаны с политикой национальной экспансии. Очевидно, только заранее сложившееся убеждение и ничто другое может заставить нас взяться за осуществление такой неблагодарной задачи. Мы можем с полным правом избавить себя от этих хлопот — следует только сказать: «Так должно быть» и все. Вот что я имел в виду, говоря о тавтологическом объяснении.

На первый взгляд марксистская теория достаточно хорошо объясняет некоторые случаи. Самые наглядные примеры — это английские и голландские завоевания в тропиках. Однако другие случаи, как, например, колонизация Новой Англии, она совсем не объясняет. И даже первый тип завоеваний не так уж хорошо описывается марксистской теорией империализма. Признать, что жажда наживы играла какую-то роль в качестве движущей силы колониальной экспансии, очевидно, далеко не достаточно[5]. Неомарксисты и не собирались доказывать столь очевидные банальности.

Хотя они и принимали в расчет подобные примеры, из их теории неизбежно следовало, что колониальная экспансия, осуществляемая указанным выше способом, происходит под давлением накопления капитала на норму прибыли и, следовательно, является особенностью умирающего или, во всяком случае, вполне зрелого капитализма. Однако героические времена колониальных авантюр были временами раннего и незрелого капитализма, когда накопление капитала только начиналось и его давления, так же как и препятствий для эксплуатации труда в собственной стране, просто не существовало. Элементы монополии были. Больше того, они носили более явный характер, чем сегодня. Но это только усиливает абсурдность той теории, которая делает монополию и колониальные завоевания специфическими чертами позднего капитализма.

К тому же и другая опора этой теории — классовая борьба находится не в лучшем положении. Нужно иметь шоры на глазах, чтобы концентрировать внимание на тех аспектах колониальной экспансии, которые играли скорее вторичную роль, и конструировать на основе идеи классовой борьбы явление, которое представляет собой самый поразительный пример классового сотрудничества. Это был процесс, направленный в такой же мере на увеличение заработной платы, как и на увеличение прибылей; в долгосрочном плане он оказался более выгодным для пролетариата (частично благодаря эксплуатации труда туземцев), чем для капиталистов. Но я не хочу акцентировать внимание на *результатах* процесса колонизации. Существенно то, что *причины* этого процесса не имели прямого отношения к классовой борьбе, а с классовой структурой они были связаны лишь в той мере, в какой процесс колониальной экспансии возглавляли группы или отдельные лица, которые принадлежила к классу капиталистов или стали его членами благодаря колониальному предпринимательству. Если же

[5] Недостаточно подчеркивать и тот факт, что каждая страна «эксплуатировала» свои колонии. Потому что тогда мы имели бы эксплуатацию одной страны в целом другой страной в целом (всех классов всеми классами) и это не имело бы ничего общего со специфически Марксовым видом эксплуатации.

мы сбросим эти шоры и перестанем рассматривать колонизацию или империализм только как проявление классовой борьбы, то в объяснении этого вопроса остается мало того, что является собственно марксистским. То, что сказал по этому поводу Адам Смит, ничуть не хуже, а, точнее, даже лучше объясняет факты.

Остается рассмотреть побочный продукт теории империализма — неомарксистскую теорию современного протекционизма.

Классическая литература полна негодования по поводу «пагубных интересов» — в основном, но не исключительно — представителей аграрного сектора, протекционистские требования которых означали непростительные преступления против общественного благосостояния. Так что у классиков имелась теория, объясняющая причины протекционизма, а не только его последствия, и если теперь мы добавим к ней протекционистские интересы современного крупного бизнеса, то ничего большего, собственно, не требуется. Современным симпатизирующим марксизму экономистам не следовало бы утверждать, будто даже теперь их буржуазные коллеги не видят связи между тенденцией к протекционизму и тенденцией к образованию мощных центров контроля (хотя их коллеги могут не считать нужным постоянно подчеркивать этот столь очевидный факт). Не то, чтобы классики и их сегодняшние последователи были правы относительно протекционизма: их интерпретация последнего была и остается столь же односторонней, как и марксистская, к тому же они часто неверно оценивали его последствия и связанные с ним интересы. Но по меньшей мере за полвека до появления марксистской теории империализма они уже знали о монопольной компоненте протекционизма все, что удалось выяснить марксистам (что было нетрудно, учитывая банальный характер этого открытия).

К тому же позиция классиков превосходила марксистскую теорию в одном очень важном отношении. Какова бы ни была ценность их экономической теории, — возможно, она и не была высока — в основном они оставались в ее рамках[6]. В данном случае это было преимуществом. Утверждение, согласно которому многие протекционистские тарифы обязаны своим существованием крупным концернам, которые стремятся использовать их в целях поддержания более высоких внутренних цен на свои товары, а возможно, и для того, чтобы продавать их по более дешевым ценам за границей, само по себе является банальным, но верным, хотя ни один тариф никогда не был целиком и

[6] Они не всегда оставались в рамках своей экономической теории. Когда они выходили за эти рамки, результаты были не вдохновляющими. Так, чисто экономические труды Джеймса Милля, хотя и не очень ценные, не могут быть просто отброшены за безнадежно низкий уровень. Подлинный нонсенс — причем нонсенс на уровне банальности — это его статьи о государственном управлении и связанных с ним проблемах.

даже в основном обусловлен только этой частной причиной. Именно марксистский синтез делает это утверждение неадекватным или вовсе неверным. Если наша цель состоит в том, чтобы просто понять все политические, социальные и экономические причины и следствия современного протекционизма, то марксистское объяснение неадекватно. Например, последовательная поддержка американским народом протекционистской политики всегда, когда ему предоставлялась возможность высказаться по этому поводу, была вызвана не любовью к крупному бизнесу или к его господству, а страстным желанием построить и сохранить свой собственный мир, отгородиться от всех неприятностей остального света. Теоретический синтез, упускающий подобные элементы анализа, — это не приобретение, а потеря. Если же мы стремимся свести все причины и следствия современного протекционизма, в каких бы формах он ни выступал, к монополистическим элементам современной промышленности как единственной *pausa causans**, то наша теория становится ошибочной. Крупный бизнес оказался способным использовать народные чувства, он подогревал их; однако абсурдно утверждать, что он их породил. Теоретический синтез, — вынуждены еще раз подчеркнуть это, — который обосновывает подобные утверждения, хуже, чем отсутствие всякого теоретического обобщения.

Положение значительно ухудшается, если вопреки фактам и здравому смыслу мы станем использовать данную теорию экспорта капитала и колонизации для объяснения международной политики, которая таким образом сводится к борьбе монополистических капиталистических групп друг с другом и каждой из них — с собственным пролетариатом. Такое объяснение, возможно, полезно для партийной пропаганды; но оно свидетельствует о том, что детские сказочки не являются монополией буржуазной экономической теории. На самом деле большой бизнес — или *haute finance*** от Фуггеров до Морганов — оказывал очень слабое влияние на внешнюю политику; и в большинстве случаев, когда крупная промышленность или банковские интересы как таковые были в состоянии предъявить собственные притязания, их наивный дилетантизм завершался поражением. Капиталистические группы скорее приспосабливаются к политике своих государств, нежели определяют ее, и сегодня в большей степени, чем прежде. К тому же это отношение определяется поразительно краткосрочными соображениями, равно далекими от каких-либо глубоко обоснованных планов и каких-либо определенных «объективных» классовых интере-

* Первопричина (*лат.*).

** Финансовые воротилы (*фр.*).

сов. В этом пункте марксизм опускается до того, что облекает в теоретические формулировки обывательские предрассудки[7].

Есть и другие примеры подобного рода во всех частях марксистского учения. Например, определение природы государства в «Коммунистическом манифесте», которое мы цитировали совсем недавно, содержит в себе элемент истины. Во многих случаях эта истина объясняет отношение государства к наиболее очевидным проявлениям классового антагонизма. Однако в той мере, в какой она справедлива, теория, выраженная в данном определении, попросту тривиальна. Подлинная проблема заключается в том, Почему и Как существует такое огромное количество случаев, когда эта теория либо не соответствует фактам, либо, даже соответствуя им, не способна правильно описать действительное поведение «этих комитетов по управлению общими делами буржуазии». Повторяю, практически во всех случаях эту теорию можно считать тавтологически верной. Потому что не существует государственной политики, если только она не направлена на уничтожение буржуазии, которая не отвечала бы каким-либо экономическим или неэкономическим, краткосрочным или долгосрочным буржуазным интересам, — по крайней мере в том смысле, что она предотвращает еще худшие ситуации. Это, однако, не прибавляет ценности рассматриваемой теории.

Но давайте вернемся к нашему второму примеру, характеризующему возможности марксистского синтеза в решении теоретических проблем.

Характерная черта «научного социализма», благодаря которой, согласно Марксу, он отличается от «утопического социализма», состоит в доказательстве того, что социализм неизбежен вне зависимости от желания людей. Как уже утверждалось ранее, это означает, что в силу собственной логики капиталистическая эволюция ведет к разрушению капиталистического и созданию социалистического строя[8]. Насколько Марксу удалось доказать существование подобных тенденций? Что касается тенденции к самоуничтожению, то этот вопрос уже рассмот-

---

[7] Этот предрассудок ничем не лучше другого, распространенного среди многих почтенных и простодушных людей, которые объясняют для себя современную историю на основе гипотезы, согласно которой где-то существует комитет чрезвычайно умных и злых евреев, которые, будучи за сценой, контролируют международную политику, а может быть, и всякую политику вообще. Марксисты не стали жертвами этого вида предрассудков, но их предрассудки по своему уровню не выше. Должен сказать, что, когда я сталкиваюсь с той или иной из этих доктрин, мне всегда бывает очень трудно возражать удовлетворительным для меня образом. Это вызвано не только тем обстоятельством, что всегда трудно опровергнуть утверждения, якобы основанные на фактах. Главная трудность проистекает из того, что люди, не имеющие знаний из первых рук о международных отношениях и о тех, кто работает в этой области, лишены к тому же и чувства абсурдного.

[8] См. также Пролог ко второй части.

рен[9]. Доктрина, согласно которой капиталистическая экономика неизбежно рухнет под влиянием чисто экономических причин, не была доказана Марксом — достаточно сослаться на возражения Гильфердинга. С одной стороны, некоторые из предположений Маркса относительно будущего, столь существенные для ортодоксальной аргументации, в особенности такое, как неизбежный рост нищеты и угнетения, оказались несостоятельными; с другой стороны, тезис о крахе капиталистического строя вовсе не обязательно должен следовать из этих предпосылок, даже если бы они были верными. Но Маркс правильно сформулировал другие факторы, которые развиваются в недрах капиталистического процесса, а также, — и я попытаюсь это показать, — конечный результат этого развития. Что касается конечного результата, то цепочку Марксовых аргументов целесообразно заменить иной, и тогда термин «крушение» может оказаться неадекватным, в особенности если понимать его как крах, вызванный отказом капиталистического производственного механизма; однако все это не влияет на суть доктрины, как бы сильно ни затрагивались отдельные ее формулировки и выводы.

Что же касается тенденции к социализму, то прежде всего мы должны осознать, что это совсем другая проблема. Капиталистический или какой-либо другой порядок может потерпеть явный крах, — либо экономическая и социальная эволюция выведет общество за его пределы, — и все же социалистический феникс может не возродиться из этого пепла. Во-первых, может возникнуть полный хаос, во-вторых, если только мы не определим социализм как любую нехаотическую альтернативу капитализму, могут быть и другие возможности. Особый тип социальной организации, которую, по всей видимости, представлял в своем воображении средний ортодоксальный марксист, — во всяком случае до наступления большевизма — это только одна из многочисленных возможностей.

Сам Маркс, весьма мудро избегая детального описания социалистического общества, делал акцент лишь на условиях его возникновения: наличие, с одной стороны, гигантских образований, осуществляющих контроль в промышленности, что, конечно, чрезвычайно усиливало процесс социализации; а с другой — существование угнетенного, порабощенного, эксплуатируемого и к тому же очень многочисленного, *дисциплинированного*, объединенного и организованного пролетариата. Все это говорит о том, что вековая война двух классов должна завершиться окончательным сражением. Кое-что говорится и о том, что за этим последует; выдвигается идея, что пролетариат как таковой «возьмет верх» и с помощью своей диктатуры положит конец «экс-

[9] См. гл. III.

плуатации человека человеком», создаст бесклассовое общество. Если бы нашей целью было доказать, что марксизм принадлежит к числу хилиастических учений*, этого было бы совершенно достаточно.

Поскольку же нас интересует не этот аспект, а научный прогноз, то этого мало. Шмоллер занимал здесь более здравую позицию. Хотя он также отказывался от описания деталей, он явно представлял себе этот процесс как процесс прогрессивной бюрократизации, национализации и т. п., завершающийся государственным социализмом, который, — нравится он нам или нет, — несет в себе определенный смысл. Итак, Марксу не удается обратить возможность социализма в неизбежность, даже если мы полностью примем на веру его теорию краха капитализма, тем более если мы этого не сделаем.

Независимо от того, признаем ли мы Марксово учение или какое-либо иное, социалистический строй никогда не сможет реализоваться автоматически; даже если капиталистическая эволюция обеспечит для него все условия, предусматриваемые марксизмом, все еще будут необходимы определенные действия, чтобы воплотить его в жизнь[10]. Это, конечно, соответствует учению Маркса. Его «революция» есть не что иное, как специфическая форма, в которую его воображение любило облекать эти действия. Можно понять упор на насилие у того, кто в годы своего возмужания пережил все волнения 1848 г. и кто, хотя и мог презирать революционную идеологию, тем не менее никогда не смог выбраться из ее сетей. Кроме того, большая часть его аудитории едва ли желала слушать проповедь, в которой не звучал бы призыв к борьбе. Наконец, хотя он и видел возможность мирного перехода к социализму, по крайней мере для Англии, он не верил в его вероятность. В его время поверить в это было нелегко, а его любимая идея двух классов, стоящих в боевом построении друг против друга, еще более препятствовала этому. Его друг Энгельс фактически предпринял усилия по изучению тактики действия. И хотя революцию оказалось возможным зачислить в разряд не столь существенных форм, необходимость каких-то действий все равно остается.

С этим связано и решение той проблемы, которая разделила последователей Маркса: революция или эволюция? Если я правильно понял смысл учения Маркса, то ответ дать нетрудно. Эволюция была для него причиной социализма. Он был слишком сильно пропитан чувством внутренней логики социального развития, чтобы поверить, что революция может заменить какую-либо часть работы эволюции. Революция тем не менее придет. Но она придет только для того, чтобы под-

---

* Хилиазм — вера в «тысячелетнее царство» Бога и праведников на земле, т. е. в историческое воплощение мистически понятого идеала справедливости.

[10] См. Часть III, гл. V.

писать заключение под целым рядом выполненных условий. Следовательно, революция, по Марксу, по своей природе и функциям от начала до конца отличается как от революции буржуазных радикалов, так и от революции социалистических конспираторов. По существу это революция вследствие того, что «ситуация назрела»[11]. Конечно, те последователи Маркса, которым этот вывод не понравится, особенно в применении к Русской революции[12], могут сослаться на многие места в священной книге, которые, видимо, противоречат ему. Но как раз в этих местах сам Маркс противоречит своей самой глубокой и зрелой идее, которая безошибочно вытекает из аналитической структуры «Капитала» и которая — как любая идея, рожденная чувством внутренней логики развития явлений, — несет в себе под фантастически сверкающей оболочкой из сомнительных драгоценностей исключительно консервативный смысл. В конце концов почему бы и нет? Ни одна серьезная теория никогда не поддерживала какой-либо «изм» без всяких оговорок[13]. Сказать, что Маркс, избавленный от фразеологии, допускает интерпретацию в консервативном духе, означает только, что его можно принимать всерьез.



[11] Этот термин следует выделить ввиду последующих ссылок на него. Мы будем постоянно возвращаться к этой теме и среди прочего обсуждать критерии «назревшей ситуации».

[12] Карл Каутский в своем предисловии к «Теориям прибавочной стоимости» даже революцию 1905 г. готов был назвать социалистической, хотя совершенно очевидно, что все, что было в ней социалистического, — это марксистская фразеология отдельных интеллектуалов.

[13] Эту линию доказательства можно развивать и дальше. В частности, нет ничего специфически социалистического в трудовой теории ценности, с этим согласится каждый, кто знаком с историей развития этой доктрины. То же самое справедливо (за исключением, конечно, фразеологии) в отношении теории эксплуатации. Нам нужно только признать, что существование прибавочного продукта, столь часто поминаемого Марксом, является или по крайней мере являлось неизбежным условием возникновения всего, что мы объединяем термином «цивилизация» (это было бы трудно отрицать). Для того чтобы быть социалистом, совсем не обязательно быть марксистом; но и недостаточно быть марксистом, чтобы стать социалистом. Обоснование социализма или революции можно получить на основе любой научной теории; но любая научная теория вовсе не обязательно предполагает подобные выводы.

Ни одна из них не приведет нас в состояние, которое Бернард Шоу как-то назвал «социологическим ражем», если только ее автор не свернет с пути научного анализа специально для того, чтобы возбудить аудиторию.

Часть вторая

МОЖЕТ ЛИ КАПИТАЛИЗМ ВЫЖИТЬ?

Пролог

Может ли капитализм выжить? Нет, не думаю. Но мое мнение, как и мнение любого другого экономиста, высказывавшегося на эту тему, само по себе не представляет никакого интереса. В любом прогнозе общественного развития мы ценим не положительный или отрицательный вывод, сделанный на основе определенных фактов и аргументов, а только сами эти факты и аргументы. Именно в них содержится все научное, что есть в окончательном выводе. Все остальное — это не наука, а пророчество. Экономический или любой другой анализ может лишь обнаружить тенденции, характерные для наблюдаемого объекта, мы не можем узнать с его помощью, что случится с этим объектом в будущем, в наших силах лишь предположить, что *может* случиться, если тенденции сохранятся такими же, как в период наблюдения, а никакие иные факторы не будут вмешиваться. В этом, и ни в чем другом, состоит всякая «неизбежность» или «необходимость».

Все это следует иметь в виду, читая то, что будет изложено ниже. Но надежность результатов нашего исследования ограничена и другими обстоятельствами. Общественная жизнь зависит от множества переменных, большое число которых вовсе не поддается измерению. В этих условиях весьма сомнительна даже возможность правильного диагноза, не говоря уже о прогнозе. Однако эти сложности тоже не следует преувеличивать. Впоследствии мы убедимся, что основные черты современного общества соответствуют некоторым выводам, которые, хотя и требуют многочисленных уточнений и оговорок, не мо-

гут быть отвергнуты на том основании, что их нельзя так же строго доказать, как теоремы Эвклида.

И еще один момент, прежде чем мы приступим к делу. Тезис, который я постараюсь доказать, заключается в том, что капиталистическая система не погибает от экономического краха, но зато сам ее успех подрывает защищающие ее общественные институты и «неизбежно» создает условия, в которых она не сможет выжить и уступит место социализму. Таким образом, мой конечный вывод не отличается от того, что пишут большинство социалистов и, в частности, все марксисты, хотя моя аргументация совсем не такая, как у них. Но из этого вовсе не следует, что я — социалист. Мой прогноз не подразумевает, что я приветствую такое развитие событий. Если врач говорит, что больной умирает, это не значит, что он желает такого исхода. Можно ненавидеть социализм или, по крайней мере, относиться к нему с холодным критицизмом, но все же предвидеть его приход. Так поступали и поступают многие консерваторы.

С другой стороны, не всякий социалист может согласиться с нашим выводом. Можно любить социализм, верить в его экономическое, культурное и нравственное превосходство и в то же время не верить, что в капиталистическом обществе действует тенденция к саморазрушению. Есть и такие социалисты, которые верят в то, что капиталистический строй набирает силу и надежды на его крах совершенно беспочвенны.

Глава V

ТЕМПЫ РОСТА СОВОКУПНОГО ПРОДУКТА

Окружающая капитализм атмосфера враждебности, существование которой мы сейчас объясним, сильно затрудняет рациональную оценку его экономических и культурных результатов. К настоящему времени общественное мнение настолько рассердилось на капитализм, что осуждение его, всего им созданного стало уже общим местом, чем-то вроде правила хорошего тона. Каждый писатель или оратор, каковы бы ни были его политические убеждения, стремится соответствовать этому этикету, подчеркивать свое критическое отношение, обеспокоенность, сомнение в достижениях капитализма, отвращение к капиталистическому интересу и солидарность с интересами антикапиталистическими.

Всякая другая позиция признается не просто глупой, но и антиобщественной, считается аморальным раболепством. Это, конечно, совершенно естественно. Всякая новая религия утверждается именно таким образом. Но это, понятно, отнюдь не облегчает задачу аналитика: думаю, что в 300 году н.э. было бы непросто растолковать ярому приверженцу христианства, в чем заключаются достижения античной цивилизации. В такое время, с одной стороны, с порога отвергаются самые очевидные истины[1]. С другой стороны, терпимо воспринимаются или даже приветствуются очевидные глупости.

Первым показателем состояния экономики является совокупный продукт — совокупность товаров и услуг, произведенных за единицу времени — год, квартал или месяц. Изменение этого показателя экономисты пытаются измерить с помощью индекса, который строится из показателей производства отдельных товаров. «Если бы мы придерживались строгой логики, никто не стал бы строить или использовать какой-либо индекс производства»[2], поскольку не только данные и техника построения такого индекса, но и сама идея совокупного продукта, состоящего из разных товаров, удельный вес которых все время меняется, являются весьма сомнительными[3]. Тем не менее я считаю,

---

[1] Есть и другой способ отделаться от очевидной, но неудобной истины. Он состоит в том, чтобы презирать ее за тривиальность. Этого вполне достаточно для дискредитации истины, поскольку широкая публика обычно не сознает, что таким способом просто маскируется невозможность ее опровержения. Любопытный феномен социальной психологии!

[2] Burns A.F. Production Trends in the United States Since. 1870. P. 262.

[3] Здесь мы не можем заняться этой проблемой. Кое-что будет сказано в следующей главе. Более полное изложение см. в моей книге «Business Cycles». Ch. IX.

что этот метод достаточно надежен, если мы хотим получить самое общее представление.

Для США достаточно надежные и многочисленные статистические ряды, позволяющие построить такой индекс, существуют со времен Гражданской войны. Используя так называемый индекс совокупного производства Дэя-Персонса[4], мы можем установить, что с 1870 по 1930 г. среднегодовой темп прироста составил 3,7%, а в обрабатывающем секторе — 4,3%. Давайте сосредоточим свое внимание на первой цифре и постараемся наглядно представить себе, что она означает. Для начала нам придется скорректировать эту величину: поскольку удельный вес промышленного оборудования в совокупном продукте постоянно рос, то часть последнего, предназначенная для потребления, не могла расти тем же темпом, что и весь продукт. Это надо учесть. Я думаю, что поправка не должна составлять более 1,7%[5], таким образом получаем двухпроцентный годовой рост «располагаемого продукта» (сложные проценты).

Теперь предположим, что капиталистическая машина продолжает производить продукт с тем же темпом прироста на протяжении следующей половины века начиная с 1928 г. Против этой предпосылки можно выдвинуть несколько возражений, которые будут рассмотрены впоследствии. Однако ее нельзя отвергнуть на том основании, что в период 1929—1939 гг. капитализм уже не мог выйти на этот уровень роста. Депрессия, продолжавшаяся с четвертого квартала 1929 г. по третий квартал 1932 г., не может означать, что механизм капиталистического производства сломался навсегда: депрессии такой силы регулярно случались в прошлом — примерно каждые 55 лет. Последствия одной из них (1873—1877 годов) были, естественно, учтены при вычислении среднего темпа прироста, равного 2%. Медленное оживление (до 1935 г.), слабый подъем (до 1937 г.) и последующий спад можно легко объяснить трудностями приспособления к новой фискальной политике, новому трудовому законодательству и общему пересмотру государственной политики по отношению к частному предпринимательству. Влияние всех этих факторов можно в некотором смысле (см. ниже) отделить от функционирования производственного механизма как такового.

Поскольку здесь особенно важно избежать недопонимания, я хочу подчеркнуть, что последний абзац вовсе не содержит ни критики «Нового курса»*, ни вывода, который я, кстати, считаю верным, но пока в нем не нуждаюсь, что политика такого типа в долгосрочном аспекте

---

[4] Persons W.W. Forecasting Business Cycles. Ch. XI.

[5] На самом деле эта поправка намного завышена. Ср. также оценки профессора Ф.К. Милла: 3,1% ежегодного прироста в 1901—1913 гг. и 3,8% — в 1922—1929 гг. (без учета продукции строительства; см.: Mill F.C. Economic Tendencies in the United States. 1938).

* Имеется в виду экономическая политика президента Ф.Д. Рузвельта.

несовместима с эффективным функционированием системы свободного предпринимательства. Сейчас я хочу лишь сказать, — и думаю, в этом со мной должны и *могут* согласиться даже самые ревностные приверженцы «Нового курса», — что такие масштабные и резкие перемены в общественной жизни не могут не влиять на экономику в течение некоторого времени. Иначе я просто не могу объяснить, почему страна, у которой были наилучшие шансы на быстрое оживление, оказалась как раз в наихудшем положении. Наш вывод подтверждает в определенном смысле аналогичный пример Франции. Таким образом, события 1929—1939 гг. *сами по себе* не могут служить основанием для того, чтобы игнорировать наши аргументы, которые к тому же в любом случае могут оказаться полезными для понимания прошлых событий.

Итак, если производство потребительских товаров и услуг в условиях капиталистического порядка шло бы после 1928 г. тем же темпом, что и раньше, т. е. возрастало бы в среднем на 2% в год, то в 1978 г. оно примерно в 2,7 (точнее, в 2,6916) раза превысило бы уровень 1928 г.

Для того чтобы определить, каким будет соответствующий прирост реального дохода на *душу населения*, вначале заметим, что наш темп прироста совокупного продукта можно примерно приравнять к темпу прироста совокупного личного денежного дохода, идущего на потребление[6], с поправкой на изменение покупательной способности доллара. Во-вторых, мы должны иметь какой-то прогноз ожидаемого роста населения. Мы выберем оценку Слоуна: 160 млн на 1978 г. Тогда среднедушевой доход возрастет за эти 50 лет более чем в 2 раза (в 1928 г. он составлял 650 долл.), и, значит, в 1978 г. он будет составлять около 1300 долл. *покупательной силы* 1928 г.[7].

Некоторые читатели, возможно, сочтут, что необходимо сказать несколько слов о распределении совокупного денежного дохода. До начала XX в. многие экономисты, как и Маркс, полагали, что капиталистический процесс изменяет долю различных слоев населения в об-

[6] «Потребление» включает приобретение потребительских товаров длительного пользования: автомобилей, холодильников, жилых домов. Мы не делаем различия между потребительскими товарами кратковременного пользования и так называемым «потребительским капиталом».

[7] Это означает, что реальный доход на душу населения будет увеличиваться на 1,375% ежегодно. Выяснилось, что в Англии за сто лет, предшествовавших Первой мировой войне, этот показатель был точно таким же (см. расчеты лорда Стемпа в кн. «Wealth and Taxable Capacity»). Вряд ли это совпадение может что-то значить. Но, по крайней мере, оно показывает, что вычисленная нами цифра не является заведомо абсурдной. В 241-м номере «National Industrial Conference Board Studies» (табл. 1, строки 6—7) мы обнаруживаем, что «реализованный подушевой национальный доход», вычисленный с учетом изменения индекса стоимости жизни Федерального резервного банка Нью-Йорка и National Conference Board, в 1929 г. был примерно в 4 раза больше, чем в 1829 г., — аналогичный результат, в надежности которого, правда, есть еще более серьезные сомнения.

щем доходе: богатые становятся богаче, а бедные беднее (хотя бы относительно). Однако такой тенденции не существует. Какие бы статистические показатели ни использовались, придется сделать вывод, что внешний вид пирамиды доходов существенно не изменился за период наблюдений, а для Англии он охватывает весь XIX в.[8]. Постоянной оставалась и доля в доходе заработной платы работающих по найму. Поэтому, рассуждая о том, что произойдет, если капиталистический механизм будет и в дальнейшем работать без постороннего вмешательства, мы не имеем никаких оснований предполагать, что в 1978 г. распределение доходов или их дисперсия относительно средней будут существенно отличаться от параметров 1928 г.

Полученный нами результат можно интерпретировать следующим образом: если капитализм сможет еще 50 лет развиваться так же, как до сих пор, он покончит с тем, что сегодня называется бедностью, даже в самых низших слоях населения, за исключением отдельных патологических случаев.

И это еще не все. Увеличение нашего индекса, каковы бы ни были его последствия, явно не полностью отражает будущий рост. Прежде всего при его расчете не учитывается благо под названием «добровольный отдых». Базой для исчисления индекса является производство основных потребительских и промежуточных продуктов, появление же новых благ отражается в нем неадекватно или не отражается вовсе. По той же причине не находит в нем отражения повышение качества продуктов, хотя во многих случаях прогресс достигается именно на этом направлении. Невозможно адекватно измерить разницу между автомобилем 1940-го и 1900 годов и определить, насколько упала цена на единицу полезного эффекта. Может быть, легче было бы оценить степень использования данного количества сырья или полуфабрикатов: стальной слиток или тонна угля сегодня используются во много раз более эффективно, чем шесть-десять лет назад. Но в этом направлении сделано очень мало. Не знаю, насколько изменился бы наш индекс, если бы смогли его скорректировать с учетом всех этих факторов, но ясно одно: он бы увеличился, и это гарантирует наши оценки от какого-либо пересмотра в сторону уменьшения. К тому же, даже если бы мы располагали методом измерения технологической эффективности продуктов промышленности, это все равно не позволило бы нам учесть, какое значение это имело для человеческого достоинства, интенсивности и приятности человеческой жизни — словом, для всего того, что экономисты прошлого поколения называли

[8] См. Stamp. Op. cit. Тот же феномен можно наблюдать во всех странах, о которых есть статистические данные, если очистить последние от циклических колебаний различных периодов. Показатель распределения доходов или неравенства доходов, предложенный Вильфредо Парето, может быть подвергнут критике. Но факт остается фактом и не зависит от недостатков индекса.

«удовлетворением потребностей». Ведь в конце концов именно это имеет для нас решающее значение и является истинным «продуктом» капиталистического производства. Именно отсюда наша заинтересованность в индексе производства, составляющих его фунтах и галлонах, которые сами по себе вряд ли заслуживают нашего внимания.

Но вернемся к нашим двум процентам. Для правильной интерпретации этой цифры важно еще одно обстоятельство. Я уже говорил о том, что доля отдельных групп населения в национальном доходе в течение последней сотни лет оставалась, грубо говоря, постоянной. Однако это справедливо лишь в денежном измерении, если же мерить в реальных величинах, то удельный вес групп с низкими доходами возрос. Капиталистический механизм — это прежде всего механизм массового производства, что означает также и производство для масс. Поднимаясь же вверх по шкале индивидуальных доходов, мы обнаружим, что все большая их часть расходуется на индивидуальные услуги и товары ручного производства, цены которых зависят прежде всего от ставки заработной платы.

Доказать это очень просто. Современному рабочему доступно кое-что, чем с удовольствием владел бы, если бы мог, сам Людовик XIV, к примеру, услуги современного дантиста. Но в целом король-Солнце вряд ли мог бы много выиграть от достижений капитализма. Даже скорость передвижения была не так уж важна для столь достойного джентльмена. Электрическое освещение не столь привлекательно для того, кто имеет деньги, чтобы купить достаточное количество свечей и заплатить слугам, которые за ними присматривают. Типичные достижения капитализма — это дешевая ткань: хлопчатобумажная и вискозная, дешевые ботинки, автомобили и т. д., а вовсе не такие усовершенствования, которые нужны богатым людям. У королевы Елизаветы* были шелковые чулки. Капиталистическое развитие обычно состоит не в том, чтобы изготовить большое количество чулок для королевы, а в том, чтобы, затрачивая на их изготовление все меньше и меньше усилий, сделать их доступными для девушек-работниц.

Этот факт предстанет перед нами еще более убедительно, если мы рассмотрим длинные волны экономической активности, анализ которых наилучшим образом раскрывает природу и механизм капиталистического процесса. Каждая такая волна состоит из какой-либо «промышленной революции» и периода освоения ее достижений. Например, даже располагая весьма скудной информацией, мы можем статистически и исторически выделить фазу подъема длинной волны в конце 1780-х годов, ее высшую точку около 1800 г., а затем спад и

* Естественно, автор имеет в виду Елизавету I (1533—1603).

некоторое оживление, которое окончилось к началу 1840-х годов. Это и была «промышленная революция», столь близкая сердцам авторов учебников.

Однако за ней последовала очередная революция, породившая очередную длинную волну, которая набирала силу в 40-е годы и достигла высшей точки незадолго до 1857 г., а затем убывала до 1897 г. За ней — еще одна, достигшая пика около 1911 г. и сходящая на нет в настоящее время[9].

Эти революции периодически обновляют структуру промышленности, внедряя новые методы производства: механизированные и электрифицированные фабрики, химический синтез и пр.; новые товары; услуги железных дорог, автомобили, электрическое оборудование; новые организационные формы — слияния компаний; новые источники сырья: шерсть с берегов Ла-Платы, американский хлопок, медь из Катанги; новые торговые пути и рынки сбыта. Изменения в промышленности порождают колебания, задающие общий тон деловой жизни: в начале этих перемен происходит оживление инвестиций и наступает «процветание», которое, конечно, прерывается спадом более короткого цикла, накладывающегося на фоновые долгосрочные колебания. Когда процесс изменений подходит к концу, а их результаты широким потоком поступают на рынок, устаревшие элементы промышленной структуры устраняются и господствует «депрессия».

Так возникают продолжительные периоды роста или падения цен, процентных ставок, занятости и т. д., которые являются составной частью механизма постоянного обновления производственного аппарата.

Этот процесс на первый взгляд ведет к хаосу, убыткам и безработице, однако он всякий раз порождает лавину потребительских благ, поток которых постоянно расширяется и углубляется, увеличивая тем самым реальные доходы потребителей. Хорошенько присмотревшись к этим лавинам, мы установим, что каждая из них состоит из товаров массового потребления и увеличивает покупательную способность каждого доллара заработной платы в большей степени, чем покупательную способность любого другого доллара. Иными словами, капиталистический процесс не случайно, а в силу самого своего механизма все более поднимает уровень жизни масс. Это происходит через цепь превратностей, тяжесть которых пропорциональна скорости продвижения вперед, но факт остается фактом: капиталистическое производство одну за другой успешно решает все проблемы обеспечения

[9] В литературе, посвященной экономическим циклам, эти «длинные волны» связаны прежде всего с именем Н.Д. Кондратьева.

масс различными товарами[10]. Наиболее важная из остающихся — проблема жилья — также будет скоро решена посредством сооружения домов из готовых полуфабрикатов.

Но и это еще не все. Наша оценка экономического строя была бы неполной, — и, кстати, немарксистской, — если бы мы остановились на продукте, который соответствующий экономический механизм доставляет различным группам общества, и не упомянули бы те явления, которые конвейер не производит сам, но доставляет для них экономические и политические средства, а также все достижения в области культуры, порождаемые капиталистическим менталитетом. Рассмотрение последних мы отложим до гл. XI, а сейчас обратимся к некоторым аспектам первых.

Тактические соображения и ожесточенная атмосфера борьбы за социально ориентированное законодательство затрудняют понимание двух достаточно очевидных фактов. Во-первых, часть этого законодательства возможна только на базе успешного развития капитализма в предыдущий период (т. е. на основе богатства, созданного ранее капиталистическими предприятиями). Во-вторых, многое из того, что развито и обобщено в социально ориентированном законодательстве, было первоначально внедрено самим капиталистическим классом. Оба факта надо занести в актив капиталистической системе.

Теперь давайте представим, что эта система продолжает свое развитие тем же темпом, что и в шестьдесят лет, предшествовавших 1928 г., и среднегодовой доход на *душу населения* действительно достигнет уровня 1300 долл. Совершенно очевидно, что в таких условиях все желания сторонников социальных реформ и даже многие их причуды будут исполнены либо автоматически, либо *без заметного вмешательства в капиталистический процесс.*

В частности, полностью обеспечить безработных будет тогда не только возможно, но и легко. Конечно, безответственность, проявляющаяся в создании безработицы и в последующем финансировании ее за общественный счет, всегда будет порождать неразрешимые проблемы. Но при наличии элементарной предусмотрительности выделение *в среднем* 16 млрд. долл. в год на выплаты 16 миллионам безработных, включая членов их семей (10% населения), не будет такой уж непосильной задачей, если национальный доход, идущий на потребление, составит порядка 200 млрд. долл. (в долларах 1928 года).

Как известно, безработицу все считают одной из самых важных проблем капитализма, а некоторые критики даже основывают на этом

[10] Это, разумеется, относится также к сельскохозяйственным продуктам, дешевое массовое производство которых целиком и полностью является заслугой крупных капиталистических предприятий: железных дорог, транспортных компаний, производителей сельскохозяйственных машин и удобрений.

показателе свой приговор капиталистической системе. Поэтому хотел бы объяснить читателю, почему это явление играет сравнительно небольшую роль в моих аргументах. Я не думаю, что безработица — одно из тех зол, которые может устранить само капиталистическое развитие (как, например, бедность). Не думаю также, что существует какая-либо долговременная тенденция роста безработицы. Единственный достаточно длительный статистический ряд — процент безработных среди членов английских тред-юнионов — покрывает 60 лет до Первой мировой войны. Это типично циклический показатель, не имеющий тренда[11]. С точки зрения теории это также вполне объяснимо, и мы можем с полной уверенностью исходить из того, что такое поведение показателя безработицы было характерно для периода, предшествовавшего 1913 г. В послевоенный период в большинстве стран безработица превышала нормальный уровень даже до 1930 г. Но этот факт и тем более безработицу 30-х годов можно объяснить причинами, не имеющими ничего общего с какой-либо долговременной тенденцией к росту доли безработных, *вытекающей из самого капиталистического механизма.* Выше я уже упоминал о промышленных революциях, столь характерных для капиталистического процесса. Повышенный уровень безработицы присущ всякому периоду адаптации, который следует после «фазы процветания» этих революций. Так было в 1820-х и 1870-х, после 1920-х годов наступил очередной такой период. Это явление — чисто временное в том смысле, что из него нельзя сделать никаких выводов на будущее. Его усугубили другие факторы: влияние войны, нарушение внешнеторговых потоков, политика заработной платы, некоторые институциональные изменения, которые способствовали росту показателя безработицы, фискальная политика в Англии и Германии (а также с 1935 г. в США). Некоторые из них, без сомнения, являются признаками новой «атмосферы», в которой капитализм будет работать менее эффективно. Но это уже другой вопрос, и его мы рассмотрим ниже.

Разумеется, безработица была и остается бичом общества, будь то временная или длительная, возрастающая или неизменная.

В следующей части книги мы отметим, что возможность ее устранения выдвигается в качестве одного из аргументов в пользу социалистического строя. Но настоящей трагедией, по-моему, является не безработица *сама по себе*, а безработица плюс невозможность обеспечить безработных, *не ставя под угрозу условия дальнейшего экономического развития.* Если бы безработица не отражалась на частной

[11] Его часто изображают на графиках и анализируют. См., например, Pigou A.C. «Industrial Fluctuations», или мою книгу «Business Cycles». Для любой страны можно выделить некоторый неустранимый минимум и циклические компоненты, наиболее существенный из которых имеет период колебаний 9—10 лет.

жизни безработных, все страдания и деградацию человека, разрушение его ценностей, которые мы связываем с безработицей, но не с растратой производственных ресурсов, можно было бы устранить, и безработица перестала бы быть таким пугалом.

Приговор критиков гласит, что в прошлом примерно до конца XIX столетия капиталистический строй не только не желал, но и не мог обеспечить такой порядок вещей. Но если он сохранит свой прежний темп развития еще на полвека, то этот приговор отправится на склад забытых вещей вместе с детским трудом, 16-часовым рабочим днем и одной комнатой на пятерых. Все эти вещи уместно вспомнить, говоря о социальных издержках прошлого капиталистического развития, но их вовсе не обязательно учитывать, обсуждая альтернативы на будущее. Сейчас мы находимся на промежуточной ступени между немощью ранних стадий эволюции капитализма и мощью его зрелой стадии. По крайней мере, в этой стране* большая часть данной задачи может быть решена без чрезмерного перенапряжения всей экономической системы. Трудности, как мне кажется, заключаются не столько в нехватке средств для того, чтобы стереть наиболее мрачные тона картины, сколько в том, что, с одной стороны, антикапиталистическая политика в 30-е годы привела к дополнительному увеличению безработицы, а с другой стороны, в том, что общественное мнение, как только оно осознает проблему безработицы, тут же начинает настаивать на экономически иррациональных методах финансирования пособий и расточительных способах организации помощи безработным.

Аналогичные аргументы можно отнести и к будущим, а в значительной степени и к настоящим возможностям, которые создает эволюция капитализма для заботы о больных и стариках, образования, гигиены и т. д. Вполне разумно было бы также ожидать, что все большее число товаров будут покидать разряд экономических благ и становиться доступными практически для всех, обеспечивать полное удовлетворение потребностей. Этого можно достичь либо путем соглашения между государственными органами и промышленными концернами, либо путем национализации и муниципализации, которые, несомненно, будут прогрессировать, даже если в остальном экономическая система капитализма останется нетронутой.



* Здесь и далее имеются в виду США.

Глава VI

ВОЗМОЖНОСТЬ КАПИТАЛИЗМА

Аргументы, изложенные в предыдущей главе, казалось бы, можно опровергнуть возражением, столь же убийственным, сколь и очевидным. Мы экстраполировали на будущее средние темпы прироста совокупного производства, полученные для 60 лет, предшествовавших 1928 г. До тех пор, пока с помощью этого приема я иллюстрировал значение прошлых достижений капитализма, это не смущало меня как статистика. Но, предположив, что в ближайшие пять-десять лет мы будем наблюдать примерно такие же темпы прироста, я, очевидно, совершил статистическое преступление: разумеется, состояние производства на протяжении некоего исторического периода само по себе вовсе не дает нам права на какую-либо экстраполяцию (тем более на 50 лет)[1]. Поэтому необходимо вновь подчеркнуть, что с помощью экстраполяции я вовсе не собираюсь прогнозировать будущее движение производства. Она предназначена лишь для того, чтобы, помимо показа прошлых достижений, дать понять, на что способна капиталистическая машина, если она и дальше будет работать в том же духе. Случится ли это в действительности — особый вопрос, и ответ на него будет дан независимо от экстраполяции. Для этого мы предпримем сейчас долгое и сложное исследование.

Прежде чем обсуждать возможность капитализма повторить свои прошлые успехи, мы должны выяснить, в каком смысле достигнутые темпы прироста действительно отражают эти достижения. Безусловно, период, к которому относятся наши данные, — это период сравнительно беспрепятственного развития капитализма. Но из этого еще не следует, что между темпами роста и капиталистическим механизмом имеется существенная связь. Для того чтобы поверить в то, что это не просто совпадение, мы должны, во-первых, объяснить, какая связь существует между капиталистическим строем и наблюдавшимися темпами прироста производства, и, во-вторых, доказать, что данные темпы прироста следует отнести именно на счет этой связи, а не каких-либо благоприятных внешних условий, к капитализму никакого отношения не имеющих.

Эти две проблемы надо решить до того, как вопрос о «возможно-

[1] Это в принципе относится к любой *исторической* статистике, поскольку само понятие исторического процесса предполагает необратимые изменения в структуре экономики, которые неизменно должны были затронуть любые существующие в ней количественные закономерности. Поэтому даже самая скромная экстраполяция требует теоретического оправдания и, как правило, статистической обработки. Однако в нашем случае мы имеем то преимущество, что в рамках нашего всеохватывающего показателя причуды различных статистических рядов могут компенсировать друг друга.

сти повторить прошлые результаты» вообще может быть поставлен. Лишь после этого имеет смысл обсуждать пункт третий: есть ли какие-либо причины, в силу которых в ближайшие сорок лет капитализм может не достигнуть своих прежних темпов развития.

Обсудим все три пункта по очереди.

Первую проблему мы можем сформулировать следующим образом. С одной стороны, у нас есть достаточно статистического материала, свидетельствующего о быстром «прогрессе», которому отдавали должное даже завзятые критики капитализма. С другой стороны, мы располагаем набором фактов о структуре и функционировании экономической системы того периода. Исходя из этих фактов, аналитики создали «модель» капиталистической реальности, т. е. обобщенную картину ее основных свойств.

Нам надо узнать, была ли экономика такого типа благоприятной, нейтральной или неблагоприятной для экономического развития. Если же она была благоприятной, то какими ее свойствами можно адекватно объяснить темпы экономического развития. Избегая, насколько это возможно, технических деталей, мы ответим на эти вопросы с позиций здравого смысла.

1. В отличие от класса землевладельцев-феодалов торговая и промышленная буржуазия достигла высокого положения благодаря своим успехам в делах. Буржуазное общество построено на чисто экономических принципах: его фундамент, несущие конструкции, сигнальные огни — все это сделано из экономического материала. Это здание выходит фасадом на экономическую сторону жизни.

Поощрения и наказания измеряются в деньгах. Подъем и спуск по общественной лестнице тождественны с приобретением или потерей денег. Этого, конечно, никто не станет отрицать. Но я хочу добавить, что в своих рамках это общественное устройство отличается или, во всяком случае, отличалось необыкновенной эффективностью. Оно обращается к мотивам, непревзойденным по простоте и силе, а отчасти и само создает такие мотивы. Оно с безжалостной быстротой выполняет свои обещания богатства и угрозы нищеты. Всюду, где буржуазный образ жизни достаточно укрепляется и заглушает позывные других общественных порядков, эти мотивы являются достаточно сильными, чтобы привлечь подавляющее большинство людей высших интеллектуальных способностей и отождествить успех в жизни с успехом в делах. Нельзя сказать, что выигрыши здесь выпадают случайно, но при этом в их распределении есть и увлекательная прелесть счастливого случая: игра похожа скорее на покер, чем на рулетку. Награды достаются талантливым, энергичным, работоспособным, но если бы можно было измерить общий уровень конкретной способности или долю личного вклада в коммерческий успех, мы, наверно, установили бы, что полученный денежный выигрыш не пропорционален ни

первому, ни второму показателям. Огромные премии, несоизмеримые с затратой сил, достаются незначительному меньшинству, что стимулирует активность подавляющего большинства бизнесменов, которые получают весьма скромное вознаграждение, либо вовсе ничего, либо даже убытки, но, несмотря на это, прилагают максимум усилий, потому что большие призы у них перед глазами, а свои шансы получить их они переоценивают. Более «справедливое» распределение выполняло бы эту стимулирующую функцию намного хуже. То же самое можно сказать и о наказаниях, которые грозят некомпетентным. Но наряду с устранением — иногда очень быстрым, иногда несколько запоздалым — некомпетентных людей и устаревших способов экономической деятельности банкротство угрожает и многим способным людям, эта угроза подстерегает *всех*, причем опять-таки более эффективно, чем более «справедливая» уравнительная система санкций. Наконец, и успех, и неудача в бизнесе определяются с идеальной точностью: их нельзя скрыть никакими словесами.

В особенности следует подчеркнуть один момент, важный не только здесь, но и для будущего изложения. Описанным выше способом (а также некоторыми другими, о которых речь впереди) капиталистическое устройство общества, воплощенное в институте частного предприятия, весьма эффективно прикрепляет буржуазные слои к выполнению их экономической задачи. Но это еще не все, тот же самый механизм, требующий определенных результатов от индивидов и семей, составляющих буржуазный класс, одновременно отбирает индивидов и семьи, которые смогут вступить в этот класс или должны будут его покинуть. Это сочетание поощрения и наказания с отбором — факт далеко не тривиальный. Большинство методов социального отбора (в отличие от «методов» отбора естественного) не могут гарантировать нам, как будет себя вести отобранный индивид. Именно в этом состоит одна из главных проблем социалистической организации общества, которую мы рассмотрим ниже. Пока достаточно заметить, что капиталистическая система замечательно решает эту проблему: в большинстве случаев человек, попадающий в класс бизнесменов и затем поднимающийся наверх в рамках этого класса, является способным бизнесменом и поднимается настолько высоко, насколько это позволяют его способности. Причина проста: в этой системе подниматься вверх и хорошо делать свое дело — это практически одно и то же. Этот факт, который неудачники так часто стараются отрицать в порядке самоутешения, гораздо больше значит для оценки капиталистического общества и капиталистической цивилизации, чем любые выводы из чистой теории капиталистического механизма.

2. Но разве наши выводы, основанные на «максимальных результатах оптимально отобранной группы», не обесцениваются тем фактом, что эти результаты служат не обществу (производство ради потребле-

ния), а деланию денег, что целью капиталистического производства является максимизация прибыли, а не благосостояния? Такая точка зрения всегда была популярна за пределами буржуазных кругов. Экономисты временами боролись с ней, а временами поддерживали ее. При этом они создавали нечто гораздо более ценное, чем итоговые выводы, которые в большинстве случаев отражали их социальное положение, интересы, симпатии или антипатии. Они постепенно накапливали факты и инструменты анализа, что позволяет нам сегодня давать на многие вопросы более правильные ответы (хотя и не такие простые и радикальные), чем давали наши предшественники.

Не станем углубляться слишком далеко в прошлое.

Так называемые экономисты классической школы[2] были практически единодушны: большинству из них не нравились современные им общественные институты и способы их функционирования. Они сражались с земельными собственниками и выступали за социальные реформы — прежде всего фабричное законодательство, — из которых далеко не все соответствовали идеям «laisser-faire». Но они были убеждены, что в системе институтов капитализма действия промышленников и торговцев, движимых собственным интересом, ведут к максимальному результату, который отвечает интересам всех. Столкнувшись с проблемой, которую мы здесь обсуждаем, они без всяких колебаний отнесли бы наблюдаемые темпы прироста совокупного продукта на счет сравнительно раскрепощенного предпринимательства и мотива извлечения прибыли. Может быть, они упомянули бы о «благоприятном законодательстве» как о необходимом условии, но под этим понималось бы именно снятие оков с производственной и коммерческой деятельности и прежде всего отмена или сокращение протекционистских пошлин в XIX в.

В настоящее время очень трудно по достоинству оценить эти взгляды. Конечно, это были типичные взгляды английских буржуа: буржуазные шоры заметны на каждой странице, написанной классиками. Не менее очевидно присутствие шор другого рода: классики мыслили понятиями, характерными для данной исторической эпохи, опыт которой некритически идеализировали и абсолютизировали. Кроме того, большинство из них отстаивали интересы Англии того времени. Поэтому в других странах и в иные времена их теории вызывали антипатию, которая часто мешала их понять. Но отвергать их учение на этом основании было бы неуместно. Предубежденный человек тоже может говорить правду. Выводы, сделанные на основании какого-то частного случая,

[2] Термин «экономисты-классики» в этой книге обозначает английских экономистов, произведения которых вышли в свет с 1776 по 1848 г. Наиболее выдающиеся из них — Адам Смит, Рикардо, Мальтус, Сениор и Джон Стюарт Милль. Это необходимо иметь в виду, поскольку в последнее время этот термин стал употребляться в гораздо более широком значении.

могут иметь и более широкое применение. Что же касается противников и преемников классиков, то у них были свои предрассудки и свои шоры, они рассматривали другие, но не менее частные случаи.

С точки зрения экономического анализа главная заслуга классиков состоит в том, что наряду с другими серьезными заблуждениями они опровергали наивную идею, согласно которой экономическая деятельность при капитализме, движимая мотивом прибыли, должна уже в силу этого факта противоречить интересам потребителей. Другими словами, делание денег обязательно отвлекает производство от общественных целей, а прибыль частных лиц как сама по себе, так и вследствие тех искажений, которые вносят этот мотив в экономический процесс, представляет собой чистый убыток для всех, кроме ее получателей, и поэтому составит чистый выигрыш при социализации.

Если мы рассмотрим логику этой и подобных ей идей, которые никогда не защищал ни один серьезный экономист, нам покажется, что их опровержение было для классиков простой задачей. Но достаточно окинуть взглядом все теории и лозунги, сознательно или подсознательно основанные на этой идее и существующие уже в наши дни, чтобы мы отнеслись к их достижениям с большим почтением. Я хочу также добавить, что классики ясно видели (хотя и несколько преувеличивали) роль сбережений и накопления: они в принципе верно, хотя и не совсем точно установили связь между сбережениями и темпами экономического «прогресса». Их доктрине была свойственна житейская мудрость, серьезный, долгосрочный подход и мужественный тон, выгодно отличающийся от современных истерик.

Но между осознанием того, что максимизация прибыли и максимизация результата производства могут не противоречить друг другу, и доказательством, что первое с необходимостью или в подавляющем большинстве случаев предполагает второе, — дистанция гораздо большая, чем это представлялось классикам, которые так и не смогли ее преодолеть.

Изучая сегодня учение классиков, не устаешь удивляться, почему они удовлетворялись своими доводами и считали их доказательствами. В свете позднейших достижений в области экономического анализа их *теория* рассыпается как карточный домик, хотя в их *видении* много верного[3].

3. Из упомянутых последних достижений в области анализа мы рассмотрим два — в той мере, в какой они помогут прояснить нашу проблему. Первое из них относится к первому десятилетию нашего века,

[3] Читатель, наверно, помнит различие, которое я проводил между теорией Маркса и его видением. Всегда важно помнить, что способность видеть вещи в правильном свете и способность правильно рассуждать о них — это не одно и то же. Поэтому очень хороший теоретик может нести полную чушь, когда его просят оценить конкретную историческую ситуацию в целом.

второе — к периоду после Первой мировой войны. Честно говоря, я не уверен, что этот материал будет понятен читателю-неэкономисту: как и всякая отрасль знания, экономическая наука по мере совершенствования ее аналитического аппарата неизбежно удаляется от той благословенной стадии, когда все проблемы, методы и результаты исследования доступны любому образованному человеку, не получившему специальной подготовки. Но я постараюсь выразиться как можно понятнее.

Первое направление связано с именами двух великих экономистов, которые до сих пор пользуются почетом у многочисленных учеников, если только последние, как нередко бывает, не считают дурным тоном выражать уважение к кому-либо и чему-либо. Это Альфред Маршалл и Кнут Виксель[4]. Созданная ими теоретическая структура имеет мало общего с теорией классиков — как бы Маршалл ни старался это скрыть, — но в ней сохраняется тезис классиков о том, что в условиях совершенной конкуренции стремление производителя к прибыли ведет к максимизации производства.

Здесь можно найти даже почти удовлетворительное доказательство этого тезиса. Однако в процессе более корректного формулирования проблемы и самого доказательства тезис теряет большую часть своего содержания — в итоге он становится доказанным, но в каком-то истощенном, полуживом виде[5].

---

[4] Я выделяю здесь «Принципы» Маршалла (первое издание — 1890 г.) и «Лекции» Викселя (первое шведское издание — 1901 г., перевод на английский — 1934 г.) благодаря тому влиянию, которое они оказали на формирование многих ученых, и глубоко практическому подходу к экономической теории. С точки зрения чисто научной преимущество следует отдать работе Леона Вальраса. Среди американцев следует упомянуть Дж.Б. Кларка, Ирвинга Фишера и Ф. Тауссига.

[5] Коротко поясню смысл сказанного (это пригодится нам в гл. VIII, пункт 6). Анализ механизма экономики, нацеленной на прибыль, позволил не только обнаружить исключение из принципа, согласно которому в конкурентных отраслях максимизируется выпуск продукции, но и выяснить, что для доказательства этого принципа требуется принятие предпосылок, которые сводят его к банальности. В особенности обесценивают его практическое значение следующие два соображения:

1) принцип можно доказать только применительно к состоянию статического равновесия. Капиталистическая же реальность — это прежде всего процесс изменения. Поэтому для оценки деятельности предприятия, находящегося в условиях конкуренции, вопрос о том, будет ли оно максимизировать производство в условиях статического равновесия, не имеет почти никакого значения;

2) принцип в формулировке Викселя — а это то, что осталось от более амбициозного тезиса, который, хотя и редко, встречается у Маршалла, — представляет собой теорему о том, что конкурентная экономика приводит к максимальному удовлетворению потребностей. Но даже если мы абстрагируемся от серьезных возражений, которые вызывает употребление ненаблюдаемых психических величин, эта теорема быстро вырождается в тривиальное утверждение о том, что при любом институциональном устройстве общества человеческое действие, если оно рационально, всегда будет нацелено на достижение наилучшего результата. Фактически она вырождается в определение рационального действия, что позволяет строить аналогичные теоремы и для социалистического общества. Но то же самое можно сказать и о принципе максимизации производства. В обоих случаях мы не можем доказать, что частное конкурентное предпринимательство обладает какими-то специфическими преимуществами. Это не означает, что таких преимуществ не существует, — просто они не вытекают из самой *логики* конкуренции.

Но все же в рамках общих предпосылок анализа Маршалла—Викселя можно показать, что фирмы, которые не могут своими действиями повлиять на цену продаваемого ими продукта или покупаемых факторов производства, — поэтому они не могут сетовать на то, что при увеличении производства первые цены падают, а вторые растут, — будут расширять производство до тех пор, пока добавочные издержки, необходимые для небольшого прироста продукта (предельные издержки), не уравняются с ценой этого прироста. Таким образом, эти фирмы будут наращивать производство до тех пор, пока это не станет приносить убытки. Можно показать, что достигнутый объем производства будет в общем случае равен «общественно предпочтительному». Говоря более формальным языком, в этом случае цены для отдельной фирмы являются не переменными, а параметрами. Всюду, где справедливо это допущение, существует состояние равновесия, для которого характерно то, что выпуск продукции находится на максимальном уровне и все факторы производства используются полностью. Эта ситуация обычно называется совершенной конкуренцией.

Вспомнив о том, что было сказано выше о процессе отбора, который происходит между фирмами (и их управляющими), мы могли бы ждать прекрасных результатов от отобранной таким образом группы людей, которую мотив прибыли заставляет отдавать все силы максимизации производства и минимизации издержек. В частности, на первый взгляд может показаться, что в такой системе отсутствуют главные факторы, которые могли бы вызывать неэффективность. После некоторого размышления становится ясно, что последнее предложение — это просто другая формулировка предпоследнего.

4. Теперь о втором направлении развития экономического анализа. Теория Маршалла—Викселя, конечно, не обходила вниманием многие случаи, которые не описываются моделью совершенной конкуренции. Кстати, не упускали их из виду и классики. Они рассматривали случаи «монополии», и сам Адам Смит тщательно описал различные способы ограничения конкуренции[6] и возникающие в результате их применения различия в гибкости цен. Но классики считали эти случаи исключениями и, более того, такими исключениями, которые с течением времени будут устранены. Примерно то же самое можно сказать и о Маршалле. Хотя он развил теорию монополии Курно[7] и предвосхитил дальнейший прогресс анализа, обратив внимание на то, что большинство фирм продают свои товары на своем собственном специфическом

[6] Разительно сходство между сегодняшними взглядами и его описанием противоречия между интересами отдельных профессий и общества в целом. Смит говорил даже о заговорах против общества, которые возникают на каждой встрече бизнесменов.

[7] Cournot Augustin. Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. P. 1838.

рынке, на котором они могут сами устанавливать цены[8], он, как и Виксель, сформулировал свои общие выводы для случая совершенной конкуренции. Таким образом, для него, как и для классиков, последняя была правилом. Ни Маршалл и Виксель, ни классики не видели, что на самом деле совершенная конкуренция является исключением. Более того, даже если бы она была правилом, то и тогда здесь не было бы особого повода для радости.

Если мы внимательнее рассмотрим условия, необходимые для совершенной конкуренции, — не все из них были сформулированы и даже осознаны Маршаллом и Викселем, — сразу же станет понятно, что такие условия редко встречаются за пределами массового производства сельскохозяйственных продуктов. Фермер, действительно, продает свой хлопок или пшеницу при этих условиях: с его точки зрения, цена хлопка или пшеницы — это заданная извне, хотя и сильно колеблющаяся величина.

Он не может повлиять на нее своими действиями, а должен сам приспосабливать к ней объем выпуска своей продукции. Так как все фермеры ведут себя одинаково, то в конце концов цены и объемы производства будут соответствовать требованиям теории совершенной конкуренции. Однако так дело обстоит даже не со всеми сельскохозяйственными продуктами: например, к производству утиного мяса, колбасы, овощей и многих молочных продуктов модель неприменима. Что же касается практически всех конечных продуктов и услуг промышленности и торговли, то очевидно, что у каждого лавочника, хозяина бензоколонки, изготовителя перчаток, крема для бритья или ручных пил есть свой собственный небольшой рынок, который он пытается — по крайней мере должен пытаться — сохранить и расширить с помощью ценовой стратегии, стратегии качества («дифференциации продукта») и рекламы. Здесь перед нами иная ситуация, которая никак не вписывается в схему совершенной конкуренции и гораздо больше напоминает случай монополии. В таких случаях принято говорить о «монополистической конкуренции». Теория монополистической конкуренции является одним из важнейших достижений послевоенной экономической науки[9].

Остается рассмотреть большую группу относительно однородных продуктов, в основном это промышленное сырье и полуфабрикаты: стальные слитки, цемент, хлопковые полуфабрикаты и пр. В их производстве, кажется, отсутствуют предпосылки для монополистической

---

[8] Поэтому его можно считать предшественником позднейшей теории несовершенной конкуренции. Он не разрабатывал ее, но видел проблему гораздо правильнее, чем многие, кто ею специально занимался. В частности, он не преувеличивал ее значения.

[9] См. в особенности: Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959); Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции (М.: Прогресс, 1986).

конкуренции. В принципе это действительно так. Но на практике в этих отраслях господствуют гигантские фирмы, которые вместе или порознь в состоянии манипулировать ценами, даже не прибегая к дифференциации продукта, т. е. здесь существует «олигополия». И вновь модель монополии с соответствующими поправками гораздо лучше подходит к этому случаю, чем модель совершенной конкуренции.

В тех случаях, когда преобладает монополистическая конкуренция, или олигополия, или их комбинация, многие основные положения маршалловско-викселевской школы либо становятся неприменимыми, либо нуждаются в гораздо более сложных доказательствах. Это относится прежде всего к основополагающему понятию равновесия, т. е. предопределенного состояния экономического организма, к которому он всегда стремится и которое обладает некоторыми простыми свойствами.

В случае олигополии предопределенного состояния равновесия, как правило, вообще не существует. Здесь возможны бесконечные выпады и контрвыпады, военные действия между фирмами, которые неизвестно сколько будут продолжаться. Конечно, есть много специфических случаев, когда состояние равновесия теоретически существует и здесь. Но даже в этих случаях равновесия достичь гораздо труднее. Кроме того, на место «благотворной» конкуренции классиков здесь приходит «хищническая» борьба не на жизнь, а на смерть или состязание за контроль над финансовой сферой. Все это открывает массу возможностей для злоупотребления и расточительства, а ведь надо учесть еще издержки на проведение рекламных кампаний, препятствия на пути новых методов производства (скупка патентов для того, чтобы их никто не использовал) и т. д. И наконец, самое важное: даже если в этих условиях чрезвычайно дорогостоящим способом нам удается добиться равновесия, это вовсе не гарантирует нам ни полной занятости, ни максимального выпуска продукции, как это было в случае совершенной конкуренции. Равновесие здесь *может* совмещаться с неполной занятостью. И, похоже, *неизбежно* подразумевает уровень производства, не достигающий максимума, поскольку стратегия сохранения прибыли, невозможная при совершенной конкуренции, в данном случае становится не только возможной, но и неизбежной.

Ну что же, значит, мнение «человека с улицы» (если только это не бизнесмен) о частном предпринимательстве справедливо? Разве современный анализ не опроверг классическую доктрину и не оправдал точку зрения масс? Разве в конце концов мы не выяснили, что производство ради прибыли и производство ради потребления нечасто идут параллельными курсами, а частное предприятие представляет собой не более чем средство для сокращения производства с целью извлечения прибылей, которые, в свою очередь, правильно характеризуются как результат поборов и вымогательства?

Глава VII

ПРОЦЕСС «СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ»

Теории монополистической и олигополистической конкуренции в их доступном варианте могут быть использованы двумя группами оппонентов капитализма. Одни могут утверждать, что капитализм никогда не благоприятствовал максимизации производства и экономический рост происходил вопреки постоянному саботажу со стороны буржуазии. Сторонникам этой точки зрения придется доказать, что наблюдавшиеся темпы экономического роста вызваны некоторой последовательностью благоприятных обстоятельств, не связанных с механизмом частного предпринимательства и достаточно сильных, чтобы победить сопротивление буржуазии.

Этот вопрос мы подробно обсудим в гл. IX. Но приверженцы данного подхода имеют одно преимущество. В отличие от них представителям второй точки зрения надо объяснить, как капиталистическая действительность, которая вначале благоприятствовала максимальному или, по крайней мере, заметному росту производства, в дальнейшем под влиянием монополистических структур, убивающих конкуренцию, начала действовать в обратном направлении.

Для этого, во-первых, требуется придумать воображаемый золотой век совершенной конкуренции, который в определенный момент превратился в монополистический век, хотя очевидно, что совершенная конкуренция всегда была всего лишь абстракцией.

Во-вторых, следует учесть, что темпы прироста производства вовсе не сократились после 90-х годов прошлого века, начиная с которых мы можем отметить преобладание крупнейших концернов (во всяком случае, в обрабатывающей промышленности): никакого «перелома» в поведении показателей производства не отмечено. Самое же важное состоит в том, что современный уровень жизни масс сложился именно в эпоху сравнительно бесконтрольного господства «большого бизнеса». Если мы составим список предметов, покупка которых входит в потребительский бюджет современного рабочего, и проследим, как изменились их цены начиная с 1899 г., но не в деньгах, а в часах оплаченного рабочего времени — т. е. индекс в деньгах, деленный на индекс почасовой заработной платы за соответствующие годы, мы будем поражены ростом материального благосостояния рабочих, который, если учесть еще и повышение качества товаров, не только не уступал, но превосходил все предыдущие показатели. Если бы мы, экономисты, меньше предавались догадкам и больше смотрели на факты, мы сразу же усомнились бы в достоинствах теории, которая предсказывала совершенно противоположные результаты. Но это еще не все. Как только мы посмотрим на показатели производства отдельных товаров, то выяснится, что наибольшего прогресса добились не фирмы, работающие в условиях сравнительно свободной конкуренции, а именно круп-

ные концерны, которые к тому же способствовали прогрессу в конкурентном секторе (как, например, крупные производители сельскохозяйственной техники). В конце концов в наши души закрадывается ужасное подозрение: видимо, большой бизнес в гораздо большей степени способствовал повышению, чем снижению, уровня жизни.

Таким образом, выводы, к которым мы пришли в конце предыдущей главы, оказались на поверку неправильными. Однако они следуют из наблюдений и теорем, которые почти безупречны[1]. Дело в том, что экономисты и популяризаторы увидели какой-то аспект действительности. Они по большей части увидели его в правильном свете и сделали из этого формально правильные заключения. Но из такого фрагментарного анализа нельзя сделать никаких выводов о капиталистической действительности в целом. Если же мы сделаем такие выводы, то угадать можем только случайно. Такие попытки предпринимались, но счастливого случая так и не произошло.

Важно понять, что, говоря о капитализме, мы имеем дело с эволюционным процессом. Кажется странным, что кто-то может не замечать столь очевидного факта, важность которого давно уже подчеркивал Карл Маркс. Однако фрагментарный анализ, из которого мы черпаем большую часть наших выводов о функционировании современного капитализма, упорно его игнорирует.

Поясним сказанное и посмотрим, какое значение это имеет с точки зрения нашей проблемы.

Капитализм по самой своей сути — это форма или метод экономических изменений, он никогда не бывает и не может быть стационарным состоянием. Эволюционный характер капиталистического процесса объясняется не только тем, что экономическая жизнь протекает в социальной и природной среде, которая изменяется и меняет тем самым параметры, при которых совершаются экономические действия. Этот факт очень важен, и эти изменения (войны, революции и т. д.) часто влияют на перемены в экономике, но не являются первоисточниками этих перемен. То же самое можно сказать и о квазиавтоматическом росте населения и капитала, и о причудах монетарной политики. Основной импульс, который приводит капиталистический механизм в движение и поддерживает его на ходу, исходит от новых потребительских благ, новых методов производства и транспортиров-

[1] Именно почти. В частности, теория несовершенной конкуренции не может объяснить многочисленные и очень важные случаи, в которых даже на уровне статистического анализа модели несовершенной и совершенной конкуренции показывают приблизительно одинаковые результаты (объемы производства). В других случаях такого совпадения не наблюдается, но несовершенная конкуренция, хотя и приводит к меньшему объему производства, в то же время производит некоторую компенсацию, которая не учитывается в индексе промышленного производства, но вносит свой вклад в то, что этот индекс в конечном счете призван измерять. Это, например, случаи, в которых фирма защищает свой рынок, создавая себе высокую репутацию как поставщика высококачественных товаров или услуг. Но чтобы упростить изложение, мы не будем останавливаться на слабых местах самой теории.

ки товаров, новых рынков и новых форм экономической организации, которые создают капиталистические предприятия.

В предыдущей главе мы видели, что уровень жизни рабочего с 1760 по 1940 г. изменился в первую очередь не количественно, а качественно. Аналогична история развития сельского хозяйства. Начиная с первых попыток рационализировать севооборот, применить плуг и удобрения и кончая сегодняшними механизированными фермами, имеющими прочные связи с элеваторами и железными дорогами, — это история революций. То же самое можно сказать и об истории черной металлургии от печей, работавших на древесном угле, до наших современных печей, об истории энергетики от водяного колеса до современных электростанций, об истории транспорта от почтовой кареты до самолета. Открытие новых рынков, внутренних и внешних, и развитие экономической организации от ремесленной мастерской и фабрики до таких концернов, как «USSteel», иллюстрируют все тот же процесс экономической мутации, — если можно употребить здесь биологический термин, — который непрерывно революционизирует[2] экономическую структуру *изнутри*, разрушая старую структуру и создавая новую. Этот процесс «созидательного разрушения» является самой сущностью капитализма, в его рамках приходится существовать каждому капиталистическому концерну. Данный факт имеет двоякое отношение к нашей проблеме.

Во-первых, поскольку мы имеем дело с процессом, каждый элемент которого требует значительного времени для того, чтобы определить его основные черты и окончательные последствия, бессмысленно оценивать результаты этого процесса на данный момент времени: мы должны делать это за период, состоящий из веков и десятилетий. Любая система — не только экономическая, — полностью использующая все свои возможности для получения наилучшего результата в каждый данный момент времени, может в долгосрочном аспекте уступить системе, которая не делает этого *никогда*, поскольку краткосрочные преимущества могут обернуться долгосрочными слабостями.

Во-вторых, поскольку мы имеем дело с процессом органическим, то анализ того, что происходит в отдельном концерне или отрасли, может прояснить, как работают отдельные детали всего механизма, но не более того. Поведение того или иного предприятия следует оценивать только на фоне общего процесса, в контексте порожденной им ситуации. Необходимо выяснить его роль в постоянном потоке «созидательного разрушения», невозможно понять его вне этого потока или на основе гипотезы о неподвижности мира.

---

[2] Строго говоря, эти революции происходят не непрерывно, а дискретно и отделяются друг от друга фазами относительного спокойствия. Но весь процесс в целом действительно непрерывен, т. е. в каждый данный момент происходит или революция, или усвоение ее результатов. Обе эти фазы, вместе взятые, образуют так называемый экономический цикл.

Однако именно из этой гипотезы исходят современные экономисты, которые, исследуя, к примеру, ситуацию в олигополистической отрасли (т. е. отрасли, состоящей из нескольких крупных фирм), видят только хорошо известные меры и контрмеры, неизбежно ведущие к высоким ценам и ограничению производства. Они берут текущие величины параметров без учета прошлого и будущего и полагают, что они все поняли, если смогли объяснить поведение этих фирм с помощью принципа максимизации прибыли в данный момент. В работах теоретиков и докладах правительственных комиссий поведение таких фирм практически никогда не рассматривается как результат прошлого и как попытка справиться с ситуацией, которая быстро меняется, попытка фирм устоять, когда почва уходит у них из-под ног.

Иными словами, обычно проблему видят в том, как капитализм функционирует в рамках существующих структур, тогда как действительная проблема в данном случае состоит в том, как он создает и разрушает эти структуры.

Пока исследователь не признает этого, его работа бессмысленна. Но как только он это признает, его взгляд на капиталистическую практику и ее социальные результаты претерпевает существенное изменение[3].

Прежде всего надо пересмотреть традиционную концепцию конкуренции. Сейчас экономисты начинают признавать не только ценовую конкуренцию, но и конкуренцию политики сбыта. Как только это происходит, ценовой параметр теряет свое доминирующее положение в экономической теории. Однако до сих пор в центре внимания экономистов все еще находится конкуренция, протекающая в рамках неизменных условий, в частности неизменных методов производства и организационных форм. Но вопреки учебникам в капиталистической действительности преобладающее значение имеет другая конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой технологии, нового источника сырья, нового типа организации (например, крупнейших фирм). Эта конкуренция обеспечивает решительное сокращение затрат или повышение качества, она угрожает существующим фирмам не незначительным сокращением прибылей и выпуска, а полным банкротством.

По своим последствиям такая конкуренция относится к традиционной как бомбардировка к взламыванию двери. В этих условиях степень развития традиционной конкуренции не так уж важна: мощный механизм, обеспечивающий прирост производства и снижение цен, все равно имеет иную природу.

Едва ли необходимо упоминать о том, что конкуренция, о которой

[3] Следует отметить, что изменению подвергается только наша оценка экономической эффективности капитализма, а не наше отношение к нему с точки зрения морали. Моральное одобрение или осуждение совершенно независимо от нашей оценки социальной (и любой другой) результативности системы, если только подобно утилитаристам мы не отождествим их по определению.

мы сейчас ведем речь, оказывает влияние не только тогда, когда она уже есть, но и тогда, когда она является всего лишь потенциальной угрозой. Можно сказать, что она дисциплинирует еще до своего наступления. Бизнесмен ощущает себя в конкурентной ситуации даже тогда, когда он является полным монополистом в своей отрасли или когда правительственные эксперты не обнаруживают действенной конкуренции между ним и другими фирмами в его отрасли или смежных областях и делают вывод о том, что он ссылается на наличие конкурентов только для отвода глаз. Во многих случаях, хотя и не всегда, такая ситуация в конце концов порождает поведение очень близкое к тому, которое соответствует модели совершенной конкуренции.

Многие теоретики придерживаются противоположной точки зрения, которую легче всего проиллюстрировать на таком примере. Предположим, несколько розничных торговцев, действующих в одном районе, стремятся улучшить свои позиции, повышая качество обслуживания или создавая «дружескую атмосферу», но избегают ценовой конкуренции и торгуют по старинке, как принято в здешних местах. Если на этот рынок приходят новые торговцы, состояние квазиравновесия нарушается, но это вовсе не идет на пользу покупателям. Экономическое пространство для каждого из магазинов сокращается, их владельцам становится трудно свести концы с концами, и они пытаются выйти из положения, повысив цены по тайному соглашению. Это еще более сократит их продажи и т. д. В итоге рост потенциального предложения будет сопровождаться ростом цен и падением продаж, а не наоборот.

Такие случаи действительно встречаются и с ними, стоит разобраться. Но на практике они встречаются в секторах, наименее типичных для капиталистической экономики[4]. Кроме того, они преходящи по самой своей природе. В нашем примере с розничной торговлей настоящая, ощутимая конкуренция возникает не от появления новых магазинов того же типа, а со стороны универмагов, сетей магазинов, торгующих по почте, и супермаркетов, которые рано или поздно разрушают старую отраслевую структуру[5].

Теория, игнорирующая этот существенный аспект конкуренции, тем самым упускает из виду все, что в ней есть собственно капиталистического. Даже если она не противоречит логике и фактам, она похожа на постановку «Гамлета» без принца Датского.

---

[4] Ср. также теорему, которая часто фигурирует в теории несовершенной конкуренции: теорему о том, что в условиях несовершенной конкуренции производственные и торговые фирмы имеют иррационально малые размеры. Поскольку в то же время предполагается, что несовершенная конкуренция является наиболее характерным признаком современной экономики, нам остается только удивляться тому, каким видят мир экономисты. Очевидно, они имеют дело с миром, состоящим целиком из исключений.

[5] Однако угроза их вторжения не окажет на мелких лавочников обычного дисциплинирующего воздействия: их сильно ограничивает заданный уровень издержек. Как бы умело они ни вели свое хозяйство, они не смогут бороться с конкурентами, которые могут себе позволить продавать товар по цене, не превышающей закупочную цену мелких магазинов.

Глава VIII

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Сказанного выше вообще-то достаточно, чтобы читатель смог разобраться в подавляющем большинстве случаев, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, и опровергнуть тех критиков капиталистической экономики, которые явно или неявно основывают свою аргументацию на отсутствии при капитализме совершенной конкуренции. Однако, поскольку связь между нашими доводами и взглядами некоторых из этих критиков не столь очевидна, несколько моментов следует разъяснить.

1. Мы только что установили, что воздействие новшеств, например новых технологий, на существующие отраслевые структуры в долгосрочном аспекте препятствует стратегии ограничения производства, сохранению господствующих позиций и максимизации прибыли. Теперь мы узнаем, что такого рода ограничительная стратегия приобретает в процессе созидательного разрушения новое значение, которым она не обладает в стационарном состоянии или в состоянии медленного и сбалансированного роста. В двух последних случаях ограничительная стратегия ведет лишь к увеличению прибыли за счет покупателей, а в случае сбалансированного роста она может быть также самым простым и эффективным способом накопления средств для финансирования дополнительных инвестиций[1].

В процессе же созидательного разрушения ограничительная стратегия может помочь стабилизировать корабль капиталистической экономики, облегчить временные трудности. Этот довод всегда всплывает во времена депрессии и, как известно, пользуется популярностью у правительств и их экономических советников (ср. опыт NRA)*. Им много раз злоупотребляли, и это привело к таким неприятностям, что большинство экономистов всем сердцем презирают его. Однако даже те советники, которые им злоупотребляют[2], не видят более общих аргументов в его пользу.

---

[1] Теоретики считают последнее положение грубой ошибкой. Они доказывают, что финансировать капиталовложения за счет кредитов, банков и частных лиц, а для государственных предприятий — за счет сбора подоходного налога гораздо более рационально, чем использовать для этого избыточную прибыль, полученную с помощью ограничительной политики. Для некоторых случаев это верно. Для других — совершенно неверно. Я считаю, что и капитализм, и коммунизм русского типа относятся ко второй категории. Но главное состоит в том, что с помощью одних лишь теоретических доводов, в особенности краткосрочного характера, мы не сможем решить проблему, с которой вновь столкнемся в следующей части.

* National Recovery Act, закон, легший в основу политики «Нового курса» администрации Ф.Д. Рузвельта. — *Прим. ред.*

[2] В частности, легко показать, что политика, направленная на сохранение «соотношения цен», бессмысленна и во многом вредна.

Практически каждое капиталовложение как необходимый элемент предпринимательского действия требует некоторых предохраняющих мер: страховки или хеджирования. Долгосрочное инвестирование в обстановке, которая быстро меняется или может измениться в любой момент из-за появления новых товаров или технологий, напоминает стрельбу по мишени, которая не только плохо видна, но и движется, причем движется рывками. Поэтому необходимо прибегать к таким средствам защиты, как патенты, сохранение на какое-то время технологических процессов в тайне, а в некоторых случаях — заключение контрактов на долгий срок. Но эти защитные средства, которые большинство экономистов считают обычным компонентом рационального менеджмента[3], — это только частные случаи более широкого класса мер, многие из которых экономисты проклинают, хотя в сущности они ничем не отличаются от «признанных».

Если, к примеру, существует возможность застраховаться на случай войны, никто не осудит фирму за то, что она включит стоимость страховки в цену своего продукта. Но риск войны входит в долгосрочные издержки и тогда, когда не существует соответствующих страховых институтов. Просто в этом случае стратегия фирмы будет включать в себя «необоснованное» ограничение производства и приведет к получению избыточной прибыли. Аналогично, если нельзя приобрести патент или если патентная защита неэффективна, фирма должна прибегнуть к другим средствам для того, чтобы обезопасить свои инвестиции. К этим средствам относится и такая ценовая политика, которая позволит списать основной капитал быстрее, чем требовалось бы, или дополнительные инвестиции, которые позволят создать избыточные мощности и на случай атаки или, напротив, обороны от потенциальных конкурентов. Опять-таки, если бы долгосрочные контракты нельзя было заключать заранее, пришлось бы изобрести другие средства для того, чтобы привязать к инвестирующей фирме будущих покупателей.

Анализируя такие стратегии со статической точки зрения, экономист-исследователь или правительственный чиновник приходит к выводу, что такая ценовая стратегия является хищнической, а ограничение производства означает для общества чистую потерю. Он не видит, что в условиях непрерывного потока нововведений ограничения такого типа являются всего лишь моментами (часто неизбежными) долгосрочного процесса экспансии, который они скорее поддерживают, чем тормозят.

Этот тезис не более парадоксален, чем, например, такой: автомобиль ездит быстрее, *потому что* у него есть тормоза.

---

[3] Однако некоторые экономисты даже их считают препятствием на пути прогресса, которые необходимы при капитализме, но исчезнут в социалистическом обществе. Доля правды в этом есть. Но это не опровергает того тезиса, что защита, предоставляемая патентами и т. п. *в условиях экономики, основанной на прибыли*, в целом является прогрессивным, а не сдерживающим фактором.

2. Особенно ярко это проявляется в тех секторах экономики, в которых новые продукты и новые методы производства влияют на структуру отрасли постоянно. Для того чтобы живо и наглядно представить себе стратегию фирмы, лучше всего рассмотреть поведение новых концернов или даже новых отраслей, которые направлены на изготовление нового товара или внедрение новой технологии (например, алюминиевой промышленности) либо на частичную или полную реорганизацию существующей отрасли (например, прежняя «Standard Oil Company»).

Как мы уже отмечали, такие концерны — агрессоры по природе, в их руках находятся эффективные орудия конкурентной борьбы. Лишь в редчайших случаях их вторжение не увеличивает количества и не повышает качества производимой продукции. Здесь сказывается как сам новый метод производства, — даже если он никогда не используется на полную мощность, — так и давление, которое он оказывает на уже действующие в отрасли фирмы. Но наступательное и оборонительное орудие агрессора включает не только цену и количество выпускаемого продукта, но и другие стратегические виды вооружений, воздействие которых сказывается за долгий срок, но в каждый дискретный момент времени сводится, как представляется на первый взгляд, лишь к ограничению производства и удерживанию высоких цен.

С одной стороны, далеко идущие планы во многих случаях не смогли бы воплотиться в жизнь, если бы с самого начала не было известно, что потенциальных конкурентов отпугнет необходимость огромных вложений капитала, или недостаток опыта, или наличие в арсенале фирмы специальных средств для их отпугивания. Все это должно предоставить фирме время и пространство для дальнейших шагов. Даже завоевание финансового контроля над конкурентом, с которым не удается справиться иными способами, или приобретение привилегий, противоречащих общественному чувству справедливости, например льготные железнодорожные тарифы, предстают перед нами в новом свете постольку, поскольку речь идет об их долговременном влиянии на объем производства:[4] они *могут* устранять препятствия, которые институт частной собственности ставит на пути прогресса.

---

[4] Наше уточнение, как мне кажется, устраняет любые недоразумения, которые может вызвать такая формулировка. Если же его недостаточно, я еще раз повторю, что моральный аспект в данном случае, как и в любом другом, совершенно не затрагивается экономическими доводами. Кроме того, прошу читателя поразмышлять над тем, что, даже имея дело с бесспорными нарушениями закона, цивилизованный судья и цивилизованные присяжные принимают во внимание конечную цель, ради которой было совершено преступление, и общественные последствия, которые оно имело. Другое возражение имеет большее значение. Если предприятие может преуспеть только с помощью таких средств, не означает ли это, что оно не может принести пользу обществу? Этот тезис можно весьма просто доказать. Однако он имеет смысл только при весьма строгих оговорках, касающихся «прочих равных». Иными словами, этот довод справедлив только, если абстрагироваться от процесса созидательного разрушения, т. е. от капиталистической действительности. В том, что это действительно так, можно убедиться на аналогичном примере с патентами.

В социалистическом обществе это время и пространство также понадобятся, но там их обеспечивает приказ центральных властей.

С другой стороны, предприятие в большинстве случаев не сможет возникнуть, если с самого начала не будет известно, что в будущем его ждут исключительно благоприятные ситуации, которые при правильном манипулировании ценой, качеством и количеством продукта принесут столько прибыли, что она покроет убытки от исключительно неблагоприятных ситуаций, которые могут случиться при том же самом управлении. Это опять же требует стратегии, которая в краткосрочном аспекте является ограничительной. В большинстве удачных случаев такая стратегия с большим трудом достигает цели. Но в некоторых случаях прибыль бывает так велика и настолько превышает минимально необходимый уровень, что это привлекает новые инвестиции. Эти приманки завлекают капитал на неведомые дороги. Их наличие частично объясняет, почему такая большая часть капиталистов работает, по существу, бесплатно: в середине отмеченных процветанием 20-х годов около половины всех американских корпораций приносили убытки, нулевую прибыль или же такую прибыль, которая, если бы фирма могла ее предвидеть, никогда не побудила бы ее к сделанным усилиям и затратам.

Однако наши аргументы относятся не только к новым концернам, технологиям и отраслям. Старые концерны и давно возникшие отрасли независимо от того, подвергаются они прямой атаке или нет, также испытывают на себе влияние потока нововведений. В процессе созидательного разрушения возникают ситуации, когда многие фирмы погибают, хотя если бы они пережили эту бурю, то смогли бы существовать и дальше с немалой пользой для общества.

Помимо этих общих кризисов и депрессий, в отдельных отраслях также возникают ситуации, когда резкая перемена параметров, столь характерная для упомянутого процесса, временно дезорганизует отрасль, что ведет к бессмысленным потерям и безработице, которой можно было бы избежать. Конечно, не следует сохранять устаревшие отрасли бесконечно, но надо постараться избежать краха и превратить хаос, который может породить кумулятивную реакцию во всей экономике, в упорядоченное отступление. Аналогично в отраслях, которые уже «сняли сливки», но еще продолжают расширяться, может существовать такое явление, как упорядоченное наступление[5].

[5] Хорошим примером, как и для многих других наших общих положений, может послужить послевоенная история американской автомобильной промышленности и производства синтетических волокон. Первый пример хорошо иллюстрирует сущность и значение того явления, которое можно назвать «отредактированной» конкуренцией. Период процветания здесь подошел к концу около 1916 г. Тем не менее уже после этого рубежа ▶

Конечно, все это не более чем соображения элементарного здравого смысла. Но его не замечают столь упорно, что поневоле возникает подозрение в неискренности. А из всего сказанного следует, что в рамках процесса созидательного разрушения, все характеристики которого теоретики обычно отправляют в специальные монографии и разделы об экономических циклах, мы различали иную сторону экономической самоорганизации, нежели ту, которую созерцают упомянутые теоретики. Ограничения торговли карательного типа, как и неявная координация ценовой политики, могут быть эффективными мерами в условиях депрессии. В конце концов они могут привести не только к более устойчивому, но и более быстрому росту производства по сравнению с совершенно неконтролируемым движением вперед, которое обязательно сопровождается катастрофами. Конечно, можно утверждать, что эти катастрофы неминуемы в любом случае. Однако мы твердо знаем только то, что на самом деле произошло бы в отсутствие этих «ограждений», особенно если принять во внимание потрясающие темпы, которыми развивался процесс созидательного разрушения.

Хотя мы развили и расширили нашу аргументацию, но, конечно, не охватили всех случаев применения ограничительной или регулирующей стратегии. Многие из них, без сомнения, оказывают на экономический рост долговременное вредное воздействие, которое некритически приписывается всем случаям без исключения. И даже в тех случаях, к которым имеют отношение наши аргументы, результирующее воздействие зависит от привходящих обстоятельств и от той степени, в которой отрасль поддается саморегулированию. Разумеется, можно представить себе такую ситуацию, когда всеохватывающая система картелей парализует всякий прогресс, но точно так же можно предпо-

---

Продолжение сноски со стр. 467.

в отрасль проникло много новых фирм, большинство которых к 1925 г. были ликвидированы. После жесткой борьбы не на жизнь, а на смерть образовались три концерна, к настоящему времени сосредоточившие в своих руках более 80% продаж. Несмотря на твердые позиции в отрасли, прекрасную организацию сбыта и обслуживания, они находятся под постоянным давлением конкуренции, поскольку любое отставание в качестве продуктов или попытки установить в отрасли монополистическую структуру привлекут в нее новых конкурентов. Между собой три концерна поддерживают отношения, которые можно назвать скорее взаимно уважительными, чем конкурентными: они воздерживаются от некоторых агрессивных приемов (которые, кстати, существуют и в мире совершенной конкуренции), они стремятся держаться вровень друг с другом и набирают очки в пограничных стычках. Такая ситуация продолжается уже более пятнадцати лет. При этом вовсе не очевидно, что, если бы в этой отрасли господствовала совершенная конкуренция, покупатели получили бы лучшие по качеству или более дешевые машины, а рабочие — более высокую заработную плату и более устойчивую занятость. Страна, производящая синтетические волокна, пережила период расцвета в 1920-е годы. Этот пример еще более ярко показывает нам, что происходит, когда товар вторгается в отрасль, где все места ранее были заняты. Есть и несколько других различий. Но, по сути дела, это тот же случай. То, что объем производства и качество вискозы улучшились, известно всем. Но в ходе этого бума в каждый момент времени господствовала ограничительная политика.

ложить, что она достигает всех целей, которых призвана достичь совершенная конкуренция, но с меньшими общественными и частными издержками. Поэтому наша аргументация вовсе не направлена против государственного антимонополистического регулирования. Мы лишь показали, что поддерживать любой трест столь же неуместно, как осуждать любое ограничение торговли. Рациональное в отличие от эмоционального государственное регулирование оказывается крайне деликатной задачей, которую можно доверить далеко не всякому государственному ведомству, а тем паче тому, которое громогласно обличает большой бизнес[6].

Из наших рассуждений, опровергающих господствующую *теорию* и сделанные из нее выводы о влиянии современного капитализма на темпы экономического роста, вытекает *другая* теория, т. е. иной взгляд на факты и иной принцип их интерпретации. Для наших целей этого достаточно. В остальном же пусть факты говорят сами за себя.

3. Теперь несколько слов о проблеме «жестких цен», которая активно обсуждается в последнее время. На самом деле это один из аспектов той общей проблемы, которую мы здесь рассматривали. Жесткость цен мы определим следующим образом: цена является жесткой, если она менее чувствительна к изменениям спроса и предложения, чем предполагает модель совершенной конкуренции[7].

Количественная оценка жесткости цен в нашем смысле зависит от выбора данных и метода измерения и поэтому ненадежна. Но при любых данных и любом методе измерения очевидно, что цены на самом деле не являются настолько жесткими, как это представляется. В силу многих причин некоторые изменения цен не учитываются в статистике и жесткость их оказывается мнимой. Я остановлюсь лишь на одной из этих причин, тесно связанной с такими фактами, которые лежат в центре нашего анализа.

Я почеркивал важность вторжения новых благ для капиталистического процесса вообще и механизма конкуренции в частности. Но новое благо может уничтожить существовавшую ранее отраслевую структуру и удовлетворить имеющуюся потребность по более низкой цене на единицу полезного эффекта (например, за перемещение груза на данное

---

[6] К сожалению, эта откровенно нигилистическая позиция затрудняет достижение согласия по поводу государственной регулирующей политики. Дискуссия по этим вопросам приобретает ожесточенный характер. Политики, государственные служащие и экономисты могут легко выдержать радикальную оппозицию экономических роялистов. Гораздо труднее им вынести сомнения в их компетентности, которые в изобилии возникают у нас, в особенности тогда, когда мы наблюдаем законотворческий процесс.

[7] Это определение достаточно для наших целей, но неудовлетворительно для других. См. статью Д.Д. Хамфри («Journal of Political Economy». 1937. October) и Э.С. Мейсона («Review of Economics and Statistics». 1938. May). Профессор Мейсон среди прочего показал, что, вопреки широко распространенному убеждению, жесткость цен не возрастает, во всяком случае, она не увеличилась за последние сорок лет. Этот результат сам по себе опровергает некоторые выводы современной теории жестких цен.

расстояние) без какого бы то ни было изменения цен существовавших благ, реальная гибкость цен может сочетаться с их формальной жесткостью. Есть и другие случаи, когда новый образец изделия внедряется только ради снижения цены, при этом цены на старые образцы остаются неизменными. Это еще один пример скрытого снижения цен.

Далее, подавляющее большинство новых потребительских товаров, в частности все мелочи современного обихода, вначале появляются в несовершенном виде как опытные образцы. В таком виде они никогда не смогли бы покорить потенциальный рынок. Поэтому улучшение качества продуктов — это практически всеобщее явление, сопровождающее развитие отдельных концернов и отраслей. Независимо от того, связано это повышение качества с дополнительными издержками или нет, неизменные цены на единицу улучшаемого товара нельзя называть жесткими без дополнительных исследований.

Разумеется, есть множество случаев, когда цены действительно являются жесткими: они держатся на постоянном уровне, поскольку этого требует политика фирмы или поскольку их вообще трудно изменить (например, цена, установленная участниками картеля после долгих и трудных переговоров). Для того чтобы оценить долговременное влияние этого факта на темпы прироста промышленного производства, надо прежде всего отдавать себе отчет в том, что жесткость цен по самой своей природе — краткосрочный феномен. Мы не сможем найти ни одного существенного примера длительной жесткости цен. Какую бы отрасль или группу товаров мы ни взяли, мы практически всегда установим, что, если взять сравнительно долгий период, цены всегда адаптируются к техническому прогрессу, — часто они при этом заметно падают[8], — если только этому не препятствуют денежная политика или автономные изменения уровня заработной платы. Эти последние факторы, разумеется, следует учесть при корректировке данных так же, как и изменение качества продуктов[9]. Основу этой связи, действующей в процессе капиталистической эволюции, раскрывает весь наш предшествующий анализ.

---

[8] Как правило, их падение бывает меньше, чем предписывает модель совершенной конкуренции. Но это правило действует лишь *при прочих равных*, что лишает его всякого практического значения. Я уже упоминал об этом моменте выше и вернусь к нему ниже в пункте 5.

[9] С точки зрения теории благосостояния целесообразно использовать определение, отличное от нашего, и измерять изменение цен в часах труда, необходимых для того, чтобы заработать на определенное количество потребительских товаров с учетом изменений в качестве. Мы уже делали так выше. При таком измерителе гибкость цен и процесс их постепенного снижения просматриваются наиболее ясно. Изменения общего уровня цен представляют собой отдельную проблему. Если они отражают чисто монетарные факторы, от них необходимо абстрагироваться при анализе жесткости цен. Но в той мере, в какой в них отражается общий эффект возросшей производительности во всех отраслях производства, их следует учесть.

Целью проводимой фирмой стратегии жестких цен на самом деле является избежание сезонных, случайных и циклических колебаний цен, они должны меняться только в ответ на глубокие изменения в экономических условиях. Поскольку эти глубокие изменения проявляются не сразу, такая стратегия должна предусматривать дискретные пересмотры цен: цены поддерживаются на постоянном уровне, пока не станут различимы контуры новой экономической ситуации. Говоря формально, эта стратегия предполагает, что движение цен должно описываться ступенчатой функцией, приближающейся к тренду.

В большинстве случаев истинная и сознательно осуществляемая политика жестких цен сводится именно к этому. Большая часть экономистов признает это хотя бы негласно. Дело в том, что, хотя некоторые их доводы применимы лишь к долгосрочному анализу, — например, аргументы, доказывающие, что жесткие цены мешают потребителям пользоваться плодами технического прогресса, — на практике экономисты измеряют и обсуждают прежде всего жесткость цен в цикле, и в особенности тот факт, что многие цены вовсе не падают или недостаточно быстро падают во время спада и депрессии. Таким образом, на самом деле вопрос должен ставиться так: как эта краткосрочная жесткость цен[10] может повлиять на долгосрочный экономический рост. Причем единственный, на самом деле важный момент здесь состоит в следующем: цены, которые снижаются во время спада и депрессии, несомненно, влияют на экономическую ситуацию в этих фазах цикла. Если влияние это резко отрицательное, т. е. ухудшающее ситуацию по сравнению с состоянием совершенной конкуренции, то оно должно плохо сказаться и на последующих оживлениях и подъемах и в итоге темп прироста производства сократится ниже уровня, который существовал бы в отсутствие жестких цен.

В оправдание такой точки зрения выдвигаются два довода. Чтобы как можно яснее изложить первый из них, предположим, что существует отрасль, в которой цены во время спада не понижаются, а количество произведенного продукта остается неизменным. В этом случае покупателям придется дополнительно раскошелиться на сумму, которая и составляет выигрыш отрасли от жесткости цен. Если же покупатели тратят все, что могут, а продавцы не расходуют поступившие к ним дополнительные средства, а сберегают их или выплачивают с их

[10] Следует, однако, отметить, что «краткий срок» в данном случае может быть дольше, чем это обычно подразумевается, — десять лет или еще дольше. Существуют не один цикл, а несколько, происходящих одновременно и имеющих различную деятельность. Один из наиболее важных продолжается в среднем девять с половиной лет. Примерно за такой срок происходят и важные структурные сдвиги, требующие изменения цен. Полное воздействие особенно значительных структурных изменений проявляется на протяжении более длительных периодов. Чтобы разобраться в движении цен на алюминий, вискозу, автомобили, требуется изучить период около 45 лет.

помощью долги банкам, то общая величина расходов в экономике сократится. В этом случае пострадают и другие отрасли и фирмы. Если же и они в свою очередь будут проводить ограничительную политику, то мы получим кумулятивный процесс распространения депрессивных явлений. Иными словами, жесткость цен сократит величину национального дохода или увеличит праздно лежащие денежные средства, которые не совсем корректно называть сбережениями.

Такой случай в принципе возможен. Но читателю нетрудно убедиться в том, что практическая значимость его очень мала или вовсе отсутствует[11].

Второй аргумент основан на том, что жесткость цен может привести к дополнительному сверхнормальному сокращению производства в отдельной отрасли или секторе экономики, что, в свою очередь, вызовет диспропорциональность. Поскольку наиболее важными механизмами в распространении этих эффектов являются рост безработицы — упрек в дестабилизации занятости вообще наиболее часто предъявляется жестким ценам — и соответствующее сокращение совокупных расходов, этот аргумент в дальнейшем совпадает с первым. Его практическую важность значительно сокращает — правда, экономисты расходятся в оценках, насколько значительно, — тот факт, что в наиболее ярких случаях жесткость цен мотивируется именно низкой чувствительностью спроса к краткосрочным изменениям цены в определенных рамках. Люди, которые во время спада беспокоятся о своем будущем, не станут покупать новый автомобиль, даже если он будет продаваться с 25-процентной скидкой, в особенности если покупку можно легко отложить, а падение цен, как ожидается, продолжится и в будущем.

Однако независимо от всего этого данный аргумент неубедителен, поскольку его действие вновь оговорено предпосылкой о «прочих равных», которая неприменима к нашему процессу «созидательного разрушения». Из того факта (в той мере, в какой это действительно факт), что при более гибких ценах можно при прочих равных продать больше товаров, еще не следует, что выпуск данных товаров или совокупное производство и занятость возрастут. Мы предполагаем, что отказ от снижения цен усиливает позиции соответствующих отраслей, увеличивая получаемую ими прибыль или препятствуя хаосу на рынках, т. е. не является с их стороны простой ошибкой. Поэтому в ре-

[11] Лучший способ убедиться в этом состоит в том, чтобы внимательно рассмотреть смысл всех используемых предпосылок не только в приведенном воображаемом случае, но и в более реалистических вариантах. Кроме того, не следует забывать, что прибыль, полученная от неснижения цен, может быть средством избежать банкротства или, по крайней мере, приостановки операций. И та, и другая напасть может породить «порочный круг» спада с гораздо большим «успехом», чем возможное сокращение совокупных расходов. См. также наши рассуждения по поводу второго аргумента.

зультате этой политики на месте возможных очагов опустошения возникают крепости. Как мы уже убедились, рассматривая вопрос с более общей точки зрения, совокупное производство и занятость при ограничительной политике могут быть выше, чем в том случае, когда спад беспрепятственно нарушит установившуюся структуру цен[12]. Иными словами, в условиях, созданных капиталистической эволюцией, полная и всеобщая гибкость цен во время спада может только дестабилизировать систему, а не наоборот, как считает общая теория. Это часто признают экономисты, симпатизирующие интересам какой-либо части общества, например рабочим или фермерам: они охотно соглашаются с тем, что за жесткостью цен на самом деле скрывается целенаправленная адаптация к новым условиям.

Возможно, читатель несколько удивлен, что от столь знаменитой в последние годы теории осталось так мало. Ведь некоторые уже поверили, что жесткость цен представляет собой важный дефект капиталистической системы и чуть ли не главную причину спадов. Но удивляться здесь нечему. Люди и группы людей готовы ухватиться за любое «открытие», отвечающее современной политической тенденции. Теория жестких цен, содержащая некоторую долю истины, являет собой далеко не худший пример такого рода.

4. Другую доктрину можно коротко сформулировать так: в эпоху большого бизнеса главной целью предпринимательской деятельности становится сохранение ценности сделанных инвестиций — сохранение капитала. Это грозит положить конец всем усовершенствованиям, направленным на сокращение издержек. Следовательно, капиталистический строй оказывается несовместимым с прогрессом.

Как мы убедились, прогресс подразумевает разрушение тех капитальных ценностей, с которыми конкурирует новый товар или новый метод производства. В условиях современной конкуренции старые производственные мощности должны быть приспособлены к новым условиям (процесс, требующий дополнительных издержек) или уничтожены. Но в отраслях, где нет совершенной конкуренции и производство контролируется несколькими крупными концернами, у последних есть достаточно возможностей для того, чтобы отбить атаки, которым подвергаются их капиталы, и избежать убытков на капитальных счетах; короче говоря, они могут потягаться и с самим прогрессом.

До тех пор, пока в этой доктрине речь идет об особом аспекте ограничительной стратегии, нам нет нужды добавлять что-либо к сказанному выше в этой главе. Это относится как к пределам данной стратегии, так и к ее функции в процессе созидательного разрушения.

---

[12] Теоретик сказал бы, что во время спада кривая спроса может сдвинуться вниз резче, если из-под всех цен будут убраны подпорки.

Это еще более очевидно, если мы отметим, что сохранить капитал — это то же самое, что сохранить прибыль. В современной теории понятие «текущая чистая ценность активов» (или, что то же самое, капитальная ценность) часто употребляется вместо понятия «прибыль». Разумеется, и ценность активов, и прибыль не просто сохраняются, но и максимизируются.

Но тезис о том, что современные концерны саботируют развитие сокращающих издержки технологий, все же нуждается в комментарии. Немного поразмышляв, мы поймем, что здесь достаточно рассмотреть пример концерна, контролирующего определенный вид технологии — скажем, защищенное патентом изобретение, использование которого вызывает обесценение и списывание полностью или частично имеющихся у фирмы машин и оборудования. Воздержится ли фирма от использования этого изобретения для того, чтобы сохранить свой капитал в случае, если ею управляют социалистические управляющие, движимые не капиталистическим интересом, которые могут и должны использовать это изобретение ради всеобщего блага?

И вновь возникает естественное искушение обратиться к фактам. Как только современный концерн может себе это позволить, он тут же заводит исследовательский отдел, каждый сотрудник которого получает деньги за изобретение новых усовершенствований. Очевидно, здесь нет никакого стремления замедлить технический прогресс. Нам могут указать на то, что патенты, изобретаемые концернами,часто используются не сразу или не используются вовсе. Но на это могут быть свои причины: например, запатентованный процесс может оказаться не таким уж замечательным или, по крайней мере, не подходить для коммерческого употребления. Судить об этом не может ни сам изобретатель, ни исследователь-экономист, ни государственный чиновник: их мнения могут дать нам неадекватную оценку[13]. Но нас интересуют теоретические вопросы. Каждый согласится с тем, что и частное, и социалистическое руководство предприятий будет внедрять новый метод производства, если он сокращает величину совокупных издержек, приходящихся на единицу продукта. Если же это условие не выполняется, то предполагается, что управляющий частного предприятия не станет внедрять метод, сокращающий издержки, пока имеющиеся машины и оборудование не будут целиком списаны, тогда как социалистический управляющий, действуя на благо общества и не обращая

[13] Кстати, заметим, что ограничительная политика этого вида, если она представляет собой достаточно распространенное явление, оказывает положительное воздействие на общественное благосостояние. Ведь те же критики, которые любят говорить о саботаже прогресса, в то же время подчеркивают общественные издержки, в особенности безработицу, с которыми связан быстрый капиталистический прогресс и которые могут быть смягчены, если этот прогресс будет немного медленнее. В конце концов, они должны сами решать, что им больше нравится: ускорение или замедление технического прогресса.

внимания на ценность капитала, тут же внедрит любой сокращающий издержки метод. Однако это неверно[14].

Частный управляющий, если им движет мотив прибыли, заинтересован в сохранении ценности зданий и машин не более чем гипотетический социалистический управляющий. Частный управляющий стремится максимизировать текущую чистую ценность совокупных активов, равную дисконтированной ценности ожидаемых чистых доходов от них. Это означает, что он всегда внедрит новый метод производства, если он, как предполагается, даст больший поток будущего дохода на единицу будущих вложений — и та, и другая величины дисконтируются и приводят таким образом к настоящему моменту — по сравнению с тем методом, который используется ныне. Ценность прошлых инвестиций, независимо от того, сопровождались ли они выпуском облигаций, задолженность по которым следует погасить, не интересует его вовсе или, по крайней мере, интересует не больше, чем социалистического управляющего в сходной ситуации. Возможно, что использование старых машин позволит сократить будущие издержки по сравнению с тем вариантом, когда новый метод вводится немедленно и полностью. В таком случае их остаточная производственная ценность, конечно, учитывается и капиталистическим, и социалистическим управляющим. Во всех остальных случаях старые инвестиции не учитываются ни тем, ни другим, и любая попытка сохранить их будет противоречить максимизации прибыли, так же как и правилам поведения социалистического управляющего.

Неверно и то, что частные фирмы, оборудованию которых угрожает обесценение, если будет применен новый метод, который они же сами контролируют, — если не контролируют, то никаких проблем нет и повода для упреков тоже, — внедряют последний лишь тогда, когда совокупные издержки на единицу продукции при новом методе меньше, чем при старом, или тогда, когда старые производственные мощности полностью списаны *в соответствии с нормой списания, существовавшей до появления нового метода.* Ведь если новые машины, как ожидается, должны работать и по истечении первоначально рассчитанного срока работы старых, то их остаточная дисконтированная ценность, приведенная к концу этого срока, является дополнительным активом, ценность которого надо учитывать. По схожим причинам нельзя утверждать, что социалистический управляющий, действующий рационально, всегда незамедлительно внедрит любой новый метод, если он обещает снижение удельных издержек, и

[14] Следует заметить, что, даже если бы этот аргумент был правильным, с его помощью нельзя было бы доказать тезис о «несовместимости» капитализма с техническим прогрессом. Единственное, что можно было бы доказать с его помощью, это существование в некоторых случаях умеренной величины блага в процессе внедрения нового метода.

что это всегда принесет пользу обществу. И еще один момент[15], который здесь важно учитывать и который, как правило, упускают из виду. Речь идет о том, что можно было бы назвать сохранением капитала ex ante в ожидании будущего улучшения дел. Часто, а может быть, всегда перед концерном не стоит вопрос, внедрять или не внедрять новый метод производства, который является оптимальным и может в данном виде просуществовать определенный период времени. Как правило, машина нового типа является лишь звеном в общей цепи усовершенствований и в любое время может устареть. Очевидно, что в подобных случаях было бы нерационально последовательно внедрять всю цепь, звено за звеном, не обращая внимания на потери капитала. Следовательно, главный вопрос состоит в том, с какого звена начать. Ответ на этот вопрос может быть лишь компромиссом между различными соображениями, основанными преимущественно на догадках. Как известно, для того, чтобы принять решение, требуется немного подождать, чтобы проследить за тем, как будет вести себя вся цепь. Но новичку, смотрящему со стороны, это выжидание может тем временем показаться попыткой удушить нововведение для того, чтобы сохранить ценность *существующего* капитала. Однако самый терпеливый товарищ возмутился бы, если бы социалистический управляющий был настолько глуп, чтобы послушаться теоретика, предлагающего ему списывать все сооружения, машины и оборудование каждый год.

5. Большая часть этой главы посвящена фактам и проблемам, которые в обыденном словоупотреблении связываются с монополией и монополистическим поведением. Однако до сих пор я воздерживался от употребления этих терминов, предполагая обсудить их в специальном пункте, в котором, впрочем, читатель не найдет ничего такого, чего мы уже так или иначе не касались.

а) Начнем с самого термина. Монополист означает «единственный продавец». Следовательно, монополистом по определению является всякий, кто продает нечто, отличающееся по любому признаку (включая упаковку, расположение торговой точки и способ обслуживания) от того, что продают другие: любой лавочник или продавец мороженого, организационно не связанный с другими продавцами мороженого данного сорта. Однако, говоря о монополистах, мы имеем в виду нечто иное, а именно таких единственных продавцов, чьи рынки закрыты для потенциальных продавцов того же самого товара и имеющихся продавцов аналогичных товаров. Иными словами, речь идет о таких единственных продавцах, кривая спроса на продукцию которых

[15] Разумеется, можно выделить и много других моментов, однако, рассматривая несколько принципиальных вопросов, мы не можем уделить должное внимание всем затронутым темам.

не зависит ни от их собственных действий, ни от реакции на эти действия других фирм. Традиционная теория монополии Курно—Маршалла, развитая и дополненная более поздними авторами, справедлива только при данном определении. Называть же монополией что-то другое, к чему эта теория неприменима, видимо, не имеет смысла.

Но при таком определении становится очевидным, что чистые явления длительной монополии крайне редки и даже приближенные к ней ситуации встречаются реже, чем случаи совершенной конкуренции.

В условиях чистого капитализма возможность эксплуатировать по своему усмотрению неизменный уровень спроса — или уровень, изменение которого не зависит от действий монополиста и от реакции, которую они вызывают, — не может существовать достаточно долго, чтобы оказать влияние на общий объем производства, за исключением тех случаев, когда за такой монополией стоит государственная власть (например, фискальной монополии).

Трудно найти или даже представить себе современный концерн, не пользующийся в полной мере государственной поддержкой (даже если он защищен импортными пошлинами или ограничениями), который обладал бы такой властью в течение длительного времени. Даже железнодорожные и энергетические концерны должны были вначале создать рынок для своих услуг, а затем защищать его от вторжения конкурентов. Что же касается других отраслей, то быть единственным продавцом и оставаться таковым в течение десятилетий можно лишь при условии, что не будешь вести себя как монополист. Что же касается краткосрочной монополии, то о ней будет сказано ниже.

Откуда же взялись все эти разговоры о монополии? Ответ на этот вопрос небезынтересен для тех, кто изучает психологию политических дебатов. Разумеется, понятие монополии, как и любое другое понятие, часто употребляется не строго. Иногда говорят, что у данной страны есть монополия на что-то[16], даже если соответствующая отрасль является вполне конкурентной и т. д. Но это еще не все. Экономисты, государственные служащие, журналисты и политики в этой стране любят употреблять это слово как жупел, способный вызвать неизменно враждебное отношение общественности.

В Англии и Америке монополию проклинали и связывали с бесплодной эксплуатацией еще с XVI—XVII вв., когда английская адми-

[16] Эти так называемые монополии недавно вышли на первый план в связи с предложениями не поставлять государствам-агрессорам определенные виды материалов. Уроки этой дискуссии по аналогии имеют некоторое отношение и к нашей проблеме. Сперва эффективность этих санкций считалась высокой, но затем было установлено, что список запрещенных к вывозу материалов сокращается, поскольку стало ясно, что лишь немногие из них не могут быть произведены или заменены субститутами в странах, подвергшихся санкциям. В конце концов возникло убеждение, что какое-либо воздействие может быть только краткосрочным, а долгосрочные процессы практически всегда позволяют обойти санкции.

нистрация создавала большое количество монополий, деятельность которых, с одной стороны, полностью соответствовала теоретической модели монополистического поведения, а с другой — по праву вызывала всеобщее возмущение, которое производило впечатление даже на саму великую Елизавету.

У народов хорошая память. В наши дни мы можем убедиться в этом и на других, более важных примерах. Монополистическая деятельность елизаветинских времен сформировала у англоговорящих народов привычку приписывать этой зловещей силе практически все неприятное, что они находили в сфере бизнеса. Для типичного либерального буржуа монополия — прародительница всех пороков, его главный супостат. Адам Смит, имевший дело с монополиями тюдоровского и стюартовского типов, третировал их с позиций высокой морали[17]. Сэр Роберт Пиль*, который, как и большинство консерваторов, иногда прибегал к демагогии, в своей знаменитой последней речи, так обидевшей его коллег, говорил о хлебной или пшеничной монополиях, хотя производство зерна в Англии, несмотря на протекционизм, было отраслью, где господствовала совершенная конкуренция[18]. В США слово «монополия» стало практически синонимом крупной фирмы.

b) Теория учит нас, что за редким исключением монопольная цена должна быть выше конкурентной, а объем производства при монополии меньше, чем при конкуренции. Это верно в том случае, если способ производства, его организация и все остальное в обоих случаях одинаковы. На самом деле в распоряжении монополиста могут находиться способы производства, недоступные или труднодоступные для его конкурентов. Дело в том, что существуют преимущества, которых в принципе можно добиться и конкурентному предприятию, но гарантированы они только монополиям. Например, монополизация может увеличить сферу действия более умных людей и уменьшить сферу

---

[17] Это некритическое осуждение монополий Адамом Смитом и другими классиками можно оправдать тем, что в их время еще не существовало большого бизнеса в нашем смысле. Но и с учетом этого они заходили слишком далеко. Отчасти причиной является то, что классики не располагали удовлетворительной теорией монополии и использовали этот термин без разбора (Адам Смит и даже Сениор считали, к примеру, земельную ренту монопольным доходом). Они также считали, что власть монополиста практически безгранична, что, разумеется, неверно даже для наиболее одиозных случаев.

* Пиль Р. (1788—1850) — премьер-министр Англии в 1834—1835, 1841—1846 гг. от партии тори. В 1846 г. отменил протекционистские хлебные законы, что вызвало раскол в его партии.

[18] На этом примере заметно, как термин «монополия» используется совершенно неуместным образом. Протекционистская политика в области импорта сельскохозяйственных продуктов и монополия на их продажу — это совершенно разные вещи. Борьба шла именно вокруг протекционизма, а не по поводу несуществующего контроля земельных собственников или фермеров. Но чтобы победить протекционизм, надо было получить массовую поддержку, а для этого не было лучшего средства, чем обозвать его сторонников монополистами.

действия менее умных[19]. Монополия может также иметь на порядок более устойчивое финансовое положение. Всюду, где действуют эти преимущества, вышеупомянутый принцип не действует, иными словами, данный аргумент в пользу конкуренции не работает, потому что при разных уровнях производственной и организационной эффективности монопольные цены не обязательно выше конкурентных, а объем производства при монополии ниже, чем при конкуренции.

Вряд ли можно сомневаться, что в наше время превосходство такого рода присуще типичной крупной единице контроля, хотя сам по себе размер не является ни необходимым, ни достаточным его условием. Эти единицы контроля не просто возникают в процессе созидательного разрушения и функционируют способом, совершенно не совпадающим со статической схемой: во многих важных случаях они создают предпосылки для достижений. Они часто сами создают преимущества, которые эксплуатируют. Поэтому общепринятый вывод об их долгосрочном воздействии на объем производства будет неверным, даже если они являются истинными монополистами в строгом смысле слова.

Мотивация здесь безразлична. Даже если единственной целью производителя является возможность устанавливать монопольные цены, наличие усовершенствованных способов производства и большого управленческого аппарата сдвигает оптимальную для монополиста цену в сторону конкурентной цены в указанном выше смысле. Таким образом монополии частично или полностью выполняют функцию конкуренции, даже если объем производства ограничивается и налицо постоянный избыток производственных мощностей, а иногда справляются с этой функцией лучше, чем сам конкурентный механизм[20].

---

[19] Отметим, что, хотя это преимущество в принципе несомненно, менее умные управляющие, особенно если они не контролируются собственниками, отрицают его, в чем их поддерживают общественность и экономисты. Это, видимо, связано с недооценкой экономии на издержках и улучшения качества, присущих квазимонополистическим комбинациям. Эта недооценка столь же распространена сейчас как завышенная оценка в период создания этих комбинаций (ее обычно давали их организаторы).

[20] «Американская алюминиевая компания» не является монополией в строгом смысле слова хотя бы потому, что ей пришлось самой создавать спрос на свою продукцию, а это никак не укладывается в модель Курно—Маршалла. Однако большинство экономистов называют ее монополией, и мы за недостатком примеров частной монополии поступим так же. С 1890 по 1929 г. цена основного продукта, который продает этот единственный продавец, упала примерно на 12% или, если сделать поправку на изменение общего уровня цен, на 8,8%. При этом производство возросло с 30 до 103 400 т. Срок патента истек в 1909 г. Экономисты, критикующие эту «монополию» за высокие издержки и большие прибыли, молчаливо предполагают, что множество конкурирующих фирм в данной отрасли смогли бы добиться не меньших успехов в сокращении издержек, внедрении наиболее экономичного производственного аппарата, исследовании новых областей применения алюминия и избежать разорительных банкротств. Таким образом, эти критики абстрагируются от основной движущей силы современного капиталистического развития.

Разумеется, если при монополизации не усовершенствуются способы производства и его организации (как это обычно случается при образовании картелей), классическая теорема о монопольной цене и монопольном объеме производства вступает в свои права[21]. То же самое можно сказать и о другой популярной идее об «усыпляющем» воздействии монополизации. Нетрудно найти соответствующие примеры, но построить на них общую теорию нельзя. Монопольное положение, в особенности в обрабатывающей промышленности, — это не подушка, на которой удобно спать. Как приобрести, так и сохранить его невозможно без полной концентрации внимания и больших затрат энергии. Вялость современного бизнеса объясняется совсем другой причиной, о которой будет сказано ниже.

(c) В краткосрочном аспекте мы гораздо чаще имеем дело с настоящими монопольными ситуациями или близкими к ним. Лавочник из деревушки на реке Огайо может быть истинным монополистом в течение нескольких часов или даже дней, когда наводнение отрежет деревню от остального мира. Каждый удачливый спекулянт в определенный момент является монополистом. Фирма, производящая бумажные этикетки для пивных бутылок, может оказаться в таком положении, — предположим, потенциальные конкуренты понимают, что если они войдут в отрасль, то прибыль тут же исчезнет, — в котором она по своему выбору может свободно передвигаться по некоторому конечному участку кривой спроса, по крайней мере до тех пор, пока внедрение металлических этикеток не разнесет эту кривую вдребезги.

Новые способы производства и особенно новые товары сами по себе совсем не обязательно ведут к монополии, даже если их применяет или производит одна-единственная фирма. Продукт, произведенный новым способом, должен конкурировать с продуктом, изготовленным старыми способами, а новый товар надо еще выдвинуть на рынок, т. е. создать на него спрос. Как правило, ни владения патентом, ни монополистического поведения недостаточно, чтобы решить эти задачи. Исключениями могут быть случаи, когда новая техника явно превосходит прежнюю (особенно если ее можно арендовать, как, например, станки для изготовления обуви) или когда устойчивый спрос на новый товар успевает сформироваться до того, как истечет срок патента.

Таким образом, в предпринимательской прибыли, которую в капиталистическом обществе получает удачливый новатор, содержится или может содержаться элемент монопольного дохода. Однако количественная значимость этого элемента, его кратковременный характер и специфическая функция заставляют выделить его в особый класс. Основная ценность, которую представляет для концерна позиция единственного продавца, обеспечиваемая патентом или монополистической стратегией, состоит не столько в том, что концерн временно

[21] См., однако, пункт 1 этой главы.

получает возможность вести себя как монополист, сколько в том, что эти условия страхуют его от возможной дезорганизации рынка и позволяют применить долгосрочное планирование. Здесь, однако, в наших аргументах начинает повторяться то, что уже было сказано.

6. Подводя итоги этой главы, мы должны сказать, что большая часть фактов и доводов, в ней приведенных, развеивает ореол вокруг совершенной конкуренции и заставляет нас в более благоприятном свете рассматривать ее альтернативу — монополию. Сейчас я переформулирую наши аргументы под этим углом зрения.

Даже сама традиционная теория в рамках избранного ею предмета — стационарного состояния экономики или устойчивого роста — со времен Маршалла и Эджуорта обнаружила растущее число исключений из старых правил, касающихся совершенной конкуренции и в некоторой степени свободной торговли. Это поколебало безграничную веру в их достоинства, свойственную поколению экономистов от Рикардо до Маршалла — грубо говоря, поколению Дж.С. Милля в Англии и Франческо Феррары в континентальной Европе. В особенности ослабла прежняя вера в то, что система совершенной конкуренции наиболее экономично расходует ресурсы и распределяет их оптимальным при данном распределении дохода образом. Эта предпосылка тесно связана с проблемой движения объема производства[22].

Более серьезную брешь пробили недавние работы в области динамической теории (Фриш, Тинберген, Рус, Хикс и др.). Динамический анализ — это анализ временных последовательностей. Объясняя, почему некоторая экономическая величина, например цена, именно такова, как она есть, он учитывает не только уровень других экономических величин в данный момент, как это делает статическая теория, но и их прошлые, а также ожидаемые будущие значения. Исследуя взаимосвязи между величинами, относящимися к различным моментам времени[23], мы первым делом убеждаемся, что, если равновесие по какой-либо причине нарушено, процесс установления нового равновесия протекает не так надежно, быстро и экономично, как утверждает старая теория совершенной конкуренции. Более того, возможно, что сами попытки адаптации приведут систему в еще более неравновесное состояние, чем раньше. Так произойдет в большинстве случаев, если возмущающее воздействие достаточно велико. Во многих случаях процесс адаптации с временным благом неизбежно приведет к таким результатам.

Сказанное я могу проиллюстрировать хорошо известным простейшим примером. Предположим, что на совершенном конкурентном

---

[22] Поскольку мы не можем останавливаться на этом предмете более подробно, я отошлю читателя к статье Р.Ф. Кана (Kahn R.F. Some Notes on Ideal Output // Economic Journal. 1935. March).

[23] Термин «динамика» употребляется во многих значениях. Приведенное нами определение принадлежит Рагнару Фришу.

рынке пшеницы спрос и ожидаемое предложение находятся в равновесии, но плохая погода сокращает урожай, а значит, и предложение относительно уровня, запланированного фермерами. Если цена повысится, а фермеры сочтут ее равновесной и увеличат производство, то в будущем году на рынке произойдет резкое падение цен. Тогда фермеры сократят производство, цена вырастет и может превысить уровень первого года. Это, в свою очередь, вызовет рост производства больший, чем во второй год. И так далее до бесконечности (по крайней мере, такова логика процесса). Вспомнив предпосылки нашей модели, читатель, конечно, придет к выводу, что на практике все более высокие цены и все более возрастающие объемы производства вряд ли будут чередоваться до судного дня. Но тем не менее сама возможность такого явления обнажает слабости в механизме совершенной конкуренции. И как только мы убедимся в их наличии, наш оптимизм по поводу практической реализации этой теории начнет улетучиваться.

Но мы должны идти дальше[24].

Если мы попробуем представить себе, как функционирует или могла бы функционировать совершенная конкуренция в рамках процесса созидательного разрушения, мы получим еще менее утешительные результаты. Это вряд ли может нас удивить, поскольку в модели экономической жизни, соответствующей предпосылкам совершенной конкуренции, отсутствуют все основные моменты этого процесса. Рискуя повториться, я все же еще раз проиллюстрирую этот тезис.

Совершенная конкуренция предполагает свободный вход в каждую отрасль. В рамках этой модели свобода входа действительно является условием оптимального размещения ресурсов и, следовательно, максимизации производства. Если бы наша экономика состояла из постоянного набора отраслей, производящих одинаковый ассортимент товаров в принципе неизменными способами, и если бы единственное изменение в ней состояло в том, что новые люди, привлекая дополнительные сбережения, создавали новые фирмы традиционного образца, то барьеры на вход в ту или иную отрасль действительно причиняли бы обществу убыток. Но совершенно свободный вход в *новую* отрасль невозможен. Внедрение новых способов производства и новых това-

[24] Следует заметить, что характер динамической теории не имеет ничего общего с характером экономической реальности, к которой она применяется. Это не изучение конкретного процесса, а общий метод анализа. Мы можем использовать динамическую теорию и для анализа стационарной экономики, так же как изменяющуюся экономику можно исследовать с помощью статического метода («сравнительная статика»). Поэтому динамическая теория вовсе не обязана заниматься процессом созидательного разрушения, который мы признали сущностью капитализма (и, действительно, им еще не занималась). Разумеется, она лучше, чем статическая теория, подготовлена к рассмотрению многих вопросов, которые возникают при анализе этого процесса. Но сама по себе она анализом этого процесса не является и трактует возникающие в результате его изменения существующих ситуаций и структур как обычные возбуждения. Таким образом, оценивать функционирование совершенной конкуренции с точки зрения капиталистической эволюции и с точки зрения динамической теории — это разные вещи.

ров с самого начала несовместимо с совершенной (и мгновенной) конкуренцией. Но это означает, что с ними несовместимо то, что мы, собственно говоря, называем экономическим прогрессом. И действительно совершенная конкуренция — автоматически или в результате специальных мер — временно разрушается и всегда разрушалась всюду, где появлялось что-либо новое, даже если все остальные предпосылки совершенной конкуренции были налицо.

Аналогично в рамках традиционной системы обвинительный приговор жестким ценам вполне справедлив. Жесткость цен препятствует быстрой адаптации, которую предусматривает совершенная конкуренция. Для тех условий и для того типа адаптации, которые фигурируют в традиционной теории, это опять-таки ведет к потерям и сокращению производства. Но мы уже видели, что для переменчивого, прерывистого процесса созидательного разрушения справедливо обратное: совершенная гибкость может, напротив, вести к катастрофам. К тому же выводу приходит и общая динамическая теория, которая, как упоминалось выше, показывает, что некоторые попытки адаптации лишь усугубляют неравновесие.

Далее, в рамках своих предпосылок традиционная теория справедливо утверждает, что превышение прибылью уровня, достаточного, чтобы привлечь равновесные количества средств производства (включая предпринимательские способности), свидетельствует о потерях для общества, а стратегия, направленная на удержание этих прибылей, препятствует росту объемов производства. Совершенная конкуренция предотвращает или мгновенно устраняет эту избыточную прибыль и не оставляет возможности для названной стратегии. Но поскольку в процессе капиталистической эволюции эти прибыли выполняют новые органичные функции, — я не буду повторять, в чем они состоят, — этот факт и его влияние на рост совокупного продукта уже нельзя оценивать, исходя из модели совершенной конкуренции.

Наконец, можно показать, что при тех же предпосылках, исключающих наиболее характерные черты капиталистической действительности, экономика, в которой господствует совершенная конкуренция, не является расточительной в отличие от своей противоположности. Но это еще ничего не говорит нам о том, как с этим обстоит дело в процессе созидательного разрушения.

С другой стороны, в этом процессе не может считаться бесцельной растратой ресурсов многое из того, что в иных условиях таковой считается. Например, излишние мощности, создающиеся для того, чтобы «опередить спрос» или иметь запас в момент циклического максимума спроса, при совершенной конкуренции были бы намного сокращены. Но, приняв во внимание *все* обстоятельства, уже нельзя сказать, что совершенная конкуренция в данном случае предпочтительна. Хотя концерн, который не может определять цену, а воспринимает ее как данность, действительно использует все свои мощности, если при этом

существующая цена покрывает предельные издержки, он никогда не смог бы создать мощности такого размера и качества, как большой бизнес, который может использовать их как стратегический резерв. Избыточные мощности такого рода в некоторых случаях, хотя далеко не во всех, могут быть преимуществом социалистической экономики. Но, во всяком случае, они никак не могут подтвердить превосходство совершенной конкуренции над «монополоидными» разновидностями капиталистической экономики.

С другой стороны, в условиях капиталистической эволюции механизм совершенной конкуренции порождает свои собственные растраты. Фирмы того типа, который согласуется с предпосылками совершенной конкуренции, во многих случаях менее эффективны с внутрифирменной, в особенности технологической, точки зрения. При этом они растрачивают лучшие возможности. Кроме того, в попытках усовершенствовать технологию они могут неэффективно использовать капитал, поскольку в их положении труднее оценить и использовать новые возможности.

Наконец, как мы уже видели, отрасль, в которой условия приближаются к совершенной конкуренции, гораздо более, чем большой бизнес, подвержена кризисам под влиянием прогресса или внешних возмущений и может распространять бациллы депрессии. В конечном счете американское сельское хозяйство, английские угольные шахты и текстильные фабрики сто́ят потребителям гораздо больше и влияют на *совокупное* производство гораздо хуже, чем в том случае, если бы каждая из этих отраслей контролировалась дюжиной умных людей.

Таким образом, недостаточно утверждать, что, поскольку совершенная конкуренция в условиях современного индустриального общества невозможна, — или всегда была невозможна, — мы должны примириться с крупным предприятием как с неизбежным злом, неотделимым от экономического прогресса. Мы должны признать, что крупное предприятие стало наиболее мощным двигателем этого прогресса и в особенности долговременного наращивания объемов производства не только вопреки, но и благодаря той стратегии, которая в каждом индивидуальном случае и в каждый момент времени выглядит ограничительной.

В этом отношении совершенная конкуренция не только невозможна, но и нежелательна и никак не может считаться образцом идеальной эффективности.

Следовательно, ошибочно строить теорию государственной промышленной политики исходя из принципа, что большой бизнес надо заставить работать так, как работала бы данная отрасль в условиях совершенной конкуренции. А социалистам следовало бы в своей критике современного капитализма опираться не на конкурентную модель, а на достоинства социалистической экономики.

Глава IX

ПЕРЕДЫШКА ДЛЯ ПРОЛЕТАРИАТА

Достигло ли наше исследование поставленных перед ним задач — решать читателю. Экономическая наука основана на наблюдении и интерпретации и применительно к проблемам, которые мы здесь обсуждаем, разница точек зрения может уменьшиться, но уж никак не исчезнуть. По той же причине решение первой нашей проблемы только подводит нас к порогу следующей: ситуация, не свойственная экспериментальным наукам.

Первая проблема состояла в том, чтобы выяснить, существует ли связь между структурными характеристиками капитализма, отраженными в различных аналитических «моделях», и показателем экономического развития, которым для эпохи свободного, ничем не ограниченного капитализма является индекс совокупного общественного продукта. Мой утвердительный ответ на этот вопрос основывался на аргументации, с которой согласились бы большинство экономистов до того момента, когда на сцену выступила так называемая современная тенденция к монополистическому контролю. После этого мой анализ отклонился от проторенных путей в попытке показать, что свойства, единогласно приписываемые капитализму совершенной конкуренции (понимаемому либо как теоретическая схема, либо как историческая реальность, существовавшая когда-то в прошлом), присущи, причем едва ли не в большей степени, капитализму большого бизнеса. Однако, поскольку мы лишены возможности поместить двигатель капиталистического развития в установку для экспериментов и провести его испытания при строго контролируемых условиях, мы не можем строго доказать, что результатом эксперимента явился бы именно фактический темп роста совокупного продукта. Все, что мы можем, — это констатировать, что этот темп был весьма впечатляющим, а капиталистическая среда этому способствовала. И именно поэтому мы не можем остановиться здесь и должны рассмотреть следующую проблему.

A priori все еще возможно объяснить наблюдавшийся экономический рост чрезвычайными обстоятельствами, влияние которых сказалось бы в любой институциональной среде. Единственный способ исключить эту возможность — рассмотреть экономическую и политическую историю данного периода и проанализировать все имевшиеся чрезвычайные обстоятельства, о которых писали экономисты и историки. Рассмотрим те из них, которые не имеют прямого отношения к капиталистическому процессу. Их всего пять.

Первый фактор — государственная политика. Хотя я согласен с Марксом в том, что политика и политики являются не независимыми

факторами, а лишь элементами изучаемого нами общественного процесса, мы рассмотрим их здесь как внешние факторы по отношению к деловому миру. В этом отношении период с 1870 до 1914 г. представляет собой почти идеальный случай. Трудно найти период, столь свободный и от стимулирующего, и от замедляющего воздействия на экономику со стороны политической сферы общественного процесса. Оковы с предпринимательской деятельности и с промышленности и торговли в целом были в основном сняты еще до наступления этого периода. Правда, появились новые оковы и тяготы, связанные с социальным законодательством и т. п., однако никому не придет в голову утверждать, что они оказывали существенное влияние на экономическую ситуацию до 1914 г. Шли войны, но ни одна из них не имела жизненно важного экономического значения. Может возникнуть сомнение относительно последствий франко-прусской войны, завершившейся образованием Германской империи. Однако на самом деле экономическое значение имело образование Таможенного союза. Существовали расходы на вооружение. Но на протяжении десятилетия, окончившегося 1914 годом, когда эти расходы приняли действительно значительные размеры, они были скорее помехой, чем стимулом.

Второй фактор — золото. К счастью, нам нет необходимости углубляться в дебри теоретических проблем, связанных с новым притоком золота и его изобилием в 1890-е годы. Дело в том, что в 1870—1890-е годы изобилия золота еще не наблюдалось, между тем как совокупный продукт рос не менее быстрыми темпами, чем впоследствии. Следовательно, производство золота не могло быть решающим фактором, влиявшим на экономическое развитие капитализма, хотя его влияние на фазы процветания и депрессии не исключено. То же самое можно сказать о денежной политике, которая в данный период скорее приспосабливалась к стихийным изменениям, чем играла активную роль.

Третьим фактором, несомненно оказывающим существенное воздействие на экономическую ситуацию, был рост населения. Однако не ясно, в какой мере он был причиной, а в какой — следствием экономического прогресса. Если мы не станем утверждать, что он был *только* следствием, и предполагать, что любое изменение производства влечет за собой соответствующее изменение населения, отвергая всякое обратное влиние (что было бы, конечно, абсурдно), этот фактор следует отнести к бесспорным кандидатам на роль детерминанта экономического развития. Здесь мы лишь кратко сформулируем нашу точку зрения по этому поводу.

При любой организации общества большее число работников всегда произведет больше продукта, чем меньшее. Поэтому, поскольку некоторая часть прироста населения в данный период не может быть от-

несена на счет самой капиталистической системы, — в том смысле, что она произошла бы при любой системе, — этот фактор следует считать внешним по отношению к последней. В той мере, в какой это действительно так, показатели экономического роста завышают достижения капитализма.

Однако при любой организации общества большее число работников при прочих равных условиях, как правило, производит меньшую величину продукта в расчете на каждого работника или на душу населения. Это следует из того факта, что чем больше число работников, тем меньше величина других факторов производства, приходящихся на одного работника[1]. Следовательно, если показателем, измеряющим экономический рост при капитализме, мы изберем продукт на душу населения, то наблюдаемый рост занижает достижения капитализма, поскольку часть этих достижений заключалась в том, чтобы компенсировать падение душевого продукта, которое произошло бы в отсутствие капиталистической системы. Другие аспекты этой проблемы будут рассмотрены ниже.

Четвертый и пятый факторы более популярны среди экономистов, но применительно к прошлому экономическому развитию они не играли важной роли. Прежде всего речь идет о новых землях. Большие пространства, вовлеченные в течение данного периода в экономическое использование для стран Америки и Европы; получаемые оттуда обильные потоки продовольствия, сельскохозяйственного и прочего сырья; бурно развивающиеся города и отрасли, перерабатывающие эти потоки, — не было ли все это исключительным, поистине уникальным фактором, определявшим экономическое развитие? Не могло ли это благоприятное стечение обстоятельств стать источником огромных богатств при любой экономической системе, которой посчастливилось бы воспользоваться его результатами? Одна из школ социалистической мысли придерживается именно такого мнения и объясняет этим обстоятельством тот факт, что, вопреки прогнозу Маркса, постоянное увеличение нищеты так и не наступило. Они считают, что эксплуатация труда не возрастает благодаря эксплуатации новых земель. Этот фактор позволяет пролетариату получить передышку.

Бесспорно, существование новых земель открывало новые важные возможности. Разумеется, эти возможности были уникальны. Но «объективные возможности», т. е. возможности, возникающие независимо от социальной среды, всегда являются предпосылками прогресса, и каждая из них исторически уникальна. Наличие угля и же-

[1] Эта формулировка не до конца может нас удовлетворить, однако в данном случае ее вполне достаточно. Ко времени, о котором идет речь, капиталистическая часть мира, взятая в целом, уже переступила черту, до которой действует противоположная тенденция.

лезной руды в Англии или нефти в той или иной стране не менее существенно и представляет собой не менее уникальную возможность. Весь капиталистический процесс, как и любой эволюционный экономический процесс, в сущности и состоит в использовании этих возможностей по мере того, как они попадают в поле зрения деловых людей. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы выделять именно данную возможность и рассматривать ее как внешний фактор. Тем более если мы вспомним, что открытие новых земель шаг за шагом осуществлял не кто-нибудь, а капиталистические предприятия, которые к тому же создавали и все условия для этого (строительство железных дорог и электростанций, судоходство, ввоз сельскохозяйственной техники и т. д.). Таким образом, этот процесс был одним из капиталистических достижений наравне с прочими. Результаты его внесли свой вклад в достижение двухпроцентного экономического роста, который мы здесь обсуждаем. И вновь за поддержкой нашей точки зрения мы можем обратиться к «Коммунистическому манифесту».

Наконец, последний фактор — технический прогресс. Может быть, экономический рост был порожден потоком изобретений, революционизировавших производственный аппарат, а вовсе не погоней бизнесменов за прибылью? Мы даем отрицательный ответ на этот вопрос. Важнейшим, сущностным элементом этой погони за прибылью было как раз воплощение технических новинок. И даже сами изобретения, как будет объяснено чуть ниже, были функцией капиталистического процесса: он порождал привычку к тем формам умственной деятельности, которые ведут к открытиям. Поэтому совершенно ошибочна — и, кстати, противоречит марксизму — точка зрения многих экономистов, согласно которой капиталистическое предприятие и технический прогресс представляют собой два различных фактора, способствовавших экономическому росту, — это, по существу, одно и то же или, если мы предпочтем иную формулировку, первый фактор является движущей силой второго.

Если мы прибегнем к экстраполяциям, то факторы новых земель и технического прогресса будут представлять особую проблему. Хотя они принадлежат к достижениям капитализма, эти достижения вполне могут больше не повториться. И хотя мы теперь доказали, что высокий темп роста производства в расчете на душу населения в эпоху полного расцвета капитализма не был случайным, а отражал достижения капиталистической системы, нам надо ответить еще на один вопрос: правомерно ли предполагать, что капиталистическая машина, скажем, в ближайшие сорок лет будет работать (или могла бы работать, если бы ей дали такую возможность) столь же успешно, как в прошлом.

Глава X

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Суть этой проблемы наиболее доходчиво можно пояснить на фоне одной современной дискуссии. Нынешнее поколение экономистов видело не только мировую депрессию небывалой глубины и продолжительности, но и последующий период слабого, то и дело прерывающегося оживления. Я уже изложил свою интерпретацию этих явлений[1] и причины, в силу которых я не считаю, что они обозначают перелом в эволюции капитализма. Однако вполне естественно, что многие, если не большинство моих коллег, придерживаются другой точки зрения. Точно так же, как некоторые их предшественники в период между 1873 и 1896 гг., они чувствуют, что в капиталистическом процессе происходят фундаментальные перемены. С их точки зрения, мы являемся свидетелями не просто депрессии и слабого оживления, возможно усугубленных антикапиталистической государственной политикой, но симптомов того, что капитализм навсегда утратил свою жизнеспособность. Эта тема, по их мнению, станет лейтмотивом всех последующих частей капиталистической симфонии. Следовательно, основываясь на прошлом, мы не можем сделать никаких прогнозов относительно будущего капиталистической системы.

Этой точки зрения придерживаются многие из тех, у кого желания забегают вперед мыслей. Но мы должны понять, почему социалисты, не относящиеся к последней категории, с таким проворством ухватились за этот счастливый случай, причем некоторые из них по этому поводу полностью поменяли свои аргументы против капитализма. Сделав это, они получили дополнительные выгоды от того, что вернулись к Марксовой традиции, которую, как я уже отмечал, квалифицированным экономистам-марксистам все более приходилось отбрасывать за ненадобностью. Дело в том, что, как отмечалось в первой главе, Маркс предсказывал такое развитие событий: капитализм перед своим окончательным крахом должен вступить в стадию перманентного кризиса, время от времени прерываемого слабыми подъемами или благоприятными случайными событиями. Это еще не все. Один из Марксовых аргументов заключался в том, что концентрация и централизация капитала неблагоприятно скажутся на норме прибыли, а значит, и на инвестиционных возможностях. Поскольку капиталистический процесс всегда в значительной мере приводился в движение с помощью значительных текущих инвестиций, то даже частичная при-

[1] См. гл. V.

остановка их будет достаточна для того, чтобы сделать прогноз о том, что дело идет к краху. Этот марксистский аргумент, несомненно, согласуется не только с реальностями последнего десятилетия: безработицей, избыточными резервами, перенасыщением денежных рынков, неудовлетворительными показателями прибыли, стагнацией частных инвестиций, — но и с некоторыми немарксистскими интерпретациями. Между Марксом и Кейнсом явно нет такой пропасти, которая была между Марксом и Маршаллом или Викселем. И марксистскую, и немарксистскую доктрину здесь можно охарактеризовать как теорию исчезающих инвестиционных возможностей[2].

Эта теория в действительности имеет дело с тремя отдельными проблемами. Первая формулируется в точности так же, как заголовок этой части. Поскольку ничто в человеческом обществе не существует вечно и поскольку капиталистический строй образует структуру процесса не только экономических, но и политических изменений, то не трудно представить себе разнообразие ответов на этот вопрос. Второй вопрос состоит в том, следует ли придавать особое значение силам и механизмам, фигурирующим в теории исчезающих инвестиционных возможностей. В следующих главах я собираюсь изложить свою теорию относительно того, что может в конечном счете убить капитализм, но у моей теории есть некоторые сходные черты с той, которую мы рассматриваем сейчас. Но есть и третья проблема. Если даже сил и механизмов, описанных в теории исчезающих инвестиционных возможностей, вполне достаточно для того, чтобы в капиталистическом процессе существовала долговременная тенденция, ведущая его в тупик, из этого еще не следует, что несчастья последнего десятилетия были связаны именно с ними и — что особенно важно для нас — что сходные неприятности будут продолжаться в течение следующих сорока лет.

В данный момент мы займемся главным образом третьей проблемой, но многое из того, что я хочу сказать, имеет отношение и ко второй. Факторы, которые, как принято считать, оправдывают пессимистические прогнозы относительно развития капитализма в ближайшем будущем и исключают повторение прошлых успехов, могут быть разделены на три группы.

Во-первых, это факторы, характеризующие среду, в которой протекает капиталистический процесс. Мы уже заявили и собираемся доказать наш тезис в дальнейшем, что капиталистический процесс порождает такое распределение политической власти и такую социально-психологическую установку, отражающуюся в соответствующей политике, которые враждебны самому этому процессу. Можно ожи-

[2] См. мою работу «Business Cycles». Ch. 15.

дать, что в будущем они наберут силу и приведут к перебоям в работе капиталистической машины. Этот феномен мы рассмотрим ниже. То, что будет сказано сейчас, следует воспринимать с надлежащими оговорками. Но надо отметить, что данная установка и другие родственные факторы влияют и на мотивацию внутри самой буржуазной экономики, основанной на прибыли. Поэтому оговорка более значительна, чем может показаться на первый взгляд, — речь идет не просто о «политике».

Во-вторых, это сама капиталистическая машина. Теория исчезающих инвестиционных возможностей не тождественна, но близка другой теории, согласно которой мир современного большого бизнеса являет собой окостеневшую форму капитализма, которой присущи монополистические барьеры, неподвижность цен, преисполненность сохранением ценности существующего капитала и так далее. С этой теорией мы уже разобрались.

Наконец, в-третьих, мы имеем дело, так сказать, с «топливом» для капиталистической машины, т. е. с возможностями для нового предпринимательства и инвестирования. Теория, которую мы сейчас рассматриваем, уделяет этому пункту настолько большое внимание, что мы сочли возможным дать ей соответствующее название. Предполагается, что основные причины исчезновения возможностей для частного предпринимательства и инвестирования связаны: с насыщением потребностей, замедлением прироста населения, исчерпанием новых земель и технических возможностей и тем обстоятельством, что многие из существующих инвестиционных возможностей относятся скорее к сфере государственных, а не частных инвестиций.

1. Безусловно, для каждого данного состояния человеческих потребностей и технологии (в самом широком смысле этого слова) при каждой ставке реальной заработной платы существует определенный объем основного и оборотного капитала, который соответствует точке насыщения. Если бы потребности и технология были бы заморожены на уровне 1800 г., эта точка давно бы уже наступила. Можем ли мы представить себе, что в один прекрасный день потребности будут настолько удовлетворены, что их уровень больше никогда не будет расти? Мы рассмотрим некоторые аспекты этого гипотетического случая, но поскольку нас интересует перспектива на ближайшие сорок лет, мы, очевидно, можем игнорировать такую возможность.

Если же она когда-либо материализуется, то имеющее место сокращение рождаемости и тем более падение общей численности населения может стать важным фактором сокращения инвестиционных возможностей, если речь идет об инвестициях на расширение производства, а не на замещение капитала. Ведь если потребности каждого удовлетворены или почти удовлетворены, рост числа потребителей

согласно принятой нами гипотезе будет единственным существенным источником дополнительного спроса. Но само по себе замедление прироста населения без связи с гипотезой о насыщении вовсе не угрожает инвестиционным возможностям, темпам роста продукта на душу населения[3]. Мы можем быстро убедиться в этом, рассмотрев аргументы противоположной стороны.

С одной стороны, принято считать, что замедление прироста населения автоматически подразумевает замедление роста производства, а значит, и инвестиций, поскольку ограничивается рост спроса. Это совсем не обязательно. Потребности и эффективный рост спроса наблюдался бы в самых бедных странах. На самом деле доход, высвобождаемый благодаря снижению рождаемости, может быть направлен по другому предназначению, в особенности в тех случаях, когда желание увеличить спрос на что-то иное является мотивом бездетности. Можно, конечно, утверждать, что рост спроса, который связан именно с ростом населения, более предсказуем и, следовательно, обеспечивает более надежные инвестиционные возможности. Но при данном уровне удовлетворения потребностей прирост спроса по альтернативным каналам не менее надежен. Разумеется, перспективы развития некоторых отраслей экономики, в особенности сельского хозяйства, не назовешь блестящими. Но это нельзя смешивать с перспективами роста совокупного продукта[4].

С другой стороны, можно было бы утверждать, что снижение рождаемости ограничит производство со стороны предложения. Быстрый рост населения в прошлом был одним из условий наблюдавшегося роста производства, и мы можем продолжить аргументацию в противоположную сторону и предположить, что возрастающая редкость труда может сдерживать производство. Однако этих аргументов мы что-то не слышим, и тому есть свои причины. Достаточно сослаться на

---

[3] То же самое справедливо и в отношении некоторого сокращения абсолютной численности населения, которое, например, в недалеком будущем может случиться в Великобритании. (См.: Charles E. London and Cambridge Economic Service, Memo N. 40). Значительное абсолютное сокращение населения вызовет дополнительные проблемы. Однако здесь мы от них абстрагируемся, поскольку в период времени, о котором идет речь, такая возможность нереальна. Еще один комплекс проблем как политических и социально-психологических, так и экономических, создает старение населения. Хотя эти проблемы уже начинают ощущаться — «лобби стариков» практически уже существует на практике, — мы не можем ими здесь заняться. Но следует заметить, что пока пенсионный возраст не меняется, процент иждивенцев не обязательно будет изменяться под воздействием сокращения доли населения моложе пятнадцати лет.

[4] Многие экономисты, кажется, считают, что рост населения как таковой является самостоятельным источником спроса на инвестиции. Действительно, разве всех этих новых работников не следует вооружить средствами производства и обеспечить соответствующим сырьем? Однако это не столь очевидно, как кажется. Если только рост населения не связан с падением заработной платы, для инвестиций не возникнет никаких особых стимулов. Кроме того, даже в случае снижения зарплаты следует ожидать возможного сокращения инвестиций на одного работника.

то, что в начале 1940 г. выпуск продукции обрабатывающей промышленности США составил примерно 120% от средней величины за 1923—1925 гг., тогда как количество занятых в этих отраслях осталось на том же уровне, — вот вам и ответ на вопрос о ближайшем будущем! Текущий уровень безработицы; тот факт, что в связи с падением рождаемости все больше женщин высвобождаются для производительного труда, а сокращение смертности означает удлинение рабочего периода; неиссякаемый поток трудосберегающих нововведений; возможность (которой нет при быстром росте населения) отказаться от использования дополнительных факторов производства низкого качества, отчасти нейтрализуя закон убывающей отдачи, — все это заставляет согласиться с прогнозом Колина Кларка, согласно которому выработка продукта за человеко-час возрастет при жизни следующего поколения[5].

Разумеется, труд можно сделать редким умышленно, проводя политику высокой заработной платы и короткого рабочего дня, а также путем негативного воздействия политики на дисциплину работников. Сравнив экономическое развитие за период с 1933 по 1940 гг. в США и Франции, мы убедимся, что нечто в этом роде уже произошло. Однако этот феномен относится к группе факторов, характеризующих среду.

Как читатель вскоре убедится, я далек от того, чтобы легкомысленно относиться к проблемам роста населения. Снижение рождаемости представляется мне одним из важнейших явлений нашего времени. Мы убедимся в том, что даже с чисто экономической точки зрения оно имеет чрезвычайно важное значение и как симптом, и как причина смены мотивации. Однако это более сложная проблема. Здесь нас интересует только «механический» эффект замедления роста населения, а он, безусловно, не может лежать в основе пессимистических прогнозов роста совокупного продукта на душу населения в ближайшие сорок лет. Те экономисты, которые утверждают обратное, занимаются тем, к чему, к сожалению, всегда были склонны представители этой профессии: когда-то они совершенно безосновательно пугали публику большим количеством голодных ртов[6], теперь столь же безоснова-

[5] Clark C. National Income and Outlay. P. 21.

[6] Начиная с XVII в. практически все прогнозы численности населения были ошибочными. Этому есть, однако, некоторые оправдания. Можно оправдать и появление теории Мальтуса. Но я не вижу никаких оправданий тому, что она существует до сих пор. Во второй половине XIX в. всем должно было стать ясно, что единственное, что представляет ценность в законе народонаселения Мальтуса, — это ограничения его действия. Первое десятилетие XX в. однозначно показало, что этот закон не более чем безобидное пугало. Однако не кто-нибудь, а сам Кейнс попытался воскресить его в период после Первой мировой войны! В 1925 г. Г. Райт в своей книге о народонаселении писал о «растранжиривании завоеваний цивилизации на чисто количественный рост населения». Неужели экономическая наука так никогда и не достигнет совершеннолетия?

тельно они пугают ее экономическими последствиями низкой рождаемости.

2. Теперь об открытии новых земель — уникальность инвестиционной возможности, которая никогда больше не повторится. Даже если мы согласимся с тем, что географическая граница дальнейшей экспансии человечества закрыта навсегда, — что не очевидно, поскольку в настоящее время существуют пустыни, на месте которых некогда были поля и многолюдные города, — и даже если мы предположим, что ничто и никогда не сможет увеличить *благосостояние* человечества так, как это сделал поток продовольствия и сырья с этих новых земель, — что более правдоподобно, — из этого всего, тем не менее, не следует, что совокупный продукт на душу населения должен сокращаться или замедлить свой рост на протяжении следующей половины столетия. Этого можно было бы ожидать, если бы страны, вовлеченные в капиталистический мир в XIX в., подвергались эксплуатации в том смысле, что их довели бы до стадии убывающей отдачи. Но это не так, и, как только что было отмечено, сокращение рождаемости снимает с повестки дня проблему, связанную с тем, что отдача, которую люди получают от природы, становится или уже стала меньшей, чем раньше. Технический прогресс переломил эту тенденцию, и можно с полной уверенностью предсказать, что в обозримом будущем мы будем жить при изобилии сырья и продовольствия, позволяющем увеличивать производство в любом направлении, которое мы сочтем целесообразным. Это относится и к минеральному сырью.

Остается еще одна возможность. Хотя текущее производство продовольствия и сырья на душу населения не пострадает, а может быть, и возрастет, возможности для предпринимательства и, следовательно, для инвестиций, связанные с самим процессом освоения новых земель, исчезают с окончанием этого процесса. Происходящее отсюда сокращение области применения сбережений может повлечь за собой всяческие трудности. Что же, давайте вновь предположим, что новые земли освоены до конца и сбережения, которые не находят себе других областей применения, могут вызвать трудности и привести к расточительству. Оба предположения крайне нереалистичны. Но нам нет необходимости подвергать их сомнению, поскольку выводы относительно будущих темпов роста совокупного продукта основаны на третьем, уж вовсе абсурдном предположении об отсутствии других сфер применения сбережений.

Это третье предположение вызвано лишь недостатком воображения и является примером ошибки, часто искажающей интерпретацию исторических событий. Отдельные черты исторического процесса, поразившие аналитика в наибольшей степени, обоснованно или нет возводятся им в ранг фундаментальных факторов. Например, процесс,

который обычно описывается как становление капитализма, примерно совпадает во времени с притоком в Европу серебра с рудников Потоси, а также с политической ситуацией, в которой расходы князей превышали их доходы, так что им приходилось непрерывно прибегать к займам. Оба эти явления, очевидно, различными способами повлияли на экономическое развитие того времени, с ними можно связать даже крестьянские восстания и религиозные движения. Поэтому аналитик склонен сделать вывод, что становление капиталистического строя находится в причинно-следственной зависимости с этими явлениями и без них (а также без некоторых других факторов того же типа) феодальный мир никогда бы не преобразовался в капиталистический. Но это уже совсем другой тезис, для которого нет никаких очевидных оснований. Все, что мы можем утверждать, — это то, что события действительно произошли именно так. Это не означает, что не было никакой другой возможности. В данном случае мы даже не можем утверждать, что названные факторы благоприятствовали развитию капитализма, поскольку это правда лишь отчасти, а в других аспектах влияние их было скорее негативным.

Аналогично, как мы убедились в предыдущей главе, возможности для предпринимательства, связанные с освоением новых стран, конечно, были уникальными, но только в том смысле, в каком уникальна каждая возможность. Нелепо предполагать, что «закрытие границ» породит вакуум и всякие попытки найти другие сферы применения капитала будут заведомо менее значительными в любом смысле этого слова. Завоевание воздушного пространства может быть более значительным, чем завоевание Индии, не следует путать географические границы с экономическими.

Конечно, сравнительное значение разных стран и регионов может существенно измениться при переходе от одних инвестиционных возможностей к другим. Чем меньше страна или регион, чем больше их судьба связана с каким-то одним элементом производственного процесса, тем хуже выглядит их перспектива в случае, если этот элемент теряет свое значение. Так, сельскохозяйственные регионы *могут* навсегда потерять свое значение с внедрением синтетических продуктов (вискозы, синтетических красителей, искусственного каучука и др.). Слабым утешением будет для них то, что если рассматривать весь процесс в целом, то будет зафиксирован прирост совокупного продукта. Возможные последствия этого могут быть усугублены разделением экономического мира на сферы конфликтующих национальных интересов. Все, что мы в конце концов можем утверждать, — это то, что исчезновение инвестиционных возможностей, связанных с освоением новых стран, — если они действительно исчезают, — вовсе *не обязательно* должно вести к отсутствию возможностей вообще, что неиз-

бежно оказало бы воздействие на темпы роста совокупного продукта. Мы не можем заявлять, что эти возможности будут замещены другими равноценными возможностями. Мы можем отметить, что данный процесс естественно повлияет на будущее развитие этих и других стран; мы можем выразить доверие к способностям капиталистической системы найти или создать новые возможности, поскольку это ей в общем-то присуще, однако полученный нами отрицательный результат от этого не изменится. А если вспомнить, отчего мы вообще занялись данной проблемой, этого вполне достаточно.

3. Аналогичные возражения можно высказать по поводу широко распространенного мнения, согласно которому в области технического прогресса был сделан прорыв, после которого осталось сделать лишь незначительные усовершенствования. Поскольку эта точка зрения не просто отражает положение дел в ходе и по окончании мирового кризиса, — во время любой глубокой депрессии всегда наблюдается отсутствие новаторских изобретений первой величины — она еще лучше, чем «закрытие границ пространственной экспансии человечества», иллюстрирует ту ошибку интерпретации, к которой так склонны экономисты. В настоящий момент мы находимся в завершающей, понижательной стадии волны предпринимательства, создавшей электростанции, электрифицированные промышленность, сельское хозяйство, домашнее хозяйство и автомобиль. Мы считаем эти достижения выдающимися и не представляем, откуда могут появиться новые столь же значительные возможности. Однако нынешние перспективы одной лишь химической промышленности превосходят все, что можно было ожидать, предположим, в 1880 г., не говоря уже о том, что простого использования достижений эпохи электричества и массового жилищного строительства вполне достаточно для того, чтобы обеспечить нас инвестиционными возможностями на долгое будущее.

Пространство технических возможностей — это море, не нанесенное на карту. Мы можем исследовать географический регион и оценить при данном уровне техники и сельскохозяйственного производства относительное плодородие отдельных участков земли. Принимая сегодняшний уровень техники как данный и абстрагируясь от его будущих изменений, мы можем предположить, что вначале начинают обрабатываться лучшие участки, затем — следующие по качеству и т. д. (хотя с исторической точки зрения это неверно). В каждый отдельный момент этого процесса необработанными и оставленными на будущее являются сравнительно худшие участки. Однако эту логику нельзя применить к будущим возможностям, связанным с техническим прогрессом. Из того факта, что некоторые из них были использованы раньше других, вовсе не вытекает, что они были самыми производительными. Те, что еще находятся в сфере, возможно, могут быть и бо-

лее и менее производительны, чем те, которые нам уже доступны. И вновь мы имеем дело лишь с «отрицательным» результатом, который не способен превратить в положительный даже тот факт, что систематизация и рационализация научных исследований и управления ими делают технический прогресс все более эффективным и надежным. Но для нас этого отрицательного результата вполне достаточно: нет никаких оснований ожидать замедления роста производства из-за истощения технологических возможностей.

4. Остается упомянуть еще два варианта теории исчезающих инвестиционных возможностей. Некоторые экономисты утверждали, что рабочую силу в каждой стране за какое-то время необходимо оснастить необходимым производственным оборудованием. Это, по их мнению, произошло приблизительно за XIX в. Пока этот процесс шел, непрерывно возникал новый спрос на капитальные блага, тогда как после того, как он закончился, остался лишь спрос, обусловленный необходимостью замещения капитала. Таким образом, период капиталистического оснащения является уникальным, его характеризует напряжение всех нервов капиталистической экономики, стремящейся создать себе адекватный инструментарий, позволяющий создавать базу для будущего производства таким темпом, который невозможно сохранить в дальнейшем. Это поистине удивительная картина экономического процесса! Может быть, в XVIII в. или в те времена, когда наши предки жили в пещерах, не существовало никакого производственного оборудования? А если оно существовало, то почему добавление, сделанное в XIX в., оказалось более насыщающим, чем все, что имело место раньше? Кроме того, оборудование, добавляемое к инструментарию капиталистической экономики, как правило, конкурирует с существующим оборудованием, лишая его экономической полезности. Поэтому задача обеспечения экономики оборудованием не может быть решена раз и навсегда. Случаи, в которых для решения этой задачи достаточно резервов, оставленных на замещение действующего капитала, — а это может быть только в отсутствие технического прогресса, — являются исключениями. Это особенно очевидно тогда, когда новые методы производства воплощены в возникновении новых отраслей экономики: автомобильные заводы явно не финансировались за счет амортизационных отчислений железных дорог.

Читатель, без сомнения, отметит, что, если даже мы примем допущения, лежащие в основе данного аргумента, из этого вовсе не вытекает пессимистический прогноз темпов экономического роста. Напротив, вполне можно прийти к обратному выводу: наличие большого запаса капитальных благ, который, постоянно обновляясь, обретает экономическое бессмертие, должно скорее способствовать дальнейшему росту производства. И он будет прав. Аргумент, о котором идет

речь, предполагает, что, если экономика, движущей силой которой является производство капитальных благ, столкнется с сокращением спроса на них, возникнут трудности. Но размер этих трудностей, которые, кстати, как правило, не бывают неожиданными, не следует преувеличивать. К примеру, такая отрасль, как металлообработка, довольно легко переключилась с производства одних лишь капитальных благ на выпуск преимущественно потребительских товаров длительного пользования и полуфабрикатов для их производства. И хотя такая компенсация не всегда возможна в рамках каждой отрасли, производящей капитальные блага, в принципе ситуация везде одинакова.

Другой вариант теории заключается в следующем. Большие бумы экономической активности, распространяющиеся на весь экономический организм и несущие с собой всеобщее процветание, всегда были связаны с увеличением расходов производителей, которые в свою очередь предполагали строительство дополнительных зданий и закупку оборудования. Некоторые экономисты обнаружили, — по крайней мере, они сами так считают, — тенденцию, которая заключается в том, что новые технологические процессы требуют меньше основного капитала, чем прежние (например, относящиеся к эпохе железнодорожного строительства). Отсюда следует вывод, что значение инвестиций в основной капитал будет убывать. А поскольку это отрицательно скажется на вышеупомянутых бумах экономической активности, которые, очевидно, были связаны с наблюдавшимися высокими темпами роста, то темпы эти должны замедлиться, особенно если норма сбережений останется на прежнем уровне.

Адекватной оценки этой тенденции к внедрению новых, все более капиталосберегающих технологических процессов до сих пор дано не было. Статистические данные до 1929 г. (последующие данные по понятным причинам мы не можем использовать для этой цели) указывают на обратную тенденцию. Сторонники рассматриваемой нами теории предложили несколько изолированных примеров, которым можно противопоставить другие примеры. Но предположим, что данная тенденция действительно существует. Тогда перед нами возникает та же формальная проблема, с которой сталкивались экономисты прошлого, исследуя трудосберегающие технологические процессы. Последние в зависимости от обстоятельств могут оказывать положительное или отрицательное влияние на положение работников, но никто не сомневается, что в целом они благоприятствуют высоким темпам экономического роста. Точно так же, если не считать возможных перебоев в сберегательно-инвестиционном процессе, значение которых сейчас так модно преувеличивать, обстоит дело с устройствами, позволяющими уменьшать капиталоемкость *единицы конечного продукта*. Вообще-то мы будем недалеки от истины, если скажем, что почти

каждый новый экономически осуществимый технологический процесс сберегает и труд, и капитал. Железные дороги, очевидно, были капиталосберегающими по сравнению с гужевым транспортом в расчете на одного пассажира или единицу груза. Аналогично производство натурального шелка с помощью шелковичных червей может быть более капиталоинтенсивным, — впрочем, я в этом не разбираюсь, — чем производство того же количества искусственного шелка. Этот факт весьма печален для владельцев капитала, вложенного в старые методы производства, но это вовсе не означает, что инвестиционные возможности сокращаются, тем более это не подразумевает замедления экономического роста. Тем, кто ожидает краха капитализма на том основании, что единица капитала становится более производительной, придется ждать очень долго.

5. Наконец, поскольку данная теория обычно выдвигается экономистами, стремящимися убедить публику в необходимости государственных расходов за счет бюджетного дефицита, неизменно выдвигается также следующий аргумент: оставшиеся инвестиционные возможности более подходят государственным предприятиям, чем частным. До некоторой степени с этим можно согласиться. Во-первых, с ростом богатства возникают расходы, которые никак не могут быть включены в калькуляцию издержек и прибылей: расходы на украшение городов, на здравоохранение и т. д. Во-вторых, расширяется сектор экономики, который обычно находится в сфере государственного управления: связь, порты, производство энергии, страхование и т. д. Эти отрасли просто больше подходят для управления государственной администрацией. Поэтому можно ожидать, что даже в совершенно капиталистическом обществе инвестиции центральных и местных органов власти будут расширяться и абсолютно и относительно, как и прочие формы общественного планирования.

Однако это все, что мы можем сказать по данному поводу. Сделанный нами вывод не основывается на какой-либо гипотезе, затрагивающей развитие частного сектора экономики. Более того, нам в данном случае совершенно безразлично, в какой мере будущие инвестиции и экономический рост будут финансироваться и направляться государственными органами и частным бизнесом. Исключение составляет случай, когда государственное финансирование осуществляется потому, что *никакие* частные инвестиции не могут принести прибыли. Но этот случай мы уже рассмотрели выше.

Глава XI

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Оставляя позади область чисто экономических рассуждений, мы переходим теперь к культурному дополнению капиталистической экономики — к ее социопсихологической *надстройке*, если нам угодно будет воспользоваться марксистской терминологией, — и к тому менталитету, который характерен для капиталистического общества и в особенности для буржуазного класса. В самом сжатом виде наиболее существенные факты можно изложить так.

Пятьдесят тысяч лет тому назад человек относился к опасностям и возможностям, заключенным в окружающем мире, примерно так, как, по мнению некоторых специалистов по истории Древнего мира, социологов и этнографов, к ним относятся представители современных первобытных племен[1]. Для нас особенно важны два элемента этой установки: 1) «коллективная» и «аффективная» природа первобытного мыслительного процесса и 2) роль того, что я, возможно, не совсем правильно буду называть «магией»; эти два элемента частично пересекаются между собой. Под первым элементом я понимаю то, что в небольших и недифференцированных или слабо дифференцированных социальных группах коллективные идеи овладевают индивидуальным разумом гораздо прочнее, чем это происходит в больших и сложных группах, и что методы, на основе которых первобытный человек делает выводы или принимает решения, применительно к нашей задаче можно охарактеризовать от противного: их отличает несоблюдение того, что мы называем логикой, и в частности требования непротиворечивости. Под вторым элементом я понимаю опору на некоторую совокупность верований, которые, впрочем, не вполне оторваны от жизненного опыта, — ведь никакая магия не переживет непрерывной цепи неудач, — но включают в цепь наблюдаемых явлений такие сущности или влияния, источником которых опыт не является[2]. На сходство такого рода мыслительного процесса с мышлением неврастеников ука-

---

[1] Исследования такого рода имеют давнюю историю, однако я считаю, что начало нового их этапа следует вести от работ Люсьена Леви-Брюля. См., в частности, его работы «Fonctions mentales dans les sociétés inférieures» (1909) и «Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive» (1931). Между позициями, которые он занимал в первой и во второй книгах, — дистанция огромного размера, и вехи проделанного пути прослеживаются в «Mentalité primitive» (1921) и «L'âme primitive» (1927). Для нас авторитет Леви-Брюля особенно ценен, поскольку он полностью разделяет наш тезис — на самом деле, его работа им и открывается — о том, что «исполнительные» функции мышления и менталитет человека определяются, по крайней мере частично, структурой того общества, в рамках которого они развиваются. И совершенно несущественно, что в случае Леви-Брюля этот принцип берет свое начало не от Маркса, а от Конта.

[2] Один благожелательный критик поспорил со мной из-за вышеприведенного пассажа, утверждая, что я никак не мог иметь в виду того, что в нем написано, поскольку в этом случае я должен был бы и «силу», с которой имеет дело физик, считать магией. Но имен-▶

зывал Г. Дромар (G. Dromard, 1911; особенно красноречив введенный им термин délire d'interprétation — «горячка интерпретации») и З. Фрейд (Totem und Tabu, 1913). Но отсюда вовсе не следует, что это не свойственно мышлению нормального человека нашего времени. Наоборот, любая политическая дискуссия наглядно демонстрирует, что немалая, а судя по результатам — то и большая часть наших собственных мыслительных процессов именно такой природой и обладает.

Таким образом, рациональное мышление или поведение и рационалистическая цивилизация вовсе не означают, что упомянутые критерии перестают действовать, а означает лишь медленное, хотя и непрестанное, расширение того сектора общественной жизни, в рамках которого отдельные люди или группы людей реагируют на сложившиеся обстоятельства: во-первых, пытаясь в меру собственного разумения по возможности обернуть эти обстоятельства себе на пользу; во-вторых, опираясь при этом на те правила непротиворечивости, которые мы именуем логикой; и в-третьих, делая это исходя из постулатов, удовлетворяющих двум условиям: число таких правил должно быть минимальным, и каждое из них должно в принципе выражаться в терминах потенциального опыта[3].

Все это, конечно, весьма абстрактно, но с точки зрения нашей задачи этого достаточно. Впрочем, есть еще один момент, касающийся понятия рационалистических цивилизаций, на котором я хотел бы здесь остановиться, поскольку в дальнейшем мне придется на него ссылаться. Если привычка рационального анализа повседневных ситуаций утвердилась достаточно прочно, она оборачивается против коллективных идей, подвергает их критике и в определенной мере «рационализирует» их, ставя такие вопросы: зачем нужны короли и попы, десятина и собственность? Кстати, важно заметить, что, хотя большинство из нас склонно считать, что подобная установка есть признак более «высокой ступени» умственного развития, подобное оценочное суждение не обязательно и не во всех отношениях подтверждается практикой. Рационалистическая установка может быть претворена в жизнь путем использования настолько неадекватных методов и информации, что вызванные ею действия — и особенно связанная с нею склонность к поиску радикальных решений — позднейшему наблюдателю покажутся даже с чисто интеллектуальной точки зрения низшими по сравнению со склонностью избегать радикального вмешательства, связанной с установкой, которая когда-то ассоциировалась с низким

Продолжение сноски со стр. 500.

но это я и имею в виду, если только мы не договорились считать, что термин «сила» обозначает просто произведение константы на вторую производную пути по времени. См. следующее через одно предложение в тексте.

[3] Эта кантианская формулировка выбрана специально, чтобы заранее предупредить напрашивающиеся возражения.

коэффициентом умственного развития. Общественно-политическая мысль XVII и XVIII вв. во многом служит наглядным подтверждением этой забытой истины. Не только по глубине социального видения, но также и с точки зрения логического анализа позднейший «консервативный» контркритицизм, несомненно, представлял собой значительный шаг вперед, хотя для авторов эпохи Просвещения его положения могли бы послужить лишь поводом для насмешек.

Рациональная установка утвердилась, по-видимому, в первую очередь в силу экономической необходимости; именно каждодневному решению экономических задач обязано человечество как вид своей начальной подготовке в области рационального мышления и поведения — не побоюсь сказать, что вся логика строится по образцу экономических решений или, если воспользоваться моей любимой формулировкой, что экономические образцы образуют матрицу логики. Это представляется мне правдоподобным по следующей причине. Предположим, что некий «первобытный» человек использует простейшую из всех машин, которую по достоинству оценила даже наша кузина — горилла, а именно — палку, и что эта палка у него в руках сломалась. Если он будет пытаться поправить дело с помощью магического заклинания, — например, бормотать: «Спрос и предложение!» или «Планирование и контроль!», думая, что если повторить это заклинание ровно девять раз, то обломки вновь срастутся, — значит, он находится во власти дорационального мышления. Если он постарается найти наилучший способ соединить обломки или просто возьмет новую палку, его поведение будет рациональным в нашем понимании. Конечно, обе установки возможны. Но само собой разумеется, что в этом, как и в любых других экономических действиях, бесполезность магических заклинаний будет гораздо более очевидной, чем если бы эти заклинания имели целью добыть победу в бою, принести счастье в любви или снять грех с души. Объясняется это неумолимой определенностью и тем преимущественно количественным характером, который отличает экономическую область от всех других областей человеческой деятельности, а возможно — и бесстрастным однообразием нескончаемого ритма экономических потребностей и их удовлетворения. Как только рациональность входит в привычку, она начинает распространяться под педагогическим влиянием положительного опыта и на другие области, и там она также заставляет человека открыть глаза на эту удивительную вещь — Факт.

Этот процесс независим от каких бы то ни было форм, в том числе — капиталистических, которые может при этом принимать экономическая деятельность. То же можно сказать и о стремлении к наживе, и о преследовании собственных интересов. Докапиталистический человек на самом деле был не меньший «хват», чем человек капиталистический. Крепостные, например, или феодалы-военачальники тоже утверждали свои интересы грубой силой, хотя о капитализме в те вре-

мена еще не слыхали. Однако капитализм развивает рациональность и добавляет к ней новую грань, причем делает это двумя взаимосвязанными путями.

Во-первых, он возвышает денежную единицу, которая сама по себе изобретением капитализма не является, до единицы учета. Иными словами, капиталистическая практика превращает деньги в инструмент рациональной калькуляции прибыли и издержек, над которой монументом высится бухгалтерский учет по методу двойной записи[4]. Не углубляясь в этот вопрос, заметим, что, изначально представляя собой продукт эволюции экономической рациональности, расчет прибылей и издержек в свою очередь оказывает обратное воздействие на эту рациональность; постепенно совершенствуясь и беря на вооружение количественные категории, он мощно продвигает вперед логику предпринимательства. И когда эта логика, метод или установка достигает определенного уровня развития, или квантифицированности, применительно к экономической области, она начинает распространяться дальше, подчиняя себе, т. е. рационализируя, орудия труда человека и его представления, приемы врачевания, картину мироздания, взгляды на жизнь — рационализируя все, включая его идеалы красоты, справедливости и духовные запросы.

В этой связи большое значение имеет тот факт, что современная математически-экспериментальная наука развивалась в XV, XVI и XVII вв. не только параллельно тому социальному процессу, который обычно именуется «становлением капитализма», но также и за пределами твердыни схоластических учений, идя наперекор их надменной враждебности. В XV в. математика занималась в основном вопросами коммерческой арифметики и архитектурными расчетами. У истоков современной физики стояли утилитарные механические устройства, изобретенные людьми ремесленного склада. Грубый индивидуализм Галилея был индивидуализмом поднимающегося класса капиталистов. Профессия врача начала выделяться из ремесла повитух и цирюльников. Художник, который одновременно выступал и как инженер, и как предприниматель, — человеческий тип, вошедший в историю благодаря таким личностям, как да Винчи, Альберти, Челлини; даже Дюрер находил время разрабатывать планы фортификационных сооружений, — лучше всего иллюстрирует мою мысль. Подвергая все это ана-

[4] Этот момент подчеркивался, пожалуй, даже с излишним нажимом Зомбартом (Sombart). Двойная (итальянская) бухгалтерия — это последний шаг на долгом и изнурительном пути. Своим происхождением она обязана практике периодически проводить инвентаризацию с подсчетом прибылей и убытков; см.: Sapori A. Biblioteca Storica Toscana, VII, 1932. Трактат Луки Пачоли о бухгалтерии (Luca Pacioli, 1494) был важной для своего времени вехой на этом пути. Для истории и социологии государства весьма важным моментом является то, что рациональная бухгалтерия проникла в практику управления государственным бюджетом только в XVII в., но и это проникновение было весьма несовершенным и происходило в примитивной форме «меркантилистской» бухгалтерии.

феме, схоластические профессора из итальянских университетов обнаруживали куда больший здравый смысл, чем принято считать. Дело было не в отдельных неортодоксальных утверждениях. Можно не сомневаться, что всякий порядочный схоластик без особого труда смог бы так подчистить свои трактаты, чтобы они полностью укладывались в систему Коперника. Но эти профессора безошибочно уловили дух, питавший подобные свершения, — то был дух рационального индивидуализма, дух, порождаемый становлением капитализма.

Во-вторых, становление капитализма сформировало не только особый склад ума, характерный для современной науки, который предполагает постановку определенных вопросов и использование определенных подходов к поиску ответов на эти вопросы, оно создало также новых людей и новые средства. Разрушая феодальный уклад и нарушая интеллектуальный покой феодального поместья и деревни (хотя, конечно, для споров и распрей даже в монастырях поводов всегда хватало), и главное — создавая социальное пространство для нового класса, который опирался на индивидуальные достижения в экономической области, оно в свою очередь привлекало к этой области людей сильной воли и мощного интеллекта. Докапиталистический уклад не оставлял простора для достижений, которые позволяли бы преодолевать классовые барьеры, т. е. давали бы возможность занять социальное положение, сравнимое с тем, которое занимали представители правящих классов. Это не означает, что возможность пробиться наверх вообще исключалась[5]. Однако деятельность на поприще бизнеса, вообще говоря, считалась занятием низших классов, — даже если речь шла о тех, кому удавалось пробиться к вершине успеха в рамках ремесленных гильдий, — и не давала возможности вырваться из своего сословия. Главные пути, обещавшие продвижение по социальной лестнице и приличный достаток, пролегали через церковь — причем в Средние века этот путь был почти так же доступен, как и сейчас, — да, пожалуй, еще через канцелярии крупных землевладельцев и военную службу. Эти возможности были вполне доступны всякому физически и психически здоровому человеку примерно до середины XII в., да и позже не были полностью перекрыты. Но лишь тогда, когда капиталистическое предпринимательство — сперва в области торговли и финансов, затем в области горнодобычи и, наконец, в промышленности — показало, какие оно сулит перспективы, особо одаренные и дерзновенные личности стали наконец обращаться к бизнесу, увидев в нем третий путь. Успех был скорым и впечатляющим, но то общественное положение, которое он приносил, на первых порах вовсе не было

[5] Мы склонны считать социальную структуру Средневековья слишком статичной или жесткой. На самом же деле в ней имела место непрерывная, выражаясь словами Парето, circulation des aristocracies (ротация аристократии). Например, кланы, составлявшие социальную верхушку в X в., к началу XI в. практически сошли со сцены.

столь значительным, как принято считать. Если внимательно присмотреться к карьере Якоба Фуггера, например, или Агостино Чиджи, нам не составит труда убедиться, что они не оказывали никакого влияния на ту политику, которую проводил Карл V или Лев X, и что те привилегии, которыми они пользовались, обошлись им недешево[6]. Тем не менее, предпринимательский успех оказался достаточно заманчивым, чтобы привлечь в сферу бизнеса талантливейших людей из всех слоев общества, за исключением разве что феодальной верхушки, а это породило дальнейший успех, который добавил пару рационалистическому двигателю. Так что в этом смысле именно капитализм — а не просто экономическая деятельность вообще — был в конечном итоге движущей силой рационализации человеческого поведения.

И здесь мы наконец-то подходим к нашей непосредственной цели[7], ради которой и велись все эти сложные, хотя и недостаточно адекватные сложности вопроса рассуждения. Не только современные механизированные заводы и вся продукция, которую они выдают, не только современная технология и экономическая организация, но все характерные черты и достижения современной цивилизации являются прямо или косвенно продуктами капиталистического процесса и потому должны приниматься во внимание при подведении баланса заслуг и пороков капитализма и вынесении приговора этому строю.

В ряду этих достижений стоят и успехи рациональной науки, и длинный список ее прикладных результатов. Самолеты, холодильники, телевидение и тому подобное являются общепризнанными плодами экономики, ориентированной на извлечение прибыли. Но и современная больница, хотя она, как правило, работает не ради прибыли, является, тем не менее, продуктом капитализма, и не только, повторяю, потому, что капиталистический процесс создает для нее средства и стимулы, но главным образом потому, что именно капиталистическая рациональность породила тот склад ума, благодаря которому были созданы методы лечения, используемые в современных больницах. И победы над раком, сифилисом и туберкулезом — пусть даже не окончательные, пусть только маячащие на горизонте — должны по праву считаться достижениями капитализма наравне с автомобилями, трубопроводами и бессемеровской сталью. Если говорить о медицине,

---

[6] Семейство Медичи не является на самом деле исключением. Ведь хотя их богатство помогло им приобрести контроль над Флорентийской республикой, именно этот контроль, а не само по себе богатство объясняет ту роль, которую играла эта семья. Во всяком случае, это единственная купеческая семья, которой удалось встать вровень с верхушкой феодальной знати. Настоящие исключения мы находим лишь там, где капиталистическая эволюция создала соответствующую среду или полностью разрушила феодальный уклад — например, в Венеции и Нидерландах.

[7] Я называю эту цель *непосредственной*, поскольку анализ, содержащийся на последних страницах, пригодится нам также и для других нужд. На самом деле он имеет фундаментальное значение для любого серьезного обсуждения этой великой темы — вопроса о капитализме и социализме.

то за используемыми ею методами стоит капиталистическая профессия, капиталистическая как потому, что в значительной мере медицина работает в духе бизнеса, так и потому, что ее представители являют собой сплав промышленной и коммерческой буржуазии. Но даже если бы это было не так, современные медицина и гигиена все равно были бы побочными продуктами капиталистического процесса, такими же, как и современная система образования.

В том же ряду стоят и капиталистическое искусство, и капиталистический стиль жизни. Рассмотрим только один пример — живопись; так будет короче, и к тому же в этой области невежество мое все же не такое полное, как в других областях. Если за начало отсчета новой эпохи взять фрески капеллы дель Арена Джотто (хотя мне кажется, что это не совсем верно) и затем провести линию (хотя подобная «линейная» аргументация заслуживает всяческого осуждения) Джотто — Мазаччо — да Винчи — Микеланджело — Эль Греко, никакие ссылки на мистический пыл Эль Греко не смогут опровергнуть мою мысль в глазах того, кто умеет видеть. А сомневающимся, которым хотелось бы, так сказать, пощупать капиталистическую рациональность своими руками, предлагаем вспомнить об экспериментах да Винчи. Если продолжить эту линию дальше (да, да, я все понимаю), мы завершили бы свой путь (возможно, на последнем издыхании) где-то на противопоставлении Делакруа и Энгра. А дальше все просто — Сезанн, Ван Гог, Пикассо или Матисс доведут дело до конца. Экспрессионистское устранение объекта образует красивое логическое завершение. История капиталистического романа (кульминацией которого является роман Гонкуров «Запись документов») проиллюстрировала бы нашу мысль еще лучше. Впрочем, это и так очевидно. Эволюцию капиталистического стиля жизни можно было бы с легкостью — а возможно, и наиболее наглядно — проследить на примере эволюции современного пиджачного костюма.

И наконец, существует еще все то, что можно объединить вокруг гладстоновского либерализма, поместив его в центр символической композиции. Термин «индивидуалистическая демократия» подошел бы не хуже, а, возможно, и лучше, поскольку мы хотели бы охватить им некоторые вещи, которые Гладстон не одобрил бы, а также моральную и духовную установку, которую он сам, обитая в цитадели веры, на самом деле ненавидел. На этом можно было бы поставить точку, если бы литургия радикалов не состояла бы главным образом из цветистых отречений от того, что я хотел бы сказать. Радикалы могут сколько угодно твердить, что народные массы вопиют о спасении от невыносимых мук и потрясают своими цепями в темноте и отчаянии, но, конечно, никогда не было так много личной свободы духа и тела *для всех*, никогда еще господствующий класс не проявлял такой готовности не только мириться со своими смертельными врагами, но даже и финансировать их, никогда не было столько живого сочувс-

твия к подлинным и надуманным страданиям, столько готовности взять на себя тяжелую ношу, сколько в современном капиталистическом обществе, и вся демократия, какую только знало человечество, если не считать демократии крестьянских общин, исторически возникла на заре как современного, так и античного капитализма. Конечно, и здесь можно было бы при желании привести множество исторических фактов, свидетельствующих об обратном, и все подобные контраргументы были бы совершенно справедливы, но несущественны при обсуждении современных условий и будущих альтернатив[8]. Если мы все же решимся пуститься в исторический экскурс, то многие из тех фактов, которые радикальным критикам показались бы самыми подходящими для их цели, часто будут выглядеть совсем иначе, если сравнивать их с соответствующими фактами докапиталистической эпохи. И нельзя возразить, что «времена, мол, тогда были другими», поскольку именно капиталистический процесс заставил их измениться.

Здесь особо следует упомянуть два момента. Во-первых, как я уже говорил, социальное законодательство или, в более общем смысле, институциональные изменения на благо народных масс — это не просто нечто такое, что было навязано капиталистическому обществу неизбежной необходимостью облегчить все более углубляющиеся страдания бедняков; на самом деле, помимо повышения уровня жизни масс благодаря своим побочным эффектам, капиталистический процесс обеспечил и средства, и «волю» к достижению этих перемен. Слово, взятое в кавычки, требует дальнейшего объяснения, и объяснение это заключается в принципе распространения рациональности. Капиталистический процесс рационализирует поведение и идеи и благодаря этому изгоняет из наших голов как метафизические верования, так и всякого рода мистические и романтические идеи. Это преобразует не только методы достижения целей, но и сами эти конечные цели. «Свободомыслие», понимаемое как материалистический монизм, атеизм и прагматическое восприятие земного мира вытекают из этой рационалистической установки пусть не в силу логической необходимости, но тем не менее совершенно естественным образом. С одной стороны, наше врожденное чувство долга, лишенное своей традиционной основы, сосредоточивается на утилитарных идеях о совершенствовании человечества, которым, как ни странно, удается противостоять натиску рационалистической критики куда лучше, чем, скажем, идее богобоязненности. С другой стороны, та же рационализация душ срывает всю мишуру богоданности с сословных делений, а уж это вкупе с типично капиталистическим преклонением перед самосовершенствованием и

[8] Даже Маркс, во времена которого подобные обвинения не казались столь абсурдными, как в наши дни, все же считал, как видно, необходимым подкреплять свою позицию ссылками на условия, которые уже тогда либо отошли, либо, несомненно, отходили в прошлое.

служением — понимаемым совершенно в ином смысле, чем тот, который обычно вкладывали в эти слова средневековые рыцари, — формирует эту «волю» внутри самой буржуазии. Феминизм, явление преимущественно капиталистическое, иллюстрирует эту мысль еще более наглядно. Читатель, конечно, понимает, что все эти тенденции следует понимать «объективно» и что поэтому никакие антифеминистские или антиреформистские *разговоры* или даже временная оппозиция по отношению к той или иной конкретной мере ничего не доказывают. Все эти вещи суть симптомы тех самых тенденций, с которыми они якобы борются. Подробнее об этом мы поговорим в следующих главах.

Во-вторых, капиталистическая цивилизация является рационалистической и «антигероической». Эти свойства, конечно, являются взаимосвязанными. Успех в промышленности и торговле требует большой выносливости, и все же занятия промышленной или торговой деятельностью по существу лишены рыцарской героики, — здесь не скрещиваются мечи, негде проявить физическую удаль, нет возможности врезаться на боевом коне в ряды врагов — предпочтительно еретиков или язычников, — и идеология, которая прославляет идею борьбы ради борьбы и победы ради победы, по понятным причинам увядает в кабинетной тиши среди бесчисленных столбцов цифр. Таким образом, промышленная и торговая буржуазия, владеющая собственностью, на которую может покуситься разве только вор или сборщик налогов, и не только не разделяющая, но прямо отвергающая воинственную идеологию, которая идет вразрез с ее «рациональной» утилитарностью, в основе своей миролюбива и склонна настаивать на применении этических принципов частной жизни к международным отношениям. Правда, подобно некоторым другим принципам капиталистической цивилизации, но в отличие от их большинства, пацифизм и международная этика поддерживались также и в некапиталистических условиях, и докапиталистическими институтами, например Римской церковью в Средние века. Тем не менее, современный пацифизм и современная международная этика являются продуктами капитализма.

Поскольку марксистская доктрина — в особенности неомарксистская доктрина, и даже значительная часть несоциалистических учений — относится, как мы убедились в первой части настоящей книги, к этому утверждению резко отрицательно[9], необходимо подчеркнуть, что сказанное вовсе не отрицает того, что многие буржуа отчаянно боролись, защищая свой дом и очаг, и что почти чисто буржуазные города-республики часто становились агрессивными, когда это сулило выгоду, — вспомним, например, Афины или Венецию, — а также того, что никакая буржуазия никогда не брезговала военной добычей или расширением возможностей для торговли путем завоеваний и никогда

[9] См. обсуждение марксистской теории капитализма в гл. IV.

не противилась идеям воинствующего национализма, насаждаемым ее феодальными господами или вождями или пропагандируемым некими особо заинтересованными группами. Все, что я хочу сказать, сводится к тому, что, во-первых, подобные случаи капиталистической воинственности не объясняются, в отличие от того, что утверждает по этому поводу марксизм, исключительно или главным образом классовыми интересами или классовой расстановкой сил, которая якобы систематически порождает капиталистические завоевательные войны; во-вторых, имеется различие между тем, когда человек делает то, что он считает основным делом своей жизни, к которому он готовит себя постоянно, которое является для него мерилом личного успеха или неудачи, и тем, когда человек занимается несвойственным ему делом, к которому не располагает ни его обычная работа, ни его менталитет и успех в котором увеличивает престижность самой небуржуазной из всех профессий; в-третьих, что это различие однозначно свидетельствует, как в международных, так и во внутренних делах, против использования военной силы и в пользу мирного урегулирования даже в тех случаях, когда материальные выгоды склоняют чашу весов в пользу войны, что в современных условиях, вообще говоря, не слишком вероятно. На самом деле, чем более полно выражен капиталистический характер в структуре и менталитете нации, тем более эта нация миролюбива и тем более склонна задумываться о потерях, которые несет с собой война. Продемонстрировать это на конкретных примерах вряд ли возможно — слишком сложна природа сил, действующих в каждом отдельном случае, и чтобы доказать это утверждение, нам потребовалось бы провести подробный исторический анализ. Но буржуазное отношение к военным (регулярным вооруженным силам), характер буржуазных войн и методы их ведения, а также та готовность, с которой в любом серьезном случае затяжных военных действий буржуазия подчиняется небуржуазной власти, сами по себе являются убедительным доказательством. Марксистская идея о том, что империализм является последней стадией капиталистической эволюции, тем самым оказывается несостоятельной совершенно независимо от чисто экономических возражений.

Но я не собираюсь делать тот вывод, который, по всей вероятности, ждет от меня читатель. Иначе говоря, я не собираюсь просить его не увлекаться непроверенными теориями, выдвигаемыми непроверенными людьми, а лучше еще раз взглянуть на внушительные экономические и еще более внушительные культурные достижения капиталистического строя и на те необъятные перспективы, которые они сулят. Я не собираюсь утверждать, что эти достижения и эти перспективы уже сами по себе есть достаточный аргумент в пользу того, чтобы дать капиталистическому процессу возможность развиваться дальше и снять, так сказать, бремя нищеты с плеч человечества.

В подобных призывах не было бы никакого смысла, даже если бы человечество обладало такой же свободой выбора, какой обладает бизнесмен, решающий, какой станок и у какого поставщика ему купить. Из тех фактов и отношений между фактами, которые я пытался изложить, не вытекает никакого определенного оценочного суждения. Что касается экономических достижений, то их наличие в современном индустриальном обществе еще не означает, что люди стали «счастливее» или «богаче», чем в условиях средневекового поместья или деревни. Что касается культурных достижений, то можно соглашаться с каждым сказанным мною словом, но все же всей душой ненавидеть эти достижения — за их утилитарность и массовое разрушение заложенного в культуре смысла. Кроме того, как мне придется вновь повторить, когда мы перейдем к обсуждению социалистической альтернативы, важно учитывать не только эффективность капиталистического процесса с точки зрения создания экономических и культурных ценностей, но и участь тех людей, которых капитализм формирует, а затем бросает на произвол судьбы, предоставляя им полную свободу бездарно проматывать свою жизнь. Есть радикалы, чьи обвинения в адрес капиталистической цивилизации не имеют под собой никакой другой опоры, кроме глупости, невежества и безответственности их авторов, не способных или не желающих понять самые очевидные вещи, не говоря уже о том, что за ними стоит. Однако обвинительный вердикт капитализму может быть вынесен и на более высоком уровне.

Впрочем, какими бы ни были ценностные суждения об эффективности капитализма — положительными или отрицательными, — особого интереса они не представляют. Дело в том, что человечество не свободно выбирать. И дело не только в том, что массы не способны рационально сравнивать альтернативы и всегда принимают на веру то, что им говорят. Тому существуют и гораздо более глубокие причины. Экономические и социальные процессы развиваются по собственной инерции, и возникающие в результате ситуации вынуждают отдельных людей и социальные группы вести себя определенным образом, хотят они того или не хотят, — вынуждают, разумеется, не путем лишения их свободы выбора, но путем формирования менталитета, ответственного за этот выбор, и путем сужения перечня возможностей, из которых этот выбор осуществляется. Если квинтэссенция марксизма заключается именно в этом, тогда нам всем придется признать себя марксистами. А раз так, то эффективность капитализма вообще не играет роли, если речь идет о прогнозировании будущего капиталистической цивилизации. Ведь большинство цивилизаций исчезли, так и не успев полностью реализовать свой потенциал. И я не собираюсь, ссылаясь на эту эффективность, утверждать, что капиталистическое интермеццо скорее всего будет иметь продолжение. На самом деле я собираюсь сделать прямо противоположный вывод.

Глава XII
РАЗРУШЕНИЕ СТЕН

1. Отмирание предпринимательской функции

Говоря о теории исчезновения инвестиционных возможностей, мы упомянули о возможности такой ситуации, когда экономические потребности человечества удастся удовлетворить настолько полно, что стимулов развивать производство еще дальше практически не останется. Подобное состояние насыщения, несомненно, отстоит от нас еще очень далеко, даже если исходить из сложившейся структуры потребностей; а если учесть, что рост уровня жизни сопровождается автоматическим расширением этих потребностей и возникновением или созданием новых[1], то насыщение превращается в некое подобие бегущей мишени, особенно если к числу потребительских товаров мы относим досуг. Однако давайте все же рассмотрим такую возможность, предполагая, хотя это еще менее правдоподобно, что методы производства достигли такой степени совершенства, которая не допускает дальнейшего их улучшения.

Возникнет более или менее стационарное состояние. Капитализм, который по существу является эволюционным процессом, истощится. Предпринимателям нечем будет заняться. Они окажутся примерно в таком же положении, как генералы в обществе, которое совершенно уверено, что мир утвердился раз и навсегда. Прибыль, а вместе с прибылью и норма процента будет стремиться к нулю. Буржуазия, живущая за счет прибыли и процента, начнет исчезать. Управление промышленностью и торговлей сведется к рутинному администрированию, а сами управляющие неизбежно обюрократятся. Почти автоматически возникнет самый настоящий социализм. Человеческая энергия отвернется от бизнеса. Иные, неэкономические дали станут увлекать умы и давать простор для приключений.

Применительно к обозримому будущему эта картина никакого значения не имеет. Однако все большее значение приобретает то, что многие из тех перемен в структуре общества и организации производственного процесса, которых можно было бы ожидать вследствие почти полного удовлетворения потребностей или абсолютного совершенства технологии, могут быть обусловлены и той тенденцией развития, которая совершенно четко прослеживается уже сегодня. Прогресс можно механизировать точно так же, как и управление в стаци-

[1] Вильгельм Вундт называл это явление «гетерогонией целей» (Heterogonie der Zwecke).

онарной экономике, и эта механизация прогресса может оказать на предпринимательство и капиталистическое общество влияние не менее сильное, чем остановка экономического прогресса. Чтобы показать, почему это так, давайте еще раз вспомним, во-первых, в чем заключается предпринимательская функция и, во-вторых, что она значит для буржуазного общества и выживания капиталистического строя.

Мы уже видели, что функция предпринимателей заключается в том, чтобы реформировать или революционизировать производство, используя изобретения или, в более общем смысле, используя новые технологические решения для выпуска новых товаров или производства старых товаров новым способом, открывая новые источники сырья и материалов или новые рынки, реорганизуя отрасль и т. д. Начало строительства железных дорог, производство электроэнергии перед Первой мировой войной, энергия пара и сталь, автомобиль, колониальные предприятия — все это яркие образцы большого семейства явлений, включающего также и бессчетное множество более скромных представителей — вплоть до выпуска новых сортов колбас и оригинальных зубных щеток. Именно такого рода деятельность и есть главная причина периодических «подъемов», революционизирующих экономический организм, и периодических «спадов», возникающих вследствие нарушения равновесия при производстве новых товаров или применении новых методов. Делать что-то новое всегда трудно, и реализация нововведения образует самостоятельную экономическую функцию, во-первых, поскольку все новое лежит за пределами рутинных, понятных всем задач и, во-вторых, поскольку приходится преодолевать сопротивление среды, которое в зависимости от социальных условий может происходить в самых разных формах, начиная от простого отказа финансировать или покупать новые товары и кончая физической расправой с человеком, который попытается создать что-то новое. Чтобы действовать уверенно за пределами привычных вех и преодолевать это сопротивление, необходимы особые способности, которые присущи лишь небольшой части населения, и именно эти способности определяют как предпринимательский тип, так и предпринимательскую функцию. Но главное в этой функции — не изобретение чего-либо нового и не создание каких-либо условий, которые предприятие затем эксплуатирует. Главное в ней — делать дела.

Эта социальная функция уже сегодня утрачивает свое значение, а в будущем, несомненно, будет играть еще меньшую роль, даже если сам экономический процесс, первейшей движущей силой которого является предпринимательство, будет развиваться прежними темпами. Дело в том, что сегодня гораздо проще, чем когда-либо прежде, де-

лать вещи, выходящие за рамки привычного, — новаторство само превращается в рутину. Технологический прогресс все больше становится делом коллективов высококвалифицированных специалистов, которые выдают то, что требуется, и заставляют это нечто работать предсказуемым образом. Романтика прежних коммерческих авантюр отходит в прошлое, поскольку многое из того, что прежде могло дать лишь гениальное озарение, сегодня можно получить в результате строгих расчетов.

С другой стороны, личность и сила воли, по-видимому, уже не играют такой роли в условиях, когда экономические изменения вошли в привычку, — лучшим подтверждением этому служит нескончаемый поток новых потребительских и производственных товаров, которые не только не встречают сопротивления, но воспринимаются как должное. Сопротивление со стороны тех, чьи интересы оказываются под угрозой в результате нововведений в производственном процессе, вряд ли исчезнет до тех пор, пока существует капиталистический уклад. Например, оно стало серьезным препятствием на пути массового производства дешевого жилья, которое предполагает радикальную механизацию и отказ от неэффективных методов работы строителей. Но все другие виды сопротивления — в частности, сопротивление потребителей и производителей новым видам товаров просто потому, что они новые, — практически уже исчезли.

Таким образом, экономический прогресс имеет тенденцию становиться деперсонифицированным и автоматизированным. На смену личности приходят бюро и комиссии. Здесь опять будет уместно сослаться на примеры из военной истории.

В прежние времена, вплоть до наполеоновских войн включительно, быть генералом означало быть полководцем, а военный успех означал личный успех командующего, который получал соответствующие «дивиденды» в виде высокого социального престижа. При существовавшей тогда технике ведения войны и структуре армий индивидуальные решения и авторитет командующего — даже его личное присутствие верхом на красивом коне — были важными элементами стратегических и тактических ситуаций. Присутствие Наполеона на полях сражений должно было ощущаться и действительно ощущалось. Нынче же все изменилось. Рационализация и специализация кабинетной работы постепенно вытесняет личность, строгий расчет вытесняет «озарение». Полководец уже не имеет возможности лезть в гущу сражения. Он все более превращается в обыкновенного служащего — и перестает быть незаменимым.

Или возьмем другой пример из военной истории. В Средние века войны были делом глубоко личным. Искусство закованных в латы рыцарей требовало постоянных упражнений в течение всей жизни, каж-

дый рыцарь был на особом счету и ценился в зависимости от личного искусства и доблести. Нетрудно понять, почему этот род занятий послужил основой для возникновения нового социального класса в самом полном и широком смысле этого слова. Однако социальные перемены и технический прогресс подрывали и со временем разрушили как функцию, так и положение этого класса. Но войны от этого не прекратились. Просто они становились все более механизированными — со временем их механизированность достигла такого уровня, что успех на военном поприще, которое сегодня превратилось в заурядную профессию, уже не несет на себе той печати личной заслуги, которая не только самому человеку, но и социальной группе, к которой он принадлежит, обеспечивала прочное положение социального лидерства.

В наши дни аналогичный, а если разобраться, то и тот же самый — социальный процесс подрывает роль, а вместе с нею и социальное положение капиталистического предпринимателя. Его роль, хотя она и не может сравниться славой с ролью больших и малых средневековых военачальников, также есть и была одной из форм индивидуального лидерства, основанной на авторитете личности и личной ответственности за успех. Его положение, как и положение класса военачальников, ставится под угрозу, как только эта функция начинает утрачивать свое значение в социальном процессе, причем не важно, чем это вызвано — отмиранием социальных потребностей, которые эта функция обслуживала, или тем, что эти потребности стали обслуживаться иными, более обезличенными методами.

Однако это сказывается не только на положении предпринимателей, но и на положении всего класса буржуазии в целом. Хотя в начале своего пути предприниматели не обязательно принадлежат к классу буржуазии и даже, как правило, к нему не принадлежат, они тем не менее входят в него в случае успеха. Таким образом, хотя предприниматели сами по себе социального класса не образуют, класс буржуазии впитывает в себя их самих, их семьи и родственников, укрепляя тем самым свой численный состав и жизненные силы, при этом семьи, которые отстраняются от активного участия в бизнесе, выпадают из этого класса через одно-два поколения. Основную массу составляют те, кого мы называем промышленниками, финансистами и банкирами; они находятся на промежуточной стадии между двумя полюсами: предпринимательским началом и рутинным администрированием доставшегося по наследству дела. Доходы, за счет которых класс буржуазии существует, и социальное положение, которое он занимает, зависят от успеха этого более или менее активного сектора — который необязательно составляет меньшинство, в США, например, его доля в буржуазном классе составляет более 90% — и индивидов, находящихся на пути к вступлению в этот класс. Таким образом, эконо-

мически и социологически, прямо и косвенно буржуазия зависит от предпринимателя и как класс живет и по прошествии более или менее продолжительного переходного периода отомрет вместе с ним — не исключено, что это будет период, на протяжении которого буржуазия будет чувствовать, что она не может ни жить, ни умереть, — подобно тому, как это происходило с феодальной цивилизацией.

Подведем итог этой части наших рассуждений: если капиталистическая эволюция — «прогресс» — остановится вообще или будет происходить совершенно автоматически, экономический базис промышленной буржуазии сведется к зарплате, аналогичной той, которую сегодня платят за рутинную административную работу, если не считать рудименты квазиренты и прибыли монопольного типа, которые будут, по всей вероятности, в течение некоторого времени сохраняться. Поскольку капиталистическое предпринимательство в силу собственных достижений имеет тенденцию автоматизировать прогресс, мы делаем вывод, что оно имеет тенденцию делать самое себя излишним — рассыпаться под грузом собственного успеха. Совершенно обюрократившиеся индустриальные гиганты не только вытесняют мелкие и средние фирмы и «экспроприируют» их владельцев, но в конечном итоге вытесняют также и предпринимателя и экспроприируют буржуазию как класс, который в этом процессе рискует потерять не только свой доход, но, что гораздо более важно, и свою функцию. Истинными провозвестниками социализма были не интеллектуалы и не агитаторы, которые его проповедовали, но Вандербильты, Карнеги и Рокфеллеры. Результат может оказаться не совсем по вкусу марксистским социалистам, тем более не по вкусу социалистам в более популярном (Маркс сказал бы — вульгарном) понимании. Но что касается самого прогноза, то здесь наши выводы полностью совпадают.

2. Разрушение защитного слоя

До сих пор мы рассматривали влияние капиталистического процесса на экономический фундамент верхушки капиталистического общества, на ее социальное положение и престиж. Но это влияние простирается и дальше, затрагивая институциональные структуры, которые ее защищали. Термин «институциональные структуры» мы будем употреблять в самом широком смысле, относя сюда не только юридические институты, но также и сложившиеся установки общественного мнения и государственной политики.

1. Капиталистическая революция прежде всего разрушила или, во всяком случае, во многом способствовала разрушению институциональных опор феодального мира — поместья, деревни, ремесленного

цеха. История и механизмы этого процесса слишком хорошо известны, чтобы стоило на них задерживаться. Разрушение происходило тремя путями. Мир ремесленников был разрушен прежде всего автоматическими эффектами конкуренции, исходившей от капиталистического предпринимателя; политические меры по отмене отживших организаций и законов лишь зарегистрировали свершившийся факт. Мир феодальных сеньоров и крестьян был разрушен главным образом политическими — в некоторых случаях революционными — мерами, а капитализм просто руководил адаптивными преобразованиями, как это происходило, например, в Германии, когда поместья юнкеров превращались в крупные сельскохозяйственные предприятия. Но параллельно с этими промышленными и аграрными революциями происходили не менее революционные преобразования в общих установках законодательной власти и общественного мнения. Вместе с прежним экономическим укладом исчезали и экономические и политические привилегии классов и групп, которые раньше играли в нем ведущую роль, в частности, были отменены налоговые льготы и политические прерогативы крупных и мелких помещиков и церкви.

Экономически для буржуазии это означало падение многочисленных оков и преград. Политически это означало замену того уклада, при котором буржуа был смиренным подданным, другим укладом, который был ближе по духу его рациональному складу и его непосредственным интересам. Но если взглянуть на этот процесс с позиций сегодняшнего дня, невольно возникает вопрос, пошла ли такая полная эмансипация на пользу буржуазии и ее миру. Ведь эти преграды не только сдерживали буржуазию, но ее и защищали. Прежде чем мы пойдем дальше, этот момент необходимо пояснить и оценить.

2. Процесс становления капиталистической буржуазии и связанный с ним процесс становления национальных государств в XVI, XVII и XVIII вв. породили социальную структуру, которая может показаться двойственной, хотя она была ничуть не более двойственной или переходной, чем любая другая. Особенно показательна в этом смысле монархия Людовика XIV. Королевская власть подчинила себе поместное дворянство и в то же время привлекла его на свою сторону, предоставив возможность служить и получать пенсию и условно признав ее претензии на положение правящего или ведущего класса. Точно так же королевская власть подчинила себе и церковь и заключила с нею союз[2]. Она окончательно укрепила свою власть над буржуазией, своим старым союзником по борьбе с земельными магнатами, защищая и продвигая вперед развитие предпринимательства, с тем чтобы в последующем эксплуатировать его еще более эффективно.

[2] Галликанизм был всего лишь идеологическим отражением этих событий.

Точно так же государственная власть — а также землевладельцы и промышленники, действовавшие от ее имени, — усмиряла, эксплуатировала и защищала крестьян и (немногочисленный) промышленный пролетариат — хотя в случае ancien régime (старого режима) во Франции эта защита была значительно менее заметна, чем, скажем, в Австрии в эпоху правления Марии-Терезы или Иосифа II. Это было не просто правительство, понимаемое в смысле либерализма XIX в., т. е. социальная структура, существующая ради выполнения некоторого ограниченного круга функций и обязанная уложиться в минимальный бюджет. В принципе монархия руководила всем — начиная от человеческих душ, кончая выбором рисунков на шелках лионских ткачей, а в финансовом отношении стремилась иметь максимальный бюджет. Хотя королевская власть никогда не была поистине абсолютной, государственная власть была всеобъемлющей.

Правильная оценка такого порядка имеет огромное значение для нашего предмета. Король, придворные, армия, церковь и бюрократия жили во все возрастающей степени за счет доходов, создаваемых капиталистическим процессом, причем вследствие развития капитализма увеличивались даже феодальные источники доходов. Внутренняя и внешняя политика и институциональные изменения также во все возрастающей степени формировались так, чтобы отвечать требованиям этого развития и двигать его вперед. *В этом смысле* феодальные элементы в структуре так называемой абсолютной монархии представляются чем-то вроде атавизмов — оценка, которая на первый взгляд кажется совершенно естественной.

Однако, взглянув попристальней, мы увидим, что эти элементы значили нечто большее. Стальной каркас этой структуры по-прежнему состоял из человеческого материала феодального склада, и материал этот по-прежнему вел себя в соответствии с докапиталистическими традициями. Эти люди занимали государственные должности, служили офицерами в армии, разрабатывали политику — они вели себя как classe dirigente (правящий класс) и, хотя учитывали буржуазные интересы, от самой буржуазии они тщательно дистанцировались. Центр этой композиции — король — был королем милостью божьей, и корни занимаемого им положения были феодальными не только в историческом, но также и в социологическом смысле, как бы широко он ни пользовался экономическими возможностями, предоставляемыми капитализмом. Это было нечто большее, чем атавизм. Это был активный симбиоз двух социальных слоев, один из которых, несомненно, поддерживал другой экономически, но, в свою очередь, пользовался политической поддержкой другого. Что бы мы ни думали по поводу достоинств или недостатков такого уклада и что бы ни думали

о нем — а также о повесах и бездельниках-аристократах — сами буржуа, именно в этом была суть того общества.

3. Но только ли *того* общества? Ответ подсказывает нам последующий ход событий, наилучшей иллюстрацией которого служит история Англии. Аристократия продолжала верховодить *вплоть до конца периода девственного и бурно растущего капитализма.* Конечно, аристократия, хотя нигде не была она столь эффективной, как в Англии, нередко впитывала в себя выходцев из других слоев, если их заносило в политику, она стала представителем буржуазных интересов и сражалась за дело буржуазии; ей пришлось отказаться от последних своих законных привилегий; но даже в таком разбавленном составе и отстаивая цели, которые уже являлись ее собственными, она продолжала комплектовать кадрами политический двигатель, руководить государством, править.

Экономически активная часть буржуазного слоя не слишком этому сопротивлялась. Такого рода разделение труда в целом ее вполне устраивало. В тех случаях, когда она все же против него восставала или когда ей удавалось занять главенствующее политическое положение без борьбы, ей ни разу не удалось превратить свое правление в блестящий успех или доказать твердость своих позиций. Возникает вопрос, можем ли мы объяснить все эти неудачи лишь отсутствием необходимого опыта и установок правящего класса?

Нет, не можем. Как показывает исторический опыт Франции и Германии, где буржуазия пыталась установить свою власть, у всех этих неудач есть и более глубокая причина, которую мы сможем лучше всего пояснить, если вновь вернемся к нашему сравнению промышленника или торговца со средневековым землевладельцем. «Профессия» последнего не только хорошо готовила его к защите собственных классовых интересов, — он не только был способен отстаивать их с мечом в руках, — но она также создавала вокруг него некий ореол и делала его повелителем людей. Первое было важно, но еще важнее был мистический ореол и величественные манеры — эта способность и привычка повелевать и властвовать, перед которой почтительно склонялись все слои общества. Престиж дворянства был настолько высок, а властность настолько действенной, что в данном случае классовое положение пережило те социальные и материальные условия, которые его породили, и доказало свою приспособляемость путем трансформации классовой функции к совершенно иным социальным и экономическим условиям. С великолепной легкостью и изяществом лорды и рыцари превратились в судей, администраторов, дипломатов, политиков и офицеров того типа, который не имел ничего общего с типом средневековых рыцарей. И самое, если задуматься, удивитель-

ное — остатки этого прежнего преклонения живы и по сей день, и не только в глазах наших женщин.

О промышленнике или торговце можно сказать прямо противоположное. Он, несомненно, лишен какого бы то ни было мистического ореола, который один только и возвышает правителей над людьми. Фондовая биржа — слабая замена Священному Граалю. Мы уже видели, что промышленник и торговец, поскольку они являются предпринимателями, также выполняют функцию лидерства. Но экономическое лидерство подобного типа не так-то легко превращается в лидерство политическое. Скорее, наоборот, бухгалтерские книги и расчет себестоимости отнимают все время и держат на приколе.

Я называл буржуа рационалистом, чуждым героики. Чтобы настоять на своем или заставить нацию подчиниться своей воле, он может использовать только рационалистические, чуждые героике средства. Он может поражать воображение своими экономическими достижениями, он может отстаивать свою правоту, он может посулить деньги или пригрозить их попридержать, он может купить продажные услуги наемных убийц, политиков или журналистов. Но это все, что он может, причем политическая значимость всех этих мер сильно преувеличена. Ни жизненный опыт, ни традиции буржуа не делают его личность привлекательной. Даже гений бизнеса вне стен своего кабинета часто и слова никому поперек сказать не решится — ни у себя в гостиной, ни с трибуны. Зная за собой эту слабость, буржуа хочет, чтобы его оставили в покое, и сам не лезет в политику.

Читатель, конечно, и здесь припомнит исключения из правила. Но опять-таки исключений этих не так уж много. Способности к управлению муниципальным хозяйством, интерес к нему и успехи в этой области являются единственным важным исключением в Европе, но это, как мы покажем, не только не противоречит вышесказанному, но даже подтверждает нашу мысль. До появления современных метрополий управление городом было сродни хозяйственному управлению. Понимание городских проблем и авторитет среди жителей давались промышленнику и торговцу естественным образом, а поскольку интересы местной промышленности и торговли составляли главный предмет городской политики, ее вполне можно было проводить с помощью методов, принятых в бизнесе. В исключительно благоприятных условиях эти корни давали исключительные побеги — вспомним, например, достижения Венеции и Генуи. В этом же ряду стоят и Нидерланды, причем их пример особенно показателен, поскольку в великой игре международной политики эта купеческая республика неизменно проигрывала, и практически во всех критических ситуациях ей приходилось передавать бразды правления военачальнику феодального склада. Что касается Соединенных Штатов, то и здесь нетрудно при-

вести перечень исключительно благоприятных условий, — впрочем, быстро идущих на убыль, — которые объясняют их успех[3].

4. Вывод очевиден: если оставить в стороне подобные исключительные условия, мы увидим, что класс буржуазии плохо подготовлен к решению как внутренних, так и внешних проблем, с которыми обычно приходится иметь дело правительству всякой страны, как большой, так и малой. Буржуазия и сама это чувствует, несмотря на все ее заявления, в которых утверждается обратное, чувствуют это и массы. Под прикрытием защитной брони, выполненной из небуржуазного материала, буржуазия может добиваться успеха, причем не только в оборонительных, но и в наступательных действиях, особенно если она выступает как оппозиция. Какое-то время она чувствовала себя настолько защищенной, что стала даже позволять себе нападать на свой защитный панцирь — это великолепно иллюстрируют действия буржуазной оппозиции в имперской Германии. Но без защиты того или иного небуржуазного слоя буржуазия оказывается политически беспомощной и неспособной не только вести за собой нацию, но даже защитить свои собственные классовые интересы. Короче говоря, она нуждается в хозяйской руке.

Но капиталистический процесс как благодаря своим экономическим механизмам, так и своим психосоциологическим эффектам покончил с этим хозяином-защитником, а кое-где, например в США, просто не дал ему или его наместнику шанса встать на ноги. Значение этого усиливается также другим следствием того же процесса. Капиталистическая эволюция устраняет не только короля Dei Gratia (божьей милостью), но и другие политические укрепления, которые могли бы образовать деревня и ремесленные цехи. Конечно, ни та, ни другая организация в той конкретной форме, в какой их застал капитализм, прочными не являлись. Однако капитализм нес с собой разрушения, далеко выходившие за рамки неизбежного. Он атаковал ремесленника в резервациях, в которых он мог бы спокойно существовать неопределенно долгое время. Крестьянину он навязал все блага раннего либерализма — свободное и ничем не защищенное владение своим участком земли и веревку индивидуализма, чтобы на ней повеситься.

Разрушая докапиталистический каркас общества, капитализм, таким образом, сломал не только преграды, мешавшие его прогрессу, но и те опоры, на которых он сам держался. Этот процесс, внушительный в своей неумолимой неизбежности, заключался не просто в расчистке институционального сухостоя, но и в устранении партнеров капиталистического класса, симбиоз с которыми был существенным элементом капиталистической системы. Обнаружив этот факт, скры-

[3] К этому вопросу мы еще вернемся в четвертой части.

тый за множеством лозунгов, мы имеем все основания задать вопрос, вполне ли корректно считать капитализм самостоятельно возникшей социальной формой или он является всего лишь последней стадией разложения того, что мы называем феодализмом. В целом я склонен полагать, что его особенности достаточны, чтобы классифицировать его как самостоятельный тип и считать, что симбиоз классов, которые обязаны своим существованием различным эпохам и процессам, есть скорее правило, чем исключение, — по крайней мере, он был правилом в течение последних шести тысяч лет, т. е. с тех самых пор, как первобытные земледельцы превратились в подданных конных кочевников. Но и никаких серьезных возражений против сформулированной выше противоположной точки зрения я тоже не вижу.

3. Разрушение институциональной структуры капиталистического общества

Мы возвращаемся теперь к нашей теме с внушительным грузом зловещих фактов. Этих фактов почти, хотя и не совсем, достаточно, чтобы доказать наше следующее утверждение, а именно то, что капиталистический процесс, подобно тому как он разрушил институциональную структуру феодального общества, подрывает также и свою собственную институциональную структуру.

Выше мы уже говорили о том, что самый успех капиталистического предпринимательства парадоксальным образом имеет тенденцию умалять престиж и социальный вес класса, который в первую очередь с этим предпринимательством связан, и что гигантская армия управленцев имеет тенденцию освобождать буржуазию от той функции, которой она обязана этим социальным весом. Соответствующие изменения в содержании и сопровождающий эти изменения упадок жизненных сил буржуазных институтов и установок нетрудно проследить.

С одной стороны, капиталистический процесс неизбежно подрывает экономическую базу мелких производителей и торговцев. Он делает с нижними слоями капиталистической индустрии то же, что он делал с докапиталистическими классами, причем использует для этого тот же механизм — механизм конкурентной борьбы. Здесь, конечно, Марксу трудно возразить. Пусть реальные факты промышленной концентрации не вполне соответствуют тем идеям, которые внушают публике (см. гл. XIX). Процесс на самом деле зашел не так далеко и не так редко сталкивается с препятствиями и компенсаторными тенденциями, как это представлено во многих популярных изложениях. В частности, крупномасштабное предприятие не только уничтожает, но в определенной мере также и создает питательную почву для воз-

никновения мелких производственных и особенно торговых фирм. К тому же, что касается фермеров и крестьян, то капиталистический мир наконец доказал, что он хочет и может проводить дорогостоящую, но в целом эффективную политику сохранения этих укладов. Однако в долгосрочном аспекте не может быть никаких сомнений относительно справедливости сделанного вывода или того, к каким последствиям этот процесс приведет. Более того, за пределами аграрной области буржуазия обнаружила лишь слабое понимание этой проблемы[4] и ее важности для выживания капиталистического строя. Прибыль, которую сулит рациональная организация производства, особенно удешевление многотрудного пути товаров от завода до конечного потребителя, — это слишком сильное искушение, противиться которому разум типичного бизнесмена не в состоянии.

Здесь очень важно понимать, в чем именно состоят эти последствия. Широко распространенный вид социальной критики, с которым нам уже приходилось встречаться, оплакивает «закат конкурентной борьбы» и приравнивает его к закату капитализма в силу достоинств, которые приписываются конкуренции, и пороков, которые приписываются современным промышленным «монополиям». В таком понимании монополизация играет роль атеросклероза и подрывает жизнеспособность капиталистического строя, снижая экономическую эффективность. Мы показали, почему такой взгляд следует отвергнуть. С экономической точки зрения ни достоинства конкуренции, ни пороки концентрации экономического контроля и близко не имеют того значения, какое придается им в подобных теориях. А если бы и имели, все равно в этих рассуждениях упускается из виду одно очень важное обстоятельство. Даже если бы управление гигантскими концернами велось столь безупречно, что ему рукоплескали бы ангелы в раю, политические последствия концентрации все равно оставались бы теми же самыми, какие мы наблюдаем сегодня. На политическую структуру государства глубокое воздействие оказывает ликвидация множества мелких и средних фирм, владельцы которых вместе со своими семьями, помощниками и партнерами образуют весомую силу у избирательных урн и имеют такую власть над тем, что можно назвать классом мастеров, т. е. верхним слоем рабочих, какой никогда не сможет иметь руководство крупного предприятия; самый фундамент частной собственности и свободных договорных отношений стирается в государстве, в котором с этического горизонта людей исчезают самые

[4] Хотя есть и исключения. Так, правительство империалистической Германии много сделало для борьбы с этим конкретным видом рационализации, а сегодня сильные тенденции такого же рода мы наблюдаем и в США.

энергичные, самые практичные, самые содержательные человеческие типы.

С другой стороны, капиталистический процесс подрывает свою собственную институциональную структуру — давайте по-прежнему считать «собственность» и «свободу контрактов» partes pro toto (частями вместо целого — *лат.*) — и в рамках крупных предприятий. За исключением случаев, которые все еще играют значительную роль, — когда корпорацией практически владеет один человек или одна семья, — фигура собственника уходит в небытие, а вместе с ней исчезают и характерные интересы собственности. Остаются наемные управляющие высшего и нижнего звена. Остаются крупные и мелкие владельцы акций. Первая группа склонна приобретать установки, свойственные наемным служащим, и практически никогда не отождествляет свои интересы с интересами держателей акций, даже в самых благоприятных случаях, т. е. в случаях, когда такая группа отождествляет свои интересы с интересами концерна как такового. Представители такой группы, даже если они считают свою связь с концерном постоянной и действительно ведут себя так, как должны вести себя держатели акций согласно финансовой теории, все же отличаются от истинных хозяев как по своим функциям, так и по своим установкам. Что же касается третьей группы, то мелкие держатели акций, как правило, вообще не интересуются делами компании, акции которой для большинства из них образуют лишь небольшой источник дохода, но даже если они этим интересуются, они практически никогда не ходят на собрания акционеров, если только они или их доверенные лица не хотят кому-то нарочно досадить; поскольку их интересами часто пренебрегают, а сами они думают, что их интересами пренебрегают даже чаще, чем это случается на самом деле, они, как правило, враждебно относятся и к «своей» корпорации, и к крупному бизнесу вообще, и к капитализму как таковому — особенно если дела идут не слишком хорошо. Ни одна из этих трех групп, которые я выделил как самые типичные, не является безусловным выразителем интересов, характерных для такого любопытного явления, столь содержательного и так быстро исчезающего, которое обозначается понятием «собственность».

То же самое можно сказать и о свободе контракта. В эпоху расцвета договорных отношений это понятие означало свободу заключать индивидуальные договоры на основании индивидуального выбора из бесконечного числа возможностей. Стандартизированный, лишенный индивидуальных черт, обезличенный и бюрократизированный контракт, который мы имеем сегодня, — в первую очередь мы имеем в виду договор трудового найма, хотя это относится также и ко многим другим контрактам, — который предоставляет весьма ограничен-

ную свободу выбора, в основном строится по формуле «c'est a prendre ou a laisser» [хочешь бери, не хочешь — тебе же хуже — *фр.*]. Он совершенно лишен прежних характерных черт, большинство из которых стали невозможными в условиях, когда гигантские концерны имеют дело с другими гигантскими концернами или безликими массами рабочих или потребителей. Эта пустота заполняется тропической порослью новых юридических структур — и если подумать, то никак иначе и быть не могло.

Таким образом, капиталистический процесс отодвигает на задний план все те институты, в особенности институт частной собственности и институт свободного контракта, которые выражали потребности и методы истинно «частной» экономической деятельности. Если он не устраняет их полностью, как это случилось со свободой договорных отношений на рынке труда, он достигает того же результата, изменяя относительную важность существующих юридических форм, — например, усиливая юридические позиции корпоративного бизнеса в противовес тем, которые занимают товарищества или фирмы, находящиеся в индивидуальной собственности, — или изменяя их содержание и смысл. Капиталистический процесс, подменяя стены и оборудование завода простой пачкой акций, выхолащивает саму идею собственности. Он ослабляет хватку собственника, некогда бывшую такой сильной, — законное право и фактическую способность распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. В результате держатель титула собственности утрачивает волю к борьбе — борьбе экономической, физической и политической за «свой» завод и свой контроль над этим заводом, он теряет способность умереть, если потребуется, на его пороге. И это исчезновение того, что можно назвать материальной субстанцией собственности, — ее видимой и осязаемой реальности, — влияет не только на отношение к ней ее держателей, но и на отношение рабочих и общества в целом. Дематериализованная, лишенная своих функций и отстраненная собственность не впечатляет и не внушает чувства преданности, как собственность в период своего расцвета. Со временем не останется никого, кого бы реально заботила ее судьба, ни внутри больших концернов, ни за их пределами.

Глава XIII

РАСТУЩАЯ ВРАЖДЕБНОСТЬ

1. Социальная атмосфера капитализма

Из анализа, проделанного в двух предыдущих главах, должно быть достаточно ясно, каким образом капиталистический процесс породил ту атмосферу почти всеобщей враждебности по отношению к его собственному социальному строю, о которой я говорил в самом начале этой части. Это явление настолько поразительно, а объяснения, которые ему дают как марксизм, так и расхожие теории, настолько неадекватны, что нам представляется необходимым несколько углубить теорию этого вопроса.

1. Капиталистический процесс, как мы видели, постепенно снижает важность той функции, за счет которой живет класс капиталистов. Мы также увидели, что он имеет тенденцию разрушать свой защитный слой, уничтожать свои собственные бастионы и разгонять гарнизоны, держащие линию обороны. И наконец, мы видели, что капитализм создает тот критический склад ума, который, разрушив моральный авторитет столь многих других институтов, в конце концов поворачивается против своих собственных; буржуа к своему удивлению обнаруживает, что рационалистическое отношение не ограничивается вопросом о законности власти королей и попов, но начинает ставить под сомнение и институт частной собственности, и всю систему буржуазных ценностей.

Буржуазная крепость оказывается, таким образом, политически беззащитной. А беззащитные крепости всегда служили приманкой для агрессоров — особенно те, что сулят богатую добычу. Агрессорам остается лишь найти своим враждебным помыслам рациональное объяснение[1], но это им всегда удается. Безусловно, на какое-то время от них можно откупиться. Но и эта последняя уловка перестает срабатывать, как только они поймут, что могут получить все. Отчасти это и есть объяснение того, что мы хотим объяснить. В той мере, в какой это так, — а объяснение такое, конечно, неполно, — этот элемент нашей теории подтверждается высокой корреляцией, которая исторически существует между буржуазной беззащитностью и враждебностью по отношению к капиталистическому строю: пока буржуазия за-

[1] Надеюсь, что никакой путаницы из-за того, что я использую слово «рациональный» в двух разных смыслах, не возникнет. Завод работает рационально, когда его производственная отдача на единицу затрат высока. Мы находим рациональное объяснение своим действиям, когда придумываем для себя и для окружающих такие причины этих действий, которые отвечают нашим представлениям о добре и зле, независимо от того, каковы истинные мотивы этих действий.

нимала прочные позиции, особой враждебности она не вызывала, хотя поводов для враждебности в те времена было гораздо больше; враждебность стала усиливаться одновременно с разрушением защитных стен.

2. Логично, однако, задать вопрос, — и такой вопрос действительно задают в наивном изумлении многие промышленники, которые честно полагают, что выполняют свой долг перед всеми слоями общества, — с какой стати капитализм должен нуждаться в какой-то защите со стороны некапиталистических сил или преданности, выходящей за рамки рационального? Разве он не может с честью выйти из этого испытания? Разве наши предыдущие рассуждения недостаточно показали, что капитализм может предъявить немало утилитарных доводов в свою защиту? Разве невозможно его полностью оправдать? К тому же вышеупомянутые промышленники, конечно, не упустят возможности подчеркнуть, что здравомыслящий рабочий, взвешивая все «за» и «против» своего контракта, имеет все основания прийти к выводу, что дела его в конце концов не так уж плохи и что сделка эта выгодна не только противной стороне. Да, конечно, — только все это не имеет никакого отношения к делу.

Во-первых, совершенно неправильно считать, что главной причиной политических нападок служит страдание и что для отражения этих нападок достаточно привести доводы в свою защиту. Политическую критику нельзя эффективно отразить разумными доводами. Из того обстоятельства, что критика капиталистического строя обусловлена критическим мышлением, т. е. установкой, отвергающей веру в ценности, не поддающиеся рациональному объяснению, еще не следует, что рациональное опровержение наветов будет услышано. Подобное опровержение может сорвать с этих наветов покров рациональности, но оно никогда не сможет сразить ту иррациональную движущую силу, которая за ними скрывается. Капиталистическая рациональность не кладет конец иррациональным или внерациональным импульсам. Она просто позволяет им выйти из-под контроля, снимая путы священных или полусвященных традиций. В цивилизации, где нет ни возможности, ни желания обуздать подобные страсти и подчинить их контролю, они неизбежно выходят из повиновения. А раз уже они вышли из повиновения, то здесь не играет роли, что в рационалистской культуре их проявлениям, как правило, находится какое-нибудь рациональное объяснение. Точно так же как требования обосновать свою утилитарную функцию, предъявляемые королям, лордам и попам, никогда не допускали возможности удовлетворительного ответа перед лицом беспристрастных судей, так и капитализм предстал перед судьями, в карманах у которых уже лежит его смертный приговор. Они его и вынесут, какие бы доводы ни приводила защита; единственный успех, на который может рассчитывать обвиняемый, — это измененная формулировка обвинительного акта. Утилитарный разум, во всяком

случае, плохо подходит на роль главной движущей силы коллективных действий. В этом он никогда не может тягаться с внерациональными детерминантами поведения.

Во-вторых, успех обвинения становится вполне объяснимым, как только мы поймем, к каким последствиям могло бы привести решение дела в пользу капитализма. Оправдание капитализма, даже если доводов в его пользу было бы гораздо больше, чем есть на самом деле, в любом случае не было бы легкой задачей. Оно потребовало бы от людей в своей массе такой проницательности и таких аналитических способностей, которые совершенно выходят за рамки возможного. Да что говорить, если практически любой вздор, который когда-либо говорился о капитализме, всегда находил своего поборника в лице того или иного претендующего на ученость экономиста. Но даже если оставить это обстоятельство в стороне, рациональное признание экономической эффективности капитализма и перспектив, которые он сулит, потребовало бы от неимущих совершить почти невозможный моральный подвиг. Ведь эта эффективность заметна лишь в долгосрочной перспективе; таким образом, любые прокапиталистические доводы должны покоиться на долгосрочных соображениях. Если же говорить о ближайшей перспективе, то первое, что бросается в глаза, — это прибыль и неэффективность. Чтобы смириться со своей судьбой, левеллер или чартист прежних эпох должен был бы утешать себя надеждой на то, что его правнуки будут жить лучше. Чтобы идентифицировать себя с капиталистической системой, современному безработному пришлось бы совершенно позабыть про свою личную судьбу, а современному политику — про личные амбиции. Поскольку долгосрочные интересы общества целиком и полностью находятся в руках верхних слоев буржуазного общества, люди совершенно естественно считают их интересами только одного этого класса. А для народных масс важна именно ближайшая перспектива. Как и Людовик XV, они считают: «После нас — хоть потоп». И, считая так, поступают совершенно рационально с точки зрения индивидуалистического утилитаризма.

В-третьих, существуют будничные неурядицы или опасения этих неурядиц, с которыми людям приходится бороться при любой социальной системе, — это неувязки и разочарования, крупные и мелкие неприятности, которые причиняют боль, раздражают и расстраивают планы. Думаю, что всем нам более или менее свойственно целиком приписывать их той части реальности, которая лежит за пределами нашего контроля, и чтобы преодолеть этот стихийно возникающий враждебный импульс, необходима эмоциональная привязанность к социальному строю, т. е. та самая вещь, которую капитализм органически неспособен породить. Если эмоциональной привязанности нет, этот импульс начинает жить своей жизнью и постепенно превращается в неотъемлемую составную часть нашего психического склада.

В-четвертых, постоянно возрастающий жизненный уровень и в особенности возможности проведения досуга, которые современный капитализм предоставляет тем, кто трудится, — впрочем, мне нет необходимости доводить эту фразу до конца и вновь повторять самый избитый, старый и скучный довод, который, к сожалению, совершенно справедлив. От века происходящее улучшение жизни, которое воспринимается как должное, плюс индивидуальная незащищенность, которая вызывает острое возмущение, — это, конечно, самая лучшая питательная среда для социальных беспорядков.

2. Социология интеллектуалов

Тем не менее ни наличие возможности для атаки, ни реальные или воображаемые страдания не являются сами по себе достаточными условиями для проявления активной враждебности по отношению к социальному строю, как бы сильно они тому ни способствовали. Чтобы такая атмосфера возникла, необходимо, чтобы были группы, которым было бы выгодно эту враждебность нагнетать и организовывать, лелеять ее, стать ее рупором и лидером. Как будет показано в п. 4, народные массы сами по себе не способны выработать четкие и определенные взгляды. Тем более они не способны связно их сформулировать и превратить в последовательные установки и действия. Все, на что они способны, — это оказать или не оказать поддержку группе, претендующей на лидерство. Пока мы не обнаружим социальные силы, которые подходят на такую роль, вся наша теория враждебной атмосферы вокруг капитализма будет оставаться незавершенной.

Вообще говоря, коль скоро возникают условия, благоприятствующие общей враждебности по отношению к социальной системе или конкретным действиям, направленным против нее, всегда находятся и силы, которые смогут этими условиями воспользоваться. Но в случае капиталистического общества необходимо отметить еще одно обстоятельство: в отличие от любых других социальных систем капитализм неизбежно и в силу самой логики своей цивилизации порождает, обучает и финансирует социальные группы, прямо заинтересованные в разжигании социальных беспорядков[2]. Объяснение этого явления, которое столь же важно, сколь и любопытно, вытекает из наших рас-

[2] Любая социальная система боится мятежей, и в каждой социальной системе разжигание мятежей — это занятие, приносящее в случае успеха большие дивиденды, и потому всегда влечет к себе и умы, и мускулы. Так было и в феодальные времена. Однако воины-дворяне, восставшие против своих начальников, направляли свой гнев против отдельных людей или должностей. Они не восставали против феодальной системы как таковой. И феодальное общество в целом совсем не склонно было поощрять — будь то вольно или невольно — какие бы то ни было действия, направленные против его социальной системы.

суждений в гл. XI, но чтобы сделать его еще более убедительным, мы должны совершить небольшой экскурс в социологию интеллектуалов.

1. Определить людей этого типа не так-то легко. Сама эта трудность на самом деле симптоматична. Интеллектуалы — это не социальный класс в том смысле, в каком им являются крестьяне или промышленные рабочие; они приходят из всех уголков социального мира, а занимаются главным образом тем, что воюют между собой или формируют передовые отряды борьбы за чужие классовые интересы. Тем не менее у них возникают групповые установки и групповые интересы, причем достаточно сильные, чтобы заставить многих из них вести себя таким образом, который в нашем представлении обычно ассоциируется с понятием социального класса. Опять-таки их нельзя определить просто как совокупность всех людей, получивших высшее образование, — это бы заслонило от нас самые важные черты этого типа. При этом все, кто имеет высшее образование, являются потенциальными интеллектуалами, и никто из тех, кто его не имеет, таковым за редким исключением не являются; а то обстоятельство, что их головы сходным образом оснащены, облегчает взаимопонимание и сплачивает. Не приблизит нас к цели и попытка связать это понятие с принадлежностью к людям свободных профессий; врачи и юристы, например, не являются интеллектуалами в том смысле, который мы имеем в виду, если они не рассуждают письменно или устно о предметах, лежащих за пределами их профессиональной компетенции, хотя они, безусловно, имеют такую склонность и делают это весьма часто — особенно юристы. И все же между интеллектуалами и свободными профессиями существует очень тесная связь. Дело в том, что некоторые профессии — особенно если считать профессией журналистику — на самом деле действительно почти целиком относятся к сфере обитания интеллектуалов; представители любой свободной профессии имеют возможность стать интеллектуалами; и многие интеллектуалы зарабатывают себе на жизнь, практикуя ту или иную свободную профессию. Наконец, определение интеллектуалов через противопоставление умственного и физического труда оказалось бы слишком широким[3]. Выражение же герцога Веллингтона «братия бумагомарателей» представляется слишком узким[4].

Впрочем, мы не совершили бы слишком большой ошибки, если бы воспользовались определением Железного герцога. На самом деле ин-

[3] К своему сожалению, я обнаружил, что Оксфордский толковый словарь английского языка не приводит того значения, которое мне хотелось бы вложить в это слово. Он приводит выражение dinner of intellectuals («пиршество интеллектуалов»), но в связи со значением «высшие виды умственной деятельности», которое уводит нас в совершенно иную плоскость. Как я ни старался, мне не удалось подыскать другое слово, которое столь же верно отвечало моим целям.

[4] Эти слова герцога приведены в «The Croker Papers» (ed. L.J. Jennings, 1884). То же относится и к термину hommes de lettres (литераторы).

теллектуалы — это люди, владеющие устным и письменным словом, а от других людей, делающих то же самое, их отличает отсутствие прямой ответственности за практические дела. Вообще говоря, с этой чертой связана и другая — а именно отсутствие практических знаний, знаний, которые даются только личным опытом. Установка на критику, которая объясняется не только положением интеллектуала как наблюдателя, причем в большинстве случаев наблюдателя стороннего, но в не меньшей мере и тем, что его главный шанс самоутвердиться заключается в его фактической или потенциальной способности досаждать, добавляет к портрету интеллектуала третий штрих. Профессия непрофессионалов? Профессиональный дилетантизм? Люди, которые берутся рассуждать обо всем, поскольку они ничего не понимают? Журналист из «Дилеммы доктора» Бернарда Шоу? Нет, нет, я этого не говорил, и я так не считаю. Такого рода ярлыки не только неверны, они еще и оскорбительны. Оставим тщетные попытки дать им словесное определение и определим их по методу подобия: подходящий экспонат, снабженный четкой этикеткой, мы найдем в музее греческой истории. Софисты, философы, риторики V и IV вв. до н.э. — как бы они ни возражали против того, чтобы их всех валили в одну кучу, все они принадлежали к одной породе людей, — идеально иллюстрируют мою мысль. То обстоятельство, что практически все они были учителями, не делает эту иллюстрацию менее ценной.

2. При анализе рационалистической природы капиталистической цивилизации (гл. XI) я подчеркнул, что от возникновения рациональной мысли до становления капитализма прошли тысячи лет; капитализм лишь придал новый импульс и специфический поворот этому процессу. Так и с интеллектуалами — оставляя в стороне греко-римский мир, мы находим их в чисто докапиталистических условиях, например в Королевстве франков и в странах, на которые оно распалось. Однако число их было невелико; это были священнослужители, в основном монахи, а их писания были доступны лишь бесконечно малой части населения. Конечно, время от времени появлялись сильные личности, которым удавалось выработать неортодоксальные взгляды и даже донести их до широкой аудитории. Однако это, как правило, грозило вызвать враждебность очень жестко организованного окружения, — из которого в то же время трудно было вырваться, — и, идя на этот шаг, человек рисковал обречь себя на участь еретика. Но мало было решиться на подобные действия, требовалась еще поддержка или доброе расположение какого-нибудь влиятельного сеньора или вождя, и тактика миссионеров — убедительнейшее тому свидетельство. В целом, таким образом, интеллектуалов крепко держали в узде, и проявление своего норова было делом нешуточным даже во времена крайнего хаоса и смуты, как это было, например, в эпоху эпидемий чумы (в 1348 г. и позже).

Но если колыбелью интеллектуалов средневекового образца служили монастыри, то капитализм отпустил их на волю и снабдил печатным станком. Медленная эволюция интеллектуалов-мирян была лишь одним из аспектов этого процесса; то, что возникновение гуманизма совпало во времени с появлением капитализма — факт весьма примечательный. Большинство гуманистов составляли поначалу филологи, однако — и это прекрасно иллюстрирует высказанную выше мысль — они не замедлили освоить сферы морали, политики, религии и философии. Виной тому было не только содержание классических работ, по которым они изучали свою грамматику, — ведь от критики текста до критики общества путь короче, чем это может показаться. Как бы то ни было, типичный интеллектуал не лелеял мечту быть сожженным на костре, который все еще угрожал еретикам. Как правило, почести и комфорт нравились ему гораздо больше. А получить все это можно было в конечном счете лишь из рук властителей, светских или духовных, хотя гуманисты были первыми интеллектуалами, имевшими массовую аудиторию в современном смысле этого слова. Установка на критику крепчала с каждым днем. Но *социальная* критика — если не считать того, что содержалось в некоторых нападках на католическую церковь и в особенности на ее главу, — в подобных условиях расцвета не получила.

Однако почестей и приличных доходов можно добиваться разными путями. Лесть и подхалимство часто вознаграждаются хуже, чем их противоположность. Аретино[5] не был первым, кто открыл эту истину, но ни одному смертному не удалось превзойти его в умении ею пользоваться. Карл V был преданным мужем, но во время своих походов, которые на много месяцев отлучали его от дома, он жил жизнью джентльмена своей эпохи и своего класса. Ну и прекрасно, общество и, что особенно было важно для Карла, императрица не должны были об этом узнать, и великий критик политики и морали своевременно получал убедительные и весомые доводы. Карл откупался. Но дело все в том, что это не был простой шантаж, который, как правило, одну сторону обогащает, а другой наносит ничем не компенсируемый ущерб. Карл знал, почему он платил, хотя, несомненно, он мог бы заручиться молчанием более дешевым и радикальным методом. Он не выказывал недовольства. Напротив, он даже превзошел самого себя и воздал почести этому человеку. Очевидно, ему необходимо было нечто большее, чем просто молчание, и, кстати говоря, его дары воздались ему сторицей.

3. Таким образом, в некотором смысле перо Аретино было действительно сильнее меча. Однако, возможно, виной тому мое невежество, мне неизвестно о случаях такого рода за последующие сто пять-

[5] Пьетро Аретино (1492—1556).

десят лет[6], в течение которых интеллектуалы, похоже, не играли сколько-нибудь заметной роли вне и независимо от устоявшихся профессий, а это были главным образом право и богословие. Характерно, что это затишье примерно совпадает с задержкой в эволюции капитализма, которая имела место в этот период смуты в большинстве стран континентальной Европы. И позже, когда капитализм стал наверстывать упущенное, интеллектуалы не замедлили к нему присоединиться. Дешевые книги, дешевые газеты и памфлеты, а также расширение аудитории, достигнутое отчасти благодаря возросшей доступности печатного слова, но частично представлявшее собой независимое явление, явившееся результатом пришедших к промышленной буржуазии богатства и веса и по времени совпавшего с этим усиления политической значимости анонимного общественного мнения, — все эти блага, равно как и возросшая свобода от всяческих пут, являются побочными продуктами капиталистической машины.

В течение первых трех четвертей XVIII в. утрата той первостепенной важности, которую на первых порах в карьере интеллектуала играл его персональный патрон, происходила неспешно. Но, по крайней мере, в случаях самых ярких удач мы явственно различаем возрастание важности нового элемента — поддержки коллективного патрона — буржуазной публики. В этом, как и во всех иных отношениях, бесценный пример дает нам Вольтер. Сама его поверхностность, которая позволяла ему охватывать все, начиная от религии, кончая ньютоновой оптикой, в сочетании с неукротимой энергией и ненасытной любознательностью, совершенным отсутствием внутренних тормозов и умением безошибочно угадывать настроения эпохи и безраздельно их воспринимать позволила этому некритичному критику и посредственному поэту и историку заворожить публику — и труды его шли нарасхват. Он также спекулировал, жульничал, принимал дары и назначения, но в нем ощущалась независимость, основанная на прочном фундаменте его успеха у публики. Пример Руссо, хотя случай его совершенно иной и представляет он совершенно иной тип интеллектуала, не менее поучителен.

В последние десятилетия XVIII в. один поразительный эпизод высветил природу могущества независимого интеллектуала, который по характеру своей работы ни с чем иным, кроме как с социопсихологическим механизмом, именуемым «общественное мнение», дела не имеет. Произошло это в Англии, стране, которая в то время намного дальше других продвинулась по пути капиталистического развития. Следует признать, что Джон Уилкс развернул свои атаки против политической системы Англии при исключительно благоприятном стечении обстоятельств; к тому же нельзя сказать, чтобы именно он опрокинул прави-

[6] Впрочем, в Англии роль и масштабы такого явления, как сочинение памфлетов, в XVII в. резко возросли.

тельство, возглавляемое герцогом Бьютом, правительство, у которого и так никогда не было шансов выжить и которое должно было пасть в силу дюжины других причин; однако «Северный бритт» — листок, выпускавшийся Уилксом, — оказался, тем не менее, той последней соломинкой, которая сломала... политический хребет лорда Бьюта. Номер 45 «Северного бритта» оказался первым залпом в кампании, которая добилась отмены безымянных ордеров на арест и сделала огромный шаг вперед по пути к свободной прессе и свободным выборам. Пусть этого недостаточно, чтобы считаться творцом истории или создателем условий, позволивших изменить социальные институты, но этого вполне достаточно, чтобы заслуженно претендовать на роль, скажем, подручного повитухи[7]. Неспособность врагов Уилкса помешать ему — вот самый значительный факт во всей этой истории. Они имели в своем распоряжении всю мощь организованного государства, и все же что-то заставило их отступить.

Во Франции годы, предшествовавшие революции, и сама революция тоже ознаменовались выпуском мятежного листка (Марат, Демулен), который, однако, в отличие от своего английского аналога не полностью выкинул за борт литературный стиль и грамматику. Но не будем на этом задерживаться, нам пора двигаться дальше. Террор и Первая империя, взявшиеся за дело более методично, положили этому конец. Затем последовал период, ненадолго прерванный периодом правления roi bourgeois (буржуазного короля)*, более или менее жестких репрессий, который длился до тех пор, пока Вторая империя не была вынуждена ослабить узду, — произошло это примерно в середине 60-х годов. В центральной и южной Европе этот период длился примерно столько же, а в Англии аналогичные условия преобладали с начала революционных войн до прихода к власти Каннинга.

4. То, что в условиях капитализма противостоять этому натиску невозможно, доказывает неуспех предпринимавшихся в то время правительствами практически всех европейских государств попыток заставить интеллектуалов повиноваться, некоторые из которых были весьма длительными и упорными. История их побед — это всего лишь разные перепевы подвигов Уилкса. В капиталистическом обществе или обществе, в котором капиталистический уклад играет решающую роль, всякая атака против интеллектуалов наталкивается на частные

[7] Я не боюсь, что какой-либо специалист по истории политики обвинит меня в том, что я преувеличил значение успеха Уилкса. Чего я боюсь, так это возражений против того, что я назвал его независимым деятелем, откуда получается, что он всем был обязан коллективу, и ничем — индивидуальному патрону. В начале своей карьеры он, безусловно, опирался на поддержку coterie (кружка доброжелателей). Но если разобраться, придется, я думаю, признать, что решающего значения это не имело и что вся поддержка, все деньги и почести, которые он впоследствии заслужил, были лишь следствием его предыдущего успеха и данью тому общественному авторитету, который он приобрел самостоятельно.

* Имеется в виду Луи-Филипп Орлеанский.

бастионы буржуазного бизнеса, в которых гонимые всегда смогут найти приют. Кроме того, такая атака должна развиваться согласно буржуазным принципам законодательной и административной практики, которые, конечно, допускают определенную свободу толкования, но лишь в определенных пределах, за которыми любые преследования пресекаются. Буржуазия может смириться или даже одобрить беззаконие, но только в качестве временной меры. В условиях чисто буржуазного режима, такого, как правление Луи-Филиппа, войска могут расстреливать забастовщиков, но полиция не может устраивать облавы на интеллектуалов, а если и устроит, то должна их тут же отпустить, иначе буржуазия, как бы она ни осуждала некоторые из их деяний, встанет на их защиту, поскольку свободу, которую она не одобряет, нельзя сокрушить, не сокрушая при этом и ту свободу, которую она одобряет.

Заметим, что я вовсе не приписываю буржуазии бескорыстное великодушие или идеализм и не преувеличиваю значение мыслей, настроений и желаний людей — в оценке важности этого фактора я почти полностью, хотя и не во всем, согласен с Марксом. Защищая интеллектуалов как социальную группу, — конечно, речь не идет о каждом конкретном индивиде, — буржуазия защищает самое себя и свой жизненный уклад. Только небуржуазное по своей природе и по своей идеологии правительство, — если говорить о нашем времени, то только социалистическое или фашистское правительство, — располагает достаточной силой, чтобы заставить их покориться. Чтобы этого добиться, такое правительство должно изменить типично буржуазные институты и резко ограничить индивидуальные свободы всех слоев населения. И вряд ли оно при этом остановится перед частным предпринимательством — оно просто не сможет этого сделать.

Именно этим объясняется как нежелание, так и неспособность капиталистического строя эффективно контролировать свой интеллектуальный сектор. Нежелание, о котором здесь идет речь, — это нежелание последовательно использовать методы, несвойственные менталитету, сформированному капиталистическим процессом; неспособность — это неспособность использовать их в институциональных рамках, сформированных капиталистическим процессом, не прибегая к небуржуазным правилам игры. Таким образом, с одной стороны, наступление свободы слова, включая свободу критики основ капиталистического общества, в долгосрочном плане неизбежно. С другой стороны, интеллектуалы не могут не критиковать, поскольку критика — это их хлеб, само их положение в обществе зависит от язвительности их нападок, а критика людей и текущих событий в условиях, когда нет ничего святого, с роковой неизбежностью приводит к критике классов и институтов.

5. Несколько последних штрихов завершат картину современного положения дел. Уровень жизни народа улучшился, стало больше сво-

бодного времени, и это изменило и все еще продолжает изменять состав коллективного патрона, вкусам которого интеллектуалы должны угождать. Книги и газеты продолжают дешеветь, возникли крупные газетные концерны[8]. Есть радио. И была, и есть тенденция к полному устранению ограничений, методично отражающая некомпетентные, а иногда по-детски наивные попытки буржуазного общества оказать сопротивление.

Существует, однако, и другой фактор. Одной из самых важных особенностей позднейших стадий капиталистической цивилизации является бурное развитие образовательного аппарата и в особенности высшего образования. Это развитие было не менее неизбежно, чем развитие крупнейших промышленных предприятий[9], но в отличие от

[8] Появление и развитие крупных газетных концернов иллюстрируют два момента, которые мне хотелось бы особо подчеркнуть: во-первых, множественность аспектов, связей и влияний каждого конкретного элемента социальной структуры, которая не допускает простых и однозначных толкований, и, во-вторых, то, как важно проводить различие между краткосрочными и долгосрочными явлениями, для которых верны разные, часто прямо противоположные утверждения. В большинстве случаев крупный газетный концерн — это просто деловое капиталистическое предприятие. Это не означает, что он обязательно должен защищать интересы капиталистов или интересы любого другого класса. Он действительно может их защищать, но только руководствуясь одним или несколькими из следующих мотивов, ограниченность которых очевидна: поскольку его финансирует та или иная капиталистическая группировка, желающая, чтобы этот концерн отстаивал ее интересы и взгляды, — но чем больше концерн и его оборот, тем меньшую роль может играть этот мотив; поскольку он ориентируется на вкусы публики, придерживающейся буржуазных взглядов, — но этот мотив, игравший значительную роль примерно до 1914 г., в настоящее время все чаще выходит другим боком; поскольку рекламодатели предпочитают пользоваться услугами родственного им по духу издания — но чаще всего они к этому вопросу подходят очень прагматично; поскольку владельцы газеты настаивают на проведении определенного курса, независимо от того, как это скажется на объемах продаж, — в определенной мере они так и поступают, хотя раньше это происходило чаще, но практика показывает, что если конфликт с их материальными интересами по обеспечению продаж заходит слишком далеко, они идут на попятную. Иными словами, крупный газетный концерн — это мощнейшее орудие укрепления положения и усиления влияния интеллектуальной прослойки, однако и по сей день он не находится под ее полным контролем. Он дает ей работу и выход на более широкую аудиторию, но он же и держит ее в «узде». «Узда» эта имеет значение в основном в краткосрочном аспекте; борясь за большую свободу делать то, что ему нравится, журналист легко может потерпеть поражение. Но именно этот краткосрочный аспект — и коллективная память о прошлых трудностях — не дает интеллектуалу покоя и определяет палитру той картины рабства и мученичества, которую он пишет для публики. На самом деле на этом холсте следовало бы изобразить победу. Победа в этом, как и во многих других случаях, является мозаикой, сложенной из поражений.

[9] В настоящее время это развитие рассматривается большинством с позиций идеала, в соответствии с которым любой желающий должен иметь возможность воспользоваться образовательным учреждением любого типа, этот идеал настолько прочен, что любое сомнение в нем повсеместно считается почти неприличным, несмотря на критику несогласных, обычно впрочем легковесную. На самом деле мы здесь сталкиваемся с рядом крайне сложных проблем, связанных с социологией образования и образовательными идеалами общества, в которое мы не сможем углубиться в этом очерке. Вот почему в этом абзаце я ограничился двумя неоспоримыми и ни к чему не обязывающими тривиальностями. Большего нам здесь и не требуется. Но эти тривиальности, конечно, не решают более крупных проблем, которые мы не рассматриваем, что говорит о неполноте моего изложения.

последних оно находилось под опекой общественного мнения и государственной власти, благодаря чему продвинулось куда дальше, чем могло бы, если бы опиралось лишь на собственные силы. Что бы мы об этом ни думали и какой бы ни была здесь истинная причинная связь, этот процесс имеет ряд следствий, которые сказываются на численности и настроениях интеллектуальной прослойки.

Во-первых, поскольку высшее образование увеличивает предложение услуг специалистов, квазиспециалистов и, наконец, всякого рода «белых воротничков» сверх пределов, определяемых оптимизацией соотношения затрат и результатов, оно может стать важнейшей причиной структурной безработицы.

Во-вторых, наряду с такой безработицей или вместо нее оно создает неудовлетворительные условия занятости — занятость на работах, не отвечающих стандартам или оплачиваемых хуже, чем труд квалифицированных рабочих, занятых физическим трудом.

В-третьих, оно может порождать безработицу особенно неприятного свойства. Человек, окончивший колледж или университет, часто становится физически непригодным к работе по рабочим специальностям, но при этом нет никаких гарантий, что он окажется пригодным к работе в профессиональной области. Подобная профнепригодность может быть связана либо с отсутствием природных способностей — вещь вполне возможная даже для тех, кто сумел успешно сдать все экзамены в институте, либо с низким качеством обучения, причем обе эти причины будут возникать все чаще как абсолютно, так и относительно по мере того, как в высшее образование вовлекаются все большие массы людей и по мере того, как потребность в преподавателях растет, никак не сообразуясь с тем, какое количество талантливых преподавателей и ученых решит произвести на свет природа. Результаты того, что мы закрываем на это глаза и действуем так, как если бы вопрос о школах, колледжах и университетах упирался лишь в деньги, слишком очевидны, чтобы на них задерживаться. Примеры, когда среди дюжины претендентов на должность, имеющих дипломы по специальности, не оказывалось ни одного, кто был бы способен удовлетворительно с ней справиться, знакомы всякому, кому когда-либо приходилось принимать людей на работу, — я имею в виду всякому, кто сам способен быть в таких вопросах судьей.

Все те, кто не имеет постоянной работы, недоволен своей работой или непригоден к работе вообще, постепенно оказываются на местах, где предъявляемые к ним требования наиболее расплывчаты или где ценят знания и способности совершенно иного рода. Они пополняют собой армию интеллектуалов в строгом смысле этого слова, ряды которых, таким образом, непомерно возрастают. Они вступают в нее, испытывая глубокое недовольство. Недовольство порождает неприятие. А неприятие рационализуется в ту самую установку на критику общества, которая, как мы уже видели, является типичной установкой

наблюдателя-интеллектуала по отношению к людям, классам и институтам, во всяком случае, в цивилизации, построенной на принципах рациональности и утилитарности. Ну что ж, вот вам и численность; четко определенное классовое положение пролетарского оттенка; групповой интерес, формирующий групповую установку, которая куда более убедительно объясняет враждебность по отношению к капиталистическим порядкам, чем теория, которая в психологическом смысле сама есть не что иное, как рационализация, в соответствии с которой справедливое негодование интеллектуалов по поводу пороков капитализма есть лишь логическое следствие возмутительных фактов. Такая теория ничем не лучше, чем вера влюбленных в то, что их чувства есть лишь логическое продолжение достоинств их возлюбленных[10]. Кроме того, наша теория объясняет также и то, что враждебность эта не только не убывает, но даже усиливается с каждым новым достижением капиталистической эволюции.

Конечно, враждебность интеллектуалов, которая сводится к моральному осуждению капиталистического строя, — это одно, а атмосфера всеобщей враждебности, которая окружает капиталистический двигатель, — это другое. Последнее — это действительно существенное явление, и оно не является лишь следствием первого, но проистекает отчасти из независимых источников, о некоторых из которых мы уже упоминали; в той мере, в какой это так, оно доставляет интеллектуалам сырой материал для обработки. Отношения между обоими строятся по принципу взаимного дополнения, но чтобы подробно разобраться в этом вопросе, потребовалось бы больше места, чем то, которым я располагаю. Общий контур такого анализа, однако, достаточно очевиден, и я думаю, достаточно будет просто еще раз повторить, что роль интеллектуала состоит в первую очередь в поощрении, возбуждении, облачении в словесную форму и организации этого материала и лишь во вторую очередь — в обогащении его. Этот принцип можно проиллюстрировать на некоторых конкретных примерах.

6. Капиталистическая эволюция порождает рабочее движение, которое, очевидно, не является изобретением интеллектуалов. Но естественно, что подобная возможность приложения сил и интеллектуальный гений должны были найти друг друга. Рабочие никогда не покушались на интеллектуальное лидерство, зато интеллектуалы заполонили политику рабочих партий. Им было что в эту политику привнести: они стали рупором этого движения, снабдили его теориями и лозунгами — классическим примером является лозунг классовой борьбы, привили

[10] Читатель заметит, что любые подобные измышления были бы беспочвенными, даже если бы реалии капитализма или добродетели возлюбленных действительно соответствовали всему тому, что критики социального строя или любовники о них думают. Также важно заметить и то, что в подавляющем большинстве случаев и критики, и любовники совершенно искренни в своих оценках; ни психосоциологический, ни психофизический механизм, как правило, не попадает в центр внимания «эго», разве что в виде сублимаций.

ему самосознание и благодаря этому изменяли самый его смысл. Решая эту задачу со своих собственных позиций, они, естественно, ее радикализировали, сумев со временем придать революционный уклон даже самым буржуазным из тред-юнионистских начинаний, уклон, который поначалу вызывал негодование большинства лидеров, не относившихся к числу интеллектуалов. Но этому была еще и другая причина. Внимая интеллектуалу, рабочий почти неизбежно ощущает непреодолимую пропасть, если не откровенное недоверие. Чтобы завладеть его доверием и тягаться с лидерами-неинтеллектуалами, интеллектуалу приходится пускаться на такие уловки, которые последним совершенно ни к чему. Не имея подлинного авторитета и постоянно ощущая опасность, что ему беспременно укажут на место, интеллектуал вынужден льстить, обещать и воодушевлять, уговаривать левых радикалов и недовольные меньшинства, покровительствовать сомнительным и субмаргинальным идеям, взывать к пограничным группировкам, выказывать свою готовность к повиновению — короче, вести себя по отношению к массам так, как его предшественники вели себя сперва по отношению к своим церковным начальникам, затем по отношению к светским правителям и индивидуальным патронам, а еще позже — по отношению к коллективному хозяину в буржуазном обличье[11]. Таким образом, хотя интеллектуалы и не были создателями рабочего движения, они тем не менее превратили его своими усилиями в нечто такое, что существенно отличается от того, чем оно могло бы стать без их вмешательства.

Социальная атмосфера, под которую мы пытались подвести теоретическую базу, объясняет, почему государственная политика становится со временем все более и более враждебной по отношению к капиталистическим интересам, достигая наконец той стадии, когда она принципиально отказывается учитывать требования капиталистической машины и превращается в серьезную помеху ее функционированию. Однако действия интеллектуалов имеют и более непосредственное отношение к антикапиталистической политике, чем то, которое связано с их функцией рупора этой политики. Интеллектуалы редко встают на стезю профессиональной политики и еще реже добиваются политического признания. Однако именно они укомплектовывают собой политические бюро, сочиняют политические памфлеты и речи, служат референтами и советниками, создают репутацию газетам тех или иных политиков, а этим, хотя само по себе это еще не решает успех дела, немногие могут позволить себе пренебречь. При этом они в определенной мере оставляют отпечаток своего менталитета практически на всем, что делают.

[11] Все это мы покажем на примерах и обсудим подробнее в пятой части.

Истинная ценность оказываемого ими влияния может быть самой разной в зависимости от состояния политической игры — от простой формулировки до превращения того или иного шага в политически возможный или невозможный. Но для такого влияния всегда находится достаточно места. Когда мы говорим, что те или иные политики или партии являются глашатаями классовых интересов, мы в лучшем случае говорим лишь одну половину правды. Другая ее половина, которая, по крайней мере, не уступает по важности первой, раскрывается, когда мы отдаем себе отчет в том, что политики — это профессиональная группа, имеющая собственный интерес, который может противоречить, а может и совпадать с интересами тех группировок, «представителями» которых являются те или иные личности или партии[12]. Мнения индивидов и партий самым чутким образом реагируют на те факторы политической ситуации, которые непосредственно затрагивают карьеру или положение индивидов и партий. Некоторые из этих факторов контролируются интеллектуалами, подобно тому, как моральный кодекс эпохи обеспечивает громкую защиту некоторых интересов, а другие молчаливо обходит своим вниманием.

Наконец, социальная атмосфера или кодекс ценностей влияет не только на политику — душу законодательства, — но также и на административную практику. Но опять-таки между интеллектуалами и чиновниками существует и более прямая связь. Государственные структуры Европы по происхождению своему являются докапиталистическими и надкапиталистическими. Как бы сильно ни изменялся государственный аппарат за прошедшие века, чиновники никогда полностью не отождествляли себя с буржуазией, ее интересами и ее системой ценностей и никогда не рассматривали ее как нечто большее, чем просто еще один актив, которым следует управлять в интересах монарха или нации. За исключением некоторых внутренних запретов, выработанных в ходе профессиональной подготовки или пришедших с опытом, чиновники, таким образом, открыты для восприятия доктрин интеллектуалов, с которыми благодаря сходному образованию, они имеют много общего[13], тогда как ореол аристократизма вокруг современного чиновника, ореол, который в прошлом нередко воздвигал преграды к этому сближению, за последние десятилетия изрядно поблек. Кроме того, во времена быстрой экспансии сферы государственного администрирования значительная часть потребности в дополнительном персонале удовлетворяется непосредственно за счет интеллектуалов — пример США убедительное тому свидетельство.

---

[12] Это, разумеется, в равной мере относится и к самим интеллектуалам, и к классу, выходцами из которого они являются, или классу, к которому они примыкают в силу культурных или экономических обстоятельств. К этому вопросу мы еще вернемся в гл. XXIII.

[13] См. примеры в гл. XXVI.

Глава XIV

РАЗЛОЖЕНИЕ

1. Сталкиваясь с растущей враждебностью окружения и законодательной, административной и судейской практикой, порожденной этой враждебностью, предприниматели и капиталисты — а на самом деле, весь социальный слой, воспринявший буржуазный уклад жизни, — со временем перестают функционировать. Традиционные цели становятся все более недостижимыми, а усилия — тщетными. Самая заветная из буржуазных целей — основать собственную промышленную династию — во многих странах уже стала недостижимой, но даже цели поскромнее настолько труднодостижимы, что по мере того, как все осознают, что неблагоприятные условия установились навсегда, они могут перестать бороться за эти цели.

Учитывая ту роль, которую играла буржуазная мотивация в экономической истории за последние два или три столетия, ее подавление вследствие недоброжелательности общества или ее ослабление вследствие неупотребления, несомненно, представляет собой фактор, адекватно объясняющий провал капиталистического процесса, — если нам когда-нибудь доведется наблюдать этот провал как перманентное явление, — причем фактор гораздо более существенный, чем любые из тех, что выдвигаются так называемой «теорией исчезающих инвестиционных возможностей». Интересно поэтому отметить, что этой мотивации угрожают не только силы, являющиеся по отношению к буржуазному складу ума внешними, но и то, что она имеет тенденцию угасать также под воздействием внутренних причин. Между теми и другими существует, разумеется, тесная взаимосвязь. Но мы сможем поставить правильный диагноз, только если попытаемся их разъединить.

С одной из этих «внутренних» причин мы уже встречались. Я назвал ее «размыванием субстанции собственности». Мы видели, что современный бизнесмен, будь то предприниматель или директор-распорядитель, принадлежит, как правило, к категории исполнителей. В силу логики занимаемого им положения его психология начинает приобретать некоторые черты, характерные для чиновников. Независимо от того, является такой бизнесмен держателем акций или нет, его воля к борьбе и выживанию уже не та, да и не может быть такой, какой обладал человек, знакомый с тем, что такое собственность и личная ответственность в первозданном смысле этих слов. Его система ценностей и его представление о долге претерпевают глубокое изменение. Рядовые держатели акций, разумеется, теперь вообще не принимаются в расчет — совершенно независимо от урезания их доли регулирующим и взимающим налоги государством. Таким образом, современная акционерная форма организации бизнеса, хотя она и яв-

ляется продуктом капиталистического процесса, социализирует буржуазное мышление; она беспрестанно сужает горизонт капиталистической мотивации; но и это еще не все — в конечном итоге она убивает его корни[1].

2. Однако еще важнее другая «внутренняя причина», а именно распад буржуазной семьи. Факты, на которые я ссылаюсь, слишком хорошо известны, чтобы подробно на них останавливаться. Для мужчин и женщин в современном капиталистическом обществе семейная жизнь и дети значат меньше, чем прежде, и потому их роль в качестве мотивационного фактора снизилась; строптивые сыновья и дочери, осуждающие нормы «викторианской» морали, на самом деле пусть неумело, но выражают непреложную истину. Весомость этих фактов не снижается от того, что мы не умеем измерить их статистически. Коэффициент брачности ничего не доказывает, поскольку сам термин «брак» охватывает так же много социологических значений, как и термин «собственность», и такой союз, какой раньше заключался посредством брачного контракта, может вообще отмереть, никак не затронув при этом ни юридическую форму, ни частоту заключения таких контрактов. Не более содержателен в этом смысле и коэффициент разводимости. Не важно, сколько именно браков расторгается в судебном порядке, — важно то, сколько браков лишено содержания, составлявшего существо брака прежнего образца. Если в наш статистический век читатели настаивают на том, чтобы им были предъявлены цифры, то доля бездетных или однодетных браков, хотя и этот показатель не вполне адекватен, чтобы количественно выразить то явление, которое я имею в виду, наверное, лучше всего отражает его масштаб. На сегодняшний день это явление в большей или меньшей степени распространилось уже на все классы, но впервые оно возникло в буржуазном (и интеллектуальном) слое, и его симптоматическое и причинное значение с точки зрения того вопроса, который мы здесь рассматриваем, целиком связано именно с этим слоем. Явление это можно полностью отнести на счет сплошной рационализации жизни, которая, как мы видели, является одним из результатов капиталистической эволюции. На самом деле оно представляет собой лишь один из результатов распространения этой рационализации на сферу част-

[1] Многие с этим не согласятся. Отчасти это связано с тем, что люди черпают свои впечатления из прошлого опыта и лозунгов, возникших в прошлом, когда институциональные перемены, привнесенные крупными корпорациями, еще окончательно не утвердились. Кроме того, они могут иметь в виду тот простор для незаконного удовлетворения капиталистической мотивации, который давала корпорация. Но это только подтверждает мою мысль: тот факт, что акционерный бизнес не оставляет исполнительным менеджерам никаких возможностей для личной наживы сверх зарплаты и премий, за исключением незаконных и полузаконных махинаций, как раз и доказывает, что идея акционерного предприятия противоречит идее личной заинтересованности.

ной жизни. Все прочие факторы, на которые обычно ссылаются при объяснении его причин, легко сводятся к этому.

Как только урок утилитарного отношения к жизни усвоен и мужчины и женщины перестают принимать как должное традиционные роли, уготованные им их социальным окружением, как только они приобретают привычку взвешивать все плюсы и минусы, связанные с любым предпринятым ими шагом, — иначе говоря, как только они начинают пользоваться в своей личной жизни некой негласной системой учета издержек — они неизбежно начинают понимать, на какие жертвы им придется пойти, если они решатся создать семейные узы и завести детей, а также то, что в современных условиях дети уже не являются экономическим активом, если только речь не идет о семьях крестьян или фермеров. Эти жертвы не ограничиваются теми, которые можно измерить деньгами, но включают также и неизмеримый ущерб комфорту, беззаботности и возможности наслаждаться альтернативными занятиями, привлекательность и разнообразие которых все время растет, — а радости материнства и отцовства, с которыми эти альтернативы сравниваются, подвергаются все более и более критическому анализу. То обстоятельство, что такое сравнение будет скорее всего неполным, возможно даже принципиально ошибочным, не только не ослабляет, но даже подтверждает общий вывод. Ведь самый главный плюс, тот вклад, который вносит рождение ребенка в физическое и моральное здоровье — в «нормальность» человека, если можно так выразиться, — особенно если речь идет о женщине, почти наверняка ускользнет от рационального взгляда современного человека, который как в частной, так и в общественной жизни склонен сосредоточивать свое внимание на достоверно устанавливаемых деталях, имеющих непосредственное утилитарное значение, и презрительно отвергает идею о существовании скрытых потребностей человеческой натуры или социального организма. Я думаю, что мысль, которую я пытаюсь сформулировать, уже ясна без дальнейших пояснений. Ее можно кратко выразить в виде вопроса: «Почему это мы должны ставить крест на своих мечтах и обеднять свою жизнь ради того, чтобы на старости лет нас оскорбляли и презирали?»

Одновременно с тем, как капиталистический процесс в силу создаваемых им психологических установок все более подрывает идеалы семейной жизни и снимает внутренние барьеры, которые прежняя моральная традиция воздвигла бы на пути к иному жизненному укладу, он прививает и новые вкусы. Что касается бездетности, то капиталистическая изобретательность постоянно создает все более и более эффективные контрацептивные средства, которые устраняют преграды на пути самого сильного человеческого импульса. Что касается стиля жизни, то капиталистическая эволюция снижает желанность буржуазного семейного очага и обеспечивает альтернативные возможности. Выше я ссылался на «размывание промышленной собственности», те-

перь я должен коснуться «размывания потребительской собственности».

До последних десятилетий XIX в. городской дом и дом в деревне повсюду были не просто приятными и удобными оболочками частной жизни высокодоходных групп населения — без них нельзя было обойтись. Не только возможность принимать у себя гостей, какого бы уровня и стиля ни были эти приемы, но самый комфорт, достоинство, покой и изысканность семьи зависели от того, имеет ли она собственный, достойный ее домашний очаг с достойным ее штатом прислуги. Соответственно все, что входило в понятие «дом», и мужчинами и женщинами буржуазного статуса воспринималось как должное, так они относились и к браку, и к детям — «основе семьи».

Итак, с одной стороны, прелести буржуазной семьи становятся все менее очевидными по сравнению с ее тяготами. Критическому взгляду критической эпохи семья представляется главным образом источником неоправданных неприятностей и расходов. И дело здесь вовсе не в современных налогах, уровне заработной платы и не в нерадивости современной домашней прислуги, хотя все эти факторы являются типичными результатами капиталистического процесса и, разумеется, значительно подрывают устои того образа жизни, который в недалеком будущем почти все поголовно будут считать старомодным и неэкономичным. В этом, как и в других отношениях, мы переживаем переходный период. Средняя буржуазная семья склонна избегать забот, связанных с содержанием большого дома и большого поместья в деревне, предпочитая небольшие и высокомеханизированные жилища плюс максимум внешних услуг и внешней жизни — в частности, приемы гостей все больше и больше переносятся в ресторан или клуб.

С другой стороны, дом традиционного типа более не является необходимым требованием для удобной и изысканной жизни в буржуазных сферах. Многоквартирный дом и дома гостиничного типа представляют собой рационализированный тип человеческой обители и иной стиль жизни, который со временем, когда он получит свое полное развитие, несомненно, окажется на высоте требований, предъявляемых новой ситуацией, и обеспечит все необходимое для удобства и изысканной жизни. Еще раз подчеркну, что ни этот стиль, ни его оболочка до сих пор нигде еще не получили своего полного развития. Они сулят экономию издержек, только если все неприятности и трудности, связанные с содержанием современного дома, окажутся сравнительно менее значительными. Но другие преимущества они предлагают уже сейчас — это легкость доступа ко всему разнообразию современных радостей жизни, высокая мобильность, перенос груза текущих мелких жизненных забот на мощные плечи высокоспециализированных организаций.

Нетрудно понять, каким образом это, в свою очередь, сказывается на проблеме обзаведения детьми в верхних слоях капиталистического

общества. Здесь опять имеет место взаимное усиление: уход в прошлое просторного жилища, в котором только и может развернуться богатая жизнь многочисленной семьи[2], и все усиливающиеся трения в механизме его функционирования дают еще один аргумент в пользу отказа от забот, связанных с рождением ребенка, однако и снижение рождаемости, в свою очередь, делает просторный дом все более и более ненужным.

Выше я сказал, что новый стиль буржуазной жизни пока не дает никакой существенной экономии издержек. Но это относится только к текущим или основным затратам на обслуживание потребностей частной жизни. Что же касается накладных расходов, то здесь даже чисто материальное преимущество уже очевидно. И постольку, поскольку затраты на наиболее долгосрочные элементы домашнего уюта — особенно на покупку дома, картин, мебели — прежде финансировались главным образом из прошлых доходов, мы можем сказать, что необходимость в накоплении «потребительского капитала» в результате этого процесса резко сократилась. Это, разумеется, не означает, что спрос на потребительский капитал в настоящее время стал хотя бы относительно меньше, чем раньше; рост спроса на потребительские товары длительного пользования со стороны низко- и среднедоходных групп более чем компенсирует этот эффект. Но это значит, что если говорить о гедонистской компоненте в структуре мотивов совершения покупок, то за определенным порогом желательность доходов начинает снижаться. Чтобы в этом убедиться, читателю достаточно лишь взглянуть на ситуацию чисто практически: преуспевающий человек (один или со своей женой) или человек «из общества» (один или со своей женой), которые могут позволить себе снять самый роскошный номер в гостинице (каюту или купе) и покупать самые высококачественные предметы личного потребления — а высококачественных благ конвейер массового производства производит все меньше и меньше[3], — при нынешних условиях скорее всего будут приобретать все, что захотят, и в любых количествах, но только для себя. И нетрудно понять, что связанные с этим расходы будут намного меньше тех требований, которые предъявлялись стилем жизни «сеньоров» прошлых лет.

3. Чтобы понять, что все это значит для эффективности капиталистической производственной машины, достаточно лишь вспомнить, что

---

[2] Современные отношения между родителями и детьми, разумеется, отчасти обусловлены разрушением этой прочной основы семейной жизни.

[3] Влияние возрастающей доступности товаров массового производства на потребительские бюджеты усиливается из-за разницы между ценами на эти товары и ценами на соответствующие потребительские блага, выполненные на заказ. Эта разница становится все больше вследствие роста заработной платы, сопровождаемого относительным снижением ее желанности; капиталистический процесс делает потребление более демократичным.

в прежние времена именно семья и семейное гнездо были главной движущей силой того мотива к извлечению прибыли, который был типичен для буржуазии. Экономисты далеко не всегда придавали этому обстоятельству должный вес. Если повнимательней взглянуть на их идею о личном интересе предпринимателей и капиталистов, станет очевидно, что цели, которые этот интерес должен был, по их мнению, преследовать, не имеют на самом деле ничего общего с теми целями, которые выводятся из рационального личного интереса обособленного индивида или рационального интереса бездетной супружеской пары, которые уже не смотрят на мир из окна семейного дома. Сознательно или неосознанно, они анализировали поведение человека, чьи взгляды и мотивы формируются таким домом, человека, который работает и сберегает в первую очередь для своей жены и детей. Как только дети исчезают с морального горизонта бизнесмена, мы получаем иной тип homo oiconomicus, который заботится о других вещах и ведет себя иначе. Для такого человека поведение прежнего типа представлялось бы совершенно иррациональным даже с позиций индивидуалистической утилитарности. Он утрачивает тот единственный вид романтики и героизма, который только и оставался в неромантической и негероической цивилизации капитализма, — героизм navigare necese est, vivere non necesse est[4]. И он утрачивает капиталистическую этику, которая заставляла работать на будущее независимо от того, кому придется собирать урожай.

Последнюю мысль можно подать более убедительно. В предыдущей главе мы отметили, что капиталистический строй возлагает защиту долгосрочных интересов общества на верхние слои буржуазии. На самом деле, он возлагает их на семейный мотив, действующий в этих слоях. Буржуазия работала в первую очередь ради того, чтобы инвестировать, и вовсе не стандарт потребления, а стандарт накопления пыталась она отстоять перед лицом близоруких правительств[5]. С затуханием движущей силы, в качестве которой выступал семейный мотив, временной горизонт бизнесмена сужается, грубо говоря, до ожидаемой продолжительности жизни. И потому у него уже не будет такого желания, как прежде, продолжать зарабатывать, сберегать и инвестировать, даже если бы ему не угрожала опасность того, что весь его материальный интерес будет поглощен налогами. Он приходит в антисберегательное расположение духа и со все большей готовностью поддерживает антисберегательные *теории*, свидетельствующие о *мировоззренческой* близорукости.

---

[4] «Мореплавание есть необходимость, жизнь не есть необходимость». Девиз, начертанный на старинном особняке в Бремене.

[5] Говорят, что в экономических вопросах «государство способно заглядывать далеко вперед». Однако за исключением отдельных вопросов, лежащих за рамками партийной политики, таких, как сохранение природных ресурсов, оно практически нигде этого не делало.

Но антисберегательными теориями дело не ограничивается. Вместе с иным отношением к предприятию, на которое он работает, и с иной моделью частной жизни он склонен вырабатывать и новый взгляд на ценности и нормы капиталистического строя. Возможно, самым поразительным здесь является то, что буржуазия не только дает образование своим врагам, но и позволяет им, в свою очередь, учить себя. Она впитывает в себя лозунги современного радикализма и, похоже, вполне готова обратиться в веру, враждебную самому ее существованию. И все это опять-таки становится вполне объяснимым, как только мы поймем, что социальные условия, в которых она только и могла возникнуть, отходят в небытие.

Это подтверждается и той характерной манерой, в которой представители отдельных капиталистических интересов и буржуазия в целом ведут себя перед лицом непосредственной опасности. Они произносят речи и оправдываются — или нанимают людей, которые делают это за них; они хватаются за каждый шанс достичь компромисса; они в любой момент готовы пойти на уступки; они никогда не идут в бой под знаменем своих собственных идеалов и интересов — в США, например, не было никакого сопротивления ни против непомерных налогов, которые вводились на протяжении последних десяти лет, ни против трудового законодательства, не совместимого с эффективным управлением промышленностью. Как читатель уже наверняка убедился, я вовсе не склонен переоценивать политическую власть как большого бизнеса, так и буржуазии вообще. Более того, я готов многое списать на трусость. Но все же совсем беззащитной буржуазию тоже не назовешь, а история знает немало примеров, когда даже малые группы, веря в правоту своего дела, решительно отстаивали свои позиции и добивались успеха. Единственное объяснение наблюдаемой нами смиренности заключается в том, что буржуазный строй потерял всякий смысл для самой буржуазии и что ей все стало попросту безразлично.

Таким образом, тот же самый экономический процесс, который подрывает положение буржуазии, снижая важность функций предпринимателей и капиталистов, разбивая ее защитный слой и институты, создавая атмосферу враждебности, одновременно разлагает движущие силы капитализма изнутри. Именно это является самым убедительным доказательством того, что капиталистический порядок не только опирается на подпорки, сделанные из некапиталистического материала, но и энергию свою черпает из некапиталистических моделей поведения, которые в то же время он стремится разрушить.

Мы заново открыли то, что с иных позиций и, как мне кажется, недостаточно обоснованно нередко утверждалось и раньше: что капиталистической системе органически присуща тенденция к саморазрушению, которая на ранних стадиях вполне может проявляться в виде тенденции к торможению прогресса.

Я не стану задерживаться на повторении того, каким образом объективные и субъективные, экономические и внеэкономические факторы, усиливая друг друга во внушительном аккорде, вносят свой вклад в достижение этого результата, и на доказательстве того, что уже и так ясно, а в последующих главах станет еще яснее, а именно, что все эти факторы ведут не только к разрушению капитализма, но и к возникновению социалистической цивилизации. Все они указывают в этом направлении. Капиталистический процесс не только разрушает свою собственную институциональную структуру, но и создает условия для возникновения иной структуры. Наверное, все-таки разрушение — не совсем удачное слово. Возможно, мне следовало бы говорить о трансформации. Ведь этот процесс ведет не просто к образованию пустоты, которую можно заполнить всем, что ни подвернется; вещи и души трансформируются таким образом, что становятся все более податливыми к социалистической форме жизни. С потерей каждого колышка, на который опиралась капиталистическая система, усиливается возможность осуществления социалистического проекта. В обоих этих отношениях *видение* Маркса оказалось верным. Мы также можем согласиться с ним и в том, что основной движущей силой той конкретной социальной трансформации, которая происходит у нас на глазах, является экономический процесс. Та часть марксистской аргументации, которую наш анализ, если он верен, опровергает, имеет для нас в конце концов лишь второстепенную важность, как бы ни была велика та роль, которую она играет в социалистическом учении. В конце концов разница между тем утверждением, что загнивание капитализма есть результат его успеха, и тем, что это загнивание есть результат его несостоятельности, не так уж велика.

Но наш ответ на вопрос, которым открывается настоящая часть, ставит гораздо больше проблем, чем дает ответов. С учетом того, о чем мы будем говорить дальше, читатель должен иметь в виду следующее.

Во-первых, мы еще до сих пор ничего не узнали о том, какого рода социализм маячит впереди. Для Маркса и для большинства его последователей — и в этом заключается один из самых главных недостатков их доктрины — социализм означал нечто вполне определенное. Но эта определенность на самом деле не идет у них дальше национализации промышленности, хотя национализация промышленности может, как мы увидим, сочетаться с бесконечным разнообразием экономических и культурных возможностей.

Во-вторых, мы точно так же еще ничего не знаем о том конкретном пути, которым может прийти социализм, за исключением того, что возможностей таких должно быть немало, начиная от заурядной бюрократизации, кончая самой живописной революцией. Строго говоря, мы не знаем даже, задержится ли социализм надолго. Должен повторить: выявить тенденцию и угадать цель, к которой он ведет, это одно,

а предсказать, что цель эта действительно будет достигнута и что возникший при этом новый порядок вещей будет работоспособным, не говоря уже о том, что он будет перманентным, — это совершенно другое. Прежде чем человечество задохнется (или познает счастье) в темнице (или раю) социализма, оно вполне может сгореть в пожаре (или лучах славы) империалистических войн[6].

В-третьих, многочисленные аспекты той тенденции, которую мы пытались здесь описать, хотя они и наблюдаются повсеместно, еще пока нигде не раскрылись полностью. В разных странах они проделали разный путь, но нигде не достигли той зрелости, которая бы позволила нам с уверенностью судить о том, как далеко они могут зайти, или утверждать, что с пути ее теперь не свернуть и что речь может идти лишь о каких-то временных отношениях. Промышленная интеграция еще далека от завершения. Конкуренция, как актуальная, так и потенциальная, до сих пор является главным фактором, определяющим экономическую конъюнктуру. Предпринимательство до сих пор играет активную роль, а лидерство буржуазного слоя до сих пор является главной движущей силой экономического прогресса. Средний класс до сих пор является политической силой. Буржуазные нормы и стимулы поведения, хотя они все более и более ослабевают, до сих пор еще не исчезли окончательно. Стремление сохранить традиции — и семейную собственность на контрольные пакеты акций — до сих пор заставляет многих управляющих вести себя так, как это делали единоличные хозяева в прежние времена. Буржуазная семья еще не умерла, она цепляется за жизнь настолько упорно, что ни один ответственный политик до сих пор не отважился на нее покуситься, разве что путем налогообложения. С позиций сегодняшней практики, а также с точки зрения задач краткосрочного прогнозирования — а в таких вещах и столетие считается «коротким сроком»[7] — все эти поверхностные процессы могут оказаться более существенными, чем тенденция движения к иной цивилизации, которая медленно вызревает в глубоких недрах капитализма.

---

[6] Написано летом 1935 г.

[7] Именно поэтому факты и доводы, приведенные в настоящей и в двух предыдущих главах, вовсе не противоречат моим рассуждениям о возможных экономических путях капиталистической эволюции на протяжении последующих пятидесяти лет. Вполне может оказаться, что 30-е годы окажутся последним вздохом капитализма — вероятность этого, конечно, многократно усиливается нынешней войной. Но может случиться и иначе. Во всяком случае, нет никаких чисто экономических причин, по которым капитализм не смог бы взять новый успешный старт, и именно это я и пытался здесь доказать.

Часть третья

МОЖЕТ ЛИ СОЦИАЛИЗМ РАБОТАТЬ?

Глава XV

ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ

Жизнеспособен ли социализм? Конечно, да. В этом не приходится сомневаться, если мы допускаем, во-первых, что уже достигнут необходимый уровень индустриального развития и, во-вторых, что проблемы переходного периода могут быть успешно решены. Сложнее ответить на вопрос, насколько верны сами эти посылки, а также понять, может ли социалистическая форма организации общества быть демократической и сколь эффективно, независимо от демократичности, она способна функционировать. Обо всем этом речь пойдет ниже. Но если мы примем указанные допущения, отвергнув все сомнения, то ответ на исходный вопрос, безусловно, должен быть утвердительным.

Прежде чем пытаться это доказать, необходимо кое-что уточнить. До сих пор мы не придавали особого значения некоторым дефинициям, теперь же пришло время внести ясность. В дальнейшем я намереваюсь сосредоточиться на двух типах общественных систем, лишь изредка затрагивая остальные. Назовем эти два типа общественного устройства «коммерческим» и «социалистическим».

В институциональной системе коммерческого общества мы ограничимся двумя элементами. Это частная собственность на средства производства и управление производством через систему частных контрактов (или частного менеджмента, частной инициативы). Как правило, такой тип общества не является чисто буржуазным. Во второй части

уже шла речь о том, что промышленная и торговая буржуазия просто не могла бы существовать иначе, чем в симбиозе с небуржуазными слоями общества. И в целом коммерческое общество не идентично капиталистическому. Капитализм, как особый случай коммерческого общества, имеет дополнительный определяющий признак — систему кредитования, с которой связаны многие характерные особенности современной экономической жизни, практику финансирования предпринимательства посредством банковских кредитов, т. е. созданных для этого денежных средств (банкнот или депозитов). Но поскольку коммерческое общество, альтернативное социализму, в реальной действительности предстает как определенная форма капитализма, не будет большой погрешности, если читатель предпочтет придерживаться традиционного противопоставления социализма капитализму.

Социалистическим обществом мы будем именовать институциональную систему, при которой контроль над средствами производства и самим производством находится в руках центральной власти или, иначе говоря, где принадлежность экономики к общественной сфере, а не частной сфере — дело принципа. Социализм — это своего рода интеллектуальный Протей*. Существует немало различных, притом вполне приемлемых определений этого общества, помимо явно нелепых, вроде того, что социализм — это «хлеб для всех». Я не претендую на то, чтобы мое определение признали лучшим, но хотел бы в связи с ним привлечь внимание к некоторым моментам, даже рискуя быть обвиненным в педантизме.

Наше определение оставляет в стороне гильдейский социализм, синдикализм и другие разновидности социализма. Интересующий нас тип общества можно определить как «централистский социализм». Это определение, на наш взгляд, ограничивает поле исследования настолько четко, что рассмотрение других форм было бы неоправданным отклонением в сторону. Однако, используя термин «централистский социализм» применительно к конкретной разновидности социализма, следует проявлять известную осторожность, дабы избежать недоразумений. Сам этот термин призван подчеркнуть определенную мысль: отсутствие множественных центров контроля, каждый из которых мог бы в принципе выражать собственные особые интересы, в частности отсутствие автономных территориальных секторов, которые могли бы привести к воссозданию антагонизмов, присущих капиталистическому обществу. Идея исключения местнических интересов может показаться нереалистичной, тем не менее она принципиально важна.

Термин «централистский социализм» не означает, однако, что центральная власть, которую можно именовать Центральным администт-

* В древнегреческой мифологии — божество, которому приписывалась способность менять свой вид.

ративным органом, либо Министерством производства, непременно имеет абсолютный характер или что вся инициатива, связанная с принятием решений, исходит исключительно от нее. Чтобы предотвратить абсолютизм власти, можно предусмотреть процедуру обязательного представления планов, подготавливаемых исполнительной властью, в конгресс или парламент. Может быть также создан специальный орган по надзору и контролю — своего рода cour des comptes*, наделенный даже правом вето в отношении конкретных решений. Что касается условий для проявления инициативы, то некоторая свобода действий должна сохраняться. Особенно важно предусмотреть ее для «людей на местах», в частности для тех, кто руководит конкретными отраслями или предприятиями. Можно даже допустить, что рациональные пределы свободы определяются экспериментальным путем и реально гарантируются, так что эффективность производства не страдает ни от неуемных амбиций низовых руководителей, ни от их пассивности, когда решение всех вопросов перекладывается на высшее руководство. С другой стороны, из центра не должны исходить указания, подобные «Руководству по уборке картофеля», написанному в свое время Марком Твеном.

Я не стал отдельно давать определение терминов «коллективизм» или «коммунизм». Первый я вообще не собираюсь использовать, а второй — только в отдельных случаях, когда речь идет о тех группах, которые сами называют себя коммунистами. Но там, где мне придется применять эти термины, я буду считать их синонимами понятия «социализм». Изучая историю самих терминов, большинство исследователей пытались разграничить эти понятия. Надо признать, что термин «коммунистический» практически всегда использовался применительно к наиболее радикальным и далеко идущим идеям. Вместе с тем можно напомнить, что одно из классических изложений концепции социализма носит название «Коммунистический манифест». Во всяком случае, идейные расхождения никогда не носили фундаментального характера, а различия во взглядах, проявляющиеся среди социалистов, — не меньше, чем те, что разделяют социалистов и коммунистов. Большевики именуют себя коммунистами и в то же время считают, что они единственные истинные поборники социализма. Не будем касаться вопроса о том, насколько истинные и единственные, но что они привержены социализму — это несомненно.

Я избегал употреблять такое понятие, как государственная собственность на природные ресурсы, предприятия и оборудование. В методологическом плане это достаточно существенный момент. В общественных науках есть ряд понятий — такие, как потребность, выбор,

* Счетная палата (*фр.*)

экономическое благо, — которые не связаны с определенной исторической эпохой или общественной системой. Существует другая группа категорий, к примеру цена или ценность. В обиходном своем значении они, бесспорно, несут в себе эту связь. Однако в сфере экономического анализа их довели до такой степени рафинированности, что связь с социальным контекстом была полностью утрачена[1]. Есть и такие категории, сама природа которых не выносит трансплантации из одной социальной среды в другую, ибо на них неизбежно лежит печать определенной институциональной системы. Вырывать их из этой системы или из той культуры, которая их породила, и использовать применительно к другому обществу, значит идти на риск искажения исторической действительности. По моему мнению, собственность, а также налогообложение — это в такой же мере атрибуты коммерческого общества, в какой рыцари и феодальные поместья — атрибуты феодализма.

К подобного рода категориям относится и государство. Конечно, можно было бы определить его в соответствии с критерием суверенности и применить это определение к социалистическому государству. Но если мы хотим придать конкретное историческое содержание этому понятию, а не довольствоваться юридическими и философскими словесами, то не следует его использовать ни применительно к феодальному строю, ни к социалистическому обществу, ибо как в том, так и в другом не существовал и не мог проявиться тот водораздел между частной и общественной сферами, который в значительной мере и определяет само содержание понятия «государство» во всем его объеме, т. е. весь диапазон его функций, методов, отношений. Исходя из этого я считаю резонным утверждение, что государство, возникшее как следствие противоборства и компромиссов между феодальными землевладельцами и буржуазией, станет частью того пепла, из которого предстоит возникнуть Фениксу социализма. Потому я не использовал понятие государства в моем определении социализма. Конечно, социализм может возникнуть на основании декрета государства. Но само государство в этом своем деянии умирает, как писал Маркс, а за ним повторил и Ленин. У меня эта мысль не вызывает возражений.

В том, что касается собственно экономической стороны дела, мое определение социализма совпадает со всеми другими, которые мне встречались. Каждый социалист стремится революционизировать общество через его экономику и связывает надежды на успех с преобразованием экономических институтов. Эти представления воплощают в

[1] Цена в современной экономической теории предстает как всего лишь коэффициент трансформации, а издержки (в смысле издержек упущенной альтернативной возможности использования ресурсов) — как универсальная логическая категория. Подробнее об этом речь пойдет ниже.

себе теорию социальной причинности, согласно которой экономическому строю принадлежит решающая роль в сумме элементов, образующей общество. Однако тут напрашиваются два замечания.

Во-первых, — об этом говорилось в предыдущем разделе, когда речь шла о капитализме, и теперь это следует подчеркнуть применительно к социализму, — ни для нас, наблюдателей, ни для тех людей, которые связывают с социализмом свои надежды, экономический аспект — не единственный и даже не наиболее важный. Формулируя свое определение социализма, я вполне сознавал это. Чтобы быть честным по отношению ко всем цивилизованным социалистам, которых я когда-либо знал лично или по публикациям, надо признать, что они придерживаются той же позиции. Они акцентируют роль экономического аспекта, как того требует их понимание причинно-следственных зависимостей, но вовсе не считают заветной целью борьбы изобилие бифштексов или радиоприемников. Встречаются, конечно, безнадежно дремучие люди, которые именно так и думают. А многие, хотя и не столь дремучие, в погоне за голосами избирателей все же прибегают к усиленному использованию экономических обещаний, поскольку это вызывает непосредственный отклик. Поступая так, они извращают и дискредитируют свое учение. Не будем следовать этому примеру и постараемся не забывать, что социализм имеет более высокие цели, нежели наполнение желудков, подобно тому, как христианство не сводится к вере в рай и ад, имеющей до некоторой степени гедонистическую подоплеку. Главное — социализм — это новый тип культуры. Поэтому можно быть пламенным социалистом, даже сознавая, что социалистическая система, вероятно, будет уступать капитализму в экономической эффективности[2]. Никакие аргументы чисто экономического характера в пользу или против социализма, сколь бы убедительными сами по себе они ни были, не могут играть решающей роли.

Возникает вопрос: каков этот новый тип культуры? Можно было бы попытаться ответить на него, рассмотрев конкретные высказывания известных идеологов социализма, чтобы выяснить, что ими сделано в этой области. На первый взгляд материала такого рода более чем достаточно. Среди социалистов есть такие, кто проявляет неизменную готовность блаженно предаваться отвлеченным рассуждениям на этот счет, прославляя справедливость, равенство, свободу вообще и свободу от «эксплуатации человека человеком» в частности, витийствовать о мире и любви, о разбитых оковах и высвобождаемой энергии в сфере культуры, об открывающихся широких горизонтах и новых возможностях самореализации личности. Но все это не выходит за пре-

[2] Возможна, конечно, и обратная ситуация: можно соглашаться с тем, что социализм способен создать высокоэффективную экономику, и тем не менее ненавидеть его по соображениям культурного характера.

делы того, о чем говорил Руссо, с добавлением определенных усовершенствований со стороны Бентама. Другие социалисты просто выражают интересы и потребности радикального крыла тред-юнионизма. Но среди социалистов есть и такие, кого отличает исключительная сдержанность. Возможно потому, что, презирая дешевые лозунги, они не в состоянии придумать ничего иного. А может, они и придумали, но не уверены, что это найдет широкий отклик? Или сами сознают, что безнадежно разошлись со своими товарищами?

Короче говоря, вести исследование по этому пути бесперспективно. Следует признать, что существует, как я называю это, «культурная недетерминированность социализма». В самом деле, если исходить из нашего и большинства других существующих определений, общество может считаться в полной мере социалистическим как в том случае, когда им управляет единоличный диктатор, так и при самой демократичной его организации; оно может быть аристократическим или пролетарским; теократическим и иерархическим либо атеистическим или индифферентным в отношении религии; дисциплина в этом обществе может быть куда суровее, чем в современной армии, а может и вовсе отсутствовать; по своему духу это общество может быть аскетичным либо эпикурейским; динамичным либо застойным; оно может быть всецело ориентированным на будущее либо сосредоточиваться только на текущих интересах; быть воинствующим или националистическим или миролюбивым и интернационалистским; эгалитарным или наоборот; иметь этику господ или этику рабов; его искусство может быть субъективистским либо объективистским;[3] формы организации жизни людей — индивидуализированными или стандартизированными и наконец — для многих из нас одного этого было бы достаточно, чтобы социализм привлек к себе либо вызвал резкую неприязнь, — в этом обществе можно управлять процессом воспроизводства людей и, используя соответствующий генофонд, выращивать либо суперменов, либо недочеловеков.

Чем объясняется эта культурная недетерминированность? Пусть сам читатель отвечает на этот вопрос. Возможно, он скажет, что Маркс ошибался и что экономическая система не детерминирует характер цивилизации. Возможен и другой ответ: экономическая система в целостном ее виде определяет тип культуры, но тот элемент, который мы избрали в качестве конституирующего признака социализма, недостаточен. Нужны дополнительные данные об экономическом строе и расширение круга исходных посылок. Заметим, что и с капи-

[3] Как это ни парадоксально, индивидуализм и социализм не обязательно исключают друг друга. Можно выдвинуть довод, что именно социалистическая форма организации общества способна гарантировать «подлинное» самовыражение личности. Во всяком случае, эта идея вполне отвечала бы логике Марксовой теории.

тализмом дело обстояло бы не лучше, если бы мы попытались реконструировать соответствующий ему тип цивилизации только на основе признаков, нашедших отражение в нашем определении капитализма. В отношении капитализма у нас сложилось четкое впечатление, что детерминированность существует, и мы считаем возможным рассуждать о тенденциях развития капиталистической цивилизации. Но это только потому, что мы имеем дело с некой исторической реальностью, которая предоставляет нам всю необходимую дополнительную информацию, и via facti* исключает массу других потенциально возможных вариантов развития.

Мы используем понятие «детерминированность» в более строгом и техническом смысле и к тому же в отношении культуры в целом. В нашем понимании недетерминированность не служит препятствием, когда дело касается попыток выявить определенные свойства и тенденции, которые в социалистической системе как таковой имеют бóльшую вероятность, чем в других, особенно если это черты, характеризующие определенный тип культуры. Недетерминированность не препятствует расширению круга допустимых исходных посылок, связанных с типом культуры, и получению на этой основе определенных выводов. Предлагаемые иллюстрации помогут в этом убедиться. Если, к примеру, мы, как это делают многие социалисты (на мой взгляд, ошибочно), будем исходить из того, что войны — не что иное, как одно из проявлений конфликта интересов капиталистов, то из этого неизбежно следует, что социализм будет отличаться пацифистским и миротворческим характером. А допустив, что социализм возникает в связи с определенным типом рационализма и неотделим от него, мы должны сделать вывод о вероятной нерелигиозности, если не антирелигиозности социалистического общества. При случае мы и сами попробуем поиграть в игру с принятием допущений, хотя лучше предоставить это Платону, непревзойденному, истинно великому мастеру в этой области. Все упражнения такого рода не затрагивают сделанного вывода о том, что социализм как тип цивилизации действительно подобен Протею. Его черты приобретут определенность только при условии, если мы будем рассматривать конкретные разновидности социалистического общества. Каждая из них имеет своих приверженцев, убежденных, что это единственная форма истинного социализма. Для нас же они все — различные возможные варианты.



* Само сложившееся положение (*лат.*).

Глава XVI

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Прежде всего необходимо разобраться, что представляет собой проект социалистической экономики с позиций формальной логики. Вряд ли признание логической приемлемости этого проекта способно обратить кого-либо в социалистическую веру или послужить весомым аргументом в пользу возможности практического воплощения социализма. И все же доказательство его логической несостоятельности, а может, и полный провал попыток найти логическое обоснование проекта социалистической экономики уже сами по себе достаточны для того, чтобы прийти к выводу о его врожденной абсурдности.

Сформулируем задачу более четко. Предположим, что дана социалистическая система интересующего нас типа. Существует ли возможность на основе имеющихся данных и пользуясь постулатами рационального поведения получить однозначно детерминированное решение в отношении того, что и как производить? Этот вопрос можно сформулировать и на языке строгой экономической теории: дают ли возможность имеющиеся данные и известные правила рационального поведения получить для социалистической экономики необходимое количество уравнений — независимых и совместных, т. е. не противоречащих друг другу, — чтобы определить единственное значение тех неизвестных, которыми должны оперировать Центральный орган или Министерство производства, решая, что и как производить?

1. На этот вопрос следует ответить утвердительно. С чисто логической стороны проект социалистической экономики не вызывает возражений. Такой вывод столь очевиден, что я не стал бы об этом и говорить, если бы мне не приходилось сталкиваться с противоположной точкой зрения. Задержаться на этом меня вынуждает и еще одно, куда более занятное обстоятельство: ортодоксальные социалисты не могли дать строго научного обоснования социалистического проекта, пока не прошли выучки у экономистов с заведомо буржуазными взглядами и ориентацией.

Среди известных экономистов, отрицающих саму идею социалистической системы, назовем только профессора Л. фон Мизеса[1]. За основу он взял постулат, что рациональное экономическое поведение предполагает рациональную калькуляцию издержек, а следовательно, и существование рациональных цен на факторы производства, что

[1] Его работа, опубликованная в 1920 г., теперь доступна в английском переводе. См.: «Collectivist Economic Planning» (F.A. von Hayek, ed. 1935.). См. также «Gemeinwirtschaft», английский перевод носит название «Socialism» (1937).

требует рынков со свободным ценообразованием. Мизес сделал вывод, что поскольку в социалистическом обществе таких рынков не будет, не останется и ориентиров для рационализации производства. В результате социалистическая система, если бы она вообще оказалась способной действовать, действовала бы наобум. Признанные выразители социалистической ортодоксии поначалу мало что могли возразить на эти и подобные критические заявления, а возможно, и на некоторые собственные сомнения, помимо довода о том, что социалистические менеджеры использовали бы в качестве ориентира систему ценностей, сформировавшуюся в предшествующий социализму период. Такой довод, безусловно, уместен, но он не имеет никакого отношения к решению вопроса в принципе. Другие социалисты принципиальной критике социализма и по сей день противопоставляют восхваление социалистического рая, где можно будет вообще покончить с такими капиталистическими ухищрениями, как рациональная калькуляция издержек, и где члены общества легко будут решать все проблемы, имея свободный доступ к изобильным общественным закромам. Но такого рода песнопения, по сути, и означают признание правоты критиков.

Первым экономистом, кто исчерпывающим образом рассмотрел эту проблему, оставив на долю своих последователей лишь развитие своих идей и уточнение второстепенных деталей, был Энрико Бароне. Отсылая заинтересованного читателя к его исследованию[2], я ограничусь здесь лишь кратким пересказом основных идей.

С точки зрения экономистов, производство — включая транспортировку и все операции, связанные с маркетингом, — не что иное, как рациональное комбинирование имеющихся «факторов» в рамках ограничений, обусловленных технологическими условиями. В коммерческом обществе задача соединения этих факторов предполагает про-

---

[2] Более дюжины экономистов до Бароне подступали к решению этого вопроса. Среди них такие авторитетные ученые, как Ф. фон Визер (см. его работу «Natural Value», 1893, немецкий оригинал, 1889) и Парето «Cours d'Économie politique», vol. II. 1897). Оба они осознали, что логика экономического поведения в основе своей едина как для коммерческого, так и для социалистического общества, а это привело к выводу о возможности логического обоснования социализма. Но Бароне — последователь Парето, первым сформулировал этот вывод. См. его работы «Il Ministro della Produzione nello Stato Collettivista», // Giornale degli Economisti. 1908. Английский перевод включен в упоминавшийся выше том «Collectivist Economic Planning».

Невозможно, да и нет необходимости всесторонне оценивать здесь изобильную последующую литературу. Отмечу лишь наиболее значительные статьи: Taylor Fred M. The Guidance of Production in a Socialist State // American Economic Review, March 1929; Tisch K. Wirtschaftsrechnung und Verteilung im... socialistischen Gemeinwesen, 1932; Zassenhaus H. Theory der Planwirtschaft, Zeitschrift für Nationalökonomie, 1934; и особенно следует отметить работу Оскара Ланге: Lange Oskar. On the Economic Theory of Socialism // Review of Economic Studies, 1936/7, под тем же названием перепечатанную в книге Ланге и Тейлора под тем же названием, 1938; а также работы А. Лернера (Lerner A.P.), ссылки на которые будут даны ниже.

цесс их покупки или найма, в ходе которого и возникают характерные для данного типа общества индивидуальные доходы собственников этих факторов. Иначе говоря, производство и «распределение» общественного продукта — не что иное, как две стороны одного и того же процесса, они происходят одновременно. Самое важное логическое — или чисто теоретическое — различие между коммерческой и социалистической экономикой, которое в этой связи надо отметить, состоит в том, что в социалистической системе дело обстоит иначе. Поскольку там prima facie* нет рыночной ценности средств производства и, что еще важнее, сами принципы социалистического общества не допускают использования рыночной ценности в качестве критерия распределения, даже если бы эти рыночные оценки и существовали, — то в социалистической экономике в отличие от коммерческого общества автоматизма распределительного процесса не существует. Пробел должен заполняться с помощью политического закона — назовем его конституцией данного государства. Распределение, таким образом, становится самостоятельной операцией и, во всяком случае, по логике вещей полностью отделяется от производства. Принятый политический закон или политическое решение должны соответствовать экономическим и культурным особенностям данного общества. Со временем они сами начинают определять эти особенности, поведенческие нормы общества, его цели и достижения. Но с позиций экономической теории это означает полный произвол. Как было показано выше, такое государство может осуществлять принцип равенства — опять-таки исходя из того или иного понимания идеи эгалитаризма — а может исходить из необходимости неравенства в той или иной степени. Государство может осуществлять распределение, руководствуясь идеей достижения максимального результата в каком-либо избранном направлении, и этот случай представляет особый интерес. Оно может изучать индивидуальные запросы членов общества, а может руководствоваться идеей наделять людей тем, что, по мнению того или иного полномочного органа, в наибольшей степени отвечает их интересам; сам лозунг «каждому по его потребностям» может интерпретироваться либо в соответствии с первым, либо со вторым принципом. Но какой-то из них должен быть принят. Исходя из наших задач, достаточно будет рассмотреть определенный конкретный случай.

2. Предположим, наше социалистическое государство по своим этическим позициям исповедует идею полного эгалитаризма, и при этом члены общества получают возможность свободно выбирать по собственному желанию потребительские блага из той массы, которую Министерство производства способно или хочет произвести, — ведь социалистическое общество может и отказаться от производства некото-

* На первый взгляд (*лат.*).

рых товаров, например алкогольных напитков. Допустим, далее, что в соответствии с принятым пониманием равенства каждому индивиду — дети и, возможно, некоторые другие категории лиц по решению правомочных инстанций могут наделяться меньшими долями — вручается документ, свидетельствующий о его праве на некое количество потребительских товаров. Доля каждого определяется общим количеством имеющегося в данное время общественного продукта, поделенного на число претендентов. По истечении указанного срока документ считается аннулированным. Такие документы можно считать заявками на n-ю часть всех продуктов питания, одежды, предметов домашнего обихода, жилищ, автомобилей, билетов в кино и т. п. — всего, что произведено или производится для потребления (предназначено потребителям) в определенный период. Чтобы избежать громоздкой и ненужной процедуры последующих обменов между отдельными членами общества, в этих заявках будут фигурировать не конкретные товары, а соответствующее количество установленных условных единиц — их можно назвать как угодно, просто «единицами», «лунами», «солнцами» или даже долларами. Можно установить, что для получения каждого товара нужно отдать определенное количество этих единиц. Эти «цены», назначаемые общественными складами, должны, согласно принятым нами исходным посылкам, всегда удовлетворять следующему условию: если цена каждого товара умножается на существующее его количество, то в совокупности все эти суммы должны соответствовать произвольно определяемому фонду потребления. Министерству нет необходимости устанавливать конкретные «цены» на каждый товар. Оно может ограничиться отправными рекомендациями. Члены общества, располагающие одинаковым «долларовым доходом», основываясь на своих вкусах, дадут понять своей реакцией на эти исходные предложения, по каким ценам они готовы приобрести весь предназначенный для потребления общественный продукт, за вычетом того, что оказалось никому не нужным. Министерству придется принять эти цены, если оно заинтересовано в реализации всей продукции. Так оно и будет поступать. В результате принцип обеспечения равных долей при распределении будет осуществляться с высокой степенью надежности, приводя к единственному решению.

Но это, разумеется, предполагает, что определенное количество каждого товара уже произведено. Однако действительная проблема, которую, как считали оппоненты, не может решить социалистическое общество, как раз и состоит в том, как достичь этого рациональным образом, т. е. достичь максимального удовлетворения потребителей[3]

[3] Если моя формулировка этой мысли вызовет возражение у современных экономистов-теоретиков, пусть они подумают над тем, насколько многословнее была бы более конкретная формулировка, при том, что к нашей аргументации она бы ничего не прибавила.

в рамках ограничений, обусловленных объемом имеющихся ресурсов, уровнем технологии и внешними по отношению к производству обстоятельствами. Ясно, что планировать производство на основе процедуры голосования — скажем, по большинству поданных голосов членов общества — было бы совершенно нерационально[4], поскольку при этом неизбежно часть людей, а может быть, и все не удовлетворили бы свои желания и не получили того, что вполне реально могло бы быть им предоставлено без ущемления интересов других членов общества. Вместе с тем столь же очевидно, что экономической рациональности, в том смысле, как она здесь понимается, можно достичь иначе. Для теоретика это вытекает из элементарного допущения: потребители, оценивая («запрашивая») потребительские товары, ipso facto* также оценивают и средства производства, участвующие в создании этих товаров. Для непрофессионала доказательством возможности рационального плана производства в нашем гипотетическом социалистическом обществе могут служить следующие соображения.

3. Представим для простоты, что имеется некое количество средств производства, которое на данный период времени не подлежит изменению. Далее предположим, что Центральный орган преобразован в комиссию, управляющую конкретной отраслью производства, или лучше — пусть в каждой отрасли будет такая комиссия, чтобы управлять ею и взаимодействовать с Центральным органом, который контролирует и координирует деятельность отраслевых комиссий. Производственные ресурсы — все они находятся под контролем Центрального органа — распределяются между отраслевыми управлениями в соответствии с определенными правилами. Допустим, принято правило, по которому отраслевые управления могут получить любое затребованное ими количество товаров и услуг производственного назначения, если выполняются следующие три условия. Во-первых, производство должно быть максимально экономичным. Во-вторых, за каждую затребованную единицу товара или услуги Центральный орган должен получить от отраслевых управлений установленное количество потребительских долларов, полученных за ранее произведенные ими потребительские товары. Иными словами, это значит, что Центральный орган заявляет о своей готовности «продать» каждому отраслевому управлению неограниченное количество товаров и услуг производственного назначения по определенным «ценам». В-третьих, отраслевые управления должны запрашивать и использовать такое количество товаров и услуг (и не меньше), которое при максимально

[4] Это не значит, что такой механизм принятия решений не способен удовлетворять требованиям рациональности, если сама рациональность понимается иначе. Я не делаю сейчас никаких выводов о том, каким образом обсуждаемый механизм соотносится с другими. Кое-что об этом будет сказано ниже.

* В силу самого этого факта (*лат.*).

экономичном производстве они могут употребить, не создавая при этом ситуации, вынуждающей «продавать» часть произведенной продукции по сниженным «ценам», так что полученные средства оказались бы меньше той суммы, которая должна быть передана Центральному органу за соответствующее количество средств производства. В более строгой формулировке это условие означает, что производство каждого товара должно осуществиться в таком объеме, чтобы «цены» устанавливались на уровне предельных издержек (а не просто были пропорциональны им)[5].

---

[5] Этот принцип, вытекающий из общей логики выбора, получил всеобщее признание только после публикации ряда работ А.П. Лернера, посвященных обоснованию и защите этих идей. Особенно следует отметить статьи в «Review of Economic Studies» (а также в «Economic Journal» за сентябрь 1937 г.), ставшие весомым вкладом в развитие теории социалистической экономики. Пользуясь случаем, я хотел бы привлечь к ним внимание читателя. Из логики выбора также следует вывод о том, что сформулированное условие равенства цен предельным издержкам должно главенствовать по отношению к правилу о равенстве цен полным издержкам на единицу продукции, если эти два принципа вступают в противоречие друг с другом. Однако необходимо внести некоторую ясность в этот вопрос в связи с возникшей путаницей в понятиях.

Понятие предельных издержек, означающее приращение общих издержек, которое должно произойти при небольшом приросте объема производства, остается неопределенным, если не рассматривать его применительно к конкретному временному интервалу. Так, если речь идет о том, перевозить ли еще одного пассажира на поезде, который в любом случае отправится по своему маршруту, предельные издержки можно считать нулевыми, ибо при всех условиях они очень малы. Для короткого периода времени — будь то час, день либо неделя — практически все издержки представляют собой накладные расходы, даже затраты на смазочные материалы и уголь, а накладные расходы не включаются в предельные издержки. Но чем продолжительнее рассматриваемый период, тем больше элементов издержек включается в предельные издержки. Прежде всего это те, что обычно именуются прямыми издержками, затем во все большем объеме так называемые накладные расходы, пока наконец в долговременном аспекте или в том случае, когда речь идет о планировании расходов новой, еще не существующей производственной единицы, все (или почти все) издержки, включая амортизационные отчисления, перестают быть накладными и должны приниматься в расчет при определении предельных издержек, за исключением тех случаев, когда некоторые факторы, например железнодорожное полотно в железнодорожном транспорте, в силу самой технологии могут быть включены в производственный процесс только целиком (принцип «неделимости»). Поэтому следует всегда отличать предельные издержки от (предельных) прямых издержек.

Это условие зачастую увязывается с определенным правилом, которому должен в данный момент неукоснительно следовать социалистический — так же как и капиталистический — менеджмент, чтобы управление было рациональным. Это правило гласит: «Что прошло, то быльем поросло». Смысл его в том, что в своих решениях менеджеры не исходят из балансовой ценности существующих инвестиций. Однако этим правилом можно руководствоваться только на небольших отрезках времени в заданных обстоятельствах. Само правило не означает, что ex ante (заранее — *лат.*) следует игнорировать те компоненты инвестиционных расходов, которые *обязательно* превратятся в постоянные или накладные издержки. Игнорирование этих компонентов означало бы нерациональное отношение к тому рабочему времени и тем природным ресурсам, которые идут на производство этих компонентов, тогда как существуют и альтернативные возможности их использования. Но если принимать в расчет все эти компоненты, то цены должны соответствовать полным издержкам на единицу продукта. Это при том, что все делается по плану и отклонения от рациональности в основном связаны либо с технологическими причинами (с неделимостью), либо с тем, что реальный ход событий отклоняется от запланированного. При таких условиях принцип полных издержек может неплохо соот-▶

В таком случае задача, которая стоит перед управляющими, имеет единственное решение. Подобно тому, как при капитализме каждой фирме, действующей в высококонкурентной отрасли, известно, что, в каком объеме и каким образом производить при данных технологических условиях, существующих реакциях потребителей (их вкусах и доходах) и ценах на средства производства, так же и отраслевые управленческие структуры в нашем гипотетическом обществе знали бы, что и как производить, в каком объеме «покупать» факторы производства у Центрального органа, если «цены» факторов опубликованы и потребители выявили свои «запросы».

В каком-то смысле эти цены, в отличие от цен на потребительские товары, устанавливаются односторонним образом, по усмотрению центральной власти. Однако и здесь «спрос» менеджеров на средства производства столь же четко детерминирован, как и спрос потребителей на потребительские товары. Нужно еще только, чтобы правило, которым руководствуется Центральный орган в своей деятельности по установлению цен, соответствовало рациональному критерию максимального удовлетворения. Само это правило очевидно. Центральный орган должен устанавливать единую цену для всех покупателей за товар определенного вида при одинаковом его качестве. Ценовая дискриминация, т. е. назначение различных цен для покупателей за товар одного и того же вида и качества, в принципе допусти-

---

Продолжение сноски со стр. 563.

ветствовать принятой логике планирования. В краткосрочном аспекте этот принцип может в наибольшей мере отвечать требованиям рациональности, однако им нельзя руководствоваться применительно к какой-либо отрасли, действующей в условиях дефицита. Это важно отметить по двум соображениям.

Первое. Сам принцип полных издержек не признавали. Утверждали даже, что если бы цены всегда соответствовали *краткосрочным* предельным издержкам, то это дало бы возможность повысить благосостояние (в долгосрочном аспекте). При таком подходе амортизационные отчисления исключались бы из предельных издержек, и накладные расходы (например, стоимость моста) должны были бы финансироваться за счет налогообложения. Из правила, изложенного нами, этого не следует, и отступать от него было бы нерационально.

Второе. Постановление центральных органов России в марте 1936 г., ликвидируя систему субсидий ряду отраслей промышленности, действовавшую прежде, ввело следующее правило формирования цен: цена должна быть равна средней величине полных издержек на единицу продукта плюс надбавка на накопление. В отношении первой части этого правила можно сказать, что, хотя она не строго корректна, степень ее неправильности не так велика, как этого можно ожидать, если судить по вовсе не корректной второй части. В отношении этой самой второй части надо признать, что безусловные возражения, вызываемые ею, в значительной мере утрачивают основания, если принять в расчет условия, сложившиеся в то время, или потребность в ускоренном развитии. Читатель в этой связи, видимо, вспомнит аргументы из второй части этой книги, относящиеся к капиталистической экономике. Поэтому вполне допустим вывод, что советское правительство правильно действовало в *обоих* случаях — и когда использовало политику субсидий, вплоть до финансирования инвестиций для убыточных предприятий, и когда частично отказалось в 1936 г. от этой практики.

ма[6], но по соображениям иного, неэкономического характера. Центральный орган также должен следить, чтобы цена на каждый вид продукции «расчищала рынок», т. е. чтобы не оставалось невостребованных товаров и чтобы весь существующий при данных «ценах» спрос был удовлетворен. В обычных условиях этого правила достаточно для рациональной калькуляции издержек и, следовательно, экономически рационального распределения производственных ресурсов (поскольку первое — не что иное, как метод обеспечения и осуществления второго), а тем самым и для обеспечения рациональности самого плана производства в социалистическом обществе. В доказательство можно привести следующее соображение: пока выполняется сформулированное выше правило, ни один элемент производственных ресурсов не может быть перемещен в какую-либо другую производственную сферу без того, чтобы это не сопровождалось потерей такой же (или большей) величины ценности (выраженной в потребительских долларах) по сравнению с величиной ценности, которая была бы дополнительно получена при использовании этого элемента в новой сфере. Иными словами, производство в каждой отрасли должно отвечать требованиям рациональности, при том что при данных общественных условиях перемещение ресурсов может происходить беспрепятственно. Этим выводом завершаются наши соображения, связанные с обоснованием возможности рационального социалистического планирования при стационарном экономическом процессе, где все повторяется в неизменном виде и поддается правильному предвидению, где не происходит ничего, что способно было бы сорвать рациональный план.

4. Но если мы и выйдем за пределы ограничений, налагаемых теорией стационарного процесса, и включим в анализ явления, связанные с индустриальным развитием, больших осложнений это не создаст. Поскольку речь идет об экономической логике, нет оснований полагать, что социализм описываемого здесь типа, теоретически способный совладать с повторяющимися задачами по управлению экономикой в стационарных условиях, непременно потерпит крах, если ему придется решать проблемы, связанные с «прогрессом». Ниже будет показано, почему, тем не менее, для успешного развития социалистического общества столь важно, чтобы предшествующий ему капитализм не только в наибольшей мере вооружил его — опытом, техникой и ресурсами, но и сам успел «перебеситься» и достичь зрелости, приближаясь к стационарному состоянию. Причина здесь, однако, не в том, что невозможно выработать рациональный детерминированный

[6] Существуют исключения, которые имеют немаловажное значение, но они не затрагивают логики наших рассуждений.

курс для социалистической экономики, которому надо следовать, когда появляется возможность усовершенствовать технику и технологию.

Предположим, что разработано новое и более производительное оборудование для производственного процесса в некой отрасли промышленности *X*. Чтобы исключить вопросы, связанные с финансированием инвестиций — к ним мы вернемся чуть позже, — и вычленить интересующий нас комплекс проблем, допустим, что новое оборудование может производиться на тех же заводах, которые до сих пор выпускали менее эффективную технику, причем производиться при тех же затратах производственных ресурсов. Управленческие структуры отрасли *X*, следуя важнейшему требованию инструкции по обеспечению эффективности — производить самым экономичным образом, — возьмут новое оборудование на вооружение, так что производство прежнего объема продукции потребует теперь меньших затрат. Это значит, что появится возможность передать Министерству или Центральному органу меньшее количество потребительских долларов, чем их было получено от потребителей. Эту разницу можно назвать как угодно — буквой *D*, лопатой или прибылью. Управленческие структуры нарушили бы третье требование инструкции, если бы получили эту «прибыль». Чтобы выполнить это требование, им пришлось бы незамедлительно увеличить объем производства, но тогда прибыли не возникнет. Но потенциальной возможности возникновения прибыли в расчетах менеджеров уже достаточно для выполнения той единственной функции, которая у прибыли остается в рассматриваемых условиях: прибыль с однозначной определенностью указывает, куда и в каком объеме должны, исходя из требований рациональности, перемещаться ресурсы.

Если в какой-то период, когда имеющиеся общественные ресурсы полностью используются для поддержания данного уровня потребления, появляется возможность ввести усовершенствование — например, построить новый мост или железную дорогу, — потребуются дополнительные факторы производства, иначе говоря, — дополнительные инвестиции. При этом возможны различные варианты решения: либо придется увеличить продолжительность рабочего времени сверх того, что, как мы исходили до сих пор, было установлено законом; либо сократить потребление; либо сделать и то, и другое. Но тогда наши допущения, рассчитанные на самое простейшее решение экономической проблемы, исключат возможность «автоматического» решения, предполагающего, что Центральному органу и отраслевым управлениям не придется ничего больше делать, как только следовать за объективными показателями в рамках трех сформулированных правил рациональности. Это значит, что несостоятельна наша схема, а вовсе не социалистическая экономика. Если мы хотим, чтобы такое автоматическое решение стало возможным, надо отменить закон, по которому все свое-

временно не использованные купоны на потребительские товары аннулируются, отказаться от идеи абсолютного равенства доходов и предоставить Центральному органу право выплачивать премии за сверхурочную работу и — как бы это назвать? — за сбережения. Возможные усовершенствования или инвестиции должны осуществляться в таком объеме, чтобы даже наименее привлекательные из них могли принести прибыль, равную премиям, которые придется выплатить за необходимую сверхурочную работу или сбережения (или и за то, и за другое). Это условие однозначно определяет все новые переменные, которые включает в себя наша проблема — в том случае, если сверхурочная работа и сбережения в соответствующем временно́м интервале являются однозначными функциями соответствующих премий[7]. Допустим для удобства, что доллары, расходуемые в качестве премий, суммируются с ранее выданным долларовым доходом. Нет необходимости останавливаться на связанных с этим разного рода поправках.

Однако все эти доводы в отношении инвестиций еще больше убеждают в том, что предложенная схема, казалось столь удачная для решения нашей конкретной проблемы, — не единственно возможный проект социалистической экономики, и ему не обязательно следовать в социалистическом обществе. Социализм не должен быть уравнительным, но и при любой степени неравенства, допустимой при социализме, едва ли возможна такая норма накопления, которая обеспечивается в капиталистическом обществе в среднем на протяжении экономического цикла. Даже при капитализме неравенство не способно поддерживать инвестиционный процесс на нужном уровне. Его поддерживают корпоративное накопление и создаваемые банками кредитные ресурсы, а эти механизмы не отличаются ни автоматизмом действия, ни однозначно детерминированным характером. Следовательно, если социалистическое общество стремится достичь такой же или даже большей нормы реальных инвестиций (чего, конечно, ему не требуется), необходимо прибегнуть к иным методам, нежели бережливость. Вполне возможным было бы накопление за счет прибыли, которая из потенциальной превратилась бы в реальную, и за счет использования механизма создания кредитных ресурсов, аналогично тому, о котором говорилось. Впрочем, гораздо более естественно оставить этот вопрос на усмотрение Центрального органа, съезда или парламента, которые сами в состоянии

[7] Надо сказать, что эта проблема возникает лишь в случае *новых* инвестиций. Те же инвестиции, которые постоянно необходимы для поддержания стационарного процесса, могут и должны обеспечиваться точно так же, как все другие статьи издержек. В частности, здесь не надо будет выплачивать процент. Воспользовавшись случаем, отмечу, что отношение социалистов к феномену процента неоднозначно. Сен-Симон считал его чем-то почти само собой разумеющимся. Маркс полагал, что в социалистическом обществе его не будет. Некоторые современные социалисты вновь признали его. В хозяйственной практике Советской России процент используется.

решить его в ходе формирования общественного бюджета. Если голосование по вопросам, связанным с «автоматическими» процессами в экономике общества, носило бы сугубо формальный характер или сводилось бы к функции контроля, то голосование по поводу инвестиций — по крайней мере их объема — потребовало бы реальных решений, наряду с голосованием о расходах на армию и т. п. Проблема согласования решения об объеме инвестиций с «автоматическими» решениями, касающимися количества и состава потребительских товаров для индивидуального потребления, не содержит особых сложностей. Однако, если мы примем такую логику действий, нам придется весьма существенно пересмотреть основополагающий принцип нашей схемы.

Изменение других частей нашего проекта может происходить в рамках принятой общей схемы. Например, если речь не идет о сверхурочной работе, я исходил из того, что отдельные лица не могут по своему усмотрению решать, сколько они будут работать, хотя как избиратели и по другим общественным каналам они могли бы влиять на такие решения в той же мере, в какой они влияют на решения о распределении доходов и т. п. Я также полагал, что отдельные лица пользуются свободой выбора занятия и места работы только в тех рамках, которые считает возможным и необходимым установить Центральный орган, руководствуясь потребностями принятого генерального плана. Эту систему организации легче представить себе, если провести аналогию с обязательной службой в армии. Существо дела неплохо выражает лозунг: «каждому по потребностям, от каждого по способностям». Во всяком случае, достаточно лишь небольших модификаций, чтобы соответствие было обеспечено. А можно вместо этого оставить за отдельными гражданами право решать, сколько и какую именно работу они должны выполнить. Рациональное распределение рабочей силы будет тогда достигаться с помощью системы стимулирования — в этом случае премиальные надбавки должны предоставляться не только за сверхурочный труд, но и за всю работу в целом, чтобы повсеместно обеспечить соответствие предложения труда разного типа и различной степени сложности структуре потребительского спроса и принятой программе капиталовложений. Эти премиальные должны очевидным образом соотноситься с привлекательностью или непривлекательностью каждого вида работы и с необходимым для ее выполнения уровнем квалификации, т. е. с тарифными ставками заработной платы, принятыми в капиталистическом обществе. Мы вправе говорить о «рынке труда», хотя аналогии между заработной платой при капитализме и премиальной системой при социализме не следует придавать слишком большое значение. Включение в предлагаемую нами схему такого механизма, разумеется, во многом ее изменит, однако не затронет характера социалистической системы. Ее формальная рациональность станет в действительности еще более рельефной.

5. Более явным станет и то фамильное сходство между коммерческой и социалистической экономикой, которое читатель не мог не заметить с самого начала. Поскольку это сходство, по-видимому, доставляет удовольствие несоциалистам и некоторым социалистам, а других социалистов раздражает, стоит наконец ясно сформулировать, в чем оно состоит и чем обусловлено. Тогда мы убедимся, сколь малы основания и для удовольствия, и для досады. Пытаясь построить рациональную схему социалистической экономики, мы использовали механизмы и понятия, которые традиционно облекались в термины, знакомые нам по теоретическим работам, рассматривающим проблемы капиталистической экономики. Мы описали механизм, который сразу же становится понятным, стоит лишь ввести слова «рынок», «купля и продажа», «конкурирующий» и т. д. Мы как бы использовали (или с трудом удерживались от использования) такие отдающие капитализмом термины, как «цены», «издержки», «доходы» и даже «прибыли», тогда как другие — «рента», «процент», «заработная плата», а также и «деньги» — терпеливо ждали своей очереди.

Рассмотрим одну из бесспорно худших для социалистов ситуаций — наличие ренты, т. е. дохода, получаемого при производительном использовании природных факторов, скажем земли. Наша схема, разумеется, не предполагает, что всякий землевладелец получал бы земельную ренту. Тогда что же следует из наличия ренты? Всего лишь то, что всякая земля (а сверхизобилия земли в обозримом будущем не предвидится) должна экономично использоваться или рационально распределяться, так же как труд или другие производственные ресурсы. Для этого каждый участок должен получить экономическую оценку, исходя из которой будет определяться целесообразность тех или иных предлагаемых вариантов использования этой земли. Благодаря этим оценкам земля и включается в систему общественного учета. Без этого социалистическое общество было бы обречено на нерациональное хозяйствование. Но проведение такой оценки земли вовсе не содержит уступки капитализму или капиталистическому духу. Все, что есть коммерческого или капиталистического в земельной ренте — как в экономическом, так и в социологическом смысле, — и все, чему может симпатизировать защитник частной собственности (частный доход, частная собственность на землю и т. д.), здесь полностью устранено.

«Доходы», которыми мы вначале наделили граждан социалистического общества, — это не заработная плата. В действительности, если их проанализировать, то станет ясно, что этот доход — соединение принципиально разных экономических элементов, из которых лишь один мог бы быть связан с предельной производительностью труда. Премии, о которых затем шла речь, ближе к заработной плате, выплачиваемой в капиталистическом обществе. Но эти премии существуют только в бухгалтерских книгах Центрального органа, где они фигури-

руют всего лишь как коэффициенты, оценивающие труд разных видов и степеней сложности в целях рационального его распределения. Эти коэффициенты по своему содержанию не имеют в себе ничего схожего с заработной платой при капитализме. По ходу дела заметим, что поскольку мы можем по своему усмотрению выбрать название для тех единиц, в которых выражаются притязания граждан на потребительские товары, мы можем именовать их и часами труда. И поскольку общее количество этих единиц в пределах ограничений, определяемых целесообразностью, также устанавливается произвольно, мы можем приравнять их к часам фактически отработанного времени при условии сведения труда всех видов и степеней сложности к некоему стандартному труду в духе Рикардо и Маркса. Наконец, наше гипотетическое общество может взять на вооружение принцип, по которому «доходы» должны быть пропорциональны тому количеству часов стандартной работы, которая была выполнена каждым членом общества. Для осуществления этого принципа пришлось бы ввести систему трудовых чеков. Интересно, что, если не принимать в расчет технические трудности, на которых мы сейчас останавливаться не будем, система могла бы быть вполне жизнеспособной. Но, очевидно, и тогда «доходы» не станут «заработной платой». Не менее ясно также, что жизнеспособность такого механизма не может служить аргументом в пользу трудовой теории ценности.

Вряд ли есть необходимость проделывать подобную процедуру сопоставления в отношении категорий прибыли, процента, цен и издержек. Причина упомянутого фамильного сходства уже и так ясна: наш социализм ничего не заимствует у капитализма, однако сам капитализм берет многое из совершенно универсальной логики выбора. Всякое рациональное поведение непременно должно иметь определенное формальное сходство с любыми другими проявлениями рационального поведения. А в сфере экономики унифицирующее влияние рациональности как таковой особенно значительно, по крайней мере там, где дело касается экономического поведения, описываемого чистой теорией. Категории, выражающие определенную поведенческую модель, пропитываясь специфическим содержанием, связанным с некой исторической эпохой, в сознании рядового человека сохраняют приобретенный облик. Если наше изучение экономики было бы исторически связано с социалистическим обществом, то сейчас все выглядело бы так, будто при анализе капиталистических процессов мы заимствуем экономические категории социализма.

Собственно говоря, у экономистов капиталистической ориентации нет оснований особо ликовать по поводу того открытия, что социализму ничего другого не остается, как использовать механизмы и категории капитализма. Но и у социалистов столь же мало оснований отрицать это. Только самые наивные люди могут испытать разочаро-

вание, осознав, что социалистическое чудо не создает собственной логики. И только приверженцы самых грубых и примитивных разновидностей социалистического учения в самом этом факте видят угрозу, ибо для них капиталистическая экономика — дикий сумбур, где нет никакой логики и порядка. Разумные же люди, как социалисты, так и их оппоненты, в состоянии признать наличие сходства, хотя их позиции при этом ничуть не сближаются. Однако в отношении использования терминологии могут высказываться возражения: ссылаются на то, что неудобно применять термины, несущие дополнительное, но тем не менее очень существенное содержание, от которого не всякий способен эти термины отделить. К тому же нельзя не учитывать и такой вариант: можно признать вывод о наличии глубинного сходства экономической логики в социалистическом и коммерческом обществах, однако отвергнуть конкретную схему или модель, с помощью которой мы пришли к такому выводу (см. ниже).

Но и это еще не все. Некоторые экономисты — как социалистических, так и несоциалистических взглядов — не только хотели, но просто горели желанием обнаружить сильное фамильное сходство между социалистической экономикой, какой она видится в будущем, и коммерческой экономикой с совершенной конкуренцией. Есть даже школа социалистической мысли, готовая прославлять совершенную конкуренцию и отстаивать социализм на том основании, что социализм — единственный способ достижения в современном мире тех результатов, которые несет с собой совершенная конкуренция. Вполне очевидно, что такая позиция, свидетельствующая на первый взгляд об удивительной широте ума, на самом деле привлекает к себе сторонников тактическими преимуществами. Просвещенный социалист, не хуже всякого грамотного экономиста видящий слабости аргументации марксистской и других социалистических теорий, может, таким образом, признать то, что относится к той исторической стадии, которая, несомненно, осталась в прошлом (если она вообще когда-нибудь существовала). Такая позиция позволяет, проявляя благоразумие, обращать нападки только на неконкурентную экономику и со знанием дела выдвигать обвинения против современного капитализма, в частности, в том, что он сделал целью производства не удовлетворение потребностей людей, а извлечение прибыли. В отношении конкурентной экономики такого рода обвинения были бы просто нелепы. Просвещенный социалист может озадачить и смутить добропорядочных буржуа, уверяя их, что только социализм позволит осуществить их собственные давнишние чаяния и то, что проповедовали их экономические наставники. Однако аналитические преимущества, получаемые при акцентировании фамильного сходства двух типов экономики, не столь велики[8].

[8] См. гл. VIII.

Как мы уже убедились, отвлеченная концепция совершенной конкуренции, которая была сконструирована в рамках экономической теории для решения ее собственных задач, во главу угла ставит вопрос о том, могут ли отдельные фирмы, действуя самостоятельно, оказывать влияние на цены своей продукции и своих факторов производства. Если не могут — то есть если любая фирма всего лишь капля в море, и потому она вынуждена принимать цены, существующие на рынке, — тогда теоретик говорит о существовании совершенной конкуренции. Можно продемонстрировать, что в этом случае совокупным результатом пассивных реакций всех индивидуальных фирм будут такие рыночные цены и такие объемы выпускаемой продукции, которые имеют определенное формальное сходство с индексами экономической значимости и объемами производства в нашем проекте социалистической экономики. Однако во всех действительно существенных моментах — принципах образования доходов, отборе промышленных лидеров, распределении инициативы и ответственности, определении успехов и неудач — во всем, что формирует действительный облик конкурентного капитализма, представленный проект социализма — противоположность совершенной конкуренции. От совершенной конкуренции он отстоит гораздо дальше, чем от капитализма большого бизнеса.

Поэтому я не считаю, что социалистический проект можно отвергнуть на том основании, что он представляет собой заимствование из коммерциализма или что здесь социалистический запал растрачивается на какое-то неблагое дело. Мне гораздо ближе взгляды тех социалистов, кто отвергает этот проект по другим причинам. Действительно, я и сам подчеркивал, что предложенный метод создания «рынка» потребительских товаров и ориентирование производства на показатели этого рынка, в большей степени по сравнению со всеми другими (например, с методом принятия решений большинством голосов) удовлетворяет запросы каждого члена общества. Не существует института более демократичного, чем рынок, и в этом смысле наш метод обеспечит «максимальное удовлетворение». Но сам этот максимум имеет краткосрочный характер[9] и вдобавок является относительным, поскольку зависит от того, что именно в данный момент люди включают в круг своих потребностей. Только такая разновидность социализма, которая откровенно ставит во главу угла «сытость» людей («социализм бифштексов»), может сводить свою цель к достижению «максимального удовлетворения». Я не стал бы осуждать социалис-

[9] Однако это достоверно существующий максимум, и как таковой он обеспечивает экономическую рациональность данной разновидности социализма точно так же, как максимум при конкурентном механизме обеспечивает рациональность конкурентной экономики. Но и в том, и в другом случаях это не имеет большого значения.

тов, презирающих такого рода цель и мечтающих о создании для человека новых форм культуры, а возможно, и о создании человека нового типа. Если социализм действительно внушает какие-то надежды, то они находятся именно в этой области. Социалисты, придерживающиеся такой точки зрения, могут вместе с тем допускать, что их государство будет руководствоваться реально существующими вкусами граждан только в вопросах, относящихся к чисто гедонистической сфере. Но в решении всех других задач, не только в инвестиционной политике, где мы и сами условно прибегли к такому механизму, они признают необходимость Госплана. За гражданами признается право выбора между горохом и бобами. Не исключено, что им будет также предоставлена возможность выбирать между молоком и виски или покупкой лекарств и благоустройством жилища. Однако им не позволят выбирать между праздностью и посещением храмов, если последние будут сохранены в качестве того, что немцы неуклюже, но многозначительно называют объектами (или воплощением) культуры.

6. Предположим, что выбрасываем «рынки» за борт. Тогда с необходимостью возникает вопрос, должны ли последовать за ними рациональность и детерминированность. Ответ очевиден. В этом случае потребуется административный орган для оценки, т. е. определения коэффициентов значимости всех потребительских товаров. Если у административного органа есть своя система ценностей, эти индексы могли бы быть определены столь же однозначно, как у Робинзона Крузо[10]. А дальше процесс планирования может идти в основном так, как в нашей исходной схеме. Купоны, цены и условные счетные единицы, как и там, использовались бы в целях контроля и для калькуляции издержек, хотя они и утратили бы родство с располагаемым доходом и *его* единицами. Все категории, обусловленные общей логикой экономических действий, неизбежно вернулись бы на сцену.

Следовательно, любая разновидность централистского социализма может успешно взять первый барьер — обеспечить логическую определенность и последовательность социалистического планирования. Стало быть, можно сразу же перейти к рассмотрению второго препятствия — «практической неосуществимости». Сегодня, пожалуй, большинство экономистов антисоциалистического толка, признав свое поражение на ниве чистой логики, склонны оперировать именно этим аргументом. По их мнению, перед Центральным органом в нашей гипотетической системе встанет задача неразрешимой сложности[11]. Некоторые добавляют, что функционирование социалистического ме-

[10] Вероятно, по этой причине Маркс и проявлял значительный интерес к «экономике Робинзона Крузо».

[11] Этой линии придерживаются большинство теоретиков несоциалистических убеждений, признавших чисто логическое обоснование возможности социализма. Среди наиболее авторитетных экономистов назовем профессора Роббинса и фон Хайека.

ханизма возможно только при условии коренной переделки душ или поведения людей — назовите как хотите. Однако исторический опыт и здравый смысл говорят о том, что такая перестройка совершенно нереальна. Не будем принимать в расчет это второе соображение, а рассмотрим первое.

Во-первых, даже мельком взглянув на предложенное нами решение рассматриваемой теоретической проблемы, читатель не может не оценить высокую степень его операциональности. В самом деле, оно не только устанавливает логическую возможность решения, но также показывает, каким образом оно может быть реализовано на практике. Оно остается в силе, даже если мы, не прибегая ни к каким уловкам, выдвинем требование, чтобы сам производственный план составлялся ab ovo*. Иначе говоря, план не должен основываться на прошлых объемах производства и ценностях; при его разработке следует опираться лишь на сведения об имеющихся ресурсах и технологиях и на общие представления о том, какого типа люди будут обеспечивать осуществление этого плана. Более того, нельзя упускать из виду, что в нынешних условиях социалистическая экономика нуждается в громоздком бюрократическом аппарате. По крайней мере, социальные условия должны благоприятствовать его формированию и функционированию. Это одна из тех причин, которые требуют учета всего комплекса социальных и исторических факторов при обсуждении экономических проблем социализма. Речь идет сейчас не о том, каков этот административный аппарат, заслуживает или не заслуживает он всех тех пренебрежительных замечаний, которые многие из нас (да и сам я не исключение) склонны отпускать в адрес бюрократии, и в какой мере он соответствует стоящим перед ним задачам. В данном случае важно подчеркнуть другую мысль: нет оснований сомневаться, что административный аппарат, раз уж он существует, так или иначе справляется со своими задачами.

В любой нормальной ситуации он будет располагать достаточной информацией для того, чтобы с большой степенью надежности определить необходимый объем продукции во всех важнейших отраслях. Тогда все остальное можно было бы урегулировать методом «компетентных» проб и ошибок. В этом отношении нет принципиальных различий[12] между социалистической и коммерческой экономикой. Это касается и тех проблем, с которыми сталкивается теоретик, когда выясняет, каким образом экономическая система приходит к некоему

---

* С чистого листа (*лат.*)

[12] Некоторые авторы, видимо, полагают, что процесс, в результате которого достигается равновесие, может быть точно таким же, как и при совершенной конкуренции. Однако это не так. Поэтапно утрясая отдельные пункты плана в ответ на изменения цен, можно легко упустить саму цель. Вот почему, рассматривая этот вопрос, я говорил о «компетентных» пробах и ошибках.

«рациональному» или «оптимальному» состоянию (иначе говоря — к достижению условий максимума), и тех, которые приходится решать менеджерам в их практической деятельности. Если же мы с самого начала будем основываться на опыте предшествующей экономики, — что признают необходимым большинство социалистов и особенно Карл Каутский, всегда стоявший на этой позиции, — то задача, разумеется, намного упростится, в частности, при использовании опыта большого бизнеса.

Во-вторых, вновь обратясь к нашему проекту, нетрудно убедиться в следующем: проблемы, с которыми сталкивается социалистический менеджмент, не только поддаются практическому разрешению, как и аналогичные проблемы в коммерческом обществе, но при социализме решать их было бы легче. Это можно понять, вспомнив, что одна из главных сложностей управления бизнесом, поглощающая львиную долю энергии высшего руководства, связана с факторами неопределенности, которые должны приниматься в расчет при каждом решении. Среди них очень важную роль играют реакции реальных и потенциальных конкурентов компании, а также изменения общей экономической ситуации. Хотя в социалистическом обществе другие виды неопределенности, бесспорно, сохранятся, две названные, по всей вероятности, почти полностью исчезнут. Администрация социализированных отраслей и предприятий имела бы возможность доподлинно знать, как их коллеги собираются действовать, и ничто не помешало бы им достичь согласованности действий[13]. Центральный орган может и даже неизбежно будет собирать, анализировать и распространять информацию, а также координировать процесс принятия решений — во всяком случае, не в меньшей степени, чем управленческие органы всеобъемлющих картелей. Это в громадной мере снизит нагрузку на мозги управляющих. В такой системе от менеджеров не потребуется столь высокого интеллекта, как от тех, кто должен вести достаточно большой корабль по бурным волнам капиталистического моря. Этого достаточно, чтобы считать нашу теорему доказанной.

[13] Такое согласование, когда оно проводится в капиталистической экономике, означает важнейший шаг в направлении социализма. Оно в самом деле ведет к постепенному облегчению проблем переходного периода и само является признаком вступления в этот период. Бескомпромиссная борьба с этой тенденцией равносильна борьбе с социализмом.

Глава XVII

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

1. Предварительные замечания

Читатель, познакомившись с предшествующими главами, вправе ожидать теперь сравнения представленного социалистического проекта с капитализмом. Разумнее, видимо, было бы не идти навстречу ожиданиям, ибо каждый, кто не лишен начисто чувства ответственности, понимает, что сравнивать реально существующую систему с неким умозрительным построением (а ни один социалист не станет утверждать, что в России социалистическая идея нашла полное воплощение) чрезвычайно рискованно. Мы все же пойдем на этот риск, ни на миг не забывая, что, кроме мира фактов и аргументов, которые мы собираемся анализировать, существует мир личных предпочтений, убеждений и оценок, в который нам не следует погружаться. Только предельно сузив свою задачу и ясно осознав все сложности и ловушки на этом пути, можно рассчитывать на успех.

В частности, мы не будем проводить сопоставление коммерческого и социалистического общества как двух типов цивилизации. Чтобы понять тщетность подобного сравнения, достаточно вспомнить о том свойстве социализма, которое я назвал культурной недетерминированностью. Есть и другая причина, заставляющая воздержаться от такого сравнения. Даже если бы социалистический тип цивилизации был жестко связан с какой-то одной определенной моделью, то и в этом случае сравнительный анализ оставался бы проблематичным делом. Отдельные идеалисты и люди маниакального склада не склонны видеть тут сложности. К тому же они заведомо облегчают себе задачу, вычленяя для сравнения какую-то одну черту, якобы отличающую «их социализм», и игнорируя все прочие его свойства. Но если не вставать на этот путь и попытаться в меру возможностей представить ту или иную цивилизацию всесторонне и притом на всех этапах ее существования, неизбежно придешь к выводу, что каждая цивилизация — это особый мир, не соизмеримый с любым другим.

Однако в интересующей нас области сопоставительного анализа существует и такой аспект, как сравнение реальных достижений культуры с потенциальными возможностями. Нередко можно услышать утверждение, что социализм, избавив индивида от экономических забот, приведет к небывалому подъему творческих сил, прежде

уходивших на добывание хлеба насущного. В какой-то мере это так. Всякое «плановое» общество может стимулировать развитие культуры, так же как оно может в силу других причин и по другим направлениям подавлять его. Сам тезис о стимулировании вызывает возражение: высказывается мнение, что общественные власти — насколько об этом можно судить — вряд ли будут способны взять на себя ответственность за поиск и пестование талантов и что нет достаточных оснований верить, что эти власти скорее сумели бы оценить Ван Гога, чем это сделало капиталистическое общество. Но такого рода возражение неправомерно, поскольку в компетенцию общественной власти это и не должно входить. От нее требуется только одно — обеспечить, чтобы Ван Гог наряду с другими получал свой «доход» и не работал слишком много. Во всех обычных случаях этого было бы достаточно. Правда, когда речь идет о Ван Гоге, нельзя быть уверенным, что создание необходимых условий послужило бы его творческому взлету.

Более весомым представляется другое возражение. Оно связано с тем, что в области культуры, а также и в других поборники социализма склонны недооценивать, а нередко и вообще отрицать то обстоятельство, что в определенной мере социалистические идеалы уже реализованы в современном мире. Капитализм в гораздо большей степени, чем полагает большинство из нас, создает условия для реализации талантов. Есть доля истины в жесткой формуле типичного буржуа, столь раздражающей многих достойных людей: если талант не способен использовать предоставляемые ему возможности, он и не заслуживает лучшей участи. Хотя эти возможности и не таковы, как нам хотелось бы, они тем не менее, бесспорно, существуют. Современный капитализм располагает целой системой мер, призванных на самых ранних стадиях выявлять и развивать самые разные способности. Иногда сложность состоит не в поиске средств для поддержания таланта, а в том, чтобы найти талант, достойный предлагаемой поддержки. Более того, в самой природе капитализма заложено стремление продвигать одаренного индивида и в еще большей степени способную семью. Поэтому, хотя социальные потери возможны[1] (особенно это касается гениев, чьи способности граничат с патологией), их вряд ли можно считать значительными.

[1] Примеры такого рода при ближайшем рассмотрении часто оказываются надуманными либо из них делаются предвзятые выводы. Кроме того, часть этих потерь не связана с конкретным типом общественного устройства. Не во всем, что происходит при капитализме, виноват капитализм.

2. Сравнительный анализ экономической эффективности

Итак, мы не будем выходить за пределы экономической сферы, хотя, как я надеюсь, читатель понял, что для меня она отнюдь не главная.

1. Ограничения, связанные с таким решением, совершенно очевидны, но очевидны и ловушки, хотя они и наименее опасны на первом этапе анализа, где речь идет только о сопоставлении проектов. Как и прежде, отложим на время вопрос о трудностях переходного периода, ибо это отдельная тема. И допустим, что все они были успешно преодолены. Если принять нашу логику доказательства возможности и жизнеспособности социалистической схемы, достаточно было бы даже беглого рассмотрения результатов действия такой системы, чтобы увидеть веские основания в пользу вывода о ее преимуществах в экономической эффективности.

Необходимо доказать, что такое превосходство существует по отношению к капитализму большого бизнеса, или «монополистическому» капитализму, ибо, как явствует из нашего анализа в гл. VIII, в отношении «конкурентного» капитализма этот вывод будет тем более правомерен. Многие экономисты, пользуясь тем, что в отрыве от реальности легко строить любые самые лестные домыслы о конкурентном капитализме, выработали привычку восхвалять его в противовес последующей «монополистической» стадии. Еще раз подчеркну, что даже если бы все эти панегирики были вполне оправданы, — а это не так, — и если бы теоретическая модель совершенной конкуренции когда-либо была реализована в сфере промышленности и транспорта, — чего никогда не было, — и, наконец, если были бы справедливы все обвинения в адрес большого бизнеса, — а они далеки от действительного положения дел, — то и в этом случае нельзя было бы отрицать большую реальную эффективность капиталистического производства в эпоху крупномасштабного производства по сравнению с предшествующей стадией мелких и средних предприятий. Это статистически установленный факт. Но, обратившись к его теоретическому объяснению, мы сможем также осознать, что растущие размеры компаний и разработка ими стратегий деловой активности — это не только неизбежное следствие, но в значительной мере также и предпосылка роста эффективности, фиксируемого статистикой. Иначе говоря, технологические и организационные возможности, действующие в условиях, близких к условиям совершенной конкуренции, никогда не позволили бы достичь столь же высоких результатов. Следовательно, вопрос о том, как функционировал бы современный капитализм в условиях совершенной конкуренции, бессмыслен. А значит, независимо от того

факта, что социализм является наследником «монополистического», а не конкурентного капитализма, нам не стоит уделять последнему слишком большое внимание.

Сведем экономическую эффективность системы к эффективности производства, хотя и ее не так-то легко вычленить. Разумеется, сравнение функционирования двух систем правомерно только применительно к конкретному моменту времени — идет ли речь о прошлом, настоящем или будущем[2]. Но это еще не все, ибо вопрос не в том, как социалистический менеджмент мог бы вообще безотносительно к данному моменту времени распорядиться существующим в этот период капиталистическим производственным аппаратом. Это нас интересует ненамного больше, чем вопрос об использовании некоего запаса потребительских товаров, попавшего в руки социалистического руководства. Интересно другое: каким будет или каким был бы производственный аппарат, если бы он создавался не в условиях капитализма, а при социалистическом управлении. Массив информации о наших реальных или потенциальных производственных ресурсах, накопленный за последние 20 лет, при всей его ценности не может сколько-нибудь существенно помочь в решении нашей задачи. Нам остается представить наиболее полно различия в механизмах функционирования социалистической и коммерческой экономики и постараться определить значимость этих различий.

Условимся, что на момент сравнения двух систем демографические условия — численность населения, его качественные характеристики, вкусы и возрастная структура — одинаковы в обеих системах. В таком случае мы будем считать сравнительно более эффективной ту систему, в отношении которой есть основания полагать, что в *долговременном аспекте* она произведет больший объем потребительских благ в единицу времени[3].

---

[2] Это правило при всей его очевидности часто не соблюдается. Так, экономику сегодняшнего Советского Союза нередко сравнивают с экономикой царской России накануне Первой мировой войны, хотя четверть века, прошедшие с тех пор, делают такое сравнение бессмысленным. Единственное, что, возможно, имеет смысл, это сопоставление с экстраполированной кривой, построенной, например, на основе данных за 1890—1924 гг.

[3] Поскольку потоки реального дохода при капитализме и социализме в определенной мере складываются из различных товаров, а общие для обеих систем товары включаются в разных пропорциях, без дополнительных гипотез об изменениях и структуре имеющихся доходов невозможно оценить значимость этих различий. В этой связи возникают достаточно сложные теоретические вопросы. Где поток реальных доходов больше, если в капиталистической системе произведено больше вина и меньше хлеба, чем в социалистической? При попытке ответить на этот вопрос мы сталкиваемся с теми же трудностями, что и при сопоставлении потока доходов за текущий и следующий годы в рамках одной и той же социальной системы (как при определении любого индекса общего объема производства), только при сопоставлении разных систем эти трудности многократно возрастают. Для нашей задачи, если брать именно теоретическую сторону дела, может оказаться приемлемым следующий критерий: поток доходов будет считаться больше, чем другой, если (и только если) его общая денежная оценка выше, ▶

2. Это определение эффективности нуждается в комментарии. Как мы увидим, оно не отождествляет экономическую эффективность с экономическим благосостоянием или с той или иной степенью удовлетворения потребностей. Даже если бы *любая* мыслимая социалистическая экономика была заведомо менее эффективной (в нашем понимании этого термина), чем любая возможная коммерческая, большинство людей — а по сути, все, о ком обычно пекутся социалисты, — могли бы все же быть «обеспеченнее», «счастливее» или «довольнее» при социализме. Я прежде всего считаю нужным отметить, что относительная эффективность — это самостоятельный фактор, который никогда, даже в подобных случаях, не утрачивает своей важной роли. Кроме того, я не считаю, что мы много теряем, когда не учитываем эти факторы. Необходимо, видимо, сделать пояснение к этому весьма спорному утверждению.

Во-первых, истинный социалист получает удовлетворение уже от одного того факта, что живет в социалистическом обществе[4]. Для таких людей социалистический хлеб всегда слаще капиталистического просто потому, что он социалистический, даже если он подпорчен мышами. А если к тому же сложившаяся конкретная социалистическая система отвечает моральным требованиям, предъявляемым к ней, — как, к примеру, эгалитарный социализм отвечал бы моральным принципам, разделяемым многими социалистами, — сам этот факт и связанное с ним удовлетворение чувства справедливости, бесспорно, фигурировали бы в списке достоинств, позволяющих социализму претендовать на превосходство. Моральная преданность играет весьма существенную роль в функционировании социалистической системы и даже в обеспечении ее эффективности (как мы ее понимаем), о чем речь пойдет позже. Но независимо ни от чего нам всем стоило бы признать, что в наших рассуждениях по поводу справедливости и т. п. все

Продолжение сноски со стр. 577.

независимо от того, в какой ценовой системе оба эти потока оцениваются. Если один поток имеет бóльшую суммарную величину в капиталистической системе цен и в то же время меньшую величину в социалистической системе цен, можно считать, что оба потока равны, как если бы они имели одинаковую величину в обеих ценовых системах. Иначе говоря, можно считать, что различия между обеими величинами в этом случае не очень значительны. Предложенное определение, разумеется, не дает решения *статистической* проблемы, поскольку мы не имеем возможности оценить оба эти потока одновременно.

Мотивы, по которым слова «*в долговременном аспекте*» выделены курсивом, были разъяснены в гл. VII.

[4] Порой мы слышим, что не стоит уделять большого внимания явным недостаткам социалистического планирования. Главное — это возможность стать гражданами социалистического общества. Этот довод, откровенно выражающий истинно социалистические чувства, вовсе не такой уж неразумный, каким он может показаться. Во всяком случае, он делает излишней всю прочую аргументацию.

в основном сводится к тому, нравится нам или нет какая-либо конкретная форма общества.

Однако существует и чисто экономический аргумент в пользу эгалитарного или любого иного социализма, чья структура предполагает более высокую степень равенства доходов. По крайней мере те экономисты, которые с легким сердцем признают возможность количественной оценки степени удовлетворения потребностей, а также сравнения и суммирования удовлетворения, получаемого разными людьми, имеют право утверждать, что если данный запас или поток потребительских товаров будет распределяться поровну, то в целом это обеспечит максимальное удовлетворение потребностей. Следовательно, эгалитарная система при том же уровне эффективности, что и в коммерческой системе, позволит достичь более высокого уровня благосостояния. Это возможно даже и при несколько меньшей эффективности. Большинство современных теоретиков отвергли бы такого рода допущения на том основании, что степень удовлетворения потребностей нельзя измерить, а сравнение и суммирование удовлетворенности различных индивидов лишено смысла. Но можно обойтись и без этих доводов. Аргументы сторонников уравнительности легко отмести, если вспомнить проведенный нами анализ монополистической практики: не существует отдельной проблемы распределения имеющегося количества товаров, не связанной с определенной системой распределения доходов. Доходы в форме заработной платы в коммерческом обществе, допускающем неограниченное неравенство, вполне могут быть выше, чем они были бы в условиях эгалитарного социализма, где обеспечивается равенство доходов. До тех пор, пока нет достаточных оснований считать, что социалистическое производство по своей эффективности будет хотя бы приближаться к коммерческому (к какому бы моменту времени в прошлом, настоящем или будущем ни относилось сравнение), ссылка на эгалитарное распределение не может иметь решающего значения. Даже если мы и решим принять ее во внимание, это само по себе потребует новых разъяснений[5]. Как только вопрос об эффективности производства будет решен, аргумент, связанный с распределением, отпадет. Если ссылка на распределение не будет всецело подчинена утверждению морального идеала, она может сыграть определенную роль — в основном там, где дело касается спорных случаев.

[5] Этот отвергнутый нами аргумент может быть сформулирован и в таком виде: при прочих равных условиях социалистический максимум выше, чем максимум в конкурентной экономике. Но поскольку сама природа обоих этих максимумов сугубо формальна, сравнение их не имеет смысла, что с очевидностью следует из предшествующих рассуждений.

3. Есть и другая причина, по которой при одинаковой эффективности производства уровни благосостояния могут быть различны. Большинство социалистов уверены, что при одном и том же национальном доходе социалистическое общество будет богаче капиталистического, ибо сумеет использовать доход более экономно. Эта экономия обусловлена тем, что определенные типы общества благодаря особенностям своей организации могут быть индифферентны или враждебны тем целям, на которые другие типы общества, опять-таки в силу своей организации, расходуют значительные средства. Например, пацифистский социализм может сэкономить на вооружении, атеистический — на церквях, а потому и тот, и другой в состоянии построить больше больниц. Это, бесспорно, так. Но поскольку здесь необходимы оценки, которые нельзя с уверенностью отнести к социализму в целом, а только к конкретным его разновидностям, то мы не будем на этом останавливаться.

Практически любое социалистическое общество — за исключением платоновского варианта — наверняка сможет реализовать еще один тип экономии, а именно экономию за счет устранения праздного класса, «праздных богачей». С точки зрения социалистов, вполне допустимо пренебречь потребностями индивидов, относящихся к этой группе, а ее культурные функции считать равными нулю. (Цивилизованные социалисты всегда умудряются сохранить лицо, делая оговорку, что так дело обстоит только в сегодняшнем мире.) За счет этого, конечно, социалистический строй может получить чистый выигрыш. Какую погрешность мы допускаем, игнорируя этот фактор экономии при оценке эффективности?

Конечно, при современной системе налогообложения доходов и наследства проблема праздного класса быстро теряет прежнюю количественную значимость даже независимо от методов фискальной политики, применяющихся для финансирования нынешней войны. Сама эта система налогообложения является выражением антикапиталистического подхода и, возможно, предвестником полного устранения групп населения с типично капиталистическими формами дохода. Поэтому следует рассмотреть данный вопрос на примере капиталистического общества, чьи экономические корни еще не затронуты. Применительно к Соединенным Штатам представляется целесообразным проанализировать данные за 1929 г.[6].

Будем считать богатыми людьми тех, чей годовой доход составляет 50 тыс. долл. и более. В 1929 г. они получили около 13 млрд. из общей

[6] Соединенные Штаты — наиболее подходящая для подобного анализа страна. В большинстве европейских государств дело усложнялось — по крайней мере в XIX в. и вплоть до Первой мировой войны — наличием высоких доходов, сложившихся в докапиталистический период и увеличившихся в процессе капиталистической эволюции.

суммы национального дохода примерно в 93 млрд.[7]. Из этих 13 млрд. следует вычесть налоги, сбережения и пожертвования на общественные цели, ибо для социалистического строя устранение этих статей дохода не составит экономии; «сэкономлены» в буквальном смысле слова будут только расходы богатых людей на их собственное потребление[8]. Эти расходы нельзя оценить сколько-нибудь точно. Остается лишь надеяться, что мы не ошиблись в порядке величин. Поскольку большинство экономистов, рискующих заниматься такими расчетами, полагают, что подобные расходы не превышают одной трети от 13 млрд., следовательно, они составляют заведомо не более 4,3 млрд., или около 4,6% национального дохода. Эти 4,6% включают все потребительские расходы социальных групп, относящихся к большому бизнесу и высшим профессиональным слоям, так что праздные богачи поглощают не более 1—2%. К тому же в той мере, в какой семейные мотивы сохраняют свое значение, и эта часть национального дохода может оказывать воздействие, благоприятствующее эффективности экономического механизма.

Некоторые читатели, без сомнения, решат, что нижняя граница в 50 тыс. долл. неоправданно высока. Вполне очевидно, что можно сэкономить еще больше, элиминируя или значительно сокращая доходы тех людей, кто, будучи богатым или бедным, с экономической точки зрения является праздным[9]. Кто-то может подумать, что можно достичь и еще более существенной экономии — стоит лишь рационализировать распределение всех наиболее высоких доходов, приведя их в соответствие с результатами труда. Однако, как будет показано в следующем разделе, надеждам, питаемым на этот счет, вряд ли суждено сбыться.

---

[7] См.: Moulton H.G., Levin M. Warburton C.A. America's Capacity to Consume (1934). P. 206.

Эти цифры, разумеется, весьма приблизительны. Они включают доход от профессиональной деятельности и вложений в ценные бумаги, а также от продажи собственности и условно начисленные доходы от владения домами.

[8] Как мы убедимся ниже, тот факт, что социалистическая администрация, вероятно, будет использовать эти сбережения и пожертвования для иных целей, не влияет на нашу аргументацию.

[9] Нужно, однако, отметить, что доход, состоящий исключительно из прибыли на инвестированный капитал, вовсе не свидетельствует об экономической праздности его получателя, так как в инвестициях может воплощаться его труд. Хрестоматийным примером, а также поводом для затяжного спора служит следующая ситуация: предположим, что человек собственными руками обработал кусок земли. Доход, получаемый им впоследствии, — это «доход от средства производства, сделанного человеком», или, в экономических терминах, «квазирента». Если улучшение земли происходит постоянно, то этот доход становится неотличим от собственно земельной ренты и, стало быть, выглядит воплощением нетрудового дохода, хотя в действительности он не что иное, как форма заработной платы, если мы определяем ее как доход, зависящий от собственного производительного труда. Обобщая, можно сказать, что для обеспечения доходов, которые могут, хотя и не обязательно, принимать форму заработной платы, надо прилагать усилия.

Впрочем, я не собираюсь настаивать на своем, так как если читатель склонен придавать подобной экономии большее значение, чем она, на мой взгляд, заслуживает, то выводы, к которым мы придем, окажутся тем более справедливыми.

3. Обоснование преимуществ социалистического проекта

Итак, используемый нами критерий для определения превосходства или неполноценности системы оказывается более существенным, нежели может показаться. Каковы же исходящие из него аргументы в пользу того социалистического проекта, о котором я говорил прежде?

Читатель, внимательно ознакомившийся с анализом, проведенным в гл. VIII, вполне может недоумевать. Большинство аргументов, обычно выдвигаемых в поддержку социалистического строя и против капиталистического, как мы убедились, отпадают, как только в расчет берутся условия, создаваемые для бизнеса быстрым экономическим прогрессом. Некоторые из этих аргументов при ближайшем рассмотрении играют на руку противоположной стороне. Многое из того, что рассматривалось как патологическое, на поверку оказывается физиологически необходимым для выполнения важных функций в процессе творческого разрушения. Многое из того, что предстает как расточительство, сопровождается эффектами, которые иногда полностью, а порой частично нейтрализуют потери. Социально иррациональное распределение ресурсов отнюдь не столь распространено и не столь значительно, как это нередко представляют. Более того, оно весьма вероятно в социалистической экономике. Наличие избыточных производственных мощностей, до известной степени неизбежное и в социалистической экономике, часто можно интерпретировать так, что это снимет всякую критику. И даже непреодолимые пороки можно в конечном счете изобразить как мелкие частности, сопутствующие достижению столь великому, что на его фоне меркнут любые недостатки.

Ответ на наш вопрос вытекает из последнего пункта предыдущей главы. Пока капиталистическая эволюция в полном разгаре, этот ответ вызывает сомнения. Окончательный характер он приобретает, когда эта эволюция начнет *постоянно* замедляться по причинам либо внутренним, либо внешним по отношению к ее экономическому механизму.

В ряде отраслей капиталистической промышленности могут сложиться условия, когда равновесные цены и объем производства становятся теоретически неопределенными. Так может быть, хотя и не обязательно, при олигополии. В социалистической же экономике все однозначно детерминировано, если исключить из рассмотрения частные

случаи, не имеющие практического значения. Но даже если теоретически детерминированное состояние в капиталистической экономике существует, практическое его достижение будет сопряжено с гораздо большими трудностями и затратами, чем это было бы при социализме. В первом случае требуются бесчисленные ходы и контрходы, сами решения приходится принимать в атмосфере неопределенности, сдерживающей рискованные действия. В социалистической экономике такого рода стратегия и такая неопределенность не будут иметь места. Все, о чем говорилось выше, относится не только к «монополистическому» капитализму, но в еще большей степени, хотя и по иным причинам, к конкурентным разновидностям капитализма. Это было продемонстрировано на примере «свиного цикла»[10], а также в связи с поведением ряда отраслей промышленности, более или менее отвечающим критерию совершенной конкуренции, в периоды общих циклических спадов или отраслевых кризисов.

Все это более значительно, чем может показаться на первый взгляд. Равновесные решения проблем производства рациональны или оптимальны при заданных обстоятельствах, и, все, что скорее, проще и безопаснее позволяет прийти к ним, означает экономию человеческой энергии и материальных ресурсов, снижение общих издержек, с которыми сопряжено достижение конечного результата. Если сэкономленные в ходе его достижения ресурсы не будут полностью растранжирены, эффективность в нашем понимании должна неизбежно возрасти.

При рассмотрении под этим углом зрения часть тех распространенных обвинений в адрес капиталистической системы, о которых упоминалось выше, получает веское обоснование. Возьмем, к примеру, избыточные мощности. Неверно, что при социализме их не будет вовсе. Для Центрального органа было бы нелепо настаивать на полной загрузке новой железной дороги, проложенной в еще не освоенном регионе. Ошибочно также утверждение, что существование избыточных мощностей непременно связано с потерями. Однако есть и такие формы избыточных мощностей, которые действительно сопряжены с потерями, и с помощью социалистического управления их можно избежать. Это прежде всего относится к резервным мощностям, нацеленным на экономическую войну. Независимо от того, насколько важен этот частный вопрос, — сам я не склонен преувеличивать его значимость, — он позволяет еще раз подчеркнуть мою мысль о том, что капиталистическая система в процессе своей эволюции порождает явления, которые для этой системы совершенно рациональны и даже необходимы, а поэтому их неправомерно относить к порокам капитализма. Их также не стоит считать «изъянами», присущими «монопо-

[10] См. гл. VIII.

листическому» капитализму по сравнению с капитализмом свободной конкуренции — надо учесть, что без этого невозможны были бы достижения монополистического капитализма, недоступные конкурентному. Но даже если все так и обстоит, применительно к социалистическому проекту эти достижения могут расцениваться как слабости.

Это касается прежде всего большинства явлений, составляющих механизм торгово-промышленных циклов. Капиталистическое предприятие имеет свои регуляторы, и некоторые из них могут быть использованы при социализме в деятельности Министерства производства. Однако планирование прогресса, в частности, систематически координируемое и последовательное внедрение новшеств во всех сферах экономики позволят куда более успешно предотвращать резкие подъемы и спады производства, чем автоматические или направляемые изменения ставки процента или предложения кредита. Действительно, регулирующий механизм в рамках социалистической системы устраняет сами причины циклических взлетов и падений производства, в то время как при капитализме он может лишь смягчить эти явления. Так, процесс избавления от устаревшего оборудования, который при капитализме — а при конкурентном особенно — сопряжен с временным параличом и потерями, в какой-то части неоправданными, происходил бы при социализме проще. Это вполне укладывалось бы в рамки обиходных представлений о том, как надо «избавляться от старья»: на основе комплексного плана заранее предусматриваются иные способы использования полезных фрагментов устаревших предприятий или элементов оборудования. Вот конкретный пример: при капитализме кризис, начавшийся в текстильной промышленности, способен привести к прекращению жилищного строительства. Конечно, и при социализме производство текстильных изделий может подвергнуться кратковременному резкому сокращению, хотя это и маловероятно. Однако это будет основанием для увеличения, а не для сокращения строительства жилья.

Каковы бы ни были экономические цели тех, кто стоит у власти и способен претворять в жизнь свои намерения, социалистическое управление может привести к их достижению с меньшими трудностями и потерями и без тех неминуемых издержек, с которыми сопряжены попытки планировать прогресс при капиталистических институтах. Одна из причин состоит в том, что социалистический менеджмент сможет придерживаться курса, более или менее адекватно отражающего долговременную траекторию производства в соответствующих отраслях. Тенденция, проявляющаяся в нынешней политике большого бизнеса, получит дальнейшее развитие. Суть всей нашей аргументации сводится к следующему: социализация означает следующий шаг вперед по пути, намеченному большим бизнесом. Другими словами, соци-

алистическое управление может по своему уровню настолько же превзойти капитализм большого бизнеса, насколько последний превзошел капитализм эпохи свободной конкуренции, прототипом которого служит английская промышленность прошлого столетия. Вполне возможно, что последующие поколения будут воспринимать соображения по поводу изъянов социалистического планирования так же, как мы воспринимаем низкую оценку Адамом Смитом акционерных компаний. (Кстати, и в том, и в другом случаях мы не имеем дело со сплошным заблуждением.)

Разумеется, все, о чем до сих пор шла речь, относится исключительно к логике проектов, т. е. к «объективным» потенциям, реализовать которые на практике социализм, возможно, и не сумеет. Если ограничиться сферой логики, то придется признать, что социалистический проект в его абстрактном изложении воплощает в себе более высокий уровень рациональности. Такое утверждение, думается, вполне оправдано. Дело тут не в противопоставлении рационального нерациональному. Фермер, чья реакция на цены свинины и кормов проявляется в «свином цикле», действует вполне рационально, руководствуясь собственными интересами и сообразуясь с конкретными условиями. Столь же рационально поступает и руководство концерна, прибегая в условиях олигополии к тактическому маневрированию. Фирма, повышающая свою активность в периоды бума и сокращающая во время спадов, также ведет себя рационально. Весь вопрос в характере и степени этой рациональности.

Конечно, это далеко не все, что может быть сказано о социалистическом проекте. Но, рассматривая социалистическую экономику в чисто логическом аспекте, мы в своей аргументации, касающейся преимуществ социализма, охватили по сути все, что заслуживает внимания.

Возьмем, к примеру, проблему безработицы, имеющую первостепенное значение. Что касается самих безработных, то, как было показано во второй части, в развитом капиталистическом обществе, где созданы возможности успешной социализации, видимо, будет делаться достаточно для защиты их интересов. Однако если рассматривать безработицу под углом зрения потерь для общества, то из предшествующих рассуждений следует, что в социалистическом обществе масштабы безработицы будут меньше главным образом благодаря устранению периодов экономического спада. Когда она, тем не менее, возникает — в основном в результате внедрения технологических новшеств, — Министерство производства будет иметь возможность (сейчас не имеет значения, в какой мере оно воспользуется ею) перераспределять людей, предоставляя им другие рабочие места, которые при адекватном планировании должны быть заранее предусмотрены.

Отметим еще одно, пусть и не столь значительное, преимущество, обусловленное более высокой рациональностью социалистической экономики. При капитализме усовершенствования — это, как правило, предмет заботы и результат усилий отдельных лиц. Чтобы распространить эти усовершенствования, требуется затратить время и преодолеть сопротивление. В условиях, когда темпы экономического роста высоки, обычно имеется немало фирм, которые пользуются старыми технологиями или по другим причинам имеют эффективность ниже среднего уровня. В социалистической экономике каждое усовершенствование теоретически могло бы распространяться посредством распоряжения, и низкая эффективность могла бы быть быстро преодолена. Я не придаю слишком большого значения этому преимуществу, поскольку и капитализм, как правило, достаточно успешно справляется с проблемой неэффективных предприятий. Другой вопрос, способна ли бюрократия реализовать само это преимущество, независимо от степени его важности. Не приходится сомневаться, что профессиональная бюрократия может обеспечить условия, при которых функционирование ее составных частей соответствовало бы *ее* стандартам. Но это еще ничего не говорит о том, каковы сами стандарты. При рассмотрении этих проблем надо постоянно иметь в виду, что потенциальные преимущества на деле могут обернуться изъянами.

Как правило, каждый менеджер или владелец — управляющий мелкого и среднего предприятия — это прежде всего инженер, либо торговец, либо организатор. Редко кому удается, даже если это способные люди, совмещать все ипостаси с равным успехом. Как свидетельствуют эксперты по вопросам эффективности, даже в процветающих компаниях управление по тем или иным направлениям их деятельности нередко ведется посредственно, и приходится прибегать к частичной замене руководящего персонала. Социалистическая экономика позволила бы людям, как это и делается в современной системе большого бизнеса, полнее проявить свои возможности и заниматься только тем делом, в котором они действительно специалисты. Но по известным причинам, на которых мы сейчас останавливаться не будем, тешить себя особыми надеждами на этот счет не приходится.

Существует, однако, и еще одно весьма серьезное преимущество, которое остается в тени при изложении социалистического проекта. Важнейшая черта коммерческого общества — это разграничение между частным и государственным секторами, или, если угодно, тот факт, что в коммерческом обществе частная сфера деятельности вбирает в себя гораздо больше, чем ей отводится в феодальном или социалистическом обществе. Частный сектор отделен от общественного не только концептуально, но и в реальной действительности. В значительной степени в этих двух сферах заняты разные люди (явное исключение

составляет история местного самоуправления). Принципы их организации и управления также не только не совпадают, но сплошь и рядом противостоят друг другу, что является следствием различных и зачастую несовместимых стандартов, принятых в этих сферах.

Все это приводит к почти постоянным экономическим трениям. Только в силу привычки мы перестали удивляться парадоксальности подобной ситуации. На самом деле экономические трения имели место еще задолго до того, как они переросли в антагонизм в результате все большего распространения общественной сферы за счет частной. Сам этот антагонизм сопровождается борьбой. По большей части активность государства в сфере экономики предстает, по выражению одного старого буржуазного теоретика, как государственное *вмешательство*. Это действительно вмешательство, какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово, и прежде всего потому, что деятельность государства затрудняет и парализует механизм частного производства. Нередко предпринимаемые государством меры оказываются успешными, они даже могут способствовать повышению эффективности производства. Но, добиваясь успеха, центральная власть получает еще более широкие возможности для вмешательства. В социалистической же экономике издержек и потерь, связанных с этой борьбой, можно полностью избежать. А это значительные потери, особенно если принять во внимание все, что связано с бесконечными расследованиями и судебными процессами, а также их деморализующим воздействием на предпринимательскую энергию, эту движущую силу бизнеса.

Об одном компоненте этих издержек следует сказать особо. Я имею в виду поглощение человеческих способностей такими формами деятельности, которые носят всецело защитительный характер. Так, значительная часть всей выполняемой юристами работы обусловлена борьбой бизнеса с государством и его органами. Назовем ли мы такого рода деятельность злостным противодействием общему благу или защитой общего блага против злостной обструкции, — это не меняет дела. Важно, что в социалистическом обществе не будет ни необходимости, ни возможности для подобной юридической деятельности. Выигрыш здесь не просто за счет экономии на оплате труда юристов. Это-то как раз мелочь. Существенны социальные потери, порождаемые непродуктивным использованием значительного числа блестящих специалистов. Если учесть, сколь редки такие незаурядные умы, нетрудно понять, что иное их использование могло бы иметь немаловажное значение.

Антагонизм между частной и общественной сферами получил первоначальный толчок еще в тот период, когда феодальные доходы государей утратили главенствующую роль и государство стало жить на доход, создававшийся в частной сфере и предназначавшийся для частных целей. Посредством политической силы его надо было изъять из

частного использования[11]. С одной стороны, налоговая система — это важнейшая черта коммерческого общества или, если принять ту трактовку государства, о которой шла речь в первой главе, — неотъемлемый атрибут самого государства. С другой стороны, налогообложение почти неизбежно[12] отрицательно сказывается на производственном процессе. Примерно до 1914 г. — если мы решим ограничиться только нашим временем — этот отрицательный эффект был ограниченным. Однако с тех пор налоги выросли на порядок и постепенно превратились в основную статью расходов семей и фирм. Они стали также основным фактором, на который ссылаются, когда нужно объяснить причину неудовлетворительного состояния экономики. Кроме того, для насильственного изъятия все возрастающих налоговых сумм потребовалось создать огромный административный аппарат. Его единственная функция — бороться с буржуазией за каждый доллар ее дохода. В качестве ответной реакции возникла система обороны и в широких масштабах стала осуществляться самозащита.

Издержки, проистекающие из конфликта двух сфер общественного организма, действующих на основе собственных принципов, — это наиболее наглядное проявление расточительства. Все жизнеобеспечение в условиях современного капитализма построено на принципе извлечения прибыли, тем не менее ему не позволяют главенствовать. В социалистическом обществе не существовало бы такого конфликта и связанной с ним растраты ресурсов. Поскольку общество будет осуществлять контроль над всеми источниками доходов, налоги перестанут существовать и исчезнут вместе с государством или — если моя концепция об исчезновении государства при социализме не получит подтверждения — вместе с буржуазным государством. Если бы Центральный орган, выплатив доходы, стал бы затем преследовать получателей, чтобы вернуть часть выплаченного, это было бы с точки зрения здравого смысла полной нелепостью. Радикалы, увлекшиеся травлей буржуазии, не видят в налоговой системе иных недостатков, кроме одного — по их мнению, налоги слишком низкие. Будь у них более трезвый взгляд на проблему налогообложения, они прежде всего должны были бы увидеть, что здесь мы имеем один из наиболее веских аргументов в пользу превосходства социалистического проекта.

---

[11] Существование теории, проводящей аналогию между налогами и членскими взносами в клуб или, скажем, оплатой услуг врача, свидетельствует лишь о том, насколько далека эта область обществоведения от научного подхода.

[12] Существующие исключения не имеют практического значения.

Глава XVIII
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Предупреждение

Вполне вероятно, многие противники социализма согласятся с тем выводом, к которому мы пришли, однако сделают определенную оговорку. «Да, конечно, — скажут они, — если управлять социалистическим обществом будут полубоги, а населять его — архангелы, то, возможно, все пойдет в соответствии с вашей схемой. Но беда-то в том, что в вашем распоряжении не небесные создания, а простые смертные. А значит, капитализм с его системами мотиваций, разделения ответственности и вознаграждений — это лучшая если и не из всех мыслимых, то, во всяком случае, из всех практически осуществимых альтернатив».

Тут есть что возразить. С одной стороны, нельзя забывать обо всех опасностях, подстерегающих нас при любых попытках сравнения имеющейся реальности и *идеи*, а также об ошибках и ловушках, таящихся в сопоставлении реальности и *идеала*[1]. С другой стороны, — хотя я и прежде старался донести мысль о неправомерности рассуждений о социализме вообще, подчеркивая, что речь может идти только о тех или иных формах социализма как отражении определенных социальных условий и достигнутой исторической стадии развития, — теперь, когда дело касается уже не проектов, а реальных проблем, конкретные условия выходят на первый план.

---

[1] Любые идея, схема, модель, чертеж тоже воплощают в себе идеал, но только в логическом смысле: такой идеал означает лишь отбрасывание всего несущественного, представление, так сказать, проекта в чистом виде. Конечно, это не снимает дискуссий по вопросу о том, что именно считать сутью, а что — отклонением от нее. Хоть, по идее, это дело аналитической техники, любовь и ненависть все же здесь играют свою роль: социалисты склонны приписывать капиталистической модели как можно больше черт, умаляющих ее достоинства; противники социализма проделывают то же самое с социалистической схемой. Каждая сторона стремится приукрасить «свою» модель, изображая большинство ее «изъянов» как несущественные и, следовательно, потенциально устранимые отклонения. Даже если они единодушно относят те или иные явления к отклонениям от нормы, они могут продолжать спор по поводу того, насколько характерны эти отклонения для каждой из систем. Так, буржуазные экономисты обычно связывают все негативные, с их точки зрения, черты капитализма с «политическим вмешательством». С другой стороны, социалисты считают экономическую политику государства закономерным итогом исторической эволюции и необходимым условием функционирования капиталистической экономики. Я вполне сознаю сложности, связанные с противостоянием позиций, и все же думаю, что они не отразятся на моем изложении. Читатель-профессионал сможет убедиться, что оно построено с таким расчетом, чтобы их избежать.

1. Историческая относительность всякой аргументации

Прибегнем к аналогии. В феодальном обществе многое из того, что сейчас мы, в том числе и самые рьяные приверженцы частной собственности, считаем исключительной прерогативой государственного управления, управлялось с помощью специфического механизма: на наш взгляд, дело обстояло так, как будто эти общественные функции были превращены в объект частной собственности и стали источником частного дохода. Каждый рыцарь и феодал в иерархии вассальных отношений держал свое поместье ради прибыли, а вовсе не потому, что ему платили за *управление им*. То, что сейчас стали именовать общественными функциями, связанными с управлением, было не чем иным, как вознаграждением за услуги, предоставляемые сеньору, занимающему более высокую ступеньку в иерархии. Но и это не в полной мере отражает положение дел: рыцарь или лорд владели своими поместьями независимо от того, что они делали или чего не делали, им было просто положено владеть. Люди, лишенные чувства историзма, могут воспринять такую систему как сплошные «злоупотребления». Но это совершенно нелепый взгляд. В тех исторических условиях — а, как и любая институциональная система, феодализм полностью не исчез с окончанием «собственно феодальной» эпохи — подобный механизм был единственно возможным способом осуществления функций общественного управления. Появись Карл Маркс, скажем, в XIV в. и начни он безрассудно отстаивать другую систему общественного управления, его можно было бы убедить, что существовавшая система достойна восхищения, поскольку она позволяет решать такие вопросы, которые без нее вообще не могли бы быть решены. Главное же состоит в том, что в силу особенностей человеческой природы как таковой мотив прибыли был необходимым условием функционирования системы общественного управления. Устранение этого стимула на практике привело бы к хаосу, а само предложение отказаться от заинтересованности в прибыли воспринималось бы как полный отрыв от реальной жизни.

Точно так же во времена, когда высшим достижением капиталистической экономики была английская текстильная фабрика, т. е. примерно до 1850 г., социализм не был реальной альтернативой. Ни тогда, ни сейчас ни один разумный приверженец социализма не стал бы доказывать обратное. В те времена доморощенные рассказы о том, как под взглядом хозяина скот набирает вес, песок превращается в золото, гусыня начинает нести золотые яйца, воспринимались тугодумами и простаками как неопровержимая истина. В этой связи я хочу заявить социалистам, что существует более эффективный способ полемики с ними, нежели высмеивание. Сами социалисты используют этот метод в расчете на то, что оппонент, такой же тщеславный и обидчи-

вый интеллектуал, как они сами, перестанет возражать, как только почувствует, что может стать объектом насмешек. Признаем лучше, что простаки, рассказывавшие о чудесах, были по-своему правы в тех исторических обстоятельствах, и вернемся в наше время, чтобы обратиться к вопросу, непосредственно нас интересующему: выясним, насколько обоснованы эти предрассудки сегодня, и выскажем наши возражения по этому поводу.

Поскольку нам предстоит рассмотреть капитализм как конкретную систему общественного устройства, — если сравнение капиталистической действительности с социалистической возможностью вообще имеет смысл, — возьмем в качестве примера капитализм нынешней эпохи, капитализм большого бизнеса, или, так сказать, капитализм, находящийся *«в оковах»*. Сделаем несколько оговорок. Во-первых, выбрав эпоху и модель капитализма, мы не определяем конкретного временно́го интервала, даже определенного десятилетия, ибо вопрос о том, насколько характерные особенности капитализма этого типа успели сформироваться и закрепиться к данному моменту, скажем к сегодняшнему дню, нуждается в изучении с использованием фактического материала. Во-вторых, отметим, что для нашей аргументации в этом случае не важно, порождены ли эти оковы, какими бы они ни были, самим процессом капиталистической эволюции либо навязаны неким органом, внешним по отношению к капиталистическому механизму. В-третьих, следует подчеркнуть, что, хотя теперь мы перейдем к проблемам более практического свойства — а именно посмотрим, насколько вероятно, что социализм сумеет реализовать потенциальные свойства, заложенные в социалистическом проекте, — мы, как и прежде, будем вести речь только о шансах. Все эти оговорки являются оправданием нашей неспособности представить, какого рода социализм уготован нам.

2. О полубогах и архангелах

Вернемся к нашему буржуа, толкующему о полубогах и архангелах. С первыми можно разделаться довольно легко: чтобы управлять социалистической экономикой, никаких полубогов не потребуется, ибо, как мы уже убедились, если трудности переходного периода преодолены, дальше задача не только не сложнее, но даже проще, чем та, которую приходится решать капитанам индустрии в современном мире. Упоминание об архангелах означает намек на широко распространенное суждение, будто социалистическая форма организации общества требует столь высокого этического уровня, которого в реальности люди вряд ли сумеют достичь.

Социалисты сами виноваты в том, что такого рода аргументы оказались на вооружении у их оппонентов. Они муссировали ужасы капиталистического гнета и эксплуатации, уверяя, что стоит все это ус-

транить, и человеческая природа немедленно расцветет во всей своей красе либо как минимум начнется процесс совершенствования человека, в результате чего и будет достигнут необходимый уровень этики[2]. В общем, социалисты сами ответственны за то, что оказались беззащитными перед оппонентами, которые получили возможность обвинить их не только в безудержной лести массам, но и в исповедовании уже достаточно дискредитировавших себя идей Руссо. Но социалистов ничто не вынуждало действовать подобным образом. Можно было проявить гораздо больше здравомыслия.

Докажем это с помощью следующих рассуждений. Предварительно введем разграничение, которое будет нам полезно, хотя психологи, возможно, возражали бы против него. Во-первых, признаем, что некий набор способов чувствования и действия может измениться с изменением социальной среды, в то время как основополагающая система («природа человека») остается неизменной. Мы будем называть это адаптивными изменениями в ответ на новые условия существования («change by reconditioning»). Во-вторых, будем считать, что, хотя изменение внешних условий, не затрагивающее основополагающую природу человека, и может в конечном счете отразиться на его способах чувствования и действования — особенно если сами изменения осуществляются рациональным образом, — тем не менее эти способы в течение какого-то времени сопротивляются переменам, порождая дополнительные проблемы. Причиной служит существование «привычек». В-третьих, будем исходить из того, что сама основополагающая природа человека может подвергнуться изменениям. Это может касаться либо всего населения, либо только восприимчивой его части. Человеческая природа, бесспорно, поддается переделке в какой-то мере, особенно если речь идет о группах, состав коорых изменяется. Однако сам вопрос о том, как далеко простирается эта податливость к переменам, нуждается в серьезном изучении. Здесь неуместно, опираясь на какие-то общие принципы, безоговорочно поддерживать либо столь же решительно отвергать какую-то точку зрения. Что касается нашей позиции, то она в данном случае не имеет значения, поскольку мы исходим из того, что социализму для его функционирования не потребуется коренной переделки человеческой природы.

В этом легко убедиться. Во-первых, можно исключить из рассмотрения аграрный сектор, где вероятны наибольшие сложности. Социализм, как мы его понимаем, был бы социализмом и в том случае, если бы планирование в сельском хозяйстве существенно не отличалось бы

[2] Из неомарксистов больше всех грешил этим Макс Адлер (не путать с двумя другими венскими Адлерами, занимающими видное место в истории австрийского социализма — Виктором Адлером, выдающимся организатором и руководителем социалистической партии, и его сыном Фрицем, который убил премьер-министра графа Штюргха).

от того, которое развивается уже сейчас и включает в себя формирование плана производства, рационализацию землепользования, снабжение фермеров техникой, семенами, поголовьем скота для выращивания, удобрениями и т. д. Осталось бы лишь установить цены на продукцию сельского хозяйства и наладить закупку ее у фермеров по этим ценам. А это не изменило бы существенным образом сам аграрный сектор и мотивационную систему, действующую там. Возможны и иные варианты политики. Но для нас в данном случае важно, что есть такой путь, встав на который можно с минимальными трениями идти сколь угодно долго, не посягая на право общества считать себя социалистическим.

Во-вторых, имеется мир рабочих и служащих. И здесь не потребуется переделки душ и болезненной адаптации к новым условиям. Их работа останется в основном без изменений. Их труд, хотя и будет в дальнейшем связан с существенным ростом квалификации, не потребует изменений мотивационной системы и привычек. После трудового дня рабочий или служащий будет возвращаться домой и предаваться своим увлечениям, хотя эти занятия могут быть и переименованы в соответствии с социалистической модой. Так, к примеру, они могут играть в пролетарский футбол, тогда как сейчас играют в буржуазный. Но у них будет то же самое увлечение и тот же по типу дом. По этой части никаких особых сложностей не возникнет.

В-третьих, существует проблема, касающаяся тех групп, которые по понятным причинам станут жертвами социалистического переустройства общества. Грубо говоря — это высший или правящий слой. Не следует решать эту проблему исходя из укоренившейся доктрины, нашедшей множество приверженцев не только среди социалистов. Согласно ей высший слой — это пресыщенные хищники, получившие свой экономический и социальный статус лишь благодаря счастливой случайности и собственной безжалостности, чья «функция» сводится к насильственному изъятию у трудящихся масс (они же потребители) плодов их труда. К тому же эти хищники сами себе наносят вред своей некомпетентностью и — если обратиться к новейшему времени — вызывают экономические кризисы своей привычкой сберегать слишком много из награбленного. Из всего этого следует, что социалистическому обществу не надо будет особо беспокоиться об этих людях: нужно только сразу же лишить их занимаемого положения и не допускать с их стороны актов саботажа. Каковы бы ни были политические или психотехнические (для тех, кто находится за пределами нормы) достоинства этой доктрины, ее нельзя считать принадлежностью разумного социализма. Ибо любой просвещенный социалист в здравом уме, рассчитывающий на серьезное к себе отношение со стороны серьезных людей, не сможет отрицать множества фактов, говорящих о достоинствах и достижениях этого буржуазного слоя, несовместимых с подобной доктриной, и будет доказывать, что высшие слои общества

вообще не должны быть принесены в жертву: напротив, их следует освободить от оков капиталистической системы, угнетающей их морально не меньше, чем она экономически угнетает трудящиеся массы. От этой позиции, вполне согласующейся с учением Карла Маркса, недалеко до умозаключения о том, что от поддержки со стороны буржуазных элементов зависит успех или поражение социалистического строя.

Проблема высших слоев в таком случае будет выглядеть следующим образом: этот класс, образовавшийся в результате процесса отбора и объединивший человеческий материал более высокого качества[3], представляет собой национальное достояние, подлежащее разумному использованию при любом общественном строе. Уже одно это соображение указывает на то, что недостаточно лишь воздержаться от истребления этих людей. Более того, этот класс выполняет жизненно важные функции, без которых не обойтись и в социалистическом обществе. Как мы убедились, именно этому классу мы обязаны практически всеми культурными достижениями эпохи капитализма и той частью экономических успехов, которая связана не с увеличением численности работающего населения, а с тем, что обычно именуется повышением производительности труда (количеством продукции, создаваемой в единицу рабочего времени)[4]. А эти достижения имеют в

---

[3] См. гл. VI. Точнее говоря, типичный представитель класса буржуазии по своим интеллектуальным и волевым качествам превосходит типичных представителей любого другого класса индустриального общества. К такому выводу вряд ли можно прийти статистическим путем, и статистически этот вывод никогда не подтверждался, однако он вытекает из анализа процесса социального отбора в капиталистическом обществе. Сам смысл понятия «превосходство» определяется природой этого процесса. Проведя исторический анализ различных общественных систем, можно показать, что вывод о превосходстве справедлив в отношении всех правящих классов, информацией о которых мы располагаем. Иначе говоря, для всех условий верны следующие утверждения: (1) взлеты и падения отдельных индивидов происходят в пределах того класса, к которому они принадлежат по рождению. Это подтверждает гипотезу, согласно которой подобные перемещения обусловлены индивидуальными способностями конкретного человека; (2) теми же причинами объясняются взлеты и падения, приводящие к перемещению индивида в другой общественный класс. Переход в высшие или низшие классы обычно происходит на протяжении жизни нескольких поколений, поэтому в таких случаях речь должна идти, скорее, о семьях, нежели об отдельных лицах. Именно этим объясняется то обстоятельство, что исследователям, фиксирующим свое внимание на отдельных личностях, зачастую не удается обнаружить какую-либо связь между способностями и социальным положением: иногда эти факторы даже противопоставляются друг другу. Но ведь люди начинают свой жизненный путь в столь различных условиях, что указанная связь, если не считать примеров действительно выдающихся личных достижений, не так уж заметна. К тому же она проявляется лишь как общая закономерность, оставляющая место для бесчисленных исключений. Необходимо, следовательно, учитывать, что каждый человек — это только одно звено в цепи, состоящей из множества подобных звеньев. Эти соображения вовсе не служат доказательством моей точки зрения, а лишь указывают на возможные пути ее обоснования. Рамки данной книги не позволяют мне остановиться на этом вопросе подробнее, поэтому отсылаю читателя к моей работе «Theorie der sozialen Klassen im ethnisch homogenen Millieu», (Archiv für Sozialwissenschaft, 1927)

[4] Как было показано в первой части, это признавал и сам Маркс в «Коммунистическом манифесте».

своей основе уникальную по эффективности систему вознаграждений и наказаний, которую социализм намеревается уничтожить. В этой связи возникают два вопроса. Во-первых, можно ли поставить высшие буржуазные слои на службу социалистическому обществу. И во-вторых, могут ли те функции, которые они выполняют и которые социализм должен у них забрать, выполняться какими-то специальными органами или осуществляться посредством других, небуржуазных методов, либо то и другое вместе.

3. Проблема бюрократического управления

Рациональное использование класса буржуазии — это, бесспорно, одна из наиболее сложных задач, которые предстоит решать социалистическому режиму. Нет никакой уверенности, что это удастся. Дело не столько в трудностях объективного порядка, сколько в том, что социалистам нелегко осознать важность самой проблемы и выработать разумный подход к ней. Их учение о природе и функциях капиталистического класса, о котором шла речь выше, свидетельствует о стойком нежелании это делать. Оно может также играть роль своего рода психотехнической подготовки к отказу от решения этой проблемы. В этом нет ничего удивительного. Кем бы ни был отдельный социалист — свободным художником, партийным функционером или государственным служащим, — он пусть наивно, но вполне естественно воспринимает пришествие социализма как *свой собственный* приход к власти. Социализация означает для него, что «наша взяла». Замена существующего аппарата управления — важная, может быть, даже важнейшая часть этого процесса. Общаясь с воинствующими социалистами, я, признаться, нередко терзался сомнениями: так ли уж стремились бы некоторые из них, если не большинство, к установлению социалистического строя, будь он даже во всех прочих отношениях хорош, коли бы знали, что у руля окажутся другие люди. Сразу же оговорюсь, что позиция других социалистов была безупречной[5].

По существу, успешное решение проблемы использования буржуазии предполагает, помимо всего прочего, что ей будет позволено выполнять ту работу, к которой она в силу склонностей и традиций наиболее подготовлена. Следовательно, проводя отбор людей на управленческие посты, нужно исходить лишь из принципа соответствия работника данной должности, не дискриминируя при этом выходцев из буржуазной среды. Такой подход вполне реален, и в ряде случаев он даже может выгодно отличаться от капиталистического метода отбора людей, который действует в эпоху крупных корпораций. Вместе

[5] По этому поводу см. комментарии к материалам обсуждений Немецкого комитета по социализации (гл. XXIII).

с тем возможность работать предполагает нечто большее, чем просто назначение на соответствующую должность. Вступив на тот или иной пост, руководитель должен получить право действовать по своему усмотрению и под собственную ответственность. Тут-то и возникает вопрос о «бюрократизации экономической жизни» — излюбленной теме антисоциалистических проповедей.

В современных условиях трудно представить себе какую-либо форму организации социалистического общества, не связанную с созданием громоздкого и всеобъемлющего бюрократического аппарата. Любая иная мыслимая модель несет в себе угрозу неэффективности и распада. Впрочем, это соображение не должно напугать тех, кто осознает, насколько далеко уже успела продвинуться бюрократизация экономической жизни — и даже жизни в целом, и кто способен видеть суть проблемы за теми словесными хитросплетениями, которые вокруг нее нагромождаются. Как и в случае с «монополией», эти словеса приобрели в нашем сознании непомерный вес в силу исторических причин. В период становления капитализма буржуазия укрепляла свои позиции прежде всего в борьбе с местной властью, которую представляла монархическая бюрократия. В большинстве своем действия, которые торговец или фабрикант считали докучливым или неразумным вмешательством в свои дела, в коллективном сознании капиталистического класса ассоциировались с государственной бюрократической машиной. Такого рода связь оказалась исключительно устойчивой. Не случайно даже сами социалисты боятся этого пугала и без устали заверяют нас, что ничто им так не чуждо, как идея бюрократического строя[6].

Как мы увидим в следующем разделе, бюрократия — это вовсе не препятствие для демократии, а ее необходимое дополнение. Она неизбежно сопровождает современное экономическое развитие и станет еще более существенным ее компонентом в социалистическом государстве. Однако понимание неизбежности всесторонней бюрократизации еще не означает решения связанных с этим процессом проблем. Воспользуемся представившейся возможностью очертить их.

Чаще всего основное значение придается устранению таких поведенческих стимулов, как стремление к прибыли и страх перед потерями. Но это отнюдь не самое существенное. Более того, и ответственность, понимаемая как необходимость расплачиваться за свои ошибки собственными деньгами, так или иначе уходит в прошлое (хотя и не столь быстро, как кому-то хотелось бы), а тот тип ответственности,

[6] В России для подобных заявлений существуют дополнительные причины. Советские лидеры, и прежде всего Троцкий, ловко сумели превратить этот жупел в козла отпущения. Справедливо рассчитывая на доверчивость публики, — как у себя в стране, так и за рубежом, — они попросту списали на «бюрократию» все, что, по их мнению, было в России далеким от совершенства.

который существует в крупных корпорациях, как будет показано ниже, вполне возможно воспроизвести в социалистическом обществе. Кроме того, способ отбора на руководящие должности, характерный вообще для бюрократии или государственного аппарата, не обязательно столь неэффективен, как это зачастую пытаются изобразить. Правила назначения и продвижения по службе государственных чиновников не лишены определенной рациональности. А на практике они нередко оказываются даже более эффективными, чем на бумаге. К примеру, если в достаточной мере учитывать коллективное мнение сотрудников данного учреждения о том или ином работнике, это может существенно помочь продвижению способных людей, — по крайней мере людей с определенным типом способностей[7].

Гораздо важнее другое. Бюрократический способ ведения бизнеса и создаваемая им нравственная атмосфера нередко оказывают угнетающее действие на наиболее активных людей. Это в основном связано с неизбежной проблемой всякого бюрократического механизма: как совместить индивидуальную инициативу с его отлаженным функционированием. Сплошь и рядом бюрократия оставляет крайне мало места для инициативы и дает широкий простор злонамеренным попыткам задушить ее. Отсюда может возникнуть чувство разочарования и тщетности усилий. А это, в свою очередь, порождает людей особого умственного склада, упивающихся разносной критикой всякой инициативы, проявляемой другими. Однако все это не неизбежно. Многие бюрократические организации, как выясняется при более тесном знакомстве с ними, сумели достичь в решении этой проблемы определенных успехов. Но простых рецептов тут не существует.

Вместе с тем не так уж трудно найти внутри бюрократического механизма подходящее место для выходцев из буржуазной среды и изменить их трудовые навыки. Как мы далее убедимся, к тому времени, когда социализация будет осуществлена (при условии, что это будет делаться без поспешности), скорее всего, появятся условия для морального приятия социалистического строя и лояльности к нему. Не потребуется никаких комиссаров для переубеждения и нажима. При разумном отношении к экс-буржуазным элементам, предусматривающем создание условий для максимально эффективного их использования, не потребуется ничего сверх того, что обычно делается применительно к управленческому персоналу, каким бы ни было его социальное происхождение. Что именно понимается под «разумным отношением», убедительно и без всякой демагогии объяснили некоторые теоретики-социалисты, и нам остается лишь вкратце повторить их основные тезисы.

---

[7] См. гл. XXIV.

Следует с самого начала уяснить, что всецело полагаться на чисто альтруистическое чувство долга столь же нереалистично, как и полностью отрицать его значение и возможности. Высоко ставя чувство долга и родственные ему чувства удовлетворения от работы и руководящей деятельности, не стоит умалять роль определенной системы вознаграждений, хотя бы в форме общественного признания и престижа. С одной стороны, как учит нас жизненный опыт, трудно найти мужчину или женщину, даже самого возвышенного склада, которые обладали бы чистым альтруизмом и чувством долга, совершенно не связанным с той или иной разновидностью эгоизма или, если угодно, тщеславия, стремления к самоутверждению. С другой стороны, ясно, что корни этого всем знакомого явления лежат не в капиталистической системе, а гораздо глубже, в самой логике существования внутри любой социальной группы. От него нельзя отмахнуться с помощью фраз о капиталистической чуме, заражающей души и коверкающей «природные» склонности человека. Однако совсем нетрудно совладать с этим типом эгоцентризма, если использовать его в интересах общества, а социализм создает для этого особенно благоприятные возможности.

В капиталистическом обществе признание достижений и социальный престиж имеют ярко выраженную экономическую подоплеку. Во-первых, потому, что именно по денежному доходу принято судить о жизненном успехе, а кроме того, большинство атрибутов социального престижа, и в частности самое неосязаемое экономическое благо — общественное положение (social distance), — также приобретаются с помощью денег. Экономисты, разумеется, всегда осознавали связь престижа или общественного положения с личным богатством. Об этом писал еще Джон Стюарт Милль, которому в данном случае не потребовались особая проницательность или необыкновенный дар предвидения. Не приходится сомневаться, что среди движущих сил, заставляющих добиваться неординарных результатов, фактор престижа — один из основных.

Во второй части книги мы говорили о том, что по мере развития капитализма все более заметной становится тенденция к ослаблению мотива обогащения, как и других, связанных с капитализмом поведенческих мотивов. Следовательно, в наши дни социализм не потребует от высшего слоя общества столь серьезной переоценки жизненных ценностей, которая была бы необходима лет сто назад. Более того, сам мотив престижа легче, чем другие, может подвергнуться трансформации: так, хорошие работники, получающие сегодня удовлетворение от высоких заработков, завтра могут почти так же радоваться предоставленному им праву украсить свою одежду копеечным ярлычком (конечно, если такие знаки отличия будут выдаваться с должной экономностью), как если бы они приобрели миллион за год. И это можно понять. Ибо если предположить, что подобная привилегия

производит достаточно сильное впечатление на окружающих и те начинают иначе себя вести по отношению к ее обладателю, это обеспечит ему те же преимущества, ради которых он сейчас стремится заработать миллион. Впрочем, такая система вознаграждения вовсе не нова, она широко применялась в прошлом и давала прекрасные результаты. Почему бы и нет? Ведь и Троцкий в свое время не отказался от ордена Красного Знамени.

Что касается более высоких реальных доходов для определенных категорий работников, то в определенных пределах это вопрос рационального использования имеющегося фонда социальных ресурсов, никак не связанный с принципом стимулирования. Подобно тому как победившие на скачках лошади и быки-рекордисты пользуются вниманием, которым неразумно и невозможно обеспечить всех лошадей и всех быков, так и человек, лучше других работающий, заслуживает особого отношения к себе, если во главу угла поставить требования экономической рациональности. Конечно, это не обязательно. В обществе могут возобладать идеалы, которые несовместимы с принципами рациональности и обращением с людьми, как с машинами. В таком случае экономисту остается лишь напомнить обществу, что оно должно в полной мере сознавать издержки, сопряженные с такого рода идеалами. Этот пункт имеет особое значение. Зачастую доходы, оказывающиеся настолько высокими, что вызывают враждебное отношение со стороны других, обеспечивают их обладателям лишь самые элементарные жизненные удобства, возможность более или менее спокойно жить и продолжать работать так же, как раньше.

С учетом этого обстоятельства можно, хотя бы отчасти, решить проблему чисто экономических стимулов. И все же я полагаю, что социалистическое общество, сообразуясь опять-таки с требованиями рациональности, сможет получить значительный выигрыш за счет того, что не будет относиться к людям так, как если бы это были скаковые лошади или машины. Еще один довод в пользу такого взгляда вытекает, во-первых, из наблюдения за поведением людей, а во-вторых, из анализа капиталистической экономики и культуры, из которого следует, что существующие у людей побудительные мотивы, которые общество может, прибегая к дополнительной оплате, использовать в своих интересах, не являются продуктом капиталистических условий. Эти побуждения служат движущей силой любой социально значимой деятельности. При отсутствии этих мотивов результаты были бы не столь велики, как могли бы быть, хотя нельзя точно установить, насколько именно они снизятся. Однако надо учесть, что с приходом социализма значение этого фактора будет убывать по мере вхождения экономического процесса в стационарный режим.

Правомерность такого рода стимулирования вовсе не означает, что номинальные доходы должны быть так же высоки, как ныне, в условиях капитализма, когда они включают в себя налоги, сбережения

и т. п. Однако исключение этих статей сразу резко снизит цифры доходов, кажущиеся сегодня столь оскорбительными для нашего мелкобуржуазного менталитета. Более того, как мы отмечали ранее, люди с высокими доходами постепенно проникаются идеями умеренности и на деле утрачивают многие побудительные стимулы — кроме соображений престижа — для достижения таких доходов, которые в прошлом считалось необходимым иметь феодалу. В дальнейшем к тому времени, когда можно ожидать прихода социализма, идеи умеренности получат еще большее развитие.

Разумеется, фарисеи от экономики возденут свои руки в священном ужасе. Ради них позволю себе заметить, что существуют способы, которые помогут развеять их сомнения. Это меры, изобретенные в капиталистическом обществе, но значительно усовершенствованные в России. В основном они сводятся к сочетанию платежей натурой с щедрым денежным покрытием тех расходов, которые, как предполагается, обеспечивают должное исполнение соответствующих обязанностей. В большинстве стран высшие государственные чиновники, бесспорно, получают весьма скромное жалованье, нередко даже чересчур скромное, и денежные оклады политических деятелей высокого ранга в государственных органах также совсем невелики. Но во многих случаях это компенсируется — иногда частично, иногда даже с лихвой — не только определенными почестями, но также официальными резиденциями, чей персонал оплачивается за государственный счет, возможностями для проявления «служебного» гостеприимства, использованием адмиральских и прочих яхт, специальной оплаты услуг, связанных с участием в деятельности международных комиссий, Генерального штаба армии и т. п.

4. Сбережение и дисциплина

Так какие же именно функции, ныне исполняемые буржуазией, социалистический строй должен будет отнять у нее? Поговорим о двух: сбережении и дисциплине.

Что касается первой из этих функций — сбережения, почти целиком сосредоточенной в руках буржуазии, прежде всего ее высших слоев, я не собираюсь утверждать, будто она является необязательной или антиобщественной, и тем паче призывать читателя уповать на склонность отдельных членов социалистического общества к экономии. Их вклад не стоит недооценивать, однако этого будет явно недостаточно до тех пор, пока социалистическая экономика не вступит в квазистационарное состояние. То, что в условиях капитализма достигается посредством частных сбережений, в социалистическом обществе центральная власть способна осуществить гораздо более эффективно, непосредственно направляя часть национальных ресурсов на

создание новых заводов и оборудования. По крайней мере, в этом отношении опыт России вполне убедителен. Никакое капиталистическое общество не в состоянии было бы навязать подобные тяготы населению и добиться от него такого «воздержания» от потребления. Обществу, находящемуся на более высокой ступени развития и стремящемуся сохранить такие же, как при капитализме, темпы экономического роста, не потребовалось бы прибегать к подобным мерам. Если квазистационарное состояние достигнуто еще предшествующим, капиталистическим, обществом, то и добровольного сбережения при социализме может оказаться достаточно. Короче говоря, хотя эта проблема всегда поддается решению, очевидно, что разные решения предполагают и различные модели социализма. Социалистическую идиллию можно реализовать, но для этого пришлось бы признать, что об экономическом росте не следует беспокоиться, а с экономическими критериями не обязательно считаться: или, другими словами, что экономический рост раньше был важен, но развитие уже достигло такого уровня, когда дальнейший рост не играет столь существенной роли.

А теперь по поводу дисциплины. Имеется очевидная связь между эффективностью экономического механизма и той властью над наемными работниками, которой коммерческое общество с помощью институтов частной собственности и «свободного» договора наделяет буржуазного работодателя. Это не просто привилегия, позволяющая имущим эксплуатировать неимущих. За непосредственным личным интересом каждого стоит социальная заинтересованность в нормальном функционировании производства. Можно спорить относительно того, насколько в той или иной конкретной ситуации частные интересы обслуживают интересы общества и какова степень тех неоправданных лишений, которые испытывают неимущие вследствие того, что социальные интересы вверяются эгоизму работодателей. Но в историческом плане не может быть двух мнений ни по поводу самого осуществления общественных интересов, ни касательно эффективности метода их осуществления, который, кстати, в эпоху «свободного» капитализма был единственно возможным. Итак, нам предстоит ответить на два вопроса. Будет ли общество в условиях социализма заинтересовано в том, чтобы производительный механизм функционировал четко? Если да, то способно ли социалистическое планирование обеспечить осуществление всех необходимых властных функций, какими бы они ни были?

Пожалуй, вместо термина «власть» лучше использовать дополняющий его термин «авторитарная дисциплина», под которым мы понимаем воспитанную у людей привычку выполнять приказания других, работать под надзором, нормально воспринимать критику. Такого рода дисциплину надо отличать от самодисциплины, хотя она, по крайней мере отчасти, связана с предшествующим и даже унаследованным опытом подчинения дисциплинирующему воздействию власти. Авто-

ритарную дисциплину нельзя отождествлять и с групповой дисциплиной, являющейся результатом давления коллективного мнения на каждого индивида и тоже в определенной мере обусловленной выработанными в прошлом навыками подчинения.

В распоряжении социалистического общества имеются два фактора, использование которых может позволить укрепить самодисциплину и групповую дисциплину. Правда, здесь, как и во многих других случаях, не обходится без глупейшей идеализации — рисуются нелепые картины, когда рабочие в перерывах между приятными развлечениями ведут интеллектуальные дискуссии, позволяющие выработать верные решения, реализуемые затем в процессе жизнерадостного соревнования. Однако существование такого рода фантазий не означает, что с социализмом не могут быть связаны и ожидания вполне реалистического свойства.

Во-первых, предполагается, что социалистический строй будет располагать моральной поддержкой большинства населения, тогда как капитализм ее постепенно утрачивает. Само собой разумеется, что в этих условиях рабочий будет лучше выполнять свои обязанности, нежели при общественной системе, не вызывающей у него одобрения. Надо добавить, что само это неодобрение, как правило, следствие подверженности внешнему влиянию. Рабочий осуждает систему, поскольку ему внушают эту идею. Его лояльность и чувство гордости от хорошо выполненного дела систематически разрушаются посредством словесной обработки его сознания. Все его мировоззрение искажается комплексом классовой борьбы. Но то, что я прежде назвал устойчивой заинтересованностью в социальной напряженности — такой интерес в основном исчезнет или, как мы вскоре увидим, он будет устранен, как и некоторые другие устойчивые интересы. Конечно, наряду с ними будет устранен и тот позитивный эффект, который связан с дисциплинирующим чувством ответственности за свое собственное экономическое положение.

Во-вторых, одно из основных достижений социалистического строя состоит в том, что он позволяет экономическим явлениям продемонстрировать свою социальную природу с абсолютной наглядностью, тогда как при капитализме она скрыта под маской заинтересованности в получении прибыли. Можно как угодно относиться к преступным действиям и безрассудствам, которые, как считают социалисты, совершаются под этим прикрытием, но нельзя недооценивать значения самого прикрытия. Например, в социалистическом обществе вряд ли кто-нибудь усомнится, что польза, извлекаемая страной из международной торговли, заключается в импорте, а экспорт — не более чем жатва, на которую приходится идти ради обеспечения возможности импорта. В коммерческом обществе подобная здравая точка зрения зачастую полностью скрыта от рядового гражданина, и в результате он бездумно поддерживает политику, идущую ему во вред. Сколь бы

неумелой ни была социалистическая администрация, она заведомо не станет открыто поощрять кого-либо премией за то, что он *не* будет производить ту или иную продукцию. Никого не обманут и сказки о сбережениях. Таким образом, экономическая политика станет более дальновидной и рациональной. Некоторые из самых существенных источников потерь можно будет устранить просто потому, что экономический смысл предпринимаемых мер и происходящих процессов окажется общепонятным. Кроме всего прочего, каждый член общества осознает истинные последствия отлынивания от работы и особенно забастовок. Придя к выводу, что «теперь» забастовки являются антиобщественными попытками подорвать общественное благосостояние, он, разумеется, не обязательно задним числом станет осуждать забастовки эпохи капитализма. Решившийся на забастовку при социализме сделает это с нелегким сердцем и столкнется с общественным осуждением. В частности, в новых условиях не будет места действующим из лучших побуждений буржуа обоих полов, упоенно восхваляющим бастующих рабочих и их лидеров.

5. Авторитарная дисциплина при социализме: урок, преподанный Россией

По мере того, как роль двух рассмотренных выше факторов будет возрастать, более надежной станет самодисциплина и групповая дисциплина в социалистическом обществе, а следовательно, потребность в авторитарной дисциплине по сравнению с эпохой позднего капитализма уменьшится. Однако анализ этих факторов позволяет сделать и более широкие выводы, в том числе и такой: если возникнет необходимость ужесточить авторитарную дисциплину, достичь этого будет легче в социалистическом обществе[8]. Прежде чем приступить к обоснованию данного утверждения, я должен объяснить, почему социалистическое общество не сможет обойтись без авторитарной дисциплины вообще.

Первое. Самодисциплина и групповая дисциплина — это в значительной мере результат предшествующего, а возможно, и полученного по наследству опыта, выработанного под воздействием авторитарной дисциплины. Если такое воздействие прекратится на достаточно длительный период времени, то и эти формы дисциплины будут постепен-

[8] Если это утверждение окажется справедливым хотя бы для некоторых моделей социализма, то его значимость трудно переоценить. Дисциплина дает возможность повысить производительность труда, а при необходимости и увеличить продолжительность рабочего времени. Независимо от этого, дисциплина является важнейшим фактором экономии затрат. Она выполняет роль смазки в экономическом механизме, позволяя значительно снизить потери и общие расходы на единицу полезного эффекта. В частности, дисциплина способна резко повысить эффективность планирования и текущего управления и вывести их на уровень, недосягаемый при нынешних условиях.

но утрачены независимо от того, существуют ли в социалистическом обществе также и другие мотивы поддержания дисциплины, связанные с соображениями рациональности либо с моральной поддержкой системы со стороны отдельных лиц и групп. Такие мотивы, если они получают широкое распространение, становятся важным средством побуждения людей к дисциплине и к подчинению существующей системе санкций, а не своим собственным установкам. Все это имеет немаловажное значение, особенно если учесть, что речь идет о дисциплине повседневного, утомительного и однообразного труда, а не о восхваляемых проявлениях энтузиазма. К тому же нельзя забывать, что при социализме будет устранено, по крайней мере частично, то давление, связанное с мотивом выживания, которое в условиях капиталистического общества служит главным побудителем самодисциплины.

Второе. Наряду с необходимостью постоянно приучать к дисциплине обычных людей существует еще и проблема плохих работников. Мы имеем в виду не отдельные патологические случаи, а значительный слой, охватывающий не менее 25% трудоспособного населения. Поскольку низкая производительность труда в определенной мере обусловливается морально-волевыми изъянами, совершенно нереалистично ожидать, что с устранением капитализма исчезнут и неэффективные работники. Это большая проблема для человечества, которая и в будущем не утратит своей остроты. Вряд ли ее можно решить, *всецело* уповая на групповую дисциплину и не применяя других средств. Сам механизм авторитарной дисциплины можно использовать таким образом, чтобы он, хотя бы частично, воздействовал на плохих работников через те группы, к которым они принадлежат.

Третье. Хотя устойчивая заинтересованность в социальной напряженности в значительной мере, видимо, исчезнет, есть основания полагать, что полностью она устранена не будет. Для кого-то по-прежнему важнейшим делом или кратчайшим путем к карьере будет провоцирование недовольства и создание всяческих помех в функционировании системы. В этом в не меньшей степени, чем при капитализме, станет проявляться неудовлетворенность как идеалистов, так и карьеристов своим положением и их недовольство общим ходом дел. Более того, в социалистическом обществе не будет недостатка в конфликтах. Ведь устраненным окажется только один из многих источников противоречий. Явно сохранятся, хотя бы частично, конфликты территориальных и отраслевых интересов. Неизбежно будут и столкновения мнений по различным вопросам — например, насчет того, в какой мере следует поступаться сегодняшними интересами людей ради благосостояния будущих поколений. Администрация, склоняющаяся в пользу будущего, может натолкнуться на позицию, в чем-то схожую с той, которую ныне занимают рабочие и широкие слои общества в целом в отношении большого бизнеса и его политики накопления. Наконец, еще одно

немаловажное соображение. Вспомнив все сказанное по поводу культурной недетерминированности социализма, мы должны будем прийти к выводу, что многие из крупных проблем, которые ныне стоят перед каждой страной, в полной мере сохранят свою актуальность и при социализме. Очень мало оснований надеяться, что борьба вокруг них прекратится.

Когда мы размышляем о том, способна ли будет социалистическая администрация решить три группы проблем, изложенных выше, надо иметь в виду, что мы сравниваем социализм с нынешним капитализмом либо даже с тем, который в будущем, как можно предполагать, продемонстрирует еще более высокую стадию дезинтеграции. Говоря ранее[9] о значении безусловной субординации в рамках фирмы, — многие экономисты со времен Иеремии Бентама ее явно недооценивали, — мы пришли к заключению, что по мере эволюции капитализма усиливается тенденция к ослаблению его социально-психологической базы. Готовность рабочего подчиняться приказам никогда не была обусловлена разумной убежденностью в преимуществах капиталистического общества или рациональным ожиданием какой-либо выгоды для себя лично, а объяснялась дисциплиной, воспитанной еще феодальным предшественником его нынешнего хозяина-капиталиста. На капиталиста пролетарии — хотя и далеко не полностью — перенесли то уважение, которое в обычных условиях полагалось испытывать их предкам в отношении своих феодальных господ. Задача буржуазии была облегчена еще и тем, что наследники феодалов сохраняли политическую власть на протяжении значительной части капиталистической эпохи.

Буржуазия, ведя борьбу с тем слоем, который был над ними, и провозгласив равенство в политической сфере, объясняя рабочим, что у них такие же гражданские права, как и у остальных членов общества, поплатилась этим своим преимуществом. Но какое-то время сохраняющейся у нее власти еще было достаточно, и постепенные, но неуклонные изменения, ведущие к разложению дисциплины на отдельном предприятии, были незаметны. Теперь положение существенно иное. Способы поддержания дисциплины по большей части утрачены, вдобавок нет силы, способной их применять. Потеряна моральная поддержка общества, которой в былые времена пользовался наниматель, боровшийся с нарушениями дисциплины. Наконец, — в основном из-за утраты этой поддержки, — изменили свое отношение и государственные органы: от отстаивания интересов хозяина они постепенно перешли к нейтралитету, а далее, пройдя через разные степени нейтральности, они стали защищать права рабочего как равноправного

[9] См. гл. XI.

участника договора, затем поддерживать профсоюзы в конфликтах как с нанимателями, так и с отдельными работниками[10].

Картину довершает позиция наемного управляющего. Он знает, что, провозгласив себя борцом за общественные интересы, он рискует вызвать даже не возмущение, а всего лишь улыбку. Естественно, он предпочтет, чтобы его похвалили за прогрессивность, или уйдет в отпуск, нежели станет объектом поношений и подвергнется опасности, беря на себя заботы, которые никто не вменяет ему в обязанность.

При обсуждении этих проблем не стоит пытаться слишком далеко экстраполировать проявляющиеся тенденции, мысленно представляя себе ситуации, когда *социализм может оказаться единственным средством восстановления общественной дисциплины.* Тем не менее очевидно, что в любом случае социалистический способ управления имеет в этом отношении преимущества, способные существенно повлиять на экономическую эффективность.

Во-первых, менеджеры при социализме будут иметь в своем распоряжении гораздо больше средств поддержания авторитарной дисциплины, чем когда-либо имели капиталистические управляющие. Единственный реальный инструмент, которым они ныне располагают, — это угроза увольнения (что соответствует идее Бентама о контракте, который на основе рациональных соображений заключают или расторгают равноправные партнеры). Но применение и этого инструмента поставлено в такие рамки, которые сводят к минимуму попытки воспользоваться им. В условиях же социализма угроза увольнения, используемая менеджерами, может означать угрозу лишения средств существования без гарантирования какой-либо другой работы. Более того, в капиталистическом обществе угроза увольнения, как правило, либо реализуется, либо нет, ибо общественное мнение в принципе против того, чтобы одна из договаривающихся сторон могла использовать такого рода дисциплинарные санкции в отношении другой. Что же касается социалистических менеджеров — они имеют возможность применять эту угрозу в той степени, которая представляется им целесообразной, а также прибегать к другим санкциям. Часть из них —

[10] О том, что этот процесс идет, хотя и не прямолинейно, может свидетельствовать терпимость со стороны государства, доходящая до одобрения таких действий, как пикетирование. В Соединенных Штатах законодательство и в еще большей степени административная практика представляют особый интерес, ибо все рассматриваемые нами тенденции проявились там с исключительной силой: они долгое время сдерживались и потому развернулись в очень сжатые сроки. Для США характерно было полное отсутствие понимания того, что государство в регулировании трудовых отношений может исходить не только из сиюминутных потребностей рабочих, но также принимать в расчет и другие общественные интересы. Столь же характерно для этой страны вполне определенное, хотя и неохотное, признание методов классовой борьбы. Во многом это связано со специфической расстановкой политических сил и отсутствием в этих условиях другой возможности загнать рабочих в эффективную организацию. Тем не менее пример США вполне пригоден как иллюстрация к нашему анализу.

менее суровые — капиталистическим менеджерам вообще недоступны, поскольку эти меры не имеют морального авторитета. В новой общественной атмосфере простое предупреждение способно оказать такое воздействие, которое вряд ли было бы возможно в условиях капитализма.

Во-вторых, социалистическим менеджерам будет гораздо легче использовать находящиеся в их распоряжении инструменты поддержания авторитарной дисциплины. Государства, которое вмешивалось бы в эту сферу, не будет. Интеллектуалы как общественная группа перестанут занимать враждебные позиции: что же касается отдельных негативно настроенных личностей, то общество в целом, глубоко приверженное своим собственным ценностям, сумеет их обуздать. Наибольшую твердость это общество будет проявлять в воспитании молодежи. Наконец, как уже говорилось, общественное мнение не потерпит того, что представляется ему полукриминальной деятельностью. Забастовка будет равнозначна бунту.

В-третьих, правящая группа при социализме будет несравненно больше заинтересована в том, чтобы оставаться у власти, чем правительство в условиях буржуазной демократии. При капитализме отношение правительств к бизнесу сродни тому, которое в политической жизни ассоциируется с оппозицией: они критикуют, используют средства сдерживания и в принципе не несут никакой ответственности. При социализме так быть не может. Министерство производства будет отвечать за функционирование экономики. Конечно, это будет ответственность в сугубо политическом смысле, и тут многие грехи можно скрыть с помощью ораторских ухищрений. Тем не менее государство, без сомнения, перестанет играть оппозиционную роль и, напротив, будет постоянно заинтересовано в успешной работе экономического механизма. Экономические потребности уже не будут высмеиваться. Попытки парализовать хозяйственную деятельность, настроить людей против работы расценивались бы как посягательство на правительство. И оно, скорее всего, реагировало бы на это соответствующим образом.

Здесь, как и в том случае, когда речь шла о сбережениях, возможные возражения против того, чтобы на основе опыта России делались широкие обобщения, не могут породить сомнений в ценности преподанных Россией уроков. Ведь в более зрелом или близком к нормальному состоянию социалистическом обществе трудностей с дисциплиной будет меньше. Поэтому именно опыт этой страны позволяет наиболее убедительно проиллюстрировать основные пункты нашей аргументации.

Большевистская революция 1917 г. завершила дезорганизацию небольшого, но концентрированно проживающего промышленного пролетариата России. Массы полностью вышли из-под контроля. Их представления о новом порядке выразились в бесчисленных забастов-

ках — своего рода самовольных отпусках — и захватах фабрик[11]. Управление осуществляли советы рабочих или профсоюзы, и многие их лидеры принимали это как должное. Благодаря достигнутому в начале 1918 г. компромиссу минимум власти с трудом удалось сохранить за инженерами и Высшим советом народного хозяйства, но совершенно неудовлетворительные результаты этого компромисса явились одной из главных причин введения в 1921 г. новой экономической политики. На непродолжительное время профсоюзы вновь обрели положение и функции, присущие им в условиях позднего капитализма. Однако первый пятилетний план (1928) все изменил. К 1932 г. промышленный пролетариат оказался под бóльшим контролем, чем в период правления последнего царя. В чем в чем, а в этом большевики с тех пор явно преуспели. Способ, позволивший это сделать, весьма поучителен.

Профсоюзы не были запрещены. Наоборот, государство их поощряло: число их членов стремительно возрастало и к началу 1932 г. достигло почти 17 млн человек. Но из защитников групповых интересов, сдерживающих нажим управляющих, профсоюзы превратились в выразителей интересов общества, в средство укрепления дисциплины и повышения производительности. Их позиция настолько изменилась по сравнению с той, которую обычно занимают профсоюзы в капиталистических странах, что некоторые западные профсоюзные деятели вообще отказались считать эти советские организации профсоюзами. Они не протестовали против тягот, связанных с ускоренной индустриализацией; с готовностью соглашались на увеличение продолжительности рабочего дня без дополнительной оплаты; отказались от принципа равной оплаты за равный труд и одобрили систему премиальных надбавок и других стимулов интенсификации труда, стахановское движение и т. п. Они признали — или их заставили признать — право управленческого персонала увольнять рабочих *по собственному усмотрению*. Они препятствовали практике «демократической митинговщины», когда рабочие обсуждали получаемые приказы и исполняли их только после одобрения. Наконец, профсоюзы вместе с «товарищескими судами» и «комиссиями по чистке» принимали достаточно жесткие меры в отношении прогульщиков и нерадивых работников. О праве на забастовку и контроле над производством уже не было и речи.

Идеологически обосновать все это было нетрудно. Можно потешаться над эксцентричной терминологией, объявляющей контрреволюционным и антимарксистским все, что не полностью согласуется с интересами государства, состоящими в максимальном использовании рабочей силы. Однако, по существу, в этой позиции не было ничего

[11] При подобных исторических обстоятельствах распад дисциплины происходил в большинстве случаев. В частности, именно это было непосредственной причиной поражения квазисоциалистических экспериментов в Париже во время революции 1848 г.

антисоциалистического: вполне логично, что вместе с прежней классовой борьбой должна уйти и практика профсоюзного обструкционизма, должен измениться и сам характер коллективных договоров. Критики допускают ошибку, недооценивая резкий рост самодисциплины и групповой дисциплины, который, как мы и ожидали, стал возможен при новой системе. Однако не меньшей ошибкой была бы недооценка роли, которую в этом процессе сыграла дисциплина авторитарного типа, обеспечившая мощную поддержку и столь же мощное дополнение других разновидностей дисциплины.

Отдельные профессиональные союзы, как и их руководящий орган — Центральный совет, были взяты под контроль государства и коммунистической партии. То, что впоследствии получило название «рабочей оппозиции в партии», было запрещено, а профсоюзные лидеры, продолжавшие доказывать наличие у рабочих собственных специфических интересов, смещены со своих постов. Таким образом, еще со времени реорганизации государственных структур в 1921 г., и тем более после 1919 г., профсоюзы фактически не имели возможностей ни на словах, ни на деле противостоять воле правящих сил. Они превратились в органы поддержания авторитарной дисциплины. Сам этот факт служит вполне убедительной иллюстрацией высказанного нами выше тезиса.

Отметим еще одно важное обстоятельство. Поскольку нездоровое отношение современного рабочего к своему труду зависит от тех или иных внешних влияний, далеко не безразлично, внушают ли рабочему чувство долга и рабочей гордости или, наоборот, постоянно дискредитируют эти понятия. Российское государство в отличие от капиталистического имеет возможность жестко направлять воспитание и обучение молодежи в соответствии со своими целями и конструктивными идеями. Это значительно облегчает задачу создания атмосферы, способствующей укреплению производственной дисциплины. Интеллектуалы, разумеется, не имеют возможности вмешиваться, и общественное мнение не поддерживает нарушение производственной дисциплины.

Кроме того, государство может фактически произвольно (как бы это не оформлялось юридически) применять такие меры по поддержанию производственной дисциплины, как увольнение, влекущее за собой нищету; принудительное переселение населения вплоть до депортаций: «визиты» ударных бригад, а иногда и красноармейцев. Всегда есть повод использовать подобные методы, и, как хорошо известно, они действительно применялись со всей решительностью. В капиталистическом обществе о таких санкциях ни один работодатель и помыслить не мог бы, владей он даже, кроме тонких психотехнических средств, достаточным арсеналом репрессивных методов.

Мрачный подтекст этих реалий — не главное в наших рассуждениях. В том, что я пытаюсь изложить, нет ничего зловещего. Все эти про-

явления жестокости в отношении отдельных лиц и целых групп объясняются в основном незрелостью новой системы, общей обстановкой в стране или человеческими особенностями руководящих кадров. В других обстоятельствах, на других ступенях развития и с другим руководством их могло бы и не быть. Конечно, если оказалось бы, что в применении каких-либо санкций вообще нет необходимости, было бы лучше. Но основная мысль, которую я хочу донести до читателя, такова: по крайней мере одному социалистическому режиму действительно удалось поднять групповую дисциплину и обеспечить авторитарную. Главное — это, а не те специфические формы, в которых все происходило на практике.

Итак, на уровне проектов, каковы бы ни были их достоинства или недостатки, социалистическая альтернатива выдерживает сравнение с поздним капитализмом. При этом мы снова подчеркиваем, что речь, как и прежде, идет только о потенциальных возможностях социалистической системы, хотя они рассматриваются в несколько ином ракурсе, нежели при обсуждении социалистического проекта. Для того чтобы эти возможности приобрели реальный характер, а тем более — чтобы они получили практическую реализацию, нужен целый ряд предпосылок. При иных предпосылках, а они столь же правомерны, как и принятые нами, выводы были бы иными. В самом деле, стоит только предположить, что верх взяли идеи «идиллического социализма», и придется сделать вывод о вероятности полного краха такой нелепой системы. И это еще был бы не худший вариант. Поражение столь убедительное могло бы вызвать меры, направленные на исправление ситуации. Более опасно, а также и более вероятно поражение иного рода, не столь явное и полное, которое с помощью политической психотехники можно было бы представить как победу и заставить людей поверить в это. Кроме того, при социализме отклонения от схемы функционирования экономики и принципов управления этой системой, конечно, столь же вероятны, как в коммерческом обществе, но они имеют более серьезный характер и хуже поддаются самокорректировке. И все же я надеюсь, что читатель, еще раз взглянув на ход наших рассуждений, убедится, что те возражения, которые могут возникнуть в связи с рассматриваемым нами кругом проблем, не затрагивают существенным образом наши выводы. Точнее говоря, эти возражения направлены не против социализма как такового или той модели, которую мы использовали в своем анализе, а против определенных черт, которые присущи тому или иному типу социализма. На основе этих возражений нельзя сделать вывод о том, что борьба за социализм бессмысленна или преступна. Но можно однозначно утверждать, что борьба за социализм — это нечто неопределенное, если она не сочетается с ясным представлением о том, какой именно тип социализма будет жизнеспособным. Совместим ли такой социализм с тем, что мы обычно понимаем под демократией, — это другой вопрос.

Глава XIX
ПЕРЕХОД К СОЦИАЛИЗМУ

1. Две самостоятельные проблемы

Вряд ли кто-нибудь, особенно среди правоверных социалистов, будет отрицать, что переход от капиталистического строя к социалистическому всегда порождает проблемы sui generis*, независимо от того, в каких условиях совершается этот переход. Но природа и степень возникающих при этом сложностей существенно разнятся в зависимости от того, на какой стадии капитализма происходит переход и какими методами поборники социализма смогут и хотят его осуществить. Выделим две схемы, характеризующие две различные ситуации. Предлагаемая типологизация удобна еще и потому, что в ней учтена очевидная взаимосвязь между «когда» и «как». Однако обе эти схемы относятся исключительно к высокоразвитому и «несвободному» капитализму, и потому я не буду останавливаться на рассмотрении возможностей или ограничений, свойственных его более ранним стадиям. Исходя из этого, назовем предлагаемые схемы перехода к социализму «назревшей социализацией» и «преждевременной социализацией».

Бóльшую часть приведенных во второй части книги аргументов можно свести к марксистскому тезису о том, что экономический процесс, как и сама человеческая душа, имеет тенденцию социализироваться. Иначе говоря, постепенно складывается все больше технологических, организационных, коммерческих, административных и психологических предпосылок социализма. Стоит еще раз напомнить, что нас ждет в будущем, если эта тенденция и дальше будет развиваться. Бизнес, за исключением аграрного сектора, будет контролироваться небольшим слоем бюрократизированных корпораций. Экономический рост замедлится, он станет предсказуемым и планируемым. Процентные ставки будут поддерживаться на уровне, приближающемся к нулю, причем не только временно, под воздействием государственной политики, а постоянно, вследствие сокращения инвестиционных возможностей. Промышленная собственность и управление деперсонифицируются — право собственности постепенно сведется к владению акциями и облигациями, а управленческая верхушка по складу мышления все больше сблизится с государственными служащими. Капиталистическая мотивация и капиталистические стандарты неуклонно сойдут на нет. Вывод о неизбежности перехода к социалистическому

* Своего рода (*лат.*).

строю в этих условиях напрашивается сам собой. Однако здесь необходимо отметить два момента.

Во-первых, разные люди — даже среди социалистов — расходятся во взглядах на то, насколько следует приблизиться к описанной выше ситуации для того, чтобы начался переход к социализму. Расходятся они и в оценках текущего положения дел в каждый данный период. Это вполне естественно, ибо движение к социализму, заложенное в самом развитии капитализма, происходит постепенно, небольшими шагами. На этом пути нет светофора, который недвусмысленно и убедительно для всех покажет, что путь открыт. Возможности для вполне оправданных различий во взглядах увеличиваются еще и потому, что предпосылки, необходимые для успешного перехода к социализму, не обязательно возникают pari passu*. Например, если судить лишь по уровню промышленного развития, то в 1913 г. Соединенные Штаты были, возможно, более «зрелой» страной, чем Германия. Однако вряд ли можно сомневаться, что, если бы социалистический эксперимент был предпринят в обеих странах, несравненно бóльшие шансы на успех имели бы немцы, оказавшиеся в дестабилизированной стране и вымуштрованные лучшей из всех известных бюрократических систем и превосходными профсоюзами. Но, помимо оправданных несовпадений во взглядах, включая те, что связаны с различиями в темпераментах (ведь одинаково честные и компетентные врачи тоже зачастую расходятся во мнениях о необходимости хирургического вмешательства), всегда присутствует и другой фактор. Это подозрение, часто вполне обоснованное, что одна из дискутирующих сторон не хочет и никогда не захочет признать, что достигнута достаточная степень зрелости, так как на самом деле не желает социализма, а другая сторона вследствие излишнего идеализма или по какой-нибудь иной причине при любых обстоятельствах будет утверждать, что необходимая степень зрелости уже наступила.

Во-вторых, даже если допустить, что состояние зрелости несомненно достигнуто, переход к социализму все же потребует определенных действий и поставит ряд проблем.

Процесс капиталистической эволюции формирует материальные условия и души людей, готовя почву для социализма. В предельном случае почва будет подготовлена настолько, что последний шаг станет простой формальностью. Но даже тогда капиталистический строй сам собой не превратится в социалистический, и заключительная мера, своего рода официальное введение социализма как закона общественной жизни, скажем, в форме поправки к конституции, все же будет необходима. Однако в реальной действительности люди не станут

* Одновременно (*лат.*).

ждать этого предельного случая. Это было бы и нерационально, ибо полная зрелость может быть фактически достигнута в то время, когда капиталистические отношения и интересы еще не полностью изгнаны из всех укромных уголков и закоулков социальной структуры. И тогда принятие конституционной поправки не сведется к простой формальности. Будут и определенное сопротивление, и свои трудности. Перед тем как перейти к их рассмотрению, введем еще одно принципиальное разграничение.

Процесс подготовки необходимых для социализма условий и самих людей в основе своей идет автоматически, т. е. независимо от чьей-либо воли и каких-либо социальных мер. Но этот процесс, наряду с другими следствиями, также порождает и эту волю, а затем и соответствующие меры — законодательные акты, административные решения и т. п. Совокупность этих мер составляет часть политики социализации, реализация которой требует длительного времени, во всяком случае, многих десятилетий. Однако декретом о провозглашении и организации социалистического строя этот исторический период естественным образом делится на два отрезка. До декрета социализация — проводимая намеренно или ненамеренно — носит подготовительный характер, после него она становится целенаправленной политикой. Первого из этих исторических отрезков мы коснемся в конце главы, а сейчас сосредоточимся на втором.

2. Социализация в условиях зрелости

В этом случае первоочередные проблемы, возникающие в связи с социализацией после «провозглашения» социализма, не только преодолимы, но и не особенно сложны. Само понятие «зрелость» предполагает, что сопротивление переменам не будет серьезным, и большинство населения из *всех* классов общества поддержит новый порядок. Одним из проявлений этой поддержки будет сама возможность мирного перехода к социализму, с соблюдением юридических норм, путем принятия поправки к конституции. Резонно предположить, что люди поймут такой шаг, и большинство, даже среди тех, кто его не одобряет, будут проявлять терпимость по отношению к нему. Ни у кого не возникнет ощущения тупика и крушения мира.

Разумеется, нельзя целиком сбрасывать со счетов возможность революции. И все же она маловероятна. Дело не только в том, что полное или почти полное отсутствие организованного сопротивления в одном лагере и страсти к насилию в другом снизят вероятность революционных событий. Будет существовать группа опытных и ответственных людей, готовых стать у кормила власти; у них будут желание и способности поддерживать дисциплину и использовать рациональ-

ные методы, позволяющие свести возможность потрясения к минимуму. Им помогут хорошо подготовленные административные структуры в сфере государственного управления и бизнеса, которые привыкли исполнять приказы законной власти, какова бы она ни была, и не испытывают особой преданности капиталистическим ценностям.

Начнем с того, что упростим проблемы переходного периода, стоящие перед новым Министерством или Центральным органом, так же, как это было нами сделано при рассмотрении обычных функций, выполняемых этими организациями. Допустим, что фермеров в основном оставят в покое. Это позволит не только избежать сложностей, которые могут иметь фатальный характер (ибо нигде вопрос об имущественных интересах не стоит так остро, как среди фермеров или крестьян: *русские* крестьяне скорее являются исключением), но и обеспечит усиленную поддержку переменам, — ведь никто не ненавидит крупную промышленность и капиталистические интересы так, как фермер. Центральный орган мог бы также снискать доверие и других категорий «маленьких людей»: рядом с национализированными предприятиями мелкий ремесленник продолжал бы, по крайней мере какое-то время, выполнять свою работу и получать прибыль, а мелкий независимый продавец табачных изделий по-прежнему торговал бы, как это происходит сегодня в тех странах, где существует монополия государства на табак и табачные изделия. На противоположном конце шкалы — личные интересы человека, чей труд имеет индивидуальную ценность, назовем его руководителем. Эти интересы также легко соблюсти, если следовать названным выше принципам. Тем самым можно будет избежать каких-либо серьезных сбоев в функционировании экономической системы. Решительное осуществление идеалов равенства может, без сомнения, все испортить.

А как же обстоит дело с капиталистическими интересами? В долговременной перспективе их с известным приближением можно уподобить интересам акционеров и держателей облигаций, а к последним приравнять и держателей закладных на недвижимость и владельцев страховых полисов. Ортодоксального социалиста, который ничего не желает знать, кроме текста Священного писания, и представляющего эту группу собственников как кучку безмерно богатых бездельников, ожидает сюрприз: на стадии зрелости в нее могут входить большинство избирателей, и им вряд ли придутся по душе предложения о конфискации их доходов, какими бы небольшими они ни были. Но проблема не в том, может ли («должен ли») социалистический строй экспроприировать их без всякой компенсации. Главное для нас то, что в этом не будет никакой экономической необходимости, и коли дело дойдет до конфискации, она произойдет не из-за отсутствия иного выхода, а в силу добровольного выбора, сделанного обществом, предположим, в соответствии с принятыми им этическими принципами.

Ведь, как свидетельствуют статистические данные, выплата индивидуальным владельцам процентов по облигациям и закладным плюс проценты по облигациям, которые Центральный орган вместо дивидендов будет выплачивать прежним владельцам акций (чтобы, потеряв право голоса в корпорациях, те по-прежнему могли бы получать доход, приблизительно равный средним получаемым в прошлом дивидендам), — все это в совокупности не будет непосильной ношей. Поскольку социалистическое государство будет использовать частные сбережения, оно вполне могло бы взять на себя и эти выплаты. Им можно было бы придать временный характер, либо превратив их в ежегодную ренту, выплачиваемую в течение определенного срока, либо введя соответствующее налогообложение доходов и наследства. Налоги сослужили бы тем самым последнюю службу, перед тем как исчезнуть навеки.

Этого, думается, достаточно, чтобы представить себе возможный путь «социализации после провозглашения социализма». Он позволил бы в заданных обстоятельствах преодолеть переходный период уверенно, благополучно и спокойно, с минимальными затратами энергии и минимальным ущербом для культурных и экономических ценностей. Администрацию крупных концернов следовало бы заменять лишь в тех случаях, когда на это имеются особые причины. Если ко времени перехода к социализму среди подлежащих социализации компаний сохранятся частные партнерства, то эти фирмы должны быть сначала преобразованы в акционерные общества, а затем социализированы тем же путем, что и остальные. Создание новых частных фирм, конечно, будет запрещено. Структура связей между корпорациями — в особенности через холдинговые компании — будет рационализирована, т. е. ограничена лишь теми отношениями, которые повышают эффективность управления. Все банковские учреждения станут отделениями Центрального банка и в этом качестве смогут сохранить за собой не только некоторые из своих обычных функций (на банки почти наверняка будет возложена, хотя бы частично, общественная бухгалтерия), но, вероятно, и играть определенную роль в управлении промышленностью — посредством выдачи «кредитов» или отказов в них. В этом случае Центральный банк мог бы оставаться независимым даже от Министерства промышленности и осуществлять своего рода общий контроль.

Таким образом, Центральный орган, действуя поначалу без спешки, постепенно брал бы правление в свои руки. Экономическая система могла бы в это время сформироваться и начать функционировать по-новому. Что касается менее значительных отдельных проблем, связанных с переходным периодом, их можно было бы решать последовательно, одну за другой. Вначале можно ограничиться небольшой корректировкой производства — самое большее в пределах 5% общего объема выпускаемой продукции, ибо, если идеи эгалитаризма не получат большего размаха, чем мы предполагаем, структура спроса не

должна измениться особенно сильно. Более значимым окажется перераспределение людей, к примеру юристов, в другие сферы занятости, ибо в социалистической экономике отпадет нужда в выполнении ряда функций, требовавшихся капиталистическому производству. Но и это не составит серьезной проблемы. Трудности более высокого порядка — связанные с устранением низкоэффективных предприятий, перемещением средств в наиболее перспективные отрасли, рациональным размещением производства в соответствии с происходящим территориальным перераспределением населения, стандартизацией потребительских товаров и средств производства и т. п. — не возникнут или, во всяком случае, не должны возникнуть до тех пор, пока не завершится коренное преобразование общественной системы и не наладится нормальное функционирование экономики по прежним направлениям. Есть все основания предполагать, что заложенные в социалистическом проекте возможности более высокой эффективности могут быть достаточно быстро реализованы, если будет создан такого рода социализм.

3. Социализация на стадии незрелости

1. Что касается второго варианта — преждевременного провозглашения принципов социализма, — то тут прогноз, подобный сделанному выше, невозможен. Здесь переход от капиталистического строя к социалистическому происходит в условиях, когда социалистам удалось взять в руки контроль над центральными органами капиталистического государства, хотя объективных предпосылок социализма и психологической готовности к нему у людей нет. Следует еще раз подчеркнуть, что речь не идет о незрелости, при которой саму надежду на успешный переход к социализму любой нормальный человек оценил бы как фантастику. В этих условиях попытка захватить власть с целью создания социализма была бы всего лишь нелепым путчем. Поэтому я не стану утверждать, что «незрелая» социализация неизбежно обречена на полный провал или что сложившиеся в результате структуры будут нежизнеспособны. Мы имеем в виду современный капитализм, применительно к которому постановка вопроса о социализации вполне обоснованна. Сам этот вопрос наверняка возникнет в подобного рода ситуации. Исторические условия в долговременном аспекте становятся все более благоприятными для проявления социалистических амбиций. К тому же — и это еще важнее — в отдельные периоды могут возникнуть такие ситуации, когда временное оцепенение капиталистических слоев и государственных органов управления создает заманчивые возможности для поборников социализма. Именно так дело

обстояло в Германии в 1918 и в 1919 гг., а также, как считают некоторые авторы, в Соединенных Штатах в 1932 г.

2. Что именно понимается под неготовностью и незрелостью обстоятельств и людей, читатель легко поймет, если вернется на несколько страниц назад, где дано описание ситуации «зрелости». Тем не менее я добавлю несколько штрихов, касающихся положения дел в Америке в 1932 г.

Экономическому спаду предшествовал период мощного (хотя вовсе не аномального, если судить по темпам роста) подъема производства. Сами масштабы депрессии свидетельствовали о том, насколько назрели изменения, связанные с необходимостью адаптации к результатам «прогресса». На многих важнейших направлениях этот прогресс, бесспорно, не закончился — достаточно упомянуть такие области, как электрификация сельской местности, электрификация домашнего хозяйства, новейшие открытия в химии, возможности, открывающиеся в строительной индустрии. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что если бы в это время началась бюрократическая социализация, это привело бы к значительной потере предпринимательской энергии, снижению эффективности в сфере производства, ущербу для будущего благосостояния общества. Любопытно, что в атмосфере истерии, сопутствующей депрессии, интеллектуалы социалистического толка сумели внушить широкой публике прямо противоположную точку зрения. Но этот парадокс нуждается скорее в социально-психологическом диагнозе, нежели в экономической интерпретации.

Незрелость проявилась также в организации промышленности и торговли. Дело не только в том, что число мелких и средних фирм оставалось еще весьма значительным, а их сотрудничество в торгово-промышленных и иных ассоциациях было далеким от совершенства. Но и развитие большого бизнеса, хотя он и стал объектом как безудержных восхвалений, так и безудержной враждебности, еще не достигло той ступени, когда можно было бы с легкостью и надежностью применить описанный нами метод социализации. Если отнести к большому бизнесу фирмы с активами от 50 млн долл., то окажется, что на их долю в то время приходилось лишь 53,2% всех активов в американской экономике, а если исключить финансовые корпорации и компании в сфере коммунальных услуг — 36,2%. Из общего объема промышленных активов крупные компании имели 46,3%[1]. Но и менее крупные компании нелегко было бы подвергнуть социализации. К тому же вряд ли можно ожидать, что, будучи социализированы, они смогли бы по-прежнему продолжать свою деятельность. Если же снизить до 10 млн долл. планку, отсекающую крупные корпорации, то и

[1] См. Crum W.L. Concentration of Corporate Control // Journal of Business. Vol. VIII. P. 275.

тогда их доля в активах будет равна соответственно 67,5, 52,7 и 64,5%. Даже простое «овладение» экономикой с такой структурой было бы делом невероятно трудным. Еще сложнее было бы заставить ее функционировать и совершенствоваться в новых условиях. Эти задачи пришлось бы решать в условиях, когда не существует опытной бюрократии, а рабочая сила плохо организована и в любой момент может выйти из-под контроля.

Сами люди были еще менее готовы к социализму, чем материальные условия. Несмотря на потрясение, вызванное депрессией, не только бизнесмены, но также подавляющее большинство рабочих и фермеров в своих мыслях и чувствах не выходили за пределы буржуазной системы ценностей и *на самом деле* не имели ясного представления о какой-либо альтернативе. Саму концепцию социализации и все, что так или иначе с ней связано, они по-прежнему воспринимали как нечто «антиамериканское». В стране не было влиятельной социалистической партии, и никакие официальные социалистические группы, кроме коммунистов сталинистской ориентации, не пользовались значительной поддержкой. Фермеры, несмотря на все усилия их переубедить, ненавидели социализм почти так же, как они ненавидели большой бизнес в целом и железнодорожные компании в частности. В то время как поддержка социализма в обществе была бы слабой и, за исключением некоторых крикливых энтузиастов, вполне пассивной, сопротивление социализму было бы сильным. Его оказали бы люди, искренне уверенные, что никто (а тем более государство) не способен выполнить их работу лучше их самих. Они считали бы, что сражаются не только за собственные интересы, но и за общее благо — за торжество света против власти тьмы. Американская буржуазия начала терять свою жизненную энергию, но полностью ее не утратила. Сопротивление буржуазии носило бы осознанный характер, исключающий всякие компромиссы и сотрудничество. В такой ситуации, во-первых, возникла бы необходимость применения силы не против отдельных лиц, а в отношении групп и классов; а во-вторых, нельзя было принять социалистические принципы путем внесения поправки в конституцию, т. е. без нарушения преемственности в законодательстве. Новый порядок мог бы быть установлен только посредством революции, причем, вероятнее всего, не бескровной. Этот конкретный пример «незрелости» можно было отвергнуть на том основании, что он относится к категории абсурдных безнадежных случаев. Но здесь отразились основные черты, характерные для всех случаев преждевременной социализации, и потому его можно использовать при рассмотрении проблем общего характера.

Разумеется, этот случай изучают и ортодоксальные социалисты, большинство из которых не в состоянии примириться с чем-либо менее впечатляющим, чем эффектное умерщвление капиталистического

змея пролетарским св. Георгием. Однако пример США привлекает нас вовсе не потому, что там сохранились от прошлой эпохи какие-то пережитки буржуазной революционной идеологии. Мы намереваемся рассмотреть последствия, вытекающие из особых условий — сочетания политической возможности введения социализма с его экономической неподготовленностью. Только в таких обстоятельствах проведение социализации сопряжено со специфическими проблемами.

3. Допустим, что революционный народ (большевистская революция сделала это словосочетание чем-то вроде официального титула, наподобие титула французских королей — «Его христианнейшее величество») овладел центральными государственными учреждениями, одержал победу над несоциалистическими партиями, несоциалистической прессой и т. д. и всюду разместил своих людей. Часть сотрудников государственных органов, а также промышленных и торговых концернов, как можно предположить, принуждается к сотрудничеству, а часть заменяется рабочими лидерами и интеллектуалами, которые прежде проводили время в кафе, а теперь устремились в эти офисы. Новый Центральный орган должен будет в этих условиях взять на себя решение двух задач. Во-первых, создать достаточно сильную красную армию, чтобы обуздать прямое сопротивление и подавить эксцессы — в частности, дикую социализацию[2], хладнокровно расправляясь как с правыми, так и с левыми. Во-вторых, в соответствии с описанным выше подходом обеспечить возможность крестьянам и фермерам действовать по своему усмотрению. Не будем делать предположений относительно того, насколько рационально или в какой мере гуманно обойдутся с теми, кто принадлежит к правящим слоям. В данных обстоятельствах с ними наверняка обойдутся беспощадно. Люди, знающие, что в глазах противника их действия не что иное, как злонамеренная агрессия, и понимающие, что для них вполне реальна угроза разделить судьбу Карла Либкнехта и Розы Люксембург, неминуемо вскоре придут к политике более жестокой по сравнению с их первоначальными намерениями. Они вряд ли сумеют избежать преступной свирепости в отношении своих оппонентов — тех, кто все еще отстаивает старые порядки, и тех, кто войдет в новую левацкую партию, которая неминуемо возникнет, будут воспринимать как неисправимых преступников. Однако насилие и беспощадность проблем не решат. Что еще должен будет предпринять Центральный орган, кроме сетований по поводу саботажа и требований о выделении дополнительных возможностей для борьбы с заговорщиками и вредителями?

---

[2] Термин «дикая социализация» уже получил официальное признание. Под ним понимают попытки рабочих отдельных предприятий сместить администрацию и взять управление в свои руки. Для каждого здравомыслящего социалиста это подлинный кошмар.

Первое, что необходимо сделать, — прибегнуть к инфляции. Банки должны быть национализированы и объединены (или должны координировать свою деятельность) с казначейством. Экономический совет или Министерство должны создавать возможно больше депозитов или банкнот, опираясь на традиционные методы. Я полагаю, что инфляция неизбежна. Все без исключения социалисты сами признают, что в рассматриваемой нами ситуации социалистическая революция неминуемо вызвала бы как минимум временную приостановку экономического процесса. В результате казначейство и финансовые центры на какое-то время будут испытывать нехватку денежных средств. До того, как будет налажена социалистическая система учета, у власти не будет иного выбора, кроме политической линии, подобной той, которая осуществлялась в Германии до Первой мировой войны и после нее или во Франции во время и после революции 1789 г. Правда, в тех условиях именно нежелание отказаться от частной собственности и методов, свойственных коммерческому обществу, усилило инфляцию и значительно продлило ее. Но «на следующий день после социалистической революции», когда ничего еще не устоялось, ситуация была бы аналогичной.

Следует добавить, что не только необходимость побуждает проводить такую политику. Для этого есть и иного рода мотив. Инфляция сама по себе является отличным средством сглаживания некоторых трудностей переходного периода и осуществления частичной экспроприации. Что касается первой функции, то очевидно, в частности, что резкое увеличение ставок номинальной заработной платы позволит на какое-то время отсрочить возможные вспышки недовольства, связанные с неминуемым, пусть даже непродолжительным, снижением реальных заработков. Вторая функция также важна: инфляция удивительно легко экспроприирует обладателей прав на получение доходов в денежной форме. Центральная власть может даже упростить себе задачу и выплатить собственникам реального капитала — фабрик и т. п. — любые суммы денежной компенсации, сознавая при этом, что эти деньги скоро обесценятся. Наконец, не следует забывать, что инфляция стала бы мощным средством сокрушения тех островков частного бизнеса, которые еще сохранились к тому времени. По словам Ленина, ничто не дезорганизует так, как инфляция: «чтобы разрушить буржуазное общество, необходимо расстроить его денежную систему».

4. Далее, конечно, необходимо приступить к осуществлению социализации. Дискуссии по проблемам переходного периода своими корнями уходят в старые разногласия среди социалистов — точнее, между социалистами и теми, кого правильнее было бы называть лейбористами. Спор шел о том, что предпочтительнее — полная, т. е. единовременная социализация либо частичная и постепенная. Многие социалис-

ты, видимо, полагают, что чистоте социалистической веры и подлинной приверженности социалистическому идеалу соответствует первый вариант, который следует отстаивать при всех обстоятельствах. Они презирают малодушных лейбористов, которым в этом вопросе, как и во многих других, очень мешает сковывающее чувство ответственности. Я в данном случае собираюсь высказаться в поддержку истинно верующих[3]. Мы сейчас не обсуждаем политику переходного периода, проводимую в пределах капиталистической системы. Это иная проблема, которой мы займемся позже, убедившись, что постепенная социализация *в рамках капитализма* не только возможна, но и наиболее вероятна. Здесь же речь идет совершенно о другом — политике переходного периода, которую следует проводить *после* установления социалистического режима в результате политической революции.

В этом случае, даже если неминуемые эксцессы будут минимальными и с помощью сильной руки удастся установить относительный порядок, трудно представить себе ситуацию, когда некоторые крупные отрасли промышленности оказались бы социализированными, а другие продолжали бы работать как ни в чем не бывало. При революционном правительстве, которому придется хотя бы частично следовать идеям, выдвинутым в те времена, когда это не предполагало никакой ответственности, любые частные предприятия, скорее всего, прекратят существование. Я не имею в виду обструкцию, которую могли бы устроить предприниматели и вообще выразители капиталистических интересов. Их могущество, и сейчас преувеличиваемое, в решающей мере было бы утрачено в присутствии комиссаров. К тому же духу буржуазных традиций скорее соответствует строгое следование своим текущим обязанностям, чем отказ от их выполнения. Сопротивление будет, но оно будет проявляться в политической сфере, т. е. не в рамках отдельного предприятия, а за его пределами. Несоциализированные отрасли прекратят свое существование просто потому, что контроль со стороны комиссаров и настроения как собственных рабочих, так и широкой общественности не дадут им возможности действовать по своему усмотрению — а иначе капиталистическое производство функционировать не способно.

Однако этот аргумент относится только к крупной промышленности и тем секторам, где легко могут быть созданы крупные организационные единицы, поддающиеся контролю. Он не в полной мере справедлив в отношении отраслей, занимающих промежуточное положение между аграрной сферой, которую мы не рассматриваем, и

[3] Однако «священное писание» социалистов не поддерживает со всей определенностью именно этот подход. Обратившись к «Коммунистическому манифесту», читатель может прийти в сильное замешательство, ибо там в этой связи употребляется слово «постепенно».

крупной промышленностью. В этой сфере, состоящей в основном из предприятий малого и среднего бизнеса, Центральный орган мог бы маневрировать, исходя из требований практической целесообразности, и, в частности, расширять социализацию или отступать назад в зависимости от изменяющихся условий. Такой вариант вполне укладывается в наше понимание термина «полная социализация».

И еще одно добавление. Не приходится сомневаться, что проведение социализации в недостаточно подготовленных условиях, что требует осуществления революции, — понимаемой не только как разрыв правовой преемственности, но и как последующая власть террора, — не может ни в краткосрочном, ни в долгосрочном плане пойти кому бы то ни было на пользу, за исключением самих ее организаторов. Профессиональные агитаторы могут возбуждать энтузиазм в отношении социализации и прославлять смелость тех, кто готов идти на связанный с нею риск. Что же касается интеллектуала, то единственная форма проявления мужества, которая может сделать ему честь, — это смелость критиковать, предостерегать и сдерживать.

4. Политика социалистов до провозглашения социализма: пример Англии

Возникает вопрос, следует ли из всего сказанного, что сейчас и в ближайшие пятьдесят или сто лет социалистам не остается ничего другого, кроме как проповедовать и ждать? Конечно, такого поведения трудно ожидать от партии, желающей сохранить своих членов, но все доводы и упреки, проистекающие из этого по-человечески понятного соображения, не должны заслонить от нас другой весомый аргумент в пользу нашего вывода. Не вступая в противоречие с логикой, можно доказать, что социалисты заинтересованы в том, чтобы те тенденции в капитализме, которые им на руку, могли и дальше беспрепятственно развиваться.

И все же, думается, это не означает, что в наше время социалистам вообще нечего делать. Конечно, сегодня попытки установления социалистического строя в большинстве крупных и во многих небольших странах, несомненно, закончились бы неудачей, — возможно, поражением идеи социализма как таковой и уж наверняка поражением тех групп социалистов, которые пошли на этот решительный шаг. Но тогда другая группа, не обязательно социалистическая в обычном смысле этого слова, могла бы с легкостью овладеть их багажом. Если политика социализации после декрета о провозглашении нового строя — дело весьма проблематичное, то проведение этой политики в предшествующий период имеет куда большие шансы. Участвуя в осуществлении социализации наряду с другими партиями, но лучше представляя ее

смысл, социалисты не приносят в жертву идею полной социализации. Поясню свои соображения по данному вопросу конкретным примером.

Все интересующие нас особенности общественного развития хорошо прослеживаются на примере современной Англии. С одной стороны, структура ее промышленности и торговли, безусловно, не созрела для успешной единовременной социализации, в частности, потому, что концентрация контроля в руках крупных корпораций не достигла необходимого уровня. Соответственно ни менеджмент, ни капиталисты, ни рабочие не готовы принять социализацию — во всяком случае, они сохранили немало жизнеспособного «индивидуализма», чтобы противодействовать социализации. С другой стороны, примерно с начала нынешнего столетия в Англии наблюдалось заметное снижение предпринимательской активности, в результате чего, в частности, *все* политические партии не только допускали, но и требовали, чтобы государство взяло в свои руки управление и контроль в важнейших отраслях (например, в производстве электроэнергии). Можно утверждать, что в Англии, как ни в одной другой стране, капитализм в основном выполнил свое предназначение. Более того, к настоящему времени в Англии сформировалось зрелое гражданское общество. Английские рабочие хорошо организованы, а их лидеры, как правило, обладают должным чувством ответственности. Опытная бюрократия с ее безупречными культурными и нравственными стандартами наверняка сумела бы организовать новые структуры, необходимые для расширения сферы государственного влияния. Непревзойденная честность английских политических деятелей и наличие исключительно умелого и цивилизованного правящего класса позволяют здесь с легкостью делать то, что было бы невозможно в других странах. В частности, правящий класс оптимальным образом сочетает приверженность закрепленным традициям и чрезвычайную приспособляемость к новым принципам, обстоятельствам и людям. Он стремится управлять, но готов делать это от имени различных — сегодня одних, а завтра других — заинтересованных кругов. Он управляет промышленной Англией так же хорошо, как раньше Англией аграрной, протекционистской Англией так же хорошо, как фритредерской. Он обладает непревзойденным умением присваивать не только политические программы своих оппонентов, но и их интеллектуальные способности. Правящий класс ассимилировал Дизраэли, который в другой стране мог бы стать вторым Лассалем. Если бы потребовалось, он сумел бы ассимилировать самого Троцкого, или, вернее, герцога Принкипо*, рыцаря ордена подвязки, кем, несомненно, стал бы Троцкий, окажись он в Англии.

* Остров в Мраморном море, на котором Троцкий жил в эмиграции.

В этих условиях возможна такая политика социализации, которая, с одной стороны, посредством широкой программы национализации способна обеспечить значительное продвижение по пути социализма, а с другой — может на неопределенное время сохранить в неприкосновенности те сферы деятельности и интересы, которые не охвачены программой. Их даже можно было бы освободить от многих регламентаций и тягот (фискальных и иных), мешающих им сегодня.

Перечислим сферы деятельности, где социализация может происходить без существенных потерь в эффективности или серьезного влияния на отрасли, оставляемые в частном управлении. Вопрос о компенсации собственникам может быть решен примерно так, как предлагалось выше, когда речь шла о «зрелой» социализации. При нынешних налоговых ставках на доходы и наследство компенсация не станет серьезной проблемой.

Первое. Бесспорно, созрела для социализации английская банковская система. Банк Англии мало чем отличается от казначейства, и в действительности у него меньше независимости, чем должно было бы быть у такого финансового органа в хорошо организованном социалистическом обществе. В коммерческих банковских структурах концентрация и бюрократизация, видимо, достигли необходимого уровня. Крупные банковские концерны можно было бы обязать поглотить все оставшиеся независимые банки, а затем они вместе с Банком Англии образовали бы Национальную банковскую администрацию, которая включила бы в себя также сберегательные банки, строительные общества и т. п. Все эти преобразования никак не затронули бы непосредственно интересы клиентов, и последние узнали бы о том, что произошло, только из газет. Выигрыш от рационализации всех связей в сфере банковских услуг может быть весьма значительным. Другим ценным, с точки зрения социалистов, следствием, явится усиление государственного влияния в ненационализированных секторах экономики.

Второе. Страховой бизнес давно уже является кандидатом на национализацию, и к настоящему времени он в значительной мере механизирован. Может оказаться вполне реальным делом объединение его хотя бы с некоторыми видами социального страхования; издержки по продаже страховых полисов могли бы быть заметно снижены, и социалисты могли бы поздравить себя, поскольку государство, установив контроль над фондами страховых компаний, получило бы дополнительный инструмент власти.

Третье. Мало найдется людей, которые видели бы серьезные проблемы в социализации железнодорожного и даже автогрузового транспорта. Внутристрановые перевозки — это наиболее явный пример экономической деятельности, которой может успешно управлять государство.

Четвертое. Национализация горнодобывающей промышленности, в особенности добычи угля и производства продуктов его переработки, включая бензол, а также продажи угля и его производных, может сразу же повысить экономическую эффективность этих отраслей и в случае удовлетворительного решения проблемы оплаты и условий труда рабочих обеспечить успешное развитие производства. С точки зрения технологии и коммерции тут все ясно. Впрочем, не менее очевидно и то, что в химической промышленности, где частному предпринимательству принадлежит активная роль, национализация вряд ли имела бы подобный успех.

Пятое. Национализация производства, передачи и распределения электроэнергии в значительной мере уже осуществлена. Остается добавить, что электротехническая промышленность — это типичный пример отрасли, успешно демонстрирующей возможности частного предпринимательства и позволяющей убедиться, сколь бессмысленно с точки зрения интересов экономики как выступать за всеобщую социализацию, так и вообще отвергать любые шаги в этом направлении. Но на примере производства энергии отчетливо видны и сложности получения прибыли в социализированной отрасли. Ведь прибыльность по-прежнему останется существенным условием успешного развития, если государственный сектор включит в себя столь значительную часть экономики, и в то же время за государством сохранятся все его нынешние функции.

Шестое. Социализация черной металлургии, думается, более проблематична сравнительно с теми отраслями, о которых шла речь выше. Однако эта отрасль, бесспорно, уже «перебесилась», и ею можно управлять. Разумеется, это управление должно охватить и мощные исследовательские подразделения. Координация принесет определенные плоды, и вряд ли возникнет реальная угроза потерь из-за ослабления стимулов предпринимательства.

Седьмое. Как представляется, управление строительством и производством строительных материалов (за исключением, пожалуй, того, что относится к области архитектуры) может успешно осуществляться соответствующими правительственными органами. Уже сегодня настолько значительная часть этой сферы так или иначе регулируется, субсидируется и контролируется, что выигрыш в эффективности в связи с социализацией, возможно, с лихвой перекроет потенциальные потери.

Программа национализации не обязательно должна ограничиваться указанными отраслями. Однако любой выход за эти пределы (речь может идти, к примеру, о производстве вооружений или ключевых отраслях промышленности, киноиндустрии, кораблестроении, торговле продовольствием) должен быть обоснован особыми, по большей части неэкономическими причинами. В любом случае национализация мо-

жет на достаточно длительный период времени ограничиться перечисленными выше отраслями. Этого хватит для того, чтобы каждый социалист, имеющий чувство ответственности, испытывал удовлетворение от проделанной работы и пошел на диктуемые соображениями рациональности уступки в отношении других сфер экономики, не вошедших в национализированный сектор. Если национализация распространилась бы и на землю — при условии, что эта мера не затронула бы статус фермера, — т. е. государству было бы передано все, что относилось к земельной ренте и арендным платежам, то у меня как экономиста это также не вызвало бы возражений[4].

Конечно, идущая сейчас война внесет изменения в социальный, политический и экономический контекст обсуждаемой нами проблемы. То, что прежде было невозможным, станет достижимым, и наоборот. Я посвящу этому вопросу несколько страниц в конце книги. Но мне представляется важным ради ясности политической концепции рассмотреть эту проблему независимо от последствий войны. Иначе суть дела не сможет быть должным образом понята. Поэтому я и оставил эту главу в том виде, как она была написана летом 1938 г., не изменив ни ее форму, ни содержание.



[4] Здесь не место говорить о личных предпочтениях. Однако я хотел бы пояснить, что это замечание является данью профессиональному долгу и вовсе не свидетельствует о моем одобрении такого варианта. Напротив, будь я англичанином, я бы всеми возможными способами противился ему.

Часть четвертая

СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Глава XX

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

1. Диктатура пролетариата

Нет ничего более обманчивого, чем очевидное. События последних 20—25 лет научили нас видеть проблему, сформулированную в заголовке этой части книги. Примерно до 1916 г. подавляющему большинству людей взаимосвязь между социализмом и демократией казалась совершенно бесспорной, в особенности официальным представителям социалистической ортодоксии. В это время вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову оспаривать притязания социалистов на членство в демократическом клубе. Сами социалисты, за исключением некоторых синдикалистских групп, неоднократно заявляли о своей приверженности демократии, провозглашали себя исключительными хранителями истинной демократической идеи, которую ни в коей мере не следует смешивать с буржуазной фальсификацией этого понятия.

Тем самым социалисты не просто пытались усилить притягательность своего учения с помощью апелляции к демократическим ценностям, совершенно естественным для них было пойти дальше и предложить теорию, согласно которой социализм и демократия неразрывно связаны друг с другом. В соответствии с этой теорией частный контроль над средствами производства лежит в основе как капиталистической эксплуатации труда, так и классового господства в политической сфере. Политическая власть класса капиталистов оказывается таким образом лишь особой формой их экономической власти. Выводы из этой теории сводятся к следующим положениям: с одной стороны,

не может быть демократии, покуда существует власть капитала (в условиях буржуазного общества политическая демократия неизбежно становится ширмой, прикрывающей эти реальные экономические отношения), и, с другой стороны, ликвидация этой власти положит в то же самое время конец «эксплуатации человека человеком» и приведет к «правлению народа», реальному народовластию.

Этот аргумент, конечно же, является чисто марксистским по своей сути. Фактически он лишь логически следует из определений, закрепленных за всеми этими понятиями в марксистской схеме, а то и просто повторяет их. Именно поэтому (из-за неразрывной связи с марксистской схемой) этот тезис неизбежно постигнет судьба доктрины об «эксплуатации человека человеком»[1].

Ниже будет изложено то, что представляется мне более обоснованным анализом отношений между социалистическими группами и демократическим кредо. Мы также хотели бы получить более реалистичную теорию взаимоотношений между собственно социализмом и демократией, т. е. таких отношений, которые, независимо от чьих бы то ни было желаний и лозунгов момента, складываются между социалистическим строем, как мы его определили, и modus operandi [способом действия — *лат.*] демократического правления. А для того, чтобы решить эту проблему, мы должны прежде всего исследовать, в чем же состоит сущность демократии. Однако предварительно необходимо разъяснить еще один момент.

В принципе социализм как таковой не противоречит идеалу истинной демократии. Беда заключается в том, что социалисты далеко не всегда разборчивы в средствах, какими они пытаются провести этот идеал в жизнь. Слова «революция» и «диктатура» смотрят на нас с обложек священных для них текстов, а многие из современных социалистов открыто демонстрируют, что у них нет возражений против того, чтобы взломать ворота в социалистический рай с помощью насилия и террора, которые должны дополнить более демократичные способы перехода в новое качественное состояние общества. Собственная позиция Маркса по этой проблеме может быть интерпретирована самыми разными способами, в том числе и таким, который полностью обеляет его (восстанавливает его авторитет) в глазах последовательных демократов. В первой части было продемонстрировано, как могут быть согласованы и примирены его воззрения на эволюцию общества и социальную революцию. Революция в его понимании означает не попытку меньшинства навязать свою волю непокорному народу, а не что иное, как устранение препятствий, стоящих на пути его свободного волеизъявления путем разрушения социальных институтов, контролируемых группами людей,

[1] Тот факт, что власть отдельного индивида или группы лиц не может быть определена исключительно в экономических терминах, как это делает марксистская теория классов, является еще более веским доводом против этого аргумента.

заинтересованных в их консервации. Диктатура пролетариата получает схожее истолкование. В подтверждение я могу снова сослаться на соответствующие пассажи из «Коммунистического манифеста», где Маркс говорит о постепенном лишении буржуазии ее собственности и об исчезновении «в процессе развития» классовых различий, фразы, хотя и не исключающие возможности применения силы, но, по-видимому, указывающие в сторону процедуры, которая вполне могла бы соответствовать традиционному пониманию демократии[2].

Однако при всем при том основания для подобного неортодоксального истолкования марксистского учения, которое чуть ли не целиком сводит концепции социальной революции и диктатуры пролетариата только к неизбежным издержкам агитационной работы, призванной разжечь воображение масс, не слишком убедительны. Многие социалисты, являвшиеся или во всяком случае провозглашавшие себя учениками Маркса, придерживались иного мнения. Принимая во внимание высказывания на этот счет признанных авторитетов в данной области, которым по должности следовало бы знать закон лучше, чем мне, и исходя из впечатления, основанного на внимательном прочтении томов «Neue Zeit», я должен отметить, что при всей неоднозначности истолкования марксистского теоретического наследия, если бы Марксу пришлось выбирать между социализмом и демократией, он, вероятно, предпочел бы первый и поставил бы социализм выше формального следования демократической процедуре.

В этом случае он, несомненно, провозгласил бы, как много раз делалось и после него, что он нисколько не отходит от реальной демократии, ибо для того, чтобы дать ей жизнь, необходимо прежде всего устранить ядовитые испарения капитализма, которые душат ее в зародыше. Для приверженца демократии важность следования демократической процедуре, очевидно, возрастает пропорционально важности предмета рассмотрения. Отсюда вытекает, что следование демократической процедуре должно быть наиболее ревностным как раз в момент фундаментальной социальной реконструкции общества. Если кто-то готов проигнорировать это требование и воспользоваться хотя бы отчасти недемократичными средствами для претворения в жизнь формально объявленного демократическим решения, то в конце концов окажется, что этот человек ставит какие-то другие вещи выше ценностей демократии. Последовательный демократ будет рассматривать любую попытку социальной реконструкции, связанную с нарушением демократических процедур, как порочную в своей основе, как бы ни казалась она ему привлекательной со всех других точек зрения. Попытка навязать народу нечто, пусть даже и представляющееся кому-то весьма привлекательным, но не желаемое самими людьми, — да-

[2] В гл. XXV я еще вернусь к вопросу о том, как проблема демократии понималась лично Марксом.

же в том случае, если ожидается, что это новшество со временем придется им по вкусу и принесет результаты, которые они смогут по достоинству оценить, — является отличительным признаком антидемократических убеждений. Дело казуистов рассуждать о том, можно ли сделать исключение для антидемократических действий, совершаемых с единственной целью установления истинной демократии, если при определенных обстоятельствах ее можно будет обеспечить только таким способом. Даже в том случае, если это действительно так, подобная постановка вопроса не имеет никакого отношения к социализму, который, как мы видели, вполне достижим и демократическим путем, если можно ожидать, что он будет практически эффективен.

В любом случае очевидно, что всякие рассуждения в пользу ограничения демократии на переходный период дают великолепную возможность уклониться от ответственности за последствия этого шага. Такие временные, промежуточные периоды вполне могут длиться целые столетия, а средства, полученные правящей группой в результате победоносной революции, используются для того, чтобы неограниченно продлить собственное пребывание у власти или чтобы принять такие внешние формы демократии, которые полностью выхолащивают само содержание этого термина.

2. Опыт социалистических партий

Поскольку мы обратились к изучению опыта социалистических партий, неизбежно возникнут сомнения в декларируемой социалистами неизменной приверженности демократии в прошлом и настоящем.

Прежде всего существует огромное социалистическое государство, где безраздельно господствует одна партия, представляющая меньшинство населения. И делегаты от этой партии, собранные на ее XVIII съезд, слушающие доклады и принимающие резолюции, обошлись при этом без всего, что хотя бы отдаленно напоминало дискуссию в общепринятом смысле слова. Они закрыли съезд, проголосовав, как официально заявлено, за резолюцию о том, что «русский народ (?), безусловно преданный партии Ленина — Сталина и лично великому вождю, принимает программу великих свершений, которой предначертано стать величайшим документом эпохи, единодушно одобряет доклад тов. Сталина и выражает готовность неколебимо претворить его в жизнь», а «наша большевистская партия под водительством гения великого Сталина вступает в новую фазу своего развития»[3]. Все

[3] Я не знаю русского языка. Вышеприведенные отрывки без каких-либо изменений взяты мной из газеты, выходившей в Москве на немецком языке, и, возможно, вызовут возражения с точки зрения перевода русского текста, хотя при этом следует учитывать, что эта газета, разумеется, не могла публиковать ничего из того, что не было полностью одобрено официальными властями.

это, как и выборы из единственного кандидата, в сочетании с показательными процессами и методами ГПУ не оставляет никаких сомнений в том, что в этой стране создается «самая совершенная в мире демократия», если придать термину «демократия» соответствующее значение. Но это, конечно же, не совсем то, что понимают под словом «демократия» большинство американцев.

Тем не менее, несмотря на свой очевидный антидемократизм, это государство является социалистическим. Именно такой характер носили и недолговечная Баварская и особенно Венгерская республики. С другой стороны, без сомнения, существуют и социалистические группы, которые по сей день хранят приверженность демократическим идеалам. В их число входят, например, английские социалисты, социалистические партии Бельгии, Нидерландов, Скандинавских стран, американская социалистическая партия под руководством Н. Томаса и немецкие группы в изгнании. С их точки зрения, как зачастую и с точки зрения стороннего наблюдателя, чрезвычайно привлекательно утверждать, что в Советской России установилась система, которая далека от «истинного социализма», является досадным «отклонением» от предначертанного классиками пути, по крайней мере в том, что касается принципов демократии. Но что же в таком случае означает термин «истинный социализм», кроме благого пожелания, того умозрительного «социализма, который нам нравится»? И, следовательно, что же на самом деле подтверждают эти заявления, кроме того факта, что существуют некие формы социализма, приверженцами которых являются отнюдь не все социалисты, и в число этих форм входят явно недемократические его разновидности? Таким образом, как мы только что убедились, отрицание возможности существования социалистического режима, не имеющего ничего общего с демократией, становится просто абсурдным. Из этого логично вытекает, что следование общепринятой демократической политической процедуре отнюдь не является определяющей чертой социализма. А отсюда возникает естественный вопрос: может ли вообще в таком случае социализм быть демократическим, и если да, то в каком именно смысле?

Те социалистические группы, которые последовательно поддерживают веру в демократию, никогда не имели возможности для побудительного мотива для исповедания какого-либо иного кредо. Они существовали в социальной среде, которая начисто отторгала антидемократическую риторику, не говоря уже о действиях, и фактически всегда противилась синдикализму. Кроме того, в некоторых случаях социалистические группы имели все основания для поддержки демократических принципов, которые служили надежным прикрытием их деятельности. В других случаях большинство активных членов таких групп были полностью удовлетворены политическими или иными результатами, уже достигнутыми или вполне достижимыми на основании демократических принципов. Легко представить, что произошло

бы с социалистическими партиями Англии или, скажем, Швеции, если бы они проявили серьезную склонность к антидемократическим методам. В то же время социалисты явно ощущали, что их влияние растет и ответственные должности становятся для них все более доступными. Таким образом, исповедуя приверженность демократии, названные социалистические группы придерживались всего-навсего самой естественной линии поведения. Тот факт, что их политика не доставляла удовольствия Ленину, еще не означает, что, будь последний поставлен в подобные же условия, он повел бы себя иначе. В Германии, где партия росла и развивалась значительно более впечатляющими темпами, чем где бы то ни было, но где до 1918 г. путь к политически ответственным постам был для нее наглухо закрыт, социалисты, сталкиваясь с сильным и враждебным им государством, вынуждены были обращаться за поддержкой к симпатиям буржуазного общественного мнения и влиянию профсоюзов, которые в лучшем случае лишь частично разделяли социалистическую программу. А потому немецкие социалисты были еще менее свободны в выборе линии своего поведения и просто не могли себе позволить пренебрегать демократической риторикой, поскольку, действуя иначе, они только сыграли бы на руку своим противникам[4]. Называть себя «социал-*демократами*» для них, строго говоря, было вопросом не тактики, а выживания и проявлением элементарного здравого смысла.

Ярких примеров, которые демонстрировали бы безусловную приверженность социалистов демократии, мало, и они не слишком убедительны[5]. Общеизвестно, что в 1918 г. Социал-демократическая партия Германии имела реальный выбор и сделала его в пользу демократии, что она с необычайной энергией включилась в беспощадную борьбу с коммунистами (если это может служить доказательством приверженности демократическим идеалам). Но именно по этому вопросу в партии произошел раскол. Она потеряла значительную часть своего левого крыла. При этом выходящие из партии недовольные ее политикой члены заявляли не о разрыве с социалистической идеей, а о том, что их приверженность социалистическому знамени больше, чем у тех, кто остался в рядах партии. Более того, большинство последних хотя и остались верны партийной дисциплине, но в целом не одобряли избранной тактики. А многие из тех, кто всецело солидаризировался с этим курсом, делали это только на том основании, что по крайней мере с 1919 г. шансы на успех более радикального (т. е. в данном случае антидемократического) курса стали совершенно незначительными и, в частности, левацкая политика в Берлине означала бы серьезную опас-

[4] Эта ситуация будет более полно обсуждена в пятой части.

[5] Мы собираемся ограничиться анализом участия социалистических партий в политике. Отношение этих партий и профсоюзов к рабочим, в них не входящим, конечно, еще более показательно.

ность массового отхода от партии ее сторонников в Рейнланде и в южногерманских землях, даже если бы она и не потерпела там немедленно сокрушительного поражения. Наконец, для большинства членов партии или, во всяком случае, для тех из них, кто был тесно связан с профсоюзами, демократия давала все, к чему они стремились, включая должности и положение в обществе. Неудивительно, что в подобной ситуации социалистам пришлось поделиться завоеванными политическими трофеями с центристской (католической) партией. Такая сделка, надо сказать, оказалась приемлемой для обеих сторон. В наше время социалисты все более шумно и громогласно заявляют о своей неизменной приверженности демократии. Но надо помнить, что окончательный поворот к демократии в их политике произошел лишь тогда, когда они сами стали объектом атаки со стороны оппозиции, придерживающейся антидемократических убеждений.

Я не собираюсь осуждать немецких социал-демократов за то чувство ответственности, которое они проявили, или даже за то благодушие, с которым они обосновались в комфортабельных чиновничьих креслах. Последнее является обычной человеческой слабостью, первое же только делает им честь, что я и попытаюсь продемонстрировать в последней части этой книги. Однако надо быть большим оптимистом, чтобы принимать перечисленное выше в качестве свидетельства глубокой и неизменной приверженности социалистов демократической процедуре. В то же время мне трудно придумать более удачные примеры, которые бы лучше иллюстрировали отношение социалистов к демократии, если только мы не согласимся принять в качестве таковых русский и венгерский случаи, каждый из которых представляет собой критическую комбинацию возможности захвата власти силой с невозможностью сделать это демократическими средствами. Трудности, неизбежно вырастающие перед нами, когда мы пытаемся отыскать проявления ничем не замутненной приверженности социалистов демократическим идеалам, хорошо видны на примере Австрии. Важность стоявших перед австрийскими социалистами проблем далеко выходит за рамки значимости самой страны благодаря исключительному положению ведущей (неомарксистской) группы австрийской социал-демократии. Австрийские социалисты действительно были привержены демократии в 1918 и 1919 гг., когда она еще не была, как это вскоре стало, средством самозащиты. Однако в течение нескольких месяцев, когда перспектива монополизации ими власти казалась вполне достижимой, позиция многих из них была не столь однозначной. В то время Фриц Адлер называл принцип большинства фетишизацией «капризов арифметики» (Zufall der Arithmetik), а многие другие скептически пожимали плечами в адрес демократических правил политической игры и демократических процедур. И все эти люди отнюдь не были коммунистами, а подолгу состояли в рядах социалистической партии. Когда большевизм установился в Венгрии, вопрос о

выборе курса австрийских социалистов стал особенно жгучим. Невозможно верно понять смысл дискуссии того времени без учета того, что курс партии неплохо описывался следующим высказыванием: «Мы отнюдь не испытываем восторга от перспективы вынужденного сдвига влево (= принятия советских методов). Но если уж нам придется идти этим путем, мы пойдем по нему все как один»[6]. Эта оценка общей ситуации в стране и грозящей партии опасности была вполне разумной. Тем не менее здесь не слишком заметна твердая приверженность демократическим принципам, приписываемая социалистам. В конце концов их отношение к демократической процедуре в корне изменилось. Но эта перемена стала не результатом признания собственных ошибок и заблуждений и отказа от них, а лишь следствием венгерской контрреволюции.

Пожалуйста, не подумайте, что я обвиняю социалистов в неискренности или хочу представить их в качестве никудышных демократов или исключительно беспринципных интриганов и приспособленцев. Я убежден, что, несмотря на весь ребяческий макиавеллизм, которому предаются некоторые их пророки, в основе своей большинство социалистов были вполне искренни в своих убеждениях, особенно в том, что касается пафоса их социальной борьбы. В конце концов, людям свойственно верить в то, во что они хотят верить и в чем непрерывно убеждают других. Что касается демократии, то социалистические партии являются в этом плане не бóльшими оппортунистами, чем любые другие; они просто поддерживают демократию, если и когда она служит их идеалам или интересам, и не более того. Чтобы читатели не были шокированы подобными рассуждениями и не подумали бы, что подобная аморальность воззрений достойна только черствых политических функционеров, мы сейчас проведем в уме некий мысленный эксперимент, который в то же самое время станет отправным пунктом нашего исследования сущности демократии.

3. Мысленный эксперимент

Предположим, что какое-либо общество пришло к решению преследовать, скажем, некую религиозную секту, причем достигло его путем, полностью соответствующим представлениям читателей о демократии. Это вовсе не такой уж фантастический пример, как может показаться на первый взгляд. Общества, которые многие из нас с

[6] На простом английском языке это заявление одного из самых известных лидеров австрийских социалистов означает, что они осознавали риск, связанный с установлением большевизма в стране, полностью зависимой от капиталистических держав из-за остроты продовольственного вопроса, стране, на пороге которой стояли французские и итальянские войска, но, если бы давление со стороны России через Венгрию стало слишком сильным, они не допустили бы раскола в партии, а попытались бы привести в большевистский лагерь все стадо.

готовностью признали бы демократическими, жгли еретиков у позорного столба (этим отличалась, например, Женева во времена Кальвина) или преследовали их способами отвратительными, исходя из наших современных моральных стандартов (хорошим примером тому может служить колониальный Массачусетс). Случаи подобного рода имеют значение и тогда, когда они происходят в странах с откровенно недемократическими политическими режимами. Наивно полагать, что демократический процесс полностью исчезает, прекращает работать при автократии, что правитель, обладающий властью, сознательно пренебрегает волей собственного народа и ни при каких обстоятельствах не стремится ей следовать. Анализируя деятельность таких правителей в самые разные периоды времени, мы можем прийти к заключению, что аналогичные их поступкам действия зачастую предпринимались бы даже в том случае, если бы господствовал не автократический режим, а самая демократическая мораль. Например, по крайней мере ранние гонения на христиан вполне благосклонно воспринимались римским общественным мнением и, вероятно, были бы нисколько не мягче, если бы римское общество было совершенной демократией[7].

Охота на ведьм представляет собой другой пример подобного рода. Она выросла из народных суеверий, из самой глубины души народных масс и вовсе не была дьявольским изобретением священников и князей, которые, напротив, по мере сил и возможностей старались бороться с этим явлением. Хорошо известно, что католическая церковь сурово карала за колдовство. Но если мы сравним эти действия с теми мерами, которые предпринимались против ересей (что было главной заботой Рима), у нас немедленно сложится впечатление, что, преследуя ведьм, Святой престол скорее шел на поводу общественного мнения, нежели сам на него влиял. Даже иезуиты одно время довольно активно боролись с охотой на ведьм, но не слишком в этом преуспели, особенно на первом этапе. С конца XVII и в XVIII в. (это было время окончательного утверждения абсолютизма на всем Европейском континенте) преобладание в конце концов получили правительственные запреты. Показательно то, с какой осторожностью действовала во всем, что касалось запрещения преследования ведьм, столь сильная и

[7] Существует пример, который демонстрирует это со всей очевидностью. Светоний в своем жизнеописании Нерона («Жизнь двенадцати цезарей», книга IV) сначала перечислил акты, рассматривавшиеся им как не заслуживающие сурового осуждения, а отчасти даже похвальные (partim nulla reprehensione, partim etiam non mediocri laude digna), и только затем описал явные преступления (probra ac scelera) этого периода. Преследование Нероном христиан он ставил на первое место в череде самых достойных административных деяний императора (afficti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae). Нет причин сомневаться в том, что Светоний выражал не что иное, как мнение (а в более широком смысле даже волю) народа по данному вопросу. Отсюда вполне естественно предположить, что основным мотивом Нерона при осуществлении гонений на христиан было не что иное, как стремление утолить низменные страсти, потакать инстинктам собственного народа.

властная правительница, как императрица Мария-Терезия. Этот факт косвенно подтверждает, что она отчетливо сознавала, что в этом отношении идет против воли своего народа.

Наконец, возьмем пример, который имеет определенную связь с современными проблемами. Антисемитизм был одним из самых глубоко укоренившихся в душе народных масс предрассудков в большинстве стран, где жило сколько-нибудь значительное число евреев относительно общего населения. В наши дни этот род ксенофобии под рационализирующим влиянием капиталистической эволюции частично сдал свои позиции. Однако и сегодня остается немало людей, которые могут обеспечить успех любому политическому деятелю, обращающемуся к ним с антисемитской риторикой, способной затронуть самые чувствительные струны их натуры. (Большая часть антикапиталистических движений нашего времени хорошо усвоила этот урок воздействия на массы.) Тем не менее в Средние века евреи выжили благодаря (и это не преувеличение) защите церкви и королей, которые оградили их от неблагоприятного общественного мнения и в конце концов добились их эмансипации[8].

А теперь вернемся к нашему эксперименту. Давайте перенесемся в гипотетическую страну, которая, руководствуясь демократическими принципами в управлении, практикует тем не менее преследование христиан, сожжение на кострах ведьм и резню евреев. Мы, конечно, не одобряли бы таких действий, хотя они предпринимались бы в полном соответствии со всеми тонкостями демократической процедуры. Основной вопрос заключается в следующем: можем ли мы одобрить демократическое устройство как таковое, если оно приносит столь плачевные результаты, и отдать ему предпочтение перед недемократическим, которое избежало бы их? Если нет, мы поведем себя в точности как правоверные социалисты, для которых капитализм еще хуже, чем охота на ведьм, и которые ради того, чтобы покончить с ним, готовы использовать какие угодно антидемократические методы. Поскольку дело обстоит именно таким образом, то в этом отношении мы и они находимся в одной лодке. Несомненно, существуют фундаментальные идеалы, которые даже наиболее стойкий демократ в душе ставит выше самой идеи демократии. Все, что он понимает под демократией, заключается для него в убеждении, что именно она-то и будет надежной гарантией таких идеалов, как свобода мысли и слова, справедливость, ответственное правительство и т. д.

---

[8] Покровительственное отношение римских пап может быть проиллюстрировано на примере буллы Esti Judaeis (1120 г.), повторное подтверждение которой преемниками Папы Каликста указывало как на продолжение этой политики, так и на сопротивление ей со стороны прихожан. Покровительство европейских монархов легко объяснимо, если припомнить, что изгнание или массовое уничтожение евреев означало для них прежде всего потерю дохода, в котором они всегда так нуждались.

Причина, почему дело обстоит именно так, лежит на поверхности. Демократия — это всего лишь *метод*, так сказать, определенный тип институционального устройства для достижения законодательных и административных политических решений. Отсюда — она не способна быть целью сама по себе, безотносительно к тем решениям, которые будут приниматься в конкретных обстоятельствах при ее посредстве. Это положение должно быть отправным пунктом любой попытки дать ее точное определение.

Какой бы ни была главная отличительная черта демократического метода, только что рассмотренные исторические примеры учат нас нескольким достаточно важным вещам.

Во-первых, эти примеры позволяют нам отклонить любую попытку опровергнуть наше исходное положение о том, что, будучи политическим методом, демократия, как и любой другой метод, не может быть конечной целью сама по себе. Вполне возможно возражение, что демократия является совершенно особым, исключительным методом, который все-таки можно рассматривать в качестве абсолютного идеала или непреходящей ценности. В принципе действительно можно. Несомненно, есть люди, способные полагать, что, как бы ни была преступна или глупа вещь, которую можно насадить с помощью демократической процедуры, воля народа без всяких исключений должна преобладать или, во всяком случае, ей нельзя противодействовать иначе как способом, освященным теми же демократическими принципами. Но в подобных обстоятельствах (о которых речь шла выше) гораздо более естественным кажется говорить о толпе вместо народа и бороться с ее преступными инстинктами или глупостью всеми средствами, находящимися в нашем распоряжении. Во-вторых, если мы соглашаемся с тем, что безусловная приверженность демократии может означать лишь безусловную приверженность определенным интересам и идеалам, которым, как ожидается, она служит, то из этого вытекает, что хотя демократия, возможно, и не является абсолютным идеалом в полном смысле этого слова, но заменяет, замещает его в силу того факта, что она с необходимостью всегда и везде служит определенным интересам или идеалам, за которые мы готовы бороться и ради которых, безусловно, готовы умереть. Очевидно, что это не так[9]. Как и всякий другой метод, не больше и не меньше, демократия всегда нацелена на достижение соответствующих результатов и обеспечивает определенные интересы и идеалы. Рационально обоснованная привер-

[9] В особенности неверно, что демократия всегда, при любых обстоятельствах будет защищать свободу совести лучше, чем автократия. Об этом, в частности, свидетельствует наиболее известный из всех судебных процессов, когда-либо происходивших на земле. С точки зрения евреев, Пилат, несомненно, был представителем римской автократии. Тем не менее именно он пытался оказать покровительство свободе. Однако в конце концов ему пришлось «умыть руки», уступив разнузданной демократии.

женность демократии таким образом предполагает не только наличие системы надрациональных ценностей, но также достижение обществом такого состояния, такой фазы своего развития, при которой демократия сможет приемлемо функционировать. Предложения о совершенствовании демократии лишены всякого смысла без ссылки на определенное время и конкретные обстоятельства[10]. К этому, собственно, во многом сводятся и аргументы ее противников.

В конце концов все это очевидно, и никого не должно удивлять или, хуже того, шокировать. Страсти и достоинства, с которыми выражались демократические убеждения в любой из рассмотренных выше конкретных ситуаций, это никоим образом не обесценивает. Ясно осознавать относительную обоснованность собственных убеждений и в то же время уметь непоколебимо отстаивать их в случае необходимости — в этом и состоит отличие цивилизованного человека от варвара.

4. В поисках определения

Итак, мы имеем отправной пункт для продолжения нашего исследования. Однако само определение демократии, без которого невозможен дальнейший анализ проблемы, до сих пор выпадало из нашего поля зрения. Предварительно мы должны устранить несколько препятствий.

Нам не слишком поможет обращение к Аристотелю, который использовал термин «демократия» для того, чтобы определить одну из разновидностей своего идеала хорошо организованного общества. Некоторый свет может быть пролит на все наши сложности, если вспомнить, какое значение мы придавали термину «политический метод». Под ним подразумевался такой метод, который используется для принятия решений на государственном уровне. Он характеризуется указанием на то, кем и как принимаются соответствующие политические решения. Приравнивая понятие «принятие решений» и «правление», мы могли бы определить демократию как правление народа. Почему же такое определение не является достаточно точным?

Отнюдь не столько из-за многозначности понятия «народ» (греческий demos, римский populus и наличия огромного количества концепций «правления» (kratein) самих по себе, сколько потому, что все эти определения и концепции напрямую связаны со спором о сущности демократии. Что касается первого из перечисленных выше понятий, то из состава этого самого «народа» (populus) могут произвольно полностью исключаться, например, рабы, а отчасти и другие члены данного

[10] См. гл. XXIII.

общества. Закон может признавать любое количество классов, статусных групп, находящихся между рабством и полным или даже привилегированным гражданством. Не обращая внимание на эту узаконенную дискриминацию, различные группы населения в разное время отождествляли с этим термином и считали «народом» именно себя[11].

Конечно, мы могли бы сказать, что невозможно назвать демократическим общество, которое по крайней мере в государственных делах, таких, как, например, предоставление права на участие в выборах, руководствуется подобным узким толкованием понятия «народ». Но, во-первых, существовали государства, открыто практиковавшие дискриминацию различных статусных групп населения, о многочисленных проявлениях которой выше уже упоминалось, и тем не менее демонстрировавшие большинство характеристик, обычно связываемых с понятием «демократия». Во-вторых, дискриминации в той или иной форме вообще невозможно полностью избежать. Например, ни в одной стране, какой бы демократической она ни была, право голоса не распространяется на все население, а лишь на определенную возрастную группу. Если мы пристальнее вглядимся в причины такого рода ограничений, то обнаружим, что они распространяются на неопределенно большое количество граждан выше данного возрастного рубежа. Если в данном государстве не позволяют голосовать лицам моложе определенного возраста, мы не можем назвать его недемократическим, как это происходит в случае, если аналогичные ограничения распространяются на более широкие слои населения. Следует заметить, что не имеет значения, признаем ли мы, сторонние наблюдатели, значимость причин или обоснованность тех или иных практических правил, которые приводят к существенному увеличению доли населения, не участвующего в политической жизни. Проблема заключается в том, что принимает и признает их общество, о котором идет речь. Очевидно, что эти ограничения применяются исключительно на основании личного несоответствия (в данном случае несовершеннолетних) и неприменимы в массовом масштабе на каких-либо иных основаниях помимо неспособности человека разумно использовать свое право голоса. На самом деле критерии политической дееспособности отнюдь не однозначны. В принципе определение соответствия им конкретного индивида должно основываться на своде обычаев и правил. Безуслов-

[11] Смотри в связи с этим определение, данное Вольтером в его «Letters Concerning the English Nation» (опубликованных в Англии в 1733 г.; репринт первого издания опубликован П. Дэвисом в 1926 г. С. 49): «наиболее многочисленная, полезнейшая, можно сказать, самая добродетельная и, наконец, почитаемая часть человечества состоит из тех, кто изучает науки и законы, из торговцев, ремесленников, одним словом, из тех, кто не является тиранами; именно они и составляют то огромное целое, которое называется словом «народ». В настоящее время термин «народ» означает скорее «массы», однако определение, данное Вольтером, ближе подходит к обозначению того круга людей, для которых написана Конституция этой страны (США. — *Прим. ред.*).

но, можно сказать, что универсальным критерием является способность человека поддерживать свое существование. Однако в государстве с сильными религиозными убеждениями несогласие с ними, как и принадлежность к женскому полу в случае ярко выраженной антифеминистской направленности общества, столь же безусловно исключают людей из круга наделенных правом избирать или быть избранным. Нетерпимое в расовом отношении общество может связывать право голоса с расовой принадлежностью и т. д.[12].

Основной вопрос, повторим, заключается не в том, что мы думаем о некоторых или даже обо всех перечисленных видах политических ограничений. Основная проблема заключается в том, что при соответствующих взглядах общества на те или иные аспекты своего существования лишение прав на основании низкого экономического статуса, неподходящего вероисповедания или по признаку пола воспринимается как само собой разумеющееся и относится к тому же классу правовых ограничений, которые всем нам представляются вполне совместимыми с демократией. Мы можем, конечно, их осуждать. Но если мы так поступаем, то, руководствуясь подобной логикой, мы должны осудить теории, утверждающие важность собственности, принадлежности к той или иной религии, расе, полу, а не именовать подобные общества недемократическими. Религиозный фанатизм, например, представляется нам вполне совместимым с существованием демократии, как бы мы ни определяли последнюю. Подобный тип глубоко религиозного отношения к миру нередко характеризуется тем, что для его носителя еретик представляется большим злом, чем сумасшедший. Однако из этого факта не должно вытекать, что еретика нужно лишить возможности участвовать в принятии политических решений, так же как человека невменяемого[13].

Не должны ли мы в таком случае предоставить каждому народу (populus) самому определить, что же он из себя представляет?

Этого заключения обычно избегают, вводя произвольные дополнения в теорию демократического процесса; некоторые из них будут обсуждены в последующих главах. Тем временем мы лишь отметим, что подобное заключение существенно проясняет ситуацию. Вдруг обнаруживается, что отношения между демократией и свободой на деле являются более сложными, чем мы привыкли считать.

---

[12] Так, США исключают из числа голосующих выходцев из азиатских стран, а Германия лишает гражданских прав евреев; в южной части США негры также зачастую лишены права голоса.

[13] Для большевика любой небольшевик — то же самое, что еретик для религиозного фанатика. Отсюда господство партии большевиков per se (само по себе) не дает нам права называть советский строй антидемократическим. Мы можем назвать его так только в том случае, если самой этой партией руководят совершенно антидемократическим способом — что, собственно, и происходит на самом деле.

Еще большие трудности встают в отношении ко второму элементу, входящему в определение демократии, к правлению (kratein). Всегда трудно четко объяснить, в чем заключаются сущность и modus operandi (способ действия) той или иной формы правления. Законной властью не всегда можно реально воспользоваться, но она всегда задает важные ограничения. Определенное, хотя отнюдь не решающее значение для ее нормального функционирования всегда имеет традиционный престиж. Личный успех и отчасти независимый от успеха личный вес того или иного лица реализуется как через правовые, так и через традиционные компоненты институциональной структуры и, в свою очередь, находится под их воздействием. Ни монарх, ни диктатор, ни группа олигархов никогда не обладают абсолютной властью. Они правят не только сообразуясь с общей ситуацией в государстве, но и исходя из необходимости активно сотрудничать с определенными людьми, ладить с другими, нейтрализовывать активность третьих и подавлять остальных. Все это достигается самыми разными конкретными действиями, совокупность которых и должна определять, что означает данный тип государственного устройства для страны, в которой он принят, и для исследователя. В этом смысле говорить о монархии так, будто это понятие в любых обстоятельствах означает совершенно определенную форму правления с присущим ей обязательным набором методов властвования и управления, является просто проявлением элементарного дилетантизма. И если уж именно народ, каким бы образом его ни определять, должен осуществлять правление, возникает еще один неудобный вопрос. Как технически возможно правление «народа»?

Существует целый ряд случаев, в которых эта проблема не встает по крайней мере в острой форме. В небольших и примитивных сообществах с простой социальной структурой[14] не существует больших разногласий между ее составляющими. В данном случае все индивиды, составляющие народ, как его определяет конституция, участвуют во всех делах законодательства и управления. Конечно, определенные трудности остаются даже в таких случаях, и специалист, занимающийся психологией группового поведения, добавил бы к сказанному еще кое-что о лидерстве, способах манипулирования общественным мнением и других существенных отличиях реальной модели от популярного идеала демократии. Тем не менее здесь, очевидно, имело бы смысл говорить о воле и о правлении народа, особенно в тех случаях, когда люди приходят к политическим решениям посредством публичных дебатов, осуществляемых в присутствии каждого члена сообщества, как это было, скажем, в греческом полисе или на городских собраниях Новой

[14] Небольшое количество членов и концентрация людей на небольшом пространстве имеют в данном случае существенное значение. Примитивность цивилизации и простота структуры важны в меньшей степени, но наличие этих условий значительно облегчает функционирование механизма демократии.

Англии. Эти последние примеры, иногда квалифицируемые как проявления «прямой», «непосредственной» демократии, послужили отправным пунктом для размышлений на эту тему многих политологов.

Во всех остальных случаях неизбежно встает уже названная нами проблема — как технически осуществить правление народа и осуществимо ли оно вообще. Можно было бы несколько ослабить ее остроту, но при условии, что мы готовы отбросить в сторону термин «правление народа» и заменить его понятием «правления, одобренного народом». Многое нужно еще сказать по этому поводу. Значительное число утверждений, привычно относимых нами на счет демократии, на самом деле верны по отношению к самым разным формам правления, при которых власти обладают поддержкой значительного большинства граждан или, еще лучше, подавляющего большинства в каждой социальной группе или классе населения. Это же относится, в частности, и к преимуществам, как правило, приписываемым исключительно демократическому методу. В их число входят обеспечение достоинства личности, удовлетворение от чувства сопричастности к решению сложных политических проблем, от согласования большой политики с общественным мнением, доверие граждан своему правительству и сотрудничество с ним и одновременно возможность последнего положиться на ответственность и поддержку человека с улицы. Все это и многое другое, что зачастую кажется нам самым существом демократии, достаточно полно описывается понятием правления, одобренного народом. И поскольку совершенно очевидно, что, исключая случаи «прямой демократии», народ как таковой не в состоянии на практике непосредственно управлять или руководить страной, это определение, казалось бы, не нуждается в дополнительном обосновании.

И тем не менее мы не можем понять его. Большинство реальных исторических случаев автократического правления (и освященного божьей милостью (dei gratia), и диктаторского), конституционных монархий или аристократических и плутократических олигархий, как правило, характеризовались безусловной, часто горячей и ревностной поддержкой подавляющего большинства всех классов общества. Из этого следует, что применительно к конкретным историческим условиям они преуспевали в защите того, что, по убеждению большинства из нас, должен отстаивать только демократический строй. Нам следует подчеркнуть это обстоятельство и признать наличие значительного элемента демократии — в данном смысле — даже в самых автократических на первый взгляд режимах. Такое противоядие от культа слишком простых и ясных форм и упрощенной фразеологии было бы весьма кстати. Но, принимая все эти рассуждения, мы окончательно потеряли бы тот феномен, который хотим определить: демократией станет называться гораздо более широкий класс форм государственного и

политического устройства, среди которых есть и значительное количество форм явно недемократического оттенка.

Наша неудача учит нас по крайней мере одной вещи. За пределами «прямой», «непосредственной» демократии лежит бесконечное множество возможных форм, в рамках которых народ способен принимать участие в делах государственного управления или же влиять на него и контролировать тех, кто на самом деле его осуществляет. Ни одной из таких форм, особенно это касается реально функционирующих, не может быть предоставлено исключительное право носить название «правление народа». Можно присвоить этот титул некоторым из них, только оговорив предварительно значение, какое мы придаем в таком случае термину «правление». И хотя в действительности народ никогда не правит, в принципе мы можем договориться, что он, по определению, делает это всегда.

Правовые (legal) теории демократии, появившиеся в XVII—XVIII вв., были ориентированы исключительно на то, чтобы дать такое определение, которое связало бы реальные и идеальные формы политического устройства с исповедуемой авторами идеологией «народовластия». Почему эта идеология оставила такой заметный след в европейской общественно-политической мысли, понять несложно. В это самое время, по крайней мере в том, что касается государств Западной Европы, мистический покров божественного помазания и предназначения быстро спадал с плеч абсолютных монархий[15].

Этот процесс, разумеется, начался гораздо раньше, а закончился он тем, что после падения авторитета абсолютизма «воля народа», или «суверенная власть» народа, заняла освободившееся место. Для такого склада мышления, который уже мог расстаться с харизмой абсолютной власти, но не был в состоянии существовать без всякой харизмы вообще, подобная замена оказалась наиболее приемлемой одновременно и с этической точки зрения, и в качестве объяснительного принципа.

Итак, проблема была поставлена, и правовая мысль начала поиск средств, с помощью которых она могла бы примирить базовый постулат о верховенстве «воли народа» с существующими моделями политического устройства. Воображаемый общественный договор о подчинении государю свободного землепашца[16], посредством которого, как

[15] «Patriarcha» сэра Роберта Филмера (опубликован в 1680 г.) можно рассматривать в качестве последнего заметного проявления доктрины божественного права в английской политической философии.

[16] Эти договоры были искусственно созданной юристами конструкцией (fictiones juris et de jure). Но они имели реальную историческую аналогию, а именно добровольное подчинение фригольдера средневековому феодалу, широко практиковавшееся в Англии между VI и XII вв. Фригольдер принимал на себя определенные экономические обязательства и находился под юрисдикцией феодала. Он терял при этом свой статус абсолютно свободного человека, а в обмен получал защиту со стороны феодала и некоторые другие преимущества.

подразумевалось, суверенный народ уступил свою свободу и власть, или не менее фиктивное соглашение о делегировании властных полномочий или, во всяком случае, ряда прерогатив избранным представителям — вот к чему свелось философско-правовое творчество ученых мужей того времени. Как бы хорошо ни служили все эти выдумки определенным практическим целям, они абсолютно лишены для нас какой-либо научной или практической ценности. Их невозможно даже серьезно защищать с юридической точки зрения.

Для того чтобы придать всем этим концепциям делегирования и представительства какой-то смысл, приходится апеллировать не к отдельным гражданам, а к народу как целому. Предполагается, что этот самый народ делегирует свою власть, скажем, парламенту, который и является органом правительства. Однако только отдельная личность, автономная физически и морально, способна на основании закона передать свои полномочия или быть кем-то представленной. Таким образом, на Континентальных конгрессах, проходивших с 1774 г. в Филадельфии (так называемые «революционные конгрессы»), фактически были представлены американские колонии (штаты), пославшие своих делегатов, а отнюдь не народ этих самых колоний, поскольку народ как таковой не является субъектом права. Сказать, что делегаты народа властвуют от его имени или представляют его в парламенте, — это все равно, что заявить нечто, лишенное всякого юридического (legal) смысла[17].

Что же в таком случае представляет собой парламент? Ответ лежит на поверхности: это государственный орган, такой же, как правительство или суд. Если парламент и представляет народ, то делает это в несколько ином, отличном от обыденного смысле, который нам еще предстоит рассмотреть в последующих главах книги.

Однако все эти «теории» о суверенитете народа, о делегировании им своих полномочий и о представительстве отражают нечто большее, чем просто идеологический постулат или образцы правовой техники. Они дополняют социологию или социальную философию политического тела, которая отчасти под влиянием возрождения воззрений древних греков, отчасти под влиянием событий своего времени[18]

---

[17] Как нет никакого юридического смысла в общественном обвинении от имени народа на судебном процессе, например, «народ против такого-то и такого-то». Правовым субъектом (legal person), осуществляющим судебное преследование и представляющим обвинение, выступает государство.

[18] Это особенно заметно в Англии прежде всего на примере творчества Джона Локка. Как политический мыслитель, под видом общих философских рассуждений он просто выступал против Якова II и активно поддерживал своих друзей вигов, которые провозгласили себя творцами «славной» революции. Это обстоятельство объясняет шумный успех его рассуждений, которые без такого практического довеска были бы ниже всякой критики. Цель правительства — благо народа, а это благо состоит в защите частной собственности, наличие которой делает людей полноценными членами общества. Ради этой ▶

бурно развивалась, достигнув своего расцвета к концу XVIII в., и предприняла попытку решить извечную проблему правления народа. Хотя столь общие понятия вообще никогда не бывают абсолютно точными и неоспоримыми, я все же рискну описать эту концепцию как рационалистическую, гедонистскую и индивидуалистическую. Толкуемое в гедонистическом духе понятие счастья отдельных людей предполагает, что эта цель и средства ее достижения ясно всеми понимаются или, во всяком случае, получают ясное истолкование в процессе воспитания индивидов; в нем стали видеть смысл жизни и воспринимать его в качестве универсального принципа, лежащего в основе как частной жизни, так и политической сферы. Мы можем определить эту социологию или социальную философию, продукт раннего капитализма, термином «утилитаризм», который был введен в научный оборот Джоном Стюартом Миллем. В соответствии с этим учением поведение, согласующееся с подобным принципом, признавалось не только рациональным и в целом оправданным, но тем самым (ipso facto) еще и «естественным» поведением. Это положение явилось своеобразным соединительным мостиком между совершенно разными социальными теориями чистого утилитариста И. Бентама и Ж.-Ж. Руссо с его идеей общественного договора (contrat social) — имена, которые подобно маякам останутся в поле нашего зрения, в то время как многие другие нам просто придется опустить в рамках данного исследования.

Если такая вынужденная, искусственная краткость изложения не мешает читателям следить за ходом моей мысли и следовать моим аргументам, то утверждение о распространении этой философии на весь комплекс вопросов, связанных с определением демократии, не станет для них неожиданностью. Совершенно очевидно, что, кроме прочих последствий, этот процесс привел к возникновению новой теории сущности государства и целей его существования. Более того, благодаря акценту на роли рационального и гедонистического индивида с его этической автономией эта теория, казалось, была в состоянии дать верные политические методы для быстрого распространения государства подобного образца (модели) и для достижения таких целей, как величайшее счастье для максимально возможного числа людей и т. п. Наконец, она на первый взгляд обеспечила рациональное обоснование веры в «волю народа» (volonté générale) и воплотилась в

Продолжение сноски со стр. 644.

самой цели (общественного блага) граждане собираются вместе и заключают Общественный договор о своем добровольном подчинении королевской власти. Этот договор ныне нарушен королем, собственность и свобода нагло попираются, а потому сопротивление такой власти вполне оправдано, поскольку так считают виги — аристократы и представители лондонского торгового класса.

рекомендации, суммирующие все, что демократия означала для группы авторов, ставших известными в качестве «Философских радикалов»[19]: воспитать людей, привить им определенные ценности и затем дать им свободно голосовать.

Ожесточенная критика этой концепции поднялась почти одновременно с ее появлением как часть общей реакции против рационализма XVIII в., наступившей после французской революции и наполеоновских войн. Что бы мы ни думали о достоинствах и недостатках движения, обычно называемого романтизмом, оно, конечно, выражало более глубокое понимание докапиталистического общества и исторической эволюции вообще и таким образом выявляло некоторые фундаментальные ошибки утилитаризма, а также той политической теории, для которой служило основой. Последующий исторический, социологический, биологический, психологический и экономический анализ оказался разрушительным и для утилитаризма, и для романтизма, и сегодня трудно найти исследователя социальных процессов, который хорошо отозвался бы о них. Каким бы странным это ни казалось, но утилитаризм продолжал служить руководством к действию несмотря на уничтожающую критику. Чем менее обоснованным он оказывался, тем более полно доминировала в официальной фразеологии и риторике политических деятелей. Поэтому в следующей главе нам придется вновь обратиться к дискуссии о том, что же в конце концов можно назвать классической теорией демократии.

Нельзя сказать, что какой-либо институт, способ поведения или религиозная вера существуют лишь благодаря теории, которая некогда активно выступила в их поддержку. Демократия в этом смысле не является исключением. Создание теории демократического процесса, которая учитывала бы все реалии взаимодействия на общественной арене различных социальных групп и роль общественного сознания (public mind), на самом деле вполне возможно. Именно такая теория и будет представлена в гл. XXII, после чего мы наконец сможем ответить на вопрос о том, что случится с демократией при социализме.

[19] Для общей ориентации смотри работы: Kent. The Philosophical Radical, Graham Wallas. The Life of Francis Place, Leslie Stephen. The English Utilitarians.

Глава XXI
КЛАССИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА ДЕМОКРАТИИ

1. Общее благо и воля народа

Философия демократии XVIII в. может быть определена следующим образом: демократический метод есть такая совокупность институциональных средств принятия политических решений, с помощью которых осуществляется общее благо путем предоставления самому народу возможности решать проблемы через выборы индивидов, которые собираются для того, чтобы выполнить его волю. На практике это означает следующее.

Предполагается, что существует общее благо, достижение которого является очевидной целью любой политики. Оно легко поддается определению и пониманию со стороны любого нормального человека, если ему предъявить рациональные доводы. Таким образом, нет оправдания непониманию общего блага, и другого объяснения существованию людей, кроме незнания (которое можно преодолеть), глупости и антисоциального интереса. Кроме того, наличие общего блага требует определенных ответов на все вопросы, так что любой факт социальной жизни, любое действие, которое предпринято или которое предполагается предпринять, можно безошибочно оценить как «хорошее» или «плохое». Все люди должны, следовательно, прийти к согласию, по крайней мере принципиального характера, что существует общая воля народа (= воле всех разумных индивидов), которая соответствует общему благу, интересу, благосостоянию или счастью. Единственное обстоятельство, если не принимать во внимание глупость и злонамеренные интересы, которое может привести к разногласиям и объяснить наличие оппозиции, — это разница во мнениях, касающихся скорости, с которой поставленные общие для всех цели должны быть достигнуты. Так, каждый член общества, имея в виду общие цели, зная свои собственные интересы и оценивая, что хорошо, а что плохо, принимает активное и ответственное участие в увеличении хорошего и борьбе против плохого, а все члены общества, вместе взятые, контролируют общественные дела.

Ведение многих дел такого рода требует специальных навыков и, следовательно, должно быть возложено на соответствующих специалистов. Это, однако, не касается принципиальной стороны вопроса, поскольку эти специалисты просто действуют в целях выполнения воли народа точно так же, как врач действует в соответствии с желанием пациента поправиться. Кроме того, в сообществе любого масштаба, особенно если в нем существует разделение труда, для каждого гражданина в отдельности было бы крайне неудобным вступать в контакт

со всеми другими гражданами по любому вопросу для того, чтобы принять надлежащее участие в управлении. Удобнее оставить наиболее важные решения за индивидуальными гражданами — например, посредством участия в референдуме, — а решение остальных оставить за комитетом, ими назначенным, ассамблеей или парламентом, члены которого избираются всенародным голосованием. Этот комитет или орган, состоящий из делегатов, как мы уже видели, не будет представлять народ в правовом смысле, но в менее техническом плане он будет являться представителем народа, поскольку будет формулировать, отражать или представлять волю электората. Опять же в целях удобства этот большой комитет может разделиться на меньшие для рассмотрения различных по содержанию государственных дел. Наконец, в числе этих небольших комитетов должен быть создан комитет для решения общих задач, в основном связанных с текущим управлением, в виде кабинета или правительства, возможно возглавляемого генеральным секретарем, или так называемым премьер-министром — иными словами, козлом отпущения[1].

Как только мы примем за данность все посылки данной теории государственного устройства — или последствия, которые из нее вытекают, — демократия приобретает совершенно недвусмысленное значение, и других проблем, кроме той, как добиться ее установления, не возникнет. Более того, если отвлечься от нескольких логических противоречий, можно добавить, что в этом случае демократическое устройство не только будет лучшим из возможных, но большинство людей даже не будут рассматривать иные возможности.

Однако не менее очевидно, что, если мы хотим прийти к такому выводу, каждая из этих посылок потребует доказательств, между тем гораздо легче привести доказательства противоположного.

Во-первых, не существует однозначно определенного понятия общего блага, которое устроило бы всех, если только будут приведены рациональные доводы. Это связано не только с тем обстоятельством, что некоторые личности имеют устремления, не совпадающие с общим благом, но в первую очередьь с тем основополагающим моментом, что разные индивиды и группы вкладывают в понятие общего блага различное содержание. Этот факт, скрытый от утилитариста узостью его взгляда на мир человеческих мнений, порождает принципиальные противоречия, которые нельзя разрешить с помощью рациональной аргументации, потому что высшие ценности — наши взгляды по поводу того, как должна быть устроена жизнь и общество, — нельзя втиснуть в рамки простой логики. В ряде случаев здесь можно достичь компро-

[1] Официальная теория, описывающая функции министра кабинета, утверждает, что он назначается с целью контроля за тем, чтобы на направлении, находящемся в его ведении, выполнялась воля народа.

мисса, но американцы, говорящие: «Мы хотим, чтобы наша страна вооружилась до зубов и затем боролась за то, что мы считаем правильным, в масштабе всей планеты», и американцы, говорящие: «Мы хотим, чтобы наша страна наилучшим образом решала свои проблемы, ибо только тем она может служить всему человечеству», придерживаются непреодолимо разных ценностей, которые компромисс может привести только к деградации.

Во-вторых, даже если достаточно определенное общее благо, такое, как максимум экономического удовлетворения в утилитаристском понимании[2], оказалось бы приемлемым для всех, это не повлекло бы столь же определенных ответов на конкретные вопросы. Здесь мнения могли бы разделиться настолько, что породили бы фундаментальные расхождения по поводу самих целей. Проблемы, связанные с сопоставлением настоящего и будущего удовлетворения и даже со сравнением социализма и капитализма, остались бы нерешенными, даже если бы каждого гражданина удалось обратить в утилитаристскую веру. «Здоровья» могут хотеть все, но у людей по-прежнему не было бы единого мнения по поводу целесообразности вакцинации или операции на сосудах. И так далее.

Утилитаристы — отцы демократической доктрины не поняли до конца значения этой аргументации, потому что никто из них серьезно не рассматривал возможности коренных изменений в экономической системе и привычках буржуазного общества. Они в общем-то недалеко ушли от миропонимания мелкого лавочника XVIII столетия.

В-третьих, как следствие двух предыдущих рассуждений, концепция воли народа или всеобщей воли, которую эти мыслители взяли на вооружение, не имеет под собой реальной почвы. Эта концепция предполагает существование однозначно определяемого общего блага, приемлемого для всех. В отличие от романтиков утилитаристы не имели понятия о полумистической, облеченной собственной волей «душе народа», о которой так много говорит историческая школа юриспруденции. Они прямодушно выводили волю народа из суммы воль индивидов. А если нет ядра, общего блага, к которому, по крайней мере в долгосрочной перспективе, тяготеют *все* отдельно взятые воли индивидов, мы не сможем выявить этот конкретный тип естественной общей воли. Утилитаристский центр притяжения, с одной стороны, объединяет индивидуальные воли и пытается слить их с помощью рациональной дискуссии в волю народа и, с другой стороны, возлагает на последнюю исключительное этическое значение, которое приписыва-

[2] Сам смысл «наибольшего счастья» весьма сомнителен. Но даже если это сомнение можно было бы развеять и придать общей сумме экономического удовлетворения группы людей вполне определенное содержание, этот максимум все равно будет относиться к определенным ситуациям и оценкам, изменить которые или найти компромисс в отношении которых демократическим путем может оказаться невозможным.

ется демократии классической концепцией. *Эта концепция не состоит лишь в поклонении воле народа как таковой*, но основывается на определенных представлениях о естественном объекте такой воли, выбор которого продиктован утилитаристскими соображениями. Самое существование и высшее значение такого рода «всеобщей воли» исчезают, как только исчезает понятие общего блага. Так оба столпа классической доктрины демократии рассыпаются в прах.

2. Воля народа и воля индивида

Конечно, приведенные аргументы свидетельствуют против именно данной концепции воли народа, и не мешают нам попытаться выработать другую, более реалистическую концепцию. Я не намерен ставить под сомнение ни истинность, ни важность социально-психологических фактов, которые мы имеем в виду, говоря о воле народа. Их анализ — первоначальное условие для разработки проблем, связанных с пониманием демократии. Однако лучше не настаивать на этом термине, потому что он затушевывает то обстоятельство, что, как только мы освободим понятие воли народа от утилитаристских ассоциаций, мы будем создавать не иную теорию того же самого вопроса, но теорию совершенно иной проблемы. У нас есть все основания опасаться подводных камней, которые лежат на пути тех защитников демократии, которые, принимая под давлением растущего количества доказательств факты «демократического процесса», пытаются умастить результаты этого процесса маслом из сосудов, наполненных еще в XVIII в.!

Но хотя мы можем попробовать выделить общую волю или общественное мнение определенного рода из сложного переплетения индивидуальных и групповых ситуаций, воль, влияний, действий и реакций со стороны демократического процесса, результат будет страдать отсутствием не только рационального единства, но и рационального обоснования.

Первое означает, что хотя с точки зрения анализа демократический процесс не просто хаотичен — для аналитика не хаотично то, что может быть в какой-то степени объяснено, — однако результаты могут иметь какой-то рациональный смысл лишь случайно — как, например, имеет смысл осуществление определенной цели или определенного идеала. Последнее означает, что поскольку *такая* воля более не тождественна достижению какого-либо блага, то для того, чтобы результат был достойным с этической точки зрения, необходимо опираться на безусловную веру в демократические формы правления как таковые — веру, которая в принципе не должна зависеть от желаемо-

сти результатов. Нелегко, как мы видели, встать на такую позицию. Но даже если мы это сделаем, отказ от утилитаристского общего блага оставляет нам немало трудностей и проблем.

В частности, мы по-прежнему стоим перед практической необходимостью приписывать воле *индивида* совершенно нереалистичную степень независимости и рациональности. Если мы исходим из того, что воля граждан сама по себе — политический фактор, требующий уважения, то в таком случае эта воля должна прежде всего существовать. То есть она должна быть чем-то большим, чем неопределенным набором неких импульсов, возникающих на почве заданных лозунгов и неправильных впечатлений. Каждый должен в таком случае знать, каких взглядов он придерживается. Эта определенная воля должна проводиться в жизнь при помощи способности наблюдать и правильно интерпретировать факты, доступные всем, и критически отбирать информацию, связанную с фактами необщедоступными. Наконец, из этой определенной воли и проверенных фактов необходимо будет в соответствии с правилами логики сделать ясный и скорый вывод о том, что касается конкретных вопросов, — с такой высокой степенью эффективности, что мнение каждого отдельного человека (если оно не является явно абсурдным) будет приниматься наряду с мнением всех остальных[3]. И все это образцовый гражданин должен будет делать самостоятельно, независимо от групп давления и пропаганды[4], так как воля и выводы, не

---

[3] Это объясняет откровенно уравнительный характер и классической доктрины демократии, и широко распространенных демократических убеждений. Я далее останавливаюсь на том, как равенство может приобрести статус этического постулата. Как фактическая характеристика человеческой натуры постулат равенства ни в каком аспекте не может быть верным. Имея это в виду, сам этот постулат часто переформулируется в понятие «равенство возможностей». Но даже закрывая глаза на трудности, кроющиеся в толковании возможностей, такая переформулировка немного нам дает, потому что, когда речь идет об определении политического поведения, нам важны действительные, а не потенциальные возможности человека, если мы хотим, чтобы голос отдельно взятого индивида имел одинаковый вес при решении тех или иных проблем. Кроме того, следует иметь в виду, что благодаря демократической фразеологии какое бы то ни было неравенство ассоциируется с «несправедливостью». Эта ассоциация является важным элементом психологии неудачников и входит в арсенал политиков, на них опирающихся. Интереснейшим примером в этом плане был принятый в Афинах институт остракизма или, скорее, то, как его иногда использовали. Речь идет о том, что всеобщим голосованием индивид подвергался остракизму, причем необязательно под влиянием каких-то определенных причин. Иногда такая мера давала возможность умерить притязания слишком влиятельных граждан, которые претендовали на то, что они имеют больше прав, чем остальные.

[4] Этот термин используется здесь в своем первоначальном значении, а не в том значении, которое он все чаще получает сегодня и которое предполагает следующее определение: пропагандой является заявление, исходящее из источника, который мы не приемлем. Я думаю, что сам термин происходит от названия комитета кардиналов, рассматривающего вопросы, связанные с распространением католической веры, (cogregatio de propaganda fide). Сам по себе он не несет уничижительного оттенка и не предполагает передергивания фактов. Можно, например, пропагандировать научный метод. Пропагандировать означает представлять факты и аргументацию таким образом, чтобы повлиять в определенном направлении на действия или мнения людей.

навязанные электорату, не согласуются с понятием демократического процесса. На вопрос о том, выполняются ли эти условия в той степени, чтобы можно было говорить о функционировании демократии, нельзя сразу ответить «да» или «нет». На него можно ответить, только дав тщательную оценку противоречивых свидетельств.

Перед тем как приступить к этому вопросу, я хотел бы убедиться в том, что читатель хорошо представляет себе еще один вопрос, о котором шла речь выше. Поэтому я повторяю, что, даже если бы мнения и желания каждого отдельного гражданина представляли бы совершенно определенную и независимую основу для развертывания демократического процесса и каждый рационально и своевременно поступал бы в соответствии с ними, отсюда еще не следовало бы, что политические решения, принимаемые в рамках этого процесса, представляли бы собой нечто такое, что с большой долей убедительности может быть названо волей народа. Можно предполагать и даже считать очень вероятным, что когда воли индивидов в значительной мере разнятся, то принимаемые политические решения не будут соответствовать тому, чего «действительно хочет народ». И нельзя сказать, что если они не соответствуют тому, чего «народ действительно хочет», то народ получит «приемлемый компромисс». Так может произойти особенно при решении тех вопросов, которые носят количественный характер или поддаются градации, как, например, вопрос о том, сколько средств следует отпустить на решение проблем безработицы при том, что с необходимостью отпустить на решение этого вопроса определенные средства согласны все. Но в том, что касается качественных вопросов, таких, как вопрос о том, надо ли преследовать еретиков или ввязываться в войны, полученный результат может оказаться в силу различных причин неприемлемым для всех, в то время как навязанное недемократической инстанцией решение может оказаться гораздо более приемлемым.

Приведу пример. По моему мнению, можно определить правление Наполеона в бытность его Первым консулом как военную диктатуру. Одной из насущных проблем тогдашнего политического момента было достижение согласия по религиозным вопросам, которое преодолело бы оставленный революцией и Директорией хаос и принесло бы мир в сердца миллионов людей. Наполеон добился этого, приняв ряд блестящих решений, апофеозом которых был конкордат с Папой (1801 г.) и «органические статьи» (1802 г.), которые, примиряя непримиримое, дали необходимую степень свободы различным вероисповеданиям, укрепляя при этом власть государства. Он также реорганизовал французскую католическую церковь и пересмотрел вопрос о ее финансировании, решил деликатный вопрос о «конституционных» священнослужителях и претворил в жизнь эти новые решения с ми-

нимумом трений. Эти действия Наполеона, безусловно, важнейшее историческое подтверждение тому, что люди иногда действительно хотят вполне определенных решений. Для всех, изучающих классовую структуру того периода, это достаточно очевидно, в не меньшей степени это подтверждается и всеобщей поддержкой режима консулов, в возникновении которой религиозная политика Наполеона сыграла немалую роль. Но с трудом можно представить себе, чтобы такого результата можно было достичь демократическим путем. Антицерковные настроения к тому времени не были преодолены, и их распространение не ограничивалось побежденными якобинцами. Люди, придерживающиеся таких убеждений, или их лидеры не пошли бы на такой широкомасштабный компромисс[5]. На другом полюсе общества росли непримиримые католические настроения. Разделявшие такие убеждения люди или лидеры, зависевшие от поддержки таких людей, не остановились бы на тех рубежах, которые определил Наполеон; в частности, они не предприняли столь твердых шагов в отношении папского престола, для которых, кстати, не было особых оснований, учитывая то, как развивались события. А воля крестьян, которые требовали своих священников, церкви, церковные процессии, была бы парализована более чем естественным страхом перед тем, что революционное решение вопроса о земле будет поставлено под сомнение, как только церковные иерархи, в частности епископы, восстановят утраченные позиции. Тупик или непрекращающаяся борьба, влекущая за собой рост раздражения, были бы наиболее вероятным исходом любых попыток решить вопрос демократическим путем. Но Наполеон смог разумно решить его в значительной степени потому, что все эти группы, которые сами добровольно не могли сдать свои позиции, могли и были готовы принять навязаные сверху решения.

Это не единственный пример такого рода[6]. Если правительством для народа можно назвать такое правительство, результаты политики которого в долгосрочной перспективе окажутся приемлемыми для народа в целом, то правительство, сформированное самим народом в трактате классической доктрины демократии, часто не соответствует этому критерию.

---

[5] Законодательные органы, как бы запуганы они ни были, не смогли обеспечить Наполеону поддержку в этом вопросе. А многие из его верных сторонников были противниками компромисса.

[6] Из опыта Наполеона можно сделать и другие выводы. Он был автократом, который, когда дело не касалось его династических интересов или внешней политики, старался делать то, что, как он считал, необходимо или находится в соответствии с пожеланиями народа. Такого рода советы он давал Евгению Богарне в отношении управления Северной Италией.

3. Человеческая природа в политике

Остается ответить на наш вопрос об определенности и независимости воли избирателя, его способности наблюдать и интерпретировать и делать своевременно и быстро необходимые выводы. Этот предмет относится к той главе социальной психологии, которую можно озаглавить «Человеческая природа в политике»[7].

В течение второй половины прошлого века идея об однородности человеческой личности и об определенной воле как главной движущей силе ее действий постепенно теряла привлекательность, еще до того, как Теодюль Рибо и Зигмунд Фрейд сформулировали свои теории. В частности, эти идеи постепенно и неуклонно отбрасывались в социальных науках, где внерациональному и иррациональному элементам в нашем поведении придавалось все возрастающее значение (например, в работе Парето «Мысль и общество»). Из числа источников, свидетельствующих против гипотезы рациональности, приведу лишь два.

Один, — несмотря на то, что в дальнейшем проводились более подробные изыскания на эту тему, — связан с именем Густава Ле Бона, основателя или, по крайней мере, первого последовательного излагателя теории психологии толпы (psychologie des foules)[8]. Демонстрируя, хотя и переоценивая, реалии человеческого поведения под влиянием агломерации — в особенности внезапное исчезновение в состоянии возбуждения моральных ограничителей и цивилизованных способов думать и чувствовать, внезапные взрывы примитивных импульсов, инфантилизма и криминальных наклонностей, — Ле Бон поставил нас перед лицом неприятного, но известного всем факта, на который ранее закрывали глаза, и тем самым нанес серьезный удар по картине человеческой природы, которая лежит в основе классической доктрины демократии, и демократическому фольклору о революциях. Без сомнения, следует подчеркнуть узость фактологической базы рассуждений Ле Бона, которые, например, не очень согласуются с нормальным по-

[7] Так называется откровенная, очаровательная книга одного из выдающихся представителей английской радикальной мысли Г. Уоллеса. Невзирая на все, что было потом написано на эту тему, и особенно невзирая на детальные конкретные исследования, которые теперь дают гораздо больше возможностей лучше понять вопрос, эту книгу по-прежнему можно рекомендовать как лучшее введение в политическую психологию. Однако, после того как с удивительной и достойной всяческих похвал честностью автор ратует против некритического принятия классической доктрины, он не делает очевидного вывода. Это тем более удивительно, что он с полным правом отстаивает необходимость научного подхода и призывает к ответу лорда Брайса за то, что он в книге об Америке ратовал за то, чтобы любой ценой увидеть просвет в море необнадеживающих фактов. Г. Уоллес восклицает: «Что же мы подумаем о метеорологе, который с самого начала, не прибегая к изучению фактов, говорит о том, что он видит голубое небо». Тем не менее, излагая собственную концепцию, он в значительной мере идет по тому же пути.

[8] Немецкий термин (Massenpsychologie) предостерегает: понятие психологии толпы и психологии масс не следует смешивать. Первое не несет никакого классового содержания и само по себе не имеет ничего общего с изучением характера мышления и самоощущения, например, рабочего класса.

ведением английской или англо-американской толпы. Критики, особенно те, для которых выводы этого направления социальной психологии не согласовывались с их собственными, хорошо использовали к своей выгоде уязвимые стороны его рассуждений. Но, с другой стороны, следует помнить, что феномен психологии толпы не следует сводить к картинам массовых столкновений на узких улочках городов Южной Европы. Каждый парламент, комитет, военный совет в составе дюжины генералов преклонного возраста демонстрирует, пусть в приглушенной форме, некоторые из тех характерных черт, которые присущи вышеупомянутой толпе, в частности пониженное чувство ответственности, более низкий уровень энергии мысли и большую подверженность влиянию нелогичных аргументов. Более того, такие феномены присущи не только толпе, понимаемой как физический конгломерат многих людей. Читатели газет, аудитория радио, члены какой-либо партии, даже если физически они не находятся вместе, могут быть очень легко объединены в психологическую толпу и приведены в безумное психическое состояние, когда любая попытка привести рациональные аргументы лишь будит звериные инстинкты.

Другой источник, который я приведу, более скромный по характеру — последствия у него не связаны с кровопролитием. Экономисты, начавшие более внимательно относиться к фактам, находящимся в их распоряжении, стали приходить к выводу о том, что даже в самых повседневных делах поведение потребителей не в полной мере соответствует постулатам, которые содержатся в учебниках экономики. С одной стороны, их желания не столь определенны, а действия, направленные на выполнение желаний, не столь рациональны и быстры. С другой стороны, они столь подвержены рекламе и другим методам убеждения, что производители чаще диктуют условия вместо того, чтобы самим руководствоваться желаниями потребителей. Техника успешной рекламы в этом смысле наиболее поучительна. Почти всегда присутствует какая-то доля апелляции к разуму. Но простое утверждение, часто повторяемое, имеет большее воздействие, чем рациональная аргументация, так же, впрочем, как и прямое наступление на подсознание, которое принимает формы попыток возбудить приятные ассоциации чисто внерационального, очень часто сексуального характера.

Вывод, хотя и очевидный, следует делать весьма осторожно. Принимая часто повторяемые решения, индивид подвергается благотворному, рационализирующему влиянию положительного или отрицательного опыта. Он также находится под влиянием относительно простых, не вызывающих проблем мотиваций и интересов, на которые лишь иногда оказывают влияние эмоции. С исторической точки зрения желание потребителей приобрести ботинки может хотя бы отчасти формироваться под влиянием действий производителей, предлагающих привлекательную обувь и проводящих соответствующие рекламные кампании; вместе с тем во все времена такое желание составляет

жизненную необходимость, определенно выраженную и выходящую за рамки требования «ботинок вообще», причем длительное экспериментирование в этой области очищает ее от тех элементов иррационального, которые могли ее ранее окружать[9]. Более того, под влиянием таких простых мотивов потребители учатся действовать, основываясь на непредвзятом мнении экспертов по ряду вопросов (жилище, машина) и сами становятся экспертами в некоторых областях. Неправда, что домохозяек легко обмануть в вопросах продуктов питания, известных предметов домашнего обихода или одежды. И как знает каждый коммивояжер на своем печальном опыте, они в большинстве своем умеют настоять и получить именно то, что они хотят.

Это, конечно, еще более верно применительно к производителю. Без сомнения, производитель может быть ленивым, может плохо оценивать различные возможности, некомпетентным в других вопросах. Но есть эффективный механизм, который его переделает либо вовсе устранит. Тейлоризм зиждется на том, что человек может делать простейшие операции вручную в течение тысяч лет и тем не менее делать их неэффективно. Но, однако, намерение действовать как можно более рационально и последовательное давление в целях добиться такой рациональности, бесспорно, существуют вне зависимости от того, какой уровень производственной или коммерческой деятельности мы анализируем[10].

И это касается большинства повседневных решений, принадлежащих области, которую может охватить сознание каждого индивидуального гражданина. В общем эта область состоит из проблем, касающихся лично его, его семьи, работы, увлечений, его друзей и врагов, его квартала, клана, церкви, профсоюза или иной социальной группы, активным членом которой он является, т. е. проблем, находящихся в сфере его непосредственного внимания. Эти проблемы ему хорошо знакомы независимо от той информации, которую он получает из своей газеты, на их решение он может прямо повлиять и относительно них он имеет чувство ответственности, проистекающее из того факта, что благоприятные или неблагоприятные последствия того или иного действия имеют к нему прямое отношение.

---

[9] В нашем контексте иррациональность означает неумение действовать рационально в соответствии с определенным желанием. Речь не идет об оценке разумности желания как такового в соответствии с мнением наблюдателя. Это важно подчеркнуть, ибо экономисты, оценивая степень иррационального поведения потребителей, часто переоценивают его, смешивая первое и второе. Так, желание фабричной работницы хорошо одеваться (в рамках своего понимания) может показаться профессору показателем иррационального поведения, у которого нет другого объяснения, кроме как воздействие рекламы. На самом деле это может быть пределом ее мечтаний. В этом смысле ее затраты на выполнение этого желания могут быть строго рациональны в вышеприведенном смысле.

[10] Этот уровень, конечно, разнится не только в зависимости от времени и места, но и в данном времени и месте между различными отраслями и классами. Такого понятия, как универсальная рациональность, не существует.

Еще раз повторю: близкое знакомство с людьми и делами, чувство реальности или ответственности еще не гарантирует определенности и рациональности действия[11]. Для этого необходим ряд других условий, которые часто не соблюдаются.

Например, поколение за поколением могут страдать от нерационального поведения в вопросах гигиены и вместе с тем не связывать свои страдания со своими же вредными привычками. До тех пор, пока это не будет сделано, объективные последствия, какими бы регулярными они ни были, конечно же, не отражаются в субъективном опыте. Так, человечество с огромным трудом осознало связь между инфекцией и эпидемиями. Факты указывали на эту связь, казалось бы, с исчерпывающей очевидностью, однако до конца XVIII в. доктора почти ничего не делали для того, чтобы предотвратить общение людей, зараженных инфекционными болезнями, такими, например, как корь или оспа, со здоровыми людьми. И разумеется, что дела будут обстоять еще хуже, когда налицо не только неумение, но и нежелание признать причинно-следственные связи или существует заинтересованность в том, чтобы не признавать их.

Однако, несмотря на все это, в широких рамках человеческого поведения существует более ограниченное поле — различное по размерам у разных групп и индивидов и ограниченное скорее широкими полосами, чем четко проведенной линией, — для которого характерны хорошая осведомленность, чувство реальности и ответственности. В границах этого поля существуют достаточно определенные индивидуальные устремления. Они часто могут казаться нам неумными, узкими и эгоистичными. Неясно, почему, когда дело касается политических решений, мы должны молиться у их алтаря, и еще менее понятно, почему мы должны считать всех их равноправными. Если, однако, мы сделаем такой выбор, то этот алтарь, по крайней мере, не будет пустым[12].

---

[11] Рациональность мысли и рациональность действия — два различных понятия. Первое не всегда гарантирует второе. И наоборот, последнее может присутствовать без каких-либо сознательных выводов и независимо от умения рационально обосновать собственные действия. Наблюдатель, особенно использующий интервью и опросы как источник информации, часто закрывает на это глаза и потому получает гипертрофированное представление о важности иррациональных начал в поведении. Это еще один источник часто встречающихся оценок подобного рода.

[12] Следует отметить, что, говоря об определенных и подлинных устремлениях, я не хочу возводить их в ранг единственно возможных данных для социального анализа любого рода. Естественно, сами они — продукты социальных процессов и социального окружения. Я имею в виду, что этими данными может оперировать специальный экономический анализ, выводящий цены из вкусов или желаний, которые в любой конкретный момент являются заданными и не нуждаются в дальнейшем анализе. Аналогично мы можем в наших целях говорить о подлинных и определенных желаниях, которые в каждый конкретный момент независимы от попыток формировать их, хотя мы и признаем, что сами эти желания — результат прошлого влияния среды, в том числе пропагандистского. Различение подлинных и привнесенных, сформулированных желаний (см. ниже) — трудное дело, его нельзя осуществить во всех случаях, применительно к любой цели. В наших целях, однако, достаточно указать на соображения очевидного здравого смысла.

Эта относительная определенность желаний и рациональность поведения не исчезают вдруг, как только мы от повседневных забот дома и на работе, которые воспитывают и дисциплинируют нас, переходим к заботам иным. В области государственных дел есть области, которые более поддаются анализу со стороны граждан, чем другие. Это касается, во-первых, дел местного масштаба. Даже здесь воля выявлять факты и действовать в соответствии с ними и чувство ответственности ослаблены. Мы все знакомы с людьми — и часто вполне достойными, — которые заявляют, что местное управление — не их дело, и лишь пожимают плечами при виде действий, которые он ни за что не допустили бы на своей работе. Возвышенно мыслящие граждане, увещевающие избирателя и налогоплательщика проявить ответственность, всегда обнаруживают, что избиратель не чувствует ответственности за действия местных властей. Несмотря на это, особенно в небольших по числу людей общностях, где все друг друга знают, местный патриотизм может быть важнейшим «двигателем демократического процесса». И проблемы города во многих отношениях сродни проблемам производственного предприятия. Человек, понимающий последнее, часто до какой-то степени понимает и первое. Фабрикант, торговец или рабочий не должен выходить за рамки привычного мира для того, чтобы иметь рационально обоснованное мнение (правильное или нет) относительно уборки улиц или деятельности муниципалитета.

Во-вторых, существует ряд вопросов национального масштаба, касающихся групп и отдельных лиц непосредственно и поэтому пробуждающих вполне определенные, истинные желания. В первую очередь речь идет о вопросах, непосредственно касающихся денежных доходов индивидуальных избирателей и их групп, таких, как прямые выплаты, защитные тарифы и т. п. Исторический опыт еще со времен античности свидетельствует о том, что в целом избиратели быстро и рационально реагируют в таких случаях. Но такого рода проявления рациональности мало что дают для поддержки классической доктрины демократии. Избиратели, таким образом, оказываются плохими, коррумпированными судьями в такого рода вопросах, и часто даже в вопросах[13], связанных с их долгосрочными интересами, потому что только обещания, выполнение которых рассчитано на короткие сроки, имеют политическое значение, и, следовательно, здесь проявляется только рациональность краткосрочного характера.

[13] Причина, по которой бентамисты проглядели это обстоятельство, состоит в том, что они не видели возможности массовой коррупции, реализовавшейся в условиях современного капитализма. Делая в своей политической теории ту же ошибку, что и в экономической, они уверенно провозглашали, что люди — лучшие судьи своих индивидуальных интересов, которые обязательно должны совпадать с интересами всех людей, вместе взятых. Им было тем легче это сделать, что фактически, хотя и не преднамеренно, они рассуждали с позиций буржуазных интересов, которые более выигрывали от бережливости государства, чем от прямого подкупа.

Если, однако, мы еще более удалимся от частных проблем семьи и работы в те области национальных и международных отношений, которые напрямую и непосредственно не связаны с частными заботами, то индивидуальные желания, знание фактов и логики быстро перестают отвечать требованиям классической доктрины. Что меня удивляет более всего и кажется мне ядром проблемы — так это то, что полностью теряется чувство реальности[14]. Обычно крупные политические вопросы в сознании рядового, типичного гражданина занимают место наряду со способами проведения свободного времени, которые не достигли ранга хобби, и с темами малозначительных разговоров. Эти проблемы кажутся далекими; они совершенно непохожи по характеру на деловые предложения; опасности могут вовсе не материализоваться, а если это и произойдет, то они могут оказаться не столь серьезными; у человека возникает ощущение, что он живет в воображаемом мире.

Это ограниченное чувство реальности влечет за собой не только ограниченное чувство ответственности, но и отсутствие определенной воли. У каждого, конечно, есть любимые фразы, желания, мечты, поводы для раздражения и в особенности симпатии и антипатии. Но обычно они не складываются в то, что принято называть волей — психическим явлением, соответствующим целенаправленному ответственному действию. Действительно, для частного гражданина, озабоченного делами государства, нет предмета для формирования такой воли, нет задачи, вокруг которой она могла бы выкристаллизоваться. Он — член недееспособного комитета, комитета, включающего в себя всю нацию, и поэтому на политические проблемы он тратит меньше целенаправленных усилий, чем на партию в бридж[15].

Ограниченное чувство ответственности и отсутствие четко определенной воли в свою очередь объясняют, почему рядовой гражданин не знает и не может судить о внутри- и внешнеполитических проблемах, что еще более потрясает в случае людей образованных и людей, преуспевающих в неполитических делах, чем тогда, когда речь идет о людях необразованных, занимающих в жизни скромное положение. Информации много, и она легко доступна. Но это ничего не меняет, и не стоит этому удивляться. Стоит только сравнить отношение адвоката к резюме ведущихся им дел и его же отношение к политическим новостям, из-

[14] «Острое чувство реальности» по Уильяму Джеймсу. Важность этого обстоятельства особенно подчеркивалась Грэхемом Уоллесом.

[15] Нам легче будет прояснить эту проблему, если мы зададимся вопросом, почему же партия в бридж демонстрирует нам настолько больше ума и ясности мысли, чем, например, политическая дискуссия между неполитиками. Игроки в бридж имеют определенную задачу; дисциплинирующие их правила; при этом успех или неуспех четко определены и от безответственного поведения удерживает то обстоятельство, что каждая ошибка тут же скажется и будет немедленно отнесена на счет того, кто ее сделал. Эти условия, неприменимые к политическому поведению рядового гражданина, показывают, почему в политике ему не хватает той живости ума и рассудительности, которые он демонстрирует в своей профессии.

ложенным в газете, чтобы понять, в чем дело. В одном случае адвокат годами целенаправленной, стимулируемой его собственными интересами профессиональной деятельности доказал, что он может правильно оценить значение имеющихся в его распоряжении фактов; и теперь под влиянием стимула не менее мощного он использует свои знания, интеллект, волю для анализа дела. В другом случае он не дает себе труда достичь необходимого для суждений уровня; он не дает себе труда поглощать информацию или применять к ней те каноны критического подхода, которыми он умеет пользоваться; у него не хватает терпения на длинные или запутанные доводы. Все это показывает, что без инициативы, которая проистекает из непосредственной ответственности, несмотря на все обилие точной информации, будет преобладать незнание. Оно будет преобладать даже в условиях, когда в обществе предпринимаются заслуживающие всяческих похвал усилия выйти за рамки простого изложения информации и организовать обучение тому, как ее использовать, посредством лекций, классов, дискуссионных групп. Результаты этих усилий не равны нулю. Но они малы. Людей нельзя внести вверх по лестнице — они должны карабкаться сами.

Поэтому, как только обычный гражданин затрагивает политические вопросы, он опускается на более низкий уровень умственной деятельности. Он аргументирует и анализирует так, что это показалось бы ему самому инфантильным применительно к сфере его собственных интересов. Он вновь становится дикарем: его мышление становится ассоциативным и аффективным[16]. И это влечет за собой два серьезных последствия.

Во-первых, даже если бы не было политических групп, пытающихся оказать на него влияние, то рядовой гражданин в вопросах политических скорее всего поддавался бы нерациональным или иррациональным предрассудкам и импульсам. Недостаточно рационального осмысления политических событий и отсутствия эффективной логической проверки получаемых им выводов вполне хватит, чтобы это объяснить. Более того, потому что он не до конца «вовлечен в это», он может ослабить обычные нормы морали и может поддаться влиянию темных импульсов, которые условия его частной жизни помогают ему подавлять. Но, что касается мудрости или рациональности его выводов и заключений, то, если он будет пылать праведным гневом, это будет иметь столь же негативные последствия. Это помешает ему видеть правильный масштаб вещей, рассматривать их не с одной, а с нескольких сторон одновременно. Следовательно, если однажды он выйдет из обычного состояния неопределенности и проявит определенно выраженную волю, постулированную классической доктриной демократии, то он может превратиться в еще более неумного и безот-

[16] См. гл. XII.

ветственного субъекта. В определенных случаях это может оказаться роковым для всей нации[17].

Во-вторых, при слабости логического элемента в общественном мыслительном процессе, отсутствии рациональной критики и принуждающего к рациональности влияния собственного опыта и ответственности возрастают возможности групп, которые преследуют свои корыстные цели. Такие группы могут состоять из профессиональных политиков, представителей экономических интересов или даже разного рода идеалистов, которые попросту заинтересованы в постановке политических шоу. Социология таких групп не имеет отношения к нашей проблеме. Здесь имеет значение только то, что, поскольку человеческая природа в политике такова, какая она есть, они могут формировать их в очень широких пределах, влиять на волю народа и даже создавать ее. При анализе политических процессов мы в большей степени сталкиваемся не с подлинной, а со сфабрикованной волей. И часто эта последняя и составляет ту общую волю, о которой говорит классическая доктрина. До тех пор, пока это так, воля народа есть продукт, а не движущая сила политического процесса.

Пути формирования воли общества по тем или иным вопросам, и сами эти вопросы в точности совпадают со способами воздействия коммерческой рекламы. В обоих случаях речь идет о попытках воздействия на подсознание. И здесь, и там одни и те же способы создания приятных или неприятных ассоциаций, которые тем более эффективны, чем менее рациональны. И здесь, и там те же оговорки и умалчивания, тот же способ формирования общественного мнения с помощью постоянно повторяемых утверждений, которые лучше всего достигают цели тогда, когда они обходят рациональные аргументы и не рискуют разбудить критические способности людей. И так далее. Все эти средства более применимы в сфере политической, чем в сфере частной и профессиональной жизни.

Так, портрет красивейшей из девушек на обертке в конечном счете не сможет поддержать на неизменном уровне продажу плохих сигарет. В области политических решений столь же эффективных средств защиты нет. Многие решения жизненной важности носят такой характер, что общество не может позволить себе на досуге поразмыслить и поэкспериментировать с ними. Даже если это оказывается возможным, суждение не так просто вынести, как в случае с сигаретами, потому что здесь не так просто оценить последствия.

---

[17] Важность таких взрывов не вызывает сомнений. Но можно усомниться в их истинности. Анализ во многих случаях показывает, что они вызываются действием какой-либо группы и не исходят спонтанно от волеизъявления народа. В этом случае они являются феноменом иного рода, который мы будем анализировать. Лично я думаю, что истинные взрывы существуют. Но я не уверен в том, что скрупулезный анализ не откроет какого-либо психотехнического усилия, лежащего в основе этого явления.

Но эти психотехнические трюки в степени, которая совершенно нехарактерна для коммерческой рекламы, проникают в такие формы политической рекламы, которые апеллируют к разуму. Беззащитная жертва вызывает у наблюдателя иррациональное или, во всяком случае, нерациональное сочувствие, которое вовсе не становится сильнее, когда оно подкреплено аргументацией и различного рода фактами.

Мы уже говорили выше о том, почему так трудно дать общественности беспристрастную информацию о политических проблемах и сделать из нее необходимые выводы и почему происходит так, что информация и аргументы, касающиеся политических вопросов, попадут в цель, только если они соответствуют уже сложившимся взглядам гражданина. Как правило, однако, эти взгляды недостаточно определенны для того, чтобы предопределить конкретные выводы. Поскольку сами эти выводы можно сфабриковать, то эффективная политическая аргументация почти неизбежно предполагает попытки придать определенные очертания уже существующим волевым проявлениям, а не просто провести их в жизнь или помочь гражданину составить собственное мнение. Поскольку в своих интересах или для достижения своих целей человек легко солжет, то мы предполагаем и на самом деле находим, что эффективная аргументация в политике всегда является фальсифицированной или выборочной[18] и состоит в том, чтобы превратить некоторые положения в аксиомы, а иные, наоборот, замолчать; таким образом, она сводится к психотехническим приемам, о которых говорилось выше. Читателю, считающему меня слишком большим пессимистом, стоит только вспомнить о том, что он сам слышал — или говорил, — что о тех или иных неудобных фактах не стоит говорить открыто, а те или иные аргументы, хотя и правильные, приводить нежелательно. Если люди, которые по общепринятым оценкам достойны всяческого уважения, мирятся с этим, то разве они тем самым не выказывают своего отношения к достоинствам и даже к самому существованию воли народа?

Конечно, всему этому есть пределы[19]. И есть правда в мысли Джефферсона о том, что в конечном счете народ мудрее каждого отдельно взятого индивида, или в высказывании Линкольна о невозможности «дурачить всех все время». Но оба эти высказывания не случайно подчеркивают долгосрочный аспект. Без сомнения, можно утверждать, что со временем коллективное сознание людей вырабатывает мнения, которые весьма часто представляются в высшей степени разумными и даже проницательными. История, однако, состоит из последователь-

[18] Выборочная информация, правильная сама по себе, есть попытка солгать, говоря правду.

[19] Вероятно, их можно было бы более четко очертить, если те или иные вопросы решались бы на референдумах. Вероятно, политики прекрасно знают, почему они почти всегда отрицательно относятся к этому институту.

ных краткосрочных ситуаций, которые могут в корне изменить ход событий. Если в краткосрочной перспективе можно одурачить всех и заставить их принять то, чего они на самом деле не хотят, и если это не исключение, на которое можно закрыть глаза, то никакое количество ретроспективного здравого смысла не меняет главного вывода: не народ в действительности поднимает и решает вопросы, эти вопросы, определяющие его участь, поднимаются и решаются за него. Приверженец демократии более, чем кто бы то ни было, должен принять этот факт как данность, тогда никто не сможет утверждать, что его вера в демократию основана на притворстве.

4. Причины выживания классической доктрины

Но почему доктрина, в такой степени противоречащая фактам, до сего дня смогла выжить и продолжает удерживать свое место в сердцах людей и в официальной фразеологии правительств? Опровергающие ее факты всем известны; все признают их с абсолютной, часто циничной откровенностью. Теоретическая база, утилитарный рационализм мертв, никто не принимает его за правильную теорию политического организма. Несмотря на кажущийся парадокс, на этот вопрос нетрудно ответить.

Во-первых, хотя политическая доктрина коллективного действия может не подтверждаться результатами эмпирического анализа, она подтверждается той опорой на религиозные представления, о которой уже шла речь. На первый взгляд это может не показаться очевидным. Утилитаристские лидеры были далеки от религии в общепринятом понимании. Напротив, они считали себя антирелигиозными и почти все считали их таковыми. Они гордились своим, как они считали, неметафизическим мировоззрением и не симпатизировали религиозным институтам и движениям своего времени. Но стоит еще раз взглянуть на ту картину социального развития, которую они нарисовали, чтобы открыть, что она воплощает в себе ключевые элементы протестантизма и, более того, сама основывается на этой вере. Для интеллектуала, который отказался от своей веры, утилитаристские убеждения заменили ее. Для многих из тех, кто остался при своих религиозных убеждениях, классическая доктрина стала их политическим дополнением[20].

Переформулированные в категориях религии, эта доктрина и, как следствие, демократические убеждения, которые на ней основаны, изменяют саму свою природу. Больше нет места логическим сомнениям относительно общего блага и высших ценностей. Все эти проблемы решены за нас Творцом, цели которого определяют и санкционируют все.

[20] Обратите внимание на аналогию с социалистическими убеждениями, которые также заменяли для одних и дополняли для других их христианские убеждения.

Все то, что раньше казалось неопределенным или немотивированным, вдруг становится вполне определенным и убедительным. Например, глас народа есть глас Божий. Или возьмем равенство. Само значение этого понятия сомнительно, и вряд ли есть какое-либо рациональное основание для того, чтобы принять его как постулат, до тех пор пока мы находимся в сфере эмпирического анализа. Но в христианстве есть сильный эгалитаристский элемент. Спаситель умер за всех: он не делал различия между людьми различного социального статуса. Поступив так, он подтвердил непреходящее значение каждой отдельно взятой души, без всяких различий. Разве это не обоснование, — как мне представляется, единственно возможное[21], того, что «каждый значит столько же, сколько другой, никто не значит больше другого», — обоснование, которое придает неземное содержание демократическому кредо, которому трудно подобрать какое-либо другое содержание. Эта интерпретация, конечно, не исчерпывает всего. Однако она может объяснить многие вещи, которые кажутся необъяснимыми и даже лишенными смысла. В частности, она объясняет отношение верующего к критике: опять, как и в случае с социализмом, фундаментальные расхождения во взглядах расцениваются не как ошибка, а как грех; они вызывают не просто логические контраргументы, но моральное осуждение.

Можно иначе поставить вопрос и заявить, что демократия, обосновываемая таким образом, перестает быть просто методом, который можно рационально обсуждать, как устройство паровоза или свойства дезинфицирующих средств. Она становится тем, что я с других позиций считал невозможным, т. е. идеалом или, скорее, частью идеального устройства вещей. Само слово может стать знаменем, символом всего, что дорого человеку, что дорого ему в своей нации, независимо от того, рационально это или нет. С одной стороны, вопрос о том, как различные тезисы, предусматриваемые демократическими убеждениями, связаны с фактами политической жизни, станут ему столь же безразличны, как верующему католику безразлично, как совмещаются действия Папы Александра VI* со сверхъестественным ореолом, окружающим институт папства. С другой стороны, демократ такого типа, принимая постулат равенства и братства, сможет принять, причем искренне, любую долю отклонений от них в собственном поведении или взглядах. Это даже не нелогично. Простое

[21] Можно возразить, что, как ни трудно придать *общее* значение понятию Равенства, такое значение почти всегда можно вывести из контекста. Например, из анализа условий Геттисбергской речи можно заключить, что, заявляя, что все люди созданы свободными и равными, Линкольн просто имел в виду равенство статуса в противовес рабству. Такое значение вполне определенно. Но если на вопрос, почему такое заявление должно обязывать нас в моральном и политическом плане, не ответить: «Потому что все люди по природе одинаковы», то мы может апеллировать лишь к божественной воле, в соответствии с христианской верой такое решение подразумевается словом «созданы».

* Александр Борджиа (1431—1503). Прославился организованной им серией убийств своих политических противников.

несовпадение с фактами — не аргумент против этической максимы или мистической надежды.

Во-вторых, следует иметь в виду то обстоятельство, что формы и фразы классической демократии для многих наций ассоциируются с событиями их истории, которые с энтузиазмом воспринимает подавляющее большинство населения. Любая оппозиция установленному режиму скорее всего будет их использовать вне зависимости от того, какие намерения и социальные корни она имеет[22]. Если она одержит победу и последующий ход событий окажется благоприятным, то эти формы укоренятся в идеологии нации.

Соединенные Штаты — яркий тому пример. Само их существование как суверенного государства связано с борьбой против монархической и аристократической Англии. За исключением меньшинства роялистов, американцы во время администрации Гренвилля[23], по-видимому, перестали считать английского монарха *своим* королем, а английскую аристократию — *своей* аристократией. В войну за независимость они воевали против тех, кто и фактически, и по их внутреннему ощущению стал для них иностранным монархом и иностранной аристократией, препятствовавшими осуществлению их экономических и политических интересов. Однако с самого начала они представляли войну за свои национальные интересы как противостояние «народа» и «правителей» в терминах неотъемлемых Прав Человека и в свете основных принципов классической доктрины демократии. В тексте Декларации независимости и Конституции эти принципы приняты на вооружение. Поразительное развитие этой страны увлекло и удовлетворило большинство ее граждан и тем самым, казалось, подтвердило истинность доктрины, лежавшей в основе священных документов нации.

Оппозиции редко удается одержать победу, когда правящие группы находятся в зените власти и успехов. В первой половине XIX в. оппозиционные силы, придерживавшиеся классических принципов демократии, укрепились и постепенно одержали победу над правительствами, некоторые из которых, как, например, в Италии, явно находились в состоянии упадка, стали воплощением некомпетентности, грубой силы и коррупции. Естественно, хотя и не в силу логических доводов, это усилило позиции самих этих принципов, которые смотрелись в выгодном свете, особенно при сопоставлении с невеже-

---

[22] Может показаться, что следует сделать исключение для оппозиций, победы которых привели к возникновению откровенно автократических режимов. Но большинство этих режимов, как показывает исторический анализ, родились демократическим путем и правили, опираясь на поддержку народа. Цезаря убили не плебеи. Но аристократы-олигархи, убившие его, также использовали демократическую фразеологию.

[23] Джордж Гренвилль (1712—1770) — английский государственный деятель, государственный секретарь и канцлер казначейства. Он был автором закона о почтовых сборах в американских колониях, который послужил одной из причин войны за независимость этих колоний от Англии.

ством и предрассудками, которые отстаивали данные правительства. В этих обстоятельствах демократическая революция означала наступление свободы и порядочности, а демократические принципы представлялись святыней разума и человеческого рода. Ясно, что это преимущество в дальнейшем было утеряно, и разрыв между доктриной и практикой демократии неизбежно был обнаружен. Но ореол вокруг демократии угасал очень медленно.

В-третьих, нельзя забывать о том, что существуют социальные структуры, в которых классическая доктрина демократии может со значительной долей приближения соответствовать фактам. Как уже подчеркивалось, это относится в первую очередь ко многим небольшим и примитивным обществам, которые, между прочим, служили для авторов этой доктрины прототипами. Это может также касаться и непримитивных обществ при условии, что в них нет глубокого расслоения и серьезных проблем. Швейцария — лучший пример такого рода. Почти нет спорных вопросов в этой стране крестьян, где, за исключением гостиниц и банков, почти нет капиталистической индустрии и проблемы государственной политики настолько просты и стабильны, что подавляющее большинство может понять их и достичь согласия. Но сделав вывод о том, что в таких случаях классическая доктрина приближается к реальности, мы должны немедленно добавить, что это происходит не потому, что она описывает эффективный механизм принятия политических решений, но лишь потому, что нет необходимости принимать важные решения. Наконец, случай с Соединенными Штатами можно опять взять в качестве доказательства того, что классическая доктрина иногда, похоже, совпадает с фактическим развитием событий даже в большом обществе с высокой степенью расслоения, перед которым встают крупные проблемы, требующие решения при условии, что благоприятное стечение обстоятельств лишает эти проблемы остроты. До вступления этой страны в Первую мировую войну общественное мнение было в основном озабочено эксплуатацией экономических возможностей окружающей среды. До тех пор, пока ничто серьезное этому не препятствовало, ничто и не имело жизненно важного значения для рядового гражданина, который добродушно презирал проделки политиков. Какая-то часть общества могла волноваться по поводу тарифов, серебра, проблем местного управления, очередной стычки с Англией. Народ в целом оставался равнодушным, кроме единственного случая серьезных разногласий, который породил национальное бедствие, Гражданскую войну.

И в-четвертых, политики любят фразеологию, которая льстит массам и дает прекрасную возможность не только для того, чтобы избежать ответственности, но и для того, чтобы во имя народа сокрушить противников.

Глава XXII
ДРУГАЯ ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИИ

1. Борьба за политическое лидерство

Думаю, что большинство изучающих политику к настоящему времени уже согласились с критикой классической доктрины демократии, содержащейся в предыдущей главе. Я думаю также, что большинство из них согласны или вскоре согласятся принять иную теорию, которая гораздо более правдоподобна и в то же время включает в себя очень многое из того, что приверженцы демократического метода в действительности имеют в виду под этим термином. Как и классической теории, ей можно дать краткое определение.

Будем помнить, что основной проблемой классической теории было утверждение, что у «народа» есть определенное и рациональное мнение по каждому отдельному вопросу и что мнение это реализуется в условиях демократии путем выбора «представителей», которые следят за тем, чтобы это мнение последовательно претворялось в жизнь. Таким образом, выбор представителей вторичен по отношению к первичной цели демократического устройства, а именно: наделить избирателей властью принимать политические решения. Предположим, мы поменяем роли этих двух элементов и сделаем решение проблем избирателями вторичным по отношению к избранию тех, кто будет принимать решения. Другими словами, будем считать, что роль народа состоит в создании правительства или посреднического органа, который, в свою очередь, формирует национальный исполнительный орган или правительство[1]. Итак, определим: демократический метод — это такое институциональное устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей.

Объясняя и обосновывая эту идею, мы незамедлительно покажем, что оно как в силу правдоподобности посылок, так и благодаря логической обоснованности предположений значительно улучшает теорию демократического процесса.

Прежде всего у нас есть достаточно эффективный критерий, при помощи которого демократические правительства можно отличить от прочих. Мы видели, что классическая теория сталкивается с трудно-

[1] Неискреннее слово «исполнительный» на деле указывает в неверном направлении. Однако этого не произойдет, если мы будем использовать его в том смысле, в каком мы говорили об управляющих в корпорации, которые делают значительно больше, нежели просто исполняют волю держателей акций. [По-английски термины «исполняющий» и «управляющий» в данном контексте передаются одним и тем же словом — «executive». — *Прим. ред.*].

стями в подобном разграничении, поскольку воле и благу народа могут служить, и во многих исторических ситуациях служили, правительства, которые нельзя назвать демократическими в соответствии с любым из общепринятых смыслов этого слова. Теперь мы в несколько лучшем положении, поскольку решили делать акцент на modus procedendi [процедуре — *лат.*], наличие или отсутствие которого в большинстве случаев легко проверить[2].

Например, при парламентарной монархии типа английской наш критерий демократии выполняется, поскольку монарх может назначить членами кабинета лишь тех людей, которых выберет парламент. В то же время «конституционная» монархия не является демократической, поскольку электорат и парламент обладают всеми правами, которые у них есть при парламентарной монархии, но с одним решающим исключением: у них нет власти назначать правительство. Министры в данном случае являются слугами монарха и по названию, и по сути и в принципе могут быть им назначены или уволены. Такое устройство может удовлетворять народ. Избиратели могут подтвердить этот факт, голосуя против любых изменений. Монарх может быть настолько популярен, что сумеет нанести поражение любому сопернику в борьбе за верховную власть. Но поскольку не существует механизма, делающего такую борьбу эффективной, данный случай не подпадает под наше определение.

Во-вторых, теория, заключенная в этой дефиниции, дает нам возможность воздать должное жизненно важному феномену лидерства. Классическая теория этого не делает. Вместо этого она, как мы видели, приписывает избирателям совершенно нереальную степень инициативы, практически игнорируя лидерство. Но почти во всех случаях коллективное действие предполагает лидерство — это доминирующий механизм почти любого коллективного действия, более значительного, чем простой рефлекс. Утверждения о функционировании и результатах демократического метода, которые принимают это во внимание, гораздо реалистичнее тех, которые этого не делают. Они не ограничиваются исполнением volonté générale [общей воли?], но продвигаются к объяснению того, откуда она возникает и как подменяется или подделывается. То, что мы обозначили термином «подделанная воля», не находится более за рамками теории, отклонением, отсутствия которого мы так страстно желаем. Он входит в основу, как это и должно быть.

В-третьих, поскольку вообще существует воля группы, — например, желание безработных получить пособия по безработице или стремление других групп помочь им, — наша теория ее не отрицает. Напротив, теперь мы можем рассматривать именно ту роль, которую

[2] Однако ниже обратите внимание на пункт 4.

эти волеизъявления играют на самом деле. Они, как правило, не предъявляются непосредственно. Даже если групповые устремления сильны и определенны, они остаются скрытыми часто на протяжении десятилетий, до тех пор, пока их не вызовет к жизни какой-нибудь политический лидер, превращая в политические факторы. Он делает это, точнее, его агенты делают это для него, организуя волеизъявления, усиливая их и в конце концов включая в соответствующие пункты своих предложений. Взаимодействия между групповыми интересами и общественным мнением и способом, которым они создают то, что мы называем политической ситуацией, под таким углом зрения видны в новом, более ясном свете.

В-четвертых, наша теория, конечно, не более определенна, чем само понятие борьбы за лидерство. Это понятие представляет трудности, аналогичные тем, которые вызывает понятие конкуренции в экономической сфере; их не без пользы можно сравнить. В экономической жизни конкуренция никогда полностью не отсутствует, но едва ли когда-либо существует в совершенном виде[3]. Точно так же в политической сфере постоянно идет борьба, хотя, возможно, лишь потенциальная, за лояльность избирателей. Объяснить это можно тем, что демократия использует некий признанный метод ведения конкурентной борьбы, а система выборов — практически единственно возможный способ борьбы за лидерство для общества любого размера. Хотя это и исключает многие из способов обеспечения лидерства, которые и следует исключить[4], например борьбу за власть путем вооруженного восстания; это не исключает случаев, весьма похожих на экономические явления, которые мы обозначаем как «несправедливую» или «мошенническую» конкуренцию или ограничения конкуренции. Исключить их мы не можем, поскольку если бы мы это сделали, то остались бы с неким весьма далеким от реальности идеалом[5]. Между этим идеальным случаем и случаями, когда любая конкуренция с существующим лидером предотвращается силой, существует непрерывный ряд вариантов, в пределах которого демократический метод правления незаметно, мельчайшими шагами, переходит в автократический. Но если мы стремимся к пониманию, а не к философствованию, это так и

---

[3] Во второй части книги мы приводим примеры проблем, возникающих на этой почве.

[4] Это также исключает методы, которыми не следует пренебрегать, например завоевание политического лидерства в результате молчаливого согласия людей или путем выборов quasi per inspirationem [как бы по вдохновению — *лат.*]. Последний случай отличается от выборов путем голосования только технически, но и первый способ имеет определенное значение даже в современной политике; власть, необходимая партийному боссу *внутри его партии*, основана на молчаливом признании его лидерства. Однако эти детали можно опустить в подобной схеме.

[5] Как и в экономической сфере, *некоторые* ограничения включены в правовые и моральные принципы общества.

должно быть. Таким образом, ценность нашего критерия существенно не снижается.

В-пятых, наша теория, похоже, объясняет существующее отношение между демократией и индивидуальной свободой. Если под последней мы понимаем существование сферы индивидуального самоуправления, границы которого исторически изменяются, — *ни одно* общество не терпит абсолютной свободы сознания или слова, и *ни одно* общество не ограничивает ее до нуля, — то в данном случае речь идет о степени свободы. Мы видели, что демократический метод не обязательно гарантирует больший объем индивидуальной свободы, чем любой другой позволил бы в аналогичных обстоятельствах. Это вполне может быть и наоборот, но тем не менее эти два явления соотносятся друг с другом. Если по крайней мере в принципе каждый волен бороться за политическое лидерство[6], выставляя свою кандидатуру перед избирателями, это в большинстве случаев, хотя и не всегда, означает значительную долю свободы дискуссий *для всех*. В частности, это, как правило, подразумевает значительную свободу прессы. Это соотношение между демократией и свободой не является абсолютно строгим, им можно манипулировать. Однако, с точки зрения интеллектуала, оно тем не менее очень важно. В то же время об этом соотношении практически больше нечего сказать.

В-шестых, следует учитывать, что, считая формирование правительства первичной функцией избирателей (прямо или через посреднический орган), я предполагал включить в эту фразу также и функцию его роспуска. Первая означает просто согласие принять лидера или группу лидеров, вторая — отказ от этого согласия. Это обращает внимание на один элемент, которого читатель, возможно, не заметил. Он мог подумать, что избиратели контролируют правительство точно так же, как и приводят его к власти. Но поскольку избиратели, как правило, могут контролировать своих политических лидеров лишь через отказ переизбрать их или парламентское большинство, их поддерживающее, это, по-видимому, ограничивает возможность контроля до уровня, зафиксированного в нашем определении. Время от времени происходят внезапные резкие изменения, приводящие к падению правительства или отдельного министра либо вынуждающие предпринять определенные действия. Но подобные случаи не только исключительны, они, как мы увидим, противоречат духу демократического метода.

В-седьмых, наша теория проливает столь необходимый свет на старое противоречие. Любой, кто принимает классическую доктрину демократии и, следовательно, полагает, что демократический метод должен гарантировать, что проблемы решаются в соответствии с волей

[6] Волен в данном случае, в том же смысле, в котором каждый волен открыть еще одну прядильную фабрику.

народа, должен быть поражен тем фактом, что, даже если эта воля выражена вполне определенно, принятие решений простым большинством во многих случаях исказит ее, а не воплотит в жизнь. Вполне очевидно, что воля большинства есть воля большинства, а не воля «народа». Приравнять в определении одно к другому не означает решить проблему. Однако попытки прийти к действительному решению были сделаны авторами различных планов «пропорционального представительства».

Планы эти подверглись резкой критике из практических соображений. В самом деле, очевидно, что пропорциональное представительство не только сделает возможным утверждение разных типов идиосинкразии, но в условиях демократии может помешать формированию эффективного правительства и, таким образом, оказывается опасным в периоды напряженности[7]. Но прежде чем делать заключение о том, что демократия становится недееспособной, если ее принцип соблюдается последовательно, хорошо было бы задать себе вопрос, действительно ли этот принцип предполагает пропорциональное представительство. На самом деле это не так. Если признание лидерства является истинной функцией голосования избирателей, доводы в пользу пропорционального представительства рушатся, поскольку его предпосылки более не действуют. Принцип демократии в таком случае означает просто, что бразды правления должны быть переданы тем, кто имеет поддержку большую, чем другие конкурирующие индивиды или группы. В свою очередь, это гарантирует статус системы большинства в рамках логики демократического метода, хотя мы можем ее критиковать с точки зрения, выходящей за пределы этой логики.

2. Применение нашего принципа

Выше приведено описание теории, теперь мы попробуем выделить наиболее важные характеристики структуры и действия политической машины в демократических странах.

1. В условиях демократии, как я уже говорил, первичная функция голосования избирателей — формирование правительства. Это может означать выборы всех представителей администрации. Подобная практика, однако, свойственна главным образом выборам местного правительства и впредь мы будем ее игнорировать[8]. Рассматривая только

[7] Данный аргумент против пропорционального представительства был обоснован профессором Ф.А. Херменсом (F.A. Hermens) в статье «Троянский конь демократии» в «Social Research» за ноябрь 1938 г.

[8] Мы сделаем это только для простоты. Это явление прекрасно ложится в нашу схему.

национальное правительство, мы можем сказать, что формирование правительства практически сводится к решению, кто будет лидером[9]. Как и раньше, мы будем называть его премьер-министром.

Есть только одна демократическая система, в которой этот выбор является прямым результатом голосования избирателей, — Соединенные Штаты[10]. Во всех остальных случаях голосование избирателей формирует не непосредственно правительство, но посреднический орган — впредь будем называть его парламентом[11], которому передается функция формирования правительства. Может показаться, что принятие или, скорее, эволюцию такого рода, а также различные формы, которые он принимает в различных моделях общества, легко объяснить как исторически, так и с точки зрения целесообразности. Но это не логическое построение; это естественное развитие, едва различимые оттенки и результаты которого совершенно ускользают из официальных доктрин, не говоря уже о правовых.

---

[9] Это верно лишь приблизительно. Хотя есть основания ожидать, что человек, который восходит к верховной власти, как правило, будет сильной личностью, каковы бы ни были его другие качества, — к этому мы вернемся позже — это вовсе не всегда так. Следовательно, термин «лидер» не предполагает, что люди, которых так называют, обязательно одарены качествами лидера или что они всегда осуществляют некое личное руководство. Существуют политические ситуации, благоприятные для возвышения людей, лишенных качеств лидера (и прочих качеств), и неблагоприятные для создания сильных индивидуальных позиций. Партия или группа партий может, следовательно, быть лишена лидера. Однако все признают, что это патологическое состояние и одна из частых причин поражения.

[10] Я полагаю, что мы можем не принимать во внимание коллегию выборщиков. Называя президента Соединенных Штатов премьер-министром, я хочу подчеркнуть фундаментальное сходство его поста с постом премьер-министра в других демократических системах. Но я не хочу свести к минимуму различия, хотя многие из них скорее формальны, чем действительны. Наименее важное из них состоит в том, что президент выполняет также те, в основном церемониальные, функции, которые есть, скажем, у президента Франции. Гораздо более важно, что он не может распустить конгресс — но этого не может и премьер-министр Франции. С другой стороны, его позиция сильнее, чем у английского премьер-министра, благодаря тому, что его президентство не зависит от поддержки большинства в конгрессе — по крайней мере юридически, поскольку он может попасть в тупик, если у него нет поддержки большинства. Он также может назначать и увольнять членов кабинетов министров (почти) по своей воле. Последних едва ли можно назвать министрами в английском смысле слова. Они скорее «секретари» в повседневном значении этого слова. Таким образом, мы можем сказать, что президент — не премьер-министр, он единственный министр, если только мы не сможем провести аналогии между функциями министра английского кабинета и лидерами фракции правящей партии в конгрессе.

Несложно интерпретировать и объяснить эти и многие другие особенности в той или иной стране с демократическим методом правления. Но в целях экономии места мы будем рассматривать преимущественно английскую модель и трактовать остальные случаи как большие или меньшие «отклонения», исходя из того, что логика демократического правления наиболее полно проявляется в английской практике, хотя и не в ее правовых формах.

[11] В дальнейшем нам придется вспомнить, что я определял парламент как орган государства. Хотя это было сделано просто из соображений формальной (правовой) логики, это определение особенно подходит к нашей концепции демократического метода. Членство в парламенте является, таким образом, государственной службой.

Каким образом парламент формирует правительство? Самый очевидный способ — избрать его или, что более реалистично, избрать премьер-министра и затем голосовать за список министров, который он представляет. Этот способ используется редко[12]. Но он раскрывает природу данной процедуры лучше, чем любой другой. Более того, все остальные способы можно свести к нему, поскольку премьер-министром обычно становится тот человек, которого избрал бы парламент. То, как он в действительности назначается на должность — монархом, как в Англии, президентом, как во Франции, или специальным органом или комитетом, как в свободном Прусском государстве Веймарского периода, — просто вопрос формы.

Классическая английская практика такова. После всеобщих выборов победившая партия обычно получает большинство мест в парламенте и, таким образом, может проголосовать за резолюцию о вотуме недоверия любому лицу, кроме ее собственного лидера, который таким «негативным» способом назначается «парламентом» на пост главы государства. Он получает полномочия от монарха — «целует руки» — и представляет монарху список министров, частью которого является список членов кабинета. В список он включает, во-первых, нескольких ветеранов партии, которые получают то, что можно назвать почетным постом; во-вторых, лидеров более низкого ранга — тех, на кого он рассчитывает в ходе борьбы в парламенте и которые обязаны отданным им предпочтением как своей политической ценности, так и тем, что могут стать помехой; в-третьих, восходящих политиков, которых он приглашает в заколдованный круг власти, чтобы «привлечь свежую кровь»; и иногда, в-четвертых, несколько человек из тех, кто, по его мнению, особенно хорошо профессионально подготовлен для занятия определенных постов[13]. Но опять же в нормальных случаях эта практика дает такие же результаты, какие дали бы выборы правительства парламентом. Читатель увидит также, что там, где, как в Англии, у премьер-министра есть реальная власть распустить («назначить новые выборы»), результаты будут в какой-то степени схожи с теми, которые мы могли бы ожидать при прямых выборах избирателями, если, конечно, последние его поддерживают[14]. Это можно проиллюстрировать на известном примере.

---

[12] Например, он был принят в Австрии после краха в 1918 г.

[13] Сетование на то, сколь малое значение имеет соответствие посту при подобном устройстве, выходит за рамки нашего описания; самая суть демократической власти в том, что в первую очередь имеют значение политические качества, а соответствие посту — лишь иногда. См. гл. XXIII.

[14] Если, как во Франции, у премьер-министра нет такой власти, парламентские круги приобретают такую независимость, что параллелизм между принятием министра парламентом и электоратом ослабевает или разрушается. Это та ситуация, в которой кабинетная игра парламентских политиков выходит за установленные рамки. С нашей точки зрения, это отклонение от нормы. Раймон Пуанкаре был того же мнения. ▶

2. В 1879 г., когда правительство Биконсфилда (Дизраэли) после почти шести лет успешного пребывания у власти, кульминацией которого был эффектный успех Берлинского Конгресса[15], по всем обычным расчетам могло бы ожидать успеха на выборах, Гладстон неожиданно взбудоражил страну серией обращений непревзойденной силы (Мидлотианская кампания), которая раздула злодеяния турок так успешно, что вознесла *лично его* на гребень волны народной поддержки. Его партия не имела с этим ничего общего. Некоторые ее лидеры не одобряли эту кампанию. Гладстон оставил руководство партии за много лет до этого и захватил страну в одиночку. Но когда Либеральная партия в результате этой кампании одержала потрясающую победу, для всех было очевидно, что его опять нужно признать лидером партии — более того, он стал лидером партии в силу его власти в стране — никто другой просто не имел шансов. Он пришел к власти в ореоле славы.

Этот пример много говорит нам о том, как работает демократический метод. Прежде всего отметим, что этот пример хотя и чрезвычайно драматичен, но вовсе не уникален. Это исключительный пример нормального гения. Назовем обоих Питтов, Пиля, Пальмерстона, Дизраэли, Кэмпбелла Баннермана и других.

Во-первых, о политическом лидерстве премьер-министра[16]. Наш пример свидетельствует, что оно состоит из трех различных элемен-

---

Продолжение сноски со стр. 673.

Конечно, подобные ситуации бывают и в Англии, поскольку премьер-министр не воспользуется своей властью распустить парламент, — строго говоря, в его власти «посоветовать» монарху распустить палату общин, — если партийные круги этому противятся либо если выборы, скорее всего, не смогут усилить его контроль над парламентом. Это означает, что он может иметь более сильные позиции в парламенте, чем в стране. Такая ситуация довольно регулярно создается после нескольких лет пребывания правительства у власти. Но при английской системе это отклонение от нормы не может быть очень долгим.

[15] Я не имею в виду, что временное урегулирование вопросов, вызванных русско-турецкой войной и присоединением совершенно ненужного острова Кипр, было само по себе шедевром внешней политики. Но я имею в виду, что с точки зрения политики внутренней это были такого рода эффектные успехи, которые, как правило, тешат тщеславие среднего гражданина и сильно улучшают перспективы правительства в атмосфере шовинистического патриотизма. Существовало всеобщее мнение, что Дизраэли победил бы, если бы распустил парламент сразу после возвращения из Берлина.

[16] Для английской политической практики характерно, что официальное признание поста премьер-министра задержалось до 1907 г., когда он был разрешен в суде в соответствии с прецедентом. Но он так же стар, как и демократическая система правления в этой стране. Однако, поскольку демократическое правление не было введено конкретным законом, но медленно развивалось как часть всеобъемлющего социального процесса, нелегко даже приблизительно указать дату или даже период его «рождения». В течение довольно длительного срока это были лишь зародыши демократии. Есть соблазн отнести рождение данного института ко времени правления Вильгельма III, поскольку его положение было несравненно более слабым, чем у правителей английского происхождения. Однако с этим можно поспорить. Дело не столько в том, что Англия тогда не была «демократией» — читатель вспомнит, что мы не определяем демократию исходя из распространенности привилегий, — сколько в том, что, с одной стороны, эмбриональный случай ▶

тов, которые не следует путать и которые в каждом отдельном случае сочетаются в разных пропорциях. Именно это сочетание характеризует правление данного премьер-министра. Казалось бы, он получает пост как глава своей партии в парламенте. Однако как только он введен в должность, он становится лидером парламента, непосредственно той палаты, членом которой он является, и косвенно — другой палаты. Это не просто эвфемизм, и это, несомненно, больше, чем предполагает функция руководства партией. Он приобретает влияние и на другие партии и их членов или вызывает их антипатию, и это имеет очень важное значение для его шансов на успех. В крайнем случае — лучшим примером тут служит сэр Роберт Пиль — он может принудить свою партию к повиновению тем или иным способом. Наконец, хотя во всех нормальных случаях он также является лидером партии *во всей стране*, сильный премьер-министр занимает в стране позицию, отличную от той, которую он автоматически получает, возглавляя партию. Он творчески руководит мнением партии — формирует его — и в конце концов поднимается до управления общественным мнением за пределами партии, к лидерству на уровне страны, которое до некоторой степени становится независимым от мнения партии. Нет нужды говорить, насколько подобные достижения определяются свойствами личности и насколько велика роль опоры премьер-министра вне партии и парламента. Это дает в руки премьер-министра кнут, удар которого может заставить подчиниться непослушных и заговорщиков внутри его партии, однако кнутовище может больно ударить по неумелой руке.

Продолжение сноски со стр. 674.

с Денби относится ко времени правления Карла II, а с другой стороны, Вильгельм III никогда не мирился с подобным положением и успешно держал в руках некоторые дела. Мы не должны, конечно, путать премьер-министров с простыми советниками, сколь бы ни были последние могущественны при своих монархах и сколь бы сильны ни были их позиции в самом средоточии государственной власти — как, например, Ришелье, Мазарини или Страффорд. Годолфин и Харли при королеве Анне — это явно переходные случаи. Первый человек, которого, безусловно, признавали как современники, так и историки, был сэр Роберт Уолпол. Но он, так же как и герцог Ньюкаслский (или его брат Генри Пелэм, или оба вместе), и по сути все лидеры вплоть до лорда Сиунберна (включая Питта-старшего, который, даже будучи министром иностранных дел, по сути подошел очень близко к выполнению наших критериев), не имеют тех или иных характеристик премьер-министра. Первым полноценным экземпляром был Питт-младший.

Интересно отметить, что в случае в сэром Робертом Уолполом (а позднее — с лордом Картеретом /герцогом Гранвиллом/) общественное мнение тех лет не признавало, что эти люди осуществляют функцию, важную для демократического правления. Напротив, для современников это явление было подобно раковой опухоли, рост которой был бы угрозой государственному благосостоянию и демократии — «единственный министр» или «первый министр» было оскорблением, которое бросали Уолполу его враги. Этот факт примечателен. Он не только указывает на сопротивление, с которым обычно сталкивается новый институт. Более того, существовало ощущение, что этот институт несовместим с классической доктриной демократии, в которой, по сути дела, нет места политическому лидерству в нашем смысле и, следовательно, нет места для поста премьер-министра.

Теперь мы можем уточнить наше утверждение, что в парламентской системе функция формирования правительства ложится на парламент. Как правило, парламент решает, кто будет премьер-министром, но в этом решении он не полностью свободен. Он скорее соглашается с кандидатурой, нежели выдвигает ее. Исключая патологические случаи, такие, как французская chambre [палата депутатов — *фр.*], воля членов парламента, как правило, не является единственным фактором при создании правительства. Члены парламента скованы не только партийными обязательствами. Их также ведет тот человек, которого они «избирают», ведет к самим «выборам» и после них. Каждая лошадь, конечно, вольна сойти с дистанции и не слушаться узды. Но такие исключения, как восстание или пассивное сопротивление руководству лидера, только подчеркивают норму. И эта норма относится к сущности демократического метода. Личная победа Гладстона в 1880 г. — аргумент против официальной теории, согласно которой парламент создает и низлагает правительство[17].

3. Далее, о природе и роли кабинета[18]. Это удивительно двойственный орган, совместный продукт парламента и премьер-министра. Последний, как мы видели, предлагает кандидатуры его членов, а первый соглашается с его выбором, одновременно влияя на него. Если посмотреть на это с точки зрения партии, это собрание лидеров более или менее напоминает ее собственную структуру. С точки зрения премьер-министра, это собрание не только товарищей по оружию, у которых есть собственные интересы и перспективы — парла-

[17] Сам Гладстон очень поддерживал эту теорию. В 1874 г., когда он проиграл на выборах, он все еще хотел выступить в парламенте, поскольку парламент должен был вынести решение об отставке. Конечно, это еще ничего не значит. Точно так же он упорно говорил о безграничном почтении к короне. Один биограф за другим восхищался этим почтением к монархии со стороны великого демократического лидера. Но, без сомнения, королева Виктория обладала большей проницательностью, чем эти биографы, если судить по ее резко отрицательному отношению к Гладстону начиная с 1879 г., которое биографы приписывают просто пагубному влиянию Дизраэли. Неужели не ясно, что проявления почтения могут означать две разные вещи? Мужчина, который относится к своей жене с изысканной вежливостью, как правило, не относится к числу тех, кто признает дружбу между полами на основах равенства. Между прочим, вежливость — верный способ от этого уклониться.

[18] Даже больше, чем эволюция поста премьер-министра, эволюция кабинета замаскирована изменениями в природе этого института в ходе истории. До сего времени английский кабинет юридически является действующей частью Тайного совета, который был инструментом правления в безусловно додемократические времена. Но под этой крышей образовался совершенно иной орган. Как только мы это поймем, задача датировать его возникновение покажется нам значительно легче аналогичной задачи в случае с премьер-министром. Хотя в эмбриональном состоянии кабинеты существовали во времена Карла II (одним из них был «кабальный совет», другим — «комитет четырех», сформированный в связи с экспериментом Темпля), первым кабинетом в истории Англии скорее всего была «хунта» вигов при Вильгельме III. Со времен правления Анны разногласия возникали лишь по незначительным вопросам, связанным с составом или функционированием кабинета.

мент в миниатюре. Для того чтобы такая комбинация сложилась и работала, будущему кабинету министров следует решить — не обязательно из страстной любви, — служить под руководством мистера X, а мистеру X сформировать свою программу таким образом, чтобы его коллеги в кабинете не слишком часто хотели «пересмотреть свои позиции», как это называется в официальной фразеологии, или устроить сидячую забастовку. Таким образом, кабинет — это относится и более широко к министерскому корпусу, в который входят министры, не являющиеся членами кабинета, — имеет определенную функцию в демократическом процессе в отличие от функции премьер-министра, партии, парламента и избирателей. Эта функция промежуточного руководства связана с текущими делами, которые выполняют отдельные члены кабинета в различных департаментах, куда они назначены, чтобы обеспечивать контроль руководящей группы над бюрократической машиной, но ни в коем случае не вытекает из них. Это имеет весьма отдаленное отношение (а может, и вовсе никакого) к «обеспечению того, чтобы воля народа выполнялась в каждом из департаментов». Как раз в самых лучших случаях народу в конце концов представляют результаты, о которых он и не думал, и не одобрил бы их заранее.

4. Снова о парламенте. Я выделил то, что, на мой взгляд, является его первичной функцией, и уточнил эту дефиницию. Можно возразить, что мое определение неверно по отношению к другим его функциям. Очевидно, парламент делает многое другое, кроме формирования и роспуска правительства. Он издает законы. Он даже управляет. Хотя любой парламентский акт, кроме резолюций и политических деклараций, является «законом в формальном смысле», существует много актов, которые можно рассматривать как административные меры. Бюджет — наиболее важный пример. Формирование бюджета — управленческая функция. Однако в США его разрабатывает конгресс. Даже там, где его составляет министр финансов и одобряет кабинет, как в Англии, парламент должен утвердить его, и в результате этого голосования он становится актом парламента. Не опровергает ли это нашу теорию?

Когда две армии воюют друг с другом, их отдельные боевые действия всегда сосредоточены на конкретных объектах, которые определяются в зависимости от их стратегического или тактического положения. Они могут сражаться за конкретную полоску земли или конкретный холм. Но желательность завоевания этой полосы или холма должна определяться стратегической или тактической задачей, а именно — победить врага. Очевидно, абсурдно было бы пытаться вывести эти действия из особых качеств, которые могут быть у этой полосы или холма. Точно так же первая и главная цель любой политической партии — подавить других, чтобы получить власть или остать-

ся у власти. Как и завоевание полоски земли или холма, решение политических вопросов, с точки зрения политика, не цель, но лишь материал парламентской деятельности. Поскольку политики стреляют словами, а не пулями, и поскольку эти слова неизбежно связаны с обсуждаемыми проблемами, ситуация не всегда бывает такой же ясной, как на войне. Но победа над противником, тем не менее, является сутью обеих игр[19].

Таким образом, по сути дела, текущее производство парламентских решений по острым вопросам жизни страны и есть тот метод, путем которого парламент оставляет или отказывается оставлять правительство у власти, принимает или отказывается принимать руководство премьер-министра[20]. С некоторыми исключениями, которые вы сейчас заметите, *каждое* голосование — это голосование за доверие или недоверие, а то, что мы называем голосованием о доверии или недоверии в техническом смысле этого слова, просто обнаруживает in abstracto [в абстрактном выражении — *лат.*] существенный элемент, общий для всех голосований. Этим мы можем удовлетвориться, отметив, что инициатива в выдвижении вопросов на парламентское обсуждение, как правило, принадлежит правительству или теневому кабинету оппозиции, а не отдельным депутатам.

Именно премьер-министр выделяет из нескончаемого потока текущих дел те, которые он хочет сделать предметом парламентских слушаний, т. е. те, по которым его правительство предполагает провести законопроекты или, если он не чувствует твердой почвы под ногами, хотя бы резолюции. Конечно, любое правительство получает от своих предшественников наследство из нерешенных вопросов, которые, возможно, нельзя отложить в долгий ящик; другие вопросы относятся к области рутинной политики; особо выдающимся достижением премьер-ми-

---

[19] Иногда истинные цели политиков проглядывают из словесного тумана. Приведем пример, который, надеюсь, не может быть сочтен легкомысленным: такой крупный политик, как сэр Роберт Пиль, так охарактеризовал природу своего ремесла, когда сказал после парламентской победы над правительством вигов по вопросу о политике последнего на Ямайке: «Ямайка была хорошей лошадью для первой ставки». Читателю следует над этим задуматься.

[20] Конечно, это относится к довишистской французской и дофашистской итальянской практике точно так же, как и к английской. Можно возразить, однако, что в Соединенных Штатах, где поражение правительства по основному вопросу не влечет за собой отставки президента. Но это лишь потому, что американская Конституция, основанная на иной политической теории, не позволяла парламентской практике развиваться по законам ее внутренней логики. В действительности эта логика проявилась и в Америке. Поражения по основным вопросам хотя и не могут привести к смещению президента, в целом настолько ослабляют его престиж, что он вытесняется с позиций лидера. Временно это создает ненормальную ситуацию. Но независимо от победы или поражения на последующих президентских выборах конфликт в таком случае улаживается способом, который фундаментально не отличается от способа действий английского премьер-министра в аналогичной ситуации, когда он распускает парламент.

нистра является такое положение, когда он может навязать принятие мер по политическому вопросу, поднятому им самим. В любом случае, однако, выбор или инициатива правительства, свободная или нет, есть тот фактор, который доминирует в парламентской деятельности. Если законопроект выносится оппозицией, это означает, что она предлагает сражение: подобный ход есть атака, которую правительство может либо сорвать, перехватив инициативу, либо отбить при голосовании. Если важный законопроект, которого нет в парламентском списке, предлагается группой представителей правительственной партии, это означает бунт, и министры рассматривают его с точки зрения наличия у него дополнительных тактических преимуществ. Иногда это приводит к дебатам. Если эти дебаты не предложены либо не санкционированы правительством, — это симптом выхода парламентских сил из-под его контроля. Наконец, если мера принимается в результате внутрипартийного соглашения, это означает, что сражение кончилось вничью или произошел отказ от битвы из тактических соображений[21].

5. Исключения из этого принципа правительственного лидерства в «представительных» ассамблеях служат лишь доказательством его реалистичности. Они могут быть двух типов.

Во-первых, никакое лидерство не является абсолютным. Политическое лидерство, которе проявляется в рамках демократического метода, еще менее абсолютно из-за элемента конкуренции, который является сутью демократии. Поскольку теоретически каждый сторонник обладает правом сместить лидера и поскольку всегда есть несколько сторонников, которые имеют реальную возможность это сделать, депутат парламента или министр, принадлежащий или не принадлежащий к узкому кругу наиболее влиятельных лиц, — если он чувствует, что у него есть шансы занять место лидера, — придерживается среднего курса между безусловной лояльностью к лидеру и безоговорочным поднятием своего собственного знамени, балансируя между риском и возможностями с тонкостью, воистину достойной

[21] В связи с этим можно упомянуть еще одну очень существенную составляющую английской технологии власти. Важный законопроект не проходил, если большинство голосов, поданных за него, во втором чтении снижалось до незначительного. Прежде всего эту практику считают важным ограничением принципа большинства в развитых демократических обществах: неверно было бы утверждать, что в условиях демократии меньшинство всегда вынуждено уступать. Но здесь есть и второй момент. В то время как меньшинство не всегда должно уступать большинству по конкретным обсуждаемым вопросам, оно практически всегда — но даже и тут есть исключения — должно уступить при решении вопроса о том, останется ли кабинет у власти. Можно сказать, что голосование за важные правительственные законопроекты во втором чтении всегда сочетает в себе вотум доверия с голосованием за то, чтобы отложить законопроект. Если бы содержание законопроекта было единственным смыслом голосования, едва ли был бы смысл вообще за него голосовать, если только речь не идет о создании свода законов. Но если парламент озабочен в первую очередь вопросом о том, останется ли кабинет у власти, такая тактика сразу становится понятной.

восхищения[22]. Лидер, в свою очередь, также придерживается среднего курса: он требует дисциплины и позволяет ее нарушать. Он сочетает давление с более или менее разумными уступками, неодобрение с похвалами, наказание с поощрением. Результатом этой игры в зависимости от относительной силы индивидов и их позиций является для них различная, но во многих случаях значительная степень свободы. В частности, возьмем те группы, которые достаточно сильны для того, чтобы их негодование могли почувствовать, но недостаточно сильны, чтобы извлечь выгоду из включения своих приверженцев и своих программ в правительственные структуры. Им могут разрешить иметь свою позицию по незначительным вопросам или, во всяком случае, по тем вопросам, относительно которых премьер-министра можно убедить, что они частные или не очень важные. Таким образом, у групп или даже отдельных членов парламента от правящей партии время от времени может появляться возможность выдвигать собственные законопроекты, и еще большее снисхождение будет проявляться к тем, кто критикует политику правительства и не голосует механически за любую правительственную меру. Но достаточно посмотреть на это в практическом ключе, чтобы, видя ограничения, которые есть у этой свободы, установить, что она представляет собой не принцип работы парламента, а отклонения от него.

Во-вторых, бывают случаи, когда политическая машина не может воспринять определенных проблем, поскольку высшее руководство правительственных и оппозиционных сил не видит их политической ценности или эта ценность и вправду сомнительна[23]. Такие вопросы берут себе аутсайдеры, которые предпочитают индивидуальную борьбу за власть служению в рядах одной из существующих партий. Конечно, это совершенно нормальная политика. Но есть и другая возможность. Человек может быть настолько затронут конкретной проблемой, что может выйти на политическую арену специально для того, чтобы решить ее своим способом, не имея при этом желания начать нормальную политическую карьеру. Однако это настолько необычно,

[22] Один из самых поучительных примеров, при помощи которого можно проиллюстрировать сказанное выше, дает нам курс, которого придерживался Джозеф Чемберлен по ирландскому вопросу в 1880-х годах. В конце концов он переиграл Гладстона, но он начал кампанию, когда еще официально считался ревностным сторонником последнего. И этот случай можно считать исключительным разве что благодаря силе и блестящим способностям этого человека. Как известно, каждому политику рассчитывать на лояльность можно, только имея дело с посредственностью. Вот почему самые выдающиеся из политиков — Дизраэли, например, — окружали себя только посредственными людьми.

[23] Вопрос, который так никогда и не рассматривался, это типичный пример такого рода проблем. Типичные причины, по которым правительство и теневой кабинет из тактических соображений соглашаются оставить этот вопрос без внимания, несмотря на то, что сознают его потенциальное значение, — технические трудности его решения и нежелание вызвать трудности внутри фракций.

что трудно найти сколько-нибудь важные примеры. Может быть, таким человеком был Ричард Кобден*. Конечно, вопросы второстепенной важности встречаются более часто. Однако все согласятся, что это всего лишь отклонения от стандартной практики.

Мы можем подвести итоги следующим образом. Рассматривая человеческие общества, мы, как правило, без труда выделяем, по крайней мере на уровне здравого смысла, различные цели, которых изучаемые общества хотят достигнуть. Можно сказать, что эти цели придают смысл соответствующим действиям индивидов. Но отсюда не следует, что общественный смысл данного типа деятельности обязательно обеспечит мотивацию деятельности и, следовательно, объяснение последней. Следовательно, в этом случае теория, которая ограничивается анализом социальных целей и потребностей, не может считаться адекватным объяснением деятельности, которая этим целям служит. Например, причина существования такого явления, как экономическая деятельность, безусловно, состоит в том, что люди хотят есть, одеваться и т. д. Обеспечить средства удовлетворения этих нужд — это общественная цель или смысл производства. Тем не менее мы все согласны, что этот тезис был бы самым нереалистичным исходным моментом для теории экономической деятельности в коммерческом обществе и что у нас гораздо лучше получится, если мы начнем с прибылей. Аналогично социальное значение или функция парламентской деятельности, без сомнения, состоит в производстве законов и частично в административных мерах. Но для того чтобы понять, как демократическая политика служит этой социальной цели, мы должны начать с конкурентной борьбы за власть и посты и осознать, что социальная функция выполняется, как мы видели, «случайно» — в том смысле, в котором производство является случайным по отношению к получению прибыли.

6. Наконец, что касается роли избирателей, следует дополнительно упомянуть еще об одной вещи. Мы видели, что желания членов парламента — не единственный фактор в процессе формирования правительства. То же самое можно сказать и об избирателях. Их выбор — идеологически возведенный в ранг «воли народа» — не вытекает из их инициативы, но формируется, и его формирование — важнейшая часть демократического процесса. Избиратели не принимают политических решений. Но нельзя сказать, что они непредвзято выбирают членов парламента из числа людей, имеющих право быть избранными. Во всех нормальных случаях инициатива принадлежит кандидату, который борется за пост члена парламента и лидерство на местном

* Ричард Кобден (1804—1865) — английский фабрикант и политический деятель, член палаты общин, один из руководителей «Лиги против хлебных законов», выступавшей против привилегий земельной аристократии.

уровне, которое предполагает этот пост. Избиратели ограничиваются тем, что поддерживают эту попытку, отдавая ему предпочтение, или отказываются ее поддержать. Даже те исключительные случаи, когда кандидата *действительно* выдвигают сами избиратели, попадают в ту же категорию в силу одной из двух следующих причин. Во-первых, если кандидат уже осуществляет лидерство, ему уже не нужно за него бороться. Во-вторых, может случиться так, что местный лидер, который имеет возможность контролировать или влиять на голосование, не может или не хочет сам участвовать в выборах и назначает другого человека, который, как кажется, был избран по инициативе избирателей.

Но даже инициатива избирателей, большей частью состоящая лишь в принятии одного из конкурирующих кандидатов, еще более ограничена существованием партий. Партия, вопреки классической доктрине (или Эдмунду Берку), это не группа людей, которая намеревается заботиться о благосостоянии народа «исходя из некоторого принципа, по которому все ее члены пришли к согласию». Такая рационализация соблазнительна и именно поэтому опасна. Конечно, в определенное время все партии формулируют свои принципы или программы; эти принципы и программы характерны для партии, которая принимает их на вооружение как виды товаров, которые продаются в универмаге, характерны для него и важны для его успеха. Но как универмаг нельзя определить через товары, так партию нельзя определить через ее принципы. Партия — это такая группа, члены которой предполагают действовать сообща в конкурентной борьбе за политическую власть. Если бы это было не так, то различные партии не могли бы иметь почти совершенно одинаковые программы. Тем не менее, как всем известно, такое случается. Существование партий и политиков свидетельствует о том, что массы избирателей не способны на какие-либо другие действия, кроме действий под влиянием стадных чувств. Они регулируют политическую конкуренцию точно так же, как это делают профессиональные ассоциации. Психотехника управления партией, ее рекламная кампания, лозунги и марши — это все не украшения. Это и есть суть политики. Так же как и политический лидер.

Глава XXIII
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Некоторые выводы из предыдущего анализа

Теория конкурентного лидерства дала удовлетворительное объяснение фактам демократического процесса. Поэтому естественно, что мы будем ее использовать для того, чтобы разгадать тайну соотношения демократии и социалистического порядка. Как было сказано выше, социалисты утверждают не только то, что они совместимы; они заявляют, что демократия предполагает социализм и что не может быть подлинной демократии кроме как при социализме. С другой стороны, читатель не может не знать по крайней мере нескольких из многочисленных памфлетов, опубликованных в этой стране за последние несколько лет и говорящих о том, что плановая экономика, не говоря уже о полном социализме, совершенно несовместима с демократией. Обе точки зрения, конечно, легко понять, помня о психологической подоплеке спора и естественном желании спорящих сторон обеспечить поддержку людей, громадное большинство которых пламенно верит в демократию. Но давайте зададим вопрос: где же истина?

Анализ, проведенный в этой и предыдущих частях книги, легко дает нам ответ. Между социализмом, как мы его определили, и демократией в нашем определении не существует обязательных отношений: одно может существовать без другого. В то же время нет и несовместимости: при соответствующей социальной среде социалистическая машина может работать на демократических принципах.

Но отметим, что эти простые утверждения зависят от того, как мы определяем социализм и демократию. Следовательно, наши выводы означают меньше, чем то, или не совсем то, что имеют в виду обе спорящие стороны. Кроме того, неизбежно возникает следующий вопрос: будет ли демократический метод работать лучше при социалистическом режиме по сравнению с капиталистическим? По этому вопросу нам предстоит дать еще немало объяснений. Это будет сделано во второй части этой главы. Сейчас мы рассмотрим некоторые следствия из нашего анализа демократического процесса.

В первую очередь, в соответствии с принятой нами точкой зрения, демократия не означает и не может означать, что народ непосредственно управляет, если употреблять слова «народ» и «управлять» в любом из известных значений. Демократия значит лишь то, что у народа есть возможность принять или не принять тех людей, которые должны ими управлять. Но поскольку народ может это решить совершенно недемократическими способами, мы вынуждены были сузить наше определение, добавив дополнительный критерий, определяющий демократический метод, а именно свободную конкуренцию за голоса избирателей

между претендентами на роль лидеров. Один из аспектов этого можно выразить, сказав, что демократия — это правление политиков. Необычайно важно ясно понимать, что под этим подразумевается.

Многие толкователи демократической доктрины изо всех сил отрицали профессиональный характер политической деятельности. Они упорно и подчас страстно утверждали, что политика не должна быть профессией и что демократия вырождается, если она становится таковой. Но это лишь идеология. Верно, что, скажем, бизнесмены или юристы могут быть избраны в парламент и даже иногда занимать в нем посты и при этом оставаться прежде всего бизнесменами или юристами. Верно и то, что многие, став в первую очередь политиками, продолжают зарабатывать на жизнь другим способом[1]. Но обычно личный успех в политике больше, чем случайное возвышение на пост в кабинете, предполагает сосредоточение сил и профессионализацию и оттесняет другие виды деятельности политика на второй план. Если мы хотим честно взглянуть в лицо фактам, мы должны признать, что в современных демократиях любого типа, кроме швейцарской, политика неизбежно является профессиональным занятием. Это, в свою очередь, влечет за собой признание ясного профессионального интереса у отдельного политика и группового интереса у всех профессиональных политиков как таковых. Очень важно ввести этот фактор в нашу теорию. Если мы примем это во внимание, многие загадки будут разгаданы[2]. В частности, мы немедленно перестанем удивляться, почему политики перестают служить групповым интересам своего класса или групп, с которыми они лично связаны. Не может быть серьезным политиком тот, кто не выучил на всю жизнь изречение, приписываемое одному из наиболее преуспевших политиков в истории: «Чего не понимают бизнесмены, так это того, что я торгую голосами точно так же, как они торгуют нефтью»[3].

---

[1] Тому, конечно, есть множество примеров. Особенно поучителен пример юристов во французских chambre [палате депутатов] и sénat [сенате]. Некоторые из выдающихся политических лидеров были также великими адвокатами: вспомните, например, Вальдека-Руссо и Пуанкаре. Но, как правило (если мы решим игнорировать случаи, когда юридические фирмы чудесным образом работают сами по себе при том, что один из партнеров фирмы — ведущий политик и часто избирается на политические посты), успех в суде и политический успех не сочетаются.

[2] Следует обратить внимание, как этот спор связан с нашим анализом позиции и поведения интеллектуалов в главе XII.

[3] Такую точку зрения часто не одобряют как поверхностную и циничную. Я, напротив, считаю, что легкомысленно или цинично выказывать неискреннее почтение к лозунгам, по поводу которых политики в своем кругу обмениваются улыбкой авгуров. Наша точка зрения не столь уничижительна для политика, как это может показаться. Она не исключает идеалов или чувства долга. Аналогия с бизнесменом снова поможет нам внести ясность. Как я говорил в другом месте, каждый экономист, который знает реальную жизнь бизнеса, прекрасно знает, что чувство долга и идеалы общественной пользы и эффективности играют определенную роль в формировании поведения бизнесмена. И все же экономисты имеют право основывать свои объяснения на схеме, в основе которой лежат мотивы прибыли.

У нас нет никаких причин полагать, что положение улучшится или ухудшится при социалистической организации общества. Врач или инженер, который хочет преуспеть в роли врача или инженера, представляет один тип человека с определенными интересами; врач или инженер, который хочет реформировать институты своей страны, представляет другой тип с другими интересами.

Во-вторых, изучающие политические организации всегда испытывали сомнения относительно административной эффективности демократии в больших и сложных обществах. Эти сомнения, в частности, были вызваны тем, что по сравнению с другими способами устройства эффективность демократического правительства неизбежно снижается из-за гигантских вынужденных потерь энергии, которые навязываются лидерам нескончаемой борьбой в парламенте и вне его. Она снижается еще больше из-за необходимости приспосабливать политику к требованиям политической борьбы. Эти утверждения не вызывают сомнений. Оба они всего лишь следствия, вытекающие из наших предыдущих утверждений относительно того, что демократический метод производит законодательство и управление только как побочный продукт борьбы за политическую власть.

Представьте себе, например, положение премьер-министра. Там, где правительства столь нестабильны, как во Франции с 1871 г. до краха 1940 г., его внимание должно быть почти исключительно поглощено задачей, которая похожа на построение пирамиды из бильярдных шаров. Только наиболее выдающиеся личности в таких условиях имеют силы на текущую административную работу над законопроектами и т. д.; только такие исключительные люди могут завоевать авторитет у подчиненных им чиновников, которым, как и всем остальным, известно, что их начальник долго не продержится. Конечно, в английской модели все отнюдь не так плохо. Нестабильные коалиционные правительства являются исключением, обычно правительство может рассчитывать на пять или шесть лет жизни. Министры могут обосноваться в своих кабинетах, и парламенту не так-то легко выбить их из седла. Но это не означает, что они не принимают участия в борьбе. Конкуренция всегда присутствует, и если правительства постоянно не борются за свою жизнь, то это только потому, что, как правило, им удается отбить текущие атаки, не допустив их до опасного рубежа. Премьер-министр должен постоянно пристально наблюдать за своими оппонентами, постоянно руководить своими последователями, быть готовым закрыть брешь, которая может образоваться в любую минуту, держать под контролем обсуждение законопроектов, контролировать свой кабинет — и все это в таких объемах, что можно сказать, что во время сессии парламента у него в лучшем случае остается пара утренних часов на то, чтобы обдумать положение вещей, и на реальную

работу. Отдельные неудачи и поражения правительства в целом нередко происходят из-за перегруженности и усталости лидера или лидеров[4]. Вполне правомерен вопрос, как лидер может взять на себя руководство и наблюдение за административным организмом, т. е., по сути дела, охватить все проблемы экономической жизни?

Но пустая трата энергии правительства — это еще не все. Непрекращающаяся конкурентная борьба за получение поста или удержание его входит во все политические соображения и приводит к искажению, столь блестяще названному «торговлей голосами». Дело в том, что в условиях демократии правительство должно в первую очередь заботиться о политической ценности политики, законопроекта или административного акта, — это означает, что сам факт, который обеспечивает соблюдение демократического принципа зависимости правительства от голосования парламента и избирателей, вполне может исказить и отношение голосов «за» и «против». В частности, это навязывает людям, которые находятся у руля или около него, краткосрочный взгляд на все проблемы и делает необычайно трудным для них служение перспективным интересам нации, которые могут потребовать упорной работы ради далеких целей; например, есть опасность вырождения внешней политики в продолжение внутренней. И это, конечно, не облегчает проведение рациональной политики. Меры, которые принимает правительство, имея в виду политические возможности, не обязательно приведут к результатам, наилучшим для нации.

Таким образом, премьер-министра в условиях демократии можно уподобить всаднику, который так старается удержаться в седле, что не может спланировать свой путь, или генералу, настолько озабоченному тем, чтобы заставить армию выполнять его приказы, что он вынужден позабыть о стратегии. И это факт, который не могут опровергнуть никакие оправдания, необходимо честно признать, что в некоторых странах, таких, как Франция и Италия, это было одним из источников распространения антидемократических настроений.

Для начала отметим, что те случаи, в которых эти последствия оказываются невыносимыми, часто пытаются объяснить тем, что данная структура общества якобы не доросла до демократических институ-

[4] Приведем зловещий пример: ни один из изучающих причины мировой войны 1914—1918 гг. не может не поразиться пассивности английского правительства с момента убийства эрцгерцога до объявления войны. Не то чтобы не предпринималось попыток избежать пожара. Но они были исключительно неэффективны и совершенно не соответствовали имевшимся возможностям. Конечно, это можно объяснить тем, что правительство Асквита на самом деле не стремилось избежать войны. Но если признать эту гипотезу неудовлетворительной, — а я считаю, что это следует сделать, — то мы приходим к другой гипотезе: возможно, господа со скамьи министров были так заняты своей политической игрой, что не почувствовали опасности международного положения до тех пор, пока не стало уже слишком поздно.

тов. Как показывают примеры Италии и Франции, эти неприятности могут случиться в странах, которые гораздо более цивилизованны, чем некоторые другие страны, которые успешно справились с этой задачей. Но тем не менее тяжесть критики сводится здесь к утверждению, что удовлетворительная работа демократического метода возможна при выполнении определенных условий. Ниже мы рассмотрим этот вопрос.

Далее, стоит вопрос об альтернативе. Описанные нами слабости, очевидно, присутствуют и в недемократических моделях. Прокладывание дороги к руководящим постам, скажем, в суде может потребовать почти столько же энергии и исказить взгляды человека на некоторые вопросы почти так же сильно, как политическая борьба в условиях демократии, хотя эти потери энергии или изменения взглядов не проявляются так открыто. Таким образом, пытаясь сравнить различные механизмы правления, мы должны учитывать многие другие факторы, помимо институциональных принципов.

Более того, некоторые из нас скажут в ответ на критику, что более низкий уровень эффективности правительства может быть и есть то, что нам нужно. Мы, конечно, не хотим быть объектами эффективной диктатуры, простым материалом для сложных игр. Такой орган, как Госплан, вероятно, невозможен сейчас в Соединенных Штатах. Но не доказывает ли это, что, как и русский Госплан, его гипотетический аналог в этой стране нарушил бы дух и органическую структуру общества?

Наконец, можно ослабить давление на лидеров с помощью соответствующих институциональных структур. Хорошим примером является здесь американская система. Американский «премьер-министр», без сомнения, должен следить за ходами на политической шахматной доске. Но он не несет ответственность за каждый отдельный шаг. Не принимая участия в заседаниях конгресса, он по крайней мере свободен от связанного с этим физического напряжения. У него есть все возможности беречь свои силы.

В-третьих, наш анализ в предыдущей главе рельефно очерчивает проблему качеств человека, который избирается на позицию лидера в соответствии с демократической процедурой. Едва ли стоит напоминать хорошо известный аргумент по этому поводу: демократический метод создает политиков-профессионалов, которых затем превращает в администраторов-любителей и «государственных деятелей». Поскольку они сами не обладают всеми качествами, необходимыми для решения стоящих перед ними задач, они, говоря словами лорда Маколея, назначают «судей, не знающих законов, и дипломатов, не говорящих по-французски», которые разрушают государственную службу и мешают лучшим людям, в ней работающим. Однако еще печальнее

другое: те свойства интеллекта и характера, которые присущи хорошему кандидату, не обязательно необходимы хорошему администратору, и отбор на основании успехов на выборах может не дать дороги людям, коорые могли бы добиться успеха на вершине власти. И даже если победители на выборах сумеют добиться успехов на своих постах, эти успехи вполне могут быть неудачами для нации. Политик, если он силен в тактике, в состоянии успешно пережить любое число сделанных им административных ошибок.

Во всем этом есть элементы истины, но есть и смягчающие обстоятельства. В частности, в пользу демократии говорит возможность рассмотрения альтернатив: ни одна система отбора людей в любой социальной сфере — возможно, за исключением конкурентной капиталистической экономики — не основана исключительно на проверке деловых способностей, подобно тому как из беговых лошадей выбирают участников скачек в дерби. Хотя и в разной степени, все общественные системы высоко оценивают и другие качества, которые часто препятствуют выполнению работы. Но мы, пожалуй, можем пойти и дальше. То, что обычно политический успех ничего не говорит о человеке и каждый политик — это всего лишь дилетант, не совсем верно. Есть одна вещь, которую он знает профессионально, а именно как обращаться с людьми. И по крайней мере в большинстве случаев способность завоевать позицию политического лидера связана с сильным характером и другими способностями, которые полезны премьер-министру. В конце концов в потоке, который несет человека к управлению страной, много подводных камней, которые довольно эффективно препятствуют продвижению идиота или болтуна.

В таких вопросах абстрактные доводы обычно не приводят к определенным результатам — этого нам и следовало ожидать. Гораздо более любопытно и важно, что фактические свидетельства, по крайней мере на первый взгляд, не являются убедительными. Нет ничего легче, чем составить впечатляющий список неудач демократического метода, особенно если мы включим в рассмотрение не только случаи развала или крушения планов, но и те ситуации, когда страна жила здоровой и процветающей жизнью, но политический сектор явно работал хуже других. Но столь же легко привести не менее впечатляющие свидетельства в пользу политиков. Можно привести выдающийся пример: во времена античности война не была «делом техники», каковым она стала в последнее время. Тем не менее можно подумать, что способность добиться успеха в войне даже и тогда была очень мало связана со способностью добиться избрания на политический пост. Все римские военачальники времен Республики, однако, были политиками, и все они получали командование непосредственно через выборные должности, которые они занимали в то время или ранее. С этим было

связано несколько ужасных поражений. Но в целом эти политики-солдаты замечательно делали свое дело.

В чем причина этого? На этот вопрос может быть только один ответ.

2. Условия успеха демократического метода

Если физик наблюдает, что один и тот же механизм работает по-разному в разных местах и в разное время, он приходит к выводу, что функционирование механизма зависит от внешних условий. Мы не можем не прийти к такому же выводу. И увидеть, что это за условия, так же легко, как и установить, при каких условиях классическая доктрина демократии будет приблизительно соответствовать реальной ситуации.

Это заключение неизбежно приводит нас к тому строго релятивистскому взгляду, которого мы все время придерживались. Как нет никаких доводов за и против социализма, которые были бы справедливы во все времена и везде, точно так же мы не можем вынести и окончательный вердикт за или против демократического метода. Здесь так же, как и в случае с социализмом, трудно использовать аргумент ceteris paribus [при прочих равных] условиях, поскольку «прочие» не могут быть равными в ситуациях, в которых демократический порядок является осуществимым или единственно осуществимым порядком, и в ситуациях, когда дело обстоит наоборот. Демократия процветает тогда, когда модель общества обладает определенными характеристиками, и бессмысленно спрашивать, как она будет существовать при других социальных моделях, не обладающих этими характеристиками, или как будут жить люди в таких обществах в условиях демократии. Условия, которые, как я считаю, должны быть выполнены для успешного функционирования демократического метода[5], — в обществах, где вообще возможно его действие, — я объединю в четыре рубрики; я ограничусь крупными индустриальными странами современного типа.

Первое условие — человеческий материал политики — люди, которые составляют партийный аппарат, избираются в парламент, возвышаются до министерских постов — должен быть достаточно высокого качества. Это значит не только то, что количество людей, обладающих достаточными способностями и моральными свойствами, должно

[5] Под «успешным функционированием» я имею в виду то, что демократический процесс воспроизводится без возникновения ситуаций, которые толкают к недемократическим методам, и текущие проблемы решаются таким образом, который в конечном счете находят приемлемым все политически значимые заинтересованные круги. Я не хочу сказать, что каждый отдельный наблюдатель обязательно должен одобрить эти результаты со своей точки зрения.

быть довольно большим. Как уже говорилось раньше, демократический метод отбирает кандидатов не просто из всего населения, но только из тех частей населения, для которых доступна профессия политика, точнее говоря, из тех, которые выставляют на выборах свои кандидатуры. Это, конечно, происходит при любом способе отбора. Любой из них, в зависимости от того, насколько данная профессия привлекает талантливых и выдающихся людей, может производить политиков на уровне выше или ниже среднего для данной страны. Но, с одной стороны, конкурентная борьба за ответственный пост означает пустую трату людей и энергии. С другой стороны, демократический процесс может легко создать в политическом секторе такие условия, которые, установившись однажды, будут отвращать большинство из тех, кто может достичь успеха в какой-либо другой сфере. По этим причинам адекватность человеческого материала особенно важна для успеха демократического правления. Неверно, что в условиях демократии люди всегда получают правительство такого типа и качества, которое они хотят или заслуживают.

Есть довольно много путей обеспечения политиков достаточно хорошего качества. Однако до сих пор опыт, похоже, подсказывает, что единственной эффективной гарантией является существование особого социального слоя, для которого занятия политикой естественны и который сам по себе является продуктом жесткого процесса отбора. Если такой слой не слишком недоступен, а с другой стороны, не слишком доступен людям со стороны и если он достаточно силен, чтобы ассимилировать большинство включенных в него элементов, он не только поставит для политической карьеры людей, успешно прошедших испытания в других областях, — как бы пройдя ученичество в частных делах, — но и повысит степень их соответствия государственной службе, дав им традиции, которые включают опыт, кодекс профессиональной чести и общие взгляды.

Едва ли простым совпадением является то, что Англия, единственная из стран, полностью выполняющая наши условия, является также единственной страной, в которой есть политическое общество в этом смысле слова. Еще более поучителен опыт Германии периода Веймарской республики (1918—1933). Как я надеюсь показать в пятой части, в германских политиках того периода не было ничего такого, что можно было бы счесть вопиющим недостатком. Средний член парламента и средний премьер-министр и член кабинета были честными, разумными и добросовестными. Это относится ко всем партиям. Однако при должном уважении к проявлениям таланта, возникавшим то тут, то там, хотя у занимающих высшие или близкие к высшим посты талант проявлялся редко, нужно добавить, что большинство политиков были явно ниже нормы, в некоторых случаях к большому сожалению.

Очевидно, это нельзя объяснить недостатком способностей и энергии у нации в целом. Но способные и энергичные просто отказывались от политической карьеры. Не было и класса или группы, которые бы рассматривали политику как предопределенную карьеру. Та политическая система потерпела неудачу по многим причинам. Но тот факт, что в конце концов она потерпела сокрушительное поражение от рук антидемократического лидера, тем не менее указывает на отсутствие вдохновляющего демократического руководства.

Второе условие успеха демократии состоит в том, чтобы сфера действия политического решения не простиралась слишком далеко. Допустимый ее размер зависит не только от общих ограничений демократического метода, которые вытекают из анализа, представленного в предыдущей части, но и от конкретных обстоятельств в каждом отдельном случае. Выразимся более конкретно: сфера действия зависит не только от вида и количества вопросов, которые правительство может успешно решить в условиях постоянной напряженной борьбы за свое политическое существование. Она зависит также всегда и везде от качеств людей, входящих в правительство, от типа политического механизма и общественного мнения, с которыми им приходится работать. С точки зрения нашей теории демократии нет необходимости требовать, как это делает классическая теория, чтобы политический аппарат занимался только такими вопросами, которые народ в целом может полностью осознать и по которым он может иметь обоснованное мнение. Но менее обязывающее требование той же природы все же сохраняется. Это требует дополнительных разъяснений.

Конечно, не может быть никаких правовых ограничений относительно сферы, на которую парламент во главе с премьер-министром мог бы распространить свои решения, принимая в случае необходимости поправки к конституции. Но, как утверждал Эдмунд Берк, говоря о поведении английского правительства и парламента в отношении американских колоний, для того, чтобы правильно функционировать, этот всемогущий парламент должен ограничить сам себя. Аналогично мы можем считать, что даже среди вопросов, которые должны решаться путем парламентского голосования, парламенту и правительству часто необходимо обсуждать такие вопросы, по которым решение будет чисто формальным или контролирующим. В противном случае демократический метод приведет к уродливым явлениям. Возьмите, например, такой трудоемкий и сложный случай, как принятие уголовного законодательства. Демократическим методом следует решить вопрос, нужно ли стране вообще такое законодательство или нет. Он будет также применен к определенным вопросам, по которым, как считает правительство, необходимо политическое, а не формальное решение — например, должна ли считаться незаконной

практика тех или иных профсоюзов или ассоциаций работодателей. Но по остальным вопросам правительство или парламент должны будут принять рекомендации специалиста, что бы они ни думали при этом сами, поскольку преступление — явление сложное. Этот термин в действительности охватывает многие явления, которые имеют очень мало общего. Популярные мнения по этому вопросу почти всегда неверны. И разумное его рассмотрение требует, чтобы законодательство по этому вопросу было защищено как от уклона в карательные меры, так и от сентиментальности, в которые поочередно склонны впадать непрофессионалы в правительстве и парламенте. Вот что я хотел сказать, подчеркивая значение ограничения *эффективной* области действия политических решений — области, внутри которой политики принимают решения по форме и по сути.

Опять же рассматриваемое условие может на самом деле быть выполнено с помощью соответствующих ограничений деятельности государства. Но было бы серьезной ошибкой, если бы читатель заключил, что такие ограничения существуют автоматически. Демократия не требует, чтобы любая функция государства осуществлялась посредством данного политического метода. Например, в большинстве демократических стран судьям дана большая степень независимости от политических учреждений. Другой пример — положение Банка Англии до 1914 г. Некоторые из его функций были по сути государственными. Тем не менее эти функции были переданы организации, которая была просто деловой корпорацией, достаточно независимой от политического сектора, чтобы проводить свою собственную политику. Некоторые федеральные агентства в этой стране тоже могут быть отнесены к этой категории. Комиссия по торговле между штатами (Interstate commerce comission) представляет собой попытку расширить сферу государственного влияния, не расширяя при этом сферу политических решений. Или другой пример, некоторые из штатов финансируют университеты штатов «без всяких условий», другими словами, не ограничивая их в ряде случаев полную автономию.

Таким образом, почти любой тип человеческой деятельности можно ввести в сферу государства без того, чтобы она превратилась в арену конкурентной борьбы за политическое лидерство. Лидерство требуется здесь лишь для того, чтобы принять решение о создании государственного ведомства и придании ему определенной власти, а также для выполнения роли правительства как общего контролирующего органа. Конечно, этот контроль может выродиться во вредное влияние. Если политик бесконтрольно пользуется своей властью назначать персонал неполитических государственных учреждений, этого часто может быть достаточно для коррумпирования последних. Но это не влияет на рассматриваемый принцип.

Третье условие состоит в том, что демократическое правительство в современном индустриальном обществе должно иметь возможность контролировать во всех сферах государственной деятельности — независимо от того, насколько они многочисленны, — хорошо подготовленную бюрократию, имеющую высокий статус и исторические традиции, обладающую сильно развитым чувством долга и чувством чести мундира. Существование такой бюрократии — главный ответ на возражения против правительства дилетантов. Это единственный ответ на вопрос, который так часто задают в этой стране: демократия оказалась неспособной создать приличное городское правительство; как мы можем ожидать, что народ будет процветать, если все, включая в конечном счете и весь производственный процесс, будет отдано на откуп демократическому принципу? И наконец, это принципиальный ответ на вопрос о том, как можно выполнить наше второе условие[6], когда сфера государственного контроля широка.

Недостаточно, чтобы бюрократия была эффективна в текущем административном управлении и давала квалифицированные советы. Она должна также быть достаточно сильной, чтобы направлять и в случае необходимости обучать политиков, которые руководят министерствами. Для того чтобы быть в состоянии это делать, она должна занимать положение, которое дает возможность вырабатывать собственные принципы, и быть достаточно независимой, чтобы их утверждать. Она сама должна быть властью. Это равнозначно тому, чтобы сказать, что на деле, хотя и не формально, назначение на должность и продвижение по службе должно существенно зависеть — в соответствии с правилами государственной службы, которые политики не отваживаются нарушать, — от ее (бюрократии) собственного корпоративного мнения, несмотря на все возмущение, которое, естественно, часто поднимается по этому поводу среди политиков или обывателей.

И снова, как и в случае с кадрами политиков, первостепенным является вопрос о имеющемся человеческом материале. Обучение хотя и важно, но второстепенно. И вновь как необходимый материал, так и традиционный кодекс, необходимый для функционирования класса государственных служащих этого рода, легче всего обеспечить, если существует социальный слой нужного качества с соответствующим престижем, который может привлечь добровольцев, — не слишком богатый и не слишком бедный, не слишком закрытый и не слишком

[6] Ссылки на некоторые комментарии относительно бюрократии в гл. XVIII убедят читателя в том, что ответ, который дает бюрократия на все три вопроса, не идеален ни в каком смысле. С другой стороны, читатель не должен допускать, чтобы на него чрезмерно влияли ассоциации, связанные с этим словом в обыденной речи. В любом случае этот ответ единственно реалистичный.

доступный. Бюрократии Европы, несмотря на то, что довольно резкая критика в их адрес испортила им репутацию, являются примером того, что я стараюсь объяснить. Они являются продуктом длительного развития, которое началось с ministeriales средневековых вельмож (первоначально — слуг, которых выбирали для административных и военных целей и которые таким образом приобретали статус мелкого дворянства) и шло на протяжении столетий до тех пор, пока не возник мощный механизм, который мы видим сейчас. Его нельзя создать в спешке. Его нельзя «нанять» за деньги, но он растет везде, какой бы политический строй ни избрала нация. Его расширение — это тенденция, которую без риска можно предсказать на будущее.

Четвертый набор условий можно суммировать выражением «демократический самоконтроль». Все, конечно, согласятся, что демократический метод не может работать гладко до тех пор, пока все группы, которые имеют значение в данной стране, не согласятся принять любую законодательную меру, если она включена в свод законов, и все распоряжения, изданные законными властями. Но демократический самоконтроль означает нечто большее.

Прежде всего избиратели и парламенты должны находиться на нравственном и интеллектуальном уровне, достаточно высоком, чтобы противостоять предложениям обманщиков и маньяков, иначе простые люди попадут в их сети. Кроме того, ошибки, которые дискредитируют демократию и подрывают преданность ей, возникают тогда, когда правительственные меры проводятся без учета требований оппозиции или ситуации в стране. Индивидуальные предложения по законодательной реформе или правительственным мерам должны быть согласны стоять в общей очереди; они не должны пытаться ворваться в магазин. Вспоминая то, что было сказано в предыдущей главе о modus operandi демократического метода, читатель поймет, что это требует большой степени добровольной самодисциплины.

В частности, политики в парламенте должны противиться искушению наносить поражение правительству или стеснять его каждый раз, когда у них есть возможность это сделать. Если они будут это делать, никакая успешная политика невозможна. Это означает, что сторонники правительства должны принимать его руководство и позволять ему вырабатывать программу и действовать в соответствии с ней, а оппозиция должна принимать руководство «теневого кабинета» и позволять ему удерживать политическую борьбу в рамках определенных правил. Выполнение этого требования, привычное нарушение которого означает начало конца демократии, очевидно, требует необходимой доли традиционализма, не слишком большой, но и не слишком малой. Защитить этот традиционализм является в действительности одной из

целей, ради которых и существуют правила парламентской процедуры и этикета.

Избиратели вне парламента должны уважать разделение труда между ними самими и политиками, которых они избирают. Они не должны слишком легко отказывать в доверии депутатам в промежутке между выборами и должны понимать, что раз они избрали индивида, то политические действия — это его дело, а не их. Это означает, что они должны удерживаться от поучений и инструкций, — принцип, который и был повсеместно признан в конституциях и политической теории уже со времен Эдмунда Берка. Но смысл этого принципа понимают не все. С одной стороны, не многие понимают, что этот принцип не вписывается в классическую доктрину демократии и фактически требует от нее отказаться. Поскольку, если народ должен управлять в смысле принятия решений по отдельным вопросам, что могло бы быть более естественным, чем давать инструкции своим представителям, как делали избиратели на выборах во французские Генеральные Штаты в 1789 г. и раньше? С другой стороны, еще реже сознают, что, если бы данный принцип был принят, не только формальные инструкции, подобные французским cahiers («наказам»), но также и менее формальные попытки ограничить свободу действий членов парламента — например, практику бомбардирования их письмами и телеграммами — следует также запретить.

Мы не можем входить здесь в различные деликатные вопросы, которые возникают в связи с подлинной природой демократии, как мы ее определяем. Значение имеет только то, что успешной демократической практике в больших и сложных обществах присуща неизменная враждебность политиков к «подсказкам с заднего сиденья» со стороны своих избирателей, вплоть до того, что они предпочитают прибегать к тайной дипломатии и лгут о своих намерениях. Чтобы удержаться от этого вмешательства, от гражданина требуется высокая степень самоконтроля.

Наконец, эффективная борьба за лидерство требует большой терпимости к разнице во мнениях. Выше подчеркивалось, что эта терпимость никогда не является и никогда не может быть абсолютной. Но каждый потенциальный лидер, который не стоит вне закона, должен иметь возможность изложить свою позицию, если он не создает беспорядка. Это может предполагать, что люди терпят, когда кто-то атакует их самые жизненно важные интересы или оскорбляет наиболее дорогие им идеалы. Это может также означать, что и лидер, который имеет такие взгляды, сдерживает себя. Ни одна из этих ситуаций невозможна без подлинного уважения к мнениям сограждан, предполагающего даже подчинение им собственного мнения.

Любая система может выдержать искажения до определенной степени. Но даже для необходимого минимума демократического самоконтроля, очевидно, требуются привычки, для возникновения которых не везде были условия; нельзя надеяться, что сам по себе демократический метод произведет их. И повсюду этот самоконтроль существует лишь до определенных пределов. В самом деле, читателю нужно только вновь обратиться к нашим условиям, чтобы убедиться, что демократическое правительство будет работать наилучшим образом только, если все значимые интересы практически одинаковы не только в своей преданности стране, но также в лояльности основным принципам существующего общества. Когда эти принципы подвергаются сомнению и возникают проблемы, которые раскалывают нацию на два враждебных лагеря, демократия работает в невыгодных условиях. И она может совсем прекратить работать, как только люди перестают видеть почву для компромисса между интересами и идеалами, о которых идет речь.

Обобщенно говоря, демократический метод находится в невыгодных условиях в неспокойные времена. В действительности демократии всех типов единодушно признают, что бывают ситуации, когда разумнее отказаться от конкурентного лидерства и принять монопольное. В Древнем Риме такой невыборный пост, осуществляющий монополию на лидерство в экстренных случаях, был оговорен в конституции. Человек, на которого возлагались эти обязанности, назывался magister populi или диктатор. Такое положение предусмотрено почти во всех конституциях, включая и нашу собственную: президент Соединенных Штатов при определенных условиях получает власть, которая делает его диктатором в римском смысле, как бы велики ни были различия в правовом устройстве и в практических деталях. Если монополия власти эффективно ограничена и дается на определенный срок (как это было в Риме) или ограничена кратковременной экстренной ситуацией, действие демократического принципа конкурентного лидерства просто временно приостанавливается. Если монополия, предусмотренная законом или фактическая, не ограничена во времени — а если она не ограничена во времени, то она будет стремиться стать неограниченной и во всем остальном, — то демократический принцип аннулируется и мы имеем дело с диктатурой в современном смысле[7].

[7] В Древнем Риме, термины которого мы имеем привычку неправильно употреблять, развилась автократия, которая на протяжении нескольких столетий обнаруживала определенные черты, сходные с чертами современной диктатуры, хотя аналогию и не следует проводить слишком далеко. Но римская автократия использовала республиканский пост диктатора только в единственном случае — с Гаем Юлием Цезарем. Диктатура Суллы была лишь временным магистратом, созданным для определенной цели (конституционной реформы). Других случаев нет, кроме самых «обычных».

3. Демократия при социалистическом строе

1. Формулируя заключения, начнем лучше с отношения между демократией и капиталистическим строем.

Идеология демократии, как она отражена в классической доктрине, основана на рационалистической трактовке человеческих действий и жизненных ценностей. В силу предыдущих аргументов (гл. XI) одного этого факта было бы достаточно, чтобы предположить ее буржуазную природу. История ясно подтверждает это предположение: исторически современная демократия росла вместе с капитализмом и в причинной связи с ним. Но верно и обратное: демократия в том смысле, который придает ей наша теория конкурентного лидерства, главенствовала в процессе политических и институциональных изменений, посредством которых буржуазия изменила форму социальной и политической структуры, предшествовавшей ее господству, и, с ее точки зрения, сделала ее более рациональной: демократический метод был практическим инструментом этой реконструкции. Мы видели, что демократический метод работает особенно хорошо в некоторых некапиталистических и докапиталистических обществах. Но современная демократия — продукт капиталистического процесса.

Является ли демократия одним из тех продуктов капиталистического режима, которые вымрут вместе с ним, это, конечно, другой вопрос. И еще один вопрос, насколько капиталистическое общество подходит для использования демократического метода, который оно породило.

Что касается последнего вопроса, очевидно, что капиталистическое общество благоприятствует демократии по крайней мере в одном смысле. Буржуазия располагает специфическим средством, которое позволяет сузить сферу политических решений до таких пропорций, где ею можно управлять методом конкурентного лидерства. Буржуазная система ограничивает сферу политики, ограничивая сферу государственной власти; она выдвигает идеал ограниченного государства, которое существует в первую очередь для того, чтобы гарантировать законные права буржуазии и обеспечивать жесткие рамки для независимых индивидуальных усилий во всех областях. Если сверх того учесть пацифистские — по крайней мере антивоенные — тенденции и тенденции к свободной торговле, которые, как мы видели, присущи буржуазному обществу, будет видно, что важность роли политического решения в буржуазном обществе может, по крайней мере в принципе, быть постепенно сокращена почти до любой степени, которая может требоваться исходя из немощности политического сектора.

Теперь этот тип государства, несомненно, потерял для нас привлекательность. Буржуазная демократия — это весьма специфический исторический случай, и любые заявления от ее имени, очевидно, зависят от принятия стандартов, от которых мы уже отказались. Но абсурдно отрицать то, что политическое решение, которое нам не нравится, все же является политическим решением, а буржуазная демократия — демократией. Напротив, поскольку ныне его краски померкли, еще важнее осознать, как многоцветно оно было в лучшие времена; насколько широки и равны возможности, предоставляемые семьям (если не индивидам); насколько велика личная свобода, даваемая тем, кто прошел испытания этого строя (или их детям). Важно осознать также, насколько хорошо, по крайней мере на протяжении некоторых десятилетий, оно выдерживало давление неблагоприятных обстоятельств и насколько хорошо оно функционировало, когда сталкивалось с требованиями, которые выходили за рамки буржуазных интересов и были враждебны им.

Капиталистическое общество в период расцвета хорошо подходило для обеспечения успеха демократии еще и в другом смысле. Жить в нем легче тому классу, интересы которого лучше всего обслуживаются практикой демократического самоограничения, чем классам, которые по своей природе стараются жить за счет государства. Буржуа, который в первую очередь поглощен своими частными интересами, в целом — если только нет серьезной угрозы этим интересам — скорее будет обнаруживать терпимость к политическим различиям и уважение к мнениям, которые он не разделяет, чем любой другой человеческий тип. Более того, пока буржуазные стандарты господствуют в обществе, такое мироощущение имеет тенденцию распространяться и на другие классы. Английские земельные собственники приняли поражение 1845 г.* с относительной благосклонностью; английские лейбористы боролись за устранение несправедливостей, но до начала нынешнего столетия не торопились требовать привилегий. Конечно, в других странах было значительно меньше примеров такого самоограничения. Эти отклонения от принципа не всегда были серьезными или связанными только с капиталистическими интересами. Но в некоторых случаях политическая жизнь сводилась к борьбе групп давления, и во многих случаях практика, которая была не в духе демократического метода, становилась достаточно существенной, чтобы исказить его modus operandi (образ действия). Тем не менее заявление о том, что

* [отмену хлебных законов. — *Прим. ред.*]

подлинной демократии «не может быть» при капиталистическом строе, — это очевидное преувеличение[8].

Однако в обоих отношениях капитализм быстро теряет преимущества, которые у него были. Буржуазная демократия, обрученная с упомянутым идеалом государства, уже некоторое время испытывала возрастающие трудности. Частично это происходило в силу того обстоятельства, что, как мы видели раньше, демократический метод никогда не работает наилучшим образом, если нация сильно разделена по фундаментальным вопросам социальной структуры. И эта трудность, в свою очередь, оказалась особенно серьезной, поскольку буржуазное общество явно не смогло выполнить еще одно условие для обеспечения эффективного функционирования демократического метода. Буржуазия порождала индивидов, которые достигали успехов в политическом лидерстве, входя в политический класс небуржуазного происхождения, но не породила своего собственного лидирующего политического слоя, хотя третье поколение семей промышленников, по всей видимости, имело все возможности сформировать его. Почему так произошло, было подробно объяснено во второй части. Все эти факты вместе взятые, похоже, дают почву для пессимистических прогнозов относительно будущего данного типа демократии. Они также объясняют ту очевидную легкость, с которой в некоторых случаях она уступает диктатуре.

2. Идеология классического социализма — отпрыск буржуазной идеологии. В частности, она полностью разделяет рационалистическую и утилитарную подоплеку последней, и многие идеи и идеалы, вошедшие в классическую доктрину демократии. Социалисты действительно не испытали трудностей, присвоив эту часть буржуазного наследия и заявив, что те элементы классической доктрины, которые социализм не смог воспринять, — упор на защиту частной собственности, например, — в действительности противоречат ее фундаментальным принципам. Подобные доктрины могут сохраняться даже при совершенно недемократических формах социализма, и мы можем быть уверены, что писаки и фарисеи построят мостик из соответствующих фраз через любую пропасть между доктриной и действительностью. Но нас интересует практика, а именно судьба демократичес-

[8] Следует сказать, что существуют некоторые отклонения от принципа демократии, связанные с наличием организованных капиталистических интересов. Но исправленное таким образом утверждение справедливо и с точки зрения классической теории, и с точки зрения нашей теории демократии. В первом случае результат означает, что средства, которые есть в распоряжении частных интересов, часто используются для того, чтобы препятствовать исполнению воли народа. С нашей точки зрения, результат состоит в том, что эти частные средства часто используются для того, чтобы вмешиваться в механизм конкурентного лидерства.

кой практики при социализме с точки зрения доктрины конкурентного лидерства. Следовательно, поскольку мы видели, что недемократический социализм вполне возможен, вопрос опять-таки состоит в том, насколько социализм подходит для демократического метода, если будет сделана попытка его применения.

Главное — понять следующее. Ни один ответственный человек не может невозмутимо взирать на последствия распространения демократического метода, т. е., так сказать, сферы политики, на все экономические дела. Веря, что демократический социализм означает именно это, такой человек, естественно, придет к выводу, что демократический социализм должен потерпеть поражение. Но это не обязательно. Как отмечалось выше, расширение области государственного управления не обязательно предполагает соответствующее расширение сферы политического управления. Предположительно, государственное управление может быть настолько расширено, что поглотит экономическую жизнь нации, тогда как политическое управление все еще останется в рамках, определенных ограничениями демократического метода.

Отсюда, однако, следует, что в социалистическом обществе эти ограничения вызовут гораздо более серьезную проблему. Дело в том, что в социалистическом обществе не хватает автоматических ограничений, налагаемых на политическую сферу в буржуазной системе. Кроме того, в социалистическом обществе невозможно будет долее утешаться мыслью, что недостатки политической процедуры в конечном итоге являются оборотной стороной гарантированной свободы. Отсутствие эффективного управления приведет к отсутствию хлеба. Однако агенты, которые должны запускать экономическую машину, — Центральный орган, который мы упомянули в третьей части, как и подчиненные органы, которым доверено управление отдельными отраслями промышленности или концернами, — могут быть организованы и укомплектованы кадрами таким образом, чтобы в выполнении текущих обязанностей быть достаточно независимыми от вмешательства политиков, или, если на то пошло, беспокойных комитетов граждан, или, наконец, их собственных работников. Иначе говоря, они могут быть достаточно далеки от атмосферы политической борьбы, так что им присущи лишь те недостатки, которые ассоциируются у нас с понятием «бюрократия». И даже они *могут* быть значительно ограничены при должной концентрации ответственности индивидов и системе хорошо продуманных стимулов и наказаний, среди которых важнейшая часть — назначения и продвижение по службе.

Серьезные социалисты, когда они не занимались агитацией и были настроены ответственно, всегда осознавали эту проблему и тот факт,

что «демократия» ее не решает. Любопытную иллюстрацию представляют дискуссии в Германской комиссии по социализации (Sozialisierungs Kommission). В 1919 г., когда социал-демократическая партия Германии решительно выступила против большевизма, наиболее радикальные из ее членов все еще верили, что некоторая степень социализации неизбежна в силу практической необходимости, и в связи с этим была назначена комиссия для того, чтобы определить ее цели и методы. Она не состояла исключительно из социалистов, но социалистическое влияние было доминирующим. Председателем был Карл Каутский. Конкретные рекомендации были выработаны только по угольной промышленности, но и они, принятые под собирающимися тучами антисоциалистических настроений, не очень интересны. Гораздо интереснее точки зрения, которые возникли в ходе обсуждения, тогда, когда все еще превалировали более честолюбивые надежды. Идея, что управляющие заводов должны избираться их работниками, была откровенно и единодушно осуждена. Рабочие комитеты, возникшие во время общего развала, были объектами неприязни и подозрения. Комиссия, которая старалась как можно дальше отойти от популярных идей «промышленной демократии»[9], постаралась придать им безобидную форму и не слишком беспокоилась о развитии их функций. Намного больше она была обеспокоена усилением власти и обеспечением независимости управленческих кадров. Было высказано много мыслей о том, как не дать управляющим утратить капиталистическую живость и погрязнуть в бюрократических колеях. В действительности — если возможно говорить о результатах обсуждений, которые вскоре утратили практическую значимость, — эти социалистические управленцы не отличались бы от своих капиталистических предшественников, и во многих случаях на посты были бы назначены те же самые люди. Таким образом мы пришли, только иным путем, к заключению, полученному в третьей части.

Но сейчас мы в состоянии связать этот вывод с вопросом относительно демократии в условиях социализма. В определенном смысле, конечно, нынешние формы и органы демократической процедуры яв-

[9] Промышленная или экономическая демократия — это словосочетание фигурирует в стольких квазиутопиях, что в нем сохранилось очень немного точного смысла. В основном, я думаю, этот термин означает две вещи: во-первых, господство профсоюзов в промышленных отраслях; во-вторых, демократическое преобразование монархической организации фабрики через представительство рабочих в советах или другие меры, рассчитанные на обеспечение их влияния при внедрении технических новшеств, общую политику предприятия и, конечно, дисциплину на конкретном заводе, включая методы найма и увольнения. Излюбленным приемом является здесь разделение прибылей между предпринимателем и рабочим. С уверенностью можно сказать, что многое из этой экономической демократии растворится без следа при социалистическом режиме. Это не так опасно, как может показаться, поскольку многие из интересов, которые должен защищать этот тип демократии, тогда просто перестанут существовать.

ляются в такой же степени продуктом буржуазного мира, как и самого фундаментального принципа демократии. Но это не причина для их исчезновения вместе с капитализмом. Всеобщие выборы, партии, парламенты, кабинеты и премьер-министры могут по-прежнему оказаться самыми удобными инструментами для решения тех вопросов в повестке дня, которые при социалистическом строе останутся в сфере политических решений. Эта повестка будет свободна от всех тех вопросов, которые в настоящее время возникают из-за столкновений частных интересов и необходимости их регулировать. Вместо них появятся новые. Политическое решение будет приниматься по вопросам о том, каким должен быть объем инвестиций, каким образом следует изменить существующие правила распределения общественного продукта и так далее. Общие парламентские дебаты об эффективности экономики, комиссии по расследованию, подобные королевским комиссиям в Англии, будут продолжать выполнять их нынешние функции.

Таким образом, политики в кабинете, в особенности политики во главе Министерства производства, без сомнения, будут утверждать влияние политического элемента как при помощи законодательных мер, касающихся общих принципов управления экономическим механизмом, так и власти назначать исполнителей, которая будет вполне реальной. Но они должны делать это только до тех пор, пока это продиктовано соображениями эффективности. И министру производства не нужно будет вмешиваться во внутреннюю работу отдельных отраслей промышленности больше, чем английский министр здравоохранения или министр обороны вмешивается в работу соответствующих учреждений.

3. Совершенно очевидно, что управлять социалистической демократией указанным способом будет совершенно безнадежной задачей, за исключением случая, когда общество удовлетворяет всем требованиям «зрелости», перечисленным в третьей части, в частности, обладает способностью установить социалистический порядок демократическим путем и бюрократией соответствующего уровня и опыта. Но общество, которое удовлетворяет этим требованиям, — я не буду рассматривать никакие другие — в первую очередь будет располагать преимуществом, возможно, решающей важности.

Я подчеркивал, что нельзя ожидать эффективного функционирования демократии до тех пор, пока подавляющее большинство людей во всех классах не согласится подчиняться правилам демократической игры, что, в свою очередь, означает, что они в основном согласны с фундаментальными принципами институциональной структуры. В настоящий момент последнее условие не удается выполнить. Очень мно-

го людей отказались и еще большее число собирается отказаться от лояльности к нормам капиталистического общества. Уже по одному этому демократия обречена на возрастающие трудности. На рассматриваемой стадии, однако, социализм может устранить раскол. Он может вновь установить согласие об основном принципе построения общественного строя. Если он сделает это, оставшиеся антагонизмы будут как раз такого типа, с которыми вполне может справиться демократический метод.

В третьей части указывалось также, что число и важность этих антагонизмов будут уменьшаться путем устранения столкновений капиталистических интересов. Отношения между сельским хозяйством и промышленностью, мелкими и крупными предприятиями, сталепроизводящей и сталепотребляющей отраслями, отраслями, заинтересованными в протекционизме и и ориентированными на экспорт, возможно, перестанут быть политическими вопросами, которые улаживаются на основании относительного веса групп давления, и станут техническими вопросами, на которые специалисты смогут дать бесстрастные и недвусмысленные ответы. Хотя, может быть, утопично ожидать отсутствия четких экономических интересов и конфликтов между ними и еще более утопично ожидать, что вне сферы экономики будут вопросы, по которым будут разногласия, вполне можно ожидать, что общее количество спорных вопросов будет уменьшаться по сравнению с тем, что было при чистом капитализме. Не будет, например, политических краснобаев, обещающих людям золотые горы. Политическая жизнь будет очищена.

На первый взгляд социализм не может предложить очевидного решения проблемы, которая в других формах общества решается благодаря наличию политического класса, имеющего устойчивые традиции. Я говорил раньше, что при социализме будут профессиональные политики. Может возникнуть и политическая элита, размышлять сейчас о качестве которой было бы беспредметно.

Таким образом, социализм имеет преимущества. Еще можно спорить о том, что это преимущество легко уравновешивается вероятностью возможных важных искажений. До некоторой степени мы это предусмотрели, настаивая на экономической зрелости, которая среди прочего предполагает, что ни от какого поколения не потребуются великие жертвы ради следующего поколения. Но даже если нет необходимости принуждать людей к самопожертвованию средствами Госплана, демократического курса может быть очень сложно придерживаться. Обстоятельства, в которых индивиды, стоящие у руля, успешно будут с этим справляться, не легче себе представить, чем обстоятельства, в которых перед лицом паралича, распространяющегося с поли-

тической сферы на всю национальную экономику, они будут вынуждены придерживаться недемократического образа действий, который всегда представляет собой искушение для человека, сосредоточивающего в своих руках огромную власть над людьми, свойственную социалистической организации. В конце концов, эффективное управление социалистической экономикой означает *диктатуру не пролетариата, но над пролетариатом.* Правда, люди, подчиненные столь жесткой производственной дисциплине, будут независимы на выборах. Но так же, как они могут использовать свою независимость, чтобы ослабить дисциплину на фабрике, так и правительство — а именно правительство, которое заботится о будущем нации, — может использовать дисциплину, чтобы ограничить их независимость. На практике социалистическая демократия может в конце концов оказаться более лицемерной, чем когда-либо была капиталистическая.

В любом случае эта демократия не будет означать увеличения личной свободы. И, уж конечно, она не будет означать приближения к идеалу, заложенному в классической доктрине.

Часть пятая

ОЧЕРК ИСТОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Пролог

Не мне писать историю социалистических партий. Исторический контекст, в котором происходили взлеты и падения, и методы их борьбы требуют более масштабного полотна и более мощной кисти, чем моя. К тому же еще не время браться за такую задачу: хотя за последние 20 лет вышло много интересных работ, достаточно полно освещающих конкретные ситуации и фазы, предстоит проделать еще бóльшую работу, прежде чем можно будет написать историю современного социализма в действии, удовлетворяющую требованиям научной полноты. Однако для того, чтобы дополнить и представить в должной перспективе многое из того, о чем говорилось в предыдущих разделах, некоторые факты все же следует привести. Кроме того, мне хотелось бы также поделиться с читателем некоторыми своими соображениями, родившимися в процессе научной работы и из личных наблюдений[1], поскольку они представляются мне интересными сами по себе. Нижеследующие фрагменты были отобраны мною с учетом этой двойной цели, и я надеюсь, что, хотя они и разрозненны, читатель сможет угадать за ними контуры целого.

Не всякий читатель — даже не всякий читатель-социалист — одобрит то центральное положение, которое отводится в настоящем разделе Марксу и его учению. Не стану отрицать, в этом сказались мои личные пристрастия. По-моему, самым интересным моментом в социалистической политике — тем, что составляет ее своеобразие и

[1] Об одном таком соображении я уже говорил в другом месте (см. гл. XX).

23-6854

придает ей особое достоинство, как интеллектуальное, так и моральное, — является тесная связь этой политики с лежащей в ее основе доктриной. Социализм представляет собой (по крайней мере в принципе) теорию, реализованную на практике посредством действий или бездействия людей, основанную на истинных или ложных представлениях об исторической необходимости (см. первую часть). Этот character indelebilis* отличает даже практические и тактические соображения, которые социалисты всегда оценивали в свете данного принципа. Но все это справедливо лишь для марксистского течения, а также, если говорить о буржуазной составляющей социализма, для радикалов-бентамистов, которых недаром называли «философскими» радикалами. Что же касается немарксистских социалистических течений, то все они более или менее похожи на другие течения или партии; только марксисты, исповедующие истинную веру, твердо шли по пути, освещаемому доктриной, которая давала им ответы на все вопросы. Как будет ясно из дальнейшего, я вовсе не считаю, что такая установка является безусловно правильной. Ее можно назвать узколобой или даже наивной. Но доктринеры всех мастей, как бы ни были они беспомощны на практике, как правило, более симпатичны нам, чем обыкновенные практики от политики. К тому же они обладают такими источниками внутренней силы, которых практикам никогда не понять.



* Неизгладимое свойство (*лат.*).

Глава XXIV

ЮНОСТЬ СОЦИАЛИЗМА

Социалистические учения, отдельные корни которых, по-видимому, так же стары, как сама человеческая мысль, первоначально были всего лишь фантазиями, порожденными стремлением к справедливости или ненавистью, умозрительным прожектерством, оторванным от социальных реалий, поскольку они не могли никого убедить в том, что социальный прогресс способствует их реализации. Подвижничество ранних социалистов сводилось к проповедям в пустыне, поскольку они не имели прочных связей ни с одной существующей или потенциальной социальной силой, к разговорам платонического толка, до которых не было дела политикам и которых ни один исследователь социальных процессов не отнес бы к числу действенных факторов.

Именно в этом и заключается суть Марксовой критики большинства предшествующих или современных ему социалистических учений и основная причина того, почему он называл эти теории утопическими. Дело не столько в том, что многие проекты ранних социалистов были явно недоношенными или, во всяком случае, не слишком продуманными, а в том, что в большинстве своем они не только никогда не были осуществлены, но и в принципе были неосуществимы. На этот счет существует обширная литература, но мы приведем лишь несколько примеров, иллюстрирующих это положение и одновременно показывающих, что Маркс был несправедлив в своей оценке ранних социалистов.

«Утопия» сэра Томаса Мора (1478—1535), книга, которую в XIX в. читали, любили и которой пытались даже подражать (вспомните успех Кабе и Беллами)*, разворачивает перед читателем картину скудного, но высоконравственного общества, построенного на принципах равенства, которое было прямой противоположностью современной Мору Англии. Не исключено, что к этому идеалу следует относиться именно как к социальной критике, облаченной в литературную форму,

* Кабе Этьен (1788—1856) — французский публицист, идеолог утопического «мирного коммунизма»; социально-философский роман «Путешествие в Икарию» изображает устройство утопического коммунистического общества; Беллами Эдуард (1850—1898) — американский писатель; социально-утопический роман «Взгляд из прошлого» рисует достигнутое путем мирной эволюции социалистическое общество в США.

а не как к выражению истинных взглядов Мора на цели практического социального планирования. Однако если понимать его работу в последнем смысле, — а именно так она и была воспринята, — то главный недостаток «Утопии» Мора заключается даже не в ее непрактичности. В некоторых отношениях она даже не так непрактична, как отдельные современные формы идиллического социализма. Так, она прямо ставит вопрос о власти и неприкрыто рисует перспективу, — разумеется, возводя ее в ранг добродетели, — скромного образа жизни. Главная беда в том, что Мор не делает ни малейшей попытки показать, каким образом развитие общества придет к такому идеальному состоянию (разве только путем чудесного превращения) или каковы реальные факторы, на которые можно было бы воздействовать, чтобы привести его к этому идеалу. Сам по себе идеал мог нравиться или не нравиться, но он не мог служить руководством к действию. Чтобы поставить практически точку над «i», скажем, что в этом идеале не было ничего такого, на чем можно было бы основать партию и выработать программу.

К иному типу относится социализм Роберта Оуэна (1771—1858). Ему, фабриканту и реформатору-практику, недостаточно было выдвинуть — или перенять — идею небольших самообеспечивающихся общин, производящих и потребляющих свои жизненные средства в соответствии с общепринятыми коммунистическими принципами: он решил ее реализовать. Поначалу он надеялся на содействие государства, потом решил попробовать пробудить интерес к своей идее путем создания показательных коммун. Может, таким образом, показаться, что его план был более приближенным к реальности, чем план Мора: ведь Оуэн не просто предложил идею, но и попытался навести мосты между нею и реальностью. В действительности, однако, подобные мосты годятся лишь на то, чтобы служить наглядным пособием, раскрывающим глубинную природу утопизма, поскольку как правительственные меры, так и личные усилия преподносились его программой как *deus ex machina**, т. е. как нечто такое, что нужно сделать только потому, что кто-то решил, что так надо. Оуэн не указал, да и не смог бы указать никакой социальной силы, которая действовала бы в направлении провозглашенной цели. Сажая розовые кусты своих идей, Оуэн не позаботился о почве для них, — они должны были питаться одной лишь собственной красотой[1].

---

* «Бог из машины» (*лат.*), появление которого никак не обусловлено предыдущим ходом событий.

[1] То же самое можно сказать и применительно к аналогичному плану Шарля Фурье (1772—1837), который, однако, вполне социалистическим не назовешь, поскольку по этому плану трудящиеся должны были получать лишь $^{5}/_{12}$ общественного продукта, а остальное должно было идти на накопление и управление. Хотя сама по себе эта попытка ▶

То же верно и применительно к анархизму Прудона (1809—1865), за тем исключением, что экономическая ошибка в его трудах гораздо более заметна, чем в работах других классиков анархизма, которые с презрением относились к экономической аргументации. Отстаивая свой идеал свободной и институционально неоформленной кооперации между отдельными индивидами или идею разрушения, необходимого, чтобы проложить для этой кооперации дорогу, они избегали логических ошибок главным образом благодаря тому, что вообще не прибегали к логике. Как шекспировские «безумные, любовники, поэты», которые «все из фантазий созданы одних», они были по определению не способны ни на что другое, кроме как расстраивать социалистические планы и усиливать неразбериху в ситуациях революционного подъема. Можно легко понять негодование Маркса, к которому нередко примешивалась горечь отчаяния, если вспомнить деяния г-на Бакунина.

Однако анархизм был не просто утопией, а утопией с идеей отмщения. Мы упомянули об одном из мрачных его представителей только для того, чтобы дать понять, что подобные всплески менталитета XIV в. не следует путать с подлинной линией утопического социализма, которая лучше всего проявляется в работах Сен-Симона (1760—1825). В них мы находим и здравый смысл, и ответственное отношение, и аналитическую глубину. Выдвигаемая им цель не была ни абсурдной, ни умозрительной. Не хватало только одного — пути реализации: единственным предложенным методом вновь оказались государственные меры, т. е. действия правительств, которые в то время все были, по существу, буржуазными.

Если согласиться с такой точкой зрения, то великий перелом, означавший вступление социализма в пору зрелости, следует связать с именем и деятельностью Карла Маркса. Событие это, следовательно, можно датировать (если в подобных вопросах сколько-нибудь точная датировка вообще возможна) выходом в свет «Коммунистического манифеста» (1848) или основанием Первого Интернационала (1864): именно в этот период социализм и теоретически, и практически стало возможным принимать всерьез. Однако достижение это, с одной стороны, всего лишь подводило итог наработкам социалистической мыс-

---

Продолжение сноски со стр. 708.

сделать объективный расчет весьма похвальна, нельзя не отметить то любопытное обстоятельство, что при таком «идеальном», с точки зрения Фурье, порядке вещей трудящиеся оказались бы в менее выгодном положении, чем при реальном капитализме. Так, в довоенной Англии совокупная заработная плата по ставке ниже 160 фунтов стерлингов соответствовала 62% чистого продукта, а если включить и более высокие жалованья — 68% (см.: Bowley A. The division of the product of Industry. 1921. P. 37.). Разумеется, идеалы Фурье отнюдь не сводились к одной только экономике, но в той мере, в какой они ее затрагивают, они наглядно показывают, насколько силен элемент незнания капиталистических реалий в учениях иных реформаторов.

ли за все предыдущие века, с другой стороны, оно формулировало их таким специфическим образом, который практически (но, уж конечно, не логически) был в то время единственно возможным. Следовательно, оценка, данная Марксом ранним социалистам, должна быть в известной мере пересмотрена.

Прежде всего, даже если согласиться с тем, что социалистические теории предыдущих веков были не более чем грезами, то грезы эти в большинстве своем были вполне аргументированными. Причем то, что более или менее логично удавалось сформулировать отдельным мыслителям, было не просто их личными фантазиями, а выражением мечтаний всех неправящих классов. Таким образом, мыслители эти не только витали в облаках — они помогали также вытащить на поверхность то, что дремало внизу и готово было пробудиться. В этом смысле даже анархисты, включая их средневековых предшественников, процветавших во многих монастырях, в особенности францисканских, приобретают значение, которое марксисты им обычно не придают. Какими бы беспомощными ни казались эти учения ортодоксальным социалистам, — но притягательность социализма даже сегодня во многом определяется этими неразумными желаниями голодной души — именно души, а не живота, рупором которой они были[2].

Во-вторых, ранние социалисты оставили после себя много инструментов и строительного материала. В конце концов, даже сама идея социалистического общества была их детищем, и именно благодаря их подвижничеству Маркс и его современники могли рассуждать о социализме как о чем-то таком, что всем известно. Но многие утописты пошли гораздо дальше. Они прорабатывали детали социалистического плана или некоторых его вариантов, формулируя тем самым проблемы (пусть даже формулировки эти были неадекватны) и расчищая площадку под будущее строительство. Даже их вклад в чисто экономический анализ заслуживает доброго слова: он сыграл роль закваски, которая заставила подняться, казалось бы, безнадежно тяжелое тесто. К тому же эти работы в большинстве своем были выполнены на хорошем профессиональном уровне и не только обогатили существующую теорию, но и самому Марксу пришлись очень кстати. Английские социалисты и квазисоциалисты, которые разработали трудовую

[2] Именно поэтому попытки высокоученых социалистов откреститься от всего того, что кажется им абсурдным и призрачным в вере своих непросвещенных собратьев, никогда не смогут увенчаться полным успехом. Популярность социализма объясняется вовсе не логическими аргументами, а как раз теми мистическими ересями, которые с негодованием осуждают как буржуазные, так и социалистические экономисты. Пытаясь отмежеваться от них, вышеупомянутые социалисты не только проявляют неблагодарность породившему их дереву, но и кличут на себя беду — ведь эти стихийные силы можно переманить на службу к другому господину.

теорию ценности, например Уильям Томпсон, дают тому прекрасный пример.

В-третьих, далеко не все из тех, кого Маркс относит к утопистам, творили в отрыве от массовых движений. Некая связь неизбежно присутствовала хотя бы потому, что те самые социальные и экономические условия, которые заставляли мыслителей браться за перо, толкали на действия и социальные группы или классы людей — крестьян, ремесленников, батраков или просто бродяг и нищих. Однако для многих утопистов эта связь была значительно более тесной. Уже во время революций XIV в. требования крестьян были сформулированы интеллигенцией, а с течением веков связи и сотрудничество между ними становились все теснее. Гракх Бабеф (1760—1797), вождь и вдохновитель единственного чисто социалистического движения во время Великой французской революции, в глазах правительства был настолько значительной фигурой, что оно сочло необходимым приговорить его в 1797 г. к смертной казни. Множество примеров сотрудничества между интеллигентами и массами дает также история Англии. Достаточно только провести с этой точки зрения сравнение между движением левеллеров в XVII в. и движением чартистов в XIX в. В первом случае Джерард Уинстэнли (Winstanley, 1609—1652) присоединился к движению и возглавил его в индивидуальном порядке, во втором — группы интеллигенции выступили как единое целое, и хотя в конечном итоге их сотрудничество свелось к христианскому социализму, это никак нельзя считать затеей кабинетных ученых, совершенно оторванных от массовых движений тех времен. Во Франции наилучшим примером может служить деятельность Луи Блана (Blanc, 1811—1882) в период революции 1848 г. Таким образом, в этом, как и в других отношениях, утопический социализм отличался от социализма «научного» скорее по степени, нежели по существу: отношение ранних социалистов к классовым движениям было случайным и, как правило, не возводилось в принцип, тогда как у Маркса и у постмарксистских социалистов оно было именно возведено в основополагающий принцип и по сути напоминало отношение стратегов к действующей армии.

Остается сделать еще одно очень важное замечание — надеюсь, оно не окажется камнем преткновения. Я уже сказал, что доктрина, которая постулирует наличие объективной исторической тенденции движения к социализму[3] и постоянная связь с существующим и потен-

[3] Желающих понять точный смысл этой фразы отсылаем к первой и второй частям. Здесь же она означает только две вещи: во-первых, что, хотим мы этого или не хотим, к социализму склоняются реальные социальные силы, следовательно, он будет все больше приобретать характер практической задачи; во-вторых, раз так, то в данный момент уже имеется поле деятельности для партий с социалистической ориентацией. Последнее положение более подробно обсуждается в гл. XXV.

циальным источником социальной энергии — два необходимых условия, превращающих социализм в серьезный политический фактор, — к середине XIX в. уже, несомненно, сложились, причем сложились в такой форме, которая логически была отнюдь не единственно возможной. Маркс и большинство его современников придали своему учению новую грань, объявив, что рабочие — это единственный класс, который служит активным проводником этой тенденции и, следовательно, является единственным источником энергии, в котором социализм может черпать свои силы. Для них социализм означал в первую очередь «освобождение труда от эксплуатации, а освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом».

Теперь нам нетрудно будет понять, почему в качестве практической задачи Маркс выбрал не что-нибудь, а именно привлечение на свою сторону рабочего класса, и почему его доктрина была выстроена соответственно. Но сама идея настолько глубоко укоренилась, причем не только в представлениях социалистов, но также и в головах несоциалистических мыслителей, что совершенно заслонила собой некоторые факты, которые не так-то просто объяснить с позиций социализма — например, то, что рабочее движение, которое, действительно, часто связано с социализмом, до сего дня не слилось с ним, а существует само по себе, и что социалистам оказалось не так-то легко установить в рабочей среде сферы своего влияния, в которых их учение воспринималось бы как нечто само собой разумеющееся. Как бы мы ни объясняли подобные факты, должно быть ясно, что рабочее движение по сути своей не является социалистическим точно так же, как и социализм необязательно является учением рабочих или пролетариата. Да это и неудивительно. Ведь во второй части мы видели, что капиталистический процесс мало-помалу обобществляет экономику и многое другое, что означает преобразование в равной мере *всех* частей единого общественного организма. Реальный доход и вес рабочего класса в обществе в ходе этого процесса увеличиваются, а капиталистическое общество все более и более утрачивает способность держать рабочих в узде. Но такая картина вряд ли сможет служить достойной заменой созданному Марксом полотну, живописующему рабочих, толкаемых на великую революцию страданиями, невыносимость которых постоянно возрастает. Если отвлечься от этой картины и осознать, что реально возрастает лишь вклад рабочего класса в капиталистическую систему, то значение данного призыва, обращенного к рабочему классу и подразумевающего определенную логику эволюции, неизбежно снизится. Еще менее обоснованной покажется тогда и та роль, которую отводит марксизм пролетариату в развязке социальной драмы. Ему вообще там нечего будет делать, если преобразования будут происходить постепенно. А если случится великая революция, пролетариат можно уговорить или угрозами добиться его согласия.

Ударная группа все равно будет сформирована не из рабочих, а из представителей интеллигенции с участием околоуголовных элементов. А Марксовы идеи по этому вопросу — это чистая «идеология», столь же утопичная, как и фантазии ранних социалистов.

Таким образом, хотя по существу нельзя отрицать, что в отличие от большинства своих предшественников Маркс ставил перед собой задачу подвести фундамент под уже существующее движение, а не под выдуманную сказку, а также то, что он и его преемники добились частичного контроля над этим движением, разница между Марксом и утопистами на самом деле куда меньше, чем марксисты пытаются нас убедить. Как мы видели, в мыслях утопистов гораздо больше реализма, а в мыслях Маркса — гораздо больше нереалистичных мечтаний, чем они считают.

В свете этого факта мы должны переменить свое мнение о ранних социалистах *именно потому*, что они не делали какого-то особого упора на пролетарский фактор. В частности, их призывы к правительствам или к другим классам, помимо пролетариата, покажутся нам тогда менее иллюзорными и более реалистичными, чем они представлялись Марксу. Ведь государство, его бюрократия и группы людей, из которых состоит политическая машина, не могут не привлечь внимания социалистов, ищущих источники общественной энергии. Сегодня уже должно стать очевидным, что перечисленные силы готовы двигаться в желательном направлении с не менее «диалектической» необходимостью, чем массы. И даже само появление внутри социализма такого «буржуазного течения», которое мы предпочитаем называть «фабианским социализмом»[4], также наводит на определенные размышления. Таким образом, выбор Марксом в качестве источника социальной энергии рабочего класса был лишь одним из возможных вариантов, который, будучи самым важным практически, ничем не лучше и не хуже выбора, сделанного другими социалистами, которых ортодоксальные марксисты считали мошенниками и еретиками.

---

[4] См. гл. XXVI. Марксисты, естественно, возразят, что подобные явления — не более чем отклонения от подлинной тенденции, побочные эффекты, сопровождающие победный марш пролетариата. С этим утверждением еще можно было бы согласиться, если считать наступление пролетариата одним из факторов в ситуации, которая породила и порождает подобные явления. Но, будучи понято в этом смысле, это утверждение уже не может быть использовано марксистами в качестве контраргумента. Если же оно означает, что пролетариат и государственный социализм связывает улица с односторонним движением или что связь между ними носит чисто причинно-следственный характер, тогда это действительно был бы контраргумент, хотя и неверный. Социально-психологический процесс, описанный во второй части, сам, без всякого давления снизу, порождает государственный и фабианский социализм, который даже помогает это давление создать. Как мы вскоре увидим, можно задать резонный вопрос, где был бы сейчас социализм без своих попутчиков. Можно со всей определенностью утверждать, что социализм (в отличие от рабочего движения профсоюзного типа) без своих идеологов буржуазного происхождения далеко бы не ушел.

Глава XXV

УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ СФОРМИРОВАЛИСЬ ВЗГЛЯДЫ МАРКСА

1. По словам Энгельса, в 1847 г. Маркс вместо термина «социализм» стал употреблять термин «коммунизм», поскольку социализм к этому времени приобрел уже налет буржуазной респектабельности. Как бы то ни было и какое бы объяснение мы не давали этому факту, если он действительно имел место, — у нас ведь неоднократно были основания считать социализм продуктом буржуазной мысли — не может быть никакого сомнения в том, что сами Маркс и Энгельс были типичными представителями буржуазной интеллигенции. Изгои своей страны, буржуа по происхождению и по воспитанию — вот кто такие были Маркс и Энгельс, и формула эта многое проясняет как в идеях Маркса, так и в той политике и тактических шагах, которые он рекомендовал. Самым поразительным является то, что идеи его получили такое большое распространение.

Во-первых, этот лишенный корней интеллигент, в душе которого на всю жизнь неизгладимым следом отложился опыт 1848 г., отверг свой собственный класс и сам был этим классом отвергнут. С тех пор он мог иметь дело только с другими отверженными интеллигентами, такими же изгоями, как он сам, а также с пролетарскими массами, и только им мог доверять. Именно здесь следует искать объяснение его доктрины, которая, как мы видели в предыдущей главе, несомненно, нуждается в объяснении, а именно его утверждение о том, что «освобождение рабочих есть дело самих рабочих».

Во-вторых, будучи лишенным корней интеллигентом, он, естественно, стал интернационалистом по своему мироощущению. Это означало не только и не столько то, что проблемы и превратности судьбы любой отдельно взятой страны — даже пролетариата отдельно взятой страны — никогда не стояли для него на первом месте, а находились скорее на периферии его интересов. Это означало, что для него было куда легче создать наднациональную социалистическую религию и размышлять о международном пролетариате, отдельные отряды которого, по крайней мере в теории, были гораздо более тесно связаны между собой, чем с другими классами в своих же странах. Чисто логически придумать такую откровенно нереальную концепцию и все, что из нее вытекает с точки зрения понимания прошлой истории и взглядов марксистских партий на внешнюю политику, мог кто угодно, однако любому другому пришлось бы для этого преодолевать в себе субъективные пристрастия, порожденные национальным окружением, и ни один человек, связанный со своей страной тысячами нитей, не

смог бы отдать ей столько страсти, сколько вложил в нее Маркс, у которого такие нити отсутствовали. Сам не имея отечества, он сумел легко убедить себя, что его нет и у пролетариата.

Чуть ниже мы увидим, почему и в какой мере это учение выжило и какой смысл вкладывался в него при разных обстоятельствах. Сам Маркс, несомненно, был согласен с вытекающими из него выводами о неучастии в войнах и пацифизме. Он, безусловно, считал, что пролетариат не только не заинтересован в «капиталистических войнах», но что войны эти служат средством его еще более полного порабощения. Уступка, на которую ему пришлось пойти, а именно тезис о том, что участие в обороне собственной страны против иноземных захватчиков не является для правоверного социалиста делом зазорным, несомненно, была всего лишь вынужденной тактической уловкой.

В-третьих, какой бы ни была его доктрина[1], но этот лишенный корней буржуа все же впитал демократию вместе с молоком матери. Иными словами, приятие буржуазной системы ценностей в той ее части, которая касалась демократии, было для него не просто вопросом рационального понимания условий, характерных для современного ему общества или общества любой другой эпохи. Не было оно для него и просто вопросом тактики. Действительно, он не смог бы заниматься социалистической деятельностью (и своей личной работой) — во всяком случае, не смог бы заниматься ею в сколько-нибудь комфортных условиях — в обществе, не исповедующем принципы демократии в том виде, в каком их понимали во времена Маркса. За крайне редким исключением всякая оппозиция должна бороться за свободу, которая для Маркса была синонимом демократии, и отдаваться на милость «народа». Разумеется, этот момент был, а в некоторых странах и до сих пор остается весьма важным. Именно в этом заключается объяснение того, почему демократические заявления социалистических партий недорого стоят, пока политическая власть этих партий не возрастет настолько, что у них появится возможность выбора, и почему они не пользуются случаем принципиально решить вопрос о соотношении между логикой социализма и логикой демократии. Тем не менее мы имеем все основания утверждать, что Маркс не подвергал сомнению необходимость демократии, и любое иное политическое устройство считал ниже демократии — в этом революционеру образца 1848 г. следует отдать должное[2]. Разумеется, такой важный элемент

[1] См. гл. XX и XXIII.

[2] Эмоциональная установка, сложившаяся у Маркса под влиянием событий 1848 г., совершенно исключала для него возможность хотя бы понять, не говоря уж о том, чтобы воздать должное тому недемократическому режиму, который отверг его. Беспристрастный анализ, несомненно, отметил бы и достижения, и потенциальные возможности, но в данном случае Маркс никак не мог быть беспристрастным.

буржуазной политической культуры никак нельзя было принять без всяких оговорок — это сразу выявило бы, что у Маркса было слишком много общего с этой культурой. Но в предыдущей части книги мы уже убедились, что Маркс сумел преодолеть эту трудность, смело заявив, что единственно истинной является только социалистическая демократия, а буржуазная демократия — это не демократия вовсе.

2. Таково было Марксово политическое априори[3]. Нет нужды лишний раз говорить о том, что оно принципиально отличалось от априори рядовых английских социалистов, не только живших во времена Маркса, но и в любые другие времена, — отличалось настолько сильно, что взаимная симпатия и уж тем более полное взаимопонимание практически исключались, независимо от гегельянства и других идеологических барьеров. Это различие станет еще более наглядным, если сравнить Маркса с другим немецким мыслителем, очень близким ему по происхождению, — Фердинандом Лассалем (1825—1864). Человек той же национальности, продукт того же социального строя, что и Маркс, воспитанный на очень близких культурных традициях, на которого также оказала большое влияние французская революция 1848 г. и идеология буржуазной демократии, Лассаль, однако, отличается от Маркса, причем отличие это невозможно объяснить одним только несходством характеров. Гораздо важнее было то, что Маркс был изгоем, а Лассаль — нет. Лассаль никогда не оказывался в изоляции ни от своей страны, ни от какого-либо сословия, включая пролетариат. В отличие от Маркса он никогда не был интернационалистом. Когда он говорил «пролетариат», он прежде всего имел в виду немецкий пролетариат. Он не имел ничего против сотрудничества с существующим государством. Ему не претило общение с Бисмарком или с королем Баварии. Подобные мелочи играют большую роль — бóльшую, возможно, чем многие мировоззренческие разногласия, во всяком случае, достаточно большую, чтобы породить разные учения о социализме и непримиримую вражду между их авторами.

Попробуем теперь с позиций Марксова априори взглянуть на те факты политической жизни, с которыми ему приходилось иметь дело.

Возьмем хотя бы обширную армию промышленного пролетариата, о которой писал Маркс, считая, что она существует только в Англии. Даже в Англии к тому моменту, когда он сформулировал основные положения своей теории, движение чартистов уже сошло на нет, а рабочий класс становился все более трезвомыслящим и консервативным. Неудача радикальных действий разочаровала пролетариат, и он стал

[3] Ни в одном языке из тех, которые я знаю, это слово официально существительным не считается, но это настолько удобно, что я все-таки рискну употребить его в данной форме.

отходить от броских лозунгов и гимнов, прославляющих право рабочих на неурезанный продукт. Трезво поразмыслив, пролетарии решили сделать ставку просто на увеличение своей доли в этом продукте. Их вожди стали осторожно пытаться установить, укрепить и усилить юридический статус и экономическую власть профсоюзов в политических рамках буржуазного общества. Из принципиальных, а также из очевидных тактических соображений они неизбежно должны были относиться к революционным идеям и революционной деятельности, как к помехе, диверсии против серьезного дела трудового класса, допущенной то ли по глупости, то ли по легкомыслию. К тому же они имели дело в основном с верхними слоями рабочего класса; что касается его низов, то по отношению к ним они испытывали чувства, близкие к презрению.

Во всяком случае, ни условия, в которых они оказались, ни личные качества никогда бы не позволили Марксу и Энгельсу организовывать промышленный пролетариат или любую конкретную его группу в соответствии с собственными идеями. В лучшем случае они могли надеяться на связи с вождями пролетарского движения и профсоюзной бюрократией. Учитывая, с одной стороны, позицию «респектабельных» представителей рабочего класса, с другой — точку зрения не поддающихся организации низов в больших городах, с которые они не очень-то жаждали иметь дело[4], они оказались перед лицом весьма щекотливой дилеммы. Они не могли не оценить значения профсоюзного движения, которое медленно, но верно шло к решению титанической задачи объединения масс в некое подобие организованного класса, иначе говоря — к решению той проблемы, которую сами Маркс и Энгельс считали наиважнейшей. Однако не имея возможности влиять на это движение и вполне сознавая ту опасность, что ведомый профсоюзами рабочий класс может обуржуазиться и выработать в себе буржуазные установки, они не любили профсоюзы и не доверяли им, а те платили им той же монетой — в той мере, в какой они их вообще замечали. Таким образом, Марксу и Энгельсу пришлось отступить на позицию, которая стала характерной для классического социализма и которая, хотя значение ее существенно уменьшилось, и по сей день выражает фундаментальный антагонизм между теоретиками социализма и рабочим классом (который в важных случаях можно условно приравнять к антагонизму между социалистическими партиями и профсоюзами). Для социалистов профсоюзное движение было чем-то таким, что необходимо обратить в веру классовой борьбы; в качестве средства такого обращения приверженцам истинного вероучения при-

[4] Не будем забывать, в каком тоне марксисты обычно говорят о люмпен-пролетариате (lumpenproletariat).

ходилось идти на сотрудничество с профсоюзами всякий раз, когда рабочие волнения радикализировали массы и беспокойство или волнение профсоюзных лидеров достигало такой степени, что они готовы были выслушивать проповеди. Но поскольку обращение в истинную веру все равно было неполным и поскольку профсоюзы оставались в принципе не расположенными ни к революционным, ни даже просто к политическим действиям, для социалистов это движение не только не было носителем божественной истины, напротив, оно шло по ложному пути, неправильно понимало свои истинные цели, обманывая себя пустыми сказками, которые не просто бесполезны, но даже вредны, а потому правоверным не следовало до него опускаться, разве что затем, чтобы подтачивать его изнутри.

Эта ситуация начала меняться уже при жизни Маркса и изменилась еще больше после его кончины, но еще при жизни Энгельса. Рост численности промышленного пролетариата, который постепенно сделал его реальной силой не только в Англии, но и на континенте, и сопутствующая экономическим спадам того периода безработица увеличили влияние Маркса и Энгельса на лидеров рабочего движения, но они никогда так и не добились прямого влияния на пролетарские массы. Впрочем, главным материалом для работы всегда оставалась интеллигенция. И хотя успехи их на данном фронте были весьма значительны, интеллигенты доставляли им еще больше беспокойства, чем безразличие трудящихся, временами перерастающее во враждебность. Была, например, прослойка интеллигентов-социалистов, которые не считали зазорным отождествлять себя с профсоюзами или с социальным реформаторством буржуазно-радикального или даже консервативного толка. И разумеется, они исповедовали совершенно иной социализм, который, обещая быстрые блага, был опасным соперником. Были также интеллигенты, в первую очередь Лассаль, которые завоевали в массах позиции, представлявшие уже прямую угрозу идеям марксизма. И наконец, были интеллигенты, которым было не занимать революционного пыла, но которых Маркс и Энгельс вполне справедливо считали худшими врагами социализма — это путчисты вроде Бланки [1805—1881], досужие мечтатели, анархисты и т. д. Идеологические и тактические соображения требовали сказать всем этим группам твердое «нет».

3. На таком идеологическом фоне и в такой тактической ситуации Марксу было чрезвычайно трудно найти ответ на два жизненно важных вопроса, которые неизбежно задавал каждый его последователь или потенциальный сторонник: вопрос об отношении к политике буржуазных партий и вопрос о программе ближайших действий.

Что касается первого вопроса, то социалистическим партиям нельзя было посоветовать молча взирать на буржуазную политику. Их

непосредственной задачей было критиковать капиталистическое общество, выявлять замаскированные классовые интересы, подчеркивать, насколько лучше все будет в социалистическом раю, охотиться за новобранцами: критиковать и организовывать. Однако сохранять чисто негативное отношение, хотя в принципе оно вполне допустимо, для любой мало-мальски влиятельной партии было бы невозможно. Оно неизбежно вступило бы в противоречие с реальными целями организованного труда и, если бы оно сохранялось сколь-нибудь долго, отпугнуло бы всех последователей, за исключением разве что горстки политических аскетов. Учитывая то влияние, которое вплоть до 1914 г. оказывало учение Маркса на великую германскую Социал-демократическую партию и на многие другие политические группы меньших размеров, интересно посмотреть, как он разрешил эту трудность.

Пока это было возможно, он сохранял единственную логически безупречную позицию: социалисты должны отказаться от участия в бутафорских реформах, с помощью которых буржуазия пытается обмануть пролетариат. Такое участие — позже оно было названо «реформизмом» — означало бы вероотступничество, предательство истинных целей, коварную попытку подлатать то, что должно быть разрушено. Ослушники вроде Бебеля, вернувшегося с повинной головой к прежним святыням после того, как он соблазнился было реформизмом и сбился с пути истинного, подвергались ожесточенной критике. Надо сказать, что во времена Союза коммунистов 1847 г. Маркс и Энгельс сами подумывали о том, чтобы скооперироваться с левыми буржуазными группировками, да и в «Коммунистическом манифесте» признавалась необходимость в отдельных случаях идти на компромиссы и создавать союзы, а также говорилось, что тактику следует выбирать с учетом времени и места. Тот же вывод следовал и из правила, обязательного для всех правоверных, о том, что нужно использовать любые раздоры между национальной буржуазией разных стран и между буржуазными группировками внутри одной страны: ведь без сотрудничества, по крайней мере с некоторыми из этих группировок, при этом не обойтись. Но все эти послабления нужны были Марксу только для того, чтобы еще выше поднять главный принцип, и по сути ничего не меняли. В каждом конкретном случае целесообразность отступления от правила должна была тщательно взвешиваться, причем изначальная установка всегда была «против». К тому же под «сотрудничеством» Маркс понимал не столько нормальные рабочие отношения с другими политическими течениями, поскольку при таких отношениях неизбежно пришлось бы идти на компромисс, а это могло бы подорвать чистоту учения, а союз, заключенный на время каких-то чрезвычайных событий, предпочтительно революций.

О том, как должен поступать истинный марксист, если буржуазный супостат проводит политику, безусловно совпадающую с интересами пролетариата, можно судить по примеру, показанному самим Мэтром, в очень важном вопросе. Дело в том, что одной из главных опор политической платформы английского либерализма была политика свободной торговли. Маркс был слишком хорошим экономистом, чтобы не понимать, какие выгоды в тех условиях это сулило рабочему классу. Можно было бы попытаться приуменьшить эти выгоды или найти злой умысел в намерениях буржуазных сторонников свободной торговли, но проблему бы это не решило, поскольку социалисты, конечно, должны были бы поддержать свободную торговлю, особенно продуктами питания. Ну, что же, раз надо — они ее поддержат, но только, разумеется, не потому, что дешевый хлеб — это благо, — упаси бог! — а потому, что свободная торговля ускоряет темпы социальной эволюции, а следовательно, приближает социальную революцию. Это очень красивый тактический ход. К тому же аргумент, которым воспользовался Маркс, совершенно справедлив и может быть с равным успехом использован во многих других случаях. Пророк позабыл, правда, сказать, что делать социалистам, когда принимаемые буржуазным правительством решения улучшают положение пролетариата, но не ускоряют эволюцию капитализма — а именно таковы большинство мер по социальной защите населения, социальному страхованию и т. п., или, наоборот, ускоряют эволюцию капитализма, непосредственно не улучшая положения пролетариата. Но если подобные вопросы вызовут разнотолки в буржуазном лагере, то социалисты не растеряются — следуя заветам учителя, они постараются обратить капиталистические разногласия себе на пользу. Несомненно, что именно в этом ключе Маркс решал бы и вопрос о реформах, финансируемых в противовес буржуазии небуржуазными силами, в частности земельной аристократией и мелкопоместным дворянством, хотя в его учении для подобных казусов просто не было места.

Второй вопрос был не менее заковыристым. Ни одна партия не может существовать без программы, которая обещает народу скорые блага. Но марксизм, строго говоря, не мог ничего подобного предложить. В отравленной атмосфере капитализма любое доброе дело было заведомо запятнано. Маркса и Энгельса это действительно беспокоило, и они никогда не одобряли программ, которые предусматривали проведение конструктивной политики в рамках капиталистического порядка и, следовательно, попахивали буржуазным радикализмом. Однако когда они сами столкнулись с этой проблемой в 1847 г., они решительно разрубили гордиев узел и без всякой логики включили в «Коммунистический манифест» список неотложных мер социалисти-

ческой политики, пришвартовав тем самым социалистическую баржу к либеральному лайнеру.

Бесплатное образование, всеобщее избирательное право, запрет на эксплуатацию детского труда, прогрессивный налог, национализация земли, банков и транспорта, развитие государственной промышленности, расчистка под пашню и улучшение земель, всеобщая трудовая повинность, создание промышленных центров по всей стране — все это ясно показывает, до какой степени (в то время) Маркс и Энгельс позволяли себе пускаться в оппортунизм (чего они никогда не разрешали делать другим социалистам). Самое поразительное в этой программе — это то, что в ней не было ни единого пункта, который однозначно трактовался бы как типично или чисто социалистический, попадись он в ином контексте; каждое требование из этого списка могло бы фигурировать и в несоциалистической программе — в ряде случаев от вполне буржуазных авторов исходило даже требование национализировать землю, а большинство этих требований были просто позаимствованы с кухни радикалов. Разумеется, это было единственно разумное решение, но все же оно было лишь паллиативом, единственной задачей которого было прикрыть постыдный практический изъян. Если бы Маркса действительно интересовали эти вопросы, ему бы не оставалось ничего другого, кроме как принять сторону радикального крыла буржуазного либерализма. Однако на самом деле они очень мало его волновали, и он не чувствовал себя обязанным ничем ради них жертвовать; если бы буржуазные радикалы вдруг выполнили все эти требования, Маркс, по всей вероятности, был бы неприятно удивлен.

4. Те же принципы, та же тактика и похожие политические установки содержались и в обращении Маркса к учредительному съезду Международного товарищества рабочих (Первый Интернационал) в 1864 г. Создание его означало поистине громадный шаг вперед по сравнению с немецким союзом просвещения рабочих (Arbeiterbildungsverein) 1847 г. или небольшой международной группой, основанной в том же году*. Первый Интернационал, конечно, не был организацией социалистических партий, хотя, например, обе немецкие социалистические партии в него вошли (правда, лассальянская партия Всеобщий немецкий рабочий союз тут же и вышла), и уж тем более он не был международной организацией пролетариата. Однако в нем были представлены лейбористские группы многих стран и многих направлений, и даже английские тред-юнионы проявили достаточный интерес, чтобы на некоторое время согласиться — пусть уклончиво, пусть в надежде получить какую-то выгоду для себя — на такой несколько

* Имеется в виду Союз коммунистов, по поручению которого Маркс и Энгельс написали свой «Манифест». — *Прим. ред.*

странный для них альянс. Одним из основателей Первого Интернационала был Джордж Оджер**,[5]. Все притязания на какую-то исключительную роль в революционных движениях и крупных рабочих беспорядках, исходившие как от самой Ассоциации, так и от ее летописцев, совершенно беспочвенны. Но хотя товарищество это никогда ничего не возглавляло, не решало и ничем не руководило, оно по крайней мере помогло своим членам выработать единую фразеологию. А еще оно помогло наладить связи, которые в конечном итоге и позволили ему занять действительно важное положение благодаря любезной помощи буржуазных супостатов, по глупости своей этому способствовавших. В начале все шло довольно гладко, и первые четыре конгресса прошли исключительно успешно, если к тому же учесть, что отдельные несоциалистические выпады, как-то: одобрение права наследования, которое прошло большинством голосов, были тактично «не замечены» правоверными членами. Вторжение Бакунина (1869 г.) и его выдворение (1872 г.) нанесли, однако, удар, от которого товарищество уже не смогло оправиться, хотя оно просуществовало вплоть до 1874 г.

Маркс с самого начала отдавал себе отчет о возможностях и опасностях, которые таил в себе этот караван-сарай, под крышей которого были и интеллигенты с сомнительной репутацией, и рабочие, полные неприкрытой решимости использовать товарищество в своих интересах или отречься от него — смотря по обстоятельствам. Они заключали в себе те самые возможности и те самые опасности, за и соответственно, против которых он всю жизнь боролся. Первоочередной задачей было сохранить организацию как единое целое, второй — придать ей марксистский уклон, причем обе эти задачи приходилось решать в условиях, когда Маркс и его соратники постоянно оказывались в меньшинстве и когда влияние его на других членов было куда меньше, чем можно было бы заключить на основании того факта, что ему было поручено, а вернее сказать — позволено сделать программное обращение на учредительном съезде. Вследствие этого упомянутое обращение пестрело уступками немарксистским взглядам — уступками, очень похожими на те, которые позже Маркс с негодованием обнаружит в Готской программе германской Социал-демократической партии (1875). Сознательное маневрирование и компромисс были присущи Марксу и позже — именно это заставило его однажды воскликнуть с полушутливым отчаянием: «Je ne suis pas Marxiste!» [«Я не

* Odger, 1813—1877, секретарь лондонского совета тред-юнионов в 1862—1872 гг., в 1864—1867 гг. — председатель Генсовета Первого Интернационала. — *Прим. ред.*

[5] Он даже выполнял обязанности председателя Генсовета Интернационала, а это кое-что да значило, поскольку он был одним из самых известных сторонников создания федерации и объединения тред-юнионов, организатором лондонского совета по торговле и одним из вожаков лиги реформаторов, выступавших за предоставление городским рабочим прав представительства в парламенте.

марксист!» — *фр.*]. Однако сущность компромисса зависит от человека, который на него пошел, и от идеи, ради которой этот компромисс был сделан. Тот, кто заботится только о генеральной линии, может смириться со многими отклонениями от нее. По всей видимости, Маркс никогда не упускал генеральную линию из вида и умел вернуться к ней после каждого очередного «отклонения». Но можно понять его горечь, когда он видел, что и другие играют в эту игру. Таким образом, и в собственных тактических подтасовках, и в его гневном осуждении подтасовок, сделанных другими, скрывалось нечто большее, чем просто эгоизм.

Можно, разумеется, критиковать и тактику, и принцип того, что с тех самых пор остается классической политикой ортодоксального социализма. Тактический ход, предпринятый Марксом, предоставил его последователям полную свободу обосновывать любое свое действие или бездействие делом или словом Мэтра. Сам принцип не раз подвергался критике за то, что он указывает путь в никуда. Гораздо важнее извлечь из него рациональное зерно. Маркс верил в пролетарскую революцию. Он также верил, хотя собственное учение должно было посеять в его душе определенные сомнения, что подходящий момент наступит совсем скоро, точно так же, как ранние христиане верили, что Судный день не за горами. Таким образом, его политический метод, строго говоря, был основан на ошибочном диагнозе. Те интеллигенты, которые превозносят его политическую мудрость[6], совершенно не замечают того, в какой мере в его взгляды прокрался корыстный элемент. Однако если исходить из доступных ему фактов и не подвергать сомнению те выводы, которые он из этих фактов делал, этот метод действительно представляется оправданным, так же как оправданными представляются и его взгляды по вопросу о ближайших целях и о сотрудничестве с буржуазными реформистами. Создание однородной партии, основой которой был бы организованный пролетариат всех стран, который шел бы к цели, не теряя революционной веры и держа порох сухим, с этих позиций было поистине задачей первоочередной важности, по сравнению с которой все остальное отступало на второй план.



[6] См., например, работу Benedetto Croce «Materialismo Storico ed Economia Marxista» в переводе C.M. Meredith, 1914.

Глава XXVI

С 1875-го по 1914-й

1. События в Англии и дух фабианства

В этих двух датах есть некий символический смысл. Год 1875-й стал свидетелем рождения первой чисто социалистической партии, которая оказалась достаточно влиятельной, чтобы стать признанным политическим фактором. Это знаменательное событие произошло в результате слияния двух немецких партий — группы Лассаля и группы, основанной в 1869 г. Бебелем и Либкнехтом — и создания на их основе Социал-демократической партии, которая хотя в то время и делала существенные уступки лассальянству (Готская программа)[1], со временем приняла марксизм (Эрфуртская программа 1891 г.) и медленно, но верно пробивала себе дорогу к тому завидному положению, которое ей удалось занять к 1914 г.[2], когда в ее судьбе, как и в судьбе всех социалистических партий, наступил критический перелом. Прежде, чем мы попробуем объяснить, благодаря какому чуду марксистская партия, которой даже не пришлось ради этого поступаться своими принципами, чуть было не получила парламентское большинство, мы обратимся к опыту других стран, и прежде всего к английскому социализму той эпохи, который при поверхностном взгляде составляет резкий и поучительный контраст немецкому социализму.

Взглянув же чуть глубже, мы, разумеется, обнаружим весьма похожие социальные процессы и как их следствие — весьма похожие рабочие движения. Различия между английскими и германскими социалистами в том, что касается общего тона, идеологии и тактики, легко объяснимы. После того, как в 1834 г. оуэновский Великий национальный объединенный профсоюз [Owenite Grand National Consolidated Trade Union] раскололся и чартизм пошел на убыль, лейбористское движение в Англии более уже не вызывало открытой враждебности. Некоторые из его экономических целей были поддержаны либералами, другие — консерваторами[3]. Законодательные акты, регламенти-

[1] Главной идеей Лассаля была организация рабочих в производительные ассоциации, поддерживаемые государством, которые, по его мысли, должны были бы конкурировать и в конечном итоге ликвидировать частную промышленность. Это настолько сильно отдает утопизмом, что отвращение Маркса нетрудно понять.

[2] В этот год она получила 110 из 397 мест в рейхстаге, причем благодаря неспособности буржуазных группировок организовать массовые и однородные по своему составу партии, влияние социалистов было даже большим, чем можно было бы заключить судя по этим цифрам.

[3] Особенно поражает возникновение пролейбористских установок в консервативном лагере. С одной стороны, в качестве примера можно сослаться на группу, возглавляемую лордом Эшли (Ashley), и на группу «Молодая Англия» (тори-демократы под предводительством Дизраэли).

рующие деятельность профсоюзов (1871, 1875 и 1876 гг.), например, были приняты без каких-либо проволочек, которые могли бы спровоцировать рабочий класс на борьбу. Более того, битва за право представительства рабочего класса в парламенте велась несоциалистическими группировками, а роль рабочих в ней сводилась лишь к одобрительным и осуждающим выкрикам. Все это убедительно свидетельствует о превосходных качествах английских рабочих. Впрочем, то же самое можно сказать и о превосходных качествах английского политического общества. Доказав, что оно способно избежать повторения Французской революции и устранив угрозу, проистекающую от дороговизны хлеба, оно затем долго демонстрировало свою способность держать под контролем социальные ситуации возрастающей сложности и идти на уступки, не теряя лица, — сошлемся хотя бы на Закон о трудовых конфликтах 1906 г.[4]. Вследствие этого английскому пролетариату потребовалось больше времени, чтобы выработать в себе «классовое сознание» и повторить путь, который пришлось пройти Кейру Харди (Hardy), прежде чем он пришел к идее создания Независимой рабочей партии Великобритании (1893). Однако подъем нового юнионизма[5] — фактически ознаменовал собой наступление такого положения вещей, которое мало чем отличалось от немецкого — разве что на словах.

---

[4] Сегодня нам не так-то просто представить, какое ошеломляющее впечатление произвела эта мера на людей, которые все еще верили в государство и в правовую систему, построенную вокруг института частной собственности. Ведь такие меры, как ослабление ответственности за сговор применительно к мирному пикетированию, — что практически означало легализацию действий профсоюзов, несущих в себе угрозу применения силы, — и освобождение профсоюзной кассы от ответственности за *приносимый ущерб*, — что практически означало законодательно признание того факта, что профсоюзы всегда правы, — фактически передавали профсоюзам часть полномочий государства и ставили их в привилегированное положение, чему не могло помешать формальное распространение освобождения от ответственности за ущерб также и на работодателей. Однако этот законодательный акт был принят по результатам отчета, представленного Королевской комиссией 1903 г., когда у власти находилась консервативная партия, а консервативный лидер (Бальфур) в своей речи при третьем чтении этого закона одобрил его, не выказывая ни малейшего неудовольствия. Несомненно, такое отношение во многом объясняется политической ситуацией, сложившейся в 1905 г., однако мое утверждение все равно остается в силе.

[5] Новый юнионизм означал распространение в середине 90-х годов XIX в. устойчивых организаций, объединявших в своих рядах в основном лишь представителей высококвалифицированных профессий и потому отличавшихся некоей клановой гордостью и буржуазной респектабельностью (некоторые из лидеров 80-х годов, в частности Кроуфорд (Crawford), всячески подчеркивали ту пропасть, которая отделяет уважаемых людей в тред-юнионах от пролетарских масс) и противопоставлявших себя менее квалифицированным слоям, занимавшим более низкое положение. Эти последние были куда менее уверены в своих способностях чего-то для себя добиться и, следовательно, более восприимчивы к социалистической пропаганде и тому ее тезису, что сами по себе забастовки — оружие ненадежное и они должны сопровождаться политическими требованиями. Есть, таким образом, прямая связь между сплочением более низких слоев трудящихся и переменой отношений профсоюзов к политическим требованиям, с одной стороны, и к социализму, с другой. Именно тогда — всего несколько лет спустя после всеобщей забастовки докеров в 1889 г. — профсоюзные съезды начали принимать социалистические резолюции.

Природа и степень подобных различий может быть продемонстрирована особенно отчетливо на примере Фабианского общества, чьи идеи и методы в этом смысле чрезвычайно характерны. Марксисты наверняка презрительно усмехнутся, поскольку им это покажется чрезмерным преувеличением роли небольшой горстки интеллигентов, которые просто не пожелали стать чем-то бóльшим. На самом деле фабианство в Англии или по крайней мере взгляды, которые оно выражало, играло не меньшую роль, чем марксизм в Германии.

Фабианское общество возникло в 1883 г. и на протяжении всего рассматриваемого здесь периода оставалось группировкой буржуазной интеллигенции[6]. Фабианство было вскормлено на идеях Бентама и Джеймса Милля и продолжало их традицию. Его представители сулили человечеству точно такое же радужное будущее, как и их предшественники — философские радикалы, и принялись за дело рациональной реконструкции и усовершенствования общества в том же духе практического прогрессизма.

Надо сказать, что фабианцы с величайшим уважением относились к фактам, не останавливаясь даже перед проведением обширных исследований, чтобы эти факты добыть, и если кого-то критиковали или предлагали какие-то меры, то позиция их всегда была надежно аргументирована. Однако они совершенно некритично относились к тем основам — культурным и экономическим, — на которых строились их собственные цели. Цели свои они воспринимали как должное, что на самом деле является лишь иным проявлением того, что, будучи добрыми англичанами, они и самих себя воспринимали как должное. Они не в состоянии были понять разницу между трущобой и палатой лордов. Почему и то, и другое — «зло», ясно ведь каждому, разве не так? А большее экономическое равенство, самоуправление в Индии, профсоюзы и свободная торговля — это не менее неоспоримое «добро», и никаких сомнений. Единственной их заботой было устранение зла и сохранение добра, остальное представлялось им пустой тратой сил. Во всем этом сквозило преданное служение государству и нетерпимость к иным взглядам на индивидуальные или национальные ценности — здесь фабианцы, пожалуй, не уступали марксистам, — а также мелкобуржуазное отвращение ко всему аристократическому, включая красоту.

Вначале за фабианцами не стояла никакая социальная сила. Они готовы были убеждать всех, кто согласен был их слушать. Они высту-

[6] Эта группа, численность которой не превосходила 3—4 тыс. членов, на самом деле была еще малочисленней, поскольку ее активное ядро составляло не более 1020 процентов. Ядро это было буржуазным как по происхождению, так и по установкам, а также по тому, что большинство его членов были экономически независимы, по крайней мере в том смысле, что все они имели хотя бы скромный, но постоянный доход.

пали со своими речами и перед рабочей, и перед буржуазной аудиторией. Полемизировали они весьма талантливо и много. Они отстаивали или осуждали конкретные правительственные меры, планы, законы. Однако главным средством завоевания авторитета были для них связи с отдельными ключевыми фигурами, вернее — с людьми из окружения политических, промышленных и рабочих лидеров. Их страна и их собственное социальное и политическое положение в этой стране давали уникальную возможность для установления и использования подобных контактов.

Английское политическое общество не торопилось выполнять советы посторонних, однако в значительной большей степени, чем любое другое общество, оно готово было эти советы выслушивать. А среди фабианцев были не только посторонние. Некоторым из них удалось заручиться связями, сформированными еще в студенческих союзах и общежитиях Оксфорда и Кембриджа. По своему моральному складу они не были пришельцами с другой планеты. Большинство из них не были заклятыми врагами существующего государственного порядка. Все они гораздо чаще подчеркивали свое желание сотрудничать, чем враждебность. Они вовсе не ставили своей задачей создание партии и очень не любили фразеологию классовой борьбы и революции. Они всегда предпочитали чем-то помочь, а не быть помехой. И у них было что сказать парламентариям и официальным лицам, которые часто были не прочь получить дельный совет о том, что и как нужно делать. Сегодня каждый министр может получить любую нужную ему информацию и советы любых специалистов непосредственно в стенах своего министерства. В частности, ни один современный министр не испытывает недостатка в статистических данных. Однако в 80-е и 90-е годы XIX в. все было иначе. За редким исключением должностные лица любого ранга знали лишь то, что соответствовало установившейся практике. Вне рамок сложившегося порядка парламентарии, даже входящие в правящий кабинет, а уж тем более парламентарии, в него не входящие, нередко испытывали большую нужду в информации и новых идеях, особенно по вопросам «новых» социальных проблем. Группа, у которой в запасе всегда имелись свежие факты и идеи и которая была рада подать их аккуратно выложенными на блюдо и готовыми к употреблению министром финансов или другими депутатами английского парламента, могла заведомо рассчитывать на благосклонный прием (особенно через заднюю дверь). Государственные мужи не видели в этом ничего зазорного. Более того, питая симпатию если не ко всем, то хотя бы к ближайшим целям фабианцев, они позволяли им себя поучать. Фабианцев, в свою очередь, также устраивала их роль неофициальных слуг народа. На самом деле она устраивала их как нельзя лучше. Они не искали себе личной славы. Им нравилось

действовать за сценой. Работа через бюрократию, рост численности и могущества которой они предвидели и одобряли, очень хорошо вписывалась в общую схему их демократического государственного социализма.

Но, как спросил бы Маркс и как действительно спросила небольшая группа английских марксистов (Демократическая федерация Гайндмана, основанная в 1881 г.), чем конкретно может похвастаться партия, имеющая подобные достижения, — разве только тем, что она вступила в сговор с представителями буржуазных интересов в политике? Как может такая партия называться социалистической, а если допустить, что это все же так, то не был ли их социализм очередным вариантом утопического социализма (в вышеопределенном марксистском понимании)? Легко представить себе, с каким отвращением относились друг к другу фабианцы и марксисты и как гневно они осуждали иллюзии друг друга, хотя фабианцы обычно старались избегать прямых дискуссий по основополагающим и тактическим вопросам (а марксисты их, наоборот, просто обожали) и относились к этим марксистам с чуть высокомерной симпатией. Тем не менее для непредвзятого наблюдателя не составит труда ответить на эти вопросы.

В любое другое время социалитическое движение фабианского толка не смогло бы ничего достичь, однако за три десятилетия, предшествовавшие 1914 г., оно достигло очень многого, поскольку и обстановка, и настроения — все было готово именно к подобной миссии, никак не менее и не более радикальной. Все, что требовалось, чтобы превратить возможности в четкую политику, — это сформулировать и организовать уже существующее общественное мнение, и эту миссию фабианцы взяли на себя. Они были реформаторами. Дух эпохи сделал их социалистами. Они были подлинными социалистами, поскольку они стремились приблизить фундаментальную перестройку общества, которая в конечном итоге должна была возложить заботу об экономике на государство. Они были социалистами-волюнтаристами, и потому, появись они чуть раньше, они попали бы под Марксово определение утопистов, но они твердо знали, чего хотели, и потому никакие выводы из этого определения к их случаю не подходили. С их точки зрения, было бы чистым безумием заранее тревожить буржуазию разговорами о революциях и классовой борьбе. Всеми силами они хотели не допустить пробуждения классового сознания, по крайней мере на первых порах, поскольку это сделало бы невозможным мирное, но эффективное распространение их принципов по всем политическим и административным органам буржуазного общества. Когда сложились буржуазные условия, они не колеблясь помогли появиться на свет Независимой лейбористской партии, пошли на сотрудничество

с Комитетом рабочих представителей (1900 г.), помогли профсоюзам сделать первые шаги в политике, сформировали курс Прогрессивной партии в Совете Лондонского округа, стали проповедовать сперва муниципальный, затем общественный социализм, а вместе с ним и достоинства советской системы.

Во всем этом, безусловно, прослеживается черта, которую легко подвергнуть критике. Действительно, они не объявили открытой войны в марксистском духе, не кричали на всех углах о том, что они хотели бы сделать со своими противниками, но они и ничего не предпринимали для их защиты. Другое критическое замечание, которое могло бы быть выдвинуто против фабианцев их политическими противниками, а именно, что благодаря своему образу действий они могут увязнуть еще на далеких подступах к линии обороны капиталистической системы и никогда не довести дело до великой схватки, не учитывает особенностей их установки. Они могли бы со своей стороны возразить, что даже если на минуту допустить, что их наступление на капиталистическую систему привело бы к достаточно глубоким преобразованиям в рамках этого строя, но не разрушило сам строй, то и этим можно было бы гордиться. А что касается схватки, то они заранее ответили своим революционно настроенным критикам, исключительно удачно выбрав себе имя — они назывались в честь римского полководца Фабия*, который хоть и действовал исключительно осторожно, но сделал больше, чем любой из его пылких предшественников, чтобы выгнать Ганнибала из Италии.

Таким образом, хотя можно с полным основанием утверждать, что как по вопросу о классовой борьбе, так и по другим вопросам фабианство было прямой противоположностью марксизму, с не меньшим основанием можно также утверждать, что в некотором смысле фабианцы были более последовательными марксистами, чем сам Маркс. Сосредоточение внимания на проблемах, лежащих в сфере практической политики, движение вперед вместе с развитием общества и предоставление конечной цели свободы осуществиться самой по себе — на самом деле такая установка лучше согласуется с основами учения Маркса, чем та революционная идеология, которую он на него навесил. Твердая вера в неминуемую гибель капитализма, понимание того, что уничтожение частной собственности — это медленный процесс, который имеет тенденцию изменять позиции *всех* классов в обществе — в этих фундаментальных вопросах Марксовой доктрины фабианцы заслуживают более высокой оценки, чем сам Маркс.

---

* Квинт Фабий Максим по прозвищу Кунктатор (медлительный) (275—203 гг. до н.э.).

2. Две крайности: Швеция и Россия

У каждой страны свой социализм. Однако в тех странах континентальной Европы, вклад которых в культурную копилку человечества совершенно непропорционален их скромным размерам, в частности в Голландии и Скандинавских странах, дела не слишком сильно отличались от английской модели. Возьмем, например, Швецию. Как шведские искусство, наука, политика, общественные институты и многое другое, социализм и социалисты этой страны обязаны своими особенностями не столько своеобразию своих принципов или намерений, сколько тому материалу, из которого вылеплена шведская нация, и ее исключительно уравновешенной социальной структуре. Именно поэтому другим нациям совершенно бессмысленно даже пытаться копировать шведские образцы, разве только пригласить к себе всех шведов и доверить это делать им самим.

Учитывая специфику шведской нации и социальной структуры, нам нетрудно будет понять две самые существенные характеристики шведского социализма. Социалистическая партия, которой почти всегда руководили весьма способные и честные политики, медленно набирала силу в соответствии с совершенно нормальным процессом социального развития, не пытаясь ни опередить его, ни вступить с ним в борьбу ради борьбы, поэтому приход этой партии к власти не вызвал никаких социальных потрясений. Ответственные посты в государстве, естественно, перешли к ее лидерам, которые стали строить свои отношения с лидерами других партий на условиях равенства в поисках общей платформы: до сих пор, хотя в стране, конечно, появилась коммунистическая группа, все разногласия в Швеции по поводу текущей политики сводятся к тому, что кто-то предлагает потратить на некую социальную программу на несколько миллионов крон больше, другие — меньше, но сама эта программа возражений ни у кого не вызывает. А что касается разногласий внутри социалистической партии, то противоречия между интеллигенцией и рабочими можно разглядеть только в микроскоп — отчасти потому, что благодаря высокому культурному уровню тех и других между ними нет пропасти, отчасти потому, что шведский социальный организм производит на свет относительно меньше хронически безработных интеллигентов, чем социальные организмы других стран, и раздраженных интеллектуалов, изводящих себя и других, в этой стране меньше, чем в других. Некоторые усматривают в этом разлагающее влияние профсоюзов на социалистическое движение в целом и на партию в частности. Тем, кто клюнул на удочку современного радикализма, может показаться, что так оно и есть. Однако этот диагноз совершенно не воздает должного социальной и национальной среде, продуктом которой являются и

шведские рабочие, и шведские интеллигенты и которая не дает ни тем, ни другим превращать свой социализм в религию. Хотя в учении Маркса можно при желании отыскать место для подобных структур, от среднего марксиста, разумеется, нельзя ожидать благосклонного отношения к социалистической партии шведского типа или хотя бы признания, что в лице такой партии мы имеем дело с подлинно социалистическим движением. Шведские же социалисты, в свою очередь, лишь незначительно были затронуты марксизмом, хотя они часто использовали его лексикон, который соответствовал принятым в то время представлениям о социалистическом этикете, особенно в своих международных контактах с другими социалистическими группами.

Пример другой крайности дает нам Россия, социализм которой был почти чисто марксистским и потому в полной мере пользовался благосклонным отношением ортодоксальных социалистов. Причины его возникновения весьма трудно объяснить, исходя из российских условий. Царская Россия была аграрной страной с преимущественно докапиталистическим укладом. Промышленный пролетариат, поскольку он вообще был досягаем для профессиональных социалистов, составлял лишь небольшую часть 150-миллионного населения[7]. Предприятия торговой и промышленной буржуазии, также весьма малочисленной, по своей эффективности не слишком превосходили прочие уклады, хотя развитие капитализма, поощряемое правительством, быстро набирало темпы. В этой социальной структуре интеллигенция была инородным телом: ее идеи были так же чужды русской почве, как и парижские платья светских красавиц.

Преобладавшая в то время форма государственного устройства, при которой абсолютный монарх (автократ) возглавлял разросшийся бюрократический аппарат и выступал в союзе с земельной аристократией и церковью, была, безусловно, отвратительна многим интеллектуалам. И общественное мнение всего мира согласилось с их пониманием истории. Даже авторы, весьма враждебно настроенные по отношению к тому режиму, который установился после падения царизма, всегда торопятся заверить своих читателей, что и они должным образом возмущены ужасами царизма. Так за частоколом расхожих штампов совершенно потерялась та простая истина, что эта форма правления не менее точно соответствовала породившей ее социальной структуре, чем парламентская монархия в Англии или демократическая республика в Соединенных Штатах. Достижения российской бюрократии, принимая во внимание условия, в которых ей приходилось действовать, были значительно выше, чем принято считать. Ничего другого,

[7] В 1905 г. численность фабричных рабочих в России составила примерно 1,5 млн человек.

кроме проводимых ею социальных реформ, как в сельском хозяйстве, так и в других областях, и ее нетвердого движения по пути к выхолощенному варианту конституционного строя, в тех условиях и нельзя было ожидать. Духу нации противоречил вовсе не царизм, который как раз имел широкую опору среди огромного большинства всех классов, а привнесенный извне радикализм и групповой интерес интеллектуалов.

Из этого можно сделать два вывода, которые на первый взгляд могут показаться парадоксальными, хотя ни один серьезный историк их таковыми не сочтет. С одной стороны, никакие крупные или внезапные шаги в направлении, указываемом теми либерально настроенными юристами, докторами, профессорами и государственными служащими, которые образовали партию кадетов (конституционно-демократическую партию), были невозможны не столько потому, что их программа была неприемлема для монархии, сколько потому, что партия эта была слишком слабой. Допустить их до власти — означало бы поставить во главе страны политическую группировку, которая пользовалась не большей, а меньшей поддержкой народных масс, которая не лучше, а хуже выражала их настроения и интересы, чем политические силы, которые делали ставку на царизм. Для буржуазного режима, не говоря уже о режиме социалистическом, в этой стране попросту не было места. Не было также ничего общего между ситуацией 1789 г. во Франции и ситуацией 1905 г. в России. Рухнувшая в 1789 г. во Франции социальная структура была устаревшей, мешала развитию почти всего, что было жизнеспособного в этой нации, и не смогла справиться со стоявшими перед ней финансовыми, экономическими и социальными проблемами. Ничего похожего в России 1905 г. не наблюдалось. Конечно, национальная гордость была уязвлена в связи с поражением в войне с Японией, а отсюда и недовольство и беспорядки. Но государство успешно справлялось со своими задачами — оно не просто подавляло волнения, оно пыталось решать вызвавшие их проблемы. Если в итоге событий во Франции к власти пришел Робеспьер, то в России — Столыпин. Это было бы невозможно, если бы царизм исчерпал свои силы, как исчерпал их французский ancien régime [«старый режим» — *фр.*]. Нет никаких причин полагать, что, если бы не мировая война, тяжелым грузом легшая на социальную ткань, русская монархия не сумела бы мирно и успешно трансформироваться под влиянием и по ходу экономического развития страны[8].

[8] Этот анализ, разумеется, поднимает весьма интересные вопросы относительно природы того, что обычно именуется «исторической необходимостью», с одной стороны, и роли личности в истории — с другой. Мне кажется, что говорить о том, что Россию привела к войне неумолимая необходимость, оснований нет. Интересы, поставленные на карту сербским конфликтом, не были для России жизненно важными, если не сказать больше. Внутренняя ситуация в стране в 1914 г. вовсе не была настолько тяжелой, чтобы ▶

С другой стороны, именно потому, что социальная структура России была по существу стабильна, интеллектуалы, которые не могли рассчитывать на победу с помощью более или менее нормальных методов, впали в отчаянный радикализм и пошли по пути преступного насилия. При этом степень их радикализма находилась в обратной пропорции к практическим возможностям — это был радикализм от бессилия. Пусть убийства бессмысленны и могут привести только к усилению репрессий, но другого выбора практически не было. Жестокость репрессий, в свою очередь, вызывала ответные меры, и так разворачивалась эта трагедия, трагедия жестокости и преступлений, беспрерывно усиливающих друг друга, — мир видел и чувствовал только это и поставил этим событиям соответствующий диагноз.

Сам Маркс не был путчистом. К некоторым персонажам из числа русских революционеров, особенно людям бакунинского типа, он испытывал презрение, смешанное с ненавистью. К тому же он должен был понимать — и, по всей вероятности, понимал, — что в условиях социальной и экономической структуры России не выполнялось ни одно из условий, которые согласно его собственному учению необходимы для успеха и даже просто для возникновения социализма. Но хотя с точки зрения логики это должно было бы помешать русским

Продолжение сноски со стр. 732.

правительство было вынуждено прибегнуть к политике военной агрессии в качестве последней отчаянной меры. Ситуация эта, конечно, была непростой — она привела в действие националистов, те — некоторых (не всех) крайних реакционеров, а потом и те и другие вместе разбудили низы, которые уже стали хвататься за топоры — кто в одиночку, кто с сотоварищи. Но будь у последнего из русских царей чуть больше здравого смысла и твердости, Россия вполне могла бы войны избежать. Позже, когда ситуация прояснилась и когда после битвы в Галиции всякая надежда на военный успех улетучилась, сделать это было бы сложнее, но все-таки возможно. Даже после падения монархии нельзя наверняка утверждать, что правительство Керенского не смогло бы спасти ситуацию, если бы оно разумно распорядилось своими ресурсами и не уступило бы мольбам союзников, протрубив последнюю отчаянную атаку. Но царизм в преддверии буржуазного восстания и буржуазное общество, пришедшее ему на смену, наблюдали за приближением своей погибели в состоянии паралича, который был столь же несомненным, сколь и труднообъяснимым. Конечно, поголовная некомпетентность в одном лагере и скопление умных и одаренных людей в другом нельзя объяснить одной только случайностью. Однако в данном случае некомпетентность старого режима сводилась просто к тому, что он оказался не на высоте ситуации, которая состояла в полной дезорганизации всего и вся, но этой ситуации, несомненно, можно было бы избежать.

Читатель, по-видимому, вряд ли рассчитывает на то, что мое исследование русского социализма совпадет с аналогичным исследованием, проделанным Троцким (Троцкий. История русской революции. Пер. на англ. М. Истмана, 1934.). Тем более знаменательно то, что различие между этими исследованиями не всеохватно и, в частности, что Троцкий рассматривал вопрос о том, что было бы, если бы революционное движение столкнулось с «другим царем». Правда, он не делал очевидного вывода из этих размышлений. Однако он признает, что марксистское учение не отрицает роли личности в истории, хотя сам, похоже, недооценивает истинную ее важность для постановки правильного диагноза русской революции.

интеллигентам принять его учение, нетрудно понять, почему оно, напротив, пользовалось среди них колоссальным успехом. Все они были революционерами — кто в большей, кто в меньшей степени, а плана действий у них не было. И вдруг появляется революционный катехизис небывалой силы. Огненные фразы и смелые пророчества Маркса — это было именно то, что нужно, чтобы выбраться из тоскливой пустыни нигилизма. К тому же сочетание в его доктрине экономической теории, философии и истории отвечало русской тяге к совершенству. Пусть это священное писание было совершенно неприменимо к их случаю и, по сути, ничего им не сулило. Верующий всегда слышит ровно то, что хочет услышать, что бы ни говорил ему пророк. Насколько далека была реальная ситуация в России от состояния зрелости, как понимал ее Маркс, настолько же готова была русская интеллигенция — именно интеллигенция, а не одни только входящие в нее профессиональные социалисты — искать у него ответы на свои вопросы.

Благодаря этому первый марксистский кружок появился в России уже в 1883 г., а в 1898 г. на его основе возникла социал-демократическая партия. Руководителями, а на первых порах и членами были в основном, конечно, представители интеллигенции, однако создание подпольных организаций в «массах» шло достаточно успешно, что позволило сочувствующим наблюдателям говорить о сплочении рабочих кружков под марксистским руководством. Именно это объясняет, почему в России удалось избежать многих трудностей, с которыми сталкивались марксистские группы в странах с сильным профсоюзным движением. По крайней мере на первых порах рабочие, которые вступали в организацию, послушно шли на поводу у интеллектуалов и практически никогда не пытались ничего решать за себя. Как следствие, развитие теории и практики шло в строгом соответствии с положениями, выдвинутыми Марксом, и отличалось высоким уровнем. Естественно, это вызвало одобрение со стороны немецких защитников веры, которые, видя такую обезоруживающую добродетель, очевидно, решили, что тезис Маркса о том, что серьезный социализм может зародиться только в недрах развитого капитализма, все же допускает отдельные исключения. Однако Плеханов, основатель кружка 1883 г. и ведущая фигура русского марксизма на протяжении первых двух десятилетий, чьи талантливые и высокоученые работы, внесшие значительный вклад в развитие марксизма, снискали всеобщее уважение, всецело разделял этот тезис и потому не мог надеяться на скорую победу социализма в своей стране. Храбро сражаясь против реформизма и всех других имевшихся в ту пору ересей, угрожавших чистоте истинной веры, и сохраняя при этом веру в революционную цель и ме-

тод, этот правоверный марксист, должно быть, сразу почувствовал беду, когда в его партии возникла группа, настаивавшая на скорых действиях, хотя он с симпатией относился к ее членам и ее лидеру — Ленину.

Неизбежный конфликт, расколовший в 1903 г. партию на большевиков и меньшевиков, означал нечто значительно более серьезное, чем простое разногласие по тактическому вопросу, давшее название обеим фракциям. В то время ни один, даже самый искушенный наблюдатель не смог бы до конца понять природу этого разлада. Но сегодня диапазон уже не должен вызывать никаких сомнений. За марксистской фразеологией, которую сохранили обе группы, скрывался тот факт, что одна из них безвозвратно отошла от классического марксизма.

У Ленина, по всей видимости, не было никаких иллюзий относительно ситуации в России. Он понимал, что царский режим можно успешно атаковать только тогда, когда он будет временно ослаблен военным поражением, и что в условиях той дезорганизации, которая за этим поражением последует, решительный, хорошо вымуштрованный отряд методом жестокого террора может скинуть любой другой режим, который попытается прийти на смену царизму. На этот случай, вероятность которого он, по-видимому, сознавал как никто другой, он был намерен подготовить соответствующий инструмент. Ему ни к чему были мелкобуржуазные теории относительно крестьянства, — которое в России, разумеется, представляло главную социальную проблему, — и уж тем более теории, говорящие о необходимости дожидаться, когда рабочие поднимутся и совершат великую революцию по своей собственной инициативе. Ему нужны были только хорошо обученные боевики — янычары, глухие к любым доводам, кроме собственных, свободные от каких-либо моральных запретов, невосприимчивые к голосу разума и человечности. В тех условиях подобных людей можно было найти только в среде интеллигенции, причем самый лучший человеческий материал предлагала партия. Попытка Ленина получить контроль над партией, таким образом, была на самом деле попыткой разрушить саму ее душу. Партийное большинство и его лидер Л. Мартов, по-видимому, это понимали. Мартов не критиковал Маркса и никакой новой линии поведения не предлагал. Он спорил с Лениным от имени Маркса, отстаивая учение Маркса о массовой пролетарской партии. Новое слово было сказано не Мартовым, а Лениным.

Испокон веков все еретики всегда утверждали, что они вовсе не хотят разрушать прежние святыни — наоборот, они стремятся восстановить их первозданную чистоту. Ленин тоже не стал нарушать эту освященную традицией практику и вместо того, чтобы отречься от верности учению, заделался еще большим марксистом, чем сам Маркс. Во

всяком случае, он сделал важный ход, выдвинув тезис, который так понравился Троцкому и Сталину, а именно — тезис о том, что он исповедует «марксизм эпохи империализма». И читатель без труда заметит, что в определенных границах Ленину было нетрудно соблюсти и форму, и содержание нефальсифицированного марксизма. С другой стороны, нетрудно заметить и то, что он покинул эту твердыню и занял по существу антимарксистскую позицию. Антимарксистской была не только сама идея обобществления путем провозглашения в очевидно несозревшей ситуации; гораздо в большей степени это относится к идее о том, что освобождение рабочих должно стать делом не самих рабочих, как учил Маркс, а банды интеллектуалов, командующих темными массами[9]. Это было куда серьезней, чем просто иной взгляд на практику агитации и компромиссов, больше, чем расхождения по второстепенным пунктам марксистской доктрины. Это означало разрыв с ее самой сокровенной сутью[10].

---

[9] Кстати говоря, русские социалисты, правда, не сам Ленин, а его ближайшие соратники на местах, установили связь с преступными элементами. Это вылилось в действия «эксов» (ударных отрядов, проводящих «экспроприацию на практике», попросту говоря — налетчиков) как в самой России, так и в Польше. Это был чистый разбой, хотя западная интеллигенция проглотила «теорию», оправдывающую его необходимость.

[10] В задачи настоящего исследования не входит подробный разбор дальнейших событий, всем и без того хорошо известных. Достаточно будет сделать лишь следующие замечания. Ленину не удалось подчинить себе российскую социалистическую партию, лидеры которой со временем все более и более от него отдалялись; трудность его положения, проистекающая из стремления любыми силами сохранить подобие единого фронта, не отказываясь в то же время от своих принципов, наглядно проявляется в шатаниях Плеханова. Зато Ленину удалось уберечь свою группу от развала, принудить ее к повиновению и приспособить ее курс к ситуации, возникшей в ходе и итоге революции 1905 г., включая участие ленинской фракции в Думе. Ему удалось также сохранить свои связи и свое положение во Втором Интернационале (см. ниже): он принимал участие в работе трех его съездов и представлял российскую партию в Бюро. Это вряд ли было бы возможно, если бы представители других наций имели возможность разглядеть в его взглядах и деятельности то, что видели в них большинство российских социалистов. Но Ленин не раскрывал перед ними своих карт и потому Второй Интернационал, как и подавляющее большинство западных социалистов вообще, относился к нему просто как к выдающейся фигуре левого крыла правоверных марксистов и мирился с ним и его несгибаемым экстремизмом, где-то восхищаясь им, а где-то не принимая его всерьез. Таким образом, в политической сфере Ленин играл двойственную роль, которая в некотором смысле схожа с двойственной ролью царского режима, чьи политические установки в области международных отношений (сошлемся хотя бы на финансирование международного суда и системы международной безопасности) также существенно отличались от принципов, исповедуемых во внутренней политике.

Но ни эти достижения, ни его вклад в развитие социалистической мысли — по большей части весьма посредственного качества (кстати, то же можно сказать и о вкладе Троцкого) — не обеспечили бы ему места в первых рядах социалистов. Час, возвеличивший Ленина, настал после поражения России в мировой войне и был в одинаковой мере результатом уникального стечения обстоятельств, сделавших оружие Ленина адекватным, и результатом его непревзойденного искусства применять это оружие. В этом отношении (но ни в одном другом) панегирик проф. Ласки в Энциклопедии общественных наук (статья «Ульянов») вполне оправдан, если, конечно, допустить, что интеллигенция не может не падать ниц перед идолами своей эпохи.

3. Социалистические группы в Соединенных Штатах

В Соединенных Штатах сложилась совершенно иная социальная ситуация, которая оказалась тем не менее столь же неблагоприятной для развития подлинно социалистического массового движения, как и ситуация в России. Таким образом, оба этих случая имеют немало сходных моментов, которые не менее интересны, чем различия между ними. Если аграрная Россия, невзирая на коммунистическую жилку, имманентно присущую российской деревне, оставалась практически не затронутой влиянием современной ей социалистической мысли, то аграрные Соединенные Штаты породили такие антисоциалистические силы, которые готовы были разделаться с любыми проявлениями марксизма, принимавшими сколько-нибудь заметный масштаб. Если промышленная Россия не сумела создать массовую социалистическую партию, поскольку развитие капитализма в России шло медленно, то промышленные Соединенные Штаты не смогли этого сделать потому, что развитие капитализма в этой стране происходило с головокружительной быстротой[11].

Однако самое важное различие было между интеллигенцией обеих стран. В отличие от России в Соединенных Штатах до конца XIX в. интеллигенция не была ни полубезработной, ни доведенной до отчаяния. Система ценностей, которая возникала из общенациональной задачи развития экономических возможностей, вовлекала практически все мозги в сферу бизнеса, что наложило деловой отпечаток на самый характер американской нации. Вне Нью-Йорка интеллигентов в общепринятом понимании вообще практически не было, а те, что были, в большинстве своем переняли систему ценностей деловых людей. К тем же, кто исповедовал иные ценности, Мэйн-стрит* отказывалась прислушиваться и инстинктивно относилась к ним неодобрительно, и это была куда более действенная воспитательная мера, чем методы российской политической полиции. Враждебность среднего класса по отношению к компаниям железнодорожным и коммунальных услуг и любым крупным предприятиям вообще впитала в себя практически всю «революционную» энергию, которая только была в этой нации.

---

[11] Конечно, наличие неосвоенных областей на Западе намного снижало возможности возникновения социальных трений в США. И все же значение этого момента, как бы велико оно ни было, не следует переоценивать. Экономический прогресс постоянно создавал новые неосвоенные области промышленного развития, и это обстоятельство было гораздо более важным, чем возможность в любой момент сложить чемоданы и двинуться на Запад.

* «Главная улица» (*англ.*) — так часто назывались главные улицы небольших американских городов. Здесь употребляется как символ американской провинции.

Типичный американский рабочий — хороший специалист и уважаемый человек — в душе был бизнесменом и сознавал себя таковым. Он успешно занимался эксплуатацией своих индивидуальных возможностей, заботясь о собственной выгоде, во всяком случае, старался по возможности выгодно продать свой труд. Он понимал и в значительной мере разделял образ мыслей своего работодателя. Когда ему это было выгодно, он заключал союз с другими рабочими своего предприятия, но принципиальные его установки оставались при этом прежними. Начиная примерно с середины XIX в. подобная практика все более начала принимать форму рабочих комитетов — предшественников послевоенных профсоюзов, создаваемых при компаниях, экономическое и культурное значение которых наиболее полно раскрывалось в условиях принадлежащих компаниям заводских поселков[12].

Кроме того, рабочим часто было выгодно кооперироваться со своими коллегами по профессии во всей стране, что позволяло им укреплять свои позиции в торге как непосредственно с работодателями, так и опосредованно с представителями других профессий. Этот интерес, сформировавший многие типично американские профсоюзы, в значительной мере объясняет принятие профессионального принципа, который в смысле охраны чистоты профсоюзных рядов эффективнее любого другого и благодаря которому американские профсоюзы приобрели характер рабочих картелей. Как и можно было ожидать, картели эти особым радикализмом не отличались, по поводу чего долго сокрушались и сокрушаются как американские, так и зарубежные социалисты и их попутчики. Их не интересовало ничего, кроме зарплаты и рабочих часов, а во всем остальном они готовы были идти навстречу запросам общества и даже своих работодателей, в особенности в вопросах фразеологии. Это весьма наглядно проявлялось в образе мыслей и поступках лидеров как независимых профсоюзов, так и тех, которые входили в Американскую федерацию труда, которая этот дух воплощала, а также в характерных для профсоюзной бюрократии по-

[12] Здравый смысл, заложенный в основе подобных структур, и их соответствие специфике американских условий настолько же очевидны, насколько очевиден тот факт, что у профсоюзов, а также у радикальных интеллигентов они были бельмом на глазу. Лозунги наших дней — недавно признанные официально — клеймят фабричные комитеты за то, что они якобы являются порождением коварных замыслов работодателей помешать рабочим добиться эффективного представительства своих интересов. Такая точка зрения вполне естественна для тех, кто считает моральной аксиомой, что пролетариат должен иметь свою боевую организацию, а также с позиций корпоративного государства, складывающегося у нас на глазах. Однако она искажает историческую правду. То, что работодатели предоставляли помещения для такого рода организаций, нередко брали на себя инициативу и пытались на них повлиять, чтобы выработать взаимоприемлемые решения, не исключает и не отрицает того, что фабричные комитеты и их руководители выполняли весьма нужную функцию и, как правило, весьма успешно служили интересам рабочих.

пытках проникнуть с помощью профсоюзных фондов в сферу промышленного и финансового предпринимательства[13].

Конечно, тот факт, что кредо и лозунги американских профсоюзов, т. е. их идеологические установки, были так нереволюционны и чужды классовой борьбе, сам по себе еще ни о чем не говорит. Американские деятели профсоюзного движения были не слишком склонны к теоретизированию, иначе они вполне могли бы придумать какое-нибудь марксистское обоснование своим действиям. Однако нельзя отрицать и того, что, отстаивая свои интересы перед работодателями, они ни в коем случае не считали, что находятся по другую сторону барьера. Такое сотрудничество — те, кто его не одобряет, используют другое слово — «соглашательство» — с работодателями ничуть не противоречило ни их принципам, ни логике ситуации. За исключением узкого круга вопросов политические действия, по их мнению, были не только ненужны, они были просто бессмысленны. А что касается влияния радикалов на профсоюзы, то с тем же успехом те же последние могли бы попытаться обратить в свою веру совет директоров Пенсильванской железной дороги.

Но в мире американских трудящихся был и другой мир. Помимо высококвалифицированной рабочей силы иммиграция с самого начала включала в себя некоторое количество неквалифицированной, причем численность последней после Гражданской войны выросла как абсолютно, так и относительно. Значительную долю этого прироста обеспечили те, кто попал в данную категорию не из-за недостатков своего физического или умственного развития и не из-за лени, а из-за прошлых жизненных невзгод или из-за пагубного влияния среды, из которой они происходили, или просто из-за своего мятежного характера, неукротимого темперамента или уголовных наклонностей. Вся эта публика была легкой добычей для эксплуатации, которая облегчалась также отсутствием моральных уз, а некоторые ее представители отвечали на подобное к себе отношение слепой, импульсивной ненавистью, которая быстро переросла в криминальные действия. Во многих

[13] Деятельность Уоррена Стэнфорда Стоуна из «Братства железнодорожных инженеров» может служить прекрасной (хоть и относящейся к несколько более позднему периоду) иллюстрацией последнего, а также ряда других аспектов. В эпоху Сэмюэля Гомперса [председатель Американской федерации труда с 1886 по 1924 г. — *Прим. ред.*] подобных примеров было так много, что читатель наверняка сможет продолжить их список сам. Вышесказанное не следует, однако, понимать таким образом, что все американские профсоюзы отличаются или отличались высокими вступительными взносами и искусно регулируемой численностью рядов, сильно смахивающей на спекулятивные махинации монополиста, придерживающего свой товар, чтобы он повыше ценился. Напротив, иммигранты завезли сюда с собой все разновидности профсоюзов, которые только были в Европе, к тому же там, где для этого были подходящие условия, особенно в относительно старых, устоявшихся производствах и отраслях, возникали формы, аналогичные европейским.

новых, быстрорастущих промышленных поселках, где скапливались люди самого разного происхождения и самых разных наклонностей, порядок (если это слово вообще применимо к тем условиям) приходилось поддерживать незаконными действиями. Грубые люди, которым подобное обращение отнюдь не прибавляло мягкости, сталкивались с работодателями или их управляющими, которые не успели еще выработать в себе чувство ответственности и часто были вынуждены применять грубую силу из страха не только за свое имущество, но и за жизнь.

Социалистический наблюдатель сказал бы, что это была классовая борьба в самом буквальном смысле — и что правота Марксова учения подтверждалась здесь ружейной стрельбой. На самом же деле ничего подобного не было и в помине. Невозможно даже представить себе условия более неблагоприятные для развития политического лейборизма или серьезного социализма, и пока эти условия имели место, ни тот, ни другой практически никак не проявлялись.

История «Рыцарей труда», единственной, по-настоящему важной общенациональной организации рабочих, независимо от их квалификации или специальности (фактически в нее принимались все желающие), охватывает примерно десятилетие значительного влияния и активных действий (1878—1889). В 1886 г. численность этого рыцарского ордена приближалась к 700 тыс. человек. Та его часть, которую составляли промышленные — в основном неквалифицированные — рабочие, активно участвовала, а иногда даже инициировала стачки и бойкоты, сопровождавшие экономические спады того периода. Внимательное изучение соответствующих программ и лозунгов обнаруживает довольно бессвязную мешанину самых разных социалистических, кооперативных и даже анархистских идей, которые восходят к широкому кругу источников, в том числе к идеям Оуэна, к английским аграрным социалистам, учению Маркса и фабианцам. Тем не менее политическое кредо, а также идея общего планирования и социальной реконструкции проступают во всем этом достаточно четко. Однако такая определенность целей объясняется на самом деле тем, что документы эти мы невольно читаем с позиций сегодняшнего дня. На самом деле никаких определенных целей не было и в помине, наоборот, именно расплывчатый характер идеологии счастья на земле — такой выбор слов объясняется тем, что основатель движения Урия Стефенс в молодости готовился стать священником, — и выдержки из американской Конституции привлекали к этому союзу самых разных людей, начиная от фермеров и кончая специалистами-профессионалами. Орден, таким образом, стал как бы биржей идей и планов реформаторов всех сортов. В этом смысле он действительно выполнял ту функцию,

которую имели в виду его лидеры, когда они подчеркивали учебно-просветительский аспект его деятельности. Но организация, основанная на глине столь разного замеса, была, по определению, неспособна ни на какие действия. Как только верх взяла социалистическая идея, произошел раскол. Аналогичную судьбу имели и другие подобные движения — популисты, последователи Генри Джорджа и пр.

Напрашивается вывод, что американская рабочая среда того времени не давала необходимого материала и движущего мотива для возникновения массового социалистического движения. Это можно подтвердить, если проследить ту нить, которая связывает рыцарей с Промышленными рабочими мира (Industrial Workers of the World). Нить эта воплощается в карьере марксиста Де Леона и потому должна иметь для правоверных особое значение[14]. Именно под его руководством в 1893 г. входившие в орден Рыцарей социалисты восстали против прежнего лидера Паудерли, нанеся тем самым, как впоследствии оказалось, смертельный удар всей организации. Идея их заключалась в том, чтобы создать инструмент для политических действий, более или менее соответствующих марксистскому учению. Борьба классов, революция, разрушение капиталистического государства — всему этому должна была способствовать пролетарская партия. Однако ни Социалистическая рабочая партия (Socialist Labour Party), ни созданный Де Леоном Социалистический альянс квалифицированных и неквалифицированных рабочих (1895 г.) особым влиянием среди пролетариата не пользовались. Дело было не только в том, что ряды последователей социалистов в рабочей среде были малочисленны, — само по себе это ничего еще не решало, — но им не удалось добиться и успеха русского образца, т. е. захватить ключевые позиции в среде интеллигенции. Социалистическая рабочая партия сперва раскололась, а затем сдала практически все оставшиеся у нее позиции новой социалистической партии — Социалистическому альянсу.

Социалистический альянс в своей верности марксистским идеалам продвинулся дальше любой другой социалистической партии в Соединенных Штатах. Во-первых, он был правоверным уже по самому своему происхождению. Он возник из рабочего движения 1892—1894 гг., когда забастовки подавлялись силой, а федеральное правительство и судебные органы решительно становились на сторону работодателей[15]. Такая политика со стороны государства заставила встать на

[14] Тем более, что сам Ленин, обычно такой скупой на похвалы, в нарушение всех своих привычек одобрительно отозвался о работах и идеях Де Леона.

[15] Заметим, что это происходило в то самое время, когда правительства большинства европейских стран стали строить свою политику на совершенно иных началах. Однако ▶

путь истинный многих из тех, кто раньше связывал свою судьбу с «консервативными» профсоюзами. Во всяком случае, изменил свои взгляды Юджин Дебс, который выступал сперва за промышленный юнионизм, а затем за политическую борьбу. Во-вторых, правоверными были общие установки, принятые этой партией. Она пыталась работать с профсоюзами, сея семена истинного учения изнутри. Она существовала как профессиональная политическая организация и была революционной в том самом смысле, в каком революционными были великие социалистические партии Европы. Правда, учение ее было не вполне марксистским. Дело в том, что Социалистический альянс не уделял должного внимания идеологическим установкам ни при Дебсе, ни после него и допускал в своих рядах довольно широкий спектр взглядов. И хотя ему так и не удалось вобрать в себя те небольшие рабочие партии местного характера, которые то тут, то там возникали по всей стране, он достаточно успешно просуществовал до послевоенного периода, когда возникла серьезная конкуренция со стороны коммунистического движения. Большинство социалистов, я думаю, согласятся, что это была единственная подлинно социалистическая партия в истории Соединенных Штатов. Во всяком случае, о масштабах социалистического движения в этой стране можно судить именно по числу голосов, отданных за нее, хотя среди ее сторонников, как и в любом социалистическом движении вообще, было немало случайных попутчиков.

У Де Леона был, однако, и другой шанс, и связан он был с Западной федерацией шахтеров (Western Federation of Miners), чей радикализм, впрочем, не имел идеологических корней, а объяснялся реакцией простого люда на тяжелые условия жизни. Эта федерация стала краеугольным камнем в структуре основанной в 1905 г. организации «Промышленные рабочие мира». Чтобы создать ее, Де Леон и его соратники собрали воедино и обломки собственной партии, и остатки других развалившихся организаций, а также созвали отовсюду людей

Продолжение сноски со стр. 741.

такое поведение американцев не просто говорит об их отсталости. Действительно, социальный и политический престиж бизнеса и делового интереса в Америке был куда сильнее, чем в любой другой стране, и вследствие этого американская демократия уделяла проблемам рабочих гораздо меньше внимания, чем, скажем, юнкерское правительство Пруссии. Но признание этого обстоятельства и даже вынесение ему соответствующей оценки с моральных и человеческих позиций не мешает признать и то, что отчасти благодаря неразвитости органов государственного управления, отчасти благодаря усилению преступных элементов, с которыми никакой другой более мягкий метод не прошел бы, и отчасти благодаря тому, что вся нация была исполнена решимости идти по пути ускорения экономического развития, проблемы по эту сторону океана представлялись в несколько ином свете, чем в Европе, причем это было бы так, даже если бы американское правительство было совершенно свободно от буржуазных шор.

с весьма сомнительной репутацией, отколовшихся то ли от интеллигентов, то ли от пролетариев, то ли от тех и других вместе. Однако союз имел сильное руководство и, следовательно, сильную фразеологию. Помимо самого Де Леона в руководство входили Хейвуд (Haywood), Траутман (Trautmann), Фостер (Foster) и другие.

Рядом своих успехов движение это было обязано шоковым методам (при этом не существовало ничего недозволенного) и духу бескомпромиссной борьбы, а тем, что оно в конечном итоге потерпело поражение, — отсутствию чего-либо, кроме громких фраз и шоковых методов. Поражение его было ускорено ссорами с коммунистами и перебежчиками в лагерь коммунистов, а также нескончаемыми внутренними разногласиями. Но я не стану повторять историю, которая уже была рассказана до меня со всех мыслимых точек зрения. Для нас в ней важно только одно. Эту организацию называли синдикалистской — даже анархистской, а несколько позже ее привлекали к ответственности в соответствии с антисиндикалистским законодательством, принятым в ряде штатов. Принцип «непосредственных» действий на местах и идеологические уступки Западной федерации шахтеров, которая отдавала промышленным профсоюзам ведущую роль в строительстве социалистического общества (в этом заключается личный вклад Де Леона в классический марксизм или, если угодно, его расхождение с ним), несомненно, говорит о том, что синдикалистской его партия считалась по праву. Но мне кажется более правильным говорить об отдельных включениях элементов синдикализма в движение, которое, по существу, имело чисто марксистские корни.

Таким образом, этот великий социолог — простой человек — опять оказался прав. Типичный американец всегда считал, что социализм в целом и социалисты в частности, Америке не нужны. Насколько я понимаю, здесь мы в более развернутой форме пытались показать именно это. Американское общество в своем развитии практически перескочило через фазу социализма, которая в других странах видела и победы чистого марксизма, и успехи Второго Интернационала. Проблемы, над которыми бились европейские социалисты, в этой стране остались практически непонятыми. Если подобные умонастроения и возникали, то лишь случайно, будучи привнесенными сюда из Европы. Решая свои проблемы и вырабатывая свои собственные установки, американцы время от времени заимствовали что-то из этих чужеземных идей, но этим дело и ограничивалось, а последующие события еще сильнее отвратили от социализма американских интеллигентов и пролетариев, не прошедших школы марксизма.

4. Социализм во Франции: анализ синдикализма

Понять, что такое синдикализм, можно лучше всего на примере Франции[16]. Однако прежде, чем перейти к рассмотрению синдикализма, мы кратко охарактеризуем французский социализм вообще.

Во-первых, история развития социалистической идеологии в этой стране имеет более глубокие корни и насчитывает, пожалуй, больше славных страниц, чем в любой другой, хотя ни одно из зародившихся во Франции учений никогда не достигало такой завершенной формы и такого влияния, как, например, фабианство в Англии или марксизм в Германии. Фабианство невозможно без политической системы английского типа, а во Франции ничего подобного не сложилось — помешали Великая французская революция и неудача последовавших за нею попыток аристократии и буржуазии договориться между собой. Марксизм требует широкого и сплоченного рабочего движения или, если считать его объединяющей религией интеллигентов, — культурных традиций, совершенно не свойственных любви французов к limpidité (чистота, прозрачность, ясность — *фр.*). Все же остальные имевшиеся в то время социалистические учения находили отклик только среди людей определенного склада ума и определенного социального происхождения и потому по природе своей были сектантскими.

Во-вторых, Франция была преимущественно страной крестьян, ремесленников, мелких служащих и рантье. Развитие капитализма в этой стране шло неспешно, и крупная промышленность существовала лишь в нескольких центрах. Каковы бы ни были те проблемы, что посеяли раздор между перечисленными классами, вначале классы эти были экономически достаточно консервативными — пожалуй, нигде в мире консерватизм не покоился на столь широком фундаменте, — а позже оказывали все возрастающую поддержку тем социальным группам, которые настаивали на проведении реформ в интересах среднего класса, в том числе радикалам-социалистам, партии, про которую вернее всего будет сказать, что она не была ни социалистической, ни радикальной. Рабочие в большинстве своем принадлежали к тому же социальному типу и думали точно так же. Специалисты и интеллигенты к этому приспособились, и именно этим объясняется тот факт, что перепроизводство специалистов и безработица в их среде хотя и имели место, никогда не приводили к таким эксцессам, как того можно было бы ожидать, судя по другим странам. Беспорядки, конечно, были. Но если говорить о недовольных вообще, то католики, не одобрявшие ан-

[16] Итальянский и испанский синдикализм подошли бы для этой цели не хуже — с той единственной оговоркой, что чем выше неграмотность в стране, тем сильнее элемент анархизма, искажающий то, что, по моему мнению, составляет истинный портрет синдикализма. Этот элемент имел место и во Франции, но роль его здесь не следует преувеличивать.

тиклерикальные тенденции, которые в силу различных обстоятельств значительно усилились во времена Третьей республики, играли во Франции куда большую роль, чем те, кому не нравился капиталистический уклад. Во всяком случае, именно от первых, а не от вторых исходила реальная угроза буржуазной республике в связи с делом Дрейфуса.

В-третьих, из всего вышесказанного следует вывод, что объективных условий для развития социализма во Франции было не больше, чем в России или в Соединенных Штатах, хотя причины тому опять-таки были иные, а потому из всех возникших на ее почве социалистических и околосоциалистических учений ни одно не было сколько-нибудь серьезным. В качестве примера можно сослаться на бланкистов, которые делали ставку на действия «горстки смельчаков». Небольшая группа интеллигентов-заговорщиков и профессиональные революционеры в союзе с парижской чернью и низами еще двух-трех крупных городов — это самое большее, что попадало в орбиту подобных групп. И все же Гед (Guesde) и Лафарг (Lafargue) основали марксистскую «Рабочую партию», провозгласившую программу классовой борьбы (1883 г.), причем эта партия снискала одобрение самого Маркса. Она придерживалась ортодоксального курса, боролась с путчистами типа Эрве и анархистами, с одной стороны, и реформизмом Жореса — с другой, т. е. делала, по существу, все то же самое, что и немецкие социалисты, однако она никогда не занимала такого положения и не пользовалась таким успехом ни в массах, ни среди интеллигенции, как социалисты в Германии. Не помог этому и ее альянс с другими социалистическими партиями в ходе парламентских выборов в 1893 г. (в том году социалисты получили всего лишь 48 мест, а правящая республиканская партия — 300). В 1905 г. партия прекратила свое существование, уступив место возникшей на ее основе Объединенной социалистической партии.

В-четвертых, — и здесь я просто ограничусь констатацией факта, не пытаясь никак его объяснить, — описанный выше социальный уклад исключал появление больших и высокоорганизованных партий английского типа. Вместо них во французском парламенте, как известно, бал стали править мелкие и нестабильные группировки, которые складывались и распадались под влиянием момента, личных интересов и интриг, которые формировали и распускали кабинет министров в соответствии, как я уже говорил, с правилами салонной игры. Одним из последствий этого была полная несостоятельность государственной власти. Другим — то, что кабинет министров в этой стране попал в поле зрения социалистических и околосоциалистических групп гораздо раньше, чем это случилось в странах, где хотя и были значительно более влиятельные социалистические партии, государственное уп-

равление велось с использованием более рациональных методов. Вплоть до чрезвычайных обстоятельств 1914 г. Гед и его группа не поддавались соблазну и не шли на сотрудничество с буржуазными партиями в лучших традициях ортодоксального марксизма. Но реформистская группа, которая и так уже скатилась в буржуазный радикализм и чей принцип — реформа без революции — не исключал такого сотрудничества, не имела никаких оснований его избегать. Соответственно, Жорес не испытывал никаких угрызений совести по поводу того, что он оказывал поддержку буржуазному правительству, чтобы защитить республику во время дела Дрейфуса (1898 г.). Таким образом, старая задача о сочетании социалистических принципов и тактики, которая не составляла никакой трудности в Англии и Швеции, а во всех прочих странах считалась трудноразрешимой, вдруг приобрела в высшей степени актуальную форму. Изюминка заключалась во введении в задачу дополнительного условия, гласившего, что оказывать поддержку правительству — это одно дело, с точки зрения несгибаемых ортодоксов достаточно предосудительное, но делить с правительством ответственность, реально войдя в его состав, — это совершенно другое дело. Именно это и сделал г-н Мильеран (Millerand). В 1899 г. он вошел в кабинет Вальдека-Руссо вместе с генералом де Галифе, консерватором, который прославился в основном своим энергичным участием в подавлении Парижской Коммуны в 1871 г.

Два патриота, поступившихся собственными принципами, чтобы объединить силы в эпоху национальных бедствий, — что в этом такого? Я полагаю, что именно такова будет реакция большинства моих читателей. Могу заверить, что я тоже ни в коем случае не считаю, что вышеназванные господа бросили на себя тень таким поступком. К тому же мы имеем все основания спросить, продолжал ли Мильеран оставаться в то время социалистом?[17] Наконец, в бытность свою членом кабинета он много сделал для французских рабочих как в юридическом, так и в административном плане и потому оставил о себе добрую память.

[17] Действительно, он выдвинулся в первые ряды представителей левого крыла, выступил в защиту руководителей забастовщиков, а в кабинете Вальдека-Руссо был главной фигурой среди тех 60 его членов, которых называли «левым социалистическим крылом». Надо, однако, сказать, что он не сделал ничего такого, чего не мог бы с тем же успехом сделать любой буржуазный радикал. Его политика в качестве министра гражданского строительства (1909 г.) и министра обороны (1912 г.) не означала поэтому такого уж резкого разрыва с социализмом, как это пытались представить его враги. Его последующий альянс с bloc national (национальным блоком) и конфликт с cartel des gauches (картелем левых) во время пребывания на посту президента Франции после 1920 г. — это уже иная история, но все же и тут можно предложить вполне правдоподобное объяснение.

В то же время мы должны попытаться понять, каким виделся «мильеранизм» гедистам во Франции и ортодоксальным социалистам по всей Европе. Для них он означал одно — грехопадение, предательство цели, осквернение веры. Такая реакция весьма естественна, как и анафема, которой его предал конгресс Второго Интернационала в Амстердаме (1904 г.). Но если попытаться взглянуть поглубже, то за анафемой за вероотступничество откроется всего лишь здравый смысл. Действительно, если уж решено, что рабочий класс не должен подставлять свою спину амбициозным политикам, которые не прочь вскарабкаться по ней к власти, то нужно весьма ревностно следить, чтобы от этой практики не было никаких отклонений. Фокус с разговорами об экстремальной ситуации в стране, к которому без конца прибегают рвущиеся к власти карьеристы, — интересно, была ли хоть раз ситуация, которую политики считали бы неэкстремальной? — был слишком хорошо известен и слишком сильно дискредитирован, чтобы произвести впечатление на кого бы то ни было, а уж тем более на французский пролетариат, который научился неплохо разбираться в политической фразеологии. Была опасность, что массы могут вообще с презрением отвернуться от социалистических политиков[18].

На самом деле эта опасность была вполне реальной. Массы действительно начали отворачиваться от социалистов. Насмотревшись, как и вся страна, на то, какое жалкое зрелище представляет собой неумелая, некомпетентная и легкомысленная власть, порожденная расстановкой общественных сил, которую мы попытались описать выше, они потеряли доверие к государству, к политикам, к разного рода писакам и ни к кому не питали уважения, да и вообще во всем и во всех разуверились, за исключением некоторых великих деятелей прошлого. Часть промышленного пролетариата сохраняла свою католическую веру. Другие просто плыли по течению. А для тех, кому удалось побороть свои буржуазные пережитки, синдикализм представлялся гораздо более привлекательным, чем любой из имевшихся видов чистого социализма, сторонники которого, судя по всему, обещали повторить игрища буржуазных партий, разве только в меньших масштабах. Разумеется, немаловажную роль сыграла в этом и французская революционная традиция, прямым наследником которой был синдикализм.

Ведь синдикализм — это не просто революционный тред-юнионизм. Он многолик и в ряде случаев не имеет никакого отношения к последнему. Синдикализм аполитичен и антиполитичен в том смысле,

[18] Итальянские социалисты на самом деле отклонили приглашение войти в состав кабинета, с которым трижды обращался к ним Джолитти (Giolitti, 1842—1928, лидер итальянской Либеральной партии, премьер-министр Италии в 1903, 1906 и 1911 гг.).

что он презирает действия, проводимые через органы традиционной политической власти вообще и через парламент в частности, а также любые попытки воздействовать на эти органы. Он антиинтеллектуален в том смысле, что он презирает конструктивные программы, основанные на теориях, и отвергает руководство интеллигентов. Он действительно обращен к инстинктам рабочего человека — не то что марксизм, который обращен лишь к представлениям интеллигентов об этих инстинктах, — обещая рабочему понятные ему вещи — например, захватить цех, где он работает, причем захватить его с помощью силы, в крайнем случае с помощью всеобщей забастовки.

Надо сказать, что в отличие от марксизма или фабианства синдикализм не может увлечь тех, кто хоть немного знаком с экономической наукой и социологией. Дело в том, что в нем нет разумного начала. Те писатели, которые, исходя из гипотезы, что все на свете поддается разумному объяснению, пытаются подвести под него теоретический базис, неизбежно его выхолащивают. Некоторые связывали его с анархизмом, который в качестве социальной философии совершенно ему чужд по своим источникам, целям и идеологии, — хотя поведение последователей Бакунина из числа рабочих в 1872—1876 гг. было похоже на поведение синдикалистов. Другие пытались относить его к марксизму, усматривая в нем частный случай последнего, характеризующийся применением особой тактики, и тем самым игнорировали все, что есть наиболее важного в обоих. Третьи конструировали новый вид социализма, который должен был функционировать как платоновская идея синдикализма — так называемый «гильдейский социализм», однако при этом они были вынуждены навязать движению определенную схему высших ценностей, хотя именно отсутствие последних является одним из его самых характерных признаков. Те, кто организовал и возглавил Всеобщую конфедерацию труда (Confédération Générale du Travail) на ее синдикалистском этапе (1895—1914 гг.), были в большинстве своем подлинными пролетариями или деятелями профсоюзного движения или и теми, и другими одновременно. Они были преисполнены негодования и желания бороться. Их нимало не заботила мысль о том, что они станут строить на развалинах в случае своей победы. Разве самой по себе победы еще не достаточно? Почему же мы должны отрицать ту истину, которой изо дня в день учит нас жизнь — а именно, что существует абстрактное желание подраться, которое не нуждается ни в каких обоснованиях и не знает других целей, кроме победы как таковой?

Но заполнить пустоту, стоящую за грубым насилием, может, сообразуясь со своим личным вкусом, всякий интеллигент. А само насилие, окрашенное в цвета антиинтеллектуализма и антидемократизма,

в условиях распада цивилизации, которую по разным причинам так ненавидят многие, приобретает новый грозный смысл. Те, кто ненавидел капиталистическое общество не столько за его экономические порядки, сколько за демократический рационализм, не могли найти опору в ортодоксальном социализме, который сулит еще больший рационализм. Их интеллектуальному антиинтеллектуализму — будь то ницшеанского или бергсонианского толка — синдикалистский антиинтеллектуализм вполне мог импонировать в качестве дополнения (специально для народных масс) к их собственным убеждениям. Так родился этот весьма странный альянс, и синдикализм в конце концов обрел своего теоретика в лице Жоржа Сореля (Sorel).

Разумеется, любые революционные движения и идеологии, сложившиеся в одно и то же время, всегда имеют много общего. Будучи порождениями одного и того же социального процесса, они неизбежно дают во многом схожие ответы на схожие вопросы. Кроме того, в своих потасовках они не могут что-то друг у друга не перенять. Наконец, многие из них просто не могут найти себе места и когда по незнанию, когда по трезвому расчету смешивают взаимоисключающие принципы, образуя собственные доктрины-гибриды. Все это сбивает с толку исследователей, благодаря чему мы и имеем сегодня такое богатство трактовок. Особенно трудно разобраться в случае с синдикализмом, который знал лишь короткий период расцвета, а затем его идейные вожди от него отступились. Тем не менее, как бы мы ни расценивали значение синдикализма для Сореля и значение Сореля для синдикализма, его «Размышления о насилии» (Réfléxions sur la Violence) и «Иллюзии прогресса» («Illusions du Progrès») помогут нам прояснить ситуацию. То, что его экономическая теория и социология не имели ничего общего со взглядами Маркса, само по себе еще ни о чем не говорит. Но оказавшись в самой середине бурного потока антиинтеллектуализма, социальная философия Сореля проливает свет на первую практическую манифестацию той «социальной силы», которая была и остается революционной в том смысле, в каком никогда не был революционен марксизм.

5. Социал-демократическая партия Германии и ревизионизм. Австрийские социалисты

Но все же, почему английские методы и тактика не получили распространения в Германии? Откуда вдруг такой успех марксизма, разжигавшего противоречия и расколовшего всю страну на два враждебных лагеря? Это бы еще можно было как-то понять, если бы в Германии не было других социалистических партий, которые добивались

социальных преобразований, или если бы правящая верхушка оставалась глухой к их предложениям. Однако правительство Германии относилось к социальным запросам эпохи не менее, а более чутко, чем английские политики, а работу фабианцев с не меньшим успехом выполняла очень похожая на них группа.

Германия не только не отставала в вопросах социальной политики, но и задавала в них тон, по крайней мере до принятия законов о социальной защите, связанных с именем Ллойда Джорджа. К тому же законы о социальной защите населения принимались в этой стране не под давлением ожесточенной борьбы снизу, а по инициативе самого правительства. Закон о социальном страховании был принят с подачи Бисмарка. Разработкой этого закона по распоряжению Вильгельма II занимались консервативные сановники (фон Берлепш, граф Посадовский), которые включили в него ряд новых мер, не предусмотренных первоначальным вариантом. Созданные в соответствии с принятым законом институты социальной защиты были поистине замечательным достижением, и именно так они расценивались во всем мире. Одновременно были сняты оковы с профсоюзного движения, и отношение государственных властей к забастовкам резко изменилось.

Монархические одежды, в которые все это было облечено, несомненно, отличали германский вариант от английского. Но различие это шло на пользу дела. После краткого периода уступок экономическому либерализму (названного критиками «манчестеризмом») монархия просто вернулась к своим прежним традициям и стала делать mutatis mutandis (с учетом перемен — *лат.*) для рабочих то, что раньше она делала для крестьянства. Государственная гражданская служба, которая в Германии была значительно более развита и располагала существенно большими полномочиями, чем в Англии, обеспечивала превосходный механизм управления и обильно питала законодательство новыми идеями и законотворческими талантами. К тому же она была не менее восприимчива к предложениям по социальным реформам, чем английская. Состоявшие в основном из безденежных юнкеров, — многие из которых не имели иных средств к существованию, кроме своего поистине спартанского жалованья, — целиком отдававших себя служению государству, высокообразованных и компетентных, весьма критично настроенных по отношению к капиталистической буржуазии, государственные служащие Германии в области социальных реформ чувствовали себя как рыба в воде.

Обычно германская бюрократия получала новые идеи и предложения от своих университетских профессоров, «катедер-социалистов». Как бы мы ни относились к научным достижениям профессоров, которые объединились в Союз социальной политики (Verein für Sozial-

politik)[19], даже если их трудам часто не хватало научной изысканности, они пылали подлинным рвением к социальным реформам и весьма успешно способствовали их распространению. Мужественно отстаивая свои принципы перед лицом недовольства буржуазии, они не только разрабатывали конкретные меры практических реформ, но также пропагандировали самый дух реформаторства. Как и фабианцев, их в первую очередь интересовали ближайшие задачи и они резко осуждали классовую борьбу и революцию. Но, как и фабианцы, они знали, к чему они идут, — знали и не имели ничего против того, что в конце их пути маячил социализм. Конечно, государственный социализм в том виде, в каком они его себе представляли, был социализмом национальным и консервативным, но он не был ни фальшивкой, ни утопией.

Остальной мир никогда не понимал этих особенностей социальной структуры Германии и природу порожденной ею конституционной монархии, или во всяком случае, другие страны позабыли то, что когда-то, возможно, и знали по собственному опыту. Но если бы истина приоткрылась, нам было бы еще труднее понять, каким образом в этой далекой от плутократии среде выросла величайшая — из всех социалистических партий — партия, стоявшая на чисто марксистской платформе, употреблявшая непревзойденную по злобности марксистскую фразеологию, объявившая своей целью борьбу против безжалостной эксплуатации и государства, которое она называла «рабом погонщиков рабов». Вряд ли такое можно объяснить «логикой объективной социальной ситуации».

Ну что ж, я полагаю, что мы должны еще раз признать, что в краткосрочном аспекте (а 40 лет в таких вопросах — это очень короткий период) неправильный выбор методов и ошибки, неумелые действия отдельных личностей и целых коллективов могут сыграть такую роль, которую одной логикой не объяснишь. Можно попытаться найти и другие причины, но боюсь, они мало что добавят к нашему пониманию. В отдельных землях шла, конечно, борьба за расширение избирательного права. Но бóльшая часть вопросов, сильнее всего волновавших промышленный пролетариат, была в компетенции имперского парламента (рейхстага), а что касается выборов в парламент, то Бисмарк с самого начала ввел всеобщее избирательное право для мужчин. Важнее была протекционистская политика защиты сельского хозяй-

[19] Я бы очень рекомендовал своим читателям ознакомиться с краткой историей этой уникальной организации, которая красноречиво говорит о том, какой же на самом деле была Германская империя, хотя работа, к которой я их отсылаю, так и не была и, по-видимому, уже не будет переведена на английский язык. Ее автор несколько десятков лет был бессменным секретарем Союза, а изложенная им без всяких прикрас история производит глубочайшее впечатление именно благодаря своей безыскусности. (Franz Boese. Geschichte des Vereins für Sozialpolitik. Berlin, 1939.).

ства, и в результате — дорогой хлеб. Несомненно, это сильно отравляло атмосферу, особенно потому, что больше всего от этой дороговизны выигрывали крупные и средние помещики Восточной Пруссии, а вовсе не крестьянство. Однако о силе давления с этой стороны говорит тот факт, что где-то около 1900 г. эмиграция практически сошла на нет. Нет, ответ следует искать не здесь.

Ах уж эта неумелость плюс немецкие манеры! Возможно, что-то прояснится, если провести очевидную аналогию с поведением Германии в области международных отношений. До 1914 г. колониальные и другие амбиции Германии на международной арене были — сейчас, по прошествии стольких лет, наверно, уже можно так сказать — весьма скромными, особенно если сравнивать их с теми четкими и результативными действиями, с помощью которых расширяли свои империи Англия и Франция. Ничего из того, что Германия фактически совершила или обнаружила намерение совершить, не идет ни в какое сравнение, скажем, с Тель-Эль-Кебиром или с Англо-бурской войной, с завоеванием Туниса или французским Индокитаем. Куда менее скромными и куда более агрессивными были речи, которые произносили германские политики, невыносимо наглой и вызывающей была сама манера, в которой формулировались любые, даже самые скромные притязания. Хуже того, Германия никогда не придерживалась какой-то одной четкой политической линии: неистовые атаки шли то в одном направлении, то в другом, перемежаясь шумными отступлениями, недостойными уступками и совершенно неуместными попытками все переиграть, и так далее, пока международное общественное мнение, наконец, не прониклось окончательно по отношению к Германии отвращением и тревогой[20]. Аналогичным образом складывались обстоятельства и во внутренних делах страны.

Фатальную ошибку совершил на самом деле не Вильгельм, а Бисмарк. Ошибка эта заключалась в его попытке подавления социалистического движения силой, объяснимой разве что предположением, что он имел совершенно неправильное представление о природе про-

[20] Хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. Я ни в коем случае не приписываю эту политику Вильгельму II — ни целиком, ни в первую очередь. Он отнюдь не был второстепенным правителем. К тому же он вполне заслужил ту характеристику, которую дал ему князь Бюлов (Bülow, 1849—1929) — германский государственный деятель, в 1900—1909 гг. рейхсканцлер Германии) в своей, пожалуй, самой необычной речи в защиту монарха, которую когда-либо слышали стены парламента: «Вы можете говорить что угодно, но он не филистер». Да, действительно, он рассорился с единственным человеком, который мог бы научить его премудростям его ремесла, однако те, кто осуждает его поведение по отношению к Бисмарку, не должны забывать, что главным поводом для ссоры послужило преследование социалистов, которому император намеревался положить конец, а также принятие крупномасштабной программы реформы социального законодательства. Если отбросить в сторону слова и просто попытаться осмыслить логику движущих мотивов императора по его делам из года в год, то сам собой напрашивается вывод, что по многим великим вопросам эпохи истина была на его стороне.

блемы. Кульминацией этой политики был Закон о социалистах (Sozialistengesetz), который он провел в 1878 г. и который оставался в силе до 1890 г., когда на его отмене настоял Вильгельм II. Иначе говоря, закон этот оставался в силе достаточно долго, чтобы научить партию уму-разуму и заставить ее выбрать своими вождями тех, кто изведал тюрьму и ссылку и кто в значительной мере перенял менталитет заключенных и ссыльных. Благодаря роковому стечению обстоятельств случилось так, что именно это определило весь ход последующих событий. Ведь эти пережившие ссылку люди более всего ненавидели милитаризм и идеологию военной славы. Со своей стороны монархия, во всех прочих отношениях с пониманием относившаяся к тому, что умеренные социалисты считали ближайшими практическими целями, ненавидела глумление над армией и над военной славой 1870 г. Именно это и ничто другое заставило и ту и другую сторону считать друг друга не просто противниками, но и врагами. Добавьте сюда еще марксистскую фразеологию на партийных съездах — как бы очевидно академична она ни была — и вышеупомянутое неистовство, и картина будет полной. Никакое социальное законодательство, никакое законопослушное поведение не помогло преодолеть это взаимное non possumus (невозможность — *лат.*), этот картонный барьер, через который оба воинства бросали друг другу оскорбления, строили друг другу страшные рожи, разили друг друга словами — и все это не желая причинить никакого серьезного зла.

Из такого положения дел возникла ситуация, которая, несомненно, представляла определенную опасность — огромная власть без ответственности всегда опасна, — но вовсе не была такой угрожающей, как это может показаться. Федеральное правительство и правительства земель — или бывшие государственные служащие, получившие министерские должности, из которых эти правительства формировались, — заботились в первую очередь о том, чтобы власть была честной и компетентной, чтобы законодательство было эффективным и в целом прогрессивным, чтобы армии и флоту был выделен достаточный бюджет. Ни одной из этих целей социалисты, голосовавшие против, серьезно не повредили. В частности, принятие военного бюджета в большинстве случаев обеспечивалось за счет поддержки значительного большинства населения. В свою очередь, социал-демократическая партия Германии, возглавляемая Августом Бебелем, была поглощена стремлением укрепить и расширить ряды своих сторонников, число которых действительно возрастало не по дням, а по часам. Правительство не сильно вмешивалось в этот процесс, поскольку бюрократия скрупулезно соблюдала букву закона, предоставлявшего всю полноту свободы, которая только требовалась для партизанских дей-

ствий[21]. И стоящая у власти бюрократия, и партия имели основания быть благодарными друг другу, особенно во времена правления Бюлова, за возможность куда-то выпустить пар из котла своего красноречия, что было так необходимо обеим.

Таким образом, партия не только разрасталась, причем достаточно быстро, но и приобретала стабильность. Появились партийная бюрократия, партийная пресса, появились свои государственные деятели высокого ранга, получавшие высокие доходы и вообще весьма респектабельные во всех смыслах этого слова, в том числе и в смысле буржуазной респектабельности. Появилось рабочее ядро, для которого членство в партии было не столько вопросом выбора, сколько чем-то само собой разумеющимся. Все больше становилось «врожденных» партийцев, обученных беспрекословному приятию ее руководства и ее катехизиса, который для некоторых из них означал то же самое, что религиозный катехизис значит для среднего человека сегодня.

Всему этому в немалой степени способствовала неспособность несоциалистических партий эффективно бороться за голоса рабочих. Было, правда, и исключение. Центристская (католическая) партия, с одной стороны, имела в своем распоряжении все необходимые таланты, поскольку она пользовалась поддержкой духовенства исключительно высоких способностей, и, с другой стороны, была готова бороться за голоса рабочих, решившись пойти по пути реформ настолько далеко, насколько это было возможно, не вызывая недовольства своего правого крыла и выбрав в качестве своей платформы доктрины папских энциклик Immortale Dei (1885) и Rerum Novarum (1891)[22]. Но все остальные партии, пусть по разным причинам и в неодинаковой степени, питали стойкое недоверие, если не сказать враждебность, к промышленному пролетариату и никогда даже не пытались завоевать на свою сторону столько-нибудь значительное число рабочих избирателей. Рабочим же, за исключением ревностных католиков, соответ-

[21] Неприятности со стороны властей, безусловно, имели место, а социалисты, конечно, выжимали все, что было можно, из любых действий, которые, хотя бы и с натяжкой, можно было отнести к подобным помехам. Но такого рода противостояние никогда не достигало опасной остроты, о чем, кстати говоря, достаточно красноречиво свидетельствует история самого социалистического движения с 1890 г. до начала Первой мировой войны. Кроме того, политика такого рода на самом деле только играет на руку «преследуемой» партии.

[22] Заметим попутно интересный (почти в американском духе) феномен: в лице центристов мы имеем партию, в которой были представлены почти все оттенки мнений по экономическим и социалистическим вопросам, которые вообще только возможны, начиная с самого закоренелого консерватизма и кончая радикальным социализмом, и которая несмотря на это оставалась мощнейшим двигателем политической жизни. Люди самого разного склада, самого разного происхождения, движимые различными желаниями, крайние демократы и крайние автократы настолько слаженно работали, что им могли бы позавидовать марксисты — и все это единственно благодаря их преданности католической церкви.

ственно не оставалось ничего другого, кроме как обратить свои взоры к социал-демократической партии. Подобная ситуация представляется абсурдной в свете английского и американского опыта, но социалистической армии действительно было позволено маршем вступить на политически незащищенную территорию под аккомпанемент шума и недовольства по поводу ужасной опасности, которую она представляет.

В связи с вышесказанным мы уже можем понять то, что на первый взгляд кажется совершенно необъяснимым, а именно то, почему германские социалисты так крепко держались за марксистское учение. Для сильной партии, которая могла позволить себе иметь собственное учение и при этом была лишена не только политической ответственности, но даже перспективы когда-нибудь взять ее на себя, естественно было сохранять чистоту учения Маркса, раз уж она его приняла. Такое чисто негативное отношение к несоциалистическим реформам и ко всем действиям буржуазного правительства вообще — что, как мы видели выше, составляло тактическую уловку, рекомендованную Марксом на все случаи жизни за очень редким исключением, — было ей на самом деле навязано обстоятельствами. Ее вожди не были ни безответственными людьми, ни отчаянными безумцами. Однако они понимали, что в данной ситуации партии не оставалось ничего другого, кроме как критиковать и выше держать свое знамя. Любое отступление от революционного принципа было бы совершенно неоправданно. Это могло бы только дезорганизовать последователей, но не дало бы пролетариату ничего или почти ничего сверх того, что он и так уже получил, причем получил не столько из рук других партий, сколько из рук монархической бюрократии. Те минимальные выгоды, которых можно было бы добиться, вряд ли заслуживали того, чтобы рисковать партией. Таким образом, серьезные, законопослушные люди, патриоты продолжали твердить безответственные лозунги о революции и предательстве. Кровавые последствия этих шагов, как ни странно, связаны в основном с людьми вполне мирной наружности, «очкариками», счастливо сознававшими, что им вряд ли когда-нибудь придется претворять эти лозунги в жизнь.

Вскоре, однако, у некоторых из них в душу закралось опасение, что в один прекрасный день революционная болтовня может столкнуться с одним из самых убийственных орудий в политическом споре — с насмешкой. Возможно, именно предчувствие такого рода, а может — просто понимание того, что разрыв между марксистской фразеологией и социальными реалиями того времени стал уже до смешного велик, заставило не кого-нибудь, а самого Энгельса объявить с высокой

трибуны, т. е. во введении, написанном им к новому изданию работы Маркса «Классовая борьба во Франции»[23], о том, что уличные бои все же сопряжены с определенными неудобствами и что правоверным не обязательно в них вступать (1895 г.).

Эта своевременная и скромная поправка вызвала ярость со стороны горстки горячих голов, не допускавших никаких компромиссов. Особенно старалась г-жа Роза Люксембург — она буквально превзошла самое себя в гневных обличениях по адресу старины Энгельса. Однако партия в целом согласилась с этой поправкой — не исключено, что она была воспринята со вздохом облегчения, — и впоследствии даже, по-видимому, тактично сделала и другие осторожные шаги в том же направлении. Однако когда Эдуард Бернштейн недрогнувшей рукой взялся «ревизовать» все строение партийного вероучения целиком, поднялся страшный шум. После того, что я сказал о сложившейся в то время ситуации, это не должно показаться странным.

Даже самая мирская партия знает о том, как опасно вносить изменения в любой сколько-нибудь серьезный пункт своей программы. Если же говорить о партии, чья программа и само существование были основаны на вероучении, каждая деталь которого была проработана с поистине богословским усердием, то коренная реформа неизбежно привела бы к глубочайшим потрясениям. Это вероучение было объектом почти религиозного почитания. Ему служили уже четверть века. Именно под его знаменем партия добивалась своих успехов. Это было то единственное, что партия могла с гордостью предъявить. И вдруг любимую революцию — которая была для них тем же, чем второе пришествие было для ранних христиан, — совершенно бесцеремонно хотят отменить. Не будет больше ни классовой борьбы, ни милых сердцу военных кличей. Вместо них — сотрудничество с буржуазными партиями. И все это раздается из уст представителя старой гвардии, бывшего ссыльного, к тому же милейшего человека и всеобщего любимца!

Но Бернштейну[24] и этого было мало. Своими кощунственными руками он посмел коснуться священных основ учения. Он атаковал его гегельянские корни. Подверг острой критике трудовую теорию ценности и теорию эксплуатации. Он усомнился в неотвратимости социализма и свел все к банальной «желательности». Он неодобрительно

---

[23] Рязанову удалось показать, что редактор этой книги достаточно вольно обошелся с текстом Энгельса. Но как бы сильно ни исказил редакторский карандаш смысл написанного Энгельсом, упомянутую выше мысль это не затронуло. См.: Ryazanov. Karl Marx and Friedrich Engels (translated by Kunitz). 1927.

[24] Особый интерес в этой связи представляют две его книги: «Проблемы социализма и задачи социал-демократов» («Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie», 1899), переведенная на английский язык Э. Харви в 1909 г., и «К истории и теории социализма» («Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus», 1901).

относился к экономической интерпретации истории и утверждал, что кризисы не погубят капиталистического дракона, наоборот, со временем капитализм станет более стабильным. Рост обнищания — это, конечно, сплошные выдумки. Буржуазный либерализм породил вечные ценности, которые следует попытаться сохранить. Он даже осмелился заявить, что пролетариат — это еще не все. Подумать только!

Разумеется, такого партия позволить не могла. Это было бы совершенно недопустимо, даже если бы Бернштейн был неопровержимо прав по всем пунктам, поскольку вероучения, воплощенные в организации, нельзя реформировать методом всесожжения. Но он не был неопровержимо прав. Человек он был прекрасный, но как теоретик Марксу не чета. Как мы уже видели в первой части, он слишком далеко зашел в своей критике экономической интерпретации истории, которую вряд ли до конца понимал. Он также излишне энергично утверждал, что ход развития сельского хозяйства опровергает Марксову теорию концентрации экономической власти. Были и другие моменты в его рассуждениях, которые вызывали убедительные возражения, поэтому защитнику ортодоксального учения Карлу Каутскому[25] не представляло особого труда отстоять свои позиции — или по крайней мере некоторые из них. Нельзя также с уверенностью судить и о том, выиграла бы партия, если бы тактические рекомендации Бернштейна были приняты. Несомненно, во всяком случае, что какая-то часть членов от партии бы откололась. Серьезно пострадал бы также ее престиж. При этом, как уже было сказано, никаких непосредственных выгод этот шаг бы не дал. Очень многое, следовательно, говорило в пользу именно «консервативного» подхода.

В подобной ситуации взятый Бебелем курс не был настолько неразумным и диктаторским, как в то время представлялось его попутчикам и прочим критикам. Бебель резко осудил ревизионизм, даже нарочито резко, чтобы не упустить из-под своего контроля левое крыло. На Ганноверском (1899 г.) и Дрезденском (1903 г.) съездах он предал его анафеме. Но он же позаботился и о том, чтобы все резолюции, вновь подтверждающие классовую борьбу и другие символы веры, были сформулированы таким образом, чтобы оставить ревизионистам возможность покориться. Они и покорились, и никаких других мер

[25] С тех самых пор Каутский, основатель и главный редактор «Neue Zeit» и автор ряда научных трудов по марксистской теории, неизменно занимал позицию, которую можно охарактеризовать только в церковных терминах, отстаивая «революционное» учение сперва в борьбе с ревизионизмом, а некоторое время спустя — в борьбе с большевистской ересью. Он был ученым до мозга костей и не умел располагать к себе людей, как это делал всеобщий любимец Бернштейн. В целом, однако, оба крыла партии можно поздравить с тем, насколько высок был интеллектуальный и моральный уровень их лидеров.

против них предпринято не было, хотя я думаю, что хлыстом вокруг них пощелкивали. Самому Бернштейну было даже позволено при поддержке партии войти в состав рейхстага. Фон Фольмар* также остался в лоне церкви.

Профсоюзные лидеры пожимали плечами и бормотали что-то о бессмысленности пережевывания догматической жвачки. Сами-то они всю жизнь были ревизионистами. Но поскольку партия не вмешивалась в их насущные дела и не требовала от них чего-то такого, что было бы им сильно не по нраву, они не слишком по этому поводу переживали. Они взяли под свою защиту некоторых ревизионистов, а также некоторые из печатных органов. Они дали ясно понять, что партийная философия может быть разной, а дело есть дело. Но это и все, что они нашли нужным сказать.

Ревизионисты-теоретики, которым учение не было безразличным, и сочувствующие из числа несоциалистов (некоторые из них сами не прочь были бы вступить в социалистическую партию, если бы она не призывала к классовой борьбе и революции) придерживались, разумеется, иной точки зрения. Именно они заговорили о партийном кризисе и горестно покачивали головами в связи с вопросом о будущем партии. У них к тому были все основания. Ведь *их* собственное будущее в рядах партии или рядом с ней действительно было поставлено под угрозу. И действительно Бебель, который никогда не был теоретиком и не любил кабинетных либералов, не теряя времени пригрозил им, чтобы они держались подальше от его владений. Рядовых же членов партии вся эта возня в верхах мало беспокоила. Они шли за своими вождями и повторяли их лозунги, и так продолжалось до тех пор, пока все они не встали под ружье, чтобы защитить свою страну, нисколько не беспокоясь о том, что по этому поводу сказал бы Маркс или Бебель.

На ряд интересных наблюдений наводит сравнение рассмотренных выше событий с тем, что происходило в Австрии[26] , где было много похожего, но были и свои отличия. Как и следовало ожидать, исходя из существенно более медленного развития капитализма в этой стране, социалистической партии Австрии потребовалось на двадцать лет больше времени, чтобы превратиться в важный фактор на политической арене. Медленно набирая силу от первых крошечных ростков, не

---

* Фольмар (Vollmar) Георг (1850—1922) — один из лидеров реформистского крыла германской социал-демократии. Призывал к союзу с либералами.

[26] Под Австрией я здесь подразумеваю западную часть Австро-Венгерской монархии, которая с 1866 г. имела свой парламент и правительство (правда, в этом правительстве не было военного ведомства и министерства иностранных дел), отношения которых с парламентом и правительством восточной части Венгрии, или, говоря официальным языком, «земель Священной короны св. Стефана», строились на основе равноправия.

отличавшихся особой респектабельностью, она наконец была учреждена как партия в 1888 г. (Хайнфельдский съезд) под руководством Виктора Адлера, которому удалось решить почти безнадежную задачу — объединить социалистов всех национальностей, населявших страну, в единую партию — и который с непревзойденным мастерством руководил этой партией в течение следующих тридцати лет.

Официально эта партия также считалась марксистской. Небольшой кружок талантливых евреев, которые составили ее интеллектуальное ядро[27], так называемые «неомарксисты», внесли даже, как мы видели в первой части, заметный вклад в развитие марксистской доктрины. Они твердо шли по пути, указанному Марксом, и хотя где-то им приходилось этот путь подправлять, они ожесточенно и умело сражались со всеми другими, кто пытался это делать, и всегда хранили верность революционной идеологии в ее самой бескомпромиссной форме. Отношения с германской партией у них были самые тесные и теплые. В то же время всем было хорошо известно, что Адлер никакого баловства не допустит. В силу разных причин культурного и национального свойства он пользовался в своей партии гораздо большим авторитетом среди сторонников крайних взглядов, чем Бебель в своей. Он мог позволить им собираться в своих любимых кафе и исповедовать любой марксизм, какой им вздумается, и использовать их в своих целях, когда считал нужным, не позволяя им при этом вмешиваться в те вопросы, которые имели для него первостепенное значение, а именно — в вопросы партийной организации и партийной тыпечати, всеобщего избирательного права, введения прогрессивных законов и (не удивляйтесь!) эффективного функционирования государственной власти. Такое сочетание марксистской теории и реформистской практики прекрасно всех устраивало. Австрийские правительства вскоре обнаружили, что в лице социалистической партии они имеют союзника, по своей важности не уступающего ни церкви, ни армии, союзника, который исходя из своих собственных интересов, несомненно, будет поддерживать центральную власть в ее беспрестанной борьбе с обструкционистскими национальными оппозициями, особенно немецкой и чешской. Эти правительства — в основном они состояли из чиновников, как в Германии, хотя со стороны короны беспрерывно делались попытки ввести в них политиков, хотя бы на правах министров без портфелей, — стали тогда всячески выказывать партии свою благосклонность, и партия отвечала им полной

[27] Время от времени среди них появлялся и Троцкий, в то время носивший еще фамилию Бронштейн, который, похоже, испытал влияние австрийских социалистов.

взаимностью[28]. А когда одно из этих правительств (кабинет государственных чиновников, возглавляемый бароном Гаучем) поставило вопрос о всеобщем избирательном праве, Адлер, не встретив со стороны своих последователей ни малейшего сопротивления, смог публично объявить, что на данный момент социалисты являются «правительственной партией», хотя им никто не предлагал занять государственную должность, а если бы и предложили, то для них это было бы неприемлемым[29].

6. Второй Интернационал

Тот пункт программы марксистских партий, в котором шла речь об их интернациональных связях, призывал к созданию международной организации наподобие уже не существовавшего тогда Первого интернационала. Никакие другие социалистические и лейбористские группы не могли с точки зрения марксистского учения считаться интернациональными. Однако отчасти из-за доставшегося им по наследству буржуазного радикализма, отчасти из-за нелюбви к правительствам, составленным в основном из представителей привилегированных классов, социалисты всех стран приобрели, пусть не в одинаковой степени, интернационалистские и пацифистские взгляды, поэтому мысль о международной кооперации была для них естественной. Воплощением такого соглашения стал учрежденный в 1889 г. Второй Интернационал, который хотя и пытался примирить непримиримое, просуществовал вплоть до 1914 г. Я ограничусь лишь несколькими замечаниями по этому поводу.

Существовало бюро Интернационала, проходили съезды с прениями по важнейшим вопросам теории и тактики, но если судить по конкретным результатам, то значение Второго Интернационала вполне можно приравнять нулю. Именно так его и оценивали революционные активисты и лейбористы. Однако если уж на то пошло, то организация эта и не предназначалась для каких-либо конкретных действий;

---

[28] Прием, к которому неоднократно прибегали социалисты, чтобы помочь правительству, заключался в следующем. Когда обструкционистам из числа националистов случалось парализовать парламент и все дела заходили в тупик, социалисты делали «срочный» запрос об обсуждении бюджета. Дело в том, что срочный запрос, должным образом поданный, практически означал, что мера, объявленная в нем «срочной», будет принята к обсуждению, поскольку для этого нужно было только набрать большинство (а в случае бюджета большинство набиралось всегда), независимо от тех формальных правил парламентской процедуры, выполнение которых обструкционисты делали невозможным.

[29] Как я полагаю, главное препятствие здесь заключалось в непреклонной позиции германской партии по этому вопросу. Щепетильность самих австрийских социалистов была на втором месте. Нелюбовь австрийской бюрократии и престарелого императора, если они ее и испытывали, стояла лишь на третьем месте среди причин, помешавших социалистам осуществить этот шаг.

любые действия, будь то революционные или реформистские, в то время были возможны только на страновом, но никак не на международном уровне. Задачей Второго Интернационала было установить связь между входившими в него партиями и группами, выработать единые взгляды, согласовать планы действий, одернуть безответственных и поторопить медлительных, создать, насколько это возможно, международное социалистическое общественное мнение. Все это с социалистических позиций было исключительно важно и нужно, хотя по самой природе вещей положительных результатов пришлось бы ждать целые десятилетия.

Соответственно члены бюро во главе с секретарем вовсе не были руководящим советом международного социализма. Им не нужно было ни формировать политику, ни спускать программы, как это было в случае с Первым Интернационалом. Социалистические партии и лейбористские группы отдельных стран сохраняли полную независимость и право вступления в любые другие международные организации, отвечавшие их конкретным интересам. Участие профсоюзов — а также кооперативов и просветительских организаций — не только не возбранялось, но даже всячески приветствовалось, хотя ведущей роли они не играли. Что же касается национальных социалистических партий, то при всей их независимости членство во Втором Интернационале сплачивало их вокруг общей платформы, хотя платформа эта была настолько широка, что на ней свободно уживались Стаунинг и Брантинг*, с одной стороны, и Ленин и Гед — с другой. Среди членов этой международной организации наверняка были такие, которые презирали других за их трусливую осторожность, а те в свою очередь осуждали первых за их опрометчивость и радикализм. Иногда дело доходило чуть ли не до открытой потасовки. В целом, однако, и те и другие прошли в его стенах неплохую школу социалистической тыдипломатии. Поскольку подобный *modus vivendi* [способ существования — *лат.*], когда у единомышленников есть простор для разногласий, был единственно возможным, это уже само по себе было большим достижением.

Как ни странно, добиться этого удалось в первую очередь благодаря усилиям немецких социалистов при поддержке русских, а также гедистов. Именно немецкие социалисты были великой Марксистской партией с большой буквы и именно они облекли общую платформу в марксистские одежды. Впрочем, они отдавали себе ясный отчет в том,

---

* Стаунинг Торвальд (1873—1942) — председатель датской социал-демократической партии в 1910—1942 гг.

Брантинг Карл-Яльмар (1860—1925) — один из основателей шведской социал-демократической партии.

что большинство представителей социалистических сил других стран марксистами не были. Для них все дело сводилось к тому, чтобы поставить свою подпись под тридцатью девятью пунктами общей декларации, сохраняя за собой полную свободу их толкования. Естественно, что это неприятно поразило наиболее ревностных из правоверных марксистов, которые заговорили о том, что вера приходит в упадок, что она сводится к вопросу о форме, за которой не стоит никакого содержания. Руководители немецких социалистов с этим, однако, мирились. Они терпеливо выслушивали даже откровенную ересь, на которую бы яростно обрушились у себя дома. Бебель точно знал, что он может себе позволить, а что — нет, и что его терпеливость, которая, кстати говоря, была тут же оплачена уступками с английской стороны, в конце концов себя оправдает, да так оно наверняка и произошло бы, если бы не война. И потому он маневрировал, стараясь укрепить пролетарский фронт, надеясь со временем вдохнуть в него новые жизненные силы, проявляя при этом такие выдающиеся способности идти на компромисс, что, обладай ими германская дипломатия, Первой мировой войны, возможно, удалось бы избежать.

Некоторых результатов все же удалось достичь. Довольно неконкретные прения, шедшие все первое десятилетие, сосредоточились наконец на внешней политике, и начали было уже вырисовываться контуры общей позиции. Это был бег наперегонки со временем. Время опередить не удалось. Сегодня всякий летописец, обращающийся к этой эпохе, чувствует себя вправе осудить Второй Интернационал за неудачу международного социалистического движения накануне военной катастрофы. Однако такая оценка представляется весьма поверхностной. Внеочередной съезд в Базеле (1912 г.) с его призывом к рабочим всех стран напрячь все силы, чтобы сохранить мир, — это было, несомненно, все, что можно было сделать в тех условиях. Призыв ко всеобщей забастовке, обращенный к международному пролетариату, который существовал только в воображении горстки интеллигентов, был бы не более, а скорее всего менее действенной мерой. Достичь возможного — это успех, а не поражение, каким бы несоразмерным обстоятельствам этот успех в конце концов ни оказался. Если уж говорить о поражении, то его потерпел не Второй Интернационал, а национальные социалистические партии на внутренних фронтах своих стран.

Глава XXVII
ОТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДО ВТОРОЙ

1. «Gran rifiuto» (Большая измена)

Будучи членами единой международной организации, социалистические партии сделали все, что было в их силах, чтобы избежать войны. Когда же, несмотря на их усилия, она все же началась, они бросились защищать свои национальные интересы с поистине удивительной готовностью. Германские марксисты колебались даже меньше английских лейбористов[1]. Конечно, нужно иметь в виду, что все участвующие в войне страны были твердо убеждены, что они ведут чисто оборонительную войну — ведь любая война в глазах участвующих в ней наций является оборонительной или, по крайней мере, «превентивной»[2]. И все же, если мы вспомним о том, что социалистические партии обладали несомненным конституционным правом голосовать против военных бюджетов и что общие принципы буржуазно-демократической морали никого не принуждают идентифицировать себя с национальной политикой, — войну во всех воюющих странах осуждали даже далекие от социалистического антимилитаризма люди — мы сталкиваемся здесь с проблемой, которую невозможно решить сомнительными ссылками на Маркса или на прежние высказывания Бебеля и фон Фольмара о том, что в случае нападения неприятеля они встанут на защиту своей страны. Нетрудно вспомнить, что на самом деле говорит учение Маркса по этому вопросу. К тому же под защитой страны подразумевается лишь выполнение своего воинского долга; это вовсе не предполагает, что нужно голосовать вместе с правительством за вступления в священные союзы[3]. Гед и Земба во Франции и Вандервельдс* в Бельгии, вошедшие в состав военных министерств, а также немецкие социалисты, которые голосовали за военные бюджеты, совершили, таким образом, нечто большее, чем

---

[1] Английские лейбористы были на самом деле единственной партией, которая в 1914 г. всерьез пыталась отстоять мир, хотя позже и она вступила в военную коалицию.

[2] Именно поэтому попытка держав-победительниц вынести моральный вердикт войне посредством включения соответствующей статьи в продиктованный ими мирный договор была не только несправедливой, но и бессмысленной.

[3] Отказ от поддержки правительства вовсе не обязательно нанес бы ущерб национальным интересам. Во всяком случае, отставка лорда Морли (Морли Джон, виконт (1838—1923) английский государственный деятель и литератор) не причинила Англии никакого урона.

* Вандервельде Эмиль, 1866—1938 — бельгийский социалист, реформист, руководитель Бельгийской рабочей партии, председатель Международного бюро Второго Интернационала.

требовала от них простая лояльность к своей стране, как ее тогда понимали[4].

Загадку эту можно решить лишь единственным способом. Независимо от того, верило большинство социалистов-политиков в марксистский интернационализм или нет, — возможно, к этому времени вера в силу интернационализма уже разделила судьбу другой, близкой ей веры — веры во всепобеждающую революцию — они не могли не понимать, что любая попытка сохранить верность священному писанию будет стоить им потери последователей. Вначале массы взглянули бы на них удивленно, а затем отреклись бы от всякого с ними союза, фактически опровергая положение Марксова учения о том, что у пролетариата нет родины и что единственная война, которая его интересует, — это война классов. В этом смысле и с поправкой на то, что, если бы не война, процесс эволюции в буржуазных рамках длился бы дольше и все могло быть по-другому, мы можем говорить о том, что в августе 1914 г. рухнул один из важнейших столпов Марксова учения[5].

Это почувствовали все, даже в консервативном лагере: например, немецкие консерваторы вдруг ни с того ни с сего начали обращаться с социалистической партией с исключительной учтивостью. Ощущалось это и в той части социалистического лагеря, которая еще сохраняла верность старым идеалам. Даже в Англии Макдональд* потерял свой пост руководителя Лейбористской партии, а затем и место в парламенте из-за того, что не мог согласиться со вступлением Англии в военную коалицию. В Германии Каутский и Гаазе** оставили большинство и в марте 1916 г. основали Независимую Социал-демократическую партию Германии, хотя большинство активных ее членов в 1919 г. вернулись под прежний кров[6]. Ленин объявил, что Второй Интернационал умер, а дело социализма — предано.

Доля правды в этом была. Как показывает опыт большинства марксистских партий, социализм не выдержал проверки на прочность.

---

[4] Сегодня многие из нас отнеслись бы к этому иначе. Однако это просто говорит о том, насколько далеко мы отошли от старых канонов либеральной демократии. Возведение национального единства в ранг морального долга есть один из важнейших принципов фашизма.

[5] Определенную роль в этом сыграли также успехи несоциалистических реформ.

* Макдональд (MacDonald) Джеймс Рамсей, 1866—1937 — один из основателей и лидеров Лейбористской партии Великобритании, в 1924 г. — премьер-министр.

** Гаазе (Haase) Гуго, 1863—1919, один из председателей Соц.-дем. партии в 1911—1917 гг.

[6] Следует отметить, что в ряды Независимой партии становились не только одни несгибаемые марксисты, как Каутский и Гаазе. Например, членами этой партии были Бернштейн и ряд других ревизионистов, которых трудно заподозрить в том, что они вступили в нее из уважения к марксистскому вероучению. На самом деле удивляться тут нечему. Ортодоксальный марксизм был, разумеется, далеко не единственным поводом для разногласий между партийным большинством и отдельными инакомыслящими социалистами. Упомянутые выше ревизионисты просто разделяли взгляды Рамсея Макдональда.

Оказавшись на перепутье, он не пошел по пути марксизма. Символы веры, лозунги, конечные цели, организации, аппарат и вожди — все это осталось прежним. На следующее утро после gran rifiuto они были те же, что и накануне, но тем явственней была видна подмена смысла их борьбы и призывов. После этого experimentum crucis [решающего опыта — *лат.*] ни социалисты, ни антисоциалисты не могли уже смотреть на эти партии прежними глазами. Но и сами эти партии не могли продолжать угощать публику затасканными репризами. На горе ли, на радость ли, они спустились из своей башни из слоновой кости на грешную землю. Они на деле показали, что судьба собственных стран для них дороже, чем социалистическая цель.

Иное дело те из них, которые как социал-демократические партии Скандинавских стран, никогда и не пытались прятаться в башнях из слоновой кости. Но те критики, которые никогда не воспринимали революционное заигрывание прочих социалистических партий всерьез, не могли не заметить изменений в их поведении. Что же касается немецкой партии, то, пожалуй, правильнее будет сказать, что «социал-предатели», как их тогда называли, просто спустились с заоблачных высей на землю и что национальное бедствие заставило их встать с головы на ноги — и это, и думаю, что многие со мной согласятся, никакое не предательство, а наоборот — большая их заслуга. Но на какую бы точку зрения мы ни встали, не может быть ни малейшего сомнения в том, что новое понимание ответственности резко сократило дистанцию, отделявшую социалистов от естественной цели всякой партии — от власти, хотя еще в 1914 г. эта дистанция казалась почти непреодолимой. Этим я вовсе не хочу сказать, что немецкие социалисты действовали по холодному расчету или что они кривили душой, когда отказывались войти в состав буржуазного правительства. Но совершенно очевидно, что именно благодаря позиции, на которой они стояли в начале войны, к концу войны они, если можно так выразиться, «неплохо устроились». В отличие от других партий они не скомпрометировали себя поспешным соглашательством, но они и не оставили свой народ в минуту опасности.

2. Влияние Первой мировой войны на социалистические партии европейских стран

1. Всякая крупная война, завершающаяся поражением, сотрясает общественную структуру и угрожает положению правящей верхушки; потерю престижа вследствие военного поражения весьма трудно пережить любому режиму. Я не знаю исключений из этого правила. Однако обратное утверждение не столь очевидно. Успех должен быть быстрым, эффектным и четко ассоциироваться с действиями правящей верхушки — именно такой была, например, победа Германии в

1870 г., иначе экономическое, физическое и моральное истощение может даже в случае победы привести, в сущности, к тем же последствиям в расстановке классов, групп и партий, которые обычно сопутствуют поражениям.

Это ясно видно на примере Первой мировой войны. Со стороны Соединенных Штатов военные действия длились недолго и не успели сколько-нибудь заметно истощить силы этой страны. Тем не менее администрация, ответственная за войну, потерпела сокрушительное поражение на выборах. Да и во всех других странах-победительницах престиж правящей верхушки и ее контроль над ситуацией в стране отнюдь не увеличились, а, наоборот, уменьшились. Для германской и английской социалистических партий это означало приход к власти или, во всяком случае, вхождение в состав правительства. В Германии, например, на партию был возложен контроль за всеми центральными государственными органами, и хотя, чтобы спасти честь доктрины, некоторые немецкие социалисты, так же как и некоторые немецкие антисоциалисты, настойчиво называли это революцией, партия сформировала правительство по просьбе властей, причем просьба была достаточно робкой. В Англии за Лейбористскую партию, которая в январе 1910 г. сумела набрать лишь немногим более полмиллиона голосов, а в 1918 г. — неполные два с четвертью миллиона[7], было отдано 4 236 733 голоса в 1922 г. и 5 487 620 голосов в 1924 г. (8 362 594 в 1929 г.). Макдональд вновь возглавил партию, и в 1924 г. она стала если и не правящей, то по крайней мере правительственной. Во Франции структура политической сферы не позволила социалистам добиться таких выдающихся достижений, но в общих чертах события развивались по сходному сценарию и здесь: сразу же после войны наступило возрождение синдикализма, однако Всеобщая конфедерация труда (Confédération Générale du Travail), выйдя из состава Синдикалистской всеобщей конфедерации труда (Confédération Général du Travail Syndicaliste) и коммунистической Единой Всеобщей конфедерации труда (Confédération Général du Travail Unitaire) и приняв в свои ряды всех тех, кого по различным причинам не устраивало членство в названных двух организациях, осудила революционный путь и стала исподволь готовиться к ведущей политической роли.

К тому же социалистические и околосоциалистические партии, которые приняли выпавшую на их долю ответственность, наверняка понимали, что они были почти монопольными обладателями многих качеств, которые требовались для успеха их начинания. С кипевшими негодованием народными массами они умели обращаться так, как никто другой. Как показывает пример Германии, их положение позво-

[7] Рост голосов за период с 1910 по 1918 г. объясняется исключительно предоставлением избирательных прав женщинам и упрощением процедуры регистрации избирателей.

ляло им даже гасить революционные вспышки, при необходимости применяя и силу. Во всяком случае, это были именно те люди, которые могли, с одной стороны, назначить обществу правильную дозу социальных реформ, а с другой — заставить массы их принять. Важнее всего было то, что со своих позиций они имели все основания считать, что именно они были призваны залечить раны, нанесенные обществу «империалистической войной», восстановить международные отношения и расчистить всю ту грязь, в которую не по их вине, а по вине буржуазных правительств погрузился мир. При этом они совершали точно такую же ошибку, которую с иных позиций совершали их буржуазные соперники, которые верили в коллективную безопасность, Лигу наций, восстановление золотовалютного стандарта и снятие торговых барьеров. Но в рамках своей ложной посылки социалисты по праву надеялись на успех, особенно в области внешней политики.

2. Достижения двух правительств Макдональда — работа самого Макдональда и Гендерсона* в качестве министра иностранных дел Англии — служат тому убедительным доказательством. Но еще более характерен пример Германии. Во-первых, в этой стране только социал-демократы имели моральное право признать мирный договор и поддержать политику, направленную на выполнение предусмотренных в нем условий. Конечно, они скорбели по поводу национальной катастрофы и того бремени, которое она наложила на страну. Однако при их отношении к военной славе ни само по себе поражение, ни условия мирного договора не воспринимались ими как невыносимо унизительные. Некоторые из них почти готовы были разделить англо-французскую трактовку войны. Большинство из них мало беспокоили вопросы перевооружения. Пока остальные немцы смотрели на все происходящее с угрюмым отвращением, социалисты трудились над достижением мирного взаимопонимания со странами-победительницами в духе, совершенно свободном если не от обиды, то уж, во всяком случае, от страстной ненависти. В отношении того, что другие считали насильственно введенной демократией, они даже достигли полного согласия с западными странами: ликвидировав коммунистические (1918—1919) восстания и, добившись благодаря точно выверенным уступкам доминирующего положения во внутренней политике, социалисты находились в самом демократичном расположении духа.

Во-вторых, их власть над массами была достаточно сильной, чтобы придать такой платформе политическую эффективность. В то время огромное большинство населения видело все в том же свете, что и социалисты. Их взгляды на сложившуюся ситуацию и представления о том, как следует поступать, на какое-то время стали официальной точкой зрения, независимо от того, какую политику проводило прави-

* Гендерсон Артур (1863—1933) — один из лидеров Лейбористской партии.

тельство, стоявшее у власти. Именно социалисты обеспечили политическую поддержку коалициям, которые вели переговоры по поводу плана Дауэса* и Локарнского пакта**. Без них эти коалиции скорее всего просто не возникли бы, а если бы и возникли, то не заняли бы такую позицию. Штреземан*** социалистом не был, однако связанная с его именем политика была на самом деле политикой Социал-демократической партии — политикой, за которую в течение первого десятилетия партии достанутся все розы, а в течение второго — все шипы.

В-третьих, социал-демократы занимали выгодное положение в глазах мирового политического сообщества. Мир мало знал о том, что происходит в Германии. Он знал только две вещи: с одной стороны, что в Германии есть партия, которая не только была готова окончательно признать многие из послевоенных договоренностей, но и вполне одобряла некоторые из них; партия, которая была врагом того, кого Франция и Англия считали *своим* врагом; с другой стороны, мир понимал, что во всех иных отношениях германская Социал-демократическая партия угрозы не представляла — любое, даже самое консервативное правительство не возражало против германского социализма так, как оно возражало против русского. В конечном счете именно это и оказалось ошибкой. Ошибка эта во многом была связана с растянутым на долгие годы иностранным участием в лечении военных болячек Германии, поскольку в результате такой политики в соответствующих министерствах Англии и Франции сложилось впечатление, что Германия на неопределенно долгое время останется смиренным просителем, которому для полного счастья будет довольно одних только обещаний, что когда-нибудь ему, возможно, позволят занять равное положение с вышестоящими державами. В краткосрочном аспекте, однако, и особенно во время черных дней рурского вторжения****, такая позиция имела свои преимущества, поскольку социалистическая партия, вернее, те правительства, которые опирались на партийную поддержку, были вхожи в те двери, которые были закрыты для других.

---

* Репарационный план для Германии, разработанный международным комитетом экспертов под руководством американского банкира Чарлза Дауэса и утвержденный 16 августа 1924 г. на Лондонской конференции держав-победительниц в Первой мировой войне.

** Локарнские договоры парафированы 16 октября 1925 г. в г. Локарно (Швейцария) после обсуждения на Локарнской конференции (5—16 октября 1925 г.). Основной документ — заключенный Германией, Францией, Бельгией, Великобританией и Италией гарантийный пакт о неприкосновенности германо-французской и германо-бельгийской границ и сохранении демилитаризации Рейнской зоны.

*** Штреземан (Stresemann) Густав (1878—1929) — германский рейхсканцлер (август—ноябрь 1923 г.) и министр иностранных дел (с августа 1923 г.).

**** Оккупация французскими и бельгийскими войсками Рурской области в 1923 г. в ответ на задержки репараций со стороны Германии.

В-четвертых, Социал-демократическая партия сохранила старые связи еще со времен Второго Интернационала. Война разрушила многие из этих связей, но далеко не все. Ведь Второй Интернационал так и не был официально распущен, и многие входившие в него социалисты и социалистические группы — в первую, но далеко не в последнюю очередь социалисты нейтральных стран — сохранили свои интернационалистские убеждения. Секретарь Второго Интернационала К. Хойсманс продолжал выполнять свои обязанности, а в 1917 г. с подачи скандинавских социалистов даже сделал попытку созвать съезд, которая провалилась только потому, что союзные державы, к тому времени решившие уже нанести противнику сокрушительный удар, отказались выдавать паспорта[8]. Таким образом, естественно предположить, что многие социалисты подумывали о возрождении Интернационала как о чем-то само собой разумеющемся.

3. Возродить Второй Интернационал удалось, но не обошлось без трудностей. Первые конференции, которые проводились с этой целью в 1919 и 1920 гг., нельзя назвать особенно успешными. Возникший тем временем Коммунистический (Третий) Интернационал (см. ниже) снискал определенную популярность, которая оказалась серьезным препятствием на пути к единству лейбористских и социалистических партий всех стран. К тому же ряд важных группировок, которые не имели желания связывать свою судьбу с коммунистами, предпочитали иметь дело с чем-то более современным, чем Второй Интернационал. Выход из этой ситуации был найден с помощью хитрого тактического приема. По инициативе австрийских социалистов и при поддержке германской Независимой партии и английской Независимой лейбористской партии была создана новая организация — Международный союз социалистических рабочих партий (так называемый Венский Интернационал), который ставил своей целью радикализировать группы, входящие в возрожденный Второй Интернационал, обуздать группы, которые слишком сильно тяготели к коммунизму, и поставить и те и другие на единую платформу, разумным образом сформулировав общие цели[9].

Смысл всей этой затеи очень точно передан кличкой, которую тут же придумали коммунисты — «Второй с половиной Интернационал»,

---

[8] А до этого были еще две конференции в Швейцарии — одна в Циммервальде (1915), другая — в Кинтале (1916), причем их ход, как мне представляется, пошел вразрез с первоначальными намерениями, и объяснялось это тем, что состав их участников не отражал расстановки сил в официальных партиях. (Ниже я еще раз коснусь этого вопроса.)

[9] Некоторые из этих высказываний сделали бы честь любому дипломату XVIII в. Наибольшим камнем преткновения была классовая борьба. Партии стран континентальной Европы не могли обойтись без нее, а то время как английская не могла ее выносить. После достижения соглашения на гамбургском конгрессе термины Klassenkampf и lutte des classes были оставлены в немецком и французском текстах, в то время как в английском тексте был употреблен более расплывчатый оборот.

однако в этом своем качестве он вполне отвечал запросам времени. На Гамбургском съезде (1923 г.) оба Интернационала — Второй и Венский — объединились, образовав Социалистический рабочий интернационал, который заклеймил мирный договор как «империалистический» и призвал к созданию единого фронта против международной реакции (во всяком случае, звучало это неплохо), за восьмичасовой рабочий день и международное социальное законодательство. Требования сократить репарации Германии до определенных и разумных пределов, аннулировать межсоюзнические долги и эвакуировать союзнические силы с немецкой территории были выдвинуты еще годом раньше (Франкфуртские резолюции, 1922 г.). В свете последующих событий нельзя не оценить, насколько большим достижением это было.

3. Коммунизм и русский элемент

1. Тем временем происходил быстрый рост коммунистических партий. В этом не было ничего особенного — само по себе это явление было вполне закономерным. Не было оно и опасным. Всякая партия, испытавшая на себе отрезвляющее влияние ответственности, неизбежно должна рано или поздно подвинуться и освободить место для развития групп, стоящих от нее слева (или справа), и место это вряд ли будет долго пустовать. Если дезертирство удается сдерживать в разумных пределах, иметь такого соседа под боком не очень обременительно — в ряде случаев это даже лучше, чем пытаться удержать в своем строю непокорных. У социалистических партий всегда были трудности с ультрарадикальными крыльями[10]. То, что подобные «левацкие» группировки в смутные дни, которые наступили после окончания войны, сумели встать на ноги и не упустили возможности получить статус самостоятельных партий, вовсе не удивительно, как и то, что они прибегли к классической терминологии и назвали себя коммунистами, а их уклон в сторону интернационализма в то время был куда сильнее, чем у официальных партий.

Следует иметь в виду, что русский элемент здесь совершенно ни при чем. Даже если бы в России по сей день правили цари, в мире все равно были бы и коммунистические партии, и Коммунистический Интернационал. Но поскольку русский элемент превратился в фактор,

[10] Раскол в Англии и Германии по вопросу о войне — это, конечно, особый случай, который имел лишь временное значение. Даже «Союзу Спартака», основанному в Германии Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, хотя в своей оппозиции войне он зашел куда дальше, чем одобряла Независимая партия, потребовалось известное время, чтобы выработать в своих рядах четкое негативное отношение, но и тогда наибольшее, на что он отважился (по крайней мере официально), — это настаивать на букве старой Эрфуртской программы. Насколько мне известно, ни Либкнехт, ни г-жа Люксембург никогда до конца не порывали своих связей с партией. Последняя, кстати говоря, была одним из самых непреклонных критиков большевистской политики.

определявший будущие пути развития как социализма, так и коммунизма во всем мире, — скажем больше, определивший социальную и политическую историю современности, — уместно будет напомнить, как он развивался, дать оценку его природе и роли. С этой целью мы разделим историческое развитие в России на три этапа.

2. Сначала — иначе говоря, до того, как большевики захватили власть в 1917 г., — в развитии коммунистических групп ничего специфически русского не было, за тем исключением, что самой сильной личностью в этом движении оказался русский, в манере мыслить которого угадывалась примесь монгольского деспотизма. Когда с началом войны Второй Интернационал фактически прервал свою работу и Ленин объявил о его смерти и о том, что настал час более решительных действий, те, кто разделял его точку зрения, естественно, решили объединиться. Такая возможность представилась на двух съездах, проходивших в Швейцарии, — Циммервальдском (1915) и Кинтальском (1916). Поскольку практически все, кто встал на защиту национальных интересов своих стран, на эти съезды не явились, боевитым сторонникам Ленина не составило особого труда более или менее сплотить всех присутствовавших вокруг ленинской программы перерастания империалистической войны в мировую революцию. В этом было нечто большее, чем просто попытка вернуться к вере в первозданный марксизм и его мессианские обещания. Здесь сказалось (по крайней мере у некоторых) отчетливое понимание истины, по отношению к которой буржуазия всех стран проявляла полную слепоту, а именно того, что ткань буржуазного общества не сможет выдержать напряжения и ударов затяжной «тотальной» войны и что по крайней мере в некоторых странах ее распад неминуем. Во всех остальных отношениях лидерство Ленина признано не было. Большинство присутствовавших были заинтересованы в том, чтобы убедить, припугнуть и использовать социалистические партии в своих интересах, а вовсе не в том, чтобы их разрушить. К тому же — и с этим Ленин был согласен — международная революция должна быть подготовлена революционными действиями отдельных национальных отрядов пролетариата, в первую очередь в «передовых» странах.

Второй этап я датирую с 1917 по 1929 г., иначе говоря, с момента прихода большевиков к власти в России и до вывода Троцкого из состава Центрального комитета партии большевиков (октябрь 1927 г.). Десятилетие это было свидетелем возникновения коммунистических партий и Коммунистического (Третьего) Интернационала. Оно было также свидетелем решительного (до поры до времени) разрыва с социалистическими и рабочими партиями, который в Германии принял необратимый характер вследствие жестоких репрессивных мер, принятых стоявшими у власти социал-демократами зимой 1918/19 г. Нако-

нец, в это десятилетие начала коваться русская цепь — мировое коммунистическое движение.

Но первые десять лет эта цепь еще не саднила и не калечила. Не следует забывать о том, что захват большевиками власти в самой отсталой из великих держав произошел по чистой случайности[11]. Да Ленин и сам отчасти это понимал. Он много раз повторял, что окончательная победа возможна лишь в результате действий революционных сил в более передовых странах и что именно от этих действий все будет зависеть. Разумеется, как и прежде, он продолжал диктовать свою волю коммунистам и настоял на строго централизованной организации Коммунистического Интернационала, Бюро которого считало, в свою очередь, возможным предписывать отдельным партиям каждый их шаг, однако делал он это в качестве вождя коммунистов, а не в качестве российского деспота. В этом-то все дело. Штаб-квартира Коммунистического Интернационала находилась в Москве, лидер его был русским, однако руководство его действиями осуществлялось в духе подлинного интернационализма, без каких-либо ссылок на национальные интересы России и строилось на принципах, с которыми коммунисты всех стран по существу были согласны. Хотя связи личного характера между Бюро Интернационала и советским Политбюро[12] были в то время значительно теснее, чем это будет позже, на их работе это никак или почти никак не сказывалось, скорее можно сказать, что оба эти органа были совершенно независимы друг от друга. Таким образом, и сам Интернационал, и входившие в него партии вели себя в этой ситуации точно так же, как они вели бы себя, если бы никакой связи между ними и Россией не было.

Итак, на протяжении этого первого десятилетия роль связи коммунистического движения с Россией сводилась лишь к следующему. Во-первых, следует принять во внимание то весомое обстоятельство, что какой бы незначительной по количеству и качеству ни была коммунистическая партия той или иной страны и как бы мало ни было у нее оснований претендовать на то, чтобы ее воспринимали всерьез, она могла купаться в лучах славы другой партии, которая победила империю, и черпать в такой компании моральную поддержку. Во-вторых, несмотря на большевистские реалии — террор, нищету, косвен-

[11] За эту случайность большевикам следует, по-видимому, благодарить германский генштаб, по приказу которого Ленин был водворен в Россию. Если кому-то покажется, что я преувеличиваю его личный вклад в события 1917 г., можно сослаться на множество других подобных случайностей, показывающих, насколько причудливо шутила история на этом своем отрезке.

[12] Во времена Ленина все руководство страной осуществлялось Политбюро, руководимым самим Лениным, Реввоенсоветом, которым управлял Троцкий, и Чека, во главе которого тогда стоял Дзержинский. Ни один из этих трех органов даже не упоминался в Конституции Советского государства, согласно которой вся верховная власть в стране принадлежала Совету народных комиссаров. Возможно, их можно условно считать органами партии. Но ведь партия и была государством.

ное признание своего поражения, выразившееся в принятии новой экономической политики после Кронштадтского мятежа, — отныне можно было ссылаться на социалистическую систему, которая «работает». В искусстве пропаганды несуществующих достижений большевики показали себя большими мастерами, широко используя особенность общественного мнения Англии и Соединенных Штатов, которое готово заглотить все что угодно, лишь бы это преподносилось в обертке из привычных лозунгов. Подобная реклама социализма также, конечно, шла на пользу другим коммунистическим партиям. В-третьих, поскольку коммунисты всех стран (в том числе и Ленин) верили в близость мировой революции, русская армия значила для них столь же много, как армия царя Николая I для реакционных сил во второй четверти XIX в.[13]. В 1919 г. подобные надежды вовсе не были такими уж беспочвенными и невыполнимыми, какими они нам представляются сегодня. Действительно, реально коммунистические республики установились только в Баварии и Венгрии[14]. Но социальные структуры Германии, Австрии и Италии еле держались и грозили рухнуть в любой момент, и трудно сказать, что ждало бы эти страны, а возможно и их западных соседей, если бы военная машина Троцкого находилась в тот момент в работоспособном состоянии и не была бы занята на фронтах гражданской и политической войн[15]. Не следует забывать, что Коммунистический Интернационал возник в атмосфере надвигающейся битвы не на жизнь, а на смерть. Многое из того, что впоследствии приобрело иной смысл, — например, централизованное руководство, обладающее неограниченной властью над отдельными партиями и лишающее их всякой свободы действий, — могло поэтому казаться в то время вполне оправданным.

---

[13] Необходимо заметить, что коммунисты отказались от лозунгов антимилитаризма и военного невмешательства так же легко, как и от демократии.

[14] Очень показателен в этом отношении пример Венгрии (правительство Бела Куна). Паралич, охвативший правительство привилегированных классов, и безразличие крестьянства дали возможность горстке интеллигентов захватить власть, не встретив даже серьезного сопротивления. Это была странная компания — некоторые из ее членов проявляли несомненные признаки патологии (это, кстати, верно и для группы, пришедшей к власти в Баварии), — совершенно неадекватная ни этой, ни любой другой серьезной задаче. Однако эти люди обладали безграничной верой в себя и в правоту своего дела, были готовы применить террористические методы, и этого оказалось вполне достаточно. Им было позволено выйти на сцену, и они могли бы играть свой спектакль неопределенно долго, если бы союзники не разрешили (или не приказали) румынской армии их прогнать.

[15] Вряд ли поэтому есть основания утверждать, что, оказывая половинчатую поддержку различным попыткам совершить контрреволюцию в России, в частности, армиям Деникина и Врангеля, западные державы действовали глупо и безрезультатно. То ли благодаря своей проницательности, то ли благодаря счастливому случаю, но они добились именно того, чего только можно было в той ситуации желать: в критический момент они нейтрализовали советские силы и тем самым остановили наступление большевизма. Меньший результат поставил бы под удар их собственные социальные системы, больший — потребовал бы с их стороны весьма длительного, дорогостоящего и, вполне вероятно, бесполезного напряжения сил, а главные цели остались бы невыполненными.

Отсчет третьего этапа я начинаю с выдворения из страны Троцкого (1927), поскольку это — знаменательная веха на пути восхождения Сталина к неограниченной власти. После этого, по-видимому, все важные решения по вопросам политики принимались им единолично, хотя некоторое сопротивление со стороны членов Политбюро и других продолжалось еще вплоть до «суда» над Каменевым и Зиновьевым (1936) или даже до воцарения террора, связанного с именем Ежова (1937). Для нас здесь важно то, что с этих пор всякое решение было решением российского государственного деятеля, действовавшего от имени России и в ее государственных интересах в том виде, в каком эти интересы представлялись ему с позиций откровенного деспотизма. А это, в свою очередь, если я правильно понимаю, определяло его отношение и к Коминтерну (Коммунистическому Интернационалу) и к коммунистическим партиям других стран. Они превратились в орудия российской политики, заняв свое место в обширном арсенале других подобных орудий, и ценность их отныне определялась исключительно из практических соображений и применительно к конкретному моменту. Вплоть до нынешней войны, которая, возможно, ее оживит, мировая революция оставалась, скорее, некой абстрактной возможностью, так сказать, «замороженным активом». Отношение к оставшимся ветеранам, равно как и к неофитам идеи интернационального коммунизма, было, по всей вероятности, презрительным. Впрочем, в чем-то они еще могли быть полезными. Они могли петь осанну российскому режиму, служить булавками для мелких уколов враждебным правительствам. Они укрепляли позиции России в ее торге с другими странами. Поэтому имело смысл затратить определенное количество сил и средств на то, чтобы удержать их в своем подчинении, следить за каждым их шагом с помощью агентов тайной полиции, укомплектовать Бюро Коминтерна абсолютно послушными рабами, которые, дрожа и трепеща, готовы были выполнить любое приказание.

3. Во всем этом (в том числе и в сопутствующей лжи) Сталин следовал сложившейся практике тех времен. Большинство национальных правительств действовали точно так же, и изображать какое-то особое негодование в связи с его деятельностью было бы чистым лицемерием. Весьма показательны в этом отношении действия государств, поддерживавших то или иное религиозное учение. До тех пор, пока соответствующее вероучение было достаточно важным для оправдания их действий, эти государства нередко прибегали к услугам религиозных общин других стран, используя их в своих интересах. Но, как убедительно доказывает весь ход истории с 1793 по 1815 г., такая практика носит гораздо более общий характер, чем можно было бы заключить на основании подобных примеров. Не менее стандартна и реакция — фразеологическая и иная — тех государств, которых она

затрагивала: политики всех типов и категорий с радостью использовали любую возможность назвать оппонента предателем.

Но для коммунистических партий вне России речь шла о серьезнейшем вопросе — о подчинении приказам, исходившим от caput mortuum* в руках современного царя. Их холопская покорность поднимает два вопроса, один — о причинах такого их поведения, другой — о его возможном влиянии на будущий характер и судьбу революционного социализма.

Ответ на первый вопрос, по-видимому, не так сложен, как это может показаться. Для этого достаточно просто встать на место абстрактного коммуниста и, учитывая особенности его человеческого склада, взглянуть на ситуацию практически. Он не стал бы возражать против сталинского режима исходя из общечеловеческой морали. Не исключено, что он даже упивался резней — некоторым дегенеративным неврастеникам это нравится, а другие, которые подались в коммунисты из-за жизненных неудач и обид, испытывают удовлетворение при виде страданий определенной категории жертв. К тому же, с какой стати ему возмущаться жестокостями, которые не мешают даже махровым буржуа фетишизировать этот режим? С какой стати ему на этом основании осуждать большевизм, когда настоятель Кентерберийского собора этого не делает?[16] И правда, с какой стати?

Ссылки на термидорианский переворот также не давали коммунистам никаких оснований для протестов. Впервые этот аргумент был использован противниками новой экономической политики, но затем его использовал Троцкий, чтобы заклеймить сталинский режим как «реакционный» в том смысле, в каком «реакционными» были действия заговорщиков, свергших в 1794 г. Робеспьера. Но эти упреки совершенно не относились к делу. В конце концов, именно Сталин провел коллективизацию, ликвидировал кулаков, свернул нэп. Отлично разбираясь в вопросах тактики, он вначале подавил оппозицию, а потом, по существу, выполнил ее программу.

И наконец, то, каким образом власть защищает свои завоевания у себя дома, не так уж важно для коммуниста из другой страны, лишь бы по отношению к нему эта власть вела честную игру. А если она и не ведет с ним честную игру, что он может сделать? Цепь постепенно затягивалась и начинала саднить. Но она же и поддерживала. Социалисты бы его к себе не взяли. Нормальные здравомыслящие рабочие отворачивались от него с тяжелым вздохом. Он сделался бы изгоем

---

* мертвая голова (*лат.*)

[16] Чувства, выраженные упомянутым духовным лицом в его книге, невозможно оправдать на тех основаниях, что, дескать, принципы «русского эксперимента» — это одно, а то, как он проводился, — это другое. Самое ужасное в сталинском режиме заключается не в том, что он сделал с миллионами жертв, а в том, что *он должен был это сделать, если хотел выжить сам*. Иными словами, принципы и практика в данном случае неразделимы.

как Троцкий. Нет, ему никак нельзя было освободиться от этих цепей[17], но, смиряясь со своим рабством, он, должно быть, надеялся — возможно, надеется и до сих пор, — что когда-нибудь обстоятельства сложатся так, что он сможет потянуть эту цепь на себя... Например, после нынешней мировой войны...

Последнее обстоятельство приближает нас к ответу и на второй вопрос. Конечно, мы не можем исключать возможность, что русский деспотизм воцарится на руинах европейской цивилизации или даже перешагнет их пределы и что в этом случае коммунистические партии всех стран превратятся в русские гарнизоны. Но возможность эта далеко не единственная. Так, попытавшись выйти за свои государственные границы, русский режим может просто рухнуть или приобрести иные черты, более подходящие для национальной почвы других стран. В предельном случае русский фактор вообще *ничего* не изменит в будущем характере революционного социализма. Делать ставку на такой исход, конечно, рискованно. Но это не так глупо, как надеяться на то, что наша цивилизация выйдет из нынешнего пожара невредимой, — если только этот пожар не угаснет скорее, чем мы имеем основания полагать.

4. Управляемый капитализм?

1. Итак, до сих пор нам не удалось обнаружить причины, которые могли бы помешать полному успеху осуществляемых социалистическими партиями после 1918 г. попыток взять на себя политическую ответственность. Еще раз повторю: в некоторых странах, например в Швеции, социалисты просто продолжали укреплять ранее приобретенную ими власть; в других — власть перешла к ним естественным путем, ее не пришлось захватывать с помощью революционных действий; и во всех странах социалисты, казалось, подходили для решения великих проблем эпохи лучше любой другой партии. Как я уже говорил, они практически монополизировали все основные условия успе-

[17] Это, несомненно, особенно справедливо по отношению к коммунистической группе или группам Соединенных Штатов. Условия американской политической сферы не слишком благоприятствуют росту официальной коммунистической партии — несколько кружков местного масштаба, объединяющих истинных ценителей, на всю страну — это явно недостаточно для массового привлечения новобранцев. Но важность коммунистического фактора нельзя измерять численностью официальных членов партии. Интеллигентам, которые по убеждениям своим являются правоверными коммунистами или сочувствующими, нет никакого интереса в нее вступать. Наоборот, у них есть все основания держаться от нее подальше, поскольку они смогут гораздо лучше ей служить, если, не будучи членами, войдут в состав какого-нибудь комитета, влияющего на формирование общественного мнения, или получат какой-нибудь государственный пост и т. д., поскольку в этом случае они смогут совершенно искренне отрицать свою принадлежность к коммунистам в партийном смысле. Такие теневые группы неспособны на слаженные действия без указки из Москвы.

ха. К тому же, несмотря на отсутствие у них предыдущего опыта государственного управления, они имели богатейший и весьма полезный опыт по организации, ведению переговоров и управлению. Необходимо сразу же отметить, что они практически не совершили откровенных глупостей. Наконец, ни неизбежное появление новых партий слева от социалистов, ни связь этих партий с Москвой не представляли для них такой серьезной проблемы, как это пытались представить их оппоненты.

Но несмотря на все это, положение социалистов везде было весьма непрочным. Для истинных марксистов задачка эта должна была казаться неразрешимой. Дело в том, что за всеми тактическими преимуществами скрывалась одна фундаментальная трудность, устранить которую социалисты были не в силах. Война и вызванные ею сдвиги в политической структуре открыли социалистам министерские кабинеты, однако скрытый под лохмотьями старого платья социальный организм и, в частности, экономический процесс оставались теми же, что и прежде. Иначе говоря, социалисты должны были править в капиталистическом по своей сути мире.

Маркс говорил о захвате политической власти как о необходимой предпосылке уничтожения частной собственности, которое должно начаться немедленно. Здесь, однако, подразумевалось, как, впрочем, и во всех доводах Маркса, что возможность подобного захвата возникнет тогда, когда капитализм полностью себя исчерпает или, как мы уже говорили, когда для этого созреют объективные и субъективные условия. Крушение, которое он имел в виду, было крушением экономического двигателя капитализма, вызванным внутренними причинами[18]. Политическое крушение буржуазного мира должно было, согласно его теории, стать лишь отдельным эпизодом в этом процессе. Но вот политический крах или что-то очень на него похожее уже произошел и политическая возможность появилась, в то время как в экономическом процессе никаких признаков созревания не наблюдалось. Надстройка в своем развитии опередила двигающий ее вперед механизм. Ситуация, прямо скажем, была в высшей степени немарксистской.

Ученый в глуши своего кабинета может позволить себе поразмышлять о том, что могло бы быть, если бы социалистические партии, сознавая истинное положение вещей, отказались бы воспользоваться троянским конем государственной службы и остались бы в оппозиции, предоставив буржуазии самой разбирать руины, оставленные войной и послевоенным миром. Возможно, это было бы лучше и для

[18] Этим отчасти объясняется популярность в Соединенных Штатах различных теорий, ставящих своей целью показать, что капитализм действительно разрушается по внутренним причинам. См. гл. X.

них самих, и для дела социализма, и для мира в целом — как знать? Но у тех, кто к тому моменту уже научился отождествлять себя со своей страной и становиться на точку зрения государственных интересов, никакого выбора уже не было. Они стояли перед лицом проблемы, которая была неразрешима в принципе.

Доставшаяся им социальная и экономическая система могла двигаться только по капиталистическим рельсам. Социалисты могли ее контролировать, регулировать в интересах труда, сдавливать ее до такой степени, что она начинала терять свою эффективность, но ничего специфически социалистического они сделать не могли. Если они брались управлять этой системой, они должны были делать это в соответствии с ее собственной логикой. Им пришлось «управлять капитализмом». И они стали им управлять. Принимаемые меры они старательно обличали в убранство из социалистической фразеологии, через увеличительное стекло рассматривали и, надо сказать, не без некоторого успеха любые различия между своей политикой и той буржуазной альтернативой в каждом конкретном случае. Однако, по существу, они были вынуждены поступать точно так же, как поступали бы либералы или консерваторы, окажись они на их месте. Но, хотя путь этот был единственно возможным[19], для социалистических партий он был весьма и весьма опасным.

Нельзя сказать, что он был совершенно безнадежным или что его никак нельзя было обосновать с позиций социалистической веры. В начале 20-х годов европейские социалисты вполне могли рассчитывать на то, что, действуя осторожно, они сумеют при известной доле везения утвердиться в центре политической власти или где-то рядом, чтобы иметь возможность бороться с «реакцией» и поддерживать пролетариат до тех пор, пока не представится возможность социализировать общество без всякого насильственного переворота; они дежурили бы у постели умирающего буржуазного общества, внимательно следя за тем, чтобы процесс умирания шел как надо и чтобы больной не пошел вдруг на поправку. И если бы не присутствие других факторов, которые не укладывались в рамки социалистических или пролетарских представлений об обществе, эта надежда вполне могла бы осуществиться.

Обоснование этой политики с позиций «Священой доктрины» вполне могло строиться на выдвинутом выше предположении, а именно на том, что сложилась новая ситуация и у Маркса на этот счет никаких рекомендаций нет. Разве он мог предугадать, что загнанная в угол буржуазия будет искать защиты у социалистов? Можно было вы-

[19] Я не собираюсь обсуждать другую возможность, а именно, что могло бы быть, если бы социалисты попытались совершить фундаментальную перестройку всего общества по русскому образцу, поскольку мне представляется совершенно очевидным, что любая подобная попытка очень быстро завершилась бы хаосом и контрреволюцией.

двинуть и такой аргумент, что в сложившейся ситуации даже «управление капитализмом» являлось крупным шагом вперед. Ведь речь шла не о том, чтобы управлять капитализмом в интересах капитализма, а о том, чтобы честно трудиться на ниве социальных реформ и строить государство, главной задачей которого было бы служение интересам рабочих. Во всяком случае, ничего другого просто не оставалось, если идти по демократическому пути, а не идти по нему было нельзя, поскольку незрелость ситуации выражалась прежде всего в том, что никаких надежд на то, что социалистическую альтернативу поддержит большинство избирателей, не было. Неудивительно, что в этих условиях социалистические партии, решившиеся взять на себя управление государством, громко заявляли о своей преданности демократии.

Так что жажде социалистов добраться до власти при желании нетрудно было найти достойное теоретическое оправдание и доказать ее полное соответствие пролетарским интересам. Читатель может легко себе представить, какое впечатление должна была произвести такая счастливая гармония на радикальных критиков. Но поскольку последующие события побудили очень многих говорить о провале этой политики и читать нотации лидерам тех времен о том, как на самом деле им следовало поступить, я хотел бы обратить внимание именно на разумное начало в их взглядах, а также на непреодолимую силу обстоятельств, в которых им приходилось действовать. Если они и потерпели неудачу, то причины ее следует искать не в глупости или предательстве, а совершенно в другом. Чтобы убедиться в этом, достаточно даже беглого взгляда на опыт Англии и Германии.

2. Как только оргия национальных чувств, сопровождавшая окончание войны, утихла, в Англии возникла подлинно революционная ситуация, выразившаяся в волне политических забастовок. Ответственных социалистов и ответственных лейбористов эти события — а также угроза того, что они ввергнут страну в пучину реакции — настолько сблизили, что они согласились действовать сообща, по крайней мере в вопросах парламентского маневрирования. Львиная доля выгод от такого объединения досталась лейбористам, а среди лейбористов — бюрократии нескольких крупных профсоюзов, поэтому почти сразу возникла оппозиция из недовольной интеллигенции. Представители оппозиции осуждали лейбористский характер альянса и заявляли, что не видят в нем ничего социалистического. Идеологический оппортунизм лейбористов дает некоторые основания для такой точки зрения, однако, поскольку нас будут интересовать в первую очередь факты, а не лозунги, мы вполне можем уподобить все политические силы лейбористов, поскольку они приняли руководство Макдональда, Социал-демократической партии Германии.

С честью выйдя из революционной ситуации, партия продолжала укреплять свои позиции, пока наконец Макдональд не возглавил в

1924 г. кабинет министров. Он и его команда настолько хорошо смотрелись в этом качестве, что даже недовольные интеллигенты на время приутихли. Это правительство сумело сказать новое слово в отношениях с Россией. В вопросах внутренней политики сделать это было труднее, в основном потому, что фискальный радикализм уже был доведен до крайнего предела, какой только был возможен в тех обстоятельствах, консервативными правительствами, зависевшими от голосов рабочих избирателей. Но даже если в вопросах законодательства рабочее правительство не сумело существенно продвинуться по сравнению со своими предшественниками, оно все же доказало, что может управлять государственными делами. Блестящая работа Сноудена* в качестве министра финансов убедительно показала стране и всему миру, что люди труда тоже могут править. А это само по себе было большой заслугой перед делом социализма[20].

Разумеется, в немалой степени этому успеху способствовало — и исключало успех любой другой политики — то, что лейбористское правительство имело меньшинство в парламенте и потому вынуждено было полагаться не только на сотрудничество с либералами, с которыми у них было много общего, например общие взгляды на вопросы свободы торговли, но и на терпение консерваторов. Лейбористы находились в ситуации, очень близкой к той, в которой находились консерваторы во время своих недолгих пребываний у власти в 1850-х и 1860-х годах. Им было бы непросто проводить ответственную политику, даже если бы у них было большинство. Но, как мы уже говорили, самый факт, что они его не имели, даже марксистскому трибуналу должен был бы доказать, что для более решительных действий пора еще не настала, во всяком случае, не настала пора для проведения их демократическим путем.

Рядовые члены партии, однако, всего этого не понимали. Тем более массы не понимали того, что они обязаны Лейбористской партии не только тем, что она сама для них делает, но и тем, что для них делает ее консервативный соперник, стараясь привлечь на свою сторону рабочие голоса. Массам не хватало эффективных планов реконструкции и обещаний скорых благ, и они даже сами не понимали, насколько они были несправедливы, когда наивно вопрошали: «А что же социалисты не сделают что-нибудь для нас, раз уж они у власти?» Интеллигенты, которые не испытывали особого восторга от того, что их оттеснили на обочину, естественно, не могли не воспользоваться возможностью, которую предоставляли подобные настроения, и принялись поносить

---

* Сноуден (Snowden), 1864—1937 — министр финансов Великобритании в первом и втором лейбористских правительствах.

[20] Кроме того, если говорить о партийной тактике, это попортило гораздо больше крови консерваторам, чем любой упрямый радикализм.

пагубное влияние лейбористов на истинных социалистов и расписывать текущие трудности, да так, что они превращались в ужасающую несправедливость, порожденную грубейшими промахами тираничной профсоюзной бюрократии. В течение последующих лет находящаяся в оппозиции Независимая рабочая партия становилась под их влиянием все более непокорной, особенно после того, как Макдональд не откликнулся на ее призывы о проведении в жизнь более радикальной программы[21]. Таким образом, очень многим успех правительства казался его поражением, а ответственное отношение к делу — трусостью.

Впрочем, это было неизбежно. Трудности и опасности, присущие политике социалистических партий, взявших на себя государственную власть в условиях, когда предпосылки социализма еще не вызрели, еще более наглядно показывает опыт второго срока пребывания Макдональда на посту премьер-министра[22]. Историки научились по достоинству оценивать искусство управления государством, проявленное сэром Робертом Пилем. Уверен, что со временем они научатся по достоинству ценить и государственный гений Макдональда[23]. Ему исключительно не повезло в том смысле, что его приход пришелся на самое начало всемирной депрессии, которая к тому же стала непосред-

---

[21] Главными требованиями этой программы было обобществление банков и некоторых ключевых отраслей промышленности, поэтому никак нельзя сказать, что она была строго выдержана в духе ортодоксального социализма. Однако в сложившихся условиях она преподносилась как подлинно социалистическая, а программу Макдональда объявили »реформистской» — определение, которое в классическом понимании с одинаковым успехом применимо и к программе Независимой рабочей партии.

[22] Здесь уместно будет напомнить читателю историю Всеобщей стачки 1926 г. Хотя обе партии были заинтересованы в том, чтобы попытаться минимизировать ее историческое значение, и официальные объяснения были сформулированы соответствующим образом, за ней скрывалось нечто гораздо большее, чем просто серия тактических ошибок, приведших к ситуации, когда конгрессу тред-юнионов пришлось «блефовать», а консервативному правительству — требовать, чтобы он «выложил свои карты на стол». Достаточно только представить себе, какими могли быть последствия успеха этой забастовки для правительства и для демократии, чтобы понять, что забастовка эта была поистине историческим событием первостепенной важности. Если бы эта мера сработала, английские профсоюзы получили бы абсолютную власть над страной и никакая другая политическая, юридическая или экономическая сила не могла бы продолжать существовать рядом с ними, если бы они сами этого не позволили. Но заняв такое положение в обществе, они бы не смогли остаться тем, чем были прежде. Волей-неволей профсоюзным лидерам пришлось бы употребить возложенную на них абсолютную власть.

Для наших целей здесь достаточно будет выделить два момента. Во-первых, описанная выше ситуация, в частности недовольство, распространившееся в массах, старательно выпестованное многими безответственными элементами, имело непосредственное отношение к причинам забастовки. Во-вторых, забастовка не нанесла авторитету партии того ущерба, который она могла бы нанести. Напротив, ее поражение привело к радикализации масс, ставшей одной из причин успеха партии в 1929 г.

[23] Аналогия эта простирается от ряда особенностей политических и экономических ситуаций, в которых приходилось действовать обоим премьер-министрам (хотя у Пиля было то преимущество, что он получил свой пост уже после кризиса 1836—1839 гг.), до некоторых политических тонкостей. В обоих случаях имел место партийный раскол, на который и тот и другой отважно решились пойти и который мужественно встретили; в обоих случаях лидеров называли «предателями».

ственной причиной развала международной политической системы, воплощением которой была Лига Наций.

Деятели меньшего калибра могли бы решить, — кстати говоря, многие именно так и решили, — что наступил удобный момент для фундаментальной перестройки. Это раскололо бы нацию на две половины, а к чему бы привел такой раскол, долго гадать не приходится. Впрочем, широко рекомендовалась также политика, несколько недотягивающая до фундаментальной перестройки, но к ней приближающаяся — политика денежной экспансии в сочетании с не слишком глубокими социальными преобразованиями — например, отдельными мерами социальной защиты — и меркантилизма в области международных экономических отношений. Но часть мер, предусмотренных этой программой, несомненно, лишь усилила бы депрессию, а другие — в частности, отказ от золотого стандарта фунта стерлингов и меркантилизм — означали бы настолько резкий отход от национальных традиций и от традиций самой рабочей партии, что социалистам вряд ли удалось бы эту программу принять, не говоря уж о том, чтобы успешно ее выполнить. Чтобы провести ее через парламент без потерь и проволочек, требовалось добиться согласия большинства, иначе говоря — создать коалицию.

Поскольку создать коалицию было невозможно, Макдональд и его команда взялись работать над той системой, которую они получили. В тех условиях это было самое сложное из того, что они могли предпринять. Пока все кричали, что нужно что-то немедленно сделать, пока безответственные лица всех мастей разглагольствовали с трибуны парламента, пока массы недовольно ворчали, дельцы впадали в отчаяние, интеллигенция изощрялась в красноречии, они упорно отвоевывали каждый дюйм своей территории. Во внутренних делах они следили за порядком в финансовой системе, поддерживали курс фунта и воздерживались от ускорения работы законодательной машины. Во внешней политике они прилагали отчаянные усилия, чтобы Женевская система* заработала, чтобы снизилась международная напряженность и опасность новых войн. Когда пришло время и национальные интересы потребовали, чтобы партия пошла на риск потерять свое руководящее положение, она не раздумывая пошла на этот шаг и помогла становлению правительства национального единства.

Грустно сознавать, что во многих важных случаях оказывается, что чем мудрее политика, тем менее популярна она в народе и среди критиков-интеллигентов. Именно о таком случае и идет здесь речь. Радикальный критик, который не заметил связи между политикой Макдональда и относительной мягкостью депрессии в Англии, а также последующего выхода из нее, видел в этой политике лишь слабость,

* Имеется в виду Женевская конференция по разоружению 1932—1935 гг.

некомпетентность, узколобый традиционализм, а то и измену делу социализма. То, что было, возможно, одним из лучших образцов функционирования исполнительной власти во всей истории демократической политики и ответственного подхода к принятию государственных решений, основанного на правильной оценке экономической и социальной ситуации, критики расценивали как «позор и мерзость». В лучшем случае, критики сравнивали Макдональда с плохим наездником, поставившим свою лошадь на колени, но больше всего им импонировала гипотеза о том, что правительство Макдональда поддалось на дьявольские нашептывания (а то и хуже) английских банкиров или уступило давлению их американских опекунов.

К сожалению, подобные вздорные слухи — это реальный фактор, важность которого нельзя недооценивать при прогнозировании. Он может серьезно повлиять на способность социалистических партий служить делу цивилизации в переходный период, переживаемый нами сегодня. Но если сбросить со счетов этот фактор, а также тот трюизм, что всякая партия, идущая на жертву в интересах нации, в краткосрочном аспекте сама же и проигрывает, нетрудно понять, что в долгосрочном аспекте благодаря второму сроку пребывания Макдональда на посту премьер-министра влияние рабочей партии вполне может возрасти. Пояснить это нам вновь поможет аналогия с сэром Робертом Пилем во время его второго пребывания на посту премьер-министра. Консервативное большинство, поддерживавшее Пиля, при обсуждении вопроса об аннулировании хлебных законов раскололось на два лагеря. Крыло «пилитов», хотя они были более многочисленны и имели больший политический вес, чем те, кто шел за Макдональдом, вскоре распалось. Консервативная партия серьезно пострадала и уже не смогла взять власть в свои руки — хотя и трижды входила в кабинет — вплоть до блестящей победы Дизраэли* в 1873 г. Но после этого и вплоть до победы сэра Кэмпбелла-Бэннермана** примерно две трети всего срока пришлось на правление консервативной партии. Еще важнее было то, что английская аристократия и мелкопоместное дворянство *все* это время сохраняли свои позиции, причем гораздо лучше, чем в том случае, если бы не было снято проклятие дорогого хлеба.

Кстати говоря, лейбористская партия быстро оправилась и за годы, последовавшие за ее расколом, укрепила свои позиции в стране. Есть достаточно оснований утверждать, что, если бы история развивалась нормальным путем, т. е. если бы не война, социалисты бы вскоре вновь пришли к власти, имея бóльшую власть и лучшие шансы на ус-

---

* Дизраэли (Disraeli) Бенджамин, граф Биконсфилд (1804—1881) — премьер-министр Великобритании в 1864 и 1874—1880 гг., лидер консервативной партии, писатель.

** Кэмпбелл-Бэннерман (Campbell-Bannermann) Генри (1836—1908) — премьер-министр Великобритании в 1905—1908 гг., лидер либеральной партии с 1899 г.

пех, и что тогда уже они смогли бы занять более жесткую позицию, чем прежде. Но с не меньшими основаниями можно утверждать и то, что между их политикой и политикой Макдональда имелись только количественные различия, в основном по охвату национализации.

3. Послевоенная история социал-демократической партии Германии, разумеется, во многих деталях отличается от истории английской лейбористской партии. Но как только немецкие социалисты, сохранившие членство в социал-демократической партии, пришли к власти и приняли решение бороться с коммунизмом, они были вынуждены точно так же посвятить себя задаче «управления капитализмом», как и их английские коллеги. Если согласиться с этими посылками и принять во внимание то обстоятельство, что они не имели большинства ни в федеральном парламенте, ни в прусском ландтаге, ни среди населения и не могли рассчитывать его получить ни в каком обозримом будущем, то все остальное выводится однозначно, следуя законам неумолимой логики. В 1925 г. население Германии составляло порядка 62 млн человек. Численность пролетариата (рабочих и их семей; сюда я также отношу домашнюю прислугу) составляла неполные 28 млн, причем часть своих голосов пролетариат отдавал другим партиям. Численность «независимого» населения была ненамного меньше — она составляла порядка 24 млн человек и в большинстве своем на социалистическую пропаганду не поддавалась. Даже если исключить привилегированные классы — допустим, численность их составляла порядка 1 млн — и принимать в расчет только те группы, от которых зависит судьба выборов, — крестьян, ремесленников, мелких торговцев, приходится согласиться, что поживиться здесь было особенно нечем не только на текущий момент, но и в ближайшем будущем. Посередине между этими двумя крупными группами стояли служащие — «белые воротнички», которых, считая с семьями, было не менее 10 млн человек. Социал-демократическая партия, конечно, понимала, что исход голосования будет зависеть от того, кому отдаст свои голоса этот класс, и прилагала немало усилий, чтобы привлечь его на свою сторону. Но даже несмотря на значительный успех, усилия эти только лишний раз показали со всей очевидностью, что белые воротнички — это куда более серьезное препятствие, чем следует из классовой теории Маркса[24].

[24] Сталкиваясь с подобными фактами, социалисты обычно успокаивают себя тем, что служащие, не разделяющие идей социализма, — это просто заблудшие овечки, которые не нашли еще своего истинного места в политическом раскладе, но которые со временем обязательно его найдут, или тем, что вступлению их в социалистические ряды мешает жесткое давление со стороны работодателей. Первый аргумент вряд ли сможет убедить кого-нибудь, кроме правоверных марксистов, — мы уже убедились в том, что теория общественных классов — это самое слабое звено в цепи марксистского учения. Ошибочность второго аргумента легко показать на фактах. Если даже в нем содержалась какая-то доля истины в иные времена, в двадцатые годы немецкие работодатели — за редким и незначительным исключением — никак не могли повлиять на исход голосования своих служащих.

Таким образом, даже если бы коммунисты были союзниками социал-демократов, а не их заклятыми врагами, партия все равно оказалась бы в меньшинстве. Да, действительно, не все группировки, входящие в состав несоциалистического большинства, были активно настроены против социал-демократов: левое крыло либералов (демократическая народная партия), сильное не столько численностью своих рядов, сколько талантами, всегда было готово пойти на сотрудничество (до определенного предела). Верно и то, что большинство это состояло из отдельных группировок, которые совершенно неспособны были действовать согласованно, и члены, и сторонники которых по своей дисциплинированности даже близко не могли сравниться с социал-демократами. Но здравомыслящие политики среди социал-демократов, которые не могли и не желали пускаться в опасные авантюры, тем не менее считали, что для них существует единственный путь — путь демократии, а это означало необходимость создания коалиции.

На роль союзника лучше всего подходила католическая партия (центр). Это была сильная партия. До прихода Гитлера казалось, что ничто не сможет поколебать преданность ее сторонников. Она была превосходно организована. При условии, что интересы церкви будут соблюдены, она была готова идти по пути социальных реформ непосредственно практического свойства почти так же далеко, как и сами социалисты, а в некоторых аспектах даже дальше. Не питая каких-либо особо пылких чувств к смещенным династиям, она твердо поддерживала Веймарскую конституцию*. И последнее — по счету, но не по значению: она не возражала против раздела добычи при условии неприкосновенности своих заповедных угодий. Вследствии всего этого взаимопонимание между обеими партиями было достигнуто с такой легкостью, которая зарубежному наблюдателю показалась бы удивительной. Социалисты обходились с католической церковью с величайшей почтительностью и тактом. Они не делали проблем из конкордата с папой, который дал духовенству гораздо больше, чем оно когда-либо имело при власти еретиков Гогенцоллернов. Что касается политики, то никаких разногласий практически не было.

Но хотя альянс этот составлял основу, ни одна партия, заявлявшая о своей лояльности Веймарской конституции, не была лишена представительства в кабинете. Демократы, национал-либералы, национал-консерваторы — все были допущены, в том числе и на командные позиции. Универсальность коалиции означала универсальность компромисса. Необходимые уступки по конкретным проблемам сложностей не представляли. Армию оставили в покое, практически предоставив

---

* Веймарская конституция 1919 г. — конституция Германии, оформившая произошедшую в результате Ноябрьской революции 1918 г. замену полуабсолютистской монархии буржуазно-демократической республикой.

ей достаточные средства и возможность выбирать свое руководство по своему усмотрению. Восточной Пруссии дали субсидии, а сельское хозяйство в целом стало предметом пристальной заботы. То, что угадывалось за подобной позицией, не всегда вязалось с социалистическими лозунгами, поэтому для пролетариата, из кармана которого все это оплачивали, придумали социальный термин «планирование». Возможно, читатель уже понял, что ничто не ново под луной.

В своем отношении к промышленному пролетариату и своей собственной программе Социал-демократическая партия «лейборизировалась». В самом начале был принят весьма умеренный закон, самым радикальным моментом которого было слово «обобществление», вынесенное в заголовок (1919 г.). Но очень скоро социалисты ко всему этому охладели и решили взяться за трудовое законодательство, намереваясь приблизить его к тому, что американцам известно под именем «Нового курса». Это вполне устраивало профсоюзы, бюрократия которых получала все больший доступ к формировавшей политику партийной машине.

Может показаться, что для партии с марксистской традицией, которая продолжала преобладать в партийных школах, это было не так-то просто. Но это не так. Если не принимать в расчет некоторое количество перебежчиков в коммунистический лагерь, интеллигенты, из среды которых можно было ожидать возникновения внутрипартийной оппозиции, строго держались в узде. В отличие от английской партии, германская прочно обосновалась в руководящих кабинетах рейхстага, ландтагов и муниципалитетов. Кроме того, она сама могла предложить много рабочих мест — например, в партийной прессе. Послушание сулило преимущества при продвижении по службе в государственных органах, в науке, на государственных предприятиях и т. д. Средства эти были достаточно эффективны, чтобы научить радикалов повиновению.

Позиции, завоеванные социал-демократами во всех частях механизма государственного управления, не только способствовали укреплению дисциплины, но и привлекали новых членов, а также сочувствующих, на голоса которых партия могла рассчитывать. Так, социалисты пришли к власти в Пруссии. Это дало им контроль над полицией, и они очень тщательно подбирали кадры из числа членов партии или надежных карьеристов на должность полицейских начальников в больших городах. Так они укрепляли свой лагерь до тех пор, пока по всем стандартам их положение не стало неуязвимым. И опять-таки согласно всем стандартным правилам политического анализа, даже правоверный марксист мог успокоить свою душу тем, что в этих окопах социалисты могут спокойно просидеть вплоть до того момента, пока когда-нибудь через много-много лет все само собой не образуется, меньшинство не превратится в большинство и не раздвинет занавес, до

поры до времени скрывавший конечную цель. Далее по «Коммунистическому манифесту»...

Независимо от способов функционирования партийной машины, политическая, равно как и социальная, ситуация в стране казалась на редкость стабильной. К тому же какой бы критике ни подвергались отдельные законодательные и административные меры, в целом коалиционная политика способствовала стабильности, а не работала против нее. Многое из того, что было сделано партией, заслуживает глубочайшего уважения. По справедливости говоря, она не заслуживает более резкой критики в свой адрес, чем та, которую неизбежно вызывает всякая власть, которой недостает авторитета и блеска. Возможно, единственное исключение из этого правила лежит в финансовой области. Некоторая доля культурных и политических достижений этого правительства была связана с большими и быстрорастущими государственными расходами. К тому же средства для финансирования этих расходов изыскивались с помощью таких методов — хотя среди них была и такая мера, как налог на продажи, зарекомендовавшая себя весьма успешно, — которые истощали источники накопления. До тех пор, пока шел приток иностранного капитала, дела шли достаточно хорошо, хотя бюджетные и даже денежные трудности стали возникать еще за год до того, как он иссяк. Когда же последнее произошло, возникла ситуация, которая могла бы подорвать авторитет даже самого популярного лидера. Однако в целом социалистические критики самой партии и ее действий в ходе этого срока имели бы право гордиться собой, если бы они, получив власть, смогли столь же успешно ею распорядиться.

5. Нынешняя война и будущее социалистических партий

То, каким образом современная война скажется на будущем существующих социальных групп, будет зависеть, конечно, от ее продолжительности и от ее исхода. С точки зрения целей настоящего исследования я не вижу никакого смысла об этом гадать. И все же давайте просто для примера рассмотрим два случая из множества возможных.

Даже сегодня (июль 1942 г.) многие наблюдатели, похоже, ожидают, что Россия выйдет из войны, значительно укрепив свое могущество и престиж, что истинным победителем в войне окажется Сталин. Если так оно и случится, из этого еще необязательно следует, что в результате произойдет мировая коммунистическая революция или «руссификация» континентальной Европы, сопровождающаяся уничтожением привилегированных классов и сведением счетов с некоммунистическими социалистическими (и троцкистскими) группами. Ведь даже если исключить возможное англо-американское сопротивление экспансии российской державы, нет никакой уверенности в том, что

интересы русской автократии будут лежать именно в этом направлении. Но можно с уверенностью сказать, что шансы для такой блестящей победы — для реализации ленинской программы в полном объеме — неизмеримо возрастут. Как бы эта мировая революция ни отличалась от Марксовой идеи, для тех, кто готов будет принять ее в качестве замены, она, безусловно, станет реальным воплощением мечты. И это касается не только Европы.

В этом случае судьба ортодоксального социализма и его идеалов будет решена. То же самое произойдет и в том случае, если на Европейском континенте победителями окажутся фашистские державы. Если мы, однако, допустим, что война окончится полной победой англо-американо-русского альянса, иначе говоря, победой, предусматривающей безоговорочную капитуляцию, но вся слава этой победы достанется не русским, а англичанам и американцам, то можно легко понять, что у ортодоксального социализма типа германской социал-демократии или даже еще более выраженной лейбористской направленности будет гораздо больше шансов выжить на Европейском континенте, во всяком случае, на какой-то период. Одна из причин, почему я так считаю, заключается в том, что, если люди поймут, что ни по пути большевизма, ни по пути фашизма им идти нельзя, они, вполне возможно, обратят свои взоры к самому очевидному из оставшихся вариантов — к социал-демократической республике. Но есть и другая, гораздо более важная причина: лейбористский социализм будет в фаворе у победителей. Дело в том, что следствием такой полной победы, о какой мы сейчас говорим, будет англо-американское руководство всем миром — что-то наподобие англо-американского господства, которое, исходя из умонастроений, формирующихся у нас на глазах, можно было бы назвать «этическим империализмом». Мировой порядок такого типа, в котором интересы и притязания других стран будут приниматься в расчет лишь в той мере, в какой они будут поняты и одобрены Англией и Соединенными Штатами, может быть установлен только с помощью военной силы и сохранен только постоянной угрозой применения военной силы. Наверно, не нужно объяснять, почему в современных политических и экономических условиях для этих двух стран это будет означать необходимость такого общественного строя, которому лучше всего подойдет название военного социализма. Но совершенно очевидно, что задача контроля и полицейского надзора над всем миром будет значительно облегчена, если, с одной стороны, будут восстановлены или заново созданы малые и беспомощные европейские государства, с другой стороны, если поставить управлять ими правительства лейбористского или социал-демократического толка. Особенно это касается Германии и Италии, где обломки социал-демократических партий будут единственным политическим материалом, из которого можно будет слепить правительства, которые согласились бы терпеть подобный мировой порядок и по

окончании периода прострации и сотрудничать с агентами мирового протектората без всяких угрызений совести. Какова бы ни была вероятность такого исхода, но для либерального социализма это шанс.

С точки зрения предмета настоящей книги (но только с этой точки зрения и ни с какой другой) все это имеет второстепенное значение. Какова бы ни была судьба отдельных социалистических групп, не может быть никаких сомнений в том, что разгоревшаяся война будет означать — неизбежно, повсеместно и независимо от ее исхода — еще один крупный шаг по пути к установлению социалистического порядка. Для того чтобы прийти к такому выводу, достаточно только обратиться к опыту Первой мировой войны и ее воздействий на социальную ткань Европы. Однако на этот раз затронуты будут и Соединенные Штаты.

Но этот опыт, хотя он и весьма ценен для углубления нашего понимания, все же не вполне адекватен. Со времени Первой мировой войны прошло уже четверть века. Это не такой уж короткий промежуток времени, даже с точки зрения постоянных сил, действующих в направлении социализма в том смысле, о котором мы говорили во второй части. Независимо от всего остального, в конце этой войны мы будем иметь экономическую ситуацию, социальную атмосферу и распределение политической власти, которые будут существенно отличаться от тех, которые имели место в 1918 г. Однако за эти 25 лет произошло и много такого, что можно было предсказать на основании одних только вековых тенденций. Среди всего прочего была и Великая депрессия, которая пришлась на весьма деликатный момент и потрясла социальные структуры до самого основания, причем нигде это не выразилось с такой силой, как в Соединенных Штатах. Еще более действенным фактором в подрыве этих структур были те меры, с помощью которых пытались бороться с депрессией. А выбор этих мер во многом объяснялся раскладом политических сил, который был отчасти случайным. Последствия этого совершенно очевидны. В частности, возникли громоздкие бюрократические структуры, которые располагают достаточной властью, чтобы защитить свои позиции и реализовать политику фундаментальной перестройки.

Ни в одной стране военный налог на частные предприятия и класс их собственников не снизится после окончания этой войны в такой же степени, как он был снижен в 1919 г. Уже одного этого может оказаться достаточным для того, чтобы навсегда застопорить капиталистический двигатель и тем самым дать еще один аргумент в пользу государственного управления экономикой. Инфляция, неизбежная исходя из современного расклада политических сил, даже если ее темпы не превысят те, что мы имеем сейчас в Соединенных Штатах, вполне может довершить это дело как своим прямым воздействием, так и опосредованно, через радикализацию экспроприированных держателей облигаций и страховых полисов. Кроме того, нигде государственный военный

контроль, введенный на период войны, не будет ликвидирован в такой мере, как можно было бы ожидать исходя из опыта 1918 г. и более поздних лет. Просто ему найдут другое применение. В Соединенных Штатах уже сегодня предпринимаются меры, чтобы подготовить общественное мнение к тому, что контроль за послевоенным переустройством мира будет осуществлять государство, а буржуазная альтернатива будет объявлена недействительной. Наконец, нет никаких оснований считать, что государство когда-нибудь решит ослабить свой контроль за рынком капитала и инвестиционным процессом. Конечно, социализм к этому отнюдь не сводится. Однако в подобных условиях социалистический выбор может быть сделан просто потому, что это единственная реальная альтернатива бесконечным тупикам и трениям.

Во всех странах будут, разумеется, свои особенности и будут произноситься разные слова. Разными будут и политическая тактика, и экономические результаты. Лейбористы вошли в правительство Черчилля в момент чрезвычайной опасности для своей страны. Но, как мы уже раньше говорили, в тот момент, когда это случилось, они и так уже и без всякой национальной опасности довольно далеко продвинулись по дороге, ведущей к власти. Таким образом, они совершенно естественно получат возможность руководить послевоенной перестройкой самостоятельно или создав коалицию, которую они будут контролировать. Некоторые из их ближайших целей к тому моменту уже будут реализованы военной экономикой. В значительной степени их задача будет сводиться к тому, чтобы сохранить то, что они уже имеют. Дальнейшее продвижение к социалистической цели будет, по-видимому, сравнительно легким, поскольку капиталистам уже просто нечего будет защищать. И вполне возможно, что капиталисты открыто признают свое поражение и проведут обобществление тихо, спокойно и в значительной мере добровольно. По многим причинам, но в основном из-за слабости официальной социалистической партии относительно Соединенных Штатов прогнозы делать не так легко. Но конечный результат, по всей видимости, не будет слишком сильно отличаться, хотя лозунги, конечно, будут другими, как другой будет и цена — в терминах благосостояния и культурных ценностей, — при которой этот результат будет достигнут.

Еще раз повторю: легко предсказуем только тот социализм, о котором шла речь в настоящей работе. Все остальное предсказать несравнимо сложнее. В частности, у нас нет особых оснований считать, что такой социализм будет означать возникновение цивилизации, о которой мечтают ортодоксальные социалисты. Гораздо более вероятно, что социализм этот окажется с фашистским лицом. Это будет странным ответом на Марксову молитву. Но история любит иногда выкидывать шутки сомнительного вкуса.

Глава XXVIII
ПОСЛЕДСТВИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Mundus regitur patva sapientia*

Немногое можно добавить сейчас (июль 1946 г.) к тому, что уже было сказано в последнем разделе о влиянии войны на социальную структуру нашей эпохи, на место и перспективы ортодоксальных (т. е. некоммунистических) социалистических группировок. Уже в июле 1942 г. было очевидно, что, какой бы ни была судьба собственно социалистических *групп*, будет совершен большой шаг в сторону социалистического *порядка*, и на этот раз он захватит США. Было также ясно, что судьба уже существующих социалистических группировок будет зависеть от течения и исхода войны. Окончательное предположение состояло в том, что в случае полной победы (означающей безоговорочную капитуляцию врага) англо-американо-русского альянса результаты ее для ортодоксального социализма могут варьировать в зависимости от того, выступит ли Сталин как победитель или все лавры достанутся Англии и Соединенным Штатам. В последнем случае ортодоксальный социализм типа германской социал-демократии или английского лейборизма будет иметь хороший шанс укрепить свои позиции на Европейском континенте.

Сталин утвердился в роли хозяина Восточной Европы. Англия и Соединенные Штаты борются за сохранение своего влияния в Центральной и Западной Европе. Судьбы социалистических и коммунистических партий отражают эти обстоятельства. Но есть еще и другой элемент, который может существенно влиять на социальную ситуацию во всем мире. Это — экономическое развитие Соединенных Штатов, которое может укрепить позиции капиталистического порядка. Поэтому в этой главе рассматривается, во-первых, позиция ортодоксального социализма и лейборизма, особенно в связи с ситуацией в Англии; во-вторых, возможное влияние значительных успехов промышленного развития Соединенных Штатов; в-третьих, возможное влияние политических успехов России. Наша аргументация поэтому естественно делится на три части:

1. Англия и ортодоксальный социализм.
2. Экономические возможности Соединенных Штатов.
3. Российский империализм и коммунизм.

---

* Миром правит знание — *лат.*

1. Англия и ортодоксальный социализм

Множество фактов показывает, что независимо от российского элемента влияние Второй мировой войны на социальную ситуацию в Европе может быть схожим с эффектом Первой мировой войны, но будет сильнее. Мы, может быть, явимся свидетелями усиления существующей тенденции к социалистической организации производства, *в смысле, как она определена в этой книге.*

Один из наиболее важных показателей этого — успех английской лейбористской партии. Как уже отмечалось в последней главе, этот успех ожидался и не может кого-либо удивить. Однако он оказался более впечатляющим, чем можно было предполагать. Благодаря английской избирательной системе сегодняшнее перераспределение мест, вероятно, дает несколько преувеличенную картину. Было подано около двенадцати миллионов голосов за лейбористов против десяти миллионов — за консерваторов. Время либерализма, несомненно, прошло, но даже дюжина оставшихся членов парламента от Либеральной партии представляет намного больше голосов, чем семьдесят два члена лейбористской фракции. Другими словами, при системе пропорционального представительства Лейбористская партия не получила бы парламентского большинства над консерваторами и либералами, взятыми вместе, хотя лейбористско-либеральные коалиции могли бы иметь существенное большинство. Сам смысл английской избирательной системы состоит в том, чтобы создавать сильные правительства и избегать безвыходных ситуаций. Как раз это и было сделано в данном случае. Однако тем не менее не только парламентская, но и национальная ситуация должна приниматься во внимание при оценке того, что является политически возможным, а что нет. Этот очевидный вывод подкрепляется тем фактом, что группы, расположенные левее официальной Лейбористской партии, не смогли заметно улучшить свое положение в парламенте: Независимая Лейбористская партия лишь сохранила свои 3 места, а партия благосостояния и коммунисты потеряли одно из 4 мест, занимаемых ими ранее. В то время, когда по многим причинам следовало ожидать «радикализации», это действительно явилось примечательным и поразительным доказательством политической зрелости Англии.

Эта ситуация предъявляет свои требования. Фактически они уже учтены как при формировании Кабинета, так и в принятых и намеченных мерах. Попросим читателя возвратиться к разделу этой книги «Политика социалистов до провозглашения социализма» (гл. XIX). Он убедится, во-первых, что все, что лейбористское правительство делает или предлагает сделать, соответствует духу и принципам описанной нами программы; и во-вторых, современная практика не заходит

дальше этого. Национализация Банка Англии как раз является характерным символом такой политики и поэтому может служить важной исторической вехой. Однако практическое значение этого события сведено к нулю, так как банк фактически превратился в отдел Министерства финансов с 1914 г. и в наши дни ни один центральный банк не может быть ничем другим. А меры, предпринятые в угольной промышленности, или закон о полной занятости не вызывают никаких споров, по крайней мере в Англии. Конечно, путь, которым лейбористское правительство решает или собирается решать эти вопросы, не вызывает всеобщего согласия. Полемика по вопросам фундаментального характера, без сомнения, будет оживлять серьезную работу, но не потому, что сами эти вопросы или различия точек зрения очень важны, а потому, что правительства и парламенты не могут существовать без них. Все происходит так, как и должно быть. Нет сомнений, что это еще один случай управления капитализмом, но из-за войны и недостатка времени это будет делаться с более ясной целью и более твердой рукой, чем до этого, и окончательное уничтожение частного предпринимательства станет более явственной перспективой. Три момента, однако, заслуживают особого внимания.

Во-первых, особенно важно и, с точки зрения общества, основанного на частной собственности, особенно опасно — это почти идеальное соответствие политических действий существующей социальной и экономической ситуации. Что бы ни говорили интеллектуальные экстремисты, а позиция лейбористского правительства, конечно, дает им хороший повод для выступлений — шаги по направлению к социалистической Англии могут быть весьма значительными, поскольку в них очень мало нелепостей. Меры, предпринятые с такой ответственностью, не будут иметь обратного хода. За исключением внешних неурядиц, социальные, политические и экономические беды могут быть успешно преодолены. Если правительству удастся придерживаться своей линии, оно точно выполнит задачу, которая представляет нечто промежуточное между планами лейбористских правительств, не обладающих властью (например, правительство Макдональда — см. выше — в гл. XXVII), и планами лейбористских правительств будущего, когда парламентское большинство будет сочетаться с большинством голосов избирателей. Это — единственная надежда для демократического социализма. Такого рода надежда на европейском континенте, конечно, в какой-то степени вдохновляется английским примером.

Во-вторых, как мы уже отмечали в предыдущей главе, ранние социалистические мыслители никогда не предвидели, да и трудно было от них этого ожидать, ситуацию, когда политическая власть будет опираться на рабочий класс, а несчастная буржуазия будет вынуждена просить у него защиты. Мы отмечали и другое: они не предвидели

и не могли предвидеть те пределы, в которых окажется возможной экспроприация буржуазной структуры без *формального* разрушения легальной основы капиталистического строя и с помощью таких нереволюционных методов, как налогообложение и политика в области заработной платы. Налоги времен войны и военный контроль, конечно, не могут полностью сохраниться. Но отступление от этих мер может остановиться на такой линии, на которой некоторые из наиболее популярных пунктов социалистической программы окажутся автоматически выполненными. Равенство доходов после уплаты налогов уже осуществлено, причем настолько, что это снижает эффективность труда, используя русское слово, «специалистов» — таких, как врачи или инженеры. На деле это сделано с помощью громоздкого и дорогостоящего аппарата, и, вероятно, люди скоро поймут, что, может быть, лучше сразу вычитать из выплачиваемых доходов сумму прямых налогов вместо того, чтобы выплачивать то, что должно быть тут же отобрано. В любом случае, однако, лимон будет выжат до конца, что несколько подсушит и радикальную риторику.

В-третьих, предположим, что на следующих выборах лейбористы упрочат свои позиции и получат поддержку значительного большинства избирателей. Что тогда будет делать правительство? Оно может идти немного дальше в направлении выравнивания доходов; может улучшить социальные услуги, придерживаясь плана Бевериджа и других, немного более, чем может позволить себе любое другое правительство; оно может продвинуться заметно дальше в деле социализации промышленности. Однако ничто из этого не пройдет легко. Мы уже видели, что в условиях современной Англии существует мало чисто экономических препятствий против значительных масштабов социализации. Сопротивление буржуазии также не может явиться препятствием: Англия зависит от своих промышленников значительно больше, чем Россия в 1917 г., однако если их без необходимости не ожесточать, их сотрудничество может быть обеспечено. Не следует, наконец, уделять большого внимания тому аргументу особенно горячих сторонников социализации, что кабинетная система не подходит для целей проведения социализации: интеллектуалы, которые приходят в восхищение от диктаторских методов, могут на самом деле сомневаться в эффективности демократического правления, но это единственная система, которая подходит для проведения социализации демократическим путем, — подлинное управление социализированными отраслями промышленности, конечно, потребует полуавтономных органов, с которыми кабинетам придется сотрудничать точно так же, как, скажем, с генштабом армии. Но реальная проблема — это рабочие. Пока социализация не сумеет преодолеть экономический спад, социалистическое правительство не сможет мириться с существующей

профсоюзной практикой. Самые безответственные политики должны будут столкнуться с главной проблемой современного общества, которую решила только Россия, — проблемой производственной дисциплины. Правительство, которое хочет достичь высокой степени социализации, должно будет социализировать и профсоюзы. Фактически же труд труднее всего поддается социализации. Проблема не является неразрешимой. В Англии возможностей для решения многих проблем демократическим методом больше, чем где-либо еще. Но путь решения может быть мучительным и долгим.

За исключением России, политическая ситуация на Европейском континенте в основном схожая. Там, где существует свободный выбор, мы наблюдаем сильную тенденцию масс сохранять или возрождать свою преданность социал-демократическим или католическим партиям. Наиболее очевидным примером в данном случае являются Скандинавские страны. Однако сходную тенденцию можно наблюдать даже в Германии, и можно утверждать, что, если бы она была свободна и не подвергалась внешнему влиянию, в итоге современных бедствий возникло бы что-нибудь типа Веймарской республики. Хотя этот-то вывод в какой-то степени обесценивается покровительством, оказываемым социал-демократам английскими и американскими властями, он подкрепляется тем, что российские власти также разрешили восстановление социал-демократической организации в своей зоне. Невыносимые политические и экономические условия, неразумно навязанные немецкому народу, будут, конечно, дискредитировать рабочие правительства и сводить на нет их шансы, каковы бы они ни были. Но все же если ради мысленного эксперимента мы решим пренебречь российским фактором и предположим, что США и Англия действуют по отношению к Германии с позиций приличия и здравого смысла, то это будет тот общий диагноз и прогноз, который следует принять. Подобные прогнозы годятся для других стран, хотя и с различными уточнениями: лейбористского типа режимы — в католических странах чаще в коалиции с католическими партиями — с доморощенными и не слишком влиятельными коммунистическими группами слева от них; проводящие политику более динамичную, чем в 20-х годах, но примерно в том же направлении со всеми вытекающими отсюда последствиями в экономике, политике и культуре. Маленький пример Австрии является поучительным. Христианские социалисты (Католическая партия, включающая консервативные элементы) имеют успех, дело коммунистов — плохо, социал-демократы почти восстановили свои прежние позиции вместе с большинством своих старых лидеров, занимающих устойчивое положение в партийном руководстве. Даже программы изменились незначительно, если судить по основным принципам. Современное движение к национализации не основано на со-

знательном выборе. Ситуации в других малых странах, независимых от России, развиваются по тому же типу, то же самое происходит и в Италии. Ситуация во Франции имеет свои особенности — из-за сильного влияния коммунистов (см. ниже, п. 3). И только наша неспособность понять другую систему, отличную от нашей, мешает нам осознать, что испанский вариант — самый беспроблемный из всех[1].

2. Экономические возможности Соединенных Штатов

1. Перераспределение дохода с помощью налогов.
2. Великая возможность.
3. Условия для ее реализации.
4. Проблемы переходного периода.
5. Тезис о стагнации.
6. Заключение.

1. Обсуждая ситуацию в Англии, мы отмечали, что в современных условиях — в той мере, которая и не снилась социалистам XIX в., стало возможным забирать от буржуазии с помощью налогообложения и политики заработной платы большую часть того, что по марксистской терминологии называется прибавочной стоимостью (ценностью)[2]. Подобное соображение применимо и к Соединенным Штатам. В размерах, которые до сих пор в целом еще не оценены, политика «Нового курса» давала возможности осуществлять экспроприацию доходов у групп с высокими доходами еще до войны. Достаточно одного показателя, который демонстрирует эффект увеличения (индивидуального) подоходного налога и дополнительного налога до 1936 г.: в 1929 г., когда суммарный годовой доход оценивался в 86,6 млрд долл., у категории людей с облагаемым налогом доходы выше 50 000, после уплаты этих двух налогов оставалось 5,2 млрд долл.; в 1936 г., когда общий выплаченный годовой доход составил 64,2 млрд долл.,

[1] Режим Франко просто воспроизводит институциональную структуру, учрежденную в Испании в XIX в. Легко понять, что это сделано по необходимости. Франко делал и делает то, что уже делалось до него Нарваэсом, О'Доннелом, Эспартеро, Серрано. Тот факт, что несчастная Испания стала в настоящее время футбольным мячом в игре международных политических сил, в которой она не имеет своих ставок, является основной причиной того, что пропаганда крайне искажает суть дела.

[2] Читатель, конечно, заметит, что это утверждение ничего не говорит о влиянии подобной политики на уровень — и на долгосрочный темп роста — национального дохода. В частности, оно не исключает и такой возможности, что если все доходы будут полностью уравнены, то рабочий класс может получить гораздо меньшую величину реального дохода, — и абсолютно, и с точки зрения долгосрочной перспективы, — чем тогда, когда вся прибавочная стоимость, по Марксу, будет поступать классу «капиталистов».

у них осталось соответственно 1,2 млрд[3]. Облагаемый доход свыше 100 000 даже тогда полностью отбирался, учитывая имущественные налоги. Для наивного радикализма единственной ошибкой в этом случае и в последующих мерах конфискации было то, что эти меры не пошли достаточно далеко. Но это не меняет того обстоятельства, которое интересует нас в данный момент, а именно, что независимо от войны идет колоссальное перераспределение богатства — перераспределение, которое по количественному эффекту сопоставимо лишь с тем, что сделал Ленин. Нынешнее распределение чистых личных доходов можно сопоставить с распределением доходов в России. Ведь благодаря тому, что в бюджетах групп с наивысшими доходами больший удельный вес принадлежит личным услугам и товарам, в которых воплощено большее количество труда, покупательная способность доллара в высшей группе упала сильнее, чем в низшей группе[4]. Кроме того, мы можем еще раз повторить наши наблюдения, которые ранее были сделаны по Англии.

---

[3] См. крайне поучительную статью I. de Vegh. Savings, Investment, and Consumption // American Economic Review (Papers and proceedings of the 53d Annual Meeting, February, 1941, p. 237 и далее).

Как в ней объясняется, данные, на базе которых исчислялись оставшиеся у населения доходы, исключают доходы от государственных облигаций, полностью освобожденные от уплаты налогов, и включают доходы от переоценки капитала. Кроме того, конечно же, эти показатели, строго говоря, нельзя сравнивать с показателями общей величины выплаченных доходов (оценки Министерства торговли). Однако последние могут использоваться для сравнительного анализа. Причина, по которой я просто не взял последние (из «Statistics of Income»), очевидна, но выбор лет для сравнения нуждается в пояснении: 1929 г. был годом, когда доходы выше 50 000 долл. после уплаты подоходного и дополнительного налогов были максимальными; 1936 г. был выбран потому, что, во-первых, это был последний год перед спадом 1937—1938 гг. и, во-вторых, он был полностью свободен от влияния войны, которое началось с 1939 г.

[4] Межстрановые сопоставления — вещь трудная и не всегда убедительная. Российский закон от 4 апреля 1940 г. о подоходном налоге показывает, что доходы на уровне 1812 руб. в год уже подчиняются действию этого закона. Он свидетельствует и о существовании доходов свыше 300 000 руб., которые облагались налогом в 50%. Теперь полностью отвлечемся от налога на самые низкие доходы и предположим, что средний доход для группы с доходом в 1812—2400 руб. составляет 2000 руб.; предположим далее, что средний (модальный) *остающийся* после уплаты налога доход в самой высшей группе не превышает 150 000 руб. (хотя сумма в 300 000 руб. до уплаты налогов была низшим пределом в этой группе). Мы обнаружим, что высший из этих модальных доходов был в 75 раз выше низшего. В 1940 г. американский эквивалент, конечно, не по покупательной силе, а по положению в шкале доходов, т. е. модальный доход самой низшей группы, составил 1000 долл. Таким образом, мы вряд ли обнаружим в США то распределение доходов, остающихся после уплаты налогов (даже если не учитывать изъятия, вызванные потребностями финансирования войны), которое бы подкрепляло — в духе российской идеологии — нынешнее заявление об ужасающем неравенстве, о «концентрации власти», измеряемой концентрацией доходов, и т. п. Данные, приводимые в хорошо известной книге Бинстока, Шварца и Югова (Bienstock, Schwarz, Yugow. Industrial Management in Russia), подтверждает эту точку зрения. Существует много других деталей, указывающих на то же самое. Например, те группы профессий, которые могли раньше, но не могут сейчас в США держать домашних слуг, продолжают пользоваться этой привилегией в России — привилегией, которая измеряется ценой множества электротехнических устройств. Все это, однако, не принимает в расчет те преимущества, которые не проходят по счетам ▶

Давление на верхние категории, конечно, не ограничивается группой с доходами в «50 000 долл. и выше». В уменьшающейся степени оно распространяется вниз, до уровня доходов в 5000 долл. Несомненно, особенно в случае с врачами, достигшими среднего положения на шкале профессионального успеха, это порой приводит к потере необходимой эффективности.

Итак, влияние на социальную структуру войны, а также трудовых конфликтов, являвшихся ее естественным следствием, видимо, будет в США таким же, как в Англии. Тот факт, что в Соединенных Штатах нет хорошо организованной национальной лейбористской партии, может дать повод для размышлений о возможности развития по пути гильдейского, а не централистского социализма. Впрочем, этот случай только подкрепляет доводы в пользу того прогноза, который был разработан в этой книге, ведь группы давления обладают такой же властью, как и партии, но намного менее ответственны и поэтому более агрессивны.

2. Но существует другое явление в социальной ситуации Соединенных Штатов, которое не имеет аналогов нигде в мире и может заметно повлиять на наш диагноз, касающийся возможностей системы частного предпринимательства, по крайней мере в течение короткого периода в 50 лет или около того, а именно — грандиозный промышленный успех, свидетелями которого мы являемся. Некоторые наблюдатели, похоже, думают, что тот подъем, который обеспечил победу в войне и к тому же защитил американский рабочий класс от нищеты, будет настолько доминировать и в послевоенное время, что это сможет уничтожить все предпосылки для социализма в чисто экономической сфере. Изложим этот аргумент в максимально оптимистичной форме.

Игнорируя временно комплекс проблем, связанных с переходным периодом, и условившись, что 1950 г. будет первым «нормальным» годом, что является обычной практикой для прогноза, — мы гипотетически определим валовой национальный продукт, т. е. ценность всех произведенных товаров и услуг до вычета амортизационных отчислений и скидок на истощение ресурсов, — оцененный с помощью индекса цен Бюро статистики труда для 1928 г., в 200 млрд долл. Это, конечно, не является прогнозом реального объема продукции, ожидаемого

Продолжение сноски со стр. 797.

доходов. Власть и социальное положение, — т. е. одна из главных причин, в силу которых мы ценим высокий доход, — промышленного руководителя, особенно если он — руководитель местного подразделения большевистской партии, не входит ни в какое сравнение с положением американского промышленника.

Интересный феномен — это запаздывание идей! У многих видных людей в этой стране ныне вызывает отвращение и возмущение то социальное неравенство, которое существовало 50 лет назад, но не то, которое существует сегодня. Жизнь меняется, лозунги остаются.

в этом году. Это не оценка потенциального уровня продукции при высокой, если не «полной» занятости. Это оценка того потенциального выпуска продукции, которая может быть произведена при определенных условиях, о которых мы скажем ниже. Как таковой, он высок, но не является ни необычным — назывались и более высокие цифры, — ни необоснованным. Это согласуется с прошлым опытом долголетнего нормального функционирования этой системы: если мы применим наш нормальный темп роста 3,7% в год (см. выше, гл. 5) и показатель валового национального продукта 1928 г. в 9 млрд долл., то получим немногим менее 200 млрд долл. для 1950 г. Не стоит уделять этому особого внимания. Но вместе с тем повторяю, что возражение, согласно которому эта экстраполяция бессмысленна, *поскольку* темп роста дохода не достигал этого уровня в 30-х годах, не учитывает именно этого факта и лишь доказывает, что возражающий не способен его понять. Однако что касается потенциального объема продукции, показатели, достигнутые в результате действия системы во время войны, наверняка выглядят более убедительными: если военная статистика чего-нибудь стоит, то валовой национальный продукт к 1943 г. в ценах 1928 г. был именно таким, что к 1950 г. можно было ожидать достичь уровня в 200 млрд долл.

Теперь *предположим*, что эта возможность реализуется на практике[5].

Для возмещения и новых «инвестиций» (включая жилищное строительство) вычтем 40 млрд (20% ВНП, т. е. среднюю по десятилетиям с

---

[5] Считается, что реализация этой возможности предполагает 40-часовую рабочую неделю плюс сверхурочные на грани возможного. Но полная занятость не предполагается. Определения полной занятости и оценки количества работающих, которые удовлетворяют любому данному определению, широко варьируются и предполагают не только статистические выкладки, но также и некоторые довольно тонкие теоретические соображения. Я должен согласиться с утверждением, что в условиях американского рынка труда и учитывая, что величина общей рабочей силы в 1950 г. составит около 61 млн чел. (включая 2 или 3 млн чел. в вооруженных силах), я не могу предположить, чтобы *статистическое* количество безработных женщин и мужчин могло быть в том году ниже 5—6 млн чел., — цифра, которая включает, кроме явной вынужденной безработицы (т. е. вынужденной безработицы, которая будет таковой при любом определении), значительную величину полувынужденной безработицы и просто статистической безработицы. Эта цифра не включает «скрытую» безработицу. Я полагаю, что она совместима с 200-миллиардной отметкой, которую мы ставим в этом году. Речь здесь идет не о специфических пороках капиталистической системы, но о тех свободах, которые капиталистическое общество предоставляет рабочим. Даже в книге сэра Уильяма Бевериджа о полной занятости есть скрытые намеки на регулирование и принуждение. Я должен добавить, однако, что я представляю 1950 г. как год циклического процветания. Если это будет не так, то все наше рассмотрение следует отнести к тому году процветания, который последует за ним. В среднем за хорошие и плохие годы (статистическая) безработица будет выше, чем 56 млн чел., — может быть, 78 млн. Тут нечему ужасаться, поскольку, как будет показано, для облегчения участи безработных могут быть приняты адекватные меры. Но циклические колебания капиталистической экономики несут основную ответственность за превышение безработицей «нормального уровня».

1879 по 1929 г. согласно расчетам профессора Кузнеца)[6]. Значение оставшихся 160 млрд в нашем случае базируется на двух фактах. Первый: если не будет ужасающих провалов в управлении, огромная масса товаров и услуг, которые отражает эта цифра (не включающая новые дома), обещает такой уровень жизни даже для беднейших слоев общества, включая стариков, безработных и больных, который (вместе с 40-часовой рабочей неделей) уничтожит все, похожее на страдания и нужду. Как уже подчеркивалось в этой книге, доводы в пользу социализма ни в коем случае не являются полностью экономическими, а увеличение реального дохода до сих пор не удовлетворяло ни народные массы, ни их интеллектуальных союзников. Но в данном случае обещание выглядит не только впечатляющим, но и быстровыполнимым. Для его выполнения требуется не более чем способности и ресурсы, которые доказали свою силу во время войны, сдвиг от производства на военные цели, включая экспорт потребительских товаров странам-союзникам, к производству продукции для внутреннего потребления; после 1950 г. этот аргумент будет действовать a fortiori (с силой необходимости — *лат.*). Во-вторых, опять же при отсутствии ужасно плохого управления, все это может быть сделано без насилия над естественными свойствами капиталистической экономики, включая высокие премии за промышленный успех и все прочие неравенства в распределении дохода, которые могут потребоваться, чтобы заставить капиталистическую машину работать в соответствии с ее природой. *Только в Соединенных Штатах нет необходимости маскировать за современными программами улучшения социального положения трудящихся фундаментальную дилемму, которая повсюду в других странах парализует волю каждого ответственного человека, — дилемму между экономическим прогрессом и немедленным реальным увеличением дохода масс.*

Кроме того, при валовом национальном продукте в 200 млрд долл. не будет затруднений в получении государственных доходов в размере 40 млрд, не нанося при этом вреда экономической машине. Сумма в 30 млрд по ценам 1928 г. достаточна для финансирования всех функций, которые выполняли федеральные, государственные и местные правительства в 1939 г., плюс значительно возросшие военные обязательства плюс обслуживание долга и прочие обязательства, которые были выданы с тех пор[7].

---

[6] Амортизация в размере 10—12% не является завышенной для системы, работающей при таком высоком уровне производства. 8—10% на «новые» инвестиции — это, конечно, хорошо, но, по мнению многих прогнозистов, это слишком много (см. ниже, п. 5).

[7] Для наших целей нет необходимости проводить различия между государственными затратами на товары и услуги и «трансфертными платежами». Однако приблизительно мы приняли, что из 30 млрд 25 млрд будет израсходовано на первые и 5 млрд — на последние. Необходимо заметить, что мы не учитываем (для 1950 г.) пенсии ветеранам и другие пособия, эту программу следует рассматривать отдельно.

Остается примерно 10 млрд по ценам 1928 г. или соответственно большая величина при более высоком уровне цен, который может установиться[8], для 1950 г. и намного больше для последующего десятилетия, который пойдут на финансирование новых социальных услуг или улучшение уже существующих.

3. Но именно здесь, в сфере государственных финансов и государственного управления, мы должны вспомнить нашу оговорку: если не будет ужасающих провалов в управлении. В этой сфере мы действительно наблюдаем ужасающе плохое управление национальными ресурсами. С современными принципами и современной практикой вряд ли можно изъять 40 млрд при 200-миллиардном уровне валового национального продукта без ущерба для экономики. И вряд ли 30 млрд — цифра может быть и иной, если та же величина будет измерена в каких-то других ценах, а не в ценах 1928 г., — будет достаточно, чтобы удовлетворить упомянутые выше потребности. Это верно лишь в том случае, если все государственное управление будет рационализировано. Для этого необходимо устранить дублирование некоторых мер — таких, например, как в случае с подоходным налогом; а также дублирование деятельности федеральных, государственных и местных органов власти; должна быть налажена эффективная координация и точно определена конкретная ответственность отдельных органов власти; на федеральном уровне это потребует создания достаточно скоординированных министерств вместо многочисленных полунезависимых «советов» или «администраций»; необходимо избавиться и от множества других явлений, которые являются источником разбазаривания средств и препятствием на пути к эффективности, и прежде всего от того духа расточительства, когда с восторгом тратят миллиард там, где достаточно всего 100 миллионов. Современное положение вещей не предвещает ничего хорошего в деле государственного управления финансами и промышленностью, что само по себе является достаточно веской причиной того, что против государственного управления выступают многие люди, которые никак не являются «экономическими роялистами».

Но это еще не все. *Экономия* (каким непопулярным стало это слово!) может в каком-то смысле быть менее необходимой для богатой страны, чем для бедной. Ведь расточительство грозит нуждой в последнем случае, но не в первом. Но, с другой стороны, экономия, т. е. реальная экономия, а не поддельная экономия бюрократии и конгрес-

[8] Нельзя предполагать, что в целом государственные поступления будут изменяться пропорционально уровню цен. Но для нашей цели, в первом приближении, мы можем принять эту упрощенную гипотезу.

26-6854

са, которые готовы экономить на копейках, растранжиривая миллиарды, также необходима богатой стране для того, чтобы сделать эффективным использование ее ресурсов, как и бедной, для того, чтобы обеспечить необходимый минимум средств к существованию[9]. И это касается не только издержек, связанных с государственной администрацией, но также и с использованием фондов, которые выплачиваются в форме различных видов пособий. Классический пример этого — конечно, пособия по безработице, — в той мере, в какой они выплачиваются отдельным лицам.

Если только поведение рабочих, занятых или безработных, не находится под строгим государственным контролем, как в России, экономное использование денежных средств для поддержки безработных неизбежно означает, что эти пособия должны быть существенно ниже той зарплаты, на которую могут рассчитывать безработные.

Как показывает американская статистика рабочей силы, в стране обычно существует большой слой людей, которые находятся в состоянии полудобровольной-полувынужденной безработицы. Бремя этой безработицы будет возрастать благодаря свободному предоставлению пособий по безработице или вследствие того, что их ставки довольно высоки по сравнению с зарплатой, так что вряд ли можно будет достичь ВНП в 200 млрд долл.

Есть и другое условие, которое должно быть выполнено для осуществления этой возможности: «политики» и бюрократы не должны мешать ее достижению. Вполне очевидно, что экономический организм не может функционировать в соответствии со своими возможностями, если самые важные «параметры» — зарплата, цены, процент — передаются в сферу политики и становятся пешками в политической игре или, что еще более серьезно, используются в соответствии с идеями составителей планов. Это может быть проиллюстрировано тремя примерами. Первый. Фактическая ситуация с рабочей силой, если она сохранится, сама по себе достаточна для того, чтобы стать препятствием на пути к достижению уровня ВНП в 200 млрд долл., а тем более к его превышению. Определяемый ей уровень зарплаты — только одна из причин этого; важное значение имеет и дезориентация предпринимательского планирования, и дезорганизация рабочих, даже если имеющим работу оказывается не меньшее внимание, чем безработным. Препятствуя возможному расширению производства, эти условия снижают также объем занятости ниже ее возможного уровня вследствие того, что они обеспечивают сверхнормальную премию всем, кто нани-

[9] Теория, утверждающая прямо противоположное, будет рассмотрена ниже, п. 5.

мает как можно меньше рабочих, — возникает своего рода «бегство от труда»[10].

Во-вторых, какие бы достоинства ни усматривал читатель в контроле над ценами, до сих пор он был препятствием для роста производства. Я слышал, что сталинский режим поощряет критику своей бюрократии. Вот чего нет у нас. Я буду придерживаться принятого этикета и сразу же заявляю, что многие способные люди отлично справляются со своей службой в Управлении по регулированию цен; что многие другие, не столь способные, тем не менее делают все, что в их силах; я буду отметать любое сомнение, могущее возникнуть в моем сознании касательно достижений этого ведомства, имевших место вплоть до настоящего времени, в особенности потому, что самые явные его неудачи связаны с обстоятельствами, над которыми оно было невластно. И все же следует признать, во всяком случае в том, что касается настоящего и будущего, что политика поощрения роста зарплаты в соединении с контролем над ценами, если только она *умышленно не направлена* на то, чтобы принудить частное предпринимательство к капитуляции, иррациональна и враждебна быстрому росту производства. Нарушения системы относительных цен, возникающие вследствие того, что регулирующий орган может более эффективно «накрыть крышкой» цены тех производителей, у которых нет сильного политического лобби, чем те, производители которых имеют более сильное политическое лобби, снижают экономическую эффективность системы. Само по себе фиксирование цен еще не исчерпывает

---

[10] Следует отметить, что увеличение производства и рост занятости не рассматриваются нами как синонимы. На самом деле в определенных границах можно снижать занятость, не снижая производства, либо увеличивать последнее, не повышая уровня первой. Причину, по которой в современной литературе зачастую предполагается, что производство и занятость изменяются пропорционально, следует искать в одной из фундаментальных особенностей кейнсианской системы. Эта система имеет дело с достаточно краткосрочной цепочкой причинных зависимостей, что обусловлено ее предпосылкой, согласно которой количество и качество производственного оборудования остается постоянным, так что комбинация производственных факторов не может существенно меняться. Если это так (а в очень коротком периоде это примерно соответствует действительности), тогда, конечно, они изменяются вместе, хотя и не обязательно пропорционально.

Следует также отметить, что наше рассуждение предполагает, что изменение денежной зарплаты может вызвать противоположное изменение уровня занятости. Действительно, я считаю, что высокий уровень денежной зарплаты в Америке был всегда и особенно в 30-х годах главной причиной безработицы, и таких же последствий следует ожидать, если и в будущем сохранится политика высокой зарплаты. Это положение противоречит как кейнсианской ортодоксии, так и теориям некоторых других экономистов и не может быть здесь обосновано. К счастью для нас — в той мере, в какой это касается 1950 года, а не более позднего периода, — мы можем принять менее жесткую предпосылку, с которой бы согласился покойный лорд Кейнс. Он сказал, что в условиях, которые, по всей вероятности, будут преобладать в этой стране в течение последующих четырех лет, — если не произойдет дополнительного повышения цен, — более высокий уровень зарплаты будет отрицательно влиять и на производство, и на занятость, причем на последнее в большей мере, чем на первое.

всего наносимого вреда: равное значение имеют и «субсидирование» производств с высокими издержками, и дополнительная нагрузка на производителей с низкими издержками, которые усиливают неэффективность[11].

Устойчивая враждебность бюрократии, имеющей мощную поддержку со стороны общественного мнения, по отношению к промышленному самоуправлению — самоорганизации, саморегулированию, кооперированию — вот третье препятствие для упорядоченного прогресса и для такого развития, которое способно решить многие проблемы антициклической политики, а в конечном счете и проблему перехода к социалистическому режиму. Защитники бюрократии неизменно отрицают то, что имеются хоть какие-либо основания для подобной точки зрения, поскольку объединенные действия бизнесменов становятся незаконными и подвергаются преследованию только в том случае, если они включают «ограничения на основе тайного сговора». Но даже если принять эту юридическую интерпретацию преобладающей практики и официальную точку зрения на то, что такое тайный сговор или антиобщественные действия в более широком смысле[12], тем не менее остается справедливым следующее:

а) Понятие «ограничение» включает целый комплекс действий по кооперации в области ценовой и производственной политики, вклю-

[11] Я не претендую на знание того, что в конечном счете получится в результате той неразберихи, которая вызвана президентским вето, наложенным на первый Закон о ценовом контроле, и принятым месяц спустя решением о быстром снятии контроля. Однако, поскольку я готов доказать, что Управление по регулированию цен в том виде, в котором оно существовало, явилось бы преградой на пути к эффективной мирной экономике, и поскольку возможные последствия этой неразберихи наверняка будут использоваться в качестве доказательства того, что необходимо сохранить контроль над ценами, я должен просить читателя принять во внимание две вещи. Во-первых, доводы в пользу отмены контроля над ценами не являются доводами в пользу того, чтобы осуществить его немедленно, без подготовки или какого-то переходного режима, когда никто не ожидал этой меры или хотя бы как-то подготовился к ней. Во-вторых, если в ответ на свое поражение управление будет мстительно добиваться целей, избранных скорее благодаря их непопулярности, чем по какой-либо разумной причине, то могут возникнуть последствия, никак не связанные с самой отменой контроля над ценами. Что же касается проблемы инфляции, то об этом см. ниже, п. 4.

[12] На самом деле их принять нельзя. Они действительно охватывают ряд процессов, которые, как согласится каждый, должны быть поставлены вне закона в любой юридической системе. Но кроме них существуют и другие действия, в отношении которых юридическое сознание просто берет на вооружение распространенные предрассудки. Одним из примеров является ценовая дискриминация. Даже самый компетентный экономист испытывает большие трудности при анализе *всех* долгосрочных последствий этого случая. Если судопроизводство руководствуется не чем иным, кроме общих юридических правил, популярных лозунгов или пропагандистских кампаний, частица здравого смысла, содержащаяся в антидискриминационных мерах, может полностью исчезнуть. И исходящий из благих побуждений метод выборочного судебного преследования, направленный на то, чтобы разрешить те случаи, когда формально незаконная дискриминация выгодна всем участвующим сторонам, всякий, кто имеет хотя бы элементарное экономическое образование, знает или должен знать подобные случаи, — сможет тогда лишь усилить степень произвола. Мы можем лишь бегло наметить пути исправления такого положения вещей.

чая и те случаи, когда подобная кооперация выполняет крайне необходимые функции.

b) Пограничные случаи и случаи, в которых элементы ограничения хотя и присутствуют, но не составляют главного содержания соглашения, наверняка не встретят беспристрастного отношения со стороны персонала, слабо разбирающегося в проблемах бизнеса, а иногда ненавидящего систему, которую он призван регулировать, — во всяком случае ту ее часть, которая относится к «большому бизнесу».

c) Существующая и по сей день угроза преследования за проступки, которые не всегда легко отличить от нормальной деловой практики, — все это может иметь совершенно неожиданное воздействие на поведение бизнеса.

Примером последнего являются некоторые аспекты трудовых споров, проблем, связанных с деятельностью Управления по регулированию цен, а также с «антитрестовским» регулированием, которые никогда не привлекают того внимания, какого они заслуживают, а именно в том аспекте, что они высасывают всю энергию предпринимателей и менеджеров. У бизнесмена, которого непрерывно сбивают с пути не только тем, что сталкивают все с новыми институциональными условиями, но и тем, что он должен «представать» то перед одним, то перед другим управлением, не остается сил для решения своих технологических и коммерческих проблем. Это чисто механическое отношение к бизнесу со стороны экономистов и их оторванность от «реальной жизни» сказываются в том, что вряд ли хотя бы каждый десятый из них принимает в расчет этот особый «человеческий элемент», присущий деловому предприятию, которое в конечном счете является живым организмом, — хотя никто из понимающих людей не может не связать относительно вялую динамику индекса реального объема промышленного производства в 1945 г. именно с этим фактором, рассматривая его в качестве *одной* из многих причин подобного явления. И это не все. В современных условиях успех дела зависит скорее от способности решать проблемы с рабочими лидерами, политическими деятелями и государственными чиновниками, чем от деловых способностей в собственном смысле слова. Поэтому, за исключением крупнейших концернов, которые могут позволить себе брать на службу специалистов любого рода, возникает тенденция к тому, что лидирующие позиции занимают скорее темные дельцы и «любители ловить рыбку в мутной воде», чем «производители».

Читателю может показаться, что будущее политики, отличающейся всеми этими особенностями, очевидно — она непременно погибнет в буре справедливого негодования либо разобьется о скалы саботажа или других форм сопротивления, а потому двухсотмиллиардная цель — это несбыточные грезы. Но это не совсем так. С одной стороны, экономическая машина этой страны достаточно сильна, чтобы вы-

держать *некоторую* расточительность и иррациональность — включая, как мы знаем, некоторую безработицу, которой можно было бы избежать, — этой цены, уплачиваемой за личную свободу. С другой стороны, политические деятели и общественность недавно начали проявлять некоторые признаки «возвращения на круги своя». Мы не должны забывать ту податливость человеческой натуры, о которой мы так много писали в этой книге (см. в особенности гл. XVIII). Эксперимент с «Новым курсом» и периоды войн не показательны, потому что промышленная буржуазия никогда не считала, что подобные условия продлятся долго. Однако в этот период она все же получила какой-то «урок». Поэтому все, что потребуется, — это сравнительно небольшое изменение существующей налоговой системы, если не для достижения максимальной эффективности, то хотя бы для доведения ее до приемлемого уровня[13]. Другое направление состоит в том, что сравнительно небольшое усиление легальной защиты, обеспечиваемое, может быть, посредством соответствующей кодификации промышленного законодательства, могло бы устранить всевозможные неприятности или опасность произвольного вмешательства в дела бизнесменов, а воз-

[13] К примеру, заметьте, что это не более чем один из возможных способов — может быть, достаточно осуществить следующие меры: *a)* устранить двойное обложение той части доходов промышленных корпораций, которая выплачивается в виде дивидендов; учитывая британский опыт, это вряд ли вызовет «взрыв справедливого негодования»: американская практика носит немецкое происхождение, а чисто формальные доводы в ее пользу были даны немецким экономистом Адольфом Вагнером (1835—1917). *b)* Разрешить вычитать из налогооблагаемого дохода ту часть дохода, которая направляется на инвестиции. Лично я согласен с проф. Ирвингом Фишером в том, что вычитаться должна *сберегаемая* часть (особенно учитывая опасность инфляции). Но, щадя чувствительность сторонников кейнсианства, я вынужден ограничиться лишь инвестируемой частью. Технические трудности не носят серьезного характера, по крайней мере, они не являются непреодолимыми. *c)* Принять на вооружение какой-либо из имеющихся методов, который допускал бы полный вычет из облагаемого дохода потерь, понесенных на протяжении данного периода времени. *d)* Осуществить национализацию, систематизацию и разработку системы налогов на продажи или налога с оборота. Это должно понравиться тем, кто восхищается Россией. В самом деле, при тех ставках косвенных налогов, которые существуют в России (например, 31 цент на фунт пшеничной муки высшего качества (в Москве, в 1940 г.) или, — учитывая, что перевод рублей в доллары — дело сомнительное, — 62% розничной цены картофеля, 73% — сахара, 80% — соли: (см. Haensel P. Soviet Finances // Openbare Financien, 1, 1946) при населении, столь отчаянно бедном, как население России, налог на продажу может быть подлинным бедствием; но при умеренных ставках и в такой богатой стране, как США, — это отличный и совершенно безвредный инструмент государственных финансов, особенно полезный в деле финансирования проектов, выгодных исключительно для групп с низкими доходами. С его помощью можно собрать пять или шесть миллиардов так, что никто этого и не почувствует. Но поскольку правительства штатов и местные органы власти должны будут получить компенсацию за потерю доходов вследствие национализации данного налога, — строго говоря, конечно, некорректно говорить о его «введении» — и поскольку к тому же потребуются некоторые изменения существующих акцизов, чистый доход Федерального казначейства может быть оценен не более чем в 3 млрд долл., так что налог на продажи плюс акцизы могут дать в сумме примерно 910 млрд долл. *e)* Провести национализацию и пересмотр в сторону резкого снижения налога на имущество, что даст немалые выгоды вдовам и детям; это обусловлено тем, что существующее законодательство, имеющее конфискационный характер, ▶

росший опыт органов регулирования и лучшее обучение их персонала сделали бы все остальное[14]. Более того, не так давно страна обнаружила готовность принять законодательство типа закона о восстановлении экономики. А что касается ситуации на рынке труда, то определенный комфорт может быть обретен на основе того, что предлагаемая здесь политика не только не отказывается ни от одного из главных социальных достижений «Нового курса», но и должна обеспечить экономический базис для дальнейшего прогресса. В частности, следует отметить, что закон «О ежегодной зарплате» представляет угрозу нашим целям только в том случае, если он будет введен, станет осуществляться и финансироваться таким образом, чтобы причинить максимальный вред. Сам по себе он не вызывает возражений[15].

Даже в этом случае нужна изрядная доля оптимизма, чтобы ожидать, что все эти необходимые изменения осуществятся, или хотя бы рассчитывать на то, что условия, в которые поставлены отечественные политики, способны вызвать волю к проведению подобной серьезной, самоотверженной работы, не приносящей славы, изобилующей и трудностями, и поистине неблагодарной.

Продолжение сноски со стр. 806.

устраняет один из существенных компонентов капиталистической системы. [Речь идет о налоге на наследство, который в США до сих пор чрезвычайно высок. — *Прим. ред.*] Каждый, кто одобряет подобную конфискацию по внеэкономическим причинам, со своей точки зрения совершенно прав, вступая в защиту соответствующей конституционной поправки; тот же, кто одобряет подобную конфискацию в силу экономических причин (см. с. 373 последней книги лорда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» — либо работы, написанные под ее влиянием), просто заблуждается. Мы не касаемся здесь вопроса о том, какие меры могли удовлетворить соответствующие *политические* интересы. На самом деле большинство предложений о налоговой реформе, которые до сих пор исходили от деловых кругов, носили весьма умеренный характер, что должно, по всей видимости, показать хотя бы то, насколько «образованным» стал класс деловых людей.

[14] Здесь я подхожу к проблеме, гораздо более важной со многих других точек зрения, нежели с той, о которой шла речь. Хорошая бюрократия возникает медленно и не может быть создана, когда этого захочется. Бюрократические органы США обнаруживают все признаки болезни быстрого роста, причем в такой степени, что принятие решительных мер становится необходимым не только в общественных интересах, но и в интересах самой бюрократии. Помимо всего прочего вашингтонская бюрократия еще не нашла своего места. Постоянно случается так, что отдельные ее представители осуществляют свои собственные программы, чувствуют себя реформаторами и ведут переговоры с конгрессменами, сенаторами и членами прочих структур через головы своих руководителей. Какая-нибудь идея может неожиданно приобрести характер движущей силы, происхождения которой никто не ведает. Все это может привести лишь к неудачам и хаосу.

[15] Чтобы проиллюстрировать это, вспомним недавнюю историю. Сторонники «Нового курса» в самом начале 30-х годов с иронией относились к лозунгу «Реформа или восстановление». Эта ирония лишь доказывает, что их беспокоила доля правды, содержащаяся в этом лозунге. На самом деле как политический лозунг он был абсолютно верен. Однако следует помнить, с какими ошибками и сколь безответственно осуществлялась «реформа». Мы сейчас находимся в таком же положении. И несчастье состоит в том, что вред, наносимый экономическому процессу развития капитализма, — это как раз то, что больше всего нравится в реформах некоторым людям. Реформа, не содержащая подобного разрушительного элемента, была бы для них совершенно непривлекательна. Реформа же, сопровождаемая политикой, обеспечивающей успешное развитие капитализма, была бы для них наихудшим вариантом.

Множеству людей понравилась бы та Америка, которая могла бы возникнуть в итоге такой работы, но они возненавидели бы человека, который ее осуществляет.

4. До сих пор мы ничего не говорили о «проблемах переходного периода». Фактически они не имеют отношения к нашей теме, за одним исключением: трудности переходного периода могут вызвать ситуации и спровоцировать меры, которые способны на время воспрепятствовать росту производства и полностью лишить смысла наши «оценки экономических возможностей». Самым очевидным и самым серьезным примером является опасность инфляции. Индекс оптовых цен в 1920 г. был в 2,3 раза выше, чем в 1914 г. И это произошло в результате войны, которая была короче, чем нынешняя, и потребовала не только гораздо меньше товаров и услуг, но и меньше затрат на единицу товаров и услуг. Не было ничего похожего на нынешний отложенный спрос. А налоговые привилегии обеспечили необходимые стимулы к тому, чтобы инвесторы сохранили свои значительные накопления облигаций военных займов. Что же касается современности, то общая сумма депозитов (срочных и до востребования, исключая межбанковские и депозиты правительства США, за вычетом счетов, которые находятся в процессе обработки) плюс наличность, находящаяся вне банков, составили в апреле текущего года* 174 млрд долл. (в июне 1929 г. — 55,17, а в июле 1939 г. — 60,9). К тому же ничего нельзя сказать о том, какая часть правительственных облигаций, принадлежащих частным лицам, будет обращена в наличные деньги, *не для выплаты задолженности, а для иных целей.* Любой понимающий человек должен осознать, что означает это в данных обстоятельствах, особенно учитывая потворство правительства безрассудным всеобщим требованиям увеличения денежной зарплаты — ведь инфляция приходит нам через зарплату[16]. К тому же для него не составит трудности сделать эти выводы как о тех авторах, которые твердят, что у нас *«нет»* опасности инфляции[17], так и о тех, которые считают, что необузданная инфляция находится уже не за горами. Чтобы подчеркнуть один момент, имеющий отношение к нашей аргументации, и учитывая невозможность удовлетворительного анализа этой проблемы в рамках

* [1946. — *Прим. ред.*]

[16] Пусть читатель отметит, что это утверждение вполне соответствует кейнсианской теории и потому будет с одобрением встречено вашингтонскими [то есть правительственными. — *Прим. ред.*] экономистами.

[17] В их число следует включить тех составителей прогнозов динамики послевоенного спроса, которые считали, что сразу после исчезновения значительной части государственных военных заказов наверняка последуют сильный спад и огромная безработица, потребующие дальнейшего увеличения расходов на базе дефицитного финансирования. Об этих (краткосрочных) прогнозах см. статью Э. Шиффа в следующем номере «Review of Economic Statistics». Соответствующие долгосрочные прогнозы будут рассмотрены в п. 5.

этой книги, позвольте мне для того, чтобы внести ясность, сформулировать мою личную точку зрения: мне представляется возможным — *возможным* — поставить цель иметь в 1950 г. уровень цен, превышающий уровень 1928 г. примерно на 50% (при наличии более высоких всплесков внутри периода). Мне кажется, что будет *разумным* использовать в этих пределах движение цен в качестве инструмента адаптации; представляется, что боязнь подобного увеличения общего уровня цен, как и страх перед его снижением в последующие годы, сильно преувеличены. Но для того чтобы удержать неизбежное повышение цен в этих границах, необходим ряд мер, причем крайне непопулярных. Все они требуют для достижения желаемого результата опыта и способностей, которых я не вижу. Некоторые из этих мер отчасти должны сократить темп роста производства. Никто не сможет противостоять угрозе инфляции, не препятствуя росту производства. Если же вместо этого не делается ничего, кроме создания другой «Администрации по регулированию цен» и усиленного обложения налогами именно тех доходов, от которых — даже согласно доктрине наших радикалов — не исходит угроза инфляции, и если к тому же зарплата стремится вверх невзирая на последствия, то может сложиться ситуация, при которой Вашингтон обратится к таким неуклюжим и жестким мерам, как девальвация, «замораживание» депозитов, «прямой контроль», преследование «спекулянтов» и «монополистов» или других козлов отпущения, не трогая при этом фермеров. Все это может так спутать карты, что мы окажемся не в непосредственной близости к нашей цели — 200 млрд долл. ВНП, а в условиях недоделанного социализма. *Это один из вариантов развития событий.* Возможны, конечно, и другие.

5. Остается сделать некоторые замечания по поводу того, что для многих экономистов является послевоенной проблемой par excellenxe [преимущественной — *фр.*]: как обеспечить адекватный уровень потребления. До сих пор мы действительно видели много причин к тому, чтобы сомневаться в возможности достижения нашей цели — 200 млрд долл. валового национального продукта в долларах 1928 г. к 1950 г. Но все они коренились в том, что на пути могут возникнуть препятствия, *внешние* по отношению к бизнесу. Однако вопрос о том, что бизнес сам способен породить подобные препятствия, был поставлен многими экономистами, большинство из которых, хотя и не все, придерживаются определенных политических и теоретических взглядов. Мы будем называть их термином, ставшим весьма распространенным, — «стагнационистами»[18].

[18] О некоторых общих аспектах теории стагнации см. гл. X.

Определенный тип теории стагнации был развит покойным лордом Кейнсом. С ее применением к существующей ситуации читатель может лучше всего познакомиться, изучив один или несколько из тех прогнозов уровня послевоенного спроса, которые были сделаны в последние несколько лет[19]. Их авторы согласны с нами в оценках *потенциально* возможного уровня производства в 1950 г., называя цифры того же порядка, что и наши, так что для простоты мы можем по-прежнему говорить о валовом национальном продукте в 200 млрд долл. Они даже более оптимистичны, чем мы, в том отношении, что не настаивают на необходимости создания внешних условий, благоприятных для успешного развития капитализма[20], исходя из молчаливого допущения, что сохранятся современные политические, административные и трудовые отношения.

Больше того, я откажусь от всех возражений, которые могут у меня возникнуть относительно их оценок неизбежного минимума безработицы или правильности их статистических методов, я соглашусь также с различными гипотезами, с помощью которых они получают свои показатели чистого национального дохода и располагаемого дохода (общая сумма индивидуальных доходов за вычетом налогов и принудительных неналоговых платежей). Для определенности предположим, что величина располагаемого дохода составляет примерно 150 млрд, а нераспределенные прибыли корпораций — около 6 млрд[21].

Послевоенный спрос, т. е. общая сумма, которую, как ожидается, частные домашние хозяйства будут тратить на потребительские товары (за исключением новых домов), получена на основе данных за период, предшествовавший войне, — скажем, за период 1923—1940, — исходя из среднего отношения между величиной расходов на эти потребительские товары на душу населения и величиной душевого располагаемого дохода (причем обе величины дефлированы по индексу стоимости жизни), с последующим умножением этого соотношения на

---

[19] Самые важные из них были критически проанализированы А.Г. Хартом в статье Model Building and Fiscal Policy // American Economic Review, Sept., 1945. Поэтому дальнейшие ссылки не нужны.

[20] Признаюсь, я иногда удивляюсь, сознают ли они, какой потрясающий комплимент означает это для частного предпринимательства.

[21] Эти цифры приближаются к тем, которые получены одним из экономистов, оценивавших величину послевоенного спроса. Они не мои. Несовместимы они и с данными, которыми мы пользовались во второй части. Что касается процедуры, применявшейся для прошлых периодов, — здесь гипотезы, конечно, заменены фактами — см. Federal Reserve Bulletin, April, 1946. P. 436. Следует, однако, отметить, во-первых, что эти цифры даны в текущих ценах и, во-вторых, что огромные «чистые сбережения частных лиц» ничего не говорят о норме сбережений для «нормальных» времен и что даже соответствующие показатели для 1937, 1938, 1939 и 1940 гг. нельзя использовать некритически, в особенности без учета определения сбережений, принятого Министерством торговли.

величину располагаемого дохода в 150 млрд долл.[22]. Если эта процедура даст, к примеру, сумму в 130 млрд, то остается разница в 20 млрд, она образует личные сбережения, и если к ним добавить нераспределенные прибыли корпораций, то совокупные сбережения составят 26 млрд.

Дальнейшие рассуждения обычно ведутся вокруг способов использования этой суммы, инвестиционных возможностей (нового строительства, увеличения товароматериальных запасов, зданий и оборудования, «иностранных» инвестиций). При этом делаются выводы или предположения, что экономика, видимо, не сможет абсорбировать ту сумму, которую люди готовы будут сберегать при условии достижения в 1950 г. уровня национального дохода, соответствующего полной занятости, — во всяком случае, это невозможно без помощи правительства. Отсюда — необходимость государственных расходов на жилищное строительство или государственное стимулирование иностранных инвестиций. Позднее, однако, большую популярность получили другие рекомендации. Но так как в современных условиях всякий, кто защищает дефицитное финансирование, рискует показаться чудаком, то вашингтонские экономисты сменили курс и стали выступать за сбалансированный бюджет, но такой бюджет, который балансируется с помощью крайне высокого уровня налогов, причем налогов в высшей степени прогрессивных, способных элиминировать большие доходы, от которых в основном и исходит угроза больших сбережений. Это соответствует лозунгу, согласно которому (вследствие сбережений, осуществляемых получателями высоких доходов) «в современном обществе конечной причиной безработицы является неравенство в доходах».

Итак, высокий уровень национального дохода, который мы связываем с решением множества экономических и социальных проблем, сам по себе оказывается крайне серьезной проблемой. Поскольку высокий доход означает большие сбережения и поскольку эти сбережения не будут полностью компенсироваться инвестициями, экономика не сможет сохранить высокий уровень дохода и занятости, — при условии, что этот высокий уровень вообще достижим, — если этому не поможет фискальная политика. Следует отметить, что пусть частично, но эта теория завоевала поддержку общественного мнения, особенно со стороны бизнеса. Нет ничего более понятного, чем суждение, согласно которому все будет хорошо, если только заставить людей

[22] Фактически процедура несколько сложнее. Используемые уравнения регрессии содержат также трендовый показатель, который отражает возможные изменения данного соотношения во времени. Кроме того, следует принимать во внимание воздействие отложенного спроса и накопленных ликвидных средств. Но для того чтобы сосредоточиться на главном, мы не углубляемся во все эти детали.

«полностью использовать их доходы» или если только мы сможем «обеспечить достаточный потребительский спрос».

Представляет особый интерес вопрос о том, почему просвещенный человек, интересы которого явно не связаны с какой-либо политической программой, предполагающей расширение государственных расходов или выравнивание доходов, тем не менее проявляет внимание к этой теме. Мышление коммивояжеров, присущее этой стране, а также двадцатилетний опыт, предшествующий войне, — вот все объяснение, которое я могу дать тому удивительному факту, что данная теория просто не осмеяна в силу ее полной несостоятельности.

Те оппоненты теории стагнации, которые стремятся доказать, что валовой национальный продукт и, следовательно, доход будет ниже, а инвестиционные возможности — выше, чем это предполагают сторонники данной теории, оптимистичные в первом случае и пессимистичные — во втором, упускают главное. Правда, в их аргументации много справедливого. В частности, можно подчеркнуть, что в 1830 г. никто не предвидел или не мог предвидеть спрос на капитал эры железных дорог или 50 лет спустя — спрос на капитал эры электричества. И все же решающий аргумент гораздо проще всех прочих.

Теория стагнации покоится на постулате, согласно которому индивид сберегает в соответствии с устойчивым психологическим законом[23], независимо от наличия или отсутствия инвестиционных возможностей. Очевидно, что это нельзя назвать нормальным случаем. Обычно люди сберегают в ожидании некоторого дохода в денежной форме или в форме услуг каких-то «инвестиционных благ». Дело не только в том, что основная часть индивидуальных сбережений — и, конечно, практически все сбережения бизнеса, которые составляют большую часть сбережений, — осуществляется с намерением куда-то их инвестировать. Как правило, решение инвестировать и очень часто сам акт инвестирования предшествует сбережению. Даже в случаях, когда человек сберегает, не имея определенных инвестиционных намерений, любое промедление в принятии инвестиционного решения наказывается потерей дохода в течение этого периода. Отсюда, по-види-

[23] Этот психологический закон говорит, что расходы *общества* на потребление C (а следовательно, и величина сбережений S, которую оно желает иметь) зависят от национального дохода Y, причем таким образом, что когда Y увеличивается на ΔY, C возрастает на $\Delta C < \Delta Y$, или $\Delta C/\Delta Y < 1$. Таково существо кейнсианской гипотезы, известной под названием потребительской функции. Но сам Кейнс иногда, а его последователи довольно часто использовали более строгую предпосылку, согласно которой по мере роста дохода *процентная доля* сбережений возрастает. Нас здесь интересует только основная гипотеза. Следует, однако, заметить, что называть ее психологическим законом неверно. Психологический закон в применении к экономической теории — это звучит в лучшем случае сомнительно. Однако указанная предпосылка в той же степени не заслуживает этого наименования, как и, например, предположение о том, что интенсивность нашего желания получить еще один ломоть хлеба снижается по мере того, как мы съедаем все большее количество ломтей.

мому, следует, что, во-первых, пока люди не видят инвестиционных возможностей, они обычно и не сберегают, и потому в период, когда исчезают инвестиционные возможности, исчезают и сбережения; и, во-вторых, всякий раз, когда мы видим, что люди обнаруживают «предпочтение ликвидности» (стремление к тезаврации), т. е. желание сберегать, не желая при этом инвестировать, то это следует объяснять особыми причинами, а не каким-то психологическим законом, постулируемым *ad hoc*.

Подобные причины существуют, причем одна из них имеет особо важное значение в самой низшей точке циклических депрессий — в среднем в каждый десятый год. Когда все выглядит в черном свете и люди не ждут ничего, кроме убытков, чем бы они ни занимались, тогда, конечно, они перестанут инвестировать свои текущие сбережения (и даже реинвестировать суммы, которые поступают им от предыдущих вложений) либо будут откладывать инвестирование, с тем чтобы выиграть на дальнейшем сокращении цен. В то же время сбережения не только не сократятся, но даже возрастут у тех, кто ожидает неминуемого снижения доходов от своего бизнеса или вследствие безработицы. Это важный элемент механизма депрессий, и государственные расходы в условиях дефицитного бюджета, действительно, представляют один из самых очевидных способов прорвать подобный «порочный круг». Однако на этой основе нельзя строить никакой теории «перенакопления», поскольку подобная ситуация случается только вследствие депрессии и, следовательно, не может объяснять последнюю. Но — это явление позволяет объяснить психологический закон Кейнса. Великая депрессия 1929—1932 гг. и последующее медленное оживление экономики все еще у всех в памяти. И психологический закон, и базирующаяся на нем теория тезаврации — все это представляет собой обобщение того опыта[24].

Тезаврация, обусловленная депрессией, следовательно, не является подлинным исключением из нашей общей концепции, согласно которой решение сберегать зависит от решения инвестировать и потому предполагает инвестирование, хотя обратное вовсе не справедливо, поскольку можно финансировать инвестиции с помощью банковских займов, и в этом случае нет никаких оснований говорить о чьих-либо сбережениях[25].

---

[24] Подобная аргументация вместе с факторами военного времени способна объяснить накопление ликвидных средств во время войны без обращения к гипотезе ненасытного стремления к тезаврации, якобы внутренне присущей человеческой природе.

[25] Наша концепция, однако, не так проста, как это может показаться читателям, незнакомым с дискуссией, которая ведется с момента опубликования «Общей теории» Кейнса (1936 г.). Она скорее напоминает, чем повторяет, старую теорему «классической теории» (Тюрго, А. Смит, Дж.С. Милль) и не может быть обоснована теми же аргументами, которые бы удовлетворили классиков. Чтобы изложить ее полностью, требуется длительная и утомительная аргументация, притом отнюдь не вдохновляющая, поскольку она ▶

Кроме кажущихся, существуют и подлинные исключения. Но ни одно из них не имеет важного значения. Примером подлинных исключений является тезаврация с целью накопления сокровищ, которые, как все знают, достигали огромных размеров в Индии, Китае и Египте; или сбережения вследствие привычки, которая, раз появившись, может, как любая другая привычка, превзойти всякие разумные пределы[26]. Примерами кажущихся исключений, подобных случаю тезаврации в условиях депрессии, являются накопление с целью финансирования очень крупных инвестиционных проектов, — случай возможный, но, очевидно, не существенный; либо «сбережения», которые предпринимаются на непредвиденный случай, на старость и т. п. и которые будут предприниматься, даже если не существует никаких возможностей получения от них какого-либо «дохода», кроме ощущения безопасности[27].

Продолжение сноски со стр. 813.

дает совсем немного новых и интересных заключений и лишь разрушает то, что было построено с таким трудом в течение 30-х годов. Недостаток места не дает нам углубляться в нее. Но об одном следует упомянуть, дабы избежать недоразумения, столь же достойного сожаления, сколь и естественного. Хотя наша концепция показывает, что стагнационная теория не может основываться на данном аспекте *сбережений* и хотя *в этом смысле* проблемы сбережений не существует, это не означает, что не существует *других аспектов* проблемы сбережений. Они существуют. Большинство из них концентрируется вокруг того случая, когда индивидуальные сбережения через покупку ценных бумаг используются для выплаты банковских долгов, которые фирмы наделали в ходе расширения своих предприятий и установки нового оборудования. Но это уже другое дело.

[26] Привычка сберегать, глубоко укорененная в буржуазном образе жизни, особенно в его пуританском варианте, может показаться существенной. Однако исчезновение инвестиционных возможностей, которое лишило бы эту привычку рациональности, в отсутствие других внешних факторов является медленным процессом, в течение которого есть время для адаптации. Вашингтонские экономисты, которым, тем не менее, нравится утверждать, что ставшая иррациональной привычка сберегать определяет экономическую ситуацию, сталкиваются с неизбежной альтернативой: они должны признать *либо*, что ситуация 30-х годов характеризовалась тезаврацией, обусловленной депрессией, что означает отказ от теории вековой стагнации; *либо*, что привлекательность инвестиций сравнительно неожиданно сократилась благодаря внешнему фактору, а им не могло быть ничто иное, кроме политики, которую они сами поддерживали. Если они примут последнее объяснение, то мне нечего будет возразить.

[27] То, что этот мотив не имеет большого значения, есть следствие главным образом двух обстоятельств: во-первых, эти накопления в настоящее время истощаются (хотя с изменениями национального дохода и возрастного распределения населения увеличения и сокращения в целом не будут в точности уравновешивать друг друга); и, во-вторых, до тех пор, пока есть хоть какие-нибудь сбережения, которые мотивируются получением денежного дохода, наличие в валовом «предложении» элемента, не мотивируемого этим стимулом, вовсе не подтверждает какой-либо тенденции к избыточным сбережениям. Это не нуждается в дополнительном подтверждении. В действительности же этот довод можно усилить, учитывая, что в современных условиях страхование чрезвычайно сокращает объем сбережений, которые предпринимаются в целях обеспечения на случай старости, для жен и детей, — то, что ранее подразумевалось под накоплением «состояния» (хотя, конечно, оно не оставалось неинвестированным). Сегодня подобные накопления осуществляются путем «вычетов из потребления» и сводятся к величине страховой премии. Рост страхования на протяжении последних 25 лет, таким образом, противоречит тому, что вытекает из писаний сторонников теории стагнации.

Итак, если бы печали стагнационистов были единственным, что вызывало бы у нас беспокойство, мы не имели бы серьезных препятствий в нашем стремлении достичь уровня валового национального продукта в 200 млрд долл. Если при этом окажется, что все 20 млрд сбережений не удастся инвестировать при норме дохода, удовлетворяющей предельного сберегателя, что же, люди были бы только счастливы истратить все остальное на потребление. Нам не надо тревожиться ни о том, чтобы побудить их «полностью использовать свои доходы», ни о том, чтобы искать сферы приложения для корпоративных и личных сбережений. В частности, нам не следует думать о необходимости стимулировать заграничные инвестиции, защита которых в современных условиях не имеет ничего общего с попыткой улучшить ситуацию в стране и на самом деле означала бы навязывание ей военной контрибуции[28].

С другой стороны, стоило бы согласиться со сторонниками дефицитного финансирования государственных расходов в следующих обстоятельствах. Если по причинам, связанным с механизмом экономического цикла, либо по каким-либо иным существует опасность «понижательного кумулятивного процесса», т. е. если возникает ситуация, когда сокращение производства со стороны А побуждает Б ограничивать свое производство и т. д. по всей экономике; когда цены падают потому, что они уже упали; когда безработица питает самое себя, то дефицитное финансирование расходов позволит остановить эту «порочную спираль», а потому, если мы предпочтем игнорировать все прочие соображения, оно может быть справедливо признано эффективным способом лечения[29].

---

[28] Я далек от того, чтобы говорить или думать, что по моральным или политическим соображениям нельзя требовать от американского народа больших жертв. Но тогда это и надо честно обосновывать моральными и политическими причинами, а не отрицать реальность этих жертв, базируясь на сомнительной экономической теории. Предположение, согласно которому часть избыточных сбережений могла бы быть полностью направлена по каналам, откуда со всей очевидностью нет надежды получить их обратно, не говоря уже о доходах, является самым коварным, поскольку класс, которому следовало бы противиться такой политике, примет ее с готовностью. Ведь при системе государственных гарантий отдельный бизнесмен почти ничем не рискует или рискует очень немногим. И вряд ли его тревожит вопрос национальных потерь — особенно если ему говорят, что благодаря росту занятости вследствие этих инвестиций нация только выиграет.

[29] Вот почему законопроект Мюррея в своей первоначальной форме (не только в той форме, в какой он был принят) был неприемлем *в той мере, в какой речь шла о чисто экономических соображениях*. Полное отрицание способности государственных расходов порождать доходы в *любых* обстоятельствах объяснимо и оправдано для людей, которые полагают, что, как только использование этого инструмента будет разрешено, распахнутся двери для всех видов законодательной и административной безответственности. Но чисто экономическими причинами это обосновать нельзя.

По-настоящему возражать следует не против доходотворческих государственных расходов в условиях кризисной ситуации, — уж коли она возникла, — а против политики, ведущей к подобной кризисной ситуации и вызывающей подобные расходы.

6. Однако, как может заметить читатель, в той мере, в какой речь идет о прогнозе того, что произойдет в реальной действительности, то наши выводы, к сожалению, не слишком бы отличались от выводов сторонников теории стагнации. Хотя мы не видим никакой опасности со стороны склонности людей к сбережениям, есть масса других вещей, которых следует опасаться. Волнения рабочих, регулирование цен, раздражающее администрирование, иррациональное налогообложение — всего этого вполне достаточно, чтобы вызвать такие последствия для роста дохода и занятости, которые будут выглядеть как подтверждение теории стагнации и действительно могут создать ситуацию, в которой неизбежно появятся государственные расходы, финансируемые с помощью дефицита. Мы можем даже стать свидетелями того, что внешне ситуация будет выглядеть как чрезмерность сбережений, когда люди будут отказываться от принятия инвестиционных решений. Мы обсуждали возможный вариант. При этом мы обнаружили, что внутри самого экономического процесса нет причин, которые мешали бы инвестированию. Мы видели также, что это может произойти в результате действия внешних факторов. Я не претендую на то, чтобы знать, каков будет реальный исход. Каков бы он ни был, это будет решающий фактор, определяющий социальную ситуацию не только в США, но и во всем мире. Но только для следующей половины столетия или около того. Долгосрочный диагноз, поставленный в этой работе, от этого не меняется.

3. Российский империализм и коммунизм

Другой фактор, имеющий отношение к нашему диагнозу, это победа России над ее союзниками. В отличие от экономического успеха Соединенных Штатов эта победа — не только возможность, но на данное время свершившийся факт. Исходные позиции России не были слишком сильны. Эти позиции были таковы, что согласно всем правилам политической игры она должна была бы согласиться на все, что пожелали бы навязать ей ее союзники, и занять периферийное место в новом мировом порядке. Однако в результате войны ее влияние поднялось до такого уровня, которого она никогда не знала в царские времена, вопреки тому, чего, вероятно, хотелось бы Англии и Соединенным Штатам. А ее специфические методы — ее высшее достижение! — позволили России распространить фактическую власть за пределы своих официальных завоеваний и в то же время хорошо замас-

кировать ее, так что те мнимые уступки в опасных пунктах, которые удовлетворяют эскапистов и миротворцев, ни в коей мере не требуют с ее стороны никаких реальных жертв, даже если они, как это иногда имеет место, не несут с собой реального выигрыша[30].

Если читатель припомнит цели, которыми правительство Соединенных Штатов мотивировало свою политику начиная с 1939 г., — демократия, свобода от страха и нужды, защита малых наций и т. п., то ему придется признать, что все происшедшее означает на деле поражение не менее полное, чем можно было бы ожидать, если бы Россия одержала военную победу над двумя ее главными союзниками.

Этот результат прежде всего требует объяснения. Боюсь, что историки, которые не признают ничего, кроме объективных факторов, — плюс, может быть, элемент случайности — не смогут достаточно хорошо справиться с этой задачей. Безличные или объективные факторы все были против России. Даже ее огромная армия была не просто продуктом огромного населения и богатой экономики, но результатом деятельности одного человека, которому удалось держать это население в состоянии крайней бедности и страха и мобилизовать все силы слаборазвитого и порочного промышленного аппарата на цели войны. Но и этого было бы недостаточно. Те, кому не понять, как переплетаются удача и гениальность, укажут на счастливые случаи в длинной цепи событий, вершиной которых стал колоссальный успех. Но эта цепь событий содержит столько же, если не больше, отчаянных ситуаций, во время которых большевистский режим имел все шансы погибнуть. Политический гений состоит прежде всего в способности эксплуатировать благоприятные возможности и нейтрализовать неблагоприятные события настолько полно, что в итоге поверхностный наблюдатель заметит только первые. Рассматривая события начиная с первого мастерского хода — «взаимопонимания» с Германией, — мы узнаем почерк мастера. Действительно, Сталин никогда не встречался с человеком равных с ним способностей. Но это только еще раз говорит в пользу той философии истории, которая оставляет достаточно места для учета качеств действующих лиц, а в данном случае — личных качеств лидера. Единственную уступку, которую подобный реалистический анализ может сделать «объективной теории», состоит в следующем: в вопросах внешней политики все те соображения, которые

[30] К примеру, предоставление мнимой независимости странам, находящимся под полным ее контролем, таким, как Польша, с которыми мы настойчиво обращаемся как с независимыми агентами, увеличивает число голосов, которые имеются в распоряжении России в международных организациях, а также субсидии и займы, которые российское правительство может получить; Россия оказалась бы гораздо слабее, чем сейчас, если бы она непосредственно аннексировала всю Польшу.

отвлекают внимание демократического лидера, автократу не мешают[31].

Во-вторых, рассматривая развитие событий в деталях, можно понять, как возникла эта невероятная ситуация, однако это не помогает нам осознать, каким образом мир смирился с этой новой реальностью. Вся проблема сводится к отношению к России со стороны Соединенных Штатов, поскольку рассчитывать на существенное сопротивление истощенных, страдающих от голода, уязвимых для Российской армии стран континентальной Европы, конечно, не приходится. Единственная континентальная страна, действительно независимая от России, — это Испания. Этот факт подтверждается недавней российской политикой в отношении этой страны. Франция, возможно столь же независимая, имеет самый сильный российский гарнизон в Европе в лице коммунистической партии[32]. Что касается Англии, то существует мно-

---

[31] Кто-то из читателей заметит, что в этом пункте мы затрагиваем старый спор между представителями социологии истории, а также между историками. Поэтому необходимо разъяснить, что я не поклоняюсь героям и не принимаю лозунга: «История делается (отдельными) людьми». Методология, которая лежит в основе данной аргументации, позволяет сказать не более того, что сказано. В объяснении исторического развития событий мы используем огромный спектр данных. Среди них имеются и данные о климате, плодородии, о размере и т. п. отдельных стран, а также качественные особенности их населения, не меняющиеся в течение коротких периодов времени. А поскольку качественные особенности населения не определяют единственным образом качества политических деятелей, а последние, в свою очередь, не определяют единственным образом качество руководства, эти два фактора следует перечислить отдельно. Иначе говоря: в данном случае мозг и нервы человека, стоящего у руля, являются такими же объективными фактами, как содержание железа в руде, имеющейся в стране, и наличие или отсутствие в ней молибдена или ванадия.

[32] Этот факт чрезвычайно интересен. Вероятно, некоторые американцы верили, что французы встретят свое освобождение с огромной радостью и благодарностью и тут же примутся за восстановление демократической Франции. На деле же мы сталкиваемся с тем, что Леон Блюм в смягченной форме назвал convulescence fatiquée [вялое выздоровление — *фр.*], что в переводе с французского, видимо, означает всеобщее неприятие демократических методов. Здесь имеются три партии, примерно равные по численности и равно неспособные создать эффективную демократическую систему правления: народное республиканское движение (католическая и голлистская партии), социалистическая и коммунистическая партии. Для нас имеют значение три момента: практически полное отсутствие «либеральных» групп; полное отсутствие какой-либо группы, с которой бы американские политики могли бы тесно сотрудничать; и, наконец, самое важное — влияние коммунистов. Очевидно, это влияние нельзя объяснить приверженностью коммунистическим принципам столь огромного числа французов. Многие из них вовсе не являются коммунистами в смысле приверженности доктрине. Это коммунисты, *ad hoc*, т. е. коммунисты, убеждения которых обусловлены национальной ситуацией. А это значит, что они просто занимают пророссийскую позицию. Они смотрят на Россию как на «великое событие нашего времени», как на силу, которая (помимо долларов, выделяемых США на возрождение) действительно имеет вес, как на державу, к которой Франции следует прилепиться и с которой, если Франция желает возродиться, следует выступать вместе против Англии и Соединенных Штатов в любой будущей войне, которая, как раз поэтому, должна превратиться в своего рода мировую революцию. Это открывает потрясающий клубок проблем! Однако мое сожаление по поводу невозможности углубиться в них несколько смягчается сознанием того, что мои читатели скорее всего не согласятся с подобной аргументацией.

жество признаков, свидетельствующих о том, что, избери она свой собственный путь, весь ход событий после 1941 г. был бы совсем иным и что вся политически значимая часть английского общества оценивает существующее положение с неудовлетворением и страхом. Если, тем не менее, Англия не заняла жесткой позиции, то только потому, что если бы она это сделала, она навлекла бы на себя ужасный риск — риск вступить в войну с Россией в одиночку. Вполне вероятно, что Соединенные Штаты присоединились бы к ней, *но в этом нет полной уверенности.* Почему?

Для наблюдателя с другой планеты абсолютно очевидно, что со всех точек зрения эта страна (США) не может терпеть ситуацию, при которой значительная часть человечества лишена того, что мы считаем элементарными человеческими правами; ситуацию, в которой жестокости и беззакония больше, чем в тех странах, против которых велась война; в которой огромнейшая власть и престиж сконцентрированы в руках правительства, воплощающее полное отрицание принципов, которые кое-что значат для большинства населения Соединенных Штатов. Наверняка американскому народу не стоило приносить такие жертвы, чтобы участвовать в конфликте, который принес неслыханные страдания миллионам ни в чем не повинных женщин и детей, если главным его результатом станет освобождение самого могущественного из всех диктаторов от двух окружавших его армий. Наверняка это тот случай, когда полдела хуже, чем ничего. Больше того, другая половина дела была бы не только возможна, но и сравнительно легко осуществима, поскольку после победы над Японией военная и техническая мощь США, не говоря уже о ее способности предоставлять экономическую помощь или отказывать в ней, обеспечивали ей непререкаемое превосходство.

Но если бы инопланетный наблюдатель рассуждал таким образом, мы должны были бы возразить ему, что он не понимает политической социологии. В сталинской России внешняя политика сохранилась такой же, какой она была при царе. В Соединенных Штатах внешняя политика — это внутренняя политика. Здесь есть своя внешнеполитическая традиция. Но по сути своей это традиция изоляционизма. Здесь нет традиции и нет соответствующих органов, которые позволили бы осуществлять другие варианты внешней политики. Страна, возбужденная навязчивой пропагандой, может принять политику активных действий за океаном. Но она скоро устает от этого, и как раз сейчас она устала — устала от ужасов современных способов ведения войны, от жертв, налогов, военной службы, бюрократического регулирования, военных лозунгов, идеалов мирового правительства — и жаждет вернуться к обычному образу жизни. Побуждение ее к дальнейшему напряжению сил — в отсутствие непосредственной опаснос-

ти нападения — было бы плохой политикой для любой партии или группы давления, которая пожелала бы сделать это. Однако подобного желания, видимо, и не проявляет ни одна партия или группа. Те, которые были движимы страстной ненавистью к Германии или национал-социалистическому режиму, удовлетворены. С помощью тех же аргументов, которые они прежде использовали, осуждая политику умиротворения гитлеровской Германии как эскапистскую, они поддерживают теперь такую же политику по отношению к России. А если мы проследим систему интересов, которые формируют направление и характер американской политики, то обнаружим, что все они, хотя и по разным причинам, поддерживают подобное умиротворение. Фермеров мало что заботит. Что касается организованного рабочего класса, то истинно пророссийское крыло, может быть, существенным образом влияет на него, а может быть, и нет, а потому неясно, выступят ли профсоюзы или некоторые из них с активным протестом против войны с Россией. Нам не следует вдаваться в этот вопрос, на который обычно безоговорочно дается либо отрицательный, либо положительный ответ, поскольку для политика в нынешней ситуации имеет значение лишь тот факт, что вне сомнения рабочий класс, не выступивший за войну в 1940 г., сегодня определенно настроен против войны. Однако самое интересное состоит в том, что то же самое можно сказать и о классе деловых людей — их отношение, хотя, конечно, и не является пророссийским по чувствам и намерениям, на деле таковым является. Радикальная интеллигенция любит приписывать буржуазии намерение задушить Советскую Республику. Она наверняка стала бы квалифицировать войну с Россией как войну, которую большой бизнес ведет против России. Ничто не может быть дальше от реальной действительности. Класс деловых людей также устал от военных лозунгов, налогов и регулирования. Война с Россией остановила бы тенденцию развития, которая в настоящее время благоприятствует интересам бизнеса, и принесла бы с собой еще более высокие налоги и еще большие масштабы регулирования. Она укрепила бы позиции рабочего класса. Более того, она не только бы нарушила действия бизнеса внутри страны, но и похоронила бы все его самые заманчивые перспективы. Советская Россия может стать очень крупным клиентом. Она никогда еще не отказывалась платить вовремя. И этот факт зачастую сводит на нет буржуазную критику социализма. Так уж работает голова у буржуазии — работает всегда, даже при виде веревки палача. Но не так уж трудно позабыть об этой неприятной картине. Пусть Россия проглотит одну-две страны, что из того? Пусть дадут ей все, что она хочет, и она перестанет хмуриться. Через двадцать лет Россия станет такой же демократической и мирной

страной, как мы, — и будет думать и чувствовать так же, как мы. А кроме того, Сталин к тому времени умрет[33].

И еще одно. Эта книга не ставит своей целью помочь читателю сделать определенные практические выводы, ее цель — представить исследование, которое может оказаться полезным при конструировании его собственных практических выводов. Кроме того, в вопросах, столь подверженных случайностям, вмешательству новых и неожиданных факторов, прогноз может быть только простым пророчеством, а потому не может иметь научной основы. Полагая, что это само собой разумеется, тем не менее, я хочу изложить то, что, как мне кажется, естественно из нее следует, единственно для pour fixer les ideés (того, чтобы зафиксировать наши идеи — *фр.*). Можно сказать иначе: что касается великой проблемы социализма в целом, то нам хотелось сделать как раз то, что мы и делали на протяжении всей книги: экстраполировать наблюдаемые тенденции.

Существующие факты доказывают, что если Сталин не сделает первой ошибки в своей жизни, то в ближайшие годы не будет войны, и России никто не помешает разрабатывать ее ресурсы, перестраивать экономику и дальше создавать ту самую громадную, абсолютно и относительно, военную машину, какую только видел мир. Оговорка, ограничивающая, но, как я полагаю, не отменяющая практическую важность данного вывода, состоит в следующем: *явный* акт агрессии — настолько явный, что даже друзья-приятели окажутся в затруднении, трактуя ее как совершенно оправданное «оборонительное» действие, — несомненно, может вызвать войну в любой момент. Но против такой возможности свидетельствуют следующие факты: во-первых, ничто во внешней политике сталинского режима не поражает больше, чем ее осторожность и терпение; во-вторых, этот режим может выиграть все, просто сохраняя терпение; в-третьих, используя уже завоеванные вершины, он может позволить себе быть терпеливым, сдавая передовые рубежи при первых признаках реальной опасности или

[33] Последние фразы — это все цитаты. Они особенно показательны и полезны именно потому, что не являются ответами на вопросы, заданные во время интервью, когда интервьюируемое лицо непосредственно высказывается по данному вопросу. Это спонтанные высказывания, сделанные без опасения того, что говорящий обнаружит свои подлинные размышления по данному поводу, или, точнее, свое не приведенное в логическую систему, полуосознанное отношение к этому вопросу, которое он стремится рационально осмыслить *для себя*. За исключением третьего, выделяющегося своей наивностью, вышеприведенные утверждения или похожие на них встречались не раз. Почти во всех случаях собеседник указывал на иррациональность позиции говорившего (в том числе на ее несоответствие позиции 1939—1941 гг.). И ни в одном случае не было получено логически обоснованного ответа или возражения, за исключением а) выражения своего рода благородного негодования или б) жеста безнадежности, который, по-видимому, должен был означать признание критики, но с оговоркой: «а что поделаешь?»

встречаясь с «жестким тоном», как он это недавно делал[34]. Ситуация, однако, изменится после периода реконструкции, скажем, через 10 лет. Военная машина будет готова и станет все более трудным не использовать ее. Больше того, пока Англия не примет большевизм и *вдобавок* не откажется от всех своих традиционных позиций, само существование этого независимого острова может оказаться для российской автократии невыносимым, как это было невыносимо для наполеоновской автократии, и наоборот. Осознание этого факта, конечно, и составляет существо предупреждения Черчилля и является оправданием начавшейся гонки вооружений.

Но для того, чтобы оценить все это, следует иметь в виду другое. В условиях мира, в период возможной будущей войны и в еще большей степени в существующей промежуточной ситуации, не военной, но пропитанной угрозой войны, коммунистические группировки и партии во всем мире, естественно, имеют наибольшее значение для российской внешней политики[35]. В итоге нет ничего удивительного в том, что официальный сталинизм в последнее время вернулся к пропаганде концепции борьбы между капитализмом и социализмом — неминуемой мировой революции, — невозможности длительного мира, до тех пор, пока где-либо существует капитализм, и т. д. Тем более важно понять, что подобные лозунги, хотя они полезны и необходимы с российской точки зрения, искажают реальную картину российского империализма[36], и принимать определение, предназначенное для бо-

---

[34] Следует отметить, что ни одного из этих трех факторов не было в Германии 1939 года. Некоторые читатели будут возражать по поводу третьего факта, во всяком случае в отношении ситуации, сложившейся после Мюнхена. Но это только потому, что наше отношение к германским амбициям совершенно отлично от того, как мы сегодня относимся к российским амбициям. С политической точки зрения решающее значение имеет то, что Германия тогда еще не полностью восстановила свою национальную территорию, в то время как сталинский режим всего лишь шел на компромиссы — если он вообще шел на них — за счет территорий других наций. А это гораздо проще. Более того, к «жесткому тону», упомянутому в тексте, до сих пор прибегали только для того, чтобы предупредить дальнейшую агрессию.

[35] К счастью, для последующей аргументации нет необходимости углубляться в вопрос о том, насколько сильна коммунистическая пятая колонна в этой стране. Во всяком случае, она сильнее, чем кажется на основании статистики или официальных заявлений представителей рабочих групп, и, конечно же, не является ничтожно малой. Споры по этому вопросу и о возможном влиянии пророссийских настроений на эффективность возможных военных действий мне кажутся бесполезными не только вследствие преобладающей заинтересованности в их недооценке или, напротив, в преувеличении, но и вследствие неспособности участвующих ясно определить сам вопрос. Позиция некоторых из них может быть на деле пророссийской, не будучи, как мы видели, пророссийской по своим чувствам и намерениям. И можно быть коммунистом, не занимая фактически пророссийские позиции.

[36] Словом «империализм» настолько часто злоупотребляли в популярной политологии, что необходимо определить, в каком значении я употребляю его здесь. Однако для наших ограниченных целей нет необходимости анализировать это явление (я сделал это в книге, опубликованной примерно тридцать лет назад [«Империализм и общественные классы». Оксфорд, 1919]).

лее тонкого исследования. Вместо этого мы удовлетворимся следующим определением, неадекватность которого я полностью сознаю (оно, однако, соответствует употреблению данного термина в гл. IV и XI этой книги): империалистической называется политика, направленная на распространение контроля данного правительства на группы иной национальности против их воли. Это та политика, которую Россия проводила до войны в отношении Внешней Монголии и Финляндии, а во время и после войны — в отношении всех остальных стран. Важно то, что эта политика не знает какого-либо предела. Фразеология при этом не имеет никакого значения, если не считать соображений относительно пятой колонны, и не имеют ничего общего с социализмом. Российская проблема состоит не в том, что Россия — социалистическая страна, а в том, что она — Россия. Фактически сталинский режим по существу является милитаристской автократией, которая благодаря тому, что она правит с помощью единственной и жестко организованной партии и не признает свободы прессы, разделяет одну из определяющих характеристик фашизма[37] и эксплуатирует массы в марксистском смысле этого слова. Мы можем понять и посочувствовать американскому интеллектуалу, настолько запутанному, что тот вынужден называть этот режим, хотя бы в перспективе, демократическим социализмом, и в то же время мы вправе не верить в ожидаемые им перемены, поскольку этому противится наш разум. Проявляющееся стремление этого режима расширять свое влияние на всю Европу и Азию, очевидно, нельзя просто отождествлять с тенденцией к становлению социализма. Из этого даже не следует, что российская экспансия будет способствовать распространению социализма в любом более обычном смысле этого слова. Будет она этому способствовать или нет — зависит исключительно от реальных и предполагаемых интересов российской автократии (см. последнюю часть предыдущей главы). Последнее можно проиллюстрировать на аналогичном примере религиозной политики сталинизма: до тех пор, пока это соответствовало интересам автократа, религия считалась опиумом для народа; когда же они поняли, что Православная церковь может оказаться более полезным инструментом внешней политики, нежели коммунизм или Всемирная федерация профсоюзов (1945 г.), Россия объявила себя «христолюбивой нацией» и вместо царского «обер-проку-

[37] Это еще один термин, который вследствие неправильного употребления потерял свою определенность. В Соединенных Штатах термин «фашистский» обычно применяют к любой политике, группе или стране, которые не нравятся тому оратору или автору, который этот термин употребляет. Здесь же он означает в соответствии с политической теорией, изложенной в этой книге (гл. XXII), политический метод осуществления монопольного — в противоположность конкурентному — руководства. Следует отметить, что это вовсе не означает, что сталинизм во всех прочих отношениях — это «то же самое, что гитлеризм или итальянский фашизм».

рора Священного Синода» появился наряду с новым Патриархом, который немедленно оказался заядлым путешественником по странам Восточной Европы, коммунистический председатель «Совета по делам Православной церкви». Действительно, есть серьезные основания ожидать национализации промышленности во всех странах, в которых Россия имеет свободу действий, не сдерживаемую тактическими соображениями внешней политики: ведь завоевателю легче управлять и использовать национализированную промышленность, к тому же последняя не может стать центром сопротивления. Но других причин нет. И невозможно сказать, будет ли этот мотив преобладать над всеми прочими[38].

Можно даже предположить, что дальнейшее расширение мощи России может со временем стать препятствием развитию в том направлении, о котором думает и мечтает большинство людей, когда они произносят слово «социализм».

Смешивать проблему социализма с проблемой России — если только это не обман, осуществляемый в пользу России, — значит искажать социальную ситуацию в мире. Россия связана с проблемой социализма только в двух аспектах. Во-первых, в силу самой логики ситуации наличие коммунистических групп и прокоммунистических фракций в некоммунистических группах будет способствовать радикализации политики в области трудовых отношений. Это не всегда так, например, французские коммунисты голосовали против двух важных мер, направленных на социализацию. Но в общем, даже если целью является исключительно дезорганизация капиталистических стран, эта тенденция будет утверждаться и дальше. Во-вторых, в случае войны мы столкнемся с теми социальными и политическими последствиями, которые несет с собой всякая война в современных условиях. Тот факт, что это будет война между якобы социалистической и якобы капиталистической страной, мало что изменит.



[38] Будьте любезны, читатель, отметить, что все утверждения, приводимые и подразумеваемые в данной аргументации, можно проверить, если необходимо, по русским источникам. Фактически все, что существенно для нашего доказательства, особенно для нашего диагноза российского режима, можно установить, не обращаясь за подтверждением к фактам, которые можно было бы оспорить. Я намеренно воздержался от упоминания всего того, что хотя и казалось бы полезным с точки зрения иллюстрации природы этого режима, но опиралось бы на недоказанные факты, такие, как убийства в завоеванных и контролируемых странах, мафиозные группы в Грузии, концентрационные лагеря. Наша аргументация ни в коей мере не пострадала бы, если бы то, что можно назвать жестокостью, полностью отсутствовало.

ДВИЖЕНИЕ К СОЦИАЛИЗМУ*

I

Чтобы по возможности сократить опасность недопонимания, которая всегда присутствует в дискуссиях на темы, вроде той, которая обсуждалась на данной сессии, я хочу сделать несколько предварительных замечаний, прежде чем обратиться к основному предмету, а именно — к роли современного *инфляционного давления для будущего экономики этой страны***.

1. В данной статье я определяю [централистский] социализм как такую организацию общества, в которой средства производства контролируются, а решения о том, как и что производить и кто и что должен получить, принимаются органами власти, а не частными (по собственности и контролю) фирмами. Поэтому все, что мы имеем в виду, когда говорим о «движении к социализму», — это перемещение экономической деятельности людей из частной в общественную сферу. Заметьте, что хотя и социалисты, и антисоциалисты имеют собственное мнение об этом предмете, вряд ли возможно представить такое социалистическое общество без огромного бюрократического аппарата, который управляет производственным и распределительным процессами и, в свою очередь, контролируется или не контролируется органами политической демократии наподобие тех, какие мы имеем сегодня, — парламентом или конгрессом, и рядом политических деятелей, позиции которых зависят от результатов конкурентной борьбы за голоса избирателей. Следовательно, мы можем отождествить движение к социализму с подчинением частной промышленности и торговли государству. Очевидная парадоксальность того, что тот же

---

* Йозеф Шумпетер выступил со своей лекцией «Движение к социализму» перед Американской экономической ассоциацией в Нью-Йорке 30 декабря 1949 г., при этом он пользовался заметками, а не подготовленной рукописью. Он записал эту лекцию для публикации в журнале этой ассоциации и за вечер до своей смерти почти успел закончить свою статью. Он собирался закончить ее на следующий день (8 января 1950 г.), перед отъездом в Чикаго, где он должен был выступить с лекцией в Фонде Уолгрина. Настоящая статья представляет собой первый вариант, тщательно написанный, как и все другие его сочинения, его собственной рукой; у него не было возможности сделать небольшие поправки или написать заключительный параграф. Исправления, состоящие в основном в расстановке знаков препинания или в добавлении случайно отсутствовавших слов, сведены к минимуму. Краткий заключительный параграф был написан женой Шумпетера на основе его замечаний и по памяти.

** [США.]

процесс описан классической социалистической доктриной как «отмирание государства», легко устраняется, если принять во внимание Марксову теорию государства. Отметим далее, что социализм не исключает децентрализованного принятия административных решений — так же как централизованное управление армией не исключает инициативу со стороны командиров подразделений. Обратите внимание, наконец, что социализм в нашем смысле не обязательно, т. е. не с логической необходимостью, исключает конкурентный механизм, как это следует, например, из модели Ланге—Лернера. Свобода потребительского выбора и свобода выбора профессии может быть ограничена в социалистическом обществе, но это не является неизбежностью.

2. Я не выступаю в защиту социализма. У меня нет никакого намерения дискутировать по поводу его желательности или нежелательности, что бы при этом ни имелось в виду. Для меня более важно, однако, четко заявить, что я не «пророчествую» и не предрекаю его пришествие. Любой прогноз — это вненаучное пророчество, которое стремится сделать нечто большее, чем поставить диагноз наблюдаемым тенденциям и показать, каким может быть результат, если эти тенденции будут действовать в соответствии с собственной логикой развития. Само по себе последнее не означает прогноза или предсказания, так как факторы, считающиеся по отношению к данному ряду наблюдений внешними, могут своим вмешательством изменить первоначальный вывод. Анализ явлений, подобных социальным, не настолько удобное занятие, как астрономические наблюдения: наблюдаемые тенденции, даже если они полностью проявляют себя, могут быть совместимыми не с одним, а с несколькими исходами. Кроме того, существующие тенденции, встречаясь с сопротивлением, могут не проявить себя полностью или «застрять» где-то на полдороге к результату. Попробуем проиллюстрировать это пункт за пунктом. Во-первых, ни один компетентный, и конечно же достаточно беспристрастный, наблюдатель событий в России времен Столыпина не мог бы обнаружить наличие какой-либо тенденции к тому, что хоть как-нибудь напоминало ленинскую систему: шла быстрая экономическая эволюция и замедленная адаптация к ней общественных институтов. Именно война и последующий военный и административный крах породили большевистский режим, и никакой антинаучный детерминизм не может опровергнуть этот факт. Во-вторых, ради краткости я говорю о централистском социализме только потому, что он занимает почетное место в дискуссии. Но и другие возможности не следует игнорировать. Известные факты о нашей собственной тред-юнионистской практике показывают, что развитие в направлении какой-то формы гильдейского социализма нельзя совсем сбрасывать со счетов. И другие известные факты показывают, что наблюдаемые тенденции, или некоторые из них, могут быть совместимы с формами социальной реорганизации

общества, которые вовсе не являются социалистическими, во всяком случае в том смысле, которого мы придерживаемся в данной статье. Например, реорганизация общества в духе экциклики Quadragesimo anno, хотя и возможна только в католическом обществе или в странах, где позиции Католической церкви достаточно сильны, без сомнения, представляет альтернативу социализму, в которой нет «всемогущего государства». В-третьих, самые очевидные тенденции любого рода могут приостановиться до полного своего развития. Так, социалистический режим в этой стране стал бы гораздо более отчетливым, если бы здесь хотя бы задумались о том, чтобы затронуть интересы независимого, поддерживаемого с помощью субсидий фермерства. Даже позиции «мелкого бизнеса» могут оказаться слишком сильными для подчинения его бюрократии, так что значительный его сектор может сохраняться неопределенно долго на основе компромиссных мер.

Однако еще более важно следующее. По мере того, как экономические проблемы смещаются из частной в общественную сферу, многие требования, вызывающие эту миграцию, оказываются полностью или частично удовлетворенными, так что данная тенденция может утратить свою движущую силу. Некоторые экономисты в дополнение к этому отмечают, что постепенное движение в сторону планируемой из центра экономики способно вызвать неблагоприятные процессы, выступающие в качестве сдерживающих факторов. У меня нет времени объяснять причины, почему обе эти точки зрения я не расцениваю достаточно высоко и почему, в частности, результаты, которые, как мне представляется, не будут иметь благоприятных последствий для достаточно важных социальных групп, тем не менее будут оказывать скорее стимулирующее, нежели сдерживающее, воздействие на весь процесс, т. е. в качестве лекарства против неудачной социализации будут предлагаться еще бóльшие дозы этой социализации. Но для нашей цели существенно отметить, что большинство аргументов, обосновывающих выводы в пользу выживания частнопредпринимательской экономики, в действительности вовсе не отрицают существования тенденции к социализму в нашем понимании этого слова. Эти аргументы лишь отрицают, что эта тенденция проявит себя полностью. Поскольку никто не оспаривает такой возможности, то существует опасность, что весь спор превратится в словесную баталию, особенно в Соединенных Штатах, где слова очень высоко ценятся, где термин «социализм» непопулярен, за исключением очень небольших групп, и где люди, которым все же нравится сама вещь, но не нравится слово, предпочитают заменить его другим, например «либерализм»[1].

[1] По очевидным причинам еще больше проблем с термином «коммунизм», который, за исключением российского понимания, следует использовать как синоним социализма.

Поэтому я и считал необходимым коротко остановиться на классификации.

3. Причины, по которым, как мы полагаем, капиталистический порядок имеет тенденцию к саморазрушению, а централистский социализм, — с учетом упомянутых выше пояснений, — является его вероятным наследником, я уже объяснял. Вкратце и весьма поверхностно эти причины могут быть сведены к четырем пунктам. Во-первых, сам успех класса деловых людей в развитии производительных сил этой страны и сам факт, что этот успех создал новый жизненный уровень для всех классов общества, парадоксальным образом подорвал социальные и политические позиции этого самого класса деловых людей, экономическая функция которых хотя и не устарела полностью, но имеет тенденцию к устареванию и к обюрокрачиванию. Во-вторых, капиталистическая деятельность, будучи по сути «рациональной», имеет тенденцию к распространению рационального образа мышления и к разрушению тех привычек к лояльности и к подчинению низших слоев высшим, которые, однако, важны для эффективного функционирования институционализированного лидерства на производственном предприятии: ни одна социальная система не может функционировать, если она базируется на сети свободных контрактов между (законодательно) равными партнерами, в которой каждый руководствуется ни чем иным, кроме собственных (краткосрочных) утилитарных целей. В-третьих, концентрация класса деловых людей на проблемах предприятия и офиса создала политическую систему, структура которой, и интеллектуальный класс, интересы которого развивались независимо, а временами и противоположно интересам большого бизнеса. Последний становится все более неспособным защищать себя от атак, в краткосрочном плане очень выгодных для других классов. В-четвертых, в результате всего этого система ценностей капиталистического общества, хотя и обусловившая его успехи, теряет свою власть не только над общественным мнением в целом, но и над самим слоем «капиталистов». Не надо много времени, — хотя и больше, чем есть в моем распоряжении, — чтобы показать, каким образом современные устремления к обеспеченности, равенству и регулированию (экономической инженерии) объясняются с помощью этих процессов.

Лучший способ убедиться в том, как идет процесс дезинтеграции капиталистического общества, — это наблюдать, в какой мере его внутренние особенности принимаются за данные и самим классом деловых людей, и значительным числом экономистов, которые считают себя (на все 100 процентов) противниками социализма и привычно отрицают существование тенденции к его наступлению. Скажу только о последних. Они принимают, не подвергая сомнению, и даже с одобрением:

1) различные меры стабилизационной политики, направленные на предотвращение спадов или, по крайней мере, депрессий, а именно — значительные масштабы государственного регулирования деловой конъюнктуры, если не сам принцип полной занятости;

2) «политику большего равенства в доходах», редко определяя, до какой степени равенства готовы они пойти, и в связи с этим — принцип перераспределительного налогообложения;

3) богатый ассортимент мер по регулированию цен, нередко обосновываемых с помощью антитрестовских лозунгов;

4) различную степень государственного контроля, хотя и сильно различающуюся по своим масштабам, над рынком труда и денежным рынком;

5) неопределенное расширение сферы потребностей, которые ныне или в будущем должны удовлетворяться с помощью государственного предпринимательства, бесплатно или за плату, как, например, потребность в услугах почты;

6) конечно же, все виды законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг.

Мне кажется, на какой-то горе в Швейцарии проходили конгрессы экономистов, которые выразили неодобрение всем этим мероприятиям или большинству из них*. Но эти анафемы даже не удостоились каких-либо возражений.

Было бы полным непониманием моей аргументации, если бы вы подумали, что я «не одобряю» или намереваюсь критиковать все эти мероприятия. Не отношусь я и к тем, кто считает все или некоторые из них «социалистическими». Некоторые из них были выдвинуты еще в XVIII столетии консервативными и даже аристократическими правителями, другие содержались в программах консервативных партий и осуществлялись ими задолго до «Нового курса». Все, что мне хочется подчеркнуть, — это то, что мы действительно далеко ушли от принципов капитализма свободного предпринимательства, а также то, что можно развивать и регулировать капиталистические институты — в той мере, в какой речь идет о функционировании частного предприятия, — таким способом, который хотя и отличается от истинно социалистического планирования, но не слишком сильно. Экономисты, которых я имею в виду, несомненно, подчеркивают различия, которые, по их мнению, сохраняются. Не все они единодушно определяют место на оси капитализм — социализм, которое занимает данная система. Но все они осознают то, что не в состоянии был понять Маркс: с одной стороны — огромные производственные возможности капиталистической машины, которая обещает неизмеримо высокий массовый

* Шумпетер имеет в виду «Общество Мон-Пелерен», созданное Ф. фон Хайеком и объединяющее сторонников либеральных взглядов.

уровень жизни, дополненный бесплатными услугами, без полной «экспроприации экспроприаторов»; с другой — пределы, до которых капиталисты могут быть на деле экспроприированы без того, чтобы экономическая машина остановилась, и пределы, в которых эту машину можно заставить работать в интересах рабочего класса. Открыв эту возможность *лейбористского социализма*, они делают вывод, что *подобный* капитализм может существовать неопределенно долго, во всяком случае, при определенных благоприятных условиях. Может быть, это и так, но это не ведет к отрицанию моей теории. Капитализм не сводится только к тому, что домашняя хозяйка может влиять на производство своим выбором между горохом и фасолью; или к тому, что молодой человек может выбирать, где он желает работать — на заводе или на ферме; либо к тому, что управляющий предприятием имеет голос при решении вопроса, что и как производить; он означает систему ценностей, отношение к жизни, определенную цивилизацию — цивилизацию, основанную на неравенстве и семейном состоянии. Однако эта цивилизация быстро уходит в прошлое. Мы можем радоваться или стенать по поводу этого факта — кому как нравится; но не будем закрывать на это глаза.

Остается одна коренная проблема. Диагноз, позволяющий делать выводы в пользу выживания лейбористского социализма, опирается в основном на экстраполяцию современного небывалого роста общественных производительных сил. Но здесь присутствует и элемент неопределенности. Прошлые достижения были достижениями более или менее свободного капитализма. Нельзя предполагать без дальнейшего анализа, что лейборизм и в будущем будет функционировать так же. Мы можем не признавать тезис о стагнации в настоящее время, но в конце концов он станет реальностью, если частнопредпринимательская система будет *перманентно* перегружаться и «регулироваться» сверх ее возможностей. В этом случае непосредственно социалистическое решение может оказаться даже для врагов социализма меньшим из зол.

II

Трансформация социального порядка — процесс непрерывный, но сам по себе очень медленный. Для наблюдателя, который изучает небольшой отрезок «спокойного» времени, может даже показаться, что социальная система вовсе не меняется. Больше того, процесс часто испытывает откаты, которые, рассматриваемые изолированно, могут даже предстать перед ним как наличие противоположных тенденций. Но временами мы наблюдаем и ускорения этого процесса, и самой очевидной его причиной являются большие войны. В прошлом успешные войны могли увеличивать престиж правящего слоя и силу той инсти-

туциональной структуры, с которой этот слой ассоциировался. В современных условиях все изменилось. Первая мировая война, разразившаяся в нашу эпоху, слабо повлияла на социальную ситуацию в Соединенных Штатах, поскольку их военные усилия не были настолько изнурительными и продолжительными, чтобы оставить устойчивый след. В Европе же все было иначе. В побежденных странах, где социальная структура сгорела в огне войны, скрытая тенденция к социалистической реконструкции доказала свое существование, выступив на поверхность и в течение короткого периода снеся все на своем пути. Еще более важно то, что нечто подобное случилось, хотя и в гораздо более скромных масштабах, в странах-победительницах. Во Франции буржуазная республика в том виде, в каком она функционировала до 1914 г., перестала существовать. В Англии Лейбористская партия, которая еще не была социалистической, но уже находилась под влиянием социалистического крыла, если на деле и не доросла до власти, то доросла до ее офисов. И в обеих странах отношение политиков к частнопредпринимательской системе незаметно претерпело фундаментальное изменение.

Учитывая существовавшую подспудно тенденцию к социализму, это легко понять. Хотя голоса тех, кто призывает к продолжению экономической политики, проводившейся в годы войны, не находят большого отклика и хотя в настоящее время общественное неприятие военного регулирования блокирует дальнейшее развитие в этом направлении, возврат к довоенной политике оказался невозможным даже там, где он предпринимался. Это было проверено потрясающим образом на английской политике золотого стандарта, которая в конце концов потерпела неудачу: в мире, который перестал быть миром свободного предпринимательства, золотой стандарт — это непослушное дитя, которое продолжает говорить неприятную правду, — не работает.

Мировой кризис и Вторая мировая война явились дополнительными «акселераторами» и на этот раз оказали свое воздействие и на Соединенные Штаты. Они создали ситуацию, которую, как ощущали многие — верно или нет, — невозможно было исправить с помощью средств, рекомендовавшихся в эпоху свободного предпринимательства. Сам класс деловых людей, убоявшись тех «процессов приспособления», которые были бы вызваны применением этих мер, принял — временами, правда, не без ворчания — те инструменты регулирования, которые могли предотвратить повторение опыта 1929—1933 гг., а позднее и другие, которые способны были предотвратить послевоенный кризис типа 1921 года. Он многому научился (хотя еще большему не научился) в течение последней четверти столетия. Он признал новое налоговое бремя, даже малая часть которого казалась бы невыносимой 50 лет тому назад, — а именно так казалось всем ведущим экономистам того времени. И не важно, признает класс деловых людей эту

новую ситуацию или нет. Сила рабочего класса сама по себе достаточно велика, а в союзе с другими группами возрастает настолько, что если не на словах, то на деле отменяет приверженность системе ценностей частнопредпринимательской экономики, и это способно предотвратить любой обратный ход, за исключением случайных поворотов в целях сглаживания острых углов.

Позвольте мне повторить: я ни на минуту не думаю, что отдельные «случаи» или же события такого значения, как «тотальные войны», либо создаваемые ими политические ситуации, либо настроения и чувства индивидов или групп по поводу этих ситуаций, определяют долгосрочные контуры социальной истории — последняя есть результат действия гораздо более глубоких сил. Но я уверен, что подобные события и порождаемые ими ситуации могут отодвигать преграды с пути более фундаментальных тенденций — преграды, которые в противном случае будут замедлять ход социальной эволюции. Заметьте, что для серьезного социалиста это вовсе не обязательно дает основание приветствовать подобные события. В их отсутствие эволюция в сторону социализма была бы более медленной, но все равно неуклонной. Откаты и возникновение неуправляемых ситуаций были бы менее вероятными. Координация развития в различных секторах национальной жизни была бы более совершенной. Ибо подобно тому, как существование эффективной оппозиции является требованием упорядоченного функционирования демократического правительства, так существование экономических сил, которые сопротивляются институциональным изменениям, может быть необходимым для того, чтобы удержать скорость этих изменений в границах безопасности.

Итак, одним из самых мощных факторов, способствующих ускорению социальных перемен, является инфляция. Поскольку столь многие авторитетные лица убеждают нас в том, что ничто так не подрывает основы общества, как инфляция, то вряд ли стоит на этом задерживаться. И если это так, то, учитывая сказанное выше, из этого следует, что, какие бы позиции мы ни занимали, за исключением позиции безответственных революционеров, первостепенное значение после войны имеет такое переустройство экономического процесса, которое бы предотвратило дальнейшую инфляцию. Одновременно абсолютно ясно, что сделать это крайне трудно, когда каждый опасается краткосрочных последствий подобной политики и когда некоторые из требуемых мер — в особенности повышение многих из ранее контролируемых цен без соответствующего роста денежной заработной платы — и вовсе «политически неприемлемо»[1]. Единственный курс,

[1] Альтернативный путь — понижение прочих цен и денежной зарплаты, не только менее «политически возможный», но и гораздо более трудный, поскольку его невозможно осуществить, не вызывая серьезной депрессии.

который можно было предпринять в этих обстоятельствах и которому фактически следовали после 1945 г. — под градом взаимных обвинений, но все же при известном согласии — состоял в том, чтобы умерять трудности переходного периода определенными дозами контролируемой мирной инфляции, что было более эффективным вследствие сохранения высоких военных расходов и благодаря политике помощи Европе. По существу, все это сослужило свою службу, и если и не для всех экономистов, то для большинства людей стало очевидно, что период быстрого экономического развития, включающий обширные инвестиционные потребности, уже не за горами и что надежда на то, что главные трудности будут преодолены и что экономика Соединенных Штатов станет развиваться какое-то время на основе медленно растущих цен, вовсе не лишена оснований — что бы ни происходило, за исключением другой мировой войны, за границей.

Однако соображения такого рода не принимают в расчет одно грозное обстоятельство. При высоком уровне занятости (нам кажется, что со временем лозунг полной занятости исчезнет), обеспеченном либо «естественным» путем, либо с помощью политики высокой занятости, требования в отношении зарплаты или прочие требования, повышающие денежные издержки труда, становятся и неизбежными, и инфляционными. Они становятся неизбежными, поскольку высокий уровень занятости устраняет единственную причину, благодаря которой они не должны расти. К тому же они приобретают инфляционный характер, поскольку при высокой степени использования ресурсов банковские займы и пересмотр цен в сторону их повышения являются идеальным способом удовлетворения этих требований. Хотя переговоры все еще ведутся с отдельными профсоюзами, тенденция носит общий характер, так что мы медленно вползаем в описанную Кейнсом ситуацию, при которой денежная зарплата уже влияет не на производство и занятость, а на ценность денежной единицы. При ведущей роли профсоюзов и при существующем правительстве нет ничего, что могло бы остановить этот механизм, который, исключая отдельные ситуации в отдельных фирмах, порождает хронический инфляционный пресс. Растущие требования к казне и наши сверхпрогрессивные методы налогообложения, конечно, усугубляют эту ситуацию, но не они ее создают.

Нет нужды говорить, что перерывы в росте цен, которые случались и будут случаться, ни в коей мере не являются аргументом против существования инфляционного пресса. Даже если исключить послевоенную динамику сельскохозяйственных цен и другие вполне понятные случаи, подобные перерывы обычно случаются в ходе всех инфляций, — это можно прекрасно показать на примере инфляции в Германии после Первой мировой войны. Люди, которые «клюют» на эту удочку, начинают кричать о дефляции; так же поступают и наши дру-

зья-экономисты, которые сделали ставку на дефляционный прогноз и не в состоянии предвидеть ничего, кроме дефляции. На самом деле сомнение в том, что угрожает нашему обществу — инфляция или дефляция, — это непреднамеренный и оттого тем более искренний комплимент производственным возможностям американской индустрии.

III

Состояние хронического инфляционного давления будет оказывать многостороннее воздействие на ослабление социальной структуры общества и на усиление подрывных тенденций (хотя и тщательно облекаемых в «либеральные» фразы), которые любой компетентный экономист привык связывать с сильной инфляцией. Но это еще не все. Кроме того, некоторые обычные методы исправления подобных ситуаций будут не смягчать, а даже усиливать ее. Мне кажется, что это обстоятельство не полностью осознается. Поэтому позвольте с предельной краткостью рассмотреть три типа таких методов:

1. Самая ортодоксальная из всех мер контроля за инфляцией — это воздействие на объем займов через процентную ставку, кредитное рационирование и т. п. Конечно, я полностью осознаю, что денежные ставки должны быть освобождены из тисков политики дешевых денег, если мы хотим добиться нормализации в смысле восстановления экономики свободного предпринимательства. Для каждого, кто желает возврата к такому нормальному состоянию, либерализация — или возрождение — свободного денежного рынка, должна быть вопросом первостепенной важности. Но это не меняет того факта, что ограничительная кредитная политика в настоящее время будет давать результаты, совершенно отличные от тех, которые следовало бы ожидать в соответствии со старой теорией кредитной политики. Принимая последнюю без всяких уточнений — ради самой аргументации, — мы не можем не отметить, что она была применима к миру, в котором все было исключительно гибким и который не опасался того, что я не боюсь назвать целебной рецессией. В том мире предполагалось, что повышение процентных ставок будет сокращать объем операций, уровень денежной зарплаты и *занятости*. Наверняка в настоящее время подобные следствия не смогут материализоваться, а если и реализуются, то тут же спровоцируют действия правительства по их нейтрализации. Другими словами, в настоящее время кредитные рестрикции мало что дадут, не считая возросших трудностей для бизнеса. Даже ограничения потребительского кредита до некоторой степени будут иметь тот же эффект, хотя кое-что, вне сомнения, можно в этой области сделать.

2. Подобные же трудности встают на пути контроля за инфляцией посредством увеличения налога — этого менее ортодоксального

средства, но достаточно популярного среди современных экономистов, отрицательно относящихся к кредитной рестрикции.

Несомненно, кое-чего можно добиться увеличением налогов на потребление. В инфляционной ситуации это было бы даже хорошим примером прикладного кейнсианства. Но если повышаться будут налоги на корпорации и налоги на слои населения с высокими доходами, воздействие на инфляционный пресс окажется в лучшем случае незначительным, а может быть, и вовсе негативным. Ибо, если современный темп индустриального прогресса сохранится и, следовательно, останется современная скорость устаревания оборудования, увеличится спрос на инфляционные банковские кредиты с целью компенсации снижения имеющихся неинфляционных средств финансирования. В противном случае снижение темпов этого прогресса и устаревания действительно на какое-то время снизит инфляционный пресс, но усилит его в будущем[1].

3. Третий доморощенный способ — это прямой контроль, т. е. фиксирование цен, введение приоритетов и т. п. (включая субсидии). Почему он так популярен в глазах определенной части общества — этот вопрос не должен нас здесь задерживать.

В частности, для бюрократии возрождение этого метода означало бы завоевание потерянного пространства; профсоюзам он давал бы решительное преимущество в борьбе за завоевание куска прибыли; для бизнеса это означало бы потерю последней линии обороны, имеющейся в его распоряжении до тех пор, пока большая часть атак, а возможно, и все атаки на него могут быть частично или полностью отбиты с помощью ценовых изменений. Или по крайней мере это сделало бы упомянутое отступление зависящим от решений правительства, которое, как и следует думать, было бы принято якобы в интересах совершенствования функционирования производственного механизма. Другими словами, контроль над ценами может привести к сдаче частного предпринимательства на милость государственной власти, т. е. к большому скачку в сторону полностью планируемой экономики.

[В этом месте Йозеф Шумпетер прекратил запись своих заметок. Те, кто слышал его лекцию, припомнят, что в ее конце оставалось немного времени, в течение которого он очень кратко подвел итоги все-

[1] Мне нетрудно понять, почему этот аргумент не действует на наших друзей-радикалов. Но, признаюсь, я не могу уяснить позицию некоторых прекрасных экономистов, которых трудно заподозрить в том, что они приветствовали бы неспособность нашей индустриальной машины к успешной работе, и которые тем не менее заносят в число приемлемых мер для противодействия инфляции сокращение промышленных инвестиций, причем и здесь, и в Англии. Кстати, следует отметить, что мнение некоторых стойких консерваторов, согласно которому высокое и чрезвычайно прогрессивное налогообложение способно усиливать инфляционную опасность, а сокращение налогов (правильно избранное) — ослаблять ее, не всегда заслуживает тех презрительных насмешек, которыми их обычно награждают.

му сказанному, вернувшись вновь к своим первоначальным замечаниям относительно того, какое значение для экономического будущего этой страны при существующих политических условиях имеет нынешнее состояние инфляции. Некоторые из вопросов, которых он коснулся с «отчаянной храбостью», можно найти в более разработанном виде во втором американском или в третьем английском изданиях его книги «Капитализм, социализм и демократия», а также в статье «Есть еще время остановить инфляцию», которая появилась в 1948 г. в июньском номере журнала «Nation's Business». Последующие абзацы восстановлены по памяти и по заметкам, использованным для данной лекции.]

Я не претендую на пророчество: я лишь признаю факты и указываю на тенденции, о которых они говорят.

Хронический инфляционный пресс может играть важную роль в постепенном завоевании частного предпринимательства со стороны бюрократии — возникающие в результате этого неполадки и тупики будут при этом приписываться частному предпринимательству и использоваться в качестве аргументов для введения дальнейших ограничений и регулирующих мер. Я не говорю, что какая-то группа сознательно преследует эту цель, цели никогда не бывают полностью осознанными. Может возникнуть и такая ситуация, когда большинство людей посчитают всеобъемлющее планирование наименьшим из всех зол. Наверняка они не станут называть такую систему социализмом или коммунизмом, при этом, по всей видимости, будет сделан ряд исключений для фермеров, розничных торговцев и мелких производителей; в этих условиях за капитализм (т. е. свободное предпринимательство) как систему ценностей, образ жизни, как цивилизацию, может быть, и не стоит беспокоиться.

Стоит ли американский гений массового производства, на прошлых успехах которого базируется весь оптимизм этого образа жизни, на пороге подобного испытания, утверждать не берусь; не смею утверждать и того, что политика, ответственная за подобную ситуацию, может быть повернута вспять.

В своем диагнозе Маркс ошибался относительно того, каким способом произойдет крушение капиталистического общества; но он не был неправ, предсказывая, что со временем оно потерпит крушение. Сторонники теории стагнации ставят неверный диагноз причинам, в силу которых начнется стагнация капиталистического производства; но они могут оказаться правыми в своих прогнозах, что такая стагнация начнется — при соответствующей помощи со стороны государства.

30 декабря 1949 г.

РАЗВИТИЕ

Йозеф А. Шумпетер
С предисловием Маркуса К. Беккера, Ганса Ульриха Эслингера,
Ульриха Хедтке и Торбьёрна Кнудсена.
Перевод Маркуса К. Беккера и Торбьёрна Кнудсена*

Введение

Статья Шумпетера «Развитие»** была неизвестной до 1993 года, когда ее обнаружил немецкий ученый Ганс Ульрих Эслингер. К этой счастливой находке привело удачное совпадение. Эслингер разыскивал архивные материалы об Эмиле Ледерере, ведущем немецком экономисте, который эмигрировал в США в 1933 году и стал профессором в Новой Школе в Нью-Йорке. Просматривая содержимое дальнего ящика в архиве Государственного университета штата Нью-Йорк, Эслингер обнаружил необычную папку, подаренную Ледереру в 1932 году в честь его пятидесятилетнего юбилея. Она содержала обширную коллекцию из шестидясети девяти документов, среди которых была единственная копия статьи Шумпетера «Развитие». Таким образом, поиск Эслингером архивного материала об Эмиле Ледерере привел к счастливой находке этой неопубликованной и неизвестной статьи.

Неприметное место хранения статьи Шумпетера объясняет, почему она не была найдена раньше, однако читатель мог бы задуматься о причине, по которой сам Шумпетер не опубликовал ее. Хотя дать

* Беккер: Национальный центр научных исследований (CNRS), Бюро экономической теории и прикладной экономики (BETA). Кнудсен: Университет Южной Дании (e-mail: tok@sam.sdu.dk). Мы благодарны Мете Андрес за помощь в лингвистических вопросах, двум нашим рецензентам, Ульриху Хедтке и Ричарду Сведбергу, и редакторам Джону МакМиллану и Роджеру Гордону за комментарии. За разрешение опубликовать английский перевод статьи Entwicklung (под заголовком Development), мы благодарим Департамент специальной коллекции и архивов имени М.Е. Гренандера, библиотеки Государственного университета штата Нью-Йорк в Олбани.

** Оригинальный текст написан на немецком языке и озаглавлен «Entwicklung». Он был найден Гансом Ульрихом Эслингером в архиве, на месте, где находится и сейчас: SPE XMS Lederer, Box 1, 82.1. Архив Эмиля Ледерера, Фонд представителей немецкой эмиграции, Департамент специальной коллекции и архивов имени М.Е. Гренандера, библиотеки Государственного университета Олбани в штате Нью-Йорк. Оригинальный текст статьи доступен по адресу www.schumpeter.info.

точный ответ на этот вопрос невозможно, Шумпетер вряд ли решил бы публиковать эту статью неизмененной — это нарушило бы смысл сделанного Ледереру подарка. К тому же, сам Шумпетер эмигрировал в США в 1932 году. Вероятно, он написал «Развитие» в июле 1932-го, за два месяца до того, как взошел на корабль, который должен был отвезти его к его новому дому в Гарварде. До того, как решить опубликовать статью, Шумпетер, возможно, хотел выразить некоторые из содержащихся в ней идей в новой форме.

Сегодня «Экономическое развитие» заслуживает внимания по крайней мере по двум причинам. Во-первых, эта статья представляет собой важное дополнение к более ранним работам Шумпетера по ряду проблем, представляющих существенный интерес для современных экономистов. Во-вторых, эта статья представляет особый интерес для исследователей, изучающих творчество Шумпетера, поскольку она содержит несколько важных, но неотшлифованных идей, которые он позже выразил в более осторожной форме, и поскольку она дополняет наше понимание того, как развивалась его мысль. Цель данного введения только в том, чтобы подчеркнуть актуальность новонайденной статьи Шумпетера «Экономическое развитие» для современных экономистов. Подробный анализ, уделяющий внимание вопросам, интересующим преимущественно исследователям творчества Шумпетера, дается в отдельной, дополняющей ее статье.

Новый взгляд на анализ Шумпетером экономического развития

Статья Шумпетера «Развитие» — далеко не самое легко читаемое из его произведений. В частности, многие из потенциальных читателей могли бы счесть первую пару страниц тяжеловесной, поскольку Шумпетер «от противного» начинает статью с перечисления того, о чем он *не* собирается говорить. Было бы очень жаль, если бы это помешало читателю добраться до действительно интересных проблем, которые в ней обсуждаются. В этой связи, мы решили поместить первые несколько страниц в приложение. Мы также решили подготовить перевод, который передавал бы скорее дух, нежели букву оригинальной статьи Шумпетера*.

«Экономическое развитие» содержит ряд тем, которые современные исследователи экономического развития, вероятно, найдут инте-

* Оригинал, и перевод, сохраняющий структуру предложений в немецком языке, доступны по адресу http://www.schumpeter.info/Edition-Entwicklung.htm (оригинал) и http://www.schumpeter.info/Edition-Evolution.htm (перевод).

ресными. Помимо утверждения, что экономика является королевой всех наук, эти темы включают Шумпетерову концепцию взаимосвязи между равновесием и развитием; его попытку разграничить более-менее рутинные, и радикальные изменения, отделяя экономический рост от экономического развития; роль реальной новизны в радикальных изменениях; его убеждение, что источники и природа новизны понимались очень плохо; его размышления о применении, ограничениях применения и злоупотреблениях в использовании биологической теории эволюции в качестве модели или метафоры для экономического развития; и его веру в первоочередную значимость самого общества (или обществ) как фактора, влияющего на характер как равновесия, так и экономического развития. В основе перечисленных выше тем лежит проблема объяснения природы реальной новизны в радикальных экономических изменениях.

Используя пример из области искусства, Шумпетер убеждает, что, когда мы работаем в рамках каузального или телеологического подхода к объяснению экономического развития, никакого списка поддающихся учету элементов среды не будет достаточно, чтобы однозначно определить, как фактически произошло то или иное изменение. Для примера он выбирает художественное творчество. Согласно Шумпетеру, попытка определить причины изменений в художественном творчестве обречены на провал в силу присутствия новизны как таковой в самой природе вещей. Рассмотрим флорентийскую живопись, говорит Шумпетер. Как объяснить изменения в флорентийской живописи, произошедшие между тринадцатым и пятнадцатым веками? Как объяснить радикальное изменение в стиле живописи, произошедшее, когда Андреа Мантенья, итальянский пионер стиля Возрождения, создал «Мертвого Христа», картину, в которой используется замечательная новаторская техника, чтобы представить Спасителя таким образом, что он, кажется, «следует» за зрителем по комнате? Согласно Шумпетеру, Христа Мантеньи (Мертвого Христа) должно признать прерыванием развития именно из-за его потрясающей новизны.

Можно было бы задаться вопросом, осведомлены ли современные экономисты о проблеме новизны — в том виде, в котором она была поставлена Шумпетером, — и, если да, была ли она удовлетворительно разрешена. Используя, вслед за Шумпетером, в качестве примера инновации в художественном творчестве, Эрроу (1974) утверждает, что наше понимание конкретной художественной школы, и понимание ее самими художниками, зависит от того, насколько хорошо она нам знакома. Радикально новая идея — это новый сигнал, который бесполезен в силу того, что он не меняет никакого распределения ве-

роятности, объясняет Эрроу. Проблема новизны и новшеств остается крайне трудной. В «Развитии» Шумпетер не только выразил убеждение в том, что источники и природа инноваций понимались очень слабо, но и указал на фундаментальную связь между инновациями, неопределенностью и дискретными изменениями.

Рост и развитие

Шумпетер последовательно разграничивал постепенные изменения, которые называл ростом, и более фундаментальные, дискретные изменения — экономическое развитие. Развитие — это прерывание стационарного состояния, нарушение статического равновесия, ведущее к неопределенному будущему равновесию. Начиная с ранних его работ, Шумпетер последовательно ассоциировал развитие с прерывностью, но в «Развитии» он уточняет эту точку зрения, определяя развитие как такой переход от одной векторной нормы к другому, который нельзя разложить на последовательность бесконечно малых шагов. Употребление Шумпетером векторной нормы, кажется загадочным и позволяет оспорить разумность его определения экономического развития. В своих более поздних трудах Шумпетер продолжает пользоваться концепцией векторной нормы, однако делает это в более широком смысле.

В «Развитии» Шумпетер описывает феномен развития в целом как прерывность, возникающую в силу возникновения новых явлений. Далее, он называет объяснение природы инноваций величайшей из нерешенных задач, стоящих перед наукой. Шумпетер, очевидно, полагает экономическую науку наиболее полезной стартовой точкой для этого, в силу ее статуса количественной науки и существующей в ней концепции равновесия. Примечательно, что в «Развитии» Шумпетер признает ценность теорий Дарвина и Менделя для объяснения постепенных изменений, но, тем не менее, отвергает обе теории в качестве удовлетворительного объяснения инноваций. Интересна причина, по которой Шумпетер отвергает теории Дарвина и Менделя — они отклоняются не потому, что являются ненаучными, или в силу своего биологического содержания, а потому, что, по мнению Шумпетера, не могут улучшить наше понимание инноваций и прерывности.

Предпринимательская функция

Обнаруженная статья Шумпетера «Развитие» замечательна, поскольку является единственной работой, в которой он пересматривает и уточняет определение экономического развития, данное в «Тео-

рии экономического развития», своей наиболее важной работе, относящейся к экономической теории, впервые опубликованной на немецком в 1911 году. В статье «Развитие» Шумпетер в первый и последний раз обращается к своим ранним идеям об этом предмете. Значимость его ранней концептуализации экономического развития в широком контексте экономики в целом зиждется на том, что он отвергает экзогенные шоки в качестве фактора, объясняющего экономическое развитие. Инновации, тем самым, должны или объясняться некоторым эндогенным по отношению к экономической системе фактором, или быть отнесены к области беспричинных явлений. Как мы знаем, Шумпетер приписывал эндогенные изменения творческим актам, связанным с предпринимательской деятельностью.

Шумпетер изобразил предпринимателя как человека особого типа, лидера, мотивированного желанием действовать, который выполняет предпринимательскую функцию, реализуя новые комбинации. Таким образом, предприниматель — источник дискретных изменений; агент перемен, чьи новые комбинации вносят в экономическую жизнь турбулентность и тем самым нарушают равновесие стационарного состояния.

Удивительным образом, в «Развитии» предпринимательская деятельность как объяснение новизны отвергается. Предпринимательская активность просто передаточный механизм инноваций, говорит Шумпетер. Наблюдая за ней, мы можем получить хорошее описание новизны, но сама новизна — это фундаментальное условие, не поддающееся детерминистскому объяснению. Отказ от предпринимательской деятельности как объяснения дискретных изменений в «Развитии» — редкий случай, когда сам Шумпетер указывает, что он все еще ищет полностью адекватное объяснение новых общественных явлений, которые он охарактеризовал как дискретные изменения. Но, как показывает внимательное и последовательное прочтение его работ, проблема объяснения дискретных изменений, которая намечается в «Развитии», вероятно, была спутницей всей академической карьеры Шумпетера. Таким образом, Шумпетер продолжал дорабатывать свое объяснение дискретных изменений и свою концепцию экономического развития, показывая, что, по-видимому, так и не достиг правильного понимания.

Заключение

Удивительное открытие ранее неизвестной статьи Шумпетера «Развитие» — удобный случай для того, чтобы вновь рассмотреть основу и структуру его теории экономического развития. Не в послед-

ней степени потому, что «Развитие» — замечательная статья, помогающая понять проблему развития, занимавшую центральное место в большинстве академических работ Шумпетера.

«Развитие» показывает, что наиболее важная для Шумпетера проблема, проблема научного объяснения новизны, осталась неразрешенной. Согласно основной линии аргументации статьи, новизна представляет собой непреодолимый предел для детерминистских объяснений. Следовательно, до тех пор, пока мы хотим достичь именно такого объяснения, проблема Шумпетера останется неразрешенной. С другой стороны, и это звучит более оптимистически, Шумпетер указывает, что, возможно, новые теоретические разработки будущего помогут лучше понять недетерминированный мир, порождающий новизну.

1980е и 1990е годы ознаменовались драматическим ростом объема исследований, обращавшихся за источником вдохновения к работам и идеям Шумпетера. Актуальность понимания экономического развития и лежащей в его основе социальной динамики, очевидно, возрастает в мире, в котором все быстрее происходят глубокие и удивительные события. Последние достижения в области агентно-ориентированного моделирования, похоже, также соответствуют надеждам Шумпетера на теоретический прогресс, моделируя возникновение новых явлений, не прибегая к факторам, экзогенным по отношению к рассматриваемой системе*. Однако, неразрешенная проблема Шумпетера была глубока, и еще многое предстоит сделать до того, как ее можно будет оставить в покое.



* Axelrod. «Dissemination of Culture»; Farmer and Lo. «Frontiers of Finance»; Tesfatsion. «Structure, Behavior, and Market Power».

РАЗВИТИЕ*

Йозеф А. Шумпетер

Посмотрим на живописные полотна, созданные однородной культурной системой, имеющей хорошо определенные границы в пространстве и времени. Возьмем, например, флорентийскую живопись тринадцатого века. Мы увидим перед собой «отпечаток», внутреннюю логику которого можно считать целостной и удивительно устойчивой**. Произведения флорентийской живописи пятнадцатого века также демонстрируют такой «отпечаток». Даже сейчас нетрудно было бы нарисовать Мадонну, которую любой человек принял бы за типичную картину пятнадцатого века. Однако, эта копия носила бы «отпечаток», отличающийся от оригинала. Как объяснить такое изменение?

Начнем со следующих шагов: (1) откажитесь от оценочных суждений, не трактуйте произошедшие изменения как прогресс или регресс; (2) не интерпретируйте изменения исключительно на основе теории, перестаньте интерпретировать изменения с точки зрения, не вытекающей из эмпирических данных; и (3) избегайте предпосылок о несотворенных и неизменяемых структурах. В таком случае, вам не останется почти ничего, кроме как действовать в рамках причинно-следственного, или телеологического объяснения развития.

Известно, однако, что, действуя в этих рамках, вы с большой вероятностью обнаружите, что объяснение недоопределено. Никакого перечня опознаваемых элементов среды не хватит для того, чтобы однозначно определить, как реально произошло конкретное изменение. Скорее всего, творческий процесс — как это, вероятно, назвали бы большинство людей, — мог бы пойти по другому пути, отреагировав на те же факторы среды иначе.

Из всего того, что можно было бы сказать на эту тему, здесь нас интересует только один момент — возникновение чего-то нового в принципе всегда порождает неопределенность. Причина, по которой именно с этим видом неопределенности стоит мириться, заключается не в том, что художественное творчество и его значение принадлежат

---

* Перевод Маркуса К. Беккера и Торбьёрна Кнудсена.

** «Отпечаток» — перевод немецкого выражения «gepraegte form». Это выражение Шумпетера предполагает помимо ссылки на Аристотелеву концепцию сущности также ссылку на знаменитое выражение в поэме Гете «Первоглаголы. Учение орфиков». «Gepraegte form» означает «неизменный элемент человеческой жизни, ветхого Адама, как объяснял Гете» (Gray, 1966, p. 181).

миру, отличному от мира идентифицируемых элементов среды, и не в том, что художественное творчество никак не связано с этими элементами. Выводить содержание произведений искусства из изменений в благосостоянии или социальной структуре не было бы апогеем материалистического невежества. Нам не стоит также позволять себе искать утешение в неоправданной, ненаучной вере в детерминированные связи, лелея мысль о том, что лишь наш недостаток понимания является причиной тому, что эти связи до сих пор не были обнаружены.

Неопределенность нужно признавать — даже при том, что, объективно говоря, детерминизм с необходимостью существует всегда. Представим себе, что художественное творчество и его смыслы принадлежат к миру, совершенно отличному от мира элементов среды. Даже это не остановило бы нас от построения теории, которая устанавливала бы причинно-следственные связи между элементами социальной среды и содержанием художественных произведений — по крайней мере, если формы и нормы последних оставались бы неизменными. Мы могли бы объяснять те изменения, которые еще укладывались бы в рамки нашей теории, как адаптацию к изменениям — например, изменениям объективных социальных фактов, — и отыскать гипотезы, которые описывали бы такую адаптацию. Это возможно, даже при том что сами причинно-следственные связи не поддаются *понимающему* (verstehende) восприятию, и потому всегда останутся [в строгом смысле слова] непознанными.

Развивая теорию описанным выше образом, мы окажемся в ситуации ничуть не хуже той, в которую мы попадаем, пытаясь осмыслить физическую деятельность, применительно к которой *понимающее* восприятие воистину невозможно. Однако, это не мешает нам связывать один класс изменений с другим. В отдельных случаях это может оказаться невозможным, но так ли это — может показать лишь эксперимент. Для любой конкретной науки, не существует общего правила, которое могло бы определить, верна ли наша спецификация причинно-следственных связей. Никакое философское исследование природы вещей, вероятно, не смогло бы прояснить этот вопрос. В нашем случае, провал эксперимента обусловлен не только природой объекта, т.е. тем, как предмет исследования гуманитарных наук соответствует выявленным в них закономерностям, или общей неупорядоченностью предмета исследования гуманитарных наук, но также появлением новой интерпретации, новой техники, наконец, новизны как таковой.

Новизна заменяет тот предмет, который мы рассматривали ранее, другим, который иначе реагирует на изменение в данных. В каком-то смысле это все еще можно было бы трактовать как адаптацию — но уже не пассивную, и не детерминированную. С точки зрения любой теории, основанной на адаптации, новизна непостижима не только в

том смысле, о котором мы говорили выше, а в любых смыслах*. Какая-либо концепция, вроде «личности творца», будет лишь описательным термином, который помогает обозначить новизну, но ничего не объясняет.

Новизна является истинным ядром всего того, что необходимо признать неопределенным в наиболее глубоком смысле этого слова. Новизна всегда существует рядом с широкой гаммой, в принципе, детерминированных обстоятельств и процессов. Я придаю определенное значение этому противопоставлению, поскольку оно является естественным разрешением противоречия между детерминизмом и индетерминизмом, в той мере, в какой противопоставление одного другому имеет смысл в каждой конкретной науке. Конечно, это не касается многочисленных проблем детерминации с которыми сталкивается технический аппарат каждой науки даже в самых ее «детерминированных» областях — таких, как случай двусторонней монополии в экономической теории. Равным образом, разграничение между детерминизмом и индетерминизмом не касается проблем, связанных с реальными, наблюдаемыми объектами.

Заметим, что изменения среды тем не менее часто остаются причинами или условиями [инноваций]; никакое исследование исторических явлений не может позволить себе игнорировать их. В случае новизны как таковой, мы, однако, могли бы пойти дальше тривиальной зависимости, и рассмотреть новизну как независимую от причин и условий. Это имеет смысл даже тогда, когда мы знаем, что какие-либо изменения условий не является достаточным, но возможно, являются необходимым условием появления новой конструкции как таковой. Определенные условия среды, конечно, всегда необходимы для конкретного содержимого новой конструкции.

Этот отход от тривиальной зависимости можно, кажется, очевидным образом обосновать тем, что не изменения в природных условиях и данных порождают новые способы, например, творческого восприятия и выражения в живописи. Более того, возникновение этих новых способов не является однозначно детерминированным. В случае с проблемой, которую я пытался определить [выше], изменение, превращающее один «отпечаток» в другой, должно представлять собой трещину, рывок или прыжок. Достижение новой формы путем постепенных, небольших адаптаций старой, *не* должно быть возможным. Удерживая в памяти это замечание, мы сможем придать правильный смысл следующим вопросам: «Как возникает новизна? Поче-

* Шумпетер употребляет здесь термин «понимающее восприятие» (verstehende Erfassung), поскольку хочет показать, что даже при менее строгом критерии внятности окружающих явлений, чем собственно понимание, не имеет смысла интерпретировать новые явления как некую адаптацию. Поэтому возможность объяснения новых вещей посредством объяснения постепенных адаптаций для нас закрыта.

му некоторые люди начинают рисовать не так, как они учились, и каким образом этот новый способ рисования передается другим художникам и их зрителям? Что, с одной стороны, является «энергией» (если можно так сказать), питающей этот процесс, а с другой — механизмом этого процесса? Заметим, что даже если условные факторы проявляются посредством некого «механизма», необходимости в каких-либо конкретных внешних движителей перемен не возникает. Как конкретно люди меняют свой образ мышления? Что побуждает их делать это? Как действует новизна? Какой аспект новизны поддается наблюдению, и какие реакции и вибрации он вызывает?»

Мы могли бы задать эти вопросы применительно к любой интеллектуальной области, науке, религии и т.д., которую можно было бы ассоциировать с группой людей. По-моему, ответы на них составили бы существенную часть того, что можно было бы назвать социологией этих областей человеческого знания. Но мы не собираемся отвечать на эти вопросы здесь — скорее, мы отмечаем фундаментальную важность новых явлений. Такие явления в своей основе похожи во всех общественных науках. Мы находим новые явления в экономике точно так же, как в любой другой области жизни общества, и нет разницы между новизной в экономике и где-либо еще. Однако, как обычно, в области экономики наше видение острее, так как экономическая наука является наиболее количественной из всех наук. *Всех*, а не только общественных. Это мы принимаем как данность.

Процессы, описываемые механикой, могут быть рассчитаны, но вначале они должны быть измерены. В экономике же существуют фундаментальные явления (прежде всего, цены), которые по самой своей природе имеют количественное значение. Эти явления имеют смысл лишь в той мере, в которой являются количественными величинами, и соединены со сходными явлениями определенной количественной связью. Однажды я надеюсь доказать — не только с исторической, но и с логической точки зрения, — что сами понятия числа и численного значения имеют фундаментально экономическую природу и происходят из экономической деятельности человечества. Я также надеюсь доказать, что понятие равновесия было перенесено именно из области экономики на природу, а не наоборот. Это, очевидно, облегчает задачу формулировки точного определения новизны в экономическом смысле — поскольку, как уже говорилось, в основе своей она везде одинакова.

Именно этот количественный характер, присущий не только экономической *науке*, но и самим экономическим фактам, выдвинул проблему экономических изменений на авансцену. Несмотря на возражения той части научного сообщества, которая не склонна к строгому мышлению, количественный характер самих экономических фактов обеспечил возможность для рассмотрения экономических изменений.

Несмотря на дистанцию, отделяющую нас от работ великих экономистов, эта проблема находит свое чистейшее выражение в вальрасианской системе взаимозависимых переменных. Фундаментальная экономическая истина может быть сформулирована так: все наблюдаемые переменные стремятся поставить себя в некоторое отношение друг к другу, или, иными словами, постоянно адаптируются к изменениям в данных. Это справедливо и по отношению к историческим фактам, и в качестве логического требования. Мы интерпретируем изменения экономической ценности с точки зрения такой адаптации. Только придерживаясь этой точки зрения (и, в конечном счете, интерпретируя с этих позиций свои эмпирические наблюдения) мы можем представить себе конечное состояние, в котором отношения между экономическими переменными установились так, что может быть обеспечена полная адаптация. Таким образом, мы описываем процессы, факты, определяя их идеализированный конечный результат.

Легко показать, что это не только правильный способ вывода фундаментальной экономической теоремы, но и метод, который на самом деле использует и всегда использовал — хотя и с разной степенью совершенства, — каждый экономист, кроме тех, кто занимается экономической социологией. Мы хотим представить себе все конкретные связи между конкретными данными, соответствующими вальрасианской системе, в виде матрицы, чьи элементы будет необходимо интерпретировать как компоненты вектора. Ниже мы будем обозначать все эти компоненты как «норму» экономики.

Возможные изменения могут быть интерпретированы как обратимые отклонения от нормы, или необратимые изменения ее самой. Среди обратимых отклонений мы можем выделить виртуальные и реальные. Эта разница имеет то же методологическое значение что и в физике, поскольку она является чисто логической и не связана с какой-либо конкретной областью фактов. Единственным исключением является экономическая наука, колыбель всякой логики. И хотя мы можем полностью контролировать только маленькие обратимые изменения, как это делается в физике, но в случае изменения норм мы также не бессильны — так как обрисованную выше процедуру можно применить ко всем случаям, когда изменение нормы можно представить в виде адаптации экономики к непрерывным изменениям в данных. Практически, речь идет о *небольших* изменениях в данных в каждый момент времени, и с историческим временем здесь можно обращаться так же, как со временем теоретическим. Можно привести бесчисленные примеры возможности, необходимости и плодотворности этой процедуры, от времен классических законов кругообращения доходов и далее.

Очевидно, эта процедура не возымеет успеха, если норма меняется скачкообразно. В случае, когда вслед за скачкообразным изменением

в данных подобным же образом меняется норма, мы, за исключением тривиальностей или туманных предположений, не можем сказать, что произойдет в нашей предметной области. С точки зрения конкретных наук это вполне извинительно. Но, как вскоре выяснится, с более общей точки зрения дело обстоит не совсем так.

Оставим явления, связанные с постепенными изменениями. В случае, когда норма меняется рывком, и это происходит в системе спонтанно, та же самая проблема становится гораздо более серьезной. Лучше всего это показывает пример из области экономики: непрерывный рост населения и богатства объясняет непрерывное улучшение качества дорог и количества почтовых фургонов через постепенную адаптацию. Но, сколько бы почтовых фургонов не ездило по дорогам, железной дороги вам таким образом не получить. Этот вид «новизны» представляет собой то, что мы здесь понимаем под «развитием»: этот термин теперь можно строго определить как *такой переход от одной нормы экономической системы к другой ее норме, который не может быть разложен на бесконечно малые этапы.* Другими словами, это шаги, между которыми не существует непрерывного пути.

Должен признаться, что я создал неразбериху, впервые назвав это понятие «развитием», потому что его точное определение в то время не было найдено. Похожую путаницу вызвал и термин «динамика», который я вначале использовал в качестве синонима. Это был совершенно неправильно употребленный термин, породивший вводящие в заблуждение ассоциации. Кроме того, термин «динамика» связан с совершенно другим набором проблем в экономической теории. Только недавно я узнал, что именно та разновидность изменений, которая описывается выше, часто исключается из понятия развития. Такие скачкообразные изменения идут вразрез с распространенным пониманием развития как «закономерных» и, в том или ином смысле, предсказуемых и непрерывных изменений, каждый последующий этап которых становится понятным только будучи основан на предыдущем. С этой точки зрения, как я слышал, картина Мантеньи, изображающая мертвого Христа, была сочтена разрывом в развитии — именно потому, что она была столь новой (в том смысле, в котором новизна трактуется в этой работе)*. Я упоминаю об этом только для того, что-

* Андреа Мантенья (1430—1506), итальянский художник и гравер был, одним из пионеров эпохи Ренессанса. Картина, упоминаемая Шумпетером, «Мертвый Христос» (темпера на холсте, 68 × 81), в настоящее время находится в миланском музее «Пинакотека ди Брера». Датировка картины однозначно не установлена, существуют несколько гипотез, начиная с падуанского периода жизни художника (примерно 1457 г.), до 1501 г. Наиболее замечательной чертой картины является построение перспективы, благодаря которому, образ Спасителя как бы «следует за зрителем, перемещающимся по залу».

бы предотвратить возможное недопонимание. То, что в только что описанном общепринятом понятии называется развитием, я обычно называю ростом. Конечно, рост может быть и отрицательным.

Наше определение проводит границу между тем, что является фиксированным и определенным (или хотя бы в принципе может быть точно подсчитано) с точки зрения конкретной науки, и тем, что является неопределенным. Эта граница проводится без привлечения метафизики. В экономике она отличается от аналогичных границ между детерминированными и неопределенными явлениями во всех других общественных науках по двум причинам. Во-первых, в экономике детерминированные и неопределенные явления действительно резко отличаются друг от друга. Во-вторых, экономические факты всегда поддаются количественному измерению. Несмотря на это, различие между детерминированным и неопределенным в области экономики соответствует таковому различию в других общественных науках, и следовательно, первое может послужить прояснению природы последнего.

Более того, в качественных терминах наши возможные действия при встрече с новыми явлениями во всех общественных науках одинаковы. Существуют лишь количественные различия, зависящие от того, насколько то или иное предметное поле поддается точному анализу. Мы можем регистрировать появление феноменов, подпадающих под данное здесь определение развития. Мы можем наблюдать и детально описывать разрывы и скачки. Мы можем оценивать их важность для других явлений рассматриваемого предметного поля. Мы можем понимать вызываемые ими влияния и реакции, не только описательно, но и теоретически. Более того: мы можем, так сказать, идентифицировать точки, где возникает новизна — не только в конкретном случае, но и в целом, — и тем самым выстроить теорию механизмов, связанных с возникновением новизны. Как побочный продукт, такая общая теория порождает теории конкретных явлений, которые в ином случае остались бы непонятыми. Как правило, — особенно в области экономики, — мы можем также делать прогнозы относительно многих аспектов явлений, связанных с развитием. Мы определяем прогнозирование как однозначно определенное понимание состояния системы, характеризуемое точно рассчитанной нормой. Эти расчеты основаны на предыдущей норме. Однако, в одном случае прогнозирование невозможно, даже если предыдущая норма в точности известна — нельзя предсказать разновидность и размах самой новизны. То есть, одно состояние системы может быть выведено из другого только в рамках одной и той же нормы. Для того, чтобы состояния системы оставались в рамках одной и той же нормы, более раннее из них должно быть отклонением от равновесия нормы, а бо-

лее позднее — тяготеть к этому же самому равновесию*. *Но в рамках любой конкретной науки, одна норма никогда не может быть выведена из другой,* за единственным исключением того, что мы выше назвали ростом**.

Отсюда, возвращаясь к экономике, вытекает фундаментальная невозможность экстраполяции трендов. Аппроксимация временного ряда простейшей функциональной формой с помощью метода наименьших квадратов или любого другого не является ничем кроме описания с помощью эмпирической кривой уже произошедших событий. Сегодня более или менее общеизвестно, что такая процедура теоретически почти бессмысленна, даже если в конкретных случаях она может послужить весьма практической цели. Очевидно, соответствующая функция должна быть основана на некоторой экономической теории, или хотя бы выражать изменение признака, признанное теоретически значимым. Оценка темпа роста национального продукта — пример наиболее распространенного использования этой процедуры. Однако здесь этот вопрос нас не интересует, как и значимость того факта, что в отдельных временных точках соотношения между значениями всех временных рядов должны описываться вальрасианской системой***. По-моему эти два обстоятельства представляют собой основную проблему сегодняшней экономической теории. В соответствии со сказанным выше, интересно только то, что построение теории, которая генерировала бы формулу тренда, невозможно по самой природе изучаемых процессов, а не в силу внешних возмущений, время от времени опрокидывающих нашу повозку. В той степени, в которой мы вовлечены в экономическую теорию, общие аспекты взаимозависимостей можно оценить только с адаптивной точки зрения. Обращаться к статистическим фактам необходимо лишь при желании получить более точные знания о конкретных случаях****. С другой стороны, в анализе трендов, чтобы сказать что-либо о конкретной последовательности, нам необходимы знания о ней. Необходимым условием, однако, выступает наша способность статистически разделить экономический рост, внешние возмущения, и экономическое развитие. Далее, то, что мы можем сказать об изучаемой последовательности, справедливо только в рамках периода ее наблюдения, даже если существуют очевидные, примечательные регулярности, как

---

* Напоминаем, что, как сказано выше, Шумпетер понимал отклонение как отклонение внутри нормы, и противопоставлял его изменению самой нормы.

** Как и в других случаях, Шумпетер подчеркнул от руки выделенные места рукописи.

*** В неправленой рукописи стояло «Ziffern aller Zeitreihen eines Systems» (значения всех временных рядов системы — *нем.*). При правке Шумпетер вычеркнул слово «системы».

**** Слово «статистическим» вписано рукой Шумпетера.

это похоже, имеет место на практике. Даже если в нашей области исследований действует принцип, аналогичный постулату относительности, это не решает главную проблему.

Многим покажется очевидным замечание, что «необъяснимость» описанного выше экономического развития может оказаться просто следствием недостаточного владения фактами, и исчезнет по мере его совершенствования. Такая интерпретация имеет под собой очевидные основания, поскольку чем лучше мы знакомы с состоянием системы и идентифицируемыми факторами перемен, тем скорее мы разработаем представление о том, что с ней произойдет. К сожалению, таким образом невозможно добраться до сути происходящего. Даже если бы мы могли в наивысшей возможной степени предчувствовать, что произойдет, триада «неопределенность, новизна, скачок» осталась бы все так же непобедимой. И с рациональной, и с научной точки зрения, это остается справедливым даже когда мы способны поставить себя в положение действующего лица или воссоздать его переживания. Рассуждая с позиций рациональной науки, вы могли бы прийти к мысли переложить ответственность за скачок на внешние возмущения. Тем самым вы формально очистили бы предметную область вашей науки, какой бы она не была, от объекта, который невозможно постичь. Однако, проблема возникла бы вновь в том месте, куда он был переадресован. Именно поэтому мы сказали, что право апеллировать к изменениям в данных имеет свои пределы, и заканчивается ровно тогда, когда мы начинаем воспринимать общественные науки как единое целое. Тогда передача проблемы из компетенции одной общественной науки в компетенцию другой приводит нас как бы в заколдованный круг.

Как только вы признаете тщетность этих двух надежд, к вам придет осознание того, что утверждение о том, что развитие является проблемой не просто фактов, но аппарата нашего мышления — лишь старая мысль в новой оболочке*. Это создает проблему не для эмпирических исследований, а для логики. Это обстоятельство можно найти в любой области исследований, в любом предмете общественных наук. Очевидный пример — теория происхождения видов будь она дарвиновской, построенной на адаптации (включающей, в более широком смысле, и дегенерацию), или менделевской, построенной на комбинации постоянных элементов. Она всегда оказывается бессильной, когда сталкивается с недосягаемостью и неопределенностью инновации, скачка — и этот недостаток еще более очевиден, если тео-

* Две «надежды» заключаются в том, что накопление знаний о фактах поможет нам объяснит развитие и в том, что проблема может быть «решена» вынесением причин скачков в область факторов среды.

рия происхождения видов признает существование скачков и называет их, например, спортами или мутациями*. Она всегда упирается в логические пределы, или, иными словами, в тот факт, что наша логика — это логика адаптационных процессов, которая может либо отрицать, либо игнорировать развитие**. Меж тем, как легко увидеть, именно с *этим* и связана неудовлетворенность***.

В области физических явлений дело обстоит точно так же. В индивидуальном случае, именно концентрация на частном случае вводит нас в заблуждение и заставляет думать, что адаптации фундаментально неизменной нормы — это все, что доступно нашему научному наблюдению. В частном анализе, однако, неизбежность предпосылки ceteris paribus вырисовывается гораздо четче, как спасательный жилет, который глупо отвергали лишь мы, экономисты. И точно так же все обстоит в повседневных размышлениях****. И таким образом инвариантность, основной ментальный инструмент человечества, становится познаваемым. Инвариантность — единственный сущностный признак Бога, в то время как все остальные возникают случайным образом из крайне разнородных источников[5]* Любая обобщенная формула для явлений этого мира (Weltformel) которая сводится к нулю, столкнувшись с функцией с большим числом почти неизвестных переменных, столь же метафизична и выполняет ту же функцию. Это то, что сделал Мах, бессознательно пародируя самого себя. Мы не могли бы выразиться яснее, иначе чем указав на этот пример.

Теперь нет необходимости далее рассуждать о природе связи между неопределенностью, новизной и разрывами, или скачками. Она достаточно ясна. В своих наиболее общих очертаниях, она, похоже, была ясна уже Аристотелю. Выше, я употребил слово «невозможно». Думаю, более корректным было бы говорить о новой задаче. Эта задача очевидно, требует использования логики, математики, и — по крайней мере если в сказанном выше есть хоть одно слово правды, — экономической науки, колыбели всех понятий[6]*.

---

* Шумпетер (как и Дарвин) использует ботанический термин «спорты».

** Имеется в виду теория происхождения видов.

*** Выделено редакторами.

**** Это относится к фразе «адаптации фундаментально неизменной нормы — это все, что доступно нашему научному наблюдению».

[5]* Шумпетер имеет здесь в виду, что все, что мы можем сделать — это исследовать подмножества, то есть всегда будем связаны оговоркой ceteris paribus.

[6]* В машинописном тексте к слову «Wirtschaft» рукой Шумпетера добавлено «-slehre»: слово «экономика», таким образом, превратилось в «экономическую науку».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение Шумпетера к статье

Представленные здесь без каких-либо амбиций соображения необходимо воспринимать с точки зрения конкретной науки, а не в общефилософской перспективе. Я упоминаю об этом намеренно, чтобы предотвратить очевидное недоразумение. То, что я хочу сказать, может оказаться интересным по двум причинам. Во-первых, мое наблюдение опирается на конкретную проблему конкретной науки. Во-вторых, формально аналогичные проблемы можно найти практически в любой другой науке. Это наблюдение не возникло априори, а появилось в процессе работы. То же самое можно сказать и о предположении о том, что структура нашего мыслительного аппарата является источником всеобщего характера проблемы, описанной ниже.

Двусмысленность неудачного термина «развитие» требует еще одного предварительного замечания. Такие слова, как «развитие» или «разворачивание» предполагают, что развивающееся явление должно тем не менее сохранять некую идентичность или индивидуальность*. Живучесть этой мысли почти равняется живучести идей в первобытном мышлении. И все же, эта самая мысль представляется источником множества ложных предубеждений и идей. Нам необходимо отмежеваться еще от двух ассоциаций, связанных с термином «развитие»: веры в прогресс и эволюционизма. С ними связана научная дискредитация термина, не ограничивающаяся рамками немецкой исторической школы. Вера в прогресс подразумевает положительную оценку любых изменений. И именно потому, что она подразумевает *оценку* [курсив переводчика], она не имеет право на существование в науке. С социологической точки зрения легко понять, почему, на фоне растущих прибылей, поднимающийся слой промышленных и торговых капиталистов принес с собой «веру в прогресс». Аналогично нетрудно установить, почему современные анти-интеллектуальные интеллектуалы отвергают понятие прогресса и обсуждают его конец — даже георгины увядают. Просто это нас не касается.

«Эволюционизм», с другой стороны, отвергается многими в силу своей реальной или предполагаемой связи со всевозможными разновидностями материализма. Тем не менее, это — мода, даже если в ней

* Немецкие термины для развития и разворачивания — Ent-wicklung и Ent-faltung. Их значение предполагает разворачивание некой сущности, т.е., процесс, сохраняющий идентичность.

и есть система*. Если мы последуем этой системе, у нас может не остаться сильных аргументов для протеста в будущем. Аргумент против ассоциации развития с материализмом, однако, состоит в том, что материализм является такой же метафизикой, как и любая другая. Мы ничего не можем с этим поделать. Еще более важный аргумент, который поддерживают исследователи в области истории, этнологии и биологии: материализм не согласуется с некоторыми деталями, ведет к искажению, даже коверканию фактов в угоду эволюционизму, и безоглядной приверженности не согласующимся с действительностью временным рядам. Однако, наиболее сильный аргумент из всех, что у них имеются — это судьба, которая ожидает любой крайне успешный в свое время термин. Он превращается в игрушку дилетантов, и становится чем то вроде наркотика. Уже одного этого достаточно, чтобы отказаться от эволюционизма — вне зависимости от того, сколько людей присоединится к нам в этом решении. Высший успех, которого может достичь научный инструмент — это стать фетишем. Однако на этом его карьера оканчивается.

Существует еще три чисто научные точки зрения на проблему развития. Нижеследующие замечания не ставят целью опровергнуть их, но предназначены для того, чтобы отделить нашу собственную точку зрения от этих трех. Как и у нашей, корень этих трех позиций лежит в простых замечаниях, что все существующее явилось на этот свет, и как-то развивается. Популярность обоих этих замечаний разнится для разных культур, и даже разных людей. Несмотря на общее происхождение, мы замечаем, что кроме того, что очевидно возникло и меняется, в картину мира (Weltbild) часто включаются и дополнительные факторы. Так, время от времени предпринимаются попытки включить в нее несотворенные и неизменяемые структуры. Такие попытки несут на себе печать страха перед вышеупомянутыми замечаниями о происхождении и развитии всего сущего, элемент ужаса, скрывающийся даже за самым аккуратным историческим описанием.

Если говорить о научной работе, то первое, что мы можем предпринять — это исследовать «процесс», т.е. содержание произошедших изменений. Точнее, мы можем исследовать конкретные характеристики событий в разные моменты времени, и различия в этих характеристиках. Зачастую, особенно когда в качестве предмета исследования выступают общественные явления, попытка сделать это неотличима от исследования, движимого иным мотивом: идентифицировать конкретные обстоятельства, в лучшем случае, измеримые величины, которые, в том или ином смысле, можно назвать «причиной»

* В привязке эволюционизма к материализму. (*Прим. пер.* — здесь отсылка к популярной у англоговорящих авторов фразе Шекспировского Полония: «Хотя это и безумие, но в нем есть система»).

изменений. С логической же точки зрения, между этими двумя задачами лежит глубокая пропасть. Говоря простым языком, вторая задача — выявление причин изменений, — часто называется историческим объяснением. Она связана с эмпирическим, и ни в коем случае не метафизическим понятием смысла конкретного изменения. Каждому конкретному изменению может быть приписано столько же различных «смыслов», сколько существует точек зрения, вытекающих из конкретных наук. По мере того как мы продвигаемся к все более высоким уровням абстракции, присваивая смыслы какому-либо изменению, мы в конечном счете приходим к настолько общим «причинным» факторам, что наша задача кажется выполненной — и мы поддаемся иллюзии, что объяснили причины возникновения и изменения явлений. Наиболее наивное выражение такой иллюзии можно найти в большинстве теорий истории. Наконец, третья точка зрения на развитие не добавляет ничего нового [к уже сказанному]. В отличие от описанных выше, она является впередсмотрящей, и позволяет пользоваться понятием цели в не-метафизическом смысле и в интересах конкретной науки. Здесь телеологические аспекты, в узком смысле слова, не более популярны чем во втором из описанных подходов*.

Ссылки:

Arrow, Kenneth. 1974. The Limits of Organization. New York: Norton.

Axelrod, Robert. 1997. «The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization.» Journal of Conflict Resolution, 41(2): 203—226.

Farmer, J., Doyne, and Andrew W.Lo. 1999. «Frontiers of Finance: Evolution and Efficient Markets.» Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96 (18): 9991—9992.

Gray, Ronald. 1966. Poems of Goethe. Cambridge: Cambridge University Press.

Schumpeter, Joseph A. 1911. Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, 1st edition. Munich and Leipzig: Duncker and Humblot.

Tesfatsion, Leigh. 2001. «Structure, Behavior, and Market Power in an Evolutionary Labor Market with Adaptive Search». Journal of Economic Dynamics and Control, 25 (3—4): 419—457.



* Вторым подходом является причинно-следственный.

Именной указатель

А

Адамс, Т. 358
Адлер, Виктор 592, 759, 760
Адлер, Макс 427, 592
Адлер, Фриц 592, 633
Альберти, Леон Баттиста 503
Александр VI 664
Анна, королева 675, 676
Аретино, Пьетро 531
Аристотель 275, 281, 397, 638
Аркрайт 228
Асквит, Герберт Генри, граф Оксфорд 686
Афтальон, Альбер 346, 352

Б

Бьют, герцог 533
Бабёф, Гракх 711
Бакунин, М.А. 709, 722, 748
Барбон 284
Бароне, Энрике 131, 161, 557
Бауэр, О. 388, 427
Бебель 719, 724, 753, 757, 758, 759, 762, 763
Беверидж, Уильям 794, 799
Беллами 707
Бендиксен 103, 171
Бентам, Иеремия 554, 605, 606, 645, 726
Берк, Эдмунд 682, 691, 695
Беркли 103
Берлепш, фон 750
Бернс А.Ф. 441
Бернштейн, Эдуард 385, 419, 756, 757, 758, 764
Бём-Баверк, Ойген фон 32, 57, 62, 63, 72, 81, 82, 84, 87, 88, 207, 208, 211—213, 217, 219, 228, 230, 243, 255—259, 261, 262, 264, 268, 272, 277, 282, 287, 294, 305
Бинсток 797
Бисмарк, Отто фон Шёнхаузен 716, 750, 751, 752
Блан, Луи 711
Бланки, Луи Огюст 718
Блюм, Леон 818
Богарне, Евгения 653
Бор, Нильс Хенрик Давид 37
Боргт, фон дер 210
Борткевич, Л. фон 405
Боули, А. 354, 709
Брайс, лорд 654
Брантинг, Карл Яльмар 761
Брентано, Л. 214
Бэджгот 222
Бэйли 401
Бюлов, Бернхард 752, 754
Бюхер, К. 125

В

Вагнер, А. 53
Вагнер, Адольф 806
Ваденфельд 146
Вайб 76, 100
Вальдек-Руссо, Рене 684, 746
Вальрас, Леон 43, 44, 54, 97, 120, 144, 208, 210, 455
Ван Гог, Винсент 506, 575
Вандербильты (семейство) 515
Вандервельде, Эмиль 763
Вебер, Макс 122, 383, 406
Веблен, Торстейн 210
Веллингтон, Артур Уэсли, герцог 529
Визер, Фридрих фон 50, 53, 54, 72, 75, 87, 100, 104, 107, 239, 557
Вико, Джамбаттиста 122
Виксель, Кнут 455—457, 490
Виктория, королева 676
Вильгельм II (Гоггенцоллерн) 750, 752, 753
Вильгельм III 396, 674—676
Виттельсхёфер 210
Вольтер 639
Врангель 773
Вуд (G. H.) 354
Вундт, Вильгельм 511

Г

Гаазе, Гуго 764
Гайндман, Генри Мейерс 728
Галилей, Галилео 503
Галифе, Гастон 746
Гауч, барон 760
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 384
Гед, Жюль 745, 746, 761, 763
Гендерсон, Артур 767
Германн 211, 216
Гильфердинг, Рудольф 419, 427, 436
Гитлер, Адольф 785
Гладстон, Уильям Юарт 506, 674, 676, 680
Гобино, Жозеф Артюр де 387
Гобсон, Джон Аткинсон 73
Гогенцоллерны 785
Годолфин 675
Гомперс, Сэмуэль 739
Гонкур 506
Госсен, Г. 163, 164
Гренвилль, Джордж, герцог 665, 675

Д

Да Винчи, Леонардо 503, 506
Дарвин, Чарлз 122
Дауэс, Чарлз 768
Де Леон, Даниэль 741, 742, 743
Дебс, Юджин 742
Дель Веккьо 107
Делакруа, Эжен 506
Демулен, Камиль 533
Денби 675
Деникин, А.И. 773
Джевонс, Уильям Стэнли 84, 213, 326
Джеймс, Уильям 659
Дженнингс, Л. Дж. 529
Джефферсон, Томас 662
Джолитти, Джованни 747
Джордж, Генри 741
Джотто де Бондоне 506
Джукс, Джон 370
Дзержинский, Ф.Э. 772
Дизраэли, Бенджамин (Биконсфилд, граф) 623, 674, 676, 680, 724, 783
Дитцель 215

Добб, Морис Херберт 415
Дрейфус, В 745, 746
Дромар, Г. 501
Дэвенпорт, Г. 108, 210, 282
Дэвис П. 639
Дюрер, Альбрехт 503
Дюркгейм, Эмиль 387

Е

Ежов, Н.И 774
Елизавета I 445, 478

Ж

Жорес, Жан 745, 746
Жюгляр, Клеман 41, 319, 330, 418

З

Земба 763
Зиновьев, Г. 774
Зомбарт, Вернер 124, 126, 151, 391, 503
Зоммерфельд, Арнольд 37

И

Иосиф II 517

К

Кабе, Этьен 707
Кальвен, Жан 635
Каликст, папа 636
Каменев, Л.Б. 774
Кан, Р.Ф. 481
Каннинг, Джордж 533
Карвер 61
Карл II 675, 676
Карл V 505, 531
Карнеги (семейство) 515
Картерет 675
Карузо 150
Кассель Г. 87
Каутский, Карл 427, 438, 573, 701, 757, 764
Кейнс, Джон Мейнард 103, 128, 168, 357, 490, 493, 803, 807, 810, 812, 813, 833
Кент 646
Кенэ, Франсуа 169, 192, 396
Керенский, А.Ф. 733
Кларк, Джон Бейтс 73, 87, 88, 121, 125, 212, 227, 306, 455
Кларк, Колин 493
Клэр 172
Кнаппе, Георг Фридрих 204
Книс, К. 208, 210, 215
Кобден, Ричард 681
Коморжинский 210, 218
Кондратьев, Н. Д. 40, 418, 446
Конрад, Отто 265
Конт, Огюст 500
Косса 208
Коул 405
Крам 617
Кроуфорд 725
Кроче, Бенедетто 723
Куинси 269
Кун, Бела 773
Кунитц 756
Курно, Антуан Огюстен 366, 456, 477, 479
Курсель-Сенёйль 211
Кэмпбелл Баннерман, Генри 674, 783
Кэрнс 119, 221

Л

Лампрехт, Карл 122
Ланге, Оскар 557, 826

Ласки, проф. 736
Лассаль, Фердинанд 390, 403, 623, 716, 718, 724
Лафарг, Поль 745
Лафлин, Л. 171
Ле Бон, Густав 654
Лев X 505
Леви, Жорж Р. 283
Леви-Брюль, Люсьен 500
Левин М. 581
Ледерер, Эмиль 318, 338
Лексис 209, 250, 405
Ленин, В.И. 552, 620, 630, 632, 735, 736, 741, 761, 764, 771—773, 797
Лернер, А.П. 557, 561, 826
Лёве, Л. 318, 319
Либкнехт, Карл 619, 724, 770
Линкольн, Авраам 662, 664
Ллойд Джордж Дэвид 750
Ло, Джон 146, 171, 284
Лодердейл 228, 229, 264
Локк, Джон 276, 277, 284, 644
Лотц 81
Луи Филипп Орлеанский 533, 534
Лэнгуорт, В. Г. 168
Людовик XIV 445, 516
Людовик XV 527
Людовик XVI 157
Люксембург, Роза 427, 619, 756, 770

М

Мазарини, Джулио 675
Мазаччо 506
Мак-Вейн 87
Макдональд, Джеймс Рамсей 764, 766, 767, 779, 781, 782, 783, 784, 793
Мак-Куллох, Джон Рамсей 257
Маклеод, Генри Даннинг 210, 220, 222, 282
Маколей, Томас Бабингтон 687
Мальтус, Томас Роберт 403, 453, 493
Маннгейм, Карл 383
Мантеньи 848
Марат, Жан Поль 533
Мария-Тереза 517, 636
Маркс Карл 43, 44, 119, 125, 217, 250, 375—422, 425—427, 429, 430, 435—438, 443, 454, 460, 485, 487, 489, 490, 500, 507, 515, 521, 534, 547, 552, 554, 565, 568, 571, 590, 594, 628, 629, 705, 707, 709—724, 728, 729, 731, 733—736, 740, 745, 749, 755—759, 763, 777, 778, 784, 796, 829, 836
Маркуис 253
Мартов, Л. 735
Маршалл, Альфред 44, 52, 53, 83, 84, 103, 128, 145, 207, 208, 282, 366, 372, 373, 455, 456, 457, 477, 479, 481, 490
Матайя 144, 227
Матисс, Анри 506
Маултон 581
Медичи (семейство) 505
Мейсон, Э.С. 469
Менгер, Карл 62, 72, 194, 207, 209, 215, 217
Мере де, шевалье 263
Меринг, Ф. 376
Мизес, Людвиг фон 100, 181, 556, 557
Микеланджело Буанорроти 506
Микстер, К. У. 57
Мильеран, Александр 746
Милл Ф.К. 442
Милль, Джеймс 119, 257, 433, 726
Милль, Джон Стюарт 56, 57, 103, 120, 121, 125, 171, 215, 220, 378, 397, 453, 481, 598, 645, 813
Митчелл, Уэсли Клэр 332, 352
Молинари 211
Монтескье, Шарль Луи 284
Мор, Томас 707, 708

Морганы (семейство) 434
Морли, Джон 763
Мур, Х.Л. 42, 332
Мюррей 815

Н

Ньюком 98
Наполеон III 210
Наполеон Бонапарт 370, 513, 652, 653
Нарваэс 796
Нерон 635
Николай I 773
Николсон 119
Нойрат 211

О

О'Доннел 796
Оджер, Джордж 722
Опети 107
Оркни, леди 396
Оуэн, Роберт 708, 740

П

Пальмерстон, Генри Джон Темпл 674
Парето, Вильфредо 45, 161, 383, 444, 504, 557, 654
Паудерли, Тиренс Винсент 741
Пачоли, Лука 503
Персонс 442
Петти, Уильям 71, 675
Пигу, Артур Сесил 53, 151, 168, 354, 448
Пикассо, Пабло 506
Пиль, Роберт 478, 674, 675, 678, 781, 783
Пилат, Понтий 637
Пирсторф 227
Питт, Уильям Младший 674, 675
Питт, Уильям Старший 674, 675
Платон 555
Плеханов, Г.В. 386, 734
Посадовский, граф 750
Прайс, Бонэми 222
Прудон, Пьер Жозеф 383, 709
Пуанкаре, Раймон 673, 684

Р

Райт, Г. 493
Рёслер 259
Рибо, Теодюль Арман 654
Рид, Джон 390
Рикардо, Давид 65, 81, 83, 117, 118, 119, 124, 125, 171, 219, 277, 396—400, 403, 406, 412, 413, 416, 453, 481, 568
Ришелье, А.Ж. дю Плесси 675
Робертсон, Д. 168
Робеспьер, Максимильен 732, 775
Робинзон Крузо 571
Робинсон Дж. 457
Родбертус, К. 391, 397, 399, 415
Рокфеллеры 35, 515
Роу, Дж. В. Ф. 351
Рошер, Вильгельм Георг Фридрих 122, 210
Рус 481
Руссо, Жан Жак 532, 554, 592, 645
Рэ, Джон 57, 65, 84
Рязанов 756

С

Сапори, А. 503
Светоний 635
Сезанн, Поль 506
Сениор, Нассау Уильям 87, 409, 453, 478
Сен-Симон, Клод Анри де Рувруа 565, 709

Серрано 796
Сигер 79
Сиджуик 222, 282
Сисмонди, Жан Шарль Леонард Симонд де 397, 415
Смит, Адам 53, 64, 65, 81, 115—117, 125, 171, 218, 251, 276, 277, 281, 284, 433, 453, 456, 478, 585, 813
Снайдер, С. 351
Сноуден 780
Сорель, Жорж 749
Сталин, И.В. 630, 736, 774, 775, 787, 791, 817, 821
Стаунинг, Торовальд 761
Стемп, лорд 252, 443, 444
Стефенс, Урия 740
Стивен, Лесли 646
Стикни 221
Столыпин, П.А. 732, 826
Стоун, Уоррен Стэндфорд 739
Страффорд 675
Стюарт, Джеймс 276
Суинберн, лорд 675
Сулла 696
Сэй, Ж. Б. 143, 211, 256, 259, 345, 417

Т

Таттл 211
Тауссиг, Ф. 397, 455
Твен, Марк 551
Тейлор 557
Тинберген, Ян 46, 481
Тиш К. 557
Томас, Н. 631
Томпсон, Уильям 711
Траутман 743
Троцкий (Бронштейн), Л.Д. 596, 599, 623, 733, 759, 772, 775, 776
Тэйлор 168
Тюрго, Анн Робер Жак 211, 813

У

Уилкс, Джон 532, 533
Уинстэнли, Джерард 711
Уоллес, Грэхем 646, 654, 659
Уолпол, Роберт 675

Ф

Фабий Максим 729
Феррара, Франческо 481
Феттер, Ф. 98, 171, 211, 306
Филиппович, фон 47, 208, 209
Филмер, Роберт 643
Фишер, Ирвинг 53, 82, 84, 85, 88, 98, 194, 208, 283, 286, 306, 307, 455, 806
Фольмар, Георг фон 758, 763
Фосетт, Г. 220, 221
Фостер, Уильям 743
Франко, Ф. 796
Фрейд, Зигмунд 501, 654
Фриш, Рагнар 42, 481
Фуггер, Якоб 505
Фуггеры 434
Фурье, Шарль 709

Х

Хайек, Фридрих фон 556, 571
Хамфри, Д.Д. 469
Хан, А. 168, 171, 183, 189, 223
Хансен 354
Харви, Э. 756
Харди, Кейр 725
Харли 675
Харт, А.Г. 810
Хейвуд, Уильям Дадли 743
Хензель 806
Херменс, К. 671
Хойсманс, Карл 769

Хоули, Ф. Б. **209**
Хоутри, Р. **357**

Ц

Цезарь, Гай Юлий **665, 696**

Ч

Чарлз, Э. **492**
Челлини, Бенвенуто **503**
Чемберлен, Джозеф **680**
Чемберлин Э. **457**
Чепмен **253**
Чернышевский, Н. Г. **220**
Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер **790, 822**
Чиджи, Агостино **505**

Ш

Шварц **797**
Шелер, Макс **383**
Шеффле, Альберт Эберхард **215**
Шифф, Э. **808**
Шлезингер **103**
Шмоллер, Густав фон **208, 209, 217, 219, 387, 420, 421, 437**
Шоу, Бернард **438, 530**
Шпитгоф **36, 40, 126, 181, 199, 223, 317, 319, 320, 330, 332, 336, 343, 345**
Штернберг, Фриц **427**
Штольцман **58**
Шторх **211**
Штреземан, Густав **768**
Штюргх **592**
Шумпетер, Йозеф Алоиз **825**

Э

Эвклид **440**
Эдвардс, А.С. **365**
Эджуорт, Фрэнсис Исидро **73, 481**
Эль Греко **506**
Эмери **82**
Энгельс, Ф. **380, 383, 386, 388, 389, 401, 404, 406, 407, 409, 410, 414, 416, 417, 418, 427, 437, 714, 717, 718, 719, 720, 721, 755, 756**
Энгр, Жан Огюст Доминик **506**
Эспартеро **796**
Эффертц **63, 65**
Эшли, лорд **724**

Ю

Югов **797**
Юм, Давид **276, 284**

Я

Якоби, В. **208**
Яков II **644**

Научное издание

Йозеф Алоиз Шумпетер

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАПИТАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Директор *И.Е. Федосова*
Научный редактор *В.С. Автономов*
Художественный редактор *М.А. Левыкин*
Технический редактор *О.А. Куликова*
Компьютерная верстка *Г.Н. Ражикова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

***По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями** обращаться в ООО «Дип покет»*
E-mail: **foreignseller@eksmo-sale.ru**

***International Sales:** International wholesale customers should contact «Deep Pocket» Pvt. Ltd. for their orders.* **foreignseller@eksmo-sale.ru**

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, обращаться в ООО «Форум»: тел. 411-73-58 доб. 2598. E-mail: **vipzakaz@eksmo.ru**

Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: **kanc@eksmo-sale.ru**, сайт: **www.kanc-eksmo.ru**

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. Тел. (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.
В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. Тел. (863) 268-63-59/60.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а. Тел. (343) 378-49-45.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 501-91-19.
Во Львове: ТП ООО ДЦ «Экомо-Украина», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.
В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым» ул. Киевская, д. 153. Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

ISBN 978-5-699-19290-8

9 785699 192908 >

Подписано в печать 05.03.2008.
Формат 70x100 1/16. Гарнитура «Мысль».
Печать офсетная. Бумага офс. Усл. печ. л. 70,2.
Доп. тираж 2100 экз. Заказ 6854.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.